



Жиль
Делез

Феликс
Гваттари

Капитализм и шизофрения

Тысяча плато



УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН

Жиль Делез
Феликс Гваттари

ТЫСЯЧА ПЛАТО

КАПИТАЛИЗМ И ШИЗОФРЕНИЯ

У-Фактория • Астрель

УДК 1
ББК 87.3(0)
Д 29

Издание осуществлено при поддержке
Национального центра книги Министерства культуры Франции

Перевод с французского *Я.И. Свирский*
Научный редактор *В.Ю. Кузнецов*

Делез, Ж.

Д 29 Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Жиль Делез, Феликс Гваттари; пер. с франц. и послесл. Я.И. Свирского; науч. ред. В.Ю. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. — 895, [1] с.: ил.

Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла...

ISBN 978-5-9757-0526-6 (ООО «Агентство прав У-Фактория»)

(«Философия»)

ISBN 978-5-271-27869-3 (ООО «Издательство Астрель»)

(«Философия»)

ISBN 978-5-9757-0527-3 (ООО «Агентство прав У-Фактория»)

ISBN 978-5-271-29213-2 (ООО «Издательство Астрель»)

УДК 1
ББК 87.3(0)

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги и брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

Подписано в печать 16.06.2010. Формат 84×108^{1/32}. Усл. печ. л. 45,36.

Тираж 1000 экз. Заказ № 1529.

Тираж 2000 экз. Заказ № 1530

ISBN 978-5-9757-0526-6 (ООО «Агентство прав У-Фактория») («Философия»)

ISBN 978-5-271-27869-3 (ООО «Издательство Астрель») («Философия»)

ISBN 978-5-9757-0527-3 (ООО «Агентство прав У-Фактория»)

ISBN 978-5-271-29213-2 (ООО «Издательство Астрель»)

© ООО «Издательство Астрель», 2010.
© ООО «Агентство прав У-Фактория», 2010
© Я.И. Свирский, перевод на русский язык,
послесловие, 2010
© В.Ю. Кузнецов, предисловие, 2010

Одним плато у Делеза—Гваттари меньше

...Стиль изобретательный, сложный, искусственный, полный изысканных оттенков, раздвигающий границы языка, пользующийся всевозможными техническими терминами, заимствующий краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур, усиливающийся передать мысль в самых ее неуловимых оттенках, а формы в самых неуловимых очертаниях; он чутко внимает тончайшим откровениям невроза, признаниям стареющей и извращенной страсти, причудливым галлюцинациям навязчивой идеи, переходящей в безумие.

Теофиль Готье

Провозглашение множественного во множестве самых разнообразных вещей, тем и сюжетов, выполненное широкими мазками с неподражаемым пренебрежением к занудной отделке мелких деталей, остается визитной карточкой Делеза—Гваттари, производя и провоцируя различные эффекты и не предполагая восполнения и завершения. Каждый сам узнает и вытягивает свое, другой — другое.

Неометафизики если не станут упрекать авторов за разрушение порядка и абсурд, то могут попытаться даже в ризоматическом многообразии увидеть не просто новую модель единства, но способ восстановления тотальной универсальности такой концепции, которая действует на любом материале. Радикальные критики если не будут властно вещать о засильи власти или стереотипно ниспровергать засилье стереотипов под лозунгами ризомы, то могут попытаться обвинить авторов в непоследовательно-

сти и (справедливо) заметить, что декларация о независимости текстов плато и произвольном порядке их чтения опровергается вполне определенной последовательностью их расположения в переплете — вместо того, чтобы поддерживаться, например, свободным набором в папке отдельных тетрадок, которые можно тасовать как угодно.

Легкость пародирования и эпигонства, воспроизводящих некоторые внешние стилистические черты яркого произведения, оказывается обратной стороной трудности восприятия, освоения и применения непривычных способов мышления. Особенно тех, которые призваны изменять и самую жизнь.

Философия продолжает разворачиваться.

Василий Кузнецов

P.S. Переводчик и редактор благодарят Владимира Аршинова, Дмитрия Кралечкина, Валерия Демьянкова, Олега Аронсона, Елену Петровскую, Игнатия Журавлева, Кирилла Семенова и Юрия Бакалова за ценные консультации, помощь и поддержку.

Предлагаемая книга — продолжение и завершение работы «Капитализм и шизофрения», первым томом которой был «Анти-Эдип».

Составлена она не из глав, а из «плато». И далее мы постараемся объяснить почему (а также почему тексты датированы). В какой-то мере такие плато могут быть прочитаны независимо друг от друга — кроме заключения, которое следует читать лишь в конце.

Уже были опубликованы: «Ризома» («Rhizome», Ed. de Minuit, 1976); «Один волк или несколько?» («Un seul ou plusieurs loups?», revue *Minuit*, n° 5); «Как сделаться Телом без органов?» («Comment se faire un Corps sans organes?», *Minuit*, n° 10). Здесь они приводятся с изменениями.

1. Введение: Ризома

7 vedi NOTE

XIV piano piece for David Tudor 4
disegno del 1949
adagione pianistica: 27.3.1959

SYLVANO BUSSOTTI

«Анти-Эдип» мы написали вдвоем. А поскольку каждого из нас — несколько, то набирается целая толпа. Тут мы использовали все, что нас сближало, — самое близкое и самое далекое. А чтобы нас не узнали, мы умело распределили псевдонимы. Так почему же мы оставили свои имена? По привычке, только по привычке. Дабы, в свою очередь, остаться неузнанными. Дабы сделать невосприимчивым — но не себя, а то, что вынуждает нас действовать, чувствовать, думать. А еще и потому, что нам, как и всем, хочется, к примеру, сказать, будто восходит солнце, хотя любому ясно, что это не более, чем оборот речи. Дабы достичь не той точки, где уже не говорят «Я», а той, где неважно, говорить «Я» или вообще не говорить. Мы — уже не мы. Каждый сам узнает своего. Нам уже помогли, нас вдохновили, размножили.

У книги нет ни объекта [objet], ни субъекта [sujet]*, она по-разному материально соткана из крайне разных дат и

* Ради дальнейшей связности текста мы оставили здесь слова «объект» и «субъект», хотя в этом месте скорее всего уместен перевод: «У книги нет ни цели [objet], ни темы [sujet]». — *Прим. пер.*

скоростей. Приписывать книгу субъекту значит упускать из виду такую работу материй и внешний характер их отношений. Это значит фабриковать «благого Бога» ради геологических движений. В книге, как и во всем остальном, есть линии артикуляции или сегментации, страты и территории; но также и линии ускользания, движения детерриторизации и дестратификации. На таких линиях сравнительные скорости потока влекут за собой феномены относительного замедления, вязкости или, наоборот, стремительности и разрывов. И линии, и измеримые скорости — все это конституирует некую *сборку*. Книга — такая сборка, и, как таковая, она ни к чему не приписана. Это — множественность, но мы еще не знаем, что подразумевает такое множественное, когда оно уже ни к чему не приписано, то есть, когда оно возводится до статуса субстантива. Машинная сборка обращена к стратам, делающим из нее, несомненно, своего рода организм, означающую целокупность или приписываемую субъекту определенность; но, в не меньшей мере, она обращена и к *телу без органов*, непрестанно разрушающему организм, пропускающему и вынуждающему циркулировать α -означающие частицы, чистые интенсивности, а также приписывающему себе субъектов, коим оно оставляет лишь имя как след интенсивности. Каково же тело без органов книги? Таких тел несколько, все зависит от природы рассматриваемых линий, их собственного содержания или плотности, и от возможности их схождения на «плане консистенции», который обеспечивает их отбор. Здесь, как и везде, важны именно единицы измерения: [важно] *квантифицировать* письмо [*quantifier l'écriture*]. Нет разницы между тем, о чем говорит книга, и способом, каким она сделана. Значит, у книги больше нет объекта. Книга, как сборка, является лишь самой собой — в соединении с другими сборками и в отношении к иным телам без органов. Мы не собираемся спрашивать, о чем хочет сказать книга — об означаемом или означающем, мы не будем искать того, что следовало бы понять в книге, но мы спросим о том, с чем она функ-

ционирует, в соединении с чем она передает или не передает интенсивности, в какие множественности она встраивает и трансформирует свою множественность, с какими телами без органов ей нужно свести свое тело без органов. Книга существует только благодаря внешнему и во внешнем. Итак, сама книга — это маленькая машина; в каком же отношении — в свою очередь, измеримом — состоит такая машина литературы с машиной войны, машиной любви, машиной революции и т.д., — а также со сметающей ее абстрактной машиной? Нас упрекали за то, что мы будто бы слишком часто обращаемся к литераторам. Но, когда мы пишем, нас интересует лишь одно — знать, к какой другой машине может и должна быть подключена литературная машина, дабы функционировать. Клейст — и безумная машина войны, Кафка — и неслыханная бюрократическая машина... (А что если мы становимся животным или растением *благодаря* литературе, — конечно же, не в буквальном смысле слова? Разве не благодаря голосу мы превращаемся в животное?). Литература — это некая сборка, у нее нет ничего общего с идеологией, идеологии нет, и никогда не было.

Мы говорим лишь о следующем: о множественностях, линиях, стратах и сегментациях, о линиях ускользания и интенсивностях, о машинных сборках и их разных типах, о телах без органов и их конструкции, об их селекции, о плане консистенции, о единицах измерения в каждом случае. *Стратометры, делеометры, единства ТбО плотности, единства ТбО конвергенции* не только формируют квантификацию письма, но и всегда определяют последнее как меру чего-то иного. Писание не имеет ничего общего с обозначиванием, скорее, писание имеет дело с межеванием, картографированием — даже грядущих местностей.

Первый тип книги — книга-корень. Дерево — уже образ мира, а корень — образ древа-мира. Это классическая книга, подобная прекрасной органической интериорности, означающей и субъективной (страты книги). Книга имитирует мир так же, как искусство — природу: благодаря

способам, каковые ей присущи и успешно завершают то, что природа не может (или больше не может) сделать. Закон книги — это закон рефлексии. То Одно [le Un], которое становится двумя. Как закон книги мог бы присутствовать в природе, коли он управляет самым разделением между миром и книгой, природой и искусством? Одно [Un] становится двумя: каждый раз, когда мы встречаем эту формулу — высказывалась ли она стратегически Мао или понимается как наиболее «диалектичная» из всех, — мы оказываемся перед самой классической, самой продуманной, самой старой и усталой мыслью. Природа так не действует: корни сами являются стержневыми, с весьма многочисленными ответвлениями — латеральными и циркулярными, но не дихотомичными. Дух не поспевает за природой. Даже книга — как естественная реальность — является стержневой, со своим стволом и кроной. Но книга как духовная реальность — в образе Дерева или Корня — не перестает развивать закон Одного, становящегося двумя, а затем двух, становящихся четырьмя... Бинарная логика — это духовная реальность дерева-корня. Даже такая «продвинутая» дисциплина, как лингвистика, удерживает — в качестве базового образа — дерево-корень, кое присоединяет её к классической рефлексии (например, Хомский и синтагматическое древо, начинающееся с точки S, дабы продолжаться благодаря дихотомии). Иными словами, такая мысль никогда не постигала множественность — ей требуется крепкое основное единство, предполагаемое для того, чтобы достичь двух, следуя духовному методу. И со стороны объекта, следуя естественному методу, мы, несомненно, можем прямо перейти от Одного к трем, четырём или пяти, но всегда при условии, что располагаем крепким основным единством, единством стержня, поддерживающего вторичные корни. Но от этого не легче. Дву-однозначные отношения между последовательными кругами лишь замещают бинарную логику дихотомии. В стержневом корне множественности не больше, чем в дихотомическом. Первый действует в объекте, второй — в субъекте.

Бинарная логика и дву-однозначные отношения все еще доминируют в психоанализе (дерево бреда во фрейдовской интерпретации Шребера), в лингвистике и структурализме, даже в информатике.

Система-корешок или мочковатый корень — вторая фигура книги, на которую охотно ссылается наша современность. На этот раз главный корень абортирован или почти до конца уничтожен; к нему прививается и обретает чрезвычайное развитие непосредственное и неопределенное множество вторичных корней. На сей раз естественная реальность проявляется в виде выкидыша главного корня, но, тем не менее, его единство существует как прошлое или грядущее, как возможное. И мы должны спросить себя, не компенсирует ли духовная и рефлексивная реальность данное положение вещей, требуя, в свою очередь, еще более всеохватывающего тайного единства или ещё более экстенсивной тотальности. Возьмем метод *cut-up** Берроуза: вкладывание или вгибание [pliage] одного текста в другой, конституирующее множественные и даже случайные корни (можно сказать, черенки), подразумевает измерение, дополнительное к измерению рассматриваемых текстов. Именно в таком дополнительном измерении вкладывания или вгибания единство продолжает свою духовную работу. Именно в этом смысле самым решительным образом раздробленное произведение может быть также представлено как цельное Произведение или Великий Опус [Grand Opus]. Большая часть современных методов, предназначенных для размножения серий или наращивания множественности, вполне пригодны в каком-то одном направлении, например линейном, тогда как единство целостности утверждает себя, скорее, в ином измерении — в измерении круга или цикла. Каждый раз, когда множество обнаруживает себя схваченным в какой-либо структуре, его рост компенсируется благодаря редукции законов комбинирования. Абorterы единства в этом случае являются также и

* Метод нарезки (англ.). — Прим. пер.

созидателями ангелов, *doctores angelici*** , ибо они утверждают чисто ангельское и верховное единство. Слова Джойса, известные как слова с «множественными корнями», лишь тогда разрушают линейное единство слова или даже языка, когда задают круговое единство фразы, текста или знания. Афоризмы Ницше лишь тогда разрушают линейное единство знания, когда отсылают к круговому единству вечного возвращения, присутствующему как не-знаемое [non-su] в мысли. Иначе говоря, мочковатая система на деле не порывает с дуализмом, с взаимодополнительностью субъекта и объекта, с естественной реальностью и духовной реальностью — единство не перестает перечить и противиться объекту, тогда как в субъекте торжествует новый тип единства. Мир утратил свой стержень, субъект не может больше создавать дихотомию, но он достигает более высокого единства — единства амбивалентности и сверхдетерминации — в измерении, всегда дополнительном к измерению собственного объекта. Мир стал хаосом, но книга остается образом мира, — хаосмос-корешок вместо космоса-корня. Странная мистификация книги: чем более книга тотальна, тем более она фрагментарна. В любом случае, книга как образ мира — какая пресная идея. На самом деле мало сказать: Да здравствует множественное! Хотя даже такое восклицание довольно трудно выдавить. Не хватит никакой типографской, лексической или даже синтаксической сноровки, чтобы оно оказалось услышанным. Множественное *нужно создать*, но не добавляя всегда более высокое измерение, а напротив, посредством просто-напросто умеренности, на уровне измерений, коими мы уже располагаем, всегда *n-1* (только так одно составляет часть многого, будучи всегда вычтенным). Вычитать единственное из множества, которое надо конституировать; писать *n-1*. Такую систему можно было бы назвать ризомой. Ризома как подземный отросток [tige] абсолютно отлична от кор-

** Отсылка к почетному титулу Фомы Аквинского («ангельский доктор», *doctor angelicus*). — *Прим. пер.*

ней и корешков. Луковицы, клубни — это ризомы. Во всех других отношениях растения с корнем или корешками могут быть ризоморфны: речь идет о знании того, не является ли ботаника, в своей специфике, полностью ризоморфной. Даже животные таковы в своей форме стаи, крысы — это ризомы. Норы — тоже, со всеми их функциями проживания, пропитания, перемещения, отклонения и разрыва. Сама по себе ризома обладает крайне разнообразными формами, начиная с внешней протяженности, разветвленной во всех направлениях, кончая конкретизацией в луковицах и клубнях. Крысы кишат, наползая друг на друга. В ризоме есть наилучшее и наихудшее: картофель и пырей, сорняк. Животное и растение, пырей — это *stab-grass****. Мы чувствуем, что никого не убедим, если не перечислим хотя бы приблизительные характеристики ризомы.

1 и 2. Принципы соединения и неоднородности: любая точка ризомы может — и должна быть — присоединена к любой другой ее точке. Это весьма отличается от дерева или корня, фиксирующих некую точку и некий порядок. Лингвистическое древо, на манер дерева Хомского, начинается еще в точке S и производится благодаря дихотомии. В ризоме, напротив, каждая черта не отсылает с необходимостью к лингвистической черте: семиотические звенья любой природы соединяются здесь с крайне различными способами кодирования — биологическими, политическими, экономическими и т.д., запускающими в игру не только разные режимы знаков, но также и статусы состояния вещей. Действительно, *коллективные сборки высказывания* прямо функционируют в *машинных сборках*, и мы не можем установить радикальную купюру между режимами знаков и их объектами. В лингвистике, даже когда мы претендуем на то, что придерживаемся только чего-то ясного и заранее ничего не предполагаем относительно языка, мы остаемся внутри сфер дискурса, подразумевающих к тому же и осо-

*** Ползучий сорняк (англ.). — Прим. пер.

бые социальные модусы сборки и типы власти. Грамматическая правильность Хомского, категориальный символ S, доминирующий во всех фразах, — все это является маркером власти прежде, чем стать синтаксическим маркером: ты будешь составлять грамматически правильные фразы, ты будешь делить каждое высказанное на номинальную и вербальную синтагмы (первая дихотомия...). Мы не будем упрекать такие лингвистические модели за то, что они чересчур абстрактны, наоборот, их недостаток в том, что они не дотягивают до *абстрактной машины*, осуществляющей связь языка с семантическими и прагматическими содержаниями высказанного, с коллективными сборками высказывания, со всей микро-политикой социального поля. Ризома непрестанно соединяет семиотические звенья, организации власти и обстоятельства, отсылающие к искусству, наукам или социальной борьбе. Семиотическое звено подобно клубню, спрессовывающему крайне разные акты — лингвистические, а также перцептивные, мимические, жестикуляционные, когнитивные: нет ни языка [langue] в себе, ни универсальности языковой деятельности [langage], а есть состязание диалектов, жаргонов, сленгов и специализированных языков. Нет идеального говорящего-слушающего, так же как нет и однородного языкового сообщества. Язык, согласно формуле Вайнрайха, — это «по существу неоднородная реальность». Нет материнского языка, но есть захват власти языком, доминирующим в политическом многообразии. Язык устанавливается вокруг прихода, епархии или столицы. Он создает луковицу. Он изменяется благодаря подземным отросткам и потокам, вдоль речных долин или железнодорожных линий, он перемещается подобно масляным пятнам.¹ В языке мы всегда можем осуществлять внутренние структурные декомпозиции — и это не отличается фундаментальным образом от поиска корней. В древе всегда есть что-то гене-

¹ Ср.: Malmberg Bertil. *Les nouvelles tendances de la linguistique*, P.U. F., pp. 97 sq. (пример кастильского диалекта).

алогическое, это не популистский метод. Напротив, метод по типу ризомы может анализировать языковую деятельность, только децентрируя ее в других измерениях и режимах. Язык вновь схлопывается в себе, но лишь как некое бессилие.

3. Принцип множественности: именно тогда, когда многое действительно рассматривается как субстантив — множество, или множественность, — нет более никакого отношения с Одним как с субъектом или объектом, как с природной или духовной реальностью, как с образом и миром. Множества ризоматичны, они изобличают древовидные псевдо-множества. Нет единства, которое служило бы стержнем в объекте или разделялось бы в субъекте. Нет даже такого единства, которое было бы выкидышем в объекте и «вернулось» бы в субъект. У множества нет ни субъекта, ни объекта, есть только определения, величины, измерения, способные расти лишь тогда, когда множество меняет свою природу (следовательно, законы комбинаторики пересекаются с множеством). Нити марионетки — как ризомы или множества — отсылают не к предполагаемой воле актера или кукловода, а к множеству нервных волокон, образующему, в свою очередь, другую марионетку, следуя иным измерениям, соединенным с первыми: «Назовем нити или отростки, двигающие марионетками, — тканью. Мы могли бы возразить, что ее *множественность* обитает в личности актера, проецирующего эту множественность в текст. Ладно, но нервные окончания в свою очередь формируют некую ткань. И они погружаются в серую массу, сетку, вплоть до неразличимости... Игра приближается к чистой работе пряж — работе, которую мифы приписывают Паркам и Норнам»². Сборка и есть такое пересечение измерений в множестве, которое с необходимостью меняет природу в той мере, в какой наращивает свои соединения. В ризоме нет точек или позиций, какие мы находим в структуре — дереве или корне. Есть только линии. Когда

² Jünger, Ernst. *Approches drogues et ivresse*. Table ronde, p. 304, § 218.

Глен Гульд ускоряет исполнение музыкального фрагмента, он не только действует как виртуоз, но превращает музыкальные точки в линии, вынуждает совокупность размножаться. Дело в том, что число перестало быть универсальным концептом, соразмеряющим элементы согласно их месту в каком-либо измерении, дабы самому стать множеством, изменяемым согласно рассматриваемым измерениям (первенство области над совокупностью чисел, связанных с этой областью). У нас нет единиц меры, а есть только их множества или их разнообразия. Понятие единства появляется лишь тогда, когда в множестве власть захватывает означаемое или когда в нем производится некий процесс, соответствующий субъективации — итак, либо единство-стержень, фундирующее совокупность двуднозначных отношений между элементами или объективными точками, либо же Одно, которое делится, следуя закону бинарной логики дифференциации в субъекте. Единство всегда действует в лоне пустого измерения, дополнительного к измерению рассматриваемой системы (сверхкодирование). Но как раз ризома, или множественность, не позволяет себя сверхкодировать, она никогда не располагает измерением, дополнительным к числу своих линий, то есть к множеству чисел, связанных с этими линиями. Все эти множества суть плоские, ибо они заполняют, оккупируют все свои измерения — значит, мы будем говорить о *плане консистенции* множеств, даже если измерения такого «плана» увеличиваются с числом располагающихся на нем соединений. Множества определяются внешним — абстрактной линией, линией ускользания или детерриторизации, следуя которой, они меняют природу, соединяясь с другими множествами. План консистенции (решетка) — это внешняя сторона всех множеств. Линия ускользания маркирует одновременно и реальность числа конечных измерений, эффективно заполняемых множеством; и невозможность появления любого дополнительного измерения без того, чтобы это множество трансформировалось, следуя такой линии; а также возможность

и необходимость расплющивания всех множеств на одном и том же плане консистенции или их овнешнения, каковы бы ни были их измерения. Идеал книги состоял бы в том, чтобы расположить все вещи на таком плане внешнего, на одной-единственной странице, на одном и том же пляже — прожитые события, исторические определения, мыслимые концепты, индивиды, группы и социальные образования. Клейст изобрел письмо такого типа, разрушенную последовательность аффектов с переменными скоростями, осаждениями и трансформациями — и всегда в связи с внешним. Разомкнутые кольца. А его тексты противостоят также во всех отношениях классической и романтической книге, конституируемой через внутреннюю субстанции или субъекта. Книга — машина войны против книги — аппарата Государства. *Плоские множества в n измерениях* являются а-означающими и а-субъективными. Они обозначаются с помощью неопределенных или, скорее, частичных артиклей (*нечто от* пырея, *нечто от* ризомы [*c'est du chiendent, du rhizome*]...).

4. Принцип а-означающего разрыва: против сверхозначающих купюр, разъединяющих структуры или пересекающих одну структуру. Ризома может быть разбита, разрушена в каком-либо месте, но она возобновляется, следуя той или иной своей линии, а также следуя другим линиям. На муравьях все не заканчивается, ибо они образуют животную ризому, большая часть которой может быть уничтожена, но при этом она не перестает самовосстанавливаться. Любая ризома включает в себя линии сегментарности, согласно которым она стратифицирована, территоризована, организована, означена, атрибутирована и т.д.; но также и линии детерриторизации, по которым она непрерывно ускользает. В ризоме каждый раз образуется разрыв, когда линии сегментарности взрываются на линии ускользания, но и линия ускользания является частью ризомы. Такие линии без конца отсылают одни к другим. Вот почему мы никогда не можем отдаться дуализму или дихотомии, даже в рудиментарной форме хорошего или

дурного. Мы создаем разрыв, проводим линию ускользания, но всегда рискуем обнаружить на ней организации, рестратифицирующие совокупность, образования, возвращающие власть означаемому, атрибуции, восстанавливающие субъекта — все, что хотим, от эдиповых возрождений до фашистского отвердения. Группы и индивиды содержат микрофашизмы, требующие только кристаллизации. Да, пырей — тоже ризома. Хорошее и дурное могут быть лишь продуктом активного и временного отбора, каковой следует возобновлять.

Как же движение детерриторизации и процессы ретерриторизации могут не быть относительными, бесконечно разветвляющимися, захваченными друг в друге? Орхидея детерриторизируется, формируя образ, кальку осы; но оса ретерриторизируется на этом образе. Однако оса детерриторизируется, сама становясь деталью аппарата репродукции орхидеи; но она ретерриторизирует орхидею, транспортируя ее пыльцу. Оса и орхидея образуют ризому, будучи неоднородными. Можно было бы сказать, что орхидея имитирует осу, чей образ она воспроизводит в означающей манере (мимесис, мимикрия, приманка и т.д.). Но это верно лишь на уровне страт — параллелизм между двумя стратами, такими, что растительная организация на одной имитирует животную организацию на другой. В то же время речь идет совсем о другом — не об имитации, а о захвате кода, о прибавочной стоимости кода, увеличении валентности, подлинном становлении, становлении-осой орхидеи, становлении-орхидеей осы, и каждое из этих становлений обеспечивает детерриторизацию одного термина и ретерриторизацию другого, причем оба становления сцепляются и сменяются, следуя циркуляции интенсивностей, всегда продвигающей территоризацию еще дальше. Нет ни имитации, ни сходства, а есть взрыв двух гетерогенных серий в линию ускользания, скомпонованную общей ризомой, которая более не может быть ни приписана, ни подчинена какому бы то ни было означаемому. Хорошо сказал Реми Шовен: *«А-паралельная эволюция двух существ, не имеющих*

между собой абсолютно ничего общего»³. Если говорить обобщенно, то возможно, что схемы эволюции вынуждены были оставить прежнюю модель дерева и потомства. В определенных условиях вирус может связываться с зародышевыми клетками и передаваться сам как клеточный ген сложного вида; более того, он мог бы ускользнуть, перейти в клетку совсем иного вида и все же переносить «генетическую информацию», исходящую от первого носителя (например, современные исследования Бенвенисте и Тодаро относительно вируса типа С в его двойном соединении с ДНК бабуина и ДНК некоторых видов домашних кошек). Схемы эволюции будут теперь создаваться не по моделям древовидного происхождения, двигаясь от менее дифференцированного к более дифференцированному, а следуя ризоме, действующей сразу в неоднородном и перескакивающей от одной уже дифференцированной линии к другой.⁴ А еще есть α -параллельная эволюция бабуина и кошки, где первый, явно, не является моделью второй, а вторая — не копия первого (становление-бабуином в кошке не означало бы, что кошка «сделала» бабуина). Мы создаем ризому с нашими вирусами или, скорее, наши вирусы вынуждают нас создавать ризому с другими зверями. Как говорит Жакоб, переносы генетического материала с помощью вирусов или другие процессы — например, слияния клеток, происходящих от разных видов, — все это имеет

³ Chauvin, Rémy. *Entretiens sur la sexualité*. Pion, p. 205.

⁴ О работах R.E. Benveniste и G.J. Todaro см. Christen, Yves. Le rôle des virus dans l'évolution // *La Recherche*, n° 54, mars 1975: «После интеграции-экстракции в клетке вирус может уносить, из-за ошибки удаления, фрагменты РНК своего хозяина и помещать их в новые клетки — кстати, это основа того, что мы называем *генной инженерией*. Отсюда следует, что генетическая информация, присущая одному организму, может быть перенесена в другой благодаря вирусам. Если мы интересуемся экстремальными ситуациями, то можем даже представить, что такой перенос информации мог бы совершиться от одного — более развитого — вида к другому — менее развитому — виду или родительнице предшествующего. Этот механизм, таким образом, сыграл бы роль, обратную той роли, какую эволюция использует классическим образом. Если бы у такого рода передачи информации была бы большая значимость, то в некоторых случаях мы были бы даже вынуждены заменять ретикулярные схемы (с коммуникацией между ветвями после их дифференциации) на схемы в форме кустарника или дерева, которые служат сегодня для репрезентации эволюции» (p. 271).

результаты, аналогичные результатам «омерзительных видов любви, столь дорогих для Античности и Средних веков»⁵. Трансверсальные коммуникации между дифференцированными линиями перемешивают генеалогические деревья. Всегда ищите молекулярную или даже субмолекулярную частицу, с которой мы вступаем в альянс. Мы развиваемся и умираем от наших полиморфных и ризоматических гриппов больше, чем от наследственных болезней, кои сами обладают собственной наследственностью. Ризома — это антигенеалогия.

То же годится для книги и мира: книга — не образ мира, согласно укоренившемуся верованию. Она создает ризому с миром, имеется а-параллельная эволюция книги и мира, книга обеспечивает детерриторизацию мира, но мир осуществляет ретерриторизацию книги, которая в свою очередь сама детерриторизируется в мире (если она на это способна и если она это может). Мимикрия — крайне неудачный концепт, ибо он связан с бинарной логикой, дабы описывать феномены совершенно иной природы. Крокодил не воспроизводит ствол дерева, как и хамелеон не воспроизводит цвета окружающей среды. Розовая Пантера* ничего не имитирует, ничего не воспроизводит, она рисует мир своим цветом, розовое на розовом, это ее становление-миром, способ самой стать невоспринимаемой, а-означающей, создать свой разрыв, свою линию ускользания, вести до конца свою «а-параллельную эволюцию». Мудрость растений: даже когда они существуют в корнях; всегда есть внешнее, где они создают ризому с чем-то еще — с ветром, с животным, с человеком (а также аспект, благодаря которому животные сами создают ризому, и люди тоже, и т.д.). «Опьянение как триумфальное вторжение дерева в нас». И всегда следовать ризоме благодаря разрыву, удлинять, продлевать, ретранслировать линию ускользания, заставляя ее меняться, дабы производить линию еще более

⁵ Jacob, François. *La logique du vivant*. Gallimard, pp. 312, 333.

* Персонаж популярных мультфильмов и комиксов. — Прим. пер.

абстрактную и извилистую в n измерениях, в изломанных направлениях. Сопрягать детерриторизованные потоки. Следовать за растениями: мы начнем с фиксации пределов первой линии согласно кругам сходимости вокруг последовательных сингулярностей; затем мы смотрим — внутри этой линии, — устанавливаются ли новые круги сходимости с новыми точками, расположенными вне пределов и в других направлениях. Писать, создавать ризому, увеличивать свою территорию путем детерриторизации, распространять линию ускользания до того пункта, где она покрывает весь план консистенции на абстрактной машине. «Сначала пойдешь к тому, что посадил, и тщательно проследишь на земле следы дождевых потоков. К настоящему времени дождь, должно быть, далеко разнес семена. Проследи промоинки (*zanjitas*) от дождя и по ним определи направление потока. Затем разыщи тот дурман, который пророс дальше всех от твоего саженца, и все побеги дурмана, выросшие между ними, твои. Позже, когда осыплются семена, ты сможешь расширить свою территорию, следуя дождевым промоинкам от одного растения к другому».⁶ Музыка не перестает испускать свои линии ускользания, как и «множества, пребывающие в трансформации», даже опрокидывая собственные коды, структурирующие и одревеняющие ее; вот почему музыкальная форма, вплоть до своих разрывов и распространений, сравнима с сорняком и ризомой.⁷

5 и 6. Принцип картографии и декалькомании*: ризома не ответственна ни за структурную, ни за порождающую модель. Ей чужда любая идея генетической оси как глубин-

⁶ Кастанеда К. *Учение Дона Хуана. Путь знания индейцев яки* // Кастанеда К. *Учение Дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан*. К.: София, 1992, с. 107.

⁷ Boulez, Pierre. *Far volonté et par hasard*. Ed. du Seuil, p. 14: «Вы высаживаете ее где-нибудь в черноземе, и она внезапно начинает размножаться как сорная трава». И там же о музыкальном распространении (р. 89): «Плывущая музыка, где сама нотная запись несет для инструменталиста невозможность сохранять совпадение с пульсирующим временем».

* *Decalcomania* — технология создания и использования переводных картинок. — *Прим. пер.*

ной структуры. Генетическая ось подобна объективному стержневому единству, на котором организуются последовательные стадии; глубинная структура похожа скорее на базовую последовательность, разложимую на непосредственные компоненты, тогда как единство продукта переходит в другое измерение, трансформируемое и субъективное. Таким образом, мы не выходим из репрезентативной модели дерева или корня, будь то стержневого или мочковатого (например, «дерево» Хомского, ассоциированное с базовой последовательностью и представляющее процесс своего порождения согласно бинарной логике). Вариация на тему самой древней мысли. Относительно генетической оси или глубинной структуры мы говорим, что они уже заранее обладают до бесконечности воспроизводимыми принципами *кальки*. Вся логика дерева — это логика кальки и воспроизводства. В лингвистике, как и в психоанализе, объектом такой логики является бессознательное, репрезентирующее себя, кристаллизованное в кодифицированных комплексах, размещенное на генетической оси или распределенное в синтагматической структуре. Она стремится к описанию фактического положения дел, к восстановлению равновесия интерсубъективных отношений или к исследованию бессознательного, которое уже здесь, притаилось в темных закоулках памяти и языка. Логика дерева состоит в калькировании чего угодно, что дано нам уже готовым, начиная со сверхкодирующей структуры или поддерживающей оси. Дерево артикулирует и иерархизирует кальки, кальки подобны листьям дерева.

Все остальное — это ризома, *карта*, а не *калька*. Снимайте карту, но не кальку. Орхидея не воспроизводит кальку осы, она составляет карту вместе с осой внутри ризомы. Если карта противопоставлена кальке, то потому, что она полностью развернута в сторону эксперимента, связанного с реальным. Карта не воспроизводит замкнутое на себя бессознательное, она его конструирует. Она способствует соединению полей, разблокированию тел без органов, их максимальному раскрытию на плане консистенции. Она

сама создает часть ризомы. Карта открыта, она способна к соединению во всех своих измерениях, демонтируема, обратима, способна постоянно модифицироваться. Она может быть разорвана, перевернута, может приспособиться к любому монтажу, может закладываться индивидом, группой или общественной формацией. Ее можно нарисовать на стене, воспринять как Произведение искусства, ее можно построить как политическое действие или как медитацию. Это, возможно, одна из важнейших характеристик ризомы — всегда выступать множественно; нора в этом смысле — животная ризома, и порой она включает в себя чистое различие между линией ускользания в качестве коридора для перемещения и стратами запасов или жилища (например, мускусная крыса). Карта обладает множественными входами в противоположность кальке, всегда отсылающей к «тому же самому». Карта имеет дело с успешностью [*affaire de performance*], тогда как калка всегда отсылает к так называемой «компетенции». В противоположность психоанализу, психоаналитической компетенции, замыкающей каждое желание и высказанное на генетическую ось или сверхкодирующую структуру и растягивающей до бесконечности монотонные калки стадий на этой оси или компоненты в этой структуре, шизоанализ отклоняет любую идею калькированной фатальности, каким бы ни было имя, каким мы ее наделяем, — божественное, анагогическое, историческое, экономическое, структуральное, наследственное или синтагматическое. (Мы ясно видим, что Мелани Кляйн не понимает проблемы картографии одного из своих детей-пациентов, маленького Ричарда, и довольствуется тем, что вытаскивает готовые калки — Эдип, хороший и плохой папа, плохая и хорошая мама, — в то время как ребенок в отчаянии пытается продлить успешность, каковую психоанализ абсолютно недооценивает.⁸) Влечения и частичные объек-

⁸ Ср.: Klein, Mélanie. *Psychanalyse d'un enfant*. Чу [Tchou]: роль военных карт в деятельности Ричарда.

ты не являются ни стадиями на генетической оси, ни позициями в глубинной структуре, это — политические взгляды на проблемы, на входы и выходы, на тупики, политически переживаемые ребенком, то есть всей силой его желания.

И все же, не восстанавливаем ли мы простой дуализм, противопоставляя карты и кальки как хорошую и плохую стороны? Не является ли особенностью карты то, что она может быть скалькирована? Не является ли характерным для ризомы пересекать корни, а иногда и смешиваться с ними? Не содержит ли карта феноменов избытка, уже подобных ее собственным калькам? Нет ли у множества собственных страт, где укореняются унификации и тотализации, омассовления, миметические механизмы, означающие захваты власти, субъективные присвоения? Даже линии ускользания — не собираются ли они, под прикрытием своего вероятного расхождения, воспроизводить формации, кои им надлежало бы разрушать или перенаправлять? Но обратное так же верно, тут встает вопрос метода: *всегда нужно переносить кальку на карту*. И такая операция вовсе не симметрична предыдущей операции. Ибо, строго говоря, было бы неточным сказать, что калька воспроизводит карту. Она, скорее, похожа на фотографию, на рентгеновский снимок, который начинал бы с отбора или изоляции того, что у кальки есть интенция воспроизводить с помощью искусственных средств, с помощью окрашивания или других принудительных процедур. Именно то, что имитирует, всегда создает свою модель и привлекает ее. Калька уже перевела карту в образ, она уже трансформировала ризому в корни и корешки. Она организовала, стабилизировала, нейтрализовала множества, следуя своим собственным осям означивания и субъективации. Она генерировала, структурировала ризому, и калька больше не воспроизводит ничего, кроме себя самой, когда полагает, будто воспроизводит что-то другое. Вот почему она так опасна. Она впрыскивает избытки и распространяет их. Из карты или ризомы

калька производит только тупики, преграды, зародыши стержня или точки структурирования. Взгляните на психоанализ и на лингвистику: первый всегда вытаскивает только кальки или фотографии бессознательного, вторая — кальки или фотографии языка со всеми изменениями, которые это предполагает (неудивительно, что психоанализ прикрепляет свою судьбу к судьбе лингвистики). Взгляните, что уже происходило с маленьким Гансом в чистом психоанализе ребенка: ему не переставали ЛОМАТЬ ЕГО РИЗОМУ, МАРАТЬ ЕГО КАРТУ, вновь разглаживать ее для него, блокировать ему любой выход до тех пор, пока он не возжелает собственного страха и вины, пока в нем не укоренятся стыд и вина, Фобия (мы ограждаем его от ризомы здания, затем от ризомы улицы; мы укореняем его в постели родителей, высаживаем корешки на его собственном теле, блокируем на профессоре Фрейде). Фрейд явно принимает в расчет картографию маленького Ганса, но всегда лишь ради того, чтобы наложить ее на семейную фотографию. И посмотрите, что делает Мелани Кляйн с геополитическими картами маленького Ричарда: она вытягивает из них фотографии, она делает кальки; примите позу и следуйте оси, генетической стадии или структуральной судьбе; мы ломаем вашу ризому. Мы позволим вам жить и говорить при условии, что вам закупорят любой выход. Когда ризома закупорена, превращена в дерево — все кончено, ничего больше не передает желания, ибо именно благодаря ризоме желание всегда продвигается и производится. Каждый раз, когда желание следует дереву, имеют место внутренние выпадения, опрокидывающие его и ведущие к смерти; но ризома действует на желаниях с помощью внешних и продуктивных толчков.

Вот почему так важно опробовать другую операцию, обратную, но не симметричную. Воссоединить кальки на карте, привести корни или деревья к ризоме. Изучать бессознательное в случае маленького Ганса — значило бы показывать, как он пытается конституировать ризому с

отчим домом, а также с линией ускользания здания, улицы и т.д.; каким образом эти линии оказываются загороженными, как ребенок вынуждает себя укорениться в семье, фотографироваться под отца, копировать материнскую постель; а затем, как вмешательство профессора Фрейда обеспечивает захват власти означаемым в качестве субъективации аффектов; как ребенок может ускользнуть лишь под видом становления-животным, воспринимаемым как постыдное и виновное (становление-лошадью маленького Ганса, подлинный политический выбор). Но всегда можно было бы перерасположить тупики на карте, открывая их, таким образом, в возможные линии ускользания. То же применимо и к карте группы — показать, в какой точке ризомы образуются феномены омассовления, бюрократии, лидерства, фашизации и т.д., какие линии, тем не менее, выживают, даже оставаясь подземными, исподволь продолжая создавать ризому. Метод Делиньи: создавать карту жестов и движений аутичного ребенка, комбинировать несколько карт для одного и того же ребенка, для нескольких детей...⁹ Если правда, что карта или ризома имеют по существу множественные входы, будем считать, что в нее можно войти путем кáлек или дорогой деревьев-корней, с учетом необходимых предосторожностей (здесь мы вновь отказываемся от манихейского дуализма). Например, мы часто будем вынуждены свернуть в тупики, пройти через означающие могущества [pouvoirs] и субъективные привязанности, опереться на эдиповы, параноические или того хуже формации, как на затвердевшие территориальности, которые делают возможными другие трансформационные операции. Возможно даже, что психоанализ служит точкой опоры, пусть и вопреки себе. В других случаях, наоборот, обопремся прямо на линию ускользания, позволяющую взрывать страты, разрывать корни и создавать новые соединения. Таким образом, существует не-

⁹ Deligny, Fernand. Voix et voir // *Cahiers de l'immuable*, Recherches, avril 1975.

сколько крайне разных сборок — карты-кальки, ризомы-корни с переменными коэффициентами детерриторизации. В ризомах существуют структуры дерева или корней, но верно и обратное: ветка дерева или сегмент корня могут начать распускаться в ризому. Определения мест зависят здесь не от теоретических анализов, предполагающих универсалии, а от прагматики, komponующей множества или совокупности интенсивностей. В сердцевине дерева, в полости корня или в развилке ветви может образоваться новая ризома. Или эдакий микроскопический элемент дерева-корня, корешок, начинающий производство ризомы. Бухгалтерия, бюрократия действуют посредством кáлек — однако они могут начать распускаться, пускать черенки ризомы, как в романе Кафки. Интенсивная черта принимается работать на себя, галлюцинаторное восприятие, синестезия, извращенная мутация, игра образов отделяются, и гегемония означающего оказывается снова поставленной под вопрос. Жестикуляционные, мимические, игровые и т.д. семиотики вновь обретают свою свободу у ребенка и освобождаются от «кальки», то есть от доминирующей компетентности языка учителя — микроскопическое событие сотрясает равновесие локальной власти. Таким образом, порождающие деревья, построенные по синтагматической модели Хомского, могли бы раскрыться во всех смыслах-направлениях и в свою очередь образовать ризому.¹⁰ Быть ризоморфным — значит производить стебли и волокна, которые кажутся корнями, или, лучше, связываются с последними, проникая в ствол, рискуя заставить их служить новыми странными способами. Мы устали от дерева. Мы не должны больше верить деревьям, их корням, корешкам, мы слишком пострадали от этого. Вся древовидная культура основана на них — от биологии до лингвистики. Напротив,

¹⁰ Ср.: Wunderlich, Dieter. *Pragmatique, situation dénonciation et Deixis* // *Langages*, №26, juin 1972, pp. 50 sq.: попытки Мак Коули [de Mac Cawley], де Садок [de Sadock] и де Вандерлиха [de Wunderlich], направленные на то, чтобы ввести «прагматические соответствия» в деревья Хомского.

ничто не красиво, не любо, не политично, кроме подземных отростков и надземных корней, сорняков и ризомы. Амстердам — город, который совсем не укоренен, город-ризома со своими каналами-стеблями, где утилитарность соединяется с самым великим безумием — в своем отношении с коммерческой машиной войны.

Мысль не древовидна, мозг не является ни разветвленной, ни укорененной материей. То, что мы неверно называем «дендритами», не обеспечивает связи нейронов в непрерывной ткани. Прерывистость клеток, роль аксонов, функционирование синапсов, существование синаптических микро-расселин, перескакивание каждого сообщения поверх этих расселин образуют из мозга множественность, которая омывает — в своем плане консистенции или в своей глии* — всю неопределенную вероятностную систему, *uncertain nervous system*** . У многих людей в голове сидит дерево, но сам мозг — это скорее некая трава, нежели дерево. «Аксон и дендрит обвиваются один вокруг другого как вьюнок вокруг колючего кустарника, с синапсом на каждом шипе». ¹¹ То же годится и для памяти... Невропатологи, психофизиологи различают долговременную память и кратковременную память (порядка одной минуты). Такое различие не только количественное: кратковременная память — нечто типа ризомы, диаграммы, тогда как долговременная является древовидной и централизованной (отпечаток, энграмма***, калька или фотография). Кратковременная память вовсе не подчиняется закону смежности или непосредственности в отношении своего объекта, она может располагаться на некоторой дистанции, приходить или возвращаться много позже, но всегда в условиях пре-

* Вспомогательные клетки нервной ткани, обеспечивающие условия для функционирования нейронов. — *Прим. пер.*

** Отсылка к книге: Burns B.D. *The Uncertain Nervous System*. L.: Arnold, 1968 [Бернс Б. Д. Неопределенная нервная система]. — *Прим. пер.*

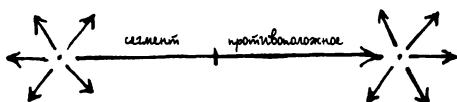
¹¹ Rosé, Steven. *Le cerveau conscient*. Ed. du Seuil, p. 97 и по поводу памяти pp. 250 sq.

*** Устойчивые структурно-функциональные следы памяти в мозге. — *Прим. пер.*

рывности, разрыва и множественности. Более того, обе памяти различаются не как два темпоральных модуса восприятия одного и того же; это не одно и то же, не одно и то же воспоминание и даже не одна и та же идея, схватываемая обеими памятьми вместе. Великолепие кратковременной Идеи: мы пишем, пользуясь кратковременной памятью и, следовательно, благодаря кратковременным идеям, даже если читаем и перечитываем благодаря долговременной памяти долговременных концептов. Кратковременная память включает в себя забвение как процесс; она смешивается не с мгновением, а с коллективной, темпоральной и нервной ризомой. Долговременная память (семья, раса, общество или цивилизация) копирует и переводит; но то, что она переводит, продолжает в ней действовать на расстоянии, некстати, «несвоевременно», не мгновенно.

Дерево или корень инспирируют печальный образ мысли, не перестающий имитировать множественное, начиная с высшего единства, центра или сегмента. Действительно, если мы рассматриваем совокупность ветви—корни, то ствол играет роль *сегмента, противопоставленного* одной из под-совокупностей, идущей снизу вверх — такой сегмент будет «диполем связи», в отличие от «диполей-единств», образующих лучи, распространяемые из единственного центра.¹² Но связи могут размножаться

¹² Ср.: Pacotte, Julien. *Le réseau arborescent, schème primordial de la pensée*. Hermann, 1936. Эта книга анализирует и развивает различные схемы форм древовидности, которая представлена не как простой формализм, но как «реальное основание формальной мысли». Он доводит до конца всю классическую мысль. Он собирает все формы «Одного—Двух», теорию диполя. Совокупность ствол—корни—ветви дает повод для следующей схемы:



Совсем недавно Мишель Серр проанализировал разнообразия и последовательности деревьев в самых разных научных областях: каким образом дерево формируется, начиная с «сети» (*La traduction*. Ed. de Minuit, pp. 27 sq.; *Feux et signaux de brume*. Grasset, pp. 35 sq.).

сами, как в системе корешков; мы никогда не выходим за Один—Два и лишь поддельных множеств. Регенерации, воспроизведения, возвращения, гидры и медузы не позволяют нам более выйти отсюда. Древовидные системы суть иерархические системы, включающие в себя центры означивания и субъективации, центральные автоматы как организованные воспоминания. Дело в том, что соответствующие модели таковы, что элемент получает там свою информацию только от высшего единства и субъективных аффектаций, из заранее установленных связей. Мы хорошо это видим в актуальных проблемах информатики и электронных машин, все еще сохраняющих самую старую мысль в той мере, в какой они наделяют властью память или центральный орган. В прекрасной статье, разоблачающей «тиражирование картинок древовидностей типа заповеди» (централизованные системы или иерархические структуры), Пьер Розентьель и Жан Петито [Pierre Rosentstiehl et Jean Petitot] замечают: «Допустить примат иерархических структур значит предпочесть древовидные структуры. <...> Древовидная форма допускает топологическое объяснение. <...> В иерархической системе индивид допускает только одного активного соседа, своего иерархического начальника. <...> Каналы передачи установлены заранее — древовидность существует раньше индивида, который интегрируется в точно заданное место» (означивание и субъективация). Авторы замечают по этому поводу, что даже тогда, когда мы верим, будто достигли множества, то, возможно, такое множество окажется извращенным — тем, что мы называем корешковым типом, — ибо его мнимо неиерархические презентация или высказанное допускают фактически только абсолютно иерархическое решение: отсюда и знаменитая *теорема о дружбе*, «если в обществе у двух каких-либо индивидов есть один и тот же общий друг, тогда существует индивид, дружественный всем остальным» (как говорят Розентьель и Петито: кто этот общий друг? кто «универсальный друг такого сообщества из пар: хозяин, исповедник, врач? столько идей,

странно удаленных от первоначальных аксиом»; кто этот друг человеческого рода? итак, *фило-соф* — такой, каким он предстает в классической мысли, даже если и является абортированным единством, кое оценивается только через свое отсутствие или субъективность, говорящий: я ничего не знаю, я — ничто?). В этом отношении авторы говорят о теоремах диктатуры. Таков, действительно, принцип деревьев-корней, или исход, решение корешков, структура Власти.¹³

Этим центрированным системам авторы противопоставляют а-центрированные системы, сети конечных автоматов, где коммуникация осуществляется от одного соседа к какому-то еще соседу, где стволы и каналы не существуют заранее, где все индивиды взаимозаменяемы и определяются только *состоянием* на данный момент — так, что локальные операции координируются, а глобальный конечный результат синхронизируется независимо от центральной инстанции. Трансдукция состояний интенсивности замещает топологию, и «граф, регулирующий циркуляцию информации, неким образом противоположен иерархическому графу... У графа нет никакого резона быть деревом» (мы называли карту таким графом). Проблема машины войны или Firing Squad*: нужен ли генерал, чтобы *n* индивидов одновременно достигли состояния *воодушевления*? Решение без Генерала найдено для а-центрированного множества, включающего в себя некое число состояний и сигналов соответствующей скорости — с точки зрения ризомы войны или логики герильи**, без кальки, без копирования какого-то центрального порядка. Мы даже доказываем, что такие машинные множественности, сборка или общество отбрасываются как «асо-

¹³ Rosenstiehl, Pierre; Petitot, Jean. Automate asocial et systèmes acentrés // *Communications*, №22, 1974. Относительно теоремы о дружбе см.: Wilf H.S. *The Friendship Theorem in Combinatorial Mathematics*. Welsh Académie Press; и относительно теоремы того же типа, именуемой теоремой о коллективной нерешительности см.: Aitow K.J. *Choix collectif et préférences individuelles*. Calmann-Lévy.

* Расстрельная или салютная команда (англ.). — *Прим. пер.*

** Партизанская война в Испании и Латинской Америке. — *Прим. пер.*

циальный чужак», как центрирующий, унифицирующий автомат.¹⁴ С тех пор N — это действительно всегда $n-1$. Розентель и Петито настаивают, что противопоставление центрированное—ацентрированное ценно не столько для вещей, сколько для того, на что оно указывает лишь через способ исчисления, применяемый им к вещам. Деревья могут соответствовать ризоме, либо же, наоборот, распускаться в ризому. И в целом верно, что одна и та же вещь допускает два способа исчисления или два типа регулирования, но так, чтобы уж особенно не менять состояние в одном и другом случае. Для примера еще раз обратимся к психоанализу: не только в своей теории, но и в практике исчисления и лечения он подчиняет бессознательное древовидным структурам, иерархическим графам, повторным воспоминаниям, центрированными органами, фаллосу, древу-фаллосу. В этом отношении психоанализ не может изменить метод — на диктаторской концепции бессознательного он основывает собственную диктаторскую власть. Тактика маневрирования психоанализа также крайне ограничена. В психоанализе, как и в его объекте, всегда есть генерал или начальник (генерал Фрейд). Напротив, рассматривая бессознательное как а-центрированную систему, то есть как машинную сеть конечных автоматов (ризому), шизоанализ достигает совершенно иного состояния бессознательного. Те же замечания приложимы и к лингвистике; Розентель и Петито вполне по праву рассматривают возможность «а-центрированной организации сообщества

¹⁴ *Ibid.* Принципиальный характер а-центрированной системы состоит в том, что локальные инициативы координированы независимо от центральной инстанции, что исчисление осуществляется во всей сети в целом (множество). «Вот почему единственное место, где может быть конституирована картотека личностей, находится у самих этих личностей, только и способных нести свое описание и удерживать его на современном уровне: общество — единственно возможная картотека личностей. Естественно, а-центрированное общество отбрасывает централизирующий автомат как асоциального чужака» (с. 62). О «теореме Firing Squad» с. 51–57. Бывает, что и генералы, мечтая присвоить формальные методы герильи, вызывают к *множествам* «синхронных модулей», «на основе многочисленных, но независимых легких клеток», теоретически подразумевающих лишь минимум центральной власти и «иерархических реле-переключателей». См. также: Brossollet, Guy. *Essai sur la non-bataille*. Belin, 1975.

слов». Для высказываемых, как и для желаний, речь никогда не идет о том, чтобы редуцировать бессознательное, чтобы интерпретировать последнее, чтобы вынудить его означать по модели дерева. Речь идет о том, чтобы *производить бессознательное* и, вместе с ним, новые высказываемые, иные желания — ризома и есть такое производство самого бессознательного.

Любопытно, как же дерево стало господствовать над западной реальностью и всей западной мыслью, от ботаники до биологии и анатомии, а также над гносеологией, теологией, онтологией, над всей философией... — фундамент-корень, *Grund, roots и foundations*.^{*} У Запада привилегированные отношения с лесом, с вырубкой леса; отвоєванные у леса поля засеяны семенными растениями, объектом культуры потомств древовидного вида и типа; скотоводство, в свою очередь, разворачивается на паровых землях, на отборе потомства, формирующего все древовидное животное в целом. Восток представляет другую фигуру — отношение, скорее, со степью и садом (в иных случаях, с пустыней и оазисом), а не с лесом и полем; культура клубней, продолжающаяся благодаря фрагментации индивида; отстранение, заключение в скобки скотоводства, ограниченного на огороженных участках либо выброшенного в степь кочевников. Запад — это агрикультура потомства, отобранного благодаря большому числу переменных индивидов; Восток — садоводство небольшого числа индивидов, отсылающих к большой гамме «клонов». Не происходит ли на Востоке, особенно в Океании, все так, как и в ризоматической модели, во всех отношениях противопоставляющей себя западной модели дерева? Одрикур усматривает здесь даже причину противостояния между милой Западу моралью или философией трансцендентности и присущей Востоку философией имманентности: Бог, который сеет и косит, в противоположность Богу, который втыкает и выкапывает

^{*} *Grund, roots et foundations* — почва, корни и основания (нем., англ., франц.). — Прим. пер.

(втыкание против засеивания).¹⁵ Трансцендентность — чисто европейская болезнь. И это не та же самая музыка, у земли здесь не та же музыка. И это совсем не та же самая сексуальность — семенные растения, даже воссоединяющие два пола, подчиняют сексуальность модели воспроизводства; ризома же, напротив, есть высвобождение сексуальности не только по отношению к воспроизводству, но и в отношении способности к половому размножению или генитальности. Что касается нас, то дерево проросло в наших телах, оно сделало твердой и стратифицировало даже нашу половую принадлежность. Мы утратили ризому или траву. Генри Миллер: «Китай — это сорняк на капустной грядке человечества. <...> Сорняк — это Немезида человеческих усилий. Из всех воображаемых существований, какие мы соотносим с растениями, животными и звездами, возможно именно сорняк ведет самую мудрую жизнь. Верно, что трава не производит ни цветов, ни авианосцев, ни Нагорных проповедей. <...> Но, в конце концов, последнее слово всегда именно за травой. В конечном счете, все возвращается к китайскому государству. К тому, что историки обычно называют сумерками Средневековья. Выход лишь один — трава. <...> Трава существует только между великими необработанными пространствами. Она заполняет пустоты. Она прорастает между и посреди других вещей. Цветок красив, капуста полезна, мак сводит с ума. Но трава — то, что переливается через край, вот урок морали».¹⁶ — О каком Китае говорит Миллер, о старом или современном, о выдуманном или каком-то еще, который являлся бы частью подвижной карты?

¹⁵ О западном сельскохозяйственном возделывании семенных растений и восточном садоводстве клубней, об оппозиции сеять—втыкать, о разных способах скотоводства см.: Haudricourt, «Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui», (*L'Homme*, 1962) и «L'origine des clones et des clans» (*L'Homme*, janvier 1964). Маис и рис — не возражения: они суть злаки, «поздно принятые земледельцами клубней» и обработанные соответствующим образом; возможно, рис «появился как сорняк в канавах с таро». [Таро — травянистое растение семейства аронниковых, культивируемое в тропиках и субтропиках Восточного полушария ради крупных клубней. — *Прим. пер.*]

¹⁶ Miller, Henry. *Hamlet*. Collège, pp. 48—49.

Для Америки надо бы выделить особое место. Конечно, она не свободна от господства деревьев и поиска корней. Мы видим это даже в литературе, в поисках национальной идентичности и даже в европейском восхождении или генеалогии (Керуак вновь отправляется на поиски своих предков). Тем не менее, все то важное, что происходило или происходит, продолжается благодаря американской ризоме — битники, андеграунд, подземное, банды и шайки, последовательный латеральный стремительный рост в непосредственной связи с внешним. Различие между американской и европейской книгами, даже когда американец собирается следовать древовидности. Различие в концепции книги. «*Листья травы*».* И направления в Америке не те же самые — а именно: на Востоке осуществляется древовидный поиск и возврат к старому миру. Но есть и ризоматический Запад — с его индейцами без роду и племени, с его всегда ускользающими пределами, с его неустойчивыми и смещающимися границами. Вся американская «карта» — на Западе, где даже деревья формируют ризому. Америка перевернула направления: она разместила свой Восток на Западе, как если бы Земля стала круглой именно в Америке; а ее Запад — это сама бахрома Востока.¹⁷ (Как раз не Индия, как полагал Одриккур, создает посредника между Западом и Востоком, а именно Америка создает стержень и механизм инверсии.) Американская

* Сборник стихов Уолта Уитмена. — Прим. пер.

¹⁷ Ср.: Fiedler, Leslie. *Le retour du Peau-rouge*, Ed. du Seuil. В этой книге мы находим прекрасный анализ географии, ее мифологической роли в литературе Америки и в инверсии направлений. На Востоке поиск собственно американского кода, а также перекодирования благодаря Европе (Генри Джеймс, Эллиот, Паунд и т.д.); поработительское сверхкодирование на Юге с его собственными руинами и руинами плантаций во времена Гражданской войны (Фолкнер, Колдуэлл); декодирование капитализма, приходящее с Севера (Дос Пассос, Драйзер); но и роль Запада как линии ускользания, где воссоединяются путешествие, галлюцинация, безумие, индеец, перцептивный и ментальный эксперимент, изменчивость границ, ризома (Кен Кизи и его «машина в тумане»; поколение битников и т.д.). Каждый великий американский писатель создает картографию, даже своим стилем; вопреки тому, что происходит у нас, он снимает карту, напрямую связанную с реальными общественными движениями, пересекающими Америку. Например, маркировка географических направлений в любом произведении Фицджеральда.

певица Патти Смит [Patti Smith] поет библию американского дантиста — не ищите корень, следуйте за каналом...

Нет ли также двух типов бюрократии или даже трех (или еще больше)? Западная бюрократия — ее аграрное, кадастровое происхождение, ее корни и поля, деревья и их роль границ, великая перепись населения Вильгельмом Завоевателем, феодализм, политика королей Франции, направленная на то, чтобы основывать Государство на собственности, чтобы перераспределять земли посредством войн, судебных тяжб и браков. Короли Франции выбрали лилию, ибо у этого растения глубокие корни, прикрепляющиеся к склонам. То же ли самое на Востоке? Конечно, слишком легко представить Восток ризомой и имманентностью; но Государство не действует по схеме древовидности, соответствующей предустановленным, древовидным и укорененным классам; это бюрократия каналов, например знаменитая гидравлическая власть со «слабой собственностью», где Государство порождает канализирующие и канализируемые классы (см. то, что никогда не опровергалось в тезисах Виттфогеля). Деспот действует там как река, а не как источник, который был бы еще и точкой, точкой-деревом или корнем; он, скорее, сочетается браком с водами, нежели сидит под деревом; и само дерево Будды становится ризомой; река Мао и Дерево Людовика. Не выступает ли тут снова Америка в качестве посредника? Ибо она действует одновременно благодаря истреблениям, внутренним ликвидациям (не только индейцев, но и фермеров и т.д.) и с помощью внешнего последовательного быстрого роста иммиграции. Поток капитала производит огромный канал, определение количества власти с непосредственными «квантами», где каждый на свой манер получает выгоду от прохождения денежного потока (отсюда миф-реальность бедняка, становящегося миллиардером ради того, чтобы вновь стать бедным): итак, в Америке все объединяется — сразу дерево и канал, корень и ризома. Не бывает универсального капитализма и капитализма в себе, капитализм находится

на перекрестке всех типов формаций, он по природе всегда нео-капитализм, он изобретает — все время к худшему — свои восточное и западное лица и искажает их оба.

В то же время — со всеми этими географическими распределениями — мы на неверном пути. Тупик — тем хуже. Если речь идет о демонстрации того, что у ризом также есть свой собственный деспотизм, своя собственная иерархия, причем еще более жесткая, то тем лучше, ибо нет дуализма — нет онтологического дуализма здесь и там, нет аксиологического дуализма плохого и хорошего, нет американского синтеза или смеси. В ризомах, ризоматических прорастаниях в корнях существуют узлы древоподобного разветвления. Более того, есть деспотические формации, имманентности и канализирования, присущие ризомам. Есть анархические деформации в трансцендентной системе деревьев, надземных корней и подземных стеблей. Важно, что дерево-корень и ризома-канал не противопоставляются как две модели — одна действует подобно трансцендентным модели и кальке, даже если она порождает свои собственные ускользания; другая действует как имманентный процесс, опрокидывающий модель и намечающий карту, даже если она конституирует свои собственные иерархии, даже если она создает деспотический канал. Речь идет ни о том или ином месте на земле, ни о том или ином моменте в истории, и менее всего о той или иной категории в разуме. Речь идет о модели, которая не перестает воздвигаться и углубляться, и о процессе, который не перестает продолжаться, разбиваться и возобновляться. Иной или новый дуализм? Нет. Проблема письма — абсолютно необходимы неточные выражения, дабы обозначить что-либо точно. И вовсе не потому, что следовало бы пройти рядом, вовсе не потому, что мы могли бы действовать лишь с помощью аппроксимаций: неточность — вовсе не аппроксимация, напротив, это точный проход того, что создается. Мы взываем к одному дуализму ради того, чтобы отвергнуть другой.

Мы пользуемся дуализмом моделей лишь для того, чтобы достичь процесса, который отверг бы любую модель. Каждый раз нужны церебральные корректоры, разбивающие дуализмы, которые мы и не хотели создавать, но через которые мы проходим. Достичь магической формулы, каковую все мы ищем: ПЛЮРАЛИЗМ = МОНИЗМ, проходя через все дуализмы, кои суть враги, но враги совершенно необходимые, мебель, которую мы постоянно переставляем.

Подытожим принципиальные характеристики ризомы — в отличие от деревьев и их корней, ризома соединяет какую-либо одну точку с любой другой точкой, и каждая из ее черт не отсылает с необходимостью к чертам той же природы, она вводит в игру крайне разные режимы знаков и даже состояния не-знаков. Ризома не позволяет себе вернуться ни к Одному, ни к многому. Она не Одно, которое становится двумя, ни даже которое прямо стало бы тремя, четырьмя, пятью и т.д. Она — не многое, выводимое из Одного, или к которому добавляется Одно ($n+1$). Она сделана не из единиц, а из измерений, или, скорее, из подвижных направлений. У нее нет ни начала, ни конца, но всегда — середина, из которой она растет и переливается через край. Она конституирует линейные множества с n измерениями, без субъекта и объекта, — множества, которые могут быть выложены на плане консистенции и из которых всегда вычитается единица ($n-1$). Такое множество меняет свои измерения, только меняя собственную природу и подвергая себя метаморфозам. В противоположность структуре, определяемой совокупностью точек и позиций, бинарными отношениями между этими точками и дву-однозначными отношениями между позициями, ризома сделана только из линий — из линий сегментарности, стратификации как измерений, а также линий ускользания или детерриторизации как ее максимального измерения, согласно которому и следуя ему, множественность подвергается метаморфозам, меняя природу. Мы не будем смешивать такие линии, или очер-

тания, с потомствами древовидного типа, являющимися лишь локализуемыми связями между точками и позициями. В противоположность дереву, ризома — не объект воспроизводства: ни внешнего воспроизводства в качестве дерева-образа, ни внутреннего воспроизводства в качестве структуры-дерева. Ризома — это антигенеалогия. Это кратковременная память или анти-память. Ризома действует благодаря вариации, экспансии, завоеванию, захвату, уколу. В противоположность графическому изображению, рисунку или фотографии, в противоположность калькам, ризома имеет дело с картой, которая должна быть произведена, сконструирована, всегда демонтируема, связуема, пересматриваема, модифицируема — в множественных входах и выходах со своими линиями ускользания. Именно кальки нужно переносить на карты, а не наоборот. В противоположность центрированным (даже полицентрированным) системам с иерархической коммуникацией и предустановленными связями, ризома является а-центрированной, неиерархической и незначающей системой — без Генерала, без организаторской памяти или центрального автомата, уникально определяемых лишь циркуляцией состояний. Что подлежит обсуждению в ризоме, так это ее отношение с сексуальностью, а так же с животным, растением, миром, политикой, книгой, с естественными и искусственными вещами, — отношение, полностью отличное от древовидного отношения: любые виды «становлений».

Плато всегда посреди — ни в начале, ни в конце. Ризома состоит из плато. Грегори Бейтсон использует слово «плато», дабы обозначить нечто весьма особенное — непрерывный, сам по себе вибрирующий регион интенсивностей, который развивается, избегая любой ориентации на точку кульминации или на внешнюю конечную цель. Бейтсон приводит в качестве примера культуру Бали, где сексуальные игры мать—ребенок или ссоры между мужчинами проходят через такую странную интенсивную стабилизацию. «Вид непрерывного плато интен-

сивности замещается оргазмом», войной или точкой кульминации.¹⁸ Соотносить выражения и действия с внешними или трансцендентными целями, вместо того чтобы оценивать их на плане имманентности согласно их собственной ценности — вот досадная черта западного ума. Например, поскольку книга сделана из глав, у нее есть свои точки кульминации, свои точки завершения. Напротив, что же происходит с книгой, сделанной из плато, сообщающихся между собой через микротрещины, как в мозгу? Мы называем «плато» любое множество, соединимое с другими посредством близких к поверхности подземных стеблей так, чтобы формировать и распространять ризому. Мы пишем эту книгу как ризому. Мы составили ее из плато. Мы придали ей циркулярную форму, но так, чтобы можно было посмеяться. Каждое утро мы просыпались, и любой из нас спрашивал себя, за какое плато он собирается взяться, набрасывая пять строк здесь, десять — там. У нас были галлюцинаторные опыты, мы увидели линии-строчки, подобные колоннам маленьких муравьев, покидающих одно плато, дабы завоевать другое. Мы создавали круги схождения. Каждое плато может быть прочитано с любого места и находиться в соединении с каким угодно другим местом. Для множественного требуется метод, который бы эффективно его создавал; никакое типографское хитроумие, никакая лексическая уловка, смешивание или образование слов, никакая синтаксическая отвага не могут заменить такой метод. На самом деле все они чаще всего являются лишь миметическими процедурами, предназначенными для рассеяния или разбивания единства, удерживаемого в ином измерении ради книги-образа. Технонарциссизм. Типографские, лексические или синтаксические творения необходимы, только если они перестают принадлежать форме выраже-

¹⁸ «Взамен кульминации предлагается некоторый вид длительного плато интенсивности» (Бейтсон Г. *Экология разума*. М.: Смысл, 2000, с. 144.). Заметим, что слово «плато» классически используется при изучении лукович, клубней и ризом, см.: *Dictionnaire de botanique* de Bâillon, article «Bulbe».

ния скрытого единства, дабы сами смогли стать одним из измерений рассматриваемого множества; мы знаем о редких успехах в этом жанре.¹⁹ Сами мы не сумели такое сделать. Мы лишь использовали слова, функционировавшие для нас как плато. РИЗОМАТИКА=ШИЗОАНАЛИЗ=СТРАТОАНАЛИЗ=ПРАГМАТИКА=МИКРОПОЛИТИКА. Эти слова суть концепты, но концепты — это линии, то есть системы чисел, привязанные к тому или иному измерению множеств (страты, молекулярные цепочки, линии ускользания или разрыва, круги сходимости и т.д.). Мы никоим образом не претендуем на титул науки. Мы знакомы с научностью не более, чем с идеологией, нам известны только сборки. Есть лишь машинные сборки желания как коллективные сборки высказывания. Ни означивания, ни субъективации — писать с *n* [измерениями] (всякое индивидуализируемое высказывание остается пленником доминирующих сигнификаций, любое означенное желание отсылает к субъектам, над которыми оно доминирует). Сборка в своей множественности с необходимостью работает одновременно в семиотическом, материальном и социальном потоках (независимо от возобновления, каковое может быть сделано в научном или теоретическом корпусе). Больше нет деления на три части [tripartition] между полем реальности, т.е. миром, полем репрезентации, т.е. книгой, и полем субъективности, т.е. автором. Но сборка устанавливает соединения между некоторыми множествами, взятыми в каждом из этих порядков так, что у книги нет ни продолжения в следующей книге, ни своего объекта в мире, ни своего субъекта в одном или нескольких авторах. Короче, нам кажется, письма никогда не будет достаточно, [чтобы вещать] от имени внешнего. У внешнего нет ни образа, ни значения, ни субъективности. Книга, как сборка с внешним, против книги—образа мира. Книга-ризома более ни

¹⁹ См. также книгу Casinière, Joëlle de la. *Absolument nécessaire*, Ed. de Minuit, являющуюся подлинно номадической. В связи с этим же см. исследования «Montfaucon Research Center».

дихотомична, ни стержнеобразна, ни мочковата. Никогда не создавайте корень, не выращивайте его, хотя довольно трудно вновь не впасть в эти старые процедуры. «Вещи, приходящие мне на ум, предстают передо мной не благодаря своему корню, а благодаря какой-нибудь точке, расположенной ближе к их середине. Попробуйте тогда сдерживать их, попробуйте удержать былинку, начинающую расти только из середины ствола, схватившись за нее».²⁰ Почему это так трудно? Тут уже вопрос перцептивной семиотики. Нелегко воспринимать вещи с середины, а не сверху вниз или наоборот, слева направо или наоборот, — попробуйте, и вы увидите, что все меняется. Нелегко увидеть траву в вещах и словах. (Точно так же и Ницше говорил, что афоризм должен бы быть «пережеван», а плато никогда не отделимо от коров, которые его населяют и которые суть также облака небес.)

Мы пишем историю, но пишем всегда с точки зрения оседлости и от имени унитарного аппарата Государства, по крайней мере возможного, даже когда мы говорим о кочевниках. Чего не хватает, так это Номадологии как противоположности истории. Однако здесь есть редкие и крупные успехи — например, что касается крестового похода детей: книга Марсея Швоба, умножающая повествования, как столь многочисленные плато с переменными измерениями. Книга Анджеевского «Врата рая» составлена из одной непрерывной фразы, потока детей, потока марша с топотом, растягиванием, поспешностью семиотического потока всех детских конфессий, приходящих к старому монаху во главе процессии, дабы заявить о себе, потока желания и сексуальности, причем каждый ребенок лишен любви и более или менее непосредственно ведом темным посмертным и педерастическим желанием графа Вандомского, и все это с кругами схождения — важно не то, что потоки образуют «Единое или многое», мы больше не в них: существует коллективная сборка высказывания, машинная

²⁰ Kafka, *Journal*, Grasset, p. 4.

сборка желания, одно в другом, и разветвления на колоссальном внешнем, совершенно по-разному создающие множества. И затем, самый недавний пример: книга Армана Фарраши [Armand Farrachi] о IV крестовом походе «Дислокация», где фразы расступаются и рассеиваются, сталкиваются и сосуществуют, а буквы, типографика начинают танцевать настолько, насколько крестовый поход впадает в иступление.²¹ Вот модели номадического и ризоматического письма. Письмо сочетается браком с машиной войны и линиями ускользания, оно покидает страты, сегментарности, оседлость, аппарат Государства. Но к чему нужна еще одна модель? Книга — не будет ли она еще одним «образом» крестовых походов? Не существует ли еще одного сохраняемого единства — как стержневого единства в случае Швоба, как абортированного единства в случае Фарраши, как единства погребенного Графа в самом прекрасном случае «Врат Рая»? Нужен ли еще более глубокий номадизм, нежели номадизм крестовых походов, номадизм подлинных кочевников или же номадизм тех, кто больше даже не шевелится и кто ничего не имитирует? Они лишь создают сборку. Каким образом книга обнаруживает достаточное внешнее, с которым она могла бы составить сборку в неоднородном, а не мир, требующий воспроизводства? Будучи культурной, книга с необходимостью является калькой — калькой уже самой себя, калькой предыдущей книги того же автора, калькой других книг, какими бы разными они ни были, нескончаемым копированием тут и там концептов и слов, копировкой настоящего, прошлого или будущего мира. Но и антикультурная книга все еще может быть пронизана слишком тяжелой культурой — однако она будет активно пользоваться забвением, а не памятью, суб-становлением, а не прогрессом в

²¹ Schwob, Marcel. *La croisade des enfants*, 1896; Jersy Andrzejewski, *Les portes du paradis*, 1959, Gallimard; Armand Farrachi, *La dislocation*, 1974, Stock. Именно по поводу книги Швоба Поль Альфандери [Paul Alphandéry] говорил, что в некоторых случаях литература может обновить историю и навязать ей «правильное направление исследований» (*La chrétienté et l'idée de croisade*, t. II, Albin Michel, p. 116).

становлении, номадизмом, а не оседлостью, картой, а не калькой. РИЗОМАТИКА=ПОП-АНАЛИЗ, даже если людям есть чем заняться, нежели читать ее, даже если блоки университетской культуры или псевдонаучности остаются слишком тягостными и тяжеловесными. Ибо наука была бы полностью безумной, если бы мы позволили ей работать [безостановочно]. Взгляните на математику, она — не наука, а необычайный жаргон, к тому же номадический. Даже, и главным образом, в теоретической области любая ненадежная и прагматическая установка лесов лучше, чем калькирование концептов — с их купюрами и достижениями, которые ничего не меняют. Скорее невоспринимаемый разрыв, чем означающая купюра. Кочевники изобрели машину войны против аппарата Государства. Никогда история не включала в себя номадизм, никогда книга не включала в себя внешнее. В течение долгой истории Государство было моделью книги и мысли — логос, философ-король, трансцендентность Идеи, интериорность концепта, республика Ума, трибунал разума, функционеры мысли, человек как законодатель и субъект. Претензия Государства — быть интериоризованным образом мирового порядка и укоренять человека. Но отношения машины войны с внешним — это не другая «модель»; именно сборка является причиной того, что сама мысль становится кочевой, что книга — деталь для всех подвижных машин, ствол для ризомы (Клейст и Кафка против Гете).

Писать к *n*, к *n*—1, писать лозунгами: Создавайте ризому, а не корень, никогда не сажайте! Не сейте — втыкайте! Не будьте ни единым, ни многим — будьте множественностями! Создавайте линию и никогда — точку! Скорость превращает точку в линию!²² Будьте быстрыми, даже стоя на месте! Линия шанса, линия бедра, линия ускользания. Не культивируйте Генерала в себе! Никаких справедливых

²² Ср.: Virilio, Paul. *Véhiculire // Nomades et vagabonds*, 10–18, p. 43: о возникновении линейности и расстройств восприятия благодаря скорости.

идей, только одна идея! (Годар). Обладайте кратковременными идеями. Картографируйте — и никаких фотографий или чертежей. Будьте Розовой Пантерой так, чтобы ваши любовные страсти стали подобны осе и орхидее, коту и бабуину. Мы говорим о старике-реке:

He don't plant tatos
Don't plant cotton
Them that plants them is soon forgotten
But old man river he just keeps rollin along.*

Ризома не начинается и не заканчивается, она всегда посреди, между вещей, меж-бытие, *интермеццо*. Дерево — это преемственность, а ризома — альянс, только альянс. Дерево навязывает глагол «быть», а ризома соткана из конъюнкций «и... и... и...». В этой конъюнкции достаточно силы, чтобы растряссти и искоренить глагол «быть». Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? — вот самые бесполезные вопросы. Стирать [*faire table rase*]*, снова и снова начинать с нуля, искать начало или основание — все это предполагает ложную концепцию путешествия и движения (методика, педагогика, инициация, символика...). Но у Клейста, Ленца или Бюхнера есть другой способ путешествовать: такой, как двигаться, пускаться в путь с середины, посреди, входить и выходить — но не начинать и не заканчивать.²³ Более того, именно американская — и уже английская — литература ясно показала этот ризоматический смысл, сумела двигаться между вещей, устанавливать логику И,

* Примерный, вольный перевод:

Он не сажал картошку,
Он не сажал укроп,
Растений в мире столько,
забыть любой их мог.
Он лишь старик на речке,
катится вдоль проток. — *Прим. пер.*

* Создать *tabula rasa* [чистую доску (*лат.*) — термин философской системы Локка] — *Прим. пер.*

²³ Ср.: Bailly J.-C. *La légende dispersée*, 10–18; описание движения в немецком романтизме, pp. 18 sq.

перевернуть онтологию, отстранить фундамент, аннулировать конец и начало. Она сумела создать прагматику. Дело в том, что середина совсем не среднее, напротив, она — то место, где вещи набирают скорость. *Между* вещей — указывает не на локализуемое отношение, идущее от одного к другому и обратно, а на перпендикулярное направление, трансверсальное движение, уносящее одно *и* другое, ручей без начала и конца, подмывающий оба свои берега и разгоняющийся посередине.

2. 1914: Один волк или несколько?



Поле следов или линия волка

В тот день Человек-волк встал с кушетки особенно усталым. Он знал, что у Фрейда есть дар — приблизиться к истине и пройти рядом с ней, а затем заполнить пробел ассоциациями. Он знал, что Фрейд ничего не понимает в волках, как, впрочем, и в анусах. Единственное, в чем раз-

бирался Фрейд, — в том, что такое собака и собачий хвост. Но этого мало, слишком мало. Человек-волк знал, что Фрейд скоро объявит, будто пациент здоров, хотя это не так, и его лечение вечно будут продолжать Рут Мак Брюн-свик, Лакан, Леклер. Наконец, он знал, что собирается обрести свое подлинное имя — Человек-волк — имя, подходящее ему больше, чем его собственное, ибо оно достигает высшей сингулярности, сразу же предчувствуя родовое множество: волки — но это новое подлинное собственное имя будет искажено, станет орфографической ошибкой, заново переписется в отчестве.

Однако Фрейд, со своей стороны, уже собрался написать несколько весьма необычных страниц. Крайне практических страниц в статье 1915 года о «Бессознательном», касающихся различия между неврозом и психозом. Фрейд говорит, что истерики, или одержимые, — это люди, способные вообще сравнивать носок с влагалищем, шрам с кастрацией и т.д. Несомненно, в то же время они схватывают объект и как целостный, и как утраченный. Но эротически схватывать кожу как множество пор, мелких точек, шрамов или дырочек, эротически схватывать носок как множество петель — вот то, что не пришло бы в голову невротiku, тогда как психотик на это способен: «Мы считаем, что множество мелких каверн помешало бы невротiku использовать их в качестве заместителей женских гениталий»¹. Сравнить носок с влагалищем — это еще куда ни шло, такое мы проделываем ежедневно, но приравнять чистую совокупность петель к полю влагалищ — тут все же надо быть безумным: вот что говорит Фрейд. Здесь есть весьма важное клиническое открытие — открытие того, что задает полное стилистическое различие между неврозом и психозом. Например, когда Сальвадор Дали пытается воспроизвести бред, он может долго говорить об ЭТОМ роге носорога; и все же он не выходит за пределы невропатического дискурса. Но когда он начинает сравнивать мурашки

¹ Freud, *Métopsychoanalyse*, Gallimard, p. 153.

на коже с полем маленьких носорожьих рогов, мы явно чувствуем, что атмосфера меняется и что мы входим в безумие. Идет ли речь все еще о сравнении? Скорее, мы говорим о чистом множестве, меняющем элементы, или *становящемся*. На микрологическом уровне мелкие волдыри «становятся» некими рогами, этими рогами, мелкими пенисами.

Но стоит Фрейду открыть наивысшее искусство бессознательного, эдакое искусство молекулярных множеств, как он сразу же возвращается к молярным единствам и находит знакомые ему темы — *это* отец, *это* пенис, *это* влагалище, *это* кастрация... и т.д. (На самой кромке открытия ризомы Фрейд всегда возвращается к простым корням.) Способ редукции — вот самое интересное в статье 1915 года: он говорит, что сравнения или идентификации невротика ведомы представлениями о вещах, тогда как у психотика остались только представления слов (например, слово *дырка*). «Именно тождество вербального выражения, а не подобие объектов, диктует выбор заместителя». Итак, коли нет единства вещи, есть, по крайней мере, единство и тождество слова. Заметим, что имена берутся здесь в *экстенсивном* употреблении, то есть функционируют как имена нарицательные, обеспечивающие унификацию целокупности, которую они соотносят с какой-либо категорией. Имя собственное может быть лишь крайним случаем имени нарицательного, заключающем в самом себе свое уже прирученное множество и связывающем последнее с неким сущим или объектом, полагаемым как уникальный. Скомпрометировано — и со стороны слов, и со стороны вещей, — именно такое отношение имени собственного — как *интенсивности* — к множеству, каковое оно мгновенно воспринимает. Для Фрейда, когда вещь разрушается и утрачивает свою тождественность, слово все еще здесь, дабы вернуть вещи данную тождественность или изобрести новую. Фрейд полагается на слово ради восстановления единства, коего больше нет в вещах. Не присутствуем ли мы при рождении другой, более поздней авантюры — аван-

туры Означающего, притворной деспотичной инстанции, подменяющей себя а-означающими именами собственными и замещающей множества мрачным единством объекта, объявленного утраченным?

Мы вблизи от волков. Ибо Человек-волк — это также и тот, кто в своем втором, так называемом психотическом эпизоде, постоянно следит за изменениями или подвижной траекторией мелких дырочек или шрамов на коже собственного носа. Но в первом эпизоде, который Фрейд называет невротическим, Человек-волк рассказывает, будто во сне видел шесть или семь сидящих на дереве волков, а нарисовал пять. Кто же, в самом деле, проигнорирует, что волки бродят стаей? Никто, кроме Фрейда. Фрейду не известно то, что знает каждый ребенок. С ложной скрупулезностью Фрейд спрашивает: как объяснить, что во сне было пять, шесть или семь волков? Поскольку Фрейд решил, что это невроз, то он использует иной способ редукции — не вербальное подведение под категорию на уровне представления слов, а свободную ассоциацию на уровне представлений вещей. Результат — один и тот же, ибо речь всегда идет о возврате к единству, к тождеству личности или предположительно утраченного объекта. Вот почему волки должны быть очищены от своей множественности. Такая процедура осуществляется благодаря ассоциации сна со сказкой «Волк и семеро козлят» (из которых только шесть были съедены). Мы присутствуем при редуктивном ликовании Фрейда, мы буквально видим, как множество покидает волков, дабы задействовать козлят, не имеющих абсолютно никакого отношения к истории. Семь волков, которые суть только козлята; шесть волков, так как седьмой козленок (сам Человек-волк) скрывается в ящике от часов; пять волков, ибо, возможно, именно в пять часов он увидел, как его родители занялись любовью, и тогда римская цифра V ассоциируется с эротически раздвинутыми женскими ногами; три волка, так как родители, возможно, занимались любовью три раза; два волка, поскольку в первом совокуплении, увиденном ребенком,

было два родителя *more ferarum**, или даже две собаки; а затем один волк, ибо волк, как мы знали с самого начала, — это отец; и, наконец, ноль волков, поскольку он потерял свой хвост, поскольку он не только кастрируем, но и кастрирует. Кого мы дурачим? У волков нет никакого шанса вырваться и спасти свою стаю — с самого сначала решено, будто животные могут использоваться для того, чтобы представлять коитус между родителями или, наоборот, быть представленными благодаря такому коитусу. Ясно, что Фрейд игнорирует всякое очарование, вызываемое волками, игнорирует значение их немого призыва, призыва стать-волком. Волки наблюдают и фиксируют спящего ребенка; насколько успокоительнее говорить себе, что сон произвел инверсию, что на самом деле ребенок видел собак или родителей, занимающихся любовью. Фрейд знает только эдипизированных волка или собаку, кастрируемого-кастрирующего волка-папу, пса в будке, уа-уа психоаналитика.

Франни слушает передачу о волках. Я говорю ей: ты хотела бы быть волком? Высокомерный ответ — это идиотизм, мы не можем быть одним волком, мы всегда являемся восемью или десятью, шестью или семью волками. Не шестью или семью волками сразу, оставаясь в себе одним волком, а одним волком среди других, с пятью или шестью другими волками. Что важно в становлении-волком, так это — позиция массы и прежде всего позиция самого субъекта по отношению к стае, по отношению к множеству-волку, к тому, как он входит или не входит в стаю, на какой дистанции от нее держится, насколько дорожит и не дорожит множеством. Дабы смягчить жесткость ответа, Франни рассказывает свой сон: «Пустыня. И опять же, нет никакого смысла говорить, будто я в пустыне. Скорее, это похоже на панорамное видение пустыни, причем сама пустыня ни трагична, ни необитаема, она остается пустыней лишь благодаря своему цвету

* Подобно животным (лат.) (совокупление сзади). — Прим. пер.

охры, освещению, жару, отсутствию тени. Внутри нее — кишачья толпа, пчелиный рой, схватка футболистов или группы туарегов. *Я на краю этой толпы, на ее периферии; но я и принадлежу ей, я привязана к ней конечностями моего тела, руками или ногами.* Я знаю, что такая периферия — мое единственно возможное место, я умерла бы, если бы позволила увлечь себя в центр схватки, как, конечно же, если бы я оторвалась от этой толпы. Мою позицию нелегко сохранить, ее даже весьма трудно удержать, ибо все эти существа безостановочно движутся, их движения непредсказуемы и не отвечают никакому ритму. Порой они крутятся, порой идут к северу и вдруг сворачивают на восток, ни один из индивидов, составляющих толпу, не остается на том же самом месте по отношению к другим. А значит, я сама тоже в постоянном движении; все это требует большого напряжения, но и сообщает мне чувство почти головокружительного, неистового счастья». Вот замечательный сон шизофреника. Быть целиком в толпе и — одновременно — полностью вне ее, вдали от нее: бордюр, прогулка Вирджинии Вулф («я никогда больше не скажу: я — это, я — то»).

Проблемы популяции в бессознательном: все, что проходит через поры шизофреника, через вены наркомана, — это копошения, кишения, оживления, интенсивности, расы и племена. Не сказка ли это Жана Рея, сумевшего связать ужас с феноменами микромножественности, — сказка, где белая кожа вздымается волдырями и гнойниками, а через поры проходят гримасничающие и отвратительные карликовые черные головы, которые каждое утро приходится сбривать ножом? А также «лилипутские галлюцинации» в эфире. Один, два, три шизофреника: «Из каждой поры моей кожи прорастают дети» — «А у меня не в порах, а именно в венах прорастают мелкие железные стержни» — «Я не хочу, чтобы мне делали уколы, если только не с камфарным спиртом. Как бы то ни было, в каждой моей поре прорастают груди». Фрейд пытался подступить к феноменам толпы с точки зрения бессознательного, но без соот-

ветствующего понимания [проблемы], он не понял, что само бессознательное является прежде всего толпой. Он был близорук и глух; он принимал толпы за человека. Напротив, у шизофреников острый глаз и чуткое ухо. Они не принимают шум и напор толпы за голос папы. Как-то Юнгу приснились кости и черепа. Кость и череп никогда не существуют в одиночестве. Скопление костей — это множество. Но Фрейд хочет, чтобы этот сон означал смерть *кого-то*. «Удивленный Юнг заметил, что было несколько черепов, а не один. Но Фрейд продолжал...»²

Множество пор, черных точек, мелких шрамов или петель. Грудей, детей и стержней. Множество пчел, футболистов или туарегов. Множество волков, шакалов... Все это не позволяет редуцировать себя, но отсылает нас к определенному статусу формаций бессознательного. Давайте попробуем определить вмешивающиеся сюда факторы: прежде всего нечто, что играет роль полного тела — тела без органов. Это пустыня из предыдущего сна. Это упомянутое дерево, где расселись волки во сне Человека-волка. Это — кожа как конверт или кольцо, носок как выворачиваемая поверхность. Это может быть дом, комната в доме, еще какие-то вещи, да все что угодно. Всякий, кто занимается любовью с любовью — будь то в полном одиночестве, с другим или другими, — конституирует тело без органов. Тело без органов — не пустое тело, лишенное органов, а тело, на котором то, что служит органами (волки, волчьи глаза, волчьи челюсти?), распределяется согласно феноменам толпы, следуя броуновскому движению в форме молекулярных множественностей. Пустыня населена. Таким образом, тело без органов противостоит не столько органам как таковым, сколько организации органов, поскольку последняя компонует организм. Тело без органов является не мертвым телом, а живым, и тем более живым, тем более кишашим, что оно взрывает организм и его организацию. Вши прыгают на морском пляже. Колонии кожи. Полное

² Bennet, E. A. *Ce que Jung a vraiment dit*. Stock, p. 80.

тело без органов — это тело, населенное множественностями. И, конечно же, проблема бессознательного не имеет ничего общего с поколением — скорее, она имеет дело с заселением, с популяцией. Мы имеем дело со всемирной популяцией на полном теле земли, а не с органическим семейным поколением. «Я обожаю изобретать народы, племена, происхождения какой-либо расы... Я возвращаюсь из своих племен. До сего дня я — приемный сын пятнадцати племен, ни больше, ни меньше. И это принятые мной племена, ибо я люблю каждое из них больше, чем если бы родился в них». Нам говорят: все же у шизофреника есть и отец, и мать? К сожалению, нет, как таковых у него их нет. У него есть только пустыня и населяющие ее племена, полное тело и уцепившиеся за него множества.

А отсюда, во-вторых, — природа этих множественностей и их элементов. РИЗОМА. Одна из существенных характеристик сна о множествах состоит в том, что каждый элемент непрестанно варьируется и модифицирует свою дистанцию в отношении других элементов. На носу Человека-волка не прекращают танцевать, расти и уменьшаться элементы, определяемые как поры в коже, мелкие шрамы в порах, маленькие каверны в ткани рубцов. Итак, эти переменные дистанции не являются экстенсивными количествами, которые делятся одни в других; но скорее, каждая из них неделима или «относительно неделима», — то есть, они не делятся выше или ниже некоего порога, они могут увеличиваться или уменьшаться, *лишь изменяя природу своих элементов*. Рой пчел — вот где они выступают как схватка футболистов в полосатых майках или банда туарегов. Или еще: клан волков — под руководством Маугли, бегущего с краю, — удваивается роем пчел против банды Рыжих собак (да, Киплинг лучше, чем Фрейд, понимал призыв волков, их либидинальный смысл; и потом, в случае Человека-волка имеется также история об осах или бабочках, которая следует за историей о волках, мы переходим от волков к осам). Но о чем хотят сказать эти неделимые дистанции, которые непрестанно модифицируются и

которые не делятся или не модифицируются без того, чтобы их элементы каждый раз не изменяли свою природу? Не в этом ли уже состоит интенсивный характер такого рода элементов множества и отношений между ними? Точно так же, как некая скорость, некая температура не составлены из скоростей или из температур, а закутываются в других или окутывают другие [скорости или температуры], которые каждый раз маркируют изменение природы. И именно потому, что метрический принцип этих множеств обнаруживается не в однородной среде, а пребывает в другом месте — в силах, действующих внутри них, в физических феноменах, обитающих внутри них, прежде всего в либидо, которое конституирует их изнутри, но конституирует, только разделяя на качественно различные и переменные потоки. Сам Фрейд признает множество либидинальных «течений», сосуществующих в Человеке-волке. Тем более удивителен тот способ, каким он трактует множества бессознательного. Ибо для него всегда есть редукция к Одному: мелкие шрамы, маленькие дырочки будут подразделениями большого шрама или главной дыры, именуемой кастрацией; волки — заместители одного и того же Отца, коего мы находим везде столько раз, сколько раз мы его установим (как говорит Рут Мак Брюн-свик: вперед, волки, это «все отцы и доктора»; но Человек-волк думает: а моя задница, это тоже волк?).

Надо было сделать обратное, следует понять все это в интенсивности: Волк — это стая, то есть множество, сразу же постигаемая как таковая благодаря ее приближению или удалению от нуля — каждая дистанция неразложима. Ноль — это тело без органов Человека-волка. Если бессознательное не знает отрицания [la negation], то именно потому, что в нем нет ничего негативного, а есть только неопределенные приближения и удаления от нулевой точки, выражающей не отсутствие, а позитивность полного тела как поддержки и опоры (ибо «приток необходим, только чтобы означать отсутствие интенсивности»). Волки обозначают интенсивность, банду интенсивности, порог

интенсивности на теле без органов Человека-волка. Дантист говорил Человеку-волку: «Ваши зубы выпадут из-за шелканья челюстями, вы слишком сильно ими шелкаете» — и в то же самое время его десны покрываются гнойничками и маленькими дырочками.³ Челюсть как высшая интенсивность, зубы как низшая интенсивность, а гноящиеся десны как приближение к нулю. Волк — в качестве мгновенного восприятия множества в данном регионе — это не представитель или заместитель, а некое *я чувствую*. Я чувствую, что становлюсь волком, волком посреди волков, на краю волков; и крик тревоги — единственное, что услышал Фрейд: помогите мне не стать волком (или, напротив, помогите преуспеть в таком становлении). Речь идет не о представлении — не стоит думать, будто мы являемся волком, представляем себя как волка. Волк, волки — это интенсивности, скорости, температуры, переменные неразложимые дистанции. Это роение, волкование. И кто поверит, что у анальной машины не будет ничего общего с машиной волков или что обе они будут воссоединяться только благодаря эдипову аппарату, благодаря слишком человеческой фигуре Отца? Ибо, в конце концов, анус тоже выражает интенсивность; в данном случае он выражает приближение дистанции к нулю — дистанции, которая разлагается только так, что ее элементы изменяют природу. *Поле анусов совсем как стая волков*. И разве не благодаря анусу ребенок, на периферии, удерживает волков? Челюсти опускаются к анусу. Держитесь волков с помощью челюсти и ануса. Челюсть — это не челюсть волка, она не столь проста, но челюсть и волк образуют множество, которое модифицируется в глаз и в волка, в анус и в волка сообразно другим дистанциям, следуя другим скоростям, с другими множественностями в пределах порогов. Линии ускользания или детерриторизации, становление-волком, становление-нечеловеческим детерриторизованных интенсивностей —

³ Brunswick, Ruth Mack. En supplément a l'Histoire d'une névrose infantile de Freud // *Revue française de Psychanalyse*, 1936, № 4.

это и есть множество. Стать волком, стать дырой — значит детерриторизоваться согласно разным перепутанным линиям. Дыра не более негативна, чем волк. Кастрация, нехватка, заместитель — некая история, рассказанная слишком сознательным идиотом, ничего не понимающим в множествах как формациях бессознательного. Волк, а также дыра — это частицы бессознательного, не что иное, как частицы, производство частиц, траектории частиц как элементов молекулярных множеств. Недостаточно даже сказать, что интенсивные и подвижные частицы пройдут через дыры, дыра такая же частица, как и то, что проходит через нее. Физики говорят: дырки — это не отсутствие частиц, а частицы, движущиеся быстрее, чем свет. Летающие анусы, ускоряющиеся влагалища, кастрации нет.

Давайте вернемся к истории *множества*, ибо создание этого существительного было весьма важным моментом; его сотворили именно для того, чтобы избежать абстрактной противоположности между многим и единым, чтобы ускользнуть от диалектики, чтобы суметь продумать многое в чистом состоянии, перестать рассматривать его как числовой фрагмент утраченного Единства или Тотальности, или, напротив, как органический элемент Единства или грядущей Тотальности — и чтобы, скорее, различать типы множеств. Так, у математика и физика Римана мы находим различие между дискретными и непрерывными множествами (причем, эти последние обнаруживают принцип своей метрики только в силах, действующих внутри них). Затем, у Мейнонга и Рассела — различие между множествами величины, или делимости, экстенсивными множествами и множествами дистанции, которые ближе к интенсивным множествам. Наконец, у Бергсона есть различие между числовыми, или протяженными, множествами и качественными, длящимися множествами. Мы продельваем почти то же самое, различая древовидные множества и ризоматические множества. Макро- и микромножества. С одной стороны, экстенсивные, делимые и молярные множества, способные к унификации, тотали-

зации, организации, сознательные или предсознательные — а с другой стороны, либидинальные, бессознательные, молекулярные, интенсивные множества, составленные из частиц, которые делятся, лишь меняя природу, и дистанций, которые варьируются, только входя в другое множество, которые непрерывно создаются и разрушаются в ходе коммуникации, переходя одна в другую внутри некоего порога — либо по ту, либо эту его сторону. Элементы таких последних множеств — это частицы; их отношения суть дистанции; их движения являются броуновскими; их количество — это интенсивность, различие в интенсивности.

Тут есть только одно логическое основание. Элиас Канетти различает два типа множеств, иногда противостоящих друг другу, а иногда пронизывающих друг друга — масса и стая. К характеристикам массы, в смысле Канетти, следовало бы отнести: большое количество, делимость и равенство членов, плотность, общественный характер совокупности, единственность иерархической направленности, организацию территориальности или территориализации, испускание знаков. К характеристикам стаи: малость или ограниченность числа, рассеивание, неразложимые переменные дистанции, качественные метаморфозы, неравенства как остатки или переходы, невозможность фиксированной тотализации или иерархизации, броуновское разнообразие в направлениях, линии детерриторизации, выбросы частиц.⁴ Несомненно, в стаях не больше равенства и не меньше иерархии, чем в массах, но это не одно и то же. Лидер стаи или банды играет ход за ходом, и каждый раз он должен вновь быть в выигрыше, тогда как глава группы или массы закрепляет и превращает в капитал прошлые обретения. Стая, даже в своей местности, конституируется на линии ускользания или детерриторизации, которая является ее частью и которую она наделяет высо-

⁴ Канетти Э. *Масса и власть*. М.: Ad Marginem, 1997, с. 34–36, 106 и далее. Некоторые из указанных выше разногласий отмечают Канетти.

кой позитивной ценностью, тогда как массы только интегрируют такие линии, дабы сегментировать их, препятствовать им, приписывать им отрицательный знак. Канетти замечает, что в стае каждый остается наедине с собой, будучи, однако, с другими (например, волки на охоте); каждый заботится о себе, одновременно участвуя в банде. «Он всегда — как бы ни складывалась конфигурация стаи, в танцах или шествиях, — *с краю*. Он внутри и одновременно на краю, на краю и в то же время внутри. Когда стая сидит вокруг огня, у каждого есть сосед справа и сосед слева, но спина открыта, спина беззащитна перед враждебным пространством».* Мы узнаем позицию шизофреника — быть на периферии, держаться за нее рукой или ногой... Ей мы противопоставляем параноическую позицию субъекта массы, со всеми идентификациями индивида с группой, группы с лидером и лидера с группой; быть крепко схваченным в массе, быть ближе к центру, никогда не оставаться на краю, кроме как по служебной надобности. Почему полагают (как, например, Конрад Лоренц), будто банды и их тип товарищества представляют более примитивное эволюционное состояние, чем общественные группы или супружеские пары? Есть банды не только человеческие, но и особо рафинированные: «светскость» отличается от «социальности» тем, что она ближе к стае, и социальный человек превращает светского в некий внушающий зависть и ошибочный образ, поскольку недооценивает присущие светскости позиции и иерархии, соотношения сил, крайне специфические амбиции и проекты. Светские отношения никогда не соразмерны социальным отношениям и не совпадают с ними. Даже «манерность» (а во всех бандах она есть) принадлежит микромножествам и отличается от социальных манер и обычаев.

Однако речь не о том, чтобы противопоставлять два типа множеств — молярные и молекулярные машины, сле-

* Там же, с. 105. — *Прим. пер.*

дую дуализму, который не лучше, чем дуализм Единого и многого. Есть только множества множеств, формирующие одну и ту же *сборку*, осуществляющиеся в одной и той же *сборке* — стаи в массах, и наоборот. У деревьев есть ризоматические линии, но и у ризомы есть точки древовидности. Как же можно обойтись без громадного циклотрона, дабы производить безумные частицы? Как можно было бы определять линии детерриторизации вне циклов территориальности? Где еще, кроме как в обширных пространствах и в связи с крупными потрясениями в этих пространствах, мог бы внезапно забить тоненький ручеек новой интенсивности? Что же еще не сделано для получения нового звука? Становление-животным, становление-молекулярным, становление-нечеловеческим подразумевают молярное расширение, человеческую гиперконцентрацию или подготавливают последние. У Кафки мы не можем отделить сооружение великой параноидальной бюрократической машины от устанавливания маленьких шизофренических машин становления-собакой или становления-жесткокрылым насекомым. У Человека-волка мы не можем отделить становления-волком из его снов от религиозной и военной организации его навязчивых идей. Воин создает волка, воин создает собаку. Нет двух множеств или двух машин, а есть одна и та же машинная сборка, производящая и распределяющая целое, то есть всю совокупность высказываемого, соответствующего «комплексу». Что нам должен сказать обо всем этом психоанализ? Эдип, ничего, кроме Эдипа, ибо психоанализ ничего и никого не слушает. Он давит все — массы и стаи, молярные и молекулярные машины, множества любого рода. Возьмем, к примеру, второй сон Человека-волка во время его так называемого психотического эпизода: улица, стена с закрытой дверью, слева пустой гардероб; перед гардеробом пациент и крупная дама с маленьким шрамом, которая, как кажется, хочет обогнуть стену; а за стеной волки, спешащие к двери. Даже сама госпожа Брюнsvик не может здесь ошибиться: напрасно она старается узнать себя в крупной даме, она

хорошо видит, что на сей раз волки — это Большевики, революционная масса, опустошившая гардероб и конфисковавшая все нажитое Человеком-волком. *В метастабильном состоянии волки перебегают на сторону великой социальной машины.* Но психоанализ относительно всех этих пунктов не может ничего сказать — за исключением того, что уже сказал Фрейд: все отсылает назад к папе (а знаете, ведь тот был одним из руководителей либеральной партии в России, но это не так уж важно; достаточно сказать, что революция «удовлетворила чувство вины пациента»). Действительно, мы полагали, будто либидо — в своих инвестициях и контринвестициях — не имеет ничего общего с массовыми потрясениями, с движениями стай, с коллективными знаками и частицами желания.

Итак, мало приписать предсознательному молярные множества или массовые машины, резервируя за бессознательным иной род машин или множеств. Ибо именно сборка этих двух множеств самыми разными способами принадлежит бессознательному — так что первые обуславливают вторые, а вторые подготавливают первые, либо убегая от них, либо возвращаясь к ним: либидо омывает все. Принимать в расчет все сразу — способ, каким социальная машина или организованная масса обладают молекулярным бессознательным, которое помечает не только их тенденцию к разложению, но и актуальные компоненты их осуществления и организации; способ, каким тот или иной схваченный в массе индивид сам обладает бессознательным стаи — стаи, не похожей с необходимостью на стаю массы, чьей частью он является; способ, каким индивид или масса будут в собственном бессознательном переживать массы и стаи некой другой массы или некоего другого индивида. Что значит любить кого-то? Это значит — всегда схватывать его в массе, извлекать его из пусть даже небольшой группы, коей он причастен, будь то только семья или что-то иное; а затем искать его собственные стаи, множества, которые он таит в себе и которые, возможно, совершенно иной природы. Присоединять эти

множества к своим, заставить их проникнуть в свои множества и пропитать их своими множествами. Небесные свадьбы, множества множеств. Каждая любовь есть опыт деперсонализации на теле без органов, каковое еще надо сформировать; и именно в наивысшей точки такой деперсонализации некто может быть *именован*, получить свое имя и отчество, обрести самую интенсивную различимость в мгновенном восприятии множественностей, которые принадлежат ему и которым принадлежит он. Стая веснушек на лице, стая подростков, говорящих женским голосом, выводок девушек в голосе господина де Шарлю, орды волков в чьем-то горле, множество анусов в анусе, рот или глаз, заинтересовавшие нас. Каждый проходит через столько тел в каждом. Альбертина медленно извлекается из группы девушек, обладающей своими числом, организацией, кодом и иерархией; и не только все бессознательное целиком оmyвает такую группу, такую ограниченную массу, но и у Альбертины есть свои собственные множества, которые рассказчик, изолировавший ее, обнаруживает на ее теле и в ее лжи — до тех пор, пока конец их любви не вернет ее к неразличимости.

Более того, не следовало бы думать, будто достаточно отличить массы и внешние группы, в которых некто участвует или которым принадлежит, от внутренних совокупностей, каковые он свернул в себе. Такое различие вовсе не является различием между внешним и внутренним, ибо последние всегда относительны, изменчивы и обратимы, это различие между разными типами множеств, сосуществующих, переплетающихся и меняющихся местами — машины, винтики, двигатели и элементы, вмешивающиеся в данный момент, дабы сформировать продуктивную сборку высказываемого: «я люблю тебя» (или еще что-то). Для Кафки Фелица неотделима от некой социальной машины и от парлафонных* машин, чью фирму она пред-

* Парлафон — уникальный аналог граммофона, звук в котором проходил по трубе, а затем через струны. — *Прим. пер.*

ставляет; да и как она могла не принадлежать к этой организации в глазах Кафки, очарованного коммерцией и бюрократией? Но в то же время зубы Фелицы, ее большие плотоядные зубы, заставляют ее ускользать по другим линиям, в молекулярные множества становления-собакой, становления-шакалом... Фелица неотделима одновременно и от знака современных социальных машин, являющихся ее собственными, и от машин Кафки (не тех же самых машин), и от частиц, мелких молекулярных машин, всего странного становления, хода, который Кафка собирается сделать и которые его заставляют сделать через его собственный извращенный аппарат письма.

Нет индивидуального высказываемого, есть только машинные сборки, производящие высказанное. Мы говорим, что сборка фундаментальным образом либидинальна и бессознательна. Вот бессознательное собственной персоной. Теперь мы видим в сборке элементы (или множества) нескольких видов — молярно организованные человеческие, социальные и технические машины; молекулярные машины с их частицами становления-нечеловеческим; эдиповы аппараты (*да, конечно же, есть эдипово высказываемое, и его много*); контр-эдиповы аппараты с переменным ходом и функционированием. Позже мы все это увидим. Мы уже не можем говорить даже о разных машинах, а только лишь о типах множеств, взаимопроникающих и в некий момент формирующих одну и ту же машинную сборку, безликую фигуру либидо. Каждый из нас схвачен в такой сборке, воспроизводит ее высказываемое, когда полагает, будто говорит от своего имени; или, скорее, говорит от своего имени, когда производит ее высказываемое. И насколько странны такие высказанные, подлинный дискурс безумца. Мы упоминали Кафку, но то же можно сказать и о Человеке-волке: религиозно-милитаристская машина, приписываемая Фрейдом неврозу навязчивости; анальная машина стаи или становления-волком, а также осой или бабочкой, приписываемая Фрейдом истерическому характеру; эдипов аппарат, кото-

рый Фрейд считает единственным двигателем, неподвижным двигателем, находимым повсюду; контр-эдиповы аппараты (инцест с сестрой, шизоинцест, или любовь с «людьми нижнего сословия», или анальность, гомосексуализм?) — во всем этом Фрейд видит только заместителей, регрессии и производные Эдипа. На самом деле Фрейд ничего не видит и ничего не понимает. У него нет никакой идеи относительно того, чем является либидинальная сборка со всеми запущенными ею в игру машинериями, со всеми многообразиями любви.

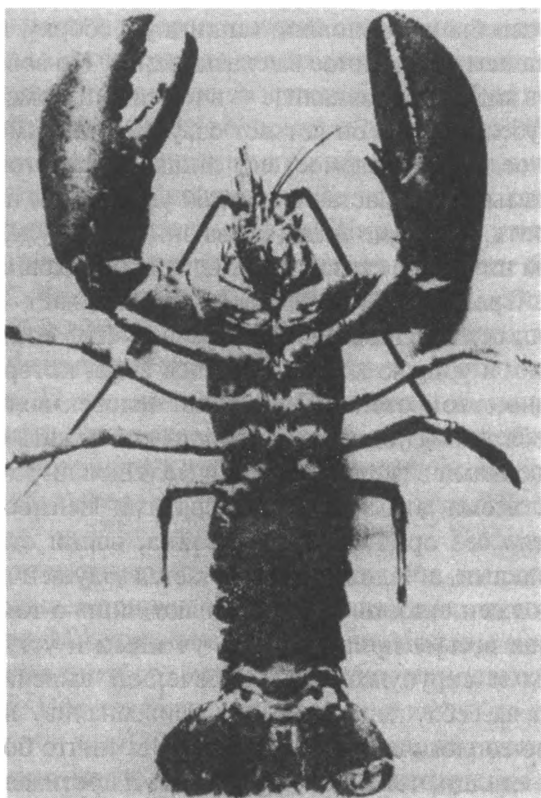
Конечно же, существуют эдиповы высказанные. Например, притчу Кафки «Шакалы и арабы» легко можно прочитать именно так — мы всегда можем проделать это, вы ничего не теряете, такое [ça] проходит всякий раз, даже если вы ничего не понимаете. Арабы явным образом ассоциируются с отцом, шакалы — с матерью; между отцом и матерью разворачивается целая история кастрации, представленная ржавыми ножницами. Но оказывается, что арабы — это организованная, вооруженная, экстенсивная, распространившаяся по всей пустыне масса; а шакалы — интенсивная стая, которая не перестает углубляться в пустыню, следуя линиям ускользания или детерриторизации («глупцы они, истинные глупцы»); между арабами и шакалами — на краю — Человек с севера, Человек-шакал. А большие ножницы — не являются ли они арабским знаком, который управляет частицами-шакалами или выпускает последние, чтобы как ускорять их безумный бег, отделяя от массы, так и возвращать их этой массе, укрощать и пороть, заставляя повернуть назад? Эдипов аппарат насыщения — мертвый верблюд; контр-эдипов аппарат падали — убивать зверей ради еды или пожирать, дабы очищаться от падали. Шакалы хорошо ставят проблему — это не проблема кастрации, а проблема «чистоты», испытание пустыней-желанием. Что восторжествует — территориальность массы или детерриторизация стаи, а может либидо, омывающее всю пустыню как тело без органов, где разыгрывается драма?

Нет индивидуального высказываемого, и никогда не было. Любое высказываемое — продукт машинной сборки, то есть коллективных агентов высказывания (под «коллективными агентами» имеются в виду не народы или общества, а множества). Итак, имя собственное не обозначает индивида — напротив, оно появляется тогда, когда индивид открывается в пересекающие его насквозь множества, на исходе самого сурового опыта деперсонализации, где он обретает свое подлинное собственное имя. Имя собственное — это мгновенное восприятие множества. Имя собственное — это субъект чистого инфинитива, понятого как таковой в поле интенсивности. То, что Пруст говорит об имени: когда я произносил [имя] Жильберты, у меня было впечатление, будто я держу во рту целиком все ее обнаженное тело. Человек-волк — подлинное имя собственное, интимное отчество, отсылающее к становлениям, инфинитивам и интенсивностям размноженного и обезличенного индивида. И что известно психоанализу об умножении? Час пустыни, когда дромадер становится тысячей дромадеров, ухмыляющихся в небесах. Вечерний час, когда тысяча дыр углубляются на поверхности земли. Кастрация, кастрация, кричит психоаналитическое пугало, всегда видящее только дыру, отца или собаку там, где есть волки, всегда видящее прирученного индивида там, где есть дикие множества. Мы упрекаем психоанализ не только за то, что он произвел отбор исключительно эдиповых высказываемых. Ибо такое высказываемое, в какой-то мере, все еще является частью машинной сборки, по отношению к которой оно могло бы служить корректирующим индексом, как при исчислении ошибок. Мы упрекаем психоанализ за использование эдиповых высказываемых, дабы заставить пациента поверить, за то, что он намерен удерживать личные, индивидуальные высказываемые, что он, в конце концов, собирается говорить от своего имени. Итак, ловушка расставлена с самого сначала — Человек-волк не заговорит никогда. Напрасно он будет стараться говорить о волках, быть как волк, Фрейд даже не слушает, он смотрит

на свою собачку и отвечает: «Это папа». Ибо до тех пор, пока такое продолжается, Фрейд говорит, что это невроз, а когда оно разрушается, то это психоз. Человек-волк получит психоаналитическую медаль за службу, выданную за дело, он получит даже алименты, выдаваемые искалеченным ветеранам. Он мог бы заговорить от своего имени, только если бы мы обновили машинную сборку, производящую на нем то или иное высказываемое. Но вовсе не это имеется в виду в психоанализе — в тот самый момент, когда субъект убежден, что он вот-вот озвучит свое самое индивидуальное высказываемое, его лишают всякого условия для высказывания. Заставить людей умолкнуть, помешать им говорить, особенно тогда, когда они говорят, делать вид, будто они ничего не сказали: знаменитый психоаналитический нейтралитет. Человек-волк продолжает кричать: шесть или семь волков! Фрейд отвечает: что? козлята? как интересно, я убираю козлят, остается волк, который, следовательно, твой отец... Потому-то Человек-волк и чувствует себя таким усталым — он остается лежать со всеми своими волками в глотке, со всеми мелкими дырочками на носу, со всеми этими либидинальными ценностями на своем теле без органов. Грядет война, волки становятся большевиками, а Человек-волк остается задушен всем тем, что он должен сказать. Нам сообщают лишь о том, что он снова стал весьма приподнятым, учтивым и уступчивым, «честным и скрупулезным», короче, он вылечился. Он отомстит за себя, напомнив, что психоанализу недостает подлинно зоологического видения: «Нет ничто более ценного для юноши, чем любовь к природе и постижение естественных наук, в особенности зоологии»⁵.

⁵ Письмо цитируется по: Jaccard, Roland. *L'homme aux loups*, Ed. Universitaires, p. 113.

3. 10 000 до нашей эры:
геология морали
(за кого ее принимают, эту землю?)



Двойная артикуляция

Тот самый профессор Челленджер, что заставил Землю вскрикнуть с помощью своей машины боли, как это описано Артуром Конан Дойлом, выступил на конференции, смешав несколько учебников по геологии и биологии так, как это приличествовало его обезьяноподобному облику.

Он объяснил, что Земля — нечто Детерриторизованное, Ледниковое, гигантская Молекула — это тело без органов. Такое тело без органов пронизано бесформенными, нестабильными материями, потоками во всех направлениях, свободными интенсивностями или номадическими сингулярностями, безумными или мимолетными частицами. Но сейчас проблема не в этом. Ибо, в то же самое время, на Земле возникает крайне важный и неизбежный феномен, во многих отношениях благодатный, а в других весьма достойный сожаления — стратификация. Страты были Слоями, Поясами. Их назначение в том, чтобы придавать форму материям, сажать на цепь интенсивности или замыкать сингулярности в системах резонанса и избыточности, конституировать на теле земли большие и малые молекулы и заставлять их входить в молярные совокупности. Страты — это действия захвата, они подобны «черным дырам» или смыканиям, стремящимся охватить все, что попадает в пределы их досягаемости.¹ Они действуют, кодируя и детерриторируя землю; одновременно они развиваются через код и территориальность. Страты — это Божья кара; стратификация вообще — полная система Божьей кары (но земля, или тело без органов, не перестает уклоняться от такой кары, ускользает, дестратифицируется, декодируется и детерриторируется).

Челленджер процитировал фразу, которую, как он утверждал, нашел в учебнике по геологии и которую, как он заявил, нужно постичь всем сердцем, ибо только тогда мы окажемся способны ее понять: «Поверхность стратификации — это более компактный план консистенции, лежащий между двумя слоями». Слои суть сами страты. Они приходят, по крайней мере, парами, причем одна страта служит в качестве *субстраты* для другой. Поверхность же

¹ Omnes, Roland. *L'univers et ses metamorphoses* (Paris: Hermann, 1973), p. 164: «Звезда, схлопнувшаяся настолько, что ее радиус стал меньше критического размера, становится тем, что именуется черной дырой (коллапсировавшая звезда). Данное выражение означает, что все, что посылается в направлении такого объекта, никогда не возвращается. Следовательно, он является абсолютно черным, ибо не излучает и не отражает свет».

стратификации — это машинная сборка, которая не смешивается со стратами. Сборка находится между двумя слоями, между двумя стратами; одной стороной она повернута к стратам (в этом смысле сборка является *интерстратой*), но другой стороной она повернута к чему-то еще, к телу без органов или плану консистенции (здесь она является *метастратой*). В сущности, тело без органов само формирует план консистенции, который уплотняется или сгущается на уровне страт.

Бог — это Омар, или двойная клешня, *double bind**. Страты не только приходят по крайней мере парами, но, к тому же, каждая страта удваивается на свой манер (у нее самой несколько слоев). В сущности, каждая страта предьявляет эффект, связанный с феноменами, образованными *двойной артикуляцией*. Артикулирует дважды, В—А, ВА. Это вовсе не значит, что страты говорят или являются неким языком. Двойная артикуляция столь вариабельна, что мы должны начинать не с общей модели, а лишь с относительно простого случая. Первая артикуляция выбирает, или изымает — из нестабильных потоков частиц — метастабильные молекулярные или квазимолекулярные единства (*субстанции*), на которые она налагает статистический порядок связей и последовательностей (*формы*). Вторая артикуляция устанавливает функциональные, компактные, устойчивые структуры (*формы*) и конструирует молярные композиты, в которых эти структуры одновременно актуализируются (*субстанции*). Так, в геологической страте первая артикуляция является «отложением осадка», которое укладывает единства циклической осадочной породы согласно статистическому порядку — флиш, с его последовательностью песчаника и сланца. Вторая артикуляция — это «складкообразование», устанавливающее устойчивую функциональную структуру и обеспечивающее переход от осадочной породы к осадочной скале.

* Даблбайнд (*англ.*) (термин, введенный Бейтсоном, см.: Бейтсон Г. *Экология разума*. М.: Смысл, 2000, с. 12–16). — *Прим. пер.*

Ясно, что эти две артикуляции не распределяются на артикуляцию для субстанций и артикуляцию для форм. Субстанции — это не что иное, как оформленные материи. Формы подразумевают код, способы кодирования и декодирования. Субстанции как оформленные материи отсылают к территориальностям, к степеням територизации и детерриторизации. Но для каждой артикуляции есть код и территориальность — следовательно, каждая имеет на своем счету форму и субстанцию. Теперь мы можем сказать лишь то, что каждой артикуляции соответствует определенный тип сегментарности или множественности — один тип податлив, в большей степени молекулярен и лишь упорядочен; другой более тверд, моляррен и организован. Хотя первая артикуляция и не испытывает нехватки в систематических взаимодействиях, именно на уровне второй прежде всего возникают феномены центрирования, унификации, тотализации, интеграции, иерархизации и целеполагания, которые и формируют сверхкодирование. Каждая из двух артикуляций устанавливает бинарные отношения между своими соответствующими сегментами. Но между сегментами одной артикуляции и сегментами другой существуют дву-однозначные отношения, повинующиеся куда более сложным законам. Слово «структура» может обозначать общую совокупность этих связей и отношений, но будет иллюзией полагать, будто структура — последнее слово земли. Кроме того, его использование не гарантирует, что различие между двумя артикуляциями — это всегда различие между молекулярным и молярным.

Челленджер прошел мимо чрезвычайного разнообразия энергетических, физико-химических и геологических страт. Он сразу подошел к органическим стратам, или к существованию великой органической стратификации. Ибо проблема организма — как *«превратить» тело в организм?* — это опять же проблема артикуляции, проблема артикуляторного отношения. Хорошо известные профессору догоны так формулируют данную проблему: организм выпадает на долю тела кузнеца в результате действия

машины или машинной сборки, которая стратифицирует тело кузнеца. «Удар молота о наковальню ломает руки кузнеца в локтях, а ноги в коленях, коими тот до данного момента не обладал. Именно так кузнец обретает суставы [articulation], свойственные новой человеческой форме — форме, которая должна распространиться по земле и посвятить себя труду... Именно с точки зрения труда складывается его рука»². Ясно, что сведение артикуляторного отношения к костям — не более чем манера речи. Весь организм в целом должен рассматриваться с точки зрения двойной артикуляции, причем на крайне разных уровнях. Сначала на уровне морфогенеза: с одной стороны, реальности молекулярного типа с алеаторными отношениями подхватываются в феноменах массы или статистических совокупностей, задающих некий порядок (белковое волокно и его последовательность, или сегментарность); с другой стороны, эти совокупности сами схвачены в устойчивых структурах, «избирающих» стереоскопические композиты, формирующих органы, функции и регулярности, организующих молярные механизмы и даже распределяющих центры, способные парить над массами, наблюдать за механизмами, использовать и восстанавливать орудия труда, «сверхкодировать» совокупность (складывание волокна в компактную структуру; и вторая сегментарность).³ Отложения осадка и складкообразование, волокно и складывание.

На другом уровне клеточная химия — главенствующая в создании белков — также действует с помощью двойной артикуляции. Последняя проходит внутри молекулярного между малыми и большими молекулами, между сегментацией, происходящей благодаря последовательным реорга-

² Griaule, Marcel. *Dieu d'eau* (Paris: Fayard, 1975), pp. 38–41.

³ Об этих двух аспектах морфогенеза вообще см.: Ruyer, Raymod. *La genese de formes vivantes* (Paris: Flammarion, 1958), pp. 54ff., а также: Vendryes, Pierre. *Vie et probabilité* (Paris: Albin Michel, 1945). Вандриес анализирует именно роль артикуляторного отношения и артикулированных систем. О двух структурных аспектах белка см.: Monod, Jacques. *Le hasard et la nécessité*, Ed. du Seuil, pp. 105–109.

низациям, и сегментацией, происходящей благодаря полимеризации. «В начале элементы, изымаемые из среды, комбинируются благодаря серии трансформаций... Вся эта деятельность вводит в игру сотни химических реакций. Но, в конечном счете, она производит ограниченное число мелких композитов, самое большее — несколько десятков. На второй стадии клеточной химии малые молекулы собираются, чтобы произвести большие. Именно полимеризация единств, связанных стык в стык, формирует характеристические цепочки макромолекул... Следовательно, эти две стадии клеточной химии сразу различаются по своей функции, продуктам и природе. Первая вырезает химические образцы [motifs]; вторая их собирает. Первая формирует композиты, существующие лишь временно. Ибо они конституируют посредников на пути биосинтеза; вторая сооружает устойчивые продукты. Первая действует посредством серии различных реакций; вторая посредством повторения тех же самых реакций»⁴. Кроме того, есть и третий уровень, от которого зависит сама клеточная химия, — это генетический код, неотделимый, в свою очередь, от двойного сегментирования или двойной артикуляции, которая, на сей раз, проходит между двумя типами независимых молекул: с одной стороны, последовательностью единств белка, а с другой — последовательностью нуклеиновых единств; причем единства одного и того же типа обладают бинарными отношениям, а единства разных типов — дву-однозначными отношениями. Итак, всегда есть две артикуляции, две сегментарности, два вида множественностей, каждый из которых вводит в игру как формы, так и субстанции; но распределение этих двух артикуляций непостоянно даже в пределах одной данной страты.

Аудитория, надувшись, осудила многочисленные недоразумения, неверные истолкования и даже незаконные заимствования в выступлении профессора, несмотря на авторитеты, к которым он апеллировал, называя их свои-

⁴ Jacob, François. *La logique du vivant*, pp. 289–290.

ми «друзьями». Даже догонов... А вскоре все стало еще хуже. Профессор цинично порадовался тому, что делает молодежь, стоящая на плечах других, хотя результатом всегда оказываются недоделки, отбраковки, мелочевки и дешевки, если не тупая вульгаризация. Кроме того, сам профессор не был ни геологом, ни биологом, ни даже лингвистом, этнологом или психоаналитиком; а какова его специальность, к тому времени давно забыли. Фактически профессор Челленджер раздвоился, дважды артикулировался, что вовсе не облегчало ситуацию; ибо никто никогда не знал, который из профессоров присутствовал. Он (?) претендовал на изобретение дисциплины, к коей апеллировал, называя ее разными именами: ризоматика, стратонализ, шизоанализ, номадология, микрополитика, прагматика, наука о множественностях, но никто толком не понял, каковы цели, методы или принципы этой дисциплины. Молодой профессор Аляска, любимый ученик Челленджера, пробовал лицемерно защищать его, объясняя, что на данной страте переход от одной артикуляции к другой легко верифицируется, поскольку всегда сопровождается потерей воды — и в генетике, и в геологии, и даже в лингвистике, где меряется важность феномена «затраченной слюны». Челленджер обиделся, предпочитая цитировать своего, как он его называл, друга — датского геолога-спинозиста — Ельмслева, согласно которому черный принц вел свое происхождение от Гамлета, также занимавшегося языком, но лишь ради того, чтобы высвободить свою «стратификацию». Ельмслев мог создать полную сетку из понятий «материя», «содержание» и «выражение»; «форма» и «субстанция». Эти понятия суть «страты», говорил Ельмслев. Ибо такая сетка имеет уже то преимущество, что порывает с дуальностью формы и содержания, поскольку форма содержания присутствует не меньше, чем форма выражения. Враги Ельмслева увидели в этом лишь способ переименования дискредитированных понятий означаемого и означающего, но произошло нечто совсем иное. Хотя сам Ельмслев предупреждал, что такая

сетка по масштабам или происхождению не является лингвистической (то же следовало бы сказать и о двойной артикуляции — если язык обладает собственной спецификой, как оно конечно же и есть, то последняя не состоит ни в двойной артикуляции, ни в сетке Ельмслева, которые суть общие характеристики страт).

Будем называть *материей* план консистенции или Тела без Органов, другими словами — неоформленные, неорганизованные, нестратифицированные или дестратифицированные тела и все, что по ним течет: субатомные и субмолекулярные частицы, чистые интенсивности, дофизические и дожизненные свободные сингулярности. Будем называть *содержанием* оформленные материи, которые теперь должны рассматриваться с двух точек зрения — с точки зрения субстанции, поскольку эти материи «выбраны», и с точки зрения формы, поскольку они выбраны в определенном порядке (*субстанция и форма содержания*). Будем называть *выражением* функциональные структуры, которые также должны рассматриваться с двух точек зрения — с точки зрения организации их собственной формы и с точки зрения субстанций, поскольку они формируют композиты (*форма и содержание выражения*). Страта всегда обладает измерением выражаемого, или выражения, как условием относительной инвариантности — например, нуклеиновые последовательности неотделимы от относительно инвариантного выражения, посредством которого они задают композиты, органы и функции организма.⁵ Выразать означает всегда петь славу Господу. Каждая страта — это Божья кара; не только растения и животные, орхидеи и осы поют или выражают себя, но то же делают камни и даже реки, любая стратифицированная вещь на земле. *Вот почему первая артикуляция касается содержания, а вторая — выражения.* Различие между этими двумя артику-

⁵ Jacob, Francois. Le modele linguistique en biologic // *Critique*, no. 322 (March 1974), p. 202: «У генетического материала две роли: с одной стороны, он должен воспроизводиться, чтобы передаваться следующему поколению, с другой — он должен выражаться, чтобы определять структуры и функции организма».

ляциями проходит не между формами и субстанциями, а между содержанием и выражением, причем у выражения столько же субстанции, сколько и содержания, а у содержания столько же формы, сколько и выражения. И если иногда двойная артикуляция совпадает с молекулярным и молярным, а иногда нет, то это потому, что содержание и выражение разделяются то так, а то иначе. Между содержанием и выражением никогда нет соответствия или согласия, а только изоморфизм благодаря обоюдному взаимопредположению. *Различие* между содержанием и выражением *всегда реально* разными способами, но нельзя сказать, что эти термины существуют до их двойной артикуляции. Именно двойная артикуляция распределяет их согласно своей линии на каждой страте и конституирует их реальное различие. (Напротив, между формой и субстанцией нет никакого реального различия, а только ментальное или модальное — субстанции суть не что иное, как оформленные материи, мы не можем воспринять бесформенные субстанции, хотя в некоторых случаях можно воспринять бес-субстанциальные формы.)

Даже при том, что между ними есть реальное различие, содержание и выражение относительно («первую» и «вторую» артикуляцию также следует понимать всецело относительным образом). Даже в своей способности к инвариантности выражение остается столь же переменным, как и содержание. Содержание и выражение — две переменные одной функции стратификации. Они не только меняются от одной страты к другой, но и сами распространяются одна в другую, а в пределах одной и той же страты умножаются и делятся до бесконечности. Так как каждая артикуляция двойственна, то не бывает артикуляции содержания и артикуляции выражения — как артикуляция содержания двойственна на своих собственных правах и конституирует некое относительное выражение внутри содержания, так и артикуляция выражения тоже двойственна и конституирует некое относительное содержание внутри выражения. Вот почему между содержи-

ем и выражением, выражением и содержанием есть *промежуточные состояния* — уровни, равновесия и обмены, через которые проходит стратифицированная система. Короче, мы обнаруживаем формы и субстанции содержания, играющие роль выражения в отношении других форм и субстанций, и наоборот, то же справедливо и для выражения. Следовательно, эти новые различия не совпадают с различием между формами и субстанциями в каждой артикуляции; скорее, они демонстрируют, как каждая артикуляция уже — или еще — оказывается двойной. Мы можем видеть это на органической страте — у протеинов содержания две формы, одна из которых (свернутое волокно) играет роль функционального выражения по отношению к другой. То же годится и для нуклеиновых кислот выражения — двойные артикуляции заставляют определенные формальные и субстанциальные элементы играть роль содержания в отношении других; содержанием становится не только половина цепи, которая воспроизводится, но и сама воссозданная цепь становится содержанием по отношению к «несущей цепочке». Повсюду на страте двойные клешни; всюду и во всех направлениях *double binds* и омары, некое множество двойных артикуляций, пересекающих то выражение, то содержание. В любом случае, нельзя забывать предостережение Ельмслева: «Термины “план выражения” и “план содержания” выбираются в соответствии с теперешним использованием и вполне произвольны. Их функциональное определение никак не оправдывает того, чтобы одну из этих сущностей, а не другую, называть *выражением*, или одну, а не другую, — *содержанием*: они задаются только своей согласованностью друг с другом и ни одна из них не может быть определена более точно. Взятые отдельно, они определяются только через оппозицию и относительным образом, как взаимопротивопоставленные функтивы одной и той же функции»⁶. И здесь мы дол-

⁶ Hjelmslev, *Prolégomènes à une théorie du langage*, Ed. de Minuit, p. 85.

жны скомбинировать все ресурсы реального различия, взаимного предположения и обобщенного релятивизма.

Прежде всего следует спросить, что меняется на данной страте, а что нет. Что создает единство страты, а что — ее разнообразие? Материя, чистая материя плана консистенции (или неконсистенции) пребывает вне страт. Молекулярные материалы, заимствованные из субстрат, могут быть одними и теми же на всей страте, но это не означает, что молекулы будут одними и теми же. Субстанциальные элементы могут быть одними и теми же на всей страте, причем не обязательно, что одними и теми же будут субстанции. Формальные отношения или связи могут быть одними и теми же, причем не обязательно, что одними и теми же будут формы. В биохимии *единство композиции* органической страты определяется на уровне материалов и энергий, субстанциальных элементов или радикалов, связей и реакций. Но это не значит, что молекулы, субстанции и формы одни и те же. — Не следует ли нам отдать должное Жоффруа Сент-Илеру? Ибо в XIX веке Жоффруа развивал грандиозную концепцию стратификации. Он говорил, что материя, рассматриваемая с точки зрения ее величайшей делимости, состоит из уменьшающихся частиц, потоков или упругих жидкостей, которые «развертываются», излучаясь в пространство. Горение и есть процесс такого ускользания или бесконечного деления на плане консистенции. Электризация же — это противоположный процесс, конститутив страт, — процесс, посредством которого похожие частицы группируются в атомы и молекулы, а похожие молекулы — в большие молекулы; а самые большие молекулы — в молярные совокупности: «притяжение Себя Собою [de Soi pur Soi]», как в двойной клешне или двойной артикуляции. Итак, нет никакой живой материи, специфичной для органической страты, материя одна и же для всех страт, но органическая страта действительно обладает специфическим единством композиции, одним и тем же абстрактным Животным, одной и той же абстрактной машиной, вложенной в страту, и эта страта предоставляет

одни и те же молекулярные материалы, одни и те же элементы или анатомические компоненты органов, одни и те же формальные соединения. Это не мешает, однако, тому, что органические формы отличаются друг от друга так же, как органы и составные субстанции, так же, как молекулы. Не так уж важно, что Жоффруа выбрал в качестве субстанциальных единств анатомические элементы, а не радикалы протеинов и нуклеиновые кислоты. В любом случае, он уже призвал всю игру молекул целиком. Важен именно принцип единства и разнообразия страты — изоморфизм форм без соответствия; тождество элементов или компонентов без тождества составных субстанций.

Именно здесь возникает диалог или, скорее, довольно жесткая полемика с Кювье. Чтобы удержать остатки аудитории от ухода, Челленджер вообразил собственно эпистемологический диалог покойников в стиле театра марионеток. Жоффруа вызвал к жизни чудовищ, Кювье разложил в порядке все Окаменелости, Бэр размахивал колбами с эмбрионами, а Виаллетон обвязался поясом из тетрапода, Перрье спародировал драму рта и мозга... и так далее. — *Жоффруа*: Доказательством, что изоморфизм существует, служит то, что мы путем «сгибания или складывания» всегда можем получить из одной формы другую, какими бы различными они ни были на органической страте. Чтобы перейти от Позвоночного к Головоножному, соедините две части позвоночника позвоночного вместе, подогните его голову к ступням, а таз подтяните к затылку... — *Кювье* (с гневом): Все неверно! Все неверно! Вы не перейдете от слона к медузе, я пробовал. Есть неустрашимые оси, типы, разветвления. Есть подобия между органами и аналогии между формами, и ничего больше. Вы — фальсификатор и метафизик. — *Виаллетон* (ученик Кювье и Бэра): Даже если складывание дало хорошие результаты, то кто мог бы его поддержать? Не случайно, что Жоффруа рассматривает только анатомические элементы. Ни мускул, ни сустав, ни связка не выжили бы. — *Жоффруа*: Я сказал, что существует изоморфизм, а не соответствие. Что нужно привести,

так это «степень развития или совершенства». Не всюду на страте материалы достигают той степени, когда им позволено соорудить ту или иную совокупность. Анатомические элементы могут здесь или там быть приостановлены или задавлены молекулярными столкновениями, влияниями среды или давлением окружения так, что они komponуют разные органы. Тогда заданные формальные отношения или соединения осуществляются в совершенно различных формах и диспозициях. Все еще одно и то же абстрактное Животное реализуется на всей страте, только в разных степенях и модусах, — реализуется каждый раз настолько совершенным образом, насколько позволяет ему его среда или обстановка (очевидно, что речь еще не идет об эволюции — складывания и степени не подразумевают ни наследования, ни происхождения, а только автономные реализации одного и того же абстрактного животного). Именно здесь Жоффруа привлекает чудовищ: человеческие чудища суть эмбрионы, задержавшиеся на определенной степени развития, человеческое в них — это только оболочка для нечеловеческих форм и субстанций. Да, гетерадельф [Hétéradelphé] — это ракообразное. — Бэр (союзник Кювье и современник Дарвина, относительно которого у него имелись оговорки, в добавок он — враг Жоффруа): Все неверно, Вы не можете смешивать степени развития и типы форм. Один и тот же тип имеет несколько степеней, одна и та же степень встречается в нескольких типах. Но вы никогда не создадите типы, исходя из степеней. Эмбрион одного типа не может представлять другой тип; самое большее, он может быть той же самой степени, что и эмбрион другого типа. — Виаллетон (ученик Бэра, который пошел дальше как против Дарвина, так и против Жоффруа): А значит, есть что-то, что может сделать или вынести только эмбрион. Он может сделать или вынести это именно благодаря своему типу, а не потому, что он может переходить от одного типа к другому, следуя собственным степеням развития. Восхититесь Черепахой, шея которой требует, чтобы определенное число протопозвонков смещалось,

и ее передние конечности должны вращаться на 180 градусов по отношению к конечностям птицы. Вы никогда не можете сделать выводы относительно филогенеза на основе эмбриогенеза; складывание не позволяет переходить от одного типа к другому; совсем наоборот, типы свидетельствуют в пользу нередуцируемости форм складывания... (Таким образом, у Виаллетона два рода взаимосвязанных аргументов, по одной и той же причине сначала говорящих, что есть что-то, чего никакое животное не может делать из-за своей субстанции, а затем, что есть что-то, что может делать только эмбрион благодаря своей форме. Это — два сильных аргумента.⁷)

Теперь мы толком и не знаем, где оказались. Столь многое разыгрывается в этих остроумных репликах. Столь много бесконечно размножающихся различий. Так много сведения счетов, ибо эпистемология не невинна. Приятный и тонкий Жоффруа и неистовый и серьезный Кювье действительно бьются вокруг Наполеона. Кювье, несгибаемый специалист, выступающий против Жоффруа, всегда готового сменить специальность. Кювье ненавидит Жоффруа, он не в состоянии снести беспечные формулировки последнего, его юмор (да, у курицы действительно есть зубы, а у омара кожа на костях и т.д.). Кювье — человек Власти и Почвы, и он не позволит забывать об этом Жоффруа, который служит уже прототипом кочевого человека скоростей. Кювье размышляет в евклидовом пространстве, тогда как Жоффруа мыслит топологически. Давайте обратимся сегодня к складкам коры мозга со всеми их парадоксами. Страты являются топологическими, и Жоффруа — великий художник складывания-сгибания, крупнейший

⁷ См.: Geoffrey Saint-Hilaire. *Principes de philosophie zoologique* (Paris: Picton et Didier, 1830), где он цитирует выдержки из полемики с Кювье; а также: *Notions synthétiques, historiques et physiologiques de philosophie naturelle* (Paris: Denain, 1838), где Жоффруа формулирует свою молекулярную концепцию органического окисления, электризации и притяжения. Von Baer, Karl Ernest. *Über Entwicklungsgeschichte der Thiere* (Königsberg: Beiden Gehriidern Borntrager, 1828—1888), а также: *Biographic de Cuvier* // *Annales des sciences naturelles* (1908). Vialleton, *Membres et ceintures des vertèbres tétrapodes* (Paris: Doin, 1924).

художник; как таковой, он уже предчувствует некий вид животной ризомы с нелепыми коммуникациями — предчувствует Чудовищ, тогда как Кювье реагирует в терминах прерывистых фотографий и остатков окаменелостей. Но мы немного растерялись, ибо различия множатся во всех направлениях.

Мы к тому же еще даже не приняли во внимание Дарвина, эволюционизм или неоэволюционизм. Однако именно здесь имеет место решающий феномен — наш театр марионеток становится все более туманным, другими словами, коллективным и дифференциальным. Ранее мы привлекли два фактора и их сомнительные отношения, дабы объяснить разнообразие внутри страты — степени развития, или совершенства, и типы форм, — которые теперь подвергаются глубокому преобразованию. Следуя двойной тенденции, типы форм все более и более начинают пониматься в терминах популяций, стай и колоний, коллективностей или многообразий; а степени развития — в терминах скоростей, норм, коэффициентов и дифференциальных отношений. Двойное углубление. Это — фундаментальный вклад дарвинизма, подразумевающий новое сцепление индивидуумов и сред на страте.⁸ С одной стороны, если мы предполагаем наличие элементарных или даже молекулярных популяций в данной среде, то формы не существуют до этих популяций — они, скорее, суть статистические результаты: чем более формы популяции расходятся, чем более ее множественность делится на множественности разной природы, чем более ее элементы, входящие в разные сое-

⁸ В излагаемой довольно длинной истории Эдмон Перрье заслуживает особого, хотя и не решающего, места. Он вернулся к проблеме единства композиции, возобновив работу Жоффруа благодаря Дарвину и особенно Ламарку. Действительно, весь труд Перрье организуется вокруг двух тем: животные колонии или множественности с одной стороны, а с другой — скорости, необходимые для того, чтобы принимать в расчет по-иному мыслимые степени и складывания («тахигенезис»). Например, мозг позвоночного может начать занимать положение рта у кольчатых в «борьбе между ртом и мозгом». См.: *Les colonies animales et la formation des organismes*; *L'origine des embranchements du règne animal // Scientia*, mai-juin 1918. Перрье написал историю, озаглавленную *Philosophie zoologique avant Darwin*, которая включает превосходные главы о Жоффруа и Кювье.

динения или материи, дистанцируются друг от друга — тем более эффективно она распределяется на среде или делит среду. Именно в этом смысле пересматривается отношение между эмбриогенезом и филогенезом: эмбрион вовсе не свидетельствует в пользу наличия абсолютной формы, предсуществующей якобы в закрытой среде; скорее, именно филогенез популяций обладает — в открытой среде — свободой выбора относительных форм, причем ни одна из этих форм не предустановлена. В случае эмбриогенеза «можно говорить — ссылаясь на тех, кто тебя произвел на свет, и предвосхищая результат рождения — о том, что развиваются голубь или волк... Но здесь в движение приходят сами точки отсчета, — если допустить, что есть лишь фиксированные точки для удобства использования определенного языка. Но в масштабе универсальной эволюции их невозможно выделить... Жизнь на земле предстает как сумма относительно независимых разновидностей флоры и фауны с каждый раз сдвигающимися или пористыми границами между ними. Географические области могут давать лишь убежище своего рода хаосу или, в лучшем случае, обеспечивать внешнюю гармонию экологического порядка, временное равновесие между популяциями»⁹.

С другой стороны, в то же время и в тех же условиях степени выступают не как степени предсуществующего развития или совершенства, а как степени глобального и относительного равновесия — они появляются как функция преимущества, каковое они сообщают таким элементам, а затем таким множественностям в среде, то есть они появляются как функция такой вариации в среде. В этом смысле степени измеряются уже не как растущее совершенство, не как показатели дифференцирования и усложнения частей, а как показатели дифференциальных отношений и коэффициентов — таких как давление отбора,

⁹ Canguilhem et collab. *Du développement à l'évolution au XIX^e siècle* // *Thaïes*, 1960, p. 34.

действие катализатора, скорость распространения, норма роста, эволюция, мутация и т.д.; тогда относительный прогресс происходит, скорее, благодаря формальным и количественным упрощениям, а не усложнениям, благодаря утрате компонентов и синтезу, а не приобретению (речь идет о скорости, а скорость — это нечто дифференциальное). Мы формируемся, обретаем форму благодаря популяциям, а прогрессируем и получаем скорость благодаря утрате. Оба фундаментальных достижения дарвинизма ведут нас к науке о множественностях — замена популяций на типы, замена норм или дифференциальных отношений на степени.¹⁰ Это достижения кочевников — с подвижными границами популяций или вариациями множественностей, с дифференциальными коэффициентами или вариациями отношений. Современная биохимия, или «молекулярный дарвинизм», как называет его Моно, утверждает — на уровне одного и того же статистического и глобального индивидуума, или простого образца — решающее значение молекулярных популяций и микробиологических норм (например, неисчислимая последовательность в цепочке и случайная вариация отдельного сегмента в последовательности).

Челленджер уверял, что, в конце концов, есть отклонения, но добавлял, что нет никакой возможности различать между тем, что отклоняется, и тем, что не отклоняется. Речь идет о том, чтобы сделать хоть какие-то выводы относительно единства и разнообразия той же самой страты, то есть органической страты.

Начнем с того, что у страты действительно есть единство композиции, которое и позволяет называть ее *некой* стратой — молекулярные материалы, субстанциальные элементы, формальные отношения или черты. Материалы — это не неоформленная материя плана консистенции; они уже стратифицированы и исходят от «субстрат». Но субстраты, конечно же, не следует рассматривать как

¹⁰ Simpson, G.G. *L'évolution et sa signification*, Payot.

простые субстраты — в частности, их организация не менее сложна, чем организация страт, и не ниже последних по статусу; нужно отгородиться от всякого смехотворного космического эволюционизма. Материалы, поставляемые субстратой, без сомнения, проще композитов страты, но уровень их организации, которому они принадлежат на субстрате, не ниже, чем уровень организации самой страты. Между материалами и субстанциальными элементами есть другая организация, изменение в организации, но не ее приращение. Поставляемые материалы конституируют *внешнюю среду* для рассматриваемых элементов и композитов страты, но последние не являются внешними *для* страты. Элементы и композиты конституируют внутреннее страты, так же как материалы конституируют ее внешнее; но и внешнее, и внутреннее принадлежат страте, ибо материалы поставляются страте и отбираются для нее, а элементы формируются из материалов. И опять же такое внешнее и такое внутреннее относительно; они существуют только через обмены и, следовательно, только благодаря страте, ответственной за отношение между ними. Так, на кристаллической страте аморфная среда является внешней к затравке до того, как конституировался кристалл; кристаллы конституируются благодаря интериоризации и инкорпорированию масс аморфного материала. И наоборот, интериорность затравки кристалла должна перейти в экстериорность системы, где аморфная среда сможет кристаллизироваться (способность обрести другую форму организации). Дело в том, что именно затравка приходит извне. Короче, как внешнее, так и внутреннее выступают в качестве иного внутреннего для страты. То же справедливо и для органической страты: материалы, поставленные субстратой — это внешняя среда, конституирующая известный добиотический бульон, а катализаторы играют в ней роль затравки для формирования элементов или даже внутренних субстанциальных композитов. Но эти элементы и композиты как присваивают себе материалы, так и экстериоризируются через репликацию в одних и тех же условиях

первичного бульона. И опять же, внутреннее и внешнее меняются местами, оба выступая как внутреннее для органической страты. Но между ними есть предел, есть мембрана, регулирующая обмены и трансформации организации, распределение внутреннего в страте, — мембрана, определяющая всю совокупность отношений или формальных особенностей страты (даже если положение и роль этого предела крайне варьируются относительно каждой страты — например, грань кристалла и мембрана клетки). Следовательно, мы можем говорить о центральном слое или центральном кольце страты, о совокупности, составляющей единство композиции последней — внешние молекулярные материалы, внутренние субстанциональные элементы, а также предел или мембрана передают формальные отношения. Как если бы существовала одна и та же сворачиваемая в страте *абстрактная машина*, которая конституирует свое единство. Это и есть Эйкуменон [Eucumène], в противоположность Платомену [Platomène] плана консистенции.

Было бы ошибкой полагать, будто можно изолировать такой унитарный, центральный слой страты или ухватить его как таковой и через регрессию. Прежде всего страта необходимым образом и с самого начала переходит от слоя к слою. У нее уже несколько слоев. Она переходит от центра к периферии, и одновременно периферия реагирует на центр и формирует новый центр относительно новой периферии. Потоки постоянно излучаются и возвращаются. Есть рост и умножение промежуточных состояний, и этот процесс включается в локальные условия центрального кольца (различия в концентрации и вариациях терпимы ниже определенного порога тождества). Эти промежуточные состояния представляют новые фигуры как сред или материалов, так и элементов и композитов. В сущности, они — посредники между внешней средой и внутренним элементом, между субстанциальными элементами и их композитами, между композитами и субстанциями, а также между по-разному сформированными субстанциями

(субстанциями содержания и субстанциями выражения). Будем называть *эпистратами* таких посредников и такие суперпозиции, такие порывы, такие уровни. В наших двух примерах кристаллическая страта включает в себя много возможных посредников между средой, или материалом, и внутренней затравкой — множественность абсолютно дискретных состояний метастабильности как множественность иерархических степеней. Ни одна органическая страта неотделима от так называемых внутренних сред, являющихся внутренними элементами по отношению к внешним материалам, а также внешними элементами по отношению к внутренним субстанциям.¹¹ Эти внутренние органические среды, как известно, регулируют степень сложности или дифференцированности частей организма. Следовательно, страта, взятая с точки зрения единства ее композиции, существует только в своих субстанциальных эпистратах, разрушая собственную непрерывность, фрагментируя и градуируя свое кольцо. Центральное кольцо не существует независимо от периферии, которая формирует новый центр, реагирует на первый центр и, в свою очередь, рассеивается на дискретные эпистраты.

Но это не все. В дополнение к такой новой или вторичной относительности внутреннего и внешнего есть целая история на уровне мембраны или предела. Действительно, в той мере, в какой элементы и композиты инкорпорируют или присваивают материалы, соответствующие организмы вынуждены обратиться к иным «более чужеродным и менее подходящим» материалам, каковые они заимствуют у пока еще неповрежденных масс или, напротив, у других организмов. Среда принимает здесь еще и третью фигуру — она уже не внутренняя или внешняя, пусть даже относительная, среда, и не опосредующая среда, а напротив, *аннексированная или ассоциированная среда*. Ассоциирован-

¹¹ Simondon, Gilbert. *L'individu et sa genese physico-biologique*, P. U. F., pp. 107—114, 259—264. О внутреннем и внешнем в случае кристалла и в случае организма, и о роли предела или мембраны.

ные среды подразумевают прежде всего источники энергии, отличные от пищевых материалов. До обретения таких источников организм, можно сказать, кормится, но не дышит — он находится в состоянии удушья.¹² Обретение источника энергии допускает увеличение числа материалов, которые могут быть преобразованы в элементы и композиты. Таким образом, ассоциированная среда определяется захватом источников энергии (дыхание в самом общем смысле), распознаванием материалов, ощущением их присутствия или отсутствия (восприятие) и изготовлением или не изготовлением соответствующих композитов (ответ, реакция). То, что существуют как молекулярные перцепции, так и молекулярные реакции, можно увидеть в экономии клетки и в свойстве регулирующих агентов «узнавать» только один или два вида химических элементов в весьма разнообразной внешней среде. Развитие ассоциированных, или аннексированных, сред достигает высшей точки в животных мирах, описанных фон Икскулем, со всеми их энергетическими, перцептивными и активными характеристиками. Незабываемый ассоциированный мир клеща, определяемый гравитационной энергией его падения, его обонятельной характеристикой восприятия пота и его активной характеристикой кусать — клещ забирается на ветку и падает на проходящее млекопитающее, которое узнает по запаху, а затем влезает ему под кожу (ассоциированный мир, сформированный не более, чем из трех факторов). Активные и перцептивные характеристики сами являются чем-то вроде двойной клешни, двойной артикуляции.¹³

Тут ассоциированные среды тесно соотносятся с органическими формами. Органическая форма — это не простая структура, а некое структурирование, полагание ассоциированной среды. Животная среда, типа паутины

¹² Rush, J.H. *L'origine de la vie*, Payot, p. 158: «В неком смысле примитивные организмы жили в состоянии удушья. Жизнь уже родилась, но еще не дышала».

¹³ Uexküll, Jakob Johann von. *Mondes animaux et monde humain* (Paris: Gonthier, 1965).

паука, не менее «морфогенетична», чем форма организма. Мы, конечно, не можем сказать, что среда задает форму; но, чтобы еще больше все запутать, — отношение между формой и средой является не менее решающим. Так как форма зависит от автономного кода, она может конституироваться только в ассоциированной среде, которая сложным образом переплетает энергетические, перцептивные и активные характеристики в соответствии с требованиями самого кода; форма может развиваться только благодаря промежуточным средам, которые регулируют скорости и пропорции ее субстанций; она может опробовать себя только во внешней среде, которая измеряет сравнительные преимущества ассоциированных сред и дифференциальные отношения промежуточных сред. Среда, с помощью отбора, всегда воздействуют на все организмы в целом, чьи формы зависят от кодов, которые эти среды косвенно санкционируют. Ассоциированные среды делят между собой одну и ту же внешнюю среду в зависимости от различных форм так же, как промежуточные среды делят между собой внешнюю среду в зависимости от норм или степеней, присущих одной и той же форме. Но деление в этих двух случаях осуществляется по-разному. В отношении центрального пояса страты среды или промежуточные состояния конституируют «эпистраты», наложенные одна на другую, и формируют новые центры для новых периферий. Будем называть «парастратой» этот другой способ, каким центральный пояс фрагментируется на свое и на побочное [*côte et a-côte*], на несводимые ни к чему формы и ассоциированные с ними среды. На сей раз, именно на уровне предела или мембраны, присущих центральному поясу, общие для всех страт формальные отношения или черты с необходимостью обретают совершенно разные формы или типы форм, соответствующие парастратам. Страта существует только в своих эпистратах и парастратах, так что, в конечном счете, в пределе они рассматриваются как страты. Пояс, идеальное непрерывное кольцо страты, Эйкуменон — определяемый тождеством молеку-

лярных материалов, субстанциальных элементов и формальных отношений, — существует только в виде расколотого, фрагментированного на эпистраты и парастраты, которые предполагают конкретные машины с их относительными признаками, а также конституируют различные молекулы, специфические субстанции и нередуцируемые формы.¹⁴

Теперь мы можем вернуться к двум фундаментальным обретениям дарвинизма — почему формы или типы форм в парастратах должны постигаться через отношение к популяциям, и почему степени развития в эпистратах должны пониматься как нормы или дифференциальные отношения. Прежде всего парастраты охватывают коды как таковые, от которых зависят формы и которые с необходимостью касаются популяций. Чтобы быть кодированной, вся молекулярная популяция уже должна существовать целиком, а эффекты кода или его изменения оцениваются на уровне более или менее молярной популяции в зависимости от способности кода размножаться на среде или творить для себя новую ассоциированную среду, внутри которой модификация будет способна образовывать популяции. Да, мы всегда должны мыслить в терминах стай и множественностей: поддерживается или не поддерживается код, зависит от принадлежности кодированного индивидуума к определенной популяции — «популяции, населяющей пробирку, флягу с водой или кишечник млекопитающего». Но что означают изменение кода, модификация кода или вариация парастраты, результатом которых с необходимостью являются новые формы и ассоциированные среды? Такое изменение, очевидно, имеет место не из-за перехода от одной предустановленной формы к другой, то есть не из-за перевода из одного кода в другой. Пока проблема ставится таким образом, она неразрешима, и

¹⁴ Ср.: Laviosa-Zambotti, P. *Les origines et la diffusion de la civilisation*, Payot; ее разработку понятий *страт*, *субстрат* и *парастрат* (хотя она совсем не определяет это последнее понятие).

нужно согласиться с Кювье и Бэрм, что установленные типы форм нередуцируемы, они не допускают ни перевода, ни трансформации. Но проблема ставится совсем по-иному, когда мы признаем, что код неотделим от присущего ему процесса декодирования. Без «генетического дрейфа» нет никакой генетики. Современная теория мутаций ясно продемонстрировала, как код, неизбежно связанный с популяцией, предполагает сущностную кромку декодирования — не только каждый код имеет дополнения, способные свободно варьироваться, но и один и тот же сегмент может быть скопирован дважды, причем вторая копия остается свободной для вариации. Кроме того, фрагменты кода могут передаваться от клеток одного вида клеткам другого, от человека к мыши, от обезьяны к коту, через посредничество вирусов или через другие процедуры, что подразумевает не перевод одного кода в другой (вирусы — не переводчики), а сингулярный феномен, который мы называем прибавочной стоимостью кода, или побочной коммуникацией.¹⁵ У нас будет случай поговорить об этом дальше, поскольку сказанное существенно для любого становления-животным. Благодаря таким дополнениям и прибавочным стоимостям — но дополнениям в порядке многообразия, прибавочным стоимостям в порядке ризомы — на каждый код оказывает воздействие кромка декодирования. Никак не являясь неподвижными и застывшими на стратах, формы в парастратах и сами парастраты схвачены в машинном сцеплении — они отсылают к популяциям, популяции отсылают к кодам, а коды фундаментальным образом подразумевают феномены относительно декодирования, которые тем более годны к употреблению, к компоновке и добавлению, чем более они относительно, всегда находятся «по соседству» [à côté].

Если формы отсылают к кодам, к процессами кодирования и декодирования в парастратах, то субстанции как

¹⁵ Jacob, François. *La logique du vivant*, pp. 311–312, 332–333; и то, что Реми Шовен называет «апараллельным развитием».

оформленные материи отсылают к территориальностям, к движениям детерриторизации и ретерриторизации на эпистратах. По правде говоря, эпистраты так же неотделимы от движений, которые их конституируют, как и парастраты от своих процессов. Номадические волны или потоки детерриторизации идут от центрального слоя к периферии, затем от нового центра к новой периферии, сваливаясь к старому центру и бросаясь к новому.¹⁶ Эпистраты организуются в направлении все большего увеличения детерриторизации. Физические частицы и химические субстанции пересекают пороги детерриторизации на своей собственной страте и между стратами; эти пороги соответствуют более или менее устойчивым промежуточным состояниям, более или менее переходным валентностям и существованию, участиям в том или ином теле, плотностям близости, более или менее локализуемым связям. Не только физические частицы характеризуются скоростями детерриторизации — тахионы, дырки-частицы и кварки Джойса, напоминающие фундаментальную идею «бульона», — но и та же химическая субстанция, вроде серы или углерода, имеет более и менее детерриторизованные состояния. Чем больше у организма внутренних сред на собственной страте, гарантирующей его автономию и входящей в совокупность его случайных отношений с внешним, тем больше он детерриторизован. Именно в этом смысле степени развития должны пониматься только относительно, в зависимости от дифференциальных скоростей, отношений и норм. Детерриторизация должна мыслиться как совершенно позитивная сила [puissance], имеющая свои степени и пороги (эпистрата), всегда относительная, обладающая изнанкой, имеющая дополительность в ретерриторизации. Организм, детерриторизируемый по отношению к внешнему, обязательно ретерриторизируется на своих внутренних средах. Данный предположительный фрагмент

¹⁶ Ср.: Laviosa-Zambotti, P., *ibid.* — ее концепция волн и потоков от центра к периферии и концепция номадизма и миграций (номадических потоков).

эмбриона детерриторизуется, меняя пороги или градиенты, но он наделяется новой аффектацией в новом окружении. Локальные движения суть изменения. Например, клеточная миграция, растяжение, инвагинация, сгибание. Каждое путешествие интенсивно и происходит на порогах интенсивности, где оно разворачивается или которые оно переходит. Мы путешествуем благодаря интенсивности; смещения и фигуры в пространстве зависят от интенсивных порогов номадической детерриторизации, а значит, и от дифференциальных отношений, которые одновременно фиксируют оседлую и дополнительную ретерриторизацию. Так действует каждая страта — ухватывая собственными клешнями максимум интенсивностей, интенсивных частиц, где она распространяет свои формы и субстанции, конституирует детерминированные градиенты и пороги резонанса (детерриторизация на страте всегда задается относительно дополнительной ретерриторизации).¹⁷

Пока мы сравнивали предустановленные формы и предзаданные степени, все, что мы могли делать, ограничивалось простой констатацией их нередуцируемости и тем, что у нас нет способа ввести в игру возможную коммуникацию между этими двумя факторами. Теперь же формы зависят от кодов в парастратах и погружаются в процессы декодирования, или дрейфа; сами степени захвачены движениями интенсивных территоризации и ретерриторизации. Нет никакого соответствия между кодами и территориальностями, между декодированиями и детерриторизацией: напротив, код может быть детерриторизацией, а ретерриторизация — декодированием. Между кодом и территориальностью огромная пропасть. Тем не менее у этих двух факторов на страте один и тот же «субъект» — именно популяции детерриторизируются и ретерриторизируются, а также кодируются и декодируются. И эти факторы коммуницируют, переплетаются на средах.

¹⁷ О феноменах резонанса между различными порядками величины см.: Simondon, *L'individu*, pp. 16–20, 124–131 и далее.

С одной стороны, модификации кода имеют алеаторную причину во внешней среде, и именно их эффекты на внутренних средах, их совместимость с последними решают, будут ли они образовывать популяции. Детерриторизации и ретерриторизации вовсе не определяют модификации, но они строго задают отбор последних. С другой стороны, у каждой модификации есть своя ассоциированная среда, которая, в свою очередь, влечет за собой некую детерриторизацию в отношении внешней среды и некую ретерриторизацию в отношении промежуточных или внутренних сред. Перцепции и действия в ассоциированной среде, даже на молекулярном уровне, вызывают или производят *территориальные знаки* (признаки). Прежде всего, это справедливо для животного мира, который конституируется, помечается знаками, делящими его на зоны (зоны защиты, нападения, нейтралитета и т.д.), мобилизующими особые органы и соответствующими фрагментам кода — в том числе на кромке декодирования, присущей коду. Даже область обретенных навыков сохраняется благодаря коду или предписывается им. Но индексы или территориальные знаки неотделимы от двойного движения. Поскольку ассоциированная среда всегда противостоит внешней среде, в которой задействовано животное и где оно с необходимостью рискует, постольку должна сохраняться *линия ускользания*, дабы позволить животному восстановить свою ассоциированную среду, когда появляется опасность (например, линия ускользания быка на арене, которую он использует, чтобы восстановить вытоптанный им дерн).¹⁸ Второй вид линии ускользания возникает, когда ассоциированная среда расшатывается под ударами извне, вынуждая животное отказаться от нее и ассоциироваться с новыми порциями внешнего, на сей раз полагаясь на собственные внутренние среды как на хрупкие опоры. Когда моря высохли, первобытная рыба покинула свою ассоциированную среду,

¹⁸ Popelin, Claude. *Le taureau et son combat* (Paris: Julliard, 1981) — см. главу 4 о проблеме территории человека и быка на арене.

чтобы исследовать землю, она была вынуждена «сама встать на ноги», неся теперь воду только внутри своих амниотических мембран, защищающих эмбрион. Так или иначе, животное здесь скорее ускользает, нежели атакует, но его ускользания также являются завоеваниями, творениями. Тогда территориальности шаг за шагом пересекаются линиями ускользания, что свидетельствует в пользу присутствия внутри них движений детерриторизации и ретерриторизации. В каком-то смысле они вторичны. Они были бы ничем без этих размещающих их движений. Короче, эпистраты и парастраты непрерывно перемещаются, скользят, сдвигаются и изменяются на Эйкуменоне, или единстве композиции страты; некоторые из них сметаются линиями ускользания и движениями детерриторизации, другие — процессами декодирования или дрейфа, но и те, и другие коммуницируют в пересечении сред. Страты непрестанно расшатываются феноменами разрушения и разрыва либо на уровне субстрат, которые поставляют материалы, либо на уровне «бульонов», которые несут каждую страту (добiotический бульон, дохимический бульон...), либо на уровне аккумулирующихся эпистрат, либо на уровне примыкающих парастрат — повсюду здесь возникают одновременные ускорения и блокировки, сравнительные скорости, различия в детерриторизации, создающие относительные поля ретерриторизации.

Эти относительные движения, конечно же, не следует смешивать с возможностью абсолютной детерриторизации, абсолютной линии ускользания, абсолютного дрейфа. Первые являются стратовыми или внутрискратовыми, тогда как последние касаются плана консистенции и его дестратификации (его «сгорания», как сказал бы Жоффруа). Несомненно, что безумные физические частицы ускоряются, с грохотом проносятся через страты, оставляя едва заметный след, избегая пространственно-временных и даже экзистенциальных координат, ибо стремятся к состоянию абсолютной детерриторизации, к состоянию неоформленной материи на плане консистенции. В каком-

то смысле, ускорение относительной детерриторизации достигает своей стены — если частицы отскакивают от этой стены или позволяют захватить себя черным дырам, то они возвращаются в страты, в отношения страт и их среды; но если они пробивают стену, то достигают неоформленной, дестратифицированной стихии плана консистенции. *Мы даже можем сказать, что абстрактные машины, испускающие и комбинирующие частицы, обладают двумя весьма различными способами существования — Эйкуменоном и планоменоном.* Либо же они остаются пленниками стратификаций, окутываются той или иной определенной стратой, чью программу или единство композиции они задают (абстрактное Животное, абстрактное химическое Тело, Энергия сама по себе) и на которой они регулируют движения относительной детерриторизации. Либо же, напротив, абстрактная машина пересекает все стратификации, уникально и благодаря самой себе развивается на плане консистенции, чью диаграмму она конституирует, — одна и та же машина, работающая в астрофизике и микрофизике, в естественном и искусственном, и управляющая потоками абсолютной детерриторизации (конечно же, неоформленная материя ни в коей мере не является каким-то хаосом). Но такое представление все еще является слишком упрощенным.

С одной стороны, мы вовсе не переходим от относительного к абсолютному лишь благодаря ускорению, даже если увеличения скоростей стремятся к такому глобальному и сравнительному результату. Абсолютная детерриторизация не определяется как гигантский ускоритель; она абсолютна и не зависит от того, насколько она замедленна или задержана. Мы даже можем достичь абсолютного благодаря феномену относительной медленности или задержки. Запоздалое развитие, например. Качественно определяет детерриторизацию как раз не ее скорость (некоторые детерриторизации весьма медленны), а ее природа, конституирует ли она эпистраты и парастраты, продолжается ли посредством артикулированных сегментов, или же,

напротив, перескакивает от одной сингулярности к другой, следуя некомпонуемой, несегментированной линии, очерчивающей метастрату плана консистенции. С другой стороны, ни при каких обстоятельствах не следует полагать, будто абсолютная детерриторизация приходит внезапно или в придачу, после или сверх того. В этих условиях мы не понимаем, почему сами страты оживляются движениями относительных детерриторизации и декодирования, которые не похожи на происходящие на них несчастные случаи. Действительно, первичной является именно абсолютная детерриторизация, абсолютная линия ускользания, сколь бы сложной или множественной она ни была, детерриторизация плана консистенции или тела без органов (Земля, нечто абсолютно детерриторизованное). Такая абсолютная детерриторизация становится относительной только благодаря стратификации на данном плане или теле: страты всегда являются осадком, а не инверсией — вопрос не в том, как нечто покидает страты, а в том, как вещи входят в них. Итак, существует вечная имманентность абсолютной детерриторизации внутри относительной; а машинные сборки между стратами, регулирующие дифференциальные отношения и относительные движения, также обладают точками детерриторизации, ориентированными в сторону абсолютного. План консистенции всегда имманентен стратам; два состояния абстрактной машины всегда сосуществуют как два различных состояния интенсивностей.

Большинство аудитории ушло (первыми ушли поклонники Андре Мартине с их двойной артикуляцией, за ними последовали приверженцы Ельмслева с их содержанием и выражением, а затем биологи с их белками и нуклеиновыми кислотами). Остались только математики, привыкшие к безумию других, а также несколько астрологов, археологов и отдельных зевак. Кроме того, сам Челленджер изменился со времени начала диспута, голос его охрип и иногда прерывался обезьяноподобным кашлем. Но мечтал он не о

том, чтобы провести конференцию для людей, а чтобы предложить программу для чистых компьютеров. То есть он мечтал об аксиоматике, ибо по существу только аксиоматики имеют дело со стратификацией. Челленджер обращался только к памяти. Теперь, когда мы обсудили, что осталось постоянным, а что изменилось в страте с точки зрения субстанций и форм, нужно ответить на последний вопрос: что меняется от одной страты к другой с точки зрения содержания и выражения. Ибо, если верно, что всегда есть реальное конститутивное различие двойной артикуляции, взаимопредположение между содержанием и выражением, тогда то, что меняется от одной страты к другой, — это природа такого реального различия, а также природа и относительные позиции различных терминов. Давайте рассмотрим первую большую группу страт — мы можем кратко охарактеризовать как содержание (форма и субстанция), которое является здесь молекулярным, и как молярное выражение (форма и субстанция). Различие между молекулярным и молярным — это прежде всего различие в порядке величины или масштаба. Именно резонанс, коммуникация между двумя независимыми порядками учреждает стратифицированную систему, у молекулярного содержания которой есть собственная форма, соответствующая распределению элементных масс и действию одной молекулы на другую; так же как выражение обладает формой, манифестирующей статистическую совокупность и состояние равновесия на макроскопическом уровне. Выражение подобно «действию усиливающегося структурирования, которое переносит активные свойства изначально микрофизической дискретности на макрофизический уровень».

За исходную точку мы взяли случаи такого рода на геологических, кристаллических и физико-химических стратах, то есть там, где мы можем сказать, что молярное выражает микроскопические молекулярные взаимодействия («кристалл — это макроскопическое выражение микроскопической структуры»; «кристаллическая форма выражает

некие молекулярные или атомарные характеристики определенного вида химических составляющих»). Конечно, в этом отношении остается еще немало возможностей, зависящих от числа и природы промежуточных состояний, а также от влияния внешних сил на формирование выражения. Между молекулярным и молярным может быть больше или меньше промежуточных состояний, больше или меньше внешних сил или организующих центров, внедряющихся в молярную форму. Несомненно, эти два фактора обратно пропорциональны друг другу и указывают на предельные случаи. Например, форма молярного выражения может быть типа «шаблона [moule]», мобилизующего максимум внешних сил; или же, напротив, типа «модуляции», вводящей минимум этих сил; но даже в случае шаблона существуют почти мгновенные, внутренние промежуточные состояния между молекулярным содержанием, принимающим собственные специфические формы, и молярным выражением, задающим то, что находится вне формы шаблона. И наоборот, даже когда умножение и темпорализация промежуточных состояний свидетельствуют об эндогенном характере молярной формы — как у кристаллов, — имеется минимум внешних сил, все еще вмещающихся в каждую из стадий.¹⁹ Значит, мы должны сказать, что относительная независимость содержания и выражения; реальное различие между молекулярным содержанием и молярным выражением — с их соответствующими формами — обладает особым статусом, наделенным определенной широтой [latitude], или свободой действий, между этими случаями-пределами.

Поскольку страты суть Божьи кары, не следует колебаться по поводу заимствования всех тонкостей средневековой схоластики и богословия. Между содержанием и выражением есть реальное различие, ибо соответствующие

¹⁹ О порядках величины и установлении резонанса между ними; действиях типа «шаблона», «модуляции» и «лепки»; о внешних силах и промежуточных состояниях см. Simondon, *L'individu*.

формы актуально различаются в самих «вещах», а не только в уме наблюдателя. Но такое реальное различие весьма специфично, оно только лишь *формально*, ибо две формы komponуют или согласовывают одну и ту же вещь, одного и того же стратифицированного субъекта. Приведем разные примеры формального различия: между масштабами или порядками величины (как между картой и ее моделью; или, другим способом, между микрофизическими и макрофизическими уровнями, как в притче Эддингтона о двух бюро); между разнообразными состояниями или формальными причинами, через которые проходит одна и та же вещь; между вещью, взятой в собственной форме и в отношении событийно внешней причинности, коя сообщает ей иную форму... и т.д. (Существует столько разных форм, что не только содержание и выражение обладают собственными формами, но и промежуточные состояния вводят формы выражения, присущие содержанию, и формы содержания, присущие выражению.)

Если уж формальные различия разнообразны и реальны, то на органической страте меняется сама природа различия, а в результате на этой страте меняется и все распределение между содержанием и выражением. Тем не менее, органическая страта сохраняет и даже усиливает отношение молекулярного и молярного со всеми типами промежуточных состояний. Мы увидели это в случае морфогенеза, где двойная артикуляция неотделима от коммуникации между двумя порядками величины. То же верно и для клеточной химии. Но у органической страты оригинальный характер, который должен принимать в расчет это усиление как таковое. Дело в том, что прежде выражение зависело от выражаемого молекулярного содержания во всех смыслах-направлениях и в каждом измерении, будучи независимым лишь в той мере, в какой прилагалось к более высокому порядку величины и к внешним силам — реальное различие проходило между формами, но формами одной и той же совокупности, одной и той же вещи или субъекта. *Теперь же выражение становится независимым*

само по себе, то есть автономным. Прежде кодирование страты было коэкстенсивно этой страте, но в органической страте оно разворачивается на автономной и независимой линии, которая максимально обособляется от второго и третьего измерений. Выражение престаёт быть объёмным или поверхностным, становясь линейным, одномерным (даже в своей сегментарности). Тут существенна *линейность нуклеиновой последовательности*.²⁰ Следовательно, реальное различие содержания—выражения не просто формально, оно, строго говоря, реально и переходит теперь в молекулярное, независимое от порядка величины, оно проходит между двумя классами молекул, нуклеиновыми кислотами выражения и протеинами содержания, между нуклеиновыми элементами, или нуклеотидами, и протеиновыми элементами, или аминокислотами. Как выражение, так и содержание являются теперь молекулярными и молярными. Различие уже не касается отдельной совокупности или субъекта; линейность ведёт нас дальше к порядку плоских разнообразий, а не к единству. Выражение действительно отсылает к нуклеотидам и нуклеиновым кислотам, как и к молекулам, которые — в своей субстанции и форме — полностью независимы не только от молекул содержания, но и от любого направленного действия внешней среды. Итак, инвариантность принадлежит определённым молекулам, а не только лишь молярному масштабу. Напротив, протеины — в своей субстанции и форме содержания — равным образом независимы от нуклеотидов: однозначно определено только то, что скорее одна аминокислота, а не другая соответствует последовательности из трех нуклеотидов.²¹ Следовательно, линейная форма выражения задаёт некую производную форму выражения,

²⁰ Очевидно, что есть множественность последовательностей или линий. Но это не устраняет того, что «порядок порядка» является однолинейным (ср.: Jacob, *La logique du vivant*, p. 306, а также: Le modèle linguistique en biologie, pp. 199–203).

²¹ О соотносительной независимости протеинов и нуклеиновых кислот, их взаимопредполагании см.: Jacob, François. *La logique du vivant*, pp. 325–327, а также: Monod, Jacques. *Le hasard et la nécessité*, pp. 110–112, 123–124, 129, 159–160.

на этот раз соотнесенного с содержанием, — форму, которая, благодаря сворачиванию протеиновой последовательности аминокислот на саму себя, производит, наконец-то, особые трехмерные структуры. Короче, органическую страту характеризует именно *такое выравнивание выражения, такое исчерпывание или обособление линии выражения*, такое опускание формы и субстанции выражения к одномерной линии, подтверждающей их обоюдную независимость от содержания, если не принимать в расчет порядки величины.

Отсюда вытекает ряд следствий. Эта новая ситуация выражения и содержания обуславливает не только репродуктивную мощь организма, но и его мощь детерриторизовать или ускорять детерриторизацию. Выравнивание кода или линеаризация нуклеиновой последовательности фактически помечают порог детерриторизации «знака», который определяет новую способность копироваться, а также определяет организм как нечто более детерриторизованное, нежели кристалл — только нечто детерриторизованное способно репродуцироваться. Действительно, когда содержание и выражение распределяются согласно молекулярному и молярному, субстанции переходят от состояния к состоянию, от предшествующего состояния к следующему состоянию, или от слоя к слою, от уже конституированного слоя к слою, который собирается конституироваться, тогда как формы устанавливаются на пределе между прошлым слоем, или прошлым состоянием, и внешней средой. Итак, страта развивается в эпистрату и парастрату благодаря набору *индукций* от слоя к слою, от состояния к состоянию или же на пределе. Кристалл высвобождает такой процесс в чистом состоянии, поскольку его форма распространяется во всех направлениях, но всегда в зависимости от поверхностного слоя субстанции, которая может избавляться от самой большой внутренней части, не переставая расти. Именно подчиненность кристалла трехмерности, то есть своему индексу территориальности, формально не позволяет структуре репродуциро-

ваться и выражаться, и только поверхность доступна, только она способна детерриторизоваться. Напротив, обособление чистой линии выражения на органической страте делает организм способным достигать на сей раз куда более высокого порога детерриторизации, сообщает ему механизм воспроизводства, покрывающий все детали его сложной пространственной структуры, и позволяет ему поместить все свои внутренние слои «топологически в контакт» с внешним, или, скорее, с поляризованным пределом (отсюда особая роль живой мембраны). Развитие страты в эпистрату и парастрату происходит не через простые индукции, а через *трансдукции*, принимающие в расчет усиление резонанса между молекулярным и молярным независимо от порядка величины, принимающие в расчет функциональную эффективность внутренних субстанций независимо от дистанции, а также принимающие в расчет возможность размножения и даже переплетения форм независимо от кодов (прибавочные стоимости кода или феномены транскодирования, апараллельного развития).²²

Третья крупная группа страт определяется не столько сущностью человека, сколько, опять же, новым распределением содержания и выражения. Форма содержания становится скорее «аллопластической», нежели «гомопластической», то есть вызывает модификации во внешнем мире. Форма выражения становится скорее лингвистической, а не генетической, то есть действует благодаря постигаемым, передаваемым и модифицируемым извне символам. То, что мы называем человеческими свойствами — технология и язык, инструмент и символ, свободная рука и податливая гортань, «жест и речь» — это, скорее, свойства такого нового распределения, так что трудно начинать с человека как абсолютного истока. Начиная с анализов Леруа-Гурана мы видим, как содержания связываются с

²² О понятии трансдукции см.: Simondon, *L'individu*, pp. 18–21 (однако, он берет этот термин в самом общем смысле и распространяет на всю систему). О мембране см.: pp. 259ff.

парой рука—инструмент, а выражения — с парой лицо—язык, облик—язык.²³ Рука должна пониматься не просто как орган, а как некое кодирование (цифровой код), динамическое структурирование, динамическая формация (мануальная форма, или мануальные формальные черты). Рука как общая форма содержания продолжается в инструментах, которые сами являются формами в действии, подразумевающими субстанции как оформленные материи; наконец, продукты суть оформленные материи, или субстанции, служащие, в свою очередь, в качестве инструментов. Если формальные мануальные черты конституируют единство композиции страты, то формы и субстанции инструментов и продуктов организуются в парастраты и эпистраты, которые сами функционируют как подлинные страты и маркируют прерывности, разломы, коммуникации и диффузии, номадизмы и оседлости, множественные пороги и скорости относительной детерриторизации в человеческих популяциях. Ибо благодаря руке как формальной черте или общей форме содержания достигается и открывается главный порог детерриторизация, некий ускоритель, который сам по себе допускает всю подвижную игру сравнительных детерриторизаций и ретерриторизаций, — именно феномены «задержки развития» в органических субстратах делают возможным такое ускорение. Рука — это не только детерриторизованная передняя лапа; свободная рука сама детерриторизируется по отношению к хватающей и локомоторной руке обезьяны. Должна приниматься во внимание и синергетическая детерриторизация других органов (например, ноги). Должна приниматься во внимание и коррелятивная детерриторизация среды: степь как ассоциированная среда куда более детерриторизована, чем лес, она оказывает выборочное давление детерриторизации на тела и технику (именно в степи, а не в лесу, рука смогла появиться как

²³ Leroi-Gourhan, Andre. *Le geste et la parole*, vol. 1, de *Technique et langage* (Paris: Albin Michel, 1964), p. 161.

свободная форма, а огонь — как технически оформляемая материя). Наконец, должна приниматься во внимание и дополнительная ретерриторизация (нога как компенсаторная ретерриторизация руки, также осуществляемая в степи). В этом смысле надо создавать органические, экологические и технологические карты, выкладываемые нами на плане консистенции.

С другой стороны, язык появляется как новая форма выражения или, скорее, совокупность формальных черт, определяющих новое выражение на всей страте в целом. Как мануальные черты существуют только в формах и оформленных материях, разрушающих их непрерывность и распределяющих их эффекты, так и формальные черты выражения существуют только в разнообразных формальных языках и подразумевают одну или несколько оформляемых субстанций. Субстанция — это, прежде всего, вокальная субстанция, запускаящая в игру разнообразные органические элементы: не только гортань, но и рот, и губы, и всю моторику лица, моторику облика в целом. Опять же нужно принимать во внимание всю интенсивную карту в целом — рот как детерриторизация морды (весь «конфликт между ртом и мозгом», как говорил Перрье); губы как детерриторизация рта (только у людей есть губы, то бишь выворачивание наружу внутренних слизистых оболочек; только у женщин есть груди, то бишь, детерриторизованные молочные железы: долгий период кормления грудью, благоприятный для изучения языка, сопровождается дополнительной ретерриторизацией губ на груди, и груди на губах). Какая любопытная детерриторизация, заполняющая рот словами, а не пищей и шумами. И еще степь, по-видимому, оказала сильное селективное давление: «податливая гортань» — как нечто, соответствующее свободной руке — могла возникнуть только в лишенной леса среде, где больше нет необходимости иметь гигантские ларингальные мешки, чтобы перекрикивать постоянный лесной гул. Артикулировать, говорить — значит говорить мягко, и мы знаем, что лесорубы едва-

едва говорят.²⁴ Через всю эту детерриторизацию проходят не только физиологическая, акустическая и вокальная субстанции, но и даже форма выражения — как язык — также переступает порог.

*Вокальные знаки обладают темпоральной линейностью, и именно эта сверхлинейность задает их специфическую детерриторизацию, отличает их от генетической линейности. Генетическая линейность прежде всего пространственна, даже если ее сегменты конструируются и воспроизводятся последовательно; итак, на этом уровне требуется не эффективное сверхкодирование, а только феномены связи стык в стык, локальные регулировки и частичные взаимодействия (сверхкодирование происходит лишь на уровне интеграций, подразумевающих разные порядки величины). Вот почему Жакоб с неохотой сближает генетический код с языком — фактически у генетического кода нет ни излучателя, ни приемника, ни понятности, ни перевода, есть только избыточность и прибавочная стоимость.²⁵ Напротив, темпоральная линейность языкового выражения отсылает не только к последовательности, но и к формальному синтезу последовательности во времени, который конституирует все линейное сверхкодирование и порождает феномен, не известный другим стратам, — *перевод*, способность к переводу, в противоположность прежним индукциям и трансдукциям. Перевод следовало бы понимать не просто как способность одного языка «представлять» неким образом данные другого языка, но и, кроме того, как способность языка — с его собственными данными на его собственной страте — представлять все*

²⁴ Обо всех этих проблемах — свободная рука, податливая гортань, губы и роль стени как фактора детерриторизации см. прекрасную книгу: Devaux, Emile. *Trois problemes: l'espece, l'instinct, l'homme* (Paris: Le François, 1933), часть 3 (глава 7: «Антропоид, отъединенный от леса, отсталый в своем развитии, ставший инфантильным, должен был обрести свободные руки и податливую гортань»; и глава 9: «Лес сделал обезьяну, а пещера и степь создали человека»).

²⁵ Jacob, *The Logic of Life*, pp. 278, 289–290, 298. Жакоб и Моно иногда используют слово «перевод» для генетического кода, но только ради удобства. Как указывает Моно, «код может быть транслирован только благодаря продуктам перевода».

другие страты и, таким образом, достигать научной концепции мира. Научный мир (*Welt* как противоположность *Umwelt* животного) фактически появляется как перевод всех потоков, частиц, кодов и территориальностей других страт в достаточно детерриторизованную систему знаков — другими словами, в свойственное языку сверхкодирование. Именно свойство *сверхкодирования*, или *сверхлинейности*, объясняет, почему в языке не только выражение независимо от содержания, но и форма выражения независима от субстанции — перевод возможен потому, что одна и та же форма может переходить от одной субстанции к другой вопреки тому, что происходит в генетическом коде, например, между цепями РНК и ДНК. Мы увидим, как эта ситуация порождает определенные империалистические претензии языка, наивно выражающиеся в таких формулировках, как «вся семиология нелингвистической системы должна пользоваться посредничеством языка... Язык — это интерпретатор всех других систем, лингвистических и нелингвистических». Это равно абстрагированию характеристик языка, дабы заявить, что другие страты могут быть причастны к таким характеристикам, лишь будучи высказанными. Да мы это и подозревали. Однако — в более позитивном плане — мы должны констатировать, что имманентность универсального перевода языка создает то, что его эпистраты и парастраты — в порядке суперпозиций, диффузий, коммуникаций и обочин — действуют совершенно по-иному, нежели на других стратах: все движения человека, даже самые неистовые, подразумевают перевод.

Нужно спешить, сказал Челленджер, теперь линия времени выдавливает нас на третий тип страты. Значит, у нас есть новая организация — организация содержания и выражения, причем каждое со своими формами и субстанциями: технологическое содержание и семиотическое, или символическое, выражение. Содержание нужно уразуметь не просто как руку и инструменты, но и как техническую социальную машину, существующую до них и конституи-

рующую состояния сил или формации могущества [puissance]. Выражение нужно уразуметь не просто как лицо и язык, или индивидуальные языки, но как семиотическую коллективную машину, существующую до них и конституирующую режимы знаков. Формация могущества [puissance] значительно больше, чем инструмент; режим знаков значительно больше, чем язык — скорее, они действуют в качестве определяющих и избирательных агентов как для конституирования языков и инструментов, так и для их использования, для их обоюдных или соотносительных коммуникаций и диффузий. Таким образом, третья страта сопровождается появлением Машин, полностью принадлежащих этой страте, но в то же время увеличивающих и протягивающих свои клешни во всех направлениях ко всем другим стратам. *Не напоминает ли это промежуточное состояние между двумя состояниями абстрактной Машины* — состояние, в котором последняя остается завернутой в соответствующей страте (эйкуменон); состояние, в котором она развивается сама по себе на плане дестратифицированной консистенции (планоменон). Здесь абстрактная машина начинает разворачиваться, начинает возводиться, производя иллюзию, выходящую за пределы всех страт, хотя сама машина все еще принадлежит какой-то определенной страте. В этом, очевидно, состоит конститутивная иллюзия человека (за кого его принимают, этого человека?). Именно иллюзия исходит от сверхкодирования имманентного языку как таковому. Но что не иллюзорно, так это новые распределения между содержанием и выражением — технологическое содержание, характеризующее отношением рука—инструмент, отсылающим на более глубоком уровне к социальной Машине и к формациям могущества; символическое выражение, характеризующее отношением лицо—язык и, на более глубоком уровне, отсылающее к семиотической Машине и режимам знаков. С обеих сторон, эпистраты и парастраты, наложенные друг на друга степени и примыкающие друг к другу формы более, чем когда-либо до этого, сами достигают статуса автономных

страт. Если мы сумеем различить два режима знаков или две формации могущества, то будем говорить, что это, фактически, две разные страты в человеческих популяциях.

Каково же теперь на самом деле отношение между содержанием и выражением, и какой тип различия присутствует между ними? Все это в голове. К тому же никогда и не было более реального различия. Мы хотим сказать, что действительно существует одна внешняя среда для всей страты в целом, пронизывающая всю страту, — церебрально-нервная среда. Она приходит из органической субстраты, но, конечно же, эта субстрата не играет только лишь роль субстраты или пассивной поддержки. Она не менее сложно организована. Скорее, она конституирует дочеловеческий бульон, в котором мы плаваем. Наши руки и лица купаются в нем. Мозг — это популяция, совокупность племен, стремящихся к двум полюсам. Когда Леруа-Гуран анализирует конституирование двух полюсов в таком бульоне, — один из которых зависит от действий лица, а другой от действий руки, — то их корреляция, или относительность, не устраняет реальное различие между ними; совсем напротив, она влечет за собой различие как взаимопредположение двух артикуляций, мануальной артикуляции содержания и лицевой артикуляции выражения. И различие здесь не просто реально, как между молекулами, вещами или субъектами, но оно стало *сущностным* (о чем имели обыкновение говорить в Средние века), как между атрибутами, родами бытия или несводимыми категориями — вещи и слова. И тем не менее мы обнаруживаем, что самое общее из движений, благодаря которому каждая из различных артикуляций сама уже является удвоенной, переносится на этот уровень; некоторые формальные элементы содержания играют роль выражения по отношению к содержанию как таковому, а некоторые формальные элементы выражения играют роль содержания по отношению к самому выражению. В первом случае Леруа-Гуран показывает, как рука создает целый мир символов, весь многомерный язык, не смешиваясь с однолинейным

устным языком и конституируя излучающееся выражение, свойственное содержанию (он понимает это как происхождение письма).²⁶ Что касается второго случая, то он ясно демонстрируется в двойной артикуляции, специфичной для самого языка, поскольку фонемы формируют излучающееся содержание, свойственное выражению монем как линейных значимых сегментов (только при этих условиях двойная артикуляция как общая характеристика страты имеет то лингвистическое значение, которое ей приписывает Мартине). Итак, наше обсуждение отношений между содержанием и выражением, реального различия между ними и разновидностей этих отношений, а также такого различия на главных типах страт, почти завершено.

Челленджер хотел двигаться все быстрее и быстрее. Никого не осталось, но он, несмотря ни на что, продолжал. Изменение в его голосе и в его облике становилось все более явными, в нем появилось что-то животное, когда он заговорил о человеке. На это пока трудно было указать, но Челленджер, казалось, детерриторизовался на месте. Ему захотелось рассмотреть еще три проблемы. Первая казалась прежде всего терминологической: когда мы можем говорить о знаках? Должны ли мы сказать, что они есть повсюду на всех стратах и что знак имеется всякий раз, как только имеется форма выражения? Мы суммарно различаем три вида знаков: *признаки (территориальные знаки)*, *символы (детерриторизованные знаки)* и *иконические знаки (знаки ретерриторизации)*. Должны ли мы сказать, что знаки есть на всех стратах, — под тем предлогом, что каждая страта включает территориальности и движения детерриторизации и ретерриторизации? Такой тип расширенного метода весьма опасен, ибо он закладывает фундамент для империализма языка или укрепляет последний, если полагаться только на его функцию как универсального переводчика или интерпретатора. Очевидно, что нет ника-

²⁶ Leroi-Gourhan, *Le geste et la parole*, pp. 269–275.

кой системы знаков, пересекающей все страты, нет ее даже в форме семиотической «хоры», которая, как предполагается, теоретически предшествует символизации. Казалось бы, мы можем строго говорить о знаках только тогда, когда есть различие между формами выражения и формами содержания, которое не только реально, но также и категориально. Тогда на соответствующей страте существует семиотическая система, поскольку абстрактная машина обладает именно такой полностью подготовленной позицией, позволяющей ей «писать», то есть трактовать язык и извлекать из него некий *режим* знаков. Но по эту сторону, в так называемых естественных кодировках, абстрактная машина остается окутанной стратами — она не пишет, и у нее нет никакой степени свободы для опознавания чего-либо как знака (кроме как в строго территориальном смысле животных знаков). А по ту сторону абстрактная машина развивается на плане консистенции и более не обладает никаким способом создавать категориальное различие между знаками и частицами; например, она пишет, но пишет на одном и том же реальном, она вписывает прямо в план консистенции. Поэтому кажется разумным зарезервировать слово «знак» в строгом смысле для последней группы страт. Такое терминологическое обсуждение было бы совершенно неинтересным, если бы оно не отсылало нас все же к другой опасности — уже не империализм языка на всех стратах, но империализм означающего в самом языке, в совокупности режимов знаков и на всем протяжении страт, которое несет эти режимы. Речь уже идет не о том, чтобы знать, прикладывается ли знак к каждой страте, а о том, являются ли все знаки означающими, наделены ли все знаки значением, отсылает ли с необходимостью семиотика знаков к семиологии означающего. Возможно даже, что на этом пути мы вынуждены будем воздержаться от понятия знака, ибо главенство означающего над языком обеспечивает главенство языка над всеми стратами еще лучше, чем простая экспансия знака во всех направлениях. Мы хотим лишь сказать, что иллюзия, свой-

ственная *такому* положению абстрактной Машины, — иллюзия захватывать и перемешивать все страты в своих клешнях — наверняка может быть лучше осуществлена через восстановление означающего, нежели чем через распространение знака (благодаря означиванию язык может быть задействован прямо на стратах, независимо от прохождения через знаки, предполагаемые каждой стратой). Но мы всегда вращаемся в одном и том же круге, мы растрavляем одну и ту же язvu.

Лингвистическое отношение между означающим и означаемым, несомненно, понималось весьма разными способами: то как произвольное, то как необходимое (вроде двух сторон одного и того же листа), то как согласующее [их друг с другом] термин за термином или глобально, то как настолько амбивалентное, что мы уже не можем его различать. В любом случае, означаемое не существует вне своего отношения с означающим, а окончательное означаемое — это само существование означающего, которое мы экстраполируем по ту сторону знака. Что касается означающего, то мы можем сказать лишь одно: оно является Избытком, оно и есть Избыточное. Отсюда его невероятный деспотизм и успех, который оно осознает. Такое отношение — будь то произвольное, необходимое, согласующее [их друг с другом] термин за термином или глобально, амбивалентное — служит одной и той же причине, которая включает в себе редукцию содержания к означаемому и редукцию выражения к означающему. Итак, формы содержания и формы выражения в высшей степени относительны и всегда пребывают в состоянии взаимопредположения; они поддерживают между своими соотносительными сегментами дву-однозначные — внешние и «уродливые» — отношения; нет никакого соответствия между этими двумя формами, соответствия одной другой, но всегда есть реальная независимость и реальное различие; чтобы приспособить одну форму к другой, чтобы определить эти отношения, даже требуется особая вариabельная сборка. Ни одна из этих характеристик не годится

для отношения означающее—означаемое, даже если некоторые характеристики, как кажется, частично и случайно совпадают с ним. В целом все эти характеристики радикально противостоят картине означающего. Форма содержания не является означаемым, так же как и форма выражения не является означающим.²⁷ Это верно для всех страт, включая и те, куда внедряется язык.

Поклонники означающего в качестве неявной модели сохраняют слишком упрощенную ситуацию — слово и вещь. Из слова они извлекают означающее, а из вещи — означаемое, соответствующее слову и потому подчиненное означающему. Они устанавливаются в сфере того, что является внутренним для языка и однородным языку. Давайте обратимся к образцовому анализу Фуко, который прежде всего касается лингвистики, хотя таковым и не кажется, — возьмем, к примеру, такую вещь, как тюрьма. Тюрьма — это некая форма, «тюрьма-форма», форма содержания на некой страте, пребывающая в отношении с другими формами содержания (школой, казармой, больницей, заводом). Такая вещь или такая форма отсылает не к слову «тюрьма», а совсем к другим словам и концептам, таким например, как «преступник» и «преступность», выражающим новый способ классифицировать, утверждать, переводить и даже совершать преступление. «Преступность» — это форма выражения во взаимопредположении с формой содержания «тюрьма». Преступность никоим образом не является означающим, даже юридическим, означаемым которого была бы тюрьма. Так мы ослабили бы весь анализ. Впрочем, форма выражения сводится не к словам, а ко всему высказываемому, возникающему в социальном поле, рассматриваемому как страта (именно это и есть режим знаков). Форма содержания сводится не к вещи, а к

²⁷ Вот почему мы считаем, что Ельмслев, несмотря на его собственные оговорки и нерешительность, является единственным лингвистом, который реально порвал с означающим и означаемым. Многие другие лингвисты, по-видимому, осуществляют такой разрыв преднамеренно и безоговорочно, но сохраняют неявные предположения об означающем.

сложному состоянию вещей как формации власти (архитектура, программа жизни и т.д.). Тут есть как бы два постоянно пересекающихся многообразия — «дискурсивные многообразия» выражения и «недискурсивные многообразия» содержания. И это сложно именно потому, что тюрьма как форма содержания сама обладает собственным относительным выражением, всеми видами высказываемого, специфичными для тюрьмы и которые не обязательно совпадающими с высказываемым преступности. Наоборот, преступность как форма выражения сама обладает собственным автономным содержанием, ибо она выражает не только новый способ оценивания преступлений, но и новый способ их совершения. Форма содержания и форма выражения, тюрьма и преступность — каждая обладает своей историей, своей микроисторией, своими сегментами. Еще в большей степени они подразумевают, наряду с другими содержаниями и выражениями, одно и то же состояние абстрактной Машины, действующей вовсе не как означающее, а как своего рода диаграмма (та же самая абстрактная машина для тюрьмы, школы, казармы, больницы, завода...). И чтобы подогнать друг к другу оба типа форм — сегментов содержания и сегментов выражения, — требуется целая конкретная сборка о двух клешнях или, скорее, о двух головах, принимающая во внимание их реальное различие. Нужна целая организация, артикулирующая формации могущества и режимы знаков, действующая на молекулярном уровне (то, что Фуко называет обществами, характеризующимися дисциплинарной властью).²⁸ Короче, никогда не надо противопоставлять слова и вещи, которые, возможно, им соответствуют, не надо противопоставлять означающие и означаемые, которые, возможно, с ними

²⁸ Фуко, М. *Надзирать и наказывать* (М.: Ad Marginem, 1999). Уже в «Археологии знания» (Киев: Ника-Центр, 1996) Фуко очерчивает свою теорию двух видов многообразий — многообразий выражений, или высказываемого, и многообразий содержания, или объектов, и показывает, что они несводимы к паре означающее—означаемое. Он также объясняет, почему заглавие одной из его предыдущих книг, «Слова и вещи» (М.: Прогресс, 1977), должно пониматься иронически (с. 49—50).

согласуются, но противопоставлять нужно различные формализации, пребывающие в состоянии неустойчивого равновесия или взаимного предположения. *«Напрасно мы стараемся говорить о том, что видим, ибо то, что мы видим, никогда не обитает в том, что мы говорим»*. Это как в школе — не бывает письменного урока, который был бы уроком великого Означающего, избыточного для любых означаемых, а есть две разные формализации, взаимопредполагающие друг друга и конституирующие двойную клешню: формализация выражения на уроке чтения и письма (со своими собственными относительными содержаниями) и формализация содержания на уроке вещей (с их собственными относительными выражениями). Мы никогда не являемся ни означающими, ни означаемыми, мы стратифицированы.

Всеохватывающему [expansive] методу, помещающему знаки во все страты или означающее во все знаки (рискуя даже в пределе обходиться без знаков), мы, таким образом, предпочитаем строго ограничительный метод. Прежде всего, существуют формы выражения без знаков (например, генетический код не имеет ничего общего с языком). Знаки высказываются только в определенных условиях страты и даже не смешиваются с языком вообще, но определяют режимы высказываемого, которые являются такими же реальными назначениями или функциями языка. Но почему слово *знак* сохраняется для режимов, формализующих выражение без обозначения или означивания одновременных содержаний, которые формализуются по-другому? Дело в том, что знаки не являются знаками чего-либо; они суть знаки детерриторизации и ретерриторизации, они помечают некий порог, пересекаемый в ходе этих движений, и именно в этом смысле они должны быть сохранены (мы увидели это даже для животных «знаков»).

Затем, если мы рассмотрим режимы знаков в таком ограничительном значении, то увидим, что они не являются означающими, или не являются таковыми с

необходимостью. Как знаки обозначают лишь некую формализацию выражения в заданной группе страт, так же и само означивание обозначает только определенный режим среди других режимов — в этой особой формализации. Как существуют а-семиотические выражения, или выражения без знаков, так же существуют и а-семиологические режимы знаков, а-означающие знаки, одновременно, на стратах и на плане консистенции. Самое большее, что можно сказать об означивании, — оно характеризует *один* режим, причем даже не самый интересный, современный или актуальный, но, возможно, куда более пагубный, злокачественный и деспотичный, нежели другие, куда более погруженный в иллюзии.

В любом случае, содержание и выражение никогда не сводимы к означаемому и означающему. И к тому же (это — вторая проблема) они более не сводимы к инфраструктуре и сверхструктуре. Мы более не можем постулировать первичность содержания в качестве определяющего фактора, так же как и первичность выражения в качестве означающей системы. Мы не можем превратить выражение в форму, отражающую содержание, даже если мы наделяем его «некоторой» независимостью и некоторой возможностью реагировать. Это было бы так лишь в случае, если бы так называемое экономическое содержание уже обладало формой и даже формами выражения, какие ему свойственны. Форма содержания и форма выражения отсылают к двум предположительно параллельным формализациям — очевидно, что они не перестают переплетать свои сегменты, внедрять их один в другой, но это происходит благодаря абстрактной машине, из которой выводятся обе эти формы, и благодаря машинным сборкам, регулирующим их отношения. Если мы заменим такой параллелизм на пирамидальный образ, то превратим содержание (включая его форму) в экономическую инфраструктуру производства, принимающую все характеристики Абстрактного; мы превратим сборки в первый этаж сверхструктуры, который, как таковой, должен локализоваться

внутри аппарата Государства; мы превратим режимы знаков и формы выражения во второй этаж сверхструктуры, задаваемый идеологией. Что касается языка, то мы толком не знаем, что с ним делать — великий Деспот решил, будто за языком следовало бы зарезервировать некое место в качестве общего блага нации и передаточного устройства для информации. Итак, мы не учитываем: ни природы языка, который существует только в неоднородных режимах знаков, распределяя, скорее, противоречивые порядки вместо того, чтобы распространять информацию; ни природы режимов знаков, выражающих именно организации власти, или сборки, и не имеющих ничего общего с идеологией как предполагаемым выражением содержания (идеология — самый отвратительный концепт, затемняющий все эффективные социальные машины); ни природы организаций власти, которые никоим образом не локализируются в аппарате Государства, но повсюду осуществляют формализации содержания и выражения, чьи сегменты они переплетают; ни природы содержания, никоим образом не являющегося экономическим «в последней инстанции», ибо есть столько собственно экономических знаков или выражений, сколько неэкономических содержаний. Мы не можем выработать статус социальных формаций, только лишь добавляя означаемое в инфраструктуру, или, наоборот, добавляя немного фаллоса или кастрации в политическую экономию, немного экономики или политики в психоанализ.

Наконец, есть и третья проблема. Ибо трудно показать систему страт, не вводя, как кажется, между ними своего рода космическую или даже духовную эволюцию, как если бы они упорядочивались на стадиях и проходили через степени совершенства. Ничего подобного. Различные фигуры содержания и выражения — это не стадии. Нет никакой биосферы или ноосферы, повсюду есть только одна и та же Механосфера. Если мы начинаем с рассмотрения страт самих по себе, то не можем сказать, что одна будет менее организована, чем другая. Даже та, что служит субстратом —

нет никакого фиксированного порядка, и одна страта может непосредственно служить субстратой для другой независимо от посредников, которых мы могли бы счесть необходимыми с точки зрения стадий и степеней (например, микрофизические секторы как непосредственные субстраты органических феноменов). Итак, явный порядок может быть разрушен, а технические или культурные феномены могут быть хорошим перегноем, хорошим бульоном для развития насекомых, бактерий, микробов или даже частиц. Индустриальный век, определяемый как век насекомых... А сегодня еще хуже — мы не можем заранее сказать, какая страта собирается коммуницировать с какой-либо другой или в каком направлении. Прежде всего, нет ни более низкой, ни более высокой, ни наивысшей организации; субстрата является неотъемлемой частью страты, она связана с ней как среда, в коей происходит изменение, а не повышение организации.²⁹ С другой стороны, если мы рассматриваем план консистенции, то замечаем, что по нему проходят самые разнородные вещи и знаки — семиотический фрагмент располагается рядом с химическим взаимодействием, электрон натывается на язык, черная дыра перехватывает генетическое послание, кристаллизация создает страсть, оса и орхидея пересекают букву... Здесь нет «как», нет «как электрон», «как взаимодействие» и т.д. План консистенции — это отмена любой метафоры; все, что его составляет, — это Реальное. Это — электроны собственной персоной, подлинные черные дыры, реальные органиты, аутентичные последовательности знаков. Только они вырваны из своих страт, дестратифицируются, декодируются, детерриторируются, и именно это позволяет им соседствовать и взаимопроникать на плане консистенции. Немой танец. *План консистенции игнорирует различия в уровне, в порядках величины или в дистанциях. Он игнорирует любое различие между искусственным и естественным. Он игнорирует разницу между содержаниями и*

²⁹ Simondon, *L'individu*, pp. 139–141.

выражениями, как и разницу между формами и оформленными субстанциями, существующими только благодаря стратам и по отношению к стратам.

Но как же мы все еще можем идентифицировать вещи и именовать их, если они утратили те страты, которые качественно определяют их, если они перешли в абсолютную детерриторизацию? Глаза — это черные дыры, но каковы черные дыры и глаза вне их страт и территориальностей? Вот именно, мы не можем удовлетвориться дуализмом или итоговой оппозицией между стратами и дестратифицированным планом консистенции. Дело в том, что сами страты оживляются и задаются относительными скоростями детерриторизации; более того, абсолютная детерриторизация присутствует там с самого начала, и страты суть осадки, сгущения на плане консистенции, который наличествует повсюду, повсюду первичен и всегда имманентен. Кроме того, план консистенции оккупирован, расчерчивается абстрактной Машиной; итак, абстрактная Машина существует *одновременно* как развитая на дестратифицированном плане, который она чертит, но и как обернутая каждой стратой, чье единство композиции определяется ею, и даже как наполовину воздвигнутая на некоторых стратах, чью форму схватывания она определяет. То, что удирает или танцует на плане консистенции, уносит, таким образом, ауру своей страты, волнение — память или напряжение. План консистенции в достаточной мере сохраняет страты, чтобы извлечь из них переменные, каковые осуществляются на нем как его собственные функции. План консистенции, или планоменон, никоим образом не является недифференцированной совокупностью несформированных материй, но он больше не является и хаосом каких-то сформированных материй. Верно, что на плане консистенции нет больше форм или субстанций, нет больше содержаний или выражений, нет больше относительных и соответствующих детерриторизаций. Но ниже форм и субстанций страт — план консистенции (или абстрактная машина) *конструирует континуумы*

интенсивности, он создает непрерывность для интенсивностей, извлекаемых им из разных форм и субстанций. Ниже содержаний и выражений план консистенции (или абстрактная машина) *излучает и комбинирует знаки-частицы* (*грамматические частицы* [particles]), которые заставляют функционировать самый а-означающий знак в самой детерриторизованной частице. Ниже относительных движений план консистенции (или абстрактная машина) *производит конъюнкции потоков детерриторизации*, трансформирующие соответствующие индексы в абсолютные ценности. Стратам известны лишь дискретные, схваченные в формах и субстанциях интенсивности; им известны лишь те грамматические частицы [particles], которые делятся на частицы [particules] содержания и артикли выражения; а также известны лишь детерриторизованные потоки, которые разъединены и ретерриторизованы. Континуум интенсивностей, комбинированная эмиссия частиц [particles] или частиц-знаков, конъюнкция детерриторизованных потоков — вот три фактора, свойственные плану консистенции, производимые абстрактной машиной и конституирующие дестратификацию. Теперь во всем этом нет и намека на хаотичную белую ночь или недифференцированную темную ночь. Есть правила, являющиеся правилами «планирования», диаграмматизации. Мы увидим их позже или в другом месте. Абстрактная машина — не нечто произвольное; непрерывности, эмиссии, комбинации и сопряжения не происходят как попало.

Настал момент, когда нужно отметить последнее различие. Мало того, что абстрактная машина имеет разные одновременные состояния, принимающие в расчет сложность того, что имеет место на плане консистенции, — но абстрактную машину не следует путать с тем, что мы называем конкретной машинной сборкой. Иногда *абстрактная машина* развивается на плане консистенции, чьи континуумы, эмиссии и сопряжения она конструирует, а иногда она остается обернутой в страте, чье единство композиции и силы притяжения или захвата она опреде-

ляет. *Машинная сборка* — нечто совершенно отличное от абстрактной машины, даже если она весьма тесно связана с последней: прежде всего она осуществляет на страте коадаптацию содержания и выражения, гарантирует двуднозначные отношения между сегментами того и другого, управляет делением страты на эпистраты и парастраты; затем, от одной страты до другой, она удостоверяет отношение к тому, что является субстратой, а также соответствующие изменения в организации; наконец, она поворачивается к плану консистенции, поскольку с необходимостью осуществляет абстрактную машину на той или иной страте, между стратами и в отношении между стратами и планом. Нужна сборка — например, наковальня кузнеца у Догонов, — чтобы произошла артикуляция органической страты. Нужна сборка, чтобы возникли отношения между двумя стратами. Чтобы организмы были схвачены внутри социального поля и проникали в социальное поле, которое их использует — не должны ли Амазонки ампутировать грудь, дабы приспособить органическую страту к воинственной технологической страте как бы по требованию ужасной сборки женщина—лук—степь? Нужны сборки, чтобы состояния сил и режимы знаков переплели свои отношения. Нужны сборки, чтобы единство композиции, свернутое в страте, отношения между этой стратой и другими стратами, отношение между этими стратами и планом консистенции были организованы и не как попало. В любом случае, машинные сборки *осуществляют* абстрактную машину так, что она развивается на плане консистенции или заворачивается в страту. И нет проблемы важнее, чем эта — если дана некая машинная сборка, то каково ее отношение осуществления с абстрактной машиной? Как она производит последнюю, в соответствии с чем? Классифицируйте сборки. Мы называем механосферой совокупность всех абстрактных машин и машинных сборок, располагающихся, одновременно, вне страт, на стратах или между стратами.

Итак, система страт не имеет никакого дела с означающим и означаемым, инфраструктурой и сверхструктурой, материей и разумом. Все это — способы сведения страт к одной-единственной страте, или способы замыкания системы на себя, путем отрывания ее от плана консистенции как дестратификации. Мы должны были подвести итог прежде, чем утратили собственный голос. Челленджер подходил к концу. Его голос стал неслышным и пронзительным. Он задыхался. Его руки превратились в удлиненные клешни, которые не могли уже ничего схватить и указывали на нечто неопределенное. Казалось, какая-то материя выливалась из-под двойной маски, из-под двойной головы, и невозможно было сказать, сгущается ли она или, напротив, становится более жидкой. Аудитория вернулась, но состояла из теней и бродяг. «Вы слышите? Это — голос животного». Так что резюмировать нужно было очень быстро, фиксировать терминологию настолько, насколько возможно, и фиксировать, неважно для чего. Вначале имелась первая группа понятий: Тело без Органов или дестратифицированный План Консистенции; Материя Плана, то, что происходит на этом теле или в этом плане (сингулярные несегментированные множественности, составленные из интенсивных континуумов, эмиссии частиц-знаков, конъюнкции потоков); одна или несколько абстрактных Машин, поскольку они конструируют такое тело или расчерчивают такой план или «диаграмму» того, что происходит (линии ускользания или абсолютные детерриторизации).

Затем имелась система страт. На интенсивном континууме страты вырезают формы и формируют материи в субстанциях. В комбинированных эмиссиях они проводят различие между выражениями и содержаниями, единствами выражения и единствами содержания — например, знаками и частицами. В конъюнкциях они отделяют потоки, приписывая им относительные движения и разнообразные территориальности, относительные детерриторизации и дополнительные ретерриторизации. Итак, страты

повсюду устанавливают двойные артикуляции, оживляемые движениями — формы и субстанции содержания и формы и субстанции выражения, конституирующие сегментарные множественности под каждый раз детерминруемыми отношениями. Таковыми являются *страты*. Каждая страта — это двойная артикуляция содержания и выражения, причем оба они реально различны, оба взаимно предполагают друг друга, перемешиваются друг с другом, причем именно двуглавые машинные сборки устанавливают отношение между их сегментами. От страты к страте изменяется именно природа реального различия между содержанием и выражением, природа субстанций как оформленных материй и природа относительных движений. В итоге мы можем провести различие между тремя главными типами реального различия — различие между реальным и формальным для порядков величин, где устанавливается резонанс выражения (индукция); различие между реальным и реальным для различных субъектов, где устанавливается линейность выражения (трансдукция); и различие между реальным и сущностным для разных атрибутов или категорий, где устанавливается сверхлинейность выражения (перевод).

Каждая страта служит в качестве субстраты для другой страты. Каждая страта обладает единством композиции, определяемым ее средой, субстанциальными элементами и формальными чертами (Эйкуменон). Но она делится на *парастраты* (согласно своим несводимым формам и ассоциированным средам) и на *эпистраты* (согласно своим слоям оформленных субстанций и посредничающих сред). Эпистраты и парастраты сами должны рассматриваться как страты. Машинная сборка — это *интерстрата*, поскольку она регулирует отношения между стратами так же, как и отношения между содержаниями и выражениями на каждой страте в соответствии с предыдущими делениями. Одна и та же сборка может быть заимствована у разных страт и в некотором явном беспорядке; и наоборот, страта или элемент страты могут функционировать еще и с други-

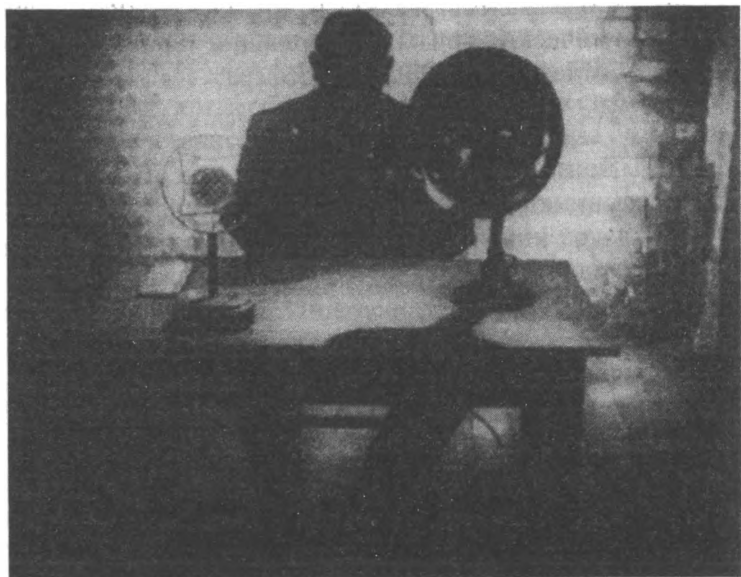
ми стратами благодаря иной сборке. Наконец, машинная сборка — это *метастрата*, ибо она, с другой стороны, повернута к плану консистенции и с необходимостью осуществляет абстрактную машину. Абстрактная машина свернута в каждой страте, чей Эйкуменон, или единство композиции, она определяет, и развивается на плане консистенции, чью дестратификацию она проводит (Планоменон). Итак, когда сборки соответствуют вместе переменным страты в зависимости от ее единства, тогда они также производят то или иное исполнение абстрактной машины, ибо последняя существует вне страт. Машинные сборки одновременно существуют на пересечении содержания и выражения в каждой страте и на пересечении всех страт на плане консистенции. Они действительно вращаются во всех направлениях подобно прожекторам.

Все кончилось. Все это должно обрести конкретный смысл, но только позже. Дважды артикулированная маска развалилась, а также перчатки и туника, из которой вытекали жидкости, которые в своем ускользании, как казалось, подтачивали страты конференц-зала, «окутанного клубами дыма от благовоний и увешанного причудливыми гобеленами». Деартикулированный, детерриторизованный, Челленджер бормотал, что уносит землю с собой, уезжает в таинственный мир, в свой ядовитый сад. Он шептал что-то еще — именно благодаря беспорядочному бегству прогрессируют вещи и размножаются знаки. Паника — это созидание. Девушка вопила «в диком, глубоком и безобразном кризисе эпилептического припадка». Никто не слышал заключения и не пытался удержать Челленджера. Челленджер (или то, что от него осталось) медленно поплелся к *плану консистенции*, следуя причудливой траектории, более уже ни с чем не соотносящейся. Он собирался соскользнуть в сборку, служащую в качестве врат-барабана, Часов-частиц, интенсивно тикающих в сопряженных ритмах, отбивающих абсолют: «Он... сменил позу, согнулся и, сразу утратив человеческий облик, поплелся к часам в форме гроба... Фигура в тюрбане поравнялась с часами, и

они различили сквозь пелену дыма, как ее черные клешни неловко ощупали высокую дверцу, расписанную иероглифами. Затем до них донесся резкий щелчок. Фигура вошла в похожий на гроб футляр и захлопнула дверцу... Безумное тиканье продолжалось, часы, как прежде, отбивали темный, космический ритм, отворявший врата в иные миры».³⁰ — Механосфера или ризосфера.

³⁰ Лавкрафт Г.Ф. *Врата Серебряного Ключа* // Лавкрафт Г.Ф. *Зверь в подземье*. М.: Гудьял-Пресс, 2000, с. 73–74.

4. 20 ноября, 1923 — Постулаты лингвистики



Сборка слов-порядка

1. ЯЗЫК МОГ БЫ БЫТЬ ИНФОРМАЦИОННЫМ И КОММУНИКАТИВНЫМ

Школьная учительница, опрашивая ученика, информирует себя не больше, чем информирует учеников, когда учит их правилам грамматики или счета. Она «предписывает», отдает приказы, командует. Команды профессора — ни внешние, ни дополнительные к тому, чему он нас учит. Они не вытекают из первичных сигнификаций и не следуют из информации: приказ всегда и уже касается приказов, вот почему приказ — это избыточность. Машина обязательного образования не сообщает информацию, она навязывает

ребенку семиотические координаты со всеми дуальными основаниями грамматики (мужское—женское, единичное—множественное, существительное—глагол, субъект высказываемого — субъект высказывания и т.д.). Элементарная единица языка — высказываемое — это слово-порядка*. Прежде чем определять общий смысл — то есть способность, централизующую информацию, — следует также определить и другую отвратительную способность, состоящую в испускании, получении и передачи слово-порядка. Язык создан не для того, чтобы верить, а чтобы повиноваться и внушать повиновение. «У баронессы нет ни малейшего намерения убедить меня в своей искренности; она просто показывает, что предпочитает видеть меня притворившимся, будто я согласен».¹ Мы видим такое в заявлениях полиции или правительства, где часто крайне мало правдоподобия или истины, но которые весьма ясно говорят, что должно соблюдаться и сохраняться. Равнодушные заявлений к любому правдоподобию нередко граничат с провокацией. Именно в этом состоит доказательство того, что речь идет о чем-то другом. Пусть себе люди говорят... — язык большего и не требует. Шпенглер замечает, что основные формы речи — это не высказанное суждение, не выражение чувства, а «команда, свидетельство повиновения, высказывание, вопрос, утверждение или отрицание», крайне короткие фразы, командующие жизнью и неотделимые от предприятий и крупномасштабных работ: «Готов?» «Да». «Вперед».² Слова — не инструменты, но мы

* *Mot d'ordre* — на стандартном французском языке означает «лозунг», (военный) «пароль», «приказ», «призыв», «команда». У Делеза и Гваттари словосочетание «слово-порядка» используется в двойном смысле слова или фразы, которые конституируют команду, а также такое слово (или фразу), которое проистекает из определенного приказа. — *Прим. пер.*

¹ Darien, Georges. *L'Opaulette*, 10–18, p. 435. Или см. Золя, Эмиль. Человек-зверь (Собрание сочинений в 18 томах. Том 13. М.: «Правда», 1957, с. 194): «Она сказала это не для того, чтобы его убедить, а чтобы предупредить его, что в глазах всех посторонних должна считаться невинною». Такой тип фразы, как нам кажется, более характерен для романа вообще, чем информативная фраза «маркиза вышла в пять часов».

² Spengler, *L'homme et la technique*, Gallimard, *Idées*, p. 103.

даем детям язык, ручки и записные книжки так же, как рабочим — лопаты и кирки. Правило грамматики является показателем власти прежде, чем стать синтаксическим показателем. Приказ не относится ни к предшествующим сигнификациям, ни к предшествующей организации характерных единств. Как раз наоборот. Информация — лишь строгий минимум, необходимый для испускания, передачи и соблюдения приказов как команд. Надо быть достаточно информированным, чтобы не путать «В огне» [*Au feu*] с «В игре!» [*Au jeu!*] или избегать досадной ситуации учителя и ученика по Льюису Кэрроллу (учитель, стоящий наверху лестницы, задает вопрос, передаваемый слугами, которые искажают его на каждой ступеньке, а ученик, находящийся внизу во дворе, отсылает ответ, также искажаемый на каждом этапе обратного движения вверх). Язык — не жизнь, он отдает жизни приказы; жизнь не говорит, она слушает и ждет.³ В любом слове-порядка, даже от отца к сыну, есть маленький смертный приговор — «Вердикт», как говорил Кафка.

Что трудно, так это уточнить статус и распространение слова-порядка. Речь идет не о происхождении языка, ибо слово-порядка — это только функция-язык: функция, соразмерная языку. Если язык, как кажется, всегда предполагает язык, если мы не можем зафиксировать нелингвистическую точку отсчета, то именно потому, что язык не располагается между чем-то увиденным (или почувствованным) и чем-то высказанным, а всегда движется от говорения к говорению. В этом отношении мы не полагаем, будто рассказ будет состоять в сообщении увиденного, скорее он в передаче услышанного, того, что сказал вам другой. Слушаем—говорим. Недостаточно даже обращаться к видению, искаженному страстью. «Первый» язык или, скорее, первая детерминация, наполняющая язык, — не троп

³ Parain, Brice. *Sur la dialectique*, Gallimard. Перейн развивает теорию «предположения» или предполагаемого в языке по отношению к приказам, данным в жизни; но он понимает его не столько как власть в политическом смысле, сколько как обязанность в моральном смысле.

или метафора, а *косвенная речь*. Значимость, коей мы хотели бы наделить метафору и метонимию, оборачивается бедой для изучения языка. Метафоры и метонимии — только эффекты, принадлежащие языку лишь в том случае, если они уже предполагают косвенную речь. В страсти есть много страстей, все виды голоса в одном голосе, все бормотания, глоссолалии: вот почему любая речь является косвенной, а трансляция, свойственная языку, — это трансляция косвенной речи.⁴ Бенвенист отрицает наличие языка у пчелы, даже при том, что последняя располагает органическим кодированием и *даже использует тропы*. У нее нет языка, ибо она способна сообщить лишь то, что увидела, но не может передать то, что ей было сообщено. Пчела, почувствовавшая источник пищи, может сообщить о нем пчелам, не чувствовавшим пищу; но пчела, сама не чувствовавшая пищи, не может передать послание другим пчелам, которые тоже ее не чувствовали.⁵ Язык не довольствуется тем, что идет от первого ко второму (от того, кто видел, к тому, кто не видел), а с необходимостью движется от второго к третьему — причем ни тот, ни другой ничего не видели. Именно в этом смысле язык — это передача слова, функционирующего как слово-порядка, а не сообщение знака как информации. Язык — это карта, а не калька. Но как слово-порядка может выступать функцией, соразмерной языку, когда такой приказ, такая команда, похоже, отсылает к ограниченному типу явных пропозиций, помеченных императивом?

⁴ Два автора главным образом обнаружили важность косвенной речи — в частности в ее так называемой «свободной» форме — с точки зрения теории высказывания, выходящего за пределы традиционных категорий лингвистики: Михаил Бахтин (для русского, немецкого и французского языков — Волошинов В.Н. (М.М.Бахтин) *Марксизм и философия языка*. М.: Лабиринт, 1993, Часть 3. К истории форм высказывания в конструкциях языка) и Пьер Паоло Пазолини (для итальянского языка — Pasolini P.P. *L'expérience hérétique*, Payot, Ire partie). Мы также упоминали о неопубликованном исследовании: Bamberger J.-P. *Les formes du discours indirect dans le cinéma, muet et parlant*.

⁵ Бенвенист, Эмиль. *Общая лингвистика* (М.: Прогресс, 1974), с. 101: «Не было замечено, например, чтобы какая-нибудь пчела передала в другой улей сообщение, полученное в своем, то есть что-то вроде передачи эстафеты».

Знаменитые тезисы Остина хорошо показывают, что между действием и речью есть не только разнообразные внешние отношения, посредством которых высказываемое может описывать некое действие в индикативном модусе или провоцировать его в императивном модусе и т.д. Между речью и некоторыми действиями есть также внутренние отношения, которые мы выполняем, произнося *их* (перформатив: я клянусь, говоря «я клянусь»), и, более обще, между речью и некоторыми действиями, которые выполняются в говорении (иллокутив: я спрашиваю, говоря «Что такое ...?», я уверяю, говоря «Я тебя люблю...»; я командую, используя императив, и т.д.). Эти действия, внутренние по отношению к речи, эти имманентные отношения между высказываемыми и действиями, были названы *имплицитными или недискурсивными пресуппозициями*, в отличие от всегда эксплицируемых предположений, посредством которых высказываемое отсылает к другим высказываемым или же к внешнему действию (Дюкро). Высвобождение сферы перформативности и более широкой сферы иллокутивности уже имеет три важных следствия: 1) невозможность рассматривать язык как код, ибо код — это условие, обеспечивающее возможность объяснения; а также невозможность рассматривать речь как сообщение информации: приказывать, спрашивать, обещать, утверждать — это не информирование о команде, сомнении, обязательстве или высказывании, а осуществление таких специфических, имманентных и необходимо имплицитных действий; 2) невозможность определять семантику, синтаксис или даже фонематику как области языка, какими занимается наука, — независимые от *прагматики*; прагматика перестает быть «свалкой отходов», прагматические детерминации перестают подчиняться альтернативе — либо снова выпадать за пределы языка, либо отвечать явным условиям, при которых они синтаксизируются и семантизируются; напротив, прагматическое становится тем, что предполагается для всех других измерений и проникает везде; 3) невозможность удерживать различие

язык—речь, ибо речь более не может определяться просто как внешнее и индивидуальное использование первичной сигнификации, либо как вариативное применение предзаданного синтаксиса — как раз напротив, смысл и синтаксис языка более не могут определяться независимо от речевых актов, каковые они предполагают.⁶

Верно, что мы все еще плохо понимаем, как можно превратить речевые акты или имплицитные пресуппозиции в функцию, соразмерную языку. Мы понимаем это еще хуже, если начинаем с перформатива (то, что мы делаем, сказав «это [le]») и движемся путем расширения до иллокутива (то, что мы делаем, говоря). Ибо мы всегда можем помещать такому расширению и блокировать перформатив в нем самом, объясняя его с помощью особых синтаксических и семантических характеристик, избегая любого обращения за помощью к обобщенной прагматике. Так, согласно Бенвенисту, перформатив отсылает не к действиям, а, напротив, к свойству *самореферентных* терминов (подлинные личные местоимения Я, Ты..., определяемые как сцепки), — так что структура субъективности, предзаданной интерсубъективности в языке в достаточной мере отдает отчет о речевых актах вместо того, чтобы предполагать их.⁷ Следовательно, язык определяется здесь, скорее, как коммуникативная, а не как информативная деятельность, и именно эта интерсубъективность, эта собственно лингвистическая субъективация объясняет все остальное — то есть все, что мы производим на свет, произнося «это [le]».

⁶ Уильям Лабов ясно показал противоречие или, по крайней мере, парадокс, создаваемый различием между языком и речью: мы определяем язык как «социальную часть» языковой деятельности, мы отсылаем речь к индивидуальным вариациям; но поскольку социальная часть замкнута на себя, она с необходимостью следует из того, что единичной индивидуальности было бы достаточно, дабы проиллюстрировать принципы языка независимо от каких-либо внешних данных, тогда как речь могла бы обнаруживаться лишь в социальном контексте. Тот же парадокс повторяется от Соссюра до Хомского: «Социальный аспект языковой деятельности изучается с помощью наблюдения за каким-либо индивидуумом, в то время как индивидуальный аспект требует изучения только в средоточии общества» (*Sociolinguistique*, Ed. de Minuit, pp. 259 sq., 361 sq.).

⁷ Benveniste, *Problèmes de linguistique générale* (Ve partie); об устранении иллокутивности см.: pp. 274 sq.

Но вопрос в том, чтобы знать, является ли субъективная коммуникация более удачным лингвистическим понятием, нежели идеальная информация. Освальд Дюкро развил доводы, заставившие его полностью пересмотреть схему Бенвениста: феномен самореферентности как раз-таки и не может принять в расчет перформатив — все наоборот, именно тот «факт, что определенные высказываемые социально посвящены выполнению определенных действий», именно этот факт объясняет самореферентность. Так что сама перформативность объясняется иллокутивностью, а не наоборот. Именно иллокутивность конституирует имплицитные и недискурсивные пресуппозиции. А иллокутивность, в свою очередь, объясняется коллективным сборками высказывания, юридическими актами или эквивалентами юридических актов, которые распределяют процессы субъективации или назначения субъектов в языке вместо того, чтобы зависеть от них. Коммуникация — концепт не более удачный, чем информация; интерсубъективность подходит не лучше, чем означивание, чтобы принять в расчет такие сборки между «высказываемыми и действиями», которые отмеряют в каждом языке роль и диапазон субъективных морфем.⁸ (Мы увидим, что анализ косвенной речи подтверждает эту точку зрения, ибо субъективации не первичны, а вытекают из сложной сборки.)

Мы называем *словами-порядка* не особую категорию явных высказываемых (например, в императиве), а отношение любого слова или любого высказываемого к имплицитным пресуппозициям, то есть к речевым актам, кото-

⁸ Ducrot, Oswald. *Dire et ne pas dire*, Hermann, pp. 70–80 (а также: «De Saussure à la philosophie du langage», предисловие к Searle J.R. *Actes de langage*, Hermann). Дюкро ставит под вопрос лингвистические понятия информации и кода, коммуникации и субъективности. Он разрабатывает теорию «лингвистического предположения» или недискурсивной имплицитности, в противоположность выводимой и дискурсивной имплицитности, все еще отсылающей к коду. Он конструирует прагматику, охватывающую всю лингвистику, и продвигает вперед исследование сборок высказывания, рассматриваемых с «юридической», «полемической» или «политической» точек зрения.

рые выполняются в высказываемом и могут быть выполненными только в нем. Следовательно, слова-порядка отсылают не только к командам, но и ко всем действиям, связанным с высказываемыми посредством «социального обязательства». Не бывает высказываемого, которое не представляло бы прямо или косвенно эту связь. Вопрос и обещание суть слова-порядка. Язык может определяться только всей совокупностью слов-порядка, имплицитных пресуппозиций или речевых актов, присутствующих в языке в данный момент.

Отношение между высказываемым и действием является внутренним, имманентным, но оно — не отношение тождества. Отношение — это, скорее, *избыточность*. Само слово-порядка — это избыточность действия и высказываемого. Газеты, новости действуют благодаря избыточности, в которой они сообщают нам, что мы «должны» думать, удерживать, ожидать и т.д. Язык ни информативен, ни коммуникативен, он — не сообщение информации, а что-то совсем иное, передача слов-порядка либо от одного высказываемого к другому, либо внутри каждого высказываемого, ибо высказываемое выполняет некое действие, а действие выполняется в высказываемом. Самая общая схема информатики устанавливает, в принципе, идеальную максимальную информацию и делает из избыточности просто граничное условие, которое понижает этот теоретический максимум, дабы предотвратить его поглощение шумом. Напротив, мы говорим, что именно избыточность слова-порядка является первичной и что информация — только лишь минимальное условие для передачи слов-порядка (это потому, что здесь нет противопоставления между шумом и информацией, а есть, скорее, противопоставление всего недисциплинарного в целом, обрабатывающего язык, и слова-порядка как дисциплинарного или «грамматически правильного»). У избыточности две формы — *частота* и *резонанс*; первая касается означивания информации, а вторая ($Я = Я$) касается субъективности коммуникации. Но как раз то, что проявляется с

такой точки зрения, — это подчиненное положение информации и коммуникации (или даже означивания и субъективирования) в отношении избыточности. Порой мы разделяем информацию и коммуникацию; порой же мы высвобождаем абстрактное означивание информации и абстрактную субъективацию коммуникации. Но ничего из этого не дает нам имплицитной или первичной формы языка. Нет ни означивания, независимого от господствующих сигнификаций, ни субъективации, независимой от установленного порядка подчинения. Оба зависят от природы и передачи слов-порядка в данном социальном поле.

Не существует ни индивидуального высказывания, ни даже субъекта высказывания. И все же лишь немногие лингвисты анализировали необходимо социальный характер высказывания.⁹ Дело в том, что такой характеристики самой по себе недостаточно, к тому же она рискует быть внешней — следовательно, об этом сказано либо слишком много, либо слишком мало. Социальный характер высказывания внутренним образом обосновывается, только если мы сумеем показать, как высказывание само по себе отсылает к *коллективным сборкам*. Тогда мы ясно увидим, что индивидуальность высказываемого и субъективация высказывания существуют лишь в той мере, как того требует и как их определяет безличная коллективная сборка. Именно в этом состоит образцовая ценность косвенной речи, *главным образом «свободной» косвенной речи* — нет никаких ясных, четких контуров; прежде всего, нет ни внедрения разнообразно индивидуализированных высказываемых, ни сцепления разнообразных субъектов высказывания, а есть коллективная сборка, задающая в качестве своего следствия относительные процессы субъективации, назначения индивидуальности и их подвижные

⁹ Бахтин и Лабов двумя разными способами настаивали на социальном характере высказывания. Тут они противостоят не только субъективизму, но также и структурализму — в той мере, в какой последний отсылает систему языка к пониманию индивидуума де-юре, а социальные факторы к фактическим индивидуумам, поскольку они говорят.

распределения в дискурсе. Косвенная речь как раз-таки и не объясняется различием между субъектами; скорее, именно сборка — поскольку она свободно появляется в таком дискурсе — объясняет все конкретные голоса, присутствующие в одном голосе, отблеск девушек в монологе Шарлю, конкретные языки в некоем языке, конкретные слова-порядка в некоем слове. Американский убийца «Сын Сэма» убивал под влиянием голоса предков, но последний сам проходил через голос пса. Именно понятие коллективной сборки высказывания становится самым важным, ибо оно должно принимать в расчет социальный характер. Несомненно, мы можем определить коллективную сборку как избыточное сочетание действия и высказываемого, которое с необходимостью выполняет ее. Но это — все еще лишь номинальное определение; оно даже не позволяет оправдать наше предыдущее положение, согласно которому избыточность несводима к простому тождеству (или что не существует никакого простого тождества между высказываемым и действием). Если мы хотим подойти к реальному определению коллективной сборки, то должны спросить, из чего состоят имманентные языку действия, создающие избыточность благодаря высказываемому или создающие слова-порядка.

Эти действия, по-видимому, определяются совокупностью *бестелесных трансформаций*, присущих данному обществу и приписываемых телам данного общества. Мы можем наделить слово «тело» самым широким смыслом (есть ментальные тела, души — это тела и т.д.); между тем, действия и страдания, аффектирующие такие тела, нужно отличать от действий, являющихся лишь нетелесными атрибутами или «выражаемым» высказываемого. Когда Дюкро задается вопросом, из чего состоит действие, он выходит именно на юридическую сборку и приводит пример судебного решения, трансформирующего обвиняемого в осужденного. Действительно, то, что происходило до того — преступление, в котором некто

обвиняется — и то, что происходит после — исполнение наказания — суть действия-страдания, затрагивающие тела (тело собственности, тело жертвы, тело осужденного, тело тюрьмы); но трансформация обвиняемого в осужденного — это чистый мгновенный акт или бестелесный атрибут, который является выражаемым решения судьи.¹⁰ Мир и война суть состояния или смеси крайне разных типов тел; но объявление общей мобилизации выражает мгновенную и бестелесную трансформацию тел. Тела обладают возрастом, они становятся зрелыми, стареют; но совершеннолетие, пенсионный возраст, те или иные возрастные категории суть бестелесные трансформации, немедленно приписываемые телам в тех или иных обществах. «Ты больше не ребенок...» — такое высказываемое касается бестелесной трансформации, даже если говорит о телах и внедряется в их действия и страдания. Бестелесная трансформация распознается в своей мгновенности, в своей непосредственности, в одновременности высказываемого, которое выражает трансформацию, и производимого им эффекта; вот почему слова-порядка точно датированы — до часа, минуты и секунды — и обладают ценностью только как датированные. Любовь — это смесь тел, которая может быть представлена в виде сердца, пронзенного стрелой, в виде союза душ и т.д., но заявление «я люблю тебя» выражает бестелесный атрибут тел, как любящего, так и любимого. Вкушение хлеба и питье вина — это перемешивания тел; общение с Христом — это также перемешивание собственно духовных тел, но не менее «реальных». Но превращение тела хлеба и тела вина

¹⁰ Ducrot, p. 77: «Квалифицировать действие как преступное (воровство, мошенничество, шантаж и т.д.) — не значит, в нашем смысле этого термина, представлять его как некий акт, поскольку юридическое положение о виновности, определяющее преступление, как предполагается, вытекает из тех или иных последствий описанной деятельности: такая деятельность рассматривается как наказуемая потому, что причиняет вред другому человеку, порядку, обществу и т.д. Высказываемое приговора, [произносимое] судьей, может, напротив, рассматриваться как юридическое потому, что нет никакого эффекта, который мог бы быть вставлен между речью судьи и трансформацией обвиняемого в осужденного».

в тело и кровь Христа — это чистое выражаемое высказываемого, кое приписывается телам. При угоне самолета угроза налетчика, размахивающего пистолетом, очевидно является действием; таковой же является и казнь заложников, если она имеет место. Но трансформация пассажиров в заложников, а тела-самолета в тело-тюрьму — это мгновенная бестелесная трансформация, *действие средств массовой информации* в том смысле, в каком англичане говорят о *speech-act**. Слова-порядка или сборки высказывания в данном обществе — короче, иллокутив — обозначают такое мгновенное отношение между высказываемыми и бестелесными трансформациями (или нетелесными атрибутами), которые они выражают.

Весьма любопытно, что такая мгновенность слова-порядка может быть проецирована до бесконечности, но пребывает в истоке общества; так, для Руссо переход от природного состояния к цивилизованному подобен скачку на месте, бестелесной трансформации, происходящей в момент Ноль. Несомненно, реальная история рассказывает о действиях и страданиях тел, развивающихся в социальном поле, она сообщает о них определенным способом; но она также передает слова-порядка, то есть чистые действия, вставленные в это развитие. История никогда не избавится от дат. Возможно, именно экономика или финансовый анализ лучше всего демонстрируют присутствие и мгновенность таких решающих действий в общем процессе (вот почему высказываемые, разумеется, не принадлежат идеологии, но работают уже в предполагаемой области инфраструктуры). Галопирующая инфляция в Германии после 1918 года — это процесс, воздействующий на монетарное тело и на многие другие тела; но совокупность «обстоятельств» внезапно сделала возможной семиотическую трансформацию, которая, хотя и являлась теоретически индексированной на теле земли и телах активных материалов, тем не менее оставалась

* Речевой акт (англ.). — Прим. пер.

чистым действием или бестелесной трансформаций — 20 ноября 1923 года...¹¹

Сборки не перестают изменяться, они сами подвергаются трансформациям. Во-первых, следует принимать во внимание обстоятельства: Бенвенист ясно показывает, что перформативное высказываемое — ничто вне обстоятельств, делающих его таковым. Любой может крикнуть «я объявляю всеобщую мобилизацию», это — действие ребячества или безумия, а не акт высказывания, если отсутствует эффективная переменная, дающая право высказываться. То же справедливо и для «я тебя люблю», ибо у последнего нет ни смысла, ни субъекта, ни адресата вне тех обстоятельств, какие не только сообщают ему достоверность, но и делают его подлинной сборкой, маркером власти, даже в случае несчастной любви (именно благодаря воле к власти мы все еще повинемся...). Итак, общий термин «обстоятельства» не должен оставлять впечатление, будто речь идет лишь о внешних обстоятельствах. «Я клянусь» — не одно и то же, когда его произносят в семье, в школе, в любовной интрижке, в тайном сообществе или в суде: это — не одна и та же вещь и не одно и то же высказываемое; это — не одно и то же положение тела и не одна и та же бестелесная трансформация. Трансформация говорит о телах, но сама бестелесна, она является внутренней

11 Galbraith, J.K. *L'argent*, Gallimard, Idées, «L'Inflation finale», pp. 259 sq.: «Занавес упал 20 ноября 1923 года. Как и в Австрии годом раньше, конец пришел внезапно. Как и в случае более умеренной французской инфляции, все закончилось удивительно легко. Возможно, потому что уже не могло продолжаться. 20 ноября постановили, что прежняя рейхсмарка более не является деньгами. Была введена новая валюта — рентмарка. <...> Постановили, что новая рентмарка будет обеспечена залогом на всю землю и другие материальные активы Рейха. Происхождение этой идеи восходит к ассигнациям; однако, она была куда более мошеннической [Гэлбрейт хочет сказать: детерриторизованной]. Во Франции в 1789 году существовали обширные земли, недавно конфискованные у Церкви, на которые первоначально могли быть обменены бумажные деньги. Но если бы какой-нибудь немец решил осуществить свои права на конфискацию земельной собственности, то мы засомневались бы в его психическом здоровье. Тем не менее, система функционировала. Помогли обстоятельства. <...> Если бы после 1923 года германский бюджет подчинился тем же требованиям, что и раньше (репарациям и затратам на пассивное сопротивление), то ничто не спасло бы марку и ее репутацию».

для высказывания. Существуют переменные в выражении, помещающие язык в отношение с внешним, но именно потому, что они имманентны языку. До тех пор, пока лингвистика замыкается на константах — синтаксических, морфологических или фонологических, — она соотносит высказываемое с означающим, а высказывание с субъектом и, соответственно, портит сборку; она отсылает обстоятельства к внешнему, замыкает язык на нем самом и превращает прагматику в некий остаток. Напротив, прагматика не просто взывает к внешним обстоятельствам — она высвобождает переменные величины выражения или высказывания, выступающие для языка столь многими внутренними факторами [raisons], что тот не может замкнуться на себе. Как говорит Бахтин, пока лингвистика извлекает константы, она не способна помочь нам понять, как одно слово формирует законченное высказывание; нужен «дополнительный элемент, остающийся недоступным для всех лингвистических категорий и определений», даже если он все еще целиком внутри теории высказывания или языка.¹² Слово-порядка — вот та переменная, которая превращает слово как таковое в высказывание. Мгновенность слова-порядка, его непосредственность сообщает ему мощь вариации в отношении тел, коим приписывается трансформация.

Прагматика — это политика языка. Исследования, вроде исследований Жана-Пьера Фая о конституции нацистских высказываемых в немецком социальном поле, являются в данном отношении образцовыми (и не могут быть прямо перекопированы на конституцию фашистских высказываемых в Италии). Такие трансформационные исследования касаются вариации слова-порядка и нетелесных атрибутов, связанных с социальными телами и осуществляющих имманентные действия. Приведем также для примера формирование (но в иных условиях) высказы-

¹² Бахтин, *Марксизм и философия языка*, с. 121–122. И о «символических отношениях силы» как переменных, являющихся внутренними для высказывания, см.: Bourdieu, P. L'Oconomie des Echanges linguistiques // *Linguistique et sociolinguistique, Langue française*, mai 1977, Larousse, pp. 18–21.

ваемых собственно ленинского типа в Советской России, начиная с текста Ленина, озаглавленного «К лозунгам» (1917). Именно бестелесная трансформация уже высвободила из масс класс пролетариата в качестве некой сборки высказывания, *прежде чем* возникли условия для пролетариата как тела. Гениальный ход I марксистского Интернационала, который «изобрел» новый тип класса — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». ¹³ Но под прикрытием разрыва с социал-демократами Ленин изобрел или декретировал еще и другую бестелесную трансформацию, которая выделила из класса пролетариата авангард как сборку высказывания и приписала ее «Партии» — новому типу партии как выделенному телу, рискуя впасть в систему чисто бюрократической избыточности. Ленинское пари, смелое предприятие? Ленин заявляет, что лозунг [mot d'ordre] «Вся власть Советам!» был верен только с 27 февраля по 4 июля, то есть для мирного развития Революции, но он явно перестал быть верным для состояния войны; переход от мира к войне подразумевал такую трансформацию — не только от масс к руководящей роли пролетариата, но и от пролетариата к направляющему авангарду. *Именно 4 июля закончилась власть Советов.* Мы можем обозначить все внешние обстоятельства — не только войну, но и восстание, вынудившее Ленина бежать в Финляндию. Тем не менее, 4 июля выражается бестелесная трансформация — вплоть до тела, которому она приписывается, вплоть до самой организованной Партии. «Каждый отдельный лозунг должен быть выведен из всей совокупности особенностей определенного политического положения».* На возражение, что эти особенности отсылают именно к политике, а не к лингвистике, надо отметить, насколько

¹³ Само понятие класса пролетариата должно быть поставлено под вопрос: действительно ли пролетариат уже существует в такой-то момент, и существует как тело? (или: существует ли он все еще?) Мы видим, как марксисты используют это понятие в упреждающем смысле — например, когда они говорят о «пролетариате в зародыше».

* Ленин В.И. *К лозунгам* // Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1949, т. 25, с. 164. — *Прим. пер.*

тщательно политики вырабатывают язык изнутри, меняя не только лексику, но также структуру и все элементы фразы — в то самое время, как меняются слова-порядка. Тип высказываемого может оцениваться только в зависимости от его прагматических импликаций, то есть от отношения к имплицитным пресуппозициям, к имманентным действиям или к бестелесным трансформациям, которые оно выражает и которые вводят новые разбиения между телами. Подлинная интуиция — это не грамматически правильное суждение, а оценка внутренних переменных высказывания по отношению к совокупности обстоятельств.

Мы перешли от явных команд к словам-порядка как имплицитным пресуппозициям; от слов-порядка к имманентным действиям или выражаемым ими бестелесным трансформациям; и далее, к сборкам высказывания, чьими переменными они являются. В той мере, в какой эти переменные вступают — здесь и теперь — в поддающиеся определению отношения, сборки вновь объединяются в *режим знаков или семиотическую машину*. Но ясно, что общество пересечено несколькими семиотиками и обладает, фактически, смешанными режимами. Более того, в другой момент появляются новые слова-порядка, меняющие переменные и не принадлежащие какому-либо известному режиму. Итак, слово-порядка проявляет себя как избыточность несколькими способами; оно существует не только лишь посредством существенной для него передачи, но также само по себе и благодаря своей эмиссии, в своем «непосредственном» отношении к осуществляемым им действию или трансформации. Слово-порядка уже избыточно даже тогда, когда порывает с рассматриваемой семиотикой. Вот почему у коллективной сборки высказывания нет иных высказываемых, кроме тех, что всегда принадлежат косвенной речи. Косвенная речь — это наличие добавочного высказываемого внутри доносящего [информацию] высказываемого, наличие слова-порядка внутри данного слова. Именно

язык целиком является косвенной речью. Косвенная речь, или косвенный дискурс, никоим образом не предполагает прямого дискурса, скорее, именно последний извлекается из первой в той мере, в какой действия означивания и процесс субъективации в сборке оказываются распределенными, предписанными и назначенными, или именно переменные такой сборки входят в постоянные отношения, хотя бы и временно. Прямой дискурс — это отделяемый фрагмент массы, и он рождается из расчленения коллективной сборки; но коллективная сборка всегда подобна шуму, из коего я заимствую собственное имя, она подобна совокупности согласующихся или несогласующихся голосов, из которой я вытягиваю свой голос. От неданной мне в сознании молекулярной сборки высказывания я всегда завишу не более, чем последняя зависит только лишь от моих явных социальных детерминаций и воссоединяет многие неоднородные режимы знаков. Глоссолалия. Писать, возможно, означает выводить на свет сборку бессознательного, отбирать бормочущие голоса, созывать племена и тайные идиомы, из коих я извлекаю что-то, что называю моей Самостью. Я — это слово-порядка. Шизофреник заявляет: «Я слышал, как голоса сказали: *он осознает жизнь*»¹⁴. Действительно, в этом смысле существует шизофреническое *cogito*, но такое, которое делает самосознание бестелесной трансформацией слова-порядка или результатом косвенного дискурса. Мой прямой дискурс — это все еще свободный косвенный дискурс, пересекающий меня насквозь, приходящий от других миров или с иных планет. Вот почему столь много художников и писателей соблазнялись столами для спиритических сеансов. Когда мы спрашиваем, какова способность, присущая слову-порядка, мы на самом деле должны опознать в ней странные характери-

¹⁴ Цит. по: Cooper, David. *Le langage de la folie*, Ed. du Seuil, pp. 32–33. Купер комментирует: «Термин *слышать голоса* означает, что мы начинаем осознавать нечто, что превосходит осознание нормального [то есть, прямого] дискурса и что, в результате, должно испытываться как иное».

стики: некий вид мгновенности в излучении, восприятии и передаче слов-порядка; большую вариабельность и силу забвения, заставляющую нас не чувствовать себя виноватыми за слова-порядка, коим мы следовали, а затем отбросили, дабы приветствовать иные слова-порядка; чистую идеальную или призрачную способность в восприятии бестелесных трансформаций; склонность схватывать язык под видом огромного косвенного дискурса.¹⁵ Способность суфлера и суфлируемого, способность песни, всегда помещающая мотив внутрь мотива в отношении избыточности, способность, по настоящему медицинская, глоссолалическая или ксеноглоссическая.

Давайте вернемся к вопросу, чем теперь определяется функция-язык — функция, соразмерная языку? Очевидно, что слова-порядка, коллективные сборки или режимы

¹⁵ Элиас Канетти — один из тех редких авторов, кто интересуется психологическим модусом действия слова-порядка (*Масса и власть*. М.: Ad Marginem, 1997, с. 325—358). Он полагает, что приказ вгоняет в душу и в плоть своего рода жало, которое формирует кисту, твердое уплотнение, сохраняющееся вечно. Когда такое происходит, единственный способ найти облегчение состоит в том, чтобы передать его другим настолько быстро, насколько возможно, сделать его «массовым», даже если масса может повернуть против того, кто испускает слово-порядка или приказ. Кроме того, тот факт, что слово-порядка или приказ, подобно чужеродному телу внутри данного тела, подобно косвенному дискурсу внутри речи, объясняет удивительное упущение: «Виновный винит не себя, а жало, чуждую инстанцию — настоящего виновника, которого он всюду носит с собой... Это постоянный свидетель того, что не он совершал эти поступки. Сам он видит себя жертвой приказа и даже не догадывается о подлинных и настоящих событиях. Так что правда, что люди, действовавшие по приказу, считают себя полностью невиновными»; поступая так, им куда легче подчиняться другим приказам (с. 357). Канетти дает здесь глубокое объяснение нацистского чувства невиновности, а также способности забывать у старых сталинистов, чья амнезия тем хуже, чем более они обращаются к своей памяти и к прошлому, дабы требовать права следовать новым и даже более коварным словам-порядка или приказам, — «мания жала». В этом отношении анализ Канетти кажется нам весьма существенным. Однако он предполагает существование крайне специфической психической способности, в отсутствии которой слово-порядка или приказ не обладало бы модусом действия. Такая цельная классическая рационалистическая теория — теория некоего «общего смысла», универсально разделяемого здравого смысла, основанного на информации и коммуникации — является способом скрыть или спрятать и заранее оправдать куда более опасную способность, а именно способность слов-порядка. Такая в высшей степени иррациональная способность лучше обеспечивается освящением — от ее имени — чистого разума, заявлением, будто она — не что иное, как чистый разум...

знаков не смешиваются с языком. Но они реализуют его условие (*сверхлинейность выражения*), они каждый раз заполняют это условие так, что без них языковая деятельность оставалась бы чистой виртуальностью (*сверхлинейный характер косвенного дискурса*). Несомненно, сборки изменяются, трансформируются. Но они не обязательно варьируются в зависимости от каждого языка, они не соответствуют разным языкам. Язык, по-видимому, определяется синтаксическими, семантическими, фонологическими константами, входящими в его высказываемые; напротив, коллективная сборка касается использования этих констант в зависимости от переменных, внутренних для самого высказывания (переменных выражения, имманентных действий или бестелесных трансформаций). Различные константы, различные языки могут употребляться одинаково; одни и те же константы в данном языке могут употребляться по-разному — либо последовательно, либо даже одновременно. Мы не можем удержать себя в дуальности между константами как лингвистическими факторами, явными или поддающимися прояснению, и переменными как внешними, нелингвистическими факторами. Ибо прагматические переменные употребления являются внутренними для высказывания и формируют имплицитные пресуппозиции языка. Итак, если коллективная сборка каждый раз соразмерна рассматриваемому языку и самой языковой деятельности, то это потому, что она выражает совокупность бестелесных трансформаций, реализующих условие языка и использующих элементы этого языка. Так определенный язык-функция не является ни информационным, ни коммуникативным; он не отсылает ни к означающей информации, ни к интерсубъективной коммуникации. И он не служит никакому абстрагированию означивания от информации или субъективности от коммуникации. Ибо как раз процесс субъективации и движение означивания отсылают к режимам знаков или коллективным сборкам. Функция-язык — это передача слова-порядка, а слово-порядка

отсылает к сборкам так же, как сборки отсылают к бестелесным трансформациям, конституирующим переменные данной функции. Лингвистика — ничто вне прагматики (семиотической или политической), определяющей реализацию *условий языка и употребления* элементов языка.

II. НУЖНО, ЧТОБЫ СУЩЕСТВОВАЛА АБСТРАКТНАЯ МАШИНА ЯЗЫКА, НЕ ОБРАЩАЮЩАЯСЯ НИ К КАКОМУ «ВНЕШНЕМУ» ФАКТОРУ

Если в социальном поле мы различаем совокупность телесных модификаций и совокупность бестелесных трансформаций, несмотря на разнообразие каждой совокупности, то оказываемся перед двумя формализациями — формализацией *содержания* и формализацией *выражения*. Ибо содержание не противостоит форме, а обладает своей собственной формализацией — полюс рука-инструмент, урок вещей. Но оно противостоит выражению, ибо выражение также обладает собственной формализацией — полюс лицо-язык, урок знаков. Именно потому, что содержание, как и выражение, обладает собственной формой, мы никогда не можем придать форме выражения простую функцию представления, описания или доказательства соответствующего содержания — нет ни соответствия, ни согласованности. Эти две формализации не одной и той же природы; они независимы, неоднородны. Именно стоики первыми создали теорию подобной независимости — они отличали действия и страдания тел (придавая слову «тело» наибольшее расширение, то есть любое оформленное содержание) от бестелесных действий (того, что является «выражаемым» высказываемого). Форма выражения будет конституироваться сцеплением выражаемых, так же как форма содержания — тканью тел. Когда нож входит в плоть, когда пища или яд разливаются в теле, когда капля вина растекается в воде, происходит *перемешивание тел*; но высказываемые «нож режет плоть», «я ем», «вода краснеет» выражают бестелесные трансформа-

ции совершенно иной природы (события¹⁶). Гений стоиков состоял в том, чтобы продвинуться в этом парадоксе так далеко, насколько возможно, вплоть до безумия и цинизма, и обосновывать его с помощью самых серьезных доводов — им надо воздать должное за то, что они были первыми, кто создал философию языка.

Парадокс ничего не стоит, если не дополнить его парадоксами стоиков — бестелесные трансформации, бестелесные атрибуты говорят о самих телах, и только о телах. Они — выражаемое высказываемых, но *приписываются* телам. Итак, цель не в том, чтобы описывать или представлять тела; ибо последние уже обладают присущими им качествами, собственными действиями и страданиями, собственными душами — короче, собственными формами, которые сами являются телами. И представления — это тоже тела! Если нетелесные атрибуты говорят о телах, если необходимо различать между бестелесным выражаемым «краснеть» и телесным качеством «красное» и т.д., то это не имеет ничего общего с представлением. Мы не можем даже сказать, что тело или положение вещей — это «референт» знака. Выражая нетелесный атрибут и, одновременно, приписывая его телу, мы вовсе не представляем, мы не отсылаем к чему-либо, а, так сказать, *вмешиваемся*; это и есть акт языковой деятельности. Независимость данных двух видов форм — формы выражения и формы содержания — не опровергается, а, напротив, подкрепляется тем, что выражения или выражаемые будут вставляться в содержания, вмешиваться в содержания не для того, чтобы представлять их, а чтобы их предвосхищать, отодвигать назад, замедлять или ускорять их, отделять или воссоединять, разделять их по-иному. Цепь мгновенных трансформаций всегда будет вставляться в ткань непрерывных модификаций. (Отсюда смысл дат у стоиков: начиная с какого момента можно сказать, что некто лыс? И в каком смысле высказываемое типа

¹⁶ См. классическое исследование: Bréhier, *La théorie des incorporels dans l'ancien stoicisme*, Vrin, p. 12, p. 20, о «ноже, рассекающем плоть» и «зеленеющем дереве».

«завтра будет морское сражение» составляет дату или слово-порядка?) Ночь 4 августа, 4 июля 1917 года, 20 ноября 1923 года — какая бестелесная трансформация выражается этими датами, которая, однако, приписывается телам, вставляется в них? Независимость формы выражения и формы содержания является не столько основанием параллелизма между ними или репрезентации одной посредством другой, сколько, напротив, основанием дробления этих двух форм, основанием некоего способа, каким выражения вставляются в содержания, каким мы непрерывно перескакиваем из одного регистра в другой, каким знаки работают в самих вещах, в то время как вещи распространяются или разворачиваются через знаки. Сборка высказывания не говорит «о» вещах; она говорит *прямо в* состояниях вещей или в состояниях содержания. Так, что один и тот же x , одна и та же частица будут функционировать как тело, которое действует и подвергается воздействиям, или же как знак, создающий действие, создающий слово-порядка, согласно той форме, какую он принимает (как во всей теоретико-экспериментальной физике). Короче, функциональная независимость двух форм — это только форма их взаимопредположения и непрерывного прохода от одной к другой. Мы никогда не оказываемся перед сцеплением слов-порядка и каузальностью содержаний; каждое пригодно само по себе, либо же одно представляет другое, а другое служит референтом. Напротив, независимость двух линий дистрибутивна и является причиной того, что сегмент одной непрерывно сменяет сегмент другой, соскальзывает или проникает в другую линию. Мы, как сказал Фуко, постоянно переходим от слова-порядка к «немому порядку» вещей, и наоборот.

Но когда мы используем столь неясное слово, как «вмешиваться», когда мы говорим, что выражения вмешиваются или вставляются в содержание, не является ли это все еще чем-то вроде идеализма, где слово-порядка мгновенно нисходит с небес? Следовало бы определить не происхождение, а точки вмешательства, точки вставки в рамку вза-

имопредположения между двумя формами. Итак, формы содержания как выражения и формы выражения как содержания неотделимы от сметающего их движения детерриторизации. Как выражение, так и содержание более или менее детерриторизованы, относительно детерриторизованы, согласно такому-то состоянию их формы. В этом отношении мы не можем установить первенство выражения над содержанием, и наоборот. Иногда семиотические компоненты более детерриторизованы, чем материальные, а иногда наоборот. Например, математический комплекс знаков может быть более детерриторизован, чем совокупность частиц; и наоборот, частицы могут обладать экспериментальными эффектами, детерриторизирующими семиотическую систему. Преступное действие может быть детерриторизирующим в отношении существующего режима знаков (почва взывает к отмщению и рушится под ногами, моя вина слишком велика); но знак, выражающий акт осуждения, может, в свою очередь, быть детерриторизирующим в отношении всех действий и реакций («ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» [Быт. 4:12], тебя даже не смогут убить). Короче, существуют степени детерриторизации, которые количественно определяют соответствующие формы и согласно которым содержания и выражения сопрягаются, сменяются, ускоряют друг друга или, напротив, стабилизируются, осуществляя ретерриторизацию. То, что мы называем обстоятельствами или переменными, суть сами эти степени. Есть *переменные содержания*, являющиеся пропорциями в смесях или скоплениях тел, и есть *переменные выражения*, являющиеся факторами, внутренними для высказывания. Германия к 20 ноября 1923 года: детерриторизирующая инфляция монетарного тела, а также семиотическая трансформация рейхсмарки в рентмарку, принимающей эстафету и делающей возможной ретерриторизацию. Россия к 4 июля 1917 года: пропорции состояния «тела» Советы — Временное правительство, а также разработка большевистской бестелесной семиотики, которая ускоряет вещи и вынуждает себя переключиться на

другую сторону с помощью детонирующего действия тела Партии. Короче, выражение вступает в отношение с содержанием как раз таки не благодаря раскрытию или представлению последнего. Формы выражения и содержания коммуницируют именно благодаря сопряжению своих квантов относительной детерриторизации, причем одни вмешиваются в другие, а другие действуют в первых.

Из этого мы можем сделать несколько общих заключений о природе сборки. Согласно первой — горизонтальной — оси сборка включает в себя два сегмента: сегмент содержания и сегмент выражения. С одной стороны — это машинная сборка тел, действий и страданий, некое перемешивание тел, реагирующих друг на друга; с другой стороны — это *коллективная сборка высказывания*, актов и высказываемого, а также бестелесных трансформаций, приписываемых телам. Но, согласно вертикально ориентированной оси, сборка, с одной стороны, обладает *территориальными* или ретерриторизованными *гранями*, которые ее стабилизируют, а с другой — сметающими ее *никами детерриторизации*. Никто лучше Кафки не сумел высвободить и заставить функционировать вместе эти две оси сборки. С одной стороны, машина-корабль, машина-отель, машина-цирк, машина-замок, машина-трибунал — каждая со своими собственными деталями, винтиками, процессами, со своими перепутанными, вложенными друг в друга и расшатанными телами (см. голова, пробивающая крышу)*. С другой стороны, режим знаков или высказывания — каждый режим со своими бестелесными трансформациями, актами, смертными приговорами и вердиктами, слушаниями-процессами, «законом». Ясно, что высказываемые вовсе не репрезентируют машины — дискурс кочегара не описывает кочегарку как тело, у него своя собственная форма и собственное развитие без сходства.** И все же

* Кафка Ф. *Замок*. М.: Политическая литература, 1991. — *Прим. пер.*

** Ф. Кафка, «Кочегар», глава 1 романа «Америка». (М.: Политическая литература, 1991). — *Прим. пер.*

он приписывается телам, всему кораблю как телу. Дискурс подчинения словам-порядка, дискурс дискуссий, заявлений, обвинения и защиты. Дело в том, что, согласно второй оси, то, что уподобляется этим двум аспектам или комбинируется из них, то, что постоянно вставляет один аспект в другой, — это и есть сменяемые или сопрягаемые степени детерриторизации, а также действия ретерриторизации, стабилизирующие сборку здесь и теперь. К., К.-функция обозначает линию ускользания или детерриторизации, которая приводит в движение все сборки, но также и проходит через все виды ретерриторизаций и избыточностей — избыточностей детства, деревенской жизни, любви, бюрократии и т.д.

Тетравалентность сборки. Пример — феодальная сборка. Рассмотрим смеси тел, определяющие феодализм: тело земли и социальное тело, тело господина, вассала и раба, тело рыцаря и тело лошади, новое отношение, в какое они входят со стрелом, вооружением и орудиями, удостоверяющее симбиоз тел — вот целое некой машинной сборки. Но также высказываемые, выражения, юридический режим гербов, совокупность бестелесных трансформаций, а именно клятв с их вариабельностью, например клятва повиновения, клятва любви и т.д., это — коллективная сборка высказывания. А следуя другой оси — феодальные территориальности и ретерриторизации, и, в то же самое время, линии детерриторизации, уносящие и рыцаря, и его верховую лошадь, высказываемые и действия. То, как все это комбинируется в Крестовых походах.

Было бы ошибкой поверить в то, что содержание задает выражение с помощью каузального действия, даже если мы наделяем выражение могуществом не только «отражать» содержание, но и активно реагировать на него. Такая идеологическая концепция высказываемого, вынуждающая последнее зависеть от первичного экономического содержания, сталкивается со всеми видами затруднений, присущих диалектике. Прежде всего, если мы и можем, на худой конец, постичь каузальное действие, идущее от содержа-

ния к выражению, то оно не одинаково для соответствующих *форм* — формы содержания и формы выражения. Следует признать, что выражение является независимым, и это позволяет ему реагировать на содержание. Но такая независимость плохо понята. Если содержания, как говорится, являются экономическими, то форма содержания не может быть таковой и оказывается сведенной к чистой абстракции — а именно: к производству благ и к средствам этого производства, рассматриваемым как сами по себе. Точно так же, если выражения, как считают, являются идеологическими, то форма выражения не является идеологической и оказывается сведенной к языку как абстракции, как диспозиции общего блага. До сих пор мы намеревались охарактеризовать содержания и выражения с помощью всей борьбы и конфликтов, какие пересекают их в двух разных формах, но сами эти формы, в свою очередь, свободны от всякой борьбы и конфликта, и отношение между ними остается полностью неопределенным.¹⁷ Мы можем определить его, только переделав теорию идеологии, уже заставив выражения и высказываемые вмешиваться в производительность под видом производства смысла или ценности-знака. У категории производства, несомненно, есть преимущество в том, чтобы порывать со схемами представления, информации и коммуникации. Но является ли она более адекватной, чем эти схемы? Ее применение к языку крайне неоднозначно, если только мы не апеллируем к постоянному диалектическому чуду, которое трансформирует материю в смысл, содержание в выражение, социальный процесс в означающую систему.

Нам кажется, что в своем материальном или машинном аспекте сборка отсылает не к производству благ, а, скорее,

¹⁷ Таким образом, Сталин в своей известной работе о лингвистике намеревается высвободить две нейтральные формы, которые безразлично служат любому обществу, любому классу и любому режиму — с одной стороны, инструменты и машины как чистые средства производства каких угодно товаров, с другой стороны, язык как чистое средство информации и коммуникации. Даже Бахтин определяет язык как форму идеологии, но уточняет, что форма идеологии сама не является идеологической.

именно к состоянию перемешивания тел в обществе, включая все притяжения и отталкивания, симпатии и антипатии, деградации, слияния, проникновения и расширения, затрагивающие всевозможные тела — одни в отношении других. Прежде всего, режим питания, сексуальный режим регулируют обязательные, необходимые или дозволенные смеси тел. Даже технология ошибается, рассматривая орудия труда сами по себе — орудия труда существуют только по отношению к смесям, которые они делают возможными или которые делают возможными их. Стремя влечет за собой новый симбиоз человека и лошади, какой, одновременно, влечет за собой новое вооружение и новые инструменты. Орудия труда неотделимы от симбиозов или слияний, определяющих машинную сборку Природа—Общество. Они предполагают социальную машину, отбирающую их и принимающую в свой «*phylum*»* — общество определяется собственными слияниями, а не орудиями труда. Сходным образом в своем семиотическом или коллективном аспекте сборка отсылает не к продуктивности языка, а к режимам знаков, к машине выражения, чьи переменные задают употребление элементов языка. Эти элементы достойны самих себя не более, чем орудия — себя. У машинной сборки тел есть некое первенство над орудиями труда и благами, есть первенство коллективной сборки высказывания над языком и словами. Артикуляция таких двух аспектов сборки осуществляется благодаря движениям детерриторизации, количественно определяющим их формы. Вот почему социальное поле в меньшей степени определяется своими конфликтами и противоречиями, нежели пересекающими его линиями ускользания. Сборка не включает в себя ни инфраструктуру или сверхструктуру, ни глубинной структуру или поверхностную структуру, но она сплющивает все свои измерения на одном-единственном плане консистенции, где раз-

* Один из высших рангов таксономической классификации — *тип* в зоологии, *отдел* в ботанике (лат.). — Прим. пер.

граваются взаимопредположения и включения друг в друга.

Другая ошибка (которая в случае необходимости комбинируется с первой) состояла в том, чтобы верить в достаточность формы выражения как лингвистической системы. Эта система может быть понята как означающая фонологическая структура или как глубинная синтаксическая структура. В любом случае она была бы наделена добродетелью порождать семантику и заполнять, таким образом, выражение, тогда как содержание низводилось бы до произвольности простой «референции», а прагматика — до экстерииорности нелингвистических факторов. Именно то, что есть общего у всех этих предприятий, должно устанавливать *абстрактную машину языка*, но — конституируя такую машину как синхронную совокупность констант. Мы не станем возражать против того, что так понятая машина слишком абстрактна. Напротив, она недостаточно абстрактна, она остается «линейной». Она остается на промежуточном уровне абстракции, позволяющем ей рассматривать, с одной стороны, лингвистические факторы сами по себе, независимо от нелингвистических факторов; а с другой, рассматривать эти лингвистические факторы как константы. Но если проводить абстракцию дальше, то мы с необходимостью достигаем уровня, где псевдоконстанты языка уступают место переменным выражения, внутренним для самого высказывания; тогда эти переменные выражения уже неотделимы от переменных содержания, пребывая с ними в бесконечном взаимодействии. *Если внешняя прагматика нелингвистических факторов и должна приниматься во внимание, то потому, что сама лингвистика неотделима от внутренней прагматики, имеющей отношение к своим собственным факторам.* Мало принять в расчет означаемое, или даже референт, ибо сами понятия сигнификации и референции связаны еще и с предположительно автономной и постоянной структурой выражения. Бесполезно строить семантику, или даже признавать некоторые права прагматики, если мы все еще заставляем

их действовать с помощью фонологической или синтаксической машины, которая заранее должна их истолковывать. Ибо подлинная абстрактная машина относится ко всей сборке в целом — она определяется как диаграмма этой сборки. Она — не речевая, а схематическая и сверхлинейная. Содержание — не означаемое, и выражение — не означающее, а оба они суть переменные некой сборки. Итак, мы ничего не сделали, пока у нас нет непосредственной связи прагматических, а также семантических, синтаксических и фонологических детерминаций со сборками высказывания, от коих они зависят. Абстрактная машина Хомского остается привязанной к древовидной модели и к линейному порядку лингвистических элементов во фразах и их комбинаторике. Но как только мы принимаем в расчет прагматические ценности или внутренние переменные, а именно в связи с косвенным дискурсом, то мы вынуждены прибегать к «гиперфразам» или строить «абстрактные объекты» (бестелесные трансформации), подразумевающие сверхлинейность, то есть некий план, у элементов которого более нет фиксированного линейного порядка, — ризоматическая модель.¹⁸ С этой точки зрения взаимопроникновение языка, социального поля и политических проблем лежит в самой глубине абстрактной машины, а не на поверхности. Абстрактная машина, поскольку она относится к диаграмме сборки, никогда не является чистым языком, кроме как благодаря нехватке абстракции. Именно язык зависит от абстракт-

¹⁸ Об этих проблемах см.: Sadock J.M. *Hypersentences*, *Phil. Diss. Univ. of Illinois*, 1968; Wunderlich D. *Pragmatique, situation d'Ononciation et Deixis // Langues*, Larousse, juin 1972; а особенно — С.К. Шаумяна, который предлагает модель абстрактных объектов, основанных на действии аппликации, именуемой АГМ (аппликативная генеративная модель). Шаумян ссылается на Ельмслева — сила Ельмслева в том, чтобы постигать форму выражения и форму содержания как должно: абсолютно относительные переменные на одном и том же плане, как «функции одной и той же функции» (*Prolégomènes à une théorie du langage*, p. 85). Такому продвижению к диаграмматической концепции абстрактной машины препятствует следующее — Ельмслев все еще понимает различие между выражением и содержанием в модусе означающее—означаемое и удерживает, таким образом, зависимость абстрактной машины от лингвистики.

ной машины, а не наоборот. Самое большее, что мы можем, так это различать в абстрактной машине два состояния диаграммы: одно, в котором переменные содержания и выражения распределяются согласно их неоднородным формам во взаимопредположении на плане консистенции, и другое, где мы уже не можем проводить различие между данными переменными, ибо вариабельность одного и того же плана преобладает над дуальностью форм, делая их «неразличимыми». (Первое состояние отсылает ко все еще относительным движениям детерриторизации, тогда как второе достигало бы абсолютного порога детерриторизации.)

III. «НУЖНО, ЧТОБЫ ИМЕЛИСЬ КОНСТАНТЫ ИЛИ КАУЗАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛИИ ЯЗЫКА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ НАМ ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО КАК ОДНОРОДНУЮ СИСТЕМУ»

Вопрос о структурных инвариантах — да и сама идея структуры, неотделимой от таких инвариантов, будь то атомистических, либо же реляционных — весьма существенен для лингвистики. Именно это условие позволяет лингвистике настойчиво добиваться чистой научности, быть только лишь наукой... отгороженной от всякого предположительно внешнего или прагматического фактора. Вопрос об инвариантах допускает несколько тесно связанных форм: 1) константы языка (фонологические, благодаря коммуникативности; синтаксические, благодаря трансформативности; семантические, благодаря генеративности); 2) универсалии языковой деятельности (благодаря разложению фонемы на отличительные черты, синтаксиса — на базовые компоненты, а сигнификации — на минимальные семантические элементы); 3) деревья, связывающие между собой константы и бинарные отношения на всей совокупности деревьев (см. линейный древовидный метод Хомского); 4) компетенция, в принципе соразмерная языку и определяемая грамматически правильными суждениями; 5) однородность, касающаяся как элементов и отношений, так и интуитивных суждений; 6) синхрония, которая восстана-

вливает «в-себе» и «для-себя» языка, непрестанно переходя от объективной системы к субъективному сознанию, кое опасается такой синхронии по праву (по праву самого лингвиста).

Мы можем играть всеми этими факторами, выделять некоторые из них или — даже — добавлять новые. Однако они держатся вместе потому, что на уровне одного фактора мы обнаруживаем существенную часть всех других. Например, различие язык—речь оживляется различием компетенция—успех [*compétence—performance*], но на уровне грамматической правильности. Если мы возразим, что различие между компетенцией и успехом весьма относительно — лингвистическая компетенция может быть экономической, религиозной, политической или эстетической... и т.д.; преподавательская компетенция учителя может быть только достижением-успехом в отношении суждения инспектора или министерских правил, — то лингвисты отвечают, что они готовы наращивать уровни компетенции, и даже вводить в систему прагматические ценности. Брекле, например, предлагает добавить фактор «идиосинкразической успешно-эффективной [*performantielle*] компетенции», связанный со всей совокупностью лингвистических, психологических или социологических факторов. Но чему служит такая инъекция прагматики, если прагматика, в свою очередь, рассматривается как обладающая собственными константами или универсалиями? И каким образом выражения вроде «я», «обещать», «знать» сами являются более универсальными, нежели «приветствовать», «называть» или «осуждать»?¹⁹ Сходным образом, когда мы хотим заставить деревья Хомского распускаться, хотим разрушить линейный порядок, то на самом деле мы ничего не получим, мы не учредим ризому, пока прагматические компоненты, помечающие разрывы, располагаются на самой верхушке дере-

¹⁹ Ср.: Brekle, H.E. *Sémantique*, Armand Colin, pp. 94–104 об идее универсальной прагматики и «универсалий диалога».

ва или стираются во время разветвления.²⁰ Действительно, самая общая проблема касается природы абстрактной машины — нет никакого резона связывать абстрактное с универсальным или постоянным и стирать сингулярность абстрактных машин, ибо последние сконструированы вокруг переменных и вариаций.

Мы лучше сможем понять, в чем проблема, если обратимся к дискуссии между Хомским и Лабовым. Пусть любой язык является пестрой, по существу неоднородной реальностью; лингвисты знают про это и говорят об этом; но таково лишь *фактическое* [*de fait*] замечание. Хомский требует лишь того, чтобы мы вырезали в этой совокупности однородную или стандартную систему как условие абстракции и идеализации, обеспечивающее возможное научное изучение *по праву* [*en droit*]. Следовательно, речь не о том, чтобы придерживаться стандартного английского языка, ибо, даже если лингвист изучает *black-english** или английский язык гетто, он стоит перед обязательством высвободить стандартную систему, гарантирующую постоянство и однородность исследуемого объекта (как говорится, никакая наука не может поступать иначе). Таким образом, Хомский делает вид, будто верит, что Лабов, утверждая свой интерес к переменным чертам языка, фактически помещает себя в прагматику, внешнюю к лингвистике.²¹ У Лабова, однако, иное намерение. Когда он освобождает линии *присущей вариации*, он не усматривает в них просто «свободные варианты», касающиеся произношения, стиля или несущественных черт, кои пребывают вне системы и позволяют существовать однородности системы; а также он не рассматривает их как фактическую смесь двух систем, каждая из которых была бы по-своему однородна, как если бы говорящий переходил от одной системы к другой. Он отвергает альтернативу, в которой хотела бы обустроиться лингвистика — приписывать

²⁰ О таком почковании и его различных представлениях см.: Wunderlich, *Pragmatique...*

* Негритянский («черный») английский язык (*англ.*). — *Прим. пер.*

²¹ Noam Chomsky et Mitsou Ronat, *Dialogues*, Flammarion, pp. 72–74.

варианты различным системам, либо же оставлять их по эту сторону структуры. Как раз сама вариация является систематической в том смысле, в котором музыканты говорят, что «тема — это вариация». В вариации Лабов видит составляющую де-юре, затрагивающую каждую систему изнутри, заставляющую ее ускользать или перескакивать [в другую] благодаря собственной мощи, запрещая ей замкнуться на себе, запрещая в принципе делать ее однородной. Несомненно, рассматриваемые Лабовым переменные — разной природы: фонетические, фонологические, синтаксические, семантические, стилистические. Нам кажется, трудно обвинять Лабова в том, что он игнорирует различие между де-юре и де-факто — или между лингвистикой и стилистикой, между синхронией и диахронией, между существенными и несущественными чертами, между компетенцией и успехом, между грамматической правильностью языка и аграмматичностью речи. Рискуя усилить позиции Лабова, мы сказали бы, скорее, что он требует иного распределения де-факто и де-юре или, главным образом, иной концепции самого права и абстракции. Лабов приводит пример юного чернокожего, который — в очень короткой череде фраз — как кажется, восемнадцать раз переходит от системы *black-english* к стандартной системе, и обратно. Но, справедливости ради, следует спросить, не является ли это абстрактным различием между двумя системами, которое оказывается произвольным и недостаточным, ибо большая часть форм относится к одной или другой системе лишь благодаря случайностям той или иной последовательности? Не следует ли признать, что любая система пребывает в вариации и определяется не своими константами и однородностями, а напротив, изменчивостью, чьи характеристики постоянны, непрерывны и регулируются крайне особым образом (*переменные или необязательные правила*)?²²

²² Labov, William. *Sociolinguistique*, а именно pp. 262–265. Отметим, что Лабов порой накладывает жесткое условие на рассмотрение высказываемых, обладающих приблизительно одним и тем же смыслом, а порой избегает этого условия, дабы следовать за сцепкой взаимодополнительных, но неоднородных высказываемых.

Как осмыслить такую непрерывную вариацию, терзающую язык изнутри, даже если мы должны переступить пределы, зафиксированные Лабовым, и условия научности, к коим взывает лингвистика? В течение одного дня индивидум неоднократно переходит от одного языка к другому. Он будет последовательно говорить так, как «это должен делать отец», а затем как начальник; со своей возлюбленной он будет говорить ребячливым языком; засыпая, он погружается в онейрический дискурс и внезапно возвращается к профессиональному языку, когда зазвонит телефон. Мы возразим, что такие изменения суть внешние, что здесь, тем не менее, тот же самый язык. Но это значит — предполагать заранее то, что подлежит обсуждению. Ибо, с одной стороны, нет уверенности, что мы тут имеем дело с той же самой фонологией, тем же самым синтаксисом, той же самой семантикой. С другой стороны, весь вопрос в том, чтобы знать, определяется предполагаемый язык тоже инвариантами или, напротив, пересекающей его линией непрерывной вариации. Некоторые лингвисты внушали, что лингвистическая вариация создается не столько системным разрывом, сколько постепенной модификацией частоты, сосуществованием и непрерывностью разных использований. Возьмем, к примеру, одно и то же высказываемое «Я клянусь!». Оно будет разным высказываемым в зависимости от того, сказано ли оно ребенком перед отцом, влюбленным перед любимой, свидетелем перед судом. Это похоже на три последовательности. (Или четыре «Аминь!», располагаемые на семи последовательностях у Мессииана.) Опять же, нет никакого резона говорить, будто переменные только ситуативны и что высказываемое остается постоянным в принципе. Не только существует столько же высказываемых, сколько и осуществлений, но все высказываемые, оказывается, присутствуют в осуществлении одного из них — так, что линия вариации является виртуальной, то есть реальной, не будучи актуальной, и, следовательно, непрерывной, какими бы ни были скачки высказанного. Помещать высказанное в непрерывную

вариацию — значит заставляя его проходить через все просодические, семантические, синтаксические и фонологические переменные, способные аффектировать его за наикратчайший момент времени (самый мелкий интервал). Стройте континуум из «Я клянусь!» с помощью соответствующих трансформаций. Вот точка зрения прагматики; но прагматика становится внутренней для языка, имманентной, и включает в себя вариацию каких угодно лингвистических элементов. Например, линия трех процессов у Кафки — процесс отца в семье, процесс помолвки в гостинице и судебный процесс. У нас всегда есть склонность искать «редукцию» — мы все объясняем через позицию ребенка в отношении отца, или мужчины в отношении кастрации, или гражданина в отношении закона. Но тогда мы довольствуемся извлечением псевдоконстанты содержания, что не лучше, чем извлечение псевдоконстанты выражения. Помещение в вариацию должно заставить нас избегать таких опасностей, ибо она конструирует континуум, или посредника, у которого нет ни начала, ни конца. Не будем путать непрерывную вариацию с непрерывным или прерывистым характером самой переменной — слово-порядка, непрерывная вариация для дискретной переменной... Переменная может быть непрерывной на какой-то части своей траектории, а затем перепрыгивать или перескакивать так, что ее непрерывная вариация не затрагивается; что здесь происходит, так это навязывание отсутствующего развития как некой «альтернативной непрерывности» — виртуальной и все же реальной.

Постоянное, инвариантное в меньшей степени определяется своей неизменностью и длительностью, нежели функцией центра, пусть даже относительного. В тональной или диатонической системе музыки законы резонанса и притяжения задают подлинные центры сквозь все моды, наделенные стабильностью и притягательной мощью. Следовательно, такие центры суть организаторы отличительных, характерных форм, явно устанавливаемых в течение определенных периодов времени — линейная, кодирован-

ная, центрированная система древовидного типа. Верно, что минорный «лад», в силу природы своих интервалов и меньшей стабильности собственных аккордов, придает тональной музыке децентрированный, убегающий, ускользающий характер. А также данный лад двусмыслен, ибо подвергается воздействиям, выравнивающим его по главной модели или эталону, но, однако, он же демонстрирует некую неустрашимую модальную мощь в тональности, как если бы музыка отправилась в путешествие и собрала все внезапные всплески, фантомы Востока, воображаемые страны, любые традиции. Но, более того, именно его температура, темперированный хроматизм представляет иную двусмысленность — двусмысленность распространять действия центра на самые удаленные тона, а также подготавливать развал центрального принципа, заменять центрированные формы на непрерывное развитие одной формы, не перестающей разрушаться и трансформироваться. Когда развитие подчиняется форме и распространяется на всю совокупность, как у Бетховена, вариация начинает освобождаться и отождествляться с творением. И все-таки следует добиваться того, чтобы хроматизм высвободился, стал обобщенным хроматизмом, обернулся против температуры и аффектировал не только высоты, но и все компоненты звука — длительности, интенсивности, тембры, атаки. Тогда уже нельзя говорить о звуковой форме, собирающейся организовывать материю; уже нельзя говорить даже о непрерывном развитии формы. Скорее, речь идет о крайне сложном и разработанном материале, позволяющем слышать незвуковые силы. Пара материя—форма заменяется соединением материал—силы. Синтезатор занял место прежнего «априорного синтетического суждения», и тут все функции меняются. Помещая все свои компоненты в непрерывную вариацию, музыка сама становится сверхлинейной системой, ризомой, а не деревом, и начинает служить виртуальному космическому континууму, частями которого являются даже дыры, тишина, разрывы и купюры. Так что, важной, конечно же, является не

псевдокупюра между тональной системой и атональной музыкой; последняя, напротив, порвав с тональной системой, только и делала, что толкала темперацию к ее крайним следствиям (хотя от венского тут ничего не остается). Существенным является почти противоположное движение — кипение, которое (в обширный период с XIX по XX век) воздействует на саму тональную систему, растворяет темперацию и расширяет хроматизм, сохраняя относительную тональность, повторно изобретая новые модальности, вовлекая мажорное и минорное в новую смесь и каждый раз обретая области непрерывной вариации для тех или иных переменных. Такое кипение выходит на первый план, делается слышимым для самого себя и позволяет услышать — благодаря своему так обработанному молекулярному материалу — незвуковые силы космоса, всегда волновавшие музыку: немного Времени в чистом состоянии, крупица абсолютной Интенсивности... Тональное, модальное, атональное теперь мало что могут сказать. И только музыка может быть искусством как космосом и способна прочерчивать виртуальные линии бесконечной вариации.

И еще мы возразим тому, что музыка — это не языковая деятельность, что компоненты звука не являются чертами, присущими языку, что нет никакого соответствия между музыкой и языком. Но мы не взываем к соответствию, мы все время лишь просим, чтобы подлежащее обсуждению оставалось открытым и чтобы любое предполагаемое различие было отклонено. Прежде всего, различие язык—речь вводится для того, чтобы размещать вне языковой деятельности все виды переменных, работающих внутри выражения и высказывания. Напротив, Жан-Жак Руссо предложил отношение Голос—Музыка, которое могло бы принять в себя не только фонетику и просодию, но и всю лингвистику в некоем ином направлении. Голос в музыке всегда был привилегированным стержнем экспериментирования, которое играет одновременно языковой деятельностью и звуком. Музыка разными способами связала голос

с инструментами; но, пока голос является песней, его основная роль — «удерживать» звук, он выполняет функцию константы, ограниченной на одной ноте в то время, как ему *аккомпанирует* инструмент. Только когда голос привязывается к тембру, он обнаруживает тесситуру, делающую его неоднородным по отношению к самому себе и сообщающую ему мощь непрерывной вариации — тогда ему больше не аккомпанируют, а он действительно является «машинным», принадлежит музыкальной машине, которая продолжает или раскладывает на одном и том же звуковом плане проговоренные, пропетые, сопровождающиеся шумовыми эффектами, инструментальные, а в случае необходимости и электронные части. Звуковой план обобщенного «глиссандо», предполагающий конституирование статистического пространства, где каждая переменная обладает не средней значимостью, а вероятностью частоты, помещающей ее в непрерывную вариацию с другими переменными.²³ Типичными примерами в этом отношении были бы «Лицо» Лучано Берио или «Глоссолалия» Дитера Шнебеля. И хотя об этом говорил сам Берио, речь идет не столько о том, чтобы с помощью псевдоконстант создать симулякр языка или метафору голоса, сколько о достижении такого нейтрального, тайного языка без констант и всецело пребывающего в косвенном дискурсе, где синтезатор и инструмент говорят так же, как голос, а голос играет так же, как инструмент. Не будем думать, будто музыка не умеет больше петь в мире, ставшем механическим или атомным; скорее огромный коэффициент вариации аффектирует и увлекает все патические, апатические, лингвистические, поэтические, инструментальные и музыкальные части одной и той же звуковой сборки — «простой рев, пробегающий по всем степеням» (Т. Манн). Способы варьирования голоса мно-

²³ Именно так Лабов хочет определить свое понятие «переменных или необязательных правил» в противоположность постоянным правилам — не просто констатируемая частота, а особое количество, отмечающее вероятность частоты или применение правила (ср.: *Le parler ordinaire*, Ed. de Minuit; t. II, pp. 44 sq.).

гочисленны, не только в *sprechgesang**, который непрерывно покидает высоту через падение или подъем, но также с помощью техник циркулярного дыхания или зон резонанса, где несколько голосов, как кажется, исходят из одного и того же рта. Большую значимость обретают здесь тайные языки — как в искусной, так и в популярной музыке. Этномузыковеды обнаружили необычные случаи, например в Дагомее, где иногда первая диатоническая вокальная партия уступает место хроматическому понижению в тайный язык, непрерывно скользящий от звука к звуку, модулируя звуковой континуум во все более и более мелких интервалах, пока не присоединится к «парландо», где затушевываются все интервалы, — а иногда именно диатоническая партия сама оказывается транспонированной согласно хроматическим уровням террасовой архитектуры, согласно песне, порой прерываемой парландо, простым разговором без определенной высоты.²⁴ Возможно, впрочем, что характеристика тайных языков, арг, жаргонов, профессиональных языков, считалок, криков торговцев выделяется не столько своими лексическими изобретениями или фигурами риторики, сколько тем способом, каким они осуществляют постоянные вариации общих элементов языка. Это — хроматические языки, близкие к музыкальной нотации. Тайный язык обладает не только скрытым шифром или кодом, все еще действующим благодаря константам и формирующим подсистему; *он вводит систему переменных публичного языка в состояние вариации.*

Вот, что нам хотелось бы сказать — обобщенный хроматизм... Приведение каких-либо элементов в состояние непрерывной вариации — это и есть операция, способствующая, возможно, проявлению новых различий, но не сохраняющая никакой устойчивости для приобретенного и не дающая никакого аванса. Напротив, такая операция в

* Речитатив (нем.). — Прим. пер.

²⁴ См. статью: Rouget, Gilbert. Un chromatisme africain // *L'Homme*, septembre 1961 (куда вложен диск «Ритуальные песни Дагомеи»).

принципе касается, одновременно, и голоса, и речи, и языка, и музыки. Нет никакого резона проводить предварительные и принципиальные различия. И вообще, лингвистика все еще не рассталась с неким видом мажорного лада, с чем-то вроде диатонического масштаба, со странным вкусом к доминантам, константам и универсалиям. Все языки между тем пребывают в имманентной непрерывной вариации — ни синхрония, ни диахрония, но асинхрония, хроматизм как переменное и непрерывное состояние языка. Дабы появилась хроматическая лингвистика, которая сообщает прагматизму его интенсивности и значимости.

То, что называется стилем, может быть самой естественной вещью в мире; это не что иное, как способ непрерывной вариации. Итак, среди всех дуализмов, устанавливаемых лингвистикой, некоторые не столь обоснованы, чем те, что отделяют лингвистику от стилистики: поскольку стиль — не индивидуальное психологическое творение, а сборка высказывания, то мы не можем помешать ему создавать язык внутри языка. Возьмем, к примеру, произвольный список любимых нами авторов и еще раз сошлемся на Кафку, Беккета, Герасима Лука, Жана-Люка Годара... Заметим, что все они более или менее пребывают в ситуации некоего двуязычия: Кафка — чешский еврей, пишущий на немецком языке, Беккет — ирландец, пишущий одновременно на английском и на французском, Лука — румынского происхождения, Годар — и его желание стать швейцарцем. Но это только случайность, случайное обстоятельство, и такое обстоятельство может быть обнаружено где-то еще. Также отметим, что многие из них были не только писателями и не главным образом писателями (Беккет и театр или телевидение, Годар и кино или телевидение, Лука и его аудио-визуальные машины) — и все потому, что, когда мы подвергаем лингвистические элементы обработке непрерывной вариацией, когда вводим в язык некие внутренние прагматики, то мы с необходимостью вынуждены тем же образом трактовать нелингвистические элементы,

жесты и инструменты, как если бы оба аспекта прагматики соединялись на одной и той же линии вариации, в одном и том же континууме. Более того, возможно, вначале идея приходит именно извне, а язык только и делает, что следует за ней как необходимо внешний источник стиля. Но существенно, что у каждого из этих авторов был свой способ вариации, свой расширенный хроматизм, свое безумное производство скоростей и интервалов. Творческое заикание Герасима Лука в стихотворении «Страстно».²⁵ Другое заикание — заикание Годара. А в театре — шепоты без определенной высоты у Боба Уилсона, возрастающие и нисходящие вариации у Кармело Бене. Заикаться легко, но быть заиканием самого языка — совсем другое дело, оно вводит в вариацию все лингвистические и даже нелингвистические элементы, переменные величины выражения и переменные величины содержания. Новая форма избыточности. И... И... И... В языке всегда велась борьба между глаголом «быть» и союзом «и», между *есть* и *и*.^{*} Эти два термина согласуются и комбинируются лишь по видимости, ибо один действует в языковой деятельности как константа и формирует диатонический масштаб языка, тогда как другой помещает все в вариацию, составляющую линии обобщенного хроматизма. От одного к другому все опрокидывается. Те, кто пишет на английском или американском языке, лучше, чем мы [французы — *пер.*] осознали такую борьбу и ее цель, а также валентность «и».²⁶ Пруст сказал: «Шедевры написаны на своего рода иностранном языке».

²⁵ Luca, Gherasim. *Le chant de la carpe*, Ed. du Soleil noir; и диск, отредактированный Живуданом [Givaudan], где Герасим Лука читает стихотворение «Страстно».

^{*} Во французском языке *есть* [*est*] и *и* [*et*] произносятся одинаково. — *Прим. пер.*

²⁶ «И» (*and*) играет особо важную роль в английской литературе не только в связи с Ветхим Заветом, но и в связи с «меньшинствами», вырабатывающими язык — мы приводим, среди других, случай Синга [Syngé] (см. замечания Франсуа Рено [Francois Regnault] о координации англо-ирландского языка в *Baladin du monde occidental*, Bibl. du Graphe). Мы не будем довольствоваться анализом «и» как конъюнкции; скорее, «и» является особой формой любой возможной конъюнкции и запускает в игру логику языка. В труде Жана Валя мы находим глубокие размышления о таком смысле «и», о том, как «и» ставит под вопрос примат глагола «быть».

Это — то же самое, что заикаться, но заикаться в языке, а не просто в речи. Быть иностранцем, но в своем собственном языке, и не только тем, кто говорит на чужом языке, а не на своем. Быть двуязычным, многоязычным, но в одном и том же языке, даже без одного и того же диалекта или наречия. Быть внебрачным ребенком, полукровкой, но благодаря очищению расы. Именно тут стиль создает язык. Именно тут язык становится интенсивным, чистым континуумом значимостей и интенсивностей. Именно тут весь язык становится тайным, хотя ничего не скрывает, вместо того, чтобы выкраивать в языке тайную подсистему. Мы приходим к этому результату лишь благодаря трезвости, творческому изъятию. Непрерывная вариация обладает лишь аскетическими линиями, немного травы и чистой воды.

Мы можем взять любую лингвистическую переменную и заставить ее меняться на необходимо виртуальной непрерывной линии между двумя состояниями этой переменной. Мы уже не в положении лингвистов, ожидающих, чтобы константы языка испытали нечто вроде мутации или подверглись эффекту изменений, аккумулированных в простой речи. Линии изменения или творчества полностью и непосредственно являются частью абстрактной машины. Ельмслев отмечал, что язык необходимым образом включает в себя неразработанные возможности и что абстрактная машина должна включать в себя эти возможности или потенциальности.²⁷ «Потенциальное» или «виртуальное» как раз и не противостоят реальности; напротив, именно реальность творческого, или введение в непрерывную вариацию переменных, только и противостоит актуальной детерминации их постоянных отношений. Каждый раз, когда мы чертим линию вариации, переменные обладают той или иной природой — фонологической, синтаксической или грамматической, семантический и т.д., но сама линия является а-релевантной, а-синтаксической или

²⁷ Hjelmslev, *Le langage*, Ed. de Minuit, pp. 63 sq.

а-грамматической, а-семантической. А-грамматичность, например, более не является контингентной характеристикой речи, противопоставленной грамматической правильности языка, — напротив, именно идеальный характер линии вводит грамматические переменные в состояние непрерывной вариации. Давайте восстановим анализ Николя Рюве некоторых сингулярных выражений Каммингса типа *he danced his did* или *they went their came*.^{*} Мы можем восстановить вариации, через которые виртуально проходят грамматические переменные, дабы в конце концов подойти к таким а-грамматическим выражениям (*he did his dance, he danced his dance, he danced what he did... they went as they came, they went their way...**).²⁸ Несмотря на структурную интерпретацию Рюве, уклонимся от того, чтобы принять точку зрения, будто а-типичное выражение производится благодаря последовательным правильным формам. Скорее именно оно производит введение в вариацию правильных форм и вырывает их из состояния констант. А-типичное выражение конституирует высший пункт детерриторизации языка, оно играет роль *тензора*, то есть заставляет язык стремиться к пределу собственных элементов, форм или понятий — к тому, что по эту и по ту сторону языка. Тензор производит своего рода переходность [transitivisation] фразы и заставляет последний термин реагировать на предыдущий, вытягивая всю цепь целиком. Он обеспечивает интенсивное и хроматическое истолкование языка. Даже такое простое выражение, как «И...», может сыграть роль тензора для всего языка. В этом смысле, И — не столько союз, сколько а-типичное выра-

^{*} Он танцевал то, что делал... они шли, как пришли (англ.). — Прим. пер.

^{**} Он создавал свой танец; он танцевал свой танец; и танцевал он то, что создавал... ушли они, как приходили, и шли они своим путем (англ.). — Прим. пер.

²⁸ Ruwet, Nicolas. *Parallélisme et déviations en poésie // Langue, discours, société, Ed. du Seuil*. Рюве анализирует стихотворение 29 из сборника «Fifty Poems de Cummings»; он дает ограниченную и структуралистскую интерпретацию феномена такой вариации, обращаясь к понятию «параллелизма»; в других текстах он уменьшает значение этих вариаций, рассматривая их как маргинальные опыты, не касающиеся подлинных изменений в языке; однако его комментарий, как нам кажется, выходит за пределы всех этих ограничений интерпретации.

жение всех возможных союзов, каковые он вводит в непрерывную вариацию. Кроме того, тензор не сводится ни к константе, ни к переменной, но обеспечивает вариацию переменной, изымая каждый раз значимость константы ($n - 1$). Тензоры не совпадают ни с какой лингвистической категорией; тем не менее, они являются прагматическими значимостями, существенными как в сборках высказывания, так и в косвенном дискурсе.²⁹

Порой мы полагаем, будто такие вариации вовсе не выражают обычную творческую работу в языке и остаются маргинальными, резервируемыми для поэтов, детей и сумасшедших. И полагаем мы так именно потому, что хотим определить абстрактную машину с помощью констант, способных модифицироваться теперь лишь вторичным образом, хотим определить ее с помощью кумулятивных эффектов или синтагматических мутаций. Но абстрактная машина языка не универсальна и даже не всеобща, она сингулярна; она — не актуальна, а виртуально-реальна; у нее нет обязательных или неизменных правил, а есть необязательные правила, непрестанно меняющиеся вместе с самой вариацией, как в игре, где каждый ход изменяет правила. Отсюда взаимодополнительность абстрактных машин иборок высказывания, а также присутствие одних в других. Дело в том, что абстрактная машина подобна диаграмме сборки. Она чертит линии непрерывной вариации, ибо конкретная сборка истолковывает переменные, организует их весьма разнообразные отношения в зависимости от этих линий. Сборка переговаривается с переменными на том или ином уровне вариации, согласно той или иной степени детерриторизации, дабы определить те вариации, какие вступят в постоянные отношения или будут повиноваться обязательным правилам, и те, что, напротив, будут служить в качестве текучей материи для

²⁹ Ср.: Sephiha, Vidal. Introduction a l'Otude de l'intensif // *Langages*, mars 1973. Это одно из первых исследований а-типичных напряжений и вариаций языка, как они появляются именно в так называемых малых языках.

вариаций. Отсюда мы не делаем вывод, будто сборка противостоит абстрактной машине только лишь в качестве некоего сопротивления или инертности; ибо даже «константы» существенны для определения виртуальностей, через которые проходит вариация, они сами необязательны, выбраны. На определенном уровне действительно есть торможение и сопротивление, но на другом уровне сборки есть только хождение назад и вперед между разными типами переменных, а также коридоры перехода, по которым проходят в обоих смыслах-направлениях — все переменные сразу осуществляют машину благодаря совокупности своих отношений. Следовательно, нет оснований отличать коллективный и постоянный язык от переменных и индивидуальных речевых актов. Абстрактная машина всегда сингулярна, обозначена собственным групповым или индивидуальным именем, тогда как сборка высказывания всегда коллективна, как в индивидуе, так и в группе. Абстрактная машина—Ленин и коллективная сборка—большевик... Так же дела обстоят и в литературе, и в музыке. Нет никакого первенства индивида, а есть нерасторжимость сингулярного Абстрактного и коллективного Конкретного. Абстрактная машина более не существует независимо от сборки, так же как сборка не функционирует независимо от машины.

IV. ЯЗЫК МОГ БЫТЬ ИССЛЕДОВАН НАУЧНО ЛИШЬ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТНОГО ИЛИ ГЛАВНОГО ЯЗЫКА

Поскольку каждый знает, что язык — это неоднородная переменная реальность, то что же тогда означает требование лингвистов раздробить однородную систему, дабы сделать возможным ее научное исследование? Речь идет об извлечении из переменных всех констант или об определении постоянных отношений между переменными (это уже ясно видно в коммутативности у фонологистов). Но научная модель, благодаря которой язык становится объектом исследования, составляет нечто единое с политической моделью, благодаря которой язык по-своему делается

однородным, централизуется, стандартизируется, становится языком власти, главным или господствующим языком. Лингвист напрасно пытается сослаться на науку — мол, ничего кроме чистой науки — далеко не первый раз порядок чистой науки используется ради того, чтобы гарантировать требования иного порядка. Что такое грамматическая правильность и знак S, категориальный символ, господствующий над высказываемыми? Он является маркером власти прежде, чем быть синтаксическим маркером, а деревья Хомского устанавливают постоянные отношения между переменными власти. Формирование грамматически правильной фразы — это, для нормального индивида, предпосылка любого подчинения социальным законам. Никто не может отговариваться незнанием грамматики, те же, кто ее игнорирует, годятся для специальных учреждений. Единство языка прежде всего является политическим. Нет языка-основы [*langue-mère*], а есть лишь захват власти господствующим языком, который иногда выдвигается широким фронтом, а иногда одновременно обрушивается на разные центры. Можно придумать несколько способов, чтобы гомогенизировать, централизовать язык — республиканский образ действий не является с необходимостью тем же, что королевский, но он не менее жесткий.³⁰ Но научное предприятие по высвобождению

³⁰ О расширениях и рассеяниях состояний языка — порой в виде «масляного пятна», порой в виде «воздушно-десантных войск» — см. Malmberg, Bertil. *Les nouvelles tendances de la linguistique*, P.U.F., ch. III (где используются весьма важные исследования Н. Линдквиста [N. Lindqvist] по диалектологии). Тут были бы нужны сравнительные исследования того, как происходят гомогенизации и централизации того или иного главного языка. В этом отношении лингвистическая история французского языка не та же, что история английского языка; их отношение с письмом как формой гомогенизации также не одинаковы. Относительно французского языка, централизованного по преимуществу, сошлемся на анализ Certeau, M. de; Julia, D.; Revel, J. *Une politique de la langue*, Gallimard. Этот анализ касается крайне короткого периода в конце XVIII века, сфокусированного вокруг аббата Грегуара [Grégoire], и отмечает, тем не менее, два разных момента: один, где центральный язык противостоит сельским диалектам, так же как городской язык противостоит языку пригородов, а столичный — провинциальному; другой, где он противостоит «феодальным идиомам», а также языку эмигрантов, как нация противится всему тому, что ей чужеродно или является ее врагом (pp. 160 sq.: «Ясно, что отказ от диалектов следует из технической неспособности ухватить устойчивые законы в устной или региональной речи»).

констант и постоянных отношений всегда дублируется политическим предприятием по навязыванию их тем, кто говорит, и по передаче слов-порядка.

*Speak white and loud**

да, какой восхитительный язык,
чтобы нанимать,
отдавать приказы,
фиксировать смертный час в труде
и перерыв, который освежает...

Тогда не следует ли различать два вида языков — «высокие» и «низкие», главные и малые? Одни определялись бы именно властью констант, другие — мощью вариации. Не хотелось бы просто противопоставлять единство главного языка множеству диалектов. Скорее именно каждый диалект оказывается аффектирован некой зоной перехода и вариации; или, лучше сказать, как раз каждый малый язык оказывается аффектирован собственно диалектной зоной вариации. Согласно Малмбергу, мы редко находим чистые границы на картах диалектов, мы, скорее, обнаруживаем пограничные и переходные зоны, неразличимость. Мы также говорим, что «квебекский язык столь богат модуляциями и вариациями региональных акцентов и игрой тонических акцентов, что без всякого преувеличения иногда кажется, будто он лучше сохранился бы с помощью музыкальной нотации, чем с помощью любой системы орфографии».³¹ Само понятие диалекта весьма неопределенно. Кроме того, оно является относительным, ибо надо знать, в отношении какого главного языка оно осуществляет свою функцию — например, квебекский язык оцени-

* Говори как белый и громко (*англ.*) — самое распространенное оскорбление в англоязычных странах (особенно в таких, как США и Канада), которое белые колонизаторы употребляли, когда слышали малопонятную им речь негров или индейцев. — *Прим. пер.*

³¹ См.: Lalonde, Michèle // *Change*, n° 30, где мы находим, одновременно, и предыдущее стихотворение «*Speak White*», и манифест о квебекском языке.

вается не только по отношению к стандартному французскому, но и по отношению к главному английскому языку, у которого он заимствует все виды фонетических и синтаксических элементов, дабы заставить их варьироваться. Диалекты банту оцениваются не только по отношению к языку-основе, но и по отношению к африкаанс как главному языку и к английскому как контр-главному языку, предпочитаемому чернокожими.³² Короче, вовсе не понятие диалекта освещает понятие малого языка, а наоборот, именно малый язык определяет диалекты своими собственными возможностями варьироваться. Тогда не следует ли различать главные языки и малые языки — либо помещаясь в региональную ситуацию билингвизма или мультилингвизма, включающую в себя, по крайней мере, один господствующий язык и один подчиненный, либо рассматривая мировую ситуацию, которая наделяет определенные языки имперской властью по отношению к другим (например, роль сегодняшнего англо-американского языка)?

Такую точку зрения нам мешают принять, по крайней мере, две причины. Как отмечает Хомский, диалект, язык гетто или малый язык не избегают условий трактовки, вытаскивающей из такого языка однородную систему и извлекающей константы — *black-english* действительно обладает собственной грамматикой, которая не определяется как сумма ошибок или нарушений по отношению к стандартному английскому, но в точном значении данная грамматика может рассматриваться, только если к ней применяются те же правила исследования, что и при изучении стандартного английского. В этом смысле, понятия главного и малого, по-видимому, не представляют никакого лингвистического интереса. Французский язык, утрачивая собственную общемировую главную функцию,

³² О сложном положении африкаанс см. замечательную книгу Breytenbach, Breyten. *Feu froid*, Bourgois; исследование G. M. Lory (pp. 101—107) высвечивает предприятие Брейтенбаха, неистовство его поэтической обработки языка, его желание быть «внебрачным ребенком с внебрачным языком».

ничего не теряет в своем постоянстве, в своей однородности, в своей централизации. Напротив, африкаанс получил свою однородность, когда существовал локально малый язык, борющийся против английского. Даже политически, и главным образом политически, трудно понять, как могут действовать приверженцы малого языка, если только не сообщая ему, не вписывая в него постоянство и однородность, кои делают такой язык локально главным, способным вынудить к официальному признанию (отсюда политическая роль писателей, подчеркивающих права малого языка). Но противоположный аргумент кажется куда важнее — чем больше язык имеет или приобретает характеристик главного языка, тем более он подвергается непрерывными вариациям, транспонирующим его в «малый» язык. Тщетно критиковать мировой империализм языка, разоблачая порчу, какую он наводит на другие языки (например, критика пуристами влияния английского языка, мелкобуржуазное или академическое разоблачение «франкглийского языка»). Ибо такой язык, как английский или американский, является главным в мировом масштабе, только если он обработан всеми меньшинствами мира, причем с помощью весьма разнообразных процедур варьирования. Или то, как гаэльский и англо-ирландский языки заставляют меняться английский язык. То, как black-english и некоторые языки «гетто» вынуждают меняться американский язык до такой степени, что Нью-Йорк стал городом почти без языка. (Более того, американский язык — в своих отличиях от английского языка — *не образовался бы* без такой лингвистической работы меньшинств.) Или, к примеру, лингвистическая ситуация в бывшей австрийской империи — немецкий язык является главным языком по отношению к меньшинствам, но только подвергаясь с их стороны обработке, превращающей его в малый язык по отношению к немецкому языку немцев. Итак, не существует языка, у которого не было бы никаких собственных внутренних, эндогенных, интралингвистических меньшинств. Так что на

самом общем лингвистическом уровне позиции Хомского и Лабова непрестанно переходят друг в друга и превращаются одна в другую. Хомский может сказать, что даже малый, диалектный язык или язык гетто не поддается исследованию вне условий, которые высвобождают из него инварианты и устраняют «внешние или смешанные» переменные; но Лабов может ответить, что язык — даже главный и стандартный — не поддается исследованию независимо от «присущих ему» изменений, которые как раз и не являются ни смешанными, ни внешними. *Вы не достигнете однородной системы, каковая не была бы — еще или уже — обработана имманентной, непрерывной и урегулированной вариацией.* (Почему же Хомский делает вид, будто не понимает этого?)

Следовательно, не существует двух видов языка, а есть две возможные трактовки одного и того же языка. Либо переменные трактуются таким образом, что из них извлекаются константы и постоянные отношения, либо же — так, что они приводятся в состояние непрерывной вариации. Мы ошибались, когда порой создавали впечатление, будто константы существовали рядом с переменными, лингвистические константы рядом с переменными высказывания — такое делалось лишь ради удобства изложения. Ибо ясно, что константы извлекаются из самих переменных; у универсалий в лингвистике существования в себе не больше, чем в экономике, и они всегда выводятся из универсализации или унификации, подразумевающих переменные величины. *Константа не противостоит переменной*, как раз-таки трактовка переменной противостоит другому типу трактовки — трактовке непрерывной вариации. Так называемые обязательные правила соответствуют первому типу трактовки, тогда как необязательные правила касаются конструирования континуума вариации. Более того, к некоторым категориям или различиям нельзя обращаться, они не применимы и бесполезны в качестве возражений, ибо уже предполагают первую трактовку и всецело подчинены поиску констант: например, язык как то, что

противопоставлено речи; синхрония как то, что противопоставлено диахронии; компетенция — успеху; отличительные черты — неотличительным (или вторично отличительным) чертам. Ибо неотличительные черты — будь то прагматические, стилистические или просодические — не являются не только вездесущими переменными, отличающимися от присутствия или отсутствия константы, они — не только сверхлинейные и «сверхсегментированные» элементы, отличающиеся от линейных сегментарных элементов: сами их характеристики сообщают им власть [puissance] помещать все элементы языка в состояние непрерывной вариации — например, воздействие тона на фонемы, акцента на морфемы, интонаций на синтаксис. Это не вторичные черты, но иная трактовка языка, который уже не проходит через предыдущие категории.

«Главное» и «малое» качественно определяют не два языка, а два употребления или две функции языка. Двухязычие, конечно же, обладает образцовой ценностью, но, опять же, просто ради удобства. Несомненно, в австрийской империи чешский язык был малым языком по отношению к немецкому; но немецкий язык Праги уже функционирует как потенциально малый по отношению к немецкому языку Вены или Берлина; и Кафка — чешский еврей, пишущий на немецком языке, — подвергает немецкий язык творческой переработке как малый язык, конструируя континуум вариации, обсуждая все переменные ради того, чтобы, одновременно, стягивать константы и распространять переменные: заставлять язык заикаться, заставлять его «попискивать»... растягивать тензоры на весь язык, даже письменный, и извлекать из него крики, вопли, высоты, длительности, тембры, интонации, интенсивности. Мы часто отмечали две совместные тенденции у так называемых малых языков — обнищание, утрата синтаксических или лексических форм; но в то же время странное размножение изменчивых эффектов, вкус к перегрузке и перефразированию. Такое можно сказать и о немецком языке Праги, о black-english или о квебекском

языке. Но, не считая редких исключений, интерпретация лингвистов была, скорее, враждебна, взывая к консубстанциальным бедности и изощренности. Так называемая бедность — это, фактически, ограничение констант, что-то вроде перегрузки, расширения вариаций ради развертывания континуума, сметающего все компоненты. Такая бедность является не нехваткой, а пустотой или эллипсом, позволяющим нам обогнуть константу вместо того, чтобы быть захваченными ею, или приближаться к ней сверху либо снизу вместо того, чтобы обустраиваться в ней. И такая перегрузка не является риторической фигурой, метафорой или символической структурой, именно подвижное перефразирование свидетельствует о нелокализуемом наличии косвенной речи внутри любого высказанного. С обеих сторон мы видим отказ от точек отсчета, рассеивание постоянной формы в пользу динамических различий. И чем более язык входит в такое состояние, тем ближе он не только к музыкальной нотации, но и к самой музыке.³³

Изымать и вводить в вариацию, отбрасывать и вводить в вариацию — это одна и та же операция. Нет бедности и перегрузки, которые характеризовали бы малые языки в отношении стандартного, или главного, языка; есть воз-

³³ Что касается двойного аспекта малых языков, бедность—эллипс, перегрузка—вариация, то мы сошлемся на несколько образцовых анализов: анализ Вагенбаха [Wagenbach], посвященный немецкому языку Праги в начале XX века (*Franz Kafka, années de jeunesse*, Mercure de France); анализ Пазолини, показывающий, что итальянский язык не строился на стандартном или среднем уровне, но взорвался в двух синхронных направлениях — «вниз и вверх», к упрощенному материалу и к выразительному преувеличению (*L'expérience hérétique*, Payot, pp. 46—47); анализ Дж.Л. Дилларда [J.L. Dillard], высвобождающий двойную тенденцию black-english — с одной стороны, опускать, терять или освобождаться, с другой, перегружать, вырабатывать некий «fancy talk» [причудливый говор (англ.). — Прим. пер.] (*Black-english*, Vintage Book, New York.) Как замечает Диллард, там нет никакой подчиненности стандартному языку, а есть корреляция двух движений, с необходимостью избегающих стандартного уровня языка. Относительно black-english Ле Рой Джонс [LeRoi Jones] показывает, к какой точке эти два совместных направления приближают язык музыки (*Le peuple du blues*, Gallimard, pp. 44—45 и вся глава 3). В более общем смысле вспомним проведенный Пьером Булезом анализ двойного музыкального движения, растворения формы, динамической перегрузки или размножения (*Par volonté et par hasard*, Ed. du Seuil, pp. 22—24).

держанность и вариация, выступающие как малая трактовка стандартного языка, как становление-малым главного языка. Такая проблема — не проблема различия между главным языком и малым языком, а проблема становления. Речь идет не о ретерриторизации себя в диалекте или наречии, а о ретерриторизации главного языка. Чернокожие американцы не противопоставляют black и english, они превращают американский язык, являющийся их собственным языком, в black-english. Малые языки не существуют сами по себе — существуя лишь по отношению к главному языку, они также являются инвестициями этого языка, дабы тот сам стал малым. Каждый должен найти малый язык, диалект или, скорее, идиолект, начиная с которого он сделает малым свой собственный главный язык. Такова сила авторов, которых мы называем «малыми» и которые — самые крупные, единственно крупные: нужно отвоевать свой собственный язык, то есть добиться такой воздержанности в употреблении главного языка, чтобы привести его в состояние непрерывной вариации (противоположность регионализма). Как раз в собственном языке мы — двуязычны или многоязычны. Завоевать главный язык, дабы расчерчивать в нем еще неизвестные малые языки. Воспользоваться малым языком, дабы *заставлять литься* главный язык. Малый автор — чужак в своем собственном языке. Если он — пария, если он видит себя парией, то не благодаря смеси или переплетению языков, а, скорее, благодаря изъятию и вариации своего языка, достигаемой с помощью растягивания через него тензоров.

Понятие *меньшинства* — очень сложное понятие, со своими музыкальными, литературными, лингвистическими, а также юридическими и политическими отсылками. Меньшинство противостоит большинству не только количественно. Большинство предполагает константу — выражения или содержания — в качестве метра-эталона, по отношению к которому оно оценивается. Предположим, что константой или эталоном будет некий Человек-белый-мужчина-взрослый-горожанин-говорящий-на-стандарт-

ном-языке-европеец-гетеросексуал (Улисс Джойса или Эзры Паунда). Ясно, что «мужчина» обладает большинством, даже если он не столь многочислен, как комары, дети, женщины, чернокожие, крестьяне, гомосексуалы и т.д. Дело в том, что он появляется дважды, один раз в константе, а затем в переменной, из которой извлекает константу. Большинство предполагает состояние власти и господства, но не наоборот. Оно предполагает метр-эталон, но не наоборот. Даже марксизм «почти всегда проводил гегемонию с точки зрения национального, квалифицированного рабочего-мужчины старше тридцати пяти лет».³⁴ Иная, нежели константа, заданность будет, следовательно, рассматриваться как относящаяся к меньшинству по своей природе и независимо от количества, то есть как под-система или как вне-система. Мы хорошо это видим во всех операциях — избирательных или других, — где вам предоставлен выбор, но при условии, чтобы ваш выбор соответствовал пределам константы («Вам не следует выбирать изменение общества...»). Но в этом пункте все опрокидывается. Ибо большинство, поскольку оно аналитически включено в абстрактный эталон, никогда не является кем-то, оно — всегда Никто—Улисс, тогда как меньшинство — это становление каждого, его потенциальное становление, если только он отклоняется от модели. Существует мажоритарный «факт», но именно аналитический факт Кого-то, кто противится становлению-миноритарным, становлению-малым каждого. Вот почему мы должны проводить различие между: мажоритарным как однородной и постоянной системой, меньшинствами как подсистемами и миноритарным как потенциальным, созидательным и творческим становлением. Проблема не в том, чтобы никогда не захватывать большинство, даже устанавливая новую константу. Не бывает становления мажоритарным, большинство никогда не является становлением. Есть становление, которое миноритарно. Женщины, каким бы ни было их

³⁴ Moulier, Yann. Предисловие к *Ouvriers et Capital*, de Mario Tronti, Bourgois.

количество, — это меньшинство, определяемое как состояние или подмножество; но они творят, лишь создавая возможное становление, над которым у них нет права собственности, в которое они сами должны войти, — становление-женщиной, затрагивающее всего человека целиком, включая мужчин и женщин. То же и с малыми языками — они не просто суб-языки, идиолекты или диалекты, но потенциальные агенты, вовлекающие главный язык в становление миноритарными всех его измерений, всех его элементов. Будем различать малые языки, главный язык и становление-малым главного языка. Действительно, меньшинства — это объективно определяемые состояния, состояния языка, этничности, пола с их собственной территориальностью гетто; но они также должны рассматриваться как зародыши, кристаллы становления, чье назначение в том, чтобы отключить неконтролируемые движения и детерриторизации среднего или большинства. Вот почему Пазолини показал, что существенное, а именно в свободном косвенном дискурсе, пребывает не в языке *A* или в языке *B*, а «в языке *X*, ином, нежели язык *A*, и находящемся в процессе становления языком *B*». ³⁵ Есть универсальная фигура миноритарного сознания как становления каждого, и именно такое становление является творчеством. Мы не достигаем творчества, получая большинство. Такая фигура — это непрерывная вариация как некая амплитуда, непрестанно переступающая репрезентативный порог мажоритарного эталона благодаря излишку и нехватке. Воздвигая фигуру универсального миноритарного сознания, мы обращаемся к мощи становления, являющейся иной областью, нежели область Власти и Господства. Именно непрерывная вариация конституирует становление миноритарным каждого, в противоположность мажоритарному Факту Никого. Становление миноритарным — как универсальная фигура сознания — называется автономией. Конечно же, мы становимся рево-

³⁵ Pasolini, P.P. *L'expérience hérétique*, p. 62.

люционерами, вовсе не используя малый язык в качестве диалекта, не создавая региональный язык или язык гетто; именно используя множество элементов меньшинства, соединяя и сопрягая их, мы изобретаем особое автономное, неожиданное становление.³⁶

Мажорный и минорный лады — вот два истолкования языка, одно из которых состоит в извлечении из него констант, а другое — во введении его в непрерывную вариацию. Но в той мере, в какой слово-порядка является переменной высказывания (осуществляющей условие возможности языка) и определяет употребление элементов согласно одному или другому истолкованию, нужно вернуться именно к слову-порядка как к единственному «метаязыку», способному отдавать отчет в таком двойном направлении, такой двойной трактовке переменных. Если проблема функций языка вообще плохо поставлена, то именно потому, что мы проходим мимо такого варибельного слова-порядка, подчиняющего себе все возможные функции. В соответствии с указаниями Канетти, мы можем исходить из следующей прагматической ситуации: слово-порядка — это смертный приговор, оно всегда предполагает такой приговор, пусть даже крайне мягкий, ставший символическим, иницирующим, временным... и т.д. Слово-порядка несет либо немедленную смерть тому, кто получает приказ, либо возможную смерть, если он не повинуется, либо смерть, которую он сам должен навлечь на себя, принять откуда-то еще. Приказ отца сыну — «ты сделаешь это», «ты не сделаешь того» — неотделим от маленького смертного приговора, испытываемого сыном в сердцевине [point] своей личности. Смерть, смерть — вот единственный при-

³⁶ См. манифест «коллективной Стратегии» по поводу квебекского языка в *Change*, п° 30: он разоблачает «миф о разрушительном языке», подразумевающий, что будто бы достаточно некоего состояния меньшинства, дабы создать там даже революционную ситуацию («Такое механистическое уравнивание восстанавливает некую популистскую концепцию языка. <...> Вовсе не потому, что индивид говорит на языке рабочего класса, он стоит на позициях этого класса. <...> Тезис, согласно которому *жуаль* [просторечный французский говор в Канаде. — Прим. пер.] обладает подрывной контркультурной силой, полностью идеалистичен», р. 188).

говор, вот то, что превращает суждение в систему. Вердикт. *Но слово-порядка — это также и что-то еще*, нераздельно связанное: оно что-то вроде сигнала тревоги или сообщения, что пора убегать. Было бы слишком просто сказать, будто ускользание есть реакция на слово-порядка; скорее, ускользание заключено в слове-порядка как его иной лик в сложной сборке, его иная компонента. Канетти прав, когда обращается к рыку льва, который, одновременно, высказывает и бегство, и смерть.³⁷ У слова-порядка два тона. Пророк, ускользая, получает столько же слов-порядка, сколько и желая смерти — еврейский профетизм плотно соединяет и желание умереть, и порыв ускользания в божественном слове-порядка.

Итак, если мы рассматриваем первый аспект слова-порядка, то есть смерть как выражаемое приговором, то ясно видим, что он соответствует прежним требованиям — напрасно смерть старается касаться главным образом тел, приписываться только телам, ибо своей непосредственностью, своей мгновенностью она обязана аутентичному характеру бестелесной трансформации. То, что ей предшествует, и то, что за ней следует, может выступать как экстенсивная система действий и страстей, медленная работа тел; в самой же себе она — ни действие, ни страдание, а чистый акт, чистая трансформация, чье высказывание сливается с высказываемым и приговором. Этот человек мертв... Ты уже мертв, когда получаешь приказ... Смерть действительно повсюду, как непреодолимая идеальная граница, разделяющая тела, их формы и состояния, и как условие, пусть даже иницилирующее, даже символическое, через которое должен пройти субъект, дабы изменить форму или состояние. Именно в этом смысле Канетти говорит об «энантиоморфизме*»: режиме, отсылающем к

³⁷ Элиас Канетти, *Масса и власть*. (См. две важные главы, соответствующие обоим аспектам слова-порядка — «приказа» и «метаморфозы»; и особенно с. 337—338, описание паломничества в Мекку с его двойным кодированным аспектом — мертвенной окаменелостью и паническим бегством.)

* Зеркальная симметрия. — *Прим. пер.*

незыблемому и иератическому Господину, который в каждый момент законодательствует над константами, запрещает или строго ограничивает метаморфозы, фиксирует в фигурах четкие и устойчивые очертания, попарно противопоставляет формы, заставляет субъектов умирать, дабы переходить от одной формы к другой. И именно благодаря чему-то бестелесному одно тело всегда отделяется и отличается от другого. Фигура, поскольку она является окончечностью тела, — это бестелесный атрибут, ограничивающий и завершающий тело: смерть — это Фигура. Именно благодаря смерти тело завершается не только во времени, но в пространстве, и именно благодаря смерти его линии формируют и очерчивают контур. Есть мертвые пространства, так же как и мертвое время. «Повторение энантиоморфоза ведет к сокращению мира. <...> Важнейшими из всех запретов на превращение являются *социальные*. <...> Между классами, следовательно, пролегает очень серьезная граница — смерть».** В таком режиме любое новое тело требует сооружения противостоящей формы так же, как и формирования отдельных субъектов: смерть — всеобщая бестелесная трансформация, приписываемая всем телам с точки зрения их форм и субстанций (например, тело Партии не может выделиться, не прибегая к операции энантиоморфии и не формируя новых активистов, которые предполагают уничтожение первого поколения).

Верно, что здесь мы обращаемся к рассмотрению содержания, как, впрочем, и выражения. Действительно, в тот самый момент, когда оба плана более всего различаются — как режим тела и режим знаков в сборке — они все еще отсылают к взаимопредположению. Бестелесная трансформация — это выражаемое слов-порядка, но также и атрибут тел. Не только лингвистические переменные выражения, но и лингвистические переменные содержания, входят, соответственно, в отношения формальной оппозиции или различия, способствующие высвобождению констант.

** Элиас Канетти, *Масса и власть*, с. 408 (перевод изменен). — *Прим. пер.*

Как замечает Ельмслев, выражение делится, например, на фонические единства, а содержание делится на физические, зоологические или социальные единства («теленос» делится на быка—самца—молодого³⁸). Сеть бинарных оппозиций или древовидных разветвлений приложима как к одной, так и к другой стороне. Однако нет никакого аналитического сходства, соответствия или согласования между этими двумя планами. Но их независимость не исключает изоморфизма, то есть существования одного и того же типа постоянных отношений на обеих сторонах. И как раз благодаря такому типу отношений лингвистические и нелингвистические элементы с самого начала нераздельны, несмотря на отсутствие соответствия между ними. В то время как элементы содержания собираются придать смещениям тел четкие контуры, элементы выражения сообщают власть приговора или суждения нетелесному выражаемому. У всех этих элементов есть разные степени абстракции и детерриторизации, но каждый раз они осуществляют ретерриторизацию всей сборки в целом на таких словах-порядка и таких контурах. Действительно, даже смысл учения о синтетическом суждении должен показать, что существует априорная связь (изоморфизм) между Приговором и Фигурой, формой выражения и формой содержания.

Но если мы рассмотрим другой аспект слова-порядка — ускользание, а не смерть, — то кажется, что переменные вошли в новое состояние, состояние непрерывной вариации. Переход к пределу появляется теперь как бестелесная трансформация, которая, тем не менее, все время приписывается телам — единственный способ не отменить смерть, а редуцировать ее или превратить в саму вариацию. Одновременно, такое движение выталкивает язык к его

³⁸ Мы видели, что Ельмслев накладывает ограничительное условие на уподобление плана содержания некоему виду «означаемого». Тогда мы вправе на это возразить, что анализ содержания, как его предложил Ельмслев, касается не столько лингвистики, сколько других дисциплин, например зоологии (как и в Martinet, *La linguistique*, DenoCl, p. 353). Но такое возражение, по-видимому, направлено только против ограничительного условия Ельмслова.

собственным пределам, а тела берутся в движении метаморфоз их содержания или в процессе исчерпания, который вынуждает их достигать или превосходить пределы своих фигур. Здесь самое место противопоставить малые науки главным наукам — например, порыв ломаной линии стать кривой, целая оперативная геометрия черты и движения, прагматическая наука введения в вариацию, которая действует по-иному, нежели чем королевская или главная наука эвклидовых инвариантов, и которая проходит через долгую историю подозрений и даже репрессий (мы еще вернемся к этому вопросу). Наименьший интервал — всегда дьявольский: мастер метаморфоз противостоит инвариантному иератическому королю. Это как если бы интенсивная материя или континуум вариации высвобождались — здесь во внутренних тензорах языка, там во внутренних напряжениях содержания. Идея наименьшего интервала не устанавливается между фигурами одной и той же природы, но она предполагает, по крайней мере, кривую и прямую, круг и касательную. Мы присутствуем при трансформации субстанций и растворении форм, при переходе к пределу или ускользании от контуров в пользу жидких сил, в пользу потоков, воздуха, света и материи — так, чтобы тело или слово не останавливались в какой-либо определенно заданной точке. Бестелесное могущество такой интенсивной материи, материальное могущество такого языка. Более непосредственная материя, более жидкая и пылающая, чем тела и слова. В непрерывной вариации различие следует проводить уже не между формой выражения и формой содержания, а между двумя нераздельными, взаимно предполагающими друг друга планами. Теперь относительность их различия полностью реализуется на плане консистенции, где детерриторизация становится абсолютной, сметая сборку. Абсолют, однако, не подразумевает недифференцированное — различия, ставшие «ничтожно малыми», конституируются в одной и той же материи, которая будет служить и выражением как нематериальной властью, и содержанием как безграничной телес-

ностью. Переменные содержания и выражения не пребывают более в отношении взаимного предположения, которое все еще допускает две формы; введение в вариацию переменных осуществляет, скорее, сближение обеих форм, осуществляет союз высших точек детерриторизации как на одной стороне, так и на другой — на плане одной и той же освобожденной материи, лишенной фигур, умышленно неоформленной и удерживающей только такие точки, такие тензоры или напряжения, как в выражении, так и в содержании. Жесты и вещи, голоса и звуки схвачены в одной и той же «опере», сметены изменчивыми эффектами заикания, вибрато, тремоло и разливами. Синтезатор вводит в непрерывную вариацию все параметры, постепенно создавая «по существу разнородные элементы, которые в конце каким-то образом превращаются друг в друга». Как только имеет место такая конъюнкция, появляется общая материя. Лишь там мы доходим до абстрактной машины или диаграммы сборки. Синтезатор занял место суждения, как материя заняла место фигуры или оформленной субстанции. Уже даже не нужно группировать, с одной стороны, энергетическую, физико-химическую, биологическую интенсивности, а с другой — семиотические, информационные, лингвистические, эстетические, математические интенсивности и т.д. Множество систем интенсивностей спрягается, ризоматизируется на всей сборке в целом в тот момент, когда сборка сметается этими векторами или напряжениями ускользания. Поскольку вопрос не в том, как убежать от слова-порядка, — а в том, как избежать смертного приговора, охватываемого словом-порядка, как развить собственную мощь ускользания, как помешать ускользанию превратиться в воображаемое или свалиться в черную дыру, как удержать или высвободить революционную потенциальность слова-порядка. Гофмансталь самому себе бросает слово-порядка, лозунг «Германия, Германия!», потребность ретерриторизовать — даже в «меланхолическом зеркале». Но ниже такого слова-порядка он слышит другое — как если бы старые немецкие «фигуры» были про-

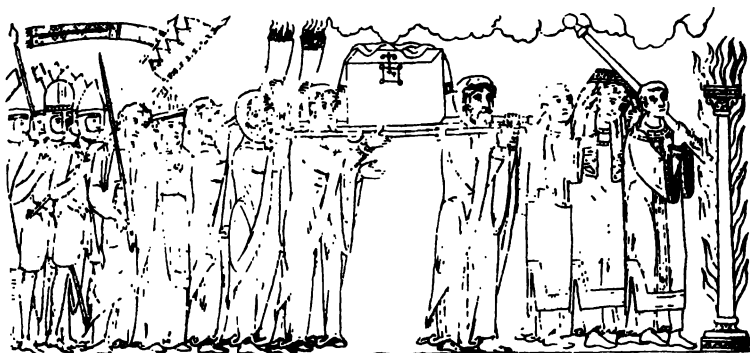
стыми константами, которые теперь стираются, дабы указать на отношение с природой, с жизнью тем более глубокое, чем более оно вариабельно. В каком случае такое отношение с жизнью должно утратить гибкость, в каком случае оно должно быть покорным, а в какой момент речь идет о том, чтобы взбунтоваться, а в какой — чтобы сдать-ся или быть бесстрастным, и когда требуется сухая речь, а когда нужно изобилие или развлечение?³⁹ Какими бы ни были купюры или разрывы, только непрерывная вариация освободит эту виртуальную линию, этот виртуальный континуум жизни, «сущностную стихию, или реальное, лежащее ниже повседневного». В фильме Херцога есть замечательное высказываемое. Задав себе вопрос, персонаж фильма говорит: «Кто даст ответ на этот ответ?» На самом деле, вопроса не существует, мы всегда отвечаем только на ответы. Ответу, уже содержащемуся в вопросе (допрос, конкурс, плебисцит и т.д.), мы противопоставляем вопросы, исходящие из другого ответа. Мы высвобождаем слово-порядка слова-порядка, приказ приказа, лозунг лозунга. В слове-порядка жизнь должна ответить на ответ смерти, не ускользая, но делая так, что ускользание действует и творит. Под словами-порядка существуют слова-перехода или пароли. Слова, которые были бы как переход, как компоненты перехода, тогда как слова-порядка помечают остановки, стратифицированные и организованные композиции. У одной и той же вещи, у одного и того же слова без сомнения такая двойная природа: надо извлечь одно из другого — трансформировать композиции порядка в компоненты перехода.

³⁹ См. отрывок текста Гофмансталя из *Lettres du voyageur a son retour* (lettre du 9 mai 1901), Mercure de France.

5. 587 до н.э. — 70 н.э.:

О нескольких режимах знаков

Порядок Ковчига Израмитов



Новый режим

Мы называем режимом знаков любую специфическую формализацию выражения — по крайней мере, когда это выражение лингвистическое. Режим знаков конституирует семиотику. Но, по-видимому, трудно рассматривать семиотики как таковые: фактически, всегда есть форма содержания, неотделимая от формы выражения и, одновременно, независимая от нее, и обе эти формы отсылают к сборкам, в принципе не являющимся лингвистическими. Однако мы можем действовать так, будто формализация выражения автономна и достаточна. Ибо даже в этих условиях существует такое разнообразие форм выражения, такая смесь этих форм, что невозможно наделить какой-то особой привилегией форму или режим «означающего». Если мы называем означающую семиотику семиологией, то семиология — это лишь один из режимов знаков среди

прочих, причем не самый важный. Отсюда необходимость возврата к прагматикам, где язык никогда не обладает ни универсальностью в себе, ни достаточной формализацией, ни общей семиологией или метаязыком. Итак, именно изучение означающего режима прежде всего свидетельствует в пользу неадекватности лингвистических допущений, даже во имя режимов знаков.

Означающий режим знака (означающий знак) имеет одну общую простую формулу: знак отсылает к знаку — и только к знаку — до бесконечности. Вот почему в пределе можно даже обойтись без понятия знака, ибо мы принципиально не удерживаем его отношение ни с состоянием вещей, каковое он обозначает, ни с сущностью, которую он сигнифицирует, но мы удерживаем лишь формальное отношение знака к знаку, ибо оно определяет так называемую означающую цепь. Беспредельность означивания смещает знак. Когда мы полагаем, что денотация (здесь — десигнация и сигнификация, взятые вместе) уже составляет часть коннотации, мы всецело пребываем в этом означающем режиме знака. Мы не занимаемся специально *индексами*, то есть территориальными состояниями вещей, конституирующими то, что поддается обозначению. Мы не занимаемся специально *иконическими знаками*, то есть операциями ретерриторизации, конституирующими то, что поддается сигнификации. Следовательно, знак уже достиг высшей степени относительной детерриторизации; он постигается как *символ* в постоянной отсылке от знака к знаку. Означающее — это знак, который избыточен благодаря знаку. Любые знаки становятся знаком. И речь к тому же идет не о знании того, что означает данный знак, а о том, к какому другому знаку он отсылает, какой другой знак добавляется к нему, дабы сформировать сеть без начала и конца — сеть, отбрасывающую тень на аморфный атмосферный континуум. Именно этот аморфный континуум в данный момент играет роль «означаемого», но он непрестанно скользит ниже означающего, которому служит лишь как посредник или стена — особая форма всех

содержаний, растворенных в нем. Атмосферизация и обмирщение содержаний. Итак, содержания абстрагируются. Мы оказались в ситуации, описываемой Леви-Стросом: мир начинает означать до того, как мы знаем, *что* он означает; означаемое дано, не будучи известным.¹ Жена как-то странно посмотрела на вас; а утром консьерж вручил вам письмо из налоговой инспекции и скрестил пальцы; потом вы наступили в кучу собачьего дерьма, увидели две деревяшки на тротуаре, соединенные подобно стрелкам часов; они шептались за вашей спиной, когда вы вошли в контору. И не важно, о чем все это говорит, оно всегда что-то означает. Знак, отсылающий к знаку, поражен странным бессилием и нерешительностью, но могущественным является как раз означающее, конституирующее цепь. Параноик причастен к такому бессилию детерриторизованного знака, нападающего на него со всех сторон в скользящей атмосфере, но такая причастность дает ему еще больший доступ к сверхвласти означающего — в великолепном чувстве ярости — как хозяину сети, распространяющейся сквозь атмосферу. Паранойяльный деспотичный режим: они атакуют меня и заставляют страдать, но я предвижу их намерения, я на шаг впереди них, я знал это всегда, у меня есть власть даже в собственном бессилии, «я поймею их».

В режиме такого типа все заканчивается ничем. Он и создан для этого, эдакий трагический режим бесконечного долга, в котором мы, одновременно, являемся и кредиторами, и должниками. Один знак отсылает к другому знаку, в который он переходит и который — от знака к знаку — вновь переносит его еще в другие знаки. «Рискуя вернуться по кругу...» Знаки не только создают бесконечную сеть, но и сеть знаков бесконечно циркулирует. Высказываемое живет дольше собственного объекта, имя

¹ Lévi-Strauss, Introduction a l'œuvre de Marcel Mauss // *Sociologie et anthropologie*, P. U. F., pp. 48–49 (далее в этом тексте Леви-Строс выделяет и другой аспект означающего). Об изначальной ценности атмосферного континуума см. психиатрические описания Бинсвангера и Ариети.

живет дольше своего носителя. Переходит ли он в другие знаки или же какое-то время хранится в резерве, знак живет дольше как своего собственного состояния вещей, так и своего означаемого; он скачет подобно зверю или мертвецу, дабы вновь обрести собственное место в этой цепи и инвестировать новое состояние, новое означаемое, откуда он, впрочем, и извлекается.² Намек на вечное возвращение. Есть целый режим странствующих, плавающих высказываемых, подвешенных имен, знаков, которые подкарауливают, ожидая того, чтобы снова продвинуться вперед благодаря этой цепи. Означающее как самоизбыточность детерриторизованного знака, мрачный мир и мир ужаса.

Но в расчет принимается не столько такая циркуляция знаков, сколько множественность кругов и цепей. Знак не только отсылает к другим знакам в одном и том же круте, но и от одного круга к другому или от одного витка к другому. Роберт Лови [Robert Lowie] рассказывает, как мужчины кроу и хопи по-разному реагируют, когда обмануты своими женами (кроу — номадические охотники, а хопи — оседлые крестьяне, связанные с имперскими традициями): «Индеец кроу, чья жена изменила ему, режет ей лицо, тогда как хопи, ставший жертвой такого же несчастья, не теряя спокойствия, уходит и молится, чтобы засуха и голод сошли на деревню». Мы видим, на чьей стороне обитает паранойя, деспотичный элемент или означающий режим; как еще говорит Леви-Строс, «ханжество»: «Дело в том, что для хопи действительно все связано — общественные беспорядки и домашняя склока затрагивают систему универсума, уровни которого объединены множеством соответствий; потрясение на одном плане умопостигаемо и морально переносимо только как проекция других потрясений, воздействующих на иные уровни».³ Хопи перескакивают от одного круга к другому или

² Ср.: Lévi-Strauss, *La pensée sauvage*, Pion, pp. 278 sq. (анализ двух случаев).

³ Lévi-Strauss, *Préface a Soleil Hopi*, Pion, p. VI.

от одного знака к другому на двух витках. Деревню или город покидают, чтобы вернуться. Случается, что эти скачки регулируются не только до-означающими ритуалами, но и всей имперской бюрократией в целом, которая выносит решение относительно их законности. Мы перескакиваем не как угодно, не без правил; скачки не только регулируются, но некоторые из них запрещены: не переступай самый внешний круг, не приближайся к самому центральному кругу... Здесь есть различие между кругами: хотя все знаки отсылают друг к другу лишь в той мере, в какой они детерриторизованы, ориентированы на один и тот же центр означивания, распределены в аморфном континууме, тем не менее у них разные скорости детерриторизации, свидетельствующие о месте происхождения (храм, дворец, дом, улица, деревня, куст и т.д.), они обладают дифференциальными отношениями, которые поддерживают различие между кругами и конституируют пороги в атмосфере континуума (частное или публичное, семейная склока или общественный беспорядок). Впрочем, распределение этих порогов и кругов меняется случайным образом. В такой системе кроется фундаментальный обман. Перескакивать от круга к кругу, всегда перемещать сцену, разыгрывать ее в другом месте — вот истеричное действие обманщика как субъекта, которое отвечает на паранойяльное действие деспота, обустроившегося в своем центре означивания.

Есть и другой аспект — означающий режим оказывается не только перед задачей организовывать знаки в круги, выпускаемые со всех сторон; он постоянно должен гарантировать расширение кругов или спирали, вновь помещать означающее в центр, дабы преодолеть присущую системе энтропию, дабы расцвели новые круги или прежние подпитывались вновь. Итак, необходим вторичный механизм на службе означивания — толкование, или интерпретация. На сей раз означаемое принимает новую фигуру — оно перестает быть аморфным континуумом, который дан, не будучи известным, и на кото-

рый сеть знаков набрасывает свою тонкую ткань. Мы приводим в соответствие знаку или группе знаков некую порцию означаемого, определяемую как подходящая и потому познаваемая. К синтагматической оси знака, отсылающего к другому знаку, добавляется парадигматическая ось, где так формализованный знак обеспечивает себе подходящее означаемое (к тому же тут есть и абстракция содержания, но произведенная новым способом). Жрец-толкователь, пророк — это один из бюрократов деспота-бога. Появляется новый аспект жульничества — жульничество жреца: интерпретация ведется до бесконечности и никогда не сталкивается с тем, что надо бы интерпретировать, что само уже не было бы интерпретацией. Так что означаемое постоянно заново дает означающее, заново нагружает или производит его. Форма всегда исходит от означающего. Следовательно, последнее означаемое — это само означающее, в его чрезмерности или «избытке». Совершенно бесполезно пытаться превзойти интерпретацию и даже коммуникацию с помощью производства означающего, ибо именно коммуникация интерпретации всегда служит воспроизводству и производству означающего. Конечно же, так мы не сможем обновить понятие производства. Открытие жрецов-психоаналитиков (открытие, какое делали все жрецы или все пророки в свои времена) состояло в следующем — интерпретация должна быть подчинена означиванию вплоть до того, что означающее сообщается означаемому лишь в том случае, если означаемое в свою очередь вновь сообщается означающему. Действительно, в пределе больше уже нет никакой нужды интерпретировать, но именно потому, что наилучшая интерпретация — самая весома и самая радикальная — это многозначительное безмолвие. Хорошо известно, что, когда психоаналитик перестает говорить, он, тем не менее, интерпретирует еще больше и лучше, дает интерпретацию ради субъекта, перескакивающего с одного круга ада на другой. Поистине, означивание и интерпретозис [*interprétose*] — две

болезни земли или кожи, то есть человечества, его базовый невроз.

О центре означивания, об Означающем собственной персоной сказано немного, ибо оно является как чистой абстракцией, так и чистым принципом; то есть, оно — ничто. Недостаток или избыток, не так уж важно. Одно и то же сказать, что знак отсылает к другим знакам до бесконечности или что бесконечная совокупность знаков отсылает к главному означающему. Но именно такая чисто формальная избыточность означающего даже не могла бы быть помыслена без особой субстанции выражения, для которой мы должны подыскать имя — *лицевость*. Не только язык всегда сопровождается чертами лицевости, но и лицо кристаллизует все чрезмерности, оно излучает и получает, освобождает и вновь захватывает означающие знаки. Оно в себе самом — цельное тело: оно подобно телу центра означивания, на котором сцепляются все детерриторизованные знаки, и оно отмечает предел их детерриторизации. Голос исходит именно от лица; вот почему, какой бы фундаментально важной ни была машина письма в имперской бюрократии, написанное сохраняет устный, а не книжный характер. Лицо — это Икона, присущая означающему режиму, это ретерриторизация, внутренняя по отношению к системе. Означающее ретерриторизируется на лице. Именно лицо задает субстанцию означающего, именно оно заставляет интерпретировать, изменяет черты, когда интерпретация вновь придает означающее его субстанции. Ага, он изменился в лице. Означающее всегда олицевлено. Лицевость материально царит над всей этой совокупностью означиваний и интерпретаций (психологи много написали об отношениях ребенка с лицом матери, а социологи — о роли лица в масс-медиа или рекламе). Деспот-бог никогда не скрывал своего лица, напротив — он создает себе одно или даже несколько лиц. Маска не скрывает лицо, она им является. Священник умело пользуется ликом бога. У деспота все публично, а все, что публично, является таковым благодаря лицу. Ложь и обман составля-

ют фундаментальную часть означающего режима, но не его тайны.⁴ И наоборот, когда лицо стирается, когда черты лицевости исчезают, мы можем быть уверены, что вступаем в совсем иной режим, в другие зоны, бесконечно более безмолвные и более невосприимчивые, где происходят подземные становления-животным, становления-молекулой, где происходят ночные детерриторизации, выходящие за пределы означающей системы. Деспот, или бог, грозит своим солнечным ликом, который и есть все его тело — как тело означающего. Он странно посмотрел на меня, нахмурил брови, и что я должен сделать, чтобы он изменился в лице? Передо мной моя собственная фотография, и можно сказать, что она смотрит на меня... Наблюдение лицом, как сказал Стриндберг, сверхкодирование означающим, излучение во всех направлениях, нелокализованная вездесущность.

Наконец, у лица и тела деспота или бога есть что-то вроде контр-тела — тело пытаемого или, лучше, тело исключенного. Несомненно, два тела коммуницируют, ибо тело деспота порой также подвергается унижению или даже пытке, либо изгнанию и исключению. «На другом полюсе можно представить себе тело осужденного; он тоже обладает правовым статусом, создает собственный церемониал... но не для того, чтобы обосновать “избыток власти”, принадлежащей личности государя, а для того, чтобы выразить “недостаток власти”, отпечатывающийся на телах тех, кто подвергается наказанию. В самой темной области политического поля осужденный представляет симметричный перевернутый образ короля».⁵ Пытаемый — это прежде всего тот, кто теряет свое лицо, кто вступает в становление-животным, становление-молекулой, чей прах

⁴ Например, в мифе банту первый основатель государства показывает свое лицо, публично ест и пьет, тогда как охотник, а впоследствии и воин, изобретает искусство тайны, прячется и ест за пологом, см.: Luc de Heusch, *Le roi ivre ou l'origine de l'Etat*, Gallimard, pp. 20–25. Он рассматривает второй момент как доказательство более «чистой» цивилизации; нам же, скорее, кажется, что речь идет о другой семиотике, о системе войны, а не об общественных работах.

⁵ Фуко, М. *Надзирать и наказывать*. М.: Ad Marginem, 1999, с. 44.

рассеивается ветром. Но мы сказали бы, что пытаемый — вовсе не последний термин, а, напротив, первый шаг перед исключением. Эдип, по крайней мере, понимал это. Он истязал сам себя, выдавил себе глаза, а затем ушел прочь. Обряд, посвященный становлению-животным козла отпущения, ясно иллюстрирует это — первое искупительное животное приносится в жертву, но второе изгоняется, посылается в засушливую пустыню. В означаемом режиме козел отпущения представляет новую форму роста энтропии в системе знаков — он ответственен за все, что было «плохим» в данный период, то есть за все, что сопротивлялось означавшим знакам, за все, что избегало отсылки от знака к знаку через различные круги; а также он принимает на себя все, что не сумело вновь нагрузить означаемое в своем центре, и к тому же он уводит все, что выходит за пределы самого широкого круга. Наконец, и главным образом, он воплощает те линии ускользания, какие означавший режим не может вынести, другими словами, он воплощает абсолютную детерриторизацию, которую этот режим должен блокировать или которую он может определить только негативно именно потому, что она превышает степень детерриторизации — как бы высока та ни была — означаемого знака. Линия ускользания подобна касательной к кругам означивания и центру означаемого. На нее обрушивается проклятие. Анус козла противостоит лицу деспота и бога. Мы уничтожим и заставим ускользать все, что рискует вынудить ускользать саму систему. Все, что превосходит избыток означаемого, или все, что проходит ниже последнего, будет помечено негативной ценностью. У вас будет единственный выбор — между анусом козла и ликом бога, между колдуном и священником. Тогда полная система понимается так: паранойальное лицо или тело деспота-бога в означавшем центре храма; священник-интерпретатор, всегда заново погружающий означаемое в храм, превращая его в означаемое; истеричная толпа снаружи, сгруппированная в компактные круги и перескакивающая с одного круга на другой; депрессивный, лишенный лица

козел отпущения, исходящий из центра, избранный, обработанный и разукрашенный священниками, пересекающий круги в своем безудержном ускользании в пустыню. — Этот слишком уж беглый перечень приложим не только к имперскому деспотическому режиму, но также фигурирует во всех центрированных, иерархических, древовидных, подчиненных группах: в политических партиях, в литературных движениях, в психоаналитических ассоциациях, в семьях, в супружеских союзах... Фотография, лицевость, избыток, означивание и интерпретация вмещиваются повсюду. Тоскливый мир означающего, его архаизм со всегда актуальной функцией, его сущностный обман, коннотирующий все его аспекты, его глубинную клоунату. Означающее царит над каждой домашней склокой, как и в любом аппарате Государства.

Означающий режим знака определяется восьмью аспектами, или принципами: 1) знак отсылает к знаку до бесконечности (беспредельность означивания, детерриторизирующего знак); 2) знак приносится другим знаком и не перестает возвращаться (циркуляция детерриторизованного знака); 3) знак перескакивает от круга к кругу и не перестает смещать центр в то самое время, когда соотносится с ним (метафора, или истерия знака); 4) расширение кругов всегда обеспечивается интерпретациями, которые задают означаемое и заново задают означающее (интерпретозис жреца); 5) бесконечная совокупность знаков отсылает к наивысшему означающему, представляющему собой как недостаток, так и избыток (деспотическое означающее, предел детерриторизации системы); 6) форма означающего обладает субстанцией, либо означающее обладает телом, кое является Лицом (принцип черт лицевости, конституирующий ретерриторизацию); 7) линия ускользания системы наделяется негативной ценностью и осуждается как то, что превышает власть детерриторизации означающего режима (принцип козла отпущения); 8) это режим универсального обмана, одновременно, в скачках, в регулируемых кругах, в управлении интерпретациями пророка, в публич-

ности олицевленного центра и в обработке линии ускользания.

Такая семиотика не только не является первой; мы не видим даже причины приписывать ей какую-то особую привилегию с точки зрения абстрактного эволюционизма. Нам хотелось бы очень кратко указать и на некоторые характеристики двух других семиотик. Прежде всего, так называемая примитивная, *до-означающая семиотика*, которая значительно ближе к «естественным» кодированиям, действующим без знаков. Мы не найдем здесь редукции к лицевости как единственной субстанции выражения — нет никакой элиминации форм содержания с помощью абстракции означаемого. В той мере, в какой мы все же создаем абстракцию содержания в строго семиотической перспективе, это поощряет плюрализм и поливокальность форм выражения, которые предотвращают любой захват власти со стороны означающего и сохраняют выразительные формы, присущие самому содержанию — именно так формы телесности, жестикуляции, ритма, танца и ритуала гетерогенно сосуществуют с вокальной формой.⁶ Некоторые формы и некоторые субстанции выражения пересекаются друг с другом и сменяют друг друга. Именно сегментарная, но многолинейная, мультиразмерная семиотика заранее ведет бой с любой означающей цикличностью. Сегментарность — это закон родословных. Так что своей степенью относительной детерриторизации знак обязан не вечной отсылке к другим знакам, а конфронтации между территориальностями и сравниваемыми сегментами, из коих извлекается каждый знак (лагерь, джунгли, смена лагеря). Поливокальность высказываемых не только сохраняется; мы даже можем покончить с высказываемым — использованное имя отбрасывается, что крайне отличается от перевода в резерв или от означающего трансформирова-

⁶ Ср.: Greimas, *Pratiques et langages gestuels // Langages* n° 10, juin 1968. Греймас связывает эту семиотику с такими категориями, как «субъект высказываемого» и «субъект высказывания», которые, как нам кажется, принадлежат другим режимам знаков.

ния. Когда режим является до-означающим, людоедство имеет именно такой смысл — сожрать имя, вот семиография, всецело являющаяся частью семиотики, несмотря на ее связь (но выразительную) с содержанием.⁷ Не следует думать, будто семиотика такого типа функционирует именно благодаря игнорированию, подавлению или лишению прав означающего. Напротив, она оживает благодаря тяжкому предчувствию того, что должно прийти; чтобы бороться с ней, ее не нужно понимать; она целиком предопределяется своей сегментарностью и даже поливокальностью, дабы воспрепятствовать тому, что уже угрожает — воспрепятствовать универсализирующей абстракции, эрекции означающего, унификации формального и субстанциального в высказывании, циркуляции высказываемых и их коррелятов, воспрепятствовать появлению аппаратов Государства, размещению деспота, жреческой касте, козлу отпущения и т.д. Каждый раз, когда мы пожираем умершего, мы можем сказать — еще одного мертвеца Государство не получит.

Есть к тому же и другая семиотика, которую мы будем называть *контр-означающей* (а именно — режим грозных, воинственных, разводящих скот кочевников, отличающихся от кочевников-охотников, составляющих часть предыдущей семиотики). На этот раз такая семиотика продолжается не столько посредством сегментарности, сколько благодаря арифметике и нумерации. Конечно же, число уже крайне значимо в делении и объединении сегментарных родословных; оно также обладает решающей функцией в означивающей имперской бюрократии. Но именно число представляло или означивало, число «провоцируемое, производимое, причинно вызываемое чем-то иным, нежели оно само». Напротив, числовой знак, не производимый ничем внешним относительно той маркировки, каковая

⁷ О людоедстве как способе предотвращать действие душ или имен умерших и о его семиотической функции как «календаря» см.: Pierre Clastres, *Chronique des Indiens Guayaki*, Pion, pp. 332–340.

его устанавливает, помечая подвижное и множественное распределение, сам задавая функции и отношения, осуществляя скорее упорядочивание, чем целостности, скорее распределения, чем коллекции, действуя скорее посредством купюр, переходов, миграций и аккумуляций, чем благодаря комбинированию единиц, — такой знак, похоже, принадлежит семиотике номадической машины войны, направленной, в свою очередь, против аппаратов Государства. Исчисляющее число.⁸ Числовая организация из 10, 50, 100, 1000... и т.д. и ассоциированная с ней пространственная организация явно будут возобновлены государственными армиями, но прежде всего они свидетельствуют о военизированной системе, присущей великим номадам степей — от гиксосов до монголов, — и налагаются на принцип родства. Тайна, шпионаж — вот важные элементы семиотики Чисел в машине войны. Роль Чисел в Библии вовсе не независима от кочевников, ибо Моисей получает идею числа от своего тестя Иофора Кенейнина — он делает из нее организационный принцип для исхода и миграции и сам применяет ее в военной области. В такой контр-означающей семиотике имперская деспотическая линия ускользания замещается линией отмены, которая оборачивается против великих империй, рассекает и разрушает их — или, по крайней мере, захватывает их и интегрируется с ними, формируя смешанную семиотику.

Нам хотелось бы особо поговорить еще и о четвертом, *пост-означающем* режиме, который противится означиванию с помощью новых характеристик и определяется оригинальной процедурой, «субъективацией». — Следовательно, существует много режимов знаков. Сам наш список ограничен произвольно. Нет никакого резона отождествлять режим, или семиотику, с каким-либо народом или моментом истории. В одно и то же время или в одном

⁸ Предыдущие выражения, касающиеся числа, заимствованы у Юлии Кристевой, хотя она использует их для анализа литературных текстов, основываясь на гипотезе «означающего»: *Semiotikè*, Ed. du Seuil, pp. 294 sq, 317.

и том же народе существует такая смесь, что мы можем лишь сказать, что данный народ, язык или период обеспечивают относительное господство определенного режима. Возможно, все семиотики смешаны, они не только комбинируются с разнообразными формами содержания, но также комбинируют разные режимы знаков. До-означающие элементы всегда активны в означающем режиме, контр-означающие элементы всегда присутствуют и работают в нем, пост-означающие элементы уже здесь. И к тому же это маркирует слишком много темпоральности. Семиотики и их смеси могут проявляться в истории, когда народы сталкиваются и перемешиваются, а также в языках, где конкурируют несколько функций, или в психиатрической больнице, где формы бреда сосуществуют и даже воссоединяются в одном и том же [клиническом] случае, они могут проявляться в обычной беседе, когда люди, говорящие на одном и том же языке, не говорят на одном и том же языке (внезапно появляется фрагмент неожиданной семиотики). Мы не создаем ни эволюционизма, ни даже истории. Семиотика зависит от сборок, являющихся причиной того, что данный народ или язык, даже данный стиль, мода, патология или ограниченное ситуацией мелкое событие могут гарантировать господство той или иной семиотики. Мы пытаемся составить карты режимов знаков: мы можем переворачивать их, удерживать те или иные их измерения, и — в зависимости от случая — мы будем иметь дело с общественной формой, патологическим бредом, историческим событием и т.д. Мы увидим такое еще и в других обстоятельствах: порой мы имеем дело с датированной социальной системой — «куртуазная любовь», а порой — с частным предприятием, именуемым «мазохизмом». Также мы можем комбинировать эти карты или разделять их. Чтобы провести различие между двумя типами семиотик — например, между пост-означающим режимом и означающим режимом, — мы должны рассматривать, одновременно, крайне разные области.

В начале XX века психиатрия — на вершине своего клинического искусства — оказалась перед проблемой негаллюцинаторного бреда с сохранением ментальной целостности и без «снижения интеллектуальных способностей». Существовала первая крупная группа — паранойяльный или интерпретативный бред, — уже включающая различные аспекты. Но вопрос касался возможной независимости другой группы, эскизно намеченной в мономании Эскироля, в постоянном недовольстве Крепелина, и позже определенной Серьё и Капгра как бред притязания, а Клерамбо — как бред страсти («недовольство или притязания, ревность, эротомания»). Следуя замечательным исследованиям Серьё и Капгра, с одной стороны, и Клерамбо, с другой (причем последний продвинулся куда дальше на пути различия), мы противопоставим паранойяльно-интерпретативный идеальный режим означивания и чувственный пост-означающий субъективный режим. Первый режим определяется коварным началом и скрытым центром, свидетельствующим об эндогенных силах, организованных вокруг идеи; затем он определяется развитием сети в аморфном континууме, в скользящей атмосфере, где может быть схвачен наимельчайший инцидент; он определяется организацией, излучающейся кругами, расширением благодаря циклическому излучению во всех направлениях, где индивид перескакивает от одной точки к другой, от одного круга к другому, приближается к центру или удаляется от него, действует прогностически и ретроспективно; он определяется трансформацией атмосферы, следуя переменным чертам или вторичным центрам, которые перегруппировываются вокруг основного ядра. Второй режим, напротив, определяется решающим внешним обстоятельством, отношением с внешним, которое выражается скорее как эмоция, нежели как идея, скорее как усилие или действие, нежели как страсть («бред действий, а не идей»); он определяется ограниченным созвездием, действующим в одном-единственном секторе; он определяется «постулатом» или «лаконичной формулировкой», являющейся точ-

кой отсчета для линейной серии, для некоего процесса, — вплоть до его истощения, помечающего начало нового процесса; короче, он определяется *линейной и темпоральной последовательностью конечных процессов, а не одновременностью кругов в неограниченном расширении*.⁹

Такая история двух видов бреда без снижения интеллектуальных способностей крайне важна. Ибо она не угрожает уже существующей психиатрии; она — в сердцевине конституции психиатрии XIX века и объясняет, что психиатр с самого начала рождается таким, каким не перестанет быть: он рождается загнанным в угол, зажатым между юридическими, полицейскими, гуманитарными и т.п. требованиями, обвиненным в том, что не является подлинным врачом, подозреваемым в том, что принимает за сумасшедших тех, кто таковым не является, и не видит тех, кто безумен, а также в том, что он сам жертва драм сознания, сам — последнее гегельянское прекраснотушье. Если мы действительно рассматриваем два типа безупречных безумцев, то об одних можем сказать, что они выглядят совсем безумными, но не являются таковыми — Президент Шребер во всех направлениях распространял свою лучистую паранойю и свои отношения с Богом, но не был сумасшедшим, оставаясь способным разумно управлять собственной судьбой, проводить различия между ее кругами. На другом полюсе — те, кто вообще не кажутся безумными, но таковыми являются, как о том свидетельствуют их внезапные вспышки насилия, скандалы, поджоги, убийства (четыре великие мономании Эскироля — эротическая, резонерствующая, поджога и убийства). Короче,

⁹ Cp.: Sérieux et Capgras, *Les folies raisonnantes*, Alcan 1909; Clérambault, *Œuvre psychiatrique*, rééd. P. U. F. Капгра главным образом верит в смешанную или полиморфную семиотику, тогда как Клерамбо абстрактно высвобождает две чистых семиотики, хотя и признает их фактическую смешанность. — О происхождении такого различия между двумя группами бреда см. важные тексты: Esquirol, *Des maladies mentales*, 1838 (в какой мере «мономания» отделима от мании?); Kraepelin, *Lehrbuch der Psychiatrie* (в какой мере «постоянное недовольство» отделимо от паранойи?). Вопрос второй группы бреда, или бреда страсти, был поднят и исторически проанализирован в Lacan, *De la psychose paranoïaque*, Ed. du Seuil, et Lagache, *La jalousie amoureuse*, P. U. F.

психиатрия конституировалась вовсе не в связи с понятием безумия, ни даже в связи с его переработкой, а скорее *благодаря ее распаду на данные два противоположных направления*. И не сталкиваемся ли мы здесь с собственным двойным образом, открываемым психиатрией так, что порой тот, кто кажется безумным, не является им, а порой тот, кто является безумным, таковым не кажется? (Такой двойной протокол будет к тому же исходным пунктом для психоанализа, его способом соединиться с психиатрией — мы кажемся безумными, но не являемся ими, мы смотрим сон; мы безумны, но не кажемся таковыми, мы видим повседневную жизнь.) Следовательно, психиатры были вынуждены то отстаивать терпимость и понимание, подчеркивать бесполезность изоляции, ратовать за приюты с *open-door**; то, напротив, приводить доводы в пользу интенсивного лечения, в пользу специализированных лечебниц с повышенной безопасностью, в пользу более строгих мер, ибо безумный таковым не кажется.¹⁰ Лишь по чистой случайности различие между двумя главными видами бреда — бредом идеи и бредом действия — по многим пунктам совпадает с различием между классами (параноиков не обязательно изолировать, потому как они прежде всего — буржуа, тогда как те, кто одержим мономанией, обуян притязаниями, — чаще всего из класса рабочих и крестьян, либо же это маргинальные случаи политических убийц).¹¹ Класс с сияющими, лучистыми идеями (с неизбежностью) противостоит классу, сведенному к локальным, частичным, спорадическим, линейным действиям... Ни один параноик —

* *Открытые двери* (англ.). — Прим. пер.

¹⁰ Ср.: Sérieux et Capgras, pp. 340 sq. Et Clérambault, pp. 369 sq.: страдающие бредом страсти не признаются в этом даже в приюте, ибо они спокойны и хитры, «страдавая достаточно ограниченной манией так, что сами знают, как мы судим о них»; а потому тем более необходимо держать их в заключении; «таких пациентов не стоит исследовать, их скорее нужно расшевелить, и единственный способ расшевелить их — это разволновать».

¹¹ Эскироль уверяет, что мономания — это «болезнь цивилизации», и она социально эволюционирует: она начинается как религиозная, но все более стремится стать политической, преследуемой полицией (*Des maladies mentales*, t. I, p. 400). См. также замечания Emmanuel Régis, *Les régicides dans l'histoire et dans le présent*, 1890.

не буржуа, а каждый одержимый бредом страсти или мономаниями — не пролетарий. Но Бог и его психиатры ответственны за то, что в этих фактических смесях распознают тех, кто сохраняет, пусть маниакально, классовый социальный порядок, и тех, кто сеет беспорядок, пусть даже узко локализованный, поджигает стога сена, убивает родителей, предается низшим видам любви и агрессии.

Таким образом, мы пытаемся отличить деспотический, означающий и паранойяльный режим знаков от авторитарного, пост-означающего, субъективного или страстного режима. Разумеется, авторитарное — не то же самое, что деспотическое, страстное — не то же самое, что паранойяльное, а субъективное — не то же, что означающее. Что же происходит во втором режиме в противоположность означающему режиму, определенному ранее? Во-первых, *знак, или пакет знаков, отделяется от излучающей циклической сети*, берется за работу на свой страх и риск, удирает по прямой линии, будто загнан в узкий, открытый проход. Означающая система уже чертит линию ускользания или детерриторизации, превосходящую индекс, присущий ее детерриторизованным знакам; но именно она наделила такую линию негативной ценностью, заставляя ускользать по ней своего эмиссара. Теперь мы сказали бы, что такая линия получает позитивный знак, что она действительно занята и по ней следует целый народ, который находит здесь свое право на существование или на собственную судьбу. Конечно же, мы тут еще не делаем историю — мы говорим не о том, что народ изобретает этот режим знаков, а лишь о том, что в данный момент он осуществляет сборку, которая обеспечивает относительное господство такого режима в исторических условиях (и такой режим, такое господство, такая сборка могут обеспечиваться и при других условиях, например патологических, литературных, любовных или абсолютно каждодневных). Мы говорим не о том, что народ одержим данным типом бреда, но что карта бреда, принимая во внимание ее координаты, может совпадать с картой народа, принимать во внимание его

координаты. Итак, паранойяльный Фараон и страстный Еврей? В случае с еврейским народом группа знаков отделяется от египетской имперской сети, частью которой она была, и начинает следовать по линии ускользания в пустыне, противопоставляя самую авторитарную субъективность — деспотическому означиванию, наименее интерпретативный и наиболее страстный бред — интерпретативному паранойяльному бреду, короче, линейный «процесс и недовольство» — излучающей циклической сети. *Ваше притязание, ваш процесс-исход* — таково будет слово Моисея его народу, и процессы следуют один за другим по линии Страсти.¹² Отсюда Кафка выведет собственную концепцию недовольства, или процесса, и последовательности линейных сегментов: процесс-отец, процесс-гостиница, процесс-судно, процесс-суд...

Мы не можем пренебречь здесь самым фундаментальным или самым продолжительным событием в истории Еврейского народа — разрушением Храма, произошедшим в два этапа (в 587 г. до н.э. и в 70 г. н.э.). Вся история Храма — прежде всего мобильность и хрупкость ковчега, затем строительство Дома Соломоном, его реконструкция при Дарии и т.д. — обретает смысл только в отношении возобновляемого процесса разрушения, два ключевых момента которого связаны с Навуходоносором и Титом. Подвижный, непрочный или разрушенный храм: ковчег — не более, чем небольшой пакет знаков, какие мы носим с собой. Что стало невозможным, так это линия ускользания — только лишь негативная, занятая животным или козлом отпущения, нагруженная всеми опасностями, угрожающими означивающему. Пусть на нас валятся несчастья — вот формула, постоянно сопровождающая еврейскую историю: именно мы должны последовать за самой детерриторизованной линией, линией козла отпущения, но меняя ее знак, превращая ее в положительную линию

¹² Исход I, 2. В издании «Pleiade» редактор Дорм [Dhorme] уточняет: «Тяготы ваши, буквально ваш переход».

нашей субъективности, нашей Страсти, нашего перехода или притязания. Мы будем своим собственным козлом отпущения. Мы будем агнцем: «Бога, которому, подобно льву, принесена кровавая жертва, нужно теперь убрать на задний план, дабы бог, принесенный в жертву, занял передний край сцены. ...Бог стал животным, коим жертвуют, а не животным, которому приносят жертву».¹³ Мы пойдем, мы соединимся в браке с касательной, отделяющий землю от вод, мы отделим циклическую сеть от скользящего континуума, мы создадим собственную линию разделения, дабы прочертить свою тропу и разъединить элементы означающего (голубь ковчега). Узкое ущелье, промежуток, являющийся не чем-то срединным, а длинной и тонкой линией. У евреев есть особенность, уже утверждаемая в семиотике. Такая семиотика, однако, не менее смешана, чем любая другая. С одной стороны, она ближайшим образом связана с контр-означающим режимом номадов (у евреев есть кочевое прошлое, актуальные отношения с номадической числовой организацией, коей они вдохновляются, и их особое становление-кочевником; их линия детерриторизации многое заимствовала у военной линии номадического разрушения).¹⁴ С другой стороны, она пребывает в сущностном отношении с самой означающей семиотикой, по которой и евреи, и их Бог всегда испытывали ностальгию — воспроизвести имперское общество и интегрироваться с ним, обзавестись царем, подобным любому другому (Самуил), восстановить, наконец-то, прочный храм (Давид и Соломон, Захария), создать спираль Вавилонской Башни и снова найти лик Бога; не только остановить скитания, но

¹³ D. H. Lawrence, *L'Apocalypse*, Balland, ch. x.

¹⁴ Ср.: Dhorme, *La religion des Hébreux nomades*, Bruxelles; Mayani, *Les Hyksos et le monde de la Bible*, Payot. Автор настаивает на связи евреев с хабиру, номадическими воинами, и с кенеянами, кочевниками-кузнецами; что присуще Моисею, ибо это вовсе не принцип числовой организации, заимствованный у кочевников, а идея соглашения-процесса, контракта-процесса, всегда допускающего отмену. Такая идея, согласно Майяни [Mayani], не исходит ни от укорененных земледельцев, ни от номадических воинов, ни даже от мигрантов, она исходит от племени в пути, которое мыслит себя в терминах субъективной судьбы.

и преодолеть диаспору, которая сама существует только благодаря идеалу великого объединения. Мы можем отметить лишь то, что — в этой смешанной семиотике — свидетельствует о новом страстном или субъективном режиме, о пост-означающем режиме.

Лицевость подвергается глубокой трансформации. Бог отворачивает свое лицо, которое никто не должен видеть; и наоборот, субъект, охваченный настоящим страхом Божьим, отворачивает свое. Отворачивающиеся, располагаемые в профиль лица замещают сияющий лик, видимый анфас. Именно в таком двойном отворачивании прочерчивается позитивная линия ускользания. Пророк — персонаж этой сборки; он нуждается в знаке, гарантирующем ему слово Божье, он сам поражен знаком, помечающим особый режим, к которому он принадлежит. Именно Спиноза предложил самую глубокую теорию профетизма, принимая во внимание присущую последнему семиотику. Каин — отворачивающийся от Бога, который отворачивается от него, — уже следует линии детерриторизации, защищенный знаком, позволяющим ему избежать смерти. Печать Каина. Наказание худшее, чем имперская смерть? Еврейский Бог изобрел отсрочку, существование в отсрочке, *неограниченную проволочку*.¹⁵ Но также Он изобрел и позитивность альянса, как новое отношение с Богом, ибо субъект всегда остается жив. Авель — ничто, имя которому тщеславие, но Каин — вот подлинный человек. Это уже вовсе не система обмана или плутовства, оживляющая лицо означающего, интерпретацию прорицателя и перемещение субъекта. Это тот режим предательства, универсального предательства, где подлинный человек не престаёт предавать Бога, так же как Бог предаёт человека — в гневе Божьем, определяющем новую позитивность. Перед смертью Моисей получает

¹⁵ См. Кафка, *Процесс* (М.: Политиздат, 1991, с. 364–372). Именно художник Титорелли создает теорию неограниченной проволочки. Помимо полного оправдания, какового не бывает, Титорелли различает «мнимое оправдание» и «волоки-ту» как два юридических режима; первый цикличен и отсылает к семиотике означающего, тогда как второй линейен, сегментарен и отсылает к страстной семиотике.

слова великой песни предательства. Даже пророк, в противоположность священнику-прорицателю, фундаментальным образом является предателем и именно так реализует порядок Бога лучше, чем это сделал бы приверженец. Бог призывает Иону идти в Ниневию увещевать жителей стать лучше — тех, кто неоднократно предавал Бога. Но первое, что сделал Иона, — отправился в противоположном направлении; он, в свою очередь, предает Бога, ускользая «прочь от лица Господня». Он садится на судно, идущее в Фарсис, и засыпает как праведник. Буря, вызванная Богом, приводит к тому, что корабельщики выбрасывают Иону в море, где его проглатывает большой кит и выплевывает на границе между землей и водой, на пределе раздела или на линии ускользания, которая уже была линией голубя Ковчега (Иона — это именно имя голубя). Но Иона, в своем ускользании от лица Бога, делал как раз то, чего хотел Бог, взял грех Ниневии на себя; и сделал это даже лучше, чем того хотел Бог, он предвосхитил Бога. Вот почему он уснул подобно праведнику. Бог поддерживает его при жизни, предварительно защитив древом Каина, но затем создал древо смерти, ибо Иона возобновил альянс, оккупируя линию ускользания.¹⁶ Именно Иисус выдвигает универсальную систему предательства — он предает еврейского Бога, он предает евреев, он сам предан Богом (Для чего Ты Меня оставил?*), он предан Иудой, настоящим человеком. Он взял грех на себя, но убивающие его евреи также берут на себя грех. Иисуса спрашивают о знаке его божественного происхождения — он взывает к знаку Ионы.** Каин, Иона и Иисус формируют три великих линейных процесса, куда врываются знаки и где они сменяют друг друга. Есть и многие другие. Везде двойное отворачивание на линии ускользания.

¹⁶ Жером Линдон [Jérôme Lindon] первым проанализировал такое отношение между еврейским профетизмом и предательством на образцовом примере Иоанна. *Jonas*, Ed. de Minuit.

* Матфей 27:46; Марк 15:34. — *Прим. пер.*

** Лука 11:29. — *Прим. пер.*

Когда пророк отклоняет бремя, налагаемое на него Богом (Моисей, Иеремия, Исайя и т.д.), то не из тех соображений, что бремя было бы слишком тяжким для него, как у имперского оракула или прорицателя, отказавшихся от опасной миссии, — скорее, тут случай Ионы, который, скрываясь, ускользая и предавая, предвосхищает волю Божью лучше, чем если бы повиновался. Пророк непрерывно принуждаем Богом, буквально насилуем им, куда более, чем вдохновляем. Пророк — не священник. Пророк не умеет говорить, в его уста слова вкладывает Бог: пожирание слов, семиофагия новой формы. В противоположность прорицателю, пророк ничего не интерпретирует — у него, скорее, *бред действия, чем бред идеи или воображения*, его отношение к Богу скорее страстное и авторитарное, чем деспотичное и означающее; он скорее предвосхищает и выявляет мощь будущего, чем применяет власть прошлого и настоящего. У черт лицевости более нет функции предотвращать образование линии ускользания или формировать тело означивания, контролирующее такую линию и посылающего на нее лишь безликого козла. Напротив, именно лицевость организует линию ускользания в столкновении между двумя лицами, которые измождены, отвернулись, встали в профиль. Предательство стало идеей фикс, главной одержимостью, замещающей обман параноика и истерика. Отношение «преследователь—преследуемый» совсем не существенно: оно полностью меняет смысл, следуя паранойяльному деспотическому режиму и следуя страстному авторитарному режиму.

Что нас все еще беспокоит, так это история Эдипа. Эдип почти уникален в греческом мире. Вся первая часть в целом является имперской, деспотичной, паранойяльной, интерпретативной, прорицательной. Но вся вторая часть — это скитание Эдипа, его линия ускользания, двойное отворачивание от собственного лица и лика Бога. Вместо самых точных пределов, кои мы пересекаем по порядку или, напротив, коих мы не имеем права пересе-

кать (*hybris**), существует некий исчезающий предел, куда прорывается Эдип. Вместо интерпретативного означающего излучения есть некий субъективный линейный процесс, позволяющий именно Эдипу хранить тайну, но лишь как остаток, способный опять запустить новый линейный процесс. Эдип, именуемый *atheos*** — он изобретает нечто худшее, чем смерть или изгнание, он скитается и выживает на странно позитивной линии разделения или детерриторизации. Гельдерлин и Хайдеггер видят в этом как рождение *двойного отворачивания*, смену лица, так и рождение современной трагедии, которое они неожиданно отдают на откуп грекам — все заканчивается уже не убийством или внезапной смертью, а обреченностью на выживание, на неограниченную проволочку.¹⁷ Ницше уверяет, будто Эдип, в противоположность Прометею, был семитским мифом греков, прославлением Страдания или пассивности.¹⁸ Эдип — это греческий Каин. Давайте вернемся еще раз к психоанализу. Фрейд неслучайно обрушивался на Эдипа. Это действительно случай смешанной семиотики — деспотичный режим означивания и интерпретации с излучением лица, а также авторитарный режим субъективации и профетизма с отворачиванием лица (внезапно психоаналитик, располагаясь за спиной пациента, обретает свой полный смысл). Недавние усилия, направленные на объяснение того, что «означающее репрезентирует субъекта для другого означающего», являются типично синкретическими — линейный процесс субъективности наряду с циклическим развитием означающего и интерпретации. Два абсолютно разных режима знаков для некой смеси. Но на ней основываются наихудшие, самые скрытые силы [*pouvoirs*].

* Гордыня (греч.) — *Прим. пер.*

** Безбожный. — *Прим. пер.*

17 Hölderlin, *Remarques sur Œdipe*, 10–18 (но Гельдерлин уже ограничивает греческий характер этой «медленной и трудной» смерти; см. прекрасный комментарий Жана Бофре о природе такой смерти и ее отношении к предательству: «Категорическому отворачиванию Бога, который теперь не более, чем Время, должен соответствовать человек, сам отворачиваясь как предатель»).

18 Ницше, *Рождение трагедии* (М.: Мысль, 1990), § 9.

И еще одно слово об истории авторитарного страстного предательства как противоположности деспотическому паранойяльному обману. Все — бесчестие, но Борхес прозевал свою всеобщую историю бесчестия. Ему следовало бы различать между великой областью обманов и великой областью предательств. А также между различными фигурами предательства. На самом деле есть и вторая фигура предательства, возникающая в определенных местах в определенное время, но всегда на основании сборки, которая варьируется согласно новым компонентам. Христианство — особо важный случай смешанной семиотики с его означающей имперской комбинацией, а также с его пост-означающей еврейской субъективностью. Оно трансформирует идеальную означающую систему не меньше, чем пост-означающую страстную систему. Оно изобретает новую сборку. Ересь — все еще часть обмана, так же как ортодоксия — часть означивания. Но существуют ереси, которые больше, чем ереси, и отсылают к чистому предательству: Негодяи [Bougres]; не случайно болгары занимали особое место.* Остерегайтесь болгар, как говорил мONSENЬОР ПЛЮМ. Проблема территориальностей по отношению к глубинным движениям детерриторизации. А затем иная территориальность или иная детерриторизация, Англия — Кромвель, повсюду предатель, прямая линия страстной субъективации, противостоящая королевскому центру означивания и опосредующим кругам: диктатор против деспота. Ричард III, злобный, скрюченный, чей идеал — предать все: он сталкивается лицом к лицу с леди Анной, где оба лица отворачиваются, но где каждый знает, что он существует ради другого, предназначен другому. Это отличается от других исторических драм Шекспира — короли, которые обманывают, дабы завладеть властью, убивают, чтобы затем стать хорошими королями. Это госу-

* Слово «Bougres [негодяи]» происходит от средневекового французского «Bulgarians [Болгары]», которое изначально отсылало к сектам еретиков в Болгарии, подозреваемым в «неестественных» практиках, а позже было общим обозначением еретиков. — *Прим. пер.*

дарственные люди. Ричард III приходит из другого места — его аферы, включая аферы с женщинами, исходят скорее из машины войны, чем из аппарата Государства. Он — предатель, ведущий происхождение от великих номадов и их тайны. Он говорит так с самого начала, когда упоминает о тайном проекте, бесконечно превосходящем захват власти. Он хочет вернуть машину войны — как хилому Государству, так и мирным супружеским парам. Догадывается обо всем только леди Анна, очарованная, испуганная, соглашающаяся. Елизаветинский театр полон такими персонажами изменников, желающих абсолютного предательства, противоположного обманам судей или даже Государства. — Сколько предательств сопровождало великие открытия христианства, открытия новых земель и континентов: линии детерриторизации, где небольшие группы предают все, своих компаньонов, короля, туземцев, соседа-добытчика, в безумной надежде основать с женщиной, взятой из своей семьи, наконец-то чистую расу, которая заставит все возобновиться. Фильм Вернера Херцога «Агирре, гнев Божий» весьма шекспировского типа. Агирре спрашивает: Как быть предателем всего и вся? Это я — единственный здесь предатель. Конец обману, настал момент предательства. Какая великая мечта! Я буду последним предателем, тотальным предателем, а значит, последним человеком. — Потом Реформация: необычная фигура Лютера как предателя всего и всех; его личное общение с Дьяволом, из коего вытекает универсальное предательство, как в хороших, так и в плохих делах. — В таких новых фигурах предательства всегда присутствует возврат к Ветхому Завету: я — гнев Божий. Но предательство стало гуманистическим, оно не проходит больше между Богом и его собственным народом; оно опирается на Бога, дабы проходить между его народом и другими народами, осужденными как обманщики. В конце остается только один Божий человек или человек Божьего гнева, единственный предатель против всех обманщиков. Но всегда есть смесь, и какой обманщик не возьмется сам быть таким человеком? И какой предатель

не скажет себе как-нибудь, что он, в конце концов, всего лишь обманщик? (См. странный случай Мориса Саша.)

Ясно, что книга, или то, что ее заменяет, меняет смысл в означающем паранойяльном режиме и в пост-означающем страстном режиме. В первом случае существует прежде всего эмиссия деспотического означающего и его интерпретация книжниками или священниками, фиксирующими означаемое и заново создающими означающее; но также существует — от знака к знаку — движение, которое идет от одной территории до другой и, циркулируя, обеспечивает определенную скорость детерриторизации (например, циркуляция эпоса, соперничество между несколькими городами за рождение героя или, опять же, роль священников-книжников в обменах территориальностями и генеалогиями)¹⁹. Но у того, что заменяет книгу, здесь всегда есть внешняя модель, референт, лицо, семья или территория, хранящая в книге устный характер. Напротив, в страстном режиме книга, по-видимому, интериоризируется и интериоризирует все — она становится священной письменной Книгой. Именно она занимает место лица и Бога, который скрывает свое лицо и отдает Моисею исписанные каменные доски. Бог проявляется через трубы и Голос, но в этом звуке мы слышим не-лицо, как и в книге мы видим речи. *Книга стала телом страсти*, так же как лицо было телом означающего. Теперь именно книга — самое детерриторизованное — фиксирует территории и генеалогии. Последние — это то, что книга говорит, а первые — место, где книга проговаривается. Так что функция интерпретации абсолютно изменилась. Либо она полностью исчезает в пользу чистого и буквального пересказа наизусть, запрещающего малейшее изменение, дополнение или комментарий (знаменитое христианское «поглотите» составляет часть такой страстной линии; дальше

¹⁹ О природе эпической «библиотеки» (имперского характера, роли священников, движении между святилищами и городами) см.: Charles Autran, *Homère et les origines sacerdotales de l'épopée grecque*, Denoël.

всего в этом направлении идет Коран). Либо же интерпретация выживает, но становится внутренней для самой книги, которая утрачивает свою функцию, относящуюся к циркуляции между внешними элементами: например, разные типы кодированной интерпретации фиксируются как раз согласно осям, внутренним для книги; интерпретация организуется как раз согласно соответствиям между двумя книгами — типа Старого и Нового Заветов, — рискуя стимулировать появление третьей книги, погруженной в ту же самую стихию внутреннего.²⁰ Либо, наконец, интерпретация отвергает любого посредника как какого-то знатока, она становится непосредственной, ибо книга одновременно написана и в самой себе, и в сердце, один раз как точка субъективации и другой раз в субъекте (реформистская концепция книги). В любом случае, бредовая страсть книги — как истока и цели мира — обнаруживает здесь свою точку отсчета. Уникальная книга, тотальное произведение, всевозможные комбинации *внутри* книги, книга-дерево, книга-космос, любые пресыщенности, столь дорогие для авангарда и отделяющие книгу от ее отношений с внешним, — все это даже хуже, чем песнь означающего. Конечно же, они тесным образом участвуют в смешанной семиотике. Но у них на самом деле чрезвычайно благочестивое происхождение. Вагнер, Малларме, Джойс, Маркс и Фрейд — это все еще Библии. Если бред страсти глубоко связан с мономанией, то мономания, со своей стороны, нашла фундаментальную стихию собственной сборки в монотеизме и в Книге. Самый странный культ.

Вот что происходит в страстном режиме, или в режиме субъективации. Больше нет центра означивания, связанного с расширяющимися кругами или спиралью, а есть точка субъективации, придающая линии исходный пункт. Больше нет отношения означающее—означаемое, а есть

²⁰ См. методы интерпретации книг в Средневековье; и крайнюю попытку Иоанна Флорского, который на основе согласования двух Заветов изнутри выводит третье состояние или процесс (*L'Evangile éternel*, Rieder).

субъект высказывания, вытекающий из точки субъективации, и субъект высказываемого в определенном, в свою очередь, отношении к первому субъекту. Больше нет циркуляции от знака к знаку, а есть линейный процесс, куда знак прорывается через субъекта. Рассмотрим три разных области:

1. *Евреи как противоположность империям.* Бог забирает свое лицо, становясь точкой субъективации, дабы чертить линию ускользания или детерриторизации; Моисей — как субъект высказывания, который конституируется начиная со скрижалей Бога, замещающих лицо; еврейский народ конституирует субъекта высказываемого — как ради предательства, так и ради новой земли — и формирует альянс или линейный «процесс», всегда возобновляемый, а не циклически расширяющийся.

2. *Так называемая современная, или христианская, философия.* Декарт как противоположность античной философии: идея бесконечности как первичная идея, как абсолютно необходимая точка субъективации; Cogito, сознание, «Я мыслю» — как субъект высказывания, рефлектирующий собственное применение и постигающий себя, лишь следуя линии детерриторизации, представленной методическим сомнением; субъект высказываемого — союз души и тела, или чувства, сложным образом обеспечиваемый со стороны cogito и создающий необходимую ретерриторизацию. Cogito — то, что всегда возобновляется как некий процесс, сопровождаемый навязчивой возможностью предательства, лживым Богом и злым Гением. И когда Декарт говорит: я могу заключить «я мыслю, следовательно существую», но не «я гуляю, следовательно существую», то он запускает различие между двумя субъектами (то, что современные лингвисты, всегда остающиеся картезианцами, называют шифтером, даже если во втором субъекте обнаруживают след первого).

3. *Психиатрия XIX века.* Мономания, отделенная от мании; субъективный бред, изолированный от бреда идей; «одержимость», заменяющая колдовство; медленное

высвобождение бреда страсти, который отличается от паранойи... По Клерамбо, схема бреда страсти такова: Постулат как точка субъективации (*Он меня любит*); гордыня как тональность субъекта высказывания (бредовое преследование любимого существа); Досада, Злопамятность (как эффект рецидива субъекта высказываемого). Бред страсти — вот подлинное *cogito*. На примере эротомании, как и относительно ревности и недовольства, Клерамбо настаивает на том, что в них знак должен проследовать до самого завершения сегмента или линейного процесса прежде, чем заново начать другой процесс, тогда как в паранойальном бреде знаки не перестают формировать сеть, развивающуюся во всех смыслах-направлениях и перестраивающуюся. *Cogito* также следует линейному темпоральному процессу, который должен возобновляться. История евреев скандирована катастрофами, после каждой из которых оставалось достаточно выживших, чтобы начать новый процесс. Весь процесс в целом часто отмечен этим — пока есть линейное движение, часто используется множественное, но как только покой или остановка фиксируют конец движения, прежде чем возобновится другое движение, возникает молитвенная отрешенность в Сингулярном.²¹ Фундаментальная сегментарность — нужно, чтобы процесс закончился (и его завершение должно быть отмечено) до того, как начнется другой, дабы другой процесс смог начаться.

Страстная линия пост-означающего режима обнаруживает свой исток в точке субъективации. Последняя может быть чем угодно. Достаточно того, что, начиная с этой точки, мы можем вновь обнаружить характерные черты субъективной семиотики — двойное изменение направления, предательство и существование в отсрочке. Для анорексии такую роль играет пища (анорексик не сталкивает-

²¹ Например, Исход 19:2: «И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль станом против горы».

ся лицом к лицу со смертью, но спасается, предавая пищу, которая не в меньшей степени является предателем, ибо подозревается в том, что содержит личинки, червей и микробов). Платье, белье, обувь суть точки субъективации для фетишиста. Таковы и черты лицевости для влюбленного, но лицевость поменяла смысл; она перестает быть телом означающего, а становится исходной точкой для детерриторизации, которая вынуждает ускользать все остальное. Вещь, животное могут наделать дел. Во всем есть что-то от *cogito*. «Широко расставленные глаза, профиль, словно вырубленный из кварца, бедра, живущие, казалось, своей собственной жизнью... Какой бы неотразимой ни была женская красота, она поражает нас одной-единственной чертой» — точка субъективации в самом начале страстной линии.²² Более того, в данном индивидууме или группе сосуществует несколько точек, всегда вовлеченных в разные и не всегда совместимые линейные процессы. Разнообразные формы воспитания или «нормализации», налагаемые на индивидуума, состоят в том, чтобы заставлять его изменять точку субъективации на всегда более высокую, всегда более благородную, всегда более соответствующую предполагаемому идеалу. Затем из точки субъективации вытекает субъект высказывания в зависимости от ментальной реальности, задаваемой этой точкой. А из субъекта высказывания, в свою очередь, вытекает субъект высказываемого — то есть субъект, взятый в высказываемых, соответствующих доминирующей реальности (частью которой является только что упомянутая ментальная реальность, даже когда она, как кажется, противостоит доминирующей). Что является важным, что превращает пост-означающую страстную линию в линию субъективации, или подчинения, так это конституирование, дублирование двух субъектов и наложение одного на другого — субъекта высказывания на субъекта высказываемого (что признают и лингвисты, когда говорят об «отпе-

²² Генри Миллер, *Сексус*.

чатке процесса высказывания в высказываемом»). Означивание производит субстанциальную унификацию высказывания, но субъективность теперь производит индивидуализацию — коллективную или частную. Как говорится, субстанция стала субъектом. *Субъект высказывания накладывается на субъекта высказываемого, даже если тот, в свою очередь, снова отдает субъекта высказываемого другому процессу.* Субъект высказываемого стал «респондентом» субъекта высказывания в своего рода редуктивной эхологии, в дву-однозначном отношении. Такое отношение, такое наложение является также наложением ментальной реальности на господствующую реальность. Всегда есть какая-то апелляция к господствующей реальности, функционирующей изнутри (уже в Ветхом Завете или во время Реформации — благодаря торговле и капитализму). Больше нет нужды в трансцендентном центре власти; скорее есть нужда в имманентной власти, смешивающейся с «реальным» и действующей посредством нормализации. Тут есть странное изобретение — как если бы удвоенный субъект, в одной своей форме, был бы *причиной* высказывания, частью которого, в другой своей форме, он сам является. Именно парадокс законодателя-субъекта смещает означающего деспота — чем больше ты повинешься высказываемым господствующей реальности, тем больше ты командуешь как субъект высказывания в ментальной реальности, ибо, в конце концов, ты подчиняешься только самому себе, именно самому себе ты подчиняешься! Именно ты командуешь, в качестве разумного существа... Изобретена новая форма рабства: а именно, быть рабом самого себя, или чистого «разума», *Cogito*. Существует ли что-либо, более охваченное страстью, чем чистый разум? Существует ли более холодная, более экстремальная, более корыстная страсть, чем *Cogito*?

Альтюссер вывел на свет такую конституцию социальных индивидуальностей в субъектах — он называет это запросом («Эй, вы, там!») и называет точку субъективации абсолютным Субъектом, он анализирует «зеркальное

[*spéculaire*] удвоение» субъектов и в целях демонстрации использует пример Бога, Моисея и еврейского народа.²³ Лингвисты, вроде Бенвениста, создают любопытную лингвистическую персонологию, весьма близкую к *Cogito*: *Ты*, которое, несомненно, может обозначать человека, к которому мы адресуемся, но еще больше точку субъективации, начиная с которой каждый конституируется как субъект; *Я* как субъект высказывания, обозначающий ту личность, которая произносит и рефлектирует свое собственное использование в высказываемом («пустой нереференциальный знак»), то, как оно появляется в предложениях типа «я верю, я предполагаю, я думаю...»; наконец, *Я* как субъект высказываемого, указывающий на состояние, которое мы всегда могли бы заменить на *Он* («я страдаю, я гуляю, я дышу, я чувствую...»²⁴). Однако речь идет не о лингвистической операции, ибо субъект никогда не является ни условием языка, ни причиной высказываемого — нет никакого субъекта, есть лишь коллективная сборка высказывания, субъективация же просто является одной из таких сборок и обозначает формализацию выражения или режим знаков, а не внутреннее условие языка. Нет больше речи и о движении, кое, как говорит Альтюссер, характеризовало бы идеологию — субъективация, как режим знаков или форма выражения, отсылает к сборке, то есть к организации власти, уже полностью функционирующей в экономике, а не собирающейся налагаться на содержания или отношения между содержаниями, определяемые как реальное в последней инстанции. Капитал — это точка субъективации по преимуществу.

Психоаналитическое *cogito* — психоаналитик предстает как идеальная точка субъективации, которая собирается вынудить пациента оставить прежнюю, так называемую невротическую, точку. Пациент частично будет субъектом

²³ Althusser, *Idéologie et appareils idéologiques d'Etat // La Pensée*, juin 1970, pp. 29–35.

²⁴ Benveniste, *Problèmes de linguistique générale*, Gallimard, pp. 252 sq., Бенвенист говорит о некоем «процессе».

высказывания во всем, что он говорит психоаналитику, и в искусственных ментальных условиях сеанса — тогда пациент называется «анализируемым». Но во всем остальном, что пациент говорит или делает, он остается субъектом высказываемого, вечно психоанализируемым, движущимся от одного линейного процесса к другому, возможно даже меняя психоаналитика, все более и более подвергаясь нормализации со стороны доминирующей реальности. Именно в этом смысле психоанализ, с его смешанной семиотикой, всецело пребывает на линии субъективации. Психоаналитику даже не нужно более говорить, ибо анализируемый берет интерпретацию на себя; что касается анализируемого, то чем более сегментарно он размышляет о «своем» следующем, или предыдущем, сеансе, тем лучшим субъектом он является.

Как у паранойяльного режима было две оси — с одной стороны, знак, отсылающий к знаку (и означающий его), с другой стороны, означающее, отсылающее к означаемому, — так же и страстный режим, линия субъективации обладают двумя осями — синтагматической и парадигматической: только что мы увидели, что первая ось — это сознание. Сознание как страсть — это именно то, что раздваивает субъектов на субъекта высказывания и субъекта высказываемого и налагает одного на другого. Но вторая форма субъективации — это любовь как страсть, любовь-страсть, иной тип двойника, удваивания и взаимоналожения. И опять же, переменная точка субъективации служит тому, чтобы распределять двух субъектов, которые как скрывают свои лица, так и показывают их друг другу, а также сочетаются с линией ускользания, линией детерриторизации, всегда сближающей и разделяющей их. Но все меняется — есть безбрачная сторона сознания, которая удваивается, и есть страстная любовная пара, не нуждающаяся более ни в сознании, ни в разуме. Однако это один и тот же режим, даже в предательстве и даже если предательство совершено третьим лицом. Адам и Ева, жена Каина (о которой Библия должна была бы сказать побольше).

В конце у Ричарда III, предателя, в мечтах просыпается совесть, но приходит она благодаря странной встрече лицом к лицу с леди Анной, — два лица, скрывающие себя, зная, что сами пообещали друг другу, следуя вдоль одной и той же линии, которая, тем не менее, разлучит их. Самая верная и нежная, даже самая интенсивная любовь распределяет субъекта высказывания и субъекта высказываемого, которые не перестают меняться местами, в мягкости бытия самого по себе голое высказываемое во рту другого, ну а другой — голое высказывание в моем собственном рту. Но всегда есть едва теплящийся предатель. Какая любовь не будет предана? У какого *cogito* нет своего злого гения, предателя, от которого оно не может избавиться? «Тристан... Изольда... Изольда... Тристан...» — так крик двух субъектов поднимает весь масштаб интенсивностей, пока не достигнет вершины удушающего сознания, тогда как корабль следует линии вод, линии смерти и бессознательного, предательства, непрерывной линии мелодии. Страстная любовь — это *cogito* на двоих, также как *cogito* — это страсть для самого себя, совсем одинокого. В *cogito* присутствует потенциальная пара, так же как существует раздваивание уникального виртуального субъекта в любви-страсти. Клоссовски смог сотворить самые странные фигуры такой взаимодополнительности между сверхнапряженной мыслью и сверхвозбужденной парой. Значит, линия субъективации полностью занята Двойником, но у нее две фигуры, как и два вида двойников: синтагматическая фигура сознания, или сознательного двойника, касающаяся формы (Я = Я [Moi = Moi]); парадигматическая фигура пары, или страстного удвоения, касающаяся субстанции (Мужчина = Женщина, двойник, сразу же ставший различием полов).

Мы можем проследить за становлением таких двойников в смешанных семиотиках, которые образуют как смеси, так и деградации. С одной стороны, страстный влюбленный двойник, пара любви—страсти, попадает в супружеское отношение, или даже в «семейную склоку»: кто

является субъектом высказывания? кто является субъектом высказываемого? Битва полов: *Ты ворует у меня мысли*, семейная склока — это всегда cogito для двоих, cogito войны, Стриндберг довел такое падение любви—страсти до деспотичного супружества и паранойяльно-истеричной сцены («Она» говорит, что все нашла сама; фактически же, она всем обязана мне, эхо, кража мыслей, о Стриндберг!).²⁵ С другой стороны, обладающий сознанием двойник чистой мысли — пара законодатель—субъект — попадает в бюрократическое отношение и в новую форму преследования, где один принимает роль субъекта высказывания, тогда как другой сводится лишь к субъекту высказываемого: cogito само становится «скандалом в конторе», бюрократическим любовным бредом, новая форма бюрократии смещает прежнюю имперскую бюрократию или спаривается с ней, бюрократ говорит «Я мыслю» (именно Кафка дальше всего идет в этом направлении, как в примерах с Сортини и Сордини из «Замка» или с многочисленными субъективациями Кламма).²⁶ Супружество — это развитие пары, а бюрократия — развитие cogito: но одно существует в другом, любовная бюрократия и бюрократическая пара. О двойнике написано слишком много, причем небрежно, метафизически, ибо его находят всюду, в любом зеркале, не замечая того особого режима, каким он обладает — как в смешанной семиотике, где он вводит новые моменты, так и в чистой семиотике субъективации, где он вписывается в линию ускользания и навязывает весьма специфические фигуры. Еще раз: две фигуры мысль-сознание и любовь-страсть в пост-означающем режиме; два момента — бюрократического сознания и супружеского отношения — в смешанных падении или комбинации. Но даже в смеси

²⁵ Один из аспектов гения Стриндберга состоял в возвышении супружеской пары и семейной склоки до интенсивного семиотического уровня, а также в том, чтобы превратить такое возвышение в творческий фактор в режиме знаков. Это вовсе не случай Жуанду [Jouhandeau]. Клоссовски, с другой стороны, сумел избрести новые источники и конфликты страстного cogito для пары — с точки зрения общей теории знаков (*Les lois de l'hospitalité*, Gallimard).

²⁶ См. также «Двойник» Достоевского.

изначальная линия легко высвобождается в условиях семиотического анализа.

Есть избыток сознания и любви, который вовсе не то же, что означающий избыток другого режима. В означающем режиме избыток — это феномен объективной *частоты*, затрагивающий знаки или элементы знаков (фонемы, буквы, группы букв в языке): есть как максимальная частота означающего по отношению к каждому знаку, так и сравнительная частота одного знака по отношению к другому. В любом случае, можно было бы сказать, что этот режим развивает кое-что вроде «стены», на которой записываются знаки — в их отношении друг с другом и в их отношении к означающему. В пост-означающем режиме, напротив, избыток — это избыток *субъективного резонанса*, затрагивающий прежде всего связки, личные местоимения и имена собственные. Здесь также мы различаем максимальный резонанс самосознания (Я = Я [Moi = Moi]) и сравнительный резонанс имен (Тристан... Изольда...). Но на этот раз больше нет стены, на которой учитывается частота, а есть, скорее, именно черная дыра, притягивающая сознание и страсть, — дыра, в которой они резонируют. Тристан зовет Изольду, Изольда зовет Тристана, оба движутся к черной дыре самосознания, куда влечет их поток, куда влечет их смерть. Когда лингвисты различают обе формы избытка — частоту и резонанс, — они часто приписывают второму только лишь производный статус.²⁷ Действительно, речь идет о двух семиотиках, которые смешиваются, но, тем не менее, удерживают свои различные принципы (сходным образом, мы могли бы определить и другие формы избытка — такие, как ритмические, жестикуляционные, нумерические, которые отсылают к другим режимам знаков). Что по существу проводит различие между означающим режимом и субъективным режимом, а также между их соответствующими

²⁷ Об этих двух формах избыточности см. статью: «Redondance» in Martinet // *La linguistique, guide alphabétique*, DenoCl, pp. 331–333.

щими избытками, так это *движение детерриторизации*, *каковое* они осуществляют. Поскольку означающий знак отсылает только к знаку, а весь набор знаков — к самому означающему, то соответствующая семиотика обладает высоким уровнем детерриторизации, но детерриторизации все еще *относительной*, выражаемой как частота. В такой системе линия ускользания остается негативной, наделенной отрицательным знаком. Как мы увидели, субъективный режим действует совсем иначе — именно потому, что знак разрывает свое отношение означивания со знаком и начинает перебегать на позитивную линию ускользания, он достигает *абсолютной* детерриторизации, выражающейся в черной дыре сознания и страсти. Абсолютная детерриторизация *cogito*. Вот почему кажется, что субъективный избыток прививается к означающему и выводится из него как избыток в квадрате.

Но все куда сложнее, чем сказанное. Субъективация наделяет линию ускользания положительным знаком, она возводит детерриторизацию в абсолют, интенсивность в наивысшую степень, избыток в рефлексивную форму и т.д. Но, не впадая вновь в предыдущий режим, она обладает собственным способом отречься от позитивности, которую она же и высвобождает, или же релятивизировать абсолют, коего она достигает. В таком избытке резонанса абсолют сознания является абсолютom бессилия и интенсивностью страсти, жаром пустоты. Дело в том, что субъективация по существу конституирует конечные линейные процессы — такие, что один заканчивается до того, как начнется другой: таким образом, *cogito* всегда возобновляется, страсть или притязание всегда повторяются. Каждое сознание преследует собственную смерть, каждая любовь-страсть — собственный конец, притягиваемые черной дырой, а все черные дыры резонируют вместе. Тут субъективация накладывает на линию ускользания некую сегментарность, непрестанно отрицающую эту линию, а на абсолютную детерриторизацию — точку отмены, непрестанно блокирующую такую детерриторизацию

и отклоняющую ее. Причина проста: формы выражения или режимы знаков все еще являются *стратами* (даже когда мы рассматриваем их самих по себе, абстрагируясь от форм содержания); субъективация — в не меньшей мере страта, чем означивание.

Главные страты, закабаляющие человека, — это организм, а также означивание и интерпретация, субъективация и подчинение. Именно все эти страты вместе отделяют нас от плана консистенции и от абстрактной машины, где нет более никакого режима знаков, но где линия ускользания осуществляет свою собственную потенциальную позитивность, а детерриторизация — свою абсолютную власть. Итак, проблема с этой точки зрения состоит в том, чтобы действительно опрокинуть самую благоприятную сборку — перейти от той ее стороны, каковая повернута лицом к стратам, к другой стороне, что повернута лицом к плану консистенции или телу без органов. Субъективация выносит желание к такой точке избытка и отслаивания, что оно должно либо уничтожиться в черной дыре, либо поменять план. Дестратифицировать, открываться в новой — *диаграмматической* — функции. Позволить сознанию перестать быть собственным двойником, а страсти — двойником одного для другого. Превратить сознание в экспериментирование жизнью, а страсть — в поле непрерывных интенсивностей, в эмиссию знаков-частиц. Создать тело без органов сознания и любви. Использовать любовь и сознание для уничтожения субъективации: «Чтобы стать совершенным любовником, магнитом, слепящим фокусом, в котором собрана вся Вселенная, надо прежде всего постигнуть глубокую мудрость превращения в круглого дурачка».²⁸ Использовать *Я мыслю* ради становления-животным, а любовь — ради становления-женщиной мужчины. Десубъективировать сознание и страсть. А не бывает ли диаграмматических избытков, которые не смешиваются

²⁸ Генри Миллер, *Сексус*. Сама тема дурачка, или идиота, весьма разнообразна. По Декарту она явно проходит через *cogito*, а согласно Руссо — через чувство. Русская литература, однако, ведет ее иными путями, по ту сторону сознания или страсти.

ни с означающими, ни с субъективными избытками? Нет ли избытков, которые были ли бы уже не узлами древовидного разветвления, а возобновлениями и устремлениями в ризоме? Быть заикой в речевой деятельности, быть иностранцем в своем собственном языке,

«ne do ne domi ne passi ne dominez
pas ne dominez pas vos passions passives ne
.....
ne do dévorants ne do ne dominez pas
vos rats vos rations vos rats rations ne ne...»²⁹

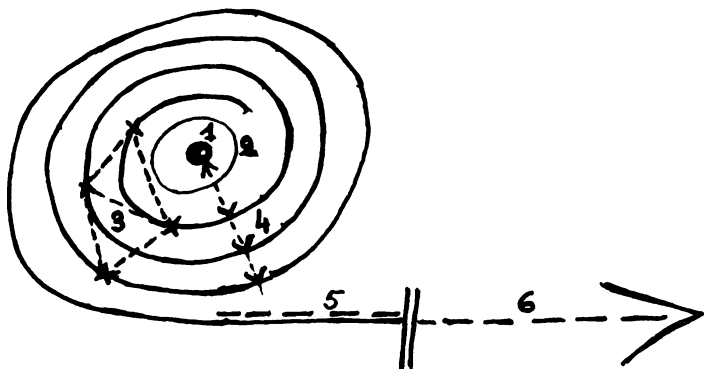
Как если бы нам нужно было различать три типа детерриторизации: одни типы относительно, присущи стратам и достигают высшей точки благодаря означиванию; другие — абсолютны, но пока еще негативны и стратовы, они проявляются в субъективации (*Ratio et Passio*); и наконец, есть возможность абсолютной позитивной детерриторизации на плане консистенции или на теле без органов.

Конечно же, нам не удалось устранить формы содержания (например, роль Храма или позицию господствующей Реальности и т.д.). Но — в искусственных условиях — мы сумели изолировать некое число семиотик, представляющих крайне разные характеристики. *До-означающая семиотика*, где «сверхкодирование», отмечающее привилегированное положение языковой деятельности, осуществляется диффузным образом — высказывание тут коллективно, сами высказываемые поливокальны, субстанции выражения множественны; относительная детерриторизация задается сопоставлением территориальностей и сегментарных родственных отношений, предотвращающих

²⁹ Gherasim Luca, *Le chant de la carpe*, pp. 87–94. 168. [Вольная интерпретация этого четверостишия может выглядеть примерно так: «ни главенствуя, ни страдая, не усмиряйте, не усмиряйте ваши пассивные страсти, нет <...> пожирая, нет, нет, не усмиряйте ваших крыс, ваши рационы, ваши крысиные рационы, нет, нет...» — Прим. пер.]

существование аппарата Государства. *Означающая семиотика* — тут сверхкодирование полностью осуществляется означающим и аппаратами Государства, испускающими это означающее; тут имеет место стандартизация высказывания, унификация субстанции выражения и контроль над высказываемыми в режиме циркуляции; относительная детерриторизация выталкивается здесь к наивысшей точке благодаря постоянной и избыточной отсылке от знака к знаку. *Контр-означающая семиотика*: здесь сверхкодирование обеспечивается Числом — как формой выражения или высказывания — и Машиной войны, от которой число зависит; детерриторизация заимствует линию активного разрушения или уничтожения. *Пост-означающая семиотика*, где сверхкодирование обеспечивается избытком сознания; субъективация высказывания производится на страстной линии, которая создает организацию имманентной власти и возводит детерриторизацию до абсолюта, хотя все еще негативным образом. — К тому же мы должны рассмотреть два аспекта: с одной стороны, эти семиотики — даже после того, как мы абстрагируемся от форм содержания, — являются конкретными, но лишь в той мере, в какой они смешаны, в какой они составляют смешанные комбинации. Любая семиотика смешана и функционирует только так; каждая семиотика с необходимостью захватывает фрагменты одной или нескольких других семиотик (прибавочная стоимость кода). Даже с этой точки зрения у означающей семиотики нет никакой привилегии для того, чтобы формировать общую семиотику: прежде всего тот способ, каким она комбинируется со страстной семиотикой субъективации («означающее для субъекта»), не предполагает никакого предпочтения в отношении других комбинаций — например, комбинаций между страстной семиотикой и контр-означающей семиотикой или комбинаций между контр-означающей семиотикой и самой означающей семиотикой (когда Кочевники становятся имперскими) и т.д. Нет никакой общей семиологии.

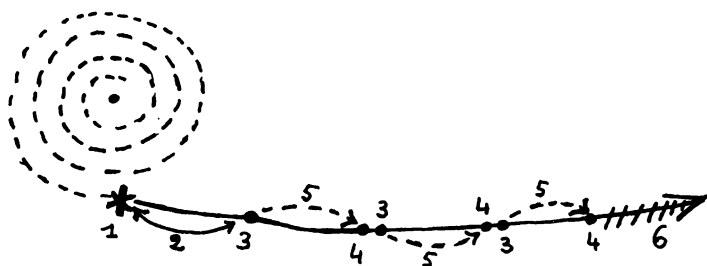
Например, не предполагая привилегии одного режима над другим, мы можем создавать схемы, касающиеся означающей и пост-означающей семиотик, где явно проявляются возможности конкретной смеси:



1. Центр или Означающее; лицевость бога, деспота.
2. Храм или Дворец, со жрецами и бюрократами.
3. Организация из кругов и знак, отсылающий к знаку в одном и том же круге или от одного круга к другому.
4. Интерпретативное развитие означающего в означаемом, которое снова передается означающему.
5. Жертвенный козел, блокировка линии ускользания.
6. Козел отпущения, или негативный знак линии ускользания.

Но другой аспект, дополнительный к первому и крайне отличный от него, состоит в следующем — возможность трансформации чистой или абстрактной семиотики в другую благодаря переводимости, вытекающей из сверхкодирования как особой характеристики языка. На сей раз речь идет не о конкретных смешанных семиотиках, а о трансформациях одной абстрактной семиотики в другую (даже если эта трансформация сама не является абстрактной, то есть действительно имеет место, а не осуществляется «переводчиком» как чистым ученым). Мы называем *аналогическими трансформациями* все те трансформации, которые обеспечивают переход какой-либо семиотики в до-означающий режим; мы называем *символическими трансформациями* те, что обеспечивают ее переход в означающий режим; *полеми-*

ческими, или стратегическими, — те, что обеспечивают переход в контр-означающий режим; связанными с сознанием [*conscientielles*], или миметическими, — те, что обеспечивают переход в пост-означающий режим; наконец, диаграмматическими — те трансформации, которые разбивают вдребезги семиотики, или режимы знаков, на плане консистенции абсолютной позитивной детерриторизации. Трансформация не смешивается ни с высказываемым, принадлежащим некой чистой семиотике; ни даже с двусмысленным высказываемым, где требуется полный прагматический анализ для того, чтобы знать, какой семиотике оно принадлежит; ни с высказываемым, принадлежащим смешанной семиотике (хотя трансформация может обладать таким эффектом). Трансформационное высказываемое отмечает, скорее, способ, каким семиотика транслирует ради собственных целей высказываемые, приходящие откуда-то еще, но отклоняя их, оставляя нетрансформируемые отходы и активно сопротивляясь противоположной трансформации. Более того, трансформации не ограничиваются только что приведенным списком. Что касается семиотики, то она всегда может быть воссоздана именно благодаря трансформациям. Переводы могут быть созидательными. Мы формируем новые



1. Точка субъективации, смещающая центр означивания.
2. Два отвернувшиеся друг от друга лица.
3. Субъект высказывания, вытекающий из точки субъективации в измененном направлении.
4. Субъект высказываемого, на который опрокидывается субъект высказывания.
5. Последовательность конечных линейных процессов с новой формой жреца и новой бюрократией.
6. Где линия ускользания, освобожденная, но все еще сегментированная, остается негативной и блокированной.

режимы чистых знаков с помощью трансформаций и переводов. Тут мы обнаружим уже не общую семиотику, а, скорее, транс-семиотику.

В аналогических трансформациях мы часто наблюдаем, как сон, наркотики и любовная экзальтации могут формировать выражения, переводящие в до-означающий режим означающие или субъективные режимы, которые мы хотим навязать выражениям, но которым выражения сопротивляются, сами навязывая этим режимам неожиданную сегментарность и поливокальность. Христианство подверглось странным творческим переводам, перейдя к «варварам» или даже «дикарям». Введение денежных знаков в некоторых коммерческих циклах Африки подвергает эти знаки аналогической [analogique] трансформации, которую было очень трудно держать под контролем (если только эти циклы, напротив, сами не подвергаются разрушительной трансформации)³⁰. Песни черных американцев — в том числе и главным образом их слова — были бы наилучшим примером, ибо они показывают, как рабы «переводят» английское означающее и употребляют до-означающее или даже контр-означающее языка, смешивая его со своими собственными африканскими языками так же, как они смешивают старинное, исполняемое во время работы африканское пение с новым принудительным трудом; эти песни также показывают, как — с введением христианства и с отменой рабства — рабы переживают процесс «субъективации» или даже «индивидуации», трансформирующий их музыку, тогда как музыка одновременно трансформирует этот процесс по аналогии; а также, как ставятся особые проблемы «лицевости», когда белые в «черном лице» присваивают слова и песни, на что черные, в свою очередь, затемняют свои лица дополнительным оттенком, вновь отвоевывая собственные танцы и песни, трансфор-

³⁰ Например, когда белые предлагали деньги сиамам из Новой Гвинеи, последние начинали с перевода купюр и монет в две категории неконвертируемых благ. Ср.: Maurice Godelier, *Économie politique et anthropologie Oeconomique // L'Homme*, septembre 1964, p. 123.

мируя или переводя даже песни белых.³¹ Конечно, грубые и наиболее заметные трансформации осуществляются и в другом смысле — символические переводы, когда означающее обретает власть. Предыдущие примеры, касающиеся денежных знаков или ритмического режима, могли бы послужить нам, перевернув свой смысл. Переход от африканского танца к белому танцу часто манифестирует добросовестный, или миметический, перевод, сопровождающийся захватом власти, который осуществляется означиванием и субъективацией. («Везде, по всему континенту, продолжают танцевать. Это вечно повторяющаяся повесть о преодолении темных сил природы. Когда фаллос находится в состоянии эрекции и с ним обращаются как с бананом, мы наблюдаем вовсе не “личный стояк”, а общеродовую эрекцию. <...> Голые танцоры в заведениях в больших городах танцуют в одиночку, и это факт огромного значения. Закон запрещает ответные шаги, запрещает участие в таком танце. Ничего не остается в этом танце от первобытного обряда, кроме “вызывающих” телодвижений. Но на что они вызывают, зависит от *индивидуальности наблюдателя*».³²)

Как раз не просто лингвистические, лексические или даже синтаксические трансформации определяют значимость подлинного семиотического перевода. Все, скорее, даже наоборот. Речи безумца недостаточно. В каждом случае мы вынуждены оценить, оказываемся ли мы перед адаптацией старой семиотики, или перед новой разновидностью особой смешанной семиотики, или же перед процессом создания еще неизвестного режима. Например, относительно легко перестать говорить «я», что не означает, будто мы вышли за пределы режима субъективации; и наоборот, можно ради удовольствия продолжить говорить Я, а быть уже в другом режиме, где личные местоимения функционируют лишь как фикции. У означивания и интерпретации слишком толстая кожа, они образуют такую липкую смесь с

³¹ Об этих переводах-трансформациях см.: LeRoi Jones, *Le peuple du blues*, ch. III–VII.

³² Генри Миллер, *Сексус*.

субъективацией, что легко поверить, будто вы вне их, тогда как вы все еще их выделяете. Бывает, что мы разоблачаем интерпретацию, но натягивая на себя столь означающее лицо, что одновременно навязываем интерпретацию субъекту, который, дабы выжить, продолжает кормиться ею. Кто же на самом деле поверит, будто психоанализ способен изменить семиотику, в которой собрано все жульничество? Мы можем лишь менять роли. Вместо пациента, который означает, и психоаналитика, который интерпретирует, у нас теперь есть означающий психоаналитик, а пациент как раз таки берет на себя все интерпретации. В антипсихиатрическом опыте в Кингсли Холле Мэри Барнес [Mary Barnes] — бывшая медсестра, ставшая «шизофреничкой», — сочетается браком с новой семиотикой Путешествия, но лишь чтобы присвоить подлинную власть в сообществе и повторно ввести наихудший режим психоаналитической интерпретации как коллективного бреда («она *интерпретировала* все, что делалось для нее или для кого-либо другого...»³³). Нам трудно покончить с сильно стратифицированной семиотикой. Даже до-означающая или контр-означающая семиотики, даже а-означающая диаграмма заключают в себе узлы совпадения, только и ждущие того, чтобы конституировать виртуальные центры означивания и виртуальные точки субъективации. Конечно, процедура перевода нелегка, когда речь идет о разрушении господствующей атмосферной семиотики. Книги Кастанеды интересны прежде всего тем, что они точно показывают, как — под влиянием наркотика или других вещей, а также изменения атмосферы — индеец умеет бороться с механизмами интерпретации и исподволь внушать своему ученику до-означающую семиотику или даже а-означающую диаграмму: Остановись! Ты меня утомляешь! Экспериментируй, а не означай и не интерпретируй! Найди сам свои места, свои территориальности, свои детер-

³³ Mary Barnes et Joseph Berke, *Mary Barnes, un voyage a travers la folie*, Ed. du Seuil, p. 269. Провал психоаналитического эксперимента в Кингсли Холле произошел, похоже, как из-за этих внутренних факторов, так и из-за внешних обстоятельств.

риторизации, свой режим, свои линии ускользания! Семиотизируй себя, а не занимайся поисками в своем искусственно сделанном детстве и в своей семиотике жителя Запада... «Дон Хуан утверждал, что на пути к “видению” сначала нужно “остановить мир”. Термин “остановка мира”, пожалуй, действительно наиболее удачен для обозначения определенных состояний сознания, в которых осознаваемая повседневная реальность кардинальным образом изменяется благодаря остановке обычно непрерывного потока чувственных интерпретаций некоторой совокупностью обстоятельств и фактов, никоим образом в этот поток не вписывающихся».³⁴ Короче, подлинная семиотическая трансформация вызывает к любым видам переменных — не только к внешним переменным, но также к переменным, имплицитным языку, внутренним по отношению к высказываемым.

Тогда прагматика уже презентрует две компоненты. Первая могла бы быть названа *порождающей*, ибо она показывает, как разные абстрактные режимы формируют конкретные смешанные семиотики, с какими вариантами, как они комбинируются и какая из них является доминирующей. Вторая — это *трансформационная* компонента, показывающая, как такие режимы знаков переводятся друг в друга и, особенно, творят новые режимы. Порождающая прагматика создает своего рода кальки смешанных семиотик, тогда как трансформационная прагматика делает карты трансформации. Хотя смешанная семиотика не предполагает с необходимостью актуального творчества и может удовлетворяться возможностями комбинирования без подлинной трансформации, именно трансформационная компонента отвечает за своеобразие режима как за новизну смесей, в какие он вступает в данный момент и в данной области. А также данная вторая компонента является самой глубокой и выступает единственным сред-

³⁴ Кастанеда К. *Путешествие в Икстлан* // Кастанеда К. Учение Дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан. К.: София, 1992, с. 448.

ством для измерения элементов первой.³⁵ Например, спросим себя, когда впервые появились типичные большевистские высказывания и как ленинизм — в период разрыва с социал-демократами — осуществил подлинную трансформацию, стал творцом оригинальной семиотики, даже если она неизбежно должна была впасть в смешанную семиотику сталинской организации. В своем ключевом исследовании Жан-Пьер Фай детально изучил трансформации, которые произвели нацизм, рассматриваемый как система новых высказываемых в данном социальном поле. [Возникают] вопросы типа: не только в какой момент, но и в какой области устанавливается режим знаков? — во всем народе в целом? в части этого народа? на едва заметной кромке внутри психиатрической лечебницы? — ибо, как мы увидели, семиотику субъективации можно обнаружить в древней истории евреев, а также в психиатрической диагностике XIX века — конечно же, с глубокими вариациями и даже подлинными трансформациями в соответствующую семиотику — так вот, все эти вопросы находятся в компетенции прагматики. Сегодня, разумеется, трансформации или самые глубокие творческие переводы не проходят через Европу. Прагматике следовало бы отказаться от идеи инварианта, способного уклониться от трансформаций, даже если он является инвариантом господствующей «грамматической правильности». Ибо язык является политическим делом, прежде чем стать делом лингвистики; даже оценка степеней грамматической правильности — это политическая материя.

Что такое семиотика, то есть режим знаков или формализация выражения? Они одновременно и больше, и меньше, чем языковая деятельность. Языковая деятельность определяется своим условием «сверхлинейности»; языки определяются константами, элементами и отношениями фонологического, синтаксического и семантического порядка. И без сомнения, каждый режим знаков осу-

³⁵ «Порождающий» и «трансформационный» — термины Хомского, для которого именно трансформационное является наилучшим и наиболее глубоким средством реализации порождающего; но мы разрабатываем эти термины в ином смысле.

ществляет условие языковой деятельности и использует ее элементы, но не более того. Никакой режим не может ни идентифицироваться с самим условием, ни обладать свойством констант. Как ясно показывает Фуко, режимы знаков — это только *функции существования* языка, которые порой охватывают различные языки, а порой распределяются в одном и том же языке, и которые не смешиваются ни со структурой, ни с единствами того или иного порядка, а пересекают их и заставляют проявляться в пространстве и во времени. Именно в этом смысле режимы знаков суть сборки высказывания, для объяснения которых недостаточно никакой лингвистической категории: *то, что превращает предложение или даже простое слово в «высказываемое»*, отсылает к имплицитным предполагаемым, которые не могут быть эксплицированы, которые мобилизуют прагматические переменные, присущие высказыванию (бестелесные трансформации). Следовательно, последнее обстоятельство исключает то, что сборка может быть объяснена в терминах означающего или субъекта, ибо те отсылают, напротив, к переменным высказывания внутри сборки. Именно означивание, или субъективация, предполагают сборку, а не наоборот. Имена, коими мы наделили режимы знаков — «до-означающий, означающий, контр-означающий, пост-означающий» — остались бы принадлежностью эволюционизма, если бы им действительно не соответствовали неоднородные функции или разновидности сборки (сегментация, означивание, интерпретация, нумерация и субъективация). Итак, режимы знаков определяются переменными, которые внутренние для высказывания как такового, но остаются внешними к константам языка и несводимыми к лингвистическим категориям.

Но в этом пункте все опрокидывается, и причины, почему режим знаков меньше, чем язык, также становятся причинами того, почему он — больше, чем язык. Сборка является высказыванием или формализует выражение лишь на одной из своих сторон; на своей другой стороне, неотделимой от первой, она формализует содержания и является

машинной сборкой или сборкой тел. Итак, содержания — не «означаемые», которые тем или иным образом зависели бы от означающего, они и не «объекты», находящиеся в каком-либо отношении каузальности с субъектом. Они обладают свойственной им формализацией, и у них нет никакого отношения символического соответствия или линейной причинности с формой выражения — обе формы взаимно предполагают друг друга и могут быть абстрагированы друг от друга лишь весьма относительно, ибо они суть две стороны одной и той же сборки. Следовательно, мы должны подойти — в самой сборке — к чему-то, что лежит еще глубже, чем эти стороны и может принимать в расчет, одновременно, обе предполагающие друг друга формы — форму выражения, или режим знаков (семиотики), а также форму содержания, или режим тел (физические системы). Вот то, что мы называем *абстрактной машиной* — абстрактной машиной, конституирующей и спрягающей все крайние точки детерриторизации сборки.³⁶ И именно об абстрактной машине следует говорить: она, с необходимостью, — «много больше», чем язык. Когда лингвисты (вслед за Хомским) поднимаются до идеи чисто речевой абстрактной машины, мы немедленно возражаем, что эта машина, вместо того чтобы быть слишком абстрактной, не является таковой в достаточной мере, ибо она остается ограниченной со сторо-

³⁶ Мишель Фуко развил — двигаясь по последовательным уровням — теорию высказываемых, которая перекраивает все эти проблемы. (1) В «Археологии знания» Фуко разводит два вида «многообразий» — содержания и выражения, — которые уже не сводятся к отношениям соответствия или каузальности, а взаимно предполагают друг друга. (2) В «Надзирать и наказывать» он ищет инстанцию, способную объяснить две неоднородные формы, наслаиваемые друг на друга, и находит ее в сборках власти, или микровласти. (3) Но эти коллективные сборки (школа, армия, фабрика, больница, тюрьма и т.д.) — только степени или сингулярности на абстрактной «диаграмме», которая принимает в расчет лишь материю и функцию (некая человеческая множественность, которую нужно контролировать). (4) «История сексуальности» движется уже в другом направлении, ибо сборки более не связаны с диаграммой и не противостоят ей, а относятся, скорее, к «биополитике популяции» как абстрактной машине. — Мы расходимся с Фуко лишь в следующих пунктах: (1) нам кажется, что сборки — это не сборки власти, а сборки желания, собирается всегда желание, а власть есть стратифицированное измерение сборки; (2) диаграмма, или абстрактная машина, обладает линиями ускользания, которые первичны и которые — в сборке — являются не феноменами сопротивления или контратаки, а точками творчества и детерриторизации.

ны формы выражения и так называемых универсалий, предполагающих язык. До сих пор абстрагирование от содержания было некой операцией, куда более относительной и недостаточной, если взглянуть на нее с точки зрения самой абстракции. У подлинной абстрактной машины нет никаких средств, чтобы самой провести различия между планом выражения и планом содержания, ибо она чертит один и тот же план консистенции, который будет формализовывать содержания и выражения согласно стратам или ретерриторизациям. Но дестратифицированная, детерриторизованная в себе абстрактная машина сама по себе не обладает формой (как и субстанцией) и не проводит различий внутри себя между содержанием и выражением, даже если вовне себя она главенствует над этим различием и распределяет его в стратах, в областях и территориях. Абстрактная машина в себе не является ни физической, ни телесной, так же как она не является семиотикой, она — *диаграмматична* (она игнорирует различие между искусственным и естественным). Она действует благодаря *материи*, но не благодаря субстанции; благодаря *функции*, но не благодаря форме. Субстанции и формы — это субстанции и формы выражения «или» содержания. Но функции уже не оформлены «семиотически», а материи — не оформлены «физически». Абстрактная машина есть чистая Функция-Материя — диаграмма, независимая от форм и материй, выражений и содержаний, кои она собирается распределять.

Мы определяем абстрактную машину как аспект или момент, где остаются только функции и материи. У диаграммы действительно нет ни субстанции, ни формы, нет ни содержания, ни выражения.³⁷ В то время, как субстанция — это оформленная материя, материя — не оформленная, физически или семиотически, субстанция. В то время, как выражение и содержание обладают различными фор-

³⁷ Ельмслев предложил очень важную концепцию «материи», или «смысла», как неоформленного, аморфного или бесформенного: *Prolégomènes ès une théorie du langage*, § 13; *Essais linguistiques*, Ed. de Minuit, pp. 58 sq. (См. также предисловие Франсуа Растье, р. 9).

мам и на самом деле отличаются друг от друга, функция имеет только «черты» — содержания и выражения, — между которыми она обеспечивает соединение: мы не можем уже сказать, частица это или знак. Содержание-материя, которое представляет только степени интенсивности, сопротивления, проводимости, нагревания, растягивания, скорости или запаздывания; выражение-функция, которое представляет только «тензоры», как в математической или музыкальной записи. Теперь письмо функционирует там же, где и реальное, а реальное пишет материально. Таким образом, диаграмма удерживает самое детерриторизованное содержание и самое детерриторизованное выражение, дабы сопрячь их. Максимум детерриторизации иногда начинается с черты содержания, а иногда с черты выражения, которая, так сказать, является «детерриторизирующей» по отношению к другой черте, но именно потому, что она ее диаграмматизирует, унося с ее собой, возвышая до собственной мощи. Самый детерриторизованный элемент заставляет другой элемент преодолевать порог, делающий возможным сопряжение их относительной детерриторизации, общее ускорение. Это — абсолютная позитивная детерриторизация абстрактной машины. Именно в этом смысле *диаграммы* должны отличаться от *индексов*, являющихся территориальными знаками, а также от *иконических знаков*, являющихся ретерриторизацией, и от *символов*, являющихся относительной или негативной детерриторизацией.³⁸ Абстрактная машина — так опреде-

³⁸ Различие между индексами, иконическими знаками и символами восходит к Пирсу (*Ecrits sur le signe*, Ed. du Seuil). Но его различия основаны на отношениях между означающим и означаемым (смежность для индекса, сходство для иконического знака, конвенциональное правило для символа); это вынуждает его сделать «диаграмму» особым случаем иконического знака (иконическим знаком отношения). Пирс — подлинный изобретатель семиотик. Вот почему мы можем заимствовать его термины, даже изменяя их значение. С одной стороны, индексы, иконические знаки и символы, как нам кажется, различаются благодаря отношению территориальность—детерриторизация, а не отношению означающее—означаемое. С другой стороны, диаграмма в результате, как кажется, играет иную роль, несводимую ни к иконе, ни к символу. Что касается фундаментального различия у Пирса и сложного статуса диаграммы, то мы сошлемся на анализ Якобсона (*A la recherche de l'essence du langage* // *Problèmes du langage*, Gallimard, coll. Diogène).

ленная своим диаграмматизмом — не является ни инфра-структурой в последней инстанции, ни трансцендентальной Идеей в высшей инстанции. Скорее, она играет образцово-показательную роль. Дело в том, что абстрактная, или диаграмматическая, машина не функционирует ради того, чтобы представлять, пусть даже что-то реальное, но она конструирует реальное, которое приходит, новый тип реальности. Значит, она находится не вне истории, а, скорее, всегда расположена «до» истории в каждый момент, когда конституирует точки творения или потенциальности. Все ускользает, все творит, но никогда не в одиночку, а, напротив, вместе с абстрактной машиной, производящей континуумы интенсивности, сопряжения детерриторизации, экстракты выражения и содержания. Именно Абстрактное—Реальное всецело противостоит фиктивной абстракции предположительно чистой машины выражения. Это — Абсолют, но ни недифференцированный, ни трансцендентный. Итак, у абстрактных машин есть имена собственные (так же как и даты), которые, конечно же, уже указывают не на людей или субъектов, а на материи и функции. Имя музыканта и ученого употребляется так же, как и имя художника, выбирающего цвет, оттенок, тон, интенсивность — речь всегда идет о сопряжении Материи и Функции. Двойная детерриторизация голоса и инструмента будет отмечена абстрактной машиной—Вагнер, абстрактной машиной—Веберн и т.д. Мы будем говорить об абстрактной машине—Риман в физике и математике, абстрактной машине—Галуа в алгебре (точно определяемой с помощью произвольной линии, так называемой линии присоединения, которая сопрягается с телом, взятым в качестве исходной точки) и т.д. Диаграмма имеется всякий раз, когда сингулярная абстрактная машина функционирует непосредственно в материи.

Следовательно, именно тут, на диаграмматическом уровне, или на плане консистенции, нет, собственно говоря, даже режимов знаков, ибо больше нет формы

выражения, которая реально отличалась бы от формы содержания. Диаграмма знает только черты, крайние точки, которые все еще суть содержания в той мере, в какой они материальны, или выражения в той мере, в какой они функциональны, но которые приводятся в движение друг другом, сменяют друг друга и перемещаются в общей детерриторизации — знаки-частицы, *particles**. И это неудивительно; ибо реальное различие между формой выражения и формой содержания создается только со стратами и неодинаково для каждой из них. Именно на стратах появляется двойная артикуляция, которая формализует черты выражения и черты содержания — каждые в своих правах, — а также превращает материи в физически или семиотически оформленные субстанции, а функции — в формы выражения или содержания. Тогда выражение конституирует индексы, иконические знаки или символы, входящие в режимы или в семиотики. Тогда содержание конституирует тела, вещи или объекты, входящие в физические системы, в организмы и организации. Более глубокое движение, сопрягающее материю и функцию, — абсолютная детерриторизация, как тождественность самой земле, — появляется только в форме соответствующих территориальностей, относительных или негативных детерриторизаций и дополнительных ретерриторизаций. Несомненно, все это достигает своей высшей точки в языковой страте, устанавливающей абстрактную машину на уровне выражения и продвигающей еще дальше абстракцию содержания, стремясь даже к тому, чтобы устранить содержание из его собственной формы (империализм языка, притязание на общую семиотику). Короче, страты субстанциализируют диаграмматические материи и отделяют оформленный план содержания от оформленного плана выражения. Они удерживают выражения и содержания — каждое со своей стороны субстанциализирован-

* Частицы (англ.). — Прим. пер.

ное и формализованное — в клешнях двойной артикуляции, которая удостоверяет их независимость, или реальное различие, и заставляет господствовать дуализм, непрестанно воспроизводящийся или вновь разделяющийся. Они разламывают континуумы интенсивности, вводя купюры от одной страты до другой и внутрь каждой страты. Они препятствуют конъюнкциям линии ускользания, они крушат крайние точки детерриторизации, либо проводя ретерриторизации, обеспечивающие такие относительные движения, либо наделяя ту или иную из этих линий только негативной ценностью, либо же сегментируя, блокируя, затыкая их, вовлекая во что-то вроде черной дыры.

А именно, мы не смешиваем диаграмматизм с операцией аксиоматического типа. Вместо того чтобы чертить творческие линии ускользания и сопрягать черты позитивной детерриторизации, аксиоматика блокирует все линии, подчиняет их точечной системе и останавливает алгебраическое и геометрическое письмо, ускользающее во все стороны. Это чем-то похоже на проблему, связанную с индетерминизмом в физике — было предпринято некое «наведение порядка» ради примирения индетерминизма с физическим детерминизмом. Математическое письмо аксиоматизировалось, то есть рестратифицировалось, ресемиотизировалось; а материальные потоки рефизикализировались. А это дело как политики, так и науки — наука не должна сойти с ума... Гильберт и де Бройль были как политическими деятелями, так и учеными — они восстанавливали порядок. Но аксиоматизация, семиотизация и физикализация — не диаграмма; фактически, они даже противоположность диаграммы. Программа страты против диаграммы плана консистенции. Однако это не мешает диаграмме возобновлять свой путь ускользания и распространять новые абстрактные сингулярные машины (именно против аксиоматизации направлено математическое создание невероятных функций, а против физикализации — материальное изобретение неуловимых частиц).

Ибо наука как таковая подобна любой другой вещи, безумие так же внутренне присуще ей, как и наведение порядка, один и тот же ученый может участвовать в обоих аспектах, со своим собственным безумием, своей собственной полицией, своими означиваниями и субъективациями, а также со своими абстрактными машинами — в качестве ученого. «Политика науки» как раз и обозначает такие внутренние для науки потоки, а не только лишь внешние обстоятельства и государственные факторы, воздействующие на нее извне и вынуждающие создавать тут атомные бомбы, там транскосмические программы и т.д. Эти внешние политические влияния или детерминации были бы ничем, если бы у самой науки не было собственных полюсов, своих колебаний, страт и дестратификаций, своих линий ускользания и наведений порядка — короче, более или менее потенциальных событий ее собственной политики, всей ее особой «полемики», ее внутренней машины Войны (частью которой исторически являются раздраженные, преследуемые или помешавшиеся ученые). Мало сказать, что аксиоматика не принимает в расчет изобретательность и творчество — у нее есть решительная воля остановить, зафиксировать, заменить диаграмму, обустроиваясь на уровне застывшей абстракции, уже слишком крупной для конкретного, но еще слишком малой для реального. Мы увидим, в каком смысле это — «капиталистический» уровень.

Однако мы не можем удовлетвориться дуализмом между планом консистенции, его диаграммами или абстрактными машинами, с одной стороны, и стратами, их программами и их конкретными сборками, с другой. Абстрактные машины не существуют просто на плане консистенции, где они развивают диаграммы; они уже там, свернутые или «встроенные» в страты вообще, или даже возводятся на особых стратах, где одновременно организуют форму выражения и форму содержания. И что является иллюзорным в этом последнем случае, так это идея исключительно речевой или выразительной

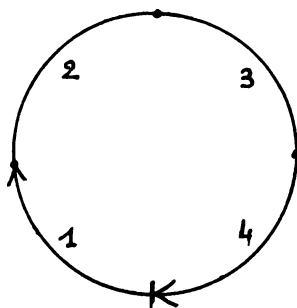
абстрактной машины, а не идея абстрактной машины, внутренней для страты и принимающей в расчет относительность обеих различных форм. Таким образом, есть как бы двойное движение — одно движение, посредством которого абстрактные машины обрабатывают страты и непрестанно заставляют что-то ускользать, и другое, посредством которого они действительно стратифицируются, захватываются стратами. *С одной стороны*, страты никогда не организовались бы, если бы не овладевали материей или функциями диаграммы, кои они формализуют с двойной точки зрения выражения и содержания; так, что каждый режим знаков — даже означивание, даже субъективация — все еще являются диаграмматическими эффектами (но остающимися относительными или негативными). *С другой стороны*, абстрактные машины никогда не присутствовали бы, в том числе и на стратах, если бы у них не было власти или возможности извлекать и ускорять дестратифицированные знаки-частицы (переход к абсолюту). Консистенция не является ни тотализирующей, ни структурообразующей, скорее, она детерриториализующая (биологическая страта, например, эволюционирует не благодаря статистическим данными, а согласно крайним точкам детерриторизации). Таким образом, безопасность, спокойствие и гомеостатическое равновесие страт никогда полностью не гарантированы — достаточно продолжить линии ускользания, работающие на стратах, поточно соединить их, сопрячь процессы детерриторизации, дабы обнаружить план консистенции, который вкладывается в самые разные системы стратификации и перескакивает от одной системы к другой. В этом смысле, мы уже увидели, как означивание и интерпретация, сознание и страсть могут продолжаться, следуя этим линиям, и, в то же время, открываться собственно диаграмматическому опыту. И все эти состояния или модусы абстрактной машины сосуществуют именно в том, что мы называем *машинной сборкой*. Сборка действительно обладает как бы двумя полюсами или векто-

рами — один вектор повернут в сторону страт, где он распределяет территориальности, относительные детерриторизации и ретерриторизации, другой же вектор повернут к плану консистенции или дестратификации, где он сопрягает процессы детерриторизации и переносит их в абсолютное земли. Именно на своем стратовом векторе сборка отличается от формы выражения, где она проявляется как коллективная сборка высказывания, и от формы содержания, где она проявляется как машинная сборка тела; и она подгоняет одну форму к другой, одно проявление к другому, рассматривая их во взаимном предположении. Но на своем диаграмматическом, дестратифицированном векторе, у нее более нет двух сторон, она удерживает только черты содержания и выражения, из коих извлекает добавляющиеся друг к другу степени детерриторизации и сопрягающиеся друг с другом крайние точки.

У режима знаков не только две компоненты. Фактически он обладает четырьмя компонентами, формирующими предмет Прагматики. Первая была *порождающей* компонентой, которая показывала, как форма выражения — на языковой страте — всегда вызывает к нескольким комбинированным режимам, то есть, как конкретно перемещивается любой режим знаков или любая семиотика. На уровне такой компоненты мы *можем* абстрагироваться от форм содержания и особенно успешно, когда акцент делается на смеси режимов в форме выражения — следовательно, мы не делаем отсюда вывод о главенстве режима, который конституировал бы обобщенную семиотику и унифицировал бы форму. Вторая, *трансформационная*, компонента показывала, как один абстрактный режим может быть переведен, трансформирован в другой, и в особенности, как он может быть создан из других режимов. Эта вторая компонента явно глубже, ибо любой смешанный режим предполагает подобные трансформации из одного режима в другой — будь то прошлый, настоящий или потенциальный (в зависимости от созидания

новых режимов). И опять же, мы абстрагируем, или можем абстрагировать, содержания, поскольку ограничиваемся внутренними по отношению к форме выражения метаморфозами, даже если формы выражения недостаточно для их объяснения. Третья компонента — *диаграмматическая*: она состоит в том, чтобы брать режимы знаков или формы выражения ради извлечения из них знаков-частиц, которые более не формализованы, но конституируют неоформленные черты, способные комбинироваться друг с другом. Это высший уровень абстракции, а также момент, где абстракция становится реальной; все на самом деле проходит благодаря абстрактно-реальным машинам (именуемым и датируемым). И если мы можем абстрагироваться от формы содержания, то именно потому, что мы одновременно должны абстрагироваться от форм выражения, ибо и в той, и в другой форме мы удерживаем только неоформленные черты. Отсюда абсурдность исключительно языковой абстрактной машины. В свою очередь такая диаграмматическая компонента явно глубже, чем трансформационная компонента — трансформации-созидания режима знаков действительно действуют благодаря внезапному появлению всегда новых абстрактных машин. Наконец, последняя, собственно *машинная*, компонента, предположительно, показывает, как абстрактные машины осуществляются в конкретных сборках, которые как раз и сообщают разную форму чертам выражения, не сообщая при этом разной формы чертам содержания, — обе формы взаимопредполагают друг друга или обладают необходимым неоформленным отношением, вновь препятствующим форме выражения быть такой, будто она самодостаточна (хотя строго формально она независима или отлична [от другой формы]).

Таким образом, прагматика (или шизоанализ) может быть представлена четырьмя циклическими компонентами, но которые почкуются и формируют ризому:



1. Порождающая компонента — исследование конкретных смешанных семиотик, их смесей и вариаций.
2. Трансформационная компонента — исследование чистых семиотик, их переводов-трансформаций и создания новых семиотик.
3. Диаграмматическая компонента — исследование абстрактных машин, с точки зрения семиотически неоформленных материй по отношению к физически оформленным материям.
4. Машинная компонента — исследование сборок, осуществляющих абстрактные машины и семиотизирующих материи выражения в то самое время, как эти сборки физикализируют материи содержания.

Вся прагматика в целом состояла бы в следующем: делать *кальку* смешанных семиотик в порождающей компоненте; делать трансформационную *карту* режимов с их возможностями перевода, созидания и почкования на кальках; делать *диаграмму* абстрактных машин, всякий раз запускаемых в игру как потенциальности и как эффективные внезапные появления; делать *программу* сборок, которые распределяют все и заставляют циркулировать движение — с его альтернативами, скачками и мутациями.

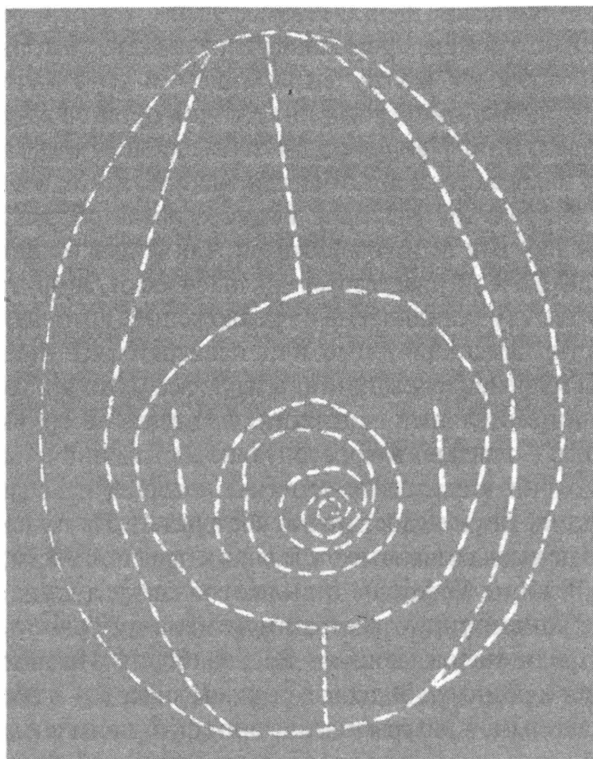
Например, мы рассматриваем какое-либо «предложение», то есть вербальную совокупность, синтаксически, семантически и логически определяемую как выражение индивида или группы: «Я тебя люблю» или «Я ревную...». Мы начинаем с вопроса, какому «высказываемому» в группе или в индивиде соответствует это предложение (ибо одно и то же предложение может отсылать к совершенно разным высказываемым). Такой вопрос означает следующее: в каком режиме знаков берется данное предложение — режиме, без которого синтаксические, семантические и логиче-

ские элементы предложения оставались бы совершенно пустыми универсальными условиями? Каковы тот нелингвистический элемент и та переменная высказывания, какие сообщают режиму его консистенцию? Есть до-означающее «я тебя люблю» коллективного типа, где, как говорил Миллер, танец сочетается браком со всеми женщинами племени; есть контр-означающее «я тебя люблю» дистрибутивного и полемического типа, задействованное в войне, в соотношениях сил — как в «я тебя люблю» Пентесилеи и Ахиллеса; есть «я тебя люблю», которое адресуется центру означивания и с помощью интерпретации приводит в соответствие всю серию означаемых с означающей цепочкой; и есть страстное, или пост-означающее, «я тебя люблю», которое формирует процесс, начиная с точки субъективации, а затем другой процесс и т.д. Одно и то же предложение «я ревную», очевидно, не является одним и тем же высказываемым в страстном режиме субъективации или в паранойальном режиме означивания — два крайне разных бреда. Во-вторых, раз определено высказываемое, которому в данной группе или индивидууме в данный момент соответствует предложение, то мы могли бы отыскать возможности не только смеси, но и перевода или трансформации в другой режим, в высказываемые, принадлежащие другим режимам; мы могли бы отыскать то, что происходит или не происходит в такой трансформации, что остается в ней неустранимым, а что течет. В-третьих, мы могли бы попытаться создать новые, еще неизвестные высказываемые для этого предложения, даже если они будут сотканы из обрывков диалектов наслаждения, физики и семиотики, из а-субъективных аффектов, знаков без означивания, где рушатся синтаксис, семантика и логика. Это исследование должно было бы двигаться от наихудшего к наилучшему, ибо оно покрывает миленькие, метафорические и дурашливые режимы так же, как и крики-дыхания, лихорадочные импровизации, становления-животными, молекулярные становления, реальную транссексуальность, континуумы интенсивности, конституции тел без органов... И данные два полюса

сами нераздельны, они поддерживают постоянные отношения трансформации, конверсии, скачка, падения и возвышения. Это последнее исследование запускает в игру, с одной стороны, абстрактные машины, диаграммы и диаграмматические функции, а с другой — одновременно — машинные сборки, формальные различия, которые эти сборки проводят между выражением и содержанием, а также их инвестиции слов и инвестиции органов во взаимопредположении. Например, «я тебя люблю» в куртуазной любви: какова его диаграмма, каково внезапное возникновение абстрактной машины и какова новая сборка? То же годится как для дестратификации, так и для организации страт... Короче, не существует синтаксически, семантически или логически определяемых предложений, которые трансцендируют высказываемые или нависают над ними. Все методы трансцендентализации языка, все методы наделения языка универсалиями — от логики Рассела до грамматики Хомского — впадают в наихудшую из абстракций в том смысле, что они утверждают уровень, который как слишком абстрактен, так и недостаточно абстрактен. На самом деле, как раз не высказываемые отсылают к предложениям, а наоборот. Режимы знаков не отсылают к языку, а язык сам по себе не конституирует абстрактную машину, будь то структурную или порождающую. Все наоборот. Именно язык отсылает к режимам знаков, а режимы знаков — к абстрактным машинам, к диаграмматическим функциям и к машинным сборкам, которые выходят за пределы любой семиотики, любой лингвистики и любой логики. Нет универсальной пропозициональной логики, как нет и грамматичности в себе, так же как не существует означающего в себе. «За» высказываемыми и семиотизациями есть только машины, сборки и движения детерриторизации, проходящие через стратификацию разнообразных систем и избегающие как координат языка, так и координат существования. Вот почему прагматика — это не дополнение к логике, синтаксису или семантике, напротив, она — базовый элемент, от которого зависит все остальное.

6. Ноябрь 28, 1947:

Как сделаться телом без органов?



Яйцо догона и распределение интенсивностей

В любом случае, у вас есть одно (или несколько), и неважно, заранее оно существует или дано уже готовым, — хотя в какой-то мере оно существует заранее, — но, в любом случае, вы создаете одно, ибо не можете желать, не создавая одно, — и оно ждет вас, это — некий опыт, неизбежное экспериментирование, уже заверщенное в тот момент, когда вы его предприняли, и незавершенное, ибо

вы не предприняли его. Оно — не успокоение, ибо вы можете упустить его. Или же оно может быть ужасающим, может привести вас к смерти. Оно — как нежелание, так и желание. Оно — вовсе не понятие, не концепт, а, скорее, практика, совокупность практик. Тело без Органов, мы не достигнем его, мы не можем достичь его, мы всегда приближаемся к нему, оно — предел. Мы говорим: так что же это такое, ТБО — но мы уже на нем, ползая как паразит, двигаясь на ощупь как слепец или бегая как безумец, путник пустыни или кочевник степи. Именно на нем мы спим, бодрствуем, на нем мы сражаемся, бьемся или терпим поражение, на нем мы ищем свое место, узнаем собственное неслыханное счастье и невероятные крушения, на нем мы проникаем и проникаемы; на нем мы любим. 28 ноября 1947 года Арто объявил войну органам: *Дабы покончить с Божьей карой*, «если хотите, то можете связать меня, но нет ничего более бесполезного, чем орган». Это не только радиофоническое экспериментирование, но и биологическое, и политическое, навлекающее на себя всю цензуру и репрессию. Тело и Социус, политика и экспериментирование. Вам не позволят экспериментировать в своем углу.

ТБО — оно уже в пути, когда у тела достаточно органов, и оно хочет сместить их или даже их лишиться. Долгая процессия:

— *ипохондрическое тело*, чьи органы разрушены, ущерб нанесен, более ничего не происходит, «мадемуазель Х утверждает, что у нее уже нет ни мозга, ни нервов, ни груди, ни желудка, ни кишок, остались только кожа да кости разрушенного тела — это ее собственные выражения»;

— *параноическое тело*, где органы непрестанно атакуются какими-то внешними воздействиями, а также восстанавливаются благодаря энергиям извне («он долго жил без желудка, без кишечника, почти без легких, с разорванным пищеводом, без мочевого пузыря, с раздробленными ребрами, порой по частям съедал собственную гортань, и так далее, но божественные чудеса всегда вновь возрождали то, что было разрушено»);

— *шизоидное тело*, доходящее до активной внутренней борьбы, каковую оно само ведет против органов ценой кататонии, а затем *наркотическое тело*, экспериментальный шизофреник: «человеческое тело вопиюще неэффективно. Почему бы вместо рта и заднего прохода, которые то и дело выходят из строя, не пробуравить одну дыру на все случаи жизни — чтобы и есть, и очищать организм? Мы могли бы закупорить нос и рот, заткнуть желудок и провести вентиляционное отверстие прямо в легкие, где ему, кстати, и место»¹;

— *мазохистское тело*, его нельзя как следует понять, исходя из одной боли, речь, прежде всего, идет о ТБО; оно заставляет садиста или проститутку зашивать вас, зашивать глаза, анус, уретру, груди, нос; оно заставляет подвешивать себя, дабы остановить осуществление органов, сдирать кожу, будто органы приросли к ней, драть себя в задницу, душить, дабы все было наглухо закупорено.

Откуда такая мрачная когорта зашитых, остекленевших, кататонических, высосанных тел, ведь ТБО наполнено также радостью, восторгом, танцем? Так к чему тогда эти примеры, зачем нужно проходить через них? Опустошенные тела, вместо наполненных. Что произошло? Достаточно ли вы осторожны? Не мудрость, но осторожность — как доза, как имманентное правило экспериментирования: инъекции осторожности. Многие проиграли в этой битве. Так ли уж унижительно и опасно прятать глаза, чтобы видеть; легкие, чтобы дышать; рот, чтобы жрать; язык, чтобы болтать; мозг, чтобы измышлять, анус и глотку, голову и ноги? Почему бы не ходить на голове, не петь брюшной полостью, не видеть кожей, не дышать животом, Простая Вещь, Сущность, наполненное Тело, неподвижный Вояж, Анорексия, кожное Зрение, Йога, Кришна, Love*, Экспериментирование. Там, где психоанализ говорит: Стойте, поймите себя, — мы говорим: Идем дальше, мы не

¹ Берроуз, Уильям. Голый завтрак. М.: АСТ, 2010, с. 169.

* Любовь (англ.). — Прим. пер.

нашли еще своего ТбО, не достаточно разрушили свое я. Замените анамнез забыванием, интерпретацию — экспериментированием. Найдите свое ТбО, сумейте его сделать, это вопрос жизни и смерти, молодости и старости, печали и радости. Именно тут все разыгрывается.

«Госпожа, 1) ты можешь связать меня на столе, туго стянуть, десять—пятнадцать минут — время, достаточное, чтобы подготовить инструменты; 2) по крайней мере, сотня ударов хлыстом, несколько минут перерыва; 3) ты начинаешь зашивать, ты зашиваешь дыру в головке полового члена, кожу вокруг нее пришиваешь к самой головке, оберегая от разрыва, ты пришиваешь мошонку к коже бедер. Ты зашиваешь груди, надежно приметывая пуговицу с четырьмя отверстиями на каждый сосок. Ты можешь соединить их резинкой, свернутой в петлю — *Ты переходишь ко второй стадии*: 4) у тебя есть выбор, либо развернуть меня на столе так, чтобы я связанным лежал на животе, но ноги были вместе, либо привязать меня к одиноко стоящему столбу, связав запястья и ноги, стянув все тело; 5) ты хлещешь мою спину, ягодицы, бедра, не меньше сотни ударов хлыстом; 6) ты сшиваешь мои ягодицы, всю линию задницы. Крепко, двойной нитью, замирая на каждом стежке. Если я на столе, привяжи меня теперь к столбу; 7) ты наносишь мне пятьдесят ударов хлыстом по ягодицам; 8) если ты хочешь усложнить пытку и выполнить свою угрозу с прошлого раза, то, как можно глубже, воткни булавки в мои ягодицы; 9) затем ты можешь привязать меня к стулу, ты наносишь мне тридцать ударов плетью по груди и втыкаешь иголки; а если пожелаешь, то можешь заранее раскалить их докрасна — все или хотя бы некоторые. Я должен быть крепко привязан к стулу, кисти за спиной, так чтобы грудь выпятилась. Не хочу говорить об ожогах, ибо придется какое-то время посещать врача, поскольку они слишком долго заживают». — Это не фантазм, это — программа: есть существенная разница между психоаналитической интерпретацией фантазма и антипсихиатрическим экспериментированием программы.

Между фантазмом, интерпретацией, которая сама должна быть проинтерпретирована, и движущей программой экспериментирования.² ТбО — вот что остается, когда мы удаляем все. То, что мы удаляем, — это именно фантазм, совокупность означиваний и субъективаций. Психоанализ делает обратное — он все переводит в фантазмы, он все обращает в фантазм, он охраняет фантазм и, по преимуществу, упускает реальное, ибо упускает ТбО.

Что-то вот-вот произойдет, что-то уже происходит. Но мы не смешиваем то, что происходит на ТбО, с тем, как мы делаем себя им. Однако одно включает в себя другое. Отсюда и две фазы, утверждаемые в ранее цитируемом отрывке. *Почему же две явно различных фазы*, тогда как в обоих случаях происходит одно и то же — зашивание и удары хлыста? Одна фаза — для изготовления ТбО, другая, чтобы заставить нечто циркулировать, происходить; тем не менее, в обеих фазах присутствуют одни и те же процедуры, но они должны возобновляться, браться дважды. Несомненно, что именно в таких условиях мазохист сделал из себя ТбО, что ТбО может заселяться теперь только благодаря интенсивностям боли, *болезненными волнами*. И неверно говорить, будто мазохист ищет боли, но также неверно, будто он ищет особым образом приостановленного или окольного удовольствия. Он ищет ТбО, но такое, которое боль лишь заполняет, или по которому она проходит, благодаря тем самым условиям, при каких конституировалось ТбО. Боли суть популяции, стаи, модусы мазохиста-короля в пустыне, каковую он порождает и расширяет. То же годится для наркотического тела и интенсивностей холода, *замороженных волн*. Относительно каждого типа ТбО мы должны спросить: 1) Какого оно типа, как оно изготавливается, посредством каких процедур и средств, уже предпрещающих то, что вот-вот произойдет? 2) Каковы его модусы, что происходит

² Противопоставление программа—фантазм явно появляется у М'Юзана, особенно в случае мазохизма; ср.: *La sexualité perverse*, Payot, p. 36. Не обсуждая специально это противопоставление, М'Юзан использует понятие программы, чтобы поставить под вопрос темы Эдипа, тревоги и кастрации.

и с какими вариантами, с какими сюрпризами, с какими неожиданностями по отношению к ожидаемому? Короче, между ТбО того или иного типа и тем, что на нем происходит, существует весьма особое отношение синтеза и анализа — *априорный* синтез, где что-то обязательно будет произведено в данном модусе, но мы не знаем, что будет произведено; и бесконечный анализ, где то, что производится на ТбО, уже является частью производства этого тела, уже включено в него, уже на нем, но ценой бесконечности проходов, делений и недопроизводств. Крайне деликатное экспериментирование, ибо здесь не должно быть ни стагнации модусов, ни смещения в типе — мазохист, наркоман проходят близко от этих постоянных опасностей, опустошающих их ТбО вместо того, чтобы наполнять.

Мы можем дважды потерпеть неудачу, но это один и тот же провал, одна и та же опасность. На уровне конституирования ТбО и на уровне того, что происходит или не происходит на нем. Мы полагали, будто сделали себя хорошим ТбО, будто выбрали Место, Способность [Puissance] и Коллектив (всегда есть коллектив, даже если мы совершенно одни), а потом ничего не происходит, не циркулирует, или что-то является причиной того, что все прекращается. Параноическая точка, точка блокировки или приступ бреда — это хорошо видно в книге Берроуза-младшего *Speed**. Можно ли выделить такую опасную точку, нужно ли удалять блокировку, или же, напротив, мы должны «любить, почитать и служить безумцу каждый раз, когда он всплывает на поверхность»? Блокировать, быть заблокированным, не является ли это все еще интенсивностью? В каждом случае определять то, что происходит и не происходит, что заставляет происходить и что этому препятствует. Как в кругообороте мяса, по Левину, что-то течет через каналы, чьи секции определяются дверями с привратниками и проводниками.³ Швейцары дверей и закрыватели

* Скорость (англ.). — Прим. пер.

³ См. описание кругооборота и потока мяса в американской семье: Lewin, *L'écologie psychologique* // *Psychologie dynamique*, P. U. F., pp. 228—243.

люков, Малабар [Malabars] и Фьерабрас [Fierabras]. Тело — не более чем набор клапанов, переходных отсеков, шлюзов, пиал или сообщающихся сосудов: имя собственное для каждого, заселение ТбО, Метрополис, создаваемый хлыстом. Что населяет, что проходит и что блокирует?

ТбО сделано так, что его могут занимать или заселять только интенсивности. Только интенсивности проходят и циркулируют. И еще, тело без органов — не сцена, не место, даже не опора того, где что-то может происходить. Ничего общего с фантазмом, интерпретировать нечего. ТбО заставляет проходить интенсивности, оно их производит и распределяет в таком *spatium**'е, который сам интенсивен, лишен протяженности. Оно — не пространство и не в пространстве, оно — материя, занимающая пространство в той или иной степени, в той степени, какая соответствует произведенным интенсивностям. Оно — интенсивная, неоформленная и нестратифицированная материя, интенсивная матрица, интенсивность = 0, но в таком нуле нет ничего негативного, нет ни негативных, ни противоположающихся интенсивностей. Материя равна энергии. Производство реального как интенсивной величины, начиная с нуля. Вот почему мы трактуем ТбО как наполненное яйцо, вплоть до расширения организма и организации органов, вплоть до формации страт, мы трактуем ТбО как интенсивное яйцо, определяемое осями и векторами, градиентами и порогами, динамическими тенденциями с мутацией энергии, кинематическими движениями с перемещением групп, с миграциями, — все это не зависит от *вторичных форм*, ибо органы появляются и функционируют тут только как чистые интенсивности.⁴ Орган меняется, преодолевая порог, меняя градиент. «Но ни один орган не

* Промежуток, пространство (лат.). — Прим. пер.

⁴ Dalcq, *L'suf et son dynamisme organisateur*, Albin Michel, p. 95: «Формы контингенты в отношении кинематического динамизма. Формируются или нет отверстия в зародыше — вопрос второстепенный. Единственное, что принимается в расчет, так это сам процесс перемещения; как раз не инвагинация наделяет трещину или примитивную линию отверстиями, а чисто хронологические и количественные вариации».

имеет ни постоянной функции, ни постоянного местонахождения... повсеместно произрастают гениталии... открываются, опорожняются и вновь закрываются прямые кишки... в ежесекундном приспособливании меняются цвет и консистенция всего организма...»⁵ Тантрическое яйцо.

В конце концов, не является ли «Этика»* великой книгой о ТбО? Атрибуты — это типы или роды ТбО, субстанции, могущества, Нулевые интенсивности как продуктивные матрицы. Модусы — все то, что происходит: волны и вибрации, миграции, пороги и градиенты, продуктивные интенсивности в том или ином субстанциальном типе, начиная с данной матрицы. Мазохистское тело как атрибут или род субстанции, со своим производством интенсивности, болезненными модусами, начиная с зашивания, с его степени 0. Наркотическое тело как иной атрибут, со своим производством особых интенсивностей, начиная с абсолютного Холода =0. («Джанки вечно сетуют на Холод, как они это называют, поднимая воротники своих черных пальто и втягивая в плечи морщинистые шеи... чисто джанковское надувательство. Тепло джанки ни к чему, ему хочется ощущать Холодок—Прохладу—ХОЛОД. Но Холод ему нужен так же, как нужен его Джанк, — НЕ СНАРУЖИ, где он не приносит ничего хорошего, а ВНУТРИ, чтобы можно было сидеть себе с хребтом, подобным замороженному гидравлическому домкрату... его обмен веществ приближается к Абсолютному Нулю».***) И так далее. Проблема того, есть ли субстанция для всех субстанций, единственная субстанция для всех атрибутов, становится таковой: *существует ли совокупность всех ТбО?* Но если ТбО уже является пределом, то что можно сказать о совокупности всех ТбО? Это уже не проблема Единого и Множественного, а проблема множественности плавления, которая действительно выходит за пределы любой

⁵ Берроуз, Уильям. *Голый завтрак*. М.: АСТ, 2010, с. 28.

* Б.Спинозы. — *Прим. пер.*

** Берроуз, Уильям. *Голый завтрак*. М.: АСТ, 2010, с. 15. — *Прим. пер.*

оппозиции между единым и множественным. Формальная множественность субстанциальных атрибутов, конституирующая, как таковая, онтологическое единство субстанции. Континуум всех атрибутов или родов интенсивности под единственной субстанцией, и континуум интенсивностей определенного рода под одним и тем же типом или атрибутом. Континуум всех субстанций в интенсивности, а также всех интенсивностей в субстанции. Непрерывный континуум ТбО. ТбО, имманентность, имманентный предел. Наркоманы, мазохисты, шизофреники, влюбленные — все ТбО воздают должное Спинозе. ТбО — это *поле имманентности* желания, *план консистенции*, свойственный желанию (там, где желание определяется как процесс производства без ссылки на какую-либо внешнюю инстанцию, будь то искоряющая его нехватка или переполняющее его удовольствие).

Каждый раз, когда желание предано, проклято, вырвано из своего поля имманентности, за ним стоит священник. Священник налагает на желание тройное проклятие — негативный закон, внешнее правило и трансцендентный идеал. Повернувшись к северу, священник говорит: Желание — это нехватка (Как ему может не доставать того, чего оно желает?). Священник приносит первую жертву, именуемую кастрацией, и все мужчины и женщины севера выстроились за ним, скандируя хором: «нехватка, нехватка, вот общий закон». Затем, повернувшись к югу, священник связал желание с удовольствием. Ибо существуют гедонистические, даже оргиастические священники. Желание упокоится в удовольствии; и не только обретенное удовольствие заставит на какой-то момент умолкнуть желание, но и обретение желания — уже способ прервать удовольствие, немедленно разгрузить его и избавить вас от него. Удовольствие-разгрузка — священник принес вторую жертву, именуемую мастурбацией. Затем, повернувшись к востоку, он воскликнет: Наслаждение невозможно, но невозможное наслаждение вписано в желание. Ибо оно, в самой своей невозможности, является Идеалом, «нехват-

кой-в-наслаждении, которая и является жизнью». Священник принес третью жертву, фантазм или тысячу и одну ночь, сто двадцать дней, в то время как люди с востока пели: да, мы будем вашим фантазмом, вашим идеалом и невозможностью, вашей, а также и нашей. Священник не повернулся к западу, ибо знал, что тот заполнен планом консистенции, но он полагал, что это направление заблокировано Геркулесовыми столпами, что оно ведет в никуда и необитаемо. Но именно там обустроилось желание, запад был кратчайшим путем востока, как и других направлений, переоткрытых или детерриторизованных.

Самая недавняя фигура священника — это психоаналитик со своими тремя принципами: Удовольствие, Смерть и Реальность. Несомненно, психоанализ показал, что желание не подчинено ни зачатию, ни даже способности к половому размножению. В этом его модернизм. Но он сберег существенное, он даже нашел новые средства вписывать в желание негативный закон нехватки, внешнее правило удовольствия и трансцендентный идеал фантазма. Возьмем, к примеру, интерпретацию мазохизма — пока мы не взываем к смехотворному инстинкту смерти, то можем утверждать, что мазохист, как и любой другой, ищет удовольствия, но способен добиться последнего только через боль и фантазматические унижения ради того, чтобы смягчить или одолеть глубинную тревогу. Это неточно; страдание мазохиста — цена, которую он должен заплатить не ради достижения удовольствия, а чтобы разорвать псевдосвязь между желанием и удовольствием как внешней мерой. Удовольствие никоим образом не является чем-то, что может быть достигнуто только окольным путем страдания; оно должно быть максимально отсрочено как то, что прерывает непрерывный процесс позитивного желания. Дело в том, что есть имманентная желанию радость — как если бы желание заполнялось самим собой и собственными созерцаниями — есть радость, не предполагающая никакой нехватки, никакой невозможности, радость, измеряемая удовольствием, ибо именно она распределяет

интенсивности удовольствия и предохраняет их от захлестывания тревогой, стыдом и виной. Короче, мазохист пользуется страданием как средством конституирования тела без органов и извлечения плана консистенции желания. И неважно, могут ли быть иные средства, иные способы, нежели чем мазохизм, и, конечно же, куда лучшие; достаточно того, что кто-то находит эту процедуру пригодной для себя.

Возьмем непрошедшего психоанализ мазохиста: «ПРОГРАММА... Разбудите тихо ночью, наденьте на руки цепи и либо как можно сильнее стяните их, либо привяжите сразу к упряжи по возвращении из ванны. Наденьте сбрую, а затем, не теряя времени, вожжи, приладивши пальцы, привязанные к сбруе. Пенис должен быть заключен в металлический чехол. Напряжен часа два в день, а уж вечером по желанию хозяина... Три-четыре дня заключения, причем конечности связаны удилами, которые то стягиваются, то ослабляются. Хозяин никогда не подойдет к лошади без овса, без желания взнуздать ее. Если животное выказало нетерпение или непослушание, узда будет стянута плотнее, а хозяин натянет ее и задаст твари хороший нагоняй»⁶. Что же делает мазохист? Сначала, кажется, будто он имитирует лошадь, *equus eroticus**, но это не так. Ни лошадь, ни хозяин-дрессировщик, ни хозяйка — уже не образы матери или отца. Тут совершенно иной вопрос: сущностное становление-животным в мазохизме, вопрос сил. Мазохист представляет это так: *Аксиома обучения — уничтожайте инстинктивные силы, дабы заменить их силами трансмиссии*. Действительно, речь идет не столько о разрушении, сколько об обмене и циркуляции («то, что происходит с лошастью, может произойти и со мной»). Лошадь выдресси-

⁶ Roger Dupouy, Du masochisme // *Annales médico-psychologiques*, 1929, II, pp. 397–405.

* «Поза *equus eroticus*, часто изображаемая на римских фресках, — это сцена сна... *Equus eroticus* отсылает нас к греческим полуденным сфинксам — крылатым демоницам, — что садятся в час сиесты на мужской вздыбленный член и похищают его семя... Это та самая “сидящая кобылица” (*equus eroticus*)» (Киньяр П. *Секс и страх*. СПб.: Азбука, 2005, с. 690–691). — *Прим. пер.*

рована — ее инстинктивным силам человек навязывает силы трансмиссии, которые управляют первыми, отбирают их, господствуют над ними, сверхкодируют их. Мазохист осуществляет инверсию знаков — лошадь передает ему свои силы трансмиссии так, чтобы врожденные силы мазохиста были, в свою очередь, обузданы. Есть две серии — серия лошади (врожденная сила, сила, переданная человеком) и серия мазохиста (сила, переданная лошадью, врожденная сила человека). Одна серия взрывается в другой, формирует с ней цикл — рост могущества или цикл интенсивностей. «Хозяин», или, скорее, хозяйка-наездница, всадница, удостоверяет конверсию сил и инверсию знаков. Мазохист полностью конструирует всю сборку, которая сразу расчерчивает и заполняет поле имманентности желания, конституируя собой, лошадью и хозяйкой некое тело без органов или план консистенции. «В результате вот то, что нужно получить — я пребываю в постоянном предвкушении твоих жестов и распоряжений, и, мало-помалу, любое противостояние сменяется *слиянием* моей личности с твоей... Именно в таком смысле, даже подумав о твоих ботинках и не осознав этого, я должен испытывать страх. Тут уж женские ножки не впечатляют, а если хочешь моей ласки — ты ведь помнишь ее, — если хочешь прочувствовать ее еще раз, то оставь след своего тела, след, который я не воспринимал прежде и не буду воспринимать по-иному». Ноги — все еще органы, но только ботинки задают теперь зону интенсивности в виде отпечатка, следа или зоны на ТБО.

Так же — или, скорее, по-иному — было бы ошибкой интерпретировать изысканную любовь в терминах закона нехватки или идеала трансцендентности. Отказ от внешнего удовольствия или его задержка, его отдаление в бесконечность свидетельствуют, напротив, в пользу завоеванного состояния, где у желания нет более никакой нехватки, где оно заполняет себя и строит свое поле имманентности. Удовольствие — это привязанность личности или субъекта, это единственное средство для личности «найти себя» в

процессе желания, выступающего за его пределы; удовольствия, даже самые искусственные, суть ретерриторизации. Но нужно ли встречаться с самим собой? Изысканная любовь любит самость не более, чем всю вселенную небесной или религиозной любви. Речь идет о создании тела без органов, по которому проходят интенсивности, и где нет более ни самости, ни другого — не от имени более высокой общности или более обширного расширения, но благодаря сингулярностям, о которых уже нельзя сказать, являются ли они личными, и благодаря интенсивностям, о которых уже нельзя сказать, являются ли они экстенсивными. Поле имманентности не является внутренним для меня, но оно при этом не исходит от какого-то внешнего я [moi] или не-я [non-moi]. Скорее, оно похоже на абсолютно Внешнее, не знающее никакого Я [Moi], ибо внутреннее и внешнее равным образом являются частями имманентности, где они и растаяли. «Радость» в изысканной любви, обмен сердцами, проверка или «испытание» — допускается все, но до тех пор, пока оно не является внешним желанию, трансцендентным его плану или же внутренним по отношению к личностям. Самая легкая нежность может быть столь же сильной, как оргазм; оргазм — это только факт, и довольно прискорбный, в отношении желания, добивающегося своего права. Все дозволено — в расчет берется лишь то, что способствует удовольствию быть потоком самого желания, Имманентностью, а не мерой, прерывающей его или делающей его зависимым от этих трех фантомов, а именно, внутренней нехватки, верховной трансцендентности и явно внешнего характера.⁷ Если удовольствие и не обладает желанием как нормой, то вовсе не благодаря

⁷ Об изысканной любви и ее радикальной имманентности, отказывающейся и от религиозной трансценденции, и от гедонистической экстериорности, см.: René Nelli, *L'erotique des troubadours*, 10–18, notamment I, pp. 267, 316, 358, 370, II, pp. 47, 53, 75. (А также: I, p. 128: одно из главных различий между рыцарской любовью и изысканной состоит в том, что «для рыцаря доблесть, благодаря которой мы достойны любви, всегда является *внешней* к любви», тогда как в системе изысканной любви испытание по существу *внутренне присуще* любви; военная доблесть замещается «сентиментальным героизмом» — это и есть мутация военной машины.)

нехватке, каковую невозможно восполнить, но, напротив, благодаря его позитивности, то есть благодаря плану консистенции, который оно чертит по ходу собственного процесса.

В 982—984 годах нашей эры была создана великая японская компиляция трактатов китайских Даосов. Мы видим тут формирование цикла интенсивностей между женской и мужской энергиями, причем женщина играет роль врожденной или инстинктивной силы (Инь), похищенной мужчиной или переданной мужчине так, что сила, переданная мужчине (Ян), в свою очередь, становится врожденной, все более врожденной — увеличение власти.⁸ Условием такой циркуляции и умножения является то, чтобы мужчина не эякулировал. Речь не о том, чтобы испытать желание как внутреннюю нехватку, речь не об отсрочке удовольствия, дабы произвести что-то вроде овнешненной прибавочной стоимости — напротив, речь идет о конституировании интенсивного тела без органов, Дао, поля имманентности, где желание ни в чем не испытывает нехватки и поэтому не может соотноситься с какими-либо внешними или трансцендентными критериями. Верно, что весь кругооборот может быть канализирован в целях производства потомства (эякуляция в момент наивысшей энергии); именно так считало конфуцианство. Но это верно лишь для одной стороны сборки желания — стороны, повернутой к стратам, организмам, государству, семье... Хотя неверно для другой стороны, даосской стороны дестратификации, расчерчивающей план консистенции, свойственный желанию. Является ли Дао мазохистским? Является ли изысканная любовь Даосской? Такие вопросы почти бессмысленны. Поле имманентности, или план консистенции, должно конструироваться; итак, оно может иметь место в крайне разных социальных формациях посредством крайне разных сборок — извращенных,

⁸ Van Gulik, *La vie sexuelle dans la Chine ancienne*, Gallimard; и комментарий Loy-tard, J.-F. *Economie libidinale*, Ed. de Minuit, pp. 241—251.

искусственных, научных, мистических, политических, — у которых нет одного и того же типа тел без органов. Оно конструируется шаг за шагом, с помощью мест, условий и методов, несводимых друг к другу. Вопрос, скорее, состоит в том, могут ли эти шаги соответствовать друг другу и какой ценой. Неизбежно тут будут чудовищные скрещения. План консистенции был бы тотальностью всех ТбО, чистой множественностью имманентности, одна часть которой может быть китайской, другая — американской, третья — средневековой, а еще одна — мелко извращенной, но в движении обобщенной детерриторизации, где каждый обретает и делает то, что может, согласно собственным вкусам, ибо он преуспеет в абстрагировании от самости, согласно политикам или стратегии — успешно абстрагируется от данной формации, согласно данной процедуре, абстрагируется от своего происхождения.

Мы различаем: 1) ТбО разных типов, родов или субстанциальных атрибутов, например Холод наркотического ТбО, Болезненность мазохистского ТбО; причем у каждого своя степень 0 как принцип производства (это — *remissio**); 2) то, что происходит на каждом типе ТбО, то есть производится модусами, интенсивностями, передаваемыми волнами и вибрациями (*latitudo***); 3) вероятной совокупностью всех ТбО, планом консистенции (*omnitude****, иногда называемым ТбО). Однако вопросы множатся — не только: Как сделаться ТбО и как произвести соответствующие интенсивности, без которых оно осталось бы пустым? Это совсем не один и тот же вопрос. Но еще: как достичь плана консистенции? Как сшить вместе, остудить вместе и связать вместе все ТбО. Если такое возможно, то лишь благодаря сопряжению интенсивностей, произведенных на каждом ТбО, благодаря континууму всех интенсивных последовательностей. Не нужны ли сборки, дабы изготовить каждое ТбО, не нужна ли великая абстрактная Машина, дабы

* Понижение, ослабление, спокойствие, отдых (лат.). — Прим. пер.

** Широта (лат.). — Прим. пер.

*** Всецелостность, всеобщность (лат.). — Прим. пер.

сконструировать план консистенции? Бейтсон называет термином *плато* области непрерывной интенсивности, конституированные так, что они как не допускают прерывания любыми внешними завершениями, так и не позволяют себе двигаться к кульминации; например, некоторые сексуальные или агрессивные процессы в полинезийской культуре.⁹ Плато есть часть имманентности. Каждое ТбО сделано из плато. Каждое ТбО само является плато, коммуницирующее с другими плато на плане консистенции. Это компонента перехода.

Перечитаем «Гелиогабала» и «Тараумара». Ибо Гелиогабал — это Спиноза, а Спиноза — это воскрешенные Гелиогабала. А Тараумара — это экспериментирование, пейют. Спиноза, Гелиогабал и экспериментирование обладают одной и той же формулой: анархия и единство — одно и то же, не единство Единого, но куда более странное единство, говорящее только о множественном.¹⁰ Именно это выражают обе книги Арто — множественность слияния, плавление как бесконечный ноль, план консистенции, Материя, где нет никаких богов; принципы как силы, сущности, субстанции, элементы, ремиссии, производства; способы бытия или модальности как произведенные интенсивности, вибрации, дыхания, Числа. И наконец, трудность достижения такого мира коронованной Анархии, если мы остаемся в органах — «печени, делающей кожу более желтой, мозге, разрушенном сифилисом, кишечнике, удаляющем фекалии», — и если мы остались замкнутыми в организме или страте, блокирующей потоки и фиксирующей нас тут, в нашем мире.

Понемногу мы отмечаем, что ТбО — вовсе не противоположность органам. Его враги — не органы. Враг — орга-

⁹ Бейтсон Г. *Экология разума*. М.: Смысл, 2000, с. 144.

¹⁰ Artaud, *Héliogabale*, Œuvres complètes VII, Gallimard, pp. 50–51. Верно, что Арто все еще представляет тождество Единого и Множественного как диалектическое единство, что он редуцирует множественное, собирая его в Единое. Он делает Гелиогабала своего рода гегельянцем. Но это лишь манера речи; ибо с самого начала многообразия превосходят любую оппозицию и смешают диалектическое движение.

низм. ТБО противостоит не органам, но той организации органов, которую называют организмом. Верно, что Арто ведет борьбу против органов, но одновременно он борется с организмом, против организма: *«Тело есть тело. Оно одно. И не нуждается в органах. Тело — не организм. Организмы — враги тела»*. ТБО не противостоит органам, но — со своими «истинными органами», которые должны быть составлены и размещены, — оно противостоит организму, органической организации органов. *Кара Божья*, система Божьей кары, система теологическая — именно в этом состоит действие ТБО, которое создает организм, организацию органов, называемую организмом, ибо Он не может поддерживать ТБО, ибо Он преследует, потрошит его, дабы пройти первым и пропустить вперед организм. Организм — это уже Божья кара, то, чем пользуются врачи и откуда они извлекают свою власть. Организм — вовсе не тело, не ТБО, но некая страта на ТБО, то есть феномен аккумуляции, коагуляции и седиментации, навязывающий формы, функции, связи, доминирующие и иерархизированные организации, организованные трансцендентности, дабы извлечь полезный труд. Страты — это путы, клещи. «Свяжите меня, если хотите». Мы не престаем быть стратифицированными. Но кто такие мы, не являющиеся самостью [moi], ибо субъект, как и организм, принадлежит некой страте и зависит от нее? Теперь мы отвечаем: это ТБО, это та ледниковая реальность, где образуются эти аллювии, осаднения, коагуляции, складчатости и разглаживания, komponующие организм — а также сигнификацию и субъекта. Именно на ТБО наваливается и над ним осуществляется кара Божья, именно оно подвергается ей. Именно в нем органы вступают в отношения композиции, называемой организмом. ТБО выкрикивает: меня сделали организмом! меня незаконно согнули! у меня украли мое тело! Кара Божья искореняет его из его имманентности и делает его организмом, сигнификацией, субъектом. Именно оно стратифицировано. Итак, ТБО колеблется между двумя полюсами — поверхностью стратификации, на которую оно опускается,

на которой оно подчиняется суду, и планом консистенции, где оно разворачивает и открывается в экспериментирование. Если ТбО — некий предел, если мы никогда не престаем достигать его, то это потому, что всегда есть страта позади другой страты, страта, встроенная в другую страту. Ибо нужно много страт, а не только организм, чтобы творить Божий суд. Бесконечная и жестокая битва между планом консистенции, освобождающим ТбО, пересекающим и демонтирующим все страты, и поверхностью стратификации, которая блокирует или придавливает его.

Рассмотрим три больших страты, касающиеся нас, то есть страты, которые самым непосредственным образом связывают нас — организм, означивание и субъективацию. Поверхность организма, угол означивания и интерпретации, точка субъективации или подчинения. Ты будешь организован, ты будешь организмом, ты артикулируешь свое тело — или же ты будешь только лишь извращенцем. Ты будешь означающим и означаемым, интерпретатором и интерпретируемым — или же ты будешь только лишь уклонистом. Ты будешь субъектом, будешь зафиксирован как таковой, субъектом высказывания, придавленным на субъекте высказываемого, — или же ты будешь только лишь бродягой. В совокупности страт ТбО противостоит дезартикуляции (или *n* артикуляциям) как свойству плана консистенции, экспериментированию как действию на том плане (нет означающего, никогда не интерпретируй-те!), номадизму как движению (двигайтесь даже на месте, никогда не прекращайте шевелиться, неподвижный вояж, десубъективация). Что это означает: дезартикулировать, перестать быть организмом? Как объяснить, до какой степени это просто, и что мы делаем это каждый день. С какой необходимой предосторожностью, искусством дозировок, а также с опасностью, передозировкой. Мы действуем не ударами молота, а с помощью очень тонкого напильника. Мы изобретаем саморазрушения, не смешивающиеся с влечением к смерти. Демонтирование организма никогда не являлось самоубийством, оно, скорее, открывает тело

соединениям, предполагающим целиком всю сборку, циркуляции, конъюнкции, ступенчатость и пороги, переходы и распределения интенсивности, территории и детерриторизации, измеренные с ловкостью землемера. В пределе, демонтирование организма не труднее, чем демонтирование других страт — означивания и субъективации. Означивание прилеплено к душе, так же как организм прилеплен к телу, причем трудно избавиться и от того, и от другого. А что касается субъекта, то как мы можем отцепиться от точек субъективации, которые фиксируют нас, приковывают к господствующей реальности? Оторвать сознания от субъекта, дабы сделать его средством исследования, оторвать бессознательное от означивания и интерпретации, дабы сделать его подлинным производством — это, конечно, не более и не менее трудно, чем оторвать тело от организма. Осторожность — это искусство, общее для всех трех; и если случается, что, демонтируя организм, мы проходим очень близко от смерти, то мы проходим крайне близко и от лжи, иллюзии, галлюцинации и психической смерти, укрываясь от означивания и подчинения. Арто взвешивает и измеряет каждое свое слово — сознание «знает, что хорошо для него, а что для него ничего не стоит; а значит, какие мысли и чувства оно может принять безопасно и с выгодой, а какие пагубны для осуществления его свободы. Прежде всего, оно знает, насколько далеко заходит его собственное бытие и насколько далеко оно еще не зашло или не имеет права зайти, не утонув в нереальном, иллюзорном, недоделанном, неготовом... *План*, которого нормальное сознание не достигает, но которого *Ciguri** позволяет нам достичь и который как раз является тайной любой поэзии. Но в человеке есть и *другой план*, темный и бесформенный, куда сознание не вступает и который от случая к случаю окружает его подобно непроявленной пролонгации или угрозе. И который также высвобождает авантюрные ощущения и

* Сигури — Бог, почитаемый индейским племенем Тутугури. Подробнее см.: Арто, Антонен. *Ритуал Пейотля у индейцев племени тараумара* // Арто А. Тараумара. М.: KOLONNA Publications, Митин Журнал, 2006. — *Прим. пер.*

восприятия. Именно бесстыдные фантазии аффектируют больное сознание. Что касается меня, то я также имел ложные ощущения и восприятия, и поверил в них».¹¹

Организм — его следует сохранять так, чтобы он перестроивался при каждом рассвете; и небольшие запасы означивания и субъективации — они должны сохраняться, пусть даже для того, чтобы поставить их против собственной системы, когда того требуют обстоятельства, когда вещи, люди, даже ситуации вынуждают вас к этому; и небольшие порции субъективности — они должны сохраняться в достаточной мере, чтобы уметь отвечать господствующей реальности. Подражайте стратам. Мы не достигнем ТбО и его плана консистенции, дико дестратифицируя. Вот почему мы с самого начала столкнулись с парадоксом таких мрачных и опустошенных тел — *они опустошили себя от своих органов* вместо того, чтобы искать точки, где они могли бы терпеливо и моментально демонтировать организацию органов, называемую организмом. Уже имелось несколько способов упустить ТбО — либо мы не в состоянии произвести его, либо мы более или менее его производим, но в нем ничего не производится, интенсивности не проходят или блокируются. Дело в том, что ТбО не перестает колеблется между стратифицирующими его поверхностями и освобождающим его планом. Попробуйте освободить его от слишком жестокого жеста, взорвать страты, не принимая мер предосторожности, и вы убьете сами себя, погружаясь в черную дыру или даже втягиваясь в катастрофу, вместо расчерчивания плана. Самое худшее не в том, чтобы остаться стратифицированным — организованным, означающим, подчиненным, — а в том, чтобы вовлечь страты в суицидальное крушение или безумие, вынуждающее их вновь навалиться на нас — тяжелее, чем когда-либо. Следовательно, вот как это должно быть сделано — обустройтесь на страте, экспериментируйте со случаями, которые она предлагает, ищите благоприятное место,

¹¹ Artaud, *Les Tarahumaras*, t. IX, pp. 34–35.

вероятные движения детерриторизации, возможные линии ускользания, опробуйте их, обеспечивайте здесь и там конъюнкции потока, испытывайте сегмент за сегментом континуумы интенсивности, всегда имейте небольшой участок новой земли. Именно благодаря щепетильному отношению к стратам мы преуспеваем в освобождении линий ускользания, заставляя проходить и ускользать сопряженные потоки, испуская непрерывные интенсивности ради ТбО. Соединять, сопрягать, продолжать — целая «диаграмма» против все еще означающих и субъективных программ. Мы пребываем в общественной формации; прежде всего видим, как она стратифицируется для нас, в нас и в том месте, где мы находимся; вновь восходим от страт к более глубокой сборке, где мы захвачены; очень мягко расшатываем эту сборку, вынуждая переходить ее на сторону плана консистенции. Только там ТбО оказывается тем, чем является — коннекцией желаний, конъюнкцией потоков, континуумом интенсивностей. Мы сконструировали для себя собственную маленькую машинку, готовую, согласно обстоятельствам, подключиться в другим коллективным машинам. Кастанеда описывает долгий процесс экспериментирования (неважно, идет ли речь о пейотле или о чем-то другом): вспомним на мгновение, как индеец вынуждает его сначала найти «место» — уже непростая операция, — затем найти «союзников», потом, постепенно, отказаться от интерпретирования, конструировать — поток за потоком и сегмент за сегментом — линии экспериментации, становления-животным, становления-молекулой и т.д. Ибо ТбО является все этим — необходимо Место, необходим План, необходим Коллектив (собирающий элементы, вещи, растения, животных, инструменты, людей, могущества и фрагменты всего этого, ибо не существует «моего» ТбО, но есть «моя самость [moi]» на нем, то, что остается от меня, неизменное и меняющее форму, пересекающее пороги).

По мере чтения книг Кастанеды читатель может начать сомневаться относительно существования индейца дона

Хуана, да и многого другого. Но это не имеет никакого значения. Тем лучше, если книги являются скорее изложением какого-то синкретизма, нежели этнографией или протоколом опыта, нежели отчетом об инициации. Четвертая книга, «Сказки о силе», касается живого различия между «тоналем» и «нагуалем». *Тональ*, по-видимому, обладает разнородным расширением: он — организм, а также все то, что организовано и организует; но он также — означивание, все то, что является означающим или означаемым, все, что восприимчиво к интерпретации, объяснению, все, что поддается воспоминанию в виде чего-то, что напоминает нечто иное; наконец, он — Самость, субъект, индивидуальная, социальная или историческая личность, и все соответствующие чувства. Короче, тональ — это все, включая Бога и Божью кару, ибо он «создает законы, по которым он воспринимает мир, значит, в каком-то смысле он творит мир»*. И все же тональ — это только остров. Ибо *нагуаль* — это также все. И это — то же самое все, но при таких условиях, что тело без органов заменило организм, экспериментирование заменило любую интерпретацию, в какой она более не нуждается. Потoki интенсивности, их жидкости, их волокна, их континуумы и их конъюнкции аффектов, дуновение, тонкая сегментация, микроперцепции заменили мир субъекта. Становления, становления-животным, становления-молекулярным заменяют индивидуальную или всеобщую историю. Действительно, тональ не столь разнороден, как кажется, — он постигает совокупность страт и все, что может быть соотнесено со стратами, организацией организма, интерпретацией и объяснением того, что способно к означиванию, с движением субъективации. Нагуаль, напротив, демантирует страты. Это более не функционирующий организм, а конструирующееся ТБО. Нет больше действий, которые надо объяснять, нет снов или фантазмов, которые надо интерпретировать, вос-

* Кастанеда, Карлос. *Сказки о силе* // Кастанеда К. Сказки о силе. Второе кольцо силы. К.: София, 1992, с. 126. — Прим. пер.

поминаний детства, которые надо вспоминать, слов, которые надо означивать, а есть цвета и звуки, становления и интенсивности (и когда ты становишься собакой, то не спрашивай, является ли собака, с коей ты играешь, сном или реальностью, является ли она «вашей матерью-шлюхой» или чем-то еще другим). Нет больше Самости, которая чувствует, действует и вспоминает, а есть «светящийся туман, темно-желтая дымка», обладающая аффектами и претерпевающая движения, скорости. Но важно не демонтировать тональ, сразу разрушая его. Нужно сократить, сузить, очистить его, и притом только в определенные моменты. Нужно сохранить его, чтобы выжить, чтобы отразить атаку нагуаля. Ибо нагуаль, который бы вырывался, уничтожил бы тональ, ибо тело без органов, которое разрушило бы все страты, тут же превратилось бы в тело небытия, чистое самоуничтожение, чьим единственным исходом является смерть — «Тональ должен быть защищен любой ценой»**.

Мы все еще не ответили на вопрос: почему так много опасностей? почему теперь так много необходимых предосторожностей? Дело в том, что мало абстрактно противопоставлять страты и ТбО. Ибо, что касается ТбО, то мы уже находим его в стратах, как и на дестратифицированном плане консистенции, но совершенно иным способом. Возьмем организм как страту — действительно, есть ТбО, противостоящее организации органов, которую мы называем организмом, но также есть и ТбО организма, принадлежащее такой страте. *Злокачественная ткань* — каждый момент, каждую секунду клетка становится злокачественной, безумной, размножается и утрачивает свою конфигурацию, захватывает все; нужно, чтобы организм вновь подчинил ее своему правилу или вновь стратифицировал не только ради собственного выживания, но также ради того, чтобы можно было ускользнуть вовне организма, ускользнуть от фабрикации «другого» ТбО на плане консистенции.

** Там же, с. 163. — *Прим. пер.*

Возьмем, к примеру, страту означивания — опять же, есть злокачественная ткань означивания, расцветающее тело деспота, которое блокирует любую циркуляцию знаков, так же как препятствует рождению а-означающего знака на «другом» ТбО. Или же удушающее тело субъективации, которое делает освобождение тем более невозможным, что не позволяет даже различать субъектов. Даже если мы рассматриваем те или иные общественные формации или такой-то аппарат страты внутри некой формации, то мы говорим, что каждый и все они имеют свое ТбО, готовое подтачивать, размножаться, покрывать и захватывать все социальное поле целиком, вступая в отношения насилия и соперничества, а также альянса и соучастия. ТбО денег (инфляция), но также и ТбО Государства, армии, фабрики, города, Партии и т.д. Если страты задействованы в коагуляции и осаждении, то достаточно стремительной степени осаждения в страте, чтобы та утратила свою конфигурацию и артикуляцию и образовала свою особую опухоль в себе самой, в данной формации или в аппаратах. Страты порождают свои тоталитарные и фашистские ТбО, ужасающие карикатуры плана консистенции. Следовательно, мало провести различие между полными ТбО на плане консистенции и пустыми ТбО на обломках страт, разрушенных слишком неистовой дестратификацией. Также нужно принять в расчет начинающие разрастаться злокачественные ТбО в страте. *Проблема трех тел*. Арто говорил, что вне «плана» есть другой план, окружающий нас «непроясненной пролонгацией или угрозой, ибо случиться может все что угодно». Это борьба, имя коей никогда в достаточной мере не прояснено. Как изготовить для себя ТбО так, чтобы оно не было злокачественным ТбО фашиста внутри нас, либо пустым ТбО наркомана, параноика или ипохондрика? Как различить три Тела? Арто не перестает сталкиваться с этой проблемой. Экстраординарна композиция «Дабы покончить с Божьей карой» — он начинает с того, что проклиная злокачественное тело Америки, тело войны и денег; он осуждает страты, которые называет «какашкой»;

стратам он противопоставляет истинный План, даже если тот является лишь маленькой струйкой тараумара, пейотлем; но он также знает и об опасностях слишком brutальной, слишком небрежной дестратификации. Арто постоянно сталкивается со всем этим и расплавляется в нем. *Письмо Гитлеру*. «Уважаемый господин, однажды вечером в 1932 году в берлинском “Ider Café”, где мы познакомились незадолго до того, как вы пришли к власти, я показал вам заграждения на карте, которая была не только географической картой, заграждения против меня, действие силы, направленной в нескольких смыслах-направлениях, обозначенных вами. Сегодня, Гитлер, я снимаю установленные мной заграждения! Парижанам нужен газ. Ваш А.А. — P.S. Разумеется, уважаемый господин, это едва ли приглашение, это прежде всего предупреждение».¹² Такая карта, являющаяся не только географической, — это что-то вроде карты интенсивности ТбО, где заграждения обозначают пороги и газ, волны или потоки. Даже если Арто сам и не преуспел, он уверен, что благодаря нему, что-то имеет успех ради нас всех.

ТбО — это яйцо. Но яйцо не регрессивно — напротив, оно современно по преимуществу, мы всегда несем его с собой как свою собственную среду экспериментирования, свою ассоциированную среду. Яйцо — это среда чистой интенсивности, *spatium**, а не *extensio***, Нулевая интенсивность как принцип производства. Есть фундаментальное схождение науки и мифа, эмбриологии и мифологии, биологического яйца и психического или космического яйца — яйцо всегда обозначает такую интенсивную реальность, не только недифференцированную, но и ту, где вещи, органы различаются только благодаря градиентам, миграциям, зонам близости. Яйцо — это ТбО. ТбО не существует «до» организма, оно примыкает к нему и непрестан-

¹² Ср.: *Cause commune*, n° 3, oct. 1972.

* Пространство (лат.). — Прим. пер.

** Протяженность (лат.). — Прим. пер.

но созидает себя. Если оно и связано с детством, то не в том смысле, что взрослый регрессирует к ребенку, а ребенок — к Матери, но в смысле, что ребенок — эдакий близнец-догон, уносящий с собой кусочек плаценты, — отрывает от органической формы Матери некую интенсивную и дестратифицированную материю, которая, напротив, конституирует его постоянный разрыв с прошлым, его опыт, его актуальное экспериментирование. ТбО — это блок детства, становление, противоположность воспоминанию детства. Оно — ни ребенок «до» взрослого, ни мать «до» ребенка: оно — строгая современность взрослого, ребенка и взрослого, их карта сравнительных плотностей и интенсивностей, и все вариации на такой карте. ТбО — это как раз такая интенсивная зародышевая плазма, где нет и не может быть ни родителей, ни детей (органической репрезентации). Вот чего не понял Фрейд у Вейсмана — ребенок как зародышевый современник родителей. Так что тело без органов никогда не бывает твоим, моим... Это всегда *некое* тело. Оно проективно не более, чем регрессивно. Это некая инволюция, но инволюция творческая и всегда современная. Органы распределяются на ТбО; но только распределяются они независимо от формы организма, причем формы становятся контингентными, органы же являются не более, чем произведенными интенсивностями, потоками, порогами, градиентами. «Некий» живот, «некий» глаз, «некий» рот — неопределенный артикль не испытывает ни в чем нехватки, он ни неопределенность, ни недифференцированность, но он выражает чистую определенность интенсивности, интенсивное различие. Неопределенный артикль — проводник желания. Речь идет не о раздробленном, расколотом теле или об органах без тела (ОбТ). ТбО — прямая противоположность этому. Нет ни органов, раздробленных по отношению к некоему утраченному единству, ни возврата к чему-то недифференцированному по отношению к поддающейся дифференциации целостности. Есть распределение интенсивных резонансов для органов с их позитивными неопределенными артиклями внутри кол-

лектива или множественности, в сборке и согласно машинным соединениям, действующим на теле без органов. Logos spermaticos***. Вина психоанализа в том, что он постигает феномены тела без органов как регрессии, проекции, фантазмы, в связи с неким *образом* тела. Итак, он ухватил лишь изнанку и уже подменил семейными фотографиями, воспоминаниями детства и частичными объектами мировую карту интенсивности. Он ничего не понимал ни в яйце, ни в неопределенных артиклях, ни в современности среды, которая непрестанно создает саму себя.

ТбО — это желание, это то, что и посредством чего мы желаем. И не только потому, что оно является планом консистенции или полем имманентности желания; но даже когда оно падает в пустоту брутальной дестратификации или в пролиферацию злокачественной страты, оно остается желанием. Желание идет дальше — порой желать своего собственного уничтожения, порой желать того, что обладает властью уничтожить. Желание денег, желание армии, полиции и Государства, фашистское желание, ведь даже фашизм — это желание. Желание есть всякий раз, когда есть конституция ТбО под одним отношением или под другим. Это проблема не идеологии, а чистой материи, феномена физической, биологической, психической, социальной или космической материи. Вот почему материальная проблема шизоанализа состоит в том чтобы знать, есть ли у нас средства осуществлять отбор, отделять ТбО от его двойников — пустых стекловидных тел, злокачественных тел, тоталитарных и фашистских. Испытание желания — не разоблачать ложные желания, а различать в желании то, что отсылает к пролиферации страты, или к слишком жесткой дестратификации, и то, что отсылает к конструкции плана консистенции (отслеживать все фашистское, даже внутри нас, а также суицидальное и безумное). План консистенции — это не просто то, что конституируется

*** Оплодотворяющее начало, семена логоса, зародышевый (или семенной) смысл (идея, форма) [особенно у стоиков] (лат.). — Прим. пер.

всеми ТбО. Есть и то, что он отвергает; именно он осуществляет выбор с помощью абстрактной машины, которая его чертит. И даже в ТбО (тело мазохиста, наркотическое тело и т.д.) различает то, что компонуемо или не компонуемо на плане. Фашистское использование наркотиков, или же суицидальное использование, а также возможность использования, соответствующего плану консистенции? Даже паранойя: возможность хотя бы частично нее так использовать? Когда мы задавали вопрос о совокупности всех ТбО, рассматриваемых как субстанциальные атрибуты единственной субстанции, то, в строгом смысле, это должно быть понято только применительно к плану. Именно он создает совокупность отобранных полных ТбО (не бывает позитивной совокупности с пустыми или злокачественными тела). Какова же природа такой совокупности? Исключительно логическая? Или же нужно сказать, что каждое ТбО в своем роде производит эффекты, идентичные или аналогичные эффектам других ТбО в их собственном роде? То, что получает наркоман, то, что получает мазохист, может быть также получено иным способом в условиях плана — а, в конечном счете, принимать наркотики без наркотиков, напиваться допьяна чистой воды, как в экспериментах Генри Миллера? Или еще: не идет ли речь о реальном проходе субстанций, об интенсивной непрерывности всех ТбО? Несомненно, все возможно. Мы говорим только: тождество эффектов, непрерывность родов, тотальность всех ТбО могут быть получены на плане консистенции лишь благодаря абстрактной машине, способной покрывать и даже чертить его, благодаря сборкам, способным подключаться к желанию, действительно заботиться о желаниях, утверждать непрерывные соединения, трансверсальные связи. Или по другому, ТбО плана останутся отдельными в своем роде, маргинальными, сведенными до подручных средств, тогда как на «другом плане» торжествуют пустые или злокачественные двойники.

7. Год ноль: Лицевость



Нам уже встречались две оси — означивание и субъективация. То были две крайне разных семиотики, или даже две страты. Но означивание не обходится без белой стены, где оно записывает свои знаки и избыточности. Субъективация же не обходится без черной дыры, куда помещает свое сознание, страсть и избыточности. Поскольку есть лишь смешанные семиотики, а страты всегда идут, по крайней мере, парами, то не следует удивляться, что там, где они пересекаются, монтируется весьма специфическое устройство. И как ни странно, это лицо: система *белая*

стена — черная дыра. Широкое лицо с белыми щеками, мелованный лик, пробитый глазами как черной дырой. Голова клоуна, белый клоун, лунный Пьеро, ангел смерти, плащаница. Лицо — не внешняя оболочка того, кто говорит, мыслит, чувствует. Форма означающего в языке, его единство сами оставались бы неопределенными, если бы вероятный слушатель не распоряжался собственными выборами на лице того, кто говорит («о, он, кажется, в гневе...»; «он не мог сказать этого...»; «смотри мне в лицо, когда я с тобой разговариваю...»; «смотри на меня внимательно...»). Ребенок, женщина, мать, мужчина, отец, начальник, учитель, полицейский говорят не на языке вообще, а на языке, чьи выражающие черты индексируются в особых чертах лицевого. Изначально лица не индивидуальны, они определяют зоны частоты или вероятности, ограничивают некое поле, которое заранее нейтрализует выражения или соединения, невосприимчивые к соответствующим сигнификациям. Так же и форма субъективности — будь то сознание или страсть — оставалась бы абсолютно пустой, если бы лица не формировали места резонанса, отбирающие ментальное или чувственное реальное, заранее обеспечивая последнему соответствие с некой господствующей реальностью. Лицо само является избытком. И оно само создает избыток благодаря избыткам означивания или частоты, как и благодаря избыткам резонанса или субъективности. Лицо строит стену, в коей нуждается означающее, дабы подскакивать; оно конституирует стену означающего, рамку или экран. Лицо роет дыру, в коей нуждается субъективация, дабы пронзать; оно конституирует черную дыру субъективности как сознание или страсть — камера, третий глаз.

Итак, нельзя ли сказать обо всем иначе? Не совсем верно, будто лицо конституируется стеной означающего или дырой субъективности. Лицо — по крайней мере, конкретное лицо — начинает неясно прорисовываться *на* белой стене. Оно начинает неясно проявляться *в* черной дыре. У крупного плана лица в кинематографе как бы два

полюса — крупный план может быть сделан так, что лицо отражает свет, либо же, напротив, он подчеркивает тени лица, вплоть до погружения последнего «в безжалостную тьму»¹. Один психолог говорил, будто лицо — это визуальный перцепт, который с самого начала выкристаллизовывается из «всевозможных разнообразий неясных свечений, бесформенных и безразмерных». Суггестивная белизна, захватывающая дыра — лицо. Безразмерная черная дыра и бесформенная белая стена изначально уже тут. И в такой системе возможно много сочетаний — либо черные дыры распределяются на белой стене, либо белая стена истончается, вытягивается в нить и уходит в черную дыру, которая объединяет все черные дыры, низвергает или «вздымает» их. Порой лица проступают на стене со своими черными дырами; порой они появляются в дыре со своей линеаризованной, скрученной стеной. Страшная сказка, но лицо и есть страшная сказка. Конечно же, означающее выстраивает необходимую ему стену не в одиночку; конечно же, субъективность не в одиночку роет свою дыру. Но никакое конкретное лицо не может быть дано в готовом виде. Конкретные лица порождаются *абстрактной машиной лицевости*, которая, производя их, одновременно дает означающему его белую стену, а субъективности — ее черную дыру. Таким образом, система черная дыра—белая стена — еще не лицо, но абстрактная машина, производящая лицо согласно деформируемым сочетаниям своих шестеренок. А мы и не ожидаем, будто абстрактная машина похожа на то, что она производит, на то, что собирается произвести.

Абстрактная машина появляется внезапно, когда мы ее не ждем, в момент засыпания, сумеречного состояния, галлюцинации или забавного физического эксперимента... Новелла Кафки «Блумфельд»: старый холостяк возвращается вечером к себе домой и обнаруживает два маленьких шарика для пинг-понга, прыгающих сами по себе на «стене» пола, причем скачут они повсюду, даже

¹ Sternberg, Josef von. *Souvenirs d'un montreur d'ombres*, Laffont, pp. 342–343.

пытаются тюкнуть его в лицо, и кажется, будто внутри них есть другие, еще более мелкие, электрические шарики. Наконец Блумфельду удается запереть их в черной дыре платяного шкафа. Та же сцена продолжается и на следующий день, когда Блумфельд пытается всучить шарики маленькому глупому мальчишке и двум кривляющимся девчонкам, а затем в конторе, где встречает двух своих глупых и кривляющихся практикантов, желающих овладеть метелкой. В замечательном балете Нижинского и Дебюсси теннисный мячик начинает подпрыгивать в темной части сцены; в завершении сюжета появится и другой мячик. На сей раз — между двумя мячиками — две девочки и наблюдающий их мальчик развивают свои аффективные черты танца и лица под неясным освещением (любопытство, досада, ирония, экстаз...).² Здесь нечего объяснять, нечего интерпретировать. Чистая абстрактная машина сумеречного состояния. Белая стена—черная дыра? Но, в зависимости от сочетаний, стена также могла бы быть черной, а дыра — белой. Шары могут скакать на стене или ускользать в черную дыру. Даже в своем столкновении они могут играть относительную роль дыры в отношении стены, как и в своем длинном пробеге они могут играть относительную роль стены в отношении дыры, к коей они направляются. Они циркулируют в системе белой стены—черной дыры. Ничего не напоминает здесь лица, и, однако, во всей системе распределяется лицо, организуются черты лицевости. Тем не менее, такая абстрактная машина может, конечно же, осуществляться в чем-то ином, нежели лица; но не в любом порядке, и не без необходимых оснований [raisons].

Лицом много занималась американская психология, особенно, что касается отношений ребенка с матерью через *eye-to-eye contact**. Машина с четырьмя глазами? Напомним некоторые этапы этих исследований: 1) иссле-

² О таком балете см.: *Debussy de Jean Barraqué*, Ed. du Seuil, где цитируется текст доказательства, pp. 166—171.

* Контакт глаза в глаза (англ.). — Прим. пер.

дования Исаковера о засыпании, где так называемые проприоцептивные ощущения** — будь то мануальные, оральные, кожные или даже смутно визуальные — отсылают к инфантильному отношению рот—грудь; 2) открытие Левиным *белого экрана* сна, обычно покрытого визуальными содержаниями, но остающегося белым, когда содержанием сна являются только проприоцептивные ощущения (этот экран или эта белая стена, а еще то могла бы быть материнская грудь, приближающаяся, увеличивающаяся, расплюсчивающаяся); 3) интерпретация Шпица, согласно которой белый экран — это, скорее, некий визуальный перцепт, предполагающий минимум дистанции и, на таком основании, выявляющий материнское лицо, по которому ориентируется ребенок, дабы найти грудь, нежели репрезентация самой груди как объекта тактильного ощущения или контакта. Итак, имеется сочетание двух крайне разных видов элементов — мануальные, оральные или кожные проприоцептивные ощущения; визуальная перцепция лица, увиденного анфас на белом экране с рисунком глаз как черных дыр. Такая визуальная перцепция очень быстро обретает решающее значение в отношении акта питания, в отношении тактильно ощущаемых груди как объема и рта как полости.³

Тогда мы можем предложить следующее различие — лицо составляет часть системы поверхность—дыры, системы дырявой поверхности. Но систему эту ни в коем случае нельзя смешивать со свойственной (проприоцептивному) телу системой объем—полость. Голова включена в тело, но не в лицо. Лицо — это поверхность: черты, линии, морщины лица, лицо вытянутое, квадратное, треугольное; лицо — некая карта, даже если оно налагается или навивается на объем, даже если оно окружает или окаймляет какие-то полости, существующие только как дыры. Голова — даже

** Обеспечивающие сигналы о положении тела в пространстве. — *Прим. пер.*

³ См.: Isakower, Contribution à la psychopathologie des phénomènes associés à l'endormissement // *Nouvelle revue de psychanalyse*, n° 5, 1972; Lewin, «Le sommeil, la bouche et l'écran du rêve», *ibid.*; Spitz, *De la naissance à la parole*, P.U. F., pp. 57–63.

человеческая — не обязательно является лицом. Лицо производится лишь тогда, когда голова перестает быть частью тела, когда она перестает кодироваться телом, сама перестает обладать многомерным, многозначным телесным кодом — когда тело, включая голову, оказывается декодированным и должно *сверхкодироваться* тем, что мы назовем Лицом. Иными словами, голова, все объемно-полостные элементы головы должны быть олицевлены. И их олицевление осуществляется дырявым экраном, системой белой стены—черной дыры, абстрактной машиной, производящей лицо. Но данная операция на этом не заканчивается — голова и ее элементы олицевляются лишь в том случае, если олицевляется или должно олицевляться все тело целиком в ходе неизбежного процесса. Рот, нос и — прежде всего — глаза становятся дырявой поверхностью, только таща за собой все прочие объемы и полости тела. Операция, достойная доктора Моро — ужасная и блестящая. Рука, грудь, живот, пенис и влагалище, бедро, нога и ступня олицевляются. Фетишизм, эротомания и т.д. неотделимы от этих процессов олицевления. Речь вовсе не о том, чтобы взять какую-то часть тела, дабы наделить ее *сходством* с лицом или запускать в игру лик сновидения, [проступающий] как в тумане. Никакого антропоморфизма. Олицевление действует не благодаря сходству, а благодаря порядку оснований [raisons]. Именно это действие — куда более бессознательное и машинное — заставляет все тело проходить через дырявую поверхность, а лицу здесь отводится роль не модели или образа, а сверхкодирования для всех декодированных частей. Все остается сексуальным — никакой сублимации, но новые координаты. *Именно в силу зависимости лица от абстрактной машины, оно не ограничивается тем, что покрывает голову*, но затрагивает другие части тела и даже, если нужно, иные несхожие объекты. *Тогда речь идет о том, чтобы знать, при каких обстоятельствах включается эта машина*, производящая лицо и олицевление. Если уж голова — даже человеческая — не является обязательно лицом, то лицо производится в чело-

веческом роде, но в силу необходимости, которая не применима к людям «вообще». Лицо не является животным, но не является оно и человеческим вообще, в лице есть даже что-то абсолютно нечеловеческое. Было бы ошибкой полагать, будто лицо становится нечеловеческим, только начиная с некоторого порога: крупный план, предельное увеличение, необычное выражение и т.п. Нечеловеческое в человеке — вот что такое лицо изначально, лицо по природе — крупный план, с его неживыми белыми поверхностями, с его сверкающими черными дырами, с его пустотой и скукой. Лицо-бункер. До такой степени, что если у человека и есть какая-то судьба, то она, скорее, в том, чтобы бежать от лица, разрушать лицо и олицевления, становиться невоспринимаемым, становиться подпольщиком: не посредством возвращения к животности, не даже посредством возвращений к голове, но с помощью крайне духовных и особых становлений-животным, с помощью поистине странных становлений, преодолевающих стену и выбирающихся из черных дыр, являющихся причиной того, что сами *черты лицевости* избегают наконец-таки организации лица, более не позволяют итожить себя лицом — веснушки, ускользающие к горизонту, унесенные ветром волосы, глаза, которые мы пронизываем насквозь вместо того, чтобы увидеть в них себя или заглядывать в них во время нудных столкновений означающих субъективностей. «Я больше не смотрю в глаза женщины, которую держу в своих объятиях, но проплываю их насквозь — сначала голова, потом руки, ноги — и вижу, что за глазницами раскинулся целый неисследованный мир, мир будущности, и всякая логика здесь отсутствует... Я разрушил стену... Мне не нужны глаза, ибо они дают лишь образ познанного. Все мое тело должно стать неизменным пучком света, движущимся с величайшей быстротой, неостановимым, не оглядывающимся назад, неистощимым... Поэтому я затыкаю уши, глаза, рот».⁴ ТбО. Да, у лица великое будущее, но

⁴ Генри Миллер, *Тропик козерога*.

при условии, что оно будет разрушено, истреблено. На пути к а-значающему и а-субъективному. Но мы еще совсем не объяснили, что же мы чувствуем.

У перехода от системы тело—голова к системе лица нет ничего общего ни с эволюцией, ни с генетическими стадиями. Ни с феноменологическими позициями. Ни с интеграциями частичных объектов, вкупе со структурными или структурирующими организациями. Более не может быть ссылок на субъекта, который уже существовал или был бы приведен к существованию, не пройдя через машину, присущую лицевости. В посвященной лицу литературе тексты Сартра о взгляде и тексты Лакана о зеркале ошибочно отсылают к некой форме субъективности, человечности, отраженной в феноменологическом поле или расколотой в структурном поле. *Но взгляд лишь вторичен по отношению к глазам без взгляда, к черной дыре лицевости. Зеркало лишь вторично по отношению к белой стене лицевости.* Мы не будем более говорить ни о генетической оси, ни об интеграции частичных объектов. Мыслить стадиями в онтогенезе значит мыслить как арбитр — мы полагаем, будто самое быстрое является первым, пусть даже оно послужит основанием или трамплином для идущего следом. Что касается частичных объектов, то такая мысль еще хуже, это — мышление обезумевшего экспериментатора, который расчленяет, режет, анатомирует во всех смыслах-направлениях, рискуя, как попало, перешить все заново. Можно составить какой угодно список частичных объектов — рука, грудь, рот, глаза... Так от Франкенштейна не уйти. Нам надлежит рассматривать не органы без тела, не расчлененное тело, а прежде всего тело без органов, оживляемое разнообразными интенсивными движениями, которые задают природу и место интересующих нас органов и делают из этого тела организм или даже систему страт, куда организм входит только как часть. Сразу делается ясным, что самое медленное движение и то, что производится или случается с последним, не является наименее интенсивным. А самое быстрое могло уже сомкнуться, сцепиться с

ним в дисбалансе диссинхроничного развития страт, которые имеют разные скорости и не проходят последовательно сменяющие друг друга стадии, но все-таки являются одновременными. Тело — это проблема не частичных объектов, а дифференциальных скоростей.

Такие движения суть движения детерриторизации. Именно они «делают» из тела организм — животный или человеческий. Например, хватательная рука предполагает *относительную* детерриторизацию не только передней лапы, но и двигательной руки. У нее самой есть некий коррелят в виде полезного предмета или орудия — палка как детерриторизованный сук. Грудь женщины в вертикальном положении указывает на детерриторизацию молочной железы животного; рот ребенка, снабженный губами благодаря выворачиванию наружу слизистой оболочки, отмечает детерриторизацию рыла и пасти животных. Губы—грудь: каждое служит коррелятом для другого.⁵ Человеческая голова предполагает по отношению к животному некую детерриторизацию и в то же время имеет своим коррелятом организацию мира как уже детерриторизованной среды (степь — первый «мир», в противоположность среде леса). Но лицо, в свою очередь, представляет собой куда более интенсивную детерриторизацию, даже если она и медленнее. Мы могли бы сказать, что это *абсолютная* детерриторизация: относительной она перестает быть потому, что изымает голову из страты организма — как человеческого, так и животного, — дабы соединить ее с другими стратами, такими как страты означивания или субъективации. Итак, лицо обладает коррелятом огромной

⁵ Klaatsch, *L'Ovolution du genre humain // L'Univers et l'humanité*, par Kreomer, t. II: «Напрасно мы старались найти след красной каемки у губ молодых живых шимпанзе, в остальном так похожих на человека. <...> Как выглядело бы лицо самой привлекательной девушки, если бы ее рот был узкой полоской между двумя белыми краями? <...> С другой стороны, район груди у антропоида обладает двумя сосками молочных желез, но там никогда не формируются жировые складки, подобные грудям». И формулировка Эмиля Дево [Emile Devaux] в *L'espèce, l'instinct, l'homme*, Ed. Le François, p. 264: «Именно ребенок создает женскую грудь, именно мать создает детские губы».

важности — пейзажем, который уже не только среда, но детерриторизованный мир. На этом «высшем» уровне существует множество корреляций между лицом и пейзажем. Христианское воспитание осуществляет духовный контроль одновременно над лицевостью и над пейзажностью: скомпонуйте одно как другое, раскрасьте их, дополните их, упорядочите их — в некой взаимодополнительности, которая отсылает пейзажи к лицевости.⁶ Учебники по лицу и пейзажу образуют целую педагогику — строгую науку, которая вдохновляет искусства, так же как искусства вдохновляют науку. Архитектура размещает свои ансамбли — дома, деревни, города, монументы и заводы, — функционирующие как лица в пейзаже, который она трансформирует. Живопись возобновляет то же движение, но также и меняет его на противоположное, помещая пейзаж в зависимость от лица, трактуя первый как второе: «трактат о лице и пейзаже». Крупный план в кинематографе трактуется лицо прежде всего как пейзаж; именно так определяется кино — черная дыра и белая стена, экран и камера. Но то же можно сказать и о других искусствах — архитектуре, живописи, даже романе: крупные планы, оживляющие их, изобретая все их корреляции. А твоя мать — это пейзаж или лицо? Лицо или завод? (Годар). Все лица окутывают неизвестный, неизведанный пейзаж; все пейзажи населены любимым или желаемым в мечтах лицом, все развивают лицо, которое придет или уже прошло. Какое лицо не обращается к пейзажам, которые оно объединило, к морю и горе; какой пейзаж не взывает к лицу, которое дополнило бы его, которое предоставило бы ему неожиданное дополнение в виде своих линий и черт? Даже когда живопись становится абстрактной, все, что она делает, так это

⁶ Осуществление лица играет существенную роль в педагогических принципах Ж.-Б. де Сале [J.-B. de la Salle]. Но уже Игнатий Лойола присоединяет к своему преподаванию осуществления пейзажа или «компоновки места» касательно жизни Христа, ада, мира, и т.д. — как говорит Барт, речь идет о художочных образах, подчиненных языку, а также об активных схемах, которые следует дополнять, раскрашивать, как те, что мы находим в катехизисах и благочестивых руководствах.

переоткрывает черную дыру и белую стену, великую композицию белого полотна и черного разреза. Разрыв, но также и растягивание полотна осью ускользания, точкой ускользания, диагональю, лезвием ножа, разрезом или дырой — машина уже там, она всегда функционирует, производя лица и пейзажи, даже самые абстрактные. Тициан начинал с того, что создавал картину черным и белым цветом, но не ради формирования контуров, требующих заполнения, а как матрицу для каждого цвета, который еще придет.

Роман: *Персеваль видит диких гусей полет, коих снег ослепил. <...> Ястреб нашел одного из них, покинутого стаей. Он поразил его, ударил столь сильно, что тот камнем вниз полетел. <...> И Персеваль видит примятый снег, где лежит гусь, и кровь, появившуюся вокруг. Он опирается на копье, дабы узреть и капли крови, и снег. Эта свежая кровь ему кажется той, что была лицом его возлюбленной. И он думает до тех пор, пока не забывается, ибо именно так он видел на полотнище лицо своей любимой — ярко-красное, помещенное на белом, как эти три капли крови на белом снегу появились. <...> Мы увидели рыцаря, который дремлет на своем боевом коне. Здесь все: избыток, присущий лицу и пейзажу, снежная белая стена лица-пейзажа, черная дыра ястреба или трех капель, распределенных на стене; и в то же время, серебристая линия пейзажа-лица, ускользящая к черной дыре рыцаря, погруженного в кататонию. Не может ли рыцарь, иногда и в определенных условиях, протолкнуть движение еще дальше, пересекая черную дыру, проламывая белую стену, демонтируя лицо, — даже если такая попытка провалится?*⁷ Все это никоим образом не обозначает конец

⁷ Chrétien de Troyes, *Perceval ou le roman du Graal*, Gallimard, Folio, pp. 110–111. В романе Малькольма Лаури *Ultramarine* (DenoCl, pp. 182–196) мы находим похожую сцену, где главенствует «машинерия» судна — голубь тонет в воде, полной акул, «красный лист, упавший в белый поток», и это неизбежно вызывает образ окровавленного лица. Сцена Лаури вставлена в такие разные элементы и столь специфически организована, что не может быть никакой речи о влиянии сцены из Кретьена де Труа, но только лишь о встрече с этой сценой. Это прямое подтверждение существования подлинной абстрактной машины черной дыры или красного пятна—белой стены (снег или вода).

романтического жанра, а присутствует в нем с самого начала, принадлежит ему по существу. Неверно видеть в Дон Кихоте конец рыцарского романа — обращаясь к галлюцинациям героя, к растеканию его идей, к его гипнотическим или каталептическим состояниям. Неверно видеть в романах Беккета конец романа вообще — обращаясь к черным дырам, к линии детерриторизации персонажей, к шизофреническим прогулкам Моллоя или Безымянного, к потере ими своих имен, к воспоминанию или проекту. Действительно, существует эволюция романа, но она, конечно же, не роман. Роман всегда определялся приключением потерянных персонажей, уже не знающих своего имени, того, чего они ищут, или того, что творят, — персонажей, страдающих амнезией, атаксиков, кататоников. Именно они проводят различие между романтическим жанром и эпическим или драматическим жанром (когда эпический или драматический герой поражен безумием, беспамятством и т.д., то происходит это совершенно иным способом). «Принцесса Клевская» — роман, поражавший современников своей парадоксальностью: провалами в памяти или состояниями «покоя», сна, неожиданно поражающими персонажей; в нем везде есть какое-то христианское воспитание. «Моллой» — начало романтического жанра. Когда роман начинается (например, с Кретьена де Труа), то начинается он с существенного персонажа, который сопровождает роман на всем его пути — рыцарь куртуазного романа проводит время, забывая собственное имя, то, что он делает, что ему говорят, он не знает, куда идет или с кем разговаривает, он непрестанно чертит линию абсолютной детерриторизации, а также утрачивает собственный путь, останавливается и падает в черные дыры. «Он жаждет рыцарства и приключений». Откройте Кретьена де Труа на любой странице, и вы найдете сидящего на коне, опирающегося на копьё кататонического рыцаря, который чего-то ждет, высматривает в пейзаже лицо своей возлюбленной, и нужно толкнуть его, чтобы он ответил. Ланселот — перед белым лицом королевы — не замечает, как его лошадь

погружается в реку; или же он садится в проходящую повозку, и та оказывается повозкой бесчестья. Есть подходящая роману совокупность лица-пейзажа, где — то черные дыры распределяются на белой стене, то белая линия горизонта ускользает в черную дыру, и оба процесса происходят одновременно.

ТЕОРЕМЫ ДЕТЕРРИТОРИЗАЦИИ, ИЛИ МАШИННЫЕ ПРОПОЗИЦИИ

1 теорема. Мы никогда не детерриторизуемся в одиночку, но, по крайней мере, в двух терминах: рука—полезный объект, рот—грудь, лицо—пейзаж. И каждый из двух терминов ретерриторизуется на другом. Так что не надо смешивать ретерриторизацию с возвратом к примитивной или более древней территориальности — она с необходимостью подразумевает совокупность уловок, благодаря которым один элемент, сам детерриторизованный, служит новой территориальностью для другого, также утратившего собственную территориальность. Отсюда целая система горизонтальных и дополнительных ретерриторизаций — между рукой и инструментом, ртом и грудью, лицом и пейзажем. — **2 теорема.** Из двух элементов, или движений детерриторизации, самый быстрый необязательно является самым интенсивным или самым детерриторизованным. Интенсивность детерриторизации нельзя путать со скоростью движения или развития. Итак, самое быстрое может даже соединять свою интенсивность с интенсивностью самого медленного, которое, в качестве интенсивности, не сменяет самое быстрое, но работает одновременно с ним на иной страте или другом плане. Таким образом, отношение рот—грудь уже ориентируется на план лицевости. — **3 теорема.** Отсюда можно даже сделать вывод, что *наименее* детерриторизованное ретерриторируется на наиболее детерриторизованном. Здесь появляется вторая система ретерриторизаций — вертикальная система, идущая снизу вверх. В этом смысле не только рот, но также грудь, рука, все тело целиком и само орудие труда «олицевляются».

Как правило, относительные детерриторизации (транскодирование) ретерриторизируются на в той или иной степени абсолютной детерриторизации (сверхкодирование). Итак, мы увидели, что детерриторизация головы в лице является абсолютной, хотя остается негативной, ибо переходит от одной страты к другой, от страты организма к страте означивания и субъективации. Рука и грудь ретерриторизируются на лице и в пейзаже — они олицевляются в то же самое время, как и опейзаживаются. Даже полезный объект будет олицевляться — дом, утварь, или предмет, одежда, и т.д.; мы могли бы сказать, что *они смотрят на нас*, но не потому, что походят на лицо, а потому, что захвачены в процессе белая стена—черная дыра, потому, что они соединяются в абстрактной машине олицевления. Крупный план в кино так же касается ножа, чашки, часов или чайника, как и лица или элемента лица; например, у Гриффита, «чайник пялится на меня». Тогда нечестно говорить, будто существуют крупные планы романа, например, когда Диккенс пишет первую фразу «Сверчка за очагом»: «Начал чайник!»⁸, или в живописи, когда натюрморт становится изнутри лицом-ландшафтом, или когда посуда — чашка на скатерти или самоваре — олицевляется у Боннара, у Виллара. — **4 теорема.** Поэтому абстрактная машина осуществляется не только в лицах, производимых ею, но и — в той или иной степени — в частях тела, в одежде и объектах, которые она олицевляет, следуя некоему порядку причин (а не организации сходства).

⁸ Эйзенштейн С.М. *Избранные произведения в шести томах*. М.: Искусство, 1968, т. 5, с. 129–132: «“Начал чайник...”». Так начал Диккенс своего “Сверчка на печи”. Казалось бы, что может быть дальше от кинематографа! <...> И как на первый взгляд не кажется неожиданно. <...> Достаточно узнать в этом чайнике “крупный план”, чтобы воскликнуть: “Как же мы раньше не замечали? Это, конечно же, чистейший Гриффит!” <...> Конечно, этот чайник — типичнейший *гриффитовский* крупный план. Крупный план, насыщенный — теперь мы это видим отчетливо — типично *диккенсовской* “атмосферой”, которой с одинаковым мастерством умеет обволакивать Гриффит и строгий облик быта “Далеко на востоке”, и леденящий холод морального облика его персонажей, толкающих провинившуюся Лилиан Гиш на зыбкую поверхность мчащегося... *ледохода*» (мы снова находим здесь белую стену).

Все же остается вопрос: Когда абстрактная машина лицевости вступает в игру? Когда она запускается? Возьмем простые примеры: материнская власть, проходящая через лицо в ходе кормления грудью; чувственная власть, проходящая через лицо любимой даже в нежностях; политическая власть, проходящая через лицо лидера — заголовки, изображения и фотографии — даже в массовых действиях; власть кино, проходящая через лицо кинозвезды и крупный план; власть телевидения... Лицо не действует здесь как нечто индивидуальное — именно индивидуальность следует из той необходимости, каковая была бы у лица. Вовсе не индивидуальность лица принимается в расчет, а эффективность шифрования, которой оно позволяет осуществиться и в каких случаях. Это — дело не идеологии, а экономии и организации власти. Мы, конечно же, не говорим, будто лицо, могущество лица порождает власть и объясняет ее. Зато *некоторые сборки власти нуждаются в производстве лица*, другие же — нет. Если мы рассматриваем первобытные общества, то там мало что проходит через лицо: их семиотика является не означающей, не субъективной, а по существу — коллективной, многозначной и телесной, играющей на крайне разнообразных формах и субстанциях выражения. Многозначность проходит через тела, их объемы, их внутренние каверны, их переменные внешние соединения и координаты (территориальности). Некий фрагмент мануальной семиотики, мануальная последовательность координируются — без подчинения и унификации — в оральной последовательности, в кожной или ритмичной последовательности и т.д. Лизот, например, показывает, как «размежевание обязанностей, ритуала и повседневной жизни является почти совершенным... странным, невообразимым для нас» — во время траура кто-то отпускает непристойные шутки, тогда как другие плачут; либо какой-нибудь индеец внезапно перестает плакать, чтобы настроить свою флейту; либо все засыпают.⁹

⁹ Jacques Lizot, *Le cercle des feux*, Ed. du Seuil, pp. 34 sq. 216.

То же верно и для инцеста — нет никакого запрета на инцест, есть инцестуозные последовательности, которые соединяются с последовательностями запрета, согласно тем или иным координатам. Картины, татуировки, метки на коже сочетаются с мультиразмерностью тел. Даже маски удостоверяют скорее принадлежность головы к телу, чем надстраивают какое-то лицо. Несомненно, происходят глубинные движения детерриторизации, встряхивающие координаты тела и намечающие специфические сборки власти; между тем, они соединяют тело не с лицевостью, а с животными становлениями — как раз с помощью наркотиков. Конечно, духовности тут не меньше: ибо становления-животным касаются животного Духа — духа-ягуара, духа-птицы, духа-оцелота, духа-тукана, — который овладевает внутренностью тела, входит в его каверны, заполняет объемы, вместо того чтобы создавать ему лицо. Случаи овладения выражают непосредственное отношение Голоса с телом, а не отношение с лицом. Хрупкие и ненадежные организации власти шамана, воина и охотника являются тем более духовными, что они проходят через телесность, животность и вегитабельность. Когда мы говорили, что человеческая голова все еще принадлежит страте организма, мы, очевидно, не отвергали существования культуры и общества у этих народов; мы говорили лишь о том, что коды таких культур и обществ касаются тел, принадлежности голов телам, способности системы тело—голова *становиться* и получать души, получать их в качестве друзей и отторгать души врагов. «Первобытные люди» могут обладать самыми духовными, самыми красивыми и самыми человеческими головами, но у них нет никакого лица, да они в нем и не нуждаются.

И по простой причине. Лицо не универсально. Оно даже не лицо белого человека; оно — сам белый Человек, с его широкими белыми щеками и черной дырой глаз. Лицо — это Христос. Лицо — это типичный Европейец, тот, кого Эзра Паунд назвал неким чувственным человеком, короче, обычным Эротоманом (психиатры XIX века были правы,

говоря, что эротомания, в отличие от нимфомании, часто остается чистой и целомудренной; дело в том, что она проходит через лицо и олицевление). Не универсалия, а *facies totius universi**. Иисус Христос — суперзвезда: он изобрел олицевление всего тела и распространил его повсюду (страсть Жанны Д'Арк крупным планом). Следовательно, лицо по природе — это совершенно особая идея, которая не мешает ему обретать и осуществлять самую общую функцию — функцию дву-однозначности [bi-univocisation], бинаризации. Тут есть два аспекта: абстрактная машина лицевости, то, как она компонуется черной дырой—белой стеной, функционирует двумя способами, один из которых касается единств или элементов, а другой — выборов. Согласно первому аспекту, черная дыра действует как центральный компьютер, Христос, третий глаз, перемещающийся по стене или белому экрану как общей поверхности референции. Каким бы ни было содержание, коим мы ее наделяем, машина вот-вот приступит к конституированию некоего единства лица, элементарного лица в дву-однозначном отношении с другим лицом: — это — мужчина *или* женщина, богач или бедняк, взрослый или ребенок, лидер или подчиненный, «некий *x* *или* некий *y*». Перемещение черной дыры по экрану, бег третьего глаза по поверхности референции конституируют столько же дихотомий или древовидных разветвлений, сколько и машины о четырех глазах, являющиеся элементарными лицами, связанными попарно. Лицо учительницы и ученика, отца и сына, рабочего и начальника, полицейского и гражданина, обвиняемого и судьи («у судьи был суровый вид, а глаза лишены горизонта...»): конкретные индивидуальные лица производятся и трансформируются вокруг таких единств, таких комбинаций единств — подобно лицу богатого ребенка, в котором мы уже распознаем военное призвание, затылок курсанта Сен-Сир. Мы скорее проваливаемся в лицо, чем обладаем им.

* Форма вселенной в целом (лат.). — Прим. пер.

Согласно другому аспекту, абстрактная машина лицевого-сти принимает роль избирательного ответа или выбора — учитывая конкретное лицо, машина судит, проходит оно или нет, идет оно или нет, согласно единствам элементарных лиц. На сей раз, бинарное отношение — это отношение типа «да—нет». Пустой глаз черной дыры поглощает или отклоняет, как полубезумный деспот все еще подает знак согласия или отказа. Лицо этого преподавателя искажено тиками и охвачено тревогой, которая и есть причина того, что «оно не идет дальше». Обвиняемый, подданный демонстрируют крайне аффектированную покорность, которая становится высокомерием. Либо же: слишком любезен, чтобы быть честным. Такое лицо — это ни лицо мужчины, ни лицо женщины. И еще, оно — ни лицо бедняка, ни лицо богача, является ли опустившимся тот, кто потерял свое состояние? В каждый момент машина отклоняет несоответствующие лица или те, что имеют подозрительную наружность. Но только на таком уровне выбора. Ибо надо будет произвести последовательно типовые расхождения в отклонении для всего того, что избегает двуднозначных отношений, и установить бинарные отношения между тем, что принимается в первом выборе, и тем, что только терпится во втором, в третьем и т.д. Белая стена не перестает расти в то самое время, как черная дыра многократно функционирует. Учительница сошла с ума; но безумие — это соответствующее лицо *энного* выбора (однако, не последнего, ибо есть еще лики безумия, не соответствующие тому, что мы считаем безумием). Ах! это ни мужчина и ни женщина, это что-то трансвеститное: бинарное отношение располагается между «нет» первой категории и «да» следующей категории, которая — при определенных условиях — может также легко маркировать некую терпимость как индикатор врага, коего следует уничтожить любой ценой. В любом случае, тебя опознали, абстрактная машина вписала тебя в совокупность своей квадратной сетки. Мы ясно видим, что — в своей новой роли того, что находит отклонения, — машина лицевого-сти не удовлетворя-

ется индивидуальными случаями, но действует также и обобщенно, как действовала в своей первой роли рукоположения нормальности. Если лицо — действительно Христос, другими словами, некий средний белый Человек, то первые отклонения, первые типовые расхождения суть расовые — желтый человек, черный человек, люди второй или третьей категории. Они также будут записаны на стене, распределены благодаря дыре. Они должны быть обращены в христианство, то есть олицевляться. Европейский расизм как претензия белого человека никогда не действует с помощью исключения или обозначая кого-то как Другого — скорее, именно в первобытных обществах чужак схватывается как некий «другой».¹⁰ Расизм действует через детерминацию расхождений отклонения в зависимости от лица белого Человека, претендующего интегрировать несогласующиеся черты во все более и более эксцентричные и запаздывающие волны: иногда, чтобы терпеть их в данном месте и в данных условиях — в таком-то гетто; иногда, чтобы стирать их со стены, которая никогда не поддерживает инаковость (это еврей, это араб, это негр, это сумасшедший и т.д.). С точки зрения расизма, внешнего не существует, вовне людей нет. Есть только люди, которым следовало бы быть такими же, как мы, и чье преступление состоит лишь в том, что они таковыми не являются. Купюра проходит уже не между внутренним и внешним, а внутри одновременных означающих цепей и последовательных субъективных выборов. Расизм никогда не обнаруживает частиц другого, он распространяет волны одного и того же, пока не погасит всех, кто не поддается идентификации (или тех, кто поддается идентификации, только начиная с того или иного расхождения?). Его жестокость равняется лишь его неопытности или наивности.

Куда более ярким образом разыграла все ресурсы Христа-лица живопись. Живопись использует абстрактную

¹⁰ О чужаке, рассматриваемом как Другой, см.: Haudricourt, *L'origine des clones et des clans* // *L'Homme*, janvier 1964, pp. 98–102; а также: Jaulin, *Gens du soi, gens de l'autre*, 10–18 (предисловие, p. 20).

машину лицевости — белую стену—черную дыру — во всех смыслах, дабы производить с помощью лика Христа любые единства лица, а также любые расхождения в отклонении. В этом отношении в живописи — от Средних веков до Ренессанса — есть какое-то ликование, подобное безудержной свободе. Христос не только главенствует в олицевлении всего тела целиком (своего собственного тела), в опейзаживании всех сред (своей собственной среды), но он также компонует все элементарные лица и размещает все их отклонения: Христос — ярмарочный атлет, Христос — маньеристский педик, негритянский Христос или, наконец, черная Девственность за краем стены. Самые великие безумия проявляются на полотнах сквозь католический код. Вот один пример среди столь многих: на белом фоне пейзажа и черно-голубой дыры неба распятый Христос — ставший машиной бумажный змей — посылает с помощью лучей стигматы святому Франциску; стигматы вызывают олицевление тела святого по образу тела Христа; но эти же лучи, несущие стигматы святому, также являются и нитями, за которые святой тянет божественного бумажного змея.* Именно под крестным знамением мы сумели измельчить лицо и процессы олицевления во всех смыслах.

Теория информации принимает в качестве точки отсчета однородную совокупность *означающих* посланий, которые уже взяты как элементы в дву-однозначных отношениях или элементы которых дву-однозначно организованы между посланиями. Во-вторых, тираж некой комбинации зависит от определенного числа *субъективных* бинарных выборов, которые растут пропорционально числу элементов. Но есть проблема — вся эта дву-однозначность, вся эта бинаризация (которая зависит не только от все большей легкости расчетов) уже предполагают разворачивание стены или экрана и установку центральной исчисляющей дыры, без которых никакое послание не было бы распознаваемым, никакой выбор не мог бы быть выполнен. Систе-

* Имеется в виду фреска Джотто «Стигматизация св. Франциска». — Прим. пер.

ма черная дыра—белая стена уже должна разграфить все пространство, очертить свои древовидные разветвления или свои дихотомии, дабы означающее и субъективация позволили понять саму их возможность. Смешанная семиотика означивания и субъективации нуждается прежде всего в защите от любого вторжения извне. Нужно даже, чтобы больше не было никакого внешнего — никакая номадическая машина, никакая примитивная многозначность вместе с их сочетаниями неоднородных субстанций выражения не должны появляться. Нужна одна-единственная субстанция выражения как условие любой переводимости. Мы можем конституировать означающие цепи, действуя с помощью дискретных, оцифрованных, детерминированных элементов, только при условии наличия доступного семиологического экрана, стены, которая их защищает. Мы можем делать субъективные выборы между двумя цепями или в каждой точке цепи только при условии, что никакая внешняя буря не сметет цепи и субъектов. Мы можем сформировать ткань субъективности, только если обладаем центральным глазом, черной дырой, захватывающей все, что превышало бы, все, что трансформировало бы как ассигнованные аффекты, так и господствующие сигнификации. Более того, абсурдно полагать, будто язык как таковой может переносить послание. Язык всегда воплощен в лицах, которые сообщают свои высказываемые и нагружают их балластом в отношении текущих означающих и рассматриваемых субъектов. Именно на лицах находят свое направление выборы и организуются элементы — общая грамматика никогда не отделима от воспитания лиц. Лицо — подлинный рупор. Следовательно, абстрактная машина лицевости не только должна производить защитный экран и исчисляющую черную дыру, она производит именно лица, расчерчивающие все виды древовидных ветвлений и дихотомий, без которых означающее и субъективное не смогли бы заставить функционировать эти древовидные ветвления и дихотомии, возвращающие означающее и субъективное в язык. Несомненно,

бинарности и дву-однозначности лица не те же, что бинарности и дву-однозначности языка, его элементов и субъектов. Они нисколько не походят друг на друга. Но первые лежат в основе вторых. Действительно, когда машина лицевости переводит какое-либо оформленное содержание в одну-единственную субстанцию выражения, она уже подчиняет их исключительной форме означающего и субъективного выражения. Она выполняет предварительное разграфление, которое обеспечивает возможность различимости означающих элементов, осуществимости субъективных выборов. Машина лицевости — не дополнение к означающему и субъекту; скорее, она присоединена к ним и является их условием: дву-однозначности и бинарности лица удваивают других, избытки лица создают избыток с означающими и субъективными избытками. Именно потому, что лицо зависит от абстрактной машины, оно не предполагает уже присутствующих здесь субъекта или означающего; но лицо с ними соединено и сообщает им необходимую субстанцию. Как раз не субъект выбирает лицо, как в тесте Зонди, а именно лица выбирают своих субъектов. Как раз не означающее интерпретирует фигуру черного пятна—белой дыры, или белой страницы—черной дыры, как в тесте Роршаха, а именно такая фигура программирует означающие.

Мы продвинулись в ответе на вопрос: Что запускает абстрактную машину лицевости, ибо та осуществляется не всегда и не во всех общественных формациях? *Некоторые* общественные формации нуждаются в лице, а также в пейзаже.¹¹ Это целая история. В связи с крайне разными датами происходило всеобщее крушение всех примитивных, многозначных и неоднородных семиотик, разыгрывающих разнообразные формы субстанции и выражения, —

¹¹ Морис Ронай [Maurice Ronai] показывает, каким образом пейзаж — и в реальности, и в понятии — отсылает к некоей семиотике и к аппаратам власти крайне живописным: география находит здесь один из своих источников, а также принцип своей политической зависимости (пейзаж «как лицо родины или нации»). Ср.: *Paysages // Hérodote* n° 1, janvier 1976.

крушение в пользу семиотики означивания и субъективации. Каковы бы ни были разногласия между означиванием и субъективацией, каким бы ни было превалирование того или другого в том или ином случае, как бы ни были вариативны фигуры в своей фактической перемешанности, — только сообща они могут разрушить любую многозначность, установить язык в форме исключительного выражения, действовать с помощью означающей дву-однозначности и субъективной бинаризации. Свойственная языку сверхлинейность уже не координируется многомерными фигурами — теперь она сплюсчивает все объемы и подчиняет себе все линии. Не случайно ли, что лингвистика всегда, и быстро, сталкивается с проблемой омонимии или двусмысленных высказываемых, которые она будет трактовать с помощью всей совокупности бинарных редукций? Более обобщено, никакая многозначность, никакая черта ризомы не могут быть поддержаны: ребенок — когда он бежит, играет, танцует, рисует — не может сконцентрировать внимание на языке и письме, также никогда он не будет хорошим субъектом. Короче, новая семиотика нуждается в систематическом разрушении всего множества примитивных семиотик, даже если она удерживает некоторые их обломки за хорошо определенным ограждением.

Однако, как раз-таки не семиотики ведут между собой войну с помощью единственного собственного вооружения. *Именно крайне особые сборки власти навязывают означивание и субъективацию как собственную детерминированную форму выражения, во взаимопредположении с новым содержанием — нет означивания без деспотической сборки, нет субъективации без авторитарной сборки, нет смешивания двух последних без сборок власти, которые действуют как раз благодаря означающим и осуществляют-ся на душах или субъектах. Итак, именно такие сборки власти, такие деспотичные или авторитарные формации сообщают новой семиотике ресурсы ее империализма, то есть, одновременно, способность подавлять другие семиотики и защищаться против любой угрозы извне. Речь идет о кон-*

кретной отмене тела и телесных координат, благодаря которым действовали многозначные или многомерные семиотики. Мы дисциплинируем тела, мы разбираем телесность, преследуем становления-животным, выталкиваем детерриторизацию к новому порогу, ибо перескакиваем от органических страт к стратам означивания и субъективации. Мы производим одну-единственную субстанцию выражения. Мы строим систему белая стена—черная дыра, или, скорее, запускаем такую абстрактную машину, которая должна обеспечивать и удостоверять как всемогущество означающего, так и автономию субъекта. Вас припилят на белой стене, воткнут в черную дыру. Такая машина называется машиной лицевости потому, что она является общественным производством лица, потому, что она осуществляет олицевление всего тела, всех его окрестностей и объектов, а также опейзаживание всего мира и всей среды. Детерриторизация тела предполагает ретерриторизацию на лице; декодирование тела предполагает сверхкодирование посредством лица; крушение телесных координат или сред предполагает конституцию пейзажа. Семиотика означающего и субъективного никогда не проходит через тела. Абсурдно претендовать на проведение связи между означающим и телом. Означающее, по крайней мере, может быть соотнесено с телом, которое уже полностью олицевлено. Разница между нашими униформами и одеждами, с одной стороны, и с примитивными живописью и одеяниями, с другой, состоит в том, что первые осуществляют олицевление тела с помощью черных дыр пуговиц и белой стены ткани. Даже маска находит здесь новую функцию, полностью противоположную ее прежней функции. Ибо нет никакой унитарной функции маски, кроме как негативной (маска никоим образом не служит тому, чтобы скрывать, прятать, даже показывая или обнаруживая). Либо маска обеспечивает принадлежность головы телу, ее становление-животным, как в примитивных семиотиках. Либо, напротив, как раз теперь маска обеспечивает возведение, надстраивание лица, олицевление головы и

тела: тогда маска — это лицо само по себе, абстракции или операции лица. Бесчеловечность лица. Лицо никогда не предполагает предварительных означающего или субъекта. Порядок абсолютно иной: конкретная сборка деспотической и авторитарной власти → запуск абстрактной машины лицевости, белая стена—черная дыра → установка новой семиотики означивания и субъективации на такой дырявой поверхности. Вот почему мы непрестанно обращаемся исключительно к двум проблемам: отношение лица к производящей его абстрактной машине; отношение лица к сборками власти, нуждающимся в таком общественном производстве. Лицо — это политика.

Конечно, в другом месте мы видели, что означивание и субъективация были абсолютно разными семиотиками со своими разными режимами (циклическое излучение, сегментарная линейность) и с разными аппаратами власти (деспотическое обобщенное рабство, авторитарный контракт-процесс). И ни одна из них не начинается с Христа, с белого Человека как христианской универсалии — существуют азиатские, негритянские или индийские деспотические формации означивания; в наиболее чистом виде авторитарный процесс субъективации проявляется в судьбе еврейского народа. Но как бы ни различались эти семиотики, они, тем не менее, образуют фактически некую *смесь*, и именно на уровне этой смеси они утверждают свой империализм, то есть свою общую претензию на подавление всех других семиотик. Не бывает означивания, которое не заключало бы в себе зародыша субъективности; не бывает субъективации, которая не влекла бы за собой остатков означающего. Если означающее прежде всего подскакивает на стене, если субъективность прежде всего ускользает к дыре, то следует сказать, что стена означающего уже включает черные дыры, а черная дыра субъективности еще несет обрывки стены: следовательно, смесь обладает твердым основанием в неразложимой машине белая стена—черная дыра, и обе семиотики непрестанно перемешиваются благодаря пересечению, совпадению, разветвлению одной на

другой — как между «Евреями и Фараоном». Только есть еще нечто большее, ибо природа смесей может быть крайне вариабельной. Если мы можем датировать машину лицевости, приписывая ей нулевой год Христа и историческое развитие белого Человека, то лишь потому, что смесь тогда перестает быть совпадением или переплетением, став полным взаимопроникновением, где каждый элемент пропитывает другой, подобно каплям красно-черного вина в белой воде. Наша семиотика современных белых Людей — даже семиотика капитализма — достигла такого состояния смеси, в котором означивание и субъективация действительно простираются друг через друга. Таким образом, именно в такой семиотике лицевость, или система белая стена—черная дыра, обретает весь свое расширение [extension]. Все же, мы должны различать состояния смеси и вариабельные пропорции элементов. Будь то в христианских или даже в дохристианских состояниях, один элемент может главенствовать над другим, быть более или менее мощным, чем другой. Тогда мы вынуждены определить *лица-пределы*, которые не смешиваются ни с единствами лица, ни с определенными ранее отклонениями от лица.

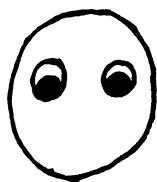
I. Тут черная дыра — на белой стене. Это вовсе не единство, ибо черная дыра непрестанно перемещается по стене и действует благодаря бинаризации. Две черные дыры, четыре черные дыры, n черных дыр распределяются подобно глазам. Лицевость — это всегда множественность. Мы населяем пейзаж глазами или черными дырами, как на картине Эрнста, как в рисунках Алоиза [Aloïse] или Вёльфли. Мы наносим на белую стену круги, окаймляющие дыру: всюду, где есть такой круг, мы можем поместить глаз. Мы можем даже предложить следующий закон: чем более окаймлена дыра, тем более эффект окаймления должен наращивать поверхность, по которой она скользит, и надеяться эту поверхность силой захвата. Возможно, наиболее чистый случай дан в известных эфиопских свитках, представляющих демонов: две черные дыры на белой поверхности пергамента либо на прямоугольном или круглом лице,

которое тут прорисовывается, но эти черные дыры множатся и воспроизводятся, создают избыток — и каждый раз, когда мы окаймляем вторичный круг, мы конституируем новую черную дыру, помещаем в нее глаз.¹² Результат захвата поверхности, которая тем более закрывается, чем более она наращивается. Это — деспотическое означающее лицо, и присущие ему умножение, распространение, избыток частоты. Умножение глаз. Деспот или его представители — повсюду. Это лицо, увиденное спереди, увиденное субъектом, который и сам видит не так уж много, ибо сцапан черными дырами. Это фигура судьбы, *земной* судьбы, объективной означающей судьбы. Крупный план в кино хорошо знает о такой фигуре: крупный план Гриффита — на лице, на элементе лица или на олицевленном объекте, которые затем обретают предвосхищающую [anticipatrice] темпоральную ценность (стрелки часов предвещают что-то).

II. Там, напротив, вытягивается в нить белая стена, в серебряную нить, идущую к черной дыре. Одна черная дыра «увенчивает» все другие черные дыры, все глаза, все лица в то время, как пейзаж — это нить, своим последним витком обвивающаяся вокруг дыры. Это всегда множественность, но это и другой рисунок судьбы — судьбы субъективной, страстной, рефлексивной. Это — *морские* лицо или пейзаж: лицо следует за линией, отделяющий небеса от вод, или землю от вод. Это авторитарное лицо расположено в профиль и ускользает к черной дыре. Или два лица друг против друга, но в профиль к наблюдателю, и

¹² Ср.: Mercier, Jacques. *Rouleaux magiques éthiopiens*, Ed. du Seuil; Les peintures des rouleaux protecteurs éthiopiens // *Journal of Ethiopian Studies*, XII, juillet 1974; Etude stylistique des peintures de rouleaux protecteurs éthiopiens // *Objets et mondes*, XIV, été 1974 («Глаз годится для лица, которое годится для тела. <...> Во внутренних пространствах нарисованы зрачки. <...> Вот почему следует говорить о направлениях магических смыслов на основе глаз и лиц в традиционных декоративных мотивах — таких, как поперечины, шахматные доски, звезды с четырьмя лучами и т.д.»). Власть Негуса [Négus] — с его предками, восходящими к Соломону, с его судом магов — передавалась с помощью пылающих глаз, действующих как черная дыра — ангельская или демоническая. Все исследования Ж. Мерсье вносят существенный вклад в любой анализ функций лица.

их союз оказывается уже помечен беспредельным разделением. Или же лица, отвернувшиеся друг от друга, сметенные предательством. Тристан, Изольда, Изольда, Тристан, в лодке, несущей их к черной дыре предательства и смерти. Лицевость сознания и страсти, избыток резонанса или совокупления. На этот раз крупный план уже не влечет за собой увеличение поверхности, которую он в то же самое время вновь закрывает, его единственная функция — обладать предвосхищающей [anticipatrice] темпоральной ценностью. Он помечает происхождение шкалы интенсивно-



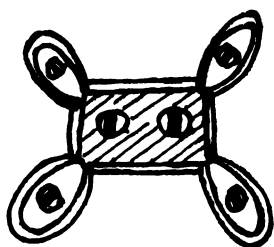
Простая
машина



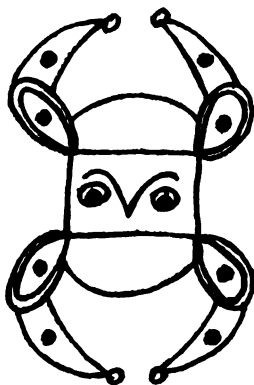
С эффектом
умножения кромки



Машина о четырех
глазах

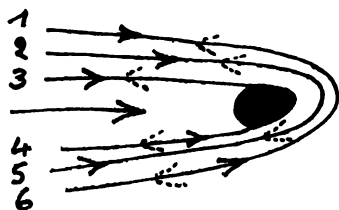
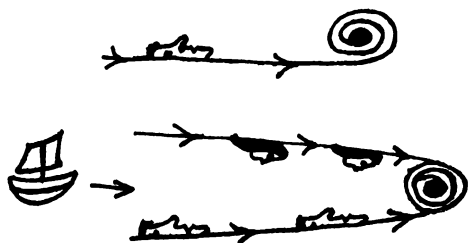


Пролиферация глаз благодаря умножению края



Земное означающее деспотическое Лицо

сти или является частью этой шкалы; по мере того как лица приближаются к черной дыре как конечному пункту, крупный план возбуждает линию, по которой они следуют: крупный план Эйзенштейна против крупного плана Гриффита (интенсивный подъем печали или гнева в крупных планах «Броненосца Потемкина»¹³). И опять же мы ясно видим, что между двумя фигурами-пределами лица возможны любые комбинации. В «Ящике Пандоры» Пабста деспотическое лицо падшей Лулу соединяется с образом ножа для резки хлеба, с образом предвосхищающей [anticipatrice] ценности, которая предвещает убийство; но авторитарное лицо Джека Потрошителя также проходит через всю шкалу интенсивностей, ведущую его к ножу и к убийству Лулу.



Сложная машина:

1. Линия музыкальности.
 2. Линия живописности.
 3. Линия пейзажности.
 4. Линия лицевости.
 5. Линия сознания.
 6. Линия страсти.
- и т.д.

*Авторитарное субъективное морское лицо
(по Тристану и Изольде)*

¹³ О том, как Эйзенштейн отличает собственную концепцию крупного плана от концепции Гриффита, см. *Film Form*.

Более обобщено, мы замечаем характеристики, общие для обеих фигур-пределов. С одной стороны, белая стена — широкие белые щеки — напрасно старается быть субстанциальным элементом означающего, а черная дыра — глаза — напрасно старается быть рефлексивным элементом субъективности, ведь они всегда идут вместе, но двумя способами: порой черные дыры распределяются и множатся на белой стене; порой же, напротив, стена, сведенная к своему высшему гребню или к своей нити горизонта, устремляется к черной дыре, которая венчает все. Не бывает стены без черных дыр, не бывает дыры без белой стены. С другой стороны, в том, как и в другом случае черная дыра существенным образом окаймлена, и даже сверхокаймлена; эффект края состоит в том, чтобы либо увеличивать поверхность стены, либо интенсифицировать линию; в глазах (зрачке) никогда не бывает черной дыры, она всегда внутри окаймляющего края, а глаза — всегда внутри дыры: мертвые глаза, которые видят тем лучше, что они — в черной дыре.¹⁴ Эти общие характеристики не препятствуют различию-пределу между двумя фигурами лица, а также пропорциям, согласно которым то одна, то другая из них доминирует в смешанной семиотике — земное означающее деспотическое лицо, морское субъективное и страстное авторитарное лицо (пустыня также может быть морем земли). Две фигуры судьбы, два состояния машины лицевости. Жан Пари убедительно показал, как эти полюса осуществляются в живописи, полюс деспотического Христа в полюсе страстного Христа: с одной стороны, лик Христа, увиденный фронтально — как в византийской мозаике — с черной дырой глаз на золотом фоне, причем вся глубина вынесена вперед; с другой стороны, лица, которые перекрещиваются и отворачиваются, будучи уви-

¹⁴ Это постоянная тема романа ужасов и научной фантастики — глаза в черной дыре, а не наоборот («я вижу светящийся диск, возникающий из черной дыры, можно сказать, глаза»). Рисованные бандиты [в комиксах], например в *Circus N° 2*, представляют черную дыру, заселенную лицами и глазами, и пересечение этой черной дыры. Об отношении глаз к дырам и стенам см. тексты и рисунки Парана, особенно: Parant J.L. *Les yeux* MMDVI, Bourgois.

денными на три четверти или в профиль — как в живописи Кватроченто — с косыми взглядами, прочерчивающими множественные линии, интегрирующими глубину в саму картину (можно привести произвольный пример перехода и смешивания — на фоне водного пейзажа в «Призыве апостолов» Дуччо вторая формула уже настигает Христа и первого рыбака, тогда как второй рыбак остается выполненным в византийском коде)¹⁵.

Любовь Свана: Пруст сумел заставить резонировать друг с другом лицо, пейзаж, живопись, музыку и т.д. Третий момент в истории Свана — Одетты. Сначала все означающее устройство [dispositif] устанавливается целиком. Лицо Одетты с широкими белыми или желтыми щеками и глазами как черные дыры. Но такое лицо само непрерывно отсылает к другим вещам, также расположенным на стене. В этом и состоит эстетизм Свана, его дилетантизм: всегда нужно, чтобы что-то напоминало ему о чем-то другом — в сети интерпретаций под знаком означающего. Лицо отсылает к пейзажу. Лицо должно «напоминать» ему картину, фрагмент картины. Музыка должна испустить маленькую фразу, которая соединяется с лицом Одетты, — до такой степени, что маленькая фраза становится только сигналом. Белая стена заселяется, черные дыры упорядочиваются. Все устройство означивания, с его отсрочкой интерпретаций, подготавливает второй — страстный субъективный — момент, где будут развиваться ревность, недовольство, эротомания Свана. Теперь лицо Одетты ускользает по линии, которая устремляется к одной единственной черной дыре — черной дыре Страсти Свана. Другие линии — пейзажности, живописности, музыкальности — также спешат к этой кататонической дыре и обвиваются вокруг нее, дабы много раз окаймить ее.

Но в третий момент — на исходе своей долгой страсти — Сван идет на вечеринку, где видит прежде всего, что лица

¹⁵ См. анализ: Paris, Jean. *L'espace et le regard*, Ed. du Seuil, I, ch. i (а также эволюция Девы и изменение в отношениях между ее лицом и лицом ребенка Иисуса: II, ch. ii).

домашних и гостей *разрушаются* на автономные эстетические черты: как если бы линия живописности вновь обрела свою независимость — сразу — по ту сторону стены и вне черной дыры. Затем именно маленькая фраза Вентейля вновь обретает свою трансцендентность и возобновляет связь с линией чистой музыкальности, еще более интенсивной, а-означающей и а-субъективной. И Сван знает, что больше не любит Одетту, а главное, что Одетта больше никогда его не полюбит. — Было ли необходимо такое спасение через искусство, ибо Сван, как и Пруст, не будет спасен? Был ли необходим *такой* способ пронзть стену или выходить из дыры, отказываясь от любви? Не была ли такая любовь с самого начала прогнившей, сделанной из означивания и ревности? Возможно ли было что-то иное, учитывая посредственность Одетты и эстетство Свана? С печеньем мадлен каким-то образом связана та же история. Рассказчик жует свое мадлен — избыток, черная дыра произвольного воспоминания. Как же ему из нее выйти? Прежде всего, она — то, из чего он должен выйти, от чего ему надо ускользнуть. И Пруст это очень хорошо знает, даже если того не знали его комментаторы. Но он выберется благодаря искусству, только благодаря искусству.

Как вырваться из черной дыры? Как пронзить стену? Как разобрать лицо? Как бы ни был гениален французский роман, это не его забота. Слишком уж он занимается измерением стены или даже ее строительством, зондированием черных дыр, компоновкой лиц. Французский роман глубоко пессимистичен, идеалистичен, он, «скорее, критик жизни, чем ее творец». Он погружает своих персонажей в дыру, он заставляет их подскакивать на стене. Он постигает лишь организованные вояжи и спасение через искусство. Это все еще католическое спасение — то есть спасение вечностью. Он проводит все свое время, нанося точки вместо того, чтобы чертить линии — линии активного ускользания или позитивной детерриторизации. Англо-американский роман совершенно иной. «Исчезать, исче-

зять, бежать... Пересекать горизонт...»¹⁶ От Харди до Лоуренса, от Мелвилла до Миллера звучит одна и та же проблема — пересекать, уходить, пробивать, создавать линию, а не точку. Находить линию разделения, следовать ей или создавать ее — вплоть до предательства. Вот почему их отношение к путешествиям, к способу путешествовать, к другим цивилизациям, к Восточной и Южной Америке, а также к наркотикам, к путешествию на месте — совершенно иное, нежели у французов. Они знают, как это трудно — выйти из черной дыры субъективности, сознания и памяти, пары и супружества. Сколь соблазнительно позволить захватить себя ею, убаюкать себя в ней, зацепиться за *лицо*... «В темноте, хранимой в черной дыре, <...> слепящий динамизм желания немного утихал, придавая ей румянец цвета расплавленной меди, и тогда слова выходили из ее уст, как лава, а ее плоть жадно хваталась за *опору* из чего-то твердого и вещественного, что позволило бы ей собраться и несколько минут отдохнуть. <...> Сперва я принял это за страсть, за экстаз. <...> Я думал, что обрел живой вулкан, Везувий женского рода. Я и не помышлял о человеческом корабле, идущем на дно океана отчаяния, в Саргассово море импотенции. Теперь я думаю о той черной звезде, что светила сквозь дыру в потолке, о той неподвижной звезде, что висела над нашей брачной ячейкой, — более неподвижной и удаленной, чем Абсолютное, и я знаю, что это была она, освобожденная от всего, что было ею в буквальном смысле: мертвое черное солнце без выражения».¹⁷ Румянец цвета расплавленной меди, подобный лицу в глубине черной дыры. Речь идет о том, чтобы выйти из нее, но не в искусство, то есть не в дух, а в жизнь, в реальную жизнь. *Не отнимайте у меня силы любить*. Эти американские и английские романисты также знают, как трудно

¹⁶ Lawrence D.H. *Etudes sur la littérature classique américaine*, Ed. du Seuil, «Герман Мелвилл, или невозможное возвращение» [«Hermann Melville ou l'impossible retour»]: текст Лоуренса начинается с замечательного различия между земными глазами и глазами морскими.

¹⁷ Генри Миллер, *Тропик Козерога*.

пробить стену означающего. Много людей пыталось со времен Христа проделать это, начиная с самого Христа. Но сам Христос проморгал переход, прыжок, он *отскочил* от стены, и «когда он хромал и пошатывался, словно в великом ужасе, подкатила волна отрицания и остановила смерть. Весь негативный порыв человечества, казалось, свернулся в чудовищную инертную массу и создал человеческое целое, единую личность, единую и неделимую» — Лицо.¹⁸ Перейти стену, может Китайскую, но какой ценой? Ценой *становления-животным, становления-цветком или скалой*, а еще ценой странного *становления-невоспринимаемым, становления-жестким, которые не заставляют более кого-либо любить*.¹⁹ Это вопрос скорости, даже [когда стоишь] на месте. Не значит ли это также разбирать лицо или, как говорил Миллер, уже не смотреть ни на глаза, ни в глаза, а проплывать через них, закрывать собственные глаза и превращать свое тело в луч света, движущийся со всегда более высокой скоростью? Конечно же, это требует всех ресурсов искусства, и самого высокого искусства. Это требует всей линии письма целиком, всей линии живописности, всей линии музыкальности... Ибо именно благодаря письму мы становимся животными, именно благодаря цвету мы становимся невоспринимаемыми, именно благодаря музыке мы становимся жесткими и лишенными воспоминаний, одновременно животными и невоспринимаемыми — влюбленными. Но искусство никогда не является целью, оно — лишь инструмент, чтобы чертить линии жизни, то есть все те реальные становления, которые не производятся только в искусстве, все те активные ускользания, которые не состоят в том, чтобы ускользнуть в искусство, укрыться в искусстве, все те позитивные детерриторизации, которые никогда не собираются ретерриторизоваться на искусстве, а скорее сметают его сами в области а-означающего, а-субъективного и без-ликого.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же.

Разбирать лицо — дело нешуточное. Мы рискуем по-настоящему сойти с ума. Не случайно ли шизофреник одновременно утрачивает смысл лица, своего собственного лица и лиц других, смысл пейзажа, смысл языка и его господствующих сигнификаций? Дело в том, что лицо — мощная организация. Можем сказать, что лицо обретает в своей прямоугольности или округлости всю совокупность черт, *черт лицевости*, которую оно подводит под категории и ставит на службу означивания и субъективации. Что такое тик? Это как раз и есть всегда возобновляемая борьба между чертой лицевости, пытающейся убежать от суверенной организации лица, и самим лицом, которое вновь замыкается на этой черте, вновь захватывает ее, блокирует ее линию ускользания, вновь накладывает на нее свою организацию. (В медицинском различии между клоническим, или конвульсивным, тиком и тиком тоническим, или спазматическим, возможно, следовало бы увидеть то, что в первом случае превалирует черта лицевости, пытающаяся ускользнуть, а во втором — черта организации лица, старающаяся вновь закрыться, или замереть.) Однако, если разбирание лица — главная забота, то именно потому, что это — не просто история тиков и не авантюра влюбленного или эстета. Если лицо — это политика, то разбирание лица — тоже политика, вовлекающая реальные становления, все становление-подпольщиком целиком. Разбирать лицо — то же самое, что пробивать стену означивающего, выходить из черной дыры субъективности. Программа, лозунг шизоанализа становится здесь таковым — отыщите ваши черные дыры и ваши белые стены, узнайте о них, узнайте о ваших лицах, иначе вы их не разберете, иначе вы не вычертите ваших линий ускользания.²⁰

²⁰ *L'analyse caractérielle de Reich* (Payot) рассматривает лицо и черты лицевости как одну из первых деталей «панциря» характера и сопротивления самости (см. «глазное кольцо», а затем «оральное кольцо»). Организация этих колец создается на планах, перпендикулярных «оргопотическому [orgonotique] потоку», и противится свободному движению этого потока по всему телу. Отсюда важность устранения панциря или «разложения кольца». См. pp. 311 sq.

Дело в том, что теперь мы должны стать еще более осторожными с точки зрения практики. Прежде всего, речь никогда не идет о возвращении в... Речь не о том, чтобы «вернуться» к до-означающим и до-субъективным семиотикам первобытных народов. Нас всегда ждет неудача при разыгрывании негра, индейца или даже китайца, и вовсе не путешествия в Южные моря — какими бы жесткими ни были условия — позволят нам пересечь стену, выйти из дыры или утратить лицо. Мы никогда не сможем заново создать себе голову и тело первобытного человека — духовную, человеческую голову без лица. Напротив, это будет лишь средством воссоздавать фотографии, вновь отскакивать от стены, мы всегда обнаруживаем себя ретерриторизованными, о, мой пустынный островок, где вновь я нахожу сиреневый Хуторок [Closerie des lilas], о, мой глубокий океан, отражающий озеро Булонского леса, о, маленькая фраза Вентейля, напомнившая мне приятное мгновение. Есть физические и духовные восточные упражнения, но те, что мы делаем только в паре — например, в супружеской постели, окаймленной китайским сукном: хорошо ли ты проделал свои упражнения сегодня? У Лоуренса к Мелвиллу лишь одна претензия: Мелвилл лучше, чем кто-либо, умел пересечь лицо, глаза и горизонт, стену и дыру и знал, как это сделать, но одновременно он спутал такое пересечение, такую творческую линию с «невозможным возвращением», с возвращением к дикарям *тайпи*, со способом оставаться художником и ненавидеть жизнь, способом удержать ностальгию по родной Стране («Мелвилл всегда тосковал по Дому и Матери — двум вещам, которые он покинул и оказался так далеко, насколько смогли унести его корабли. <...> Он вернулся в порт, дабы лицом к лицу встретить остаток своей жизни. <...> Он отклоняет жизнь. <...> Он цепляется за свой идеал совершенного союза, абсолютной любви, тогда как подлинно совершенный союз — это тот, где каждый принимает, что другой обладает великими неизведанными пространствами. <...> Мелвилл, в сущности, был мистиком и идеалистом.

Он цеплялся за свое идеальное оружие. Что касается меня, то я оставляю мое и говорю: пусть старое оружие ржавеет. *Сделайте новое, и стреляйте точно*»²¹).

Мы не можем вернуться назад. Только невротики, или, как говорит Лоуренс, «ренегаты» и шулеры делают попытку регрессии. Дело в том, что белая стена означающего, черная дыра субъективности и машина лица суть тупики, меры нашего повиновения и подчинения; но мы родились в них, и именно под ними нас вынуждают бороться. Не в смысле необходимого момента, но в смысле инструмента, для которого следует изобрести новое употребление. Только через стену означающего мы можем пропустить линии а-означивания, аннулирующие любое воспоминание, любое возвращение, любую возможную сигнификацию и любую данную интерпретацию. Только в черной дыре субъективных сознания и страсти мы открываем трансформированные, раскаленные, захваченные частицы, которые надо вновь отбросить ради несубъективной, живой любви, где каждый соединяется с неизведанными пространствами другого, не входя в них и не завоевывая их, где линии komponуются как изломанные линии. Только в недрах лица, в основании его черной дыры и на его белой стене, мы сможем освободить черты лицевости — как птиц, не возвращаясь к примитивной голове, но изобретая такие сочетания, где эти черты соединяются в черты пейзажности, сами освобожденные от пейзажа, в черты живописности, музыкальности, сами освобожденные от их соответствующих кодов. С какой радостью, вызванной не только желанием рисовать, но радостью от всех желаний, художники использовали лик Христа во всех смыслах и во всех направлениях. А рыцарь куртуазного романа — можем ли мы сказать, что его кататонический синдром исходит из того, чем он является в глубине черной дыры, или из того, что он уже седлает частицы, которые выводят его из нее для нового путешествия? Лоуренс, которого сравнивали с Ланселотом

²¹ D.H. Lawrence, Ibid.

том, писал: «Быть одиноким, без разума, без памяти, рядом с морем. <...> Таким же одиноким, отсутствующим и настоящим, как первобытная тьма на солнечном песке. <...> Далеко, очень далеко, будто он коснулся земли на другой планете, где человек обосновался после смерти. <...> Пейзаж? Он насмеялся над пейзажем. <...> Человечество? Его никогда не было. Мысль? Павшая как камень в воду. Великое, блистательное прошлое? Истощенная и использованная, хрупкая, хрупкая и полупрозрачная чешуя, выброшенная на пляж».²² Неопределенный момент, когда система белая стена—черная дыра, черная точка—белый пляж — как на японской гравюре — не создаст более системы со своим собственным исходом, собственным бегством и пересечением.

Дело в том, что мы увидели два крайне разных состояния абстрактной машины — иногда она берется в стратах, где обеспечивает лишь относительную детерриторизацию или абсолютные детерриторизации, которые, однако, остаются негативными; иногда же, напротив, она развивается на плане консистенции, который сообщает ей «диаграмматическую» функцию, позитивную ценность детерриторизации, как способности формировать новые абстрактные машины. Иногда абстрактная машина — поскольку она является машиной лицевости — выталкивает потоки в означивания и субъективации, в узлы древовидных разветвлений и дыры отмен; иногда, напротив, — поскольку она осуществляет подлинное «де-олицевление» — абстрактная машина высвобождает что-то вроде *головок самонаведения*, разрушающих на своем пути страты, пробивающих стены означивания и разбрызгивающих дыры субъективности, уничтожающих деревья в пользу подлинных ризом и управляющих потоками на линиях позитивной детерриторизации или творческого ускользания. Нет больше концентрически организованных страт, нет больше черных дыр, вокруг которых обвиваются линии, дабы окаймлять их, нет

²² Lawrence, *Kangourou*, Gallimard.

больше стен, за которые цепляются дихотомии, бинарности и биполярные ценности. Нет больше лица, создающего избыток с пейзажем, картиной или маленькой музыкальной фразой, где постоянно одно заставляет думать о другом — на поверхности, объединяемой стеной, или в центральном кружении черной дыры. Но каждая освобожденная черта лицевости создает ризому с освобожденной чертой пейзажности, живописности и музыкальности — не коллекция частичных объектов, а живой блок, соединение стеблей, где черты лица входят в реальное множество, в диаграмму с чертой неизведанного пейзажа, чертой живописи или музыки, которые оказываются тогда эффективно произведенными, сотворенными, согласно квантам позитивной абсолютной детерриторизации, а не вспоминаемыми и не вновь вызываемыми согласно системам ретерриторизации. Черта осы и черта орхидеи. Кванты, отмечающие столько мутаций абстрактных машин — одни в зависимости от других. Так открывается ризоматическое возможное, вызывающее потенцию возможного, против древесного возможного, помечавшего закрытость и бессилие.

Лицо, какой ужас — оно, естественно, является лунным пейзажем, со своими порами, плоскими областями, тусклостью, яркостью, белизной и дырами; оно не нуждается в крупном плане, чтобы сделаться бесчеловечным, оно естественным образом — крупный план и естественным образом бесчеловечно, чудовищная ряса с капюшоном. По необходимости, ибо оно произведено машиной и согласно требованиям аппарата особой власти, которая запускает эту машину и выталкивает детерриторизацию к абсолюту, удерживая его негатив. Но мы впадаем в ностальгию по возвращению или регрессии, когда противопоставляем примитивную, спиритуализированную, человеческую голову нечеловеческому лицу. На самом деле есть только бесчеловечность, человек сделан исключительно из бесчеловечностей, но весьма различных, следуя весьма разным природам и скоростям. Примитивная бесчеловечность, бесчеловечность до-лица, это — вся многозначная

семиотика в целом, делающая голову принадлежностью тела — тела, уже относительно детерриторизованного, разветвленного в духовно-животных становлениях. По ту сторону лица еще лежит совершенно иная бесчеловечность — уже не бесчеловечность примитивной головы, но бесчеловечность «головок самонаведения», где точки детерриторизации становятся оперативными, линии детерриторизации становятся позитивными и абсолютными, формирующими странные новые становления, новые многозначности. Стать-подпольщиком, повсюду создавать ризомы, ради чуда нечеловеческой жизни, которую надо сотворить. *Лицо моей любви*, но ставшее, наконец, головкой самонаведения... Год дзен, год омега, год ц... Должны ли мы закончить именно на этом, на трех состояниях, и не больше — примитивные головы, лица-распятия и головки самонаведения?

8. 1874 — Три новеллы, или «Что произошло?»



Нетрудно определить сущность «новеллы» как литературного жанра — новелла имеет место тогда, когда все организуется вокруг вопроса: Что произошло? Ну что же могло произойти? Рассказ — противоположность новеллы, ибо он заставляет читателя, затаив дыхание, задаться совсем иным вопросом: Что вот-вот произойдет? Ведь что-то всегда вот-вот происходит, собирается произойти. Что же касается романа, то в нем тоже всегда что-то происходит, но роман собирает в вариации своего вечного живого настоящего (*длительность*) элементы новеллы и рассказа. В этом отношении детективный роман — гибридный жанр, ибо, прежде всего, нечто =X произошло в порядке убийства или

ограбления, но то, что произошло, должно быть раскрыто, и в настоящем оно определяется моделью детектива. И было бы все-таки ошибкой сводить эти разные аспекты к трем измерениям времени. Что-то произошло или что-то вот-вот произойдет — со своей стороны, могут обозначать столь непосредственное прошлое и столь близкое будущее, что последние выступают как нечто одно (как сказал бы Гуссерль) благодаря ретенциям и протенциям самого настоящего. Тем не менее такое различие остается законным от имени разных движений, оживляющих настоящее и современных настоящему — одно движется вместе с настоящим, другое уже отбрасывает его в прошлое *в тот самый момент*, когда оно является настоящим (новелла), а еще другое движение *одновременно* влечет его в будущее (рассказ). У нас есть шанс рассмотреть один и тот же сюжет, обработанный рассказчиком и новеллистом — два любовника, один внезапно умирает в комнате другого. В рассказе Мопассана «Хитрость» все вертится вокруг вопросов: Что вот-вот произойдет? Как выживший собирается выпутываться из сложившейся ситуации? Что сможет изобрести третий участник-спаситель, в данном случае — врач? В новелле Барбье д'Оревилю «Пунцовый занавес» все вертится вокруг вопроса: Что-то произошло, но что? И не только потому, что мы на самом деле не знаем, от чего только что умерла окоченевшая от холода девушка, но и потому, что мы никогда не узнаем, почему она отдалась младшему офицеру, и не сможем узнать, как третий участник-спаситель — здесь полковник — расставит все по местам.¹ Не стоит думать, будто легче все оставить неопределенным: ибо то, что только-только произошло — и даже

¹ Ср.: *Les Diaboliques* de Barbey, 1874. Конечно же, Мопассан не ограничивает рассказы — у него есть новеллы или элементы новелл в романах. Например, эпизод с Лизон в романе «Жизнь»: «Это было в год безрассудного поступка Лизон. Больше об этом ничего не говорилось, и этот “безрассудный поступок” так и оставался в каком-то тумане. Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в воду. Ничто в ее жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку» (Мопассан. Собр. соч., т. 2, М., 1958, с. 171–172).

несколько последовательных вещей, — о чем мы никогда не узнаем, требует не меньше тщательности и точности, чем другой случай, когда автор должен в деталях придумать то, что должно стать известным. Мы никогда не узнаем, что только-только произошло, мы всегда хотим знать, что вот-вот произойдет, — таковы два разных перехватывания дыхания у читателя, соответственно, в новелле и в рассказе, но это и два способа, какими живое настоящее делится в каждый момент. В новелле мы не ждем, чтобы что-то произошло, мы готовы к тому, что нечто уже произошло. Новелла — это некая последняя новелла, а рассказ — это некий первый рассказ. «Настоящее» рассказчика полностью отличается от настоящего новеллиста (и оба этих настоящих отличаются от настоящего романиста). Давайте не будем слишком уж взывать к измерениям времени — новелле нет дела до памяти о прошлом или до акта рефлексии; напротив, она играет на фундаментальном забвении. Она развивается в стихии «что произошло», ибо вводит нас в отношение с непознаваемым и невоспринимаемым (а не наоборот — не потому, что она говорит о прошлом, относительно которого у нее нет возможности обеспечить нас знанием). В конце концов, ничего и не произошло, но это именно то ничто, которое и заставляет нас говорить: «Что же могло произойти, чтобы я забыл, куда положил ключи, что я уже не знаю, отправил это письмо или нет?...» и т.д. Какой капилляр мог хрустнуть в моем мозгу? Что это за ничто, заставляющее нечто происходить? Новелла фундаментальным образом связана с *тайной* (не с материей или объектом тайны, которые нужно раскрыть, а с формой тайны, остающейся непроницаемой), тогда как рассказ имеет отношение к *открытию* (форме открытия, независимо от того, что может быть открыто). А также новелла устанавливает *позы* тела и ума, подобные складкам и свертываниям, тогда как рассказ запускает в игру *отношения, позиции*, являющиеся развертываниями и развитиями, даже самыми неожиданными. Мы наблюдаем у Барбье явный вкус к позе тела, то есть к состояниям, где тело изумлено,

когда что-то только-только произошло. В предисловии к «Дьявольским ликам» Барбье даже внушает, что есть некий дьяволизм телесных поз, некая сексуальность, некая порнография и скотоложство этих поз, крайне отличных от поз, помечающих — также и одновременно — отношения и позиции тела. Поза подобна инверсной подвешенности. Итак, дело не в том, чтобы отослать новеллу к прошлому, а рассказ — к будущему, а в том, чтобы сказать, что новелла — в самом настоящем — отсылает к формальному измерению чего-то, что произошло, даже если это что-то — ничто или остается непознаваемым. Точно так же мы не будем сопоставлять различие между новеллой и рассказом с такими категориями, как фантастическое, чудесное и т.д. — это другая проблема, и нет причин, чтобы эти проблемы пересекались. Связующие звенья новеллы таковы: Что произошло? (модальность или выражение), Тайна (форма), Поза Тела (содержание).

Возьмем, к примеру, Фицджеральда. Вот — гениальный рассказчик и новеллист. Но он новеллист тогда, когда спрашивает себя: *Как случилось, что мы оказались здесь?* Он один сумел довести этот вопрос до такой степени интенсивности. И дело не в том, будто речь идет о памяти, рефлексии, старости или усталости, тогда как рассказ имел бы дело с детством, действием или порывом. Верно и то, что Фицджеральд задается вопросом новеллиста лишь тогда, когда сам лично измучен, устал, болен или того хуже. Но, опять же, необходимой связи здесь нет — это могло бы быть связано и с бодростью, и с любовью. Такое все еще присутствует, даже в отчаянных условиях. Скорее, лучше было бы продумать все это как дело восприятия — мы входим в комнату и чувствуем что-то, как уже здесь присутствующее, что только-только произошло, даже если этого еще не случилось. Итак, мы знаем, что то, что пребывает в процессе осуществления, происходит в последний раз, оно закончилось. Мы слышим фразу «я люблю тебя», о которой знаем, что сказана она в последний раз. Перцептивные семиотики. Боже, что же могло произойти, тогда как все

есть и остается невоспринимаемым, и чтобы все было и оставалось невоспринимаемым навсегда?

Далее, существует не только специфика новеллы, есть еще и особый способ, каким новелла трактует универсальную материю. Ибо мы сотканы из линий. Мы хотим сказать не только о линиях письма, ибо линии письма сопрягаются с другими линиями — линиями жизни, линиями успеха и неудачи, линиями, задающими вариации линий самого письма, линиями, располагающимися *между линиями* письма. Возможно, у новеллы есть свой способ заставить появиться и комбинироваться таким линиям, которые, тем не менее, присущи всему на свете и любому жанру. С особой торжественностью Владимир Пропп говорил, что народная сказка должна определяться в зависимости от внутреннего и внешнего движений, которые она квалифицирует, формализует и комбинирует на свой особый манер.² Нам хотелось бы показать, что новелла определяется в зависимости от живых *линий*, линий плоти, о которых она несет особое откровение. Марсель Арлан вправе говорить, что новелла — «это только лишь чистые линии, пусть даже с нюансами, и это только лишь чистая и осознанная добродетель глагола»³.

Первая новелла:

«В клетке», Генри Джеймс, 1898

. У героини, юной телеграфистки, крайне распределенная, рассчитанная жизнь, движущаяся ограниченными сегментами — телеграммы, которые она ежедневно регистрирует одну за другой; люди, посылающие эти телеграммы; их социальный класс и совсем другие способы пользования телеграфом; слова, требующие подсчета. Более того, ее клетка телеграфистки подобна сегменту, смежному соседней бакалейной лавке, где работает ее жених. Смежность территорий. И жених всю дорогу строит планы, рисует их будущее, работу, отдых, дом. Как и у каждого из нас, тут есть

² Пропп В. *Морфология сказки*. Л.: Academia, 1928.

³ Arland, M. *Le Promeneur*, Ed. du Pavois.

линия жесткой сегментации, где все кажется рассчитанным и предсказуемым, начало и конец сегмента, переход от одного сегмента к другому. Наша жизнь сделана так же — сегментируются не только крупные молярные совокупности (государства, учреждения, классы), но также и люди как элементы совокупности, чувства как отношения между людьми; но сегментируются не так, чтобы расшатывать или рассеивать, а напротив, чтобы удостоверять и контролировать тождество каждой инстанции, включая личную тождественность. Жених может сказать девушке: несмотря на разногласия между нашими сегментами, у нас одни и те же вкусы, и мы похожи. Я — мужчина, ты — женщина; ты — телеграфистка, я — бакалейщик; ты считаешь слова, я взвешиваю продукты; наши сегменты согласуются, сопрягаются. Супружество. Целая игра хорошо определенных, спланированных территорий. У нас есть будущее, и — никакого становления. Вот первая линия жизни — *жесткая, или молярная, линия сегментации*, и совсем не мертвая, ибо захватывает и пронизывает нашу жизнь и, в конечном счете, как кажется, всегда считает ее. Она даже включает в себе много нежности и любви. Слишком легко было бы сказать: «эта линия плоха», ибо вы обнаруживаете ее везде, во всех других.

Богатая пара входит в почтовое отделение и открывает для девушки или, по крайней мере, подтверждает, существование иной жизни — многочисленные зашифрованные телеграммы, подписанные псевдонимами. Мы уже больше и не знаем, кто есть кто или что здесь что означает. Вместо жесткой линии, составленной из хорошо определенных сегментов, телеграф теперь формирует гибкий поток, отмеченный *квантами*, которые очень похожи на множество мелких сегментаций в действии, схваченных в момент их рождения, как в лунном луче или на интенсивной шкале. Благодаря своему «потрясающему искусству интерпретации» девушка постигает мужчину как того, у кого есть тайна, из-за которой он оказывается в опасности, во все большей и большей опасности, в позе опасности. Речь не только о его любовной связи с женщиной. Генри Джеймс в своем произ-

ведении подходит к тому моменту, когда уже отсутствует сама материя интересующей его тайны, даже если он сумел сделать так, чтобы эта материя была абсолютно банальной и незначительной. В расчет теперь принимается именно форма тайны, материю которой уже даже не нужно раскрывать (мы не узнаем, будет ли несколько возможностей, будет ли объективная неопределенность, тут что-то вроде молекуляризации тайны). Именно в отношении этого мужчины, непосредственно благодаря нему, юная телеграфистка развивает странное чувственное соучастие, всю интенсивную молекулярную жизнь, уже даже не соперничающую с той жизнью, какую она ведет со своим женихом. Что произошло, что хорошего могло бы произойти? Такая жизнь, однако, существует не в ее голове и не в воображении. Скорее, мы могли бы сказать, что есть две *политики*, как уверяет девушка в замечательном разговоре с женихом: макрополитика и микрополитика, которые не рассматривают классы, половые различия, людей или чувства одним и тем же образом. Итак, есть два типа весьма разных отношений — внутренние отношения *супружеских пар*, запускающие в игру хорошо определенные совокупности или элементы (общественные классы, мужчин и женщин, того или иного человека), а затем менее локализуемые отношения, всегда внешние самим себе, касающиеся, скорее, потоков и частиц, избегающих таких классов, полов и людей. Почему же эти последние отношения суть отношения *двойников*, а не супружеских пар? «И она просто боялась другой половины своей жизни, той, что ожидала ее, когда настанет пора это убежище покинуть. Ожидать ее мог он; это он был другой половиной ее жизни; его-то она и боялась»*. В любом случае, вот линия, крайне отличающаяся от предыдущей, — линия *гибкой, или молекулярной, сегментации*, где сегменты подобны квантам детерриторизации. Именно на этой линии определяется настоящее, чья форма даже является

* Джеймс Г. Собр. соч. в 2-х тт., т. 2. Л.: Художественная литература, 1979, с. 351. — Прим. пер.

формой чего-то, что произошло, уже произошло, каким бы близким оно к нам ни было, ибо неуловимая материя этого чего-то полностью молекуляризируется — со скоростями, превосходящими обычные пороги восприятия. Однако мы не скажем, что она с необходимостью лучше.

Он уверен, что эти две линии не перестают взаимодействовать, реагировать одна на другую, внедрять друг в друга либо текучесть гибкости, либо точку жесткости. В своем эссе о романе Натали Саррот восхваляет английских романистов не только за то, что те открыли — как это сделали Пруст или Достоевский — великие движения, великие территории и великие точки бессознательного, которые заставляют обнаружить время или оживить прошлое, но также и за то, что они несвоевременно следовали этим молекулярным линиям, одновременно, наличным и невоспринимаемым. Она показывает, как хорошо диалог или беседа подчиняются купюрам фиксированной сегментарности, обширным движениям регулярного распределения, которые соответствуют отношениям и позициям каждого из нас; но также она показывает, как они оказываются пробегаемыми и увлекаемыми *микродвижениями*, тонкими, совсем иначе распределенными сегментациями, неуловимыми частицами анонимной материи, крошечными трещинками и позами, которые передаются уже благодаря иным инстанциям даже в бессознательном — тайные линии дезориентации или детерриторизации: целая суб-беседа в беседе, то есть микрополитика беседы.⁴

А затем героиня Джеймса достигает — в своей гибкой сегментарности или на своей линии потока — чего-то вроде максимального кванта, дальше которого она уже не может пойти (даже если бы она и хотела, дальше идти нель-

⁴ Натали Саррот (*L'ère du soupçon*, «Conversation et sous-conversation», Gallimard) показывает, как Пруст анализирует мельчайшие движения, взгляды или интонации. Однако он схватывает их в воспоминании, придает им «позицию», рассматривает их как сцепление причин и следствий; «он редко... пытался вновь пережить их и заставить читателя переживать их в настоящем, в то время как они формируются и, по мере этого, развиваются, как множество мелких драм, у каждой из которых есть свои перипетии, свое таинство и свой непредвиденный исход» (p. 92).

зя). Эти вибрации, пересекающие нас, несут в себе опасность, что могут обостриться по ту сторону нашей выносливости. Оно рассеялось в форме тайны — что произошло? — это молекулярное отношение между телеграфисткой и телеграфирующим, ибо ничего не произошло. Каждый из них оказался отброшенным в свою жесткую сегментарность — он женится на овдовевшей даме, она выйдет замуж за своего жениха. Но, однако, все изменилось. Она достигла какой-то новой линии, третьей линии, своего рода *линии ускользания*, столь же реальной, как если бы она происходила на месте — линия, уже не допускающая никаких сегментов, линия, подобная, скорее, взрыву двух сегментарных серий. Героиня пробила стену, она выбралась из черных дыр. Она достигла своего рода абсолютной детерриторизации. «В конце концов, она знала так много, что угадывать ей уже, в сущности, было нечего. *Все оттенки определенностей были спутаны, сбиты, только яркий свет*».* В жизни дальше этой фразы Джеймса мы не сможем продвинуться. Тайна еще раз поменяла природу. Несомненно, тайна всегда имеет дело с любовью, с сексуальностью. Но либо это — лишь скрытая материя, и чем лучше она была скрыта, тем более была ordinарной, данной в прошлом, и мы совсем не знали, какую подыскать ей форму: смотри, я сгибаюсь под бременем собственных секретов, смотри, какая тайна работает во мне, некий способ казаться интересным, то, что Лоуренс называл «грязной маленькой тайной», *моим Эдипом*, так сказать. Либо же тайна стала формой чего-то, чья материя вся молекуляризировалась, стала невоспринимаемой, неприсваиваемой: это — не то, что дано в прошлом, а неспособное-быть-данным «что произошло?» Но на третьей линии нет даже формы — нет больше ничего, кроме чистой абстрактной линии. Именно потому, что нам уже больше нечего скрывать, нас уже нельзя постичь. Стать самим невоспринимаемыми, демонтировать любовь, дабы стать способными любить. Демонтировать свою собственную самость, дабы, наконец,

* Джеймс Г., с. 354. — Прим. пер.

быть одинокими и встретить подлинного двойника на другом конце линии. Безбилетный пассажир неподвижного путешествия. Стать как все, но это как раз и есть становление только для того, кто умеет быть никем, больше быть никем. Рисовать себя серым на сером. Как говорит Кьеркегор, рыцарь веры ничем не отличается от немецкого бюргера, возвращающегося домой или идущего на почту, — отсюда не исходит никакого особого телеграфного знака; он постоянно производит или воспроизводит конечные сегменты, и все же он уже на другой линии, о которой мы даже не подозреваем.⁵ В любом случае, телеграфная линия — это не символ, и она не проста. Есть, по крайней мере, три линии — линия жесткой и очень четкой сегментарности; линия молекулярной сегментации; и затем абстрактная линия, линия ускользания, не менее смертельная, но и не менее живая. На первой линии много слов и разговоров, вопросов и ответов, бесконечных объяснений, подведений к точке; вторая соткана из молчаний, намеков, поспешных недомолвок, предлагаемых для интерпретации. Но если вспыхивает третья линия, если линия ускользания подобна движущемуся поезду, то именно потому, что мы линейно прыгаем по ней, мы можем наконец-то говорить «буквально» и неважно о чем, о былинке, о катастрофе или об ощущении, спокойно принимая то, что происходит, где ничего не может быть более ценным, чем что-либо другое. Однако эти три линии не перестают перемешиваться.

Вторая новелла:

«Крушение», Ф. Скотт Фицджеральд, 1936

Что случилось? — вот вопрос, не дающий покоя Фицджеральду, который в конце как-то раз сказал, что «бесспорно, вся жизнь — это процесс постепенного распада»*. Как осмыслить такое «бесспорно»? Прежде всего, мы можем сказать, что жизнь не перестает вовлекаться во все

⁵ Кьеркегор, Серен. *Страх и трепет*. М., Республика, 1993, с. 39 и далее.

* Фицджеральд Ф.С. *Собр. соч. в 3-х тт.*, т. 3. М.: Сварог, 1993, с. 395. — *Прим. пер.*

более и более жесткую и усохшую сегментарность. Для писателя Фицджеральда морские путешествия, с их четкими сегментами, поизносились. При переходе от сегментов к сегментам имели место также экономический кризис, потеря богатства, усталость и приближение старости, алкоголизм, неудача в супружестве, подъем кинематографа, появление фашизма и сталинизма, утрата успеха и таланта — даже там, где Фицджеральд хочет обнаружить свой талант. *«Страшные, неожиданные удары, наносимые извне (или так кажется, что извне)»**, которые продолжаются посредством слишком означающих *купюр*, заставляя нас переходить от одного термина к другому в последовательных бинарных «выборах»: богатый—бедный... Даже когда изменение происходит в другом смысле-направлении, нет ничего, что компенсирует ожесточение и старение, сверхкодирующих все, что происходит. Вот она — линия жесткой сегментарности, вводящая в игру большие массы, даже если изначально она была гибкой.

Но Фицджеральд говорит, что есть и иной тип крушений, с совершенно иной сегментарностью. Нет больше великих *купюр*, а есть микротрещины, как на тарелке; они куда как тоньше и гибче, они возникают, *скорее, тогда, когда на другой стороне все идет к лучшему*. Если на этой линии и есть также старение, то не тем же самым образом — мы стареем здесь лишь тогда, когда не чувствуем старения на другой линии; мы замечаем старение на другой линии лишь тогда, когда «оно» уже произошло на этой линии. В такой момент, не соответствующий возрасту другой линии, мы достигаем степени, кванта, интенсивности, за пределы которых не можем выйти. (Очень деликатное дело такая история интенсивности — самая прекрасная интенсивность становится вредоносной, если в данный момент превосходит наши силы; нужно суметь продержаться, быть в форме.) Но что же именно произошло? На самом деле ничего определенного или заметного; молекулярные изме-

* Там же, с. 395. — *Прим. пер.*

нения, перераспределения желания — такие, что, когда что-то происходит, то самость [moi], ожидавшая этого, уже мертва, или же тот, кто ожидал бы этого, еще не прибыл. На сей раз толчки и крушения в имманентности ризомы, а не в великих движениях и больших купюрах, определяемых трансцендентностью дерева. Трещина подходит «почти незаметно, но осознаешь ее потом как нечто внезапное»*. Такая молекулярная линия более гибка, но не менее тревожна, даже куда более тревожна, она не просто внутренняя или личная: она также все вводит в игру — но в ином масштабе и в иных формах, с сегментациями иной природы — ризоматики, а не древовидности. Микрополитика.

Кроме того, есть еще и третья линия, подобная линии разрыва, отмечающая взрыв двух других, их встряску... в пользу кое-чего иного? «Из этого я заключил, что выжившие сумели тем или иным способом начать новую жизнь. Это дело серьезное — не то что бежать из тюрьмы, возможно, лишь затем, чтобы угодить в другую, а то и в ту же самую»**. Здесь Фицджеральд противопоставляет разрыв и структурные псевдокупюры в так называемых означающих цепочках. Но он также отличает разрыв от более гибких, более подземных связей или отростков типа «путешествия» или даже молекулярной транспортировки. «“Побег”, “бегство прочь от всего”, о котором так много говорят — это же просто прогулка внутри западни, пусть даже маршрут пролегает через Южные Моря, пригодные лишь для тех, кто желает плавать по ним на яхтах и писать морские пейзажи. Начать новую жизнь — значит отрезать пути назад; здесь уже ничего не восстановишь, потому что прошлое перестает существовать.»*** Возможно, путешествия всегда будут возвратом к жесткой сегментарности? Не являются ли они всегда нашими папочкой и мамочкой, коих мы встречаем, когда путешествуем, подобно Мелвиллу, даже в такую даль, как Южные Моря? Затвердевшие мускулы? Следует ли

* Там же. — *Прим. пер.*

** Там же, с. 408. — *Прим. пер.*

*** Там же. — *Прим. пер.*

полагать, будто гибкая сегментарность сама реформирует — под микроскопом, в миниатюре — большие фигуры, к которым она намеревается убежать? Во всех путешествиях взвесьте незабываемую фразу Беккета: *«Насколько я знаю, мы путешествуем не ради удовольствия от самого путешествия; мы глупы, но не настолько»*.

В таком разрыве улетучилась не только материя прошлого, но и форма того, что произошло, чего-то невосприимчивого, которое произошло в летучей материи и более уже не существует. Мы сами стали невосприимчивыми и незарегистрированными в неподвижном путешествии. Ничего больше не может произойти, ничего не произошло. Никто более ничего не может сделать для меня или против меня. Мои территории — вне захвата, и не потому, что они воображаемы, а напротив: потому что я сам собираюсь их расчерчивать. С войнами — большими и малыми — покончено. С путешествиями, которые всегда тянут к чему-то еще, покончено. У меня нет более никакой тайны, ибо я утратил собственное лицо, форму и материю. Я теперь не более чем линия. Я стал способным любить, но не абстрактной универсальной любовью, а той, какую собираюсь выбрать и которая собирается выбрать меня, вслепую, выбрать моего двойника, так же лишенного самости, как и я. Мы спаслись любовью и для любви, отказавшись от любви и от себя. Мы не более чем абстрактная линия, подобная стреле, рассекающей пустоту. Абсолютная детерриторизация. Мы стали как все, как весь мир, но на такой манер, каким никто не может стать как все, как весь мир. Мы нарисовали мир на себе, но не себя на мире. Мы не должны говорить, будто гений — это экстраординарный человек *или* будто каждый несет в себе гения. Гений — это тот, кто знает, как превратить весь мир в становление (возможно Улисс — неудавшаяся амбиция Джойса, в чем почти преуспел Паунд). Мы вступили в становления-животным, становления-молекулярным и, наконец, становления-невосприимчивым. «Я складываю с себя обязанности пополнять кассу, из которой платят пособия безработным, — складываю раз и нав-

сегда. Пьянящая злобная радость не проходила ... Но уж зато я постараюсь быть примерным псом, и, если вы мне швырнете кость побогаче, я, может, даже лизну вам руку».* Откуда такой отчаянный тон? Нет ли у линии разрыва или подлинного ускользания собственной опасности, куда худшей, чем другие? Время умирать. В любом случае, Фицджеральд предлагает нам различать три линии, пересекающие нас и komponующие «жизнь» (заглавие произведения Мопассана). *Линия купюры, линия трещины, линия разрыва.* Линия жесткой сегментарности, или молярной купюры; линия гибкой сегментации, или молекулярной трещины; линия ускользания или разрыва, абстрактная, смертельная и живая, не сегментарная.

Третья новелла:

«История пропасти и подозрной трубы», Пьеретт Флетью, 1976

Бывают сегменты более-менее близкие и более-менее удаленные. Похоже, что сегменты окружают некую пропасть, своего рода огромную черную дыру. На каждом сегменте есть два вида надзирателей, близко-подглядывающие [cours-voyeurs] и далеко-подглядывающие [longs-voyeurs]. То, за чем они следят, — это движения, толчки, нарушения, беспорядки и мятежи, производимые в пропасти. Но есть и большое различие между двумя типами наблюдателей. У близко-подглядывающих простые подозрные трубы. В пропасти они видят контур гигантских клеток, великих бинарных делений, дихотомий, хорошо определенных сегментов типа «классная комната, барак, Н.Л.М.** или даже страна, увиденная с самолета». Они видят ветви, цепи, ряды, колонны, домино, борозды. Порой на кромках они обнаруживают плохо начерченную фигуру, дрожащий контур. Тогда они находят ужасный лучевой Телескоп. Он служит не для того, чтобы видеть, а чтобы вырезать, выделять. Именно такой геометрический инструмент

* Там же, с. 409, 412. — *Прим. пер.*

** Муниципальные жилые дома, где размер квартплаты ограничен. — *Прим. пер.*

испускает лазерный луч, обеспечивает повсюду царство великой означающей купюры и восстанавливает молярный порядок, тут же оказывающийся под угрозой. Вырезающий телескоп *сверхкодирует* все что угодно; он работает в плоти и крови, но сам — лишь чистая геометрия, геометрия как дело Государства, а физика близко-подглядывающих находится на службе у такой машины. Но что такое геометрия, что такое Государство, кто такие близко-подглядывающие? Вот вопросы, лишенные смысла («я говорю буквально»), ибо речь идет даже не о том, чтобы определять, а о том, чтобы эффективно чертить линию, которая более не линия письма, чертить линию жесткой сегментарности, где каждый и весь мир будет осужден и исправлен согласно своим индивидуальным или коллективным контурам.

Совершенно иная ситуация у подозрных труб, принадлежащих далеко-подглядывающим — со всеми их двусмысленностями. Таковых совсем немного, не более одного на сегмент. У них тонкие и сложные подозрные трубы. Но наверняка лидеры — не они. И они видят нечто совсем иное, нежели другие. Они видят всю микросегментарность в целом, детали деталей, «тобогган возможностей», крохотные движения, не достигшие кромки, линии или вибрации, которые намечаются задолго до появления контуров, «сегменты, движущиеся рывками». Вся ризома в целом, молекулярная сегментарность, не позволяющая себе быть сверхкодированной означающим, подобно машине для резки, или даже быть приписанной данной фигуре, данной совокупности или элементу. Эта вторая линия неотделима от анонимной сегментации, производящей ее и в каждый момент все пересматривающей — без цели и повода: «Что произошло?» Далеко-подглядывающие могут предугадывать будущее, но всегда в форме становления чего-то, что уже случилось в молекулярной материи; в необнаружимых частицах. Это как в биологии: большие клеточные деления и дихотомии — в своих контурах — сопровождаются миграциями, инвагинациями, смещениями и морфогенетическими порывами, чьи сегменты маркируются не локали-

зуемыми точками, а проходящими ниже порогами интенсивности митозами, где все перемешивается, и молекулярными линиями, перекрещивающимися внутри крупных клеток и их купюр. Это как в обществе: жесткие и сверхсекущие сегменты ниже перекраиваются сегментациями иной природы. Но это — ни одно и ни другое, ни биология и ни общество, ни их сходство: «я говорю буквально», я черчу линии, линии письма, а жизнь проходит между линиями. Линия гибкой сегментарности освобождалась и спутывалась с другой линией, но совершенно иной, коряво начерченной микрополитикой далеко-подглядывающих. Дело политики, такой же мировой, как и другая, даже больше, но в масштабе и в форме, которая несоизмерима с другой и не налагается на нее. Но также и дело восприятия, ибо восприятие, семиотика, практика, политика, теория — всегда составляют совокупность. Мы видим, говорим, мыслим в том или ином масштабе и согласно той или иной линии, которая может или не может сопрягаться с линией другого, даже если другое — все еще мы сами. Если это не так, то не нужно настаивать, не нужно спорить, а нужно ускользать, ускользать, даже говоря «ладно, тысячу раз ладно». Бесполезно говорить, надо бы сначала заменить подзорные трубы, рот и зубы, все сегменты. Мы не только говорим буквально, мы ощущаем буквально, живем буквально, то есть, следуя линиям, либо соединяемым, либо нет, даже когда они крайне неоднородны. И к тому же, порой все не так уж в порядке, когда они однородны.⁶

⁶ В другой новелле того же сборника — «Последний угол прозрачности» — Пьеретт Флетшо высвобождает три линии восприятия, не применяя заранее установленной схемы. Герой обладает *молярным восприятием*, которое касается совокупностей и четко разделенных элементов, хорошо распределенных полнот и пустот (это восприятие кодируемое, наследуемое и сверхкодируемое стенами: не садитесь рядом со стулом и т.д.). Но он также захвачен в *молекулярные восприятия*, сделанные из тонких и подвижных сегментаций, из автономных черт, где дыры появляются в заполненном, а микроформы — в пустоте, между двумя вещами, где «все кишит и шевелится» тысячами трещин. Тревога героя состоит в том, что он не может выбрать между двумя линиями, постоянно перескакивая с одной на другую. Не спасет ли его третья линия восприятия, *восприятие ускользания*, «гипотетическое направление, точно указанное» углом двух других линий, «углом прозрачности», открывающем новое пространство?

Двусмысленность положения далеко-подглядывающих в следующем — они способны выявлять в пропасти наимельчайшие микронарушения, то, чего не видят другие; они также констатируют, ниже своей явной геометрической справедливости, ужасные повреждения, вызванные вырезающим Телескопом. У них складывается впечатление, будто они предвидят и пребывают далеко впереди других, ибо видят даже самый малый пустяк как уже случившийся; но они знают, что их предупреждения напрасны, ибо вырезающий Телескоп урегулирует все без предупреждений, не нуждаясь ни в прогнозе, ни в возможности прогноза. Порой они чувствуют, что действительно видят что-то иное, нежели другие; порой же они чувствуют, что то, что они видят, отличается лишь по степени и ни на что не годится. Они сотрудничают с самым жестким и самым грубым предприятием контроля, но как бы они могли не испытывать темной симпатии к подземной активности, открытой для них? Двусмысленность такой молекулярной линии, *как если бы она колебалась между двумя склонами*. Однажды (что еще случится?) далеко-подглядывающий покинет свой сегмент, займет позицию на узком переходе над темной пропастью, отбудет по линии ускользания, сложав свою подзорную трубу, навстречу слепому Двойнику, приближающемуся с другого конца.

Будь мы индивидами или группами, нас пересекают линии, меридианы, геодезические, тропические линии, линии веретена, которые не сражаются в одном и том же ритме и не обладают одной и той же природой. Именно линии komponуют нас, причем мы говорили о трех видах линий. Или, скорее, пучки линий, ибо каждый вид множественен. Мы можем заинтересоваться одной из этих линий больше, чем другими, и, возможно, на самом деле есть одна, которая, хотя и не решающая, но более важна, чем другие... если она там есть. Ибо некоторые из всех этих линий налагаются на нас, по крайней мере частично, извне. Другие же рождаются как-то случайно, из ничего, и мы никогда не узнаем почему. Другие должны быть изобретены, начерче-

ны, без какой-либо модели и без случая — мы должны изобрести, если способны, наши линии ускользания, и мы можем изобретать их, только эффективно прочерчивая в наших жизнях. Не являются ли линии ускользания самыми трудными? Некоторые группы, некоторые люди испытывают в них нехватку и никогда не будут их иметь. Некоторым группам, некоторым людям недостает данного вида линии, или они утратили его. Художница Флоранс Жюлиан [Florence Julien] особо интересуется линиями ускользания: она начинает с фотографий и изобретает процедуру, с помощью которой сможет извлечь из них линии, почти абстрактные и бесформенные. Но опять же, существует целый пакет крайне разнообразных линий — линия ускользания детей, бегом покидающих школу, отличается от линии демонстрантов, преследуемых полицией, или линии сбежавшего заключенного. Линии ускользания разных животных — у каждого вида, у каждого индивида своя. Фернан Делиньи транскрибирует линии и траектории аутичных детей, он снимает *карты*, — он тщательно различает «линии, движущиеся по инерции» и «обычные линии». Это годится не только для прогулок, есть также карты восприятия, карты жестов (готовить еду или собирать дрова) с привычными жестами и жестами по инерции. То же и для языка, если он имеется. Делиньи открыл свои линии письма на линиях жизни. Линии постоянно перекрещиваются, пересекаясь на мгновение, некоторое время следуют друг за другом. Линия, движущиеся по инерции, пересекает обычную линию, и там ребенок делает что-то, что не принадлежит больше в точности ни одной из двух линий, он находит что-то, что потерял — что произошло? — или он прыгает, хлопает в ладоши, мелкое и быстрое движение — но его жест сам, в свою очередь, испускает несколько линий.⁷ Короче, *есть линия ускользания, уже сложная, со своими сингулярностями; а также молярная, или обычная, линия с сегментами; и между двумя линиями (?) есть молекулярная линия со свои-*

⁷ Fernand Deligny. Voix et voir // *Cahiers de l'immuable*, avril 1975.

ми квантами, вынуждающими ее склоняться то к одной стороне, то к другой.

Как говорит Делиньи, легко видеть, что эти линии ни о чем не хотят сказать. Это — дело картографии. Они komponуют нас, поскольку komponуют нашу карту. Они трансформируются и даже могут переходить друг в друга. Ризома. Наверняка они не имеют ничего общего с языком; напротив, именно язык должен следовать за ними, именно письмо должно ими питаться *между* своими собственными линиями. Наверняка они не имеют ничего общего с означающим, с детерминацией субъекта посредством означающего; скорее, именно означающее возникает на наиболее затвердевшем уровне одной из линий, именно субъект рождается на самом низком уровне. Наверняка они не имеют ничего общего со структурой, которая всегда была оккупирована только точками и позициями, древовидными разветвлениями, и которая всегда закрывала систему именно для того, чтобы помешать ускользанию. Делиньи обращается к общему Телу, на котором записываются эти линии как столь многочисленные сегменты, пороги, или кванты, территориальности, детерриторизации или ретерриторизации. Линии записываются на Теле без Органов, где все прочерчивается и ускользает, сама абстрактная линия без воображаемых фигур или символических функций — реальность Тела без Органов. *У шизоанализа нет иного практического объекта:* каково твоё тело без органов? каковы твои линии, какую карту ты собираешься создать или переделать, какую абстрактную линию ты собираешься начертить, и какой ценой, ради себя и ради других? Твоя линия ускользания при тебе? А твоё ТбО, смешивается ли оно с ней? Ты разрушаешься? Собираешься ли ты разрушиться? Детерриторизируешь ли ты себя? Какую линию ты ломаешь, а какую продлеваешь или возобновляешь — без фигур и символов? Шизоанализ не касается ни элементов, ни совокупностей, ни субъектов, ни отношений, ни структур. Он касается только *очертаний*, пересекающих как группы, так и индивидов. Анализ желания, шизоанализ

является непосредственно практическим и непосредственно политическим, идет ли речь об индивиде, группе или обществе. Ибо до бытия имеет место политика. Практика не приходит после расстановки по местам терминов и их отношений, но активно участвует в прочерчивании линий, сталкиваясь с теми же опасностями и тем же вариациями, что и они. Шизоанализ подобен искусству новеллы. Или, скорее, у него нет никакой проблемы применения — он высвобождает линии, которые могут быть также и линиями жизни, литературного произведения или искусства, линиями общества, согласно выбранной системе координат.

Линия молярной, или жесткой сегментации, линия молекулярной, или гибкой сегментации, линия ускользания — встает много проблем. Первая касается *специфического характера каждой линии*. Мы могли бы полагать, что жесткие сегменты определены, предопределены социально, сверхкодированы Государством; у нас может, вместо этого, иметься тенденция делать из гибкой сегментарности внутреннее, воображаемое упражнение или фантазм. Что касается линии ускользания, не будет ли она всецело личностной таким образом, каким индивид ускользает на свой собственный страх и риск, ускользает от «ответственностей», ускользает от мира, укрывается в пустыне или же в искусстве... и т.д. Ложное впечатление. Гибкая сегментарность не имеет ничего общего с воображаемым, а микрополитика не менее экстенсивна или реальна, чем макрополитика. Большая политика может всегда управлять своими молярными совокупностями, только проходя через такие микроинъекции, такие инфильтрации, которые ей благоприятствуют или чинят препятствия; чем крупнее молярные совокупности, тем больше производится молекуляризация инстанций, запускаемых ими в игру. Что касается линий ускользания, то они никогда не состоят в ускользании от мира, а скорее, заставляют ускользать его — так, как мы разрываем трубу; и не бывает общественной системы, которая не ускользала бы во всех направлениях, даже если его сегменты непрестанно затвердевают, дабы закупорить

линии ускользания. На линии ускользания нет ни воображаемого, ни символического. У животных и у человека нет ничего более активного, чем линия ускользания.⁸ Даже История вынуждена проходить, скорее, там, чем через «означающие купюры». Что ускользает в обществе в каждый момент? Именно на линиях ускользания мы изобретаем новое оружие, чтобы обернуть его против тяжелых орудий Государства, и «возможно, что я ускользнул, но на всем пути моего ускользания я ищу оружие». Именно на своих линиях ускользания кочевники считали все на своем пути и находили новое оружие, повергавшее Фараона в оцепенение. Возможно, что одна и та же группа или один и тот же индивидуум сразу презентируют все линии, которые мы различили. Но чаще всего отдельная группа или индивидуум сами функционируют как линия ускользания; они, скорее, создают линию, нежели следуют за ней, они сами являются живым оружием, которое они, скорее, куют, нежели захватывают. Линии ускользания — это реальности; это крайне опасно для обществ, хотя последние не могут обойтись без них, а порой обустривают их.

Вторая проблема касается соответствующей значимости линий. Мы можем начать с жесткой сегментарности, это самое легкое, это то, что дано; а затем посмотреть, как и в какой мере она перекраивается гибкой сегментарностью, неким видом ризомы, окружающей ее корни. А затем увидеть, как к этому добавляется еще и линия ускользания. И союзы, и сражения. Но мы можем начать также с линии ускользания: возможно, именно она является первичной — со своей абсолютной детерриторизацией. Ясно, что линия ускользания *не приходит потом*; она тут с самого начала, даже если ожидает своего часа и взрыва двух других линий. Тогда гибкая сегментарность — это лишь что-то вроде ком-

⁸ Анри Лабори [Henri Laborit] написал книгу «Хвала полету [*Eloge de la fuite*]» (Laffont), где он показывает биологическую значимость линий ускользания у животных. Но его концепция все-таки слишком формальна; и у людей, как он полагает, ускользание связано с ценностями воображаемого, предназначенными наращивать «информацию» о мире.

промисса, действующего посредством относительных детерриторизаций и допускающего ретерриторизации, которые создают блокировки и отсылают к жесткой линии. Любопытно, как гибкая сегментарность захватывается между двумя другими линиями, готова слиться либо с одной стороной, либо с другой; такова ее двусмысленность. И еще нужно рассмотреть разные комбинации: линия ускользания кого-либо — группы или индивида — может совсем не благоприятствовать линии кого-то другого; напротив, она может поставить ей барьер, законопатить ее и тем более забросить ее обратно в жесткую сегментарность. Так, в любви случается, что творческая линия одного является заключением под стражу линии другого. Существует проблема композиции линий — одной линии с другой — даже в том же роде. Нет уверенности, что две линии ускользания окажутся совместимы, возможны. Нет уверенности, что тело без органов скомпонуется легко. Нет уверенности, что любовь или политика будут этому сопротивляться.

Третья проблема — есть *взаимная имманентность* линий. И их совсем нелегко распутать. Ни у одной из них нет трансцендентности, каждая работает внутри другой. Имманентность повсюду. Линии ускользания имманентны социальному полю. Гибкая сегментарность непрерывно демонтирует твердость жесткой сегментарности, но на своем уровне она восстанавливает все то, что демонтирует: микро-Эдипы, микроформации власти, микрофашизмы. Линия ускользания взрывает обе сегментарные серии; но она способна к наихудшему, к подсакиванию на стене, к падению опять в черную дыру, к движению к наибольшему регрессу и к воссозданию самых жестких из сегментов в случайности своих поворотов. Выбросили ли мы дурь из головы? Это хуже, чем если бы мы не убежали вообще — см. то, в чем Лоуренс упрекает Мелвилла. Между материей грязной маленькой тайны в жесткой сегментарности, пустой формой вопроса «Что случилось?» в гибкой сегментарности и подпольем того, что не может больше произойти на линии

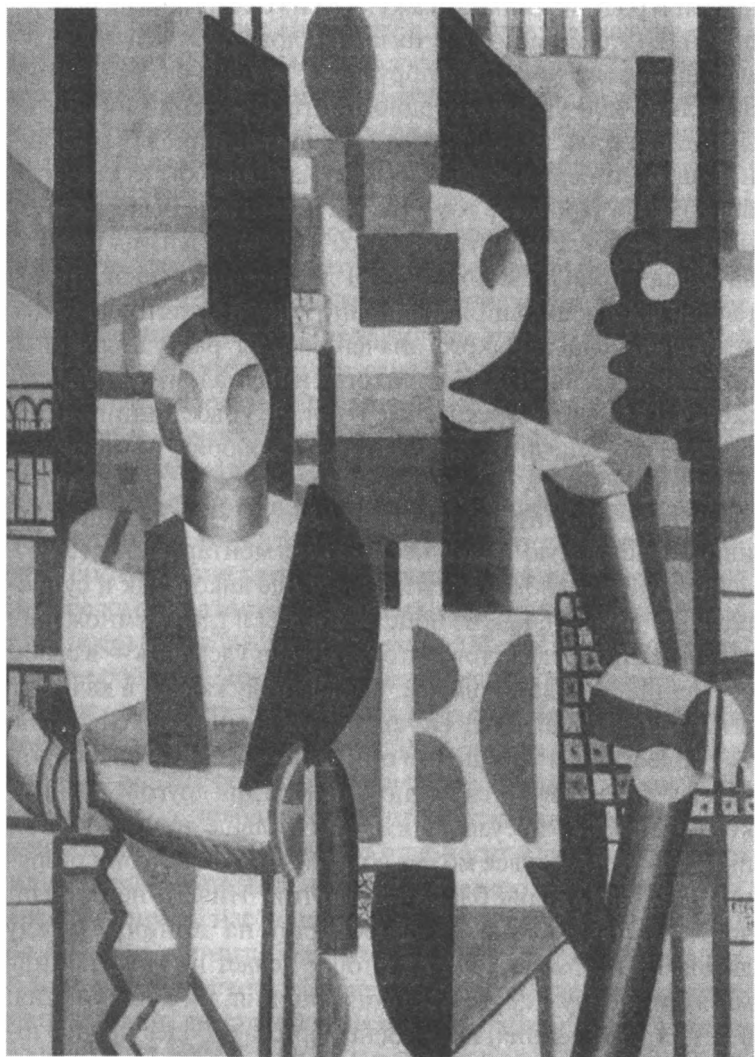
ускользания, — между всем этим как не увидеть резких скачков тянущейся во все стороны инстанции, Тайны, рискующей заставить все опрокинуться? Между Супружеской парой первой сегментарности, Двойником второй и Подпольщиком линии ускользания так много всевозможных смесей и переходов. Наконец, еще одна, последняя проблема, самая мучительная, касающаяся *опасностей, присущих каждой линии*. Немного можно сказать об опасности первой линии, о ее ожесточении, не рискующем упорядочиться. Немного можно сказать и о двусмысленности второй линии. Но почему линия ускользания — даже независимо от подстерегающей ее опасности вновь упасть на две других — сама заключает в себе столь специфическое отчаяние, несмотря на ее радостные послания, как если бы самой сердцевине ее предприятия что-то угрожает — смерть, разрушение — в тот самый момент, когда все приходит к разрешению? О Чехове, действительно крупнейшем творце новелл, Шестов сказал: «Чехов надорвался, в этом почти не может быть сомнения. И надорвался не от тяжелой, большой работы, не великий непосильный подвиг сломил его, а так, пустой, незначительный случай: упал, споткнувшись, поскользнулся... Нет прежнего Чехова, веселого и радостного... а есть угрюмый, хмурый человек, “преступник”»⁹. *Что произошло?* И еще, это вопрос для всех персонажей Чехова. Не можем ли мы приложить усилие и даже сломать в себе что-то, не свалившись в черную дыру горечи и песка? Но упал ли Чехов на самом деле, не является ли это всецело внешним суждением? Был ли у самого Чехова повод сказать, что сколь бы мрачными ни были его персонажи, они все еще несут в себе «пятьдесят кило любви»? Конечно, нет ничего легкого в линиях, которые komponуют нас и конституируют сущность *Новеллы* [*La Nouvelle*], а иногда *Хорошей Новосты* [*La Bonne Nouvelle*].

Каковы твои супружеские пары, твои двойники, твои подпольщики, и каковы смеси между ними? Когда один

⁹ Шестов Л., *Творчество из ничего* (Чехов).

говорит другому: люби вкус виски на моих губах, как я люблю блеск безумия в твоих глазах, — то какие линии они собираются скомпоновать или, напротив, сделать невозможными? Фицджеральд: «Возможно, половина наших друзей и родственников скажут вам из самых благих побуждений, будто именно мое пьянство довело Зельду до безумия, другая же половина поручится, что как раз ее безумие вынудило меня пить. Ни одно из этих суждений ничего не значит. Эти две группы друзей и родственников были единоклубны, говоря, что каждому из нас было бы куда лучше без другого. Ирония в том, что мы никогда не были так безнадежно влюблены друг в друга за всю нашу жизнь. Ей нравился алкоголь на моих губах. Я лелею ее самые экстравагантные галлюцинации». «В конце концов, ничто на самом деле не имело никакого значения. Мы разрушили сами себя. Но, честно говоря, я никогда не думал, что мы разрушили друг друга». Прекрасные тексты. Тут все линии: линия семьи и друзей, линии всех тех, кто говорит, объясняет и психоанализирует, распределяет неверное и верное, всю бинарную машину Супружеской Пары — объединенную или разделенную — в жесткой сегментарности (50%). А затем линия гибкой сегментации, где алкоголик и сумасшедшая черпают, как из поцелуя в губы и глаза, умножение двойника на пределе того, что они могут удержать — в своем состоянии, с недомолвками, которые служат им в качестве внутреннего послания. Но еще есть и линия ускользания, тем более общая теперь, что они отделяются, или наоборот, каждая из них является подпольщиком для другой, двойником, тем более преуспевшим, чем больше ничего уже не имеет значения, и все может возобновиться, ибо они разрушились, но не одна благодаря другой. Ничего не пройдет через воспоминание, все пройдено на линиях, между линиями, на том самом И, которое делает их невосприимчивыми, одну и другую, ни дизъюнкция, ни конъюнкция, а линия ускользания, которая не перестает более прочерчиваться, ради нового согласия, противоположности отказа или смирения, ради нового счастья?

9. 1933 — Микрополитика и сегментарность



Сегментарности (совокупность типов)

Мы сегментированы повсюду и во всех направлениях. Человек — сегментарное животное. Сегментарность присуща всем komponующим нас стратам. Жить, циркулировать, работать, играть — прожитое сегментировано пространственно и социально. Дом сегментируется согласно назначению его комнат; улицы — согласно порядку города; завод — согласно природе работы и операций. Мы *бинарно* сегментированы согласно крупным дуальным оппозициям — социальные классы, а также мужчины и женщины, взрослые и дети, и т.д. Мы сегментированы *циркулярно*, во все более и более обширных кругах, все более и более широких дисках или венцах, подобно «письму» Джойса — мои дела, дела моего квартала, моего города, моей страны, мира... Мы сегментированы *линейно*, на прямой линии, по нескольким прямым линиям, где каждый сегмент представляет эпизод или «процесс»: только мы закончили один процесс, как уже начинаем другой, всегда производящий или производимый, в семье, школе, армии, профессии — школа говорит нам: «Ты уже не в семье», и армия говорит: «Ты уже не в школе...» Порой разные сегменты отсылают к индивидам или группам, а иногда один и тот же индивид или одна и та же группа переходит от одного сегмента к другому. Но эти фигуры сегментарности — бинарность, циркулярность, линейность — всегда схвачены одна в другой, и даже переходят одна в другую, трансформируются в зависимости от точки зрения. Об этом свидетельствуют уже дикие племена*: Лизот показывает, как общая Хижина организуется круговым образом — от интерьера к экстерьеру — в серии венцов, где осуществляются определенные типы локализуемой деятельности (культы и церемонии, затем обмен товаров, затем семейная жизнь, затем отходы и экскременты); но в то же время «каждый из этих венцов сам поперечно дробится, а каждый сегмент налагается на специфическое происхождение и подразделяется между разными род-

* Яномама. — *Прим. пер.*

ственными группами»¹. В более широком контексте Леви-Строс показывает, что дуалистическая организация первобытных народов отсылает к круговой форме, а также переходит в линейную форму, охватывающую «любое число групп» (по крайней мере, три).²

Зачем же возвращаться к первобытным народам, коли речь идет о нашей жизни? Факт, что понятие сегментарности сконструировано этнологами, дабы дать отчет о так называемых первобытных обществах, лишенных фиксированного централизованного аппарата Государства, а также глобальной власти и специализированных политических институтов. Тогда у общественных сегментов есть определенная гибкость — в зависимости от задач и ситуаций — между двумя крайними полюсами слияния и раскола; у них есть большая коммуникабельность между неоднородностями, так что присоединение одного сегмента к другому может осуществляться разнообразными способами; есть локальная конструкция, исключающая возможность определить заранее базовую область (экономическую, политическую, юридическую, художественную); есть внешние свойства ситуаций или отношений, несводимые к внутренним свойствам структуры; есть непрерывная деятельность, являющаяся причиной того, что сегментарность не схватывается независимо от сегментации в действии, осуществляемой посредством прорывов, разъединений, воссоединений. Примитивная сегментарность является, одновременно, сегментарностью многозначного *кода*, основанного на происхождениях, варьируемых ситуациях и отношениях; а также — сегментарностью странствующей *территориальности*, основанной на перепутанных локальных делениях. Коды и территории, родовые кланы и племенные территориальности образуют ткань относительно гибкой сегментарности.³

¹ Lizot, Jacques. *Le cercle des feux*, Ed. du Seuil, p. 118.

² Леви-Строс К. *Структурная антропология*. М.: Академический Проект, 2008. Глава VIII. «Существуют ли дуальные организации?»

³ См. два образцовых исследования в *Systèmes politiques africains*, P.U.F.: исследование Мейера Фортеза об индейцах талленси и исследование Эванс-Причард о нуэр.

Однако, как нам кажется, довольно трудно утверждать, будто государственные общества или даже наши современные Государства менее сегментарны. По-видимому, классическая оппозиция между сегментарным и централизованным здесь не столь уж существенна.⁴ Государство не только властвует над сегментами, которые оно поддерживает или которым позволяет существовать, но и само обладает собственной сегментарностью, навязывает ее. Возможно, оппозиция, устанавливаемая социологами между сегментарным и централизованным, имеет под собой биологическую основу — кольчатый червь и центральная нервная система. Но центральный мозг сам является неким червем, еще более сегментированным, чем другие системы, несмотря на все свои викарности* и включая их. Между централизованным и сегментарным нет противостояния. Современная политическая система — это глобальное целое, объединенное и объединяющее, но именно потому, что она предполагает совокупность упорядоченных, рядоположенных, наслаивающихся одна на другую подсистем, так что анализ решений запускает в игру все виды разобщенностей и частичных процессов, продолжающихся друг в друге лишь благодаря разрывам или перемещениям. Технократия действует посредством сегментарного разделения труда (в том числе и в международном разделении труда). Бюрократия существует только благодаря своим разгороженным кабинетам и функционирует лишь благодаря «смещениям цели» и соответствующим «дисфункциям». Иерархия не просто пирамидальна, кабинет начальника находится в конце коридора, а также наверху башни. Коротче, можно было бы сказать, что современная жизнь не рассталась с сегментарностью, а напротив, особенно ужесточила ее.

⁴ Жорж Баландье анализирует способы, какими этнологи и социологи определяют эту оппозицию: *Anthropologie politique*, P. U. F., pp. 161–169.

* Викарный (vicarious) — термин используется для описания структуры или функции какого-либо органа, которые обычно этому органу не присущи и действуют как заместительные. — *Прим. пер.*

Вместо того чтобы противопоставлять сегментарное и централизованное, следовало бы различить два типа сегментарности — один «примитивный» и гибкий, другой «современный» и жесткий. И это различие перекроило бы каждую из рассматриваемых фигур:

1) В первобытных обществах бинарные оппозиции (мужчины—женщины; те, кто наверху — те, кто снизу; и т.д.) весьма сильны, но они, по-видимому, вытекают из машин и сборок, которые сами не бинарны. Социальная бинарность между мужчинами и женщинами в группе мобилизует правила, согласно которым те и другие выбирают соответствующих супругов из разных групп (отсюда, по крайней мере, три группы). Именно в этом смысле Леви-Строс способен показать, что дуалистическая организация в таком типе общества никогда не покоится на самой себе. Напротив, особенностью современных обществ, или, скорее, Государства, является введение собственных дуальных машин, функционирующих как таковые и действующих одновременно благодаря дву-однозначными отношениями, а последовательно — благодаря бинарным выборам. Классы и половые различия приходят по двое, а феномены тройственности вытекают из смещения дуального, но не наоборот. Такое мы наблюдали именно в случае машины Лица, отличающейся в этом отношении от машин примитивной головы. По-видимому, современные общества подняли дуальную сегментарность до уровня достаточной организации. Следовательно, вопрос не в том, чтобы знать, является ли статус женщин или тех, кто снизу, лучше или хуже, а в том, из какого типа организации этот статус проистекает.

2) Сходным образом можно заметить, что в первобытных обществах круговая сегментарность не предполагает с необходимостью, чтобы круги были концентрическими или чтобы у них был один и тот же центр. В гибком режиме центры уже действуют как множество *узлов*, *глаз* или *черных дыр*; но они не вступают в совместный резонанс, не падают на одну и ту же точку, не соперничают за одну и ту

же центральную черную дыру. Есть множество анимистических глаз, каждый из которых предназначен, например, для специфического животного духа (дух-змея, дух-клещ, дух-кайман...). Каждая черная дыра оккупирована тем или иным животным глазом. Несомненно, мы видим, как — то здесь, то там — вырисовываются действия ужесточения и централизации: надо, чтобы все центры прошли через один единственный круг, у коего, в свою очередь, есть собственный единственный центр. Шаман прочерчивает линии между всеми точками или духами, рисует созвездие, сияющую совокупность корней, отсылающую к центральному дереву. Не рождение ли это централизованной власти, где древовидная система начинает надзирать за стремительным ростом примитивной ризомы?⁵ Дерево играет здесь роль, одновременно, и принципа дихотомии или бинарности, и оси вращения... Но власть шамана еще полностью локализована, строго зависима от особого сегмента, обусловленного наркотиками, и каждая точка продолжает испускать свои независимые последовательности. Того же нельзя сказать о современных обществах или даже государствах. Конечно, централизованное не противопоставляется сегментарному, и круги остаются различными. Но они становятся концентрическими, окончательно древовидными. Сегментарность становится жесткой в той мере, в какой все центры резонируют в одной единственной точке аккумуляции, а все черные дыры падают в эту точку, подобную точке пересечения где-то позади всех глаз. Лицо отца, лицо учителя, лицо полковника, начальника, образуя избыток, отсылают к центру означивания, проходящему через разнообразные круги и движущемуся по всем сегментам. Гибкие микроголовы, животные олицевления заменяются макролицом, чей центр везде, а окружность нигде.

⁵ Об инициациях шамана и о роли дерева у индейцев яномама см. Жак Лизот, pp. 127–135: «Между ступнями спешно роется отверстие, куда вставляется основание столба, которое там и закрепляется. Тураеве прочерчивает на земле воображаемые линии, расходящиеся лучами во все стороны. Он говорит: Это — корни».

У нас нет больше *n* глаз в небесах, в животных или в растительных становлениях, а есть лишь центральный исчисляющий глаз, обшаривающий все пределы. Централизованное Государство образовалось не благодаря уничтожению круговой сегментарности, а благодаря концентричности различных кругов или введению в резонанс центров. *В первобытных обществах уже достаточно много центров власти; или, если хотите, их еще достаточно много в Государственных обществах.* Но последние ведут себя как аппараты резонанса, они организуют резонанс, тогда как первые его подавляют.⁶

3) Наконец, с точки зрения линейной сегментарности, можно было бы сказать, что каждый сегмент оказывается очерченным, исправленным, однородным — что касается него самого, а также по отношению к другим сегментам. Не только у каждого сегмента есть своя единица измерения, но существуют также эквивалентность и переводимость таких единиц между сегментами. Дело в том, что у центрального глаза в качестве коррелята имеется пространство, через которое он перемещается, но сам остается неизменным по отношению к своим перемещениям. Начиная с греческого города и реформ Клисфена, появляется однородное и изотопическое политическое пространство, намеревающееся сверхкодировать сегменты родства, тогда как различные очаги начинают резонировать в центре, действующем как общий знаменатель.⁷ Поль Вирилио показывает, что после Греческого города Римская империя навя-

⁶ Таким образом, Государство определяется не только типом публичной власти, но и в качестве резонансной камеры, как для частных, так и для общественных полномочий. В этом смысле Альтюссер может сказать: «Различие между публичным и частным — это различие, внутреннее для буржуазного права и подлинное в подчиненных областях, где буржуазное право осуществляет свою власть. Область Государства избегает его, ибо она по ту сторону Права. <...> Напротив, она и есть условие любого различия между публичным и частным» (*Idéologie et appareils idéologiques d'Etat // La Pensée*, juin 1970).

⁷ Vernant, J.-P. *Mythe et pensée chez les Grecs*, Maspero, t. I, IIIe partie («становясь общим, возникая на публичном и открытом пространстве агоры, а не внутри частных жилищ <...> очаг выражает отныне центр как общий знаменатель всех домов, составляющих полис», с. 210).

зывает геометрические или *линейные интересы Государства*, предполагающие общий рисунок лагерей и фортификаций, универсальное искусство «отмечать линиями границы», оборудование территорий, замену пространства на места и территориальности, превращение мира в город, короче, все более и более жесткую сегментарность.⁸ Дело в том, что очерченные или сверхкодированные сегменты, по-видимому, утратили, таким образом, свою способность почковаться, свое динамичное отношение к сегментациям в действии, к тому, чтобы созидать самих себя и разрушаться. Если и существует примитивная «геометрия» (протогеометрия), то это операциональная геометрия, где фигуры никогда не отделимы от своих аффектаций, линии — от своего становления, сегменты — от своей сегментации: есть «округления», но нет круга, есть «выравнивания», но нет прямой и т.д. Напротив, государственная геометрия, или, скорее, связь Государства с геометрией, проявляет себя в примате элемента-теоремы, заменяющего гибкие морфологические формации на идеальные или фиксированные сущности, аффекты на свойства, а сегментации в действии — на предзаданные сегменты. Геометрия и арифметика обретают мощь скальпеля. Частная собственность предполагает сверхкодированное и разграфленное земельным кадастром пространство. Не только у каждой линии свои сегменты, но и сегменты одной линии соответствуют сегментам другой — например, режим наемного труда устанавливает соответствие между монетарными сегментами, производственными сегментами и сегментами потребляемых товаров.

Мы можем подвести итог принципиальным различиям между жесткой сегментарностью и гибкой. В жестком

⁸ Virilio. *L'insécurité du territoire*, Stock, p. 120, pp. 174–175. О «кастраментации»: «Геометрия — необходимое основание для калькулируемой экспансии власти Государства в пространстве и во времени; и наоборот, Государство, таким образом, обладает в себе достаточной и идеальной фигурой, лишь бы та была идеально геометрической. <...> Но Фенелон, выступая против государственной политики Людовика XIV, восклицает: «Бойтесь колдовства и дьявольских атрибутов геометрии!».

модусе бинарная сегментарность покоится в себе самой и зависит от крупных машин прямой бинаризации, тогда как в другом модусе бинарности следуют из «множеств с n измерениями». Во-вторых, круговая сегментарность стремится стать концентрической, то есть заставить все свои очаги совпасть в единственном центре, который не перестает перемещаться, но остается неизменным в своих перемещениях, отсылая к машине резонанса. Наконец, линейная сегментарность проходит через машину сверхкодирования, которая составляет однородное пространство *more geometrico** и выделяет сегменты, детерминированные в своей сущности, форме и отношениях. Заметим, что такая более жесткая сегментарность каждый раз выражается посредством Дерева. Дерево — это узел древовидного разветвления или принцип дихотомии; оно — ось вращения, удостоверяющая концентричность; оно — структура или сеть, разграфляющая возможное. Но если мы и противопоставляем древовидную и ризоматическую сегментарности, то не только ради того, чтобы указать на два состояния одного и того же процесса, но и чтобы выделить два различных процесса. Ибо первобытные общества главным образом действуют посредством кодов и территориальностей. Даже различию между этими двумя элементами — племенной системой территорий и клановой системой родства — мешает именно резонанс.⁹ Тогда как современные, или Государственные, общества, заменили слабые коды на однозначное сверхкодирование, а утраченную территориальность на специфическую ретерриторизацию

* Геометрическим способом (лат.). — Прим. пер.

⁹ Мейер Фортез анализирует различие, имеющее место у индейцев талленси, между «охранителями земли» и вождями. Такое различие в полномочиях широко распространено в первобытных обществах; но считается, что оно было организовано именно так, чтобы предотвратить резонанс полномочий. Например, следуя тому, как Берт анализирует бадуй с Явы, власть охранителя земли, с одной стороны, рассматривается как пассивная или женская, а с другой, приписывается старшему сыну — это вовсе не «вторжение родства в политический порядок», а напротив, «требование политического порядка, переведенное в термины родства», дабы предотвратить установление резонанса, из которого вытекала бы частная собственность (см.: Berthe, Louis. Aînés et cadets, l'alliance et la hiérarchie chez les Baduj // *L'Homme*, juillet 1965).

(имеющую место именно в сверхкодированном геометрическом пространстве). Сегментарность всегда появляется как результат действия абстрактной машины; но как раз таки не одна и та же абстрактная машина действует в жестком и в гибком.

Таким образом, мало противопоставить централизованное и сегментарное. Мало также противопоставить две сегментарности: одну — гибкую и примитивную, другую — современную и жесткую. Эти две сегментарности действительно отличаются, но они неотделимы друг от друга, перепутаны друг с другом и одна в другой. У первобытных обществ есть ядра жесткости и древовидности, как предвосхищающие Государство, так и предотвращающие его появление. Наоборот, наши общества продолжают плавать в гибкой ткани, без которой их жесткие сегменты не удержались бы. Мы не можем сохранить за первобытными народами гибкую сегментарность. Гибкая сегментарность не является даже пережитком дикого в нас, она — вполне актуальная функция, неотделимая от другой. Таким образом, любое общество, а также любой индивид, пересечены, одновременно, двумя сегментарностями: одна — молярная, а другая — *молекулярная*. Если они и отличаются, то именно потому, что у них нет одних и тех же терминов, одних и тех же отношений, одной и той же природы, нет одного и того же типа множества. А если они и нераздельны, то именно потому, что сосуществуют, переходят одна в другую, согласно разным фигурам, как у первобытных людей или у нас, — но одна всегда предполагает другую. Короче, все является политикой, но любая политика — это сразу и *макрополитика*, и *микрополитика*. Возьмем совокупности типа восприятия, или чувства — их молярная организация, их жесткая сегментарность не мешает существовать целому миру бессознательных микровосприятий, бессознательных аффектов, тонких сегментаций, которые не схватывают или не испытывают одного и того же, которые распределяются и действуют по-иному. Микрополитика восприятия, привязанности, беседы и т.д. Если мы

рассматриваем крупные бинарные совокупности — такие, как половые принадлежности или классы, — то хорошо видим, что они также переходят в молекулярные сборки иной природы, что между ними есть двойная взаимозависимость. Ибо оба пола отсылают к множественным молекулярным сочетаниям, запускающим в игру не только мужчину в женщине, а женщину в мужчине, но и то, как каждый соотносится в другом с животным, растением и т.д. — тысяча мелких полов. И социальные классы сами отсылают к «массам», у коих нет ни одного и того же движения, ни одного и того же распределения, ни одних и тех же целей, ни одних и тех же способов борьбы. Попытки отличить массу от класса действительно стремятся к такому пределу: *к тому, что понятие массы — это молекулярное понятие*, действующее согласно некоему типу сегментации, несводимому к молярной сегментарности класса. Однако классы хорошо обтесываются в массах, они их кристаллизуют. И массы не перестают течь, сочиться из классов. Но их взаимопредполагаемость не избегает разницы в точке зрения, в природе, масштабе и функции (у так понятого понятия массы совершенно иной смысл, нежели у понятия, предложенного Канетти).

Мало определять бюрократию через жесткую сегментарность — с разобщенностью смежных кабинетов, начальником отдела в каждом сегменте и соответствующей централизацией в конце коридора или наверху башни. Ибо одновременно существует целая бюрократическая сегментация, гибкость отделов и коммуникация между ними, извращение бюрократии, перманентные изобретательность или созидательность, осуществляемые даже вопреки административным регламентам. Если Кафка — крупнейший теоретик бюрократии, то именно потому, что он показывает как — на определенном уровне (но на каком? — ибо он нелокализуем) — барьеры между кабинетами перестают быть «точными границами», погружаются в молекулярную среду, растворяющую их и, одновременно, заставляющую начальника множиться в микрофигурах, каковые невоз-

можно распознать, идентифицировать и каковые распознаваемы лишь тогда, когда поддаются централизации: другой режим, сосуществующий с разделением и тотализацией жестких сегментов.¹⁰ Можно было бы даже сказать, что фашизм подразумевает молекулярный режим, не смешивающийся ни с молярными сегментами, ни с их централизацией. Несомненно, фашизм изобрел понятие тоталитарного Государства, но нет повода определять фашизм через то понятие, какое он сам изобрел: существуют тоталитарные государства — типа сталинской или военной диктатуры, — не являющиеся фашистскими. Понятие тоталитарного Государства применимо только в макрополитическом масштабе, к жесткой сегментарности и к особому способу тотализации и централизации. Но фашизм неотделим от молекулярных очагов, которые, взаимодействуя, плодятся и перескакивают от одной точки к другой, *прежде чем* начнут резонировать все вместе в национал-социалистическом Государстве. Сельский фашизм и фашизм города или квартала, фашизм молодежи и фашизм ветеранов войны, фашизм левых и фашизм правых, фашизм супружеской пары, семьи, школы или офиса — каждый фашизм определяется черной микродырой, которая покоится в себе самой и коммуницирует с другими дырами, прежде чем резонировать в великой обобщенной центральной черной дыре.¹¹ Фашизм есть тогда, когда *машина войны* устанавливается в каждой дыре, в каждой нише. Даже когда установится национал-социалистическое Государство, оно будет нуж-

¹⁰ Кафка Ф., *Замок*, главным образом глава XIV (заявления Варнавы). Притча о двух отделах — молярном и молекулярном — обладает, таким образом, не только физической интерпретацией, как у Эддингтона, но и собственно бюрократической интерпретацией.

¹¹ Сила книги Фая, *Langages totalitaires*, Hermann, в том, что она показывает множественность таких очагов, практик и семиотик, начиная с которых конституируется нацизм. Вот почему Фай — первый, кто проводит строгий анализ понятия тоталитарного Государства (в его итальянском и немецком происхождении) и, одновременно, отказывается от определения итальянского фашизма и немецкого нацизма с помощью самого понятия «тоталитарное Государство» (играющего на ином плане, нежели «ниже указанный процесс»). Фай разъясняет все эти пункты в: *La critique du langage et son économie*, Ed. Galilée.

даться в устойчивости таких микрофашизмов, сообщающих ему ни с чем не сравнимую способность воздействовать на «массы». Даниэль Герен вправе сказать, что, если Гитлер и захватил власть, а не немецкую Государственную администрацию, то именно потому, что он с самого начала располагал микроорганизациями, дававшими ему «ни с чем не сравнимое и незаменимое средство проникать во все ячейки общества», гибкую и молекулярную сегментарность, потоки, способные омыwać каждый тип ячейки. Наоборот, если капитализм дошел до того, что счел фашистский опыт катастрофичным, если он предпочел объединиться со сталинским тоталитаризмом, куда более мудрым и покладистым с его точки зрения, то это потому, что сегментарность и централизация у последнего были более классическими и менее текучими. Именно микрополитическая или молекулярная мощь создает опасный фашизм, ибо он является массовым движением — скорее раковое тело, нежели тоталитарный организм. Американское кино часто показывало такие молекулярные очаги — фашизм банды, шайки, секты, семьи, деревни, квартала, транспортного средства, — не щадящие никого. Только микрофашизм дает ответ на общий вопрос: Почему желание желает собственного подавления, как оно может желать своего подавления? Конечно же, массы вовсе не подчиняются пассивно власти; и они не «хотят» быть репрессированными в духе мазохистской истерии; и они не хотят более быть обманутыми идеологическими иллюзиями. Но желание никогда не отделимо от сложных сборок, которые с необходимостью проходят через молекулярные уровни, оно не отделимо от микрообразований, уже формирующих позы, отношения, восприятия, предвосхищения, семиотики и т.д. Желание никогда не является безотчетной недифференцированной энергией, скорее, оно само — результат хорошо разработанного монтажа, некой *инженерии* высоких взаимодействий: цельная гибкая сегментарность, трактующая молекулярные энергетические ресурсы и определяющая — в случае необходимости, — что

желание уже стало фашистским. Левые организации — вовсе не последние инстанции, выделяющие собственные микрофашизмы. Слишком легко быть антифашистом на молярном уровне, даже не замечая того фашиста, каковым мы являемся сами, которого мы поддерживаем и питаем, а также нежно любим — благодаря молекулам как личным, так и коллективным.

Будем избегать четырех ошибок в отношении такой гибкой и молекулярной сегментарности. Первая ошибка — аксиологическая, и состоит она в полагании, будто достаточно немного гибкости, чтобы стать «лучше». Но фашизм куда более опасен из-за своих микрофашизмов, а тонкие сегментации — столь же пагубны, как и самые жесткие из сегментов. Вторая ошибка — психологическая, как если бы молекулярное принадлежало к области воображения и отсылало только к индивидуальному или межиндивидуальному. Но на молярной линии не меньше Реального-социального, чем на молекулярной. В-третьих, обе формы отличаются не просто размерами, как малая форма от большой; и если верно, что молекулярное действует в деталях и проходит через малые группы, то это вовсе не означает, что оно менее соразмерно всему социальному полю, чем молярная организация. Наконец, качественное различие обеих линий не мешает тому, чтобы они двигались вместе или пересекались, так что всегда есть пропорциональное отношение между такими двумя формами — либо прямо пропорциональное, либо обратно пропорциональное.

Действительно, в первом случае, чем более сильна молярная организация, тем более она способствует молекуляризации своих собственных элементов, своих отношений и элементарных аппаратов. Когда машина становится планетарной или космической, у сборок появляется все большая и большая тенденция миниатюризироваться, становится микросборками. Следуя формуле Горца, у мирового капитализма в качестве рабочего элемента остается только молекулярный, или молекуляризованный, инди-

вид, то есть индивид «массы». У администрации крупной молярно организованной службы безопасности есть в качестве коррелята целое микроуправление мелкими страхами, постоянная молекулярная небезопасность — до такой степени, что формула министерства внутренних дел могла бы быть следующей: макрополитика общества осуществляется благодаря микрополитике небезопасности и ради нее.¹² И все-таки второй случай куда важнее — молекулярные движения не дополняют больше великую мировую организацию, а, скорее, препятствуют ей и разваливают ее. Это — то, о чем говорил президент Жискар д'Эстен на своем уроке по политической и военной географии: чем больше равновесие между Западом и Востоком — в сверхкодирующей и сверхвооруженной дуальной машине, — тем более оно «дестабилизируется» на другой линии — с севера на юг. Всегда найдется палестинец, баск или корсиканец, дабы осуществить «региональную дестабилизацию безопасности».¹³ Так что обе великих молярных совокупности — на востоке и на западе — постоянно обрабатываются молекулярной сегментацией, вызывающей зигзагообразную трещину, которая мешает им удерживать собственные сегменты. Как если бы линия ускользания, даже если она начинается с едва заметного ручейка, всегда текла между сегментами и уклонялась от их централизации, скрывалась от их тотализации. Именно так можно представить глубинные движения, будоражащие общество, даже если они по необходимости «представлены» как столкновение молярных сегментов. Мы напрасно говорим (а именно — в марксизме), будто общество определяется своими противоречиями. Это верно только на больших масштабах. С точки зрения микрополитики общество определяется своими молекулярными линиями ускользания. Всегда что-то течет

¹² О такой взаимодополнительности «макрополитика безопасности — микрополитика ужаса» см.: Virilio. *Ibid.*, pp. 96, 130, 228–235. Часто отмечается подобная микроорганизация постоянного «стресса» в современных больших городах.

¹³ В. Жискар д'Эстен, речь 1 июня 1976 года в Институте высшего образования национальной обороны (полный текст в: *Le Monde*, 4 juin 1976).

или ускользает, избегает бинарных организаций, аппаратов резонанса, машин сверхкодирования: то, что мы отдаем на откуп «эволюции нравов» — это молодежь, женщины, сумасшедшие и т.д. Май 1968 года во Франции был молекулярным, и с точки зрения макрополитики его условия тем более неосязаемы. Случается, что весьма ограниченные люди или глубокие старики схватывают событие лучше, чем самые продвинутые политики, или политики, считающие себя продвинутыми с точки зрения организации. Как говорил Габриэль Тард, следовало бы знать, какие из крестьян и в каких регионах юга Франции перестали приветствовать местного землевладельца. Очень старый, отживший свой век землевладелец может в этом случае куда лучше оценить вещи, чем модернист. То же верно и для Мая 1968 года — все те, кто судили о нем в терминах макрополитики, ничего не поняли в событии, ибо что-то необъяснимое ускользнуло. Политики, партии, профсоюзы, многие левые были крайне раздосадованы — они непрерывно напоминали, что «условия» не были даны. Как если бы их предварительно отстранили от всей дуальной машины, которая сделала бы из них достойных партнеров. Странно, де Голль, да и сам Помпиду поняли намного больше, чем другие. Молекулярный поток убежал, вначале крошечный, затем увеличиваясь, оставаясь неопределимым... Верно, однако, и обратное — ускользания и молекулярные движения были бы ничем, если бы не возвращались к молярным организациям, не перегруппировывали свои сегменты, свои бинарные распределения полов, классов, партий.

Значит, речь идет о том, что молярное и молекулярное отличаются не только по размеру, масштабу или измерению, но и по природе рассматриваемой системы отсчета. Тогда, возможно, слова «линия» и «сегменты» следует сохранить за молярной организацией и подыскать другие слова, которые больше соответствовали бы молекулярной композиции. Действительно, каждый раз, когда мы можем приписать *линии* хорошо определенные *сегменты*, то заме-

чаем, что она продолжается в иной форме, в *потоке квантов*. И каждый раз мы можем расположить «центр власти» как бы на границе между этими двумя формами и определить его не через абсолютное осуществление в некой области, а через относительные адаптации и конверсии, которые он вызывает между линией и потоком. Возьмем, к примеру, монетарную линию с сегментами. Эти сегменты могут быть определены с разных точек зрения — например, с точки зрения бюджета предприятия: общая сумма заработной платы, чистая прибыль, зарплата руководства, процент капитала, резервы, инвестиции... и т.д. И такая линия денег-платежей отсылает к совсем другому аспекту: а именно, к потоку деньги—финансирование, включающему в себя уже не сегменты, а, скорее, полюса, сингулярности и кванты (полюса потока суть создание и исчезновение денег, сингулярности — номинальные денежные средства, кванты — инфляция, дефляция, стагфляция и т.д.). В этом отношении мы могли бы говорить о «мутирующем, конвульсивном, креативном и относящемся к кровообращению Потоке», связанном с желанием и всегда расположенном ниже той твердой линии и сегментов, которые определяют процентную ставку, предложение и спрос.¹⁴ В платежном балансе мы обнаруживаем бинарную сегментарность, которая отличает, например, так называемые автономные операции от так называемых компенсирующих операций; но как раз движения капитала не позволяют себе сегментироваться таким образом, ибо они являются «*наиболее разложенными*», в зависимости от своей природы, своей длительности, личности кредитора или должника», так что мы «уже совсем не знаем, куда поместить линию» по отношению к этому потоку.¹⁵ Между такими двумя аспектами есть не менее постоянная корреляция, поскольку именно благодаря линеаризации и сегментации потоки иссякают, но

¹⁴ О «потоке мутирующей власти» и о различии между двумя типами денег см.: Schmitt, Bernard. *Monnaie, salaires et profits*, Ed. Castella, pp. 236, 275–277.

¹⁵ Lelart, Michel. *Le dollar monnaie internationale*, Ed. Albatros, p. 57.

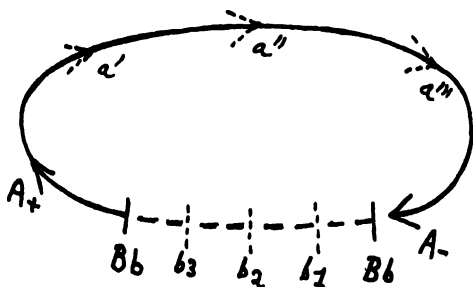
также именно линейаризация и сегментация начинают новое творение. Когда мы говорим о банковской власти, сконцентрированной именно в центральных банках, то речь на самом деле идет об относительной власти, направленной на то, чтобы регулировать «настолько, насколько» возможно коммуникацию, конверсию, коадаптацию двух частей круга. Вот почему центры власти в большей мере определяются тем, что от них ускользает, или своим собственным бессилием, чем собственной зоной могущества. Короче, молекулярное, микроэкономика, микрополитика определяются не незначительностью своих элементов, а природой своей «массы» — квантовым потоком как противоположностью линии из молярных сегментов.¹⁶ Задача приведения в соответствие сегментов и квантов, задача урегулировать сегменты в соответствии с квантами предполагает, скорее, изменения ритма и модуса — что с грехом пополам делается, — нежели подразумевает всемогущество; и всегда что-то ускользает.

Можно взять и другие примеры. Так, когда мы говорим о власти Церкви, то эта власть всегда ассоциировалась с определенным администрированием греха, обладающим сильной сегментарностью — роды греха (семь смертных грехов), единицы измерения (сколько раз?), правила эквивалентности и искупления (исповедь, покаяние...). Но всегда есть что-то весьма отличное, хотя и дополнительное, что можно назвать молекулярным потоком греховности — последний тесно охватывает линейную зону, будто перегоривается через нее, но сам заключает в себе лишь полюса (первородный грех — искупление или благодать) и кван-

¹⁶ Возьмем, к примеру, анализ Фуко того, что он называет «микрофизикой власти» в «Надзирать и наказывать»: во-первых, речь действительно идет о миниатюризованных механизмах, о молекулярных очагах, действующих в деталях или в бесконечно малом, которые конституируют столь много «техник надзора» в школе, в армии, на заводе, в тюрьме и т.д. (см. с. 177 и далее). Но, во-вторых, сами эти сегменты и очаги, действующие в масштабе микрофизики, предстают как сингулярности абстрактной «диаграммы», соразмерной всему социальному полю, или как кванты, вычленимые в некоем потоке, который определяется «множеством индивидов», дабы быть контролируемым (см. с. 227 и далее).

ты («грешник, не дошедший до осознания греха»; грешник, осознающий грех; грешник продолжающий грешить, осознавая грех¹⁷). То же можно было бы сказать и о потоке преступности, в противовес молярной линии юридического кода и ее разбиений. Или же, когда мы говорим о военной власти, о власти армии, то рассматриваем линию, хорошо сегментированную согласно военным типам, кои в точности соответствуют развязавшим войну государствам и тем политическим целям, которые эти государства преследуют (от «ограниченной» войны до войны «тотальной»). Но, согласно интуиции Клаузевица, машина войны весьма разнообразна, то есть существует поток *абсолютной* войны, текущий между наступательным и оборонительным полюсами и отмеченный лишь квантами (материальные и психические силы, подобные номинальным наличным средствам войны). О чистом потоке можно сказать, что он абстрактен, хотя и реален; идеален, хотя и эффективен; абсолютен, хотя и «дифференцирован». Верно, что мы схватываем поток и его кванты только через индексы сегментированной линии; но, напротив, и линия, и индексы существуют лишь благодаря омывающему их потоку. В любом случае, мы видим, что сегментированная линия (макрополитика) погружается и продолжается в квантовом потоке (микрополитика), непрерывно перестраивающем и сотрясающем ее сегменты:

А: потоки и полюса
а: кванты
b: линия и сегменты
В: центр власти
(Совокупность — это круг или период)



¹⁷ Что касается «количественной греховности», квантов и качественного скачка, то сошлемся на всю микротеологию, составленную Кьеркегором в «Понятии страха».

Воздадим должное Габриэлю Тарду (1843–1904): его давно забытое произведение вновь обрело актуальность под влиянием американской социологии, а именно микро-социологии. Тард был раздавлен Дюркгеймом и его школой (в полемике, похожей на полемику между Кюве и Жоффруа Сент-Илером и столь же грубой). Дело в том, что привилегированным объектом Дюркгейм считал великие коллективные представления, обобщенно бинарные, резонирующие и сверхкодированные... Тард возражает, что коллективные представления предполагают как раз то, что нужно объяснить, а именно, «подобие миллионов людей». Поэтому Тард интересуется, скорее, миром деталей, или миром бесконечно малого — мелкие *имитации, оппозиции и изобретения*, составляющие всю субрепрезентативную материю. И наилучшие страницы Тарда посвящены анализу мелких бюрократических или лингвистических нововведений и т.д. Последователи Дюркгейма ответили, что речь у Тарда шла о психологии или о интерпсихологии, а не о социологии. Но это верно лишь на первый взгляд, в первом приближении: микроимитация, по-видимому, действительно имеет место между одним индивидом и другим. Но в то же самое время и на более глубоком уровне она относится к потоку или к волне, а не к индивиду. *Имитация — это распространение потока; оппозиция — это бинаризация, создание бинарных потоков; изобретение — это сопряжение или соединение разных потоков*. Так что же такое поток, согласно Тарду? Это — вера или желание (два аспекта любой сборки), поток — это всегда поток веры и желания. Веры и желания суть основы любого общества, ибо они — потоки, и как таковые являются «квантифицируемыми», это подлинные социальные Количества, тогда как ощущения качественны, а представления — простые равнодействующие.¹⁸ Таким образом, бесконечно малые имитация,

¹⁸ Согласно Тарду, психология является количественной, но лишь в той мере, в какой она изучает компоненты желания и веры в ощущении. И логика является количественной, когда не ограничивается формами представления, а расширяется до степеней веры, желания и их сочетаний, см.: *La logique sociale*, Alcan, 1893.

оппозиция и изобретение подобны квантам потока, маркирующим распространение, бинаризацию или сопряжение вер и желаний. Отсюда важное значение статистики при условии, что она занимается крайностями, а не только «стационарной» зоной представлений. Ибо, в конечном счете, нет никакой разницы между общественным и индивидуальным (или интериндивидуальным), а есть разница между молярной областью представлений — коллективных или индивидуальных — и молекулярной областью вер и желаний, где различие общественного и индивидуального теряет всякий смысл, ибо потоки уже не приписываются индивидам, сверхкодируемым коллективными означающими. В то время как представления уже определяют крупные совокупности или детерминированные сегменты на линии, веры и желания суть помеченные квантами потоки, которые создаются, иссякают или трансформируются, добавляются один к другому, изымаются или комбинируются. Тард — изобретатель микросоциологии, коей он дает собственное расширение и собственные масштабы, заранее разоблачая те ошибки, жертвой которых она будет.

Вот как можно было бы различить сегментированную линию и квантовый поток. Мутирующий поток всегда предполагает нечто такое, что стремится к тому, чтобы ускользнуть от кодов, убежать из кодов; а кванты — это как раз знаки или степени детерриторизации на декодированном потоке. Напротив, жесткая линия предполагает сверхкодирование, заменяющее собой неисправные коды, а ее сегменты подобны ретерриторизациям на сверхкодирующей или сверхкодированной линии. Давайте вернемся к случаю первородного греха — именно само действие потока маркирует декодирование в отношении творения (с единственным островом, сохраненным для Девы) и детерриторизацию в отношении земли Адама; но оно же, одновременно, осуществляет сверхкодирование с помощью бинарных организаций и резонанса (Власти, Церковь, империи, богатые—бедные, мужчины—женщины и т.д.) и дополнительные ретерриторизации (на земле Каина, на

труде, на поколении, на деньгах...). Ибо, одновременно: обе системы отсчета обратно пропорциональны друг другу — в том смысле, что одна ускользает от другой, а другая останавливает первую, мешая ей ускользать дальше; но они строго дополнительные и сосуществуют, ибо одна существует лишь в зависимости от другой; и однако, они различны — прямо пропорциональны, — не соответствуя при этом друг другу термин за термином, ибо вторая система эффективно останавливает первую лишь на «плане», который более не является планом первой системы, и потому, что первая продолжает свой порыв на собственном плане.

Социальное поле непрестанно оживляется всевозможными типами движений декодирования и детерриторизации, которые аффектируют «массы», следуя разным скоростям и темпам. Здесь нет противоречий, а есть ускользания. На этом уровне все является проблемой *масс*. Например, с X по XIV века мы наблюдаем, как ускоряются факторы декодирования и детерриторизации — массы последних захватчиков, появляющиеся с севера, с востока и с юга; военные массы, превращающиеся в банды грабителей; церковные массы, противостоящие неверным и еретикам и задающиеся все более и более детерриторизованными целями; крестьянские массы, покидающие сеньориальные владения; сеньориальные массы, вынужденные сами искать средства эксплуатации менее территориальные, чем крепостничество; городские массы, оставляющие окраины города и находящие в городах все менее и менее детерриторизованное социальное оснащение; женские массы, отрывающиеся от прежнего кода супружества и привязанности; денежные массы, переставшие быть объектом накопления и впрыскивающиеся в крупные коммерческие сети.¹⁹ Можно сослаться на Крестовые походы, осуществляющие соединение этих потоков таким образом, что каждый поток выдвигает и вовлекает другие потоки (даже поток жен-

¹⁹ Обо всех этих пунктах, см. особенно: Dobb. *Etudes sur le développement du capitalisme*, Maspero; Duby. *Guerriers et paysans*, Gallimard.

ственности в «Далекой принцессе», даже детский поток в Крестовых походах XIII века). Но одновременно — и неотъемлемо — производятся сверхкодирования и ретерриторизации. Крестовые походы сверхкодируются папой и наделяются территориальными целями. Святая Земля, Мир Божий, новый тип аббатств, новые фигуры денег, новые способы эксплуатации крестьянина через аренду и наемный труд (или возвращение к рабству), ретерриторизации города и т.д. — все это образует сложную систему. Тогда, с этой точки зрения, мы должны ввести различие между двумя понятиями — *соединением* и *сопряжением* потоков. Ибо, если «соединение» указывает на то, как декодированные и детерриторизованные потоки поддерживают друг друга, ускоряют свое общее ускользание и складывают или возбуждают собственные кванты, то «сопряжение» тех же самых потоков указывает скорее на их относительную приостановку, подобную точке аккумуляции, затыкающей или закупоривающей теперь линии ускользания, проводящей общую ретерриторизацию и пропускающей потоки под доминированием того из них, который способен их сверхкодировать. Но каждый раз именно наиболее детерриторизованный поток — согласно первому аспекту — осуществляет аккумуляцию или конъюнкцию процессов, определяет сверхкодирование и — согласно второму аспекту — служит основанием для ретерриторизации (мы уже встречали теорему, согласно которой ретерриторизация всегда имеет место именно *на том, что более всего детерриторизовано*). Так, коммерческая буржуазия городов сопрягает или превращает в капитал знание, технологию, сборки и сети, в зависимость от которых *падают* дворянство, Церковь, ремесленники и даже крестьяне. И это именно потому, что буржуазия — вершина детерриторизации, подлинный ускоритель частиц, именно потому, что она проводит также ретерриторизацию совокупности.

Задача историка в том и состоит, чтобы обозначать «период» сосуществования или одновременности обоих движений (декодирование—детерриторизация, с одной

стороны, и сверхкодирование—ретерриторизация, с другой). И именно в этом периоде мы различаем молекулярный и молярный аспекты: с одной стороны *массы или потоки* — с их изменениями, квантами детерриторизации, соединениями и ускорениями; с другой — *классы или сегменты* — с их бинарной организацией, резонансом, конъюнкцией, аккумуляцией и линией сверхкодирования в пользу одной линии.²⁰ Различие между макроисторией и микроисторией не имеет никакого дела с продолжительностью рассматриваемых длительностей — больших или маленьких, — но оно касается разных системам отсчета в зависимости от того, рассматриваем ли мы сверхкодированную сегментированную линию или же мутирующий квантовый поток. И жесткая система не останавливает другую систему — поток продолжается ниже постоянно мутирующей линии, тогда как сама линия тотализует. У *массы* и *класса* не одни и те же контуры, не одна и та же динамика, даже если одна и та же группа аффекировалась обоими знаками. Буржуазия — как масса и как класс... Отношение массы с другими массами не такое же, как отношение «соответствующего» класса с другими классами. Конечно, существует столько же соотношений сил и столько же насилия как с одной стороны, так и с другой. Но суть в том, что одна и та же борьба обретает два крайне разных аспекта, где победы и поражения не являются одними и теми же. Массовые движения ускоряются и сменяют друг друга (или затушевываются на долгий промежуток времени, впадая в продолжительное

²⁰ Именно Роза Люксембург (*Œuvres I*, Maspero) поставила проблему разногласий и отношений между массами и классами, но пока еще с субъективной точки зрения — массы «как институциональная основа классового сознания» (см. статью Boule et Moiroux в «*Rosa Luxemburg vivante*», *Partisans*, 1969). Бадью и Бальме [Balmès] предлагают более объективную гипотезу, согласно которой массы были бы «инвариантами», противостоящими форме-Государству вообще и эксплуатации, тогда как классы были бы историческими переменными, определяющими конкретное Государство, и — в случае пролетариата — возможность его эффективного разрушения (*De l'idéologie*, Maspero). Но, с одной стороны, трудно понять, почему сами массы не являются историческими переменными; а с другой — почему это слово сохраняется только за эксплуатируемыми («масса крестьян-плебеев»), тогда как оно соответствует также сеньориальным, буржуазным массам или даже монетарным.

оцепенение), но перескакивают от одного класса к другому, подвергаются мутациям, высвобождают или выпускают новые кванты, которые затем изменяют классовые отношения, снова ставят под вопрос свое сверхкодирование и ретерриторизацию, дают ход в другом месте новым линиям ускользания. Ниже воспроизводства классов всегда есть вариабельная карта масс. Политика действует посредством макрорешений и бинарных выборов, посредством бинаризованных интересов; но область того, что поддается решению, остается ничтожной. И политическое решение погружается по необходимости в мир микродетерминаций, привязанностей и желаний, который оно должно предчувствовать или оценивать по-иному. Ниже линейных концепций и сегментарных решений — оценка потоков и их квантов. Любопытна страница, где Мишле упрекает Франсуа I за то, что тот недооценил поток эмиграции, толкавший многих простолюдинов во Францию на борьбу с Церковью, — Франсуа I видел в нем лишь приток возможных солдат вместо того, чтобы почувствовать здесь молекулярный массовый поток, который Франция могла бы повернуть в свою пользу, возглавив Реформу, отличную от той, что проводилась.²¹ Проблемы всегда представляются подобным образом. Хороша она или плоха, политика и ее суждения всегда молярны, но именно молекулярное, со своими оценками, «делает» политику.

Теперь мы в лучшем положении, чтобы нарисовать карту. Если мы вернемся к самому общему смыслу слова «линия», то увидим, что на самом деле есть не две, а три линии: 1) относительно гибкая линия переплетенных кодов и территориальностей; вот почему мы начали с так называемой *примитивной* сегментарности, где сегментации территорий и родства komponуют социальное пространство; 2) жесткая линия, осуществляющая дуальную организацию сегментов, концентричность кругов в резонансе и

²¹ Michelet. *Histoire de France, la Renaissance.*

обобщенное сверхкодирование — социальное пространство предполагает здесь *аппарат Государства*. Эта иная система, нежели примитивная система, именно потому, что сверхкодирование здесь — еще не более сильный код, а особая процедура, отличная от процедуры кодов (сходным образом ретерриторизация не является добавочной территорией, а имеет место в ином пространстве, нежели пространство территорий, а именно в геометрическом сверхкодированном пространстве); 3) одна линия ускользания или несколько, маркированных квантами и определяемых декодированием и детерриторизацией (всегда есть что-то вроде *машины войны*, функционирующей на этих линиях).

Но такое представление пока еще ущербно, ибо все выглядит так, будто первобытные общества появились первыми. На самом же деле коды никогда не отделимы от движения декодирования, а территории — от пересекающих их векторов детерриторизации. И сверхкодирование, и ретерриторизация не приходят потом. Точнее было бы сказать, что есть некое пространство, где сосуществует три вида тесно переплетенных линий — племена, власти и машины войны. Также можно было бы сказать, что линии ускользания являются первичными, *или* сегменты уже первичны, а гибкие сегментации не перестают колебаться между линиями и сегментами. Возьмем, к примеру, пропозицию вроде той, что приводит историк Анри Пиренн относительно варварских племен: «*Варвары* не спонтанно набросились на *Империю*; они кинулись на нее под натиском *Гуннов*, которые, таким образом, определили все последующие вторжения».²² Вот, с одной стороны, жесткая сегментарность Римской империи со своим центром резонанса и своей периферией, со своим Государством, своим *рaх romana**, геометрией, лагерями, *limes***. А затем, на горизонте, появляется совершенно другая

²² Pirenne, *Mahomet et Charlemagne*, P. U. F., p. 7.

* Римский мир (лат.). — Прим. пер.

** Межа, пограничная линия, граница, рубеж (лат.). — Прим. пер.

линия — линия кочевников, которые приходят из степей, предпринимают активное ускользание и бегство, сеют повсюду детерриторизацию, испускают потоки, чьи кванты раскаляются, увлекаются машиной войны без Государства. Мигрирующие Варвары действительно находятся между этими двумя линиями — они приходят и уходят, переходят туда-сюда границы, грабят или занимаются вымогательством, а также интегрируются и ретерриторизируют. Порой они углубляются в империю, присваивая себе какой-то ее сегмент, становясь наемниками или союзниками, обживаясь, занимая земли или вырезая собственное государство (мудрые Вестготы). Порой же, напротив, они переходят на сторону кочевников, вступают с ними в союз, становясь неразличимыми (блестящие Остготы). Возможно, потому, что Вандалы не переставали сражаться с Гуннами и Вестготами, они — «Готы второй зоны» — прочертили линию ускользания, сделавшую их такими же сильными, как их хозяева; они были единственной бандой или массой, способной пересечь Средиземное море. Но также именно они проделали самую неожиданную ретерриторизацию — Африканская империя.²³ Кажется, таким образом, что три линии не только сосуществуют, но и трансформируются друг в друга, пересекаются друг в друге. Опять же, мы привели суммарный пример, где линии иллюстрируются разными группами. Еще сильнее был бы довод, когда линии присутствуют в одной и той же группе, в одном и том же индивиде.

Тогда стоило бы рассмотреть синхронные состояния абстрактной Машины. С одной стороны, есть некая *абстрактная машина сверхкодирования* — именно она определяет жесткую сегментарность, макросегментарность, ибо производит или, скорее, воспроизводит сегменты, противопоставляя их пара на пару, заставляя резонировать все центры и распространяя однородное, делимое, рифленое про-

²³ Ср.: Gautier, E.F. *Genséric, roi des Vandales*, Payot («Именно потому, что они были наислабейшими, вечно толкаемыми в спину, они вынуждены были идти дальше»).

странство во всех смыслах-направлениях. Такая абстрактная машина отсылает к аппарату Государства. Однако мы не смешиваем эту абстрактную машину с самим аппаратом Государства. Будем, например, определять абстрактную машину *more geometrico*, или — в других условиях — через «аксиоматику»; но аппарат Государства не является ни геометрией, ни аксиоматикой: он — лишь сборка ретерриторизации, осуществляющая машину сверхкодирования в данных границах и при данных условиях. Мы можем лишь сказать, что аппарат Государства более или менее стремится к тому, чтобы отождествиться с реализуемой им абстрактной машиной. Именно здесь обретает свой смысл понятие тоталитарного Государства: Государство становится тоталитарным тогда, когда вместо того, чтобы осуществлять — в своих собственных границах — мировую машину сверхкодирования, оно отождествляет себя с нею, создавая условия для «автаркии», производя ретерриторизацию с помощью «закрытого сосуда», в лукавстве пустоты (то, что никогда не является идеологической операцией, но, скорее, операцией экономической и политической)²⁴.

С другой стороны, на ином полюсе, есть абстрактная машина мутации, действующая посредством декодирования и детерриторизации. Именно она чертит линии ускользания — она управляет потоками квантов, обеспечивает созидание-соединение потоков, испускает новые кванты. Она сама находится в состоянии ускользания и монтирует машины войны на своих линиях. Если она составляет другой полюс, то именно потому, что жесткие или молярные сегменты не перестают закупоривать, затыкать, блокировать линии ускользания, тогда как она не перестает обтекать их — «между» жесткими сегментами и в

²⁴ Тоталитаризм не определяется значимостью государственного сектора потому, что во многих случаях экономика остается либеральной. Что его определяет, так это искусственная конституция «закрытых сосудов», а именно монетарных и даже промышленных. Прежде всего, в этом смысле, именно итальянский фашизм и немецкий нацизм конституируют тоталитарные государства, как это показывает Даниэль Герен (*Fascisme et grand capital*, Maspero, ch. ix).

ином, субмолекулярном, направлении. Но между обоими полюсами также находится целая область собственно молекулярного общения, перевода, преобразования, где молярные линии иногда уже подорваны трещинами и разломами, а линии ускользания порой уже втягиваются в черные дыры, коннекции потока уже замещаются ограниченными конъюнкциями, а излучения квантов уже обращаются в точки-центры. Все это происходит сразу. Линии ускользания, одновременно, соединяют и продолжают свои интенсивности, рассыпают вспышками знакочастицы вне черных дыр; но также выгибаются на черных микродырах, где крутятся как в водовороте, и на молекулярных конъюнкциях, которые прерывают их; а также входят в устойчивые, бинаризованные, концентрические, нацеленные на центральную черную дыру, сверхкодированные сегменты.

Ответ на вопрос «Что такое центр или очаг власти?» может проиллюстрировать перепутанность всех этих линий. Мы говорим о власти армии, Церкви, школы, публичной или частной власти... Центры власти явно касаются жестких сегментов. У каждого молярного сегмента один центр или более. Можно возразить, что эти сегменты сами предполагают центр власти как то, что различает и объединяет их, противопоставляет их и заставляет резонировать. Но нет никакого противоречия между сегментарными частями и централизованным аппаратом. С одной стороны, даже самая жесткая из сегментарностей вовсе не мешает централизации — дело в том, что общая центральная точка действует не как та точка, где смешиваются другие точки, а как точка резонанса на горизонте, позади всех других точек. Государство — не та точка, принимающая на себя другие точки, оно выступает как резонатор для всех точек. И даже когда Государство тоталитарно, его функция резонанса для разных центров и сегментов не меняется — изменение происходит лишь в условиях закрытого сосуда, которые увеличивают его внутренний радиус действия или дублируют «резонанс» неким «форсированным движени-

ем». Так что, с другой стороны — и наоборот, — самая строгая централизация не уничтожает различие центров, сегментов и кругов. Действительно, сверхкодирующая линия прочерчивается лишь тогда, когда удостоверяет привилегии одного сегмента как такового над другим (в случае бинарной сегментарности), когда сообщает такому центру власть относительного резонанса по отношению к другим центрам (в случае круговой сегментарности) и когда очерчивает главенствующий сегмент, через который сама и проходит (в случае линейной сегментарности). В этом смысле централизация всегда является иерархичной, но иерархия — всегда сегментарна.

Каждый центр власти также молекулярен и осуществляется на микрологической ткани, где он существует лишь как диффузный, рассеянный, размноженный, миниатюризированный, непрестанно смещаемый, действующий посредством тонких сегментаций, работающий в деталях и в деталях деталей. Анализ «техник надзора» или микровласти согласно Фуко (школа, армия, завод, больница и т.д.) свидетельствует о таких «очагах нестабильности», где сталкиваются перегруппировки и аккумуляции, а также бегства и ускользания, и где производятся инверсии.²⁵ Здесь мы уже имеем дело не с «этим» школьным учителем, а с надзирателем, с лучшим из учеников, с лентяем, с консьержкой и т.д. Больше нет генерала, а есть младшие офицеры, унтер-офицеры, солдат во мне, а также смутьян, и каждый со своими тенденциями, полюсами, конфликтами, соотношениями сил. Даже к старшине и консьержке обращаются лишь для того, чтобы добиться лучшего понимания; ибо они обладают молярной и молекулярной сторонами, они делают очевидным то, что у генерала и у землевладельца

²⁵ Фуко М. *Надзирать и наказывать*, с. 41, 42: «Значит, отношения власти проникают в самую толщу общества; они не локализируются в отношениях между государством и гражданами или на границе между классами и не просто воспроизводят... общую форму закона или правления. ...Они выражаются в бесчисленных точках столкновения и очагах нестабильности, каждый из которых несет в себе опасность конфликта, борьбы и по крайней мере временного изменения соотношения сил».

также были уже обе стороны. Можно было бы сказать, что имя собственное не утрачивает своей власти, но обнаруживает новую власть, когда входит в такие зоны неразличимости. И все для того, чтобы говорить, как Кафка, будто, мол, это уже не чиновник Кламм, а возможно его секретарь Мом или другие молекулярные Кламмы, чьи разногласия — между ними самими и с Кламмом — становятся все больше, ибо уже не могут быть определены («Причем они читают не одну и ту же книгу, а обмениваются, но не книгами, а местами, и... больше всего удивляет, как им приходится при таком обмене протискиваться друг мимо друга из-за тесноты помещения»). «Этот чиновник очень похож на Кламма, и, если бы он сидел в своем кабинете и на двери стояло его имя, я бы вовсе не сомневался...»*, — говорит Варнава, мечтающий об уникально молярной сегментарности — сколь бы твердой и ужасной она ни была — как о единственном залоге уверенности и безопасности; но следовало бы отметить, что молярные сегменты с необходимостью погружаются в такой молекулярный бульон, который питает их и, фактически, расшатывает их очертания.) Не бывает центра власти, у которого не было бы такой микротекстуры. Именно микротекстура — а не мазохизм — объясняет, почему пытаемый всегда может играть активную роль в системе пыток: рабочие богатых стран, активно участвующие в эксплуатации третьего мира, в вооружении диктатур, в загрязнении атмосферы.

И это неудивительно, ибо такая текстура располагается между линией сверхкодирования с жесткими сегментами и последней линией в квантах. Она не перестает колебаться между этими двумя линиями, иногда направляя квантовую линию вдоль сегментарной линии, иногда вынуждая потоки и кванты покидать сегментарную линию. Вот третий аспект центров власти, или их предел. Ибо единственная цель подобных центров переводить — настолько, насколько

* Кафка Ф. *Замок*. М.: Издательство политической литературы, 1991, с. 163, 166. — *Прим. пер.*

ко они могут — кванты потока в сегменты линии (только сегменты способны тотализоваться тем или иным образом). Но там они встречаются — сразу — и принцип собственного могущества, и основание своего бессилия. И вместо того, чтобы противопоставляться, могущество и бессилие взаимодополняются и усиливают одно другое в чем-то вроде приятного удовлетворения, каковое мы находим, прежде всего, у самых посредственных государственных деятелей и которое определяет их «славу». Ибо они вытягивают свою славу из собственной недалёковидности, они вытаскивают могущество из собственного бессилия, ибо оно подтверждает, что выбора нет. Только «крупные» государственные деятели являются теми, кто соединяется с потоками, подобно знакам-пилотам или знакам-частицам, и испускает кванты, преодолевающие черные дыры — не случайно такие люди встречаются лишь на линиях ускользания, в ходе их прочерчивания, предчувствия, следуя за ними или обгоняя их, даже если они ошибаются и падают (Моисей — Еврей, Гензерих — Вандал, Чингисхан — Монгол, Мао — китаец...). Но нет Власти, регулирующей сами эти потоки. Никто не господствует даже над ростом «денежной массы». Если образ хозяина, идея Государства или тайного правительства проецируются вплоть до пределов универсума — как если бы господство осуществлялось и на потоках, и на сегментах, да еще одним и тем же способом, — то мы впадаем в смехотворное и фиктивное представление. Биржа лучше, чем Государство, задает образ потоков и их квантов. Капиталисты могут завладеть прибылью и ее распределением, но они не господствуют над потоками, из которых вытекает прибыль. Власти осуществляются не в таком центре, а в точках, где потоки превращаются в сегменты — они суть менялы, конверторы, осцилляторы. Однако сами сегменты не зависят от способности принимать решения. Напротив, мы увидели, как сегменты (например, классы) формируются в конъюнкции масс и детерриторизованных потоков, как самый детерриторизованный поток определяет господствующий сегмент:

так, доллар — господствующий сегмент валюты, буржуазия — господствующий сегмент капитализма... и т.д. Следовательно, сами сегменты зависят от абстрактной машины. Но от центров власти зависят именно сборки, реализующие такую абстрактную машину, то есть непрестанно адаптирующие вариации массы и потока к сегментам жесткой линии в зависимости от господствующего сегмента и подчиненных сегментов. В такой адаптации может быть много извращенного изобретательства.

Именно в этом смысле мы будем говорить, например, о власти банков (о Всемирном банке, о центральных банках, о кредитных банках) — если денежно-финансовый поток, денежный кредит отсылают к массе экономических сделок, то от банков зависит именно конверсия этих *созданных* кредитных денег в сегментарные платежные деньги, в *приспособленные*, металлические деньги или деньги Государства, предназначенные для покупки товаров, которые сами сегментированы (важность процентной ставки в этом отношении). Что зависит от банков, так это конверсия между обоими типами денег, а также конверсия сегментов второго типа в однородную совокупность, в какой угодно товар.²⁶ То же можно сказать и о любом центре власти. У каждого центра власти три аспекта, или три зоны: 1) зона могущества — в отношении сегментов крепкой, жесткой линии; 2) зона неразличимости — в отношении ее распространения в микрофизической ткани; 3) зона бессилия — в отношении потоков и квантов, кои она может лишь конвертировать, но не способна контролировать и определять. Итак, именно из глубин своего бессилия каждый центр власти всегда извлекает собственное могущество — отсюда их радикальная злоба и тщеславие. Лучше быть самым мелким квантом потока, чем молярным конвертором, осциллятором и дистрибьютором! Если вернуться к примеру денег, то первая зона представлена общественными цен-

²⁶ Об этих аспектах банковской власти см.: Brunhoff, Suzanne de. *L'offre de monnaie*, Maspero, surtout pp. 102—131.

тральными банками; вторая — «неопределенной серией частных отношений между банками и заемщиками»; третья — жаляющим потоком денег, чьи кванты определяются массой экономических сделок. Верно, что те же проблемы ставятся и встречаются на уровне самих сделок — с другими центрами власти. Но в любом случае, первая зона центра власти определяется в аппарате Государства как сборка, осуществляющая абстрактную машину молярного сверхкодирования; вторая определяется в молекулярной ткани, куда погружается эта сборка; третья определяется в абстрактной машине мутации, потоков и квантов.

Но об этих трех линиях мы не можем сказать, что какая-то — плохая, а другая — хорошая, по природе и по необходимости. Изучить опасности на каждой линии — вот цель прагматики или шизоанализа в той мере, в какой он намеревается не представлять, интерпретировать или символизировать, а только лишь создавать карты и чертить линии, отмечая как их смеси, так и их различия. Ницше вынуждал говорить Заратустру, а Кастанеда — Дона Хуана: есть три или даже четыре опасности, сначала Страх, затем Ясность, потом Власть и, наконец, великое Отвращение, желание заставить убивать и умирать, Страсть уничтожения.²⁷ Страх, мы можем догадаться, что это такое. Мы всегда боимся проиграть. Безопасность, поддерживающая нас великая молярная организация, древовидные разветвления, за которые мы цепляемся, бинарные машины, дающие нам определенный статус, резонансы, куда мы входим, господствующая над нами система сверхкодирования — мы хотим всего этого. «Ценности, мораль, родина, религия и личные репутации, все то, что наше тщеславие и услужливость великодушно предоставляют нам, — вот столь многочисленные обиталища, какие мир обустроивает для тех, кто полагает, будто таким образом располагается и остается посреди устойчивых вещей; и они ничего не знают о том великом поражении, где они ведомы в... ускользание

²⁷ Castaneda. *L'herbe du diable et la petite fumée*, pp. 106—111.

до ускользания.»²⁸ Мы ускользаем перед ускользанием, уже-сточаем наши сегменты, предаемся бинарной логике; чем тверже они станут для нас на одном сегменте, тем тверже мы будем на другом; мы ретерриторизуемся на всем, что нам доступно; единственная сегментарность, какую мы знаем, — это молярная сегментарность, как на уровне крупных совокупностей, коим мы принадлежим, так и на уровне малой группы, в которую мы входим, а также на уровне того, что происходит в нас, в нашем самом интимном или самом личном. Привлекается все — способ восприятия, род действия, манера движения, образ жизни, семиотический режим. Мужчина приходит домой и говорит: «Суп готов?», а женщина в ответ: «Какой хмурый вид! Ты в плохом настроении?» — эффект жестких сегментов, столкнувшихся попарно. Чем более жесткой будет сегментарность, тем более она успокаивает нас. Вот то, чем является страх, и то, как он придавливает нас на первой линии.

Вторая опасность — Ясность — кажется менее очевидной. Дело в том, что ясность, фактически, касается молекулярного. Опять же, привлекается все, даже восприятие, даже семиотика, но на второй линии. Кастанеда показывает, например, существование молекулярного восприятия, доступ к которому нам открывают наркотики (но сколько многое может служить нам наркотиком), — мы достигаем звукового и визуального микровосприятия, обнаруживающего пространства и пустоты, подобные дырам в молярной структуре. Вот что является ясностью: различия, проявляющиеся в том, что казалось нам полным, дыры — в том, что казалось компактным; и наоборот, там где мы только что видели кромки хорошо вырезанных сегментов, появляется неопределенная бахрома, посягательства, совпадения, миграции, акты сегментации, не совпадающие более с жесткой сегментарностью. Все стало явно гибким, с пустотами в полноте, туманностями в формах, дрожью в чертах. Все обрело ясность микроскопа. Мы верим, будто все поня-

²⁸ Blanchot. *L'amitié*, Gallimard, p. 232.

ли и вытаскиваем следствия. Мы — новые рыцари, у нас даже есть миссия. Микрофизика мигранта заняла место макрогеометрии оседлого. Но у таких гибкости и ясности не только свои опасности, они сами — опасность. Прежде всего, потому что гибкая сегментарность рискует воспроизвести в миниатюре аффектации, предназначения жесткого: заменить семью — общностью, супружество — режимом обмена и миграции; а еще хуже, здесь располагается микро-Эдип, микрофашизмы создают закон, мать считает своей обязанностью баюкать ребенка, отец становится мамочкой. Темная ясность, не падающая ни с какой звезды и высвобождающая великую грусть — подобная неустойчивая сегментарность непосредственно вытекает из самого жесткого, она прямая его компенсация. Чем более молярными становятся совокупности, тем более молекулярными становятся элементы и их отношения — молекулярный человек для молярного человечества. Мы детерриторизируем, создаем массу, но лишь ради того, чтобы связывать и аннулировать движения массы и детерриторизации, чтобы изобретать всю маргинальную ретерриторизацию в целом, еще худшую, нежели другие. Но главным образом, гибкая сегментарность создает собственные опасности, не довольствующиеся тем, чтобы только лишь воспроизводить в малом опасности молярной сегментарности, причем вторые вовсе не вытекают из первых и не компенсируют их — как мы видели, у микрофашизмов своя специфика, которая может кристаллизироваться в макрофашизме, но также может течь сама по себе вдоль гибкой линии и омыwać каждую малую ячейку. Множество черных дыр может централизоваться не столь уж хорошо и выступать в качестве вирусов, приспособляющихся к самым разнообразным ситуациям, роющих пустоты в молекулярных восприятиях и семиотиках. Взаимодействия без резонанса. Вместо великого параноического страха мы оказываемся в силках тысячи мелких навязчивых идей, очевидностей и ясностей, выбрасываемых каждой черной дырой и формирующих уже не систему, а шум и гул, ослепительный свет, сообщающий любому и

каждому миссию самоназначенных судьи, адвоката, полицейского, гаулейтера здания или жилища. Мы победили страх, покинули берега безопасности, но вошли в не менее концентрированную, не менее организованную систему: систему мелких небезопасностей, вынуждающих каждого найти собственную черную дыру и стать опасным в этой дыре, обладая ясностью в отношении собственной ситуации, роли и миссии — ясностью, еще более тревожной, чем уверенность первой линии.

Власть — третья опасность, ибо она пребывает на обеих линиях одновременно. Она идет от жестких сегментов, их сверхкодирования и резонанса к тонким сегментациям, к их диффузии и взаимодействиям, и обратно. Любой представитель власти перескакивает с одной линии на другую, чередуя малый и большой стили — стиль негодяя и высокопарный стиль, демагогию пивной и империализм крупного чиновника. Но вся эта цепь и паутина власти погружаются в ускользающий от них мир, в мир мутирующих потоков. И именно бессилие делает власть столь опасной. Представитель власти всегда хочет остановить линии ускользания и ради этого захватывает, фиксирует машину мутации в машине сверхкодирования. Но сделать это он может, лишь создавая пустоту, то есть фиксируя вначале саму машину сверхкодирования, удерживая последнюю внутри локальной сборки, ответственной за ее реализацию, короче, сообщая сборке измерения машины: это — то, что производится в искусственных условиях тоталитаризма или «закрытого сосуда».

Но есть еще четвертая опасность, которая, без сомнения, нас более всего и интересует, ибо именно она касается самих линий ускользания. Мы напрасно стараемся представлять эти линии как своего рода мутацию, творение, вычерчиваемое не только в воображении, но и на самой ткани социальной реальности, мы напрасно стараемся приписать им движение стрелы и придать скорость некоего абсолюта — было бы слишком просто верить, будто единственный риск, какого бояться и с которым сталкива-

ются такие линии, состоит в том, что они позволят, в конце концов, вновь захватить себя, закупорить, связать, скрутить, ретерриторизовать. Они сами высвобождают странное отчаяние, подобное смраду смерти и жертвоприношения, подобное состоянию войны, из коего мы выходим сломленными — дело в том, что у них есть собственные опасности, не смешиваемые с предыдущими. Именно это вынуждает Фицджеральда сказать: «Такое ощущение, будто я стою в сумерках на пустом стрельбище. Разряженное ружье в руках. Сбитые мишени. Никаких проблем. Тишина. И единственный звук — мое собственное дыхание. <...> Принесенная мною жертва оказалась навозной кучей».²⁹ Почему же линия ускользания — это война, вернуться с которой мы рискуем разгромленными, разрушенными после того, как сами разрушили все, что смогли? Вот она — четвертая опасность: пусть линия ускользания преодевает стену, пусть она выходит из черных дыр, но вместо того, чтобы соединиться с другими линиями и увеличивать каждый раз собственные валентности, *она поворачивается к разрушению, к чистому и простому уничтожению, к страсти уничтожения*. Эдакая линия ускользания Клейста, странная война, какую тот ведет; эдакое самоубийство, двойное самоубийство как выход, превращающее линию ускользания в линию смерти.

Мы вовсе не обращаемся к какому-то влечению к смерти. В желании нет внутренних влечений, есть только сборки. Желание всегда собрано, и оно — то, чем побуждает его быть сборка. На уровне самих линий ускользания расчерчивающая их сборка — нечто вроде машины войны. Мутации отсылают к такой машине, *у которой, конечно же, нет войны в качестве цели*, она, скорее, испускает кванты детерриторизации, осуществляет переход мутирующих потоков (в этом смысле любое творение происходит посредством машины войны). Существует много доводов, показывающих, что у машины войны есть и другое проис-

²⁹ Fitzgerald. *La fêlure*, Gallimard, pp. 350, 280.

хождение, что она — иная, нежели аппарат Государства, сборка. Будучи номадического происхождения, она направлена против аппарата Государства. Потому одна из фундаментальных проблем Государства состоит в присвоении себе этой — чуждой ему — машины войны, в том, чтобы сделать из нее деталь собственного аппарата под видом зафиксированного военного института; и Государство всегда сталкивается здесь с большими трудностями. Когда у машины войны нет более никакой иной цели, кроме войны, когда она заменяет разрушение мутацией, именно тогда она высвобождает самый катастрофический заряд. Мутация — никоим образом не трансформация войны; напротив, именно война — как падение или неудача в мутации — является единственной целью, какая остается машине войны, когда та утрачивает свою способность меняться. Так что о самой войне мы должны сказать, что она — лишь мерзкие отбросы машины войны: либо когда она вынуждена приспособиться под аппарат Государства, либо, что еще хуже, когда она сама конструирует аппарат Государства, приспособленный лишь для разрушения. Тогда машина войны уже чертит не мутирующие линии ускользания, а чистую и холодную линию уничтожения. (Позже мы предложим гипотезу относительно такого сложного отношения между машиной войны и войной.)

Именно тут мы обнаруживаем парадокс фашизма и то, чем фашизм отличается от тоталитаризма. Ибо тоталитаризм — это государственное дело: он касается главным образом отношения между Государством — как локализованной сборкой — и осуществляемой им абстрактной машиной сверхкодирования. Даже когда речь идет о военной диктатуре, именно государственная армия, а не машина войны, берет власть и доводит Государство до тоталитарной стадии. Тоталитаризм консервативен по преимуществу. Тогда как в фашизме речь действительно идет о машине войны. И когда фашизм строит тоталитарное Государство, то не в смысле государственной армии, берущей власть, а напротив, в смысле машины войны, захватывающей Госу-

дарство. Странное замечание Вирилио указывает нам путь — при фашизме Государство не столько тоталитарно, сколько *предрасположено к самоубийству*. В фашизме присутствует реализованный нигилизм. Дело в том, что в отличие от тоталитарного Государства, старающегося закупорить все возможные линии ускользания, фашизм строится на интенсивной линии ускользания, которую он превращает в линию чистого разрушения и полного уничтожения. Любопытно, как с самого начала нацисты объявили немцам о том, что они несут — одновременно, свадьбы и смерть, в том числе свою собственную смерть и смерть немцев. Они думали, что погибнут, но их предприятие будет возобновлено во всей Европе, в мире, в планетарной системе. И народ кричал «браво» не потому, что ничего не понимал, а потому, что хотел этой смерти, шествующей через смерть других. Это что-то вроде желания держать пари на все, что есть на руках, ставить на кон собственную смерть против смерти других и мерить все с помощью «делеометра». Роман Клауса Манна «Мефистофель» дает образцы совершенно обычного нацистского дискурса или разговоров: «Патетический героизм делал все более и более несовершенной нашу жизнь. <...> На самом деле, мы не ходим строевым шагом, мы двигаемся пошатываясь. <...> Наш любимый Фюрер тянет нас в потемки и небытие. <...> Как же наши другие поэты, удерживающие особые отношения с тьмой и пропастью, могли не восхититься им? <...> Всполохи огня на горизонте, реки крови на всех дорогах и безумный танец выживших — *тех, кто еще уцелел рядом с трупами*». ³⁰

³⁰ Mann Klaus. *Mephisto*, Denoël, pp. 265–266. Такого рода заявлений в избытке в момент наибольших успехов нацистов. См. знаменитые формулы Геббельса: «В мире абсолютной фатальности, куда движется Гитлер, ничто более не имеет значения, ни добро, ни зло, ни время, ни пространство, и то, что другие люди называют успехом, не может служить критерием. <...> Гитлер, возможно, и приведет к катастрофе...» (*Hitler parle à ses généraux*, Albin Michel). Как мы увидим далее, в другом контексте, такой катастрофизм может примиряться с большим удовлетворением, с чистой совестью и комфортным спокойствием у некоторых самоубийц. Есть целая бюрократия катастрофы. Что касается итальянского фашизма, то сошлемся именно на анализ (Macciochi M.A. *Sexualité féminine dans l'idéologie fasciste* // *Tel Quel* n° 66): женский эскадрон смерти, мизансцены из вдов и матерей в трауре, девиз [mots d'ordre] «Гроб и колыбели».

Самоубийство представляется не как наказание, а как коронация смерти других. Всегда можно сказать, что речь идет о туманной болтовне и об идеологии — ни о чем другом, кроме как об идеологии. Но это неправда; недостаточность экономических и политических определений фашизма предполагает не только необходимость навешивания на него неясных, так называемых идеологических определений. Мы предпочитаем следовать за Ж.П. Фэем, когда он задается вопросом о точном формировании нацистских высказываний, играющих в политике и в экономике ту же роль, что и в самой абсурдной беседе. В таких высказываниях мы всегда находим «глупый и отвратительный» вопль: *«Да здравствует смерть!»* — даже на уровне экономики, где экспансия перевооружения замещает рост потребления, и где инвестиции перенаправляются со средств производства на средства чистого разрушения. Нам кажется глубоко справедливым анализ Поля Вирилио, когда тот определяет фашизм не через понятие тоталитарного Государства, а с помощью понятия Государства, предрасположенного к самоубийству — так называемая тотальная война кажется более мелким предприятием Государства, чем предприятие машины войны, присваивающей себе Государство и пропускающей через него поток абсолютной войны, у которого нет иного выхода, кроме как самоубийства самого Государства. «Запуск до сих пор неизвестного материального процесса без ограничений и без цели. <...> Раз начатый, его механизм не может привести к миру, ибо косвенная стратегия эффективно устанавливает господствующую власть вне обычных категорий пространства и времени. <...> Именно в ужасе каждодневной жизни и собственного окружения Гитлер найдет, в конце концов, самое верное средство управления, узаконивание своей политики и военной стратегии; и так до конца, ибо руины, ужасы, преступления и хаос тотальной войны — вместо того, чтобы уничтожить омерзительную природу его власти, — нормально будут делать лишь одно: увеличивать ее масштабы. Телеграмма 71: *Если война проиграна, допустимо, чтобы погибла нация.*

Здесь Гитлер решает объединить свои усилия с усилиями врагов, дабы завершить уничтожение собственного народа, разрушая последние оставшиеся ресурсы его системы жизнеобеспечения (питьевая вода, горючее, продовольствие и т.д.), — вот нормальное завершение...»³¹ Именно такое превращение линии ускользания в линию разрушения оживляло все молекулярные очаги фашизма и заставляло их взаимодействовать в машине войны, а не резонировать в аппарате Государства. *Машина войны, целью которой была только война* и которая, скорее, готова уничтожить собственных слуг, чем остановить разрушение. Все опасности других линий бледнеют по сравнению с этой опасностью.

³¹ Paul Virilio. *L'insécurité du territoire*, ch. I. И хотя Ханна Арендт отождествляла нацизм и тоталитаризм, она высвободила этот принцип нацистского господства: «Их идея господства не могла быть осуществлена ни Государством, ни простым аппаратом насилия, а только лишь движением, постоянно в пребывающем в движении»; и даже война, даже риск проиграть войну выступают как некие ускорители (*Le système totalitaire*, Ed. du Seuil, pp. 49, 124 sq., 140 sq., 207 sq.).

10. 1730 Становление-интенсивностью,
становление-животным,
становление-невоспринимаемым...



Воспоминания зрителя. — Я вспоминаю замечательный фильм «Уиллард» (1972, Даниэл Манн). Возможно, серии «В» и совсем непопулярный, ибо герои — крысы. Конечно же, воспоминания не точны. Я лишь вкратце расскажу саму историю. Уиллард с деспотичной матерью живет в старом семейном доме. Тягостная эдипова атмосфера. Мать поручает Уилларду уничтожить логово крыс. Он спасает одну из них (может, двух или несколько). После грубой перебранки мать, «напоминающая» собаку, умирает. Уиллард рискует потерять дом, на который положил глаз какой-то деляга. Уиллард дружит с крысиным вожаком, которого спас, — Беном, — причем последний наделен необычайным интеллектом. К тому же тут есть и белая крыса-самка — подружка Бена. Возвращаясь с работы, Уиллард все время проводит с ними. Крысы размножаются. Уиллард приводит крысиную стаю, руководимую Беном, в дом деляги, погибающего затем в ужасных муках. Но Уиллард по ошибке заманивает двух своих крыс-любимцев в кабинет, и все заканчивается тем, что белую крысу убивает прислуга. Бен удирает, на прощанье одаривая Уилларда долгим злобным взглядом. На какое-то время в судьбе Уилларда — в процессе его *становления крысой* — наступает пауза. Он прилагает все силы, чтобы остаться с людьми. Он даже отвечает на знаки внимания девушки из офиса, которая, правда, очень «похожа» на крысу, но лишь похожа. Однажды он приглашает ее в гости, все готово для помолвки, для ре-эдипизации, и тут вдруг появляется полный ненависти Бен. Уиллард хочет прогнать крысу, в итоге же убегает гостя. А потом Бен увлекает Уилларда в подвал, где его поджидают полчища крыс, чтобы разорвать на куски. Все это напоминает сказку; и тут нет ничего, что могло бы взволновать.

И здесь есть все: становление-животным, которое не довольствуется тем, чтобы осуществляться через сходство, и для которого, наоборот, сходство предстает как некое препятствие или остановка; становление-молекулой, связанное с размножением крыс, со стаей, подрывающей

великое молярное могущество семьи, профессии и супружества; зловещий выбор, ибо в стае присутствует «любимец», с которым заключается некое соглашение об альянсе, ужасный договор; институт сборки, машина войны или преступная машина, способная дойти до саморазрушения; циркуляция безличных аффектов, альтернативный поток, опрокидывающий как означающие проекты, так и субъективные ощущения, и конституирующий нечеловеческую сексуальность; непреодолимая детерриторизация, заранее аннулирующая любые попытки эдиповой, супружеской или профессиональной ретерриторизации (существуют ли эдиповы животные, с которыми мы можем «разыгрывать Эдипа», создавать семью, моего песика, моего котеночка, а потом уж и других животных, наперекор всему втягивающих нас в неодолимое становление? Или вот другая гипотеза: может ли одно и то же животное, смотря по ситуации, браться в двух противоположных функциях или движениях?)

Воспоминания натуралиста. — Одна из главных проблем естественной истории состояла в продумывании отношений между животными. Естественная история крайне отличается от возникшего позже эволюционизма, определяющего себя в терминах генеалогии, родства, происхождения и преемственности. Известно, что эволюционизм подошел к такой идее эволюции, которая не действует с необходимостью через преемственность. Но несомненно и то, что начинает эволюционизм как раз с генеалогического мотива. Напротив, естественная история игнорировала такой мотив или, по крайней мере, не придавала ему особого значения. Сам Дарвин рассматривает эволюционистскую тему родства и натуралистическую тему суммы и ценности различий или сходств как крайне независимые друг от друга — действительно, равно родственные группы могут обладать весьма варьируемыми степенями различия по отношению к их предку. Именно потому, что естественная история занимается преимущественно суммой и цен-

ностью различий, она способна постигать прогресс и регресс, непрерывность и большие разрывы, но отнюдь не эволюцию в строгом смысле, то есть, другими словами, отнюдь не возможность происхождения, *чьи степени* модификации зависят от внешних условий. Естественная история может мыслить только в терминах отношений — между *A* и *B*, но не в терминах производства — от *A* к *x*.

Но иногда крайне важным оказывается именно уровень отношений. Ибо естественная история воспринимает отношения между животными двумя способами — серия и структура. В случае серии я говорю: *a* похоже на *b*, *b* похоже на *c*, и так далее; все эти термины в разной степени соотносятся с единственным выделенным термином, совершенством или качеством, как основанием серии. Это как раз то, что теологи называли аналогией пропорции. В случае же структуры я говорю, что *a* для *b* является тем же, чем *c* для *d*; и каждое из этих отношений реализует — на свой манер — рассматриваемое совершенство: жабры для дыхания под водой — то же, что и легкие для дыхания воздухом; или сердце для жабр — то же, что и отсутствие сердца для трахей... Это — аналогия пропорциональности. В первом случае я имею сходства, отличающиеся друг от друга в одной серии или между сериями. Во втором случае я имею различия, похожие друг на друга внутри одной структуры или между структурами. Первая форма аналогии считается наиболее ощутимой и распространенной, она требует воображения; однако речь здесь идет об усердном воображении, которое должно принимать во внимание разветвления серии, заполнять явные разрывы, отбрасывать ложные сходства и градуировать истинные, а также учитывать сразу как прогресс, так и регресс, или деградацию. Вторая форма аналогии считается самой великолепной, поскольку требует, прежде всего, всех ресурсов рассудка, дабы фиксировать эквивалентные отношения, открывая, с одной стороны, независимые переменные, которые могут комбинироваться в некую структуру, а с другой стороны — соотносённости, приводящие в движение

друг друга внутри каждой структуры. Но сколь бы они ни были различны, в естественной истории эти два термина — серия и структура — всегда сосуществуют, вступают в явное противостояние, реально формируя более или менее устойчивый компромисс.¹ Точно так же в сознании теологов сосуществовали две фигуры аналогии, пребывая в разнообразных равновесиях. Вот почему в обоих случаях Природа понимается как громадный *мимесис*: либо в форме цепи существ, бесконечно имитирующих друг друга — прогрессивно или регрессивно — и стремящихся к высшему божественному термину, который все они посредством упорядоченного сходства имитируют как модель или основание серии; либо в форме зеркальной Имитации, когда имитировать больше нечего, поскольку сама зеркальная Имитация является той моделью, которую все имитирует, но на этот раз посредством упорядоченного различия... (Такое миметическое или мимологическое видение и делало возможной в тот момент идею эволюции-производства.)

Данная проблема не так уж и далека от нас. Идеи не умирают. Но и выживают они не только как анахронизмы. В какой-то момент они могут достигать научной стадии, а потом утрачивать свою научность или вновь возникать уже в других науках. Их применение и статус, даже их форма и содержание могут меняться; к тому же в ходе такого действия, в таком перемещении и распределении новой области они удерживают нечто существенное. Идеи всегда востребуемы именно потому, что уже сослужили службу, но совершенно в иных актуальных воплощениях [modes]. Ибо, с одной стороны, отношения между животными — не только объект науки, но также объект снов, символизма, искусства, поэзии, применения и практического использования. А с другой стороны — отношения между животными тесно связаны с отношениями между человеком и

¹ О такой взаимодополнительности серии—структуры и об их отличии от эволюционизма см.: Daudin H. *Cuvier et Lamarck: les classes zoologiques et l'idée de série animale*; и М. Фуко. «Слова и вещи», глава V.

животным, мужчиной и женщиной, взрослым и ребенком, человеком и стихиями, человеком и физическим и микрофизическим мирами. Двойная идея «серии—структуры» в определенный момент переступает научный порог, но она вовсе не начинается с него и не останавливается на нем, а кроме того, она переходит в другие области знания, оживляя, к примеру, гуманитарные науки, обслуживая изучение снов, мифов и иных образований. История идей никогда не была непрерывной, она всегда с подозрением относилась к сходствам, а также к происхождению и преемственности; она довольствовалась помечанием порогов, пересекаемых идеями, путей, которых последняя придерживается и которые меняют ее природу или объект. Вот почему — с точки зрения коллективного воображения или общественного сознания — объективные отношения между животными приложимы и к определенным субъективным отношениям между человеком и животным.

Юнг разработал теорию Архетипа как коллективного бессознательного, где животное играет особо важную роль в снах, мифах и человеческих сообществах. Такое животное неотделимо от *серии*, допускающей двойной аспект прогрессии—регрессии, где каждый термин играет роль возможного преобразователя либидо (метаморфоза). Все исследование сновидений проистекает отсюда; если дан тревожащий образ, то речь идет об интегрировании его в собственную архетипическую серию. Такая серия может заключать в себе женскую, мужскую или детскую, а также животную, растительную и даже элементарную или молекулярную последовательности. В отличие от естественной истории человек теперь уже не выделенный термин серии; таким термином — относительно данного действия или функции и согласно данному требованию бессознательного — может быть животное для человека: лев, краб, птица или блоха. Башляр написал прекрасную юнгианскую книгу, где исследовал разветвленные серии Лотреамона, принимая во внимание коэффициент скорости метаморфоз и степень совершенства каждого термина в зависимо-

сти от чистой агрессивности как основания серии — змеиное жало, рог носорога, клык собаки, клюв совы; ну а еще выше — коготь орла или стервятника, клешня краба, лапки вши, щупальца осьминога. Во всем творчестве Юнга мимесис захватывает в свою сеть и природу, и культуру — с помощью аналогий пропорции, где серии, их термины и, более того, животные, занимающие промежуточное положение, обеспечивают циклы превращения природа—культура—природа: архетипы как «основанные на аналогии представления».²

Случайно ли, что структурализм столь резко поносил и престиж воображения, и обустройство сходств в серии, и имитацию, пронизывающую всю серию целиком и сводящую ее к собственному термину, и идентификацию с этим конечным термином? Нигде это так явно не выражено, как в знаменитых текстах Леви-Строса, касающихся тотемизма — выходить за пределы внешних сходств, дабы достичь *внутренних гомологий*.³ Речь уже идет не об учреждении сериальной организации воображаемого, а о символическом и структурном порядке рассудка. Речь уже идет не о градуировании сходств и достижении, в конце концов, некоего отождествления Человека и Животного в сердцевине мистической сопричастности. Речь идет об упорядочивании различий с тем, чтобы достичь некоего соответствия отношений. Ибо животное, рассмотренное само по себе, распределяется согласно дифференциальным отношениям и характерным оппозициям между видами; то же годится и для людей, рассматриваемых с точки зрения упомянутых групп. Что касается института тотема, то мы не говорим, будто такая-то группа людей отождествляется с таким-то видом животных; мы говорим: то, чем группа *A* является для группы *B*, тем же вид *A'* является для вида *B'*. Такой метод глубоко отличен от предыдущего: если даны

² См. К. Юнга, прежде всего: *Métamorphoses de l'âme et ses symboles*, Librairie de l'Université, Genève. А также: Bachelard, *Lautréamont*, Corti.

³ Lévi-Strauss. *Le totémisme aujourd'hui*, P. U. F., p. 112.

две группы людей, каждая со своим тотемным животным, то нужно раскрыть тот способ, каким два тотема поддерживают отношения, аналогичные отношениям между двумя группами — Ворон для Сокола является тем же, чем...

Этот метод равным образом годится и для отношений мужчина—ребенок, мужчина—женщина и т.д. Замечая, например, что воин проявляет какое-то странное отношение к девушке, мы воздерживаемся от полагания связывающей их воображаемой серии; скорее, мы ищем термин, делающий эффективной эквивалентность отношений. Так, Вернан может говорить, что брак для женщины — то же, что война для мужчины, откуда вытекает гомология между девственницей, отвергающей брак, и воином, маскирующимся под девушку.⁴ Короче, символический рассудок заменяет аналогию пропорции аналогией пропорциональности; сериацию сходств — структурированием различий; идентификацию терминов — равенством отношений; метаморфозы воображения — метафорами в концепте; великую непрерывность природы—культуры — глубоким разрывом, распределяющим соответствия без сходства между ними; имитацию изначальной модели — мимесисом, который сам первичен и существует без модели. Мужчина никогда не может сказать: «Я — бык, я — волк...», но он может сказать: я для женщины — то же, что бык для коровы; я для другого мужчины — то же, что волк для овцы. Структурализм является великой революцией; весь мир становится более рациональным. Рассматривая эти две модели — серию и структуру, — Леви-Строс не довольствуется тем, что наделяет вторую модель всем престижем подлинной классификации; он относит первую модель к темной области жертвоприношения, которую представляет как иллюзорную и даже лишенную здравого смысла. *Сериальная тема жертвоприношения* должна уступить место верно понятой *структурной теме института тотема*. Но, опять же, здесь, как

⁴ Vernant J.-P. // *Problèmes de la guerre en Grèce ancienne*, Mouton, pp. 15–16.

и в естественной истории, между архетипическими сериями и символическими структурами устанавливается множество компромиссов.⁵

Воспоминания бергсониста. — С нашей узкой точки зрения, все ранее сказанное нас не удовлетворяет. Мы верим в существование совершенно особых становлений-животным, пересекающих человека и сметающих его, влияющих на животного так же, как и на человека. «Все, о чем мы слышим с 1730 по 1735 годы, — это вампиры...» Структурализм явно не учитывает такие становления, поскольку предназначен именно для отрицания или, по крайней мере, обесценивания их существования — соответствие отношений не сводится к становлению. Когда структурализм вдруг сталкивается с охватывающими общество становлениями такого типа, он рассматривает их только как феномены вырождения, отклоняющиеся от истинного порядка и подходящие делишкам диахронии. И еще — в своем исследовании мифа Леви-Строс не перестает сталкивать с такими быстрыми действиями, посредством которых человек становится животным в тот самый момент, когда животное становится... (но становится чем? становится человеком или чем-то еще?). Всегда возможно попытаться объяснить эти *блоки становления* соответствием между двумя отношениями, но поступать так — значит вполне конкретным образом обеднять изучаемый феномен. Не следует ли допустить, что миф — как рамка классификации — совершенно бессилен засечь подобные становления, напоминающие, скорее, фрагменты сказки?

⁵ Об оппозиции между жертвоприношением и тотемной структурой см.: Lévi-Strauss. *La pensée sauvage*, Pion, pp. 295–302. Несмотря на все серьезное отношение к серии, Леви-Строс признает компромисс между этими двумя тезисами — тем, что структура сама по себе подразумевает весьма конкретное ощущение родства (pp. 51–52) и основывается на двух сериях, между которыми она организует гомологии отношений. В частности, «становление историческим» может нести усложнения или вырождения, замещающие такие гомологии сходствами и отождествлениями между терминами (см. pp. 115ff., и то, что Леви-Строс называет «изнанкой тотемизма»).

Не следует ли отдать должное гипотезе Дювиньо о том, что существуют «незаконные» феномены, пронизывающие общество, — феномены, которые являются не вырождениями мифического порядка, а нередуцируемыми динамизмами, прочерчивающими линии ускользания и подразумевающими иные формы выражения, нежели формы мифа, даже если миф возобновляет эти динамизмы в собственных терминах ради их обуздания?⁶ Не кажется ли, что рядом с двумя моделями — моделью жертвоприношения и серии, моделью института тотема и структуры — есть к тому же место для чего-то еще, чего-то более потаенного, более подземного: *колдун* и становление, выражающиеся в сказках, а не в мифах или ритуалах?

Становление — это не соответствие отношений. Не является оно и сходством, имитацией или, в конце концов, отождествлением. Вся структуралистская критика серий кажется неопровержимой. Становиться — не значит прогрессировать или регрессировать согласно серии. Более того, становление вовсе не происходит в воображении, даже когда воображение достигает наивысшего космического или динамического уровня, как у Юнга или Башляра. Становления-животным — не сны и не фантазии. Они совершенно реальны. Но о какой же реальности здесь идет речь? Ибо, если становление животным не состоит в разыгрывании или имитации животного, то ясно, что человек «по-настоящему» не становится животным как-то иначе, чем животное «по-настоящему» становится чем-то еще. Становление не производит ничего иного, кроме самого себя. Мы впадаем в ложную альтернативу, если говорим: либо мы имитируем, либо существуем. Что реально, так это само становление, блок становления, а не предположительно неизменные термины, в которых проходит то, что становится. Становление может и должно быть квалифицировано как становление-животным даже в отсутствии термина, который был бы животным становлением. Стано-

⁶ Ср.: Duvignaud J. *L'anomie*, Ed. Anthropos.

вление-животным человека реально, даже если нет реального животного, каким человек становится; и, одновременно, реально становление-иным животного, даже если это иное не реально. Здесь нужно внести ясность — как у становления нет субъекта, отличного от самого становления, так у становления нет и термина, поскольку его термин, в свою очередь, существует только будучи заимствованным из другого становления, субъектом которого оно является и которое сосуществует с первым становлением и формирует с ним блок. В этом состоит принцип реальности, свойственной становлению (бергсониянская идея сосуществования крайне различных «длительностей» — наивысшее или наинижайшее в «нас», — причем все они коммуницируют).

Наконец, становление — не эволюция; по крайней мере, не эволюция через происхождение или преемственность. Становление ничего не производит посредством преемственности, всякая преемственность воображаема. Становление всегда иного порядка, чем порядок преемственности. Оно касается альянса. Если эволюция и содержит в себе подлинные становления, то только в обширной области *симбиозов*, запускающих в игру существ из совершенно разных уровней развития и природных царств и не связанных какой-либо возможной преемственностью. Есть блок становления, захватывающий осу и орхидею, но из которого никогда не может произойти осы-орхидеи. Есть блок становления, захватывающий кошку и бабуина, альянс между которыми осуществляется С-вирусом. Есть блок становления между молодыми корешками и определенными видами микроорганизмов, альянс между которыми осуществляется синтезируемыми в листьях веществами (ризосфера). Если в неозволюционизме и есть какая-то оригинальность, то ее частично можно приписать явлениям как раз такого типа, — явлениям, показывающим, что эволюция действительно не движется от чего-то менее дифференцированного к чему-то более дифференцированному, что она перестает быть наследственно-преемственной эво-

люцией, становясь коммуникативной или инфекционной. Соответственно, такую форму эволюции между неоднородностями мы предпочитаем называть «инволюцией» при условии, что инволюцию никоим образом не путают с регрессом. Становление инволюционно, инволюция созидательна. Регрессировать — значит двигаться в направлении чего-то менее дифференцированного. Но инволюционировать — значит формировать блок, который движется согласно собственной линии «между» введенными в игру терминами и ниже предписанных отношений.

Нам кажется, что неозооэволюционизм важен по двум причинам: животное определяется не характеристиками (видовыми, родовыми и так далее), а популяциями, меняющимися от одной среды обитания к другой или внутри одной и той же среды; движение происходит не только — и не изначально — посредством преемственного производства, но также и посредством трансверсальных коммуникаций между неоднородными популяциями. Становление — это ризома, а не классификационное или генеалогическое древо. Конечно же, становление — ни имитация, ни отождествление; оно уже не регрессия—прогрессия; оно уже не соответствие, не полагание соответствующих отношений; оно уже не производство — производство преемственности или производство через преемственность. Становление — это глагол со всей его консистенцией; оно не сводится и не возвращает нас к «появляться», «быть», «соответствовать» или «производить».

Воспоминания колдуна, I. — В становлении-животным мы всегда имеем дело со стаей, бандой, популяцией, населением, короче, с множественностью. Мы — колдуны — знали это во все времена. Возможно, другие инстанции, к тому же крайне отличающиеся друг от друга, по-иному рассматривают животное: можно удерживать в животном или извлекать из него определенные характеристики — виды и роды, формы и функции, и т.д. Общество и Государство нуждаются в животных характеристиках для классифика-

ции людей; естественная история и наука нуждаются в характеристиках для классификации самих животных. Сериализм и структурализм либо градуируют характеристики их сходствами, либо упорядочивают их по различиям. Животные характеристики могут быть мифическими или научными. Но не они нас интересуют; что нас интересует — так это способы распространения, размножения, захвата, заражения, расселения. Я есмь легион. *Человек-волк* заморожен несколькими волками, взирающими на него. Чем был бы одинокий волк? Или кит, блоха, крыса, муха? Вельзевул — это Дьявол, но Дьявол как повелитель мух. Прежде всего, волк — не характеристика и не некое число характеристик; волк — это волкование. Блоха — это блохование... и т.д. Что же это за вой, независимый от популяции, к которой он взывает или которую берет себе в свидетели? Вирджиния Вулф ощущает себя не обезьяной или рыбой, а стадом обезьян, косяком рыб сообразно переменчивым отношениям становления с лицами, с коими она контактирует. Мы вовсе не хотим сказать, что какие-то животные живут стаями; нам нет никакого дела до смехотворных эволюционистских классификаций Лоренца, согласно которым существуют подчиненные стаи и господствующие общества. Мы говорим лишь о том, что каждое животное — это, прежде всего, банда, стая. Что оно обладает модусами стаи, а не характеристиками, даже если требуются дальнейшие различия внутри таких модусов. Именно в этой точке человек имеет дело с животным. Действительно, мы не можем стать животным, не испытывая замороженности стаяй или множественностью. Замороженность внешним? Или же заволаживающая нас множественность уже связана с множественностью, обитающей внутри нас? В одном из своих шедевров, «Врата Серебряного Ключа», Г.Ф. Лавкрафт рассказывает историю Рэндольфа Картера, который ощущает свою «самость» расшатанной и испытывает страх — худший, чем страх уничтожения: «Среди них попадались Картеры-люди и Картеры-животные и растения, позвоночные и беспозвоночные, обладаю-

щие сознанием и лишённые его, Картеры-земляне и Картеры — обитатели иных планет... заброшенные в бескрайность космоса и несущиеся от одного мира к другому, от одной вселенной к иной... Погружение в небытие дарует покой забвения; но осознание собственного существования и при этом знание того, что более не являешься определённым существом, отличным от других существ» и от всех тех становлений, которые нас пересекают — «вот невыразимый верх ужаса и агонии»*. Гофмансталь или, скорее, Лорд Чандос заморожен агонизирующим «народцем крыс», и тогда в нём, через него, в расщелине его разрушенной самости, «дух животного обнажает клыки перед чудовищной судьбой» — здесь нет сострадания, а только *противоестественное соучастие*.⁷ А потом странный императив захлестывает его — либо прекратить писать вообще, либо писать как крыса... Если писатель — колдун, то потому, что письмо — это становление, письмо пересекают странные становления, являющиеся вовсе не становлениями-писателем, а становлениями-крысой, становлениями-насекомым, становлениями-волком и т.д. Нужно будет ещё сказать почему. Многие самоубийства писателей объясняются такими противоестественными соучастиями, такими противоестественными браками. Писатели — это колдуны, поскольку воспринимают животное как единственную популяцию, перед которой они в принципе несут ответственность. Ранний немецкий романтик Карл Филипп Мориц чувствовал ответственность не за умирающих телят, а перед телятами, которые гибнут и дают ему тем самым невероятное ощущение какой-то неизвестной Природы — *аффект*.⁸ Ибо аффект — не личное чувство, а также и не характеристика; он — осуществление могущества стаи, которая потрясает и расшатывает самость. Кому незнакома

* Лавкрафт Г.Ф. *Врата Серебряного Ключа* // Лавкрафт Г.Ф. *Зверь в подземелье*. М.: Гудьял-Пресс, 2000, с. 56 (перевод изменен). — *Прим. пер.*

⁷ Hugo von Hofmannsthal. *Lettres du voyageur a son retour*, Mercure de France.

⁸ См.: Bailly J.C. *La légende dispersée, anthologie du romantisme allemand*, 10–18, pp. 36–43.

жестокость таких животных последовательностей, которые с корнем вырывают нас — хотя бы на миг — из человеческого состояния, заставляя, подобно грызунам, крошить хлеб, или наделяя нас желтыми кошачьими глазами? Жуткая инволюция зовет нас к неслыханным становлениям. И это — не регрессии, хотя фрагменты регрессии, последствия регрессии могут наблюдаться.

Нужно различать три типа животных — во-первых, индивидуализированные животные, домашние зверюшки, сентиментальные, Эдиповы животные, каждое со своей маленькой историей, «моя» кошечка, «мой» песик; такие животные побуждают нас к регрессии, втягивают в нарциссическое созерцание, и они являются единственным типом животных, понимаемым психоанализом, они лучше всего подходят для раскрытия лежащих за ними образов папочки, мамочки и маленького братика (когда психоанализ толкует о животных, последние учатся смеяться): *любой, кто любит кошек и собак, — глуп*. Но есть и второй тип — животные, наделенные характеристиками и атрибутами; животные рода, классификации или Государства; те, что рассматриваются в великих божественных мифах, так чтобы можно было извлечь серии или структуры, архетипы или модели (Юнг, во всяком случае, глубже Фрейда). Наконец, в-третьих, есть еще более демонические животные, стайные или аффективные, формирующие множественность, становление, популяцию, сказку... Или не может ли, опять же, какое-то животное рассматриваться всеми тремя способами? Ведь всегда есть возможность, чтобы какое-нибудь животное — блоха, гепард или слон — рассматривалось как семейное животное, мой маленький зверь. Другая крайность: любое животное также может рассматриваться в модусе стаи или роя; это и есть наш путь, колдуны. Даже кошка, даже собака... И у пастуха, и у дрессировщика, и у дьявола есть в стае свое любимое животное, но совсем не таким образом, какой мы только что обсуждали. Да, любое животное является или может быть стайей, но в разной степени назначения, облегчающей или усложняющей раскры-

тие множественности, доли множественности, какую животное актуально или виртуально содержит в себе соотносительно конкретному случаю. Косяки, банды, стада, популяции — не низшие социальные формы; они суть аффекты и могущества, инволюции, которые захватывают каждое животное в становление столь же мощное, как и инволюции человека вместе с животным.

Х.Л. Борхес — автор, знаменитый своим избытком культуры, — небрежно написал, по крайней мере, две книги, лишь заглавия которых хороши: первая — «Всеобщая история бесчестия», ибо он не заметил элементарного различия, проводимого колдуном между обманом и предательством (становление-животным присутствует с самого начала, находясь на стороне предательства). Вторая — его «Книга вымышленных существ», где он не только принял пестрый и пресный образ мифа, но также элиминировал все проблемы стаи и, что касается человека, соответствующего становления-животным: «Мы умышленно исключили из этой книги легенды о превращениях людей — либо-зона [libozon], оборотня и т.д.». Борхеса интересуют только характеристики, самые фантастические из них, тогда как колдуны знают, что оборотни — это банды, также как и вампиры, и что банды превращаются друг в друга. Но что же в точности это означает — животное как банда или стая? Разве банда не подразумевает некой преемственности, возвращая нас к воспроизводству заданных характеристик? Как понять рост населения, размножение, становление без преемственности или наследственного производства? Множественность без единства предка? Это очень просто, и каждый это знает, но обсуждается такое только тайно. Мы противопоставляем эпидемию преемственности, заражение — наследственности, распространение посредством заражения — воспроизводству половым путем, сексуальному производству. Банды — человеческие или животные — размножаются посредством заражения, эпидемий, сражений и катастроф. Как и гибриды, сами по себе стерильные, но рожденные от полового союза, который не воспроизво-

дится, но каждый раз возобновляется, выигрывая в территории. Противоестественные соучастия или браки суть подлинная Природа, пронизывающая конкретные природные царства. Размножение посредством эпидемии, заразы не имеет ничего общего с преемственностью посредством наследственности, даже если эти две темы переплетены и нуждаются друг в друге. Вампир не размножается, он заражает. Различие в том, что зараза, эпидемия запускают в игру полностью неоднородные термины — например, человек, животное и бактерия, вирус, молекула, микроорганизм. Или — как в случае трюфеля — дерево, муха и свинья. Такие комбинации не являются ни генетическими, ни структурными; они — междуцарствия, противоестественные соучастия, но только так и действует Природа — против самой себя. Это сильно отличается от преемственного производства и наследственного воспроизводства, где единственные сохраняемые различия — это простая дуальность полов внутри одних и тех же видов и небольшие изменения, накапливаемые поколениями. Для нас, напротив, существует столько полов, сколько есть терминов в симбиозах, столько различий, сколько есть элементов, вносящих вклад в процесс инфицирования. Мы знаем, что мужчину и женщину разделяет много существ; они происходят из разных миров, приносятся ветром, образуют ризомы вокруг корешков; они постигаются не в терминах производства, а только в терминах становления. Универсум не функционирует через преемственность. Все, что мы утверждаем, — так это то, что животные суть стаи, а стаи формируются, развиваются и трансформируются посредством инфекции.

Эти множественности, содержащие неоднородные термины, совместно функционирующие посредством инфекции, входят в определенные *сборки*; и именно здесь человек осуществляет свои становления-животным. Но нам не следует смешивать эти темные сборки, раскачивающие наибольшее в нас, с такими организациями, как институт семьи и аппарат Государства. Мы могли бы сослаться на

сообщества охотников, военные общества, тайные общества, преступные общества и т.д. Становление-животным соответствует им. Здесь мы не найдем ни режимов преемственности типа семьи, ни способов классификации и атрибуции государственного или догосударственного типа, ни даже сериальных организаций религиозного типа. Несмотря на видимость и возможную путаницу, это не место происхождения и не точка приложения для мифов. Это сказки или рассказы о становлении, это его высказываемые. Стало быть, абсурдно устанавливать иерархию даже среди животных коллективов с точки зрения некоего фантастического эволюционизма, согласно которому стаи по статусу ниже и вытесняются затем семейными и государственными сообществами. Напротив, имеется различие по природе, и происхождение стай полностью отличается от происхождения семей и Государства; стаи непрерывно вырабатывают семью и Государство изнутри себя и нарушают их спокойствие извне с помощью иных форм содержания, иных форм выражения. Стая — это, одновременно, и реальность животного, и реальность становления-животным человека; инфекция — это одновременно и животная популяция, и размножение животной популяции самого человека. Машина охоты, машина войны, машина преступления сопряжены со всеми разновидностями становления-животным, которые не выражены в мифе, и уж *тем паче в тотемизме*. Дюмезиль показал, что такие становления с необходимостью свойственны воину, но лишь постольку, поскольку он внешен по отношению к семьям и Государствам, поскольку он опрокидывает преемственности и классификации. Машина войны всегда внешняя по отношению к Государству, даже когда Государство ее использует и присваивает. Воин обладает полным становлением, включающим в себя множественность, скорость, повсеместность, метаморфозу и предательство — мощь самого аффекта. Человек-волк, человек-медведь, человек-кот, человек-любое животное, — тайные братства, оживляющие поля сражений. Но также и животные стаи, слу-

жащие человеку в бою, или стаи, идущие по следам битв и получающие собственную выгоду. А вместе они распространяют заразу.⁹ Есть сложная совокупность — становление-животным человека, стаи животных, слоны и крысы, ветры и бури, бактерии, сеющие заразу. Единный *Furor**. Война содержала в себе зоологические последовательности, прежде чем стала бактериологической. Именно во время войн, голода и эпидемий размножаются оборотни и вампиры. Всякое животное может быть захвачено этими стаями и соответствующими становлениями; кошек можно увидеть на поле боя и даже в армиях. Вот почему различие нужно проводить не столько между типами животных, сколько между разными состояниями, сообразно которым они интегрируются в семейные институты, аппараты Государства, машины войны и т.п. (так каково же отношение машины письма или музыкальной машины к становлениям-животным?)

Воспоминания колдуна, II. — Первый наш принцип гласил: стая и инфекция, инфекция стаи — таков путь становления-животным. Но второй принцип, по-видимому, говорит нам о противоположном — где бы ни существовала множественность, вы также найдете исключительную индивидуальность, и именно с такой индивидуальностью

⁹ О воине, его внешней позиции по отношению к Государству, семье и религии, о становлении-животным, становлении-диким [животным], в которое он включается, см. Дюмезиля, особенно: *Mythes et dieux des Germains*; *Horace et les Curiaces*; *Heur et malheur du guerrier*; *Mythe et épopée*, т. II. Можно также сослаться на исследования сообществ человека-леопарда и т.п. в Черной Африке; вполне вероятно, что такие сообщества происходят от воинских братств. Но после того как колониальное государство запретило племенные войны, племена превратились в преступные сообщества, по-прежнему сохраняя свою территориальную и политическую значимость. Одно из лучших исследований, посвященных данной теме — Р. Е. Joset, *Les sociétés secrètes des hommes-léopards en Afrique noire*, Payot. Становления-животным, свойственные этим группам, в нашем понимании крайне отличаются от символических отношений между человеком и животным, как это имеет место в аппаратах Государства, а также и в догосударственных институтах тотемного типа. Леви-Строс ясно показывает, что тотемизм уже предполагает своего рода зачаточное Государство в той мере, в какой оно превосходит племенные границы (*La pensée sauvage*, pp. 220 sq.).

* Безумие, ярость, гнев (лат.). — Прим. пер.

может быть создан альянс, чтобы стать-животным. Возможно, тут и нет никакого одинокого волка, но зато есть лидер стаи, повелитель стаи или же прежний свергнутый глава стаи, живущий ныне в одиночестве, здесь есть Одиночка, да к тому же еще и Демон. У Уилларда свой фаворит — крыса Бен, и Уиллард становится крысой только благодаря отношениям с Беном, благодаря своего рода любовному альянсу, а не альянсу ненависти. Весь «Моби Дик» целиком — один из величайших шедевров становления; у капитана Ахава неодолимое становление-китом, но становление, пренебрегающее стаей или косяком, непосредственно осуществляемое благодаря чудовищному альянсу с Уникальным, с Левиафаном, с Моби Диком. Всегда есть договор с демоном; иногда демон появляется как глава банды, иногда как Одиночка на краю банды, а иногда как высшее Могущество банды. Исключительная индивидуальность обладает множеством возможных позиций. Кафка — еще один крупный автор о реальном становлении-животным — воспеваает народец мышек; но Жозефина — мышка-певица — иногда занимает привилегированное положение в стае, иногда положение вне стаи, а иногда ускользает в анонимность коллективного высказанного стаи и теряется в этой анонимности.* Короче, каждое Животное обладает собственной Аномалией. Разъясним это — каждое животное, захваченное собственной стаей или множественностью, имеет свою аномалию. Мы можем отметить, что слово «аномалия», прилагательное от которого вышло из употребления**, по своему происхождению весьма отличается от слова «анормальное»: а-нормальное, латинское прилагательное, которому не хватает существительного***, отсылает к тому, что пребывает вне правил или выступает против правил, тогда как ан-омалия [an-omalie], греческое суще-

* См.: Кафка Ф. *Певница Жозефина, или Мышиный народ* // Кафка Ф. *Замок. Новеллы и притчи. Письмо отцу. Письма Милене*. М.: Политиздат, 1991. — Прим. пер.

** Во французском языке. — Прим. пер.

*** Во французском языке. — Прим. пер.

ствительное, утратившее прилагательное, обозначает неровное, шершавое, шероховатое, точку детерриторизации.¹⁰ Аномальное может определяться только видовыми и родовыми характеристиками; но аномалия — это позиция или совокупность позиций в отношении множественности. Следовательно, колдуны используют прежнее прилагательное «аномальное», дабы разместить позиции исключительной индивидуальности в стае. Именно с Аномалиями — Моби Диком или Жозефиной — мы всегда вступаем в альянс ради становления-животным.

Все выглядит так, будто здесь есть противоречие — между стаей и одиночкой; между массовым заражением и предпочтительным альянсом; между чистой множественностью и исключительной индивидуальностью; между случайной совокупностью и предопределенным выбором. И это противоречие реально — Ахав выделяет Моби Дика в таком выборе, который превосходит его и исходит откуда-то еще, и, действуя так, он порывает с законом китобоев, согласно которому, прежде всего, следует преследовать стадо китов. Пентесилея нарушает закон стаи — стаи женщин, стаи сук, — выбирая Ахилла в качестве предпочтительного врага. К тому же, именно благодаря этому аномальному выбору каждый вступает в свое становление-животным — становление-собакой у Пентесилеи, становление-китом у капитана Ахава. Мы, колдуны, очень хорошо знаем, что эти противоречия реальны, но и что реальные противоречия существуют не только лишь ради смеха. Ибо весь вопрос в следующем: Какова же в точности природа аномального? Каковы его функции по отношению к банде, к стае? Ясно, что аномальное — это не просто исключительная индивидуальность, то, что привело бы последнюю к семейному животному или домашней зверюшке, к эдипизированному животному, как его видит психоаналитик в качестве образа отца... и т.д. Моби Дик для Ахава не схож с котенком или щенком, коими владеет

¹⁰ Ср.: Canguilhem, Georges. *Le normal et le pathologique*, P.U. F., pp. 81–82.

престарелая дама, почитающая и лелеющая их. Для Лоуренса становление-черепахой, в которое он вступает, не имеет ничего общего с сентиментальным или домашним отношением. Лоуренс, в свою очередь, принадлежит к тем писателям, которые озадачивают и восхищают нас, ибо оказались способными связать свое письмо с реальными и неслыханными становлениями. Но мы тут же возражаем Лоуренсу: «Ваши черепахи нереальны!» А он отвечает: возможно, но мое становление существует, мое становление реально, в особенности, если у вас нет возможности судить о нем, поскольку вы — лишь домашние собачонки...¹¹ Аномальное — предпочтительный элемент в стае — не имеет ничего общего с предпочитаемой, домашней и психоаналитической индивидуальностью. Не является аномальное ни носителем вида, представляющего специфические или родовые характеристики в их самом чистом состоянии; ни моделью или уникальным образцом; ни воплощенным типичным совершенством; ни выделенным термином серии; ни подпоркой для абсолютно гармоничного соответствия. Аномальное не является ни индивидуальным, ни видовым; оно несет только аффекты, у него нет ни привычных или субъективных чувств, ни особых или означающих характеристик. Человеческая слабость так же чужда ему, как и человеческие классификации. Лавкрафт для такой вещи или сущности использует термин «Аутсайдер» — Нечто, что приближается к линейной и, тем не менее, множественной границе и проходит по ней, «разливающейся, вскипающей, разрастающейся, вспенивающейся, распространяющейся как инфекционное заболевание — эдакий безымянный ужас».

Если аномальное — это и не индивидуальность, и не вид, то что же это такое? Это — феномен, но феномен

¹¹ Д. Лоуренс: «Я устал от разговоров о том, что нет никакого такого животного... Если я — жираф, а обычные англичане, пишущие обо мне, — это хорошо выдрессированные собаки, все так, животные различаются... Вы не любите меня, вы инстинктивно ненавидите то животное, каковым я являюсь» (*Lettres choisies*, Pion, t. II, p. 237).

окаймления. Вот наша гипотеза: множественность определяется не элементами, komponующими ее в протяженности [en extension], не характеристиками, komponующими ее в понимании [en compréhension], а линиями и измерениями, которые она охватывает в «интенсивности». Если вы меняете измерения, если добавляете или выделяете одно из них, то вы меняете множественность. Итак, у расширения каждого множества есть граница, вовсе не являющаяся центром, а выступающая, скорее, как обертывающая линия или наивысшее измерение, благодаря которому мы можем учитывать другие измерения, причем все эти линии или измерения конституируют стаю в данный момент (по ту сторону границы множество меняет природу). Именно об этом толкует капитан Ахав своему первому помощнику: у меня с Моби Диком нет никакой личной истории, нет желания отомстить, тем более нет мифа, который нужно разыгрывать; но я обладаю становлением! Моби Дик — ни индивидуальность, ни род; он — граница, и я должен поразить его, дабы добраться до стаи как целого, достичь стаи как целого и перейти за ее пределы. Элементы стаи — это только воображаемые «чучела», характеристики стаи — это лишь символические сущности; все, что берется в расчет, так это линия — аномалия. *«Белый кит для меня — это стена, воздвигнутая прямо передо мною»*, белая стена. «Иной раз думается, что по ту сторону нет ничего. Но это неважно».* То, что аномалия — это граница, облегчает наше понимание разнообразных позиций, которые она занимает в отношении стаи или окаймляемого ею множества, а также разнообразных позиций, занимаемых очарованной Самостью. И тут появляется возможность построить классификационную систему для стай, пока еще избегающих ловушек эволюционизма, рассматривающего их только лишь как низшую коллективную ступень (вместо того, чтобы принять во внимание те особые сборки, кото-

* Мелвилл Г. *Моби Дик*. М.: Государственное издательство географической литературы, 1962, с. 259.

рые они вводят в игру). В любом случае, у стаи есть границы, есть аномальная позиция — всякий раз, когда в данном пространстве животное находится на линии или чертит линию, по отношению к которой все другие члены стаи распадутся на две половины, левую или правую; периферийная позиция — такая, что невозможно сказать, находится ли аномалия еще в банде, уже вне ее или на подвижной кромке банды. Иногда какое-то животное доходит до этой линии или занимает такое динамическое положение, как в рое мошкар, где «каждый индивид беспорядочно движется, если видит остальную часть роя в том же самом полупространстве, затем он меняет свое поведение так, чтобы вернуться в группу; устойчивость застрахована от катастрофы неким *барьером*».¹² Иногда конкретное животное чертит и занимает границу как лидер стаи. Иногда граница определяется и дублируется неким существом иной природы, более не принадлежащим стае или вообще никогда к ней не принадлежащим, — существом, которое представляет могущество иного порядка, постоянно действуя как угроза, а также как вожак, аутсайдер... и т.д. В любом случае, не бывает банды без такого феномена ограничивающего, или без аномалии. Верно и то, что банды также подрываются крайне разными силами, устанавливающими в них внутренние центры супружеского, семейного или государственного типа и вынуждающими переходить их в совершенно иную форму социабельности, замещающая стайные аффекты семейными чувствами или осознанными интересами Государства. Центр, или внутренние черные точки, принимает на себя главную роль. Это то, что эволюционизм может рассматривать как прогресс, это авантюра, в которую втягиваются и человеческие банды, когда они заново устанавливают групповую преемственность или даже авторитаризм и стайный фашизм.

Колдуны всегда удерживают аномальную позицию — на кромке полей или лесов. Они часто посещают края. Они на

¹² René Thom. *Stabilité structurelle et morphogénèse*, Ed. W. A. Benjamin, p. 319.

границе деревни или *между* двумя деревнями. Важно их родство с альянсом, с договором, придающее им статус, противоположный статусу преемственности. Отношение с аномалией — это отношение альянса. У колдуна — отношение альянса с демоном как мощью аномалии. Теологи прежних времен четко различали два вида проклятий, направленных против сексуальности. Первое касается сексуальности как процесса преемственности, передающего первородный грех. Но второе касается ее как могущества альянса, вдохновляющего запретные союзы или отвратительные виды любви — оно крайне отличается от первого тем, что стремится воспрепятствовать произведению потомства; ибо демон действительно не может давать потомства, он должен использовать окольные средства (например, быть женским суккубом для мужчины, а затем стать мужским инкубом для женщины, которой он передает мужское семя). Верно, что альянс и преемственность вступают в отношения, регулируемые законами брака, но даже после этого альянс сохраняет опасное и инфекционное могущество. Эдмунд Лич смог показать, что, несмотря на все исключения, опровергающие, по-видимому, правило, колдун принадлежит, прежде всего, группе, объединяющейся через альянс, благодаря которому он и оказывает свое влияние — так, в группе, связанной родством по линии матери, именно на стороне отца мы ищем колдуна или ведьму. И есть целая эволюция колдовства, зависящая от того, обретает ли отношение альянса некое постоянство, или же такое отношение получает политический вес.¹³ Чтобы создать оборотня в собственной семье, мало походить на волка или жить как волк — нужно, чтобы договор с Дьяволом удваивался альянсом с другой семьей, и как раз возврат такого альянса первой семье, реакция этого альянса на первую семью производят обратной как эффект обратной связи. Замечательная сказка Эркмана-Шатриана «Юг-Волк» собирает традиции, касающиеся этих сложных ситуаций.

¹³ Leach E.R. *Critique de l'anthropologie*, P.U.F., pp. 40–50.

Мы видим, как постепенно блекнет противоречие между двумя темами — «инфекция через животное как стаю» и «договор с аномалией как исключительным существом». Здраво поразмыслив, Лич связал два понятия — альянса и инфекции, договора и эпидемии; анализируя качинское колдовство, он пишет: «Считалось, что влияние ведьмы передается через пищу, которую эта женщина готовит. <...> Качинское колдовство скорее инфекция, чем наследственность, <...> оно ассоциируется с альянсом, а не с преемственностью». Альянс или договор — форма выражения для инфекции или эпидемии, которые суть форма содержания. В колдовстве кровь — нечто от заразы и альянса. Можно было бы сказать, что становление-животным — это дело колдовства: 1) поскольку оно подразумевает изначальное отношение альянса с демоном; 2) поскольку демон выступает как граница животной стаи, куда входит человек или где он становится благодаря инфицированию; 3) поскольку такое становление само подразумевает второй альянс с иной человеческой группой; 4) поскольку такая новая граница между двумя группами управляет инфицированием животного и человека внутри стаи. Есть целая политика становлений-животным, как есть и политики колдовства — эта политика вырабатывается в сборках, которые не являются ни семейными, ни религиозными, ни государственными. Скорее, они выражают миноритарные группы, или группы, которые притеснены, запрещены, мятежны или всегда пребывают на краю признанных институтов, группы слишком засекреченные, чтобы быть внешними, короче, анонимные. Если становление-животным принимает форму Искушения и форму чудовищ, вызываемых в воображении демоном, то это потому, что оно сопровождается — как в своем истоке, так и в своем предприятии — разрывом с главными институтами, установившимися или желающими установиться.

Приводим вперемешку [примеры], но не как искусственные смеси, а как разнообразные случаи, требующие изучения: в машине войны присутствуют становления-животным, дикари всех видов, но сама машина войны дей-

ствительно приходит извне, она является внешней по отношению к Государству, рассматривающему война как аномальную силу [puissance]; в преступных сообществах — становления-животным, человек-леопард, человек-крокодил, когда государство запрещает племенные или локальные войны; в мятежных группах — становления-животным, когда церковь и государство сталкиваются с крестьянскими движениями, содержащими колдовскую компоненту, которые они подавляют через институт всей системы трибунала и права, предназначенной для разоблачения договоров с демоном; в аскетических группах — становления-животным, исцарапанный затворник или одичавший отшельник, но машина аскезы находится в аномальном положении, на линии ускользания, а не на стороне Церкви, она оспаривает претензии Церкви установиться в качестве имперского института¹⁴; в обществах, практикующих сексуальную инициацию типа «священной дефлорации» — становления-животным, человек-волк, человек-козел и т.д., которые требуют Альянса высшего и внешнего по отношению к порядку семьи, ибо семья должна отвоевать у них право на упорядочивание собственных альянсов, на детерминацию согласно комплементарным отношениям потомства и на приручение такой разнузданной мощи альянса.¹⁵

Конечно же, политики становления-животным остаются крайне двусмысленными. Ибо общества — даже прими-

¹⁴ Ср.: Lacarrière, Jacques. *Les hommes ivres de Dieu*, Fayard. 302.

¹⁵ Пьер Гордон [Pierre Gordon] (*Vinitiation sexuelle et l'évolution religieuse*, P. U. F.) исследует роль человека-животного в обрядах «священной дефлорации». Такие люди-животные налагают ритуальный альянс на филиативные группы, а сами принадлежат братствам, пребывающим на внешней стороне или на границах, и управляют инфекциями и эпидемиями. Гордон анализирует реакцию деревень и городов, когда те начинают бороться с людьми-животными, дабы обрести право выполнять собственные инициации и собственный порядок альянсов согласно их соответствующим преемственностям (например, бой с драконом). Ту же тему мы находим, например, в: *L'homme-hyène dans la tradition soudanaise* (см.: Calame-Griaule G.; Ligers Z. // *L'homme*, mai 1961): человек-гиена живет на краю деревни или между двумя деревнями и может наблюдать в обоих направлениях. Герой или даже два героя с подружками в каждой деревне одерживают победу над человеком-животным. Как если бы нужно было различать между двумя разными состояниями альянса — демоническим альянсом, накладывающимся извне и налагающим собственный закон на каждую преемственность (вынужденный альянс с чудовищем,

тивные общества — всегда присваивают эти становления, чтобы разрушить их, свести их к отношениям тотемного и символического соответствия. Государства всегда присваивают машины войны в форме национальных армий — форме, строго ограничивающей становления воина. Церковь не перестает сжигать колдунов или реинтегрировать отшельников в смягченный образ серийных святых, чье единственное оставшееся отношение к животным является странно знакомым и домашним. Семьи не перестают отбрасывать подтачивающий их демонический Альянс, дабы приемлемым образом упорядочить альянсы между собой. Мы уже видели, что колдуны служат в качестве лидеров, спланированы ради служения деспотизму, создают контр-колдовство изгнания дьявола, переходят на сторону семьи и наследственности. Но это влечет за собой смерть колдуна, а также смерть становления. Мы уже видели, что становление рождает только большую прирученную собаку, как в проклятии Генри Миллера («лучше было бы сделать вид, притвориться животным — собакой, например, — и хватать кость, бросаемую мне время от времени») или Фицджеральда («Но уж зато я постараюсь быть примерным псом, и, если вы мне швырнете кость побогаче, я, может, даже лизну вам руку»). Перевернутая формула Фауста: «Так вот была чем форма Школяра? Всего лишь псом!»*

с человеком-животным), и альянсом договора, который, напротив, пребывает в согласии с законами преемственности и устанавливается после того, как люди из деревни побеждают чудовище и обустроивают собственные отношения. Проблема инцеста тут должна модифицироваться. Ибо недостаточно сказать, что запрет на инцест проистекает из позитивных требований альянса вообще. Вместо этого есть определенный тип альянса, столь чуждого и враждебного преемственности, что он с необходимостью принимает позицию инцеста (человек-животное всегда имеет отношение к инцесту). Второй альянс запрещает инцест потому, что он может подчиниться правилам преемственности, дабы установиться как раз между разными преемственностями. Инцест появляется дважды, один раз как чудовищная власть альянса, когда альянс низвергает преемственность, и снова как запрещенная мощь преемственности, когда преемственность подчиняется альянсу и должна распределять его между разными линиями.

* Ср.: «Фауст. Вот, значит, чем был пудель начинен! Скрывала школяра в себе собака?» (Гете И.В. Фауст / пер. Б.Пастернака. М.: Правда, 1975, с. 49). — *Прим. пер.*

Воспоминания колдуна, III. — Не нужно приписывать исключительную важность становлениям-животным. Они, скорее, — сегменты, занимающие промежуточную область. Близко же мы сталкиваемся со становлениями-женщиной, становлениями-ребенком (становление-женщиной — более, чем какое-либо другое становление, — обладает особой интродуктивной силой; и дело не в том, что женщины — это ведьмы, а в том, что колдовство продолжается посредством такого становления-женщиной). Вдали же мы находим становления-элементарным, клеточным, молекулярным и даже становления-невоспринимаемым. К какой пустоте ведет помело ведьмы? Куда так безмолвно Моби Дик ведет Ахава? Герой Лавкрафта сталкивается со странными животными, но, в конце концов, он достигает предельных областей Континуума, населенных безымянными волнами и неосязаемыми частицами. Научная фантастика прошла всю эволюцию, начиная от животных, растительных и минеральных становлений и кончая становлениями бактерий, вирусов, молекул и невоспринимаемого.¹⁶ Собственно музыкальная суть музыки охватывается становлениями-женщиной, становлениями-ребенком, становлениями-животным; но — поверх всех видов влияний — она также имеет дело с инструментами, стремится постепенно стать молекулярной в своего рода космическом плеске, где беззвучное становится слышимым, а невоспринимаемое проявляется как таковое: нет больше птичьей песни, но есть звук молекулы. Если экспериментирование с наркотиками оставляет свою метку на каждом, даже на тех, кто ими не пользуется, то именно потому, что она изменяет воспринимаемые координаты пространства-времени и вводит нас в универсум микровосприятий, где становления-молекулой принимают эстафету у становлений-животным. Книги Карлоса Кастанеды ясно иллюстрируют такую эволюцию — или, скорее, такую инволю-

¹⁶ Матесон и Азимов особенно важны в такой эволюции (Азимов в высшей степени развивает тему симбиоза).

цию, — в которой аффекты становления-собакой, например, сменяются аффектами становления-молекулой, микровосприятиями воды, воздуха и т.д. Человек идет, шатаясь, от одной двери к другой и исчезает в воздухе: «Все, что я могу тебе сказать, так это, что мы — текущие светящиеся существа, сотканные из волокон».¹⁷ Все так называемые инициационные путешествия подразумевают такие пороги и двери, где становление само становится и где мы меняем становление в зависимости от «часа» мира, кругов ада или этапа путешествия, заставляющих меняться масштабы, формы и крики. От завываний животных к стенаниям стихий и частиц.

Стаи, множественности непрестанно трансформируются друг в друга, проходят друг через друга. Оборотни, когда умирают, трансформируются в вампиров. И это неудивительно, ибо становление и множество — одно и то же. Множество не определяется ни своими элементами, ни центром объединения или постижения. Оно определяется числом своих измерений; оно не делится, оно может утратить или приобрести измерение, *только изменив свою природу*. Поскольку вариации его измерений имманентны ему, *то будет одним и тем же сказать, что каждое множество уже скомпоновано из неоднородных терминов в симбиозе, и что множество непрестанно трансформируется в вереницу других множеств, согласно своим порогам и дверям*. Например, стая волков у Человека-волка становится также роем пчел, полем анусов, коллекцией маленьких дырочек и крошечных язвочек (тема заразы); все такие неоднородные элементы komponуют «это» множество симбиоза и становления. Если мы и воображали позицию очарованной Самости, то потому, что множество, к которому она — вплоть до разрыва — склоняется, есть продолжение другого множества, которое разрабатывает его и растягивает изнутри. Фактически, самость — это только порог, дверь,

¹⁷ Кастанеда, Карлос. *Сказки о силе* // Кастанеда К. *Сказки о силе. Второе кольцо силы*. К.: София, 1992, с. 161 [Перевод изменен. — Прим. пер.]

становление между двумя множествами. Каждое множество определяется границей, функционирующей как Аномальное; но есть и вереница границ, непрерывная линия границ (*волокно*), следуя которым, множество меняется. И за каждым порогом или дверью новая стая? Волокно тянется от человека до животного, от человека или животного до молекул, от молекул до частиц, и так далее до невоспринимаемого. Каждое волокно — это волокно Универсума. Волокно в веренице границ конституирует линии ускользания или детерриторизации. Мы видели, что Аномальное, Аутсайдер обладает несколькими функциями: оно не только ограничивает каждое множество, временную или локальную стабильность которого — с максимальными условными измерениями — оно определяет; оно не только является условием необходимого альянса в становлении; но оно также осуществляет трансформации становления или переходы множеств всегда еще дальше по линии ускользания. Моби Дик — это *Белая Стена*, ограничивающая стаю; он также и демонический *Термин Альянса*; наконец, он — ужасный [гарпунный] *Линь* со свободным концом, линь, пересекающий стену и утягивающий капитана... Но куда? В пустоту...

Ошибка, от которой нам нужно защититься, — это вера в то, что есть какой-то тип логического порядка в этой веренице, в этих переходах и трансформациях. Все зашло слишком далеко, чтобы постулировать какой-то порядок, спускающийся от животного к растению, затем к молекулам, к частицам. Каждая множественность является символической и объединяет в своем становлении животных, растения, микроорганизмы, безумные частицы, всю галактику. Нет никакого предпочтительного порядка между такими неоднородностями, между волками, пчелами, анусами, мелкими рубцами Человека-Волка. Конечно же, колдовство не перестает кодифицировать определенные трансформации становлений. Возьмем такой погруженный в традиции колдовства роман, как «Предводитель волков» Александра Дюма; в первом договоре человек окраин

вынудил дьявола согласиться исполнять его желания, но при условии, что с каждым выполненным желанием прядь его волос станет красной. Мы оказываемся в волосах-множественности, волосы — это граница. Сам человек располагается на краю волков, как вожак стаи. Позже, когда у него не останется уже ни одного человеческого волоса, второй договор заставляет его самого становиться-волком, становиться бесконечно, ибо он уязвим лишь один день в году. Мы знаем, что между множественностью-волосами и множественностью-волками всегда можно навести порядок сходства (красный, как волчья шерсть), но сходство остается абсолютно вторичным (волк трансформации черен, с одним белым волосом). Фактически, есть первое множество-волос, — близкое к становлению-красной шерстью; и второе множество-волков, которое, в свою очередь, сближается со становлением-животным человека. Между этими двумя множествами — порог и волокно, симбиоз или переход между неоднородностями. Именно так мы — колдуны — и действуем, следуя не логическому порядку, а алогичным совместимостям и согласованностям. Причина проста. Ни человек, ни даже Бог не могут заранее сказать, будут ли две границы совместно растягиваться или формировать волокно, будет ли или не будет данное множество переходить в другое множество, или даже будут ли данные неоднородные элементы входить в симбиоз, сформируют ли они согласованное или софункционирующее множество, чувствительное к трансформации. Никто не может сказать, где пройдет линия ускользания — позволит ли она себе увязнуть и свалиться к эдиповому семейному животному, к простому Пуделю? или же она станет жертвой другой опасности — например, превратится в линию уничтожения, упразднения, саморазрушения, Ахав, Ахав...? Мы слишком хорошо знаем опасности линии ускользания и ее двусмысленности. Риски вездесущи, но всегда есть шанс избежать их — в каждом случае можно сказать, является ли эта линия согласованной, другими словами, функционируют ли на самом деле неодно-

родности во множестве симбиозов, трансформируются ли множества на самом деле в становлениях перехода. Рассмотрим простой пример: *X* вновь начинает практиковаться в игре на пианино... Не эдипов ли это возврат в детство? Не способ ли умирания в своего рода отмене звука? Не новая ли это граница, вроде активной линии, приносящей иные становления, совершенно отличные от становления и восстановления пианиста, — линия, которая вызовет трансформацию всех предыдущих сборок, где *X* был посажен на цепь? Некий выход? Договор с дьяволом? У шизоанализа или прагматики нет иного смысла — создавайте ризому, но вы не знаете, с чем вы можете создать ризому, вы не знаете, какой подземный черенок эффективно подходит для того, чтобы создать ризому или создать становление, заселить вашу пустыню. Экспериментирование.

Легко сказать? Хотя и нет заранее сформированного логического порядка в становлениях и множествах, но есть *критерии*, и важно то, что эти критерии не используются потом, что они применяются по ходу дела, что в данный момент их достаточно, дабы провести нас через опасности. Если множества определяются и трансформируются благодаря границе, которая каждый раз задает число их измерений, то мы понимаем возможность раскладывания их на одном и том же плане, где границы следуют друг за другом, прочерчивая изломанную линию. Это только кажется, что такой план «редуцирует» измерения; ибо он собирает вместе измерения в той мере, в какой *плоские множества* — обладающие, тем не менее, *неким увеличивающимся или уменьшающимся числом измерений* — наносятся на него. Именно в таких грандиозных и упрощенных терминах Лавкрафт пытается произнести последнее слово колдуна: «Вибрация волн усилилась — Бытие явно хотело, чтобы он понял суть чудесных превращений и принял как должное многообразие собственных обличий, а не только ту мельчайшую частицу, с которой связывал оставшееся “я”. Волны внушали ему, что любая форма в пространстве образуется при пересечении той или иной фигуры с бóльшим количеством

измерений. Квадрат — это результат сечения куба, а круг — сечения сферы. Трехмерные куб и сфера возникают при сечении фигур четырех измерений, о чем люди до сих пор лишь догадывались и что изредка видели во сне. Четырехмерные фигуры создаются с помощью сечения пятимерных и так далее, вплоть до головокружительной бесконечности прообразов». * Вовсе не сводя размерность множеств к двум, *план консистенции* разрезает их все, рассекает их, дабы заставить сосуществовать любые плоские множества с какими угодно измерениями. План консистенции — это пересечение всех конкретных форм. Значит, все становления записываются подобно рисункам колдунов на этом плане консистенции — последней Двери, где они находят свой выход. Вот единственный критерий, чтобы предохранить становления от увязания или сворачивания в пустоту. Один вопрос: Действительно ли становление достигает такой точки? Может ли данное множество так распластать все свои сохраненные измерения, как сохраняется раздавленный цветок, когда он заживо засушен? Лоуренс — в своем становлении-черепахой — переходит от самого упорного животного динамизма к чистой абстрактной геометрии чешуек и «сечений», не утрачивая, однако, динамизма: он выталкивает становление-черепахой на план консистенции.¹⁸ Все становится невоспринимаемым, все является становлением-невоспринимаемым на плане консистенции, который, тем не менее, пребывает именно там, где невоспринимаемое видимо и слышимо. Это — *Планоменон* или *Ризосфера*, *Критериум* (и еще другие имена по мере роста размерности). При *n* измерениях он называется *Гиперсферой*, *Механосферой*. Это и есть абстрактная *Фигура*, или — поскольку сама она не обладает формой — абстрактная *Машина*, каждая конкретная сборка которой является неким множеством, становлением, сегментом, вибрацией. И абстрактная машина — сечение всех последних.

* Лавкрафт Г.Ф. Там же, с. 59.

¹⁸ См. Лоуренс, первая и вторая поэмы «Черепах».

Волны суть вибрации, подвижные границы, вписанные в план консистенции как столь многочисленные абстракции. Абстрактная машина волн. В «Волнах» Вирджиния Вулф — сделавшая из всей своей жизни и произведений некий переход, становление, все виды становлений между веками, полами, стихиями и царствами — смешивает семь персонажей: Бернарда, Невила, Луиса, Джинни, Роду, Сьюзен и Персивала; но каждый из этих персонажей — со своим именем, с собственной индивидуальностью — обозначает множество (например, Бернард и косяк рыб); каждый, одновременно, существует в своем множестве, на своей границе и переходит в других. Персивал подобен последнему множеству, сворачивающему наибольшее число измерений. Но он все еще не конституирует план консистенции. И хотя Рода полагает, что видит его возникающим из моря, нет, это не он, он «упрет белую руку в колено, и получится треугольник; протянет — и будет колонна; наклонится — низвергнется водопад. <...> Под ним ревет море, до него не добраться». Каждый двигается как волна, но на плане консистенции все это одна и та же абстрактная Волна, чья вибрация размножается, следуя линии ускользания или детерриторизации, проходящей через весь план (каждой главе романа Вулф предпосылается размышление о каком-либо аспекте волн, о часе их появления, об их становлении).

Воспоминания теолога. — Теология строго держится следующего положения: обратной не бывает, человек не может стать животным. Именно потому, что не бывает трансформации сущностных форм, последние неотчуждаемы и поддерживают только отношения аналогии. Дьявол и ведьма, их договор — не менее реальны, ибо есть некое *локальное движение*, собственно дьявольское. Теология различает два случая, служившие в качестве модели для Инквизиции — случай спутников Улисса и случай спутников Диомеда: воображаемое видение и колдовство. Либо субъект верит, что превращается в животное — свинью,

быка или волка — и наблюдатель тоже верит этому; но есть и внутреннее локальное движение, возвращающее чувственные образы к воображению и заставляющее их вновь перескакивать на внешние смыслы. Либо дьявол «принимает» тела реальных животных, перенося несчастья и аффекты, происходящие с ними, на другие тела (например, кошка или волк, захваченные дьяволом, могут получать раны, которые в точности переносятся на человеческое тело).¹⁹ Это позволяет говорить, что человек не становится животным на самом деле, но что, тем не менее, есть демоническая реальность становления-животным человека. Также несомненно, что демон осуществляет любого вида локальные переносы. Дьявол — это переносчик; он переносит склонности, аффекты и даже тела (Инквизиция не шла на сделку с таким могуществом дьявола — помело ведьмы или «куда тебя черт унес»). Но эти передачи не преодолевают ни границу сущностных форм, ни границу субстанций или субъектов.

С точки зрения законов природы имеется и совершенно иная проблема, которая затрагивает вовсе не демонологию, а алхимию или, более того, физику. Это проблема случайных форм, отличных как от сущностных форм, так и от детерминированных субъектов. Ибо случайные формы чувствительны к *более и менее* — более или менее милосердный, но также более или менее белый, более или менее теплый. Степень тепла — это совершенно индивидуальное тепло, не смешивающееся с получающими его субстанцией или субъектом. Степень тепла может войти в сочетание

¹⁹ См. руководство Инквизиции: *Le marteau des sorcières*, rééd. Pion: I, 10 et II, 8. Первый и простейший случай — это спутники Улисса, верившие в самих себя и, поверив в себя, превратившиеся в свиней (и опять же, царь Навуходоносор превратился в быка). Второй, более подходящий, случай — спутники Диомеда не верили в то, что превратятся в птиц, поскольку умерли, но демоны воплотились в птичьи тела и выдали их за тела спутников Диомеда. Нужно выделить самый сложный случай, который объясняется феноменом перехода аффектов — например, господин на охоте отрезает волчью лапу и возвращается домой, где находит собственную жену, не покидавшую дом, с отрезанной рукой; или же мужчина бьет кошку, и та же самая рана, какую он наносит, возникает на женщине.

со степенью белизны или с другой степенью тепла, дабы сформировать третью уникальную индивидуальность, не совпадающую с индивидуальностью субъекта. Что такое индивидуальность дня, времени года, события? Более короткий день или более длинный — тут говорится не о протяженностях, а о степенях, свойственных протяженности, так же как есть степени, свойственные теплу, цвету и т.д. Следовательно, случайная форма обладает «широтой», конституируемой определенным числом возможных индивидуальностей. Степень, интенсивность — это индивидуальность, *Этовость* [*Heccéité*], которая входит в сочетание с другими степенями, с другими интенсивностями, дабы сформировать иную индивидуальность. Может ли широта объясняться тем, что субъект более или менее причастен случайной форме? И не подразумевают ли такие степени восприятия в самой форме некое порхание, некую вибрацию, которые несводимы к свойствам субъекта? Более того, если интенсивности тепла не слагаются путем добавления, то это потому, что мы должны добавить их соответствующих субъектов, которые как раз и препятствуют увеличению тепла всей совокупности. Тем более есть повод распределять интенсивности, устанавливать широты, «деформирующие деформированное» — скорости, медленности и степени всех видов, соответствующие телу или совокупности тел, взятых как долгота: картография.²⁰ Короче, между субстанциальными формами и детерминированными субъектами — *между этими двумя* — есть не только целая процедура локальных демонических переносов, но и естественная игра этовостей, степеней, интенсивностей, событий и случайностей, которые komponуют индивидуальности, всецело отличные от индивидуальностей хорошо сформированных субъектов, их принимающих.

²⁰ О проблеме интенсивностей в Средние века, о пролиферации тезисов относительно топик, о конституировании кинетики и динамики и, особенно, о важной роли Николая Орезмского см. классическую работу Пьера Дюгема: *Le système du monde*, t. VII, Hermann.

Воспоминания Спинозиста, I. — Субстанциальные и сущностные формы критиковались самыми разными способами. Но подход Спинозы радикален — приблизиться к элементам, которые более не обладают ни формой, ни функцией и в этом смысле являются абстрактными, даже если они совершенно реальны. Единственно чем они различаются, так это движением и покоем, медленностью и скоростью. Это не атомы, то есть не конечные элементы, все еще наделенные формой. Не являются они и бесконечно делимыми. Это — предельные бесконечно малые частицы некоего актуального бесконечного, расположенные на одном и том же плане консистенции или композиции. Они не определяются числом, поскольку всегда входят в бесконечности. Но, в зависимости от своей степени скорости или от отношения движения и покоя, в которое они вступают, они принадлежат той или иной Индивидуальности, причем последняя сама может быть частью другой Индивидуальности, управляемой иным, более сложным отношением, и так до бесконечности. Итак, есть более или менее обширные бесконечности, но не благодаря числу, а благодаря композиции отношения, в которое входят их части. Так, каждая индивидуальность — это бесконечное множество, а вся Природа в целом — это множество совершенно индивидуализированных множеств. План консистенции Природы похож на громадную абстрактную Машину, абстрактную, но к тому же реальную и индивидуальную; ее детали — это разнообразные сборки и индивидуальности, каждая из которых группирует вместе бесконечность частиц, входящих в бесконечность более или менее скомпонованных отношений. Следовательно, существует некое единство плана природы, которое равным образом налагается на неживое и живое, на искусственное и естественное. Такой план не имеет ничего общего ни с формой или фигурой, ни с конструкцией или функцией. Его единство не имеет ничего общего ни с каким-то основанием, зарытым в глубине вещей, ни с целью или проектом в уме Бога. Это — план разворачивания, похожий на

пересечение всех форм, на машину всех функций, план, чьи измерения возрастают с измерениями множеств или индивидуальностей, которые он прорезает. Фиксированный план, где вещи отличаются одна от другой лишь скоростью и медленностью. План имманентности, или однозначности, противоположный аналогии. Единое в одном и том же смысле высказывается обо всем множественном, Бытие говорит в одном и том же смысле обо всем, что различается. То, о чем мы толкуем, — не единство субстанции, а бесконечность модификаций, которые являются частью одна другой на единственном и одном и том же плане жизни.

Спор между Кювье и Жоффруа Сент-Илером бесконечен. Оба, по крайней мере, сходятся на осуждении сходств, или воображаемых чувственных аналогий. Но у Кювье научное определение касается отношений между органами и отношений между органами и функциями. Итак, Кювье доводит аналогию до научной стадии, до аналогии пропорциональности. Единство плана, согласно ему, может быть только единством аналогии, а значит, трансцендентным единством, которое может быть реализовано, только фрагментируясь в различных ветвях согласно неоднородной, непересекающейся, нередуцируемой композиции. А Бэр добавляет: согласно некоммуницирующим типам развития и дифференциации. План — это скрытый план организации, структуры или генезиса. У Жоффруа совершенно иная точка зрения, поскольку он выходит за пределы органов и функций к абстрактным элементам, которые называет «анатомическими», или даже к частицам, к чистым материалам, вступающим в разнообразные комбинации, формируя данный орган и принимая данную функцию в зависимости от степени их скорости или медленности. Именно скорость и медленность, движение и покой, задержка и быстрота подчиняют не только формы структуры, но также и типы развития. Такое направление позже вновь появляется в рамках эволюционизма, в феноменах тахигенезиса Перрье, в дифференциальных степенях роста и в алломе-

трии: виды как кинематические сущности, которые либо не по годам развиты, либо имеют задержку в развитии. (Даже проблема воспроизведения потомства — не столько проблема формы и функции, сколько скорости; правда ли, что хромосомы-образцы приходят слишком рано, чтобы быть инкорпорированными в клеточные ядра?) В любом случае, есть чистый план имманентности, однозначности, композиции, где все дано, где танцуют неоформленные элементы и материалы, отличающиеся друг от друга только своей скоростью и вступающие в ту или иную индивидуализированную сборку в зависимости от их соединений, их отношений движения. Фиксированный план жизни, где все суетится, замедляется или ускоряется. Одно абстрактное Животное для всех его осуществляющих сборок. Единственный и тот же самый план консистенции, или композиции, для головноногого и позвоночного, ибо, чтобы позвоночное стало осьминогом или каракатицей, все, что ему нужно, так это достаточно быстро переломится надвое, дабы слить вместе элементы половин его спины, затем подтянуть таз к затылку, поближе к шее и собрать конечности вместе, направив их в одну из сторон подобно «клоуну, который оттягивает голову и плечи назад и ходит на руках вниз головой».²¹ *Plicature**. Речь уже идет не об органах и функциях, не о трансцендентном Плане, который может осуществлять контроль над их организацией только посредством аналогических отношений и типов дивергентного развития. Речь идет не об организации, а о композиции; не о развитии или дифференциации, а о движении и покое, скорости и медленности. Речь идет об элементах или частицах, которые приходят или не приходят достаточно быстро, дабы совершать переход, становление или скачок на одном и том же плане чистой имманентности. И если действительно есть скачки, разломы между сборками, то не из-за их природной нередуцируемости, а скорее

²¹ Geoffroy Saint-Hilaire, Etienne. *Principes de philosophie zoologique*. И, о частицах и их движениях: *Notions synthétiques*.

* Складка (лат.). — Прим. пер.

потому, что всегда есть элементы, которые не приходят вовремя, или приходят тогда, когда все закончилось; итак, нужно пройти сквозь туман, пересечь пустоты, иметь время на освоение нового и на задержки, которые сами составляют часть плана имманентности. Даже неудачи — часть такого плана. Нужно попытаться помыслить этот мир, где один и тот же фиксированный план — который мы назовем планом абсолютной неподвижности *или* абсолютного движения — пересекается неформальными элементами относительной скорости, вступающими в ту или иную индивидуальную сборку в зависимости от степени их скорости или медленности. План консистенции населен анонимной материей, бесконечными частицами неосязаемой материи, входящими в разнообразные соединения.

Дети — это спинозисты. Когда маленький Ганс говорит о «том-что-делает-пипи», речь идет не об органе или органической функции, а прежде всего о материале, то есть об ансамбле элементов, которые варьируются согласно своим соединениям, своим отношениям движения и покоя, различным индивидуализированным сборкам, куда они входят. Правда ли, что у девочек есть то-что-делает-пипи? Мальчик говорит — да, и не по аналогии, не для того, чтобы изгнать страх кастрации. Ясно, что у девочек есть то-что-делает-пипи, поскольку они на самом деле писают — машинное функционирование, а не органическая функция. Очень просто, одна и та же материя обладает разными соединениями, разными отношениями движения и покоя, входит в разные сборки у мальчика и у девочки (девочка не писает стоя или вдаль). Правда ли, что у паровоза есть то-что-делает-пипи? Да, и к тому же в иной машинной сборке. У стульев такого нет — но как раз потому, что элементы стула не способны принять такую материю в свои отношения или в достаточной мере разложить отношение на составные части посредством этой материи там, где производится что-то еще, ножка стула, например. Уже отмечалось, что у органа детей «тысяча превратностей», что его «трудно локализовать, трудно идентифици-

ровать, что он, в свою очередь, является костью, моторчиком, экскрементом, ребеночком, рукой, папочкиным сердцем...» Но вовсе не потому, что орган воспринимается как частичный объект. А именно потому, что орган в точности будет являться тем, что создают его элементы согласно их отношению движения и покоя, и он — тот способ, каким это отношение компонуется или декомпонуется с отношением соседствующих элементов. Это не анимизм, а уж тем более не механизм; скорее, это универсальный машинизм — план консистенции, оккупированный гигантской абстрактной машиной с бесконечными сборками. Детские вопросы плохо понимаются, если они не рассматриваются как вопросы-машины; отсюда и важность неопределенных артиклей в этих вопросах (*некий живот, некий ребенок, некая лошадь, некий стул, «как устроена некая личность?»*). Спинозизм — это становление-ребенком философа. Мы называем *долготой* тела совокупности частиц, принадлежащие этому телу в том или ином отношении; эти ансамбли — сами части друг друга в зависимости от композиции отношения, которое определяет индивидуализированную сборку такого тела.

Воспоминания спинозиста, II. — У Спинозы есть и другой аспект. Каждому отношению движения и покоя, скорости и медленности, группирующему бесконечность частей, соответствует степень могущества. Отношениям, компонующим, разлагающим или модифицирующим индивидуальность, соответствуют интенсивности, которые аффектируют ее, увеличивая или уменьшая ее способность к действию — интенсивности, исходящие из внешних ей или собственных ее частей. Аффекты — это становления. Спиноза спрашивает: на что способно тело? Мы называем *широтой* тела аффекты, на которые оно способно благодаря данной степени могущества или, скорее, в пределах этой степени. *Широта создается из интенсивных частей, подпадающих под некую способность, как и долгота — из экстенсивных частей, подпадающих под некое отношение.* Так же,

как мы уходили от определения тела через органы и функции, мы уйдем и от определения его через Видовые и Родовые характеристики — мы стараемся принять во внимание его аффекты. Такое исследование мы называем «этологией», и именно в этом смысле Спиноза писал подлинную Этику. Скакун больше отличается от тягловой лошади, чем тягловая лошадь от быка. Фон Икскуль, определяя животные миры, ищет активные и пассивные аффекты, благодаря которым животное способно пребывать в индивидуализированной сборке, чьей частью оно является. Например, клещ, привлеченный светом, поднимается вверх на самый кончик ветки; он чувствителен к запаху млекопитающих и падает на них, когда те проходят под веткой; он впивается в их кожу, в то место — какое он только может отыскать, — где меньше всего шерсти. Три аффекта, и все; остальное время клещ спит, иногда несколько лет кряду, безразличный ко всему, что происходит в огромном лесу. Действительно, его степень могущества схвачена между двумя пределами — оптимистичным пределом наслаждения, после которого он умирает, и пессимистичным пределом поста, когда он ждет. Может, и скажут, что три аффекта клеща уже предполагают родовые и видовые характеристики, органы и функции, ножки и рыльце. Это верно с точки зрения физиологии, но не с точки зрения Этики, где органические характеристики, напротив, вытекают из долготы и ее отношений, из широты и ее степеней. Мы ничего не знаем про тело, пока не знаем, на что оно способно — другими словами, каковы его аффекты, как оно может или не может скомпоноваться с другими аффектами, с аффектами другого тела, чтобы либо разрушить это тело, либо самому разрушиться благодаря ему, либо обменяться с ним действиями и страданиями или соединиться с ним, komponуя более мощное тело.

Вернемся снова к детям. Обратите внимание, как они говорят о животных, как переживают за них. Они создают перечень аффектов. Лошадь маленького Ганса не репрезентативна, а аффективна. Она — не член какого-либо вида, а

элемент или индивидуальность в механической сборке: тягловая лошадь—омнибус—улица. Она определяется перечнем активных и пассивных аффектов в зависимости от индивидуальной сборки, частью которой является — обладать закрытыми шорами глазами, удилами и уздечкой, быть гордой, иметь большой то-что-делает-пипи, тянуть тяжелый груз, получать удар хлыстом, падать, грохотать копытами, кусаться... и т.д. Эти аффекты циркулируют и трансформируются внутри сборки — то, что «может» лошадь. Действительно, у аффектов есть оптимальный предел на вершине могущества-лошади, но также и пессимистичный порог: лошадь падает на улице! и она не может вновь подняться под слишком тяжелым грузом и слишком тяжкими ударами хлыста; лошадь вот-вот умрет! — то было обычным зрелищем в те дни (Ницше, Достоевский, Нижинский сокрушались по этому поводу). Так что же это такое, становление-лошадью маленького Ганса? Ганс также захвачен в сборке: материнская кровать, отцовский элемент, дом, кафе напротив, рядом пакгауз, улица, право выйти на улицу, завоевание такого права, гордость от этого завоевания, но также и риск от завоевания, падение, стыд... Это не фантазии или субъективные мечты — речь идет не об имитации лошади, не о «делании» лошади, не об идентификации с ней и даже не об испытании на опыте чувств жалости или симпатии. Ничего из вышесказанного не должно иметь дела с объективной аналогией между сборками. Речь о знании того, может ли маленький Ганс наделить свои собственные элементы отношениями движения и покоя, аффектами, которые позволили бы стать лошадью, независимо от форм и субъектов. Нет ли здесь к тому же еще неизвестной сборки, которая не была бы ни сборкой Ганса, ни сборкой лошади, ни сборкой становления-лошадью Ганса, и где лошадь, например, обнажила бы зубы, а Ганс смог бы показать что-то еще — свои ступни, свои ноги, свой то-что-делает-пипи, неважно что? И как бы это могло продвинуть далее проблему Ганса, в какой степени это дало бы выход тому, что прежде было заблокировано?

Когда Гофмансталь созерцает агонию крысы, именно в нем животное, «подчиняясь чудовищному року, обнажает клыки». *Это не чувство сострадания*, как он поясняет; еще меньше здесь отождествления, это композиция скоростей и аффектов, включающая в себя полностью различные индивидуальности, симбиоз; композиция, которая заставляет крысу становиться мыслью, лихорадочной мыслью в человеке в тот самый момент, когда человек становится крысой, скрежещущей зубами в смертельной агонии. Крыса и человек — вовсе не одно и то же, но Бытие говорит о них в одном и том же смысле — в языке, который более не язык слов, в материи, которая более не материя форм, в способности к аффектации, которая более не аффектация субъектов. *Противоестественное соучастие*, но план композиции, план Природы существует именно ради таких соучастий и непрестанно создает и уничтожает их сборки, используя все уловки.

Это не аналогия и не воображение, а композиция скоростей и аффектов на плане консистенции — план-поверхность, программа или, скорее, диаграмма, проблема, вопрос-машина. В весьма любопытном тексте Владимир Слепян ставит «проблему»: Я голоден, всегда голоден, человеку не следует быть голодным, потому я должен стать собакой — но как? Речь не будет идти ни об имитации собаки, ни об аналогии отношений. Я должен преуспеть в наделении частей своего тела отношениями скорости и медленности, которые вынудят его стать собакой, возобновляясь в новой сборке — ни благодаря сходству, ни благодаря аналогии. Ибо я не могу стать собакой так, чтобы сама собака не становилась чем-то еще. У Слепяна появляется идея использовать для решения этой проблемы ботинки, хитрость ботинок. Если я надену ботинки на руки, то их элементы вступят в новое отношение, и в результате получатся искомые аффект или становление. Но как же мне завязать ботинок на одной руке, когда другая уже обута? С помощью рта, который, в свою очередь, инвестируется в сборку, становясь собачьей мордой, поскольку последняя

используется теперь для завязывания ботинок. Что нужно делать на каждом этапе проблемы — так это не сравнивать два органа, а помещать элементы или материалы в отношения, которые с корнем вырывают орган из его специфичности, заставляя становиться «с» другим [органом]. Но такое становление, которое уже предпринято с ногами, руками и ртом, тем не менее, терпит неудачу. Неудачу с хвостом. Следовало бы уже инвестировать хвост, вынудить его освободить элементы, общие для полового органа и хвостового придатка, так чтобы первый имел место в становлении-собакой человека как раз тогда, когда последний имел бы место в становлении *некой* собаки, в ином становлении, которое было бы частью сборки. План терпит неудачу, Слепьян спотыкается на этом пункте. Хвост остается органом человека, с одной стороны, и придатком собаки, с другой; их отношения не вступают в композицию в новой сборке. Именно здесь начинается медленное психоаналитическое движение, возвращающее назад все избитые штампы относительно хвоста, матери, детских воспоминаний о матери, продевающей нитку в иглоку — всех этих конкретных фигур и символических аналогий.²² Как раз таким путем двигался Слепьян в этом замечательном тексте. Ибо есть путь, на котором неудача плана-поверхности — это часть самого плана-поверхности: план бесконечен, вы можете начать двигаться на нем тысячью разными способами; вы всегда найдете что-то, что приходит слишком поздно или слишком рано, вынуждая вас заново создавать ваши отношения скорости и медленности, все ваши аффекты и перекомпоновывать всю сборку целиком. Бесконечное предприятие. Но есть и другой путь, на котором план-поверхность терпит неудачу; на этот раз потому, что *другой план* возвращается полный сил, разрушая становление-животным, отвергая животное в животном и человека в человеке, опознавая только сходства между элементами и

²² Slepian, Vladimir. Fils de chien // *Minuit* n° 7, janvier 1974. Мы дали самое упрощенное представление об этом тексте.

аналогии между отношениями. Слепая сталкивается с обеими опасностями.

По поводу психоанализа мы хотим сказать простую вещь — с самого начала он часто сталкивался с проблемой становления-животным человека. У ребенка, который постоянно пересекается таким становлением. В фетишизме и, особенно, в мазохизме, который непрерывно противостоит этой проблеме. Самое меньшее, что может быть сказано, — это то, что психоаналитики, даже Юнг, не понимали и не хотели этого понимать. Они истребили становление-животным как во взрослом, так и в ребенке. Они ничего не увидели. Они видят в животном представителя влечений или представление о родителях. Они действительно не видят реальности становления-животным, не видят того, что оно является аффектом в себе, влечением в личности и не представляет ничего иного. Нет иных влечений, кроме самой сборки. В двух классических текстах Фрейд находит только отца в становлении-лошадью Ганса, а Ференци — в становлении-петухом Арпада [Arpad]. Шоры лошади — это пенсне отца, чернота вокруг ее рта — это его усы, ее брыканье — это «занятия любовью» родителей. Ни одного слова об отношении Ганса к улице, о том, как улица была запретна для него, о том, что значит для ребенка видеть спектакль: «лошадь испытывает гордость, слепая лошадь тащит, лошадь падает, лошадь бьют хлыстом...» Психоанализ не чувствителен ни к противоестественным соучастиям, ни к сборкам, куда может забираться ребенок, дабы разрешить проблему, выходы из которой для него загорожены — *план*, а не фантазм. Подобным образом значительно меньше глупостей было бы сказано на тему боли, унижения и тревоги в мазохизме, если бы было понято, что именно становление-животным главенствует в мазохизме, а не наоборот. Всегда вмешиваются аппараты, инструменты, двигатели, всегда есть уловки и принуждения для самой великой Природы. Дело в том, что нужно аннулировать органы, блокировать их так, чтобы их освобожденные элементы могли вступать в новые отношения, результатом коих будут ста-

новление-животным и круговращение аффектов в машинной сборке. Как мы увидели в другом месте, это касалось маски, уздечки, мундштука и футляра для пениса в *Equus eroticus*: парадоксально, в сборке становления-лошадью человек обуздывает свои собственные «инстинктивные» силы, тогда как животное передает ему «благоприобретенные» силы. Переворот, противоестественное соучастие. А туфли женщины-госпожи функционируют так, чтобы аннулировать ногу как человеческий орган, поместить элементы ноги в отношение, соответствующее ансамблю сборки: «итак, женские ноги более не будут воздействовать на меня...»²³ Но, чтобы разрушить становление-животным, достаточно выделить из него сегмент, абстрагировать какой-то момент, не принять в расчет его внутренние скорости и медленности, приостановить круговращение аффектов. Тогда остаются лишь воображаемые сходства между терминами или символические аналогии между отношениями. Такой сегмент отсылает к отцу, такое отношение движения и покоя отсылает к главной сцене и т.д. Нужно осознать, что одного психоанализа недостаточно, чтобы спровоцировать это дробление. Он только развивает риск, заключенный в становлении. Всегда есть риск обнаружить, что сам «разыгрываешь» животное, домашнее Эдипово животное: Миллер, лающий и требующий кость; Фицджеральд, лижущий вашу руку; Слепян, возвращающийся к своей матери; или старик, разыгрывающий роль лошади или собаки на эротической фотографии 1900 года (по существу «разыгрывание» дикого животного было бы не лучше). Становление-животным непрерывно пересекает такие опасности.

Воспоминания Этовости. — Тело не определяется ни задающей его формой, ни как определенная субстанция или субъект, ни благодаря органам, коими оно обладает, или функциями, какие оно осуществляет. На плане конси-

²³ Ср.: Dupouy, Roger. Du masochisme // *Annales médico-psychologiques*, 1929, II.

стенции *тело определяется только широтой и долготой* — другими словами, совокупностью материальных элементов, принадлежащих ему в данных отношениях движения и покоя, скорости и медленности (широта); совокупности интенсивных аффектов, на которые оно способно под данной властью или степенью могущества (долгота). Ничего, кроме аффектов и локальных движений, дифференциальных скоростей. Воздадим должное Спинозе за то, что он высвободил эти два измерения тела, и за то, что определил план Природы как чистые широту и долготу. Широта и долгота — два элемента картографии.

Есть модус индивидуации, крайне отличный от модуса личности, субъекта, вещи или субстанции. Мы сохраняем для него имя *этовость*.²⁴ Время года, зима, лето, час, дата обладают совершенной индивидуальностью, не нуждающейся ни в чем, хотя она и не смешивается с индивидуальностью вещи или субъекта. Они — этоности в том смысле, что всецело состоят из отношений движения и покоя между молекулами и частицами, способностями аффектировать и быть аффектированными. Когда демонология толкует о дьявольском искусстве локальных движений и переносов аффекта, она также отмечает важность дождя, града, ветра и тлетворного воздуха, или воздуха, загрязненного отравляющими частицами, благоприятными для такого переноса. Сказки должны содержать этоности, которые — не просто обозначения места, а конкретные индивидуальности, обладающие своим собственным статусом и управляющие метаморфозами вещей и субъектов. Среди типов цивилизаций восточная обладает индивидуациями в значительно большей степени за счет этоностей, нежели за счет субъективности или субстанциональности: хайку, например, должно заключать в себе указатели как такие многочисленные плавающие линии, конституирую-

²⁴ Иногда этот термин пишется как «*esséité*», будучи выведенным из *ессе*, «*вот здесь*». Это ошибка, поскольку Дунс Скотт создал данное слово и данный концепт из *Наес*, «*эта вещь*». Но такая ошибка плодотворна, ибо она удостоверяет модус индивидуации, отличающийся от модуса вещей или субъекта.

щие сложную индивидуальность. У Шарлотты Бронте все происходит в терминах *ветра* — вещи, люди, лица, любовь, слова. «В пятом часу пополудни» Лорки, когда любовь рушится, а фашизм восстает. Какие ужасные пять вечера! Мы говорим: какая история, какая жара, какая жизнь!, чтобы обозначить крайне особую индивидуальность. Дневные часы у Лоренца, у Фолкнера. Степень жара, интенсивность белизны — это совершенные индивидуальности; а степень тепла может комбинироваться по широте с другой степенью, дабы сформировать новую индивидуальность, как в теле, холодном здесь и горячем там в зависимости от его долготы. Норвежский омлет. Степень тепла комбинируется с интенсивностью белизны как в неких белых небесах жаркого лета. И это вовсе не индивидуальность момента как противоположная индивидуальности постоянств или длительностей. У отрывного календаря ничуть не меньше времени, чем у вечного календаря, хотя это время и не одно и то же. Есть животные, живущие не более одного дня или часа; напротив, группа лет может быть такой же долгой, как и самый длительный субъект или объект. Мы можем постичь некое абстрактное время, являющееся равным для этоностей и для субъектов или вещей. Между чрезвычайными медленностями и головокружительными скоростями геологии и астрономии Мишель Турнье помещает метеорологию, где метеоры живут в нашем темпе: «Облако возникает в небесах как образ в моем мозгу, ветер дует так, как я дышу, радуга простирается над горизонтом столь долго, сколько нужно моему сердцу, дабы примириться с жизнью, лето проходит, как проходят большие каникулы». И не случайно ли, что в романе Турнье такая уверенность может прийти только раздвоенному герою, который деформируется и десубъективируется, обретая своего рода вездесущность?²⁵ Даже когда времена абстрактно равны, индивидуальность жизни не та же, что индивидуальность субъекта, который управляет ею или служит ей опорой.

²⁵ Tournier, Michel. *Les météores*, Gallimard, ch. XXII, «L'âme déployée».

Тут не один и тот же План — в одном случае это план консистенции или композиция этовости, коей известны только скорости или аффекты; в другом случае — совершенно иной план форм, субстанций и субъектов. И тут не одно и то же время, не одна и та же темпоральность. *Эон*, который и есть неопределенное время события, плавающая линия, знающая только скорости и непрерывно разделяющая то, что подступает в некоем уже-здесь и в некоем еще-не-здесь, одновременно слишком поздно или слишком рано, что-то, что вот-вот произойдет и только что произошло. *Хронос*, напротив, — время меры, фиксирующее вещи и личности, развивающее формы и определяющее субъекта. Булез различает в музыке темп [tempo] и не-темп [non-tempo], «пульсирующее время» формальной и функциональной музыки, основанное на значимостях, и «непульсирующее время» плывущей музыки — плывущей и механической, — у которой нет ничего кроме скоростей и различий в динамике.²⁶ Короче, различие проходит вовсе не между быстротечным и длительным, ни даже между регулярным и нерегулярным, а между двумя модусами индивидуации, двумя модусами темпоральности.

Действительно, следовало бы уйти от свехупрошенных примиряющих соглашений, как если бы, с одной стороны, были сформированные субъекты типа вещей или личностей, а с другой — пространственно-временные координаты типа этовости. Ибо вы ничего не породите в этовости, если не поймете, что это то, что вы есть, и что вы не являетесь ничем иным. Когда лицо становится этовостью: «оно кажется курьезной мешаниной, которая просто создана временем, погодой и этими людьми».²⁷ Вы — долгота и широта, совокупность скоростей и медленностей между бесформенными частицами, набор несубъективируемых аффектов. Вы обладаете индивидуальностью дня, сезона,

²⁶ Boulez, Pierre. *Par volonté et par hasard*, pp. 88–91 («невозможно ввести феномен темпа в музыку, который калькулировался бы только электронно, в длине, выраженной в секундах или микросекундах»).

²⁷ Bradbury, Ray. *Les machines à bonheur*, DenoCl, p. 67.

года, *некой жизни* (независимо от ее длительности) — климата, ветра, тумана, роя, стаи (независимо от ее упорядоченности). Или, наконец, вы можете обладать этим, вы можете достичь этого. Облако саранчи, приносимое ветром в пять часов вечера; вампир, который выходит ночью; оборотень в полнолуние. Не надо думать, будто этовость состоит просто из декорации и задника, которые размещают субъекта, или из придатков, которые удерживают вещи и людей на почве. Именно полная сборка в своей индивидуализированной совокупности оказывается тем, что является этовостью; именно такая сборка определяется долготой и широтой, скоростями и аффектами — независимо от форм и субъектов, принадлежащих иному плану. Именно сам волк, а также лошадь и ребенок перестают быть субъектами, дабы стать событиями в сборках, которые неотделимы от часа, сезона, атмосферы, воздуха, жизни. Улица вступает в сочетание с лошадью, так же как умирающая крыса вступает в сочетание с воздухом, а чудовище и полнолуние вступают в сочетание друг с другом. Более того, мы можем различить сборки этовости (тело, рассматриваемое только как долгота и широта) и интерсборки этовости, которые также маркируют потенции становления внутри каждой сборки (среда пересекающихся долгот и широт). Но эти две сборки жестко неразделимы. Климат, ветер, время года, час вовсе не из иной природы, чем вещи, звери или люди, которые населяют их, следуют им, засыпают и просыпаются внутри них. Такое надо бы читать без пауз: зверь-крадется-в-пять-часов. Становление-вечером, становление-ночью животного, кровавая свадьба. Пять часов и есть этот зверь! Этот животное и есть это место! «Тощий пес бежит по дороге, сей пес и есть эта дорога», — причитает Вирджиния Вулф. Именно так надо чувствовать. Отношения, пространственно-временные детерминации — это не предикаты вещи, а измерения множеств. Улица так же является частью сборки омнибус—лошадь, как и сборки Ганса, становление-лошадью которого она инициирует. Мы все — пять часов вечера, или другой час, или, скорее,

два часа одновременно — благоприятное и неблагоприятное, полночь, но вариабельным образом распределяемая. План консистенции содержит только этовость вдоль пересекающихся линий. Формы и субъекты не из этого мира. Вирджиния Вулф бредет через толпу, между такси, — но именно такая прогулка и есть этовость; никогда больше господин Деловой не скажет: «я — это или то, он — это, он — то». И еще: «она чувствует себя молодой; и в то же время она невыразимо стара. Она проходит как острый нож через все; и в то же время она снаружи, смотрит извне... Ему всегда казалось, что жить очень-очень опасно *даже один день*». Этовость, туман, ослепительный свет. У этовости нет ни начала, ни конца, ни истока, ни предназначения; она всегда в середине. Она не состоит из точек, только из линий. Она — ризома.

И это не тот же самый язык — по крайней мере, не то же самое использование языка. Ибо, если план консистенции обладает как своим собственным содержанием только этовостью, то он также обладает и целой особой семиотикой, которая служит ему в качестве выражения. План содержания и план выражения. Такая семиотика состоит, прежде всего, из собственных имен, глаголов в инфинитиве и неопределенных артиклей или местоимений. *Неопределенный артикль + собственное имя + инфинитивный глагол* действительно составляют цепь основного выражения, коррелятивную наименее формализованному содержанию, с точки зрения семиотики, освобождающейся как от формальных означиваний, так и от личных субъективаций. Во-первых, глагол в инфинитиве вовсе не неопределен по отношению ко времени; он выражает непульсирующее плавающее время, свойственное Эону, — другими словами, время чистого события или становления, выражающих [énonçant] относительные скорости и медленности независимо от хронометрических и хронологических значимостей, которые время принимает в других модусах. Так что мы вправе противопоставить инфинитив как модус и грамматическое время становления всем другим модусам и грамматическим

временам, принадлежащим Хроносу, ибо они формируют пульсации или значимости бытия (именно глагол «быть» является единственным глаголом, у которого нет инфинитива, или, скорее, инфинитив которого — это только неопределенное, пустое выражение, взятое абстрактно, чтобы обозначать всю совокупность определенных модусов и грамматических времен).²⁸ Во-вторых, собственное имя вовсе не указывает на субъекта — так, кажется бесполезным спрашивать, похоже ли его действие или нет на именование вида, следуя тому, что субъект рассматривается как обладающий иной природой, нежели природа Формы, под которой он классифицируется, или же только как последний акт этой Формы, как предел классификации.²⁹ Собственное имя не указывает на субъекта; и существительное не принимает на себя смысл собственного имени как функции формы или видов. Собственное имя обозначает прежде всего нечто из порядка события, становления или эвотости. Именно военные или метеорологи обладают тайной собственных имен, когда дают их стратегическим операциям или ураганам. Собственное имя — не субъект грамматического времени, а агент инфинитива. Оно маркирует долготу и широту. Если Клещ, Волк, Лошадь и так далее — подлинны собственные имена, то таковы они не благодаря видовым или родовым знаменателям, которые характеризуют их, а благодаря скоростям, komponующим их, и

²⁸ Ж. Гийом [G. Guillaume] предложил крайне интересную концепцию глагола. Он проводит различие между внутренним временем, свернутым в «процесс», и внешним временем, принадлежащем различию между эпохами (*Epoques et niveaux temporels dans le système de la conjugaison française // Cahiers de linguistique structurale*, Canada, 1955). Нам кажется, что эти два полюса соответствуют инфинитиву-становлению, Эону, и наличию-бытию, Хроносу. Каждый глагол склоняется в большей или меньшей степени в направлении того или иного полюса, не только согласно своей природе, но также согласно нюансам собственных модусов и времен, ожидая «становления» и «бытия», которые соответствуют обоим полюсам. Пруст, исследуя стилистику Флобера, показывает, как прошедшее несовершенное время у Флобера обретает значимость инфинитива-становления (*Chroniques*, Gallimard, pp. 197–199).

²⁹ О проблеме имен собственных (в каком смысле имя собственное находится вне пределов классификации и иной природы, и в каком смысле оно все еще является пределом и частью классификации?) см.: Gardiner, *The Theory of Proper Names*, Londres, et Lévi-Strauss, *La pensée sauvage*, ch. vii.

аффектам, заполняющим их; именно благодаря событию они существуют сами по себе и в сборках — становлении-лошадью маленького Ганса, становлении-волком Гару [Garou], становлении-клещом Стоика (другие собственные имена).

В-третьих, неопределенный артикль и неопределенное местоимение — не более неопределенны, чем инфинитив. Или, скорее, они нуждаются в определении лишь постольку, поскольку применяются к форме, которая сама неопределенна или к определяемому субъекту. С другой стороны, они не нуждаются ни в чем, когда привносят этоности и события, индивидуации которых не входят в форму и не вызываются субъектом. Тогда неопределенное сопрягается с максимумом определенности: однажды жил-был; ребенок наказан; лошадь падает... Дело в том, что вступившие в игру элементы обнаруживают свою индивидуацию в сборке, частью которой они являются, независимо от формы их концепта и субъективности их личности. Мы уже неоднократно отмечали ту степень, в какой ребенок удерживает неопределенное не как нечто недетерминированное, а напротив, как нечто индивидуализирующее в коллективе. Вот почему мы ошарашены усилиями психоанализа, который отчаянно хочет, чтобы здесь было что-нибудь определенное, скрытое за неопределенным, — нечто притяжательное, личное: когда ребенок говорит «*некий живот*», «*некая лошадь*», «*как люди взросятся?*», «*кто-то бьет како-го-то ребенка*», то психоаналитик слышит «*мой живот*», «*отец*», «*вырасту ли я, чтобы быть как папочка?*» Психоаналитик спрашивает: Кто избит и кем?³⁰ Даже лингвистика не защищена от такого же предрассудка, ибо она неотдели-

³⁰ Мы уже столкнулись с такой проблемой безразличия психоанализа к использованию неопределенных артиклей или местоимений, которые он выявляет у детей, — уже Фрейд, а еще более Мелани Клайн (дети, которых она анализирует, в особенности маленький Ричард, говорят в терминах «нечто», «некто», «люди», но Мелани Клайн прилагает невероятные усилия, чтобы привести их к притяжательным и личным семейным оборотам речи). Нам кажется, что в области психоанализа Лапланш и Понталис — единственные, кто ощущают особую роль индефинита и выступают против любых быстрых интерпретирующих редукций: *Fantasme originaire... // Temps modernes* n° 215, avril 1964, pp. 1861, 1868.

ма от персонологии; согласно лингвистике, кроме неопределенных артикля и местоимения третье лицо личного местоимения также нуждается в детерминации субъективности, которая присуща первым двум лицам и является, предположительно, необходимым условием для всего высказываемого.³¹

Напротив, мы полагаем, что неопределенное третьего лица — ОН, ОНИ — с этой точки зрения не подразумевает никакой неопределенности; оно соотносит высказываемое не с субъектом высказывания, а с коллективной сборкой как условием. Бланшо вправе сказать, что НЕКТО или ОН — *некто* умирает, *он* несчастен — вовсе не занимает место субъекта, а напротив, вообще отбрасывает любого субъекта в пользу сборки типа эвонности, которая несет и высвобождает событие, поскольку оно неоформлено и не может быть осуществлено личностями («что-то происходит с ними, что они могут быть только снова схвачены тем, что упустили из рук свою способность говорить Я»³²). ОН не представляет субъекта, а скорее, диаграмматизирует сборку. Оно не сверхкодирует высказываемые, не выходит за их пределы как первые два лица; оно оберегает их от попадания под тиранию субъективных и означающих созвездий, под режим пустых излишков. Цепи выражения, которые оно артикулирует, — это цепи, содержания которых могут собираться в зависимости от максимума случайностей и становлений. «Они появляются как судьба... Откуда на самом деле они приходят, как они проникли сюда?...» Он или некто, неопределенный артикль, собственное имя, инфинитивный глагол: НЕКИЙ ГАНС СТАТЬ ЛОШАДЬ;

³¹ О субъективистской или персоналистской концепции языка см. у Э. Бенвениста: *Проблемы общей лингвистики* (М.: Прогресс, 1974), главы XX и XXI.

³² Важные тексты Мориса Бланшо служат в качестве опровержения теории «свидетеля» и теории персонологии в лингвистике, см.: *L'entretien infini*, Gallimard, pp. 556–567. А о различии между двумя предложениями «я несчастен» или «он несчастен», или между «я смертен» и «он смертен», см.: *La part du feu*, pp. 29–30, и *L'espace littéraire*, pp. 105, 155, 160–161. Бланшо показывает, что во всех этих случаях инфинитив не имеет ничего общего с «повседневными банальностями», которые, напротив, были на стороне личного местоимения.

НЕКАЯ СТАЯ, ИМЕНУЕМАЯ ВОЛКОМ, СМОТРЕТЬ НА НЕГО; НЕКТО УМИРАТЬ; ОСА ВСТРЕТИТЬ ОРХИДЕЯ; ОНИ НАСТИГАТЬ ГУННОВ. Небольшие объявления, телеграфные машины на плане консистенции (и опять же, поразмыслим о способах китайской поэзии и о правилах перевода, предлагаемых лучшими комментаторами).³³

Воспоминания планировщика. — Возможно, есть два плана, или два способа составить план. План может быть скрытым принципом, который делает видимым то, что видится, слышимым то, что слышится, и так далее, который в каждое мгновение заставляет то, что дано, быть даным, — в том или ином состоянии, в тот или иной момент. Но сам план не дан. Он по природе скрыт. Он может лишь подразумеваться, вызываться, выводиться из того, чему дает возможность появиться (одновременно или последовательно, синхронно или диахронно). Такой план на самом деле существует как план организации, как план развития: он структурен или генетичен, или то и другое сразу, — структура и генезис, структурный план оформленных организаций с их развитиями, генетический план эволюционных развитий с их организациями. Это лишь намеки на первое понятие о плане. И если мы будем придавать слишком большое значение таким намекам, то это помешает нам ухватить нечто более важное. Дело в том, что так задуманный план и так воплощенный в любом случае касается развития форм и формирования субъектов. Для форм необходима скрытая структура, для субъектов необходимо потаенное означающее. Отсюда следует, что сам план не будет дан. Он существует только в дополнительном измерении к тому, чему дает начало ($n + 1$). Последнее обстоятельство превращает его в телеологический план, в замысел, в ментальный принцип. Это план трансценденции. Это план

³³ Например, Cheng, François. *L'écriture poétique chinoise*, Ed. du Seuil; его анализ того, что он называет «пассивными процедурами», pp. 30 sq.

аналогии — либо потому, что он назначает выделенный термин развития, либо потому, что устанавливает пропорциональные отношения структуры. Он может быть в божественном уме или в бессознательном жизни, души или языка — он всегда выводится из своих собственных эффектов. Он всегда подразумевается. *Даже если он, как говорится, имманентен*, то только благодаря [собственному] отсутствию, по аналогии (метафорически, метонимически и т.д.). Дерево дано в ростке, но в зависимости от плана, который не дан. То же и в музыке, принцип организации и развития не проявляется сам по себе в непосредственном отношении с тем, что развивается или организуется, — есть трансцендентный принцип композиции, который не звуковой, который не «слышим» сам по себе или для себя. Это открывает путь для всех возможных интерпретаций. Формы и их развитие, субъекты и их формации относятся к плану, действующему как трансцендентное единство или скрытый принцип. План всегда может быть показан, но как отдельная часть, как не данное в том, чему он дает начало. Не так ли тот же Бальзак и даже Пруст описывают свои рабочие планы организации или развития, будто в метаязыке? Не обязан ли и Штокхаузен описывать структуру своих звуковых форм как существующую «возле» них, ибо не способен сделать ее слышимой? План жизни, план музыки, план письма — все это одно и то же: план, который не может быть дан как таковой, который может быть только выведен из форм, которые он развивает, и из субъектов, которые он формирует, ибо он существует *ради* этих форм и этих субъектов.

Итак, есть совершенно иной план, или совершенно иная концепция плана. Здесь больше нет никаких форм или развитий форм; нет также и субъектов или формаций субъектов. Нет больше структуры, также как нет и генезиса. Есть только отношения движения и покоя, скорости и медленности между неоформленными элементами или, по крайней мере, между элементами, которые относительно неоформлены — молекулами и частицами всех видов. Есть

только этовости, аффекты, бессубъектные индивидуальности, которые составляют коллективные сборки. Ничего не развивается, но вещи прибывают либо рано, либо поздно и формируют ту или иную сборку в зависимости от их композиций скорости. Ничто не субъективируется, но этовость формируются согласно композициям несубъективированных сил или аффектов. Такой план, который знает только долготу и широту, скорости и этовости, мы называем планом консистенции и композиции (в противоположность плану организации и развития). Это по необходимости план имманентности и однозначности. Следовательно, мы называем его планом Природы, хотя Природа не имеет к нему никакого отношения, поскольку такой план не проводит различия между естественным и искусственным. Сколько бы измерений у него ни было, у него никогда нет измерения, дополнительного к тому, что происходит на нем. Одно это делает его естественным и имманентным. То же годится и для принципа противоречия — такой план может быть также назван планом непротиворечивости. План консистенции может быть назван планом неконсистентности. Это геометрический план, он теперь отсылает не к ментальному, а к абстрактному чертежу. Это план, число измерений которого постоянно увеличивается, — увеличивается вместе с тем, что происходит, но даже в этом случае он ничего не теряет из своей плоскостности [planitude]. Итак, он является планом пролиферации, заселения, инфицирования; но такая пролиферация материала не имеет ничего общего с эволюцией, с развитием формы или преемственностью форм. Еще менее она является регрессией, возвращающей к некоему принципу. Напротив, это — *инволюция*, в которой форма постоянно растворяется, освобождая времена и скорости. Это фиксированный план, фиксированный звуковой, визуальный или письменный план и т.д. Но фиксированное не означает здесь неподвижное; это — абсолютное состояние, как движения, так и покоя, из которых неожиданно появляются все относительные скорости и медленности, и ничего кроме них. Некоторые современные

музыканты противопоставляют трансцендентный план организации, который, как говорят, доминирует во всей западной классической музыке, имманентному звуковому плану, всегда данному вместе с тем, чему он дает начало, приносящему невоспринимаемое в восприятие, несущему только дифференциальные скорости и медленности в своего рода молекулярном плеске — *произведение искусства должно пометать секунды, десятые и сотые доли секунды*.³⁴ Или, скорее, речь идет об освобождении времени, Эоне, пульсирующем времени для плывущей музыки — как говорит Булез, электронной музыки, в которой формы смещаются чистой модификацией скорости. Несомненно, именно Джон Кейдж впервые и наиболее совершенно развил этот фиксированный звуковой план, который утверждает процесс против любой структуры и генезиса, плывущее время против пульсирующего времени или темпа, экспериментирование против любого вида интерпретации, и на котором молчание как звучащий покой также пометает абсолютное состояние движения. То же самое можно было бы сказать и о фиксированной визуальной поверхности — например, Годар эффективно приводит фиксированный план кино в такое состояние, где формы расплавляются, а все присутствующее является мелкими вариациями скорости между движениями композиции. Со своей стороны Натали Саррот предлагает ясное различие между двумя поверхностями письма — трансцендентный план, который организует и развивает формы (жанры, темы, мотивы), предписывает и развивает субъектов (персонажи, характеры, чувства); и совершенно иной план, который высвобождает частицы анонимной материи, позволяя им коммуницировать через «оболочку» форм и субъектов, удерживая между ними только отношения движения и покоя, скорости и медленности, плавающие аффекты, так что сам план воспринимается одновременно так, будто он позволяет нам воспринимать

³⁴ См., например, заявления американских музыкантов, именуемых «повторяющимися», особенно Стива Райха и Фила Гласса.

невоспринимаемое (микроплан, молекулярный план).³⁵ Действительно, с точки зрения хорошо обоснованной абстракции, мы можем заставить ее выглядеть так, как если бы оба плана, обе концепции плана, пребывали бы в явном и абсолютном противостоянии. С этой точки зрения мы скажем, что вы можете увидеть различие между двумя типами следующих пропозиций: (1) формы развиваются, а субъекты формируются, как функции плана, который может только лишь подразумеваться (план организации-развития); (2) существуют только скорости и медленности между неоформленными элементами, а также аффекты между несубъективированными могуществами в зависимости от функции плана, который с необходимостью дан в тот самый момент, что и то, чему он дает начало (план консистенции и композиции).³⁶

Рассмотрим три главных случая из германской литературы XIX века — Гельдерлин, Клейст и Ницше. Во-первых, выдающееся сочинение Гельдерлина «Гиперион», как его анализирует Робер Ровини: важность этоности типа времен года, которая конституирует, одновременно, — двумя разными способами — «рамку нарратива» (план) и детали того, что происходит внутри этой рамки (сборки и интерсборки).³⁷ И еще — последовательность времен года и напластование одного и того же сезона разных лет растворяет формы и личности, дает начало движениям, скоростям, задержкам и аффектам, как если бы нечто убегало от неосязаемой материи в той мере, в какой его повествование продвигается вперед. А также, возможно, отношение к «реальной политике», к машине войны, к музыкальной

³⁵ Натали Саррот в «Эре подозрения» показывает, как Пруст, например, разрывается между двумя планами, в которых выделяет из своих героев «мельчайшие частицы неосязаемой материи, но также снова склеивает все эти частицы в когерентную форму, незаметно вводя их в оболочку того или иного персонажа, см. pp. 52, 100.

³⁶ См. различие между двумя Планами у Арто. Один из них отвергается как источник всяческих иллюзий: *Les Tarahumaras. Œuvres complètes*, IX, pp. 34–35.

³⁷ Роберт Ровини [Robert Rovini], введение к «Гипериону» Фридриха Гельдерлина, 10–18.

машине диссонанса. — Клейст: у него — как в письме письме, так и в жизни — все становится скоростью или медленностью. Последовательность кататоний и чрезвычайных скоростей, обмороков и обострений. Спи на собственной лошадке, а затем пусться в галоп. Перескакивай от сборки к сборке благодаря обмороку, пересекая пустоту. Клейст размножает «жизненные планы», но это всегда один и тот же план, который содержит свои пустоты и неудачи, свои скачки, землетрясения и бедствия. Такой план — не принцип организации, а средство транспортировки. Никакая форма не развивает, никакой субъект не формирует; но аффекты перемещаются, становления катапультируются и создают блоки вроде становления-женщиной Ахиллеса и становления-собакой Пентесилеи. Клейст предлагает удивительное объяснение того, как формы и личности являются только лишь явлениями, производимыми смещением центра тяжести на абстрактную линию и конъюнкцией этих линий на плане имманентности. Медведи кажутся ему чарующими животными, их невозможно одурачить, ибо их злобные маленькие глазки видят за явлениями подлинную «душу движения», *Gemüt** или несубъективный аффект: становление-медведем Клейста. Даже смерть может быть помыслена как пересечение элементарных реакций различных скоростей. *Взорванный череп*, одержимость Клейста. Все творчество Клейста пересекается машиной войны, обращенной против Государства, музыкальной машиной, обращенной против живописи и «картины». Довольно странно, насколько Гете и Гегель ненавидят этот новый тип письма. Ибо для них план должен быть неразложимо гармоничным развитием Формы и регулируемым формированием Субъекта, персонажа или характера (чувственное образование, внутренняя и субстанциальная твердость характера, гармония и аналогия форм, непрерывность развития, культ Государства и т.д.). Кон-

* Настроение, нрав, характер, душа (нем.) — Прим. пер.

цепция такого Плана полностью противоположна концепции плана Клейста. Антигетеанство и антигегельянство Клейста и уже Гельдерлина. Гете попадает в суть дела, когда упрекает Клейста, одновременно, за учреждение некоего чистого «стационарного процесса», напоминающего фиксированный план, за введение пустот и прыжков, препятствующих любому развитию центрального характера, и за мобилизацию неистовства аффектов, которое влечет великое смешение чувств.³⁸

Ницше делает то же самое, но другими средствами. Нет больше ни развития форм, ни формирования субъектов. Он упрекает Вагнера за удержание слишком уж гармоничной формы и слишком уж большого числа педагогических персонажей, или «характеров» — слишком много Гегеля и Гете. Иное дело Бизе, говорит Ницше... Нам кажется, что проблема Ницше — не проблема фрагментарного письма. Скорее, речь идет о проблеме скорости и медленности: дело не в том, чтобы писать медленно или быстро, а скорее в том, чтобы письмо — и не только оно — было производством скоростей и медленностей между частицами. Никакая форма не будет сопротивляться этому, никакой характер или субъект не будут переживать это. Заратустра обладает только скоростью и медленностью, и вечным возвращением, жизнь вечного возвращения — первое крупное конкретное ощущение неппульсирующего времени. «Ессе Номо» обладает индивидуациями только благодаря этовости. Неизбежно, что так задуманный План всегда будет терпеть неудачу, но такая неудача будет составной частью этого плана — см. множество планов для «Воли к власти». Действительно, если дан афоризм, то всегда можно, даже необходимо, ввести между его элементами новые отношения скорости и медленности, которые на самом деле заставляют его менять сборку, перепрыгивать от одной сборки к другой (вопрос, следовательно, — это не вопрос фрагмен-

³⁸ Мы ссылаемся на неопубликованное исследование о Клейсте Мэтью Карье [Mathieu Carrière].

та).³⁹ Как говорит Кейдж, плану принадлежит и то, в чем он терпит неудачу. Именно потому, что это не план организации, развития или формации, а план недобровольной трансмутации. Или Булез: «Программируйте машину так, чтобы каждый раз, когда мы воспроизводим пленку, она выдавала разные характеристики времени». Так, план — план жизни, план письма, план музыки и т.д. — с необходимостью должен потерпеть неудачу, ибо на нем невозможно быть правоверным; но неудачи составляют часть этого плана, ибо план расширяется и сокращается вместе с измерениями того, что он каждый раз развертывает (плоскостность из *n* измерений). Странная машина, одновременно машина войны, музыки и инфекции—размножения—инволюции.

Почему же оппозиция между двумя типами планов возвращает все-таки к еще более абстрактной гипотезе? Потому, что мы непрестанно переходим от одного к другому посредством незаметных степеней, не сознавая этого или же осознавая это только после. Ибо мы постоянно воссоздаем один план поверх другого или извлекаем один из другого. Например, достаточно утопить плавающий план имманентности, схоронить его в глубинах Природы вместо того, чтобы позволить ему свободно играть на поверхности, дабы он перешел уже на другую сторону и принял роль основания, которое более не может быть не чем иным, кроме как принципом аналогии с точки зрения организации и законом непрерывности с точки зрения развития.⁴⁰

³⁹ «Откуда взялось заглавие вашей второй книги “Год от понедельника!”?» — «Из плана, который сформировался группой друзей, чтобы встретиться в Мехико через год после следующего понедельника. Мы провели вместе субботу, и наш план никогда бы не реализовался. Эдакая форма безмолвия... Сам факт, что наш план провалился, факт, что мы не смогли встретиться, не означает, что провалилось все. План не был какой-то неудачей» (Cage, John. *Pour les oiseaux*, entretiens avec D. Charles, Belfond, p. 111).

⁴⁰ Вот почему мы можем рассматривать Гете как пример трансцендентального плана-поверхности. Однако Гете считается спинозистом; его ботанические и зоологические исследования раскрывают имманентный план-поверхность композиции, который сближает его с Жоффруа Сент-Илером (на это сходство часто указывается). Тем не менее Гете удерживает двойную идею развития Формы и формации-образования Субъекта; по этой причине его план имманентности уже переходит на другую сторону, в другой полюс.

План организации и развития эффективно покрывает то, что мы называли стратификацией — формы и субъекты, органы и функции суть «страты» или отношения между стратами. Напротив, план — как план консистенции или имманентности — подразумевает дестратификацию всей Природы пусть даже с помощью самых искусственных средств. План консистенции — это тело без органов. Чистые отношения скорости и медленности между частицами — так, как они появляются на плане консистенции, — предполагают движения детерриторизации, так же как чистые аффекты предполагают предприятие десубъективации. Более того, план консистенции вовсе не предсуществует по отношению к движениям детерриторизации, которые его разворачивают, к линиям ускользания, которые его расчерчивают и вынуждают подняться до поверхности, к становлениям, которые его komponуют. Итак, план организации постоянно продолжает работать на плане консистенции, всегда стараясь закупорить линии ускользания, остановить или прервать движения детерриторизации, нагрузить их, рестратифицировать их, реконституировать формы и субъекты в глубине. И наоборот, план консистенции не перестает извлекаться из плана организации, заставляя частицы мчаться вне страт, смешивать формы посредством скорости и медленности, разрушать функции с помощью сборок и микросборок. Но опять же, какая нужна осторожность, чтобы план консистенции не стал чистым планом уничтожения или смерти. Чтобы инволюция не превратилась в регрессию к недифференцированному. Разве не следует удерживать минимум страт, минимум форм и функций, некоего минимального субъекта, дабы вычленять из него материалы, аффекты и сборки?

Итак, нам следует противопоставить два плана как два абстрактных полюса — например, трансцендентному организационному плану западной музыки, основанному на звуковых формах и их развитии, мы противопоставляем имманентный план консистенции восточной музыки, составленный из скоростей и медленностей, из движений и покоя. Следуя нашей конкретной гипотезе, все становление

западной музыки в целом, все музыкальное становление подразумевает минимум звуковых форм и даже минимум мелодических и гармонических функций, через которые мы пропускаем скорости и медленности, причем именно последние редуцируют формы и функции до минимума. Бетховен производит самое удивительное полифоническое богатство с помощью относительно скудных тем из трех или четырех нот. Существует материальное размножение, идущее рука об руку с разложением формы (инволюция), но в то же время сопровождающееся непрерывным развитием формы. Возможно, гений Шумана — самый поразительный случай, где форма развивается только ради отношений скорости и медленности, которыми мы материально и эмоционально наделяем ее. Музыка не перестает подчинять свои формы и мотивы темпоральным трансформациям, увеличению и уменьшению, замедлениям и ускорениям, которые не происходят только лишь в согласии с законами организации или даже развития. Расширяющиеся и сжимающиеся микроинтервалы играют внутри кодированных интервалов. Вагнер и поствагнерианцы намереваются в еще большей степени освободить вариации скорости между звуковыми частицами. Равель и Дебюсси удерживают достаточно формы, чтобы разбить, аффектировать, модифицировать это с помощью скоростей и медленностей. «Болеро», доходя почти до карикатуры, является тем типом машинной сборки, которая сохраняет некий минимум формы с тем, чтобы довести ее до распада. Булез говорит о пролиферации небольших мотивов, аккумуляции малых нот, которые действуют кинематически и аффективно, уничтожают простую форму путем добавления к ней показателей скорости и позволяет нам создавать чрезвычайно сложные динамические отношения на основе внутренне простых формальных отношений. Даже рубато* Шопена не может быть воспроиз-

* Рубато — (ит. *rubato*, сокращение от *tempo rubato*, буквально — «похищенное время») термин в музыке, обозначающий свободное в ритмическом отношении (не строго в такт) исполнение; обычно связано с ускорениями и замедлениями темпа. — Прим. пер.

ведено, ибо у него будут разные временные характеристики при каждом проигрывании.⁴¹ Это как если бы необъятный план консистенции вариабельной скорости непрестанно приводил в движение формы и функции, формы и субъектов, дабы извлекать из них частицы и аффекты. Часы, хранящие весь ассортимент времен.

Что такое девушка, что такое группа девушек? Пруст, по крайней мере, показал раз и навсегда: их индивидуация — коллективная или сингулярная — происходит не благодаря субъективности, а благодаря этовости, чистой этовости. «Беглянка». Они — чистые отношения скоростей и медленностей, и более ничего. Девушка опаздывает из-за своей скорости — она делала слишком многое, пересекла слишком много пространств по отношению к относительному времени того, кто ее ждал. Тогда явная медлительность девушки трансформируется в безумную скорость нашего ожидания. Следует сказать в связи с этим, а также относительно всех «Поисков утраченного времени» в целом, что у Свана вовсе не та же позиция, что у рассказчика. Сван — не грубый набросок или предшественник рассказчика, кроме как вторичным образом и в редкие моменты. Они не пребывают на одном и том же *плане*. Сван не перестает мыслить и чувствовать в терминах субъектов, форм, сходств между субъектами и соответствий между формами. Ложь Одетты — лишь форма, чье тайное субъективное содержание должно быть раскрыто, провоцируя деятельность дилетанта-полицейского. Музыка Вентейля для него — форма, которая должна напоминать что-то еще, сворачиваться на чем-то еще, откликаться на другие формы, картины, лица или пейзажи. И хотя рассказчик

⁴¹ По поводу всех этих пунктов (пролиферации-разложения, аккумуляции, индикации скорости, аффективной и динамической роли) см.: Boulez, Pierre. *Par volonté et par hasard*, pp. 22–24, 88–91. В другом тексте Булез подчеркивает малоизвестные аспекты творчества Вагнера — лейтмотивы не только освобождаются от своего подчинения сценическим персонажам, но и скорости развития освобождаются от схватывания «формального кода» или темпа (*Le temps recherché // Das Rheingold Programmbeft I*, Bayreuth 1976, pp. 3–11). Булез отдает должное Прусту за то, что тот одним из первых понял эту плывущую и трансформируемую роль вагнеровских мотивов.

напрасно старается следовать по стопам Свана, он, тем не менее, находится в ином элементе, на ином плане. Ложь Альбертины почти лишена содержания; напротив, она стремится слиться с излучением частицы, истекающей из глаз возлюбленного, с частицей, которая останавливается лишь ради самой себя и движется слишком быстро в визуальном и аудиальном поле рассказчика; молекулярная скорость на самом деле невыносима, ибо она указывает на дистанцию, на *близость*, где Альбертина хотела бы быть и уже есть.⁴² Так что хвастовство рассказчика в принципе является не хвастовством полицейского-исследователя, а совершенно иной фигурой — хвастовством тюремщика: как стать хозяином скорости, как удержать ее нервно в качестве головной боли и перцептуально в качестве молнии, как выстроить тюрьму для Альбертины? И если ревность не остается одной и той же, когда мы переходим от Свана к рассказчику, то и восприятие музыки также не одно и то же — Вентейль постепенно перестает восприниматься в терминах аналогичных форм и поддающихся сравнению субъектов, дабы допустить невероятные скорости и медленности, которые спариваются на плане консистенции в вариации, на плане музыки и «Поисков» (совсем как вагнеровские мотивы, отказывающиеся от всякой устойчивости формы и всякого назначения персонажей). Мы бы сказали, что отчаянные усилия Свана ретерриторизовать поток вещей (Одетту на тайне, картину на лице, музыку на Булонском лесу) уступили место ускоренному движению детерриторизации, линейному ускорению абстрактной машины, сметающей лица и пейзажи, а затем любовь, ревность, живопись и саму музыку, следуя все более сильным коэффициентам, питающим Произведение

⁴² Темы скорости и медленности лучше всего развиты в «Заключенном»: «Чтобы понять эмоции, которые они [линии ускользания] пробуждают и которые другие сущности, даже более прекрасные, не пробуждают, мы должны представить себе, что они не неподвижны, а в движении, и добавить к их личности знак, соответствующий тому, что в физике обозначает скорость... К таким сущностям, к таким мимолетным сущим, [добавить] их собственную природу и наши беспокойные связанные крылья».

с риском рассеять все и умереть. Ибо рассказчик, несмотря на частичные победы, терпит неудачу в своем проекте, так как этот проект состоит вовсе не в том, чтобы обрести время или силой вернуть воспоминания, а в том, чтобы стать хозяином скоростей в ритме собственной астмы. Он в том, чтобы смотреть в лицо уничтожению. Но другой исход был возможен, и возможен благодаря Прусту.

Воспоминания молекулы. — Становление-животным — лишь один случай среди многих становлений. Мы оказываемся захваченными в сегментах становления, между которыми может быть установлен некий вид порядка или явной прогрессии: становление-женщиной, становление-ребенком, становление-животным, растением или минералом; всевозможные молекулярные становления, становления-частицами. Волокна ведут от одного становления к другому, превращают одно в другое, пересекая двери и пороги. У пения, сочинительства музыки, живописи, писательского труда нет иной цели, кроме как вызывать такие становления. Главным образом музыка; любое становление-женщиной, становление-ребенком пересекают музыку не только на уровне голосов (английский голос, итальянский голос, контртенор, кастрат), но и на уровне тем или мотивов — маленькая ритурнель, хоровод, сценки из детства и детские игры. Инструментовка и оркестровка пропитаны становлением-животным и, прежде всего, становлением-птицей, но также многими другими становлениями. Перехлесты, завывания, молекулярные пронзительные звуки есть тут с самого начала, даже если эволюция инструментального — вместе с другими факторами — придает им сегодня все больше значимости как ценности нового рубежа для собственно музыкального содержания: звуковая молекула, отношение скорости и медленности между частицами. Становления-животными погружаются в молекулярные становления. Именно здесь формулируются разного рода вопросы.

В каком-то смысле, надо начать с конца — все становления уже молекулярны. Дело в том, что становление — это

ни имитация чего-то или кого-то, ни отождествление с ним. Не должно оно и соразмерять формальные отношения. Ни одна из этих двух фигур аналогии не подходит к становлению — ни имитация субъекта, ни пропорциональность формы. Отталкиваясь от форм, которыми мы обладаем, от субъекта, каковым мы являемся, от имеющихся у нас органов или выполняемых нами функций, становление должно извлекать частицы, между коими мы устанавливаем отношения движения и покоя, скорости и медленности — отношения *наиближайшие* к тому, чем мы собираемся стать и посредством чего мы становимся. Именно в этом смысле становление и есть процесс, или ход, желания. Такой принцип близости и аппроксимации — совершенно особый, и он не вводит заново никакой аналогии. Настолько строго, насколько возможно, он указывает на *зону близости или соприкосновения* частицы, на движение, куда втягивается любая частица, когда вступает в эту зону. Луи Вольфсон затевает странное предприятие — шизофреник как можно быстрее переводит фразы родного языка в иностранные слова с похожим звучанием или значением; анорексик кидается к холодильнику, разрывает пакеты с пищей, выхватывает содержимое, наедается до отвала как можно быстрее.⁴³ Ошибочно полагать, будто заимствует из иностранных языков «замаскированные» слова, в коих нуждается. Скорее, он выхватывает из собственного языка вербальные частицы, которые не могут более принадлежать форме этого языка, так же как он выхватывает из пищи съедобные частицы, не принадлежащие более оформленным питательным субстанциям — два типа частиц вступают в близость. Мы можем сказать и так: испускать частицы, принимающие определенные отношения движения и покоя, ибо входят в такую зону близости; или же — которые входят в эту зону, поскольку принимают такие отношения. Этовость неотделима от тумана и дымки, зависящих от молекулярной зоны, от корпускулярного пространства.

⁴³ Wolfson, Louis. *Le schizo et les langues*, Gallimard. 334.

Близость — понятие одновременно топологическое и квантовое, оно маркирует принадлежность к одной и той же молекуле независимо от рассматриваемых субъектов и заданных форм.

Шерер и Хокенгейм [Schérer et Hocquenghem] высвободили этот существенный пункт, когда пересмотрели проблему ребенка-волка. Конечно же, речь идет не о реальном производстве, как если бы ребенок «действительно» становился животным; нет здесь речи и о сходстве, как если бы ребенок имитировал животных, действительно пробуждающихся в нем; но нет речи и о символической метафоре, как если бы аутичный ребенок, заброшенный и покинутый, становился только «аналогией» животного. Шерер и Хокенгейм правы, разоблачая эту ложную аргументацию, основанную на культурализме или морализме, отстаивающих нередуцируемость человеческого порядка: поскольку ребенок вовсе не трансформируется в животное, он пребывает лишь в метафорическом отношении к последнему, — отношении, вызываемом его недугом или отклонением. Со своей стороны Шерер и Хокингейм обращаются к объективной зоне неопределенности и сомнения, к «чему-то общему и неразличимому», к близости, «не позволяющей сказать, где проходит граница между человеком и животным» не только у аутичного ребенка, но и у всех детей, как если бы — независимо от эволюции, ведущей ребенка к взрослому состоянию, — в нем существовало пространство для иных становлений, «других нынешних возможностей», которые являются не регрессиями, а творческими инволюциями, и которые свидетельствуют в пользу «какой-то бесчеловечности, непосредственно ощущаемой в теле как таковом», в пользу неестественных бракосочетаний «по ту сторону запрограммированного тела». Есть некая реальность становления-животным без того, чтобы мы на самом деле становились животным. И тогда бесполезно возражать, будто ребенок-собака, мол, только разыгрывает собаку в пределах собственной формальной конституции и не делает ничего такого собачьего, чего не

мог бы сделать другой человек, если бы того захотел. Ибо, что и нуждается в объяснении, так это именно то, что все дети и даже многие взрослые более или менее делали это, чем свидетельствовали в пользу нечеловеческого сговора с животным, а не в пользу эдипова символического сообщества.⁴⁴ И не следовало бы полагать, будто дети, общипывающие траву или пожирающие землю или сырое мясо, находят в них только недостающие их организму витамины или минеральные вещества. Речь идет о том, чтобы создать тело с животным, тело без органов, определяемое зонами интенсивности или близости. Откуда же берутся те объективные неопределенность и неразличимость, о которых говорят Шерер и Хокенгейм?

Например: не имитировать собаку, а компоновать свой организм с *чем-то еще* так, чтобы мы могли выделить — из так составленной совокупности — частицы, которые будут собачьими в зависимости от отношения движения и покоя, или молекулярной близости, в какую они входят. Конечно, такое что-то еще может быть весьма разнообразным и более или менее непосредственно связано с рассматриваемым животным — оно может быть естественной пищей животного (земля или червяк), оно может быть его внешними отношениями с другими животными (мы станем собакой с кошками или станем обезьяной с лошадью), оно может быть аппаратом или протезом, которыми человек подчиняет животное (намордник, северный олень и т.д.), или чем-то, у чего и вовсе нет локализуемого отношения с рассматриваемым животным. Относительно этого последнего случая мы уже видели, как Слепян основывает свою попытку стать животным на идее зашнуровать обувь, надев ее на руки с помощью собственного рта-намордника. Филипп Гави [Philippe Gavi] ссылается на [цирковые] представления Лолито — пожирателя бутылок, керамики, фар-

⁴⁴ René Schérer et Guy Hocquenghem. *Co-ire*, Recherches, pp. 76–82: см. их критику тезиса Беттельхейма, где становление-животным ребенка рассматривается только как аутический символизм, который выражает скорее тревогу родителей, нежели чем какую-то реальность самого ребенка (см.: *La forteresse vide*, Gallimard).

фора, железа и даже велосипедов, — который заявляет: «Я считаю себя полузверем, получеловеком. Возможно, больше зверем, чем человеком. Я люблю зверей, особенно собак, я чувствую с ними связь. Мои зубы приспособились; фактически, когда я не ем стекла или железа, мои челюсти ноют, как у молодого пса, жаждущего грызть кость».⁴⁵ Интерпретировать слово «как» на манер метафоры или предполагать структурную аналогию отношений (человек-железо = собака-кость) — значит ничего не понимать в становлении. Слово «как» — одно из тех слов, которые особенно меняют смысл и функцию, лишь только мы соотносим их с этоностями, лишь только мы делаем из них выражения становления, а не выражения означаемых состояний или означающих отношений. Собака может испробовать свои челюсти на железе, но тогда она испытывает челюсть как молярный орган. И совсем иное дело, когда Лолито пожирает железо — он компонует свою челюсть с железом так, что сам становится челюстью молекулярной собаки. В каком-то эпизоде фильма актер Роберт Де Ниро движется «как» краб; но, как он говорит, речь идет не об имитации краба; речь идет о компоновке с образом, со скоростью образа чего-то, что имеет дело с крабом.⁴⁶ И это для нас существенно: какими бы ни были средства или элементы, мы становимся-животным, если излучаем корпускулы, вступающие в отношение движения и покоя животных частиц или — что, по сути, то же самое — в зону близости животной молекулы. Мы становимся животным только молекулярно. Мы не становимся лающей молярной собакой, но благодаря лаю, — если он делается с достаточным

⁴⁵ Gavi, Philipp. Les philosophies du fantastique // *Liberation*, March 31, 1977. Что касается предыдущих случаев, то мы должны подойти именно к пониманию определенного так называемого невротического поведения как функции становления животным, а не к отсылке становления-животным в психоаналитической интерпретации поведения. Мы выделили это в связи с мазохизмом (и Лолито объясняет, что источник его необычного искусства лежит в определенном мазохистском опыте; прекрасный текст Кристиана Муреля [Christian Maurel] соединяет становление-обезьяной и становление-лошадью в мазохистском спаривании). Анорексию также следовало бы понимать с точки зрения становления животным.

⁴⁶ См.: *Newsweek*, 16 mai 1977, p. 57.

чувством, необходимостью и композицией, — мы излучаем молекулярную собаку. Человек не становится волком или вампиром так, будто бы меняет молярные виды; вампир и оборотень — это становления человека, то есть близости между скомпонованными молекулами, между отношениями движения и покоя, скорости и медленности, между излучаемыми частицами. Конечно же, оборотни и вампиры существуют, и мы заявляем об этом от всего сердца; но не ищите сходства или аналогии в животном, ибо это становление-животным в действии, это производство молекулярного животного (тогда как «реальное» животное схвачено в своей молярной форме и субъективности). Именно в нас животное обнажает зубы подобно крысе Гофмансталя, или цветок показывает свои лепестки; но все это благодаря корпускулярной эмиссии, молекулярной близости, а не с помощью имитации субъекта или пропорциональности формы. Альбертина всегда может имитировать цветок, но именно тогда, когда спит и вступает в сочетание с частицами сна так, чтобы ее родинка и крупца ее кожи вошли в отношение покоя и движения, помещающее ее в зону молекулярного растения — становление-растением Альбертины. И именно тогда, когда она оказывается пленницей, она излучает частицы птицы. И именно тогда, когда она убегает, бросается по линии ускользания, она становится конем, даже если это конь смерти.

Да, все становления молекулярны; животное, цветок или камень, коими мы становимся, суть молекулярные коллективности, этоности, а не формы, молярные объекты или субъекты, которые мы знаем вне самих себя или узнаем благодаря опыту, науке или привычке. Если это верно, то же следует сказать и о человеческих вещах — существует становление-женщиной, становление-ребенком, не похожие на женщину или ребенка как крайне разных молярных сущностей (хотя женщина или ребенок могли бы иметь возможные привилегированные позиции, но только возможные, в зависимости от таких становлений). Тот, кого мы здесь называем молярной сущностью, — это, например,

женщина как таковая, схваченная в дуальной машине, которая противопоставляет ее мужчине, и как таковая она задана своими формами, органами и функциями, и обозначена как субъект. Итак, становление-женщиной не имитирует такую сущность и даже не трансформируется в нее. Однако мы не пренебрегаем и значимостью имитации или моментов имитации, присутствующих у некоторых гомосексуальных мужчин, а еще менее — удивительной попыткой реальной трансформации у некоторых трансвеститов. Мы хотим лишь сказать, что эти неразделимые аспекты становления-женщиной прежде всего должны быть поняты в зависимости чего-то иного — не имитация, не принятие женской формы, а излучение частиц, вступающих в отношение движения и покоя, в зону близости микроженственности, то есть производящих в нас самих молекулярную женщину, творящих молекулярную женщину. Мы не хотим сказать, что такое сотворение — прерогатива мужчины, но, напротив, мы имеем в виду, что женщина как молярная сущность *должна стать-женщиной*, дабы мужчина также становился или мог ею стать. Разумеется, необходимо, чтобы женщина проводила молярную политику с целью отвоевать собственный организм, собственную историю или собственную субъективность — тогда «мы, как женщины...» появляемся в качестве субъекта высказывания. Но опасно замыкаться в таком субъекте, который функционирует, лишь осушая источник или останавливая поток. Песнь жизни часто запеваётся женщинами — самыми сухими, подвижными *озлоблением*, волей к власти и холодной материнской заботой. Так же как высохший ребенок создает еще лучшего ребенка тогда, когда из него более не исходит поток детства. Уже мало сказать, что каждый пол содержит другой пол и должен развивать в себе противоположный полюс. Бисексуальность — концепт не лучший, чем концепт разделения полов. Миниатюризировать, интериоризовать бинарную машину столь же тягостно, как и выводить ее из терпения; мы не выходим из нее таким образом. Значит, нужно понять молекулярные женские полити-

ки, прокрадывающиеся в молярные противостояния и проходящие под ними или через них.

Когда мы спрашиваем Вирджинию Вулф о собственно женском письме, она пугается при мысли писать «как женщина». Скорее, письму следовало бы производить становление-женщиной как атомы женственности, способные пересекать и пропитывать все социальное поле, заражать мужчин, захватывать их в такое становление. Очень мягкие частицы — но также крайне твердые, упорные, ни к чему не сводимые и неукротимые. Возвышение женщины в английском романтическом письме не шадит никакого мужчины: даже те, кто слывет за самых мужественных, самых фаллократичных (такие как Лоуренс и Миллер), в свою очередь постоянно перехватываются этими частицами и излучают их — частицами, вступающими в близость или в зону неразличимости женщины. В письме они становятся-женщиной. Речь не только и не столько об организме, истории и субъекте высказывания, которые противопоставляют мужское и женское в великих дуальных машинах. Речь, прежде всего, идет о теле — теле, которое эти авторы *крадут* у нас, дабы изготовить противопоставляемые организмы. Итак, именно у девочки сначала воруетя такое тело — прекрати так себя вести, ты уже не маленькая, ты не сорванец, и т.д. Именно у девочки, прежде всего, воруетя ее становление, дабы навязать ей историю или предысторию. Затем приходит черед мальчика, но именно ему ставится в пример девочка, ему указывают на девочку как на объект его желания, для мальчика фабрикуется, в свою очередь, противопоставляемый организм и господствующая история. Девочка — первая жертва, но она также должна служить в качестве примера и западни. И наоборот; вот почему восстановление тела как Тела без Органов, а-организма тела, неотделимо от становления-женщиной или от производства молекулярной женщины. Несомненно, девочка становится женщиной в органическом или молярном смысле. Но и наоборот, становление-женщиной или молекулярная женщина — это сама девочка. Конечно же,

девочка определяется не девственностью, а отношением движения и покоя, скорости и медленности, сочетанием атомов, излучением частиц — этоностью. Она не перестает странствовать по телу без органов. Она — абстрактная линия, или линия ускользания. Итак, девочки не принадлежат ни к какой возрастной группе, ни к какому полу, порядку или природному царству; они проскальзывают повсюду, между порядками, действиями, возрастами, полами; они производят *n* молекулярных полов на линии ускользания по отношению к дуальным машинам, которые они пересекают насквозь. Единственный способ выйти из такого дуализма — это быть-между, проходить между; интермеццо — вот то, что пережила Вирджиния Вулф со всеми своими силами, во всех своих произведениях, не переставая становиться. Девочка подобна блоку становления, остающемуся современным для каждого противопоставляемого термина — мужчина, женщина, ребенок, взрослый. Как раз не девочка становится женщиной, именно становление-женщиной создает универсальную девочку; как раз не ребенок становится взрослым, именно становление-ребенком создает универсальную молодость. Трост [Trost], удивительный автор, нарисовал портрет девочки, с которой он связывает судьбу революции: ее скорость, ее свободное машинное тело, ее интенсивности, ее абстрактная линия или линия ускользания, ее молекулярное производство, безразличие к памяти, ее неизобразительный характер — «неизобразимость желания».⁴⁷ Жанна д'Арк? Особая роль девушки в русском терроризме: девочка с бомбой, хранительница динамита? Верно, что молекулярные политики продолжаются только через девочку и ребенка. Но также верно и то, что девочки и дети не получают свою силу ни от подчиняющего их статуса молярного состояния, ни от организма и субъективности, кои они получают; они

⁴⁷ См.: Trost. *Visible et invisible*, *Arcanes et Librement mécanique*, Minotaure: «В своей чувственной реальности и в идеальном продолжении своих линий она, одновременно, была подобна проекции группы людей, которые еще должны появиться».

получают свою силу от молекулярного становления, которое они заставляют проходить между полами и возрастами, от становления-ребенком взрослого, впрочем, как и от становления-ребенком самого ребенка, от становления-женщиной мужчины, впрочем, как и от становления-женщиной самой женщины. Девочка и ребенок не становятся; именно само становление является ребенком или девочкой. Ребенок не становится взрослым как-то иначе, чем девочка становится женщиной; но девочка — это становление-женщиной каждого пола, также как ребенок — это становление-юным каждого возраста. Знать, как стареть, не значит оставаться молодым; это значит — извлекать из собственного возраста частицы, скорости и медленности, потоки, конституирующие молодость *данного* возраста. Знать, как любить, вовсе не значит оставаться мужчиной или женщиной; это значит — извлекать из собственного пола частицы, скорости и медленности, потоки, *и* полов, конституирующих девочку *данной* сексуальности. Как раз сам Возраст и есть становление-ребенком, также как Сексуальность, любая сексуальность, — это становление-женщиной, то есть девочка. Дабы ответить на глупейший вопрос: Почему Пруст превратил Альберта в Альбертину?

Итак, если все становления уже молекулярны, включая становление-женщиной, то следует также сказать, что любые становления начинаются со становления-женщиной и проходят через него. Это ключ для всех других становлений. Когда воин переодевается женщиной, сбегает, замаскированный под девушку, прячется как девочка, то это не временное позорное происшествие в его карьере. Спрятаться, закамouflироваться — это воинственная функция; и линия ускользания пленяет врага, пересекает что-то и обращает в бегство то, что она пересекает; именно в бесконечности линии ускользания проявляется воинственное. Но если женственность воина и неслучайна, не надо думать, будто она структурна или регулируется соответствием отношений. Трудно увидеть, как могло бы соответствие между двумя отношениями «мужчина—война» и

«женщина—замужество» повлечь за собой соответствие между воином и девушкой, выступающей в качестве женщины, которая отказывается выходить замуж.⁴⁸ Точно так же трудно усмотреть, как всеобщая бисексуальность или даже гомосексуальность военных сообществ могла бы объяснить этот феномен, который сколь подражателен, столь и структурен, но который представляет скорее сущностное *anomie** воина. Такой феномен может быть понят только в терминах становления. Мы уже видели, как воин, благодаря своему *furor*** у и проворности, был вовлечен в неодолимые становления-животными. Именно эти становления обнаруживают собственное условие в становлении-женщиной воинственного или в своем альянсе с девушкой, в своем инфицировании ею. Воин неотделим от Амазонок. Союз девушки и воина не производит животных, но в то же время он производит становление-женщиной одного и становление-животным другой в одном и том же «блоке», где воинственное в свою очередь становится животным благодаря инфицированию девушкой в тот самый момент, когда девушка становится воинственной благодаря инфицированию животным. Все собирается вместе в асимметричном блоке становления, мгновенном зигзаге. Именно в пережитке двойной машины войны — машины Греков, вскоре вытесняемой Государством, и машины Амазонок, вскоре постепенно исчезающей, — Ахиллес и Пентесилея, последний воин и последняя царица девушек, выбирают Ахиллеса в становлении-женщиной и Пентесилею в становлении-сухой.

Ритуалы трансвестизма или переряживания в примитивных обществах, где мужчина становится женщиной, не объясняются ни социальной организацией, которая привела бы в соответствие данные отношения, ни психической

⁴⁸ См. примеры структурного объяснения, предложенные Ж.-П. Вернаном в: *Problèmes de la guerre en Grèce ancienne*, Mouton, pp. 15–16.

* Беззаконие, падение нравов, аномия, крах традиционных устоев, распад личности, моральное разложение (англ.). — Прим. пер.

** Бешенство, ярость, неистовство (лат.). — Прим. пер.

организацией, которая явилась бы причиной того, что мужчина хотел бы стать женщиной не меньше, чем женщина — мужчиной.⁴⁹ Социальная структура и психическая идентификация оставляют в стороне слишком много специфических факторов — сцепление, неистовство и коммуникацию становлений, вызывающих травести; власть становления-животным, вытекающую из этого; и, главным образом, принадлежность всех этих становлений особой машине войны. То же верно и для сексуальности — она плохо объясняется как бинарной организацией полов, так и бисексуальной организацией каждого пола. Сексуальность запускает в игру слишком разные сопряженные становления так, будто есть *n* полов, целая машина войны, через которую проходит любовь. Это вовсе не сводится к отгалкивающим метаморфозам между любовью и войной, обольщением и завоеванием, битвой полов и домашней сценой, или даже к [метаморфозе] война—Стриндберг: именно тогда, когда любовь прошла, а сексуальность иссякла, вещи появляются таким образом. Но в расчет берется лишь то, что сама любовь — это машина войны, наделенная странной и какой-то ужасной властью. Сексуальность — это производство тысячи полов, которые являются такими же неконтролируемыми становлениями. *Сексуальность проходит через становления-женщиной мужчины и становления-животным человека* — излучение частиц. Бестиализм здесь совсем не нужен, хотя бестиализм может возникать, и множество психиатрических анекдотов свидетельствуют о том весьма интересным образом — но слишком упрощенным, а значит окольным, ставшим слишком глупым. Речь не идет о «разыгрывании» собаки подобно старому господину на почтовой открытке; также речь не идет о половой связи с животными. Прежде всего становления-животными являются иной мощью, ибо их реальность пре-

⁴⁹ О трансвестизме в первобытных обществах см.: Bettlheim, Bruno. *Les blessures symboliques*, Gallimard (который дает однозначную психологическую интерпретацию), и особенно у Грегори Бейтсона, *La cérémonie du Naven*, Ed. de Minuit (который предлагает оригинальную структурную интерпретацию).

бывает не в животных, коих мы имитируем или каковым соответствуем, а в самой себе, в том, что вдруг захватывает нас и заставляет становиться — некая *близость*, некая *неразличимость*, извлекающие из животного нечто общее, куда большее, чем любое одомашнивание, любое использование, любая имитация: «Зверя».

Если становление-женщиной — это первый квант, или молекулярный сегмент, и затем становление-животным, с которым оно связано, то к чему они все так устремлены? Вне всяких сомнений, к становлению-невоспринимаемым. Невоспринимаемое — имманентная цель становления, его космическая формула. Например, «Невероятно уменьшающийся человек» Матесона проходит через царства [природы], скользит между молекулами, дабы стать неуловимой частицей, размышляющей в бесконечном о бесконечном. «Господин Зеро» Поля Морана пробегает большие страны, пересекает самые мелкие, понижает масштабы Государств, дабы устроить в Лихтенштейне анонимное сообщество, единственным членом которого является он сам, и умирает невоспринимаемым, складывая из своих пальцев частицу 0: «Я человек, который ускользает, плывя между двумя водами, и в которого палят все ружья мира. <...> Не следовало бы более предлагать мишень». Но что означает становление-невоспринимаемым в конце всех молекулярных становлений, начавшихся со становления-женщиной? Становление невоспринимаемым хочет сказать о многом. Каково же отношение между невоспринимаемым (ан-органическим), неразличимым (а-означающим) и имперсональным (а-субъективным)?

Прежде всего мы сказали бы — быть как все. Именно об этом рассказывает Кьеркегор в своей истории о «рыцаре веры», человеке становления: глядя на него, мы не заметим в нем ничего — бургер, ничего, кроме бургера. Именно такое переживал Фицджеральд: после настоящего крушения мы доходим... действительно, до того, чтобы быть как все. Не так уж легко сделаться незаметным. Быть неизвестным — даже для консьержки, даже для соседей. И если уж

столь трудно быть «как» все, то потому, что это дело становления. Вовсе не каждый, кто становится каждым, делает каждого становлением. Здесь требуется много аскетизма, трезвости, творческой инволюции — английская элегантность, английская ткань смешиваются со стенами, устраняют слишком-воспринимаемое, то, что чрезмерно-для-восприятия [trop-à-percevoir]. «Устранять все, что является остатком, смертью и избытком», жалобой и обидой, неудовлетворенным желанием, защитой и заступничеством — все, что укореняет всякого (каждого) в нем самом, в его моральности. Ибо каждый — это молярная совокупность, но *становиться каждым* — совсем другое дело, запускающее в игру космос с его молекулярными компонентами. Стать каждым — значит создавать мир, создавать некий мир. Благодаря устранению мы уже не более чем абстрактная линия или же деталь головоломки, которая сама по себе абстрактна. Именно сопрягаясь, продолжаясь с другими линиями, с другими деталями, мы создаем мир, который мог бы окутать первый как некая прозрачность. Животная элегантность, рыбка-камуфлятор, подпольное — по ним проходят абстрактные линии, не похожие ни на что и не следующие даже своим органическим делениям; но так дезорганизованная, дезартикулированная, она творит мир с линиями скалы, песка и водорослей, становясь невоспринимаемой. Рыбка подобна китайскому художнику-поэту — не подражательному, ни структурному, а космическому. Франсуа Ченг показывает, что поэт не гонится за сходством, а тем более не исчисляет «геометрические пропорции». Он удерживает, он извлекает только линии и сущностные движения природы; он действует только с помощью непрерывных и налагающихся друг на друга «штрихов».⁵⁰ Именно в этом смысле стать всяким, сделать из мира становление — значит создать мир, создать некий мир, миры, другими словами, найти свои близости и свои зоны неразличимости. Космос как абстрактная машина, и

⁵⁰ Cheng, François. *L'écriture poétique chinoise*, pp. 20 sq.

каждый мир как конкретная сборка, осуществляющая его. Когда мы сводим себя к одной или нескольким абстрактным линиям, которые будут продолжаться в других и сопрягаться с другими, дабы немедленно и непосредственно произвести *некий* мир, в коем становится именно *этот* мир, тогда мы становимся кем угодно, всяким. Мечта Керуак, или уже мечта Вирджинии Вулф, состояла в том, что письмо должно быть как линия китайского рисунка-поэмы. Вулф говорит, что надо «насытить каждый атом», а для этого устранить — устранить все, что является сходством и аналогией, но также «все вложить»: устранить все, что переходит границы момента, но вложить все то, что он включает — и такой момент не является мгновением, он — этоность, в которую мы соскальзываем и которая скользит в других этоностях благодаря прозрачности.⁵¹ Быть в точке начала мира. Вот какова связь между невоспринимаемым, неразличимым и безличным — тремя добродетелями. Свети себя к абстрактной линии, штриху, дабы найти свою зону неразличимости с другими штрихами и таким образом войти в этоность как в безличность творца. Тогда мы подобны траве — мы сделали из мира, из всякого становление, ибо мы создали необходимо коммуницирующий мир, ибо мы подавили в себе все, что мешает нам проскальзывать между вещами, прорасти посреди вещей. Мы соединили «все» — неопределенный артикль, инфинитив-становление и собственное имя, к которому мы сводимся. Насыщать, устранять, все вложить.

Движение пребывает в сущностном отношении с невоспринимаемым, оно по природе невоспринимаемо. Дело в том, что восприятие может схватывать движение только как перемещение подвижного тела или развитие формы. Движения и становления, другими словами, чистые отношения скорости и медленности, чистые аффекты пребывают под и

⁵¹ Woolf, Virginia. *Journal d'un écrivain*, t. I, 10–18, p. 230: «Мне пришла мысль, что то, что я хочу сейчас сделать, — это пропитать собой каждый атом». Относительно всех этих пунктов нам нужно использовать еще неопубликованное исследование Фанни Завин [Fanny Zavín], посвященное Вирджинии Вулф.

над порогом восприятия. Несомненно, пороги восприятия относительны; всегда будет, следовательно, способный схватывать то, что ускользает от другого — глаз орла... Но адекватный порог сможет, в свою очередь, действовать только в зависимости от воспринимаемой формы и воспринятого, распознанного субъекта. Так что движение в себе *продолжает* происходить где-то в другом месте — если мы конституируем сериальное восприятие, то движение всегда имеет место выше максимального порога и ниже минимального порога, в расширяющихся и сжимающихся интервалах (микроинтервалах). Подобно огромным японским борцам, чье продвижение слишком медленно и чьи захваты слишком быстры, чтобы их увидеть: тогда те, кто обхватил друг друга — не столько борцы, сколько бесконечная медленность ожидания (что же вот-вот произойдет?) и бесконечная скорость результата (что только-только произошло?). Следовало бы дотянуться до фотографического или кинематографического порога, но — в отношении фотографии — движение и аффект все еще скрываются над или под. Когда Кьеркегор вбрасывает удивительный девиз — «Я смотрю только на движения», — то он удивительным образом действует как предшественник кинематографа и размножает версии любовного сценария — между Агнес и Тритоном, — следуя переменным скоростям и медленностям. И у него достаточно резонов уточнить, что у движения есть только бесконечное; что движение бесконечного может состояться лишь благодаря аффекту, страданию, любви, в становлении, кое является девушкой, но без отсылки к какому-либо «размышлению»; и что это движение как таковое избегает опосредующего восприятия, ибо оно уже свершается в каждый момент, что танцор, или любовник, уже оказывается «наготове [debout en marche]» — в ту самую секунду, когда падает, в тот самый момент, когда прыгает.⁵² Движение не может быть воспринято, подобно девушке как бытию ускользания.

⁵² Нам кажется, что «Страх и трепет» — величайшая книга Кьеркегора из-за того способа, каким она формулирует проблему движения и скорости, не только своим содержанием, но и стилем и композицией.

Однако сразу надо сделать поправку: движение также «должно» быть воспринимаемо, оно может быть только воспринимаемым, невоспринимаемое — тоже *percipien-dum**. Тут нет противоречия. Если движение невоспринимаемо по природе, то всегда в отношении какого-либо порога восприятия, который по природе должен быть относителен, а также играть роль опосредования на плане — плане, осуществляющем распределение порогов и перцептов, создающем формы для восприятия воспринимающими субъектами: итак, именно план организации и развития, план трансценденции, воспроизводит воспринимаемое, сам не будучи воспринимаемым, не будучи способным быть воспринятым. Но на *другом* плане, плане имманентности и консистенции, именно сам принцип композиции должен быть воспринимаем, не может не быть воспринимаем, и, одновременно, именно он komponует и насыщает. Здесь движение перестало быть связано с опосредованием относительным порогом, коего оно избегает по природе до бесконечности; оно достигает, каковы бы ни были его скорость и медленность, некоего абсолютного, хотя и дифференцированного, порога, который создается только благодаря конструированию того или иного региона непрерывного плана. Также можно было бы сказать, что движение перестает быть процедурой некой всегда относительной детерриторизации, становясь процессом абсолютной детерриторизации. Именно различие между двумя планами является причиной того, что недоступное восприятию на одном плане, только и может быть воспринято на другом. Именно в перескакивании от одного плана к другому, или от относительных порогов к абсолютному порогу, который сосуществует с ними, невоспринимаемое с необходимостью становится воспринимаемым. Кьеркегор показывает, что план бесконечного, называемый им планом веры, должен стать чистым планом имманентности, который не перестает сразу же отдавать, возвращать и

* То, что следует воспринимать (лат.). — Прим. пер.

собирать конечное — в отличие от человека бесконечного смирения, рыцарь веры, то есть человек становления, обретет девушку, он обретет все конечное целиком и воспримет невоспринимаемое как «прямой наследник конечного мира». Дело в том, что восприятие будет уже пребывать не в отношении между субъектом и объектом, а в движении, служащем пределом этого отношения, в периоде времени, ассоциируемом с субъектом и объектом. Восприятие оказывается в противостоянии со своим собственным пределом; оно будет посреди вещей, в единстве своей собственной близости, как присутствие одной этовости в другой, захват одной этовости другой и переход от одной этовости к другой — смотреть только на движения.

Странно, что для обозначения плана, обращенного к имманентности, следует использовать слово «вера». Но если рыцарь — это человек становления, то существуют всевозможные типы рыцарей. Не бывает ли даже рыцарей наркотиков, в том смысле, что вера — это наркотик, — в смысле, весьма отличном от смысла, что религия — это опиум? Эти рыцари заявляют, что наркотики — при необходимых условиях предусмотрительности и экспериментирования — неотделимы от разворачивания некоего плана. И на таком плане не только сопрягаются становления-женщиной, становления-животными, становления-молекулярными, становления-невоспринимаемым, но и само невоспринимаемое с необходимостью становится воспринимаемым в то самое время, когда восприятие с необходимостью становится молекулярным — достичь дыр, микроинтервалов между материалами, цветами и звуками, куда устремляются линии ускользания, мировые линии, линии прозрачности и рассечения.⁵³ *Менять восприятие*; проблема сформулирована корректно, ибо она

⁵³ Карлос Кастанеда, везде, особенно см.: Кастанеда К. *Путешествие в Икстлан* // Кастанеда К. *Учение Дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан*. К.: София, 1992, с. 721 [«Когда союзник закружит тебя, изменится твое восприятие мира, — сказал дон Хуан. — А восприятие — это все. Изменится оно — изменится сам мир». — *Прим. пер.*].

дает всю содержательную совокупность «этого» наркотика, независимо от вторичных отличий (галлюцинаторные или нет, тяжелые или легкие, и т.д.). Все наркотики, прежде всего, касаются скоростей и изменений скорости. Что позволяет описать Наркотическую сборку — какими бы ни были различия — так это линия перцептивной каузальности, которая является причиной того, что: 1) невоспринимаемое воспринимаемо; 2) восприятие молекулярно; 3) желание непосредственно инвестирует восприятие и воспринятое. Американцы *поколения битников*, уже вставшие на этот путь, говорили о молекулярной революции, присущей наркотику. Затем обширные синтезы Кастанеды. Лесли Фидлер отметил эти полюса американской Мечты: зажатые между двумя кошмарами — геноцидом индейцев и негритянским рабовладением, — американцы создали из негра образ, подавленный силой аффекта, множества аффектов, а из индейца — образ, сдерживаемый остротой восприятия — восприятия, все более и более острого, разделенного, бесконечно замедленного и ускоренного.⁵⁴ В Европе Анри Мишо стремился к тому, чтобы более охотно освобождаться от ритуалов и цивилизаций, составляя превосходные и тщательные протоколы опыта, облагораживая проблему каузальности в отношении наркотиков, уточняя ее насколько возможно, отделяя от бреда и галлюцинаций. Но именно в этом пункте все воссоединяется — и еще раз, проблема хорошо поставлена, когда мы говорим, что наркотик вынуждает утратить форму и личность, приводит в действие безумные скорости наркотика и необычайные медленности после наркотика, сжимает одни скорости с другими как борцов, сообщает восприятию молекулярное могущество схватывать микровосприятия, микрооперации, а воспринимаемому — силу испускать ускоренные и замедленные частицы, следуя плывущему времени, которое более не наше время, испу-

⁵⁴ Leslie Fiedler. *Le retour du Peau-rouge*, Ed. du Seuil. Фидлер объясняет тайный союз белого американца с негром или индейцем желанием избежать молярной формы и доминирующего влияния американской женщины.

скать этоности, которые уже не этоности этого мира: детерриторизация, «Я сбился с пути...» (восприятие вещей, мыслей, желаний, где желание, мысль и вещь захватили все восприятие — невоспринимаемое наконец воспринимаемо). Ничего не осталось, кроме мира скоростей и медленностей — без формы, без субъекта, без лица. Ничего не осталось, кроме зигзага линии, подобного «удару бича приведенного в ярость кучера». ⁵⁵ Целая ризоматическая работа восприятия, момент, когда желание и восприятие сливаются.

Такая проблема специфической каузальности весьма важна. Вывать к каузальностям — слишком общим, внешним, психологическим или социологическим, дабы принять в расчет некую сборку, — это все равно, что ничего не сказать. Сегодня по поводу наркотиков установился такой способ говорить, который только и делает, что мусолит общие места относительно удовольствий, бедствий, затруднений в общении и причин, всегда приходящих откуда-то еще. Чем больше мы симулируем понимание данного феномена, тем более мы неспособны к схватыванию собственной каузальности в протяженности. Несомненно, сборка никогда не заключает в себе каузальной инфраструктуры. Однако она в высшей степени несет в себе некую абстрактную линию специфической или творческой каузальности, свою *линию ускользания и детерриторизации*, которая может быть осуществлена лишь в соединении с общими каузальностями иной природы, но никоим образом не объяснена посредством них. Мы говорим, что проблема наркотиков может быть понята только на том уровне, где желание непосредственно инвестирует восприятие, а восприятие становится моле-

⁵⁵ Michaux. *Misérable miracle*, Gallimard, p. 126: «Ужас как раз и состоял в том, что я был только лишь линией. В нормальной жизни мы являемся *сферой* — сферой, которая открывает *панорамы*... Тут же только линия... ускоренная линия, коей я стал». См. линейные рисунки Мишо. На первых страницах *Les grandes épreuves de l'esprit* Мишо далее развивает анализ скоростей, молекулярных перцепций и «микрофеноменов» или «микроопераций».

кулярным в то самое время, когда невоспринимаемое становится воспринимаемым. Тогда наркотики появляются как агент такого становления. Именно здесь обитает фармакоанализ, который следовало бы сравнить с психоанализом и, одновременно, противопоставить ему. Ибо психоанализ существует здесь одновременно и как модель, и как противопоставление, и как предательство. Действительно, психоанализ может быть понят как модель референции, ибо он сумел — по отношению к существенным аффективным феноменам — построить схему собственной причинности, отличную от обычных психологических или социальных обобщений. Но эта каузальная схема все еще зависит от плана организации, который никогда не может быть постигнут в себе, который всегда выводится из чего-то еще, всегда подразумевается, изымается из системы восприятия и который как раз и получает имя Бессознательного. Таким образом, план Бессознательного остается планом трансцендентности, который должен обеспечивать, оправдывать существование психоаналитика и необходимость его интерпретаций. Этот план Бессознательного молярно противостоит системе восприятие—сознание, и, поскольку желание должно *транслироваться* в этот план, он сам соединен с крупными молярностями, подобными утопленной части айсберга (структура Эдипа или скала кастрации). Итак, невоспринимаемое остается тем более невоспринимаемым, чем более оно противится воспринимаемому в некой дуальной машине. Все по-иному на плане консистенции или имманентности, который, насколько его касается, оказывается с необходимостью воспринимаемым в то самое время, когда конструируется — экспериментирование заменяет интерпретацию; бессознательное, ставшее молекулярным, не изобразительным и не символическим, дано, как таковое, в микроперцепциях; желание непосредственно инвестирует поле восприятия, где невоспринимаемое проявляется как воспринимаемый объект самого желания, «нефигуративность желания».

Бессознательное уже означает не скрытый принцип трансцендентного плана организации, а процесс имманентного плана консистенции, как он проявляется на самом себе по мере своего конструирования. Ибо бессознательное должно создаваться, а не переоткрываться. Больше нет дуальной машины сознание—бессознательное, ибо бессознательное существует или, скорее, производится там, куда движется сознание, уносимое планом. Наркотики сообщают бессознательному имманентность и план, постоянно упускаемые психоанализом (в этом отношении, возможно, знаменитый эпизод с кокаином отметил поворотный пункт, заставивший Фрейда отказаться от прямого подхода к бессознательному).

Но если верно, что наркотики отсылают к такой молекулярной, имманентной перцептивной каузальности, то в целом остается вопрос о знании того, сумеют ли они на самом деле расчертить план, обуславливающий опыт. Итак, каузальная линия, или линия ускользания, линия наркотиков не перестает сегментироваться в форме самой жесткой зависимости от них, от их принятия и дозы, и от наркодилера. И даже в своей гибкой форме она может мобилизовать градиенты и пороги восприятия так, чтобы задать становления-животными, становления-молекулярными; все происходит еще в контексте относительности порогов, которая довольствуется лишь имитацией плана консистенции, а не расчерчиванием его на некоем абсолютном пороге. Что дает нам восприятие столь же быстрое, как и быстролетящая птица, если скорость и движение продолжают ускользать куда-то еще? Детерриторизации остаются относительными, компенсированными самыми гнусными ретерриторизациями, так что невоспринимаемое и восприятие не перестают преследовать друг друга или бежать друг за другом, никогда на самом деле не спариваясь. Вместо того чтобы дыры в мире позволяли мировым линиям ускользать самим, линии ускользания сворачиваются и начинают кружиться в черных дырах; каждый наркоман в своей дыре — групповой или индивидуальной — подобен

литорине*. Скорее погрузившийся [enfoncé], чем раздавленный [défoncé]. В зависимости от рассматриваемого наркотика молекулярные микроперцепции заранее покрыты галлюцинациями, маниями, ложными восприятиями, фантазмами или параноидальными приступами, восстаивающими в каждое мгновение формы и субъектов, подобных многочисленным призракам и двойникам, которые не перестают блокировать конструирование плана. Более того, это — то, что мы уже видели раньше в нашем перечне опасностей: план консистенции рискует не только быть преданным или отброшенным под влиянием других каузальностей, внедряющихся в такие сборки, но и сам план порождает свои собственные опасности, согласно которым он разрушается по мере своего конструирования. Нас больше нет, сам план больше не *хозяин скоростей*. Вместо созидания тел без органов — достаточно богатых и полных, чтобы по ним проходили интенсивности — наркотиками сооружают опустошенное или стекловидное тело, или же тело, пораженное раком: каузальная линия, творческая линия или линия ускользания немедленно превращается в линию смерти или уничтожения. Отвратительное остекление вен или нагноение носа, стеклянное тело наркомана. Черные дыры и линии смерти, предостережения Арто и Мишо сходятся (более техничные, более согласованные, нежели информационный, психологический и социопсихологический дискурс, центры приема и лечения). Арто говорит: вы не убежите от галлюцинаций, ошибочных восприятий, бесстыдных фантазий или плохих чувств, подобных многочисленным черным дырам на плане консистенции, ибо ваше сознание также будет двигаться в этом пойманном в ловушку направлении.⁵⁶ Мишо говорит: вы не будете больше хозяином ваших скоростей, вы завязнете в

* Littorina — род брюхоногих моллюсков семейства береговичков. Раковина овально-коническая, высотой 1–4,5 см. Типичные и часто массовые обитатели приливо-отливной зоны (литорали) морей умеренных широт Северного полушария. Хорошо переносят временное пребывание вне воды. — *Прим. пер.*

⁵⁶ Artaud. *Les Tarahumaras*, Œuvres complètes, t. IX, pp. 34–36.

безумной гонке невоспринимаемого и восприятия, в гонке настолько цикличной, что все будет относительным.⁵⁷ Вы раздуете сами себя, вы утратите контроль, вы будете на плане консистенции, в теле без органов, но там, где вы не прекратите упускать их, опустошать их, уничтожать то, что вы сделали, неподвижные лохмотья. Такие слова куда проще, чем «ошибочные восприятия» (Арто) или «плохие чувства» (Мишо), но они говорят о гораздо более технических вещах: о том, как имманентная каузальность желания — молекулярная и перцептивная — терпит неудачу в сборке-наркотике. Наркоманы постоянно снова сваливаются туда, откуда хотят выбраться — сегментарность еще более жесткая, чтобы быть маргинальной, територизация слишком искусственная, чтобы основываться на химических веществах, галлюцинаторных формах и фантазматических субъективациях. Наркоманы могут рассматриваться как первопроходцы или экспериментаторы, которые неутомимо снова и снова прокладывают новый жизненный путь, но даже их осторожность не обладает условиями осторожности. Тогда они либо вновь попадают в когарту лжегероев, следуя конформистским путем мелкой смерти и долгой усталости. Либо же — и это еще хуже — все, чему они будут служить, так это тому, чтобы отбросить попытку, которую могут возобновить и использовать лишь те, кто не принимает наркотики или кто больше не принимает наркотики, кто повторно исправляет всегда несостоятельный план наркотиков и обнаруживает благодаря наркотикам, что последних недостаточно, чтобы сконструировать план консистенции. Не состоит ли вина наркоманов в том, что они каждый раз вынуждены начинать с нуля — либо чтобы принять наркотик, либо чтобы отказаться от него, — тогда как следовало бы освоить переключатель-реле, начать «с середины», раздвоиться в середине? Напиваться допьяна, но чистой водой (Генри Миллер). Накачивать себя наркотиком, но, воздерживаясь, «принимать и воздерживаться,

⁵⁷ Michaux. *Misérable miracle*, p. 164 («Rester maître de sa vitesse»).

главным образом воздерживаться», Я — трезвенник (Анри Мишо). Добраться до той точки, где вопрос уже не в том «принимать наркотики или нет», а в том, меняют ли наркотики в достаточной мере общие условия пространственного и временного восприятия так, чтобы те, кто их не использует, сумели пройти через дыры мира и следовать по линиям ускользания именно там, где нужны средства иные, нежели наркотики. Нет наркотиков, гарантирующих имманентность; но именно имманентность наркотиков позволяет нам обойтись без них. Ждать, пока другие пойдут на риск — не трусость ли это и злоупотребление? Скорее всегда возобновлять предприятие с середины, меняя средства. Необходимость выбрать, отбирать хорошую молекулу — молекулу воды, водорода или гелия. Здесь нет никакого дела до моделей, все модели молярны — необходимо определить молекулы и частицы, по отношению к которым «близости» (неразличимости, становления) порождаются и определяются. Живая сборка, сборка-жизнь *теоретически или логически* возможна благодаря любым видам молекул — например, кремнию. Но оказывается, что такая сборка с помощью кремния *машинно* невозможна — абстрактная машина ее не пропускает, ибо она не распределяет зон близости, конструирующих план консистенции.⁵⁸ Мы увидим, что машинные доводы совершенно иные, нежели логические доводы и возможности. Мы не приспособляемся к какой-то модели, мы прищипориваем настоящую лошадь. Наркоманы не выбирают хорошую молекулу или хорошую лошадь. Будучи слишком неуклюжими, чтобы ухватить невоспринимаемое, чтобы стать невоспринимаемыми, наркоманы полагали, будто наркотик даст им план, тогда как именно план должен дистиллировать свои собственные наркотики, оставаясь хозяином скоростей и близостей.

⁵⁸ О возможностях кремния и его отношении к углероду с точки зрения органической химии см. статью «Кремний» в *Encyclopedia Universalis*.

Воспоминания тайны. — У тайны весьма привилегированное, хотя крайне вариабельное, отношение к воспринимаемому и не воспринимаемому. Тайна, прежде всего, касается определенного содержания. Содержание *слишком велико* для своей формы... или же сами содержания обладают некой формой, но эта форма покрывается, удваивается или замещается тем, что ее содержит — конвертом или ящиком, — чья роль состоит в том, чтобы устранять формальные отношения. Есть содержания, которые мы — по разным причинам — осуждаем на изоляцию или маскировку. Но составление списка таких причин (стыд, сокровище, божественность и т.д.) не столь уж интересно, пока противопоставляются тайна и ее раскрытие — как в бинарной машине, обладающей лишь двумя терминами: тайна и раскрытие, тайна и профанация. Ибо, с одной стороны, тайна как содержание замещается восприятием тайны, которое не менее таинственно, чем она сама. И не так уж важно, какова цель, и состоит ли цель восприятия в разоблачении, окончательном разглашении или раскрытии. С анекдотической точки зрения восприятие тайны — это противоположность тайны, но с точки зрения концепта оно является ее частью. В расчет принимается то, что восприятие тайны само по необходимости должно быть тайной — шпион, соглядатай, шантажист, автор анонимных писем не менее таинственны, чем то, что они в состоянии раскрыть, невзирая на их скрытые мотивы. Всегда есть женщина, ребенок или птица, чтобы тайно воспринять тайну. Всегда есть восприятие более тонкое, чем ваше, восприятие вашего невоспринимаемого, того, что находится в вашем ящике. Мы даже предвидим профессиональную тайну тех, кто в состоянии воспринять тайну. Тот, кто хранит тайну, по необходимости непричастен к ней, хотя и связан с каким-то восприятием, ибо должен воспринимать и находить тех, кто хочет раскрыть тайну (контрразведка). Итак, есть первое направление, когда тайна движется к не менее таинственному восприятию — восприятию, которое, в свою очередь, стремиться стать невоспринимаемым.

Вокруг этого первого пункта может кружиться обильное разнообразие крайне разных фигур. Но еще есть и второй пункт, также неотделимый от тайны как содержания, — способ, каким она навязывает себя и распространяется. Опять же, каковы бы ни были конечные цели и результаты, у тайны есть особый способ распространения, сам, в свою очередь, окутанный таинственностью. Тайна как секречия. Тайна должна вписываться, проскальзывать и вводиться в публичные формы; она должна давить на них и толкать известных субъектов на действие (влияния типа «лобби», даже если такое лобби само не является тайным сообществом).

Короче, тайна — определяемая как содержание, скрывшее собственную форму в пользу простого содержащего — неотделима от двух движений, которые случайно могут оборвать ее путь или разрушить ее, но, тем не менее, являются ее существенной частью: что-то медленно должно сочиться из ящика, что-то будет восприниматься через ящик или в полуоткрытом ящике. Тайна изобретена обществом; она — социологическое и социальное понятие. Каждая тайна — это некая коллективная сборка. Тайна — вовсе не неподвижное или статичное понятие, только становления являются тайнами; тайна обладает становлением. Исток тайны — в машинах войны; именно машина войны и ее становление-женщиной, становление-ребенком, становление-животным несет тайну.⁵⁹ Тайное сообщество всегда действует в обществе как машина войны. Социологи, изучающие тайные сообщества, уже определили много законов последних — протекция, уравниловка и иерархия, замалчивание, ритуал, деиндивидуализация, централизация, автономия, закрытость и т.д.⁶⁰ Но, возмож-

⁵⁹ Люк де Ош [Luc de Heusch] показал, что именно воин несет тайну — он думает, ест, любит, судит, приближается в тайне, тогда как человек Государства действует публично (*Le roi ivre ou l'origine de l'Etat*). Идея государственной тайны — поздняя идея, и она допускает, что машина войны присваивается Государственными аппаратами.

⁶⁰ В особенности Георг Зиммель, см.: *The Sociology of Georg Simmel*, Glencoe, ch. III.

но, они не придают достаточной весомости принципиальным законам, управляющим движением содержания: 1) каждое тайное сообщество обладает еще более тайным тыловым сообществом, либо воспринимающим тайну и защищающим ее, либо отмеряющим санкции для тех, кто раскрывает ее (речь не о том, чтобы определять тайное сообщество наличием тайного тылового сообщества — сообщество является тайным, когда оно заключает в себе такое удваивание, такое особое отделение); 2) у каждого тайного сообщества собственный способ действия, который сам является тайным, — влияние, проскальзывание, инсинуации, просачивание, давление, ночное сияние, где рождаются «пароли» и тайные языки (здесь нет противоречия, ибо тайное сообщество не может жить без универсального проекта пропитать все общество, проскользнуть во все формы общества, разрушая его иерархию и сегментацию, — тайная иерархия сопрягается с конспирацией равных, тайное сообщество руководит своими членами так, чтобы те были в обществе, как рыбы в воде, но с другой стороны, общество должно напоминать воду вокруг рыбы; тайное сообщество нуждается в соучастии всего окружающего общества). Это видно как у разрозненных гангстерских сообществ Америки, так и у сообществ человека-животного в Африке — с одной стороны, есть способ влияния тайного сообщества и его лидеров на окружающих политиков и публичных людей, а с другой стороны, есть способ, каким тайное общество дублирует себя благодаря тыловому сообществу, способному создать особое отделение убийц или охранников.⁶¹ Влияние и удваивание, секреция и конкреция [concrétion], каждая тайна продвигается между двумя «укромностями», которые, более того, могут

⁶¹ П.Э. Жозет [P. E. Joset] ясно отметил эти два аспекта тайного сообщества инициации, *Мамбела* [Mambela] из Конго — с одной стороны, его отношение влияния на традиционных политических лидеров, которое достигает точки трансфера социальных сил; и с другой стороны, его фактическое отношение с Аниото [Anioto] как тайным вспомогательным преступным сообществом человека-леопарда (даже если Аниото иного происхождения, чем *Мамбела*). См.: *Les sociétés secrètes des hommes-léopards en Afrique noire*, ch. v.

объединяться или в некоторых случаях сливаться. Тайна ребенка замечательно комбинирует эти элементы — тайна как содержание ящика, тайное влияние и размножение тайны, тайное восприятие тайны (тайна ребенка не создается из миниатюризированных тайн взрослого, а необходимым образом сопровождается тайным восприятием взрослой тайны). Ребенок раскрывает тайну...

Но становление тайны заставляет ее не только довольствоваться укрыванием своей формы в простом содержащем или жертвовании ею ради содержащего. Тайна должна обрести теперь собственную форму в качестве тайны. Тайна поднимается от конечного содержания к бесконечной форме таинственного. Именно здесь тайна достигает абсолютной невосприимчивости, вместо того чтобы быть связанной со всей игрой относительных восприятий и реакций. Мы движемся от хорошо определенного, локализованного и прошлого содержания к априорной всеобщей форме нелокализуемого *нечто*, которое только-только произошло. Мы движемся от тайны, определяемой как историческое детское содержание, к тайне, определяемой как мужская параноидальная форма. И в такой форме мы обнаруживаем те же два сопутствующих обстоятельства тайны — тайное восприятие и его способ действия, тайное влияние; но эти сопутствующие обстоятельства стали «следами» формы, которую они непрестанно реконституируют, реформируют и вновь нагружают. С одной стороны, параноики отвергают интернациональный заговор тех, кто крадет их тайны, их самые интимные мысли; или же они заявляют, что обладают даром воспринимать тайны других до того, как те сформировались (ревнивый параноик не схватывает другого как убегающего от него; напротив, он предрекает или предвидит наимельчайшие намерения последнего). С другой стороны, параноик действует и страдает благодаря излучениям, которые он испускают или получает (Реймон Руссель и Шребер). Влияние посредством излучения и удвоение посредством полета или отголоска суть то, что придает теперь тайне ее бесконечную форму, в кото-

рой восприятия, как и действия, переходят в невосприимчивое. Параноидальное суждение напоминает предвосхищение восприятия, замещающее эмпирический поиск ящиков и их содержаний: *виновен априори* и в любом случае! (например, эволюция рассказчика в «Поисках» по отношению к Альбертине). Обобщая, можно сказать, что психоанализ прошел от истеричной концепции к в высшей степени параноидальной концепции тайны.⁶² Бесконечный анализ — Бессознательному предписывается весьма трудная задача самому быть бесконечной формой тайны, а не просто ящиком, содержащим тайны. Вы расскажете все, но, рассказывая все, вы не скажете ничего, ибо требуется все «искусство» психоаналитика, дабы соразмерить ваши содержания с чистой формой. Однако в этом пункте, когда тайна возвысилась до уровня формы, с ней происходит неизбежное приключение. Когда вопрос «Что случилось?» достигает такой бесконечно мужской формы, ответ необходимо состоит в том, что ничего не произошло, — ответ, разрушающий как форму, так и содержание. Новость распространяется так быстро, что тайна человека — ничто, поистине ничто. Эдип, фаллос, кастрация, «жало в плоть» — это было тайной? Такого достаточно, чтобы рассмешить женщин, детей, безумцев и молекулы.

Чем более тайна превращается в некую структурирующую, организующую форму, тем более тонкой и вездесущей она становится, тем более ее содержание становится молекулярным именно тогда, когда ее форма расплавляется. Как говорит Жокаст [Jocaste], тайны действительно не бывает много. Тем не менее тайна не исчезает, на самом деле она принимает статус женственности. Что же все время стояло за параноидальной тайной президента Шребера, если не становление-женственным, становление-женщиной? Ибо женщины удерживают тайну совсем не

⁶² О психоаналитической концепции тайны см.: Du secret // *Nouvelle revue de psychanalyse* n° 14; а что касается эволюции Фрейда в отношении этого предмета, то см. статью Клода Жирара [Claude Girard] «Le secret aux origines».

так, как мужчины (кроме случаев, когда они реконституируют инверсный образ мужской тайны, некий тип тайны гинекея*). Мужчины порой упрекают их в неблагоразумии, в отсутствии сплоченности и измене. Однако весьма любопытно, как женщина может оставаться тайной, ничего не скрывая, благодаря прозрачности, невинности и скорости. Сложная сборка тайны — в изысканной любви — является собственно женской и действует в самой полной прозрачности. Быстрота против тяжести. Быстрота военной машины против тяжести Государственных аппаратов. Мужчины усваивают некую серьезную позицию, рыцари тайны: «ты видишь, какое бремя я несу; мою серьезность, мое благоразумие», но они доходят до того, чтобы говорить обо всем, и это все ни о чем. С другой стороны, есть женщины, которые говорят обо всем, иногда с потрясающими техническими деталями, но в конце мы знаем не больше, чем в начале — они все скрыли благодаря быстроте, благодаря прозрачности. У них нет тайны, ибо они сами стали тайной. Не являются ли они более политическими, чем мы? Ифигения. *Невинна априори* — вот чем защищается девушка против осуждения, изрекаемого мужчиной: «Виновна априори»... Вот где тайна достигает своего последнего состояния — ее содержание молекуляризуется, она стала молекулярной тогда, когда ее форма демонтировалась, дабы стать чистой подвижной линией — в том смысле, в каком можно сказать, что данная линия — это «тайна» художника или данной ритмической клетки, данной звуковой молекулы, которая не конституирует тему или форму, «тайной» музыканта.

Если и был когда-нибудь писатель, имевший дело с тайной, так это Генри Джеймс. В этом отношении он прошел

* Гинекей (греч. *gynaikeion* или *gynaikon*, от *gynaikeios* — женский, *гуне* — женщина) — 1) в Древней Греции женская половина в задней части дома: спальня хозяев, помещения для дочерей и рабынь; 2) в поздней Римской империи и Византии также государственные или частные мастерские (преимущественно ткацкие), где работали как женщины, так и мужчины-рабы. До X века славились гинекеи Константинополя, изготовлявшие шелковые ткани и парчу. — *Прим. пер.*

целую эволюцию, совершенствуя при том свое искусство. Ибо начал он с поиска тайны в содержаниях, даже незначительных, полуоткрытых, мимолетных. Затем он обращается к возможности бесконечной формы тайны, которая уже даже не требует содержания и захватила невоспринимаемое. Но он обратился к такой возможности лишь для того, чтобы задать вопрос: пребывает ли тайна в содержании или в форме? — и ответ уже дан: *ни то, ни другое*.⁶³ Джеймс — один из тех писателей, кто охвачен неодолимым становлением-женщиной. Он не прекращает преследовать свою цель, изобретая необходимые технические средства. Молекуляризировать содержание тайны, линеаризировать ее форму. Джеймс исследует все, от становления-ребенком тайны (всегда есть ребенок, раскрывающий тайны — *что знала Мэйзи*) до становления-женщиной тайны (тайна через прозрачность, которая не более чем чистая линия, едва оставляющая след от своего прохода, восхитительная *Дэзи Миллер**). Джеймс не так близок к Прусту, как говорят — именно он возвышается до крика: «Невиновна априори!» (Дэзи просила лишь немного уважения, ради этого она отдала бы свою любовь...) против «Виновна априори», обличающего Альбертину. Что принимается в расчет в тайне, так это не столько три ее состояния — детское содержание, мужская бесконечная форма, чисто женская линия, — сколько присоединенные к ним становления, становление-ребенком тайны, ее становление-женской, ее становление-молекулярной — там, где именно у тайны нет ни содержания, ни формы, где невоспринимаемое наконец

⁶³ Основываясь на примере текста Генри Джеймса «Фигура на ковре» Бернар Пенго [Bernard Pingaud] показывает, как тайна перескакивает от содержания к форме и избегает их обеих: *Du secret*, pp. 247–249. Этот текст часто комментируется с точки зрения психоанализа; см. прежде всего Ж.-Б. Понталис [J.-B. Pontalis], *Après Freud* Gallimard. Но психоанализ остается в плену у необходимо замаскированного содержания и необходимо символической формы (структура, отсутствие причины...) на том уровне, который определяет как бессознательное, так и язык. Вот почему в своих эстетических или литературных приложениях он упускает тайну у автора, так же как и тайну самого автора. То же верно и для тайны Эдипа — мы имеем дело с первыми двумя тайнами, но не с третьей, которая, однако, более важна.

* «*Что знала Мэйзи*», «*Дэзи Миллер*» — романы Генри Джеймса. — *Прим. пер.*

воспринимается, где есть скрытое, когда нечего больше скрывать. От серой эминенции к серой имманентности. *Эдип проходит через все три тайны*: тайну сфинкса, в чей ящик он проникает; тайну, наваливающуюся на него как бесконечная форма его собственной вины; и наконец, тайну в Колоне, которая делает его недосягаемым и сливается с чистой линией его ускользания и изгнания — его, кому нечего более скрывать, или кто, подобно старому актеру театра Но, имеет лишь маску девушки, дабы прикрыть отсутствие своего лица. Некоторые могут говорить и ничего не скрывать, не лгать — они суть тайны благодаря прозрачности, они непроницаемы, как вода, они поистине непостижимы, тогда как у других есть тайна, всегда имеющая брешь, даже если они окружают ее толстыми стенами или возвышают ее до бесконечной формы.

Воспоминания и становления, точки и блоки. — Почему есть столько становлений человека, но нет становления-человеком? Во-первых, потому что человек по преимуществу мажоритарен, тогда как становление миноритарно; любое становление — это становление-миноритарным, или меньшинством. Что касается мажоритарности, или большинства, то под ним имеется в виду не более обширное относительное количество, а определенность некоего состояния или эталона, в отношении которых как большие количества, так и малые называются миноритарными: белый-человек, взрослый-мужчина и т.д. Мажоритарность, или большинство, включает в себе состояние господства, но не наоборот. Речь не идет о знании того, больше ли москитов или мух, чем людей, а о знании, как «человек» конституировал некий эталон во вселенной, по отношению к которому он с необходимостью (аналитически) формирует большинство. Большинство в городе предполагает избирательное право, установленное не только среди тех, кто обладает этим правом, но и осуществляемое над теми, кто им не обладает, каким бы ни было их число; точно так же большинство в мире принимает уже данными право и

власть мужчины [l'homme].⁶⁴ В этом смысле женщины, дети, а также животные, растения и молекулы миноритарны. Возможно, даже особое положение женщины по отношению к мужчине-эталону объясняет тот факт, что становления, будучи миноритарными, всегда проходят через становление-женщиной. Важно не смешивать «миноритарное» как становление или процесс с «меньшинством [minorité]» как совокупностью или состоянием. Евреи, цыгане и так далее могут формировать меньшинства, или миноритарности, в тех или иных условиях; но этого еще недостаточно, чтобы превращать их в становления. Мы ретерриторизуемся, или позволяем себе ретерриторизоваться, на меньшинстве как состоянии; но в становлении мы детерриторизуемся. Даже чернокожие, говоря словами Черной Пантеры, должны становиться-чернокожими. Даже женщины должны становиться-женщиной. Даже еврей должен становиться-евреем (конечно, это больше чем состояние). Но если это так, то становление-евреем с необходимостью затрагивает как не-еврея, так и еврея. Становление-женщиной с необходимостью затрагивает как мужчин [l'hommes], так и женщин. В некоем смысле всегда именно «мужчина [l'homme]» является субъектом становления; но он является таким субъектом, только входя в становление-миноритарным, которое отрывает его от мажорной идентичности. Как в романе Артура Миллера «Фокус» или в фильме Лози [Losey] «Мистер Клейн» именно не-еврей становится евреем, захватывается, уносится этим становлением, когда отрывается от своего эталонного метра. И наоборот, если еврей сам обладает становлением-евреем, если женщина должна становиться-женщиной, если ребенок должен становиться-ребенком, если чернокожий должен становиться-чернокожим, то лишь в той мере, в какой меньшинство может служить активным посредником в становлении, но при условии, что оно, в свою очередь, перестает быть сово-

⁶⁴ По поводу неясности идеи большинства см. два знаменитых сюжета Эрроу: «парадокс Кондорсе» и «теорема о невозможности коллективного выбора».

купностью, определяемой по отношению к большинству. Становление-евреем, становление-женщиной и т.д. предполагают, таким образом, одновременность двойного движения — одно, благодаря которому термин (субъект) изымается из большинства, и другое, благодаря которому термин (посредник или агент) возникает из меньшинства. Есть неделимый и асимметричный блок становления, блок альянса: два «Мистера Клейна» — еврей и не-еврей — вступают в становление-евреем (то же происходит и в «Фокусе»).

Женщина должна стать-женщиной, но в становлении-женщиной человека вообще. Еврей становится евреем, но в становлении-евреем не-еврея. Становление миноритарным существует только благодаря детерриторизованным посреднику и субъекту, как его элементам. Нет иного субъекта становления, кроме детерриторизованной переменной большинства; нет иного посредника становления, кроме детерриторизованной переменной меньшинства. Нас может втянуть в становление что угодно, самое неожиданное, самое незначительное. Вы не отклонитесь от большинства без одной мелкой детали, которая начинает разрастаться и уносит вас. Именно поэтому герой «Фокуса» — средний американец — нуждается в очках, которые придают его носу едва уловимый семитский душок, именно «из-за очков» он втянут в странную авантюру становления-евреем не-еврея. Все что угодно может осуществить такое дело, но последнее всегда оказывается политическим делом. Становление-миноритарным, или меньшинством, — политическое дело, апеллирующее ко всей деятельности власти, к активной микрополитике. Это противоположность макрополитики и — даже — Истории, где речь идет о знании, как одержать победу над большинством или овладеть им. Как сказал Фолкнер, чтобы окончательно не превратиться в фашиста, нет другого выбора, как стать-чернокожим.⁶⁵ В отличие от

⁶⁵ Cf. Faulkner. *L'Intrus*, Gallimard, p. 264. Обсуждая белых южан после Гражданской войны (не только бедняков, но и старые зажиточные семьи), Фолкнер пишет: «Мы не в положении немца после 1933 года, у которого нет иного выхода, кроме как стать нацистом или евреем».

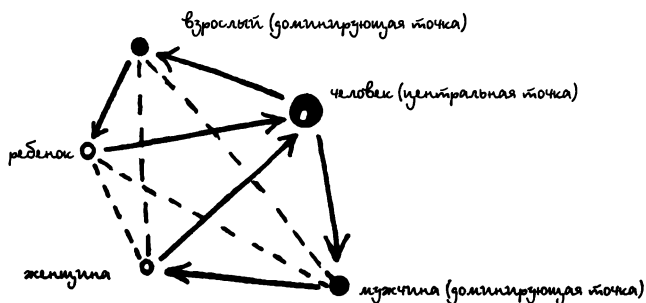
истории становление не мыслит в терминах прошлого и будущего. Становление-революционером остается безразличным к вопросам будущего и прошлого революции; оно проходит между ними. Каждое становление — это блок сосуществования. Так называемые общества без истории располагаются вне истории, но не потому, что они довольствуются воспроизводством неизменных моделей и руководствуются застывшей структурой, а потому, что являются обществами становления (военными обществами, тайными обществами и т.д.). Есть лишь история большинства, или меньшинства, определяемого по отношению к большинству. Но «как завоевать большинство» — это абсолютно вторичная проблема в отношении продвижений невозпринимаемого.

Давайте попытаемся сказать об этом как-то по-другому: не существует становления-человеком, ибо человек — по преимуществу молярная сущность, тогда как становления молекулярны. Функция лицевости показала нам, в какой форме человек учреждает большинство [majorité] или, скорее, эталон, обуславливающий большинство — белый, мужчина, взрослый, «разумный» и т.д., короче, некий средний европеец, субъект высказывания. Следуя закону древовидности, именно эта центральная Точка перемещается во всем пространстве или на всем экране и каждый подпытывает дистинктивную оппозицию, следуя которой удерживается характерная особенность лицевости — мужское—(женское), взрослое—(детское), белое—(черное, желтое, красное и т.д.), разумное—(животное). Итак, центральная точка — или третий глаз — обладает свойством организовывать бинарные распределения внутри дуальных машин, а также свойством воспроизводиться в главном термине оппозиции в то самое время, когда вся оппозиция в целом резонирует в центральной точке. Учреждение «большинства» как избытка. Таким образом, человек конституируется как гигантская память — через положение центральной точки, ее частоту, поскольку она с необходимостью воспроизводится каждой доминирующей точкой, и

резонанс, поскольку вся совокупность точек соотносится с ней. Любая линия, идущая от одной точки к другой в совокупности молярной системы и определяемая, таким образом, точками, отвечающими этим мемориальным условиям частоты и резонанса, будет являться частью древовидной системы.⁶⁶

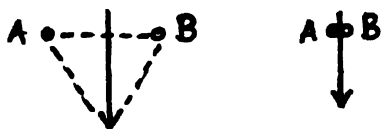
Именно подчиненность линии точке конституирует древовидность. Конечно же, ребенок, женщина, негр обладают воспоминаниями; но Память, собирающая эти воспоминания, — это, тем не менее, мажоритарная мужская инстанция, трактующая их как «детские воспоминания», как супружеские или колониальные воспоминания. Можно действовать скорее посредством соединения или расстановки смежных точек, нежели устанавливая отношения между удаленными друг от друга точками — тогда бы у нас были фантазмы, а не воспоминания. Так, у женщины может быть женская точка с примкнувшей к ней мужской точкой, а у мужчины — мужская точка с примкнувшей к ней женской точкой. Однако полагание таких гибридов не позволяет нам продвинуться слишком далеко в направлении подлинного становления (например, бисексуальность, как отмечают психоаналитики, вовсе не устраняет преобладание маскулинного начала или мажор-

⁶⁶ Подчинение линии точке совершенно очевидно в древовидных схемах — см.: Pacotte, Julien. *Le réseau arborescent*, Hermann, а о статусе центрированных или иерархических систем см.: Rosenthiehl, Pierre; Petitot, Jean. *Automate asocial et systemes acentres* // *Communications* n° 22, 1974. Древовидную схему большинства можно представить следующим образом:



ритарности «фаллоса»). Мы не порываем со схемой древо-видности, мы не достигаем ни становления, ни молекулярного, пока линия соотносится с двумя отстоящими друг от друга точками или компонуется из двух смежных точек. Линия становления не определяется ни точками, которые она соединяет, ни точками, которые ее компонуют; напротив, она проходит *между* точками, она возникает из середины, она убегает в направлении, перпендикулярном к прежде выделенным точкам, в направлении, трансверсальном к локализуемым отношениям между отстоящими или смежными точками.⁶⁷ Точка — это всегда точка происхождения. У линии становления нет ни начала, ни конца; ни отправления, ни прибытия; ни происхождения, ни предназначения; и говорить об отсутствии происхождения, возводить отсутствие происхождения в происхождение — это плохой каламбур. У линии становления есть только середина. Середина — это не нечто среднее; это нечто ускоренное, это абсолютная скорость движения. Становление всегда в середине; мы можем получить его только в середине. Становление — не один и не два, и не отношение между двумя; оно — промежуток, граница, линия ускользания или падения, перпендикулярная к двум. Если становление — блок (линия-блок), то именно потому, что оно полагает зону близости и неразличимости, по *man's land**, нелокализуемое отношение, сметающее две отстоящие или смежные точки, ставящее одну точку вблизи от другой — и такая близость-граница безразлична как к смежности, так и к расстоянию. На линии или блоке

⁶⁷ Линия становления по отношению к локализуемому соединению А и В (дистанция), или по отношению к их смежности:



* Ничейная, бесхозная, заброшенная, спорная земля; нейтральная зона; нео-пределенная область (англ.). — Прим. пер.

становления, объединяющей осу и орхидею, производится некая совместная детерриторизация — детерриторизация осу, в которой та становится освобожденной частью репродуктивного аппарата орхидеи, но также и детерриторизация орхидеи, где последняя становится объектом оргазма для осу, тоже освобожденном от своей репродуктивности. Сосуществование двух асимметричных движений, создающих блок на линии ускользания, куда врывается давления отбора. Линия, или блок, связывает осу с орхидеей не больше, чем соединяет или смешивает их — она проходит между ними, выводя их в совместную близость, где различимость точек исчезает. Система-линия (блок) становления противоположна системе-точке памяти. Становление — это движение, посредством которого линия освобождается от точки и обеспечивает неразличимые точки: ризома, противостояние древовидному, разрыв с древовидностью. *Становление — это антипамять.* Несомненно, здесь есть и молекулярная память, но как фактор интеграции в молярную и мажоритарную систему. Воспоминание всегда выполняет функцию ретерриторизации. Напротив, вектор детерриторизации вовсе не является неопределенным; он непосредственно захвачен на молекулярных уровнях, и чем более он захвачен, тем более детерриторизован — именно детерриторизация заставляет совокупность молекулярных компонент «держаться вместе». С этой точки зрения можно блок детства, или становление-ребенком, противопоставить *воспоминаниям детства*: «некий» молекулярный ребенок производится... «некий» ребенок сосуществует с нами в зоне близости или блоке становления на линии детерриторизации, уносящей нас обоих прочь — вопреки ребенку, каким мы были, которого мы вспоминаем или о котором мечтаем, молярному ребенку, чьим будущим является взрослость. «Это будет детством, но оно не должно быть моим детством», — пишет Вирджиния Вулф. (*Орlando* действует уже не с помощью воспоминаний, а с помощью блоков — блоков веков, блоков эпох, блоков природных царств, блоков

полов, формирующих столько становлений между вещами, или линий детерриторизации.)⁶⁸ Каждый раз, когда мы на предыдущих страницах использовали слово «вспоминать», мы были не правы; нам хотелось сказать «становиться», мы говорили о становлении.

Если линия противоположна точке (или блок противоположен воспоминанию, становление — памяти), то не абсолютным образом — точечная система включает определенное использование линий, а блок сам предписывает точке новые функции. Действительно, в точечной системе точка отсылает к линейным координатам. Мы не только представляем горизонтальную и вертикальную линии, но вертикаль смещается параллельно самой себе, а горизонталь налагается на другие горизонталы так, что каждая точка закреплена по отношению к двум базовым координатам, но также помечена на горизонтальной линии суперпозиции и на линии, или вертикальном плане, перемещения. Наконец, две точки соединяются, когда какая-нибудь линия прочерчивается от одной из них к другой. Система называется точечной постольку, поскольку ее линии будут рассматриваться как координаты или как локализуемые связи; например, древовидные системы или молярные и мемориальные системы вообще суть точечные. Память обладает точечной организацией потому, что каждое настоящее, одновременно, отсылает к горизонтальной линии *потока* времени (кинематика), которая движется от прежнего настоящего к актуальному, и к вертикальной линии *порядка* времени (стратиграфия), идущей от настоящего к прошлому, или к представлению о прежнем настоящем. Это, конечно же, базовая схема, которая не может быть развита далее без серьезных осложнений, но мы находим ее в представлениях искус-

⁶⁸ Woolf, Virginia. *Journal d'un écrivain*, 10—18, t. I, p. 238. То же самое применимо к произведениям Кафки, где детские блоки функционируют как противоположность детским воспоминаниям. Случай Пруста самый запутанный, поскольку он представляет смесь этих двух обстоятельств. Позиция психоаналитика в том, чтобы ухватить воспоминания и фантазии, но никогда детские блоки.

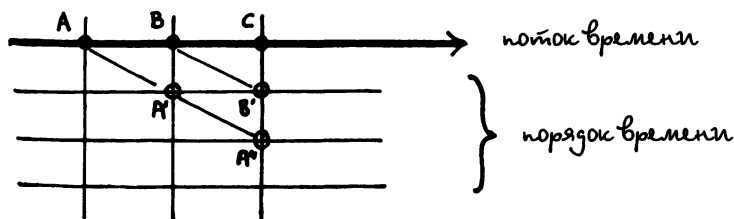
ства, формирующих «дидактическую» систему или, другими словами, мнемотехнику. Музыкальное представление прочерчивает горизонтальную, мелодическую линию, басовую линию, на которую накладываются другие мелодические линии, где точки задаются так, чтобы вступать от одной линии к другой в отношения контрапункта; с другой стороны, вертикальная, гармоническая линия (или план), которая перемещается вдоль горизонталей, но более не зависит от них, двигаясь сверху вниз и фиксируя аккорд, способный связываться со следующими аккордами. Живописное представление имеет аналогичную форму с присущими ей средствами: не только потому, что живопись обладает вертикалью и горизонталью, но и потому, что штрихи и цвета — каждое по-своему — отсылают к вертикалям перемещения и горизонталями суперпозиции (например, вертикаль и форма либо холодная, либо белая, либо световая, либо тональная; горизонталь и форма либо теплая, либо черная, либо хроматическая, либо модальная и т.д.). Если сослаться только на относительно недавние примеры, то это обстоятельство явно проступает в дидактических системах Кандинского, Клее и Мондриана, которые с необходимостью подразумевают сопоставление с музыкой.

Давайте суммируем главные характеристики точечной системы: 1) такие системы включают в себя две базовые линии — горизонтальную и вертикальную, — которые служат в качестве координат для выделения точек; 2) горизонтальная линия может налагаться вертикально, а вертикальная линия перемещается горизонтально так, что новые точки производятся или воспроизводятся в условиях горизонтальной частоты и вертикального резонанса; 3) от одной точки к другой может (или не может) быть прочерчена линия, но лишь как локализуемая связь; диагональные играют тогда роль связей между точками разных уровней или движений, устанавливая, в свою очередь, частоты и резонансы на основе этих точек переменных горизонта [horizon] или вертикали [verticon], смежных или

отдаленных точек.⁶⁹ Такие системы древесны, мемориальны [mémoires], молярны, структурны, это системы терри-торизации и ретерриторизации. Линия и диагональ остаются всецело подчиненными точке, ибо служат координатами для точки или локализуемыми связями для одной точки и другой, от одной точки к другой.

Точечной системе противостоят линейные — или, даже, мультилинейные — системы. Освобождать линию, освобождать диагональ — нет музыканта или художника, у которых не было бы такого намерения. Мы разрабатываем точечную систему или дидактическое представление, но лишь с целью разрушить его, подвергнуть землетрясению. Точечная система особенно интересна тогда, когда есть музыкант, художник, писатель или философ, противостоящие ей и даже фабрикующие ее, дабы противостоять ей, — фабрикующие как трамплин, чтобы прыгнуть дальше. История творится лишь теми, кто противостоит истории (а вовсе не теми, кто помещает себя в нее, или — даже — переделывает). И не ради провокации, а потому, что точечная система, которую они находят уже готовой или изобретают сами, должна допускать такую операцию — освободить линию и диагональ, рисовать линию вместо нанесения точки, производить невоспринимаемую диагональ, вместо того чтобы цепляться за вертикаль или горизонталь, пусть даже усложняя или переформируя их. Это всегда вновь сваливается в Историю, но оно никогда не исходит

⁶⁹ Например, в системе памяти формация памяти подразумевает диагональ, превращающую наличное А в представление А' по отношению к новому настоящему В, и в А'' — по отношению к С, и так далее:



из нее. История напрасно пытается порвать свою связь с памятью; она может усложнять схемы памяти более продуманными, накладывать друг на друга и перемещать координаты, подчеркивать соединения или углублять купюры. Однако граница проходит не здесь. Граница проходит не между историей и памятью, а между точечными системами «история—память» и мультилинейными или диагональными сборками, которые являются вовсе не вечными, а имеют дело со становлением — немного становления в чистом трансисторическом состоянии. Не бывает акта творчества, который не был бы трансисторическим и не исходил бы из того, что за его спиной, или из того, что проходило бы через освобожденную линию. Ницше противопоставляет историю не вечному, а субисторическому и сверхисторическому: Несвоевременное — другое имя для эвонности, становления, невинности становления (другими словами, забывание против памяти, география против истории, карта против кальки, ризома против древесности). «Неисторическое подобно атмосфере, в которой одна лишь жизнь может давать ростки и с гибелью которой она должна исчезнуть... Что мог бы делать человек, если бы он сначала не вступил в эту нереальную область неисторического?»⁷⁰ Творения подобны мутантным абстрактным линиям, освободившимся от задачи представлять мир именно потому, что собирают новый тип реальности, которую история может лишь вновь схватить и поместить в точечные системы.

Когда Булез делается историком музыки, то для того, чтобы показать — совершенно по-разному в каждом случае, — как крупный музыкант изобретает и проводит что-то вроде горизонтального между гармоническим вертикальным и мелодическим горизонтом. И каждый раз это — иное горизонтальное, иная техника и созидание. Тогда по такой трансверсальной линии, являющейся на

⁷⁰ Фридрих Ницше. *Несвоевременные размышления, «О пользе и вреде истории для жизни»*, § 1.

самом деле линией детерриторизации, движется звуковой блок, у которого больше нет точки происхождения, ибо он всегда и уже посредине этой линии; у него нет больше вертикальных и горизонтальных координат, ибо он творит свои собственные координаты, и он более не формирует локализуемые связи от одной точки к другой, ибо пребывает в «непульсирующем времени»: неритмический детерриторизованный блок, отказывающийся от точек, координат и меры — как пьяный корабль, который сам смешивается с линией или расчерчивает план консистенции. Скорости и медленности внедряются в музыкальную форму, принуждая ее порой к пролиферации, к линейным микропролиферациям, а порой к угасанию, к звуковому аннулированию, инволюции — или к обоим сразу. Музыкант прежде всего может сказать: «Я ненавижу памяти, я ненавижу воспоминание», и это потому, что он утверждает могущество становления. Образцовый случай такой диагонали, такой линии-блока мы можем найти в венской школе. Но также мы могли бы сказать, что венская школа обнаруживает новую систему детерриторизации, точек, вертикалей и горизонталей — систему, которая располагает ее в Истории. Другая попытка, другой творческий акт приходят потом. Важно, что любой музыкант всегда поступает именно так: чертить свою диагональ — какой бы хрупкой она ни была — вне точек, вне координат и локализуемых связей, дабы заставить плыть звуковой блок по освобожденной, сотворенной линии и отпустить в пространство этот подвижный и мутантный звуковой блок, некую этовость (например, хроматизм, скопления и сложные ноты, а также все ресурсы и возможности полифонии, и т.д.).⁷¹ Мы могли говорить о

⁷¹ Относительно всех этих тем см. у Пьера Булеза: 1) как трансверсальное каждый раз стремится ускользнуть от горизонтальных и вертикальных координат музыки, даже прочерчивая иногда «виртуальные линии», *Relevés d'apprenti*, Ed. du Seuil, pp. 230, 290–297, 372; 2) об идее звукового блока или «блока длительности» в отношении такого трансверсального см.: *Penser la musique aujourd'hui*, Gonthier, pp. 59–63; о различии между точками и блоками «точечными совокупностями» и «агрегатными совокупностями» с варьирующей индивидуальностью см.: *Sonate*

«наклонных векторах» по поводу органа. Диагональное часто создается из линий и чрезвычайно сложных звуковых пространств. Не в этом ли состоит тайна маленькой фразы или ритмического блока? Несомненно, данный пункт обретает тогда новую и по существу созидательную функцию — речь уже не идет просто о неизбежной судьбе, восстанавливающей точечную систему; напротив, именно теперь точка оказывается подчиненной линии, и именно она маркирует пролиферацию линии или ее внезапное отклонение, ее ускорение, замедление, ярость или агонию. «Микроблоки» Моцарта. Случается даже, что блок редуцируется к точке, как к единственной ноте (точка-блок). Си Берга в «Воццеке», Ля Шумана. Почтение к Шуману, безумие Шумана — виолончель бредет через клетчатую ткань оркестровки и прочерчивает свою диагональ, по которой проходит детерриторизованный звуковой блок; итак, что-то вроде крайне сдержанной ритурнели «обрабатывается» весьма продуманной мелодической линией и полифонической архитектурой.

В мультилинейной системе все происходит одновременно — линия освобождается от точки как начала [*origine*]; диагональ освобождается от вертикали и горизонтали как координат; и трансверсаль освобождается от диагонали как локализуемой связи между двумя точками; короче, блок-линия проходит посреди звуков и продвигает сама себя с помощью своей собственной нелокализуемой середины. Звуковой блок — это *интермеццо*. Тело без органов, антипа-

que vt veux-tu? // *Médiations* n° 7, 1964. У Булеза часто появляется ненависть памяти; см.: *Eloge de l'amnesie* // *Musique en jeu*, no.4, 1971, и *J'ai horreur du souvenir* // *Roger Desormiere et son temps*, Ed. du Roshier. Ограничиваясь современными примерами, мы находим аналогичные заявления у Стравинского, Кейджа, Берно [Berio]. Конечно же, существует музыкальная память, привязанная к координатам, которая тренируется в социальном окружении (подъем, отход ко сну, отбой). Но восприятие музыкальной «фразы» в меньшей степени обращается к памяти, даже к памяти типа воспоминания, нежели чем к расширению или сжатию восприятия типа неожиданности. Надо было бы исследовать, как каждый музыкант запускает в движение подлинные *блоки забывания* — например, то, что Барраке называет «тонкими слоями забывания» и «отсутствующими развитиями» у Дебюсси (*Debussy*, pp. 169–171). Мы можем сослаться и на обширное исследование Даниэля Шарля [Daniel Charles], *La musique et l'oubli* // *Traverses* n° 4, 1976.

мать, проходящая через музыкальную организацию, и тем более звуковую: «Шумановское тело не стоит на месте. <...> Интермеццо единосушно всему его творчеству. <...> В пределе есть только интермеццо. <...> Шумановское тело знает только раздвоения; оно не конструируется, оно расходится, постоянно расходится по воле аккумуляции интерлюдий. <...> Шумановский батман обезумел, но он также и кодирован <...> и именно потому, что паника ударов явно удерживается в пределах разумного языка, который она обычно не замечает. <...> Давайте вообразим в тональности два противоположных — и к тому же сопутствующих — статуса: с одной стороны экран, <...> язык, предназначенный артикулировать тело в соответствии с известной организацией, <...> с другой стороны, тональность, противоречиво, становится служанкой, искусной в ударах, которые на другом уровне она намеревается приручить».⁷²

Не строго ли то же самое имеет место в живописи? Действительно, точка вовсе не создает линию; именно линия уносит детерриторизованную точку, уносит ее своим внешним влиянием; тогда линия идет не от одной точки к другой, но *между точками* она убегает в ином направлении, которое делает точки неразличимыми. Линия становится диагональной, которая освобождается от вертикального и горизонтального. Но диагональное уже стало трансверсальным, полудиagonalным или свободным прямым; изломанной и угловатой линией или кривой — всегда посередине самой себя. Между белой вертикалью и черной горизонталью лежит серое Клее, красное Кандинского, пурпурное Моне; каждое формирует блок цвета. Линия без истока, ибо начинается она всегда вне картины, удерживающей ее только посередине, линия без координат, ибо она сама смешивается с планом консистенции, по которому плывет и который создает; линия без локализуемой связи, ибо она утратила не только свою репрезентативную функцию, но и всякую функцию, направленную на очерчивание какой угодно

⁷² Barthes, Roland. Rasch // *Langue, discours, société*, Ed. du Seuil, pp. 217–228.

формы, — линия тут стала абстрактной, по-настоящему абстрактной и мутантной, стала визуальным блоком; и точка в этих условиях вновь обнаруживает свои созидательные функции как точка-цвет или точка-линия.⁷³ Линия пребывает между точками, посреди точек, и более не движется от одной точки к другой. Она более не очерчивает образ. «Он не рисовал вещей, он рисовал между вещами». Нет более ложной проблемы в живописи, чем проблемы глубины и, в особенности, перспективы. Ибо перспектива — это лишь исторический способ *оккупации* диагоналей и трансверселей, линий ускользания, другими словами, способ ретерриторизации подвижного визуального блока. Мы говорим «оккупировать» в смысле осуществлять оккупацию, фиксировать память и код, назначать функцию. Но линии ускользания, трансверсали способны и ко многим другим функциям кроме этой молярной функции. Линии ускользания далеки от того, чтобы обеспечивать представление глубины, и именно они изобретают сверх того возможность такой репрезентации, которая оккупирует их лишь на мгновение, на данный момент. Перспектива и даже глубина суть ретерриторизация линий ускользания, которые одни создают картину, унося ее дальше. В частности, перспектива, называемая центральной, сталкивает множественность ускользаний и динамизм линий в точечную черную дыру. И наоборот, верно, что проблемы перспективы вызвали все изобилие творческих линий, все запускание визуальных блоков, в тот самый момент, когда эти пробле-

⁷³ Между художниками есть много различий во всех отношениях, но также есть и общее движение — см.: Кандинский, «Точка, линия, поверхность», и Клее, *Théorie de l'art moderne*, Gonthier. Цель заявлений, подобных декларациям Мондриана об исключительной ценности вертикального и горизонтального, состоит в показе условий, когда вертикального и горизонтального достаточно для создания трансверсального, кое на самом деле даже не может быть нарисовано; например, координаты неравной толщины пересекаются внутри рамы и распространяются за пределы рамы, открывая «динамические оси», идущие трансверсально (см. комментарий Мишеля Бютора, *Répertoire III*, «Le carré O et son habitant», Ed. de Minuit). Мы также можем посоветовать статью Мишеля Фрейда о линии Поллока (*Trois peintres américains // Peindre*, 10–18) и обсуждение Генри Миллером линии Нэша (*Virage a quatre-vingts*, Livre de Poche).

мы претендовали вернуть себе господства. Не вовлечена ли живопись — в каждом из своих творческих актов — в становление столь же интенсивное, как и музыка?

Стать музыкой. — Что касается западной музыки (хотя другие музыкальные традиции в других условиях стоят перед аналогичной проблемой и решают ее иначе), то мы пытались определить блок становления на уровне выражения, определить блок выражения — изящество трансверсалий, которые непрестанно уклоняются от координат или точечных систем, функционирующих в тот или иной момент как музыкальные коды. Само собой разумеется, что блок содержания соответствует такому блоку выражения. На самом же деле это даже не является соответствием; подвижного «блока» не было бы, если бы само музыкальное содержание (ни сюжет, ни тема) не переставало взаимодействовать с выражением. Так с чем же имеет дело музыка, что же это за содержание, неотделимое от звукового выражения? Трудно сказать, но это что-то вроде: *какой-то* ребенок умирает, *какой-то* ребенок играет, женщина рождает, женщина умирает, птица прилетает, птица улетает. Мы хотим сказать, что в музыке нет случайных тем, даже если умножать примеры, а еще меньше в ней имитирующих исполнений; любые исполнения существенны. Почему ребенок, женщина, птица? Потому что музыкальное выражение неотделимо от становления-женщиной, становления-ребенком, становления-животным, конституирующих его содержание. Почему ребенок умирает, а птица падает, будто пронзенная стрелой? Потому что всякой убегающей линии, всякой линии ускользания или линии творческой детерриторизации присуща «опасность» — поворот к разрушению, к уничтожению. Мелисанда*, женщина-ребенок, тайна, двойная смерть («бедная малышка вернулась теперь»). Музыка никогда не бывает трагичной, музыка радостна. Но случается, что она с необходимостью сообщает привкус смерти; немного радо-

* Персонаж оперы Дебюсси «Пелей и Мелисанда». — *Прим. пер.*

сти, чтобы умереть счастливым, исчезнуть. Она возникает в нас не в силу инстинкта смерти, но благодаря измерению, свойственному ее звуковой сборке, ее звуковой машине — момент, который нужно смело встретить, когда трансверсальное превращается в линию уничтожения. Мир и ожесточение.⁷⁴ Музыка жаждет разрушения, разрушения любого рода, угасания, поломки, расстраивания. Не в этом ли состоит ее потенциальный «фашизм»? Каждый раз, когда музыкант сочиняет *In memoriam**, речь идет вовсе не о вдохновляющем мотиве и не о воспоминании, но, напротив, о становлении, смело встречающемся с собственной гибелью, рискующим упасть ради нового возрождения — становление-ребенком, становление-женщиной, становление-животным, ибо все эти становления суть содержание самой музыки, и продолжаются они вплоть до смертного исхода.

Мы могли бы сказать, что *ритурнель* — это собственно музыкальное содержание, блок содержания, свойственный музыке. Ребенок успокаивается в темноте, или хлопает в ладоши, или изобретает способ хождения, приспособлявая последнее к шумам на тротуаре, или напевает «Fort—Da» (психоаналитики крайне мало говорят о Fort—Da, когда рассматривают последнее как фонологическую оппозицию или символическую компоненту бессознательного-языка, тогда как Fort—Da является ритурнелью). Тра-ля-ля. Женщина напевает, «я слышал ее пение тихим низким голосом под собственное дыхание». Птица кидается в собственную ритурнель. Любая музыка пересечена песнями птиц — тысячами разных способов — от Джаннекуина [Jannequin] до Мессиана. Фрр, фрр. Музыка пересечена блоками ребенка, блоками женственности. Музыка пересечена всеми меньшинствами и, однако, komponует безмерную мощь. Детская,

⁷⁴ «Было что-то напряженное, усиленное в точке нетерпимого гнева, в его жизнерадостной груди, когда он играл тонко закрученную мирную музыку. Чем более изысканна эта музыка, тем более совершенно он исполнял ее в полнейшем блаженстве; и в то же время тем более интенсивным было безумное раздражение внутри него» (Lawrence. *La verge d'Aaron*, Gallimard, p. 16).

* В память, памяти... (лат.). — Прим. пер.

женская, этническая и территориальная ритурнели, ритурнели любви и разрушения — рождение ритма. Произведение Шумана сделано из ритурнелей, из детских блоков, которые он подвергает крайне особой обработке — его собственный вид становления-ребенком, его собственный вид становления-женщиной, Клара. Мы могли бы установить каталог трансверсальных или диагональных применений ритурнели в истории музыки — все Детские игры и «Kinderszenen», все птичьи песни. Но такой каталог был бы бесполезен, ибо он, по-видимому, напоминал бы размножение примеров, касающихся тем, сюжетов и мотивов, тогда как речь, фактически, идет о содержании, самом существенном и необходимом в музыке. Мотивом ритурнели может быть беспокойство, страх, радость, любовь, работа, прогулка, территория... но сама ритурнель и есть содержание музыки.

Мы вовсе не говорим, что ритурнель — это исток [origine] музыки или что музыка начинается с нее. На самом деле неизвестно, когда начинается музыка. Ритурнель, скорее, — средство воспрепятствовать музыке, предотвратить или пройти мимо нее. Но музыка существует потому, что также существует и ритурнель, потому что музыка принимает ритурнель, удерживает ее как содержание в форме выражения, потому что формирует блок с ней, дабы унести куда-то еще. *Детская ритурнель, не являясь музыкой, формирует блок со становлением-ребенком музыки* — и опять же, такая асимметричная композиция нужна. «Ах, я скажу вам, мама» у Моцарта, ритурнели Моцарта. Тема в До, за которой следуют двенадцать вариаций; не только каждая нота темы удваивается, но и тема внутри удваивается. Музыка подчиняет ритурнель такой весьма специфической трактовке диагонали или трансверсали, она вырывает с корнем ритурнель из ее территориальности. Музыка — это творческое, активное деяние, состоящее в детерриторизации ритурнели. Если ритурнель по существу территориальна, если она детерриторизует или ретерриторизует, то музыка делает ее детерриторизованным содержанием для детерриторизирующей формы выражения. Да простят нас за подоб-

ную фразу — тому, что делают музыканты, следовало бы быть музыкальным, следовало бы быть написанным в музыке. Дадим вместо этого изобразительный пример: «Колыбельная» Мусоргского в «Песнях и плясках смерти» представляет истощенную мать, сидящую рядом с больным ребенком; ее сменяет посетительница — Смерть, которая поет колыбельную, где каждый куплет заканчивается навязчивой, спокойной ритурнелью, повторяющимся ритмом с одной нотой, точкой-блоком — «Баю-баюшки-баю» (дело не в том, что ребенок умирает, но детерриторизация ритурнели удваивается Смертью, собственной персоной заменяющей мать).

Не напоминает ли это ситуацию живописи, и как? Мы никоим образом не верим в систему прекрасных искусств, мы полагаемся на крайне разнообразные проблемы, которые находят свои решения в разнородных искусствах. Для нас Искусство — ложный концепт, исключительно номинальный; это, однако, вовсе не устраняет возможности одновременного использования разных искусств внутри заданной множественности. Живопись вписывается в «проблему», являющуюся проблемой *лица-пейзажа*. Проблема музыки совершенно иная — это проблема *ритурнели*. Каждое искусство возникает в определенный момент при определенных условиях на линии своих проблем; но между указанными двумя искусствами невозможно никакое структурное или символическое соответствие, если только мы не сведем их к точечным системам. Что касается проблемы пейзажа, то мы различили следующие три состояния: (1) семиотики телесности, силуэтов, поз, цветов и линий (такие семиотики в избытке уже присутствуют среди животных; голова — часть тела, а тело обладает средой, биотопом как собственным коррелятом; эти системы уже демонстрируют весьма чистые линии, как, например, в поведении «былинки»); (2) организация лица, белая стена—черные дыры, лицо—глаза или лицо в профиль и косоглазие (такая семиотика лицевости обладает организацией пейзажа как своим коррелятом; олицевление полного

тела и опейзаживание всех сред, центральная европейская точка — Христос); (3) детерриторизация лиц и пейзажей в пользу головок самонаведения, чьи линии более не очерчивают никакой формы и не формируют никакого контура, и чьи цвета более не распределяют пейзаж (такая живописная семиотика заставляет лицо и пейзаж ускользать: например, то, что Мондриан корректно называет «пейзажем» — это чистый, абсолютно детерриторизованный пейзаж). Ради удобства мы представляем три последовательных и отличающихся друг от друга состояния, но только предварительно. Мы не можем решить, пишут ли животные картины, даже если они не рисуют на полотнах и даже когда гормоны индуцируют их цвета и линии — тут четкое различие между животными и человеком имеет слабое основание. И наоборот, мы должны сказать, что живопись вовсе не начинается с так называемого абстрактного искусства, но воссоздает очертания и позы телесности и уже полностью действует в организации лица-пейзажа (как художники «разрабатывают» лик Христа и заставляют его разбегаться во всех смыслах-направлениях за пределы религиозного кода). Живопись никогда не прекратит стремиться к детерриторизации лиц и пейзажей — либо через реактивацию телесности, либо благодаря освобождению линий или цветов, либо же посредством и того и другого одновременно. В живописи много становлений-животным, становлений-женщиной и становлений-ребенком.

У музыки иная проблема, если верно, что ее проблема — в ритурнели. Детерриторизация ритурнели, изобретение линий детерриторизации для ритурнели подразумевает процедуры и конструкции, которые не имеют ничего общего с процедурами и конструкциями живописи (даже меньше, чем те странные аналогии, какие порой стараются установить художники). Опять же, неясно, можно ли провести границу между животными и человеком: не существует ли, как полагает Мессиян, музыкальных птиц, отличающихся от немusикальных? Действительно ли птичья ритурнель с необходимостью территориальна, и не исполь-

зуется ли она уже для крайне тонкой детерриторизации, для избирательных линий ускользания? Различие между шумом и звуком явно не является основанием для определения музыки или даже для различения между музыкальными и немusическими птицами, скорее, это *работа ритурнели*: остается ли ритурнель территориальной или детерриторизирующей, или же она уносится прочь в подвижном блоке, прочерчивающем трансверсаль через все координаты — и через любого посредника между ними обоими? Музыка — это как раз приключение ритурнели: способ, каким музыка вновь впадает в ритурнель (в нашей голове, в голове Свана, в головках псевдосамонаведения на телевидении и радио, в знаковом крупном музыканте, в песенке); способ, каким музыка захватывает ритурнель, делает последнюю все более и более сдержанной, сведенной к нескольким нотам, а затем налагает ее на творческую линию, столь богатой, что ей не видно ни начала, ни конца...

Леруа-Гуран установил различие и корреляцию между двумя полюсами, «рукой-инструментом» и «лицом-языком». Но у него речь шла о разведении формы содержания и формы выражения. Но теперь, когда мы рассматриваем выражения, удерживающие свое содержание внутри себя, нужно создать иное различие: лицо с его визуальными коррелятами (глазами) отсылает к живописи, а голос — со своими аудиальными коррелятами — отсылает к музыке (ухо само по себе — это ритурнель, оно оформлено подобно ритурнели). Музыка сначала является детерриторизацией голоса, который становится все менее и менее привязанным к языку, так же как живопись — это детерриторизация лица. Следы вокабельности действительно могут быть отмечены в следах лицевости, как в чтении слов по лицу; однако у них нет соответствия, и его все меньше и меньше в той мере, в какой они уносятся относительными движениями музыки и живописи. Голос значительно опережает лица, крайне опережает. Озаглавить музыкальное произведение термином *Лицо* — это, по-видимому, в данном отношении величайший

из звуковых парадоксов.⁷⁵ Единственный способ «размежевать» две проблемы — проблему живописи и проблему музыки — предполагает принятие критерия, внешнего к фикции системы прекрасных искусств, и он состоит в том, чтобы в обоих случаях сравнивать мощь детерриторизации. Ибо похоже, что музыка обладает куда более мощной детерриторизирующей силой, более интенсивной и более коллективной одновременно, и голос, по-видимому, обладает куда большей мощью детерриторизации. Возможно, именно эта черта объясняет коллективное очарование, вызываемое музыкой, и даже возможностью только что упомянутой «фашистской» опасности — музыка, барабаны, трубы втягивают народы и армии в гонку, которая может свести всех в пропасть куда в большей мере, чем знамена и флаги, ибо последние суть картины, средства классификации и воссоединения. Возможно, что музыканты индивидуально в большей степени реакционеры, чем художники, они более религиозны, менее «социальны»; тем не менее они владеют коллективной силой, бесконечно большей, чем могущество живописи: «Хор, формируемый собранием людей, является крайне мощной связью...» Такую мощь всегда можно объяснить материальными условиями — музыкальными излучением и восприятием, но обратное предпочтительнее; скорее именно эти условия объясняются силой музыкальной детерриторизации. Можно было бы сказать, что живопись и музыка не будут соответствовать одним и тем же порогам — с точки зрения мутантной абстрактной машины, — или что у машины живописи и музыкальной машины не один и тот

⁷⁵ И хотя Берио дает иные указания, нам кажется, что его произведение «Лицо» сочинено согласно трем состояниям лицевости — сначала множественность звуковых тел и силуэтов, затем на краткий момент симфоническая и доминантная организация лица, и, наконец, испускание головок самонаведения во всех направлениях. Однако здесь речь не идет о музыкальном «имитировании» лица и его аватар, или о голосе, конституирующем метафору. Вместо этого звуки ускоряют детерриторизацию лица, сообщая ему собственно акустическую мощь, и лицо музыкально реагирует, индуцируя в свою очередь детерриторизацию голоса. Это молекулярное лицо, произведенное электронной музыкой. Голос предшествует лицу, сам формирует лицо на какой-то момент и переживает его, увеличиваясь в скорости — при условии, что он неартикулирован, а-сигнифицирован, а-субъективен.

же индекс. Как заметил Клее — самый музыкальный из художников — есть какое-то «запаздывание» живописи по отношению к музыке.⁷⁶ Вот почему, возможно, многие предпочитают живопись, вот почему эстетика принимает живопись как свою привилегированную модель — конечно же, она «пугает» меньше. Даже ее отношения к капитализму и социальным формациям не одного и того же типа.

Несомненно, в каждом случае мы, одновременно, должны задействовать факторы территориальности, детерриторизации, а также ретерриторизации. Ритурнели ребенка и животного кажутся территориальными: значит, они — не «музыка». Но когда музыка схватывает ритурнель, дабы детерриторизовать ее и детерриторизовать голос, когда она схватывает ритурнель, дабы заставить ее сплестись в ритмический звуковой блок, когда ритурнель «становится» Шуманом или Дебюсси, тогда все это происходит благодаря системе мелодических и гармонических координат, где музыка ретерриторизируется в себе в качестве музыки. Наоборот, мы увидим, что в определенных случаях даже животная ритурнель обладает силами детерриторизации куда более интенсивными, чем очертания животных, их позы и цвета. Таким образом, нужно учесть много факторов: относительные территоризации, соответствующие детерриторизации, а также коррелятивные ретерриторизации; и еще несколько типов ретерриторизаций: например, внутренних — таких как музыкальные координаты, или внешних — таких как вырождение ритурнели в надоедливый напев или вырождение музыки в дешевую песенку. То, что нет детерриторизации без специфической ретерриторизации, должно побудить нас продумать иной способ корреляции между молярным и молекулярным — никакой поток, никакое становление-молекулярным не ускользают от молярной формации без того, чтобы молярные компоненты сопровождали их,

⁷⁶ Grohmann. *Paul Klee*, Flammarion: «Несколько парадоксально он замечает, что, возможно, это было его благой судьбой — развивать [живопись], по крайней мере в формальном плане, до стадии, достигнутой в музыке Моцартом» (pp. 66–67).

формировали переходы или воспринимаемые метки для невоспринимаемых процессов.

Становление-женщиной, становление-ребенком музыки появляются и в проблеме машинизации голоса. Механизировать голос — первая музыкальная операция. Известно, что для западной музыки — в Италии и в Англии — эта проблема была разрешена двумя разными способами: с одной стороны, фальцет тенора-альтино, который поет «выше собственного голоса» или чей голос исходит из пазух в задней части горла и неба, не полагаясь на диафрагму и проходя через бронхи; с другой стороны, голос живота кастратов, «более сильный, более объемный, более томный», как если бы они сообщали материальную плоть чему-то невоспринимаемому, неосязаемому, воздушному. Доминик Фернандез написал на эту тему прекрасную книгу, где он, удачно воздерживаясь от какого-либо психоаналитического обсуждения связи между музыкой и кастрацией, показывает, что музыкальная проблема машинерии голоса с необходимостью подразумевает отмену громадной дуальной машины, то есть молярной формации, которая распределяет голос между «мужчиной или женщиной».⁷⁷ Для музыки более нет мужчин или женщин. Но нет уверенности, что достаточно мифа об Андрогине, к которому обращается Фернандез. Речь идет не о мифе, а о реальном становлении. Сам голос должен достичь становления-женщиной или становления-ребенком. В этом состоит изумительное содержание музыки. Как замечает Фернандез, речь больше не идет об имитации женщины или ребенка, даже если поет именно ребенок. Как раз музыкальный голос сам становится ребенком в тот момент, когда ребенок становится звуковым, чисто звуковым. Никакой ребенок никогда не смог бы проделать такое, а если и проделывает, то, стано-

⁷⁷ Fernandez, Dominique. *La rose des Tudors*, Julliard, 1970 (и роман *Porporino*, Grasset). Фернандез ссылается на поп-музыку как на робкий возврат к великой английской вокальной музыке. Необходимо было бы принять во внимание техники циркулярного дыхания, при которых мы поем как вдыхая, так и выдыхая, или техники звуковой фильтрации, использующие резонансные зоны (нос, лоб, скулы — собственно музыкальное использование лица).

вась также чем-то иным, нежели ребенок, становясь ребенком иного мира, странным образом небесного и чувственного. Короче, детерриторизация является двойной — голос детерриторизируется в становлении-ребенком, а ребенок, каковым становится голос, сам является детерриторизованным, непорожденным, становящимся. «Ребенок отрастил крылья», — сказал Шуман. То же зигзагообразное движение мы находим в становлении-животным музыки — Марсель Морэ показывает, что музыка Моцарта пересекается становлением-лошадью или становлением-птицей. Но музыкант вовсе не развлекается, «создавая» лошадь или птицу. Звуковой блок обладает становлением-животным как своим содержанием, только если животное одновременно становится — в звучности — чем-то иным, чем-то абсолютным, ночью, смертью, радостью — и конечно, не всеобщностью или упрощением, а этовостью, вот этой смертью, вот этой ночью. Музыка берет в качестве своего содержания становление-животным; но лошадь, например, выступает тут как выражение тихих ударов литавр, легких, как крылатые сандалии, исходящие с небес или из ада; а птица обретает выражение в *группетто*, аподжатурах, нотах стаккато, трансформирующих их в столь многочисленные души.⁷⁸ Именно эти акценты формируют диагональ у Моцарта, прежде всего акценты. Если мы не следуем за акцентами, если мы не соблюдаем их, мы вновь сваливаемся в относительно бедную точечную систему. Человеческая музыка детерриторизируется в птице, но как раз сама птица детерриторизируется, «преображается» в некую звездную птицу, которая пребывает в становлении в не меньшей мере, чем то, что становится вместе с ней. Капитан Ахав вовлечен в неодолимое становление-китом вместе с Моби Диком; но животное, Моби Дик, одновременно должно стать невыносимой чистой белизной, чистой белой яркой стеной, чистой серебряной нитью, которая растягивается и размягчается «как» девушка, или скручивается подобно хлысту, или вздымается как кре-

⁷⁸ More, Marcel. *Le dieu Mozart et le monde des oiseaux* (Paris: Gallimard, 1971).

постной вал. Возможно ли, чтобы литература иногда нагоняла живопись или даже музыку? И чтобы живопись нагоняла музыку? (Морэ ссылается на птиц Клее, но, в свою очередь, он не понимает, что говорит Мессиян относительно птичьего пения.) Никакое искусство не является подражательным, искусство не может быть подражательным или изобразительным — предположим, художник «представляет» птицу; фактически, становление-птицей может иметь место лишь в той мере, в какой сама птица на пути к тому, чтобы стать чем-то иным, чистой линией и чистым цветом. Итак, подражание, или имитация, саморазрушается, если имитатор, сам не зная об этом, входит в становление, сопрягается со становлением, не зная того, что он имитирует. Мы имитируем, только если промахиваемся, когда промахиваемся. Художник и музыкант не имитируют животное, они становятся животным именно тогда, когда животное становится тем, чем хотели стать они — на самом глубоком уровне своего согласия с Природой.⁷⁹ Становление всегда двойное: то, чем кто-то становится, становится в неменьшей степени, чем тот, кто становится, — формируется блок, по существу подвижный, никогда не пребывающий в равновесии. Совершенный квадрат, именно совершенный квадрат Мондриана балансирует на одном углу и производит диагональ, приоткрывающую его закрытие, унося прочь ту и другую сторону.

Становление никогда не является имитирующим. Когда Хичкок создает птицу, он вовсе не воспроизводит птичий крик, он производит электронный звук, как поле интенсивности или волну вибраций, он производит непрерывную вариацию, подобную ужасной угрозе, которую мы испытываем внутри себя.⁸⁰ И это применимо не только к «искусствам» — некоторые страницы «Моби Дика» также соответ-

⁷⁹ Как мы увидели, имитация может быть понята либо как сходство терминов, находящихся свою кульминацию в архетипе (серия), либо как соответствие отношений, конституирующих символический порядок (структура); но становление не сводимо ни к тому, ни к другому. Концепт мимесиса не только недостаточен, он радикальным образом ложен.

⁸⁰ Truffaut, François. *Le cinéma selon Hitchcock*, Seghers, pp. 332–333 («Я принял драматическое отклонение от правила: не иметь крика птиц вообще...»).

ствуют чистому живому опыту двойного становления, и в ином случае не были бы столь прекрасны. Тарантелла — странный танец, который заговаривает и изгоняет дьявола из предполагаемых жертв укуса тарантула; но когда жертва осуществляет свой танец, то можем ли мы сказать, что она имитирует паука, идентифицируется с ним — даже в идентификации «агональной», «архетипической» борьбы? Нет, ибо жертва, пациент, больной становятся танцующим пауком лишь в той мере, в какой предполагается, что сам паук становится чистым очертанием, чистым цветом и чистым звуком, в которых танцует другое.⁸¹ Мы вовсе не имитируем; мы конституируем блок становления, имитация вмешивается только для пригонки блока, как в последнем прикосновении, подмигивании, подписи. Но все важное произошло в другом месте — в становлении-пауком танца при условии, что паук сам стал звуком и цветом, оркестром и картиной. Возьмем, к примеру, распространенного в некоторых областях фольклорного героя, Алексиса Рысака [Alexis le Trotteur], который бегал «как» лошадь с чрезвычайной скоростью, подстегивал себя коротким хлыстом, тихо ржал, становился на дыбы, бил копытом, опускался на колени, ложился на землю на манер лошади, состязался с лошадьми в беге, а также с велосипедами и поездами. Он имитировал лошадь, чтобы заставить людей смеяться. Но у него была куда более глубокая зона близости и неразличимости. Источники говорят нам, что он никогда не был так похож на лошадь, как когда играл на гармошке — именно потому, что уже не нуждался во вторичной и регулирующей имитации. Говорят, будто он называл гармошку своим «крушением-губ» и удваивал весь мир этим инструментом, удваивал время аккорда, навязывал нечеловеческий темп.⁸² Но более

⁸¹ Ср.: E. de Martino. *La terre du remords*, Gallimard, pp. 142–170. Мартино, однако, поддерживает интерпретацию, основанную на архетипе, имитации и идентификации.

⁸² Ср.: Larouche. J.C. *Alexis le trotteur*, Ed. du Jour, Montréal. Подтвердим цитатой: «Он не играл музыку ртом, как любой из нас; у него была огромная губная гармоника, на которой мы не смогли даже сыграть... Когда он играл с нами, он мог бы решить внезапно удвоить нас. Другими словами, он удваивал темпы аккорда; тогда как мы играли один темп, он играл два, что требовало чрезвычайного дыхания» (p. 95).

всего Алексис становился лошадыю, когда лошадиные удила становились гармошкой, а лошадиная рысь шла в два раза быстрее. И то же самое следует всегда говорить о самих животных. Ибо животные обладают не только цветами и звуками, и они вовсе не ждут художника или музыканта, дабы создавать живопись или музыку — то есть чтобы войти в определенные становления-цветами и становления-звуками (мы увидим это в другом месте) с помощью компонент детерриторизации. Этология достаточно продвинута, чтобы суметь подступиться к этой области.

Мы вовсе не боремся за эстетику качеств, как если бы чистое качество (цвет, звук и т.д.) содержало тайну безмерного становления, как в «Филебе». Как нам кажется, чистые качества все еще являются точечными системами — они суть реминисценции, они либо трансцендентные и уплывающие воспоминания, либо ростки фантазма. Напротив, функционалистская концепция усматривает в качестве только функцию, которую оно выполняет в точной сборке или в переходе от одной сборки к другой. Именно качество должно рассматриваться в становлении, которое захватывает его, а не становление во внутренних качествах, обладающих ценностью архетипов и филогенетической памяти. Например, белизна, цвет схватываются в становлении-животным, которое может быть становлением-животным художника или капитана Ахава и, одновременно, в становлении-цветом, становлении-белизной, которое может быть становлением-животным самого животного. Белизна Моби Дика — особый показатель его становления-отшельником. Животные цвета, силуэты и ритуурнели суть индексы становления-женатым или становления-социальным, которые подразумевают также компоненты детерриторизации. Качество функционирует только как линия детерриторизации сборки или в движении от одной сборки к другой. Именно в этом смысле блок-животное — это нечто иное, нежели филогенетическая память, а блок детства — нечто иное, нежели воспоминание детства. У Кафки качество никогда не функциони-

рует ради самого себя или как воспоминание, скорее, оно выправляет сборку, в которой детерриторизируется, и наоборот, которой оно дает линию детерриторизации — так, колокольня детства переходит в башню замка, принимает ее на уровне своей зоны неразличимости («неопределенные просветы между зубцами»), чтобы бросить ее на линию ускользания (как если бы жилец «провалился» через крышу). Если для Пруста все более запутанно и менее здраво, то именно потому, что для него качества сохраняют дух воспоминания и фантазма; однако у него они также являются функциональными блоками, действующими не как память или фантазм, а как становление-ребенком, становление-женщиной, как компоненты детерриторизации, переходящие от одной сборки к другой.

К теоремам простой детерриторизации, с коими мы встречались ранее (при обсуждении лица), мы теперь можем добавить другие теоремы, касающиеся двойной обобщенной детерриторизации. — **5 теорема.** Детерриторизация всегда двойная, потому что она подразумевает сосуществование главной переменной и малой переменной, которые становятся в одно и то же время (в становлении оба термина не меняются местами, не отождествляются, а вовлекаются в асимметричный блок, в котором один меняется не меньше, чем другой, и который конституирует их зону близости). — **6 теорема.** Несимметричная двойная детерриторизация позволяет задать детерриторизирующую силу и детерриторизованную силу, даже если одна и та же сила переходит от одной ценности к другой в зависимости от «момента» или рассматриваемого аспекта; более того, менее детерриторизованное всегда запускает в движение детерриторизацию наиболее детерриторизирующего, которое затем еще сильнее реагирует на первое. — **7 теорема.** Детерриторизирующее играет относительную роль выражения, а детерриторизованное — относительную роль содержания (как это хорошо видно в искусствах); итак, не только содержание не имеет ничего общего с внешними субъектом или объектом, ибо оно формирует асимметрич-

ный блок с выражением, но и детерриторизация ведет выражение и содержание к такой близости, где их различие перестает быть существенным или где детерриторизация создает их неразличимость (пример: звуковая диагональ как музыкальная форма выражения и становление-женщиной, становление-ребенком, становление-животным как собственно музыкальные содержания, ритуранели). — *8 теорема.* У одной сборки вовсе не те же самые силы или даже скорости детерриторизации, что у другой; каждый раз следует исчислять индексы и коэффициенты согласно рассматриваемым блокам становления и мутациям абстрактной машины (например, некая медленность, некая вязкость живописи по отношению к музыке; но, более того, мы не можем прочертить символическую границу между человеком и животным, мы можем только исчислять и сравнивать мощности детерриторизации).

Фернандес показал присутствие становлений-женщиной, становлений-ребенком в вокальной музыке. А после он протестует против подъема инструментальной и оркестровой музыки; в особенности он критикует Верди и Вагнера за то, что те ресексуализовали голос, что они воссоздали бинарную машину в ответ на требования капитализма, который хочет, чтобы мужчина был мужчиной, а женщина — женщиной, каждый со своим собственным голосом: голос-Верди, голос-Вагнер ретерриторизируются на мужчине и женщине. Он объясняет преждевременное исчезновение Россини и Беллини — отставку одного и смерть другого — их безнадежным ощущением того, что становления голосов оперы больше уже невозможны. Однако Фернандес не спрашивает, под чьим покровительством и благодаря каким новым типам диагоналей. Прежде всего верно, что голос перестает машинизироваться сам по себе благодаря простому инструментальному сопровождению; он перестает быть стратой или линией выражения, зависящей от самой себя. Но почему? Музыка преодолела новый порог детерриторизации, за которым именно инструмент машинизирует голос, а голос и инструмент

находятся *на одном и том же плане* — порой в отношении конфронтации, порой в отношении замещения, порой — обмена и взаимодополнительности. Возможно, именно в романсе, и в особенности в романсе Шумана, впервые появляется такое чистое движение, помещающее голос и фортепиано на один и тот же план консистенции, делающее фортепиано инструментом бреда — в направлении, которое подготавливает вагнеровскую оперу. Даже случай подобный случаю Верди — часто говорилось, что его опера остается лиричной и вокальной, несмотря на разрушение ее бельканто и несмотря на важность оркестровки в финальных произведениях; голоса все еще инструментализуются и особенно одерживают победу в тесситуре и протяженности (производство баритона-Верди, сопрано-Верди). Однако речь не идет ни о каком-либо композиторе, в особенности не о Верди, ни о том или ином жанре, а о самом общем движении, которое аффектирует музыку — медленная мутация музыкальной машины. Если голос обнаруживает бинарное распределение полов, то в отношении бинарных группирований инструментов в оркестровке. В музыке всегда есть молярные системы, служащие в качестве координат; но когда на уровне голоса мы находим дуальную систему, то такое молярное и точечное распределение является условием новых молекулярных потоков, которые затем пересекаются, сопрягаются и сметаются в неких инструментальности и оркестровке, стремящихся стать частью самого произведения. Голоса могут ретерриторизоваться на распределении обоих полов, но непрерывный звуковой поток все еще проходит между ними как в разнице потенциалов.

Это второй пункт, который следовало бы отметить — если принципиальной проблемой, касающейся такого нового порога детерриторизации голоса, уже не является проблема собственно вокального становления-женщиной или становления ребенком, то именно потому, что она является теперь проблемой становления-молекулярным, где сам голос оказывается инструментальным. Конечно же,

становления-женщиной или ребенком остаются столь же важными и даже приобретают новую значимость, но лишь в той степени, в какой высвобождают новую истину — то, что производилось, уже было молекулярным ребенком, молекулярной женщиной... Достаточно задуматься о Дебюсси — становление-ребенком и становление-женщиной у него интенсивны, но неотделимы теперь от молекуляризации мотива, подлинной «химии», достигаемой через оркестровку. Ребенок и женщина неотделимы теперь от моря и молекулы воды (именно «Сирены» представляют одну из первых законченных попыток интегрировать голос в оркестр). Уже Вагнера упрекали за «элементарный» характер его музыки, за ее акватизм или «атомизацию» мотива, «подразделение на бесконечно малые единицы». Это становится даже еще яснее, если мы поразмыслим о становлении-животным — птицы все еще также важны, но, тем не менее, господство птиц, как кажется, замещается эпохой насекомых с его куда большими молекулярными вибрациями, стрекотанием, шуршанием, жужжанием, щелканьем, скрипением и царапанием. Птицы вокальны, но насекомые инструментальны — барабаны и скрипки, гитары и цимбалы.⁸³ Становление-насекомым сменило становление-птицей или формирует блок с ним. Насекомое ближе к тому, чтобы сделать услышанной ту истину, что все становления молекулярны (см. волны Мартено, элек-

⁸³ Tétrý, Andrée. *Les outils chez les êtres vivants*, Gallimard, глава о «музыкальных инструментах» с библиографией: труд и движение животного могут создавать шум, но мы говорим о музыкальном инструменте тогда, когда животные используют аппараты, чья единственная функция — производить звуки (музыкальный характер — в той степени, в какой он детерминируем — крайне вариабелен, как, например, вокальный аппарат птиц; среди насекомых существуют подлинные виртуозы). С этой точки зрения мы различаем: 1) стрекочущие аппараты типа струнного инструменты, трения одной жесткой поверхности о другую (насекомые, ракообразные, пауки, скорпионы, педипальпы); 2) ударные аппараты типа барабана, цимбалы или ксилофона, прямое действие мускулов на вибрирующей мембране (сверчки и некоторые рыбы). Существует не только бесконечное разнообразие аппаратов и звуков, а некоторые животные к тому же варьируют свой ритм, тональность, интенсивность в соответствии с еще более непостижимыми потребностями. «Затем это стало песней гнева, беспокойства, страха, триумфа, любви. Когда есть острое возбуждение, ритм стрекотания варьируется: у *Crioceris lillii* частота трений меняется от 228 ударов в минуту до 550 или более».

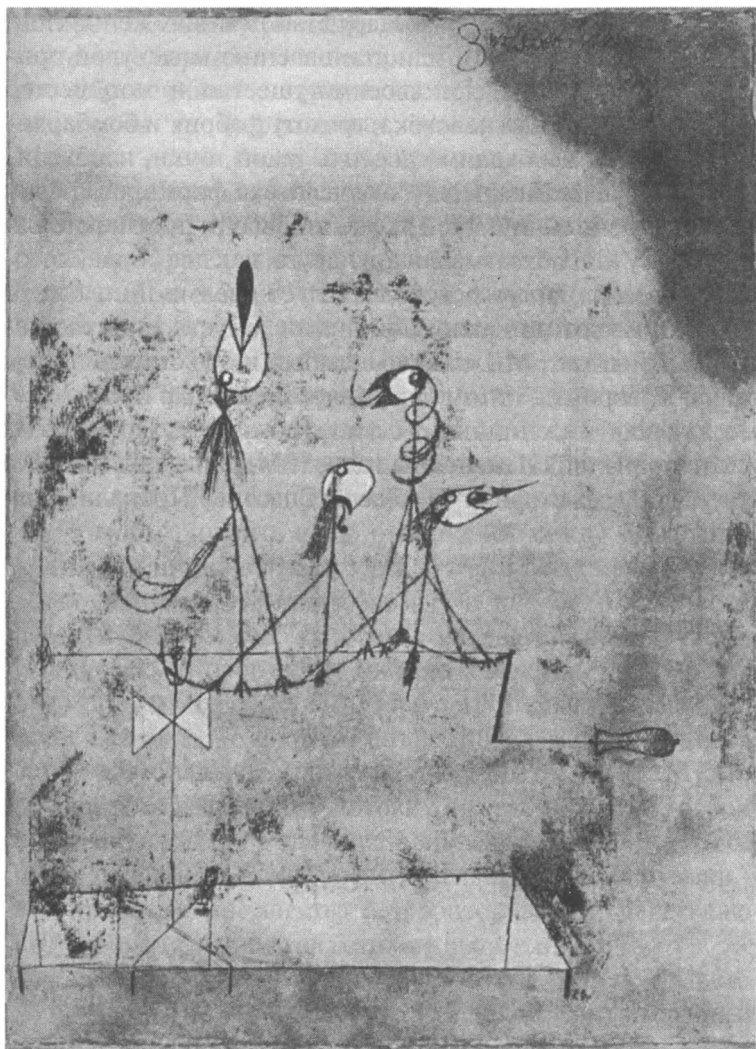
тронную музыку). Дело в том, что молекулярное способно заставить *элементарное* коммуницировать с *космическим* — именно потому, что оно вызывает разложение формы, которое связывает самые разнообразные долги́ты и шири́ты, самые вариабельные скорости и медленности, и которое обеспечивает непрерывность, растягивая вариацию далеко за ее формальные пределы. Вновь откройте Моцарта — его «тема» была вариацией с самого начала. Варез объясняет, что звуковая молекула (блок) разделяется в элементах, располагаемых различными способами согласно вариабельным отношениям скорости, а также в столь многих волнах или потоках акустической энергии, озаряющих всю вселенную в целом, линию панического ускользания. Именно так он населил пустыню Гоби насекомыми и звездами, формирующими становление-музыкой мира, диагональ для космоса. Мессиа́н представляет множественные хроматические длительности — в соединении, — «чередую наидлиннейшие и наикратчайшие ради того, чтобы внушить идею отношений между бесконечно долгими длительностями звезд и гор и бесконечно короткими длительностями насекомых и атомов: космическая элементарная мощь, которая... наследует, прежде всего, ритмическую работу».⁸⁴ То, что вынуждает музыканта открывать птиц, также вынуждает его открывать стихийное и космическое. То и другое создают блок, волокно универсума, диагональное или сложное пространство. Музыка посылает молекулярные потоки. Конечно же, как говорит Мессиа́н, музыка не является привилегией человека — вселенная, космос сделаны из ритурнелей; проблема музыки — это проблема могущества детерриторизации, пересекающей природу, животных, стихии и пустыни точно так же, как и человека. Речь скорее идет о том, что не является музыкальным в человеке и что уже является музыкальным в природе. Более того, то, что этологи открывают у живот-

⁸⁴ Brelet, Gisèle. // *Histoire de la musique*, II, Pléiade, «Musique contemporaine en France», p. 1166.

ных, Мессиян обнаружил в музыке: у человека почти нет никакой привилегии — кроме как в средствах сверхкодирования — создавать точечные системы. Это даже противоположность привилегии; благодаря становлению-женщиной, становлению-ребенком или становлению-молекулой природа противопоставляет свое могущество и могущество музыки — машинам человека, грохоту фабрик и бомбардировщиков. И необходимо достичь такой точки, необходимо, чтобы немзыкальный звук человека формировал блок со становлением-музыкой звука, чтобы они противостояли друг другу или обхватывали друг друга, как два борца, которые более не могут освободиться от взаимной хватки и соскальзывают по наклонной линии: «Пусть хор представит выживших... Мы слышим слабый шорох цикад. Затем трели жаворонка, потом пение пересмешника. Кто-то смеется, какая-то женщина рыдает... Громкий мужской крик: “Мы пропали!” И женский голос: “Мы спасены!” Крики рвутся со всех сторон: “Пропали! Спасены! Пропали! Спасены!”»⁸⁵.

⁸⁵ Текст Генри Миллера для Вареза. *Le cauchemar climatisé*, Gallimard, pp. 189–199.

11. 1837 — О ритурнели



Пауль Клее. *Щебечущая машина*

I. Охваченный страхом в темноте ребенок напевает, чтобы успокоиться. Он бродит, вдруг останавливается — и все по воле песенки. Потерянный, в меру своих сил, он защищается и, с грехом пополам, ориентируется благодаря песенке. Такая песенка напоминает грубый набросок убаюкивающего и стабилизирующего, спокойного и устойчивого центра внутри хаоса. Ребенок может даже подпрыгивать, когда поет, ускорять или замедлять темп; но как раз сама песня — уже прыжок: она перескакивает от хаоса к началам порядка в хаосе и каждое мгновение рискует развалиться. Всегда есть какое-то звучание в нити Ариадны. Или в пении Орфея.

II. И наоборот, теперь мы дома. Но свой дом заранее не дан — прежде надо нарисовать круг, очерчивающий такой сомнительный и хрупкий центр, надо организовать ограниченное пространство. Сюда вмещивается много весьма разных компонент, всевозможные вехи и метки. То же верно и для предыдущего случая. Но теперь такие компоненты используются ради организации пространства, а не ради мгновенного определения центра. И силы хаоса — настолько, насколько возможно, — удерживаются снаружи, а внутреннее пространство защищает герминальные силы ради выполнения поставленной задачи или ради сооружения, каковое еще надо сотворить. Тут есть и вся деятельность, связанная с отбором, уничтожением, удалением, дабы глубинные земные силы, внутренние силы земли не были утоплены, дабы они могли сопротивляться хаосу, а может, даже что-то заимствовать у последнего через фильтр или уже сито очерченного пространства. Итак, голосовые или звуковые компоненты весьма важны — стена звука, или в любом случае стена, хотя бы некоторые кирпичи которой состоят из звука. Ребенок напевает, чтобы накопить силы для домашних заданий, требуемых в школе. Домохозяйка напевает или слушает радио, когда организует антихаотические силы своей работы. Радио или телевизор подобны звуковой стене вокруг каждого домашнего очага, они помечают территории (а сосед протестует, когда слишком громко).

Ради возвышенных сооружений — вроде основания города или изготовления Голема — мы чертим круг, но, главным образом, мы ходим по кругу будто в детском хороводе, соединяя согласные и ритмические гласные, соответствующие внутренним силам творения как различным частям организма. Ошибка в скорости, ритме или гармонии была бы катастрофой, ибо она погубила бы и творца, и творение, вернув силы хаоса.

III. И тут наконец-то мы приоткрываем круг, разрываем его, впускаем кого-то, взываем к кому-то, или сами выходим вовне, устремляемся дальше. Но круг мы рвем не там, откуда давят прежние силы хаоса, а в другой области, создаваемой самим кругом. Как если бы круг стремился к самому себе, дабы открыться будущему, в зависимости от работающих сил, каковые он скрывает. На сей раз для того, чтобы воссоединиться с силами будущего, силами космоса. Мы устремляемся вперед, подвергаясь опасности импровизаций. Но импровизировать — значит воссоединяться с Миром или смешиваться с ним. По ходу песенки мы выбираемся из собственного дома. На моторных, жестовых, звуковых линиях, отмечающих привычный бег ребенка, прививающихся к «линиям инерции» или начинающих почковаться — с разными петлями, узлами, скоростями, движениями, жестами и звучаниями.¹

Тут нет трех последовательных моментов эволюции. Это три аспекта одной и той же вещи — Ритурнели. Мы находим их в сказках — страшных или добрых, — а также в романсах. У ритурнели три аспекта, она синхронизирует или смешивает их — вот-вот, вот-вот, вот-вот. Вот-вот хаос станет огромной черной дырой, и мы стараемся зафиксировать в качестве центра зыбкую точку. Вот-вот мы организуем вокруг этой точки спокойное и устойчивое «хождение» (а не форму) — черная дыра стала домом. Вот-вот мы привьем

¹ Ср.: Deligny, Fernand. *Voix et voir // Cahiers de l'immuable* — о том, как у аутичных детей «линия инерции» отклоняется от обычного пути и начинает «вибрировать», «скакать», «резко менять направление»...

такому хождению некий отрыв от черной дыры. Именно Пауль Клее глубже всех показал данные три аспекта и их связь. По живописным причинам он называет черную дыру «серой точкой». Но именно серая точка, прежде всего, является нелокализуемым, лишенным измерений хаосом — силой хаоса, спутанным пучком блуждающих линий. Затем точка «перепрыгивает саму себя» и излучает размерностное пространство с его горизонтальными слоями, с вертикальными срезами, неписанными привычными линиями, со всей земной внутренней силой (такая сила появляется даже в самой расхлябанной походке, в атмосфере или в воде). Таким образом, серая точка (черная дыра) перепрыгивает из одного состояния в другое и представляет уже не хаос, а жилище или дом. Наконец, точка устремляется куда-то и выходит из самой себя под действием странствующих центробежных сил, развертывающихся до космических сфер: «Конвульсивно мы пытаемся улететь от земли, и уже на следующем уровне мы действительно обитаем выше нее <...> под властью центробежных сил, торжествующих над гравитацией».²

Роль ритурнели часто подчеркивается: последняя территорияльна, она — территориальная сборка. Птичья песнь — птица поет, дабы таким образом пометить свою территорию... Греческие лады, индусские ритмы сами являются территориальными, провинциальными, региональными. Ритурнель может принимать на себя и другие функции — любовные, профессиональные, общественные, литургические или космические — она всегда уносит землю с собой, она обладает землей, даже духовной землей как тем, что ей сопутствует, она пребывает в сущностном отношении с Рождением, с Родным. Музыкальный «ном»* — мотивчик, мелодическая формула, взыскующая признания и остающаяся опорой или поч-

² Klee, Paul. *Théorie de l'art moderne*, pp. 56, 27. См. комментарий Maldiney, *Regard, parole, espace, L'Age d'homme*, pp. 149–151.

* «Ном» — округ или район со своим политическим и религиозным центром, войском, символическим изображением и богами (*др.-гр.*). — *Прим. пер.*

вой полифонии (*cantus firmus**). *Nomos* — как привычный, неписанный закон — неотделим от распределения пространства, от распределения в пространстве, тут он — *этнос*, но этнос — это также и Жилище.³ Порой мы движемся от хаоса к порогу территориальной сборки — направленные компоненты, инфрасборка. Порой мы организуем сборку — размерностные компоненты, интрасборка. Порой мы покидаем территориальную сборку ради иных сборок или ради чего-то еще в другом месте — интерсборка, компоненты перехода или даже ускользания. И все три сборки вместе. Силы хаоса, земные силы, космические силы — все это сталкивается друг с другом и сходится в территориальной ритурнели.

Из хаоса рождаются *Среды* и *Ритмы*. Этим озабочены очень древние космогонии. Нет хаоса без направленных компонент, являющихся его собственными экстазами. В других обстоятельствах мы видели, как все виды сред — причем каждая определяется некой компонентой — скользят по отношению друг к другу, друг над другом. Каждая среда вибрирует, то есть она — блок пространства-времени, конституируемый периодическим повторением компонент. Итак, у живого есть внешняя среда, отсылающая к материалам; есть внутренняя среда, отсылающая к komponующим элементам и скомпонованным субстанциям; есть промежуточная среда, отсылающая к мембранам и пределам; есть аннексированная среда, отсылающая к источникам энергии и действиям-восприятиям. Каждая среда кодирована, причем код определяется периодическим повторением; но любой код постоянно транскодируется или преобразуется. Транскодирование или преобразование —

* *Cantus firmus* — (кантус фирмус — букв. «прочный напев»): ведущая мелодия, часто заимствованная, которая составляет основу полифонической композиции (лат.). — Прим. пер.

³ О музыкальном ноте, об этосе, почве или земле, особенно в полифонии, см.: Samson, Joseph. // *Histoire de la musique*, Pléiade, t. I, pp. 1168–1172. Мы также можем сослаться на роль «Макамат» в арабской музыке, который является, сразу, и модальным типом, и мелодической формулой: Jargy, Simon. *La musique arabe*, P. U. F., pp. 55 sq.

вот способ, каким одна среда служит основанием для другой или, напротив, надстраивается над другой средой, рассеивается или конституируется в ней. Но понятие среды вовсе не унитарно — не только живое непрестанно переходит из одной среды в другую, но и среды переходят одна в другую, они по существу коммуницируют. Среды открыты хаосу, угрожающему им истощением или вторжением. Ритм — вот быстрый ответ среды хаосу. Что является общим для хаоса и ритма, так это промежуток — промежуток между двумя средами, ритм-хаос или хаосмос: «*Между ночью и днем, между тем, что конструируется, и тем, что растет естественно, между мутациями от неорганического к органическому, от растения к животному, от животного к человеческому роду — причем эта серия вовсе не является постепенным развитием...*» В таком промежутке хаос становится ритмом — не то чтобы неумолимо, но у него есть шанс им стать. Хаос — не противоположность ритма, он, скорее, — среда всех сред. Ритм есть тогда, когда есть транскодируемый переход от одной среды к другой, когда есть коммуникация сред, координация разнородных пространств-времен. Истощение, смерть и вторжение, получающие ритмы. Хорошо известно, что ритм — не метр и не темп, пусть даже нерегулярные метр или темп: нет ничего менее ритмичного, чем военный марш. Там-там — это не 1–2, вальс — не 1–2–3, музыка не является бинарной или тринитарной, у нее, скорее, — 47 изначальных темпов, как у турок. Дело в том, что метр — регулярный или нет — предполагает кодированную форму, чья единица меры может меняться, но в некоммуницирующей среде, тогда как ритм — это Неравное или Несоизмеримое, всегда подвергающееся транскодированию. Метр является догматическим, но ритм — критическим, он связывает вместе критические моменты, или сам связывает себя в переходе от одной среды к другой. Он действует не в однородном пространстве-времени, но благодаря разнородным блокам. Он меняет направление. Башляр вправе сказать, что «*связь между подлинно активными моментами (ритм) всегда осу-*

ществляется на плане, отличающемся от плана, где выполняется действие»⁴. У ритма никогда нет такого плана, как ритмичный. Дело в том, что действие происходит в некоей среде, тогда как ритм локализуется между двумя средами или между двумя меж-средами, как между двумя водами, между двумя часами, в сумерках, в *twilight* или *zwielicht**, в этоности [Нессцэité]. Менять среду, взяв ее за живое, — это и есть ритм. Приземляться, приводняться, улетать... Тут мы легко избегаем апории, угрожавшей ввести метр в ритм, несмотря на все декларации о намерениях — действительно, как можно провозглашать уже установленное неравенство ритма и в то же время допускать предполагаемые вибрации, периодические повторения компонент? Дело в том, что среда действительно существует благодаря периодическому повторению, но повторению, у коего нет иного эффекта, кроме производства различия, благодаря которому среда переходит в другую среду. Именно различие является ритмическим, а не повторение, которое, однако, его производит; но, отметим сразу, продуктивное повторение не имеет ничего общего с репродуктивным метром, или мерой. Таково было бы «критическое разрешение антиномии».

Есть и особо важный случай транскодирования — оно происходит тогда, когда код не довольствуется тем, что принимает или получает по-иному закодированные компоненты, но принимает или получает фрагменты другого кода как такового. Первый случай отсылал бы к отношению лист—вода, но второй — к коммуникации паук—муха. Нередко отмечалось, что паутина предполагает в коде паука последовательность кода самой мухи; мы бы сказали, что у паука в голове есть муха, «мотив» мухи, «ритурнель» мухи. Сопричастность может быть взаимной, как у осы и орхидеи, львиного зева и шмеля. Якоб фон Икскуль создал восхитительную теорию таких транскодирований, обнару-

⁴ Bachelard. *La dialectique de la durée*, Boivin, pp. 128–129.

* Сумерки (англ., нем.). — Прим. пер.

живая компоненты, подобные мелодиям в контрапункте, каждая из которых служит мотивом для другой мелодии и наоборот — Природа как музыка.⁵ Каждый раз, когда есть транскодирование, можно быть уверенным, что здесь присутствует не простое добавление, а учреждение нового плана как прибавочной стоимости. Ритмический или мелодический план, прибавочная стоимость перехода или моста, — но оба случая никогда не чисты, на самом деле они перемешиваются (например, отношение листа не вообще с водой, а с дождем).

Все-таки мы еще не обладаем *Территорией*, которая не являлась бы ни средой, ни даже добавленной средой, ни ритмом или переходом между средами. Территория — это, фактически, некий акт, затрагивающий среды и ритмы, «территоризирующий» последние. Территория — продукт территоризации сред и ритмов. Когда среды и ритмы территорируются? или: Какая разница между нетерриториальным и территориальным животными? — это один и тот же вопрос. Территория берет взаймы у всех сред, вгрызается в них, телесно берет их в руки (хотя и остается уязвимой для вторжений). Она строится с помощью аспектов или порций сред. Она включает в себя внешнюю, внутреннюю, опосредующую и аннексированную среды. Она обладает внутренней зоной обитания или прибежища, внешней зоной собственных владений, более или менее сжимающимися пределами или мембранами, промежуточными или даже нейтральными зонами, резервами или энергетическими аннексиями. Она по существу отмечена «индексами», и такие индексы заимствованы у компонент всех сред — материалы, органические продукты, состояния мембраны или кожи, источники энергии, конденсированные восприятие-действие. Территория появляется именно тогда, когда компоненты среды перестают быть направленными, становясь размерностными, когда они перестают быть функциональными, становясь выразительными. Террито-

⁵ J. von Uexküll. *Mondes animaux et monde humain*, Gonthier.

рия появляется тогда, когда есть выразительность ритма. Именно появление материй выражения (качества) будет определять территорию. Возьмем, к примеру, цвет птиц или рыб: цвет — это состояние мембраны, само отсылающее к внутренним гормональным состояниям; но цвет остается функциональным и переходным, пока связан с типом действия (сексуальность, агрессивность, ускользание). Напротив, он становится выразительным, когда обретает темпоральное постоянство и пространственный диапазон, создающие его территориальную или, скорее, територизующую метку — сигнатуру.⁶ Речь не о том, чтобы знать, возобновляет ли цвет свои функции или выполняет новые внутри самой территории. Это очевидно; но подобная реорганизация функции с самого начала предполагает, что рассматриваемая компонента стала выразительной, а ее смысл, с такой точки зрения, состоит в том, чтобы пометить территорию. Один и тот же вид птиц может включать и окрашенные особи, и неокрашенные; у окрашенных птиц есть территория, тогда как белесые живут стаями. Мы знаем о роли мочи или экскрементов в пометке территории; но именно территориальные экскременты — например, у кролика — обладают особым запахом, вызываемым специальными анальными железами. Многие обезьяны, когда служат часовыми, показывают свои ярко окрашенные половые органы — пенис становится неким выразительным и ритмическим носителем цвета, помечающим границы территории.⁷ Компонента среды становится, одновременно, качеством и свойством, *quale* и *pro-*

⁶ Лоренц К. *Агрессия*. М.: Прогресс, 1994, с. 26–28: «Их великолепное одеяние настолько постоянно <...> Распределением красок, наталкивающим на сравнение с плакатом (крупные, контрастные пятна), коралловые рыбы отличаются не только от большинства пресноводных. <...> Как расцветка коралловой рыбы, так и песня служат для того, чтобы издали предупредить своих сородичей — ибо обращаются только к ним, — что здешний участок уже нашел себе крепкого и воинственного хозяина».

⁷ Eibl-Eibesfeldt, I. *Ethologie*, Ed. Scientifiques: об обезьянах, с. 449; о кроликах, с. 325; и о птицах, с. 151: «Пятнистые зяблики с чрезвычайно пестрым оперением держатся друг от друга на некотором расстоянии, тогда как белые особи рассаживаются на жердочках куда ближе».

prium. Во многих случаях мы констатируем скорость такого становления, с какой быстротой конституируется территория в то самое время, как отбираются или производятся выразительные качества. Птица *Scenopoietes dentirostris* устанавливает свои метки, каждое утро срывая и сбрасывая с дерева листья, которые затем переворачивает так, чтобы их более бледная внутренняя сторона контрастировала с землей — инверсия производит материю выражения...⁸.

Территория не первична по отношению к качественной метке, именно метка создает территорию. Функции на территории не первичны, прежде они предполагают выразительность, создающую территорию. Действительно, в этом смысле территория и выполняемые в ней функции суть продукты территоризации. Территоризация — это действие ритма, ставшего выразительным, или действие ставших качественными компонент среды. Пометка территории размерностна, но она — не метр-мера, а ритм. Она сохраняет самые общие характеристики ритма, которые должны записываться на ином плане, нежели план ее действий. Но теперь различие между обоими планами проходит между территоризующими выражениями и территоризуемыми функциями. Вот почему мы не можем последовать за тезисом Лоренца, *который намерен положить агрессивность в основу территории* — территория была бы тогда только лишь продуктом психогенетической эволюции инстинкта агрессии, начиная с того момента, где этот инстинкт стал бы интраспецифическим, обернулся против определенных видов животных. Территориальное животное направило бы собственную агрессивность против других членов своего вида; это то, что сообщает видам селективное преимущество распределяться в пространстве, где каждый — индивид или группа — обладает своим местом.⁹ Такой двусмысленный тезис, несущий в себе опасные политические

⁸ Ср.: Thorpe, W.H. *Learning and Instinct in Animals*, Methuen and Co, p. 364.

⁹ Лоренц постоянно стремится к тому, чтобы представить территориальность как результат внутренней специфической агрессии — см.: pp. 45, 48, 57, 161 и т.д.

резонансы, кажется нам необоснованным. Ясно, что агрессивная функция обретает новый ход, когда становится интраспецифической. Но подобная реорганизация функции лишь предполагает территорию, но не объясняет ее. Внутри территории происходят многочисленные реорганизации, затрагивающие к тому же сексуальность, охоту и т.д., а также имеют место даже новые функции — такие как строительство жилища. Но эти функции организуются или создаются только потому, что они *территорируются*, а не наоборот. Фактор *T*, то есть *территорирующий* фактор, должен быть найден где-то еще — а именно в становлении-выразительными ритма или мелодии, то есть в возникновении присущих качеств (цвет, запах, звук, силуэт...).

Можно ли такое становление, такое возникновение назвать Искусством? Территория была бы тогда эффектом искусства. Художник — первый человек, ставящий межевой столб или создающий метку... Отсюда вытекает коллективная или индивидуальная собственность, даже когда она стоит на службе войны и притеснения. Собственность, прежде всего, является художественной, ибо искусство — это, прежде всего, *афиша* или *плакат*. Как говорит Лоренц, коралловые рыбки — это плакаты. Выразительное первично по отношению к притяжательному, выразительные качества, или материи выражения, с необходимостью являются присваивающими и конституируют обладание, более глубокое, нежели бытие.¹⁰ Не в том смысле, что такие качества принадлежат субъекту, но в смысле, что они рисуют территорию, которая будет принадлежать субъекту, несущему или производящему их. Эти качества суть сигнатуры, но сигнатура, или имя собственное, — не конститутивная метка субъекта, а конституирующая метка области, жилища. Сигнатура — не индикация личности, она — случайное формирование области. Жилища имеют имена собственные, они вдохновлены. «Вдохновленные и их жили-

¹⁰ О жизненном и эстетическом первенстве «обладания» см.: Tarde, Gabriel. *L'opposition universelle*, Alcan.

ще...», но именно с жилищем появляется вдохновение. Как только мне нравится цвет, я тут же делаю из него свое знамя или плакат. Мы помещаем собственную подпись под каким-либо объектом, так же как втыкаем флаг в землю. Главный надзиратель лица проштамповал все листы, разбросанные на земле во дворе, а затем вернул их на место. Он подписался. Территориальные метки — *ready-made**. А то, что мы называем грубым искусством [art brut], вовсе не является патологическим или примитивным, это лишь конституирование, высвобождение материй выражения в движении территориальности — основание или почва искусства. Возьмите неважно что и сделайте его материей выражения. Птица *Scenopoïetes* практикует грубое искусство. Художник — это *scenopoïetes*, даже когда рвет собственные плакаты. Конечно же, с такой точки зрения, искусство не является привилегией человека. Мессиаан вправе сказать, что многие птицы — не только виртуозы, но и художники, прежде всего в своем территориальном пении (если птица-воришка «незаконно хочет занять непринадлежащее ей место, то настоящий владелец поет — поет так, что другой уходит... Если же воришка поет лучше, то владелец уступает ему место»¹¹). Ритурнель — это ритм и мелодия, которые терристоризуются, ибо стали выразительными, — а выразительными они стали потому, что терристоризуют. Мы не вращаемся по кругу. Мы хотим сказать, что есть автодвижение выразительных качеств. Выразительность не сводится к немедленным эффектам импульса, запускающего в среде некое действие, — такие эффекты суть впечатления или субъективные эмоции, а не выраже-

* Реди-мейд (от *англ.* «готовое изделие») — направление современного искусства, выставляющее в художественной галерее предметы обихода; родоначальником считается Марсель Дюшан («Велосипедное колесо», 1913; писсуар с табличкой «Фонтан», 1917). — *Прим. пер.*

¹¹ Детали концепций Мессиаана, касающиеся пения птиц, его оценка эстетических качеств такого пения и его методы как воспроизводства последнего, так и использования в качестве материала можно найти в: Samuel, Claude. *Entretiens avec Olivier Messiaen* (Belfond); Goléa, Antoine. *Rencontres avec Olivier Messiaen* (Julliard). В особенности о том, почему Мессиаан не пользуется ни магнитофоном, ни сонографом, как это обычно делают орнитологи, см. Samuel, pp. 111–114.

ния (например, моментальный цвет, принимаемый речной рыбкой под действием такого импульса). Напротив, выразительные качества, цвета коралловых рыбок самообъективированы, то есть обнаруживают объективность в расчерчиваемой ими территории.

Каково же это объективное движение? Что на самом деле *делает* материя как материя выражения? Прежде всего она — афиша или плакат, но на этом она не останавливается. Она проходит через это, и все. Но сигнатура вот-вот станет стилем. Действительно, *выразительные качества или материи выражения входят — одни с другими — в подвижные отношения, «выражающие» отношение расчерчиваемой ими территории с внутренней средой импульсов и внешней средой обстоятельств.* Итак, выражать — не значит зависеть, существует самостоятельность выражения. С одной стороны, выразительные качества входят друг с другом во внутренние отношения, конституирующие *территориальные мотивы*, — порой эти мотивы нависают над внутренними импульсами, порой накладываются на них, порой фундируют один импульс в другом, порой переходят или стимулируют переход от одного импульса к другому, порой встраиваются между импульсами, но сами не «пульсируют». Порой эти неппульсирующие мотивы возникают в фиксированной форме или кажется, что возникают таким образом, но порой те же самые или иные мотивы обладают переменными скоростью и артикуляцией; как изменчивость, так и фиксированность делают их независимыми от пульсаций*, каковые они комбинируют или нейтрализуют. «Мы знаем, что наши собаки со страстью выполняют движения вынюхивания, собирания, погони, травли, сбивания с ног и тряски до смерти воображаемой добычи без желания съесть ее». Или возьмем, к примеру, танец колюшки: ее зигзаг — это мотив, где зиг сочетается с агрессивным вле-

* Отметим, что термин «pulsions» [«пульсация»] во французской психоаналитической литературе имеет значение «влечение» (см., например: Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. *Словарь по психоанализу*. М.: Высшая школа, 1996). — *Прим. пер.*

чением к партнеру, а заг — с сексуальным влечением к гнезду, но где зиг и заг акцентуированы по разному и даже различно ориентированы. С другой стороны, выразительные качества вступают в иные внутренние отношения, создающие *территориальные контрапункты* — на сей раз это тот способ, каким они конституируют точки территории, помещающие в контрапункт обстоятельства внешней среды. Например, враг приближается или неожиданно появляется, или начинает падать дождь, встает солнце, заходит солнце... И опять же, пункты или контрапункты автономны в своей фиксированности или изменчивости по отношению к обстоятельствам внешней среды, чье отношение к территории они выражают. Ибо такое отношение может быть дано без того, чтобы были даны обстоятельства, так же как отношение с импульсами может быть дано без того, чтобы был дан импульс. И даже когда импульсы и обстоятельства даны, отношение является изначальным по отношению к тому, что оно соотносит. Отношения между материями выражения выражают отношения территории к внутренним импульсам и к внешним обстоятельствам: они обладают автономией внутри этого выражения. На самом деле мотивы и территориальные контрапункты исследуют потенции внутренней или внешней сред. Этологи собрали все эти феномены под понятием «ритуализация» и показали связь животных ритуалов с территорией. Но такое слово не подходит с необходимостью для непугающих мотивов и нелокализуемых контрапунктов, оно не принимает в расчет ни их изменчивость, ни их фиксированность. Ибо речь идет не об одном *или* другом, о фиксированности или изменчивости, а о том, что определенные мотивы или точки фиксируются, только если другие мотивы или точки — переменны, либо же они фиксируются в одном случае, только если являются переменными в другом.

Скорее, следовало бы сказать, что территориальные мотивы образуют *ритмические лица или персонажи*, а территориальные контрапункты формируют *мелодические пейзажи*. Ритмический персонаж присутствует тогда,

когда мы обнаруживаем, что уже не находимся в простой ситуации ритма, который сам ассоциировался бы с персонажем, мотивом или импульсом — теперь именно ритм является всем персонажем целиком, и как таковой он может оставаться постоянным, а также увеличиваться или уменьшаться благодаря добавлению или изъятию звуков, наращиванию или сокращению длительности, благодаря усилению или уничтожению, причем последние несут смерть и воскресение, возникновение и исчезновение. Сходным образом мелодический пейзаж уже не является мелодией, ассоциированной с пейзажем — именно сама мелодия создает звуковой пейзаж и помещает в контрапункт все отношения с виртуальным пейзажем. Вот как мы выходим за пределы стадии плаката: ибо даже если каждое выразительное качество, если каждая материя выражения, рассмотренная в себе, — это плакат или афиша, то такое рассмотрение остается, тем не менее, абстрактным. Выразительные качества поддерживают переменные или постоянные отношения друг с другом (то, что *создает* материи выражения), они конституируют уже не плакаты, помечающие территорию, а мотивы и контрапункты, выражающие отношение территории с внутренними импульсами или внешними обстоятельствами, даже если последние не даны. Уже не сигнатуры, но стиль. Музыкальную птицу от немusикальной объективно отличает именно такая склонность к мотивам и контрапунктам, которые — переменные они или даже постоянные — превращают материи выражения в нечто иное, нежели афиша, превращают их в стиль, ибо они артикулируют ритм и гармонизируют мелодию. Тогда можно сказать, что музыкальная птица переходит от грусти к радости или приветствует восход солнца, или сама подвергается опасности, дабы петь, или поет лучше, чем другая, и т.д. Ни в одной из этих формулировок нет и намека на антропоморфизм, они не предполагают никакой интерпретации. Скорее, здесь присутствует своего рода геоморфизм. Именно в мотиве и контрапункте дано отношение с радостью и грус-

тью, с солнцем, с опасностью, с совершенством, даже если термин каждого из таких отношений не дан. Именно в мотиве и контрапункте солнце, радость, грусть или опасность становятся звуковыми, ритмическими или мелодическими.¹²

Человеческая музыка также проходит через это. Для Свана — любителя искусств — маленькая фраза Вентейля часто действует как плакат, ассоциированный с пейзажем Булонского леса, или как лицо и характер Одетты: как если бы такая фраза придавала Свану уверенность в том, будто Булонский лес действительно был его территорией, а Одетта — его владением. Уже есть что-то вполне художественное в таком способе слышать музыку. Дебюсси критиковал Вагнера, сравнивая его лейтмотивы с дорожными указателями, сигнализирующими о скрытых обстоятельствах ситуации, о тайных импульсах персонажа. И на каком-то уровне или в какие-то моменты эта критика правомерна. Но чем больше произведение развивается, чем больше мотивы входят в конъюнкцию, чем больше они завоевывают *свой собственный план*, чем больше обретают автономию в отношении драматического действия, импульсов и ситуаций, тем больше они независимы от персонажей и пейзажей, дабы самим стать мелодическими пейзажами и ритмическими персонажами, постоянно обогащающими свои внутренние отношения. Тогда они могут оставаться относительно постоянными или, напротив, увеличиваться или сокращаться, расти или уменьшаться, менять скорость развития — в обоих случаях они перестают пульсировать и локализовываться; даже константы существуют ради вариации, и чем более они условны, чем более подчеркивают непрерывное изменение, коему сопротивляются, тем более они отвердевают.¹³ Именно Пруст одним из первых выделил такую жизнь вагнеровского мотива: вместо того

¹² Обо всех этих сюжетах см.: Samuel, Claude. *Entretiens avec Olivier Messiaen*, ch. iv; и о понятии «ритмического персонажа»: pp. 70–74.

¹³ Boulez, Pierre. *Le temps re-cherché* // *Bas Kbeingold*, Bayreuth, 1976, pp. 5–15.

чтобы мотив был связан с появляющимся персонажем, именно каждое появление мотива конституирует самого ритмического персонажа «в полноте музыки, действительно заполненной столькими музыкальными произведениями, из коих каждое — некое существо». И не случайно, что ученичество «Поисков» преследует аналогичное открытие в отношении маленьких фраз Вентейля — последние не отсылают к пейзажу, но несут и развивают внутри себя пейзажи, уже не существующие вовне (белая соната и красный септет...). Открытие чисто мелодического пейзажа и чисто ритмического персонажа отмечает тот момент искусства, когда оно перестает быть немой картинкой на вывеске. Возможно, это и не последнее слово искусства, но искусство шло таким путем, совсем как птица — мотивы и контрапункты, формирующие саморазвитие, то есть стиль. Интериоризация звукового или мелодического пейзажа может найти свою образцовую форму у Листа — такую же, какую интериоризация ритмического персонажа находит у Вагнера. Более обобщено, романс — музыкальное искусство пейзажа, наиболее живописная и импрессионистичная форма музыки. Но оба полюса настолько связаны, что, как и в романсе, Природа появляется в качестве ритмического персонажа с бесконечными трансформациями.

Территория — это, прежде всего, критическая дистанция между двумя существами того же вида: отмечайте свои дистанции. Что является моим — так это, прежде всего, моя дистанция, я обладаю только дистанциями. Я не хочу, чтобы меня касались, я ворчу, если кто-то заходит на мою территорию, я размещаю плакаты. Критическая дистанция — это отношение, вытекающее из материй выражения. Речь идет о том, чтобы удерживать на дистанции ломящиеся в дверь силы хаоса. *Маньеризм*: этос — одновременно жилище и средство, отчизна и стиль. Последнее хорошо просматривается в причудливых территориальных танцах, именуемых барочными или маньеристскими, где каждая поза, каждое движение устанавливает дистанцию

(сарабанды, аллеманды, бурре, гавоты...)¹⁴. Существует целое искусство положений, поз, силуэтов, шагов и голосов. Два шизофреника беседуют или гуляют, следуя законам границы и территории, кои могут ускользнуть от нас. Как важно, когда угрожает хаос, расчертить транспортную и пневматическую территорию. А возникнет нужда, я помещу свою территорию на собственное тело, я терриORIZую собственное тело — дом черепахи, уединенная хижина краба, а также все татуировки, делающие тело территорией. Критическая дистанция — это не метр-мера, а ритм. Но ритм как раз-таки и схватывается в становлении, сметающем дистанции между персонажами, делающим их ритмическими персонажами, которые сами более или менее дистанцируемы, более или менее комбинируемы (интервалы). Два животных одного и того же пола и вида противостоят друг другу; ритм одного «растет», когда оно приближается к своей территории или к центру этой территории, ритм другого сокращается, когда оно удаляется от своей территории, и между такими двумя территориями, на их границе, устанавливается осциллирующая константа — активный ритм, подчиненный ритм, свидетельствующий ритм?¹⁵ Итак, животное приоткрывает свою территорию партнеру другого пола — формируется сложный ритмический персонаж благодаря дуэтам, в чередующемся или антифоническом пении, как у птиц сорокопутов в Африке. Более того, надо принимать в расчет одновременно два аспекта территории — она не только удостоверяет и регулирует сосуществование членов одного и того же вида, разделяя их, но и делает возможным сосуществование максимума различных видов в одной и той же среде, специализируя их. В то время как члены одного и того же вида входят

¹⁴ О манерности и хаосе, о причудливых танцах, а также о связи шизофрении с манерностью и танцами см.: Sznycer, Evelyne. *Droit de suite baroque // Schizophrénie et art*, de Léo Navratil, Ed. Complexe.

¹⁵ Лоренц К. *Агрессия*, стр. 44 — о трех ритмических персонажах, определяемых, соответственно, как активный, пассивный и свидетель, см.: Messiaen et Goléa, pp. 90–91.

в ритмические персонажи, а различные виды входят в мелодические пейзажи, пейзажи заселяются персонажами, а персонажи принадлежат пейзажам. Например, «Хронохромия» Мессиана с восемнадцатью птичьими песнями, формирующими автономных ритмических персонажей и, одновременно, реализующими необычайный пейзаж со сложными контрапунктами и с изобретенными или подразумеваемыми аккордами.

Чтобы начаться, искусство не только не дожидается человека, но мы даже можем спросить, появляется ли оно вообще у человека, кроме как в запоздалых и искусственных условиях. Часто отмечалось, что человеческое искусство долгое время оставалось связанным с трудом и ритуалами какого-то иного типа. Все-таки такое замечание, возможно, не более значимо, чем высказывание о том, что искусство начинается с человека. Ибо верно, что на территории имеют место два замечательных эффекта — *реорганизация функций и перегруппировка сил*. С одной стороны, функциональная деятельность территоризуется лишь тогда, когда обретает новый ход (создание новых функций, таких как строительство жилища, трансформация прежних функций — например, агрессивности, которая меняет природу, становясь интраспецифичной). Тут есть что-то вроде нарождающейся темы, касающейся специализации или профессии — если территориальная ритуальность столь часто переходит в профессиональные ритуальности, то потому, что профессии предполагают разнообразную функциональную деятельность, осуществляемую в одной и той же среде, а также предполагают, что у одной и той же деятельности нет других агентов на одной и той же территории. Профессиональные ритуальности пересекаются в среде, как крики лавочников, но каждая помечает территорию, где не может осуществиться одна и та же деятельность, не звучит один и тот же крик. У животного, как и у человека, есть правила критической дистанции, дабы осуществлять конкуренцию — мой участок тротуара. Короче, *территоризация функций* — условие их возникновения

как «занятий» или «ремесел». В этом смысле интраспецифическая или специализированная агрессивность по необходимости является територизованной агрессивностью, которая вовсе не объясняет территорию, ибо сама выводится из нее. Внезапно мы опознаем, что любая деятельность на территории принимает новый практический ход. Но нет никакого резона заключать отсюда, будто здесь нет искусства в себе, ибо оно присутствует в територизирующем факторе, который обуславливает возникновение функции-труда.

Дела обстоят так же, если мы рассмотрим другой эффект територизации. Этот другой эффект, отсылающий уже не к работе, а к ритуалам или религиям, состоит в следующем — территория группирует все силы различных сред в один пучок, конституированный силами земли. Приписывание всех диффузных сил земле как вместилищу или основанию имеет место лишь на самом глубинном уровне каждой территории. «Окружающая среда испытывается как некое единство, и очень трудно отличить в этих первичных интуициях то, что, собственно говоря, принадлежит земле, от того, что только манифестируется через нее — горы, леса, воды, растительность». Силы воздуха или воды, птицы и рыбы становятся, таким образом, силами земли. Более того, хотя территория в протяженности отделяет внутренние силы земли от внешних сил хаоса, то же самое вовсе не происходит в «интенции», в глубине, где оба типа сил обхватывают друг друга и сочетаются в бою, у которого есть только земля как сито и как ставка. На территории всегда есть место — дерево или роща, — где в рукопашной схватке энергий собираются все силы. Земля — такая рукопашная. Этот интенсивный центр пребывает одновременно внутри территории, а также вне нескольких территорий, сходящихся к нему в конце великого паломничества (отсюда двусмысленность «родного»). Внутри или вовне, территория отсылает к интенсивному центру, подобному неизвестной родине, земному источнику всех сил, дружественных или враж-

дебных, где все решается.¹⁶ Итак, мы вновь должны признать, что религия — общая и для человека и для животных — занимает территорию лишь потому, что зависит от грубого эстетического и територизующего фактора как своего условия. Именно этот фактор, весь целиком, организует функции среды в труд и связывает силы хаоса в ритуалах и религиях, в силах земли. *Территоризующие метки развиваются в мотивы и контрапункты и, одновременно, реорганизуют функции и группируют силы.* Но, тут же, территория уже дает волю чему-то, что собирается превзойти ее.

Мы всегда возвращаемся к этому «моменту» — становление-выразительным ритма, появление собственно выразительных качеств, формирование материй выражения, развивающихся в мотивы и контрапункты. Тогда мы нуждаемся в понятии, пусть даже негативном, чтобы ухватить такой грубый или фиктивный момент. Существенным является расхождение, какое мы констатируем между кодом и территорией. Территория появляется на кромке свободы кода, который не то что не определен, но определен по-иному. Если справедливо, что у каждой среды свой код и что между средами постоянно присутствует перекодирование, то, напротив, территория, по-видимому, формируется на уровне некоего *декодирования*. Биологи подчеркнули важность таких детерминированных кромок, кои нельзя смешивать с мутациями, то есть с внутренними изменениями кода — на сей раз речь идет о дублированных генах или лишних хромосомах, не схваченных в генетическом коде, функционально свободных и предлагающих свободную материю для вариации.¹⁷ Но маловероятно,

¹⁶ Ср.: Eliade, Mircea. *Traité d'histoire des religions*, Payot. «О первичной интуиции земли как религиозной формы», pp. 213 sq.; о центре территории, pp. 324 sq. Элиаде верно отмечает, что центр находится, одновременно, вне территории и до него крайне трудно добраться, но и внутри территории — в поле нашей непосредственной досягаемости.

¹⁷ Биологи часто проводят различие между двумя факторами трансформации: фактором типа мутации и другим фактором — процессом изоляции или отделения, причем эти факторы могут быть генетическими, географическими или даже психическими; тогда территориальность была бы фактором второго типа. Ср.: Cuénot. *L'espèce*, Ed. Doin.

что данная материя сможет создавать новые виды независимо от мутаций, если только к ней не присоединяются события иного порядка, способные умножать взаимодействия организма с его средами. Итак, территориализация — именно тот фактор, который располагается на краях кода одного и того же животного вида и дает отделенным представителям этого вида возможность дифференцироваться. Именно потому, что территориальность расходится с кодом вида, она косвенным образом может вводить новые виды. Везде, где появляется территориальность, она устанавливает интраспецифическую *критическую дистанцию* между членами одного и того же вида; и именно благодаря своему собственному расхождению со *специфическими различиями* она становится обходным, косвенным средством дифференциации. Во всех этих смыслах декодирование проявляется как «негатив» территории; и самое очевидное различие между животными с территорией и животными без территории состоит в том, что первые куда менее кодированы, чем последние. Мы сказали достаточно плохого о территории, чтобы оценить теперь всех тех тварей, которые стремятся к ней, обустраиваются на ней или выходят из нее, собираются покинуть ее.

Мы перешли от сил хаоса к силам земли. От сред к территории. От функциональных ритмов к становлению-выразительным ритма. От феноменов перекодирования к феноменам декодирования. От функций среды к территоризованным функциям. Речь идет не столько об эволюции, сколько о переходе, о мостах и туннелях. Среды не переставали переходить одни в другие. Но теперь среды переходят и в территории. Выразительные качества, называемые нами эстетическими, конечно же, не являются ни «чистыми», ни символическими качествами, а собственно качествами, то есть приспособляемыми качествами, переходами от компонент среды к компонентам территории. Сама территория — место перехода. Территория — первая сборка, первая вещь, конституирующая сборку, ибо сборка, прежде всего, территориальна. Но как территория

может уже не находиться в процессе перехода во что-то иное, в другие сборки? Вот почему мы могли говорить об учреждении территории, только говоря также о ее внутренней организации. Мы не смогли бы описать инфрасборку (афиши или плакаты), не будучи уже в интрасборке (мотивы и контрапункты). Мы также ничего не можем сказать об интрасборке, не находясь уже на пути к другим сборкам или куда-то еще. Переход Ритурнели. Ритурнель движется к территориальной сборке, обустривается в ней или покидает ее. В широком смысле мы называем *ритурнелью все материи выражения в целом, расчерчивающие территорию и развивающиеся в территориальных мотивах, в территориальных пейзажах* (существуют моторные, жестовые, оптические и т.д. ритурнели). В узком смысле мы говорим о ритурнели, когда сборка является звуковой или над нею «господствует» звук — но почему у звука такая явная привилегия?

Теперь мы в интрасборке. Итак, последняя представляет крайне богатую и сложную организацию. Она не только содержит территориальную сборку, но также и сборные, территориализуемые функции. Возьмем семейство воробьев-крапивников — самец завладевает территорией и производит некую «ритурнель музыкальной шкатулки» как предостережение возможным чужакам; он сам строит гнездо на этой территории, а иногда дюжину гнезд; когда прилетает самка, он садится перед гнездом, приглашает ее посетить гнездо, расправляет крылья, понижает интенсивность пения, сводя его к одной единственной трели.¹⁸ Кажется, что функция гнездования изрядно территориализована, ибо гнезда приготовлены одним самцом до прилета самки, которая только и делает, что посещает их и завершает постройку; функция «ухаживания» также территориализована, но в небольшой степени, ибо территориальная ритурнель меняет интенсивность, дабы стать соблазнительной.

¹⁸ G  roudet, Paul. *Les passereaux*, Delachaux et Niestl  , t. II, pp. 88–94.

В интрасборку вмешиваются всевозможные виды разнородных компонент — не только метки сборки, воссоединяющие материалы, цвета, запахи, звуки, позы и т.д., но и разнообразные элементы того или иного слаженного поведения, входящие в мотив. Например, парадное поведение компонуется из танца, щелканья клювом, выставления напоказ цветов, из поз с вытянутой шеей, криков, разглаживания перьев, скачков, ритурнели... Первый вопрос состоял бы в знании того, что удерживает вместе все эти територизирующие метки, территориальные мотивы и територизируемые функции в одной и той же интрасборке. Это вопрос *консистенции* — «удерживать вместе» разнородные элементы. Прежде всего они конституируют лишь нечеткое множество и дискретное множество, позже обретающие консистенцию...

Но другой вопрос, как кажется, затушевывает или перекраивает первый. Ибо во многих случаях отлаженная, територизованная функция обретает достаточно независимости, чтобы самой конституировать новую сборку, более или менее детерриторизованную, пребывающую на пути к детерриторизации. Нет нужды на самом деле покидать территорию, дабы вступить на этот путь; но то, что только минуту назад было конституированной функцией в территориальной сборке, теперь становится конституирующим элементом другой сборки, элементом перехода в другую сборку. Например, в куртуазной любви цвет перестает быть территориальным, дабы войти в сборку «ухаживания». Территориальная сборка открывается в сборку ухаживания или в автономную социальную сборку. Это — то, что имеет место, когда происходит собственно признание сексуального партнера или членов группы — признание, более не смешиваемое с признанием территории: тогда мы говорим, что партнер является неким *Tier mit der Heimvalenz*, «животным, достойным своего дома». Следовательно, в совокупности групп или пар мы можем различать группы и пары среды без индивидуального признания, территориальные группы и пары, где признание осуществляется только на

территории, и, наконец, социальные группы и любовные пары, когда признание происходит независимо от места.¹⁹ Ухаживание или группа более не являются частью территориальной сборки, но сборки ухаживания или группы приобретают автономию — даже если мы остаемся внутри территории. Наоборот, внутри новой сборки ретерриторизация происходит на одном из членов пары или на членах группы, которые достойны-для (валентность). Такое открытие территориальной сборки в другие сборки может быть подробно проанализировано и широко варьируется. Например, когда не самец делает гнездо, когда самец довольствуется лишь тем, что доставляет материалы или лишь изображает постройку гнезда, как у зябликов Австралии, тогда он либо ухаживает за самкой с соломинкой в клюве (род *Bathilda*), либо использует иной материал, нежели материал гнезда (род *Neochmia*), либо травинки используются лишь на первоначальных фазах ухаживания или даже до этого (роды *Aidemosyne* или *Lonchura*), либо трава склевывается, даже не будучи предложенной самке (род *Emblema*)*.²⁰ Мы всегда можем сказать, что такие способы поведения с «травинкой» — только архаизмы или следы поведения гнездования. Но само понятие поведения оказывается недостаточным в отношении понятия сборки. Ибо, когда гнездо более не строится самцом, тогда гнездование перестает быть компонентой территориальной сборки, оно, так сказать, отрывается от территории; более того, ухаживание, теперь предшествующее гнездованию, само становится относительно автономной сборкой. И материя выражения — «травинка» — действует как компонента

¹⁹ В своей книге «Агрессия» Лоренц ясно провел различие между «анонимными стаями» типа косяка рыб, формирующих блоки среды; «локальными группами», где распознавание осуществляется только внутри территории и максимально касается «соседей»; наконец, сообществами, основанными на автономной «связи».

* Рода птиц семейства вьюрковых ткачиков (астрильдов): *Bathilda* — тростниковый астрильд, *Neochmia* — рубиновые астрильды, *Aidemosyne* — краснолобая амадина, *Lonchura* — японская амадина, *Emblema* — расписные астрильды. — *Прим. пер.*

²⁰ Immelmann K. *Beiträge zu einer vergleichenden Biologie australischer Prachtfinken*, Zool. Jahrb. Syst., 90, 1962.

перехода между территориальной сборкой и сборкой ухаживания. Что травинка обретает у некоторых видов все более и более рудиментарную функцию, что она имеет тенденцию аннулироваться в рассматриваемой серии — этого недостаточно, чтобы превратить ее в след, а тем более в символ. Материя выражения никогда не является следом или символом. Травинка — это детерриторизованная компонента, или компонента на пути к детерриторизации. Она — ни архаизм, ни частичный или переходный объект. Она — оператор, вектор. Она — *конвертор сборки*. Травинка аннулируется именно потому, что является компонентой перехода от одной сборки к другой. И эта точка зрения подтверждается тем фактом, что если травинка аннулируется, то другая релейно-переключающая компонента сменит ее и обретет большую значимость — а именно, ритурнель, которая не только более территориальна, но становится любовной и социальной и в результате изменяется.²¹ Вопрос, почему при конституировании новых сборок звуковая компонента «ритурнели» имеет более сильную валентность, нежели жестикуляционная компонента «травинки», может быть рассмотрен только позже. В настоящий момент важно констатировать такое формирование новых сборок внутри территориальной сборки, такое движение, идущее от интрасборки к интересборкам благодаря компонентам перехода и переключения. Новаторское открытие территории в направлении самки или группы. Давление отбора происходит благодаря интересборкам. Как если бы силы детерриторизации оказывали воздействие на саму территорию, заставляли нас переходить от территориальной сборки к другим типам сборок — сборок ухаживания или сексуальности, группо-

²¹ Eibl-Eibesfeldt. *Ethologie*, p. 201: «Начиная с доставки материалов для строительства гнезда, в своем ухаживании самец развивает действия, использующие травинку; у некоторых видов эти действия становятся все более и более рудиментарными; одновременно пение таких птиц, изначально служившее ограничению территории, подвергается изменению в своей функции, когда птицы становятся слишком общительными. Самцы, вместо ухаживания с помощью подношения травинки, тихо поют, сидя рядом с самкой». Однако Эйбл-Эйбесфельдт интерпретирует поведение, связанное с травинкой, как «рудимент».

вых или социальных сборок. Травинка и ритурнель — два агента этих сил, два агента детерриторизации.

Территориальная сборка непрерывно переходит в другие сборки. Как инфрасборка не отделима от интрасборки, так и интрасборка не отделима уже от интерсборок, но, тем не менее, переходы не необходимы и имеют место «по случаю». Причина тут проста: интрасборка, территориальная сборка, детерриторизует функции и силы — сексуальность, агрессивность, стадность и т.д., и трансформирует их в ходе детерриторизации. Но эти детерриторизируемые функции и силы могут неожиданно обретать автономию, каковая ввергает их в другие сборки, компонуя другие детерриторизованные сборки. В интрасборке сексуальность может появиться как детерриторизованная функция; но она также может прочертить линию детерриторизации, которая описывает другую сборку; отсюда и крайне переменчивые отношения между сексуальностью и территорией, как если бы сексуальность получала «свою дистанцию»... Профессия, ремесло, специальность подразумевают детерриторизируемые деятельности; но они также могут отрываться от территории, выстраивая вокруг себя — и между профессиями — новую сборку. Территориальная или детерриторизованная компонента может начать почковаться, производить — это именно тот пример ритурнели, когда, возможно, следует назвать ритурнелью все, что имеет место в данном случае. Такая двусмысленность между территориальностью и детерриторизацией — это двусмысленность Родного. Ее можно понять еще лучше, если помнить, что территория отсылает к интенсивному центру, расположенному на ее самом глубоком уровне; но, как мы увидели, такой интенсивный центр может располагаться вне территории, в точке схождения крайне удаленных или крайне различных территорий. Родное снаружи. Мы можем привести некое число замечательных, волнующих и более или менее загадочных случаев, иллюстрирующих необычайные отрывы от территории, заставляющие нас присутствовать при обширном движении детерриторизации, непосредственно взятом на

территориях и пересекающем их сверху донизу: 1) паломничества к истокам — такие как паломничества лососей; 2) бесчисленные скопления, вроде скоплений кузнечиков или зябликов и т.д. (десятки миллионов зябликов около Туне в 1950—1951 годах); 3) солнечные или магнитные миграции; 4) длинные переходы, такие как переходы лангустов.²²

Каковы бы ни были причины каждого из этих движений, ясно, что характер движения меняется. И уже недостаточно сказать, что существует интерсборка или переход территориальной сборки к другому типу сборки, — скорее, следовало бы говорить о том, что мы покидаем любую сборку, что мы превысили способности любой возможной сборки, что мы выходим на другой план. И действительно, больше нет ни движения, ни ритма среды, нет больше риторизирующих или риторизованных движения и ритма, а есть Космос — в таких более обширных движениях. Механизмы локализации остаются весьма точными, но локализация становится космической. Более нет риторизованных сил, воссоединенных в силах земли, они суть вновь обнаруженные или освобожденные силы детерриторизованного Космоса. В миграции солнце более не

²² Ср.: *L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau, film n° 36, commentaire Cousteau-Diolé, La marche des langoustes* (L. R. A.): случается, что колючие лангусты, обитающие вдоль северного побережья Юкатана, покидают свои территории. Сначала они собираются в небольшие группы еще до первой зимней бури и до того, как появляется какой-либо ее знак, который мог бы быть обнаружен приборами человека. Затем, когда буря приходит, они формируют длинную процессию, движущуюся гуськом, с периодически сменяемым предводителем и арьергардом (скорость хода 1 км/час на 100 км или больше). Такая миграция, по-видимому, не связана с откладыванием яиц, которое произойдет лишь шестью месяцами позже. Херннкинд [Hermnkind], специалист по лангустам, полагает, что речь идет о «рудиментарных следах» последнего ледникового периода (более десяти тысяч лет тому назад). Кусто склоняется к более современной интерпретации, не исключая даже того, что это может быть неким предчувствием нового ледникового периода. Действительно, фактически, речь идет о том, что в данном исключительном случае территориальная сборка лангустов открывается в социальную сборку; и что такая социальная сборка находится в отношениях с силами космоса, или, как говорит Кусто, с «пульсациями земли». Тем не менее «загадка остается полностью неразрешенной» — поскольку такая процессия служит поводом для массового забоя лангустов рыбаками; и поскольку, с другой стороны, эти животные не могут быть помечены, ибо сбрасывают свой панцирь.

является земным солнцем, царящем над территорией, даже над воздушной территорией, это — небесное солнце Космоса, как у двух Иерусалимов в Апокалипсисе. Но вне таких грандиозных случаев, там, где детерриторизация становится абсолютной, ничего не теряя в своей точности (ибо она сочетается браком с космическими переменными), мы должны уже констатировать, что территория непрестанно пробегается движениями детерриторизации, которая относительна и даже происходит там, где мы переходим от интрасборки к интерсборкам, не нуждаясь, однако, в том, чтобы покидать территорию и выходить из сборок, дабы вступить в брак с Космосом. Территория всегда находится в процессе детерриторизации, по крайней мере, потенциальной, она пребывает в процессе перехода к другим сборкам, даже если другая сборка осуществила ретерриторизацию (что-то, что «достойно» своего дома)... Мы видели, что территория конституировалась на кромке декодирования, затрагивающего среду; теперь мы понимаем, что кромка детерриторизации затрагивает территорию саму по себе. Это серия расцепок. Территория неотделима от определенных коэффициентов детерриторизации, оцениваемых в каждом случае, заставляющих варьироваться отношения каждой детерриторизованной функции вместе с территорией, а также отношения территории вместе с каждой детерриторизованной сборкой. Именно одна та же «вещь» появляется — здесь — как детерриторизованная функция, схваченная в интрасборке, а там — как автономная или детерриторизованная сборка, интерсборка.

Поэтому классификация ритурунелей может быть представлена следующим образом: 1) территориальные ритурунели, которые ищут, помечают, отлаживают территорию; 2) ритурунели детерриторизованных функций, принимающие на себя особую функцию в сборке (Колыбельная ритурунель, детерриторизирующая сон и ребенка, Любовная ритурунель, детерриторизирующая сексуальность и любимого, Профессиональная ритурунель, детерриторизирующая ремесло и труд, Рыночная ритурунель, детерриторизирующая распределение и

продукты...); 3) то же происходит, когда они помечают новые сборки, переходят в новые сборки благодаря детерриторизации—ретерриторизации (считалочки были бы крайне сложным случаем — они суть территориальные ритурнели, которые по разному поются от одного квартала к другому, а иногда от одной улицы к другой; они распределяют роли и функции игры в территориальной сборке; а также заставляют территорию переходить в сборку игры, которая сама стремится стать автономной)²³; 4) ритурнели, собирающие или объединяющие силы либо в недрах территории, либо, чтобы выйти за ее пределы (именно ритурнели противостояния или отбытия влекут порой движение абсолютной детерриторизации: «Пока! Я уезжаю, / Не оглянусь назад». Как говорит Роберт Милликен, в бесконечности такие ритурнели должны воссоединиться с песнями Молекул, с новорожденными воплями фундаментальных Стихий. Они перестают быть земными, дабы стать космическими — когда религиозный Ном расцветает и растворяется в молекулярном пантеистическом Космосе; когда пение птиц уступает место сочетаниям вод, ветра, облаков и туманов. «Снаружи ветер и дождь...» (Космос — как огромная детерриторизованная ритурнель.)

Проблема *консистенции* касается того способа, каким компоненты территориальной сборки удерживаются вместе. Но она касается также и того, как удерживаются вместе разные сборки — с компонентами перехода и переключений. Возможно даже, что консистенция обнаруживает тотальность своих условий лишь в чисто космическом плане, где созываются любые несоответствия и разнородности. Между тем каждый раз, когда разнородности вместе удерживаются в сборке или в интерсборках, уже ставится

²³ Как нам кажется, наилучшей книгой считалок и о считалках является *Les comptines de langue française* с комментариями Jean Beausmont, Franck Guibat и др., Seghers. Территориальный характер считалок проявляется в таком показательном примере, как «Pimpanicaille», где есть две разные версии в «Gruyères» о «двух сторонах улицы» (pp. 27–28); но в строгом смысле считалка существует лишь тогда, когда имеется распределение специализированных ролей в игре и формация автономной сборки игры, реорганизующая территорию.

проблема консистенции — в терминах сосуществования или последовательности, а то и в тех, и в других, одновременно. Даже в территориальной сборке может иметь место самая детерриторизованная компонента, детерриторизирующий вектор, то есть ритуфель, удостоверяющая консистенцию территории. Если мы задаем общий вопрос «Что заставляет вещи держаться вместе?», то кажется, что самый легкий, самый ясный ответ был дан *древовидной*, централизованной, иерархизированной, линейной, формализующей моделью. К примеру, возьмем схему Тинбергена, показывающую кодированное соединение пространственно-временных форм в центральной нервной системе — высший функциональный центр автоматически вступает в действие и запускает поведение желаний в поиске специфических стимулов (центр миграции); через посредничество стимула, второй центр, до сих пор подавленный, оказывается освобожденным и запускает новое поведение желаний (центр территории); затем активируются и другие (подчиненные) центры боя, гнездования, ухаживания... вплоть до стимулов, высвобождающих соответствующие действия наказания.²⁴ Такая репрезентация все-таки держится на слишком простых бинарных оппозициях — подавление—высвобождение, врожденное—приобретенное и т.д. Этологи обладают большим преимуществом над этнологами: они не впали в структурную опасность — деление «местности» на формы родства, политики, экономики, мифа и т.д. Этологии сохранили полноту некоей неделимой «местности». Но все же, ориентируя местность по осям подавление—освобождение, врожденное—приобретенное, они рискуют повторно ввести души или центры в каждое место и на каждом этапе сцеплений. Вот почему даже те авторы, которые изрядно настаивают на роли периферии и того, что обретено на уровне разъединяющих стимулов, на самом деле не разрушают древовидную линейную схему, даже если меняют направление стрел.

²⁴ Tinbergen. *The Study of Instinct*, Oxford University Press.

Нам кажется более важным выделить несколько факторов, способных навести на мысль о совершенно иной схеме — схеме, говорящей в пользу ризоматического, а не древовидного функционирования, которая уже не проходит через такие дуализмы. Во-первых, то, что мы называем функциональным центром, запускает в игру не только локализацию, но и распределение всей популяции отобранных нейронов в центральной нервной системе целиком, как в «кабельной сети». С этого момента, рассматривая такую систему саму по себе как целое (опыты, где афферентные пути рассекают на части), мы не столько будем говорить об автоматизме высшего центра, сколько о координации между центрами и о клеточных группированиях или молекулярных популяциях, осуществляющих такие спаривания, — не существует формы или хорошей структуры, навязываемых снаружи или сверху, а скорее есть артикуляция изнутри, как если бы колеблющиеся молекулы, осцилляторы, переходили от одного разнородного центра к другому, пусть даже для того, чтобы удостоверить доминирование одного из центров.²⁵ Это очевидным образом исключает линейное отношение между одним центром и другим в пользу пакетов отношений, управляемых молекулами — взаимодействие или координация могут быть положительными *или* отрицательными (расцепление или подавление), но они никогда не являются прямыми как в линейном отношении или в

²⁵ С одной стороны, эксперименты В.Р. Хесса показали, что не существует такого церебрального центра, а есть точки, которые концентрируются в одной зоне и рассеиваются в другой и которые способны вызывать тот же самый результат; и наоборот, результат может измениться в зависимости от длительности и интенсивности возбуждения одной и той же точки. С другой стороны, эксперименты Фон Хольста над «деафферентными» рыбами показывают важность центральных нервных координаций в ритмах плавников — схема Тинбергена лишь вторичным образом принимает в расчет такие взаимодействия. Гипотеза о «популяции вибраторов», о «стае осциллирующих молекул», формирующих системы артикуляций изнутри, независимо от общей меры, является самой убедительной с точки зрения проблемы циркадных, или околосуточных, ритмов. См.: Reinberg A. *La chronobiologie // Sciences*, 1, 1970; Driessche T. van den, Reinberg A. *Rythmes biologiques // Encyclopedia Universalis*, t. XIV, p. 572: «Нам не кажется возможным сводить механизм циркадной ритмичности к простой последовательности элементарных процессов».

химической реакции, они всегда имеют место между, по крайней мере, двуглавыми молекулами и каждым центром, взятым отдельно.²⁶

Существует целая биологически-поведенческая «машинерия», целая молекулярная *инженерия*, которая должна улучшить наше понимание природы проблем консистенции. Философ Эжен Дюпрель предложил теорию *консолидации*; он показал, что жизнь шла не от центра к внешнему, но от внешнего к внутреннему — или, скорее, от нечеткого или дискретного множества к ее консолидации. Итак, здесь подразумеваются три вещи: то, что нет начала, откуда исходила бы линейная последовательность, а есть уплотнения, интенсификации, усиления, инъекции, пронзания [truffages], подобные множеству добавочных действий («рост существует лишь благодаря вставке»). Во-вторых, и это не противоречие, нужно, чтобы было упорядочивание интервалов, распределение неравенств — до такой степени, что порой требуется создать дыру, дабы консолидироваться. В-третьих, есть суперпозиция разнородных ритмов, артикуляция, осуществляемая изнутри некой интерритмичности, — без наложения метра-меры или каденции.²⁷ Консолидация не довольствуется тем, чтобы приходить потом, она — творческая. Дело в том, что начало начинается только между двумя, интермеццо. Консистенция — это и есть консолидация, действие, производящее консолидированное, последовательность как сосуществование, — и все благодаря трем факторам: вставкам, интервалам и суперпозициям-артикуляциям. О том свидетельствует архитектура как искусство жилища и территории — если

²⁶ Monod, Jacques. *Le hasard et la nécessité*: о косвенных взаимодействиях и их нелинейном характере см. pp. 84–85, 90–91; о соответствующих молекулах, по крайней мере, двуглавых, pp. 83–84; о тормозящем или запускающем характере таких взаимодействий, pp. 78–81. Циркадные, или околосоуточные, ритмы также зависят от этих характеристик (см. таблицу в: *Encyclopedia Universalis*).

²⁷ Дюпрель выработал набор оригинальных понятий — «консистенция» (в отношении «неустойчивости»), «консолидация», «интервал», «вставка». См.: *Théorie de la consolidation, La cause et l'intervalle, La consistance et la probabilité objective*, Bruxelles; *Esquisse d'une philosophie des valeurs*, P. U. F.; Башляр ссылается на это в *La dialectique de la durée*.

есть осуществляемые потом консолидации, то есть также консолидации типа краеугольного камня, являющиеся составными частями совокупности. Но совсем недавно материи вроде железобетона позволили архитектурному ансамблю освободиться от древовидных моделей, действующих посредством опор-деревьев, балок-ветвей, свода-листвы. Не только бетон является разнородной материей, степень консистенции которой меняется согласно элементам смеси, но и железо вставлено в него следуя ритму, более того, в своих *самоподдерживающихся поверхностях* оно формирует сложный ритмический персонаж, где «стволы» имеют разные сечения и переменные интервалы согласно интенсивности и направлению силы схватывания (арматура, а не структура). Именно в этом смысле музыкальное или литературное произведение обладает некой архитектурой — «насыщать атом», как говорила Вирджиния Вулф; или же, согласно Генри Джеймсу, надо «начинать издалека, настолько издалека, насколько возможно», и действовать с помощью «блоков обработанной материи». Речь уже идет не о том, чтобы навязывать форму материи, но о том, чтобы вырабатывать все более и более богатый, все более и более консистентный материал, способный овладевать теперь все более и более интенсивными силами. Что делает материал все более и более богатым — так это то, что вынуждает удерживать вместе разнородности, причем последние не престают быть разнородными; что вынуждает удерживать их таким образом — так это вставные осцилляторы, синтезаторы, по крайней мере, о двух головах; это анализаторы интервалов; синхронизаторы ритмов (слово «синхронизатор» двусмысленно, ибо молекулярные синхронизаторы не работают с помощью гомогенизирующей или уравнивающей меры, но действуют изнутри, между двумя ритмами). Не является ли консолидация земным именем консистенции? Территориальная сборка — это нечто консолидированное среды, нечто консолидированное пространства—времени, сосуществования и последовательности. И ритурнель действует благодаря трем факторам.

Но нужно, чтобы материи выражения сами предоставляли характеристики, делающие возможным такое схватывание консистенции. В связи с этим мы увидели их склонность вступать во внутренние отношения, формирующие мотивы и контрапункты — територизующие метки становятся территориальными мотивами или контрапунктами, а сигнатуры и плакаты создают «стиль». То были элементы нечеткого или дискретного множества; но они консолидируются, обретают консистенцию. Именно в той мере, в какой они обладают эффектами, — такими как реорганизация функций и объединение сил. Чтобы лучше ухватить механизм этой склонности, мы можем зафиксировать определенные условия однородности и сначала рассмотрим метки или материи одинакового типа — например, совокупность звуковых меток, пение птицы. В норме у пения зяблика три различные фразы: первая — от четырех до четырнадцати нот — в крещендо и понижении частоты; вторая — от двух до восьми нот — постоянной частоты, но ниже, чем предыдущая; третья, которая завершается «фиоритурой» или сложным «орнаментом». Итак, с точки зрения приобретения, такой полной-песне (*full song*) предшествует суб-песня (*sub-song*), что в нормальных условиях уже предполагает владение общей тональностью, всей длительностью, содержанием строф и даже тенденцией заканчивать на самой высокой ноте.²⁸ Но организация из трех строф, порядок следования этих строф, деталь орнамента не даны; мы бы сказали, что не хватает именно внутренней артикуляции, интервалов, вставленных нот — всего, что создает мотив и контрапункт. Тогда различие между суб-песней и полной-песней можно было бы представить так — суб-песня как метка или плакат, полная-песня как стиль или мотив, и склонность переходить от одного к другому, склонность одного консолидироваться в другом. Само собой разумеется, искусственная изоляция

²⁸ О пении зяблика и о различии между *sub-song* и *full song* см.: Thorpe. *Learning and Instinct in Animals*, pp. 420—426.

будет иметь весьма различные эффекты в зависимости от того, появляется ли она до или после обретения компонент суб-песни.

Однако в настоящий момент нас заботит знание того, что происходит, когда эти компоненты действительно развиваются в мотивах и в контрапунктах полной-песни. Тогда мы с необходимостью покидаем условия качественной однородности, кои установили для себя. Ибо, пока мы замыкаемся в метках, метки одного рода сосуществуют с метками другого рода, и не более — звуки сосуществуют с цветами, жестами, силуэтами одного и того же животного; или же — звуки данного вида животного сосуществуют со звуками других видов, порой крайне различных, но локально соседствующих. Итак, организация качественно определенных меток в мотивы и контрапункты с необходимостью влечет схватывание консистенции или захват меток иного качества, взаимное ответвление звуков—цветов—жестов, или захват звуков у разных животных видов и т.д. Консистенция с необходимостью создается от разнородного к разнородному — не потому, что имеет место рождение дифференциации, а потому, что разнородности, довольствовавшиеся сосуществованием или следованием друг за другом, теперь схвачены друг в друге через «консолидацию» их сосуществования и их последовательности. Дело в том, что интервалы, вставки и конститутивные артикуляции мотивов и контрапунктов в порядке некоего выразительного качества также сворачивают другие качества иного порядка или качества того же самого порядка, но иного пола или даже иного вида животных. Цвет будет «отвечать» на звук. Не бывает мотивов и контрапунктов качества, не бывает ритмических персонажей и мелодических пейзажей в таком порядке без конституирования подлинной *машинной оперы*, воссоединяющей порядки, виды и разнородные качества. То, что мы называем машинным, — это именно такой синтез разнородностей как таковой. Поскольку эти разнородности суть материи *выражения*, то мы говорим, что сам их синтез, их консистенция или их

захват формируют собственно машинные «утверждение» или «высказывание». Варьируемые отношения, в какие входят цвет, звук, жест, движение, положения — в одном и том же виде и в разных видах — формируют столько же машинных высказываний.

Вернемся к *Scenopoïetes*, магической птице или птице оперы. У самца нет яркого окраса (как если бы имелся запрет). Но его пение, его ритурнель слышны издали (Является ли это компенсацией или, напротив, первичным фактором?) Он поет на своем пруте для пения (*singing stick*), лиане или ветви, как раз над сценой, которую приготовил (*display ground*), пометив ее срезанными и перевернутыми листьями, контрастирующими с землей. Когда он поет, то открывает желтый корешок некоторых перьев под клювом — он делает себя видимым в то самое время, как делает себя звуковым. Его пение формирует сложный и разнообразный мотив, сотканный из присущих ему нот и нот других птиц, которых он имитирует в интервалах.²⁹ Таким образом, формируется некая консолидация, «состоящая» из специфических звуков, из звуков других видов, оттенка листьев, цвета горла — машинное высказывание или сборка высказывания птицы *Scenopoïetes*. Многие птицы «имитируют» пение других видов птиц. Но нет уверенности, что имитация будет хорошим концептом для феноменов, варьируемых согласно сборке, в которую они входят. Суб-песня содержит элементы, способные войти в ритмические и мелодические организации, отличные от организаций рассматриваемого вида, и, таким образом, снабжает полную-песню подлинно чуждыми и добавленными нотами. Если некоторые птицы (вроде зяблика) кажутся не восприимчивыми к имитации, то именно потому, что чуждые звуки, неожиданно появляющиеся в их суб-песне, устраниваются из консистенции полной-песни. Напротив, в случаях, где добавленные фразы оказываются включенными в полную-песню, такое может происходить

²⁹ Marshall A.J. *Bower birds*, The Clarendon Press, Oxford.

потому, что существует интерспецифическая сборка паразитического типа, а также потому, что сборка птицы сама осуществляет контрапункты своей мелодии. Торп не ошибается, когда говорит, что есть проблема занятости частот, как в радио (звуковой аспект территориальности).³⁰ Речь идет не столько о том, чтобы имитировать пение, сколько о том, чтобы занимать соответствующие частоты; ибо может быть выгодно — то удерживаться в крайне определенной зоне, когда контрапункты удостоверяются другими контрапунктами, то, напротив, расширять или углублять зону, дабы самому удостоверить контрапункты и изобретать аккорды, которые иначе оставались бы диффузными, как в *Rain-forest**, где мы как раз и встречаем наибольшее число «подражающих» птиц.

С точки зрения консистенции, материи выражения должны рассматриваться не только в отношении их склонности формировать мотивы и контрапункты, но и в отношении ингибиторов и активаторов, воздействующих на них, в отношении механизмов врожденности или обучения, наследственного или обретенного, которые их модулируют. Единственная вина этологии в том, что она остается в бинарном распределении данных факторов, — главным образом, когда мы утверждаем необходимость принимать в расчет их обоих одновременно, смешивать их на всех уровнях «дерева поведений». Скорее, надо было бы начать с позитивного понятия, способного отдавать отчет в крайне специфическом характере, который принимают врожденное и приобретенное в ризоме и который был бы чем-то вроде причины их смеси. Этого понятия можно достичь не в терминах поведения, какое мы разыскиваем, но в терминах сборки. Одни авторы подчеркивают автономное развитие, закодированное в центрах (врожденное); другие же делают акцент на благоприобретенных связях, регулируе-

³⁰ Thorpe, p. 426. В этом отношении песни ставят совершенно иную проблему, нежели крики, которые часто мало различимы и похожи друг на друга у некоторых видов.

* Тропический лес (англ.). — Прим. пер.

мых периферийными ощущениями (обучение). Но уже Раймон Рюйе показал, что животное было, скорее, во власти «музыкальных ритмов», «ритмических и мелодических тем», которые не объясняются ни кодированием пластинки, записанной на фонографе, ни движениями исполнения, каковые их осуществляют и приспособливают к обстоятельствам.³¹ Верно и противоположное — ритмические или мелодические темы предшествуют своему исполнению и записыванию. Что первично, так это консистенция ритурнели, небольшого напева либо в форме мнемической мелодии, которая не нуждалась бы в локальном вписывании в центр, либо в форме неясного мотива, который не нуждался бы в пульсациях или стимуляциях. Такое поэтическое и музыкальное понятие, как «Родное» — в романсе, или же у Гельдерлина или Томаса Гарди, — научило бы нас, возможно, больше, чем несколько пресные и путанные категории врожденного или приобретенного. Ибо, как только появляется территориальная сборка, мы можем сказать, что врожденное обретает весьма особую фигуру, ибо оно неотделимо от движения декодирования, ибо оно проходит к кромкам кода, вопреки врожденному внутренней среды; приобретение также получает крайне особую фигуру, ибо оно терриORIZУЕТСЯ, то есть регулируется скорее материями выражения, нежели стимулами внешней среды. Родное — это именно врожденное, но декодированное врожденное, и оно — именно приобретенное, но терриORIZОВАННОЕ приобретенное. Родное как раз и является той новой фигурой, какую врожденное и приобретенное получают в территориальной сборке. Значит, аффект присущ родному, тому, какое мы слышим в романсе, навсегда утраченному, или вновь найденному, или влекомому к неизвестной родине. В родном врожденное стремится к тому, чтобы сместиться — как говорит Рюйе, оно, в некотором роде, *выше или ниже по течению*, нежели действие; оно касается не столько действия или поведения, сколько самих материй

³¹ Ruyer, Raymond. *La genèse des formes vivantes*, ch. vu.

выражения, самого восприятия, которое распознает или отбирает их, жеста, который воздвигает их или сам конституирует их (вот почему существуют «критические периоды», когда животное наделяет ценностью объект или ситуацию, «пропитывается» материей выражения — задолго до того, как становится способным выполнять соответствующее поведение). Однако это не значит, что нужно говорить, будто поведение отдано случайностям обучения; ибо оно предопределяется таким смещением и находит правила сборки в своей собственной территориализации. Таким образом, родное состоит из декодирования врожденного и территориализации обучения, одного поверх другого, одного вместе с другим. Существует консистенция родного, которая не объясняется смесью врожденного и приобретенного, ибо она, напротив, принимает в расчет такие смеси внутри территориальной сборки и в интерсборках. Короче, именно понятие поведения оказывается недостаточным, слишком линейным по отношению к понятию сборки. Родное идет от того, что происходит в интрасборке, к центру, который проецируется вовне, оно проходит по интерсборкам и добирается вплоть до врат Космоса.

Дело в том, что территориальная сборка неотделима от линий или коэффициентов детерриторизации, переходов и переключений к другим сборкам. Влияние искусственных условий на пение птиц часто исследовалось; но результаты варьируются: с одной стороны, в зависимости от вида, а с другой — в зависимости от рода и момента искусности. Многие птицы восприимчивы к пению других птиц, которых им дают слушать в течение критического периода, и затем воспроизводят это чуждое пение. Однако зяблик, как кажется, куда более предан своим собственным материям выражения, даже продемонстрированным в синтетических звуках, и сохраняет врожденный смысл собственной тональности. Все зависит также от того момента, в какой мы изолируем птиц — после или до критического периода; ибо в первом случае зяблики развивают почти нормальное пение, тогда как во втором субъекты изолиро-

ванной группы, которые не могут слышать друг друга, развивают неспецифичное, нелепое пение и, тем не менее, общее для группы (см. Торп). Дело в том, что, в любом случае, следует принимать во внимание эффекты детерриторизации и лишения родины [dénatalisation] для такого-то вида и в такой-то момент. Каждый раз, когда территориальная сборка схватывается в детерриториализующем ее движении (как говорится, в естественных или, напротив, искусственных условиях), мы бы сказали, что включается машина. Это то же самое различие, какое мы хотели бы предложить между *машиной* и *сборкой* — машина подобна набору крайних точек, вставляемых в сборку в ходе детерриторизации, дабы расчерчивать ее вариации и мутации. Ибо не бывает механических эффектов; эффекты всегда являются машинными, то есть зависят от машины, схваченной в сборке и освобожденной благодаря детерриторизации. То, что мы называем *машинным высказанным*, — это машинные эффекты, определяющие консистенцию, куда входят материи выражения. Такие эффекты могут быть крайне разными, но никогда не символическими или воображаемыми, у них всегда есть реальная значимость перехода и переключения.

Как правило, машина включается на специфической территориальной сборке и открывает последнюю в другие сборки, заставляет проходить через интерсборки одного и того же [животного] вида — например, территориальная сборка какого-либо вида птицы открывается в свои интерсборки ухаживания или стадности, двигаясь в направлении партнера или «социуса». Но машина может открыть также территориальную сборку какого-либо вида в интерспецифические сборки, как в случае птиц, принимающих чуждые песни, и — по более веской причине — в случае паразитирования.³² Или еще, машина может выйти за пределы

³² В особенности о *вдовах* — птицах-паразитах, обладающих специфическим территориальным пением, а также пением ухаживания, которому они обучаются у своего приемного постояльца см.: Nicolai J. *Der Brutparasitismus der Viduinae*, Z. Tierps., XXI, 1964.

любой сборки, дабы производить раскрытие в Космос. Или, наоборот, вместо того, чтобы открывать детерриторизованную сборку на чем-либо ином, она может производить эффект закрытия, как если бы все падало и вращалось в своего рода черной дыре: вот что производится в условиях скороспелой и грубой детерриторизации, и когда специфические, интерспецифические и космические пути оказываются блокированы; машина тогда производит «индивидуальные» эффекты группы, вращающиеся по кругу, как в случае преждевременно изолированных зябликов, чье убогое, упрощенное пение выражает только резонанс черной дыры, которой они захвачены. Важно вновь обнаружить здесь эту функцию «черной дыры», ибо она способна улучшить наше понимания феномена ингибирования и, в свою очередь, порвать со слишком строгим дуализмом ингибитор—активатор. Действительно, черные дыры являются частью сборок не менее, чем линии детерриторизации — ранее мы увидели, что интерсборка могла включать в себя линии обнищания и перехода к оседлому состоянию, ведущие к черной дыре, рискуя быть сметенной более богатой или позитивной линией детерриторизации (например, компонента «травинка» у зябликов Австралии падает в черную дыру и заменяется компонентой «ритурнель»)³³. Итак, черная дыра — это машинный эффект в сборках, пребывающий в сложном отношении с другими эффектами. Может случиться, что инновационные процессы, дабы запуститься, вынуждены падать в черную дыру, создающую катастрофу; стасис подавления ассоциируется с активаци-

³³ То, каким образом черная дыра составляет часть сборки, проявляется в многочисленных примерах подавления или очарования-восторга, а именно (на примере павлина): «Самец расправляет веером хвост <...>, затем наклоняет расправленный хвост вперед и указывает клювом на почву, в то время как его шея все еще вертикальна. В результате самка подбегает к нему и клюет — будто что-то разыскивает — именно в то место почвы, где располагается фокальная точка, заданная вогнутостью перьев, организующих расправленный хвост. Самец с помощью своего расправленного хвоста заставляет, так сказать, блестеть воображаемую пищу» (Eibl-Eibesfeldt, стр. 109). Но фокальная точка павлина является воображаемой не более, чем травинка зяблика — рудиментом или символом: она — преобразователь сборки, переход к сборке ухаживания, осуществляемой здесь черной дырой.

ей поведения-на-перепутье [comportements-carrefours]. С другой стороны, когда черные дыры резонируют вместе, или подавления сопрягаются, откликаются друг на друга, тогда мы — вместо того, чтобы присутствовать при открытии консистенции, — присутствуем при закрытии сборки в качестве детерриторизованной в пустоте (как для изолированных групп молодых зябликов). *Машины — это всегда сингулярные ключи, открывающие или вновь закрывающие сборку, территорию.* Более того, недостаточно внедрить машину в данную территориальную сборку; она уже вмещивается в возникновение материй выражения, то есть в конституцию этой сборки и в векторы детерриторизации, которые тотчас же обрабатывают ее.

Следовательно, консистенция материй выражения отсылает, с одной стороны, к их склонности образовывать ритмические и мелодические темы, а с другой — к мощи родного. Наконец, есть и другой аспект — их крайне особое отношение с молекулярным (машина ставит нас именно на этот путь). Само словосочетание «материи выражения» подразумевает, что у выражения с материей изначальное отношение. По мере того, как материи выражения обретают консистенцию, они конституируют семиотики; но компоненты *семиотики* не отделимы от *материальных* компонент и, в особенности, пребывают в близком контакте с молекулярными уровнями. Следовательно, весь вопрос в том, чтобы знать, принимает или нет отношение молярное—молекулярное здесь новую фигуру. Действительно, можно вообще различить сочетания «молярное—молекулярное», которые крайне варьируются в зависимости от направления, коим следуют. Во-первых: индивидуальные феномены атома могут входить в статистические или вероятностные скопления, стремящиеся стереть свою индивидуальность уже в молекуле, а уж затем в молярной совокупности; но они могут также усложняться во взаимодействиях и сохранять свою индивидуальность внутри молекулы, а затем внутри макромолекулы и т.д., komponуя прямые коммуникации между

индивидами разных порядков.³⁴ Во-вторых: ясно, что различие проходит не между индивидуальным и статистическим; фактически, речь всегда идет о популяциях, статистика занимается индивидуальными феноменами, а антистатистическая индивидуальность действует именно благодаря молекулярным популяциям; различие проходит между двумя групповыми движениями, как в уравнении Д'Аламбера, где одна группа стремится ко все более и более вероятным, однородным и равновесным состояниям (расходящаяся волна и задержанный потенциал), но другая группа стремится к менее вероятным состояниям концентрации (сходящаяся волна и предвосхищаемый потенциал).³⁵ В-третьих: интрамолекулярные внутренние силы, придающие совокупности ее молярную форму, могут быть двух типов: либо они — локализуемые, линейные, механические, древовидные, ковалентные отношения, подчиненные химическим условиям действия и противодействия или связанных реакций, либо они — нелокализуемые, сверхлинейные, машинные и немеханические, нековалентные, косвенные связи, действующие скорее благодаря стереоспецифической [*stéréospécifique*] рассудительности или различению, нежели благодаря сцеплению.³⁶

Есть разные способы высказывать одно и то же различие, но это различие кажется куда более обширным, нежели то, какое мы ищем: оно действительно касается материи и жизни или, скорее, — поскольку есть только одна материя — оно касается двух состояний, двух тенденций атомной материи (например, существуют связи, которые обездвиживают ассоциированные атомы в отношении друг друга, и другие связи, допускающие свободное вращение). Если мы высказываем различие в его самой общей форме, то мы говорим, что оно устанавливается между стратифи-

³⁴ Ruyer, Raymond. *La genèse des formes vivantes*, pp. 54 sq.

³⁵ Meyer, François. *Problématique de l'évolution*, P.U.F.

³⁶ Monod, Jacques. *Le hasard et la nécessité*.

цированной системой, системой стратификации, с одной стороны, и консистентными, аутоконсистентными совокупностями, с другой. Но именно консистенция — вместо того, чтобы сохраняться в сложных жизненных формах, — всецело касается уже самых элементарных атомов и частиц. Кодированная система стратификации существует каждый раз, когда — в горизонтальном направлении — есть линейные каузальные связи между элементами; и — в вертикальном направлении — иерархии порядка между объединениями; и — чтобы удерживать все вместе в глубине — последовательность обрамляющих форм, из которых каждая наделяет формой [in forme] некую субстанцию и служит, в свою очередь, субстанцией для другой формы. Такие каузальности, иерархии и обрамления конституируют как страту, так и переход от одной страты к другой, а также стратифицированные сочетания молекулярного и молярного. Напротив, мы будем говорить о совокупностях консистенции, когда мы оказываемся перед консолидациями крайне разнородных компонент, перед короткими замыканиями порядка или даже обратными каузальностями, перед захватами между материалами и силами иной природы, вместо урегулированной последовательности форм-субстанций: как если бы *машинный филум, дестратифицирующая трансверсальность* проходили через элементы, порядки, формы и субстанции — молярные и молекулярные, — освобождая материю и захватывая силы.

Итак, если мы спрашиваем себя, каково «место жизни» в этом различии, то мы, несомненно, видим, что она подразумевает некий выигрыш в консистенции, то есть прибавочную стоимость (прибавочную стоимость *дестратификации*). Например, она включает в себя куда большее число аутоконсистентных совокупностей и процессов консолидации, а также придает им молярный радиус действия. Она уже является дестратифицирующей, ибо ее код не распределяется по всей страте в целом, но занимает в высшей степени специализированную генетическую

линию. Однако в таком вопросе кроется некое противоречие, ибо вопрошание о том, каково место жизни, отсылает к тому, чтобы трактовать ее как особую страту, обладающую собственным порядком и доходящую до кромки порядка, имеющую свои формы и субстанции. И верно, что она — и то, и другое сразу: особо сложная система стратификации и вся консистенция в целом, расшатывающая порядки, формы и субстанции. Итак, мы увидели, как живое проводит транскодирование сред, которое может рассматриваться и в качестве того, что конституирует страту, и в качестве того, что осуществляет обратные каузальности и трансверсали дестратификации. Тот же вопрос может быть задан, когда жизнь довольствуется уже не перемешиванием сред, но собиранием территории. Территориальная сборка предполагает *декодирование* и сама неотделима от *детерриторизации*, оказывающей на нее воздействие (два новых типа прибавочной стоимости). Тогда «этология» может быть понята как крайне привилегированная молярная область для показа того, как самые разные биохимические, поведенческие, перцептивные, наследственные, приобретенные, импровизированные, общественные и т.д. компоненты могут кристаллизироваться в сборках, не соблюдающих ни различия порядков, ни иерархии форм. То, что заставляет все компоненты держаться вместе, — это *трансверсали*, а сама трансверсаль — это только компонента, принимающая на себя специальный вектор детерриторизации. Действительно, то, что удерживает сборку вместе, — это не игра обрамляющих форм или линейных причинных связей, но — актуально или потенциально — ее наиболее детерриторизованная компонента, кромка детерриторизации: например, ритурнель, более детерриторизованная, чем травинка, что не мешает ей быть «детерминированной», то есть схваченной в биохимических и молекулярных компонентах. Сборка удерживается своей самой детерриторизованной компонентой, но детерриторизованное не означает неопределенное (ритурнель может быть тесно

соединена с мужскими гормонами).³⁷ Такая компонента, входящая в сборку, может быть крайне детерминированной и даже механизированной, она может приносить не меньше «игры» в то, что компонуется, она благоприятствует вхождению новых измерений сред, она запускает процессы различимости, специализации, сжатия и ускорения, которые открывают новые возможности, открывают территориальную сборку в интерсборке. Давайте вернемся к птице *Scenopoïetes* — ее действие (одно из действий), состоит в том, чтобы распознавать и вызывать распознавание обеих сторон листа. Это действие держится на детерминизме зубчатого клюва. Действительно, сборки определяются, одновременно, *материями выражения*, обретающими консистенцию независимо от отношения форма—субстанция; обратной каузальностью или «продвинутыми» детерминизмами, декодированными врожденностями, касающимися *актов рассудительности* или выбора, а не связанных реакций; *молекулярными сочетаниями*, действующими благодаря нековалентным связям, а не линейным отношениям; короче, новым «ходом», производимым взаимоналожением *семиотики и материала*. Именно в этом смысле мы можем противопоставить консистенцию сборок тому, что все еще было стратификацией сред. Но опять же, такое противопоставление только относительно, очень относительно. Так же как среды колеблются между состоянием страты и движением дестратификации, сборки колеблются между территориальным закрытием, стремящемся рестратифицировать их, и детерриторизирующим открытием, которое, напротив, соединяет их с Космосом. Итак, неудивительно, что искомое нами различие проходит не столько между сборками и чем-то еще, сколько между двумя пределами любой возможной сборки, то есть между системой страт и планом консистенции. И нам не следует забывать, что страты твердеют и

³⁷ Самки птиц, не поющие в нормальном состоянии, начинают петь тогда, когда ими управляют мужские половые гормоны и «воспроизводят пение того вида, в котором они запечатлеваются» (Eibl-Eibesfeldt, p.241)

организуются именно на плане консистенции, и что именно на стратах план консистенции работает и конструируется — в обоих случаях часть за частью, раз за разом, операция за операцией.

Мы перешли от стратифицированных сред к территоризованным сборкам; и, одновременно, от сил хаоса, как они разрушаются, кодируются и транскодируются средами, к силам земли, как они собираются в сборках. Затем мы шли от территориальных сборок к интерсборкам, к раскрытию сборок, следуя линиям детерриторизации; и, одновременно, от собранных сил земли к детерриторизованным, или скорее детерриторизирующим, силам Космоса. Как же Пауль Клее представляет это последнее движение, являющееся уже не земным «ходом», а космическим «побегом»? И зачем нужно столь значительное слово — Космос, — чтобы говорить об операции, которая должна быть точной? Клее говорит, что мы «осуществляем усилие, дабы одним рывком отделиться от земли», что мы «над ней возвышаемся под властью центробежных сил, торжествующих над гравитацией». Он добавляет, что художник начинает с того, что осматривается вокруг себя, вглядывается во все среды, но не чтобы ухватить след сотворения в сотворенном, след природопроизводящей природы в природопроизведенной природе; и потом, обустриваясь «в пределах земли», он обращает свое внимание на микроскопическое, на кристаллы, молекулы, атомы и частицы, не ради научного соответствия, а ради движения, ради только лишь имманентного движения; художник говорит себе, что у этого мира различные аспекты, что он обретет еще и другие аспекты и что уже есть другие аспекты на других планетах; наконец, он открывается Космосу, дабы уловить силы в «произведении» (без чего открытость Космосу была бы только мечтой, неспособной расширить пределы земли), и такое произведение требует очень простых, очень чистых, почти детских средств, а также сил *народа*, коих как раз-таки еще и не хватает, «нам недостает этой последней силы, мы

ищем такую народную поддержку, мы начались с Баха, мы не можем сделать большего...»³⁸.

Когда речь идет о классицизме, то мы слышим об отношении форма—материя, или, скорее, форма—субстанция, где субстанция как раз и является наделенной формой материей. Материя организуется благодаря последовательности разделенных, централизованных, иерархизированных по отношению друг к другу форм, каждая из которых берет на себя более или менее важную часть материи. Каждая форма подобна коду среды, и переход от одной формы к другой — это подлинное транскодирование. Даже сезоны суть среды. Тут есть две сосуществующие операции — одна, благодаря которой форма дифференцируется, следуя бинарным различиям, другая, благодаря которой оформленные субстанциальные части, среды или сезоны входят в порядок последовательности, причем последняя может быть одной и той же в обоих смыслах. Но на изнанке этих операций классический художник рискует ввязаться в крайне опасную авантюру. Он распределяет среды, разделяет и гармонизирует их, регулирует их смеси и проход от одной к другой. То, с чем он, таким образом, сталкивается — это хаос, силы хаоса, силы необузданной сырой материи, на которую должны накладываться Формы, дабы создавать субстанции, и Коды, дабы создавать среды. Необычайная ловкость. Именно в этом смысле мы никогда не можем прочертить четкую границу между барокко и классикой.³⁹ Все барокко в целом гремит в глубине классики; задача классического художника — это задача самого Бога, она в том, чтобы организовывать хаос, и единственный крик художника: Созидание! Созидание! Дерево Созидания! Старинная деревянная флейта организует хаос, но хаос тут подобен Царству ночи. Классический художник действует с помощью Один—Два: один—два дифференциации формы, поскольку она делится (мужчины—женщины,

³⁸ Klee, Paul. *Théorie de l'art moderne*, pp. 27–33.

³⁹ Ср.: *Renaissance, maniérisme, baroque*, Actes du XI^e stage de Tours, Vrin, 1re partie, о «периодизациях».

мужские и женские ритмы, голоса, семейства инструментов, все бинарности *Ars Nova**); один—два различия между частями, поскольку они соотносятся (волшебная флейта и магический колокольчик). Маленький мотив, ритурнель птицы — бинарная единица созидания, дифференцирующая единица чистого начинания: «Сперва одиноко прозвучала жалоба рояля, похожая на крик птицы, покинутой своею подругой; жалобу услышала скрипка и ответила ей точно с ближайшего дерева. То было словно утро мира, словно их было только двое на всей земле, вернее — в этом мире, отгородившемся от всего остального, построенном логикой творца, мире, где им суждено быть только вдвоем, — в мире сонаты». ⁴⁰

Если же мы пытаемся кратко определить романтизм, то увидим, что все меняется. Звучит новый крик: Земля, территория и Земля! Именно с романтизмом художник оставляет свои амбиции в отношении универсальности права, оставляет свой статус творца — он территурирует себя, входит в территориальную сборку. Сезоны теперь территурируются. И без сомнения, земля — не то же самое, что территория. Земля — это интенсивная точка в самой глубине территории либо же выброшенная вовне ее как фокальная точка, где стягиваются в рукопашной все силы. Земля больше не является ни одной силой среди других, ни наделенной формой субстанцией или кодированной средой, у которой были бы свои ограничения и своя доля. Земля становится такой схваткой всех сил, сил земли, как и сил других субстанций, так что художник сталкивается уже не с хаосом, а с адом и чем-то подземным, с без-основным. Он более не рискует рассеяться в средах, но чересчур далеко углубляется в Землю — Эмпедокл. Он уже отождествляется не с Творением, но с основой или основанием, именно основание стало творческим. Он уже является не Богом, но

* *Арс нова* (лат. новая техника, новое учение, новое искусство) — направление в музыке, возникшее во Франции и Италии в XIV веке и перенявшее название трактата Филиппа де Витри. — *Прим. пер.*

⁴⁰ Пруст. *По направлению к Свану*. М.: «Крус», 1992, с. 302.

Героем, бросающим вызов Богу: Обоснуй! Обоснуй, а не Твори. Фауст — главным образом, второй Фауст — ведом этой тенденцией. Догматизм, католицизм сред (код) смешается критицизмом, протестантизмом земли. Конечно же, Земля как интенсивная точка в глубине или в проецировании, как *ratio essendi**, всегда пребывает в расхождении с территорией; а территория как условие «знания», *ratio cognoscendi***, всегда пребывает в расхождении с землей. Территория является немецкой, но Земля — греческой. И именно такое расхождение как раз и определяет романтического художника, поскольку он противостоит уже не зиянию хаоса, а притяжению Основы. Маленький мотив, ритурнель птицы изменились — ритурнель более не является началом мира, она чертит на земле территориальную сборку. Далее, она уже не сделана из двух консонантных частей, отыскивающих друг друга и соответствующих друг другу, она обращается к более глубокому пению, которое обосновывает ее, а также наносит ей удар, сметает ее и заставляет диссонировать. Ритурнель неразрывно конституирована территориальной песней и пением земли, которое возвышается, дабы покрыть ее. Так, в конце «Песни земли» сосуществуют два мотива, один — мелодический, напоминающий сборки птицы, другой — ритмический, напоминающий вечное глубокое дыхание земли. Малер говорит, что песни птиц, цвета цветов, запаха лесов не достаточно, чтобы создать Природу, для этого нужен бог Диониса или большой Пан. Первобытная ритурнель [Ugritournelle] земли овладевает всеми ритурделями, будь то территориальными или какими-то другими, и всеми ритурделями сред. В «Воццеке» убаюкивающая ритурнель, военная ритурнель, ритурнель выпивки, ритурнель охоты, детская ритурнель в конце — сколько же восхитительных сборок сметается мощной машиной земли, ее крайними точками: голос Воццека, благодаря которому земля стано-

* Основание существования или бытия (лат.). — Прим. пер.

** Основание познания (лат.). — Прим. пер.

вится звучной, крик смерти убегающей к пруду Марии, удвоенная нота Си, когда земля взвыла... Именно такое расхождение, такое декодирование являются причиной того, что романтичный художник видит территорию, но видит ее по необходимости как утраченную и видит сам себя как изгнанного, как путешественника, детерриторизованного, *вытолкнутого в среды*, подобно Летучему голландцу или королю Вольдемару (тогда как классический художник обитал в средах). Но, в то же самое время, все еще именно земля командует этим движением, именно притяжение Земли создает такое отталкивание от территории. Дорожный указатель указывает только путь туда, откуда нет возврата. Такова двусмысленность родного, появляющаяся в романсе, а также в симфонии и опере: романс — это, одновременно, и территория, и утраченная территория, и вектор земли. Интермеццо принимало все большую и большую значимость, ибо оно играло на всех расхождениях между землей и территорией, вставлялось между ними, заполняло их на свой манер, «между двумя часами», «полдень—полночь». С этой точки зрения, можно сказать, что фундаментальные нововведения романтизма состояли в следующем — у него больше нет субстанциальных частей, соответствующих формам, нет сред, соответствующих кодам, нет какой-либо материи в хаосе, которая оказалась бы упорядоченной в формах и с помощью кодов. Части были, скорее, подобны сборкам, производимым и разрушаемым на поверхности. Сама форма становилась *великой формой в непрерывном развитии*, собиранием сил земли, соединявшей все части в сноп. Сама материя была уже не хаосом, который надо покорять и организовывать, а *материей в движении непрерывной вариации*. Универсальное стало отношением, вариацией. Непрерывная вариация материя и непрерывное развитие формы. Итак, через сборки материя и форма входили в новое отношение — материя перестала быть материей содержания, дабы стать материей выражения, форма перестала быть кодом, укрощающим силы хаоса, дабы стать самой силой, совокупностью сил

земли. Имело место новое отношение с опасностью, с безумием, с пределами — романтизм не шел дальше, чем барочный классицизм, но он шел куда-то еще, с другими данными и другими векторами.

Кто более всего испытывает нехватку в романтизме, так это народ. Территорию преследует одинокий голос, причем голос земли резонирует с этим одиноким голосом и, скорее, сотрясает его, нежели отвечает ему. Даже когда есть народ, то он опосредован землей, он возникает из недр земли и готов вернуться в нее — это скорее подземный, чем наземный народ. Герой — это некий герой земли, он — мифический герой, а не народный, не исторический. Германия, немецкий романтизм обладает талантом проживать родную территорию не как пустынную, а как «одинокую», какой бы ни была плотность населения; дело в том, что такое население — это только эманация земли, и обладает ценностью Одного-Единственного. Территория не открывается в направлении народа, она приоткрывается Другу, Любимой, но Любимая уже мертва, а Друг неопределен, встревожен.⁴¹ Как в романсе, через территорию все происходит между Одним-Единственным души и Одним-Всем земли. Вот почему романтизм принимает совершенно иной ход и даже требует другого имени, другого плаката в латинских и славянских странах, где все проходит, напротив, через тему народа и сил народа. На сей раз именно земля опосредована народом и существует только благодаря ему. На сей раз земля может быть «пустынной», сухой степью или расчаленной, опустошенной территорией, к тому же она никогда не одинока, но полна номатизованным населением, которое делится или перегруппируется, требует или плачет, атакует или страдает.

⁴¹ См. о двусмысленной роли друга в конце «Песни земли». Или в романсе Шумана «Zwielicht» [*Сумерки (нем.). — Прим. пер.*] (Op. 39) на стихи Й. фон Эйхендорфа: «Если ты в этот мир приходишь с другом, не будь обольщен его речами. Улыбаясь тебе глазами и губами, он жаждет войны в этом замкнутом круге» [перевод М. Русовой]. (О проблеме Одного-Единственного или «одинокое Существо» в немецком романтизме сошлемся на Гельдерлина, *Le cours et la destination de l'homme en général* // *Poésie a° 4.*)

На сей раз герой — это герой народа, а не герой земли; он связан с *Один-Толпа*, а не с *Один-Все*. Мы, конечно, не скажем, что существует больший или меньший национализм с одной или другой стороны, ибо национализм в фигурах романтизма повсюду, порой как двигатель, а порой как черная дыра (и фашизм, используемый Верди, куда более мелок, чем нацизм Вагнера). Проблема является действительно музыкальной, технически музыкальной, а еще более политической. Романтический герой, романтический голос героя действует как субъект, как субъективный индивид, имеющий «чувства»; но этот субъективный вокальный элемент отражается в инструментальной и оркестровой совокупности, которая, напротив, мобилизует несубъективные «аффекты» и которая достигает всей своей значимости благодаря романтизму. Итак, не будем полагать, будто оба они — вокальный элемент и оркестрово-инструментальная совокупность — пребывают только во внешнем отношении друг к другу: оркестровка навязывает голосу ту или иную роль, так же как голос сворачивает тот или иной способ оркестровки. Оркестровка-инструментализация объединяет или разделяет, собирает или рассеивает звуковые силы; но она меняется, и роль голоса меняется тоже, в зависимости от того, силы ли это Земли или силы Народа, силы Одного-Всего или Одного-Толпы. В первом случае речь идет о том, чтобы осуществлять *группирование могущества*, конституирующих именно аффекты; в другом случае — именно *индивидуации группы* конституируют аффект и являются объектом оркестровки. Группирования могущества полностью разнообразны, но они подобны *собственным отношениям Универсального*; тогда как в индивидуациях группы нам следовало бы обратиться к другому слову — *Дивидуальное*, — дабы обозначать такой другой тип музыкальных отношений и эти интрагрупповые или интергрупповые переходы. У субъективного или сентиментального элемента голоса не одна и та же роль и не одна и та же позиция — в зависимости от того, сталкивается ли он внутренне с

несубъективными группированиями могущества или с несубъективируемыми индивидуациями группы, с отношениями универсального или отношениями «дивидуального». Дебюсси хорошо поставил проблему Одного-Толпы, когда упрекал Вагнера за то, что тот не сумел «создать» толпу или народ — нужно, чтобы толпа была полностью индивидуальной, но благодаря индивидуациям группы, которые не сводятся к индивидуальности komponующих ее субъектов.⁴² Народ должен индивидуализироваться, но не согласно личностям в нем, а согласно аффектам, какие он испытывает — одновременно и последовательно. Стало быть, мы промахиваемся мимо Одного-Толпы, или Дивидуального, когда сводим народ к некой рядоположенности и когда сводим его к могуществу универсального. Короче, есть как бы две крайне разных концепции оркестровки и отношения голос—инструмент — в зависимости от того, обращаемся ли мы к силам Земли или силам Народа, дабы их озвучить. Простейшим примером такого различия было бы, без сомнения, различие между Вагнером и Верди — в той мере, в какой Верди наделяет все большей и большей значимостью отношения голоса с инструментовкой и оркестровкой. Даже сегодня Штокхаузен и Берио разрабатывают новую версию этого различия, даже если и сталкиваются с музыкальной проблемой, отличной от проблемы романтизма (у Берио есть исследование умноженного крика, крика населения, в дивидуальном Одного-Толпы, а не крика земли в универсальном Одного-Всего). Итак, идея Оперы мира или кос-

⁴² «Народ в “Борисе Годунове” Мусоргского не образует настоящей толпы; иногда поет одна группа, затем другая, потом третья, каждая по очереди, а чаще всего в унисон. Что касается народа в “Нюрнбергских мейстерзингерах”, то здесь — не толпа, а армия, мощно организованная в сугубо немецком стиле и марширующая колоннами. Чего бы мне хотелось — чего-то более разбросанного, более разделенного, более тонкого, более неосязаемого, чего-то, по-видимому, неорганического и, тем не менее, упорядоченного в основании» (цит. по: Bartraqué, *Debussy*, p. 159). Данная проблема — как создать толпу — явно встречается в других искусствах, в живописи, кино... Мы можем сослаться, прежде всего, на фильмы Эйзенштейна, которые действуют с помощью такого типа крайне особых индивидуаций группы.

мической музыки и роль голоса радикально меняются в зависимости от этих двух полюсов оркестровки.⁴³ Чтобы удержаться от слишком простой оппозиции Вагнер—Верди, нам следовало бы показать, как оркестровка Берлиоза гениально сумела перейти от одного полюса к другому или даже колебаться между ними — звуковые Природа или Народ. Как и музыка Мусоргского сумела создать толпу (что бы ни говорил Дебюсси). Как и музыка Бартока сумела опереться на народные мотивы или на население, дабы создать популяции — сами звуковые, инструментальные и оркестровые, — навязывающие новую гамму Дивидуального, новый удивительный хроматизм.⁴⁴ Все не вагнеровские пути...

Если и существует современный век, то это, конечно, век космического. Пауль Клее объявил себя анти-Фаустом: «что касается зверей и всех других созданий, то я их не люблю земной сердечностью, земные вещи интересуют меня меньше, чем вещи космические». Сборка больше не противостоит силам хаоса, она более не углубляется в силы земли или в силы народа, а открывается силам Космоса. Все это кажется чрезвычайно общим и, как что-то гегельянское, свидетельствующим об абсолютном Духе. И, однако, это есть, это должно было бы быть вопросом техники, исключительно техники. Сущностное отношение более не является отношением материи—формы (или субстанции—атрибута); нет его более и в непрерывном развитии формы и непрерывной вариации материи. Оно предстает здесь как прямое отношение *материал—силы*. Материал — это как раз молекуляризованная материя, и он, соответственно, должен «добраться» до этих сил, кои могут быть лишь силами Космоса. Больше нет материи, которая находила бы в форме соответствующий ей прин-

⁴³ Об отношениях между криком, голосом, инструментом и музыкой как «театром» см. заявления Берио, предворяющие его диски. Вспомним чрезвычайно музыкальную ницшеанскую тему множасьего крика всех высших Людей в конце «Заратустры».

⁴⁴ О хроматизме Бартока см. исследование Brelet, Gisèle. // *Histoire de la musique*, Pléiade, t. II, pp. 1036–1072.

цип умопостигаемости. Теперь речь идет о выработке материала, нагруженного захваченными силами иного порядка — визуальный материал должен захватывать невидимые силы. *Передавать видимое*, говорил Клее, а не передавать или воспроизводить конкретно увиденное. В данной перспективе философия следует тому же движению, что и любая другая деятельность; в то время как романтическая философия все еще обращалась к формальному синтетическому тождеству, удостоверяющему непрерывную умопостигаемость материи (априорный синтез), современная философия стремится к тому, чтобы вырабатывать материал мысли, дабы захватывать силы, немислимые сами по себе. Это философия-космос на манер Ницше. Молекулярный материал является настолько детерриторизованным, что мы уже не можем говорить о материях выражения, как мы это делали в романтической территориальности. *Материи выражения уступают место материалу захвата*. Тогда силы, кои надо захватить — уже не силы земли, все еще конституирующие великую выразительную Форму, теперь это силы энергетического, неформального и нематериального Космоса. Художник Жан-Франсуа Милле порой говорит: то, что принимается в расчет в картине, не является тем, что, к примеру, несет крестьянин, будь то священный объект или мешок с картофелем, но точный вес того, что он несет. Это постромантический поворот: в формах и материях больше нет сущностного, его нет и в темах, но оно — в силах, плотностях, интенсивностях. Сама земля опрокидывается и стремится к тому, чтобы обрести ценность как чистый материал для силы гравитации, или веса. Возможно, следовало дожидаться Сезанна, чтобы скалы начали существовать через силы складчатости, кои они захватывают, пейзажи — через магнитные и термические силы, яблоки — через силы прорастания: невидимые силы, которые, однако, передают видимое. В то самое время, когда силы с необходимостью становятся космическими, материал становится молекуляр-

ным; величайшая сила действует в бесконечно малом пространстве. Проблема более не является проблемой начала, также она не является проблемой обоснования-основания. Она стала проблемой консистенции или консолидации — как консолидировать материал, сделать его консистентным, дабы он смог захватить такие немислимые, невидимые, незвуковые силы? Даже ритурнель становится, одновременно, молекулярной и космической — Дебюсси... Музыка молекуляризует звуковую материю, но также становится способной захватывать такие незвуковые силы, как Длительность, Интенсивность.⁴⁵ *Передавать звуковую Длительность*. Вспомним идею Ницше — вечное возвращение как маленький надоедливый припев, как ритурнель, но оно захватывает немые и немислимые силы Космоса. Мы, таким образом, оставляем в стороне сборки, дабы войти в век Машины, в огромную механосферу, в план космизации сил, кои надо захватить. Примером был бы демарш Вареза на заре этого века — музыкальная машина консистенции, *звуковая машина* [*machine à sons*] (а не машина для воспроизведения звуков), молекуляризующая, атомизирующая и ионизирующая звуковую материю, а также захватывающая энергию Космоса.⁴⁶ Если такая машина и должна иметь сборку, то это будет синтезатор. Собирая модули, элементы источника и обработки [звука] — вибраторы, генераторы и трансформаторы, — упорядочивая микроинтервалы, он делает слышимым сам звуковой процесс, производство этого процесса, и помещает нас в контакт еще и с другими

⁴⁵ Жан Барраке в своей книге о Дебюсси анализирует «диалог ветра и моря» в терминах сил, а не в терминах тем: pp. 153–154. См. заявления Мессиана о собственных произведениях: звуки уже не более «чем вульгарные толмачи, предназначенные для передачи осязаемых длительностей» (Golea, стр. 211).

⁴⁶ Одиль Вивье [Odile Vivier] показывает те способы, какими Варез рассматривает звуковую материю (*Varèse*, Ed. du Seuil): использование чистых звуков, действующих как призма (p. 36), механизмы проекции на план (pp. 45, 50), гаммы, не формирующие октав (p. 75), процедура «ионизации» (pp. 98 sq.). И везде тема звуковых *молекул*, трансформации которых задаются силами или энергиями.

элементами, выходящими за пределы звуковой материи.⁴⁷ Он соединяет несоответствия в материале и переносит параметры из одной формулы в другую. Синтезатор, с его операцией консистенции, занял место основания в априорном синтетическом суждении: его синтез — это синтез молекулярного и космического, материала и силы, а не формы и материи, *Grund** и территории. Философия уже выступает не в качестве синтетического суждения, но как синтезатор мыслей, дабы заставить мысль путешествовать, сделать ее подвижной, превратить ее в силу Космоса (так же, как мы заставляем путешествовать звук).

Такой синтез несоответствий не лишен двусмысленности. Возможно, это та же двусмысленность, какую мы находим в современном повышении цен на детские рисунки, безумные тексты, концерты из шумов. Случается, что мы чересчур усердствуем, слишком много в это вкладываем, действуем с помощью беспорядка линий или звуков; но тогда, вместо производства космической машины, способной «передавать звуковой эффект», мы вновь сваливаемся в машину воспроизводства, доходящую до того, что она воспроизводит лишь каракули, стирающие все линии, лишь помехи, стирающие все звуки. Во всех событиях, во всех нашествиях мы собираемся открыть музыку, но то, что мы, в конечном счете, воспроизводим — это именно помехи, препятствующие любому событию. У нас осталась только резонансная камера, ведущая к созданию черной дыры. Слишком богатый материал — это материал, остающийся слишком «территоризуемым» — на источниках шума, на природе объектов... (даже препарированное фортепиано Джона Кейджа). Мы создаем нечеткое множество, вместо того

⁴⁷ См. интервью с Штокхаузеном о роли синтезаторов и действительно «космическом» измерении музыки в *Le Monde*, 21 juillet 1977: «Работать внутри крайне ограниченных материалов и интегрировать в них универсум с помощью непрерывной трансформации». В этом отношении превосходный анализ возможностей синтезаторов провел Ришар Пина в связи с поп-музыкой: *Input, Output // Atem n° 10*, 1977.

* Почва, земля, основа (нем.). — Прим. пер.

чтобы определять нечеткое множество с помощью свойственных ей операций консистенции или консолидации. Ибо это весьма существенная часть — *нечеткое множество, синтез несоответствий определяются только степенью консистенции, как раз и обеспечивающей возможность различения разрозненных элементов, которые ее конституируют (различимость)*.⁴⁸ Материал должен быть в достаточной мере детерриторизованным, чтобы быть молекуляризованным и открываться в космическое, вместо того чтобы вновь падать в статистическое нагромождение. Итак, мы соответствуем такому условию только благодаря наличию определенной простоты в неединообразном материале — максимум исчислимой умеренности в отношении разнородных элементов или параметров. Именно умеренность сборок обеспечивает, возможно, богатство эффектов Машины. Мы часто обладаем чересчур высокой тенденцией к ретерриторизации на ребенке, на сумасшедшем, на шуме. В этот момент мы *делаем нечетким* вместо того, чтобы заставлять нечеткое множество состояться или достигать космических сил в детерриторизованном материале. Вот почему Пауль Клее приходит в бешенство, когда мы говорим о «инфантильности» его рисунка (а Варез, когда мы говорим о шумовом оформлении, и т.д.). Согласно Клее, нужна чистая и простая линия, соединенная с

⁴⁸ Действительно, определение нечетких множеств ставит все виды проблем, ибо мы не можем обратиться даже к локальному определению: «Набор всяческих объектов на этом столе» явно не является нечетким множеством. Вот почему математики, интересующиеся данным вопросом, говорят только о «нечетких подмножествах», поскольку референтное множество должно быть нормальным (см.: Kaufmann, Arnold. *Introduction à la théorie des sous-ensembles flous*, Masson, а также: Sinacsur, Hourya. *Logique et mathématique du flou // Critique*, mai 1978). Чтобы рассматривать нечеткость как характеристику некоторых множеств, мы, напротив, исходили из функционального, а не локального определения — множества разнородностей, обладающие территориальной или, скорее, ретерриторизирующей функцией. Но именно номинальное определение не принимает в расчет «то, что произошло». Реальная дефиниция может появиться только на уровне процессов, внедряющихся в нечеткое множество; множество является нечетким, когда его элементы принадлежат ему только благодаря особым операциям консистенции или консолидации, имеющим, таким образом, свою специальную логику.

идеей объекта, и ничего кроме нее, дабы «передавать видимое» или захватывать Космос — мы не получаем ничего, кроме помех и визуального шумового оформления, если умножаем линии и если берем весь объект целиком.⁴⁹ Согласно Варезу, чтобы проектирование дало весьма сложную форму, то есть космическое распределение, необходима простая фигура в движении и план, сам по себе подвижный; в противном случае мы получим шумовое оформление. Сдержанность, сдержанность — это общее условие для детерриторизации материй, молекуляризации материала, космизации сил. Возможно, ребенок способен на такое. Но такая трезвость — это сдержанность становления-ребенком, которое не является с необходимостью становлением ребенка, а совсем напротив; становление-безумцем не является по необходимости становлением безумца, а совсем напротив. Ясно, нужен очень чистый и простой звук, излучение или волна без гармоник для того, чтобы звук путешествовал и чтобы путешествовать вокруг звука (успех Ла Монте Янга в этом отношении). Чем более разрежена ваша атмосфера, тем больше несоответствий вы найдете. Ваш синтез несоответствий будет куда более *сильным*, если вы будете действовать с помощью сдержанного жеста, акта консистенции, захвата или извлечения, работающего в материале, который является не скудным, но удивительно упрощенным, творчески ограниченным, отобранным. Ибо воображение есть только в технике. Современная фигура — это не фигура ребенка или безумца, а еще меньше фигура художника, это фигура космического ремесленника: кустарная атомная бомба — это на самом деле очень просто, она была доказана, она была сделана. Быть ремесленником, а не художником, творцом или основателем — вот единственный

⁴⁹ Klee, Paul. *Théorie de l'art moderne*, p. 31: «Легенда об инфантилизме моего рисунка должна иметь свое происхождение в линейных производствах, где я попытался соединить идею объекта (например, человека) с чистым представлением линейного элемента. Чтобы показать человека таким, каков он есть, мне нужно было использовать совершенно сбивающий с толку беспорядок линий. Тогда результатом было бы уже не чистое представление элемента, а такие помехи, какие нам и не встречались».

способ стать космическим, покинуть среды, покинуть землю. Взывание к Космосу вовсе не действует как метафора; напротив, операция является эффективной, как только художник соединяет материал с силами консистенции или консолидации.

У материала, таким образом, три главные характеристики: он — молекуляризованная материя; он вступает в отношение с силами, коих надо добиться; он определяется операциями консистенции, применяемыми к нему. Ясно, наконец, что отношение с землей, с народом меняется и не является более отношением романтического типа. Земля теперь более всего детерриторизована — не только точка в галактике, но галактика среди других галактик. Народ теперь более всего молекуляризован — молекулярное население, народ осцилляторов, выступающих в качестве сил взаимодействия. Художник отбрасывает свои романтические фигуры, он отказывается как от сил земли, так и от сил народа. Дело в том, что битва, если таковая имеется, сместилась в другое место. Установленные власти оккупировали землю, они создали организации народа. Массовые средства информации, великие народные организации — типа партии или профсоюза — суть машины для воспроизводства, машины, создающие туманности и эффективно заглушающие все народные земные силы. Установленные власти поместили нас в ситуацию сразу и атомной, и космической галактической битвы. Многие художники уже давно осознали эту ситуацию, даже до того, как она была установлена (например, Ницше). И они смогли осознать это потому, что тот же самый вектор пересекал их собственную область — молекуляризация, атомизация материала, присоединенные к космизации сил, схваченных в этом материале. Тогда вопрос в том, чтобы знать, собираются ли атомные или молекулярные «популяции» любой природы (средства массовой информации, средства контроля, компьютеры, космическое оружие) продолжать бомбардировать существующий народ либо чтобы муштровать его, либо чтобы контролировать его, либо чтобы уничтожить

его, — или же возможны иные молекулярные популяции, кои могли бы прокрасться в первые и вызвать грядущий народ. Как говорит Вирилио, весьма строго анализируя процессы депопуляции народа и детерриторизации земли, вопрос таков: «Жить как поэт или как убийца?». ⁵⁰ Убийца — тот, кто бомбардирует существующий народ молекулярными популяциями, которые непрестанно вновь закрывают все сборки, сталкивают их во все более и более обширную и глубокую черную дыру. Поэт, напротив, — тот, кто отпускает молекулярные популяции в надежде, что они засеют или даже породят грядущий народ, что популяции перейдут в грядущий народ, что они откроют космос. И опять же, мы не должны обсуждать поэта, как если бы он пресытился метафорами — возможно, что звуковые молекулы поп-музыки в этот самый момент насаждают, здесь или там, народ нового типа, особенно безразличного к приказам радио, к контролю компьютеров, к угрозам со стороны атомной бомбы. В этом смысле отношение художника с народом во многом изменилось — художник перестал быть ушедшим в себя Одним-Единственным, но он также перестал обращаться к народу, взывать к народу как конституированной силе. Никогда еще он так не нуждался в народе, но он твердо констатирует, что народ испытывает нехватку, — народ, вот кто более всего испытывает нехватку. Речь идет не о популярных или популистских художниках, именно Малларме мог сказать, что Книга нуждается в народе, а Кафка, что литература — дело народа, и Клее, что народ — это существенное *и однако то, чего недостает*. Итак, проблема художника в том, что современная депопуляция народа вышла на открытую землю благодаря средствам искусства или благодаря средствам, в которые искусство вносит свой вклад. Вместо того чтобы народ и земля

⁵⁰ Virilio. *L'insécurité du territoire*, p. 49. Именно эту тему развивал Генри Миллер в своей книге «Рэмбо, или Время убийц», а также в тексте, написанном для Вареза, — «Потерянные! Спасенные!». Миллер, без сомнения, дальше всех продвинул современную фигуру писателя как космического ремесленника, главным образом в произведении «Sexus».

бомбардировались со всех сторон в ограничивающем их космосе, нужно, чтобы народ и земля были подобны уносящим их космическим векторам; тогда космос сам будет искусством. Создать из депопуляции космический народ, из детерриторизации космическую землю — вот что обещает художника-ремесленник тут или там, локально. Если наши правительства имеют дело с молекулярным и космическим, то наши искусства также находят там себе дело, с теми же ставкой, народом и землей, с — увы — ни на что не похожими и, однако, конкурентоспособными средствами. Не присуще ли творениям действовать тихо, локально, всюду отыскивать консолидации, двигаться от молекулярного к неопределенному космосу, тогда как процессы разрушения и сохранения работают в полном объеме, удерживают переднюю часть сцены, занимают весь космос, дабы подчинить молекулярное, поместить его в консерваторию или в бомбу?

Такие три «века» — классический, романтический и современный (за неимением другого имени) — не следует интерпретировать ни как эволюцию, ни как структуры с означающими купюрами. Именно сборки сворачивают различные Машины или разные отношения с Машиной. В каком-то смысле, все то, что мы приписываем какому-то веку, уже присутствовало в предыдущем веке. Например, силы — всегда стоял вопрос о силах, обозначаемых либо как силы хаоса, либо как силы земли. Сходным образом во все времена художественное полотно намеревалось передавать видимое, вместо того чтобы воспроизводить видимое, а музыка — передавать звуковое, вместо того чтобы воспроизводить звуковое. Нечеткие множества не перестают конституироваться и изобретать собственные процессы консолидации. И мы уже находим *освобождение молекулярного* и в классических материях содержания, действующих посредством дестратификации, и в романтических материях выражения, действующих посредством декодирования. Мы можем сказать лишь: пока силы проявляются как силы земли или хаоса, они не схватываются непосред-

ственно как силы, но как помысленные в отношении материи и формы. Речь идет, таким образом, скорее о порогах восприятия, о порогах различимости, принадлежащих той или иной сборке. Лишь тогда, когда материя достаточно детерриторизована, она сама появляется как молекулярная и заставляет появляться чистые силы, которые могут быть приписаны только Космосу. Такое имело место «во все времена», но в иных перцептивных условиях. Нужны новые условия, дабы то, что было зарыто или сокрыто, заключено и закончено, выбралось теперь на поверхность. То, что было скомпоновано в сборке, то, что еще только компоновалось, становится компонентой новой сборки. В этом смысле вся история — это только история восприятия; тогда как то, из чего мы делаем историю, — это скорее материя становления, а не материя истории. Становление подобно машине, по-разному присутствующей в каждой сборке, но переходящей от одной сборки к другой, открывающей одну в другую, независимо от фиксированного порядка или заданной последовательности.

Теперь мы можем вернуться к ритурнели. Мы можем предложить другую классификацию: ритурнели сред, по крайней мере, с двумя частями, где одна отвечает другой (пианино и скрипка); ритурнели родного, территории, где часть пребывает в отношении с целым, с громадной ритурнелю земли, следуя самым переменным отношениям, кои каждый раз помечают несовпадение земли и территории (колыбельная песня, застольная песня, охотничья песня, песня работы, военная песня и т.д.); популярные и фольклорные ритурнели, которые сами связаны с огромной песней народа, следуя вариабельным отношениям индивидуаций толпы, одновременно вводящей в игру аффекты и нации (Польскую, Овернскую, Немецкую, Венгерскую или Румынскую, а также Патетическую, Паническую, Мстительную и т.д.); молекуляризованные ритурнели (море и ветер), связанные с космическими силами, с ритурнелю-Космосом. Ибо Космос — сам ритурнель, и ухо тоже (все, что мы принимали за лабиринты, было

ритурнелями). Но почему именно ритурнель является в высшей степени звуковой? Откуда берется такая привилегированность уха, тогда как уже животные и птицы предоставляют нам столько ритурнелей жестов, поз, хроматических, визуальных ритурнелей? Разве у художника меньше ритурнелей, чем у музыканта? Разве меньше ритурнелей у Сезанна или у Клее, чем у Моцарта, Шумана или Дебюсси? Обратимся к примерам Пруста: разве небольшая желтая часть стены Вермеера или цветы художника, пышные розы Эльстира создают меньше «ритурнели», чем маленькая фраза Вентейля? Речь идет, конечно, не о том, чтобы отдавать первенство какому-либо искусству в зависимости от формальной иерархии и абсолютных критериев. Проблема — куда более скромная — состояла бы в том, чтобы сравнить потенции или коэффициенты детерриторизации звуковых и визуальных компонент. Кажется, что звук, детерриторизируясь, все более и более очищается, специфицируется и становится автономным. Тогда как цвет соответствует больше — хотя и не обязательно — объекту, а не территориальности. Когда он детерриторизируется, он стремится к тому, чтобы раствориться, к тому, чтобы позволить себе быть ведомым другими компонентами. Мы хорошо видим это в феноменах синестезии, которые не сводятся к простому соответствию цвет—звук, но где звуки играют управляющую роль и вводят цвета, кои *налагаются* на видимые цвета, наделяют их собственно звуковыми ритмом и движением.⁵¹ Звук не обязан своим могуществом ни означающим или «коммуникативным» достоинствам (каковые, наоборот, ее предполагают), ни физическим свойствам (которые отдали бы, скорее, привилегию свету). Звук обязан своим могуществом филогенетической линии, машинному филуму, который передается звуком и делает его крайним пунктом детерриторизации.

⁵¹ Об отношении между цветами и звуками см.: Messiaen et Samuel, *Entretiens*, pp. 36—38. Мессиян упрекает наркоманов именно в том, что те чересчур упрощают отношение, до сих пор действующее между шумом и цветом, вместо того чтобы обращаться к комплексам звуков-длительностей и комплексам цвета.

И такое не происходит без крупных двусмысленностей — звук вторгается в нас, выталкивает нас, увлекает нас, пересекает нас. Он покидает землю, как для того, чтобы заставлять нас падать в черную дыру, так и чтобы открывать нас космосу. Он сообщает нам желание смерти. Обладая огромнейшей силой детерриторизации, он также осуществляет самые массивные, самые ошеломляющие, самые избыточные ретерриторизации. Экстаз и гипноз. Мы не заставляем народ двигаться с помощью цветов. Флаги ни на что не способны без трубачей, лазеры модулируются на звуке. Ритурнель является звуковой по преимуществу, но она развивает свою силу, как в слащавой песенке, так и в наичистейшем мотиве или в маленькой фразе Вентейля. А иногда песенка и мотив комбинируются — Бетховен становится «показательным». Потенциальный фашизм музыки. В целом можно сказать, что музыка подключается к машинному филуму, бесконечно более мощному, чем филум картины — линия избирательного давления. Вот почему у музыканта не те же отношения с народом, машинами и установленной властью, нежели у художника. А именно, власть испытывает живую потребность контролировать распределение черных дыр и линий детерриторизации в этом филуме звуков, дабы предотвращать или присваивать эффекты музыкального механизма. Художник — по крайней мере, как его обычно изображают, — может быть куда более открыт социально, быть куда более политичным и менее контролируемым извне и изнутри. Вот почему каждый раз он сам создает или воссоздает филум, и каждый раз делает это, начиная с тел света и цвета, которые он производит, тогда как музыкант, напротив, имеет в своем распоряжении что-то вроде зачаточной непрерывности, пусть даже латентной и косвенной, начиная с которой он и производит свои звуковые тела. Два разных движения творчества: одно идет от *сомы* к *гермену* и другое — от *гермена* к *собе*. Ритурнель художника подобна изнанке ритурнели музыканта, некий негатив музыки.

Но, в любом случае, что же такое ритурнель? *Стекланая гармоника*: ритурнель — это призма, кристалл пространства—времени. Она действует на то, что ее окружает, на звук или свет, дабы выделить из них разнообразные вибрации, разложения, проекции и трансформации. Ритурнель обладает также каталитической функцией — не только ради увеличения скорости обменов и реакции в том, что его окружает, но и чтобы удостоверить косвенные взаимодействия между элементами, лишенными так называемого естественного сходства, и формировать там организованные массы. Следовательно, ритурнель — это что-то типа кристалла или протеина. Что касается зародышевой завязи или внутренней структуры, то они обладали бы тогда двумя существенными аспектами — увеличение и уменьшение, добавление и изъятие, усиление и уничтожение из-за неравной длительности нот, а также присутствие попятного движения, идущего в обоих смыслах-направлениях, как «в боковом стекле трамвая на ходу». Странное попятное движение *Joke**. Из природы ритурнели следует — концентрироваться благодаря уничтожению на чрезвычайно короткий момент, как движение от экстремумов к центру, или, напротив, развиваться благодаря добавлениям, идущим от центра к экстремумам, а также проходить по этим путям в обоих направлениях.⁵² Ритурнель фабрикует времена. Она — «подразумеваемое время», о котором говорил лингвист Густав Гийом. Тогда двусмысленность ритурнели проясняется — ибо, если попятное движение формирует только закрытый круг, если увеличения и уменьшения осуществляются только благодаря регулярным длительностям нот (например, удвоенным или уполовиненным), то эта ложная пространственно-временная строгость тем более оставляет в расплывчатости внешнюю совокупность, которая имеет теперь с зародышевой

* Шутка (англ.). — Прим. пер.

⁵² О кристалле или кристаллическом типе, о добавлении и изъятии ценностей, о попятном движении см. также тексты Мессиана в его «Переговорах» и тексты Поля Клее в его «Журнале».

завязью лишь ассоциативные, индикативные или дескриптивные отношения («некий склад ненастоящих элементов для формирования нечистых кристаллов»), вместо чистого кристалла, достигающего космических сил. Ритурнель остается в состоянии формулы, отсылающей к персонажу или пейзажу, вместо того чтобы самой создавать ритмический персонаж или мелодический пейзаж. Таким образом, это подобно двум полюсам ритурнели. И такие два полюса зависят не только от внутреннего качества, но и от состояния силы того, кто слушает — так, маленькая фраза сонаты Венетейля ассоциируется с любовью Свана, с личностью Одетты и с пейзажем Булонского леса до тех пор, пока она не оборачивается на саму себя, открывається самой себе, дабы обнаруживать до сих пор неслыханные возможности, дабы вступать в другие соединения, дабы уводить любовь к другим сборкам. Нет Времени как априорной формы, именно ритурнель является априорной формой времени, которая каждый раз фабрикует различные времена.

Любопытно, как музыка не устраняет посредственную или плохую ритурнель или же неправильное использование ритурнели, а напротив, привлекает ее или пользуется ею как трамплином. «Ах мама, вам скажу я...», «У нее была деревянная нога», «Брат Жак...». Ритурнель детства или птицы, фольклорная песня, застольная песня, Венский вальс, колокольчик коровы — музыка использует все это и сметает прочь. Дело не в том, что напев ребенка, птицы или фольклора сводится к ассоциативной и закрытой формуле, о которой мы только что говорили. Как раз следовало бы показать, как музыкант нуждается в *первом типе* ритурнели, в территориальной ритурнели или ритурнели сборки, дабы трансформировать ее изнутри, детерриторизовать ее и произвести, наконец, ритурнель *второго типа* как окончательную цель музыки, космическую ритурнель машины звуков. Жизель Бреле, обсуждая творчество Бартока, верно ставит проблему этих двух типов: как — начиная с территориальных и популярных *мелодий*, автономных и самодостаточных

и замкнутых на себе — строить новый хроматизм, который вынудил бы их коммуницировать, создавать, таким образом, «темы», удостоверяющие развитие Формы или, скорее, становление Сил? Такая проблема является общей, ибо во многих направлениях ритурнели будут засеиваться новым герменом, которая возвращает модусы, вынуждает их коммуницировать, побеждает темперамент, плавит мажор и минор, заставляет ускользать тональную систему, приходит через ее ячейки, а не порывает с нею.⁵³ Мы можем сказать: да здравствует Шабрие в противоположность Шенбергу, так же как Ницше прославлял Бизе, причем по тем же причинам и с той же музыкальной и технической интенцией. Мы идем от модальности к расширенному нетемперированному хроматизму. Мы не нуждаемся в упразднении тональности, нам нужно заставить ее ускользать. Мы идем от сборных ритурнелей (территориальных, популярных, любовных и т.д.) к великим космическим машинным ритурделям. Но труд созидания осуществляется уже в первых ритурделях, он там во всей полноте. В малую форму-ритурнель или рондо уже проникают деформации, собирающиеся обрести большую силу. Сцены детства, детские игры — мы начинаем с детской ритурнели, но у ребенка уже есть крылья, он становится небесным. Становление-ребенком музыканта удваивается становлением-воздушным ребенка — в неразложимом блоке. Вос-

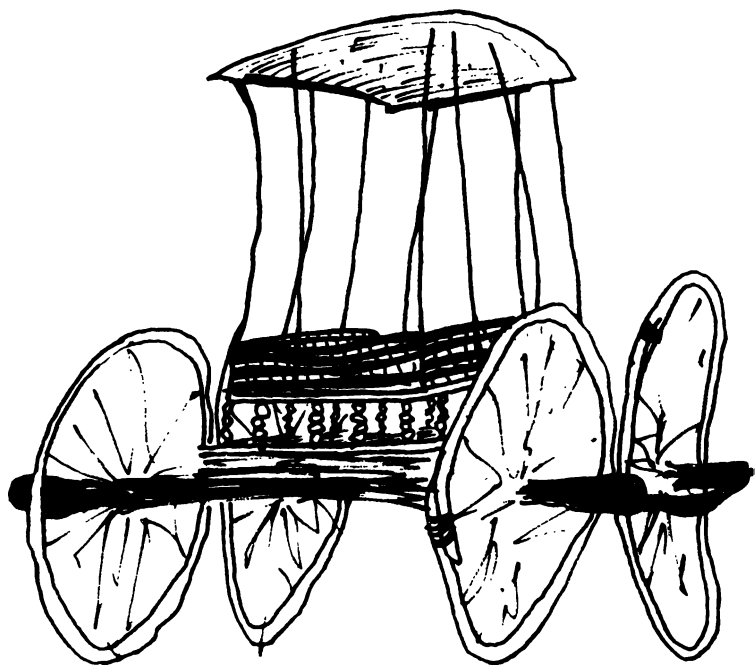
⁵³ В *L'Histoire de la musique*, Pléiade, t. II, см. статью Ролана-Манюэля «L'évolution de l'harmonie en France et le renouveau de 1880» (pp. 867–879) и статью Мориса Делажа об Эмануэле Шабрие (pp. 831–840). И особенно исследование Жизели Бреле [Gisèle Brelet] о Бартоке: «Не из такой ли антиномии между мелодией и темой проистекает трудность, связанная с использованием популярной музыки в музыке сложной? Популярная музыка — это мелодия в ее самом полном смысле, мелодия, убеждающая нас, что она самодостаточна, что она и есть сама музыка. Как же ей не отказаться от подчинения сложному развитию музыкального произведения, воодушевляемого собственными намерениями? Многие симфонии, вдохновляемые фольклором, — это лишь симфонии *на* популярную тему, в которой сложное развитие остается чужеродным и внешним. Популярная мелодия не могла бы быть подлинной темой; и вот почему в популярной музыке мелодия — все произведение целиком, и вот почему, как только она заканчивается, у нее нет иного ресурса, кроме как повториться. Но может ли мелодия трансформироваться в тему? Барток решает ту проблему, которую считали неразрешимой» (стр. 1056).

поминание ангела, или скорее становление ради космоса. Кристалл — становление-птицей Моцарта неотделимо от знакомого становления птицы и формирует с ним блок.⁵⁴ Именно чрезвычайно глубокая работа над первым типом ритурнели создает второй тип, то есть маленькую фразу Космоса. Для концерта Шуману требуются все сборки оркестра, дабы заставить виолончель странствовать, как удаляется или гаснет свет. У Шумана именно вся искусная мелодическая гармоничная и ритмическая работа ведет к этому простому и скупому результату — *детерриторизовать ритурнель*.⁵⁵ Производить детерриторизованную ритурнель как окончательную цель музыки, отпускать ее в Космос — это важнее, чем создавать новую систему. Открывать сборку на космической силе. В переходе от одного к другому, от сборки звуков к Машине, создающей звуковой эффект, — от становления-ребенком музыканта к становлению-космическим ребенка, — появляется много опасностей: черные дыры, замыкания, паралич пальца и галлюцинации слуха, безумие Шумана, ставшая *плохой* космическая сила, преследующая вас нота, пронизывающий вас звук. К тому же одно уже присутствует в другом, космическая сила присутствует в материале, большая ритурнель — в маленьких ритурнелях, большой маневр — в малом маневре. Только мы никогда не уверены в том, что у нас достаточно сил, ибо у нас нет системы, у нас есть только линии и движения. Шуман.

⁵⁴ More, Marcel. *Le dieu Mozart et le monde des oiseaux*, Gallimard, p. 168. И о кристалле, pp. 83–89.

⁵⁵ См. знаменитый анализ Берга, проведенный относительно «Мечты» в *Ecrits*, Ed. du Rocher, pp. 44–64.

12. 1227 — Тракта́т о номадологии: машина войны



*Номадическая колесница, вся из дерева,
Алтай, V–IV век до нашей эры.*

Аксиома I. Машина войны является внешней по отношению к аппарату Государства.

Теорема I. О таком внешнем характере машины войны свидетельствуют, прежде всего, мифология, эпос, драма и игры.

Жорж Дюмезиль в своем важном анализе индоевропейской мифологии показал, что у политического суверенитета, или господства, две головы — голова короля-мага и

голова жреца-юриста. Рекс и Фламин, Раджанья и Брахман, Ромул и Нума, Варуна и Митра, деспот и законодатель — тот, кто связывает, и тот, кто организует. Несомненно, эти два полюса противостоят друг другу как тьма и свет, неистовое и спокойное, быстрое и заторможенное, ужасное и регулярное, «узы» и «договор», и т.д.¹ Но их противостояние лишь относительно; они функционируют в паре, в чередовании, как если бы выражали деление Единого или сами составляли суверенное единство. Одновременно антитетические и дополнительные, необходимые друг другу и, значит, не враждебные, лишенные мифологии конфликта — каждая спецификация на каком-то одном плане автоматически вызывает гомологичную спецификацию на другом, и обе они вместе исчерпывают все поле функции. Именно такие принципиальные элементы аппарата Государства производят Один—Два, распределяют бинарные различия и формируют среду внутреннего. Именно двойная артикуляция превращает аппарат Государства в *страту*.

Заметим, что война не включена в этот аппарат. *Либо* Государство располагает насилием, не проходящим через войну, — вместо военных оно использует полицейских и тюремщиков, у него нет вооружения, и оно в нем не нуждается, Государство действует посредством немедленного магического захвата, оно «хватает» и «связывает», препятствуя любой битве. *Либо* Государство обретает армию, но так, что последняя предполагает юридическую интеграцию войны и организацию военной функции.² Что же касается самой машины войны, то она, похоже, вовсе не сводится к

¹ Dumézil, Georges. *Mitra-Varuna*, Gallimard (о *nexum* и *mutuum*, о связи и контракте см.: pp. 118–124).

² Государство, на своем первом полюсе (Варуна, Уран, Ромул), действует с помощью магической связи, овладения или немедленного захвата — оно не борется, и у него нет машины войны, «оно связывает, и все». Что касается другого полюса (Митра, Зевс, Нума), то оно присваивает армию, но налагает на нее институциональные и юридические правила, которые делают из последней лишь деталь аппарата Государства: так, Марс—Тиваз — не воинственный бог, а бог-«адвокат войны». См.: Dumézil, Georges. *Mitra-Varuna*, pp. 113 sq., 148 sq., 202 sq.

аппарату Государства, оставаясь по ту сторону его суверенитета и являясь изначальной по отношению к его закону — она приходит откуда-то еще. *Индра — воинственный бог — противостоит Варуне не меньше, чем Митре.*³ Он не сводится ни к тому, ни к другому; как, впрочем, и не формирует нечто третье. Он, скорее, что-то вроде чистого, лишнего меры множества, стаи, он — некое вторжение эфемерного и мощь метаморфозы. *Он разрывает узы, так же как предаёт договор.* Он показывает, что *furore* противостоит мере, скорость — тяжести, тайное — публичному, мощь — суверенитету, машина — аппарату. Он свидетельствует о другой справедливости, иногда о непонятной жестокости, но иногда и о неведомой жалости (ибо он разрывает связи...).⁴ Он свидетельствует, прежде всего, о других отношениях с женщинами, с животными, ибо видит любую вещь в отношениях становления, а не проводит бинарные распределения между «состояниями» — все становление-животным воина, все становление-женщиной, превосходящее как дуальности терминов, так и соответствия отношений. В любом случае, машина войны — иного вида, иной природы, иного происхождения, нежели аппарат Государства.

Давайте рассмотрим конкретный пример и сравним машину войны с аппаратом Государства, следуя теории игр. Сопоставим Шахматы и Го с точки зрения фигур, отношений между фигурами и пространства, где разворачивается игра. Шахматы — игра Государства или двора, в нее играет китайский император. Шахматные фигуры кодированы, они обладают внутренней природой или внутренними свойствами, из коих вытекают их движения, положения и противостояния. Они обладают качествами, конь остается конем, пешка — пешкой, слон — слоном. Каждая фигура — что-то вроде субъекта высказанного,

³ Dumézil. *Heur et malheur du guerrier*, P. U. F.

⁴ О роли воина как того, кто «развязывает» и противостоит как магической связи, так и юридическому контракту см.: *Mitra-Varuna*, pp. 124–132. См. также анализ *furore* в разных работах Дюмезиля.

наделенная относительным могуществом; и эти относительные могущества комбинируются в субъекте высказывания — в самом шахматисте или в форме внутренних характеристик игры. Фишки го, напротив, — это зерна, пастилки, простые арифметические единицы, и у них нет иной функции, кроме как анонимной, коллективной или функции третьего лица: «Оно [II]» движется, и это может быть мужчина, женщина, блоха, слон. Фишки го суть элементы несубъективной машинной сборки, лишенные внутренних свойств и наделенные лишь положением. Итак, отношения в обоих случаях крайне различны. В своей среде внутреннего шахматные фигуры поддерживают дву-однозначные отношения друг с другом и с фигурами противника — их функции структурны. Тогда как у фишки го есть только среда внешнего, или внешние отношения с туманностями или созвездиями, в соответствии с которыми она выполняет функции закрепления или положения — такие, как окаймление, окружение, разбиение. Всего лишь одна фишка го может синхронно уничтожить целое созвездие, тогда как шахматная фигура не может (или может, но только диахронно). Шахматы — это действительно война, но война институционализированная, урегулированная, закодированная, с фронтом, тылом и сражениями. Но что свойственно го, так это война без линии боя, без столкновения и отступления, а в пределе даже без сражения: чистая стратегия, в то время как шахматы — это семиология. Наконец, тут и пространство не одно и то же — в случае шахмат речь идет о том, чтобы распределяться в закрытом пространстве, а значит, двигаться от одной точки к другой, занимать максимум мест минимальным числом фигур. В го же речь идет о том, чтобы распределяться в открытом пространстве, удерживать пространство, сохранять возможность появиться в любой точке — движение уже не идет от точки к точке, а становится непрерывным, без цели и направления, без исхода и прибытия. «Гладкое» пространство го противостоит «рифленому» пространству шахмат. *Nomos* го против

Государства шахмат, *nomos** против *polis***. Дело в том, что шахматы кодируют и декодируют пространство, тогда как го ведет себя совсем иначе, территорируя и детерриторируя пространство (сделать из внешнего территорию в пространстве, закрепить эту территорию с помощью обустройства второй — примыкающей — территории, детерриторизовать противника, разрушая его территорию изнутри, детерриторизовать себя путем отказа, ухода в другое место). Иная справедливость, иное движение, иное пространство—время.

«Они появляются, как судьба, беспричинно, безрассудно, бесцеремонно, безоговорочно...»*** «Каким-то непостижимым образом они достигли столицы, хоть она и стоит далеко от рубежей. Так или иначе, они здесь; и сдается мне, число их с каждым днем растет»**** — Люк де Эш [Luc de Neusch] прояснил миф Банту, отсылающий нас к той же схеме: Нконголо — автохтонный император и организатор крупномасштабных работ, человек народа и полиса, отдает своих сводных сестер охотнику Мбиди, который ему помогает, а затем его покидает; сын Мбиди, человек тайны, воссоединяется с отцом, но лишь затем, чтобы вернуться извне с такой невероятной вещью, как армия, и убить Нконголо, рискуя воссоздать новое Государство...⁵

* Здесь — ном (*др.-гр.*): «Каждый ном» был полем образования первичного государства — того, что принято обозначать как город-государство, но что, может быть, правильнее было бы называть «номовым государством», так как оно включало не один город, а чаще несколько соподчиненных больших территориальных общин-городов» (Дьяконов И.М. *История Древнего Востока: Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации*. Ч. 1: Месопотамия. М., 1983, с. 139). — *Прим. пер.*

** Поселение, община (*др.-гр.*) — особая форма организации общества, характерная для античного мира, которая, строго говоря, не была ни городом, ни государством (см.: Кошеленко Г.А. *Греческий полис на эллинистическом Востоке*. М., 1979; Берент М. *Безгосударственный полис: раннее государство и древнегреческое общество* // *Альтернативные пути к цивилизации*. М., 2000). — *Прим. пер.*

*** Ницше Ф. *Генеалогия морали*, рассмотрение второе, раздел 17 (собр.соч. в 2-х тт. М.: Мысль, 1990, с. 463). — *Прим. пер.*

**** Кафка Ф. «Старинное письмо» (см. в сборнике «Сельский врач»). — *Прим. пер.*

⁵ Люк де Эш (*Le roi ivre ou l'origine de l'Etat*) настаивает на публичном характере жестов Нконголо, в противоположность тайне жестов Мбиди и его сыновей — первый ест публично, тогда как вторые прячутся во время приема пищи. Мы еще увидим сущностное отношение между тайной и машиной войны, как с точки зрения принципа, так и с точки зрения последствий — шпионаж, стратегия, дипломатия. Комментаторы часто подчеркивали это отношение.

«Между» деспотически-магическим Государством и правовым Государством, обладающим военным институтом, видны всполохи машины войны, пришедшей извне.

С точки зрения Государства, необычность воина, его эксцентричность, с необходимостью проявляется в негативной форме — глупость, увечность, безумие, беззаконие, узурпация, грех... Дюмезиль анализирует три «греха» воина в индоевропейской традиции — противостояние королю, противостояние священнику, противостояние законам, исходящем от Государства (например, сексуальная трансгрессия, компрометирующая распределение мужчин и женщин, или даже предательство законов войны, как они установлены Государством).⁶ Воин — либо предает все, в том числе и военную функцию, либо ничего не понимает. Случается, что историки, как буржуазные, так и советские, следуют такой негативной традиции и объявляют, будто Чингисхан ничего не понимал: он «не понимал» феномена государственности, «не понимал» феномена урбанизации. Легко сказать. Дело в том, что внешний характер машины войны в отношении аппарата Государства проявляется повсюду, но остается трудным для продумывания. Мало утверждать, что машина является внешней по отношению к аппарату, надо еще суметь помыслить саму машину войны как чистую форму внешнего, тогда как аппарат Государства конституирует форму внутреннего, обычно принимаемую нами за модель, согласно которой мы привыкаем мыслить. Дело осложняется тем, что эта внешняя мощь машины войны стремится, в определенных обстоятельствах, к тому, чтобы самой слиться с той или другой головой аппарата Государства. Порой она старается смешаться с магическим государственным насилием, а порой и с военным государственным институтом. Например, машина войны изобретает скорость и тайну; но есть, однако, какая-то скорость и какая-то тайна, принадлежащие

⁶ Dumézil. *Mythe et épopée*, Gallimard, II, pp. 17–19: анализ трех грехов, которые мы находим в случае индийского бога Индры, скандинавского героя Старкада и греческого героя Геракла. См. также: *Heur et malheur du guerrier*.

Государству, пусть даже относительно, пусть даже вторичным образом. Следовательно, есть большой риск отождествить структурное отношение между обоими полюсами политического суверенитета, а также динамическое отношение этих двух полюсов — с мощью войны. Дюмезиль ссылается на родословную римских цезарей: есть отношение Ромул—Нума, воспроизводящееся вдоль серии с вариациями и чередованиями между двумя типами одинаково законных правителей; но есть также и отношение со «злым цезарем» — Туллом Гостилием, Тарквинием Гордым, — с неким вторжением воина как устрашающего и незаконного персонажа.⁷ Можно обратиться и к королям Шекспира — даже насилия, убийства и извращения не мешают государственным наследникам создавать «добрых» королей; но прокрадывается устрашающий персонаж — Ричард III, с самого начала сообщающий о своем намерении повторно изобрести машину войны и навязать свою линию (безобразный, неискренний и лживый, он ссылается на «тайный замысел»*, абсолютно чуждый захвату государственной власти, он взывает к абсолютно *иному* отношению с женщинами). Короче, каждый раз, когда мы смешиваем вторжение могущества войны с родословной государственного господства, все запутывается, и мы уже не можем помыслить машину войны иначе, как нечто негативное, ибо не остается ничего, что существовало бы вне самого Государства. Но, помещенная в собственную среду внешнего, машина войны проявляется как нечто совсем иного вида, иной природы, иного происхождения. Можно было бы сказать, что она располагается между обеими головами Государства, между обеими артикуляциями, что она нужна для того, чтобы переходить от одной головы к другой. Но, находясь именно «между» этими двумя головами, она —

⁷ Dumézil, Georges. *Mitra-Varuna*, p. 135. Дюмезиль анализирует опасности и причины смущения, способного соответствовать экономическим вариантам, см. pp. 153, 159.

* *Ричард III*, акт I, сцена I, строфа 158 (в пер. Анны Радловой: «Так поступлю не то что из любви, а ради тайных замыслов моих»). — *Прим. пер.*

пусть даже эфемерная, пусть даже мерцающая — тут же утверждает свою неодолимость. *У Государства как такового нет машины войны*; оно присвоит ее только в форме военного института, и последний постоянно будет ставить перед государством проблемы. Отсюда недоверие государств к собственному военному институту, ибо военный институт наследует внешней характер машины войны. Клаузевиц предвидел такое общее положение дел, когда трактовал поток абсолютной войны как некую Идею, к которой приспособляются Государства, частично следуя нуждам своей политики, и по отношению к которой они — более или менее хорошие «проводники».

Зажатый между двумя полюсами политического суверенитета, воин кажется старомодным, осужденным, без будущего, сведенным к собственной ярости, оборачиваемой им против себя самого. У потомков Геракла, Ахиллеса, а затем Аякса было еще достаточно сил, чтобы утверждать свою независимость в отношении Агамемнона, человека прежнего Государства, но они бессильны против Улисса, нарождающегося человека современного Государства, первого человека современного Государства. Именно Улисс наследует оружие Ахиллеса, дабы изменить его употребление, подчинить его государственному праву, — это не Аякс, осужденный богиней, коей пренебрег и которую оскорбил.⁸ Никто лучше, чем Клейст, не показал такое положение воина, одновременно эксцентричного и осужденного. Уже в «Пентесилее» Ахиллес отделен от своего могущества — машина войны переходит к амазонкам, народу-женщин без Государства, где справедливость, религия и страсти организованы исключительно воинственным образом. Потомки Скифов, амазонки появляются подобно молниям «между» двумя Государствами — греческим и троянским. Они все сметают на своем пути. Ахиллес оказывается перед собственным двойником, Пентесилеей. И в своей двусмы-

⁸ Об Аяксе и трагедии Софокла см. анализ: Starobinski, Jean. *Trois fureurs*, Galimard. Жан Старобинский явным образом ставит проблему войны и Государства.

сленной борьбе Ахиллес не может удержаться от бракосочетания с машиной войны или от любви к Пентесилее, предавая, таким образом, одновременно и Агамемнона, и Улисса. Однако он уже настолько принадлежит греческому Государству, что Пентесилея, со своей стороны, не могла вступить с ним в страстные отношения войны, не предавая сама коллективного закона своего народа — того закона стаи, который запрещает «выбирать» врага и входить в отношения лицом к лицу или в бинарные различия.

Всем своим творчеством Клейст воспекает машину войны, противопоставляя ее аппарату Государства — в бою, заранее проигранном. Несомненно, Якоб Арминий возвеличивает германскую машину войны, порывающую с имперским порядком союзов и армий и всегда восстающую против римского Государства. Но принц Гамбургский живет только мечтой и обречен на победу, лишь нарушая закон Государства. Что касается Колхаса, то машина войны теперь уже не более, чем разбой. Не в этом ли состоит судьба такой машины — впадать, когда Государство торжествует, в альтернативу: либо быть не более, чем военным и дисциплинированным органом аппарата Государства, *либо же оборачиваться против самой себя* и становиться машиной самоубийства на пару — для одиноких мужчины и женщины? Гете и Гегель — государственные мыслители — видят в Клейсте чудовище, и Клейст проигрывает с самого начала. Почему же тогда с ним связана самая странная современность? Дело в том, что стихии его произведений — тайна, скорость и аффект.⁹ У Клейста тайна — уже не содержание, схваченное в форме внутреннего, напротив, она становится формой и идентифицируется с формой внешнего, всегда пребывающей вне самой себя. Сходным образом, чувства отрываются от того, что составляет внутреннюю сторону «субъекта», дабы неистово броситься в среду чистого внешнего, кое сообщает им небывалую скорость и силу

⁹ Темы, анализируемые Матьё Каррьер [Mathieu Carrière] в еще неопубликованном исследовании о Клейсте.

катапульти: любовь или ненависть — уже не чувства, а аффекты. И эти аффекты в той же мере являются становлением-женщиной, становлением-животным воина (медведь, суки). Аффекты пробивают тело как стрелы, они — оружие войны. Скорость детерриторизации аффекта. Даже сны (сны принца Гамбургского, сны Пентесилеи) экстериоризуются благодаря системе реле и переключений, внешних соединений, принадлежащих машине войны. Разбитые кольца. Такая господствующая над всем стихия внешнего — впервые изобретаемая Клейстом в литературе — придает времени новый ритм: бесконечная последовательность кататоний, или обмороков, и ярких вспышек или стремительностей. Кататония — «этот аффект слишком силен для меня», а яркая вспышка — «сила такого аффекта сметает меня», Самость — всего лишь персонаж, чьи жесты и эмоции десубъективируются, рискуя от этого умереть. Такова личная формула Клейста — последовательность безумных гонок и кататонических ступоров, где больше нет никакой субъективной интериорности. У Клейста много от Востока — бесконечно неподвижный японский борец совершает неожиданно движение, слишком быстрое, чтобы его можно было ощутить. Игрок го. Много чего в современном искусстве исходит от Клейста. Гете и Гегель — старичье по отношению к Клейсту. Может ли такое быть, что именно тогда, когда машина войны перестает существовать, побежденная Государством, она в высшей степени свидетельствует о своей неодолимости, она множится в мыслящих, любящих, умирающих, творящих машинах, располагающих живыми или революционными силами, которые способны снова поставить под вопрос Государство-победителя? Не в одном ли и том же движении машина войны уже преодолена, осуждена, присвоена, и как раз в нем же обретает новые формы, подвергается метаморфозам, утверждает собственную неодолимость, собственное внешнее, дабы развернуть эту среду чистого внешнего, каковую человек западного Государства, или западный мыслитель, не перестает уничтожать?

Проблема I. Есть ли средство предотвратить формирование аппарата Государства (или его эквивалентов в группе)?

Теорема II. О внешнем характере машины войны также свидетельствует этнография (дань памяти Пьеру Кластру).

Первобытные сегментарные общества часто определяются как общества без Государства, то есть общества, где не появляются различные органы власти. Но из этого сделали вывод, будто такие общества не достигли должной степени экономического развития или уровня политической дифференциации, которые сразу бы сделали возможным и необходимым формирование аппарата Государства: первобытные народы до сих пор «не понимают» столь сложного аппарата. Во-первых, важность тезисов Кластра состоит в том, что они порывают с таким эволюционистским постулатом. Кластр не только сомневается в том, что Государство якобы было продуктом экономического развития, но и спрашивает, не является ли потенциальной заботой первобытных обществ отражать и отводить то чудовище, которого они, как предполагается, не понимают. Предотвратить формирование аппарата Государства, сделать невозможным такое формирование — вот что составляло цель некоторых примитивных социальных механизмов, даже если они таковую ясно не понимали. Несомненно, у первобытных обществ есть *вожди*. Но Государство не определяется существованием вождей, оно определяется увековечением или сохранением органов власти. Забота Государства в том, чтобы сохранять. Значит, нужны особые институты, чтобы вождь смог стать государственным человеком, но не менее нужны и диффузные коллективные механизмы, дабы помешать вождю становиться таковым. Предотвращающие или превентивные механизмы — лишь часть совета вождей, они мешают такому совету выкристаллизовываться в некий аппарат, отличный от самого социального тела. Кластр описывает данное положение вождя, у коего нет иного институционального оружия, кроме собственного престижа, нет иного средства, кроме уверенности, нет

иного правила, кроме предчувствия желаний группы — вождь больше походит на лидера или звезду, нежели на представителя власти, и он всегда рискует быть непризнанным, покинутым своим народом. Более того, Кластр отождествляет *войну* в первобытных обществах с самым точным механизмом, направленным против формирования государства: дело в том, что война поддерживает рассеивание и сегментарность групп, а также и в том, что сам воин вовлечен в процесс накопления своих подвигов — процесс, ведущий его к одиночеству и престижной, но безвластной смерти.¹⁰ Таким образом, Кластр может сослаться на естественное Право, пересматривая, одновременно, его главное положение: уже Гоббс хорошо понимал, что *Государство выступает против войны, а война — против Государства* и делает последнее невозможным. Отсюда вовсе не следует, будто война — это природное состояние, напротив, она, скорее, — модус общественного состояния, предотвращающего Государство и мешающего ему. Первобытная война не создает Государство, так же как и не выводится из него. Она объясняется наличием Государства не лучше, чем обменом: не будучи выводимой из обмена (даже как санкционирование его провала), война — это то, что ограничивает обмены, удерживает их в рамках «союзов», препятствует им стать фактором Государства, мешает вынужденному объединению групп.

Важность этого тезиса, прежде всего, в том, чтобы привлечь внимание к коллективным механизмам подавления. Такие механизмы могут быть весьма тонкими и функционировать как микромеханизмы. Последнее обстоятельство хорошо просматривается в некоторых феноменах банд или стай. Так, по поводу подростковых банд Боготы Жак Менье говорит о трех способах, мешающих лидеру обрести устой-

¹⁰ Clastres, Pierre. *La société contre l'Etat*, Ed. de Minuit; Archéologie de la violence è Malheur du guerrier sauvage // *Libre I et II*, Payot. Именно в последнем тексте Кластр рисует портрет судьбы воина в первобытном обществе и анализирует механизм, препятствующий концентрации власти (так же, как Мосс показал, что потлач — механизм, препятствующий концентрации богатства).

чивую власть: члены банды собираются ради совместных грабежей, а после раздела добычи разбегаются, чтобы по отдельности спать и питаться; с другой стороны — и это главное — каждый член банды кооперируется с одним, двумя или тремя другими членами так, что он в случае конфликта с вождем уйдет не один, но вместе с товарищами, а их совместный уход будет угрожать развалом всей банды; и наконец, есть нечетко определенный возрастной ценз, в силу которого примерно к пятнадцати годам член банды должен оставить ее, избавиться от нее.¹¹ Чтобы понять эти механизмы, надо отказаться от эволюционистской точки зрения, превращающей банды или стаи в рудиментарную и куда менее организованную социальную форму. Даже в бандах животных совет вождей — это сложный механизм, не способствующий выдвижению самых сильных, но, скорее, тормозящий консолидацию устойчивых властных полномочий в пользу ткани имманентных отношений.¹² Также несложно сравнить форму «светскости» с формой «социальности» у высокоразвитых людей — светские группы похожи на банды и действуют скорее через диффузию престижа, чем посредством отсылки к центрам власти, как в социальных группах (Пруст хорошо показал такое несоответствие между светскими и социальными ценностями). Эжен Сю — светский человек и денди, упрекаемый законниками за частые посещения Орлеанской семьи — говорил: «Я не присоединяюсь к семье, я присоединяюсь к стае». Стаи, банды — это группы типа ризомы, в противоположность древесному типу, концентрирующемуся на

¹¹ Meunier, Jacques. *Les gamins de Bogota*, Lattes, p. 159 («шантаж разбеганием»), стр. 177: если необходимо, «именно другие уличные мальчишки, благодаря сложному взаимодействию обид и замалчиваний, проникаются идеей, что вождь должен покинуть банду». Менье подчеркивает, до какой степени скомпрометирована судьба бывшего представителя шпаны — не только из-за здоровья, но и потому, что он плохо интегрируется в «шпану», которая является для него чересчур иерархизированным, чересчур централизованным, чересчур сосредоточенным на органах власти сообществом (стр. 178). О детских бандах см. также в романе: Амаду Ж. *Капитаны песка*. М.: «ПРЕССА», 1992.

¹² Ср.: Bernstein I.S. La dominance sociale chez les primates // *La Recherche* n° 91, juillet 1978.

органах власти. Вот почему банды вообще, даже разбойничьи или светские банды, — это метаморфозы машины войны, формально отличной от любого аппарата Государства или его эквивалентов, который, напротив, структурирует централизованные общества. Не стоит, конечно же, говорить, будто дисциплина — это особенность машины войны: дисциплина тогда становится характерным свойством, требуемым от армий, когда Государство их присваивает; но машина войны отвечает другим правилам, о коих нельзя сказать, будто они лучше, но лишь то, что они оживляют фундаментальную недисциплинированность воина, пересмотр иерархии, постоянный шантаж отказом и изменой, крайне щепетильное чувство чести, — и все это, опять же, препятствует формированию Государства.

Но почему же, между тем, такой тезис не убеждает нас полностью? Мы следуем за Кластром, когда он показывает, что Государство не объясняется ни развитием производительных сил, ни дифференциацией политических сил. Напротив, именно оно обеспечивает возможность предпринимать крупномасштабные работы, конституировать излишки и организовывать соответствующие публичные функции. Именно оно обеспечивает возможность различения между правителями и управляемыми. Непонятно, как может быть объяснено — даже прибегая к диалектике — образование Государства с помощью тех средств, какие оно как раз и предполагает. Действительно, кажется, будто Государство появилось сразу в имперской форме и не зависело от постепенно действующих факторов. Его возникновение — одним махом — напоминает гениальный ход, рождение Афины. Мы также следуем за Кластром, когда он показывает, что машина войны направлена против Государства, то есть либо против потенциальных Государств, чье образование она заранее предотвращает, либо же против актуальных Государств, чье разрушение она предлагает. Несомненно, машина войны более полно реализуется в «варварских» сборках воинов-номадов, чем в «диких» сборках первобытных обществ. В любом случае, исключая

ется, что война произведет Государство или что Государство будет результатом войны, в которой победители — самим фактом своей победы — навязали бы новый закон побежденным, ибо организация машины войны направлена против формы-Государства, будь то актуальной или виртуальной. Объяснение возникновения Государства как результата войны не лучше, чем объяснение его через рост экономических или политических сил. И тогда Пьер Кластр углубляет разрыв между контр-Государственными обществами, именуемыми первобытными, и обществами-за-Государство, именуемыми чудовишными, чье формирование мы больше не можем объяснить. Подобно Ла Боэти Кластр глубоко заинтересован проблемой «добровольного рабства»: почему люди хотят или желают рабства, которое, конечно же, не приходит к ним как исход невольной и несчастной войны? Однако они располагали контр-Государственными механизмами: тогда почему и как возникает Государство? Почему Государство восторжествовало? Казалось бы, чем более Пьер Кластр погружался в эту проблему, тем более, по-видимому, он лишался средств для ее решения.¹³ Он намерен превратить первобытные общества в ипостась, в самодостаточное единство (Кластр особо подчеркивает это обстоятельство). Их формально внешний характер он превращает в реальную независимость. Итак, он остается эволюционистом и полагается на природное состояние. Но такое состояние природы, согласно Кластру, всецело является социальной реальностью, а не чистым

¹³ Clastres. *La société contre l'Etat*, p. 170: «Появление Государства породило крупное типологическое разделение между Первобытными и Цивилизованными народами, оно вписало нестираемую купюру, по ту сторону которой все изменилось, ибо время стало Историей». Чтобы объяснить такое появление, Кластр сначала обращается к демографическому фактору (но вовсе «не собираясь заменять экономический детерминизм демографическим...»); а также к возможной горячности воинственной машины(?); и еще более неожиданным образом — к косвенной роли определенного *профетизма*, который (вначале направленный против «вождей») создаст иную, более грозную власть. Но довольно трудно предложить более разработанные решения, чем те, что дал для этой проблемы Кластр. Относительно возможной роли профетизма сошлемся на книгу: Clastres, Hélène. *La terre sans mal, le prophétisme tupi-guarani*, Ed. du Seuil.

концептом, и такая эволюция была внезапной мутацией, а не развитием. Ибо, с одной стороны, Государство возникает внезапно, полностью оформленным; а с другой, контргосударственные общества используют весьма специфические механизмы для того, чтобы предотвратить, помешать его появлению. Мы полагаем, что оба эти положения верны, но между ними нет взаимосвязи. Существует древняя схема — «от кланов к империям», или «от банд к царствам»... Но ничего не говорит нам о том, что здесь имеет место эволюция, ибо банды и кланы не менее организованы, чем царства-империи. Итак, мы не покидаем эволюционистской гипотезы, углубляя разрыв между указанными двумя терминами, то есть наделяя банды самодостаточностью, а Государство внезапным появлением, еще более чудесным и чудовищным.

Надо сказать, что Государство было всегда — крайне совершенное, крайне завершенное. Чем больше открытий делают археологи, тем больше они находят империй. Гипотеза *Urstaat**, по-видимому, верифицирована, «верно понятое Государство уже возвращает нас к самым отдаленным векам человечества». Трудно вообразить первобытные сообщества, не вступающие в контакт — на периферии или в плохо контролируемых областях — с имперскими Государствами. Но куда важнее противоположная гипотеза — Государство само всегда находилось в отношении с внешним, и оно не мыслимо независимо от этого отношения. Закон Государства — это не закон Всего или Ничего (общества за Государство *или* общества против Государства), а закон внутреннего и внешнего. Государство — это суверенитет. Но суверенитет царит лишь над тем, что он способен интериоризовать, локально присвоить. Не только нет универсального Государства, но и то, что по ту сторону государств, не может сводиться к «внешней политике», то есть к набору отношений между Государствами. То, что по ту сторону, проявляется одновременно в двух направлениях —

* Первоначальное, первичное, изначальное государство (нем.). — Прим. пер.

гигантские мировые машины, разветвленные по всей *ойкумене* в данный момент и обладающие широкой автономией в отношении Государств (например, коммерческие организации вроде «крупных компаний», или промышленных комплексов, или даже религиозных образований типа христианства, ислама, каких-либо профетических или мессианских движений и т.д.); но также и локальные механизмы банд, маргиналов, меньшинств, продолжающих утверждать права сегментарных обществ против органов Государственной власти. Современный мир может снабдить нас сегодня крайне развитыми образами таких двух направлений — с одной стороны, вселенские мировые машины, а с другой, неопрIMITИВИЗМ, новое племенное общество, как его описывает Маклюэн. Тем не менее эти направления присутствуют в любом социальном поле и во все времена. Случается, что они частично перемешиваются; например, коммерческая организация также является бандой грабителей или пиратов — в какой-то период своей деятельности и в большинстве своих действий; либо же именно в бандах начинает работать религиозная формация. Тогда становится ясным то обстоятельство, что банды — не меньше, чем мировые организации, — предполагают неустранимую форму Государства, и такая форма внешнего необходимо представляется как полиморфная и диффузная форма машины войны. Это некий *потос*, крайне отличный от «закона». Форма-Государство, как и форма внутреннего, обладает тенденцией воспроизводиться, оставаясь тождественной себе во всех своих вариациях, легко узнаваемой в пределах собственных полюсов, всегда взыскующей общественного признания (не бывает замаскированного Государства). Но форма экстериорности машины войны такова, что существует лишь в своих собственных метаморфозах; а также — в индустриальной инновации, технологическом изобретении, в торговом кругообороте, в религиозном творении, во всех тех потоках и течениях, лишь вторичным образом позволяющих Государствам присвоить себя. Внешнее и внутреннее, машины войны, подвергаю-

щиеся метаморфозам, и тождественные аппараты Государства, банды и королевства, мегамашины и империи следует мыслить не в терминах независимости, а в терминах сосуществования и конкуренции — *в постоянном поле взаимодействия*. Одно и то же поле ограничивает собственное внутреннее в Государствах, но описывает свое внешнее, обращаясь к тому, что избегает Государств или восстает против них.

Теорема III. О внешнем характере машины войны свидетельствует еще и гносеология, позволяющая предчувствовать существование и увековечение «малой» или «кочевой науки».

Есть особый род науки, или научных исследований, который, по-видимому, весьма трудно классифицировать, и чью историю довольно трудно проследить. Такие науки не являются «техническими приемами» в обычном смысле слова. Они даже — не «науки» в королевском или узаконенном смысле, установленном историей. В своей недавней книге Мишель Серр указал на их следы как в атомистической физике Демокрита и Лукреция, так и в геометрии Архимеда.¹⁴ Характеристики этой эксцентричной науки могли бы быть следующими. 1) Прежде всего она использует гидравлическую модель, а не теорию твердых тел, рассматривающую жидкости лишь как частный случай; действительно, античный атомизм неотделим от потоков, поток и есть сама реальность, или консистенция. 2) Это — модель становления и неоднородности, она противоположна устойчивому, вечному, тождественному, постоянному. Такой «парадокс» превращает само становление в модель, становление перестает быть вторичной характеристикой, копией; Платон в «Тимее» упоминал о

¹⁴ Serres, Michel. *La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulences*, Ed. de Minuit. Серр — первый, кто выявляет три пункта, приведенные далее в нашем тексте; четвертый, как кажется, следует из них.

подобной возможности, но лишь для того, чтобы исключить и отбросить ее от имени королевской науки. Напротив, в атомизме знаменитое отклонение атома предоставляет именно такую модель неоднородности и перехода, или становления в неоднородном. *Клипамен*, как минимальный угол, имеет смысл только между прямой линией и кривой, между кривой и ее касательной, он конституирует изначальную кривизну движения атома. Клипамен — это минимальный угол, на который атом сдвигается от прямой линии. Это — переход к пределу, истощение, парадоксальная «исчерпывающая» модель. То же верно и для геометрии Архимеда, где прямая линия, определяемая «как наискратчайший путь от одной точки до другой», является лишь средством задания длины кривой в додифференциальном исчислении. 3) Мы уже идем не от прямой линии к ее параллельным в ламеллярном или ламинарном потоке, а от криволинейного отклонения к формированию спиралей и турбулентностей на наклонной плоскости — наибольший склон для наименьшего угла. От *turba* к *turbo*: то есть от банд или стай атомов к крупным турбулентным организациям; такая модель является турбулентной, она действует в открытом пространстве, где распределяются вещи-потоки, а не расчерчивает закрытое пространство для линейных и твердых вещей. Вот в чем разница между *гладким* (векторным, проективным или топологическим) пространством и *рифленным* (метрическим) пространством — в первом случае «мы занимаем пространство, не исчисляя его», в другом случае «мы его исчисляем, дабы занять»¹⁵. 4) Наконец, эта модель проблематична, а не теорематична — фигуры рассматриваются только с точки зрения *аффектаций* [*affections*], приключающихся с ними: деления, удаления, присоединения, прогнозирования. Мы движемся не от рода к его

¹⁵ Таким образом, именно Пьер Булез различает два пространства-времени музыки: в рифленном пространстве мера может быть как нерегулярной, так и регулярной, но она всегда определена, тогда как для гладкого пространства купюра, или отклонение, «будет свободно осуществляться там, где мы захотим». См.: *Penser la musique aujourd'hui*, Gonthier, pp. 95–107.

видам посредством специфических различий, не от устойчивой сущности к вытекающим из нее свойствам, а от проблемы к происшествиям, обуславливающим и разрешающим ее. Тут присутствуют любые виды деформаций, трансформаций, переходов к пределу, действий, где каждая фигура обозначает некое «событие», а вовсе не сущность: квадрат уже не существует независимо от квадратуры, куб — от кубатуры, прямая линия — от выпрямления. В то время как теорема принадлежит рациональному порядку, проблема является аффективной, она неотделима от метаморфоз, зарождений и созиданий в самой науке. Вопреки тому, что говорит Габриэль Марсель, проблема — не «препятствие», она — преодоление препятствия, проектирование, то есть машина войны. Как раз все это движение королевская наука старается ограничить, когда редуцирует наиболее возможную сторону «элемента-проблемы» и подчиняет его «элементу-теореме».¹⁶

Такая архимедова наука, или такая концепция науки, главным образом связана с машиной войны — *problemata* суть сама машина войны, и *problemata* неотделимы от наклонных плоскостей, переходов к пределу, турбулентностей и прогнозирования. Мы бы сказали, что машина войны проецируется в абстрактное знание, формально отличное от знания, дублирующего аппарат Государства. Мы бы сказали, что вся номадическая наука развивается эксцентрично — наука, крайне отличная от королевских или имперских наук. Более того, требования и условия государственной науки постоянно «огораживают», затормаживают или отрицают номадическую науку. Архимед,

¹⁶ Греческая геометрия отмечена противостоянием этих двух полюсов — теорематического и проблематического, а также относительным триумфом первого над вторым: Прокл в «Комментариях к первой книге Начал Евклида» (rééd. Desclée Brouwer) анализирует разницу между этими полюсами, иллюстрируя ее оппозицией Спевсипп–Менехм. Математика также всегда была помечена таким напряжением; например, аксиоматический элемент сталкивается с «интуиционистским», или «конструктивистским», проблематичным течением, подчеркивающим исчисление проблем, крайне отличное от аксиоматики и от любого теорематического подхода — см.: Bouligand. *Le déclin des absolus mathématique-logiques*, Ed. d'Enseignement supérieur.

побежденный римским Государством, становится символом.¹⁷ Дело в том, что у обеих этих наук разные модусы формализации, и государственная наука не перестает навязывать собственную форму суверенитета изобретениям номадической науки; она выделяет из номадической науки лишь то, что может присвоить, а остальное превращает в набор строго ограниченных рецептов без подлинно научного статуса, либо же просто подавляет и запрещает его. Все происходит так, будто бы «ученый» номадической науки зажат между двумя огнями — огнем машины войны, питающей и вдохновляющей его, и огнем Государства, навязывающего ему порядок причин. Персонаж *Инженер* (а именно — военный инженер), со всей своей двойственностью, иллюстрирует эту ситуацию. Так что самым важным, возможно, являются феномены границы, где номадическая наука оказывает давление на государственную науку, и где, наоборот, государственная наука присваивает и трансформирует данные номадической науки. В этом состоит истина искусства размещения лагерей, «кастраментации», которое всегда мобилизует проекты и наклонные плоскости — Государство присваивает себе такое измерение машины войны, только подчиняя последнюю гражданским и метрическим правилам, которые строго ограничивают, контролируют и локализуют номадическую науку, запрещая ей развивать свои следствия в социальном поле (Вобан, в данном отношении, является чем-то вроде повторения Архимеда и подвергается аналогичному разгрому). В этом также состоит истина начертательной и проективной геометрии, которую королевская наука хотела бы сделать просто практически зависимой от аналитической, так называемой высшей, геометрии (отсюда двусмысленное положение Монжа или

¹⁷ Virilio. *L'insécurité du territoire*, p. 120: «Мы знаем, что с Архимедом закончилась эра молодой геометрии как свободного созидательного исследования. <...> Меч римского солдата обрезал нить, как говорит традиция. Убивая геометрическое творчество, римское Государство заложило основание для геометрического империализма Запада».

Понселе в качестве «ученых»¹⁸). И в этом состоит истина дифференциального исчисления — долгое время оно обладало паранаучным статусом, считалось «готической гипотезой», за которой королевская наука признавала лишь ценность удобного соглашения или хорошо обоснованной фикции; великие государственные математики стараются придать ему более твердый статус, но именно при том условии, что из него будут устранены все динамичные и номадические понятия (такие как — становление, неоднородность, бесконечная малость, переход к пределу, непрерывная вариация и т.д.), а еще ему навязываются гражданские, статичные и порядковые правила (двусмысленное положение Карно в этом отношении). Наконец, в этом состоит истина гидравлической модели — ибо, конечно же, само Государство испытывает потребность в гидравлической науке (нам не следует возвращаться к тезисам Виттфогеля, касающимся значимости крупных гидравлических работ в империи). Но оно нуждается в ней в совершенно иной форме, ибо Государству нужно подчинить гидравлическую силу каналам, трубам, дамбам, препятствующим возникновению турбулентности, вынуждающим движение переходить от одной точки к другой, а само пространство быть рифленным и измеримым, заставляющим жидкость зависеть от твердого тела, а потоки течь ламинарными и параллельными слоями. Тогда как гидравлическая модель номадической науки и машины войны состоит в распространении через турбулентности в гладком пространстве, дабы производить движение, удерживающее пространство и, одновременно, аффектирующее все его точки, вместо того чтобы самой быть удерживаемой пространством как в локальном дви-

¹⁸ Благодаря Монжу и, главным образом, Понселе границы чувственного или даже пространственного представления действительно превосходятся (рифленное пространство), но не столько в направлении символической мощи абстракции, сколько в сторону транспространственного или трансинтуитивного воображения (непрерывность). Мы ссылаемся на комментарий Брюнсвика относительно Понселе: *Les étapes de la philosophie mathématique*, P.U.F.

жении, переходящем от одной точки к другой.¹⁹ Демокрит, Менехм, Архимед, Вобан, Дезарг, Бернулли, Монж, Карно, Понселе, Перрон и т.д. — каждый раз нужна монография, чтобы привлечь во внимание особое положение этих ученых, которых Государственная наука использовала только после того, как ограничила и дисциплинировала, после того, как подавила их социальные или политические концепции.

Море — как гладкое пространство — это действительно особая проблема машины войны. Вирилио показывает, что именно в море ставится проблема *fleet in being**, то есть задача оккупации открытого пространства с помощью вихревого движения, способного проявиться в любой точке. В этом отношении недавние исследования, посвященные ритму и происхождению понятия ритма, не кажутся вполне убедительными. Ибо нам говорят, будто ритм не имеет ничего общего с движением волн, но указывает на «форму» вообще и, более конкретно, на форму «измеримого, модулированного»²⁰ движения. Однако ритм и мера никогда не смешиваются. И если атомист Демокрит — как раз из тех немногих авторов, кто использует ритм в смысле формы, то не следует забывать, что делается это в весьма конкретных условиях флуктуации, и что формы, создаваемые из атомов, конституировали изначально крупные неметрические совокупности, гладкие пространства — такие как воздух, море или даже земля (*magnae res***). Действительно, существует измеримый, модулированный ритм, отсылающий к

¹⁹ Именно с этой точки зрения Мишель Серр (pp. 105 sq.) анализирует противостояние Д'Аламбер—Бернулли. Более обобщенно речь идет о различии между двумя моделями пространства: «Средиземноморский бассейн испытывает нехватку в воде, и удерживает власть тот, кто дренирует воды. Отсюда тот физический мир, где дренаж является существенным и где клинамен кажется подобным свободе, ибо именно турбулентность отклоняет форсированный поток. Невоспринимаемое в научной теории, воспринимаемое в хозяине вод. <...> Отсюда великая фигура Архимеда — хозяина плавающих тел и военных машин».

* См. сноску 58 на странице <стр. 653>. — Прим. пер.

²⁰ См. Бенвенист. *Общая лингвистика*, «Понятие “ритм” в его языковом выражении» (М.: Прогресс, 1974, с. 377–384). Этот текст, часто рассматриваемый как главный, нам кажется весьма двусмысленным, ибо он обращается к Демокриту и атомизму, не принимая в расчет гидравлическую проблему, а также потому, что он превращает ритм во «вторичную специализацию» телесной формы.

** Великая вещь (лат.). — Прим. пер.

течению реки между берегами или к форме рифленого пространства; но также есть и ритм без меры, отсылающий к вспениванию потока, то есть к тому, как жидкое тело занимает гладкое пространство.

Такая оппозиция или, скорее, такое напряжение-предел между обеими науками — номадической наукой машины войны и королевской государственной наукой — встречается в разные моменты и на разных уровнях. Работы Анн Керьен позволяют определить два из этих моментов, один связан со строительством готических соборов в XII веке, другой — со строительством мостов в XVII—XIX веках.²¹ Действительно, готика неотделима от желания строить церкви длиннее и выше, чем романские. Всегда длиннее, всегда выше... Но различие здесь не просто количественное, оно отмечает качественное изменение — статичное отношение форма—материя стремится к тому, чтобы стушеваться перед динамичным отношением материал—силы. Именно обтесывание делает из камня материал, способный удерживать и координировать силы распора, и строить своды всегда выше и длиннее. Свод уже — не форма, а линия непрерывной вариации камней. Как если бы готика отвоевывала гладкое пространство, тогда как романская архитектура частично осталась в рифленом пространстве (где свод зависел от рядоположения параллельных опор). Итак, обтесывание камней неотделимо, с одной стороны, от плана проектирования прямо на земле, функционирующего как предельный план, а с другой, от серии последовательных аппроксимаций (обтесывание) или от введения в вариацию объемных камней. Конечно же, чтобы обосновать такое предприятие, помнили и о теорематической науке Эвклида — цифры и уравнения были бы интеллигибельной формой, способной организовывать площади и объемы. Но, следуя легенде, Бернар Клервоский быстро отказался от этой

²¹ Querrien Anne. *Devenir fonctionnaire ou le travail de l'Etat*, Cerfi. Мы пользуемся этой книгой так же, как и неизданными исследованиями Анн Керьен.

науки, посчитав ее слишком «трудной», и обратился к особенностям операциональной, проективной и описательной архимедовой геометрии, определяемой в качестве малой науки — скорее мате-графической, нежели мате-логической. Его компаньон, монах-масон Гарен де Труа [Garin de Troyes], обращается к операциональной логике движения, позволяющей «посвященному» расчерчивать, а затем вырезать объемы, проникая в пространство, действовать так, будто «черта выталкивает цифру».²² Мы не представляем, мы порожаем и проходим мимо. Такая наука характеризуется не столько отсутствием уравнений, сколько совершенно иной ролью, какую они играют — вместо того, чтобы быть абсолютно хорошими формами, организующими материю, они «генерируются», будто «выталкиваются» материалом в качественное вычисление оптимального решения. Вся архимедова геометрия достигнет своего наивысшего выражения, но в XVII веке она также столкнется со своим временным тупиком в лице удивительного математика Дезарга. Как большая часть ему подобных, Дезарг пишет мало; однако он оказал большое влияние своей деятельностью и оставленными чертежами, грубыми набросками и проектами, всегда сосредоточенными на проблемах-событиях — «урок потемок», «набросок проекта вырезания камней», «набросок проекта посягательства на события встречи конуса с плоскостью»... Итак, Дезарг осужден парижским парламентом, он встретил сопротивление со стороны королевского секретаря; его практики использования перспективы запрещены.²³ Королевская, или государственная, наука поддерживает и присваивает вырезание камней только с помощью *шаблонов-лекал* (противоположность обтесывания) в условиях, восстанавливающих первенство фиксированной модели формы, цифры и меры. Королевская

²² Ср.: Vergez, Raoul. *Les illuminés de l'art royal*, Julliard.

²³ Desargues. *Œuvres*, Ed. Leiber (с текстом Мишеля Шаля, где устанавливается непрерывность между Дезаргом, Монжем и Понселе «как основателями современной геометрии»).

наука поддерживает и присваивает перспективу, только если последняя статична, подчинена центральной черной дыре, отбирающей у нее всякую способность к эвристике и к странствованию. Но авантюра, или событие, Дезарга является той же проблемой, что уже коллективно порождалась «последователями» готики. Ибо не только Церковь, в своей имперской форме, испытывает потребность в строгом контроле над движением номадической науки — она перепоручает Храмовникам заботу о фиксировании мест и объектов, об управлении стройками и о регулировании строительства; но, более того, светское Государство в своей королевской форме оборачивается против самих Храмовников, осуждает товарищества, исходя из многих мотивов, по крайней мере один из которых касается запрета малой или операциональной геометрии.

Правы ли Анн Керьен, когда слышит отголоски той же истории касательно мостов в XVIII веке? Несомненно, условия крайне отличаются, ибо распределение труда согласно Государственным нормам было тогда уже свершившимся фактом. Тем не менее, принимая во внимание всю деятельность *Ведомства мостов и дорог* в целом, дороги находились в руках хорошо централизованной администрации, тогда как мосты все еще оставались объектом активного, динамичного и коллективного экспериментирования. Трюден организовал у себя необычные свободные «генеральные ассамблеи». Перрон вдохновлялся гибкой моделью, пришедшей с Востока — мост не должен загораживать или загромождать реку. Тяжести моста, рифленому пространству толстых и регулярных опор он противопоставляет утонченные и прерывистые опоры, понижение свода, легкость и непрерывную вариацию всего ансамбля. Но его попытка быстро натолкнулась на принципиальное противостояние; и, как это часто бывает, Государство, назначив Перрона директором школы, скорее тормозило исследование, чем приветствовало его. Вся история Школы мостов и дорог показывает, как это старое и плебейское «тело» подчинилось Школе Шахт,

Школе общественных работ, Политехнической школе, в то время как ее деятельность все более и более нормализовывалась.²⁴ Итак, мы подходим к вопросу: что такое коллективное *тело*? Несомненно, великие тела Государства суть дифференцированные и иерархизированные организмы, которые, с одной стороны, располагают монополией на власть или функцию, а с другой, локально распределяют своих представителей. У них особое отношение к семьям, ибо они заставляют коммуницировать с двух концов семейную модель и государственную модель, а себя рассматривают как «великие семьи», состоящие из служащих, клерков, интендантов или фермеров. И все-таки, кажется, что в большинстве этих тел действует нечто иное, несводимое к данной схеме. Это не только их упорная защита собственных привилегий. Это не было бы даже их склонностью — пусть карикатурной или крайне изуродованной — конституироваться в качестве машины войны, противостоящей иным моделям Государства, иному динамизму, номадической амбиции. Например, есть весьма старая проблема *лобби* — группы с расплывчатыми контурами, чье положение крайне двусмысленно по отношению к Государству, на которое она хочет «оказать влияние», и к машине войны, которую она хочет возвысить, каковы бы ни были ее цели.²⁵

Тело не сводится к *организму*, так же как телесный дух [esprit de corps] не сводится к душе организма. Дух не лучше души, но он летуч, тогда как душа нагружена, она — центр тяжести. Не должны ли мы обратиться к военному происхождению тела и телесного духа? Как раз не «военное», а скорее удаленное номадическое проис-

²⁴ Querrien Anne, pp. 26–27: «Конструируется ли Государство на неудаче в исследованиях? <...> Государство не строится, его строительства должны быть краткими. Оборудование создано для того, чтобы функционировать, а не для того, чтобы быть социально конструируемым — с этой точки зрения Государство вовлекает в строительство лишь тех, кому платят, чтобы выполнять приказы или приказывать, и тех, кто обязан следовать за моделью заранее установленного исследования».

²⁵ О проблеме «лобби Кольбера» см.: Dessert et Journet. *Annales*, nov. 1975.

хождение принимается в расчет. Ибн Хальдун определил номадическую машину войны с помощью семьи или рода *плюс* телесного духа. Машина войны поддерживает с семьями отношение, крайне отличное от ее отношения к Государству. Вместо того чтобы быть базовой ячейкой, семья — в машине войны — является вектором банды, так что генеалогия переносится от одной семьи к другой, следуя склонности данной семьи в данный момент осуществлять максимум «агнатической* солидарности». Как раз не общественное прославление семьи определяет место последней в государственном организме, а наоборот — именно тайная власть, или сила солидарности, и соответствующая подвижность генеалогий определяют ее прославление в теле войны.²⁶ Здесь есть что-то, что не сводится ни к монополии органической власти, ни к локальному представлению, но что отсылает к мощи турбулентного тела в номадическом пространстве. И конечно же, великие тела современного Государства трудно помыслить как арабские племена. Скорее, мы хотим сказать, что у коллективных тел всегда есть бахрома или меньшинства, восстанавливающие эквиваленты машины войны — иногда в

* Система односторонней родословной, прослеживающей происхождение по мужской линии — *Прим. пер.*

²⁶ См. Ibn Khaldoun. *Muqaddima*, Nache. Одна из главных тем данного шедевра — это социологическая проблема «телесного духа» и его двусмысленности. Ибн Хальдун противопоставляет бедуинство (как образ жизни, а не как этнос) и оседлость, или городскую жизнь. Первый аспект такого противопоставления состоит в обратном отношении между публичной и тайной: существует не только тайна бедуинской машины войны — в противоположность публичности государственного горожанина; но в первом случае «прославление» происходит из тайной солидарности, тогда как во втором — тайна подчиняется требованиям социального прославления. Во-вторых, бедуинство одновременно вводит в игру великую чистоту и великую подвижность родословных и их генеалогии, тогда как городская жизнь создает крайне нечистое и, одновременно, жесткое и фиксированное родство: солидарность меняет смысл — с одного полюса на другой. В-третьих, — и это главное — бедуинское родство мобилизует «телесный дух» и интегрируется в него как новое измерение: это — *asabiyah* [*асабия* — групповая солидарность, племенная лояльность (араб.). — *Прим. пер.*], или *ikhtilat* [*ихтилат* — совместное проживание мужчин и женщин (араб.). — *Прим. пер.*], откуда арабы извлекают имя для социализма (Ибн Хальдун подчеркивает отсутствие какой-либо «власти» вождя племени, не имеющего в своем распоряжении государственного принуждения). В то время как городская жизнь делает из телесного духа измерение власти и собирается приспособить его к «самодержавию».

крайне неожиданных формах, в определенных сборках — таких как строительство мостов, строительство соборов, вынесение решений, сочинение музыки или учреждение науки и техники... Тело капитана заявляет о своих требованиях через организацию офицеров и через организм высшего офицерского состава. Всегда наступают времена, когда у Государства — как организма — возникают трудности со своими собственными телами, когда эти тела, требуя привилегий, вынуждены, наперекор себе, открываться чему-то, что выходит за их пределы — короткий революционный момент, экспериментаторский порыв. Запутанное положение, где каждый раз надо анализировать тенденции и полюса, природу движений. Внезапно, как если бы тела нотариусов переходили в арабов или индейцев, а затем возобновлялись, реорганизовались — комическая опера, где мы не знаем, что же вот-вот произойдет (это происходит, даже когда мы кричим: «Полиция с нами!»).

Гуссерль говорит о протогеометрии, обращающейся к *неясным* морфологическим сущностям, то есть к кочевникам илиномадам. Такие сущности отличаются от чувственно воспринимаемых вещей, так же как и от идеальных, королевских или имперских сущностей. Протогеометрия — наука, имеющая с ними дело, — сама является неопределенной в смысле кочевья: она не является ни неточной, как чувственно воспринимаемые вещи, ни точной, как идеальная сущность, но *а-точной* [*anexacte*] и, тем не менее, *строгой* («неточной по существу и неслучайно»). Круг — это идеальная, органическая, фиксированная сущность, но округлое есть неясная и текучая сущность, отличающаяся, одновременно, и от круга, и от округлых вещей (ваза, колесо, солнце...). Теорематическая фигура — это фиксированная сущность, но ее трансформации, деформации, изъятия или увеличения, все ее вариации формируют строгие и неясные проблематичные фигуры в виде «линзы», «зонтика» или «впадины». Мы могли бы сказать, что неясная сущность извлекает из вещей определение, большее, чем вещьность, выступающая определением

телесности и, возможно, подразумевающая даже телесный дух.²⁷ Но почему же Гуссерль усматривает здесь протогометрию, нечто вроде посредника, а не чистую науку? Почему он заставляет чистую сущность зависеть от перехода к пределу, тогда как любой переход к пределу, как таковой, принадлежит неопределенности? Скорее, тут присутствуют две формально разнесенные концепции науки; а также, онтологически, одно и то же поле взаимодействия, где королевская наука непрестанно присваивает содержания номадической или неясной науки, а номадическая наука непрестанно вынуждает ускользать содержания королевской науки. В пределе, в расчет принимается только постоянно сдвигающаяся граница. У Гуссерля (да и у Канта, который, хотя и в противоположном смысле, понимал округлость как «схему» круга) мы констатируем весьма справедливую оценку нередуцируемости номадической науки, но в то же время и забот Государственного человека, то есть того, кто принимает сторону Государства, поддерживает законодательное и учредительное первенство королевской науки. Каждый раз, когда мы застреваем в таком первенстве, мы превращаем номадическую науку в донаучную, паранаучную или субнаучную инстанцию. А главное, мы уже не можем понять отношения между наукой и техникой, наукой и практикой, ибо номадическая наука — не просто техника или практика, а научное поле, где ставится проблема указанных отношений и где она решается совершенно иначе, нежели с точки зрения королевской науки. Государство постоянно производит и воспроизводит идеальные круги, но нужна машина войны, чтобы создать

²⁷ Главные тексты Гуссерля — *Идеи I*, § 74 (М.: Дом Интеллектуальной Книги, 1999) и *Начало геометрии* (М.: Ad Marginem, 1996 — с очень важным комментарием Деррида, с. 156–171). Что касается проблемы неясной, но, тем не менее, строгой науки, то мы можем сослаться на формулу Мишеля Серра, где комментируется фигура, называемая салином: «Она строга и неточна. А также нечетка, точна или неточна. Лишь метрическое является точным» (*Naissance de la physique*, p. 29). Книга Башляра, *Essai sur la connaissance approchée* (Vrin), остается лучшим исследованием о действиях и процедурах, конституирующих всю строгость неточного, и их творческой роли в науке.

нечто округлое. Итак, надо определить специфические характеристики номадической науки, чтобы понять, одновременно, и репрессии, коим она подвергается, и взаимодействие, в котором она «удерживается».

У номадической науки не то же самое отношение к труду, что у королевской науки. Не то чтобы распределение труда в номадической науке было меньше, оно просто другое. Нам известны проблемы, какие всегда вставали перед Государством при общении с «компаньонами» — номадическими или странствующими телами типа каменщиков, плотников, кузнецов и т.д. Одна из главных забот Государства, стремящегося победить как *бродяжничество банд*, так и *номадизм тела*, состояла в фиксации рабочей силы, переводе ее на оседлый образ жизни, в регулировании движения рабочего потока, в навязывании ему каналов и труб, в формировании корпораций в смысле организмов — и, в конечном счете, в том, чтобы полагаться на принудительный труд рабочих, рекрутируемых на местах (тяжелый труд), или же на бедняков (мастерские милосердия). Если вернуться к примеру готики, то стоит вспомнить, насколько интенсивно путешествовали ее приверженцы, создавая то тут, то там соборы, перемещая собственные строительные площадки, располагая активной и пассивной мощью (подвижность и забастовка), которая, конечно же, не соответствовала Государствам. И вот быстрый ответ Государства: нужно управлять строительством, проникать в любые распределения труда вплоть до высшего разделения последнего на умственный и ручной, теоретический и практический труд, — разделения, копируемого с различия между «правителями и управляемыми». В номадических, как и в королевских, науках мы находим наличие некоего «плана», но составленного не одинаково. Плану, выполняемому прямо на земле приверженцем готики, противостоит метрический план на бумаге, создаваемый архитектором вне стройки. Плану консистенции, или композиции, противостоит другой план — план организации и формирования. Камню, обтесанному по форме квадрата, про-

тивостоит камень, обтесанный с использованием лекал, предполагающих сооружение модели, которую следует воспроизвести. И дело не только в том, что тут больше нет нужды в квалифицированном труде — необходим труд неквалифицированный, нужна дисквалификация труда. Государство не делится властью с интеллектуалами или разработчиками; напротив, оно превращает их в строго зависимый орган, обладающий самостоятельностью лишь во сне, которого, однако, достаточно, чтобы изъять любую власть у тех, кто только и делает, что воспроизводит или выполняет задания. Но это не помешало тому, что Государство столкнулось с еще большими трудностями — с порожденным им самим телом интеллектуалов, которое предъявляет новые номадические и политические претензии. В любом случае, если Государство вынуждено постоянно подавлять номадические и малые науки, если оно противостоит странным сущностям, противостоит операциональной начертательной геометрии, то происходит это вовсе не в силу неточного или несовершенного содержания таких наук и не в силу их магического или инициационного характера, а потому, что данные науки предполагают разделение труда, противостоящее разделению труда согласно нормам Государства. Различие не является внешним: то, как наука — или концепция науки — участвует в организации социального поля и, в особенности, включает в себя разделение труда, составляет часть самой этой науки. Королевская наука неотделима от «гилеморфической» модели, предполагающей как форму организации материи, так и материю, уже подготовленную для формы; часто демонстрировалось, каким образом данная схема выводится не столько из техники или из жизни, сколько из общества, разделенного на правителей и управляемых, а затем на интеллектуалов и подсобных рабочих. Характеризует ее, прежде всего, то, что вся материя оказывается на стороне содержания, тогда как вся форма переходит в выражение. Кажется, что номадическую науку можно ощутить непосредственно, поняв, что она соединена с содержаниями и

выражениями самими по себе, причем каждый из этих двух терминов обладает и формой, и материей. Итак, для номадической науки материя никогда не дана в готовом виде и, следовательно, не является однородной материёй, но она, по существу, — носительница сингулярностей (конституирующих форму содержания). И выражение более не является формальным, оно неотделимо от существенных черт (конституирующих материю выражения). А это, как мы увидим, совершенно иная схема. У нас уже есть идея такой ситуации, если вспомнить самые общие характеристики номадического искусства, где динамичное соединение между опорой и орнаментом замещает диалектику материи—формы. Значит, с точки зрения номадической науки, репрезентирующей себя как искусство и техника, существует полное разделение труда, но оно не заимствует дуальность формы—материи (даже в случае дву-однозначных соответствий). Скорее, она *следует* соединениям между сингулярностями материи и очертаниями выражения, располагаясь на уровне этих соединений — естественных или вынужденных.²⁸ Тут иная организация труда и социального поля через труд.

Следовало бы противопоставить две научные модели, как это сделал Платон в «Тимее».²⁹ Одну можно было бы назвать *Компарс*, а другую *Диспарс*. *Компарс* — законная, или правовая, модель, заимствованная королевской нау-

²⁸ Жильбер Симондон весьма далеко продвинул анализ и критику гилеморфической схемы и ее социальных предположений («форма соответствует тому, что человек, который командует, подумал про себя, и что он должен позитивно выразить, когда отдает свои приказы — форма, таким образом, исходит из порядка того, что может быть выражено»). Схеме форма—материя Симондон противопоставляет динамичную схему, схему материи, наделенной сингулярностями—силами, или энергетические условия некой системы. В результате мы имеем совершенно другую концепцию отношений между наукой и техникой. См.: *L'individu et sa genese physico-biologique*, P. U. F., pp. 42–56.

²⁹ В диалоге «Тимей» (28–29) Платон на короткий миг допускает, что Становление — не просто неизбежная характеристика копий или воспроизведений, но само могло бы стать моделью, соперничающей с Тожественным и Единым. Он обращается к этой гипотезе лишь для того, чтобы исключить ее; ибо верно, что, если становление — это модель, то не только дуальность модели и копии, модели и воспроизведения должна исчезнуть, но и сами понятия модели и воспроизведения стремятся к тому, чтобы утратить всякий смысл.

кой. Поиск законов состоит в высвобождении констант, даже если эти константы являются лишь отношениями между переменными (уравнения). Неизменная форма переменных, переменная материя инвариантного — вот что обосновывает гилеморфическую схему. Но диспарс — как стихия номадической науки — отсылает скорее к материалу—силе, чем к материи—форме. Речь уже идет не о том, чтобы извлекать константы из переменных, а о помещении самих переменных в состояние непрерывной вариации. Если еще и есть уравнения, то они суть адекватности, неравенства, дифференциальные уравнения, несводимые к алгебраической форме и неотделимые от чувственной интуиции варьирования. Вместо того чтобы конституировать общую форму, они схватывают или задают сингулярности материи. Они проводят индивидуальности через события или этоности [heccéités], а не через «предмет» как композит материи и формы; неясные сущности — не что иное, как этоности. В любом случае, существует оппозиция между *logos*'ом и *nomos*'ом, законом и *nomos*'ом, позволяющая сказать, что у закона все еще «слишком моральный привкус». И все-таки дело не в том, что законная модель игнорирует силы, игру сил. Мы ясно видим это в однородном пространстве, соответствующем компарсу. Однородное пространство вовсе не является гладким пространством, напротив, оно — форма рифленого пространства. Пространство *опор*. Оно становится рифленным благодаря падению тел, вертикалям гравитации, распределениям материи в параллельных слоях, благодаря ламеллярным или ламинарным потокам. Такие параллельные вертикали формируют независимое измерение, способное распространяться повсюду, способное формализовать все другие измерения, способное рифлить все пространство во всех его направлениях так, чтобы сделать его однородным. Дистанция по вертикали между двумя точками дает способ сравнения для дистанций по горизонтали между двумя другими точками. В этом смысле всемирное тяготение становится законом для любого закона, в котором оно устана-

вликает правило для дву-однозначного соответствия между двумя телами; и каждый раз, когда наука открывает новое поле, она будет стараться формализовать его по типу поля тяготения. Даже химия становится королевской наукой лишь благодаря теоретической разработке понятия веса. Эвклидово пространство основано на знаменитом постулате о параллельных, но рассматриваемые параллельные прежде всего являются гравитационными параллельными и соответствуют силам, вызываемым благодаря гравитации, воздействующей на все элементы тела, которые, как предполагается, заполняют данное пространство. Как раз точка приложения результирующей всех этих параллельных сил остается неизменной, когда их общее направление меняется или вынуждает тело вращаться (*гравитационный центр*). Короче, кажется, что в основе ламинарного, рифленого, однородного и централизованного пространства лежит сила тяготения; именно она обуславливает метрические, древовидные множественности, чьи размеры не зависят от положения и выражаются с помощью единиц или точек (движения от одной точки до другой). Тут нет никакой метафизической озабоченности, а есть подлинно научный интерес, столь часто вынуждающий ученых XIX века спрашивать: не сводимы ли все силы к гравитации или, скорее, к форме тяготения, придающей гравитации универсальную ценность (постоянное отношение для всех переменных) и дву-однозначный радиус действия (два тела каждый раз, и не больше...). Это и есть форма внутреннего любой науки.

Совсем другое — *потос* или диспарс. Дело не в том, что другие силы опровергают гравитацию или противоречат тяготению. Даже если и верно, что такие другие силы не выступают против гравитации и тяготения, первые, тем не менее, не вытекают из последних и не зависят от них, но всегда свидетельствуют в пользу дополнительных событий или «вариабельных аффектов». Каждый раз, когда науке открывается *поле* — в условиях, делающих его куда более важным понятием, чем понятие формы или объекта, — оно

проявляется, прежде всего, как несводимое к полю тяготения и к модели гравитационных сил, хотя и не противоречит им. Оно утверждает нечто «большее», или дополнительный избыток, и само обустроивается в этом избытке, в этом отклонении. Когда химия совершает решающий шаг вперед, то каждый раз благодаря добавлению к силе тяжести связей иного типа, например, электрических, трансформирующих характер химических уравнений.³⁰ Но заметим, что самые простые размышления о скорости немедленно вводят различие между вертикальным падением и криволинейным движением, или, более обобщенно, между прямой линией и кривой — в дифференциальных видах клинамена, или наимельчайшего отклонения, минимума йзлишка. Гладкое пространство — это пространство мелких отклонений: следовательно, оно однородно только между бесконечно близкими точками, а присоединение смежного осуществляется независимо от любого заданного пути. Это, скорее, пространство контакта, пространство мелких тактильных или мануальных действий контакта, нежели визуальное пространство вроде рифленого пространства Эвклида. Гладкое пространство — это поле без труб и каналов. Поле — неоднородное гладкое пространство — сочетается с крайне особым типом множественностей: неметрические а-центрированные, ризоматические множественности, оккупирующие пространство, не «исчисляя» его, и мы можем «исследовать их, лишь шагая по ним». Они не соответствуют тому визуальному условию, согласно которому, их можно наблюдать из внешней по отношению к ним точки пространства — примером этому

³⁰ Фактически, ситуация куда сложнее, и вес вовсе не является единственным характерным свойством господствующей модели — к весу добавляется тепло (уже в химии горение соединяется с весом). Или так: вся проблема состояла в том, чтобы знать, в какой мере «термическое поле» отклоняется от гравитационного пространства или, напротив, интегрируется с ним. Типичный пример дан Монжем — он начинает с того, что соотносит тепло, свет и электричество как «переменные аффектации тел», которыми занимается «особая физика», тогда как общая физика имеет дело с протяженностью, гравитацией и движением. И лишь позже Монж объединил все эти поля в общей физике (Анн Керьен).

служит система звуков, или даже цветов, в противоположность эвклидову пространству.

Когда мы противопоставляем скорость и медленность, быстроту и заторможенность, *Celeritas u Gravitas*, то здесь не следует усматривать количественную оппозицию или же мифологическую структуру (хотя Дюмезиль показал всю мифологическую значимость такой оппозиции именно в связи с аппаратом Государства и в связи с естественной «гравитацией» такого аппарата). Эта оппозиция является как качественной, так и научной, если только скорость — не абстрактная характеристика движения, а воплощается в чем-то подвижном, которое — пусть даже слегка — отклоняется от собственной линии падения или гравитации. *Медленное и быстрое — не количественные степени движения, а два типа качественно определенных движений*, какова бы ни была скорость первого или медленность второго. Строго говоря, нельзя сказать, что падающее тело обладает скоростью, как бы быстро оно ни падало; скорее, оно обладает бесконечно убывающей медленностью согласно закону падающих тел. Падающим было бы ламинарное движение, делающее пространство рифленным и идущее от одной точки к другой; но быстрота, скорость говорят только о движении, которое минимально отклоняется, а потом обретает вихревое движение, занимающее гладкое пространство, расчерчивающее само гладкое пространство. В таком пространстве материя-поток больше не может расщепляться на параллельные слои, а движение не позволяет окаймлять себя в дву-однозначных отношениях между точками. В этом смысле качественная оппозиция между заторможенностью и скоростью, тяжелым и легким, медленным и быстрым играет не роль численно задаваемой научной детерминации, а роль соразмерного науке условия, которое регулирует как разделение, так и смешивание обеих моделей, их возможное взаимопроникновение, господство той или другой, их альтернативу. И наилучшая формулировка, данная Мишелем Серром, излагается в терминах альтернативы, как бы перемешаны и скомпонованы те ни были:

«Физика сводится к двум наукам, к общей теории путей и дорог, а также к глобальной теории потока».³¹

Следовало бы противопоставить два типа наук, или научных действий: один состоит в том, чтобы «воспроизводить», другой — в том, чтобы «следовать». Первый подразумевает воспроизводство, итерацию и реитерацию; другой же — совокупность странствующих, блуждающих наук. Мы охотно сводим странствие к условиям техники или к научной применимости и верификации. Но оно не таково: *следовать* — не то же самое, что *воспроизводить*, мы никогда не следуем за чем-либо ради воспроизводства. Идеал репродукции, дедукции или индукции — во все времена и в любом месте — составляет часть королевской науки и трактует различия во времени и месте, так же как и другие переменные величины, чья постоянная форма высвобождается именно благодаря закону: ибо одни и те же феномены повторяются в гравитационном и рифленном пространстве, если даны те же самые условия, или если одно и то же постоянное отношение удерживается между разными условиями и переменными феноменами. Воспроизведение предполагает перманентность фиксированной точки *зрения*, внешней тому, что воспроизводится, — разглядывать поток, сидя на берегу. Но следование — это нечто иное, нежели идеал воспроизведения. Не лучшее, но только иное. Мы вынуждены следовать за чем-либо, когда ищем «сингулярности» материи или, скорее, материала, а не открываем формы; когда ускользаем от силы гравитации, дабы войти в поле скорости; когда прекращаем созерцать ход ламинарного потока в заданном направлении, уносимого прочь вихревым потоком; когда вступаем в непрерывную вариацию переменных величин, а не извлекаем из них константы, и т.д. И смысл Земли здесь совсем другой — согласно узаконенной модели мы непрерывно ретерриторизируемся на некой точке зрения, на некой области, в соответствии со всей совокупностью постоянных отношений;

³¹ Michel Serres, p. 65.

но следуя подвижной модели, как раз процесс детерриторизации конституирует и расширяет саму территорию. «Сначала пойдешь к тому, что посадил, и тщательно проследишь на земле следы дождевых потоков. К настоящему времени дождь, должно быть, далеко разнес семена. Проследи промоинки (*zanjitas*) от дождя и по ним определи направление потока. Затем разыщи тот дурман, который пророс дальше всех от твоего саженца. Все побеги дурмана, выросшие между ними, твои. Позже, когда осыплются семена, ты сможешь расширить свою территорию, следуя дождевым промоинкам от одного растения к другому».³² *Существуют блуждающие, странствующие науки, чья суть в том, чтобы следовать за потоком в поле векторов, где распределяются сингулярности как множество «происшествий» (проблемы). Например: почему первобытная металлургия сама с необходимостью является блуждающей наукой, сообщающей кузнецам квазиномадический статус? Можно было бы возразить, что в этих примерах речь все еще идет о движении от одной точки до другой (даже если это сингулярные точки) благодаря каналам, и что поток все еще остается рассеченным на слои. Но это верно лишь в той мере, в какой подвижные действия и процессы с необходимостью связаны с рифленным пространством, всегда формализуемым королевской наукой, которая отклоняет их от присущей им модели и подчиняет своей собственной, позволяя существовать лишь в качестве «техники» или «прикладной науки». Как правило, гладкое пространство, поле векторов, неметрическое множество всегда будут переводимы — и с необходимостью переводимы — в «компарс»: фундаментальная операция, с помощью которой мы вновь и вновь устанавливаем в каждой точке гладкого пространства касательную евклидова пространства, наделенную достаточным числом размерностей, и благода-*

³² Кастанеда К. *Учение Дона Хуана. Путь знания индейцев яки* // Кастанеда К. *Учение Дона Хуана. Отдельная реальность. Путешествие в Икстлан*. К.: София, 1992, с. 107.

ря такой касательной мы снова вводим параллелизм между двумя векторами, рассматривая множество так, как если бы оно погружалось в однородное и рифленое пространство воспроизведения, а не продолжало следовать за ним в «исследовании посредством шагания».³³ Вот в чем состоит триумф *logos*'а, или закона, над *nomos*'ом. Но как раз сложность операции свидетельствует о сопротивлениях, кои она должна преодолеть. Каждый раз, когда подвижная процедура и процесс возвращаются к собственной модели, точки вновь обнаруживают свою позицию сингулярностей, исключаящую любое дву-однозначное отношение, и поток вновь открывает свое криволинейное и вихревое движение, исключаящее любой параллелизм между векторами, а гладкое пространство вновь обретает свойства контакта, удерживающие его от того, чтобы быть однородным и рифленным. Всегда есть поток, благодаря которому блуждающие или странствующие науки не позволяют себе полностью интериоризоваться в репродуктивные королевские науки. Существует и тип блуждающего ученого, с которым не перестают бороться, интегрироваться или соединяться государственные ученые, рискуя предложить ему незначительное место в узаконенной системе науки и техники.

Дело не в том, что блуждающие науки слишком пропитаны иррациональными действиями, тайной и магией. Они становятся таковыми, лишь когда выходят из употребления. С другой стороны, королевские науки также окружают себя немалой святостью и магией. Скорее, в соперничестве между этими двумя моделями проявляется то, что блуждающие или номадические науки не обязуют науку ни брать на себя власть, ни даже иметь автономное развитие. У них для этого нет средств, ибо они подчиняют все свои

³³ Альбер Лотман вполне ясно показал, каким образом, например, пространства Римана принимают евклидову конъюнкцию, да так, что каждый раз можно определить параллелизм двух соседних векторов; значит, вместо того, чтобы исследовать множество посредством движения на этом множестве, мы рассматриваем множество «как погруженное в евклидово пространство с достаточным числом измерений». См. *Les schémas de structure*, Hermann, pp. 23–24, 43–47.

операции чувственным условиям интуиции и конструирования, *следуя* потоку материи, *расчерчивая и соединяя* гладкое пространство. Все схвачено в объективной зоне колебаний, которая смешивается с самой реальностью. «Приблизительное знание», каким бы оно ни было изысканным и строгим, все еще зависит от чувственных и осязаемых оценок, которые ставят больше проблем, чем решают, — проблематика остается его единственным модусом. Напротив, что свойственно королевской науке, ее теорематической или аксиоматической мощи — так это изоляция всех операций от условий интуиции, их превращение в подлинные внутренние концепты, или «категории». Вот почему даже детерриторизация в такой науке предполагает ретерриторизацию на понятийном аппарате. Без такого категориального, аподиктического аппарата дифференциальные действия вынуждены следовать за эволюцией феномена; более того, поскольку исследования проводятся на открытом воздухе, а постройки возводятся прямо на земле, то мы никогда не будем располагать координатами, возвышающими эти исследования до уровня устойчивых моделей. Переведем некоторые из этих требований в термины «безопасности» — в конце XII века обрушиваются два собора в Орлеане и Бове, а контрольные расчеты слишком трудны, чтобы оказывать влияние на конструкции блуждающей науки. И хотя безопасность являлась фундаментальной частью теоретических норм Государства как политического идеала, речь все же идет о чем-то другом. Благодаря своим практическим действиям блуждающие науки быстро превосходят возможности исчисления: они устанавливаются в таком превосходстве, выходящем за пределы пространства воспроизведения, но быстро сталкиваются с непреодолимыми — с этой точки зрения — трудностями, которые, в конечном счете, разрешаются ими с помощью действий, подсказываемых жизнью. Предполагаемые решения приходят из всей деятельности целиком — деятельности, конституирующей их как неавтономные. Напротив, только королевская наука располагает метрической мощью, задающей понятийный

аппарат или автономию науки (в том числе автономию экспериментальной науки). Отсюда необходимость соединять блуждающие пространства с пространством однородности, без которого законы физики зависели бы от особых точек пространства. Но речь идет не столько о переводе, сколько о конституировании — именно о том конституировании, какого блуждающие науки не предлагают (да и не имеют средств для подобных предположений). В поле взаимодействия этих двух наук блуждающие науки довольствуются *тем, что изобретают проблемы*, решение которых отсылает ко всему набору ненаучных и коллективных действий, но чье *научное решение* зависит, напротив, от королевской науки и от способа, каким она трансформирует проблему, вводя последнюю в свой теорематический аппарат и в собственную организацию труда. Это что-то вроде различия между интуицией и интеллектом по Бергсону, где только интеллект обладает научными средствами формально разрешать проблемы, поставленные интуицией, — проблемы, которые интуиция была бы рада передоверить качественной деятельности человечества, *следующего за материей*...³⁴

Проблема II. Есть ли способ изъять мысль из модели Государства?

Теорема IV. Наконец, внешний характер машины войны удостоверится ноологией.

Порой содержание мысли критикуется за слишком уж большой конформизм. Но первый вопрос — это вопрос самой формы. Мысль как таковая уже конформна модели,

³⁴ Согласно Бергсону, отношения между интуицией и разумом крайне сложны и пребывают в постоянном взаимодействии. Равным образом мы сошлемся и на тему Булигана: дуализм обоих математических элементов — «проблемы» и «глобального синтеза» — развивается лишь тогда, когда те вступают в поле взаимодействия, где глобальный синтез всякий раз фиксирует «категории», без которых у проблемы не было бы общего решения. См. *Le déclin des absolus mathématico-logiques*.

которую она заимствует у аппарата Государства и которая задает для нее цели и дороги, трубы, каналы и органы, весь *органон* в целом. Итак, существует образ мысли, покрывающий всю мысль, — образ, являющийся особым объектом «ноологии» и похожий на форму-Государство, развитую в мысли. У такого образа две головы, отсылающие как раз к двум полюсам суверенитета — *imperium** подлинного мышления, действующий благодаря магическому захвату, схватыванию или связыванию, конституирующий эффективность *основания* (*muthos*); республика свободных умов, действующих согласно договору или контракту, конституирующих законодательную и юридическую организацию, несущих санкцию устоев (*logos*). Эти две головы непрестанно взаимодействуют в классическом образе мысли: «республика умов, чей государь был бы идеей высшего Существа». И если обе головы взаимодействуют, то не только потому, что существует много опосредований или переходов между ними, но и потому, что одна голова подготавливает другую, а другая использует первую и сохраняет ее, а также потому, что, будучи антитетическими и взаимодополнительными, они необходимы друг другу. Между тем не исключено, что для перехода от одной головы к другой «между» ними должно иметь место некое событие совершенно иной природы — событие, которое прячется по ту сторону образа мысли, происходит где-то вовне.³⁵ Но, по-видимому, заключение себя в образ мысли — это не просто всякий раз метафора, когда мы говорим об *imperium* истины и республике умов. Это условие конституции мысли как принципа или как формы внутреннего, как страты.

* Повеление, власть, полномочия, государство, империя (лат.). — Прим. пер.

³⁵ Марсель Детьен (*Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque*, Maspero) выявляет эти два полюса мысли, которые, согласно Дюмезилю, соответствуют обоим аспектам суверенитета — магико-религиозная речь деспота или «старого моряка» и речь-диалог города. Не только главные персонажи греческой мысли (Поэт, Мудрец, Физик, Философ, Софист) располагаются по отношению к этим полюсам; но Детьен вставляет между данными двумя полюсами особую группу Воинов, обеспечивающую переход или эволюцию.

Хорошо видно, что здесь выигрывает мысль: тяжесть, каковой у нее самой по себе никогда не было бы, центр, выступающий причиной появления всего того — в том числе Государства, — что, как кажется, существует благодаря собственной эффективности или собственной санкции. Но и Государство выигрывает тут не меньше. Действительно, развиваясь таким образом в мысли, форма-Государство обретает нечто существенное — полное согласие. Только мысль способна изобрести фикцию Государства, универсального по праву, только она способна возвести Государство до уровня универсалии по праву. Это как если бы суверен остался единственным в мире, покрыл всю ойкумену и имел бы теперь дело лишь с актуальными или потенциальными субъектами. Речь уже не идет ни о могущественных внешних организациях, ни о странных бандах — Государство становится единственным принципом, отделяющим мятежных субъектов, которые отсылаются назад к состоянию природы, от соглашающихся субъектов, которые отсылают сами себя к собственной форме. Если для мысли выгодно основываться на Государстве, то Государству не менее выгодно распространяться в мысли и быть санкционированным ею в качестве уникальной универсальной формы. Специфичность государств — это только лишь некий факт; а также их вероятная извращенность или несовершенство. Ибо современное Государство по праву определяет себя «как рациональная и справедливая организация общества»: у общества остается лишь одна особенность — внутренняя или духовная (*дух народа*), тогда как своей организацией общество способствует гармонии универсального (*абсолютный дух*). Государство придает мысли форму внутреннего, а мысль придает такому внутреннему форму универсальности: «цель всемирной организации — удовлетворение разумных индивидов внутри обособленных свободных Государств». Между Государством и разумом происходит весьма любопытный обмен, но такой обмен — это тоже аналитическая пропозиция, ибо реализованный разум смешивается с

Государством по праву, так же как фактическое Государство — это становление разума.³⁶ В так называемой современной философии и в так называемом современном или рациональном Государстве все крутится вокруг законодателя и субъекта. Государство должно провести различие между законодателем и субъектом под такими формальными условиями, чтобы мысль, со своей стороны, смогла продумать их тождество. Всегда повинуйтесь, ибо чем более вы повинуетесь, тем главнее вы станете, ибо будете подчиняться только чистому разуму, то есть себе самим... С тех пор, как философия отвела себе роль основания, она не прекращает благословлять установленную власть и декалькировать свое учение о способностях на органы Государственной власти. Общий смысл, единство всех способностей как центр *Cogito* — это консенсус Государства, возведенный в абсолют. Вот в чем, в частности, состояла великая процедура кантианской «критики», возобновленная и развитая гегельянством. Кант не переставал критиковать плохое использование [разума], дабы в еще большей мере благословить функцию. И не нужно удивляться тому, что философ стал публичным профессором или государственным служащим. Все уже отрегулировано, как только форма-Государство инспирирует образ мысли. Услуга за услугу. И несомненно, сам образ приобретает разные контуры, следуя изменениям такой формы — он не всегда изображал, или обозначал, философа и не всегда будет изображать его. Мы можем переходить от магической функции к рациональной. Поэт в архаичном

³⁶ Существует гегельянство права, все еще живущее в официальной политической философии и связывающее судьбу мысли с Государством. Кожев (*Tyrannie et sagesse*, Gallimard) и Эрик Вейль (*Hegel et l'Etat; Philosophie politique*, Vrin) — недавние представители такого гегельянства. От Гегеля до Макса Вебера развивается целая линия рефлексии об отношении современного Государства с Разумом — как рационально-техническим, так и разумно-гуманным. Если возразить, что такая рациональность, уже присутствовавшая в архаичном имперском Государстве, является *оптимумом* самих правителей, то гегельянцы ответят, что рационально-разумное не может существовать без минимума участия каждого. Но вопрос, скорее, в том, чтобы знать, не извлекается ли сама форма рационально-разумного из Государства, так что с необходимостью наделяет его «разумом».

имперском Государстве мог играть роль дрессировщика образа.³⁷ В современных государствах философа смог заменить социолог (например, когда Дюркгейм и его ученики мечтали наделить республику светской моделью мысли). Даже сегодня психоанализ стремится к роли *Cogitatio universalis** как мысли Закона в магическом возвращении. И есть еще немало других конкурентов и претендентов. Ноология, не смешивающаяся с идеологией, — как раз и является исследованием образов мысли и их историчности. В каком-то смысле можно было бы сказать, что все это не столь уж важно, что у мысли, чтобы развеселиться, всегда имелась лишь тяжесть, или серьезность. Но просит она лишь одного — чтобы мы не принимали ее слишком всерьез, ибо сама может куда лучше думать за нас и всегда плодить новых собственных слуг, а также потому, что чем меньше люди принимают мысль всерьез, тем больше они мыслят в согласии с тем, чего хочет Государство. Действительно, какой государственный деятель не мечтал о таком невозможном пустяке — быть мыслителем?

Итак, ноология сталкивается с контрмыслями, действия которых жестоки, проявления дискретны, а существование исторически подвижно. Таковы действия «частного мыслителя» как противоположности публичному профессору — Кьеркегор, Ницше или даже Шестов... Где бы они ни обитали, это всегда — степь или пустыня. Они разрушают образы мышления. Возможно, произведение Ницше «Шопенгауэр как воспитатель» — самая крупная критика, когда-либо направляемая против образа мысли и его отношения с Государством. И все-таки «частный мыслитель» — не самое удовлетворительное выражение, ибо оно преувеличивает внутреннее, тогда как речь идет о мысли вовне.³⁸ Помещать мысль в прямое отношение с

³⁷ О роли античного поэта «как слуги суверенитета» см. Dumézil, *Servius et la Fortune*, pp. 64 sq., et Détienné pp. 17 sq.

* Универсальное мышление (лат.). — Прим. пер.

³⁸ См. как Фуко анализирует Мориса Бланшо и форму внешнего мысли: *La pensée du dehors // Critique*, juin 1966.

внешним, с силами внешнего, короче, превращать мысль в машину войны — вот довольно странное предприятие, строгим процедурам которого мы можем научиться у Ницше (афоризм, например, крайне отличается от максимы, ибо максима, в республике письма, похожа на органическое действие Государства или суверенное суждение, тогда как афоризм всегда ожидает своего смысла от новой внешней силы, последней силы, которая должна завоевывать, покорить или использовать его). Есть и другая причина, почему словосочетание «частный мыслитель» не является хорошим выражением: хотя и верно, что контрмысль свидетельствует об абсолютном одиночестве, тем не менее она — крайне населенное одиночество, как сама пустыня, одиночество, которое уже вяжет собственную нить с приходящими людьми, одиночество, зовущее и ждущее этих людей, существующее лишь благодаря им, даже если их еще тут нет... «Нам не хватает такой последней силы, когда нет людей, способных нас вынести. Мы ищем эту людскую поддержку...» Любая мысль — уже племя, она противоположна Государству. И такая форма внешнего для мысли не симметрична форме внутреннего. Строго говоря, симметрия существует только между различными полюсами или очагами внутреннего. Но форма внешнего для мысли — то есть сила, всегда внешняя по отношению к самой себе, или последняя сила, *n*-ная власть — это вовсе не *другой образ*, противостоящий образу, инспирированному аппаратом Государства. Напротив, именно сила разрушает образ *и* его копии, модель *и* ее копии, любую возможность подчинения мысли модели Истины, Справедливого или Права (картезианская истина, кантианская справедливость, гегельянское право и т.д.). «Метод» — это рифленое пространство *cogitatio universalis*, и он расчерчивает путь, которым должно следовать от одной точки до другой. Но форма внешнего помещает мысль в гладкое пространство, каковое та должна занять, не исчисляя, и для которого не существует ни возможного метода, ни какого-либо постигаемого воспроиз-

ведения, а только лишь реле-переключатели, интермеццо, повышение ставок. Мысль как Вампир, у нее нет образа — ни для того, чтобы создавать модель, ни для того, чтобы делать копию. В гладком пространстве Дзен стрела уже не движется от одной точки до другой, но будет собираться в любой точке, дабы быть посланной в любую точку, и стремится перемещаться вместе со стрелком и мишенью. Проблема машины войны — это проблема переключений, пусть даже бедными средствами, а не проблема архитектоники модели или памятника. Блуждающий люд, состоящий из тех, кто переключает, а не образцовый город. «Природа пускает философа, как стрелу, в людей; она не целится, но надеется, что стрела куда-нибудь попадет. При этом она множество раз ошибается и испытывает огорчение. <...> Художник и философ свидетельствуют против целесообразности средств природы, хотя они представляют блестящее доказательство мудрости ее целей. Они действуют лишь на немногих, а должны действовать на всех; и даже в этих немногих философ и художник попадают не с той силой, с какой они посылают свой заряд...»³⁹.

Главным образом мы думаем о двух патетических текстах, в том смысле, что в них мысль — это действительно *pathos** (некий *antilogos* и некий *antimuthos*). Первый принадлежит Арто, который в своих письмах Жаку Ривьеру объясняет, что мысль с самого начала осуществилась на основе *центрального крушения*, что она может жить единственно благодаря своей собственной неспособности создать форму, выпукло привнося в материал только черты выражения, развиваясь на периферии, в чистой среде внешнего, в зависимости от сингулярностей, которые нельзя универсализировать, от обстоятельств, которые нельзя интериоризировать. А второй — это текст Клейста

³⁹ Ницше Ф. *Шопенгауэр как воспитатель*, § 7 (Ницше Ф. Странник и его тень. М.: REFL-book, 1994, с. 62).

* Несчастье, страдание, поражение, случай, аффект, чувство, страсть (*др.-гр.*). — Прим. пер.

«О постепенном формировании мыслей в речи»: Клейст разоблачает в нем центральную интериорность концепта как средства контроля — контроля речи, языка, а также контроля аффектов, обстоятельств и даже случая. Такому концепту он противопоставляет мысль как судебное дело [procès] и как процесс [processus], странный антиплатонический диалог, антидиалог между братом и сестрой, когда один говорит прежде, чем знать, а другая уже переключилась прежде, чем понять, — вот, говорит Клейст, мысль *Gemüt*'а, поступающая так, как должен был бы поступать генерал в машине войны, или как тело, заряженное электричеством, чистой интенсивностью. «Я смешиваю нечленораздельные звуки, наращиваю переходные термины, а также использую наложения там, где они не необходимы». Выиграть время, а потом, возможно, отказаться, или ждать. Необходимость, не обладая контролем над языком, быть иностранцем в собственном языке, дабы притягивать речь к себе и «привносить в мир что-то непонятное». Таковой была бы форма внешнего, отношение между братом и сестрой, становление-женщиной мыслителя, становление-мыслью о женщине: *Gemüt*, которое уже позволяет себя контролировать и формирует машину войны? Мысль, сцепившаяся в схватке с внешними силами, вместо того чтобы собираться во внутренней форме, действующая с помощью реле-переключателя, вместо того чтобы формировать образ; мысль-событие, этовость вместо мысли-субъекта, мысль-проблема вместо мысли-сущности или теоремы; мысль, апеллирующая к людям, вместо того чтобы хвататься за управление министерством. Не случайно ли, что каждый раз, когда «мыслитель» выпускает стрелу, существует и государственный человек, тень или образ государственного человека, который дает ему совет и делает выговор, а также хочет зафиксировать «цель-мишень»? Жак Ривьер не сомневается в том, что следует сказать в ответ на заявления Арто: работайте, работайте, все устроится, вы сумеете прийти к методу и ясно выразить то, о чем вы по праву думаете

(*Cogitatio universalis*). Ривьер — не глава государства, но он и не был последним в N.R.F.*, чтобы ошибаться относительно тайного государя в республике письма или серого кардинала в правовом Государстве. Ленц и Клейст противостоят Гете, величайшему гению, подлинному государственному мужу среди всех литераторов. Но это еще не самое худшее: самое худшее в том, как тексты Клейста и Арто доходят до того, что сами становятся памятниками и инспирируют модель для копирования, — модель куда более коварную, чем другие, — для всех искусственных заиканий и бесчисленных калек, намеревающихся стать равными им.

Классический образ мысли и осуществляемое им рифление ментального пространства стремятся к универсальности. Действительно, образ действует благодаря двум «универсалиям» — Целому как последнему основанию бытия, или всеохватывающему горизонту, и Субъекту как принципу, превращающему бытие в бытие-для-нас.⁴⁰ *Imperium* и республика. Между этими двумя полюсами все роды реальности и истины находят свое место в рифленном ментальном пространстве — с двойной точки зрения Бытия и Субъекта под управлением «универсального метода». Теперь нам легко охарактеризовать номадическую мысль, отвергающую такой образ и ведущую себя иначе. Дело в том, что она ссылается не на универсального мыслящего субъекта, но, напротив, на сингулярную расу; и она не основывает себя на всеохватывающей тотальности, но, напротив, разворачивается в лишенной горизонта среде как гладком пространстве — в степи, пустыни или море. Здесь устанавливается совершенно иной тип соответствия между расой, определяемой как «племя», и гладким пространством, определяемым как «среда». Племя в пустыне, а не универсальный субъект в

* Nouvelle Revue Française — «Новое французское обозрение», журнал, выходящий один раз в две недели (фр.). — Прим. пер.

⁴⁰ Любопытный текст Ясперса, озаглавленный «Декарт» (Alcan), развивает эту точку зрения и признает следствия из нее.

горизонте всеохватывающего Бытия. Кеннет Уайт недавно настаивал на такой асимметричной взаимодополнительности между племенем-расой (кельты или те, кто чувствуют, что они Кельты) и пространством-средой (Восток, Восток, пустыня Гоби...): Уайт показывает, как этот странный композит — бракосочетание Кельта и Востока — вдохновляет собственно номадическую мысль, которая сметает английскую литературу и создает американскую.⁴¹ Мы сразу же видим опасности, глубокие двусмысленности, сопровождающие такое предприятие, как если бы каждое усилие и каждое созидание сталкивались с возможным позором. Ибо как сделать так, чтобы тема расы не свернулась в расизм, в господствующий и всеохватывающий фашизм или, проще, в аристократизм, или же в секту и в фольклор, в микрофашизмы? И как сделать так, чтобы полюс Востока не был фантазмом, иным способом реактивирующим все фашизмы, а также весь фольклор, йогу, дзен и карате? Конечно же мало путешествовать, чтобы убежать от фантазма; и конечно же не благодаря обращению к прошлому — реальному или мифическому — мы избегаем расизма. Но здесь опять же критерии для проведения различия достаточно легки, какими бы ни были фактические смеси, которые их затемняют на том или ином уровне, в тот или иной момент. Племя-раса существует лишь на уровне угнетенной расы и от имени угнетения, коему оно подвергается — существует только униженная, миноритарная раса, нет господствующей расы; раса определяется не своей чистотой, а, напротив, примесью, какую сообщает ей система господства. Пария и полукровка — вот подлинные имена расы. Рембо все сказал относительно этого пункта — взывать к расе может лишь тот, кто говорит: «Я всегда был низшею расой <...> Все захлестнула низшая раса <...> Вот я на армориканском взморье <...> Я — зверь, я — негр <...> Я принад-

⁴¹ White, Kenneth. *Le nomadisme intellectuel*. Второй том этого неизданного труда как раз и называется *Poetry and Tribe*.

лежу к далекой расе: моими предками были скандинавы».* И так же, как раса — это не то, что переоткрывается, Восток — не то, что имитируется: он существует только благодаря конструированию гладкого пространства, так же как раса существует только благодаря конституции племени, заселяющем и пересекающем гладкое пространство. Именно вся мысль является становлением, двойным становлением, а не атрибутом Субъекта и репрезентацией Целого.

Аксиома II. Машина войны — это изобретение кочевников (ибо она является внешней по отношению к аппарату Государства и отличается от военного института). У номадической машины войны как таковой — три аспекта: пространственно-географический аспект, арифметический (или алгебраический) аспект и аффективный аспект. Теорема V. Номадическое существование необходимым образом воплощает в пространстве условия машины войны.

Кочевник обладает территорией, он следует привычными путями, он идет от одного пункта к другому, не пропуская ни одного из них (пункт водопоя, стоянки, сбора и т.д.). Но вопрос состоит в выяснении, что же в номадической жизни является главным, а что только следствием. Во-первых, даже если точки определяют пути, то они строго подчиняются путям, каковые сами и определяют, в противоположность тому, что происходит у оседлых народов. К пункту водопоя приходят лишь для того, чтобы оставить его позади, а каждая точка — это реле-переключатель и существует только как реле-переключатель. Путь всегда пролегает между двумя точками, но промежуток между ними принимает на себя консистенцию и обладает как автономией, так и присущим ему направлением. Жизнь кочевника —

* Рембо, Артюр. *Одно лето в аду* // Рембо, Артюр. Стихи. М.: Наука, 1982, с. 152, 153, 156, 163. — Прим. пер.

интермеццо. Даже элементы его обитания постигаются в зависимости от траектории, которая непрестанно делает их подвижными.⁴² Кочевник — не то же самое, что мигрант; ибо мигрант главным образом движется от одной точки до другой, даже если другая точка является неопределенной, непредвидимой или плохо локализованной. Но движение кочевника от одной точки до другой — это лишь следствие и фактическая необходимость: в принципе точки для него — реле-переключатели в пути. Кочевники и мигранты могут смешиваться множеством разных способов или образовывать общую совокупность; для этого у них есть немало весьма разных причин и условий (например, у тех, кто присоединяются к Мухаммеду в Медине, есть выбор между номадической, или бедуинской, присягой и присягой хиджры*, или эмиграцией)⁴³.

Во-вторых, номадическая траектория напрасно старается двигаться по уже проложенным следам или по привычным дорогам, у нее нет функции оседлого пути — функции, состоящей в том, чтобы *распределять закрытое пространство среди людей*, назначая каждому его долю и управляя коммуникацией между долями. Номадическая траектория делает противоположное: она *распределяет людей (или зверей) в открытом пространстве* — пространстве неопределенном и некоммуникативном. *Notos* доходит до предписания закона, но прежде всего потому, что он был распре-

⁴² Milovanoff, Anny. La seconde peau du nomade // *Nouvelles littéraires*, 27 juillet 1978: «Кочевники Ларбаа [Larbaâ], живущие на окраине алжирской Сахары, используют слово *trigâ* — которое в общем означает дорогу или путь, — дабы обозначать тканые ремни, служащие для того, чтобы усилить крепление палатки на поддерживающих ее колышках. <...> В номадическом мышлении жилище связано не с территорией, а, скорее, с путем. Кочевник, отказываясь от присвоения пересекаемого им пространства, конструирует окружающую среду из овечьих шкур или шерсти — среду, не оставляющую меток на том временном месте, какое он занимает. <...> Таким образом, шерсть — мягкий материал — сообщает кочевой жизни свое единство. <...> Кочевник останавливается на репрезентации своих переходов, а не на оформлении проходимого им пространства. Он покидает пространство в пространстве. <...> Полиморфизм шерсти».

* Хиджра (араб., букв.: бегство, выселение, эмиграция) — переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. — *Прим. пер.*

⁴³ См.: Watt W.M. *Mahomet à Médine*, Payot, pp. 107, 293.

делением, способом распределения. Но это крайне особый тип распределения — распределение без деления на доли, распределение в пространстве без границ и оград. *Nomos* — это консистенция нечеткого множества: именно в этом смысле он противится закону, или *polis*'у, как тыловая область, тот склон горы или неясная протяженность вокруг города («либо номос, либо полис»⁴⁴). Следовательно, есть третий пункт, есть огромное различие между пространствами: оседлое пространство является рифленным благодаря стенам, ограждениям и дорогам между ограждениями, тогда как кочевническое пространство — гладкое, отмеченное только «чертами», которые стираются и перемещаются вместе с путем. Даже тонкие слои пустыни скользят друг над другом, производя неподражаемый звук. Кочевник распределяется в гладком пространстве, он занимает, он обживает, он удерживает это пространство, и в этом состоит его территориальный принцип. Значит, неверно определять кочевника через движение. Тойнби глубоко прав, когда доказывает, что кочевник — это, скорее, *тот, кто не шевелится*. В то время как мигрант оставляет за собой среду, ставшую бесформенной или непривлекательной, кочевник — это тот, кто не уходит, не хочет уходить, кто цепляется за гладкое пространство, где лес отступает, где степь или пустыня разрастаются, и кто изобретает нома-

⁴⁴ Laroche E. *Histoire de la racine «Nem» en grec ancien*, Klincksieck. Корень «Nem» указывает на распределение, а не на раздел, даже когда и то, и другое связаны. Но именно в пасторальном смысле распределение животных осуществляется в неограниченном пространстве и не предполагает раздела земель: «Ремесло пастуха в эпоху Гомера не имеет ничего общего с разделом земель; когда же во времена Солона аграрный вопрос выходит на первый план, то раздел выражается совершенно другими словами». *Заставлять пастись* (πετὼ) отсылает не к разделению, а к размещению тут или там, к распределению зверей. И только после Солона *Nomos* начинает обозначать принцип законов и права (Тесмои [Thesmoi, законы Бога или законы церкви (см.: Климент Александрийский, «Строматы», 7.3.16.5) (др.-гр.). — Прим. пер.] и Дике), а затем будет отождествляться с самими законами. До этого существовала, скорее, альтернатива между городом, или полисом, управляемым законами, и его окрестностями как местом номоса. Похожую альтернативу мы находим у Ибн Хальдуна — между *Hadara* как городскими жителями и *Badiya* как номосом (это то, что является не городом, а пред-городским полем, плато, степью, горой или пустыней).

дизм как ответ на вызов мигранта.⁴⁵ Конечно, кочевник шевелится, но лишь пока сидит, и он сидит только тогда, когда шевелится (скачущий галопом бедуин, когда его колени на седле, когда он сидит на пятках, вывернув ноги, «подвиг равновесия»). Кочевник умеет ждать, у него бесконечное терпение. Неподвижность и скорость, кататония и стремительность, «стационарный процесс», остановка как процесс — эти черты [творчества] Клейста являются в высшей степени чертами кочевника. Также следует различить *скорость* и *движение* — движение может быть очень быстрым, что не сообщает ему скорости; скорость может быть крайне медленной, или даже неподвижной, но, однако, она все еще скорость. Движение — экстенсивно, а скорость — интенсивна. Движение указывает на относительный характер тела, рассматриваемого как «одно [un]», которое движется от точки к точке; *скорость, напротив, конституирует абсолютный характер тела, чьи нередуцируемые части (атомы) занимают или заполняют гладкое пространство на манер вихря с возможностью появиться в любой точке.* (Таким образом, неудивительно, что мы могли обратиться к духовным вояжам, осуществляемым без относительного движения, но в локальной интенсивности — они суть часть номадизма). Короче, скажем — по договоренности, — что только кочевник обладает абсолютным движением, то есть скоростью; вихревое или вращательное движение по существу принадлежит его машине войны.

В этом смысле у кочевника нет точек, путей или земли, даже если кажется, что всем этим он обладает. Если кочевника и можно назвать Детерриторизованным по преимуществу, то как раз потому, что ретерриторизации не происходит ни *потом* — как у мигранта, ни на *чем-то ином* — как у оседлого (действительно, у оседлого отношение с землей опосредовано чем-то иным — имущественными отношениями,

⁴⁵ Тоунбее, *L'Histoire*, Gallimard, pp. 185–210: «Они бросились в степь не для того, чтобы преодолеть ее границы, а чтобы укрепиться в ней и чувствовать себя там как дома».

аппаратом Государства...). Для кочевника, напротив, именно детерриторизация конституирует отношение к земле, так что он ретерриторизирует на самой детерриторизации. Именно земля детерриторизируется сама по себе так, чтобы кочевник нашел там территорию. Земля перестает быть землей и стремится к тому, чтобы стать просто почвой или опорой. Земля детерриторизируется не в своем глобальном и относительном движении, а в особых местах — там, где даже лес отступает, где побеждают степь и пустыня. Хьюбак вправе говорить, что номадизм объясняется не столько универсальным изменением климата (что, скорее, отсылает к мигрантам), сколько «отклонением от местного климата».⁴⁶ Кочевник существует там, на земле, всякий раз, когда формируется гладкое пространство, которое подтачивает и стремится к разрастанию во всех направлениях. Кочевник обитает в этих местах, он остается на них и сам заставляет их разрастаться в том смысле, в каком мы констатируем, что кочевник столь же создает пустыню, сколь и сам создан ею. Он — вектор детерриторизации. Он добавляет пустыню к пустыне, степь к степи с помощью серии локальных операций, чьи ориентация и направление непрестанно варьируются.⁴⁷ Песчаная пустыня включает не только оазисы, подобные фиксированным точкам, но и ризоматическую растительность, временную и подвижную в зависимости от местных дождей — растительность, задающую изменения в направлении маршрутов.⁴⁸ Одни и те же термины используются для описания песчаной и ледяной пустынь — там нет никакой линии, отделяющей землю от неба; нет ни промежуточной дистанции, ни перспективы, ни контура, видимость ограничена; но, однако,

⁴⁶ Ср.: Hubac, Pierre. *Les nomades*, la Renaissance du livre, pp. 26–29 (хотя Хьюбак и намерен смешать кочевников и мигрантов).

⁴⁷ Относительно кочевников моря или архипелага Ж. Эмпераири [J. Empeiraire] пишет: «Они схватывают маршрут не как целое, но фрагментарно, располагая рядом друг с другом разные последовательные этапы, от одной лагерной стоянки до другой в ходе путешествия. Для каждого из этих этапов они оценивают длительность перехода и помечающие его последовательные изменения в направлении» (*Les nomades de la mer*, Gallimard, p. 225).

⁴⁸ Thesiger, *Le désert des déserts*, Pion, pp. 155, 171, 225.

есть чрезвычайно тонкая топология, покоящаяся не на точках или объектах, а на эвентуах, на всей совокупности отношений (ветры, волны снега или песка, пение песка или треск льда, тактильные качества их обоих); это — тактильное или, скорее, «гаптическое» пространство, — в большей степени звуковое, нежели визуальное...⁴⁹ Вариабельность, многозначность направлений — вот существенная черта гладких пространств, пространств типа ризомы, переиначивающих картографию. Кочевник и номадическое пространство локализованы, но не ограничены. Именно рифленое пространство, или *относительное глобальное*, сразу и ограничено, и ограничивает — оно ограничено своими сторонами, к коим привязаны постоянные направления и которые ориентированы по отношению друг к другу, разделяемы границами и компонуемы в совокупность; а что является ограничивающим (*limes** или стена, но уже не граница), так именно эта совокупность по отношению к гладким пространствам, кои она «содержит», чьему росту она мешает или чье разрастание она тормозит, а также каковы она ограничивает или помещает вовне. Даже когда кочевник подвержен такому эффекту, он не принадлежит данному относительному глобальному, где мы переходим от точки к точке, от региона до региона. Он, скорее, пребывает в *абсолютном локальном*, в абсолюте, который манифестируется в локальном и порождается в серии локальных операций в различных направлениях — пустыня, степь, лед, море.

Заставить абсолюта проявиться в каком-либо месте — не в этом ли состоит самая общая характеристика религии (признавая, что природа подобного проявления, законность или незаконность воспроизводящих его образов открыты для обсуждения)? Но священное место религии — это, фунда-

⁴⁹ См. два замечательных описания — описание песчаной пустыни Уилфридом Тэсиджером и описание ледяной пустыни Эдмундом Карпентером (*Eskimo, Toront*): ветры, а также тактильные и звуковые качества; вторичный характер визуальных данных, и особенно равнодушие кочевников к астрономии как королевской науке; а еще целая малая наука качественных переменных и следов.

* Межа, пограничная линия, расстояние, тропа, предел (*лат.*). — *Прим. пер.*

ментальным образом, центр, отталкивающий темный *nomos*. Абсолют религии — это, по существу, всеохватывающий горизонт, и если сам абсолют проявляется в особом месте, то предназначен он для фиксации в глобальном крепкого и устойчивого центра. Мы часто отмечали объединяющую роль гладкого пространства — пустыни, степи или океана — в монотеизме. Короче, религия конвертирует абсолют. В этом смысле религия — это деталь аппарата Государства (в обеих его формах, то есть в форме «связи» и форме «договора или союза»), даже если она обладает могуществом возносить такую модель до уровня универсалии или конституировать абсолютный *Imperium*. Но для кочевника вопрос стоит совсем иначе: место действительно не ограничено; а значит, абсолют не проявляется в каком-то особом месте, а смешивается с не ограниченным местом; спаривание их обоих — места и абсолюта — достигается не в центрированных и ориентированных глобализации и универсализации, а в бесконечной последовательности локальных операций. Если исходить из противостояния таких точек зрения, то можно констатировать, что кочевники не являются предпочтительной почвой для религии; воин всегда готов оскорбить священника или бога. У кочевников присутствует какой-то неясный, буквально бродячий «монотеизм», и они удовлетворяются как последним, так и собственными блуждающими огнями. Кочевники обладают смыслом абсолюта, но специфически [singulièrement] атеистическим. В этом отношении универсалистские религии, имевшие дело с кочевниками — Моисей, Мухаммед, даже христианство с несторианской ересью, — всегда сталкивались с такими проблемами и с тем, что они называли упрямым безбожием. Действительно, эти религии неотделимы от твердого и постоянного направления, от имперского правового Государства и даже — в особенности — от отсутствия фактического Государства; они содействовали идеалу оседлости и обращались скорее к мигрирующим компонентам, нежели к номадическим. Даже зарождающийся ислам предпочитал сюжет хиджры или миграции, нежели номадизма; и скорее

именно с помощью определенных расколов [schismes] (таких, как движение хариджизма*) он победил арабских или берберских кочевников.⁵⁰

И все-таки простая оппозиция между двумя точками зрения — религия—номадизм — не исчерпывает всей проблемы. Ибо монотеистическая религия — на самом глубинном уровне своего стремления распространить универсальное или духовное Государство по всей ойкумене — не существует без некой двойственности и бахромы; она выходит за пределы идеальных границ Государства, пусть даже имперского, дабы вступить в более размытую зону, зону вне государств, где у нее появляется возможность крайне особой мутации или адаптации. Здесь религия предстает как элемент машины войны, а идея священной войны — как двигатель этой машины. *Пророк*, выступая против государственного персонажа короля и религиозного персонажа священника, очерчивает движение, благодаря которому религия становится машиной войны или переходит на сторону такой машины. Часто говорилось, что Ислам и пророк Мухаммед провели подобную конверсию религии и конституировали подлинный телесный дух: следуя формуле Жоржа Батая, «нарождающийся ислам — общество, сведенное к военному предприятию». Именно на это обращает внимание Запад, оправдывая свою антипатию к исламу. Однако Крестовые походы подразумевали такую же авантюру, специфически христианскую авантюру. Итак, пророки напрасно стараются осуждать номадическую жизнь; религиозная машина войны напрасно старается отдать предпочтение движению миграции и идеалу институциональности; религия вообще напрасно старается компенсировать свою специфическую детерриторизацию духовной и даже физической ретерриторизацией, которая в случае священной войны принимает хорошо управляемый характер захвата Святой Земли как

* Хариджизм — религиозно-политическое движение преимущественно радикального толка. — *Прим. пер.*

⁵⁰ Gautier E.F. *Le passé de l'Afrique du Nord*, Payot, pp. 267–316.

центра мира. Несмотря на все это, когда религия конституируется в машине войны, она мобилизует и высвобождает колоссальный запас номадизма или абсолютной детерриторизации, она дублирует мигранта сопровождающим его, или потенциальным, кочевником, пребывающим в процессе становления, и, наконец, она оборачивает против формы Государства свою мечту об абсолютном Государстве.⁵¹ И такое оборачивание в неменьшей мере принадлежит «сущности» религии, чем мечта. История Крестовых походов пересекается самой удивительной серией вариации направлений — жесткая ориентация на Святую Землю как центр, коего надо достичь, как кажется, часто является не более чем поводом. Но мы бы ошиблись, сказав, что игра жадности или экономических, коммерческих и политических факторов отклонила Крестовый поход от его столбовой дороги. Как раз-таки идея Крестового похода *предполагает в себе саму эту изменчивость направлений* — изломанных, неустойчивых, — и она внутренним образом обладает всеми указанными факторами или всеми переменными, лишь только превращает религию в машину войны и, одновременно, использует и вызывает соответствующий номадизм.⁵² Необходи-

⁵¹ С этой точки зрения, проделанный Кластром анализ индийского профетизма можно обобщить: «С одной стороны, предводители, с другой — и против первых, — пророки. И пророческая машина прекрасно функционировала, ибо Караи [Karai] были способны повести за собой изумленные массы индийцев. <...> Мятёжное действие пророков против предводителей придавало первым, благодаря странному переворачиванию вещей, бесконечно большую силу, чем та, что имела у вторых» (*La société contre l'Etat*, p. 185).

⁵² Одна из самых интересных тем классической книги Поля Альфандери (*La chrétienté et l'idée de croisade*, Albin Michel) — показ того, что изменения маршрутов, стоянок, объездных путей всецело являются частью Крестового похода: «эдакая армия крестоносцев, которую мы рисуем себе как современную армию, вроде армий Людовика XIV или Наполеона, движущаяся абсолютно пассивно, подчиняясь воле предводителя, кабинету дипломатии. Такая армия знает, куда она идет и когда совершает ошибки, — и она делает это сознательно. История, более озабоченная различиями, допускает иной, более реалистичный образ армии крестоносцев. Армия крестоносцев — это свободно, порой анархически, живущая армия. <...> Эта армия мотивирована изнутри благодаря сложной связности, действующей так, что все, что предъявляется, неслучайно. Конечно же у завоевания Константинополя были свои причины, своя необходимость, свой религиозный характер, как и у других деяний Крестовых походов» (т. II, p. 76). Альфандери как раз и показывает, что идея борьбы против Неверных в *какой угодно точке* появляется рано, а именно — вместе с идеей освобождения Святой Земли (т. I, p. 219).

мость удерживать самые строгие различия между оседлыми, мигрантами и кочевниками фактически не мешает существованию их смесей; напротив, она делает их, в свою очередь, все более необходимыми. И мы не можем рассматривать общий процесс перехода к оседлости, покоривший кочевников, не рассматривая также и порывов локальной номадизации, сметающих оседлые народы и удваивающих мигрантов (именно под прикрытием религии).

Гладкое, или номадическое, пространство располагается между двумя рифлеными пространствами — пространством леса, с его вертикалями тяготения; и пространством сельского хозяйства, с его квадратной сеткой и обобщенными параллелями, с его древовидностью, ставшей независимой, с его искусством извлекать дерево и дрова из леса. Но быть «между» означает также, что гладкое пространство контролируется этими двумя ограничивающими его сторонами, которые противятся его развитию и отводят ему, насколько это возможно, роль коммуникатора; или, напротив, это означает, что гладкое пространство оборачивается против них, подтачивая, с одной стороны, лес, а с другой — получая обработанные земли, утверждая некоммуникативную силу, или силу *отклонения*, подобную углубляющемуся «клину». Сначала кочевники поворачиваются против жителей лесов и гор, затем устремляются к труженикам сельского хозяйства. Здесь есть что-то вроде обратной или наружной стороны формы-Государства — но в каком смысле? Такая форма, как глобальное и относительное пространство, подразумевает некое число компонент: лес — распахка целины; сельское хозяйство — квадратная сетка; разведение животных, подчиненное сельскохозяйственному труду и оседлому производству пищи; вся совокупность коммуникаций между городом и деревней (*polis—nomos*) на основе торговли. Когда историки спрашивают о причинах победы Запада над Востоком, они главным образом обращаются к следующим характеристикам, которые вообще ставят Восток в неблагоприятные условия: скорее, вырубка леса, а не распахка целины,

откуда вытекают большие трудности, связанные с добычей или даже заготовкой дерева; скорее, культура типа «рисовой плантации и сада», а не древесности и поля; а также характерное разведение животных, избегающее, по большей части, контроля со стороны оседлых народов, так что те испытывают нехватку в животной силе и мясной пище; слабая коммуникация между городом и деревней, что делает торговлю куда менее гибкой.⁵³ Отсюда, конечно, не следует, будто бы на Востоке отсутствует форма-Государство. Как раз напротив, нужна гораздо более жесткая инстанция, дабы удерживать и объединять разнообразные компоненты, обработанные векторами ускользания. У Государств всегда одна и та же композиция; если в политической философии Гегеля и есть какая-то истина, то потому, что «любое Государство несет в себе сущностные моменты своего существования». Государства komponуются не только из людей, но и из деревьев, полей, садов, животных и товаров. Существует единство *композиции* всех Государств, но у Государств не одно и то же *развитие*, не одна и та же *организация*. На Востоке компоненты куда больше разорваны и разъединены, что с неизбежностью влечет за собой великую незыблемую Форму, ради того, чтобы удержать их вместе — «деспотичные формации», азиатские или африканские, сотрясаются непрерывными мятежами, обособлениями и династическими изменениями, не затрагивающими тем не менее неизменность формы. На Западе, напротив, переплетение компонент делает возможными трансформации формы-Государства

⁵³ Такое противостояние между Востоком и Западом, начавшееся в Средневековье (и связанное с вопросом: почему капитализм развился на Западе, а не где-то еще?), вдохновило современных историков на замечательные анализы. См. особенно: Braudel, Fernand. *Civilisation matérielle et capitalisme*, Armand Colin, pp. 108–121; Chaunu, Pierre. *L'expansion européenne du XIII^e au XV^e siècle*, P. U. F., pp. 334–339 («Почему Европа? Почему не Китай?»); Lombard, Maurice. *Espaces et réseaux du haut Moyen Age*, Mouton, ch. vii (и p. 219: «То, что мы называем вырубкой леса на Востоке, на Западе называется распашкой целины; первая глубинная причина перемещения господствующих центров с Востока на Запад — это, следовательно, географическая причина: лес-прогалина, как оказалось, имеет больший потенциал, чем пустыня-оазис»).

путем революций. Верно, что сама идея революции двусмысленна; это западная идея, ибо она отсылает к трансформации Государства; но это и восточная идея, поскольку она демонстрирует разрушение, отмену Государства.⁵⁴ Великие империи Востока, Африки и Америки столкнулись с обширными гладкими пространствами, пронизывающими их и удерживающими разрывы между их компонентами (*nomos* не становится деревней, деревня не сообщается с городом, крупное животноводство — удел кочевников и т.д.): восточные Государства прямо противостоят номадической машине войны. Такая машина войны может отступать на пути интеграции и действовать лишь посредством мятежа и династических изменений; однако именно она, как кочевник, изобретает аболиционистские мечту и реальность. Западные Государства куда более защищены в своем рифленом пространстве и, следовательно, обладают большей широтой, дабы удержать собственные компоненты вместе; они противостоят кочевникам лишь косвенно, через посредничество миграций, которые кочевники запускают в ход или у которых они заимствуют свой темп.⁵⁵

⁵⁴ Замечания Маркса о деспотических формациях в Азии подтверждаются африканскими исследованиями Глюкмана (*Custom and Conflict in Africa*, Oxford) — одновременно, формальная неизменность и постоянный мятеж. Идея «трансформации» Государства кажется весьма западной. Тем не менее другая идея — «разрушение» Государства — куда более отсылает к Востоку и к условиям номадической машины войны. Мы напрасно стараемся представить обе идеи как последовательные фазы революции, они слишком уж отличаются друг от друга и плохо примиряются, они резюмируют противостояние между социалистами и анархистами в XIX веке. Западный пролетариат сам рассматривается с двух точек зрения — как тот, кто должен завоевать власть и трансформировать аппарат Государства (это точка зрения *рабочей силы*), но и как тот, кто хочет или хотел бы разрушить Государство (это с точки зрения *номадической силы*). Даже Маркс определяет пролетария не только как отчужденного (труд), но и как детерриторизованного. Пролетарий, в этом последнем аспекте, появляется в западном мире как наследник кочевника. Не только многие анархисты обращаются к пришедшим с Востока номадическим темам, но и, главным образом, буржуазия XIX века охотно отождествляет пролетариев с кочевниками и уподобляет Париж городу, преследуемому кочевниками (ср.: Chevalier, Louis. *Classes laborieuses et classes dangereuses*, L. G. F., pp. 602–604).

⁵⁵ См.: Musset, Lucien. *Les invasions, le second assaut*, P. U. F.: например, анализ трех «фаз» датчан, pp. 135–137.

Одна из фундаментальных задач Государства состоит в том, чтобы рифлить пространство, над которым оно царит, или ставить гладкие пространства — как средства коммуникации — на службу рифленого пространства. Жизненно важная забота каждого Государства — не только в том, чтобы одолевать номадизм, но и в том, чтобы контролировать миграции и, более обобщенно, устанавливать зону права на всем «внешнем» в целом, на совокупности всех потоков, пересекающих ойкумену. Государство действительно неотделимо — везде, где только возможно, — от процесса захвата всевозможных потоков, — потоков популяций, товаров или торговли, денег или капиталов и т.д. К тому же еще нужны фиксированные пути в хорошо заданных направлениях, которые ограничивают скорость, регулируют циркуляции, делают движение относительным, детально отмеряют относительные движения субъектов и объектов. Отсюда и важность тезиса Поля Вирилио, когда тот показывает, что «политическая власть Государства — это *полис*, полиция, то есть пути сообщения» и что «врата города, его въездные пошлины и таможи являются барьерами, фильтрами, направленными против текучести масс и проникновения мощи мигрирующих стай», людей, животных и товаров.⁵⁶ Тяжесть, *gravitas*, — вот сущность Государства. Дело не в том, что Государство игнорирует скорость; но оно нуждается в том, чтобы движение, даже самое быстрое, перестало быть абсолютным состоянием того, что движется и занимает гладкое пространство, дабы стать относительной характеристикой «того, что движимо», и идет от одной точки до другой в рифленом про-

⁵⁶ Virilio, Paul. *Vitesse et politique*. Ed. Galilée, pp. 21–22 et *passim*. Не только «город» немислим независимо от внешних потоков, с коими он контактирует и циркулирование которых он регулирует, но также и особые архитектурные ансамбли (например, крепость) суть подлинные преобразователи — благодаря своим внутренним пространствам, — допускающие анализ, пролонгацию или восстановление движения. Отсюда Вирилио делает вывод, что данная проблема — не столько проблема заточения, сколько проблема службы путей сообщения или контролируемого движения. В этом смысле Фуко уже дал анализ *военного и флотского госпиталя* как оператора и фильтра (см.: *Надзирать и наказывать*, с. 209–211).

странстве. В этом смысле Государство непрестанно разлагает, перекомпоновывает и трансформирует движение, или же регулирует скорость. Государство как инженер дорожной службы, преобразователь или дорожная развязка — важность роли инженера с этой точки зрения. Не бывает скорости или абсолютного движения без законов, но такие законы суть законы *nomos*'а, законы гладкого пространства, которые его разворачивают, и законы машин войны, кои населяют такое пространство. Если кочевники и сформировали машину войны, то произошло это благодаря изобретению абсолютной скорости, благодаря ее «синонимичности» скорости. И каждый раз, когда против Государства предпринимаются какие-либо действия — неподчинение, бунт, герилья* или революция, — то можно сказать, что воскресает машина войны, что появляется новый номадический потенциал, сопровождаемый восстановлением гладкого пространства или способа бытия в пространстве, как если бы оно было гладким (Вирилио напоминает о важности мятежной или революционной темы «удержания улицы»). Именно в этом смысле ответ Государства против всего того, что угрожает выйти за его пределы, состоит в рифлении пространства. Государство присваивает себе машину войны, лишь сообщая ей форму относительного движения — например, модель *крепости* как регулятора движения, каковая как раз и была препятствием для кочевников, камнем преткновения и ответным ударом, о который разбивалось абсолютное вихревое движение. Наоборот, когда Государство не преуспевает в рифлении своего внутреннего или соседнего пространства, пересекающие его потоки с необходимостью обретают темп машины войны, направленный против Государства и разворачиваемый во враждебном или мятежном гладком пространстве (даже если другие Государства могут незаметно ввести сюда свои рифления). В том и состояла авантюра Китая, который к концу XIV века, несмотря на свой край-

* Партизанская война в Испании. — Прим. пер.

не высокий уровень технологии в строительстве судов и навигации, отвернулся от собственного огромного морского пространства, наблюдая за тем, как его коммерческие потоки оборачиваются против него самого и сочетаются с пиратством, и в ответ мог реагировать только политикой неподвижности, массового ограничения торговли, лишь усиливавшей отношение между торговлей и машинной войны.⁵⁷

Ситуация куда более запутана, чем сказано. Море — это, возможно, принцип гладких пространств, гидравлическая модель по преимуществу. Но море, из всех гладких пространств, раньше всего пытались сделать рифленным, поставить в зависимость от земли с ее фиксированными дорогами, постоянными направлениями, относительными движениями, — тут вся контргидравлика каналов или труб в целом. Одна из причин гегемонии Запада состоит в способности его Государственных аппаратов рифлить море, сочетая технологии Севера и Средиземноморья и аннексируя Атлантику. Но такое предприятие приводит к самому неожиданному результату — размножение относительных движений, интенсификация относительных скоростей в рифленном пространстве доходят до того, что восстанавливают гладкое пространство или абсолютное движение. Как подчеркивает Вирилио, море будет местом *fleet in being*, где мы уже не движемся от точки к точке, а удерживаем все пространство, начиная с любой точки — вместо того, чтобы рифлить пространство, мы занимаем его благодаря вектору детерриторизации в вечном движении. Такая современная стратегия будет передаваться от моря до воздуха, как нового гладкого пространства, а также по всей Земле, рассматриваемой как пустыня или море. Будучи преобразователем и захватчиком, Государство не только делает движение относительным, но и заново создает

⁵⁷ О китайской и арабской навигации, о причинах ее провала и о важности этого вопроса в западно-восточных «досье» см.: Braudel, pp. 305–314; Chaunu, pp. 288–308.

абсолютное движение. Оно не только идет от гладкого к рифленому, оно восстанавливает гладкое пространство, возвращает гладкое в тот момент, когда заканчивается рифленое. Верно, что такой новый номадизм сопровождает мировую машину войны, чья организация выплескивается за рамки аппаратов Государства и переходит в энергетические, военно-промышленные и многонациональные комплексы. Напомним, что у гладкого пространства и у формы внешнего нет неодолимого революционного предназначения, напротив, они уникальным образом [singulièrement] меняют смысл, в зависимости от тех взаимодействий, в которых участвуют, и конкретных условий их осуществления или учреждения (например, способ, каким тотальная война и гражданская война, или даже герилья, заимствуют друг у друга методы)⁵⁸.

⁵⁸ Вирилио дает очень хорошее определение *fleet in being* и его исторических последствий: «*fleet in being* — это постоянное присутствие в море невидимого флота, способного поразить противника где угодно и когда угодно <...> такая новая идея насилия рождается уже не из прямого столкновения, а из неодинаковых свойств тел, из оценки количеств движений, какие им дозволены в выбранном элементе, из постоянной верификации их динамичной эффективности. <...> Речь более не идет о пересечении континента или океана от одного города до другого, от одного берега до другого, *fleet in being* изобретает понятие перемещения без направления в пространстве и во времени. <...> Стратегическая подводная лодка не нуждается в том, чтобы двигаться куда-то по назначению, она, контролируя море, довольствуется тем, что остается невидимой <...>, [довольствуется] осуществлением абсолютного, непрерывного, циклического вояжа, ибо не предполагает ни отправления, ни прибытия. <...> Если, как утверждал Ленин, стратегия — это выбор точек приложения сил, то мы должны допустить, что эти точки, сегодня, уже не являются геостратегическими опорными точками, ибо, начиная с какого-то пункта, отныне мы можем достичь любого другого, где бы он ни был. <...> Географическая локализация, по-видимому, окончательно утратила свою стратегическую ценность, и, наоборот, та же самая ценность приписывается *делокализации вектора*, вектору в постоянном движении». (*Vitesse et politique*, pp. 46–49, 132–133). Тексты Вирилио являются чрезвычайно важными и оригинальными во всех этих отношениях. Единственный пункт, представляющий для нас некую трудность, — это то, как Вирилио ассимилирует три группы скоростей, которые кажутся нам крайне различными: 1) скорость номадической или, лучше, революционной тенденции (бунт, герилья); 2) скорость, которая регулируется, конвертируется, приспособляется Аппаратом Государства («служба путей сообщения»); 3) скорость, восстанавливаемая мировой организацией тотальной войны или планетарным перевооружением (*fleet in being* в ядерной стратегии). Вирилио стремится к тому, чтобы уравнивать эти группы вследствие их взаимодействий, и разоблачает в целом «фашистский» характер скорости. Однако именно его собственные анализы делают возможными такие различия.

Теорема VI. Номадическое существование с необходимостью предполагает числовые элементы машины войны.

Десятки, сотни, тысячи, миллиарды — все армии удерживают эти десятичные группировки до такой степени, что каждый раз, когда мы их встречаем, то можем предположить военную организацию. Не тот ли это способ, каким армия детерриторизует своих солдат? Армия компонуется из подразделений, рот и дивизий. Числа могут менять функцию и сочетание, входить в абсолютно разные стратегии, но всегда есть связь между Числом и машиной войны. Это вопрос не количества, а организации или композиции. Когда Государство создает армии, оно всегда использует подобный принцип цифровой организации; но все, что оно делает, так это возобновляет данный принцип в то самое время, когда присваивает себе машину войны. Ибо столь любопытная идея — цифровая организация людей — изначально принадлежит кочевникам. Именно гиксосы, номадические завоеватели, приносят его в Египет; и когда Моисей применяет его к своему народу во время исхода, то именно по совету своего номадического тестя, Иофора Кенейнина, и так, чтобы конституировать машину войны, элементы которой описываются в *Книге Чисел. Nomos*, прежде всего, является числовым и арифметическим. Когда мы противопоставляем греческому геометризму индо-арабский арифметизм, то становится ясно, что последний предполагает номос, противостоящий логосу — и не потому, что кочевники «создали» арифметику или алгебру, а потому, что арифметика и алгебра появляются в мире, находящемся под сильным номадическим влиянием.

До сих пор нам известны три больших типа организации людей — *наследственный, территориальный и числовой*. Именно наследственная организация позволяет нам определить так называемые первобытные общества. Клановое родство — это, по существу, сегменты в действии, которые плавятся или делятся, варьируются согласно рассматриваемому предку, в соответствии с задачами и обстоятельства-

ми. И конечно, число играет большую роль в определении родства или в создании нового родства. Земля тоже играет большую роль, ибо племенная сегментарность дублирует родовую. Но земля — это, прежде всего, материя, на которой записывается динамика родства, а число — средство записи: именно родство пишет на земле и с помощью числа, конституируя что-то вроде «геодезии». Все меняется благодаря обществам в Государстве — часто говорят, что территориальный принцип становится господствующим. Мы могли бы то же сказать о детерриторизации, поскольку земля становится объектом, вместо того чтобы быть активной материальной стихией, комбинирующейся с родством. Собственность — это как раз детерриторизованное отношение человека с землей: либо собственность конституирует благо Государства, налагаемое общностью родства на существующее владение, либо она сама стала благом частных лиц, конституирующих новую общность. В обоих случаях (и следуя обоим полюсам Государства) есть что-то вроде сверхкодирования земли, заменяющего геодезию. Конечно, родство сохраняет большую значимость, а числа развивают собственную значимость. Но что выходит в первый план, так это «территориальная» организация, в том смысле, что все сегменты — будь то родства, земли или числа — берутся *в астрономическом пространстве или в геометрическом протяжении*, которые сверхкодируют их. Разумеется, сверхкодируют не тем же самым способом, что в архаичном имперском Государстве и в современных Государствах. Дело в том, что архаичное Государство сворачивает *spatium* в высшей точке [sommet], а дифференцированное пространство — в глубине и на неких уровнях, тогда как современные Государства (начиная с греческого города) развивают однородное *extensio* в имманентном центре, в делимых гомологичных частях, в симметричных и обратимых отношениях. Эти две модели, астрономическая и геометрическая, не только тесно перемешиваются; но даже, когда они предположительно чисты, каждая из них предполагает субординацию родства и чисел в таком метриче-

ском могуществе — как оно появляется либо в *имперском spatium*, либо в *политическом extensio*.⁵⁹ Арифметика, число всегда играли решающую роль в Государственном аппарате — уже в имперской бюрократии, с тремя сопряженными операциями инвентаризации, ценза и выборов. Это еще более справедливо для современных форм Государства, которые, развиваясь, использовали все расчеты, какие появлялись на границе между математикой и социальной технологией (существует целая социальная калькуляция на основе политэкономии, демографии, организации работы и т.д.). Этот арифметический государственный элемент обнаружил свою специфическую мощь в обработке любых видов материи — первичная материя (сырье), вторичная материя обработанных объектов или последняя материя, конституированная человеческим населением. Но, таким образом, число всегда служило тому, чтобы овладеть материей, чтобы контролировать ее вариации и движения, то есть подчинить их пространственно-временной рамке Государства, — либо имперский *spatium*, либо современное *extensio*.⁶⁰ Государство обладает территориальным принципом или принципом детерриторизации, которые связывают число с метрическими величинами (учитывая все более и более сложные метрики, осуществляющие сверхкодирование). Мы не считаем, что

⁵⁹ Прежде всего, именно Ж.-П. Вернан проанализировал связь между греческим городом и однородной геометрической протяженностью (*Mythe et pensée chez les Grecs*, I, IIIe partie). Проблема по необходимости становится более сложной в отношении архаичных империй или в отношении формаций, следующих за классическим городом. Дело в том, что их пространство совершенно иное. Но, как уверяет Вернан относительно идеального города Платона, это все еще тот случай, когда число подчиняется пространству. Пифагорейские или неоплатонические концепции числа охватывают имперские астрономические пространства иного типа, нежели однородная протяженность, но они удерживают подчиненность числа — вот почему Числа становятся идеальными, но, строго говоря, не «исчисляемыми».

⁶⁰ Дюмезиль настаивает на роли арифметического элемента в самых ранних формах политического суверенитета. Он даже намерен сделать из него третий полюс суверенитета; см.: *Servius et la Fortune*, Gallimard, et *Le troisieme souverain*, Maisonneuve. И все-таки роль этого арифметического элемента состоит, скорее, в том, чтобы организовывать материю и, действуя так, подчинять материю одному или другому из обоих главных полюсов.

Число может найти в Государстве условия собственной независимости или самостоятельности, даже если оно находит здесь все факторы своего развития.

Исчисляющее Число, то есть автономная арифметическая организация, не предполагает ни высшей степени абстракции, ни самых больших количеств. Он отсылает только к условиям возможности, каковым является номадизм, и к условиям исполнения, каковым является машина войны. Именно в государственных армиях ставится проблема обработки больших количеств в отношении других материй, но машина войны оперирует малыми количествами, кои она исследует, используя исчисляющие числа. Действительно, эти числа появляются, как только мы распределяем нечто в пространстве, вместо того чтобы делить пространство или распределять само пространство. Число становится субъектом. Независимость числа в отношении пространства является не результатом абстракции, а результатом конкретной природы гладкого пространства, которое оккупируется, не становясь при этом исчислимым. Число является уже не средством счета или измерения, а средством перемещения — именно само число перемещается в гладком пространстве. Несомненно, у гладкого пространства есть своя геометрия; но это, как мы увидели, малая оперативная геометрия, геометрия черты. А именно, число тем более независимо от пространства, чем более пространство независимо от метрики. Геометрия — такая, как в королевской науке — имеет мало значения в машине войны (она имеет значение только в Государственных армиях и для оседлых укреплений, но она же ведет генералов к суровым поражениям)⁶¹. Число становится принципом каждый раз, когда оно занимает гладкое пространство и разворачивается в нем как субъект, вместо того чтобы измерять рифленое пространство. Число — это подвижный оккупант, нечто подвижное в гладком пространстве в про-

⁶¹ Клаузевиц подчеркивает вторичную роль геометрии в тактике и стратегии: *De la guerre*, Ed. de Minuit, pp. 225–226 («L'élément géométrique»).

тивоположность геометрии неподвижного в рифленном пространстве. Номадическая числовая единица — это блуждающий огонь, а не палатка, все еще слишком неподвижная: «Огонь главенствует над юртой». Исчисляющее число более не подчиняется метрическим определениям или геометрическим измерениям, оно обладает только динамическим отношением с географическими направлениями — это направленное число, а не размерностное или метрическое. Номадическая организация является неразложимо арифметической и направленной; повсюду количества, десятки и сотни, и повсюду направления, правое и левое: числовой управитель — это также управитель правого или левого.⁶² Исчисляющее число является ритмичным, а не гармоничным. Оно не связано с темпом или мерой: оно существует в Государственных армиях только ради дисциплины и парада, когда мы идем в ногу, маршируем в темпе; но автономная числовая организация находит свой смысл в другом месте каждый раз, когда нужно установить *порядок перемещения* по степи, в пустыне — там, где родство лесных обитателей и фигуры Государства утрачивают свою уместность. «Он припустил беспорядочным шагом, шум от которого воспроизводил естественные шумы пустыни. Ничто в его передвижении не поведает червю, что здесь движется человек. Так глубоко был заложен в Лито подобный способ ходьбы, что ему не надо было и следить за собой. Ноги шли сами по себе, не допуская никакой размеренности и ритмичности».⁶³ С машиной войны и в кочевом существовании число перестает быть числом, а становится Шифром, и именно в этом звании оно конституирует «телесный дух» и изобретает тайну с ее последствиями (стратегией, шпионажем, хитростью, засадой, дипломатией и т.д.).

⁶² См. один из наиболее глубоких античных текстов, которые связывают число и направление с машиной войны, *Les mémoires historiques de Se-ma-Ts'ien*, Ed. Leroux, ch. CX (о номадической организации Хионг-ну [Hiong-nou]).

⁶³ Фрэнк Герберт, *Дети дюны*. Мы можем сослаться на характеристики, предложенные Юлией Кристевой для определения исчисляющего числа — «диспозиция», «множественное и контингентное распределение», «бесконечность-точка», «строгая аппроксимация» и т.д. (*Semeiotiké*, pp. 293–297).

Исчисляющее, подвижное, автономное, направленное, ритмическое, шифрованное число — машина войны как необходимое следствие номадической организации (Моисей извлекает из этого опыт со всем, что из него вытекает). Некоторые сегодня слишком поспешно критикуют такую цифровую организацию, разоблачая ее военное или даже концентрационное общество, где люди являются только лишь детерриторизованными «числами». Но это ложь. Ужас ради ужаса, цифровая организация людей конечно же *не более жестока*, чем организация родства или Государства. Рассматривать людей наподобие чисел по необходимости не хуже, чем считать их деревьями, которые мы подрезаем, или геометрическими фигурами, которые мы вырезаем и моделируем. Более того, использование числа как цифры, как статистического элемента принадлежит исчисляемому числу Государства, а не исчисляющему числу. И мир концентрационного лагеря действует как через родство и территории, так и через нумерацию. Такой вопрос — это не вопрос о хорошем и дурном, а о специфике. Специфика числовой организации исходит из номадического способа существования и функции-машины войны. Исчисляющее число противостоит, одновременно, и наследственным кодам, и сверхкодированию Государства. Арифметическая композиция, с одной стороны, отбирает, извлекает из родства элементы, которые войдут в номадизм и машину войны; с другой стороны, она направляет их против аппарата Государства, противопоставляя машину и существование Государственным аппаратам, расчерчивая детерриторизацию, каковая пересекает, одновременно, наследственные территориальности и территории или детерриториальность Государства.

Первая характеристика исчисляющего — номадического или военного — числа состоит в том, что оно всегда комплексное, то есть артикулированное. Каждый раз комплекс чисел. Именно по этой причине оно никоим образом не предполагает больших однородных количеств — таких, как государственные числа или исчисляемое число, — но, ско-

рее, производит свой результат-эффект безграничности благодаря собственной тонкой артикулированности, то есть благодаря своему распределению разнородностей в свободном пространстве. Даже государственные армии, когда имеют дело с большими числами, не отказываются от этого принципа (несмотря на господство десятичного «основания»). Римский легион — это число, артикулируемое числами так, что сегменты становятся подвижными, а геометрические фигуры — неустойчивыми, трансформируемыми. И сложное или артикулированное число составляет не только людей, но и по необходимости оружие, зверей и транспортные средства. Базовая арифметическая единица — это, таким образом, единица сборки: например, человек—лошадь—седло, 111 , согласно формуле, которая обеспечила триумф скифов; и эта формула усложняется в той степени, в какой определенное «вооружение» собирает или артикулирует несколько людей и зверей, как в случае колесницы с двумя лошадьми и двумя людьми — один, чтобы править, а другой, чтобы метать, $212=1$; или в случае знаменитого двуручного щита гоппитской* реформы, который спаивает вместе человеческие цепи. Какой бы малой ни была «единица», она артикулирована. Исчисляющее число всегда покоится на нескольких основаниях сразу. Также необходимо принять в расчет и внешние арифметические отношения, все еще содержащиеся в числе, кои выражают пропорцию между членами родства или племени, роль резервов и запасов, обеспечение людей, вещей и зверей. *Логистика* — это искусство таких внешних отношений, которые принадлежат машине войны не меньше, чем внутренние отношения *стратегии*, то есть композиции сражающихся единств в отношении друг друга. Обе вместе они конституируют науку артикуляции военных чисел. Любая сборка включает такой стратегический аспект и такой логистический аспект.

Но исчисляющее число имеет вторую, более тайную характеристику. Повсюду машина войны представляет

* Гоплит — древнегреческий тяжеловооружённый пеший воин. — Прим. пер.

любопытный процесс арифметической репликации или удвоения, как если бы она действовала вдоль двух неравных и несимметричных серий. *С одной стороны*, действительно, кланы или племена численно организованы и перегруппированы; числовая композиция накладывается на родство, чтобы обеспечить преобладание нового принципа. Но, *с другой стороны*, люди, одновременно, извлекаются из каждого родства, чтобы сформировать особое числовое тело. Как если бы новая числовая композиция тела—родства не могла преуспеть без устанавливания присутствующего ей исчисляемого тела. Мы полагаем, что это не случайный феномен, а существенная компонента машины войны, некая необходимая операция, которая обуславливает автономию числа — нужно, чтобы число тел имело, в качестве своего коррелята, тело числа; нужно, чтобы число раздвоилось согласно двум дополнительным операциям. Ибо социальное тело преобразуется в числовую форму только тогда, когда число формирует особое тело. Когда Чингисхан создает свою великую композицию степи, он численно организует родство и бойцов в каждом роду, наделяя их цифрами и предводителями (десятки и десятники, сотни и сотники, тысячи и тысячники). А также он извлекает из каждого арифметизированного родства малое число людей, предназначенных составить его личную охрану, то есть динамичную формацию штаб-квартиры, комиссаров, посланцев и дипломатов («antrustions»⁶⁴). Одного не бывает без другого — удвоенная детерриторизация, в коей второе обладает бóльшим могуществом. Когда Моисей создает свою великую композицию пустыни, — где он с необходимостью подвергается номадическому влиянию больше, чем влиянию Яхве, — он производит перепись и

⁶⁴ Владимирцов Б.Я. *Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм*. Л.: АН СССР, 1934. Термин, которым пользуется Б.Я.Владимирцов, «antrustions», заимствован из саксонского уклада, где король составляет свою *компанию*, или «трест», из франков [...Во Франкском королевстве короля окружали антрустионы (antrustions) — (слово trust из языка салических франков комментаторы переводят как «помощь, поддержка» (adjutorium)» (Контамин Ф. *Война в Средние века*. СПб.: Ювента, 2001, с. 31). — *Прим. пер.*].

численно организует каждое племя; но он также предписывает закон, согласно которому перворожденные в каждом племени, на данный момент, принадлежат по праву Яхве; и так как эти перворожденные явно еще слишком малы, то их роль в Числе будет переносится на особое племя, племя Левитов, которое производит тело Числа или специальную охрану ковчега; и поскольку Левиты не так многочисленны, как новые перворожденные во всех племенах в целом, то такие избыточные перворожденные должны будут выкупаться племенами под видом выплаченного налога (то, что возвращает нас к фундаментальному аспекту логистики). Машина войны не могла бы функционировать без такой двойной серии — нужно, одновременно, чтобы цифровая композиция сменила наследственную организацию, а также, чтобы она предотвратила территориальную организацию Государства. Власть в машине войны определяется как раз согласно этой двойной серии — власть больше не зависит от сегментов и центров, от вероятного резонанса центров и сверхкодирования сегментов, но она зависит от таких внутренних отношений к Числу, независимых от количества. Отсюда вытекает также напряжение или борьба за власть — между племенами и Левитами Моисея, между «нойонами» и «antrustions» Чингисхана. Это не просто протест со стороны родства, желающего вновь обрести свою прежнюю автономию, это и не прообраз борьбы за контроль над аппаратом Государства — это напряжение, присущее машине войны, ее особой власти и специфическим ограничениям, налагаемым на власть «предводителя».

Таким образом, числовая композиция, или исчисляющее число, подразумевает несколько операций — арифметизацию первоначальных совокупностей (родство); объединение извлеченных подмножеств (учреждение десятков, сотен и т.д.); формирование благодаря замене иной совокупности в соответствии с объединенной совокупностью (особое тело). Итак, именно эта последняя операция подразумевает наибольшее разнообразие и оригинальность номадического существования. Ту же самую проблему мы

обнаруживаем в государственных армиях, когда машина войны присваивается Государством. Действительно, если арифметизация общества имеет в качестве своего коррелята формирование отчетливого особого тела, которое само является арифметическим, то мы можем скомпоновать это особое тело несколькими способами: 1) с помощью привилегированных родства или племени, доминирование коих обретает потом новый смысл (случай Моисея с Левитами); 2) с помощью представителей каждого рода, которые затем служат также и как заложники (первороденные — это был бы, скорее, азиатский случай или случай Чингисхана); 3) с помощью одного совершенно иного элемента, внешнего по отношению к базовому обществу — рабы, иностранцы или люди иной религии (таков был бы уже случай саксонского режима, где король komponует свое особое тело, используя рабов франков; но главным образом тут мы имеем случай ислама, инспирирующий особую социологическую категорию «военного рабства» — мамлюки Египта, рабы, ведущие свое происхождение из степей или с Кавказа, купленные в очень молодом возрасте султаном; или же оттоманские янычары, ведущие свое происхождение из христианских сообществ).⁶⁵

Не присутствуем ли мы здесь при рождении важной темы — «кочевники, как похитители [enleveurs] детей»? Мы замечаем, особенно в последнем случае, как особое тело устанавливается в качестве решающего элемента власти в машине войны. Дело в том, что машина войны и номадическое существование нуждаются в предотвращении одновременно двух вещей — возвращения наследственной аристократии, а также формирования имперских чиновников. Что все запутывает, так это то, что само Государство часто вынуждено использовать рабов в качестве высших чинов-

⁶⁵ Особенно интересен случай специализированного тела кузнецов у туарегов, именуемого *Enaden* («Другие»); такие *Enaden* по своему происхождению были, как полагают, из суданских рабов или еврейских колонистов Сахары или же из потомков рыцарей святого Людовика. См.: Pottier, René. *Les artisans sahariens du métal chez les Touareg // Métaux et civilisations*, 1945–1946.

ников — как мы увидим, причины для этого весьма разнообразны, и хотя оба потока сходятся в армиях, они проистекают из двух разных источников. Ибо власть рабов, иностранцев, пленных в машине войны номадического происхождения крайне отличается от власти наследственных аристократий, а также от власти государственных чиновников и бюрократов. Это — «комиссары», эмиссары, дипломаты, шпионы, стратеги и специалисты по логистике, иногда кузнецы. Их нельзя объяснить как какой-то «каприз султана». Напротив, как раз возможный каприз военачальника объясняется объективным существованием и необходимостью такого особого числового тела, такого Шифра, который обладает ценностью только в отношении *nomos*'а. Одновременно существуют детерриторизация и становление, принадлежащие машине войны как таковой: особое тело, а именно раб-неверующий-иностранец, — это тело, которое *становится* солдатом и верующим, оставаясь детерриторизованным по отношению к родству и Государству. Нужно родиться неверующим, чтобы стать верующим, нужно родиться рабом, чтобы стать солдатом. Тут необходимы особые школы или институты: особое тело — это изобретение, присущее именно машине войны, которое Государство всегда использует, приспособливает к своим целям, так что оно становится неузнаваемым, или возвращает его к бюрократической форме штаб-квартиры или к технократической форме крайне особых тел, или к «духу тела», который как служит, так и сопротивляется Государству, или к комиссарам, которые удваивают Государство, так же как и служат ему.

Верно, что у кочевников нет истории, у них есть только география. И поражение кочевников было настолько полным, что история стала историей благодаря триумфу Государств. Итак, мы присутствуем при обобщенной критике, изгоняющей кочевников как неспособных к какому-либо нововведению, будь то технологическому или металлургическому, политическому или метафизическому. Историки — буржуазные или советские (Груссе [Grousset] или Влади-

мирцов) — рассматривают кочевников как убогих людей, которые ничего не понимают: ни в технике, к коей они остаются безразличными, ни в сельском хозяйстве, ни в городах и Государствах, кои они разрушают или завоевывают. Между тем трудно понять, как могли бы кочевники торжествовать в войне, если у них не было мощной металлургии — идея, что кочевник обретает свое техническое вооружение и свои политических советников от перебежчиков из имперского Государства, все-таки неправдоподобна. Трудно понять, как кочевники могли бы пытаться разрушать города и Государства, если не от имени номадической организации и машины войны, которые определяются не невежеством, а своими позитивными характеристиками, своим специфическим пространством, своей собственной композицией, порывающей с родством и предотвращающей форму-Государство. История не перестает изгонять кочевников. Предпринимались попытки применить к машине войны собственно милитаристскую категорию (категорию «военной демократии»), а к номадизму собственно оседлую категорию (категорию «феодализма»). Но обе эти гипотезы предполагают территориальный принцип — либо что имперское Государство присваивает себе машину войны, распределяя земли между воинами (клерои [*cleroi*])* и ненастоящие вотчины), либо что собственность, ставшая частной, сама закладывает отношения зависимости между собственниками, конституирующими армию (подлинные вотчины и вассальная зависимость).⁶⁶

* Множественное число от «клерос» [*kleros*] — часть земли, доставшаяся по жребью (*др.-гр.*). — *Прим. пер.*

⁶⁶ Феодализм — в меньшей мере военная система, чем так называемая военная демократия; но обе системы действительно предполагают армию, интегрированную в какой-либо аппарат Государства (для феодализма это была каролингская земельная реформа). Именно Владимирцов развивает феодальную интерпретацию кочевников степи, тогда как М.П. Грязнов (*Sibérie du Sud*, Nagel) склоняется к военной демократии. Но один из главных аргументов Владимирцова состоит в том, что организация кочевников становится феодальной в той мере, в какой она разлагается или интегрируется в империи, которые она завоевывает. И он сам отмечает, что монголы в начале вовсе не организуют захватываемые ими оседлые земли в феоды, будь то истинные или ложные.

В обоих случаях число подчинено «неподвижной» фискальной, то есть налоговой, организации, дабы установить, какие земли могут быть уступлены, а какие уже уступлены, а также, чтобы фиксировать выплаты с помощью самих бенефициариев. Несомненно, что номадическая организация и машина войны перекраивают эти проблемы, как на уровне земли, так и на уровне налоговой системы, где воины-кочевники — что бы кто ни говорил — были большими новаторами. Но именно они изобретают «подвижные» территориальность и налоговую систему, кои свидетельствуют о самостоятельности числового принципа — здесь может быть смешение или комбинация между системами, но спецификой номадической системы остается подчинение земли числам, которые перемещаются и развертываются, и подчинение налога внутренним отношениям в этих числах (например, уже у Моисея налог вменяется в отношение между числовыми телами и особым телом числа). Короче, военная демократия и феодализм вместо того, чтобы объяснять номадическую числовую композицию, свидетельствуют скорее о том, что может от нее остаться в оседлых режимах.

Теорема VII. Кочевое существование обладает в качестве «аффектов» вооружением машины войны.

Мы всегда можем провести различие между оружием и инструментами на основании их употребления (губить людей или производить товары). Но хотя такое внешнее различие объясняет определенную вторичную адаптацию технического объекта, оно не мешает общей взаимобратимости между обеими группами до такой степени, что кажется крайне трудным предложить внутреннее различие между оружием и инструментами. Способы нанесения удара, как их определил Леруа-Гуран, обнаруживаются на обеих сторонах. «Вероятно, в течение нескольких веков сельскохозяйственные инструменты и военное оружие

оставались тождественными». ⁶⁷ Мы могли бы говорить об «экосистеме», имеющей место с самого начала, когда рабочие инструменты и оружие войны обменивались своими определениями — кажется, что один и тот же *машинный филум* пересекает и то, и другое. Но, однако, у нас возникает ощущение, что существует много крупных интериорных различий, даже если они не являются внутренне присущими, то есть логическими или концептуальными и даже если они остаются не совсем точными. В первом приближении оружие имеет привилегированное отношение к прогнозированию. Все, что вбрасывается или запускается — это, прежде всего, оружие, а двигатель — его существенный момент. Оружие является баллистическим; само понятие «проблемы» относится к машине войны. Чем больше инструмент содержит механизмов выброса, тем больше он сам действует как оружие, потенциальное или просто метафорическое. Вдобавок инструменты не перестают компенсировать метательные механизмы, какими они обладают, или приспособлять их к другим целям. Верно, что метательное оружие, в строгом смысле, — будь то выбрасываемое или выбрасывающее, — является лишь одним видом среди других; но даже личное оружие требует иного употребления руки и кисти, нежели инструменты, — метательного употребления, о чем свидетельствуют военные искусства. Инструмент, напротив, куда более интроцептивен [*introceptif*], интроективен [*introjectif*] — он подготавливает материю на расстоянии, дабы привести ее в состояние равновесия или приспособить к форме внутреннего. Действие на расстоянии существует в обоих случаях, но в одном случае оно является центробежным, а в другом — центростремительным. Мы также могли бы сказать, что инструмент неожиданно сталкивается с сопротивлениями, которые надо преодолевать или использовать, тогда как оружие имеет дело с контратаками, коих следует избегать или кои следует изобретать

⁶⁷ Fuller J.F. L'influence de l'armement sur l'histoire, Payot, p. 23.

(контратака — это фактически изобретательный и стремительный фактор в машине войны, если только он не сводится лишь к количественному соперничеству или к оборонительному параду).

Во-вторых, оружие и инструменты не обладают «по своей тенденции» (приблизительно) одним и тем же отношением к движению, к скорости. Еще один существенный вклад Поля Вирилио состоит в подчеркивании такой взаимодополнительности оружия и скорости — оружие изобретает скорость, или открытие скорости изобретает оружие (отсюда метательный характер оружия). Машина войны освобождает вектор скорости, столь ей присущий, что ему требуется особое имя, которое является не только мощью разрушения, но и «демократией» (= *nomos*). Среди других преимуществ эта идея заявляет новый способ различия между охотой и войной. Ибо Вирилио уверен не только в том, что война не выводится из охоты, но также и в том, что охота сама не способствует вооружению, — либо война развивается в сфере неразличимости и взаимообратимости между оружием и инструментом, либо она использует ради собственной выгоды уже организованное, уже известное оружие. Как говорит Вирилио, война появляется никоим образом не тогда, когда человек применяет к человеку отношение *охотника* к животному, но, напротив, она появляется тогда, когда он захватывает силу *загнанного* животного и входит в совершенно иное отношение — отношение войны — с человеком (враг, но уже не добыча). Таким образом, неудивительно, что машина войны была изобретением кочевых животных — разведение и дрессировка животного не смешиваются ни с первобытной охотой, ни с оседлым одомашниванием, но являются фактически открытием системы метания и снаряда. Вместо того чтобы отвечать насилием на каждое нападение или полагать насилие «раз и навсегда», располагать машину войны совместно с разведением и дрессурой, лучше установить полную экономию насилия, то есть способ сделать насилие длительным и даже беспредельным. «Кровопролитие, немедленное

убийство противоположны неограниченному использованию насилия, то есть его экономии. <...> *Экономия насилия — это не экономия охотника в животноводстве, но экономия загнанного животного.* В верховой скачке мы сохраняем кинетическую энергию, скорость лошади, а не ее протеины (двигатель, а не плоть). <...> В то время как на охоте охотник стремился остановить движение дикой животности посредством систематического убийства, животновод [собирается] его сохранить, и, благодаря дрессировке, наездник объединяется с этим движением, ориентируя его и провоцируя свое ускорение». Технологический двигатель разовьет эту тенденцию, но «верховая скачка — это первый огнемёт воина, его первая система вооружения».⁶⁸ Отсюда становление-животным в машине войны. Значит ли это, что машина войны не существует до верховой езды и кавалерии? Это не вопрос. Вопрос в том, что машина войны предполагает высвобождение Скоростного вектора, ставшего свободной или независимой переменной, высвобождение того, что не происходит на охоте, где скорость отсылает, прежде всего, к загнанному животному. Возможно, что этот вектор бега был освобожден в пехоте без обращения к верховой езде; более того, возможно, что существовала верховая скачка, но лишь как способ транспортировки или даже перевозки, не имеющей никакого дела со свободным вектором. Однако, в любом случае, воин заимствует у животного скорее идею двигателя, чем модель добычи. Он не обобщает идею добычи, применяя ее к врагу, он абстрагирует идею двигателя, применяя ее к себе самому.

⁶⁸ Virilio, *Métempsychose du passager // Traverses* n° 8. И все-таки Вирилио утверждает, что существовал не прямой переход от охоты к войне — когда женщина служит в качестве «вьючного» животного, то это уже позволяет охотникам вступить в отношение «гомосексуальной дуэли», превосходящей охоту. Но, кажется, что сам Вирилио побуждает нас к тому, чтобы провести различие между *скоростью*, как метателем и метаемым, и *перемещением*, как транспортировкой и переносом. Машина войны определяется с первой точки зрения, тогда как вторая отсылает в общей сфере. Лошадь, например, не принадлежит машине войны, если она служит лишь для транспортировки людей, которые, чтобы биться, спешиваются и слезают на землю. Машина войны определяется действием, а вовсе не транспортировкой, даже если транспортировка реагирует на действие.

Тут же возникают два возражения. Согласно первому, машина войны имеет столько же веса и тяжести, сколько и скорости (разница между тяжелым и легким, асимметрия между защитой и атакой, оппозиция между отдыхом и напряжением). Но легко было бы показать, как феномен «выжидания» или даже неподвижности и кататонии, столь важные в войнах, отсылают в некоторых случаях к компоненте чистой скорости. И, в других случаях, они отсылают к условиям, под которыми аппараты Государства присваивают себе машину войны именно благодаря обустриванию рифленого пространства, где враждебные силы могут прийти к равновесию. Может случиться, что скорость абстрагируется как свойство снаряда, пули или артиллерийского ядра, осуждающего на неподвижность само оружие и солдат (например, неподвижность в войне 1914 года). Но равновесие сил — вот феномен сопротивления, тогда как контратака предполагает стремительность или переключение скорости, разрушающих равновесие: именно танк перегруппировывает все действия в векторе-скорости и возвращает гладкое пространство ради движения, удаляя людей и вооружение.⁶⁹

Другое возражение сложнее — дело в том, что скорость, по-видимому, является как частью инструмента, так и оружия, и никоим образом не специфична для машины войны. История двигателя — не только милитаристична. Но, возможно, у нас слишком сильна тенденция мыслить в терминах количеств движения, вместо того чтобы искать качественные модели. Две идеальные модели двигателя — это

⁶⁹ Дж.Ф. Фуллер (*L'influence de l'armement sur l'histoire*, pp. 155 sq.) показал, что война 1914 года изначально задумывалась как война наступательная и война движения, основанного на артиллерии. Но артиллерия обернулась против самой себя и навязала неподвижность. Невозможно было восстановить мобильность войны с помощью все большего наращивания огневой мощи, ибо воронки от снарядов сделали землю совершенно непроходимой. Решением, в которое англичане (а именно генерал Фуллер) внесли решающий вклад, стал танк — «наземный корабль»: танк восстанавливал на земле некий тип морского или гладкого пространства и «вводил морскую тактику в наземную войну». Как правило, ответный удар никогда не бывает таким же, что и нападение — именно танк дает отпор артиллерии, именно вертолет с баллистическими ракетами дает отпор танку и т.д. Отсюда фактор инноваций в машине войны, весьма отличающийся от инноваций в машине труда.

модели работы и *свободного действия*. Труд, или работа, — вот движущая причина, которая сталкивается с сопротивлением, действует на внешнее, расходуется или растрачивается в своем результате-эффекте, и должна возобновляться от одного момента к следующему. Свободное действие — это тоже движущая причина, но такая, у которой нет сопротивления, кое нужно преодолевать, она действует только на само подвижное тело, не расходуется в своем результате-эффекте и продолжается между двумя моментами. Какова бы ни была ее мера или степень, скорость является относительной в первом случае и абсолютной во втором (идея *perpetuum mobile**). Что принимается в расчет в работе, так это точка приложения результирующей силы, действующей со стороны веса тела, рассматриваемого как «некое» [*un*] (тяжесть), и относительное перемещение данной точки приложения. Что принимается в расчет в свободном действии, так это способ, каким элементы тела избегают гравитации, дабы полностью оккупировать лишенное точек пространство. Оружие и управление им, по-видимому, относятся к модели свободного действия, тогда как инструменты — к модели труда, или работы. Линейное перемещение — от одной точки до другой — конституирует относительное движение инструмента, но именно вихревая оккупация пространства является абсолютным движением оружия. Как если бы оружие было неустойчивым, самонеустойчивым, тогда как инструмент движется. Такая связь инструмента с работой остается неочевидной до тех пор, пока работа не получит двигательного, или реального, определения, какое мы только что ей дали. Инструмент как раз-таки и не определяет работу, все наоборот. Инструмент предполагает работу. Тем не менее оружие также — по всей видимости — подразумевает возобновление причины, растрачивание или даже исчезновение в своем результате-эффекте, столкновение с внешними сопротивлениями, перемещение силы и т.д. Было бы напрасно наделять оружие магической

* Вечный двигатель (лат.). — Прим. пер.

властью в противоположность принуждению инструментов — оружие и инструменты подчиняются тем же законам, какие в точности определяют их общую сферу. Но принцип любой технологии состоит в показе того, что технический элемент остается абстрактным, абсолютно неопределенным до тех пор, пока мы не соотнесем его со *сборкой*, которую он предполагает. Именно машина является первичной по отношению к техническому элементу — не техническая машина, которая сама является совокупностью элементов, а социальная или коллективная машина, машинная сборка, задающая то, чем является технический элемент в данный момент, каково его использование, распространение, понимание и т.д.

Именно посредством сборок *филум* отбирает, качественно определяет и даже изобретает технические элементы. Так что мы не можем говорить об оружии или об инструментах, прежде чем определим конститuentы сборок, которые те предполагают и в которые они входят. Именно это мы имели в виду, когда говорили, что оружие и инструменты не только отличаются внешним образом друг от друга, но у них нет и отличительных, присущих только каждому из них характеристик. Они обладают внутренними (а не присущими каждому) характеристиками, отсылающими к соответствующим сборкам, с которыми они связываются. То, что осуществляет модель свободного действия, — это не оружие в себе и в своем физическом аспекте, это сборка «машина войны» как формальная причина вооружения. И с другой стороны, то, что осуществляет модель работы, — это не инструменты, а сборка «машина труда» как формальная причина инструментов. Когда мы говорим, что оружие неотделимо от вектора-скорости, тогда как инструмент остается связанным с условиями гравитации, то мы хотим указать лишь на разницу между двумя типами сборки: разницу, которая удерживается, даже если сборка, присущая инструменту, является абстрактно «более быстрой», а оружие — абстрактно «более тяжелым». Инструмент, главным образом, связан с генезисом, с перемещением и с расходом силы, которая

обнаруживает собственные законы в работе, тогда как оружие касается только испытания или демонстрации силы в пространстве и во времени согласно свободному действию. Оружие не падает с неба и явно предполагает производство, перемещение, расход и сопротивление. Но этот аспект отсылает к общей сфере оружия и инструмента и пока не касается специфики оружия, каковая проявляется лишь тогда, когда сила рассматривается сама по себе, когда она более не связана ни с чем, кроме числа, движения, пространства и времени, или *когда скорость добавляется к перемещению*.⁷⁰ Конкретно, вооружение как таковое отсылает не к модели Труда, или Работы, а к модели свободного Действия, — при предположении, что условия работы выполняются где-то еще. Короче, с точки зрения силы инструмент связан с системой тяжесть—перемещение, вес—высота. А оружие — с *подвижной системой скорость—perpetuum mobile* (именно в этом смысле можно сказать, что скорость сама по себе является «системой вооружения»).

То, что машинная и коллективная сборки — в самом широком смысле — первенствуют над техническим элементом, имеет место повсюду как для инструментов, так и для оружия. Оружие и инструменты суть следствия и только лишь следствия. Часто отмечалось, что оружие — ничто вне организации битвы, с коей оно связывается. Например, «гоплитское» вооружение существует лишь благодаря фаланге как мутации машины войны: в этот момент такой сборкой было создано единственное новое оружие — двуручный щит; что касается другого вооружения, то оно существовало и прежде, но использовалось в иных сочетаниях, где у него были иные функции, иная природа.⁷¹ Именно сборка всегда конституирует систему вооружения. Копье и

⁷⁰ О таком общем различии между двумя моделями «работа — свободное действие», «сила, которая истощается — сила, которая сохраняется», «реальный результат — формальный результат» и т.д. см. доклад: Guérault, Martial. *Dynamique et métaphysique leibniziennes*, Les Belles Lettres, pp. 55, 119 sq., 222–224.

⁷¹ Détienné, Marcel. *La phalange, problèmes et controverses // Problèmes de la guerre en Grèce ancienne*, Mouton: «Техника является своего рода внутренним для социального и ментального», p. 134.

меч существовали со времен бронзового века только благодаря сборке человек—лошадь, которая вызвала удлинение кинжала, а также рогатины и удалила из употребления первое оружие пехоты — молот и топор. Стремя, в свою очередь, навязывает новую фигуру сборки человек—лошадь, влекущую за собой новый тип копья и новое оружие; и при том эта совокупность человек—лошадь—седло варьируется и имеет разные эффекты в зависимости от того, связана ли она с общими условиями номадизма либо же позже вновь приспособливается к оседлым условиям феодализма. Та же ситуация имеет место и в случае инструмента — опять же все зависит от организации труда и переменных сборок между человеком, животным и вещью. Таким образом, плут существует как специфический инструмент только в некой совокупности, где властвуют «долгие открытые поля», где лошадь стремится к тому, чтобы заменить быка как животного, пролагающего черты, когда земля начинает подвергаться трехгодичному севообороту и где экономия становится общинной. До этого плут может неплохо существовать, но на краю другихборок, кои не выявляют собственную специфику, оставляют неразработанным собственное различие с сохой.⁷²

Эти сборки являются аффективными [passionnels], они суть композиции желания. Желание не имеет ничего общего с естественной или спонтанной детерминацией; нет желания — есть только собирающее, собираемое, машинное. Рациональность, продуктивность сборки не существуют без страстей, которые сборка запускает в игру, без желаний, конституирующих ее так же, как она конституирует их. Детьен показал, каким образом греческая фаланга была неотделима от полного пересмотра ценностей и от аффек-

⁷² О стремени и плуте см.: White, Lynn junior. *Technologie médiévale et transformations sociales*, Mouton, ch. I, II. Сходным образом, в случае сухой культивации риса в Азии было показано, как палка-копалка, мотыга и плут связаны, соответственно, с коллективными сборками, которые варьируются в зависимости от плотности населения и периода пара. Это позволяет Броделю сделать вывод: «Инструмент, согласно такому объяснению, — это следствие, а не причина» (*Civilisation matérielle et capitalisme*, p. 128).

тивной [passionnelle] мутации, полностью изменяющей отношения между желанием и машиной войны. Тут один из тех случаев, когда человек слезает с лошади, а отношение человек—животное уступает место отношению между людьми в сборке пехоты, подготавливающей приход солдата-крестьянина, солдата-горожанина — весь Эрос войны меняется, гомосексуальный Эрос группы стремится заменить зоосексуальный Эрос всадника. И несомненно, каждый раз, когда Государство присваивает себе машину войны, оно стремится приблизить воспитание горожанина к формированию рабочего, к обучению солдата. Но если верно, что любая сборка — это сборка желания, то вопрос состоит в том, чтобы знать, не мобилизуют ли сборки войны и труда, рассматриваемые сами по себе, прежде всего страсти разного порядка. Страсти суть исполнения желания, различающиеся согласно сборке, — это не одна и та же справедливость, не одна и та же жестокость, не одна и та же жалость и т.д. Режим труда неотделим от организации и от развития Формы, коим соответствует формирование субъекта. Это — аффективный [passionnel] режим чувства «как форма рабочего». Чувство предполагает оценку материи и ее сопротивлений, смысл формы и ее развитий, экономию силы и ее смещений, всей тяжести в целом. Но режим машины войны — это, скорее, режим *аффектов*, отсылающих только к подвижному самому по себе, к скоростям и композициям скорости между элементами. Аффект — быстрая разгрузка эмоции, быстрый ответ, тогда как чувство — это всегда смещенная, задержанная, сопротивляющаяся эмоция. Аффекты суть снаряды — такие же, как оружие, тогда как чувства интроспективны подобно инструментам. Имеется аффективное отношение с оружием, о чем свидетельствует не только мифология, но и эпическая поэма, рыцарский и куртуазный роман. Оружие есть аффект, и аффект оружия. С такой точки зрения самая абсолютная неподвижность, чистая кататония являются частью вектора-скорости, ведомы этим вектором, объединяющим окаменелость жеста со стремительностью движения. Рыцарь спит на своей лошади,

а затем уносится как стрела. Как раз Клейст лучше всего скомпоновал такие внезапные кататонии, обмороки, подвешенности с самыми быстрыми скоростями машины войны — он заставляет нас присутствовать при становлении-оружием технического элемента и, одновременно, при становлении-аффектом аффективного [passionnel] элемента (уравнение Пентесилеи). Военные искусства всегда подчиняли вооружение скорости и, прежде всего, ментальной (абсолютной) скорости; но потому они также были искусствами подвешенности и неподвижности. Аффект проходит по этим крайностям. Да и военные искусства ссылаются не на *код*, как на дело Государства, а на *пути*, кои являются теми же тропами аффекта; на этих путях мы обучаемся «повреждать» оружие, а также и пользоваться им, как если бы мощь и культура аффекта были подлинной целью сборки, причем оружие являлось лишь временным средством. Учиться уничтожать сделанное и уничтожать себя, — вот что принадлежит машине войны: «недеяние» воина, уничтожение субъекта. Движение декодирования пересекает машину войны, тогда как сверхкодирование спаивает инструмент с организацией труда и Государства (мы не разучаемся пользоваться инструментом, мы можем лишь компенсировать его отсутствие). Верно, что военные искусства непрестанно вызывают к центру тяжести и к правилам перемещения. Дело в том, что пути все еще не являются последними путями. Как бы далеко они ни заходили, они все еще принадлежат к области Бытия, они только и делают, что переводят абсолютные движения иной природы в общее пространство, — движения, осуществляемые в Пустоте, не в ничто, но в гладком [пространстве] пустоты, где нет больше цели: атаки, контратаки и выпадения «стремглав»...⁷³

⁷³ Тракаты о военных искусствах напоминают, что Пути, все еще подчиняющиеся законам гравитации, должны выходить за собственные пределы в пустоту. «Театр марионеток» Клейста, являющийся, несомненно, одним из самых спонтанно восточных текстов в западной литературе, представляет подобное движение: линейное перемещение центра тяжести остается все еще «механическим» и отсылает в чему-то более «удивительному» — тому, что касается души и игнорирует вес.

С точки зрения сборки все еще имеет место существенное отношение между инструментами и знаками. Дело в том, что модель труда, определяющего инструмент, принадлежит аппарату Государства. Часто утверждалось, будто человек в первобытных обществах, собственно говоря, не работал, даже если его деятельность крайне стеснена и урегулирована; и он как таковой более не человек войны («работы» Геркулеса предполагают покорность царю). Технический элемент становится инструментом, когда он абстрагируется от территории и прилагается к земле как объекту; но одновременно знак перестает записываться на теле и пишется на неподвижной объективной материи. Чтобы имелась работа, нужен захват деятельности со стороны аппарата Государства, семиотизация деятельности посредством письма. Отсюда сходство между сборками знаки—инструменты и знаками письмо—организация работы. Все совсем иначе для оружия, пребывающего в сущностном отношении с драгоценностями. Драгоценности подверглись столь многим вторичным адаптациям, что мы уже как следует и не знаем, чем они являются. Но что-то просыпается в нашей душе, когда нам говорят, что производство золотых и серебряных изделий было «варварским» искусством, или кочевым искусством по преимуществу, и когда мы видим эти шедевры малого искусства. Такие застёжки, пластинки из золота и серебра, такие драгоценности касаются мелких подвижных объектов, не только легких в транспортировке, но и принадлежащих объекту лишь как объекту в движении. Такие пластинки конституируют черты выражения чистой скорости — на объектах, которые сами подвижны и неустойчивы. Отношение между ними — это не отношение форма—материя, а отношение мотив—опора, где земля — не более чем почва, где почвы уже нет совсем, а опора является столь же подвижной, как и мотив. Они сообщают цвета скорости света, придавая золоту красный свет, а серебру — белый. Они прикрепляются к конской сбруе, к ножнам шпаги, одеянию воина, к ручке оружия — они украшают даже то, что

будет служить только один раз, острие стрелы. Какими бы ни были усилие и тяжкий труд, каковые они предполагают, они суть свободное действие, связанное с чистой подвижностью, а вовсе никакая не работа с ее условиями тяжести, сопротивлениями и затратами. Бродячий кузнец связывает производство золотых и серебряных изделий с оружием, и наоборот. Золото и серебро принимают много других функций, но не могут быть поняты без такого номадического вклада, создаваемого машиной войны, где они уже не материи, а черты выражения, присущие оружию (вся мифология войны не только обитает в деньгах, но и является в них активным фактором). Драгоценности суть аффекты, соответствующие оружию, сметаемые одним и тем же вектором-скоростью.

Производство золотых и серебряных изделий, ювелирное искусство, орнаментация, даже декорирование не формируют письмо, хотя у них есть мощь абстракции, ни в чем не уступающая мощи письма. Но эта мощь устроена иначе. Что касается письма, то кочевники не нуждаются в том, чтобы создавать собственную систему, они заимствуют ее у оседлых имперских соседей, кои снабжают их даже фонетической транскрипцией собственных языков.⁷⁴ «Производство золотых и серебряных изделий — варварское искусство по преимуществу: филигранные и позолоченные или посеребренные покрытия. <...> Скифское искусство, привязанное к номадической и воинственной экономике, использующей и, одновременно, отвергающей торговлю, сохраненную для чужеземцев, ориентируется на такой роскошный и декоративный аспект. У варваров не было никакой необходимости обладать точным кодом или создавать точный код (например, такой, как элементарное пикто-идеографическое письмо), а еще меньше — созда-

⁷⁴ См.: Pelliot, Paul. «Les systèmes d'écriture en usage chez les anciens Mongols», *Asia Major* 1925: монголы пользовались уйгурским письмом с сирийским алфавитом (Тибетцы будут создавать фонетическую теорию уйгурского письма); обе версии, которые дошли до нас в «Тайной истории монголов», представляют собой: одна — китайский перевод, другая — фонетическую транскрипцию в китайских иероглифах.

вать слоговое письмо, которое вступило бы в соперничество с письмом, используемым их более продвинутыми соседями. К IV и III векам до Рождества Христова скифское искусство Черного моря склоняется к графической схематизации форм, которая превращает их, скорее, в линейное украшение, нежели в некое протописьмо».⁷⁵ Конечно, мы можем писать и на драгоценностях, на металлических пластинках или даже на оружии; но лишь в том смысле, в каком мы применяем к этим материям предсуществующее письмо. Случай *рунического письма* является самым волнующим, ибо его происхождение, по-видимому, связано исключительно с драгоценностями, застежками, элементами производства золотых и серебряных изделий, мелкими подвижными объектами. Но именно в свой ранний период руническое письмо имело слишком слабую ценность для коммуникации и обладало крайне нивелированной публичной функцией. Таинственный характер этого письма привел к тому, что многие часто интерпретировали его как магическое. Речь идет скорее об аффективной семиотике, которая заключала бы в себе прежде всего: 1) подписи как метки обладания или изготовления; 2) краткие военные или любовные послания. Эта семиотика конституировала скорее «декоративный текст», нежели письменный, — «малополезное, наполовину провалившееся изобретение», некий заместитель письма. Она обретает ценность письма лишь во второй период, когда появляются монументальные записи благодаря датской реформе IX века после Рождества Христова, а также в связи с Государством и трудом.⁷⁶

Можно возразить, что инструменты, оружие, знаки, драгоценности фактически встречаются везде, они общеприняты. Тут нет проблемы, это все равно, что искать в каждом случае некое происхождение. Речь идет о том, чтобы назначать сборки, то есть определять *дифферен-*

⁷⁵ Georges Charrière, *L'art barbare scythe*, Ed. du Cercle d'art, p. 185.

⁷⁶ Cp.: Musset, Lucien. *Introduction a la runologie*, Aubier.

циальные черты, согласно которым элемент формально принадлежит скорее одной сборке, нежели другой. Также можно было бы сказать, что архитектура и кулинарное искусство обладают сходством с аппаратом Государства, тогда как музыка и наркотики обладают дифференцированными чертами, размещающими их на стороне номадической машины войны.⁷⁷ Таким образом, именно дифференциальный метод обосновывает различие между оружием и инструментами — по крайней мере, с пяти точек зрения: смысл (прогнозирование — интроспекция), вектор (скорость — тяжесть), модель (свободное действие — работа), выражение (драгоценности — знаки), желающая или аффективная [passionnelle] тональность (аффект — чувство). Несомненно, аппарат Государства стремится к тому, чтобы унифицировать режимы, дисциплинируя собственные армии, превращая работу в базовое единство, то есть навязывая свои черты. Но не исключено, что вооружение и инструменты войдут еще и в другие союзные отношения, ежели они берутся в новых сборках метаморфозы. Случается, что воин формирует крестьянские или рабочие союзы, но чаще труженик, рабочий или крестьянин заново изобретают машину войны. Крестьяне внесли важный вклад в историю артиллерии во время гуситских войн, когда Жижка вооружил портативными орудиями передвижные крепости, сделанные из возов. Сходства, типа рабочий—солдат, оружие—инструмент, чувство—аффект, отмечают удачный, пусть даже скоротечный, момент для революций и народных войн. У инструмента есть шизофрени-

⁷⁷ Конечно же у номадической машины войны есть своя кулинария и архитектура, но они подпадают под иную «характерную черту», отличную от их оседлой формы. Номадическая архитектура — например, эскимосская иглу или деревянный дворец гуннов — является некой производной от палатки; ее влияние на оседлое искусство исходит от куполов или полукуполов и, более того, от введения *пространства, начинающегося очень низко*, как в палатке. Что касается номадической кухни, она буквально состоит из воздержания от еды [dé-jeûner: за-втрак, «еда, перенесенная на завтра». — Прим. пер.] (пасхальная традиция является номадической). И именно под этой характерной чертой она может принадлежать машине войны — например, у янычар котелок выступает как центр сбора, у них разные уровни кухни, а их шапку пересекает деревянная ложка.

ческий привкус, вынуждающий его работу переходить в свободное действие, у него есть шизофренический привкус оружия, превращающий его в средство мира, средство для обретения мира. И, одновременно — контратака, сопротивление. Все двусмысленно. Но мы не полагаем, будто анализ Эрнста Юнгера дисквалифицируется такой двусмысленностью, когда он составляет портрет «Мятежника» как трансисторической фигуры, привлекая, с одной стороны, Рабочего, а с другой, Солдата, — на линии общего ускользания, где мы, одновременно, говорим: «Я ищу оружие» и «Я разыскиваю инструмент»: [надо] чертить линию или то, что возвращается к одному и тому же, преодолевать линию, пересекать линию, ибо линия чертится только превосходя линию разделения.⁷⁸ Несомненно, нет ничего более устаревшего, чем воин — он уже давно трансформировался в совершенно иной персонаж, в военнослужащего. Да и сам рабочий подвергся столь многим злоключениям... Но однако, воины возрождаются, с множеством двусмысленностей — они суть все те, кто знает бесполезность насилия, но кто примыкает к машине войны, дабы восстановиться, — к машине активной и революционной контратаки. Также возрождаются и рабочие, не верящие в работу, но примыкающие к машине труда, дабы восстановиться, — к машине активного сопротивления и технологического освобождения. Они не воскрешают старые мифы или архаичные рисунки, они — новая фигура трансисторической сборки (ни исторической, ни вечной, но несвоевременной): номадический воин и бродячий рабочий. Им уже предшествует их темная карикатура, наемник или подвижный военный инструктор, технократ или аналитик кочующих стад, ЦРУ и IBM. Но трансисторическая фигура дол-

⁷⁸ Именно в «Договоре мятежника» («Буржуа») Юнгер яснее всего противопоставляет себя национал-социализму и развивает некоторые тезисы, содержащиеся в «Рабочем»: концепцию «линии» как активного ускользания, проходящего между двумя фигурами — древнего Солдата и современного Рабочего, — и влекущего их обоих к иной судьбе, в иной сборке (в размышлениях Хайдеггера о понятии Линии, хотя и посвященных Юнгера, ничего такого нет).

жна защищать себя как от старых мифов, так и от предустановленных, предвосхищаемых искажений. «Мы не возвращаемся назад, дабы снова завоевывать миф, мы вновь встречаем его, когда время сотрясается до самых своих оснований под владычеством крайней опасности». Военные и технически-прогрессивные искусства имеют ценность лишь потому, что они создают возможность для объединения рабочих и воинских масс нового типа. Общая линия ускользания оружия и инструмента — чистая возможность, мутация. Возникают подземные, воздушные, подводные технические специалисты, более или менее принадлежащие мировому порядку, но невольно изобретающие и накапливающие виртуальный груз знания и действия; используемый другими, — детальный, но легко обретаемый для новых сборок. Заимствования между герильей и военным аппаратом, между работой и свободным действием всегда происходили в обоих направлениях, ради борьбы, выступающей все более разнообразной.

Проблема III. Как же кочевники изобретают или находят свое оружие?

Теорема VIII. Металлургия сама по себе конституирует поток, по необходимости сливающийся с номадизмом.

Политический, экономический и общественный строй народов степи известен куда менее, чем их военные нововведения, каковые они привносят с точки зрения наступательного и оборонительного вооружения, с точки зрения композиции или стратегии, с точки зрения технологических элементов (седло, стремя, подковы, сбруя...). История каждый раз оспаривает эти новшества, но не может стереть номадические следы. То, что изобретают кочевники, — это сборка человек—животное—оружие, человек—лошадь—седло. Века металла отмечены нововведениями именно благодаря такой сборке скорости. Бронзовое лезвие у боевого топора гиксосов и железный меч хеттов можно при-

равнять к маленьким атомным бомбам. Мы могли бы создать довольно точную периодизацию вооружения степи, показывая чередования тяжелого и легкого оружия (скифский тип и сарматский тип) и их смешанные формы. Отлитая стальная сабля, часто кривая и укороченная, — оружие для атаки сбоку и прямо — сворачивает иное динамичное пространство, нежели меч из кованого железа, используемый для фронтальной точечной атаки: именно скифы приносят саблю в Индию и Персию, где позже ее обретут арабы. Мы согласны, что в отношении огнестрельного оружия — и, главным образом, пушек — кочевники утратили свою новаторскую роль («порох одолел их скорость»). Но таковое им и не нужно, ибо они не знают, как им пользоваться — речь идет не только об армиях, вроде турецкой, чьи кочевые традиции живы до сих пор, развивают огромную огневую мощь, осваивают новое пространство; но, что более характерно, легкая артиллерия очень хорошо включалась в подвижные подразделения повозок, в пиратские суда и т.д. Если пушка помечает предел кочевников, то скорее потому, что она предполагает экономическую инвестицию, какую может предоставить только аппарат Государства (даже [средств] коммерческих городов тут недостаточно). Тем не менее для оружия — иного, чем огнестрельное, а также для пушки, — мы постоянно находим кочевника на горизонте той или иной *технологической преемственности*.⁷⁹

Очевидно, каждый случай спорен — например, громкие дебаты о стремени.⁸⁰ Дело в том, что довольно трудно раз-

⁷⁹ Линн Уайт на самом деле не склонен приписывать слишком много могущества нововведениям кочевников, но иногда устанавливает обширные технологические преемственности, происхождение коих удивительно — он прослеживает технологии горячего пара и турбин, пришедшие из Малайзии (*Technologie médiévale et transformations sociales*, Mouton, pp. 112–113: «Итак, мы можем проследить цепь технологических стимулов, начиная с некоторых крупных фигур науки и техники начала нового времени через конец Средних веков вплоть до джунглей Малайзии. Второе малайское изобретение — поршень — оказалось, несомненно, важное влияние на изучение давления пара и его применений»).

⁸⁰ Об особенно шекотливом вопросе, касающемся стремени, см.: Lynn White, ch. I.

личить, что исходит от кочевников как таковых, а что они получают от империи, с коей коммуницируют, которую завоевывают или с которой интегрируются. Между имперской армией и номадической машиной войны существует столь много неопределенностей, посредников или комбинаций, что часто нечто приходит вначале из империи. Пример сабли типичен и, в отличие от стремени, несомненен: хотя и верно, что скифы — распространители сабли и несут ее индусам, персам и арабам, но они также были и первыми жертвами, они начали с того, чем закончили; именно китайская империя династий Цинь и Хань изобретает саблю, является исключительным мастером литой или кованой стали.⁸¹ Вот достаточный пример, иллюстрирующий те трудности, с какими встречаются современные археологи и историки. Даже археологи не лишены некой ненависти или презрения к кочевникам. В случае сабли, где факты уже достаточно говорят в пользу ее имперского происхождения, наилучший комментатор считает нужным добавить, что скифы в любом случае не могли ее изобрести, ибо они были бедными кочевниками, а сталь, выплавленная в горне, с необходимостью происходит из оседлой среды. Но зачем следовать столь древней официальной китайской версии, будто дезертиры имперской армии открыли тайну для скифов? И что может означать «открыли тайну», если скифы были неспособны ею воспользоваться и ничего в этом не понимали? Свалим все на дезертиров. Мы не изготовим атомную бомбу благодаря тайне, мы не изготовим даже саблю, если неспособны воспроизвести ее и интегрировать уже в иных условиях, перенести ее в другие сборки. Распространение и рассеивание всецело являются частью линии инновации; они помечают некий поворот. И к тому же: зачем говорить, будто сталь, отлитая в горне, — это необходимая собственность оседлых или

⁸¹ См. замечательную статью Машери, «Le sabre contre l'épée», *Annales*, 1958. Предлагаемые далее наши возражения нисколько не снижают значимость этого текста.

имперских народов, в то время как она, прежде всего, — изобретение металлургов? Предполагается, что такие металлурги с необходимостью контролировались аппаратом Государства; но они также, необходимым образом, пользуются определенной технологической самостоятельностью и социальной нелегальностью, так что, даже будучи контролируемыми, принадлежат Государству так же, как если бы сами были кочевниками. Не было дезертиров, выдавших тайну, но были металлурги, сообщившие о ней и сделавшие возможной ее адаптацию и распространение — совершенно иной тип «предательства». В конце концов, то, что делает подобные споры столь трудными (как в дискуссионном случае со стреленем, так и в несомненном случае с саблей), так это не только предубеждения относительно кочевников, но также и отсутствие достаточно разработанного концепта о том, что такое технологическое происхождение (Что определяет *технологическую преемственность или континуум*, а также его варьирующееся расширение с той или иной точки зрения?).

Было бы бесполезно говорить, будто металлургия является наукой вроде как потому, что она обнаруживает постоянные законы — например, температуру плавления металла в любое время, в любом месте. Ибо металлургия вначале неотделима от нескольких линий вариации — вариации между метеоритами и природными металлами; вариации между рудами и пропорциями металла; вариации между сплавами, будь то естественными или нет; вариации между операциями, осуществленными в металле; вариации между качествами, обеспечивающими ту или иную возможную операцию или вытекающими из той или иной операции. (Например, двенадцать вариаций меди, идентифицированных и инвентаризированных Шумером согласно месту происхождения и степени очистки.⁸²) Все эти переменные величины могут быть сгруппированы под

⁸² Limet, Henri. *Le travail du métal au pays de Sumer au temps de la IIIe dynastie d'Ur*, Les Belles Lettres, pp. 33–40.

двумя большими рубриками — *сингулярности, или пространственно-временные эвонности*, разных порядков и операций, присоединяемые к ним как процессы деформации или трансформации; *аффективные качества или черты выражения* различных уровней, соответствующие этим сингулярностям и операциям (твердость, вес, цвет и т.д.). Давайте вернемся к примеру с саблей или, скорее, к стали, выплавленной в горне — он предполагает актуализацию первой сингулярности, а именно: плавление железа при высокой температуре; а затем вторую сингулярность, отсылающую к последовательному обезуглероживанию; этим сингулярностям соответствуют черты выражения — не только твердость, острота, глянец, но и волнообразность или рисунки, прочерченные кристаллизацией и вытекающие из внутренней структуры расплавленной стали. Железный меч отсылает совсем к другим сингулярностям, ибо он выкован, а не выплавлен, не закален и не охлажден на воздухе, он производится по частям, изготавливаемым [параллельно], а не последовательно; его выразительные черты, с необходимостью, крайне отличаются, ибо он протыкает, а не рубит, атакует фронтально, а не наискось; и даже выразительные рисунки получаются здесь совершенно иным способом, путем инкрустации.⁸³ Мы можем говорить о *машинном филуме*, или о технологической преемственности каждый раз, когда обнаруживаем *совокупность сингулярностей, продолжающихся благодаря определенным операциям, — сингулярностей, сходящихся и вынуждающих эти операции сходиться на одной или некоторых определенных выразительных чертах*. Если сингулярности или операции

⁸³ В этом смысле Машери хорошо показывает, как сабля и меч отсылают к двум различным технологическим преемственностям. Именно термин *узорчатость*, идущая не из дамасского языка, а от греческого или персидского слова, означающего алмаз, указывает на обработку расплавленной стали, в результате чего последняя делается столь же твердой, как и алмаз, а также указывает на узоры, создаваемые на такой стали путем кристаллизации цемента («настоящая дамасская сталь создавалась в центрах, никогда не находившихся под римским владычеством»). Но с другой стороны, *насечка узоров на стали*, приходящая из Дамаска, указывает лишь на инкрустацию металла (или ткани), подобную намеренно созданным узорам, имитирующим узорчатость совсем другими средствами.

расходятся — в разных материалах или в одном и том же материале, — то надо отличать два различных филума: в этом и заключается случай железного меча, происходящего от кинжала, а также стальной сабли, происходящей от ножа. У каждого филума есть свои сингулярности и операции, собственные качества и черты, определяющие отношение желания к техническому элементу (аффекты сабли не те же самые, что аффекты меча).

Но всегда возможно разместиться на уровне сингулярностей, продолжающихся от одного филума к другому и связывающих эти два филума вместе. В пределе существует одна-единственная филогенетическая преемственность, один и тот же идеально непрерывный машинный филум — поток материи-движения, поток материи в непрерывной вариации, носитель сингулярностей и выразительных черт. Такой операциональный и выразительный поток столь же естественен, сколь и искусственен: он — что-то вроде единства человека и Природы. Но, одновременно, он осуществляется здесь и теперь, только разделяясь, дифференцируясь. Будем называть *сборкой* любую совокупность сингулярностей и черт, изымаемых из потока — отобранных, организованных, стратифицированных — таким образом, чтобы искусственно и естественно сходиться (консистенция): сборка, в этом смысле, — это подлинное изобретение. Сборки могут группироваться в чрезвычайно обширные совокупности, которые конституируют «культуры» или даже «века»; тем не менее внутри этих совокупностей они дифференцируют филум или поток, делят его на множество разных филумов — данного порядка, на данном уровне — и вводят избирательные прерывности в идеальную непрерывность материи-движения. Сборки разрезают филум на различные дифференцированные преемственности в то самое время, когда машинный филум пересекает их все, покидая один уровень, дабы вновь разместиться на другом, или заставляя их сосуществовать. Такая сингулярность, запечатленная на флангах филума, например, в химии углерода, будет подниматься к поверхности благодаря той сбор-

ке, которая отбирает, организует, изобретает ее и через которую проходит весь филум или его часть в данном месте, в данный момент. В каждом случае мы можем различать много крайне разных линий: некоторые из них — филогенетические линии — проходят долгую дистанцию между сборками разных веков и культур (от сарбакана* до пушки? от ветряной мельницы до пропеллера? от котелка до двигателя?); другие — онтогенетические линии — являются внутренними по отношению к сборке и соединяют разнообразные элементы или вынуждают один элемент переходить, часто с временной задержкой, в другую сборку иной природы, но той же культуры или того же века (например, подкова, которая распространяется через сельскохозяйственные сборки). Таким образом, надо принять в расчет избирательное действие сборок на филум и эволюционирующую реакцию филума как подземную нить, каковая проходит от одной сборки до другой или покидает сборку, тянет ее вперед и раскрывает ее. *Жизненный порыв?* Леруа-Гуран ближе всего подошел к технологическому витализму, моделирующему техническую эволюцию по образцу биологической эволюции в целом: *универсальная Тенденция* — нагруженная всеми сингулярностями и чертами выражения — пересекает внутренние и технические среды, которые преломляют или дифференцируют ее, согласно сингулярностям, а также удерживаемым, избираемым, объединяемым, сходящимся, изобретаемым каждой из них чертам.⁸⁴ Действительно, существует машинный филум в вариации, создающий технические сборки, тогда как сами сборки изобретают переменные филумы. Технологическая преемственность изрядно меняется в зависимости от того, расчерчиваем ли мы ее на филуме или же вписываем в сборки; но филум и сборка неразделимы.

* Духовая трубка, стреляющая стрелами. — Прим. пер.

⁸⁴ Leroi-Gourhan, *Milieu et techniques*, Albin Michel, pp. 356 sq. Жильбер Симондон, обсуждая короткие серии, вновь поставил вопрос об «абсолютном истоке технической преемственности», или о создании некой «технической сущности»: *Du mode d'existence des objets techniques*, Aubier, pp. 41 sq.

Итак, как же определить такую материю-движение, такую материю-энергию, такую материю-поток, такую материю в вариации, входящую в сборки и покидающую их? Это — дестратифицированная, детерриторизованная материя. Нам кажется, что Гуссерль заставил мысль сделать решающий шаг вперед, когда обнаружил регион *материальных и неясных* сущностей, то есть обнаружил странствующие, неточные и, однако, строгие сущности, отличая их от точных, метрических и формальных сущностей. Мы увидели, что эти неясные сущности отличаются как от оформленных вещей, так и от формальных сущностей. Они конституируют нечеткие множества. Они высвобождают *телесность* (материальность), которая не смешивается ни с формальной, интеллигибельной сущностью, ни с чувственной, оформленной и воспринимаемой вещностью. У такой телесности две характеристики — с одной стороны, она неотделима от переходов к пределу как изменению состояния, от процессов деформации или трансформации, совершающихся в самом неточном пространстве-времени и действующих подобно событиям (удаление, присоединение, проектирование...); с другой стороны, она неотделима от выразительных или интенсивных качеств, способных быть выше или ниже по степени и производиться подобно переменным аффектам (сопротивление, твердость, вес, цвет...). Итак, есть подвижная состыковка *события-аффекты*, конституирующая неясную телесную сущность и отличающуюся от оседлой связи: «фиксированная сущность — свойства, перетекающие из сущности в вещи», «формальная сущность — оформленная вещь». И несомненно, Гуссерль стремился превратить неясную сущность в нечто вроде посредника между сущностями и чувственно воспринимаемым, между вещью и концептом, что немного напоминает кантианскую схему. Не является ли округлое неясной или схематической сущностью, опосредующим звеном между чувственно воспринимаемыми округлыми вещами и концептуальной сущностью круга? Действительно, округлое существует и как аффект-порог (ни плоский,

ни заостренный), и как процесс-предел (округлять) благодаря чувственно воспринимаемым вещам и техническим агентам — жерновам, токарным станкам, колесам, прялкам, наконечникам... Но округлое является также и «посредником» лишь в той мере, в какой посредник автономен, изначально растягивается *сам* между вещами и мыслями, дабы установить всецело новое отношение между мыслями и вещами, *неясное* тождество между ними.

Некоторые различия, предложенные Симондоном, могут быть приравнены к различиям, введенным Гуссерлем. Ибо Симондон разоблачает технологическую недостаточность модели материя—форма, ибо она предполагает фиксированную форму и материю, рассматриваемую как однородная. Именно идея закона обеспечивает связность этой модели, так как именно законы подчиняют материю той или иной форме, и наоборот, законы реализуют в материи данное существенное свойство, выводимое из формы. Но Симондон показывает, что *гилеморфическая* модель не затрагивает множество вещей, активных и аффективных. С одной стороны, к оформленной или поддающейся оформлению материи надо добавить всю энергетическую материальность в движении, несущую *сингулярности или этоности*, кои уже подобны имплицитным формам, скорее топологическим, нежели геометрическим, и которые комбинируются с процессами деформации — например, волны и переменные скручивания древесных волокон, задающие ритм операции колки дерева на поленья. С другой стороны, к существенным свойствам материи, вытекающим из формальной сущности, надо добавить *интенсивные переменные аффекты*, которые порой следуют из операции, а порой, напротив, делают ее возможной — например, более или менее пористое, более или менее эластичное и прочное дерево. Во всяком случае, речь идет о том, чтобы подчиниться дереву, следовать за деревом, соединяя операции с материальностью, вместо того чтобы навязывать форму некой материи — мы обращаемся не столько к материи, подчиненной законам, сколько к материальности, обладающей *nomos'*ом. Мы обра-

щаемся не столько к форме, способной навязывать свойства материи, сколько к материальным чертам выражения, конституирующим аффекты. Конечно, всегда можно «транслировать» в модель то, что избегает этой модели, — таким образом, мы можем связать способность к материальной вариации с законами, приспособляющимися друг к другу фиксированную форму и постоянную материю. Но такая процедура всегда сопровождается искажениями, состоящими в изъятии переменных из состояния их непрерывного варьирования ради того, чтобы извлечь из них фиксированные точки и постоянные отношения. Таким образом, мы отбрасываем переменные, даже изменяя природу уравнений, кои перестают быть имманентными материи-движению (неравенства, соответствия). Речь идет не о знании того, является ли такой перевод концептуально законным, ибо он таковым является, а о том, чтобы знать, какую интуицию мы здесь утрачиваем. Короче, Симондон упрекает гилеморфическую модель именно в том, что она рассматривает форму и материю как два по отдельности определяемых термина, как крайние точки двух полuceпочек (коих мы более не видим), как их соединение, как простое отношение сплавления, за которым мы уже не можем ухватить непрерывно и постоянно меняющуюся модуляцию.⁸⁵ Критика гилеморфической схемы основалась на «существовании между формой и материей зоны средней и промежуточной размерности», энергетической, молекулярной размерности, — целое пространство в себе, развертывающее свою материальность через материю, целое число в себе, выталкивающее собственные черты через форму...

Мы всегда вновь возвращаемся к определению: *машинный филум* — это материальность, естественная или искус-

⁸⁵ Об отношении между литейной формой и модуляцией и о том, как литье скрывает операцию модуляции или сочетается с ней, учитывая, что эта операция существенна для материи-движения, см. Симондон, pp. 28–50 («модулировать значит отливать непрерывным и постоянно варьируемым образом», p. 42). Симондон хорошо показывает, что гилеморфическая схема обязана своей мощью не технологической операции, а социальной модели *работы*, подчиняющейся такой операции (pp. 47–50).

ственная, или то и другое одновременно, это материя в движении, в потоке, в изменении, материя как носительница сингулярностей и выразительных черт. Отсюда вытекают очевидные выводы, а именно — за такой материей-потоком можно только *следовать*. Несомненно, операция, состоящая в таком следовании, может быть осуществлена на одном месте — плотник, строгая, следует за деревом, за волокнами дерева, не меняя своего местоположения. Но такой способ следования — лишь частный эпизод более общего процесса. Ибо ремесленник вынужден также следовать и иным способом, то есть идти искать дерево туда, где оно есть, искать дерево, у которого нужные волокна. Или же дерево должны доставлять ему — именно потому, что торговец выполнит часть пути навстречу ремесленнику, тот может сэкономить на своей части пути. Но ремесленник является полноценным, только если он к тому же и изыскатель; а организация, разделяющая изыскателя, торговца и ремесленника, уже уродует ремесленника, дабы сделать из него «рабочего». Следовательно, мы будем определять ремесленника как того, кто вынужден следовать за потоком материи, за *машинным филумом*. Он — тот, кто *странствует, бродяжничает*. Следовать за потоком материи — значит странствовать, бродяжничать. Это интуиция в действии. Конечно, существуют странствования второго порядка, где уже более нет потока материи, который мы изучаем и за которым следуем, а есть, например, рынок. Тем не менее мы всегда следуем именно за потоком, хотя такой поток уже и не поток материи. И более того, есть вторичные странствования — на сей раз именно они вытекают из иного «условия», даже если вытекают с необходимостью. Например, *кочующее стадо* — будь то сельскохозяйственное или животноводческое — меняет землю, когда та истощится или следуя сезонам; но *кочующее стадо* лишь вторично следует за земным потоком, ибо оно производит оборот, с самого начала предназначенный вернуть его — когда лес восстановится, земля отдохнет, а сезон сменится — к покинутой им исходной точке. *Кочующее стадо* не следует за

потоком, оно чертит круг, и следует только за той частью потока, какая проходит по кругу, по все более и более широкому. Таким образом, кочующее стадо является странствующим только последовательно или становится таковым лишь тогда, когда весь круг его земель или пастбищ исчерпан и когда вращение настолько обширно, что потоки ускользают от округлости. Сам торговец — это некое кочующее стадо в той мере, в какой рыночные потоки подчиняются вращению между точкой исхода и точкой прибытия (идти искать—возвращаться назад, импортировать—экспортировать, покупать—продавать). Какой бы ни была взаимная причастность, имеются крупные различия между потоком и кругооборотом. *Мигрант*, как мы увидели, — это нечто иное. А *кочевник* изначально не определяется ни как *странник*, ни как *кочующее стадо*, ни как *мигрант*, хотя он последовательно таковыми становится. Первичное определение кочевника действительно состоит в том, что он оккупирует и удерживает гладкое пространство, — именно с этой точки зрения он определен как кочевник (сущность). На свой страх и риск он будет кочующим стадом и странником — только благодаря требованиям, налагаемым гладкими пространствами. Короче, какими бы ни были фактически смеси между номадизмом, странствованием и перегоном стад в горы, первичный концепт не одно и то же во всех трех случаях (гладкое пространство, материя-поток, вращение). Ибо, только начиная со строгого концепта, мы можем судить о смеси, о том, когда она производится, о форме, под которой она производится, и о порядке, в каком он производится.

Но в ходе предыдущего обсуждения мы отклонились от вопроса: почему *машинный филум*, поток материи, является, по существу, металлическим или металлургическим? И опять же только строгий концепт может дать нам ответ, показывая, что существует первичное особое отношение между странствием и металлургией (детерриторизация). Однако примеры, которые мы заимствовали у Гуссерля и Симондона, касались дерева или глины так же, как и

металлов; и кроме того, не существует ли потоков травы, воды, стад, формирующих так много филумов или материй в движении? Теперь нам легче ответить на эти вопросы. Ибо все происходит так, как если бы металл и металлургия навязывали или доводили до осознания нечто, что только скрыто или запрятано в других материях и операциях. Дело в том, что — где-то еще — каждая операция имеет место между двумя порогами, один из которых конституирует материю, приготовленную для операции, а другой — форму, какую надо воплотить (например, глина и литейная форма). Гилеморфическая модель получает свою общую значимость из этого, ибо воплощенная форма, отмечающая конец операции, может служить материей для новой операции, но в фиксированном порядке, маркирующем последовательность порогов. В то время как в металлургии операции не перестают оседлывать пороги, энергетическая материальность выходит за пределы приготовленной материи, а качественная деформация или трансформация выходят за пределы формы.⁸⁶ Итак, закалка [*trempe*] увязывается с ковкой и имеет место после того, как форма принимается. Или же, когда имеется литье, металлург, так сказать, действует внутри литейной формы. Опять же расплавленная и отлитая сталь потом подвергается серии последовательного обезуглероживания. И наконец, у металлургии есть возможность вновь расплавлять и вновь использовать материю, которой она придает *форму-слиток* — история металла неотделима от этой крайне особой формы, которая не смешивается ни со складом, ни с товаром; денежная

⁸⁶ Симондон не испытывает особой привязанности к проблемам металлургии. Действительно, его анализ не является историческим и в основном обращается к примерам, заимствованным из электроники. Но исторически не бывает электроники без металлургии. Отсюда то почтение, какое Симондон выказывает металлургии: «Металлургия не позволяет мыслить только лишь посредством гилеморфической схемы. Принятие формы происходит, по-видимому, не одновременно, а благодаря нескольким последовательным операциям; мы не можем строго отличить обретение формы от качественной трансформации; ковка и закалка стали — операции, из которых одна предшествует другой, а другая следует за первой, что, строго говоря, и могло бы быть названо принятием формы: тем не менее ковка и закалка выступают как конституирование объектов».

стоимость вытекает из этого. Более обобщенно металлургическая идея «восстановителя» выражает двойное освобождение — материальности по отношению к приготовленной материи и трансформации по отношению к форме, которую надо воплотить. Материя и форма никогда не казались более твердыми, чем в металлургии; и, однако, именно форма непрерывного развития стремится к тому, чтобы заменить последовательность форм, именно материя непрерывной вариации стремится к тому, чтобы заменить изменчивость материй. Если металлургия пребывает в существенном отношении с музыкой, то не только из-за звуковковки, но благодаря тенденции, которая пересекает оба искусства, подчеркивая за отделенными формами непрерывное развитие формы, за переменными материями — непрерывную вариацию материи: расширенный хроматизм несет как музыку, так и металлургию; музыкальный кузнец — вот первый «трансформер».⁸⁷ Короче, то, что металл и металлургия выводят на свет, — это жизнь, присущая материи, жизненное состояние материи как таковой, материальный витализм, существующий, несомненно, везде, но обычно спрятанный или скрытый, сделанный неузнаваемым, разложенный гилеморфической моделью. Металлургия — это сознание или мысль материи-потока, а металл — коррелят такого сознания. Будучи выраженным в панметаллизме, металл коэкстенсивен всей материи в целом, а вся материя в целом — металлургии. Даже воды, травы, леса и звери населены солями или минеральными элементами. Не все является металлом, но везде есть металл. Металл — проводник всей материи. Машинный филум является металлургическим или, по крайней мере, обладает металлической головой, собственной исследующей и странствующей головой. А мысль рождается не столько с камнем, сколько с металлом: металлургия — вот

⁸⁷ Надо принимать в расчет не только мифы, но и позитивную историю — например, роль «медных духовых инструментов» в эволюции музыкальной формы; или опять же учреждение «металлического синтеза» в электронной музыке (Ричард Пинхас).

малая наука собственной персоной, «неясная» наука или феноменология материи. Невероятная идея *неорганической Жизни* — та самая идея, которую Воррингер считал варварской идеей по преимуществу,⁸⁸ — является изобретением, интуицией металлургии. Металл — это не вещь, не организм, а *тело* без органов. «Северная, или готическая, линия», прежде всего, является именно рудниковой и металлической линией, окружающей такое тело. Отношение металлургии с алхимией покоится не на символической, как полагал Юнг, ценности металла и его соответствии органической душе, а на имманентном могуществе телесности во всей материи и на духе тел, который сопровождает материю.

Первый и изначальный странник — это плотник-ремесленник. Но ремесленник не является ни охотником, ни земледельцем, ни животноводом. Он — ни веяльщик, ни гончар, занимающиеся кустарной деятельностью лишь вторичным образом. Скорее, ремесленник — это тот, кто следует за материей-потокм как чистой продуктивностью: следовательно, в минеральной форме, а не в растительной или животной формах. Это не человек земли или почвы, а человек недр. Металл — чистая продуктивность материи, так что тот, кто следует за металлом — производитель объектов по преимуществу. Как показал Гордон Чайльд, металлург — это первый специализированный ремесленник, и в данном отношении он формирует некое *тело* (тайные общества, гильдии, товарищества). Ремесленник-металлург — вот странник, ибо он следует за материей-потокм недр. Конечно же металлург пребывает в отноше-

⁸⁸ В. Воррингер определяет готическое искусство в терминах «первобытной», но ставшей живой геометрической линии. Только такая жизнь является не органической, каковой она станет в классическом мире — эта линия «не содержит никакого органического выражения, и тем не менее она абсолютно живая. <...> Поскольку у нее нет никакой органической тональности, ее жизненное выражение должно отличаться от органической жизни. <...> В такой ставшей живой геометрии, предвещающей живую алгебру готической архитектуры, есть какая-то патетика движения, которая подвигает наши ощущения на неестественный для них подвиг» (*L'art gothique*, Gallimard, pp. 69–70).

нии с «другими», другими почвы, земли или неба. Он пребывает в отношении с земледельцами оседлых сообществ и с небесными функционерами империи, сверхкодирующими такие сообщества, — действительно, он нуждается в этом, чтобы выжить, он в самом своем существовании зависит от имперского сельскохозяйственного резерва.⁸⁹ Но, работая, он вступает в отношения с обитателями леса и частично зависит от них — он должен устраивать свои мастерские вблизи леса, дабы иметь необходимый уголь. В своем пространстве он вступает в отношения с кочевниками, ибо недра объединяют почву гладкого пространства с землей рифленого пространства — в аллювиальных долинах имперских земледельцев нет шахт, нужно пересечь пустыни, достичь гор, а вопрос контроля над шахтами всегда затрагивает номадические племена, *любая шахта — линия ускользания*, взаимодействующая с гладкими пространствами; причем надо учесть, что и сегодня этому есть эквивалент — проблемы с нефтью.

Археология и история остаются странно сдержанными относительно вопроса о контроле шахт. Случалось, что у империй с сильной металлургической организацией не было шахт; Ближний Восток испытывает нехватку в олове, столь необходимом для изготовления бронзы. Большое количество металла прибывает в виде слитков и издалека (как олово из Испании или даже из Корнуэля). Столь сложная ситуация предполагает не только сильную имперскую бюрократию и разработанные и далеко раскинувшиеся торговые сети. Она предполагает всю подвижную политику, где Государства встречаются лицом к лицу с внешним, где крайне разные народы сталкиваются или договарива-

⁸⁹ Это — один из существенных пунктов тезиса Чайльда в *L'Europe préhistorique* (Payot): металлург — первый специализированный ремесленник, чье существование оказалось возможным благодаря формированию излишков сельскохозяйственной продукции. Отношение кузнеца с сельским хозяйством должно держаться не только на изготавливаемых им инструментах, но и на пище, каковую он берет или получает. Миф догонов, как его в разных вариантах проанализировал Чайльд, может рассматриваться в качестве маркера того отношения, в котором кузнец получает или ворует семена и прячет в своем «молоте».

ются о контроле над шахтами в том или ином аспекте (добыча, древесный уголь, мастерские, доставка). Мало сказать, что существуют войны и рудниковые экспедиции; или обратиться к «евразийскому синтезу номадических мастерских от подступов к Китаю до западных пределов», и констатировать, что «номадические популяции были в контакте с главными металлургическими центрами древнего мира с доисторических времен». ⁹⁰ Скорее, надо было бы узнать, каковы отношения у кочевников с этими центрами, с кузнецами, коих они сами используют или часто посещают, с собственно металлургическими народами и группами, являвшихся их соседями. Каково положение на Кавказе и в Алтае? В Испании и в Северной Африке? Шахты — источник потока, смеси и ускользания, почти не имеющего эквивалентов в истории. Даже когда они хорошо контролируются империей, владеющей ими (случай китайской империи, случай римской империи), есть крайне важное движение тайной эксплуатации, а также движение шахтерских альянсов с номадическими и варварскими вторжениями или с крестьянскими мятежами. Изучение мифов и даже этнографические размышления о статусе кузнецов уведут нас от этих политических вопросов. Дело в том, что у мифологии и этнографии в этом отношении отсутствует здоровый метод. Мы слишком часто спрашиваем себя, как *другие* «реагируют» на кузнеца: тогда мы впадаем во все пошлости, касающиеся амбивалентности *чувства*, мы говорим, что кузнеца, одновременно, чествуют, его опасаются и он презираем — он более или менее презираем у кочевников, его более или менее чествуют у оседлых. ⁹¹ Но так мы утрачиваем причи-

⁹⁰ Lombard, Maurice. *Les métaux dans l'ancien monde du Ve au XIe siècle*, Mouton, pp. 75, 255.

⁹¹ Социальное положение кузнеца стало предметом подробных анализов, главным образом касательно Африки — см. классическое исследование: Cline W. Mining and Metallurgy in Negro Africa // *General Series in Anthropology*, 1937; Clément, Pierre. Le forgeron en Afrique noire // *Revue de géographie humaine et d'ethnologie*, 1948. Но эти исследования малоубедительны; ибо, чем лучше определены начальные принципы, к которым обращаются — «реакция осуждения», «одобрение», «опасение», — тем более размываются и смешиваются результаты, как об том свидетельствуют таблицы П. Клемана.

ны данной ситуации, специфику самого кузнеца, несимметричное отношение, какое он сам поддерживает с кочевниками и с оседлыми, тип *афффектов*, каковые он изобретает (металлический аффект). Прежде чем отыскивать чувства других к кузнецу, надо вначале самого кузнеца оценить как Другого; как таковой, он обладает различными аффективными отношениями с оседлыми и с кочевниками.

Не бывает кочевых и оседлых кузнецов. Кузнец является блуждающим, странствующим. Особенно важным в этом отношении является то, как живет кузнец: его пространство — это ни рифленое пространство оседлого населения, ни гладкое пространство кочевника. У кузнеца может быть палатка, он может иметь дом, но обитает он в них как в каком-то временном «пристанище» [*gote*] — подобно самому металлу, — как в каком-то гроте или дыре, хижине, наполовину или полностью врытой в землю. Он — троглодит, но не по своей природе, а благодаря искусству и потребности.⁹² Блестящий текст Эли Фор упоминает об inferнальном поезде странствующих народов Индии, продырявливающих пространство и порождающих фантастические формы, соответствующие этим прорывам, жизненным формам неорганической жизни. «На берегу моря, у подошвы горы они встречали гранитную стену. Потом все они входили в гранит, в его тени они жили, любили, работали, умирали, рождались, а три или четыре века спустя они снова идут дальше, пересекая гору. За собой они оставляли пустую скалу, галереи, выдолбленные во все стороны, высеченные, вылепленные перегородки, естественные или искусственные опоры, врытые за этот период времени, десять тысяч ужасных или прекрасных фигур. <...> Человек здесь без боя соглашается на свое могущество и на свое небытие. Он не требует от формы утверждения определенного идеала. Он извлекает ее необработанной из бесфор-

⁹² См.: Bloch, Jules. *Les Tziganes*, P. U. F., pp. 47–54. Ж. Блок точно показывает, что различие между оседлыми народами и кочевниками становится вторичным по отношению к жилищу троглодита.

менного такой, какой ее навязывает бесформенное. Он использует сумрачные впадины и неровности скалы». ⁹³ Металлургическая Индия. Он сверлит горы, вместо того чтобы взбираться по ним, роется в земле, вместо того чтобы рифлить ее, дырявит пространство, вместо того чтобы сохранять его гладким, превращает землю в швейцарский сыр. Образ из фильма [Эйзенштейна] «Стачка» разворачивает дырчатое пространство, откуда поднимается весь растревоженный народ, причем каждый выходит из своей дыры как на полностью заминированное поле. Знак Каина — телесный и аффективный знак недр, пересекающий одновременно и рифленую землю оседлого пространства и номадическую почву гладкого пространства, не останавливаясь ни на том, ни на другом: бродячий знак странствия, двойная кража или двойное предательство



Дырчатое пространство

⁹³ Faure, Elie. *Histoire de l'art, l'art médiéval*, Le Livre de poche, p. 38.

металлурга, уклоняющегося как от сельского хозяйства, так и от разведения животных. Должны ли мы сохранить имя Каинитов, или Кинейн, за такими металлургическими народами, преследующими глубины Истории? Доисторическая Европа пересечена *народами-с-боевыми-топорами* [*peuples-aux-haches de combat*], прибывшими из степей подобно обособленному металлическому ответвлению от кочевников, и народами, известными своими колоколообразными гончарными изделиями [*gens du Campaniforme*], *народами-с-чашеобразными-вазами* [*peuples-aux-vases calices*], происходящими из Андалусии, обособленное ответвление металлургического сельского хозяйства.⁹⁴ Странные народы, долихоцефалы и брахицефалы, которые смешиваются и множатся во всей Европе. Не являются ли они теми, кто держит шахты, дырявит европейское пространство во всех направлениях, конституируя наше европейское пространство?

Кузнец — ни номад среди кочевников или оседлый у оседлого населения, ни полуномад среди кочевников или полуоседлый у оседлых народов. Его отношение с другими вытекает из внутреннего странствования, из его неясной сущности, а не наоборот. Именно в своей специфичности, именно благодаря своему странствованию, благодаря изобретению дырчатого пространства, он с необходимостью коммуницирует с оседлыми народами и с кочевниками (и еще с другими — с кочующими стадами лесных жителей). Прежде всего, именно в себе самом он является удвоенным — гибрид, сплав, двойная формация. Как говорит Гриоль, кузнец-догон является не «нечистым», а «смешанным», и именно потому, что он смешан, он является *эндогамным*, он не сочетается браком с «чистыми», которые обладают простым потомством, тогда как сам восстанавливает поколение близнецов.⁹⁵ Гордон Чайльд показывает,

⁹⁴ Об этих народах и их мистериях см. анализ: Childe, Gordon. *L'Europe préhistorique* (ch. vu, «Missionnaires, marchands et combattants de l'Europe tempérée») и *L'aube de la civilisation européenne*, Payot.

⁹⁵ M. Griaule et G. Dieterlen, *Le renard pâle*, Institut d'ethnologie, p. 376.

что металлург по необходимости раздвоен, что он существует два раза — один раз как персонаж, захваченный и удерживаемый в аппарате восточной империи, другой раз как куда более подвижный и куда более свободный персонаж в Эгейском мире. *Итак, мы не можем отделить один сегмент от другого*, просто соотнося каждый из сегментов с его особым контекстом. Металлург империи, рабочий, предполагает металлурга-старателя, однако очень дальнего, а старатель отсылает к торговцу, приносящему металл первому. Вдобавок металл обрабатывается в каждом сегменте, и форма-слиток пересекает их всех: надо представить себе менее разделенные сегменты, чем цепь мобильных мастерских, конституирующих — от дыры к дыре — линию вариации, некую галерею. Отношение, которое металлург поддерживает с кочевниками и с оседлыми народами, также проходит через отношение, какое он поддерживает с другими металлургами.⁹⁶ Именно такой гибридный металлург, производитель оружия и инструментов, коммуницирует одновременно и с оседлыми народами, и с кочевниками. Дырчатое пространство само коммуницирует с гладким и с рифленным пространствами. Действительно, машинный филум или металлическая линия проходят через все сборки — нет ничто более детерриторизованного, чем материя-движение. Но вовсе не одним и тем же образом, и обе коммуникации несимметричны. Воррингер, применительно к эстетике, говорил, что у абстрактной линии два совершенно разных выражения: одно в варварском готическом искусстве, другое — в органическом классическом искусстве. Тут мы могли бы сказать, что филум обладает одновременно двумя различными способами связи — он *всегда соединен* [connexe] с кочевым пространством и в то же время *сопряжен* [conjugue] с оседлым пространством. На стороне

⁹⁶ В книге Форбса (*Metallurgy in Antiquity*, Ed. Brill) анализируются различные эпохи металлургии, а также типы металлургов, существовавшие в век руды — «рудокоп», искатель и разработчик месторождений, «литейщик», «кузнец» (*blacksmith*), «работник по металлу» (*whitesmith*). В век железа специализация еще более усложняется, и одновременно меняется распределение кочевник—странник—оседлый.

кочевых сборок и машин войны — он нечто вроде ризомы, с ее скачками, поворотами, подземными переходами, стволами, расщелинами, чертами, дырами и т.д. Но на другой стороне — оседлые сборки и Государственные аппараты осуществляют захват филума, вкладывают черты выражения в форму или в код, заставляют все дыры резонировать вместе, затыкают линии ускользания, подчиняют технологическую операцию модели работы, навязывают коннекциям весь режим древовидных конъюнкций в целом.

Аксиома III. Номадическая машина войны — это что-то вроде формы выражения, для которой странствующая металлургия была бы коррелятивной формой содержания.

Субстанция		Форма
Содержание	Дырчатое пространство (машинный филум или материя-поток)	Странствующая металлургия
Выражение	Гладкое пространство	Номадическая машина войны

Теорема IX. Война вовсе не имеет с необходимостью в качестве цели сражение, и, что более важно, машина войны вовсе не имеет с необходимостью в качестве цели войну, хотя война и сражение могут необходимым образом вытекать из машины войны (при определенных условиях).

Мы сталкиваемся последовательно с тремя проблемами: является ли сражение «целью» войны? А также: является ли война «целью» машины войны? И наконец: в какой мере машина войны — «цель» аппарата Государства? Двусмы-

сленность первых двух проблем исходит, разумеется, из термина *цель*, но предполагает их зависимость от третьей. Однако мы должны рассмотреть эти проблемы по очереди, даже если нам потребуется умножить случаи. Первый вопрос, то есть вопрос сражения, действительно влечет за собой немедленное различие двух случаев — случая, когда машина войны ищет сражения, и случая, когда она его, по существу, избегает. Эти два случая нисколько не совпадают с наступлением и обороной. Но война, строго говоря (согласно концепции, которая находит свою кульминацию у Фоша), имеет, по-видимому, своей целью сражение, тогда как герилья явно предпочитает *не-сражение*. И все-таки развитие войны в войну маневренную и в тотальную ставит под вопрос и понятие сражения — как с точки зрения наступления, так и с точки зрения обороны: не-сражение, по-видимому, способно выразить скорость молниеносной атаки или контрскорость немедленного ответа.⁹⁷ Наоборот, развитие герильи предполагает, с другой стороны, момент и формы, где сражение должно быть действительно обнаружено по отношению к внешним и внутренним «точкам опоры». Верно, что герилья и война непрестанно заимствуют друг у друга методы — как в первом смысле, так и во втором (например, часто настаивают на том, что герилья на земле вдохновляется войной на море). Таким образом, мы можем лишь сказать, что сраже-

⁹⁷ Одним из наиболее важных текстов о герилье остается текст Т.Э. Лоуренса (*Les sept piliers*, Payot, ch. xxxm, и: *La science de la guérilla // Encyclopedia Britannica*), представляющий собой своего рода некий «анти-Фош» и вырабатывающий понятие не-сражения. Но у не-сражения есть история, зависящая не только от герильи: 1) традиционное различие между «сражением» и «маневром» в теории войны (ср.: Aron, Raymond. *Penser la guerre, Clausewitz*, Gallimard, t. I, pp. 122–131); 2) то, как маневренная война вновь ставит под вопрос роль и значимость сражения (вопрос, стоявший уже перед маршалом де Саксом, а также спорный вопрос о сражении в наполеоновских войнах); 3) наконец, недавняя критика сражения от имени ядерного вооружения, каковое играет разубеждающую роль, а конвенциональные силы играют теперь только роль «проверки» или «маневра» (см. голлистская концепция не-сражения, и: Brossollet, Guy. *Essai sur la non-bataille*). Недавнее возвращение к понятию сражения объясняется не только такими техническими факторами, как развитие тактического ядерного оружия, но и предполагает политические рассуждения, от коих как раз и зависит роль, приписываемая сражению (или не-сражению) в войне.

ние и не-сражение — двойная цель войны, согласно критерию, не совпадающему ни с наступлением, ни с обороной, ни даже с войной войны [la guerre de guerre] или с войной герильи.

Вот почему, отбрасывая этот вопрос, мы спрашиваем, не является ли сама война целью, или объектом, машины войны. Это совсем неочевидно. В той мере, в какой сама война (со сражением или без сражения) предполагает уничтожение или капитуляцию вражеских сил, машина войны не имеет с необходимостью в качестве цели войну (например, *набег* мог бы рассматриваться как другой объект-цель, а не как особая форма войны). Но, более обобщено, мы увидели, что машина войны была номадическим изобретением, ибо являлась по своей сути конститутивным элементом гладкого пространства, оккупацией такого пространства, перемещением внутри него и соответствующей компоновкой людей — в этом состоит ее единственная и настоящая *позитивная цель* (*nomos*). Заставить пустыню или степь прорасти; не опустошать их, а совсем наоборот. Если из этого с необходимостью вытекает война, то именно потому, что машина войны сталкивается с Государствами и городами — как с силами (рифления), противящимися позитивной цели: с этих пор Государство, город, государственный и городской феномен становятся для машины войны врагами, а ее целью является их уничтожение. Именно здесь она становится войной — уничтожить силы Государства, разрушить форму-Государство. Авантюры Аттилы или Чингисхана ясно демонстрируют такую последовательность позитивной и негативной целей. Говоря по-аристотелевски, мы бы сказали, что война — это ни условие, ни цель машины войны, но она с необходимостью сопровождает или дополняет ее; говоря как Деррида, мы бы сказали, что война — «восполнение» машины войны. Может даже так случиться, что такое восполнение схватывается благодаря постепенному тревожному откровению. Таковыми, например, были похождения Моисея — выходя из египетского Государства, отправляясь

в пустыню, он начинает с того, что формирует машину войны под влиянием давнего прошлого кочевых евреев и по совету своего тестя, происходящего из кочевников. Это и есть машина Справедливого, уже машина войны, но машина войны, у которой нет еще войны как цели, или объекта. Итак, Моисей понемногу, шаг за шагом начинает понимать, что война — это необходимое восполнение такой машины, ибо война сталкивается с городами и Государствами или вынуждена пересекать их, ибо должна вначале послать шпионов (*вооруженное наблюдение*), а затем, возможно, дойти до крайностей (*война на уничтожение*). Тогда еврейский народ испытывает сомнение и опасается, что недостаточно силен; но и Моисей тоже сомневается, он отступает перед откровением такого восполнения. Именно Иисус Навин будет ответственен за войну, а не Моисей. Наконец, говоря как Кант, мы скажем, что отношение между войной и машиной войны является необходимым, но «синтетическим» (для такого синтеза нужен Яхве).

В свою очередь, вопрос о войне оказывается отброшен, таким образом, еще дальше и подчинен отношениям между машиной войны и аппаратом Государства. Как раз не Государства первыми насаждают войну — конечно же война не является феноменом, который мы находим в универсальности Природы как какое-то насилие. Но война не является и объектом, или целью, Государств, а совсем наоборот. Самые архаичные Государства, по-видимому, не обладают даже машиной войны, и, как мы увидим, их господство основывается на других инстанциях (включающих, скорее, полицию и тюрьмы). Мы можем предположить, что среди удивительных причин внезапного уничтожения архаичных и тем не менее мощных государств присутствует как раз вмешательство внешней или номадической машины войны, контратакующей их и их разрушающей. Но Государство учится быстро. Один из наикрупнейших вопросов с точки зрения всеобщей истории таков: как Государство собирается *присваивать* машину войны, то есть конституировать ее для себя, согласно собственным

размеру, господству и целям? И с какими опасностями? (То, что мы называем военным институтом, или армией, — это вовсе не машина войны сама по себе, а форма, под которой она присваивается Государством.) Чтобы ухватить парадоксальный характер такого предприятия, нужно мысленно пересмотреть всю гипотезу целиком: 1) машина войны — это такое изобретение кочевников, какое имеет войну не в качестве первой цели, а в качестве вторичной, дополнительной или синтетической цели в том смысле, что она побуждается разрушать те форму-Государство и форму-город, с какими сталкивается; 2) когда Государство присваивает машину войны, последняя, очевидно, меняет природу и функцию, поскольку позже направляется против кочевников и всех разрушителей Государства или же выражает отношения между Государствами — в той мере, в какой одно Государство намеревается разрушить другое Государство или навязать ему свои цели; 3) именно после того, как машина войны, таким образом, присваивается Государством, она стремится к тому, чтобы принять войну за свою непосредственную и первую цель, за свой «аналитический» объект (а война стремится к тому, чтобы принять сражение за свою цель, или объект). Короче, именно в то самое время, когда аппарат Государства присваивает себе машину войны, машина войны принимает войну за цель, а война становится подчиненной целям Государства.

Этот вопрос присвоения исторически столь разнообразен, что надо провести различие между несколькими видами проблем. Первая касается возможности операции — именно потому, что война является лишь дополнительным или синтетическим объектом машины войны, она испытывает колебание, оказывающееся для нее фатальным, а аппарат Государства, со своей стороны, собирается овладеть войной и, таким образом, обернуть машину войны против кочевников. Колебание кочевника часто представлялось в виде легенд: что делать с завоеванными и пересекаемыми землями? Превратить их в пустыню, в степь, в большое пастбище? Либо же позволить существовать аппа-

рату Государства, способному непосредственно использовать их, с риском стать, раньше или позже, просто новой династией этого аппарата? Раньше или позже — потому что, например, потомки Чингисхана долгое время могли оставаться лишь частично интегрированными в захваченные ими империи, удерживая, одновременно, все гладкое пространство степей, коему подчинялись имперские центры. В этом состоял их талант, *Pax mongolica**. Тем не менее интеграция кочевников в завоеванные империи была одним из самых мощных факторов присвоения машины войны аппаратом Государства — неизбежная опасность, жертвой которой стали кочевники. Но есть также и другая опасность — опасность, угрожающая Государству, когда оно присваивает себе машину войны (все Государства чувствовали груз этой опасности, а также риск, которому заставляет подвергаться их такое присвоение). Тамерлан — крайний пример, он был не преемником Чингисхана, а его точной противоположностью: именно Тамерлан сконструировал фантастическую машину войны, повернутую против кочевников, но именно он — благодаря самому этому факту — был обязан установить аппарат Государства значительно более тяжелый и более непродуктивный, ибо он существовал только как пустая форма присвоения данной машины.⁹⁸ Оборачивание машины войны против кочевников может подвергнуть Государство столь же великому риску, как и тот, что грозит кочевникам, направляющим машину войны против Государства.

Второй тип проблем касается конкретных форм, в которых осуществляется присвоение машины войны: наемнические или территориальные? Профессиональная армия или призыв на военную службу? Особые тела или национальное рекрутирование? Не только эти формулы не эквивалентны, но существуют все возможные перемешивания между ними.

* Монгольский мир (лат.). — Прим. пер.

⁹⁸ О фундаментальных разногласиях между Тамерланом и Чингисханом см.: Grousset, Rene. *L'empire des steppes*, Payot, а именно pp. 495–496.

Вероятно, имелось бы и самое существенное, или наиболее общее, различие: существует ли только «встраивание» машины войны, или же, собственно говоря, «присвоение»? На самом деле захват машины войны аппаратом Государства происходит двумя путями — с помощью встраивания сообщества воинов (которые прибыли извне или возникли изнутри), либо, напротив, с помощью конституирования ее согласно правилам, соответствующим всему гражданскому обществу в целом. Опять же имеется переход и перемещение от одной формулы к другой. Наконец, третий тип проблем касается средств присвоения. С этой точки зрения следовало бы рассмотреть различные данные по фундаментальным аспектам аппарата Государства — *территориальность, труд или общественные работы, налоговая система*. Конституция военного института или армии по необходимости предполагает территоризацию машины войны, то есть гарантию земель («колониальных» или внутренних), которые могут принимать крайне разнообразные формы. Но налоговые режимы одним махом определяют: как характер услуг и налогов, налагаемых на получающих пенсию воинов, так и — главным образом — некий род гражданского налога для поддержания армии, коим обложено все общество или, наоборот, его часть. И в то же самое время Государственное предприятие общественных работ должно быть реорганизовано в зависимости от «освоения территории», на которой армия играет решающую роль, не только в случае крепостей и укрепленных мест, но и в случае стратегической коммуникации, структуры организации тыла и снабжения, промышленной инфраструктуры и т.д. (роль и функция Инженера в этой форме присвоения).⁹⁹

⁹⁹ См. *Armées et fiscalité dans le monde antique*, Ed. du C. N. R. S.: этот коллоквиум изучает главным образом налоговый аспект, но и два других также. Вопрос предоставления земель солдатам или семьям солдат встает перед всеми государствами и играет существенную роль. В особой форме он лежит в основе вотчин и феодализма. Но он уже лежит в основе «лже-вотчин» во всем мире, а именно клероса и клерухии [Владения граждан какого-либо древнегреческого государства, располагавшиеся вне его пределов (*др.-гр.*). — *Прим. пер.*] в греческой цивилизации (ср.: Préaux, Claire. *L'économie royale des Lagides*, Bruxelles, pp. 463 sq.).

Позвольте нам сопоставить всю эту гипотезу в целом с формулой Клаузевица: «Война — это продолжение политики другими средствами». Мы знаем, что такая формула сама извлечена из теоретической и практической, исторической и трансисторической совокупности, элементы которой связаны между собой: 1) существует чистый концепт войны как абсолютной, необусловленной войны, некая Идея, не данная в опыте (безо всякого политического, экономического или общественного рассмотрения уничтожать или «разрушать» врага, который, предположительно, не обладает никаким иным определением); 2) но что дано, так это реальные войны как подчиненные целям Государств, кои являются более или менее хорошими «проводниками» по отношению к абсолютной войне и, в любом случае, обуславливают ее реализацию на опыте; 3) реальные войны колеблются между двумя полюсами, причем оба полюса подчинены политике Государства, — война на уничтожение, способная дойти до тотальной войны (в зависимости от целей этого уничтожения) и стремящаяся к тому, чтобы достичь необусловленного концепта через восхождение к крайним пределам; ограниченная война, которая в «неменьшей степени» является войной, но близко подходит к граничным условиям и может дойти до простого «вооруженного наблюдения».¹⁰⁰

Во-первых, различие между абсолютной войной как Идеей и реальными войнами, как нам кажется, является чрезвычайно важным, но только если применяется иной критерий, нежели критерий Клаузевица. Чистая Идея не была идеей абстрактной элиминации противника, но идеей машины войны, у которой *вовсе нет войны в качестве цели* и которая поддерживает с войной только потенциальное или дополнительное синтетическое отношение. Так, нам *вовсе не кажется*, что номадическая машина войны

¹⁰⁰ Клаузевиц, *De la guerre*, главным образом книга VIII. И комментарий к этим трем тезисам в: Aron, Raymond. *Penser la guerre, Clausewitz*, t. I (а именно, «Откуда берутся войны второго вида?», pp. 139 sq.).

является неким случаем реальной войны среди прочих, как у Клаузевица, а напротив — содержанием, адекватным Идее, изобретению Идеи, со своими присущими ей объектами, пространством и композицией *potos'a*. Однако это все еще Идея, и необходимо удерживать концепт чистой Идеи, даже если такая машина войны осуществлялась кочевниками. Скорее, именно кочевники остаются абстракцией, некой Идеей, чем-то реальным и не актуальным, и по нескольким причинам: во-первых, потому что характеристики номадизма, как мы увидели, фактически смешиваются с характеристиками миграции, странствия и перегона овец в горы, что вовсе не нарушает чистоты концепта, но всегда вводит смешанные объекты или комбинации пространства и композиции, уже реагирующие на машину войны. Во-вторых, даже в чистоте своего концепта номадическая машина войны с необходимостью осуществляет собственное синтетическое отношение с войной как дополнением, открытым и развитым против формы-Государства, о чьем разрушении идет речь. Но она, как раз таки, осуществляет такой дополнительный объект или такое синтетическое отношение, только если Государство, со своей стороны, находит тут возможности присвоить себе машину войны и способы сделать из войны непосредственный объект, или цель, такой перевернутой машины (значит, процедура интегрирования кочевника в Государство является вектором, пересекающим номадизм с самого начала, с первого акта войны против Государства).

Вопрос, таким образом, стоит не столько о реализации войны, сколько о присвоении машины войны. Именно в одно и то же время аппарат Государства *присваивает себе* машину войны, подчиняет ее «политическим» *целям* и делает войну своей непосредственной *целью*. И именно одна и та же историческая тенденция вынуждает Государства эволюционировать с трех точек зрения: переходить от встраивающихся фигур к собственно формам присвоения, переходить от ограниченной войны к так называемой тотальной войне и трансформировать отношение между

целью [but] и объектом. Итак, факторы, превращающие государственную войну в тотальную, тесно связаны с капитализмом — речь идет об инвестиции постоянного капитала в оборудование, индустрию и военную экономику, а также об инвестиции переменного капитала в население в его физическом и духовном аспектах (одновременно — и как в того, кто порождает войну, и как в жертву войны).¹⁰¹ Действительно, тотальная война — это не только война на уничтожение; она появляется и тогда, когда уничтожение принимает за свой «центр» не столько вражескую армию или вражеское Государство, сколько все население в целом с его экономикой. Тот факт, что подобная двойная инвестиция может быть осуществлена лишь благодаря предварительным условиям ограниченной войны, показывает неотвратимый характер капиталистической тенденции развивать тотальную войну.¹⁰² Итак, верно, что тотальная война остается подчиненной политическим целям Государства и реализует *максимум условий* для присвоения машины войны аппаратом Государства. Но также верно и то, что когда объектом присвоенной машины войны становится тотальная война, тогда на таком уровне условий объект и цель вступают в новые отношения, способные достичь точки противоречия. Отсюда и колебание Клаузевица, когда он настаивает сначала на том, что тотальная война остается войной, обусловленной политической целью

¹⁰¹ Людендорф (*La guerre totale*, Flammarion) отмечает, что эволюция придает все большую значимость «народу» и «внутренней политике» в войне, тогда как Клаузевиц все еще делает акцент на армии и внешней политике. Несмотря на некоторые тексты Клаузевица, такая критика в глобальном смысле верна. Впрочем, мы находим ее и у Ленина, и у марксистов (хотя у них явно была совершенно иная концепция народа и внутренней политики, нежели у Людендорфа). Некоторые авторы глубоко показали, что пролетариат столь же военного происхождения (а именно, морского), сколь и промышленного — см., например, Вирилио: *Vitesse et politique*, pp. 50–51, 86–87.

¹⁰² Как показывает Дж.Ю. Неф, именно в течение большого периода «ограниченной войны» (1640–1740 гг.) возникли феномены концентрации, накопления и инвестиций, которые позже должны были определить «тотальную войну» — см.: *La guerre et le progrès humain*, Ed. Alsatia. Кодекс Наполеона представляет собой поворотный пункт, собирающий вместе все элементы тотальной войны — мобилизацию, транспортировку, инвестиции, информирование и т.д.

Государств, а затем — на том, что она стремится осуществить Идею необусловленной войны. Действительно, цель остается главным образом политической и как таковая определяется Государством, но сам объект стал неограниченным. Можно было бы сказать, что присвоение изменило направление или, скорее, что Государства стремятся к тому, чтобы ослабить, реконституировать огромную машину войны, частями которой они только и являются — противостоящими ей или приложимыми к ней. Эта мировая машина войны, которая «следует», так сказать, из Государств, демонстрирует две последовательные фигуры. Вначале фигуру фашизма, делающую из войны неограниченное движение, у которого больше нет иной цели, нежели оно само; но фашизм — лишь грубый набросок, и вторая, постфашистская фигура, — это фигура машины войны, непосредственно принимающая мир в качестве цели, как мир Террора или Выживания. Машина войны реформирует гладкое пространство, намеревающееся теперь контролировать, окружать всю землю. Саму тотальную войну превосходит форма еще более ужасающего мира. Машина войны выбрала себе целью мировой порядок, и Государства теперь — не более чем объекты или средства, соответствующие этой новой машине. Именно в этом пункте формула Клаузевица действительно переворачивается; ибо, чтобы суметь сказать, что политика — это продолжение войны другими средствами, недостаточно поменять местами слова, как если бы мы могли произнести их в том или ином смысле; надо проследовать за реальным движением, в результате которого Государства, присвоившие машину войны и приспособившие ее к своим целям, возвращают машину войны, которая принимает цель, присваивает Государства и берет на себя все более широкие политические функции.¹⁰³

¹⁰³ О таком «трансцендировании» фашизма и тотальной войны и о новой точке инверсии формулы Клаузевица см. полный анализ Вирилио: *L'insécurité du territoire*, главным образом главу I.

Несомненно, нынешнее положение отчаянно. Мы увидели, что мировая машина войны конституируется все сильнее и сильнее, как в научно-фантастическом рассказе; мы увидели, как она поставила себе в качестве собственной цели мир, возможно, еще более ужасающий, чем фашистская смерть; мы увидели, как она поддерживает или вызывает самые ужасные локальные войны в качестве собственных составляющих; мы увидели, как она фиксирует новый тип врага, уже являющегося не другим Государством или даже другим режимом, а — «каким угодно врагом»; мы увидели, как она воздвигает собственные элементы контргерильи, так что может дать захватить себя врасплох один раз, но не дважды... Между тем сами условия, делающие возможной машину войны Государства или Мира, то есть постоянный капитал (ресурсы и оборудование) и человеческий переменный капитал, не перестают восстанавливать возможности неожиданных контратак, непредвиденных инициатив, определяющих мутантные, миноритарные, народные, революционные машины. Об этом свидетельствует определение какого угодно Врага, «многообразного, маневрирующего и вездесущего <...> экономического, подрывного, политического и духовного порядка, и т.д.», никому не приписываемого материального Саботажника или гуманного Дезертира в самых разнообразных формах.¹⁰⁴ Первый важный теоретический элемент состоит в том, что машина войны обладает крайне разнообразными смыслами — *и именно потому, что у машины войны крайне переменное отношение с самой войной*. Машина войны не определяется единообразно и включает в себя нечто иное, нежели наращивание количества силы. Мы попытались определять два полюса машины войны. Согласно одному полюсу, она принимает войну в качестве собственной цели и формирует линию разрушения, способную продолжаться

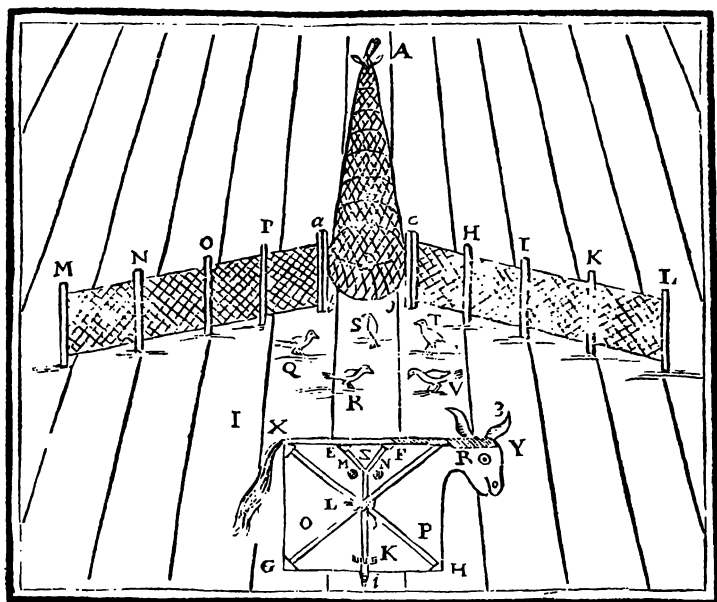
¹⁰⁴ Brossollet, Guy. *Essai sur la non-bataille*, pp. 15–16. Аксиоматическое понятие «какого угодно врага» уже хорошо разработано в официальных или официозных текстах национальной обороны, международного права и в судебных или полицейских сферах.

до пределов универсума. Ибо во всех своих аспектах, какие она здесь допускает — ограниченная война, тотальная война, мировая организация, — война вовсе не является собой предполагаемую сущность машины войны, а лишь только (каково бы ни было могущество машины) либо набор условий, под которыми Государства присваивают себе эту машину, даже рискуя проецировать ее до самого горизонта мира, либо господствующий порядок, частями которого являются сами Государства. *Другой полюс*, по-видимому, — это полюс сущности, когда машина войны, с бесконечно уменьшенными «количествами», имеет в качестве своей цели не войну, а прочерчивание линии творческого ускользания, композицию гладкого пространства и движения людей в таком пространстве. Следуя этому другому полюсу, война действительно встречает такую машину, но как свой синтетический и дополнительный объект, направленный теперь против Государства и против мировой аксиоматики, выражаемой Государствами.

Мы полагали, что нашли такое изобретение машины войны у кочевников. Это сделано только ради того, чтобы с точки зрения истории показать следующее: машина войны как таковая была изобретена, даже если она демонстрировала с самого сначала всю свою двусмысленность, заставлявшую вступать ее в сочетание с иным полюсом и уже колеблющуюся в его сторону. Но, что касается сущности, у кочевников как раз и нет никакой тайны: художественное, научное и «идеологическое» движение может быть потенциальной машиной войны именно в той мере, в какой оно расчерчивает — в отношении к *филуму* — план консистенции, линию творческого ускользания, гладкое пространство перемещения. Как раз не кочевник определяет такую совокупность характеристик; именно сама совокупность определяет кочевника и, одновременно, сущность машины войны. Если герилья, если война меньшинства, если народная и революционная война соответствуют ее сущности, то именно потому, что последние принимают войну в качестве цели, или объекта, тем более

необходимого, что он лишь «дополнительный», — *они могут создать войну лишь при том условии, что создают, одновременно, что-то еще*, только бы это были новые неорганические общественные отношения. Есть большая разница между указанными двумя полюсами даже — и главным образом — с точки зрения смерти: линия ускользания, которая творит *или* превращается в линию разрушения; план консистенции, конституирующий себя — даже шаг за шагом — *или* превращающийся в план организации и господства. Мы постоянно отмечали, что между обеими линиями или обоими планами существует коммуникация — такая, что каждая линия, или план, питается друг другом, заимствует нечто друг у друга: наихудшая мировая машина войны восстанавливает гладкое пространство, дабы окружать и замыкать землю. Но земля отстаивает собственную мощь детерриторизации, свои линии ускользания, свои гладкие пространства, которые живут и прорывают собственный путь ради новой земли. Речь здесь идет не о количествах, а о несоизмеримом характере количеств, противостоящих друг другу в обоих видах машин войны согласно обоим полюсам. Машины войны конституируются против аппаратов, присваивающих себе машину и создающих из войны собственное дело и свой объект, или цель, — они запускают в ход коннекции против великой конъюнкции аппаратов захвата или господства.

13. 7000 до н.э. — Аппарат захвата



Теорема X. Государство и его полюса

Давайте вернемся к тезисам Дюмезиля: (1) у политического суверенитета два полюса — ужасный и магический Император, действующий с помощью захвата, обязательств, узлов и сетей, а также священный и юридически образованный Король, поступающий в соответствии с соглашениями, договорами и контрактами (пары Варуна—Митра, Один—Тюр, Вотан—Тиваз, Уран—Зевс, Ромул—Нума...); (2) военная функция выступает как внешняя к политическому суверенитету и равным образом отличается от обоих его полюсов (Индра или Тор, Тулл Гостилий...)¹

¹ Главной книгой Дюмезиля, в этом отношении, является «Митра—Варуна» (здесь мы также находим анализ «Одноглазого» и «Однорукого» бога).

1. Итак, есть аппарат Государства, оживляемый, прежде всего, любопытным ритмом, являющимся великой мистерией: мистерией Богов-Связывателей или магических императоров — *Одноглазых*, испускающих из своего единственного глаза знаки, кои захватывают, связывают узлы и дистанции. С другой стороны, существуют Короли-юристы — *Однорукие*, вздымающие свою единственную руку как элемент права, технологии, закона и инструмента. Всегда ищите в последовательности Государственных людей Одноглазого и Однорукого, Горация Коклеса и Муция Сцеволу (де Голля и Помпиду?). Речь вовсе не о том, что одни имеют исключительное право на знаки, а другие — на инструменты. Ужасный император — уже владыка великих работ; мудрый король принимает и трансформирует весь режим знаков. А это значит, что комбинация знаки—инструменты составляет отличительную черту политического суверенитета или комплементарности Государства.²

2. Конечно, оба Государственных мужа не перестают смешиваться в историях о войне. А именно: либо магический император посылает в бой воинов, не являющихся его собственными, коих он нанимает на службу посредством захвата; либо — что важнее — он, появляясь на поле битвы, приостанавливает войска [противника], набрасывает собственную сеть на воинов и своим единственным глазом повергает их в окаменелую кататонию, «он связывает без боя», он *встраивает* машину войны (мы не смешиваем, конечно, такой государственный захват с военными захватами, завоеваниями, пленными и трофеями)³. Что касается

² Тема Бога-Связывателя и магического узла стала темой глобальных исследований в мифологии — а именно у Мирчи Элиаде, *Образы и символы*, Gallimard ch. III. Но эти исследования двусмысленны, поскольку используют синкретический или архетипический метод. Метод Дюмезиля, напротив, дифференциальный — тема захвата, или связи, объединяет вместе разные данные, но под одной различительной чертой, как раз и конституируемой политической суверенностью. Что касается противопоставления этих двух методов, то мы сошлемся на: Ortigues, *Le discours et le symbole*, Aubier.

³ Dumézil, *Mitra-Varuna*, pp. 113–114, 151, 202–203.

другого полюса, то король-юрист — вот великий организатор войны; однако он дает ей законы, устраивает для нее поле, изобретает для нее право, навязывает ей дисциплину, подчиняет ее, причем подчиняет политическим целям. Он создает из машины войны военный институт, *приспосабливает* машину войны к аппарату Государства.⁴ Не стоит слишком уж поспешно говорить о мягкости и гуманности: напротив, это возможно, когда у машины войны только одна цель — сама война. Насилие — именно его мы находим повсюду, но в разных режимах и экономиках. Насилие магического императора — его узел, его сеть, его «один удар на всех [*coup une fois pour toutes*]»... Насилие короля-юриста — его возобновление каждого удара, всегда ради целей, союзов и законов... В конечном счете насилие машины войны могло бы показаться мягче и гибче, чем насилие аппарата Государства — дело в том, что у нее нет еще войны в качестве «объекта», ибо она избегает обоих полюсов Государства. Поэтому воин, в своей экстериорности, не перестает протестовать против союзов и договоров короля-юриста, а также разрывать связи магического императора. Он равным образом и освободитель, и клятвопреступник — дважды предатель.⁵ У него иная экономия, иная жестокость, а также иная справедливость, иная жалость. Знакам и инструментам Государства воин противопоставляет свое оружие и дары. И опять же кто скажет, что наилучшее, а что наихудшее? Верно, что война убивает, уродует и несет ужасы. Но почему? Потому что Государство присвоило себе машину войны. Но главное — аппарат Государства создает такую ситуацию, что увечья и даже смерть предшествуют ему. Он нуждается в том, чтобы они уже совершились и чтобы люди уже таковыми и рождались — калеками и зомби. Миф о зомби, об ожившем мер-

⁴ *Idem*, p. 150: «Есть немало способов быть богом войны, и Тиваз определяет один из таких способов — тот, что был крайне слабо выражен через этику воинственного бога, борющегося бога... Тиваз — это нечто иное: юрист войны и, одновременно, своего рода дипломат» (так же, как и Марс).

⁵ *Idem*, pp. 124–132.

твеще — это миф труда, а вовсе не миф войны. Увечье — следствие войны, но оно также — условие, предполагаемое аппаратом Государства и организацией труда (отсюда и врожденная травма не только рабочего, но самого государственного человека, будь-то Одноглазого или Однорукого типа): «Такая грубая выставка кусков разрезанного тела меня поразила. <...> Не было ли это неотъемлемой частью технического совершенства и опьянения им <...>? Люди вели войну с начала мира, но я не могу вспомнить ни одного примера во всей “Илиаде”, где воин потерял бы руку или ногу. Миф резервирует увечья либо для чудовищ, либо для человеческих тварей расы Танталя или Прокруста. <...> Именно обман зрения вынуждает нас приписывать такие увечья несчастному случаю. На самом деле несчастные случаи — это результат увечий, коим уже подверглись первые эмбрионы нашего мира; и численный рост увечий — лишь один из симптомов, свидетельствующих о триумфе морали скальпеля. Что касается ущерба, то существовал ли он до того, как стал зримо приниматься в расчет?».⁶ Именно аппарат Государства нуждается — как на самом верху, так и в своем основании — в заранее искалеченных инвалидах, заранее существующих калеках или мертворожденных, увечных от рождения, одноглазых и одноруких.

Итак, есть соблазнительная гипотеза, состоящая из трех моментов, ибо машина войны пребывает «между» двумя полюсами политической суверенности и обеспечивает переход от одного полюса к другому. Именно в таком порядке, 1—2—3, вещи, по-видимому, предстают в мифе или в истории. Примем те две версии Одноглазого и Однорукого человека, какие были проанализированы Дюмезилем: 1) бог Один, с единственным глазом, закабаляет или связывает Волка войны и держит в своих магических силках; 2) но волк осторожен и обладает всей своей мощью внешнего; 3) бог Тюр дает волку юридические гарантии, оставляя одну руку в его глотке, дабы волк мог откусить ее,

⁶ Jünger, *Abeilles de verre*, Bourgois, p. 182.

если не успеет освободиться от силков. — 1) Гораций Коклес, одноглазый, пользуясь только своим лицом, своей гримасой и магическим могуществом, препятствует главе этрусков штурмовать Рим; 2) тогда военачальник этрусков решает начать осаду; 3) Муций Сцевола принимает политическую эстафету от Коклеса и оставляет этрускам в залог свою руку, дабы убедить воинов, что стоит отказаться от осады и заключать договор. — В совсем ином — историческом — контексте Марсель Детьен предлагает аналогичную схему из трех моментов для Древней Греции: 1) магический правитель, «Обладатель истины», располагает машиной войны, которая конечно же не возникает вместе с ним и которая пользуется относительной автономией в его империи; 2) у такого класса воинов собственные правила, определяемые «изономией», изотропным пространством и «средой» (военные трофеи располагаются в промежуточной среде; тот, кто держит речь, размещается посреди собрания) — тут другое пространство, иные правила, нежели правила правителя, осуществляющего захват и вещающего сверху; 3) гоPLITская реформа, подготовленная в воинственном классе, распространяется по всему социальному телу, содействуя формированию армии солдат-граждан в то самое время, когда последние остатки имперского полюса суверенитета уступают место юридическому полюсу города-Государства (изономия как закон, изотропия как пространство).⁷ И во всех этих случаях машина войны, по видимому, вмещивается «между» обоими полюсами аппарата Государства, обеспечивая и требуя переход от одного полюса к другому.

И все-таки мы не можем приписать этой схеме каузальный смысл (да и цитируемые авторы такого не делают). Во-первых, машина войны ничего не объясняет; ибо она либо является внешней по отношению к Государству, либо

⁷ D  tienne, Marcel. *Les ma  tres de v  rit  ...*; и: *La phalange, probl  mes et controverses // Probl  mes de la guerre en Gr  ce ancienne*, Mouton). См. также: Vernant, J.-P. *Les origines de la pens  e grecque*.

направлена против него; либо же она уже принадлежит Государству — встраиваемая или соответствующая — и предполагает его. Если она и вмешивается в эволюцию Государства, то это значит, что такое вмешательство происходит с необходимостью в союзе с другими внутренними факторами. И подобное как раз возникает во вторую очередь — если есть эволюция Государства, то нужно, чтобы второй, эволюционный, полюс, был в резонансе с первым, дабы его определенным образом постоянно перезагружать и чтобы у Государства была одна-единственная среда внутреннего, то есть оно должно обладать *единством композиции*, несмотря на все различия в организации и развитии государств. Нужно даже, чтобы у каждого Государства были оба полюса как сущностные моменты его существования, даже если организация таких двух полюсов варьируется. В-третьих, если мы называем такую внутреннюю сущность или такое единство Государства «захватом», то следовало бы сказать, что словосочетание «магический захват» неплохо описывает данную ситуацию, ибо последняя всегда проявляется как уже свершившаяся и себя предполагающая; но в таком случае как объяснить подобный захват, коли он не относится ни к какой *отчетливо* определяемой причине? Вот почему тезисы о происхождении Государства всегда тавтологичны. Порой мы обращаемся к экзогенным факторам, связанным с войной и с машиной войны; порой — к эндогенным факторам, порождающим частную собственность, деньги и т.д.; порой же, наконец, к особым факторам, задающим формацию «публичных функций». Все эти три тезиса мы находим у Энгельса в отношении концепции разнообразия путей Господства. Но все они предполагают то, что ставится под вопрос. Война производит Государство, только если по крайней мере одна из обеих частей существует прежде Государства; а военная организация выступает в качестве государственного фактора, только если она принадлежит Государству. Либо Государство не включает в себя машину войны (оно обладает полицейскими и сторожами до того,

как имеет солдат), либо оно включает ее в себя, но в форме военного института или публичной функции.⁸ Сходным образом частная собственность предполагает общественную государственную собственность, она просачивается через ее ячейки; а деньги предполагают налог. А еще труднее увидеть, как публичные функции могли бы существовать до Государства, которое они предполагают. Мы всегда возвращаемся к идее Государства, рождающегося уже зрелым и возникающего одним махом — необусловленное *Urstaat*.

Теорема XI. Что же является первым?

Первый полюс захвата мы будем называть имперским, или деспотическим. По Марксу, он соответствует азиатской формации. Археология находит его повсюду (часто он покрыт забвением — на горизонте всех систем или Государств — не только в Азии, но и в Африке, в Америке, в Греции, в Риме). Незапамятное *Urstaat*, датируемое неолитом, а возможно еще более древними временами. Следуя марксистскому описанию: аппарат Государства воздвигается на первобытных сельскохозяйственных сообществах, у коих уже есть наследственно-территориальные коды; *но он сверхкодирует их*, подчиняет власти деспотичного императора — единственного и трансцендентного владельца общественной собственности, хозяина излишков или склада, организатора крупномасштабных работ (сверхтруд), источника государственного управления и бюрократии. Это *парадигма* связи и узла. Таков режим знаков Государства — сверхкодирование, или Означающее. Такова систе-

⁸ Жак Арман (Harmand, Jacques. *La guerre antique*, P.U.F., p. 28) ссылается на «предприятие, чрезвычайно эффективно управляемое исключительно гражданскими чиновниками, Оуни [Ouni], подчиненными фараону Пиопи I [Peri I] примерно в 1400 году до н.э.». Даже военная демократия, как она описана Морганом, предполагает архаичное Государство имперского типа, но не объясняет его (вот что следует из работ Детьена и Вернана). Такое имперское Государство само функционирует, прежде всего, благодаря сторожам и полицейским, а не военным — см.: Dumézil, *Mitra-Varuna*, pp. 200–204.

ма машинного порабощения — строго говоря, первая «мега-машина», как сказал Мамфорд. Необычайный успех, обеспеченный одним махом — другие Государства будут лишь недоносками по отношению к такой модели. Император-деспот не является ни королем, ни тираном; последние появятся только в связи уже с частной собственностью.⁹ Тогда как в имперском режиме все публично: владение землей является общинным, каждый индивид — собственник лишь постольку, поскольку он член общины; знаменитая собственность деспота — это собственность предполагаемого Единства общин; а сами чиновники владеют землей, только если она причитается им по должности, пусть даже наследственной. Деньги могут существовать только лишь в форме налога, который чиновники должны императору, причем деньги не служат купле-продаже, ибо земля не существует как отчуждаемый товар. Это — режим *пехит*'а*, связи: нечто предоставляется или даже отдается без передачи в собственность, без частного присвоения, и компенсация за такое предоставление не приходит дающему ни в форме процента, ни в форме прибыли, но, скорее, в форме «ренты», которая достается ему, сопровождая обычную ссуду или дарение дохода.¹⁰

⁹ Сама идея азиатской деспотической формации появилась в XVIII веке, а именно у Монтескье, но использовалась для описания развитого государства империй и соответствовала абсолютной монархии. Совершенно иная точка зрения принадлежит Марксу, который восстанавливает это понятие, чтобы определить архаичные империи. Главные тексты в этом отношении это: Marx, *Grundrisse*. Pléiade II, pp. 312 sq.; Wittfogel, *Le despotisme oriental*, Ed. de Minuit (и предисловие Видаль-Наке к первому изданию, которое было снято во втором издании по просьбе Виттфогеля); Tökei, *Sur le mode de production asiatique*, Studia historica 1966; и исследования в: C.E.R.M., *Sur le mode de production asiatique*, Ed. Sociales.

* Долговое обязательство под гарантию личной свободы (*лат.*). — Прим. пер.

¹⁰ Варрон сочинил знаменитый каламбур о *пехит* и *пес суит фит* (= вещь не становится собственностью того, кто ее получает). Действительно, *пехит* — фундаментальная форма архаичного римского права, где то, что накладывает обязательства, не является соглашением между договаривающимися сторонами, а только лишь словом кредитора или дарителя в магико-религиозном модусе. Это не контракт (*mancipatio*), и он не включает в себя ни купли-продажи, пусть даже отложенной, ни выгоды, хотя, как нам кажется, он мог бы включать в себя своего рода ренту. См. прежде всего: Pierre Noailles, *Fas et Jus*, Les Belles Lettres; и Дюмезиля, настаивающего на коннекции между *пехит* и магической связью: *Mitra-Varuna*, pp. 118–124.

Маркс-историк и Чайльд-археолог сходятся в следующем пункте — архаичное имперское Государство, подключающееся к сверхкодированию сельскохозяйственных общин, предполагает, по крайней мере, некое развитие их производительных сил, поскольку нужен потенциальный излишек, способный конституировать Государственный склад, поддерживать специализированный ремесленный труд (металлургия) и прогрессивно вызывать публичные функции. Вот почему Маркс связывал архаичное Государство с определенным «способом производства». Однако происхождение этих неолитических государств все более и более отодвигается в прошлое. Итак, когда мы догадываемся о почти палеолитических империях, то речь идет не просто о количестве времени, а именно о качественном изменении проблемы. *Чатал-Хююк* в Анатолии порождает наиболее мощную имперскую парадигму: именно склад некультивированных семян и относительно прирученных животных из разных территорий проводит (и позволяет провести) — вначале наудачу — скрещивания и селекции, *откуда возникают сельское хозяйство и мелкое животноводство*.¹¹ Несложно усмотреть значимость такого изменения в данных проблемах. Вовсе не склад предполагает потенциальный излишек, а совсем наоборот. Уже не Государство предполагает продвинутые сельскохозяйственные общины и развитые производительные силы; напротив, Государство располагается прямо посреди собирателей-охотников без предшествующих сельского хозяйства и металлургии, и имен-

¹¹ См. раскопки и исследования: Mellaart, J. *Earliest Civilizations in the Near East, et Çatal Hüyük*, Londres. Архитектор-градостроитель Джейн Джекобс извлекла отсюда имперскую модель, которую она называет «Новым Обсидианом» (по названию вулканического стекла, служившего для создания инструментов) и которая могла бы снова возвратиться в начале неолита и даже намного раньше. Она настаивает на «городском» происхождении сельского хозяйства и на роли гибридизации, имевшей место на городских складах семян, — именно сельское хозяйство предполагает склад, а не наоборот. В исследовании, которое вскоре будет опубликовано, Жан Робер анализирует тезисы Меллаарта и гипотезу Джейн Джекобс, используя их в новых перспективах: Robert, Jean. *Décoloniser l'espace*.

но оно создает сельское хозяйство, животноводство и металлургию сначала на своей собственной почве, а затем навязывая их окружающему миру. Уже не деревня постепенно создает город, а именно город создает деревню. Как раз не Государство предполагает способ производства, но наоборот, именно Государство делает из производства «способ». Исчезают последние доводы в пользу того, чтобы предполагать постепенное развитие. Вроде семян в мешке, где все начинается с перемешивания наудачу. «Государственная и городская революция» может быть палеолитической, а не неолитической, как полагал Чайльд.

Эволюционизм ставился под вопрос разными способами (зигзагообразные движения; этапы, отсутствующие то здесь, то там; неустранимые всеобъемлющие купюры-разрывы). Мы увидели, как именно Пьер Кластр пытался разрушить эволюционистскую рамку с помощью двух тезисов: 1) так называемые первобытные общества были не обществами без Государства, в том смысле, что они не сумели достичь определенной стадии, но являлись контр-Государственными обществами, организующими механизмы, которые предотвращали форму-Государство, делая невозможной его кристаллизацию; 2) когда Государство возникает, то возникает в виде неустранимой купюры-разрыва, ибо не является результатом постепенного развития производительных сил (даже «неолитическая революция» не может определяться в терминах экономической инфраструктуры).¹² Однако мы не порываем с эволюционизмом, устанавливая чистую купюру саму по себе, — Кластр, завершая свою работу, не отвергал существование и автаркию контр-Государственных сооб-

¹² Clastres, *La société contre l'Etat*. Мы увидели, как, согласно Кластру, примитивная война была одним из главных предотвращающих Государство механизмов, поскольку она поддерживает оппозицию и рассеивание малых сегментарных групп. А также, с данной точки зрения, примитивная война остается подчиненной механизмам заговора и не становится автономной в машине, даже когда включает в себя специализированное тело.

ществ и приписывал их механизмы сверхудивительному предчувствию того, что они предотвращали и чего еще не существовало. Более обобщенно, мы удивляемся тому странному равнодушию, какое этнография выказывает по отношению к археологии. Мы бы сказали, что этнологи, замкнутые на своих территориях, хотят сравнивать эти территории абстрактным или, по крайней мере, структурным образом, но отказываются от того, чтобы противопоставлять их археологическим территориям, которые скомпрометировали бы их автаркию. Они вытаскивают фотографии своих первобытных людей, но заранее отвергают сосуществование и взаимоналожение обеих карт — этнографической и археологической. Однако Чатал-Хююк имел зону влияния, простирающуюся до трех тысяч километров; и как можно оставлять неопределенной всегда возвращающуюся проблему сосуществования первобытных обществ и империй, даже неолитических? Пока мы не принимаем во внимание археологию, вопрос об отношении между этнографией и историей сводится к идеалистическому противопоставлению и не освобождается от абсурдной темы общества без истории, или общества против истории. *Государство — это не все, именно потому, что государства существовали всегда и везде.* Не только письмо предполагает Государство, его предполагают также речь, язык и языковая деятельность. Самодостаточность, автаркия, независимость, предсуществование первоначальных общин — вот мечта этнолога: не то, чтобы эти общины с необходимостью зависели от государств, но они сосуществовали с ними в сложной сети. Вероятно, «сначала» первобытные сообщества поддерживали друг с другом далекие (а не только непосредственные) связи и эти отношения передавались благодаря Государствам, даже если Государства осуществляли их локальный и частичный захват. Речь сообществ и языки, независимо от письма, определяют не закрытые группы (тех, кто понимает друг друга), а, прежде всего, отношения между группами, не понимающими друг друга —

если и существует язык, то именно между теми, кто не говорит на одном и том же языке. Именно для этого и создается язык — для перевода, а не для коммуникации. А в первобытных обществах имеется столько же тенденций, которые «разыскивают» Государство, столько же векторов, работающих в направлении Государства, сколько есть движений внутри Государства или вне его, кои стремятся к тому, чтобы отодвинуться от него, оградиться от него, изменить или даже уничтожить его — все сосуществует в постоянном взаимодействии.

Экономический эволюционизм невозможен — мы не можем верить даже в разветвленную эволюцию: «собираатели — охотники — животноводы — сельскохозяйственные рабочие — промышленные рабочие». Этологический эволюционизм не лучше: «кочевники — полукочевники — оседлые». Не лучше и экологический эволюционизм: «рассеянная автаркия локальных групп — деревни и поселки — города — государства». Все, что нужно, — так это заставить взаимодействовать эти абстрактные эволюции, чтобы разрушился любой эволюционизм: например, именно город создает сельское хозяйство, не проходя через поселки. Еще пример: кочевники не предшествуют оседлым; скорее, номадизм — это движение, становление, которое аффектирует оседлых, так же, как переход к оседлости — это остановка, фиксирующая кочевников. Грязнов в связи с этим показал, как самый древний номадизм может быть в точности приписан только тому населению, которое оставляет свою квазигородскую оседлость, или свое первобытное странствование, дабы начать кочевой образ жизни.¹³ Именно в этих условиях кочевники изобретают машину войны как то, что оккупирует или заполняет кочевое пространство, а также противостоит городам и Государствам, которые

¹³ Согласно Грязнову, именно оседлые фермеры начинают номадизироваться в степи в бронзовом веке — это случай зигзагообразного движения в эволюции. См. *Sibérie du Sud*, Nagel, pp. 99, 133–134.

стремится уничтожить. У первобытных народов уже были механизмы войны, способствовавшие тому, чтобы помешать формированию Государства; но эти механизмы меняются, когда обретают автономию в специфической машине номадизма, дающей отпор Государствам. Между тем мы не можем сделать из сказанного вывод о наличии эволюции, пусть даже зигзагообразной, которая шла бы от первобытных народов к государствам, от государств к номадическим машинам войны; или, по крайней мере, зигзаг является не последовательным, а проходит через локусы топологии, определяющей здесь первобытные общества, там — Государства, а еще где-то — машины войны. И даже когда Государство присваивает себе машину войны, вновь меняя свою природу, это — феномен транспортировки, передачи, а не эволюции. Кочевник существует лишь в становлении и взаимодействии; то же верно и для первобытного человека. История только и делает, что транслирует сосуществование становлений в наследование. А коллективы могут быть кочующими стадами, полuosедлыми, оседлыми или номадическими, не являясь тем не менее подготовительными стадиями Государства, которое уже там — в другом месте или в стороне.

Можно ли, по крайней мере, сказать, что собиратели-охотники — это «подлинные» первобытные люди, и они, несмотря ни на что, остаются основанием или минимальной предпосылкой для государственной формации, как бы далеко назад по времени мы их не помещали? Такая точка зрения может быть принята только при условии, если мы придерживаемся крайне недостаточной концепции причинности. Верно, что гуманитарные науки — со своими материалистическими, эволюционистскими или даже диалектическими схемами — застревают на богатстве и сложности таких каузальных отношений, какими они появляются в физике или даже в биологии. Физика и биология одаривают нас перевернутой причинностью,

причинностью *без конечной цели*, которая тем не менее свидетельствует о воздействии будущего на настоящее или настоящего на прошлое — например, сходящаяся волна и предвосхищаемый потенциал, кои предполагают инверсию времени. Именно эти перевернутые причинности разбивают эволюцию больше, чем купюры-разрывы или зигзаги. Сходным образом, в области, которая нас занимает, мало сказать, что неолитическое или даже палеолитическое Государство, однажды появившись, реагирует на окружающий мир собирателей-охотников; оно — прежде, чем появиться — уже действует как актуальный предел, который эти первобытные общества со своей стороны предотвращают, или как точка, к которой они сходятся, но которую могут достичь, только исчезнув. В этих обществах, одновременно, существуют векторы, движущиеся по направлению к Государству, механизмы, предотвращающие его, и точка схождения, отодвигающаяся, будучи расположенная вовне, по мере того, как мы к ней приближаемся. Предотвращать — то же, что и предвосхищать. Конечно же Государство начинает существовать не одним и тем же способом, и не одним и тем же способом оно предсуществует в виде предотвращаемого предела; отсюда его неустранимая контингентность. Но чтобы придать позитивный смысл идее «предчувствия» того, чего еще не существует, нужно показать, как то, что еще не существует, уже действует в иной форме, нежели в форме своего существования. Однажды появившись, Государство реагирует на собирателей-охотников, навязывая им сельское хозяйство, животноводство, экстенсивное разделение труда и т.д. — таким образом, оно действует в форме центробежной или расходящейся волны. Но прежде чем появиться, Государство уже действует в форме сходящейся или центростремительной волны охотников-собирателей, *волны, которая аннулируется именно в точке схождения, отмечающей инверсию знаков или появление Государства* (отсюда внутренняя и

функциональная нестабильность таких первобытных обществ).¹⁴ Итак, с этой точки зрения необходимо продумать одновременность или сосуществование обоих противоположных движений, обоих направлений времени — первобытных народов «до» Государства и Государства «после» первобытных народов — как если бы две волны, как нам кажется, исключали друг друга или следовали друг за другом, развертываясь, одновременно, в микрологическом, микрополитическом и «археологическом» молекулярном поле.

Существуют коллективные механизмы, одновременно предотвращающие и предвосхищающие формирование центральной власти. Таким образом, центральная власть проявляется в зависимости от *порога или степени*, за которыми то, что предвосхищено, обретает или не обретает консистенцию, а то, что предотвращено, перестает быть и прибывать. И этот порог консистенции, или принуждения, не является эволюционным, он сосуществует с тем, что еще должно пересечь его. Более того, следовало бы различать пороги консистенции: город и Государство, насколько бы взаимодополнительны они ни были, — это не одно и то же. «Городская революция» и «государственная революция» могут совпадать, но не смешиваться. В обоих случаях существует центральная власть, но это не одна и та же фигура. Некоторые авторы сумели провести различие между имперской, или дворцовой, системой (дворец-храм) и урбанистической, городской системой. В обоих случаях существует город, но в одном случае город — это расширение дворца или храма, а в другом случае дворец, храм — это конкретия города. В одном случае, город по преимуществу — это столица, в другом случае — метрополия. Шумер уже свидетельствует в пользу выбора-города в отличие от имперского выбора Египта. Но в еще большей мере именно Среди-

¹⁴ Жан Робер высвобождает такое понятие «инверсии знаков и посланий»: «В первой фазе информация циркулирует главным образом от периферии к центру, но, начиная с некоторой критической точки, город начинает излучать в направлении сельского мира послания все более и более императивные», и город становится экспортером (*Décoloniser l'espace*).

земноморский мир — с его пеласгами, финикийцами, греками, карфагенянами — создает городскую ткань, отличную от имперских организмов Востока.¹⁵ Опять же встающий здесь вопрос — это вопрос не эволюции, а двух порогов консистенции, которые сами сосуществуют. Различия касаются лишь нескольких аспектов.

Город — коррелят дороги. Он существует лишь в зависимости от циркуляции и циклов; он — выделенная точка на циклах, которые создают ее или которых создает она. Он определяется входами и выходами — нужно, чтобы что-то вошло в него и вышло из него. Он навязывает частоту. Она проводит поляризацию материи — инертной, живой или человеческой; он является причиной того, что *phylum*, потоки, проходят то тут, то там вдоль горизонтальных линий. Это феномен *трансконсистенции*, это *сеть*, ибо он фундаментально связан с другими городами. Он представляет порог детерриторизации, ибо нужно, чтобы какой-либо материал был достаточно детерриторизован, дабы войти в сеть, подчиниться поляризации, следовать за циклом городского и дорожного перекодирования. Максимум детерриторизации проявляется в тенденции торговых и приморских городов отделяться от внутренней территории, от сельской местности (Афины, Карфаген, Венеция...). Мы часто настаивали на торговом характере города, но торговля тут также является духовной, как в сети монастырей или городов-храмов. Города — это точки-циклы любого рода, создающие контрапункт на горизонтальных линиях; они производят полное, но локальное, интегрирование от города к городу. Каждый город конституирует центральную власть, но это власть поляризации или промежуточной среды, власть вынужденной координации. Вот откуда уравнительная претензия

¹⁵ О китайских городах и их подчинении имперскому принципу см.: Balazs, E. *La bureaucratie céleste*, Gallimard. И Braudel, *Civilisation matérielle et capitalisme*, p. 403: «В Индии, как и в Китае, социальные структуры отказывают городу в прогрессивном развитии, предлагая ему, так сказать, материал плохой пробы, непокорный материал. <...> Дело в том, что общество захвачено — то, что называется схватыванием, — в своего рода нередуцируемой системе, в своего рода предварительной кристаллизации».

такой власти, какую бы форму она ни принимала — тираническую, демократическую, олигархическую, аристократическую... Городская власть изобретает идею *магистратуры*, крайне отличную от *функционирования* Государства.¹⁶ Но кто скажет, где обитает наивеличайшее гражданское насилие?

Действительно, Государство ведет себя иначе — оно является феноменом *интраконсистенции*. Оно заставляет совместно *резонировать* точки, с необходимостью являющиеся уже не городами-полюсами, а крайне разными точками порядка — географическими, этническими, лингвистическими, духовными, экономическими, технологическими особенностями... Оно вынуждает город резонировать с деревней. Оно действует посредством стратификации, то есть формирует вертикальную и иерархизированную совокупность, пересекающую горизонтальные линии в глубине. Следовательно, оно удерживает те или иные элементы, только разрывая их отношения с другими элементами, ставшими внешними, только тормозя, замедляя или контролируя эти отношения; если у самого Государства есть собственная окружность, то это — внутренняя окружность, изначально зависящая от резонанса, это — зона рекуррентии, изолирующая себя от остатка сети, даже с риском еще более строго контролировать свои отношения с этим остатком. Вопрос не в знании того, является ли то, что удерживается, естественным или же искусственным (границы), ибо в любом случае существует детерриторизация; но детерриторизация здесь — результат того, что территория сама берется как объект, как материал, дабы стратифицировать, дабы вызывать резонанс. Итак, централь-

¹⁶ Во всех этих смыслах Франсуа Шателе ставит под вопрос классическое понятие — Город-государство, и выражает сомнение, что Афинский город мог быть уподоблен какому-то Государству (*La Grèce classique, la Raison, l'Etat // En marge, l'Occident et ses autres*, Aubier). Аналогичные проблемы стояли и перед исламом, а также перед Италией, Германией и Фландрией, начиная с XI века, — политическая власть не предполагает там форму-Государство. Например, сообщество ганзейских городов — без служащих, без армии и даже без юридического лица. Город всегда находится в сети городов, но, справедливости ради, надо сказать, что «сеть городов» не совпадает «с мозаикой Государств» — обо всех этих положениях см.: Fourquet, François; Murard, Lion. *Généalogie des équipements collectifs*, 10–18, pp. 79–106.

ная власть Государства иерархична и конституирует чиновничество; центр находится не в середине, а наверху, ибо единственный способ, каким она может объединять то, что изолирует, — подчинение. Конечно, существует многообразие государств, не меньшее, чем многообразие городов, но такие многообразия не одного и того же типа — государств столько же, сколько вертикальных рассечений в глубине, причем каждое отделено от других, тогда как город неотделим от горизонтальной сети городов. Каждое Государство — это глобальное (а не локальное) интегрирование, избыток резонанса (а не частоты), действие по стратификации территории (а не поляризации среды).

Можно восстановить, как первобытные общества предотвращают сразу оба порога, предвосхищая их. Леви-Строс показал, что одни и те же деревни способны к двум репрезентациям: одна — сегментарная и уравнительная, другая — всеохватывающая и иерархизированная. Это похоже на *два потенциала* — один предвосхищает центральную точку, общую для двух горизонтальных сегментов, другой, напротив, предвосхищает центральную точку, внешнюю по отношению к прямой линии.¹⁷ Дело в том, что первобытные общества не испытывают нехватки в формациях власти — у них таких формаций даже слишком много. Но как раз данные механизмы, удерживающие подобные формации власти от того, чтобы резонировать вместе в высшей точке, и от того, чтобы поляризоваться в общей точке, мешают потенциальным центральным точкам кристаллизоваться, обретать консистенцию, ибо именно такие механизмы удерживают эти формации власти от того, чтобы резонировать вместе в высшей точке, и от того, чтобы поляризоваться в общей точке, — круги не являются концентрическими, а два сегмента нуждаются в третьем, через который они коммуницируют.¹⁸ В этом смысле перво-

¹⁷ Lévi-Strauss, *Anthropologie structurale*, Pion, pp. 167–168.

¹⁸ Луи Берт на точном примере анализирует необходимость «третьей деревни», дабы помешать замкнуться закругляющейся кривой: Berthe, Louis. *Aînés et cadets, l'alliance et la hiérarchie chez les Baduj*, pp. 214–215.

бытные общества остаются по эту сторону и порога-города, и порога-Государства.

Если мы рассмотрим теперь оба порога консистенции, то ясно увидим, что они подразумевают детерриторизацию в отношении примитивных территориальных кодов. И не нужно спрашивать, что является первым, города или Государства, городская или государственная революции, ибо и то, и другое взаимно предполагают друг друга. Нужны и мелодическая линия городов, и гармоническое рассечение государств — дабы произвести рифление пространства. Единственный вопрос, который ставится, — это вопрос о возможности инверсного отношения внутри такой взаимности. Ибо, если имперское архаичное Государство с необходимостью включает в себя крупные города, то эти города остаются более или менее подчиненными Государству — в зависимости от того, насколько Дворец сохраняет монополию на внешнюю торговлю. Напротив, город стремится к эмансипации, когда само Государственное *сверхкодирование* провоцирует *декодированные* потоки. Декодирование присоединяется к детерриторизации и усиливает ее — тогда необходимое перекодирование достигается благодаря либо определенной автономии городов, либо непосредственно через торговые и корпоративные города, освобожденные от формы-Государства. Именно в этом смысле возникают города, которые больше не имеют связи со своей собственной землей, поскольку обеспечивают торговлю между империями или, лучше сказать, сами конституируют свободную торговую сеть с другими городами. Таким образом, есть авантюра, свойственная городам, находящимся в самых напряженных зонах декодирования — например, в античном Эгейском мире, в западном мире Средневековья и Ренессанса. И не могли бы мы сказать, что капитализм — это плод городов, и возникает он, когда городское перекодирование стремится к тому, чтобы заменить Государственное сверхкодирование? Но это все-таки было бы неверно. Как раз-таки не города создают капитализм. Дело в том, что торговые и

банковские города, будучи непроемчивыми и равнодушными к удаленным от центра территориям, производят перекодирование, только тормозя общее сопряжение декодированных потоков. Если верно, что города предвосхищают капитализм, то, в свою очередь, предвосхищают они его, только одновременно предотвращая. Они по эту сторону такого нового порога. Итак, нужно распространить гипотезу механизмов сразу и на то, что предвосхищает, и на то, что подавляет, — эти механизмы играют роль не только в первобытных обществах, но также и в конфликте городов «против» Государства и «против» капитализма. Наконец, именно благодаря форме-Государству, а не форме-городу торжествует капитализм — это произошло, когда западные государства стали моделями реализации для аксиоматики декодированных потоков и, таким образом, заново покорили города. Как говорит Бродель, «каждый раз существуют два бегуна, Государство и Город» — две формы и две скорости детерриторизации, — «и обыкновенно Государство выигрывало <...>, оно дисциплинировало, насильственно или нет, города благодаря инстинктивной непреклонности, куда бы мы ни бросили наш взгляд во всей Европе <...>, оно присоединилось к галопу городов». ¹⁹ Однако услуга за услугу; действительно, если именно современное Государство сообщает капитализму свои модели реализации, тогда то, что таким образом осуществляется, является независимой, всемирной аксиоматикой, которая похожа на один-единственный Город — мегаполис или «Мегамашину», — чьими частями или кварталами являются государства.

¹⁹ Braudel, *Civilisation matérielle et capitalisme*, pp. 391–400 (об отношениях город—Государство на Западе). И как замечает Бродель, одна из причин победы государств над городами начиная с XV века состояла в том, что только Государство обладало способностью полностью присваивать машину войны — посредством территориального рекрутирования людей, материальных инвестиций, индустриализации войны (именно на оружейных заводах — больше чем на фабриках для булавок — появляется серийное производство и механическое деление). Торговые города, напротив, нуждаются в быстрых войнах, прибегают к наемникам и могут только встраивать машину войны.

Мы определяем общественные формации с помощью *машинных процессов*, а не с помощью способов производства (которые, напротив, зависят от процессов). Значит, первобытные общества определяются механизмами заговора-предвосхищения; общества в Государстве определяются аппаратами захвата; городские общества — инструментами поляризации; номадические общества — машинами войны; наконец, международные, или, скорее, все-ленные, организации определяются всеохватностью неоднородных общественных формаций. Итак, именно потому, что эти процессы суть переменные величины сосуществования, являющиеся объектом социальной топологии, рядом с ними пребывают разнообразные соответствующие формации. И они сосуществуют двумя способами — внешним и внутренним. С одной стороны, действительно, первобытные общества не предотвращают образования империи, или Государства, при этом не предвосхищая ее, но они не могут предвосхищать ее так, чтобы она уже являлась частью их горизонта. Государства не производят захвата, если только то, что захватывается, не сосуществует, не сопротивляется в первобытных обществах или не ускользает в новых формах — таких, как города, машины войны... Числовая композиция машин войны накладывается на примитивную родовую организацию и, одновременно, противостоит геометрической организации Государства, физической организации города. Именно такое внешнее сосуществование — такое взаимодействие — выражается само по себе в международных совокупностях. Ибо капитализм, чтобы сформироваться, вовсе не дожидается этого — начиная с неолита, даже с палеолита, мы находим следы вселенских организаций, кои свидетельствуют о торговле на дальние расстояния и, одновременно, пересекают самые разные общественные формации (мы увидели это в случае металлургии). Проблема диффузии, диффузионизма, плохо поставлена, пока предполагает некий центр, из которого начиналась бы диффузия. Диффузия имеет место, только коммуницируя с

потенциалами крайне различных порядков — любая диффузия происходит в промежуточной среде, благодаря промежуточной среде, как все, что «прорастает» по типу ризомы. Вселенская международная организация не возникает из имперского центра, который навязывал бы себя внешней среде, дабы сделать ее однородной; она не сводится более к отношениям между формациями одного и того же порядка — например, между государствами (Лига Наций, ООН...). Напротив, она конституирует промежуточную среду между разными сосуществующими порядками. А значит, она не является исключительно экономической или коммерческой, она также — религиозная, художественная и т.д. Именно в этом смысле мы будем называть международной организацией все, у чего есть способность переходить, одновременно, через различные общественные формации — государства, города, пустыни, машины войны, первобытные общества. Крупные исторические коммерческие формации не просто обладают городами-полисами, но также примитивными, имперскими и кочевыми сегментами, через которые они проходят, рискуя вновь появиться в другой форме. Самир Амин совершенно прав, говоря, что не бывает экономической теории международных отношений, даже когда такие отношения — экономические, и как раз потому, что они располагаются поверх неоднородных формаций.²⁰ Вселенская организация не покидает Государства, даже имперского; имперское Государство становится только лишь ее частью, и оно становится такой частью своим особым способом, в соответствии со своим собственным порядком, состоящем в том, чтобы захватывать все, что может. Вселенская организация действует не благодаря постепенной гомогенизации, но благодаря тотализации,

²⁰ Эта тема часто развивается Самиром Амином: «Поскольку теория отношений между различными общественными формациями не может быть экономической теорией, постольку международные отношения, располагающиеся именно в этих рамках, не могут дать место экономической теории» (*Le développement inégal*, Ed. de Minuit, pp. 124 sq.).

благодаря принятию консистенции или консолидации различия как такового. Например, монотеистическая религия отличается от территориального культа своей претензией на универсальность. Но такая претензия не является гомогенизирующей, она имеет место лишь благодаря повсеместному распространению — таковым было христианство, кое становится империей и городом, вызывая при этом к жизни также свои банды, пустыни, машины войны.²¹ Сходным образом, не бывает художественного движения, каковое не обладало бы собственными городами и империями, а также своими кочевниками, бандами и первобытными народами.

Мы можем возразить, что — по крайней мере, в случае капитализма — международные экономические отношения (а в пределе — все международные отношения) стремятся к гомогенизации общественных формаций. Мы сошлемся не только на холодное конкретное разрушение первобытных обществ, а также и на падение последних деспотичных формаций — например, на оттоманскую империю, противопоставившую капиталистическим требованиям мощное сопротивление и инертность. Однако такое возражение справедливо лишь отчасти. В той мере, в какой капитализм конституирует аксиоматику (продукцию для рынка), все государства и все общественные формации стремятся стать *изоморфными* в качестве моделей реализации — есть только один-единственный центрированный мировой рынок, капиталистический рынок, где торгуют даже так называемые социалистические страны. Итак, всемирная организация перестает проходить «между» однородными формами, ибо она обеспечивает изоморфию формаций. Но было бы ошибкой смешивать изоморфизм с однородностью. С одной стороны, изоморфия допускает — и даже вызывает — существование обширной неоднородности государств (демократические, тоталитарные и, в особенности, «социалистические»

²¹ Ср.: Lacarrière, Jacques. *Les hommes ivres de Dieu*, Fayard.

Государства — это не фасады). С другой стороны, международная капиталистическая аксиоматика действительно удостоверяет изоморфию различных формаций только там, где развивается и расширяется внутренний рынок, то есть — «в центре». Но она поддерживает некую периферийную полиморфию, а фактически требует ее, если только такая аксиоматика не насыщена, если только она активно отодвигает собственные пределы — отсюда существование на периферии разнородных общественных формаций, *кои конечно же не конституируют пережитки или переходные формы*, ибо реализуют сверхсовременное капиталистическое производство (нефть, шахты, плантации, промышленное оборудование, черная металлургия, химия...), но которые тем не менее являются докапиталистическими или сверхкапиталистическими, благодаря иным аспектам их производства и благодаря вынужденной неадекватности их внутреннего рынка по отношению к мировому рынку.²² Когда международная организация становится капиталистической аксиоматикой, она продолжает предполагать неоднородность общественных формаций, она вызывает и организуют свой «третий мир».

Имеет место не только внешнее сосуществование формаций, есть также и внутреннее сосуществование машинных процессов. Дело в том, что каждый процесс может функционировать также и под иной «властью», нежели его собственная; он может быть возобновлен властью, соответствующей иному процессу. Государство как аппарат захвата обладает *властью присвоения*; но эта власть состоит не только из того, что она захватывает все, что может, все, что воз-

²² Самир Амин анализирует такую специфику «периферийных формаций» Третьего мира и различает два главных вида — восточный и африканский, а также американский: «Америки, Азия и арабский Восток, Черная Африка не были трансформированы тем же самым образом, ибо они не были интегрированы в один и тот же этап капиталистического развития в центре и, следовательно, не выполняли одних и тех же функций в этом развитии» (*Le développement inégal*, pp. 257 sq.; *L'accumulation à l'échelle mondiale*, Ed. Anthropos, pp. 373–376). Однако мы увидим, что в определенных условиях центр и периферия вынуждены обмениваться своими характеристиками.

можно, в материи, определяемой как *phylum*. Аппарат захвата присваивает себе также и машину войны, инструменты поляризации, механизмы предвосхищения-заговора. Наоборот, речь идет о том, что у механизмов предвосхищения-заговора *большая власть переноса* — они действуют не только в первобытных обществах, но движутся и в городах, предотвращающих форму-Государство, в государствах, предотвращающих капитализм, в самом капитализме, поскольку он предотвращает или отодвигает собственные пределы. И они не довольствуются тем, чтобы подчиняться другим властям, а повторно формируют очаги сопротивления и заражения, как мы это видели в феноменах «банд», обладающих собственными городами, собственным интернационализмом и т.д. Сходным образом, машины войны обладают *властью метаморфозы*, которая конечно же допускает их захват Государствами, но также позволяет им сопротивляться такому захвату и возрождаться в других формах, с иными «целями», нежели война (революция?). Каждая власть — это сила детерриторизации, движущаяся вместе с другими и противостоящая им (даже у первобытных обществ есть собственные векторы детерриторизации). Каждый процесс может переходить под другими властями, а также подчинять другие процессы своей собственной власти.

Теорема XII. Захват

Можно ли постичь «обмен» между иноземными первобытными группами независимо от какой-либо ссылки на такие понятия, как склад, труд и товар? Кажется, что модифицированный маржинализм* дает нам средство для выдвижения гипотезы. Ибо маржинализм интересен

* Направление в экономической науке, считающее принцип снижающейся предельной полезности главным элементом теории стоимости, причем ведущая роль отводится использованию понятия предела. — *Прим. пер.*

не своей экономической — крайне слабой — теорией, а логической мощью, превращающей У.С. Джевонса, например, во что-то вроде Льюиса Кэрролла от экономики. Возьмем две абстрактные группы, одна из которых (*A*) отдает семена и получает топоры, а другая (*B*) наоборот. На чем же основывается коллективная оценка объектов? Она основана на *идее* последних полученных объектов, или, скорее, объектов, которые могут быть получены с той и с другой стороны, соответственно. Под «последним», или «маржинальным», мы должны понимать не самое недавнее, не окончательное, а, скорее, предыдущее, предпоследнее, то есть *последнее перед тем, как* явный обмен совсем перестал быть интересен менялам или вынудил их модифицировать собственную соответствующую сборку, дабы последние вошли в другую сборку. Мы действительно поймем, что группа *A* (те, кто сажает и убирает плоды [cueilleur-plantateur]), получающая топоры, обладает «идеей» количества топоров, которая вынудила бы ее к изменению сборки; а изготавливающая топоры группа *B*, обладает «идеей» количества семян, которое вынудило бы ее к изменению сборки. Можно сказать, что отношение семена—топоры определяется последней массой семян (для группы *B*), соответствующей последнему топору (для группы *A*). «Последнее» как объект коллективной оценки задает стоимость всей серии. Оно отмечает точный пункт, где должны воспроизводиться сборка, возобновляться новый финансовый год или новый цикл, начинаться обустройство на другой территории и дальше которого сборка не смогла бы продолжаться тем же образом. Таким образом, это действительно предпоследнее, некое предыдущее, ибо оно приходит до окончательного. Окончательное — это тот случай, когда сборка должна изменить природу: [группа] *B* должна бы сажать излишние семена, а [группа] *A* должна бы ускорить ритм своих собственных посадок, оставаясь на той же самой земле.

Теперь мы можем установить концептуальное различие между «пределом» и «порогом» — предел обозначает пред-

последнее, отмечающее необходимое возобновление, а порог обозначает окончательное, отмечающее неизбежное изменение. Именно экономические данные любого предприятия включают в себя оценку предела, за которым предприятию следовало бы модифицировать свою структуру. Маржинализм хочет показать частоту этого механизма предпоследнего — не только последние обмениваемые объекты, но и последний производимый объект или самый последний производитель, производитель-предел или маргинал, до которого сборка не меняется.²³ Это и есть экономика повседневной жизни. Например, что алкоголик называет *последним стаканом*? Алкоголик дает субъективную оценку, как долго он сможет продержаться. То, что он может продержаться — это и есть предел, в зависимости от которого — согласно тому, как алкоголик видит его, — он может начать [пить] снова (учитывая отдых, паузу...). Но за этим пределом имеется еще порог, который заставил бы алкоголика изменить сборку — изменить либо природу выпивки, либо обычные места и часы, когда он пьет; или, еще хуже, он вошел бы в суицидальную сборку или в медицинскую больничную сборку и т.д. Не имеет большого значения, что алкоголик обманывает самого себя; также не имеет большого значения, что он весьма двусмысленно использует тему «я собираюсь остановиться», тему последнего. Что принимается в расчет, так это существование спонтанного маржинального критерия и маргиналистской оценки, которые регулируют ценность всей серии «стаканов». То же самое значит *последнее слово* в сборке — семейная склока. Каждый партнер с самого начала оценивает объем или плотность

²³ Pirou, Gaétan. *Economie libérale et économie dirigée*, Ed. Sedes, t. I, p. 117: «Производительность маргинального рабочего определяет не только зарплату этого маргинального рабочего, но и зарплату всех других; так же, как в случае, когда речь шла о товарах, полезность последнего ведра воды или последнего мешка зерна управляет стоимостью не только этого ведра или мешка, но и всех других ведер или всех других мешков». (Маргинализм стремится определить количество сборки, тогда как любые виды качественных факторов участвуют в оценке «последнего».)

последнего слова, которое дало бы ему преимущество и закрыло дебаты, отмечая конец периода склоки или цикла сборки — с тем, чтобы все могло возобновиться. Каждый подсчитывает свои слова в зависимости от оценки такого последнего слова и заранее неопределенного срока, когда оно может быть предъявлено. А за последним словом (предпоследним) есть еще и другие слова, на сей раз окончательные, которые вели бы к другой сборке — например, к разводу, ибо превысили «меру». То же можно сказать и о *последней любви*. Пруст показал, как любовь может ориентироваться на свой собственный предел, на свой собственный край — она повторяет свой собственный конец. Затем следует новая любовь, так что каждая любовь является сериальной, и к тому же существует серия любовных увлечений. Но «по ту сторону» есть еще окончательное, где сборка изменяется, где любовная сборка уступает место художественной сборке — Работа, какую надо сделать, проблема Пруста...

Обмен — только явление: каждый партнер или каждая группа оценивает стоимость последнего полученного объекта (объекта-предела), и отсюда вытекает очевидная эквивалентность. Уравнивание — это результат двух неоднородных серий, обмен или коммуникация следуют из обоих монологов (*разглагольствование*). Нет ни меновой стоимости, ни потребительной стоимости, а есть, скорее, оценка «последнего» обеими сторонами (расчет риска, заключенного в преодолении предела), оценка-предвосхищение, принимающая во внимание как ритуальный характер, так и утилитарный, как сериальный характер, так и обменный. Оценка предела для каждой из групп присутствует с самого начала и уже управляет первым «обменом» между ними. Конечно, на самом деле есть и нащупывание, оценка, не отделимая от коллективного нащупывания. Но она не касается количества общественного труда, она касается идеи «последнего» (с той и с другой стороны) и совершается с переменной скоростью, но всегда быстрее, чем время, необходимое, чтобы действительно достичь послед-

него объекта или даже чтобы переходить от одной операции к другой.²⁴ В этом смысле оценка по существу носит предвосхищающий характер, то есть уже присутствует в первых терминах серии. Мы видим, что маржиналистская выгода (связанная с последним полученным объектом на обеих сторонах) является относительной не столько к абстрактно предполагаемому складу, сколько к соответствующей сборке обеих групп. Парето шел в этом направлении, когда говорил скорее об «офелимите»*, чем о маржиналистской полезности. Речь идет о *желательности* как компоненте сборки — каждая группа желает согласно стоимости последнего полученного объекта, по ту сторону которого она была бы вынуждена изменить сборку. И у любой сборки именно две стороны — машинизирование тела или объектов и высказывание группы. Оценка «последнего» — это коллективный отказ, которому соответствует *вся серия* объектов, то есть это — цикл или осуществление сборки. Таким образом, первобытные группы менял появляются как сериальные группы. Это особый режим, даже с точки зрения насилия. Ибо даже насилие может быть подвергнуто маржиналистской ритуальной обработке, то есть оценке «последнего насилия» постольку, поскольку оно пропитывает всю серию ударов (за пределами которых начался бы другой режим насилия). Раньше мы определяли первобытные общества через существование механизмов *предвосхищения-заговора*. Теперь мы лучше видим, как эти механизмы конституируются и распределяются — именно оценка

²⁴ О важности теории оценки и нащупывания в маржинализме см. критический доклад Фрадина: Fradin, *Les fondements logiques de la théorie néoclassique de l'échange*, Maspero. Для марксистов также существует нащупывающая оценка, но такая, которая может касаться только количества общественно необходимого труда; Энгельс говорит об этом именно в контексте докапиталистических обществ. Он обращается «к процессу зигзагообразной аппроксимации, к многочисленным нащупываниям в темноте», которые более или менее регулируются «необходимостью для каждого вернуться в конце концов к его расходам» (мы можем спросить себя, не восстанавливает ли эта последняя часть фразы что-то вроде маргиналистского критерия). См.: Engels, *préface au Capital*, livre III, Ed. Sociales, pp. 32–34.

* Понятие, введенное Парето в политэкономии для учета субъективного характера вкусов и предпочтений потребителей. Так, например, для курильщика «офелим» табак, хотя он совсем не полезен для здоровья. — *Прим. пер.*

«последнего» как предела конституирует предвосхищение, которое, одновременно, предотвращает «последнее» как порог, или как окончательное (новая сборка).

Порог приходит «после» предела, «после» последних объектов, какие могут быть получены, — он отмечает тот момент, когда явный обмен более не представляет интереса. Итак, мы полагаем, что склад возникает именно в данный момент; до этого могли существовать амбары обмена, амбары, наполненные специально для обмена, но не было никакого склада в собственном смысле слова. Именно обмен как раз-таки и не предполагает предварительного склада, он предполагает только «гибкость». Склад возникает лишь тогда, когда обмен перестает быть интересным, желательным для обеих сторон. Вдобавок должно существовать условие, которое создает заинтересованность в складе, его желательность (иначе мы скорее разрушили бы, растратили объекты, чем складировали их: растрата — это на самом деле то средство, благодаря которому первобытные группы предотвращают склад и поддерживают свою сборку). Склад сам зависит от нового типа сборки. И без сомнения, есть немало двусмысленности в выражениях «потом», «новый», «уступить место». Фактически порог уже там, но вне предела, который довольствуется тем, что размещает порог на некой дистанции, довольствуется тем, что держит его на дистанции. Проблема в том, чтобы узнать, что это за другая сборка, создающая актуальную заинтересованность в складе и его желательность. У склада, как нам кажется, есть необходимый коррелят — *либо сосуществование одновременно эксплуатируемых территорий, либо последовательность эксплуатации одной и той же территории*. Именно в этом пункте территории формируют Землю, уступают место Земле. Это — сборка, включающая с необходимостью склад и конституирующая в первом случае экстенсивную обработку земли, а во втором — интенсивную обработку земли (следуя парадигме Джейн Джекобс). Теперь мы видим, чем порог-склад отличается от предела-обмена — примитивные сборки охотников-собирателей обладали единством осуществления,

задаваемым эксплуатацией территории; здесь действует закон темпоральной последовательности, ибо сборка проявляет упорство, только меняя территорию в конце каждого осуществления (странствие [itinérance], странствование [itinération]); и в каждом осуществлении есть повторение или темпоральная серия, стремящаяся к последнему объекту как «индексу», как объекту-пределу или маргинальному объекту территории (итерация, управляющая очевидным обменом). Напротив, в другой сборке, в сборке склада, действует закон космического сосуществования, он касается одновременной эксплуатации различных территорий; когда же эксплуатация является последовательной, то последовательность осуществлений касается одной и той же территории; и в рамках каждого осуществления или эксплуатации сила сериальной итерации уступает место могуществу симметрии, а сила рефлексии — могуществу глобального сравнения. Таким образом, лишь в описательных терминах мы противопоставляем сериальные, странствующие или территориальные сборки (действующие благодаря кодам) и оседлые сборки, сборки совокупности или Земли (действующие благодаря сверхкодированию).

Земельная рента, в своей абстрактной модели, появляется именно благодаря сравнению разных территорий, эксплуатируемых одновременно, и благодаря последовательной эксплуатацией одной и той же территории. Самая плохая земля (или самая плохая эксплуатация) не включает в себя ренты, но делает так, что другие [земли] ее включают, «производят» ее компаративным образом.²⁵ Склад — это то, что позволяет сравнивать продуктивность, или урожайность (одни и те же посевы на разных землях, разнообразные последовательные посевы на одной и той же земле). Категория *последнего* подтверждает здесь собственную экономическую значимость, но полностью меняет свой смысл — она уже обозначает не конечный пункт самовыполняющегося

²⁵ Ricardo, *Principes de l'économie politique et de l'impôt*, Flammarion, ch. II. И анализ Марксом обеих форм «дифференциальной ренты», *Капитал*, т. III, 6-й раздел.

движения, а центр симметрии для двух движений, одно из которых ослабляется, а другое усиливается; она уже обозначает не пределы упорядоченной серии, а самый нижний элемент главной совокупности, причем такой порог совокупности — наименее богатая земля из всех одновременно эксплуатируемых земель.²⁶ Земельная рента гомогенизирует, уравнивает разные производительности, сообщая *собственнику почвы* об избытке самой высокой производительности по отношению к самой низкой — ибо цена (включая прибыль) устанавливается на основе наименее производительной земли, а рента добывается сверхприбыли, относящейся к наилучшим землям; рента добывается «разницы, получаемой благодаря использованию двух равных количеств капитала и труда». Это и есть тот тип аппарата захвата, который неотделим от процесса относительной детерриторизации. Земля как объект сельского хозяйства, действительно, предполагает детерриторизацию, ибо вместо того, чтобы люди распределялись на подвижной территории, именно доли земли распределяются между людьми в зависимости от общего количественного критерия (плодородие на равной площади). Вот почему земля — вопреки другим стихиям — формирует основание для рифления, действующего посредством геометрии, симметрии, сравнения: другие стихии — вода, воздух, ветер и недра — не могут быть рифлеными и посему приносят ренту лишь благодаря тому, что они определяются своим местом, то есть землей.²⁷ У земли есть две возможности для детерриторизации: ее качественные различия *сравнимы* друг с другом с точки зрения количества, устанавливающего соответствие между ними и пригодными для

²⁶ Конечно же наименее плодородная земля, теоретически, также является самой недавней или последней в серии (это позволяет многим комментаторам сказать, что Рикардо своей теорией ренты предвосхитил маргинализм). Но это даже не правило, и Маркс показывает, что «увеличивающееся движение» возможно так же, как и «убывающее движение», и что лучшая местность «может оказаться в последнем ряду» (См.: Pléiade, II, pp. 1318–1326).

²⁷ Рикардо, р. 64: «Если воздух, вода, упругость пара и давление атмосферы могут обладать качественными переменными и пределами; если, более того, мы можем присвоить их себе, то все эти агенты дают ренту, которая развивалась бы по мере того, как мы использовали их различные качества».

эксплуатации частями земли; все эксплуатируемые земли могут быть *присваиваемы* — в противоположность внешней дикой земле — с точки зрения монополии, фиксирующей одного или нескольких собственников почвы.²⁸ Именно вторая возможность обуславливает первую. Но обе возможности вместе предотвращаются территорией — в территориализации земли — и теперь осуществляются благодаря складу и в сельскохозяйственной сборке, посредством детерриторизации территории. Присвоенная и поддающаяся сравнению земля извлекает из территорий центр схождения, расположенный вовне; земля — это идея города.

Рента — не единственный аппарат захвата. Дело в том, что склад, в качестве своего коррелята, обладает не только землей — с двойной точки зрения сравнения земель и монополистического присвоения земли; в качестве другого коррелята он обладает трудом — с двойной точки зрения сравнения деятельности и монополистического присвоения труда (сверхтруд). Опять же именно благодаря складу деятельность типа «свободное действие» должна сравниваться, связываться и подчиняться в однородном и общем количестве, называемом трудом. Не только труд касается

²⁸ Обе формы *дифференциальной ренты* основаны на сравнении. Но Маркс принимает существование и другой формы, недооцененной теоретиками (Рикардо), но о которой на самом деле осведомлены практики — это *абсолютная рента*, основанная на особом характере земельной собственности как монополии. Действительно, земля не является таким же товаром, как другие товары, ибо она невоспроизводима на полностью определяемом уровне. Таким образом, существует монополия, в отношении которой нельзя говорить о «монопольной цене» (монопольная цена и соответствующая вероятная рента — совершенно разные вопросы). В наиболее простом изложении дифференциальная рента и абсолютная рента отличаются следующим образом: поскольку цена продукта рассчитывается на основе самой плохой почвы, то предприниматель с наилучшей почвой имел бы сверхприбыль, если бы последняя не трансформировалась в дифференциальную ренту собственника; но, с другой стороны, поскольку сельскохозяйственная прибыль пропорционально больше, чем промышленная (?) прибыль, то сельскохозяйственный предприниматель вообще имел бы сверхприбыль, если бы та не трансформировалась в абсолютную ренту собственника. Таким образом, рента — это элемент, необходимый для уравнивания или пропорционального налогообложения прибыли: либо уравнивание сельскохозяйственной нормы прибыли (дифференциальная рента), либо уравнивание этой ценовой ставки с ценовой ставкой промышленной прибыли (абсолютная рента). Некоторые марксистские экономисты предложили совершенно иную схему абсолютной ренты, которая, однако, сохраняет необходимое различие, введенное Марксом.

склада — будь то его учреждение, сохранение, восстановление или использование, — но и сам труд является складываемой деятельностью, так же как рабочий — это складываемый «деятель». Более того, даже когда труд четко отделен от сверхтруда, мы не можем удерживать их в состоянии независимости друг от друга — не существует так называемого необходимого труда и сверхтруда помимо него. Труд и сверхтруд — это строго одно и то же: один говорит о количественном сравнении деятельности, второй — о монополистическом присвоении труда предпринимателем (и уже не владельцем). Как мы увидели, даже когда они различны и отделены, не существует труда, который не проходил бы через сверхтруд. Сверхтруд — это не то, что превосходит труд; напротив, труд — это то, что следует из сверхтруда и предполагает его. Это — единственное, что мы можем сказать о стоимости-труде и об оценке, касающейся количества общественного труда, тогда как первобытные группы находились в режиме свободного действия или деятельности в непрерывной вариации. Поскольку выгода предпринимателя зависит от сверхтруда и прибыли, она конституирует аппарат захвата, так же как и рента собственника — не только сверхтруд захватывает труд и не только собственник захватывает землю, но труд и сверхтруд являются аппаратом захвата деятельности, так же как сравнение земель и присвоение земли — это аппарат захвата территории.²⁹

Наконец, помимо ренты и прибыли, существует третий аппарат захвата — налог. Чтобы понять эту третью форму и ее созидательную значимость, мы сначала должны определить внутреннее отношение, от которого зависит товар.

²⁹ Бернар Шмитт (Schmitt, Bernard. *Monnaie, salaires et profit*, Ed. Castella, pp. 289—290) различает две формы захвата или «каптажа [собираания, улавливания, перехватывания]», кои, впрочем, соответствуют двум главным фигурам охоты — *ожиданию* и *преследованию*. Рента была бы остаточным захватом, или захватом ожидания, ибо она зависит от внешних сил и действует посредством переноса; прибыль была бы захватом преследования, или завоевания, ибо она выводится из специфического действия и требует присущей ему силы или «творчества». Однако это верно лишь по отношению к дифференциальной ренте; как заметил Маркс, абсолютная рента представляет «созидательный» аспект земельной собственности (*Pléiade* II, p. 1366).

Относительно греческого города, а именно коринфской тирании, Эдуард Вилл показал, что деньги вытекают не из обмена, не из товара, не из требований торговли, а из налога, который впервые вводит возможность уравнивания деньги = товары или услуги и превращает деньги в общий эквивалент. Действительно, деньги — это коррелят склада, подмножество склада, где они могут конституироваться любым объектом, сохраняемым долгое время: в случае Коринфа металлические деньги сначала распределяются у «бедных» (как тех, кто является производителями), которые ими пользуются, дабы покупать права на землю; и таким образом они переходят в руки «богатых» при условии, что там они не задерживаются, что все — и богатые, и бедные — платят налог, бедные — товарами или услугами, богатые — деньгами, так что устанавливается эквивалентность: деньги — товар и услуги.³⁰ Мы увидим, что означает эта ссылка на богатых и бедных в уже позднем случае Коринфа. Но, независимо от контекста и особенностей этого примера, деньги всегда распределяются аппаратом власти при условии сохранения, движения, обращения, так что эквивалентность товары—услуги—деньги находит возможность установиться. Таким образом, мы не верим в последовательность, когда сначала имеется трудовая рента, затем натуральная рента, а потом уже денежная рента.

³⁰ Эдуард Вилл (Will, Edouard. *Korinthiaka*, Ed. De Boccard, pp. 470 sq.) анализирует довольно поздний, но образцовый, случай реформ тирана Кипсела в Коринфе: а) часть земель, принадлежащих родовой аристократии, конфискуются и распределяются между бедными крестьянами; б) но одновременно конституируется запас металлических денег благодаря изъятию их у изгнанных лиц; в) сами эти деньги распределяются среди бедных, но для того, чтобы те отдали их прежним владельцам в качестве компенсации; г) прежние владельцы выплачивают из них свои налоги в деньгах так, чтобы обеспечить движение, или обращение, денег и эквивалентность между деньгами, товарами и услугами. Мы уже находим аналогичные фигуры непосредственно вписанными в архаичные империи независимо от проблем частной собственности. Например, земли распределяются в собственность чиновникам как тем, кто используют их или сдает в аренду. Но если чиновник получает, таким образом, ренту работой и натурой, он должен выплатить императору требуемый налог деньгами. Отсюда необходимость в «банках», которые в сложных условиях обеспечивают эквивалентность, конверсию и циркуляцию товаров-денег через всю экономику — см.: Cardascia, Guillaume. *Armée et fiscalité dans la Babylonie achéménide // Armées et fiscalité dans le monde antique*, C.N.R.S., 1977.

Налог — непосредственно то место, где вырабатываются равенство и одновременность этих трех рент. Как правило, именно налог монетаризует экономику, именно он создает деньги, и создает их с необходимостью в движении, в циркуляции, в обращении, а также создает их в зависимости от услуг и товаров в ходе такого движения. Государство находит в налоге средство для внешней торговли, поскольку присваивает себе эту торговлю. Но именно из налога, а не из торговли, выводится форма-деньги.³¹ Таким образом, форма-деньги, выводимая из налога, делает возможным монополистическое присвоение внешнего обмена Государством (монетаризованная торговля). Действительно, все становится иным в режиме обменов. Мы уже не в «примитивной» ситуации, где обмен осуществляется косвенно, субъективно, через соответствующее уравнивание последних получаемых объектов (закон спроса). Конечно, обмен остается тем, чем он является в принципе, то есть неравным и производящим уравнивание, кое следует из неравенства — но на сей раз существуют прямое сравнение, объективная цена и денежное уравнивание (закон предложения). Именно благодаря налогу товары и услуги будут подобны предметам потребления, а предметы потребления будут измеряться и уравниваться деньгами. Вот почему даже сегодня смысл и радиус действия налога проявляются в том, что называется косвенным налогом, то есть налогом, который является частью цены и влияет на стоимость товара, самостоятельно и вне рынка.³² Однако косвенный

³¹ Такие авторы, как Вилл или Габриэль Ардан [Gabriel Ardant], показали, что торговая функция не объясняет происхождение денег, связанное с идеями «жалованья», «выплаты», «налогообложения». Вилл доказывает это главным образом для греческого и западного мира; но даже в Восточных империях монополия на монетаризованную торговлю, по-видимому, предполагает денежный налог. См.: Will, Edouard. *Réflexions et hypothèses sur les origines du monnayage* // *Revue numismatique* 1955; Ardant, Gabriel. *Histoire financière de l'antiquité à nos jours*, Gallimard (pp. 28 sq.: «[социальные] среды, которые породили налог, породили также и деньги»).

³² Об этом аспекте косвенного налога см.: Emmanuel, A. *L'échange inégal*, Maspero, pp. 55–56, 246 sq. (в отношении внешней торговли). Что касается отношения налоги–торговля, исторически особенно интересен случай меркантилизма, анализируемый Эриком Оллизем [Eric Alliez] (*Capital et pouvoir*, неизданный текст).

налог — это не просто добавочный элемент, который сам прибавляется к ценам и раздувает последние. Он является только индексом или выражением более глубокого движения, следуя которому, налог конституирует первый слой «объективной» цены, денежный магнит, к коему другие элементы — цены, рента и прибыль — притягиваются, приклеиваются, сходятся в одном и том же аппарате захвата. Был великий момент в капитализме, когда капиталисты заметили, что налог может быть производительным, особенно благоприятным для прибыли и даже для ренты. Но, как и с косвенным налогом, существует благоприятный случай, который между тем не должен скрывать более архаичное и куда более глубокое согласие — совпадение и принципиальное тождество между тремя аспектами одного и того же аппарата. Аппарат захвата о трех головах, чья «тройная формула» выводится из формулы Маркса (хотя и распределяет все по-иному):

<i>Склад</i>	<p><i>Земля</i> (в отличие от территории) а) прямое сравнение земель, дифференциальная рента; б) монополистическое присвоение земли, абсолютная рента.</p>	Рента Владелец
	<p><i>Труд</i> (в отличие от деятельности) а) прямое сравнение деятельности, труд; б) монополистическое присвоение труда, сверхтруд.</p>	Прибыль Предприниматель

	<i>Деньги</i>	
	(в отличие от обмена)	
<i>Склад</i>	<i>a)</i> прямое сравнение обмениваемых объектов, товар;	} Налог Банкир
	<i>b)</i> монополистическое присвоение средства	
	сравнения, эмиссия денег.	

1. У склада три одновременных аспекта — земля и семена, инструменты, деньги. Земля — это сохраняемая территория, инструменты — сохраняемая деятельность, деньги — сохраняемый обмен. Но склад *не происходит* ни из территорий, ни из деятельности, ни из обменов. Он отмечает другую сборку, он происходит из этой другой сборки;

2. Эта сборка является «мегамашиной», или аппаратом захвата, архаичной империей. Она функционирует в трех модусах, соответствующих трем аспектам склада — рента, прибыль, налог. А три модуса сходятся и совпадают в ней, в инстанции сверхкодирования (или означивания): деспот — одновременно знаменитый землевладелец, предприниматель крупномасштабных работ, хозяин налогов и цен. Это похоже на три капитализации власти, или три артикуляции «капитала»;

3. Аппарат захвата формирует именно такие две операции, какие мы каждый раз обнаруживаем в сходящихся модусах — прямое сравнение, монополистическое присвоение. И сравнение всегда предполагает присвоение — труд предполагает сверхтруд, дифференциальная рента предполагает абсолютную, коммерческие деньги предполагают налог. Аппарат захвата конституирует общее пространство сравнения и подвижный центр присвоения. Система белая стена—черная дыра, которая, как мы видели раньше, конституирует *лицо* деспота. Точка резонанса циркулирует по пространству сравнения и, циркулируя, расчерчивает это пространство. Вот что отличает аппарат Государства от примитивных механизмов с их несуществующими тер-

риториями и их нерезонирующими центрами. Именно с Государства, или аппарата захвата, начинается общая семиотика, сверхкодирующая примитивные семиотики. Вместо черт выражения, кои следуют за машинным *phylum*'ом и сочетаются с ним браком в распределении сингулярностей, Государство конституирует форму выражения, подчиняющуюся *phylum*'у: *phylum*, или материя, — не более чем сравнимое, гомогенизированное, уравненное содержание, тогда как выражение становится формой резонанса или присвоения. Аппарат захвата — семиологическая операция по преимуществу... (В этом смысле философы-ассоцианисты не ошибались, объясняя политическую власть операциями ума, зависящего от ассоциации идей.)

Бернар Шмитт предложил модель аппарата захвата, принимающую в расчет операции сравнения и присвоения. Несомненно, в капиталистической экономике данная модель вращается вокруг денег. Но она, как кажется, основывается на абстрактных принципах, выходящих за свои пределы.³³ — А. Мы начинаем с неделимого потока, который еще ни присвоен, ни сравнен, «чистый запас», «не-владение и не-богатство» — это именно то, что имеет место, когда банки создают деньги, но, более обобщенно, это детерминация склада, создание неделимого потока. — В. Неделимый поток делится, если только он распределяется в «факторах», размещается между «факторами». Есть только один-единственный вид факторов — непосредственные производители. Мы могли бы назвать их «бедными» и сказать, что поток распределяется между бедными. Но это было бы неточно, ибо нет заранее существующих «богатых». Что берется в расчет, что важно — производители все еще не владеют тем, что им распределяется, а то, что им распределяется, еще не является богатством: *вознаграждение* не предполагает ни сравнения, ни присвоения, ни купли-продажи, оно в большей степени является операцией типа *пехит*. Есть только равенство между совокупно-

³³ Bernard Schmitt, *Monnaie, salaires et profits*.

стью B и совокупностью A , между распределенной совокупностью и неделимой совокупностью. *Номинальную зарплату* можно назвать распределенной совокупностью, так что номинальные зарплаты — это форма выражения всей неделимой совокупности в целом («все номинальное выражение в целом», или, как часто говорится, «выражение всего национального дохода») — аппарат захвата становится здесь семиологическим. — С. Итак, мы не можем сказать даже, что зарплата, понятая как распределение, как вознаграждение, будет куплей; напротив, именно покупательная способность вытекает из зарплаты: «Вознаграждение производителей — не купля, оно — операция, благодаря которой покупки возможны во второй момент, когда деньги реализуют свое новое могущество...» Действительно, именно будучи распределенной, совокупность B становится богатством или обретает сравнительную власть по отношению еще к чему-то иному. Такое нечто иное — определенная совокупность произведенных товаров, которые, таким образом, могут быть куплены. Деньги, вначале неоднородные в произведенных товарах, становятся однородным товаром в продуктах, которые они могут купить; они обретают покупательную способность, каковая гаснет с реальной покупкой. Или, более обобщенно, между обеими совокупностями — распределенной совокупностью B и совокупностью реальных товаров C — располагаются *соответствие, сравнение* («способность [puissance] к приобретению создается в прямой конъюнкции со всей совокупностью реальной продукции»). — D. Именно тут обитает тайна или магия, в своего рода несовпадении. Ибо, если мы называем B' сравнительной совокупностью, то есть совокупностью, вступающей в соответствие с реальными товарами, то видим, что она с необходимостью меньше распределенной совокупности. B' с необходимостью меньше, чем B — даже если мы предполагаем, что покупательная способность простирается на все объекты, произведенные в течение данного периода, распределенная совокупность всегда больше, чем использованная или сравниваемая совокуп-

ность, так что непосредственные производители могут конвертировать только одну часть распределенной совокупности. *Реальная заработная плата* — только часть номинальных зарплат; сходным образом, «полезный» труд — только часть труда, а «используемая» земля — только часть распределенной земли. Итак, назовем Захватом такое различие или излишек, которые будут конституировать прибыль, сверхтруд или сверхпродукт: «Номинальные зарплаты объединяют в себе все, но наемные рабочие сохраняют только доходы, *которые они сумеют конвертировать в товары*, и они теряют доходы, перехватываемые предприятиями». Таким образом, можно сказать, что целое было фактически распределено «бедным»; но также именно бедные оказываются теми, у кого вымогают все то, что они не сумели конвертировать в этой странной гонке на короткие дистанции — захват осуществляет инверсию волны или делимого потока. Именно захват является объектом монополистического присвоения. И такое присвоение («богатыми») не появляется потом — оно включено в номинальные зарплаты, ускользая от реальной заработной платы. Оно пребывает между двумя [факторами] — оно вставляется между распределением без владения и конверсией через соответствие или сравнение; оно выражает различие в могуществе между обеими совокупностями, между *B'* и *B*. В конце концов, нет никакой тайны вообще — *механизм захвата уже является частью конституции совокупности, на какой осуществляется захват*.

Такая схема, как говорит ее автор, крайне трудна для понимания и к тому же операциональна. Она состоит в высвобождении абстрактной машины захвата или вымогательства, представляя весьма особый «порядок причин». Например, вознаграждение само не является покупкой, поскольку покупательная способность вытекает из него. Как говорит Шмитт, не существует ни вора, ни жертвы, ибо производитель теряет только то, чем он не обладает, и у него нет никакого шанса на приобретение — подобно тому, как в философии XVII века имеет место отрицание, но

вовсе не утрата... И все сосуществует в таком логическом аппарате захвата. Последовательность является тут только логической — захват в себе появляется между *B* и *C*, но существует также между *A* и *B*, между *C* и *A*; последовательность пропитывает весь аппарат, она действует как нелокализуемая связь системы. То же касается и сверхтруда — как его можно локализовать, коли труд его предполагает? Итак, Государство — во всяком случае, архаичное имперское Государство — это сам такой аппарат. Мы всегда ошибаемся, требуя дополнительного объяснения для Государства — так мы выталкиваем Государство за Государство, до бесконечности. Лучше оставить его там, где оно было с самого сначала, ибо оно существует в точности за гранью примитивных серий. Достаточно, чтобы эта точка сравнения и присвоения была действительно занята, чтобы функционировал аппарат захвата, который сверхкодирует примитивные коды, заменяет совокупности на серии или инвертирует смысл знаков. Такая точка с необходимостью оккупируется, осуществляется, ибо она существует уже в сходящейся волне, которая пересекает примитивные серии и влечет их к порогу, где, преодолевая их пределы, сама меняет смысл-направление. Первобытные народы существовали всегда только в положении выживания, уже обработанные сметающей их обратной волной (вектор детерриторизации). От внешних обстоятельств зависит лишь место, где осуществляется аппарат, — место, где может зародиться сельскохозяйственный «способ производства», Восток. В этом смысле аппарат является абстрактным. Но в себе самом он отмечает не просто абстрактную возможность отвлеченной обратимости, но и реальное существование точки инверсии как нередуцируемого, автономного феномена.

Отсюда весьма особый характер государственного насилия — трудно засечь такое насилие, ибо оно всегда представляется как уже совершенное. Недостаточно даже сказать, что насилие отсылает к способу производства. Подобное Маркс заметил в капитализме — существует насилие,

которое по необходимости проходит через Государство, предшествует капиталистическому способу производства, конституирует «первоначальное накопление» и делает возможным подобный способ производства. Если мы размещаемся в капиталистическом способе производства, то крайне трудно сказать, кто вор, а кто жертва и даже где располагается насилие. Дело в том, что рабочий рождается объективно совсем голым, а капиталист — объективно «одетым», неким независимым собственником. То, что так формирует рабочего и капиталиста, ускользает от нас, ибо действует в иных способах производства. Именно насилие утверждает себя как уже совершенное, даже если оно происходит вновь и вновь каждый день.³⁴ Раз и навсегда надо отметить, что *нанесение ущерба [mutilation] является предварительным, заранее установленным*. Итак, предложенный Марксом анализ следует расширить. Ибо в меньшей мере существует первоначальное имперское накопление, предшествующее сельскохозяйственному способу производства, вместо того чтобы вытекать из него; как общее правило, первоначальное накопление существует всякий

³⁴ Маркс часто настаивает на следующих тезисах, особенно в своем анализе первоначального накопления: 1) первоначальное накопление предшествует способу производства и делает его возможным; 2) оно, следовательно, предполагает особое действие со стороны Государства и права, которые не противятся насилию, но, напротив, способствуют ему («Эти методы отчасти покоятся на грубейшем насилии, как, например, колониальная система. Но все они пользуются государственной властью, т. е. концентрированным и организованным общественным насилием» — Маркс К. Капитал, т. I // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М., 1960, с. 761); 3) Такое правовое насилие появляется вначале в своей грубой форме, но перестает осознаваться по мере того, как устанавливается способ производства; оно, как кажется, отсылает к чистой и простой Природе («Внеэкономическое, непосредственное принуждение, правда, еще продолжает применяться, но лишь в виде исключения» — Там же, с. 747); 4) такое движение объясняется особым характером этого насилия, которое ни в коем случае не сводится к краже, преступлению или беззаконию: то, что изымается у рабочего, не является сдиранием последней рубашки, капиталист «не только “вычитает” или “грабит”, но и вынуждает производство прибавочной стоимости, т. е. помогает создавать то, что подлежит вычету. <...> В стоимости, “конституированной” не трудом капиталиста, заключается часть, которую он может присвоить себе “по праву”, т. е. не нарушая права, соответствующего товарному обмену» (см.: Маркс К. Замечания на книгу А. Вагнера «Учебник политической экономии» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М., 1960, с. 374).

раз, когда монтируется аппарат захвата, монтируется благодаря такому крайне особому виду насилия, создающему или способствующему созданию того, против чего оно направлено, а значит, само заранее предполагается.³⁵ Тогда проблема становится проблемой различения режимов насилия. И в этом отношении мы можем различать борьбу, войну, преступление и полицию как разные режимы. *Борьба* была бы похожа на режим примитивного насилия (включая примитивные «войны») — между тем именно методичное насилие не испытывает нехватки в коде, ибо ценность ударов фиксируется согласно закону серий, согласно ценности последнего обмениваемого удара или последней женщины, которую надо завоевывать, и т.д. Отсюда что-то вроде ритуализации насилия. *Война* — по крайней мере, когда она связана с машиной войны, — это другой режим, ибо она предполагает мобилизацию и автономизацию насилия, направленного прежде всего и в принципе против аппарата Государства (машина войны в этом смысле есть изобретение изначальной кочевой организации, оборачивающейся против Государства). *Преступление* — нечто иное, ибо именно насилие правонарушения состоит в том, чтобы захватывать что-то, на что мы не имеем «права», захватывать что-то, чего мы не имеем «права» захватывать. Но *государственная полиция или правовое насилие* — нечто совсем иное, ибо оно состоит в захвате, конституируя, одновременно, право на захват. Именно структурное, инкорпорированное насилие противостоит всем прямым насильственным действиям. Государство часто определяли через «монополию насилия», но такое определение отсылает к другому определению, задающему Государство как «Правовое государство» (Rechtsstaat). Сверхкодирование Государства — это именно такое структурное насилие, кое определяет право, «полицейское» и

³⁵ В этом смысле Жан Робер хорошо показывает, что первоначальное накопление подразумевает насильственное конструирование гомогенного, «колонизированного» пространства.

невоенное насилие. Правовое насилие существует всякий раз, когда насилие способствует созиданию того, против чего оно используется, или, как говорит Маркс, всякий раз, когда захват способствует созиданию того, что он захватывает. Это весьма отличается от преступного насилия. Поэтому также, *в противоположность* примитивному насилию, государственное или правовое насилие всегда, по видимому, предполагает себя, ибо оно заранее существует в отношении своего собственного осуществления: тогда Государство может сказать, что насилие «изначально», что оно — простое явление природы и что Государство не несет за него ответственности, поскольку осуществляет насилие только против насильника, противостоит «преступнику» (против первобытных народов, против кочевников), дабы мог воцариться мир...

Теорема XIII. Государство и его формы

Мы начинаем с архаичного имперского Государства, со сверхкодирования, с аппарата захвата, с машины порабощения, причем все это включает собственность, деньги, общественные работы — совершенная формула «одним махом», но такая, которая не предполагает ничего «лично-го», не предполагает даже первоначального способа производства, ибо она его и порождает. Вот достижение археологии, та точка отсчета, какую дают нам предыдущие анализы. Тогда вопрос: если уж Государство появилось, сформировалось одним махом, то как оно будет «эволюционировать»? Каковы факторы его эволюции или мутации и каковы отношения между эволюционировавшим Государством и архаичным имперским Государством?

Причина эволюции является внутренней, какими бы ни были подкрепляющие ее внешние факторы. *Архаичное Государство сверхкодирует, лишь освобождая также огромное количество декодированных потоков, которые вот-вот ускользнут от него.* Вспомним, что «декодирование» озна-

чает не то состояние потока, чей код постигнут (декодируемое, транслируемое, уподобляемое), но, напротив, в одном — самом радикальном — смысле оно означает состояние потока, который более не постигается в своем собственном коде и ускользает от своего собственного кода. Итак, с одной стороны, потоки, которые первобытные сообщества относительно кодируют, находят случай ускользнуть, в то время как примитивные коды более не саморегулируются и подчиняются высшей инстанции. Но, с другой стороны, *именно сверхкодирование архаичного Государства само делает возможными и вызывает новые ускользающие от него потоки*. Государство создает крупномасштабные работы лишь при условии, что поток независимого труда ускользает от собственной бюрократии (а именно — в шахтах и в металлургии). Оно формирует монетарную форму налога лишь при условии, что потоки денег ускользают и питают — или порождают — иные силы (а именно — в торговле и банковской системе). И, главным образом, оно создает систему своей общественной собственности лишь при условии, что поток частного присвоения переходит *по ту его сторону*, начиная затем течь за пределами его хватки: такая частная собственность сама не вытекает из архаичной системы, но конституируется на краях — все более необходимым и неизбежным образом — через петли сверхкодирования. Несомненно, именно Тэкеи наиболее серьезно сформулировал проблему происхождения частной собственности в зависимости от системы, которая, как кажется, исключает ее с любой точки зрения. Ибо частная собственность не может возникнуть ни на стороне императора-деспота, ни на стороне крестьян, чья доля автономии связана с общинным владением, ни на стороне чиновников, чье существование и доход основываются на этой публичной общинной форме («в таких условиях аристократы могут стать маленькими деспотами, а не частными владельцами»). Даже рабы принадлежат коммунальной или публичной функции. Вопрос ставится следующим образом: есть ли кто-то, кто конституирован в сверхкоди-

рующей империи, но конституирован как по необходимости исключенный и декодированный? Ответ Тэкеи: это *освобожденный раб*. Именно у него нет больше места. Именно его рыдания слышны по всей Китайской империи — стенание (элегия) всегда была политическим фактором. Но также именно он формирует первые ростки частной собственности, развивает торговлю и изобретает в металлургии частное рабство, где он будет новым хозяином.³⁶ Прежде мы уже видели, какую роль освобожденный раб играет в машине войны для формирования особого тела. Именно в иной форме и следуя совершенно другим принципам, он играет столь важную роль в аппарате Государства и в эволюции этого аппарата для формирования частного тела. Оба аспекта могут комбинироваться, но отсылают к двум разным линиям.

В расчет принимается как раз не частный случай освобожденного раба. В расчет принимается коллективный персонаж Постороннего. В расчет принимается тот или иной способ, каким аппарат сверхкодирования вызывает потоки, которые сами декодированы — потоки денег, труда, собственности... Они суть корреляты аппарата. И корреляция является не только социальной, внутренней для архаичной империи, она также — географическая. Это был бы момент возобновления конфронтации между Востоком и Западом. Следуя великому археологическому тезису Гордона Чайльда, архаичное имперское Государство предполагает запасенные сельскохозяйственные излишки, делающие возможным поддержание специализированных тел ремесленников в области металлургии и торговли. Действительно, излишек как собственное содержание сверхко-

³⁶ Tökei, Ferenc. *Les conditions de la propriété foncière dans la Chine de l'époque Tcheou* // *Acta antiqua* 1958. Маркс и Энгельс уже заметили, что у римской черни (частично составленной из вольноотпущенных общественных рабов) было только «право ассигновать собственность *ager publicus* [Общественное поле, общая земля (лат.). — Прим. пер.]»: плебеи становились частными владельцами земельной собственности, так же как и торговых, и ремесленных богатств лишь постольку, поскольку «были исключены из всех общественных прав» (См.: Marx, *Grundrisse*, Pléiade II, p. 319; Engels, *Origine de la famille*, Ed. Sociales, p. 119).

дирования должен быть не только запасаемым, но и поглощаемым, потребляемым, реализуемым. Несомненно, такое экономическое требование поглощения излишка — один из главных аспектов присвоения машины войны имперским Государством: с самого начала военный институт является одним из наиболее сильных способов поглощения излишков. Однако если мы допускаем, что военных и бюрократических институтов будет недостаточно, то уже готово место для такого специализированного тела неземледельческих ремесленников, чей труд ускорит переход сельского хозяйства на оседлый образ жизни. Итак, именно в Афразии и на Востоке были выполнены все указанные условия и изобретен аппарат Государства — на Ближнем Востоке, в Египте и Месопотамии, а также в [долине] Инда (и на Дальнем Востоке). Именно там создается сельскохозяйственный запас и сопровождающие его бюрократия и военщина, а также металлургия и торговля. Однако такому имперскому, или восточному, «решению» угрожает тупик — сверхкодирование Государства удерживает металлургов, ремесленников и торговцев в узких пределах, под мощным бюрократическим контролем, благодаря монополистическому присвоению внешней торговли, ставя ее на службу правящему классу, так что крестьяне сами извлекают небольшую прибыль из государственных нововведений. Итак, верно, что форма-Государство будет распространяться и что археология будет обнаруживать ее повсюду на горизонте Западной истории в Эгейском мире. Но не при тех же самых условиях. Минос и Микены — это, скорее, карикатура империи, Агамемнон Микенский не является ни императором Китая, ни фараоном Египта, и египтянин может сказать грекам: «Вы другие, вы всегда будете как дети...» Дело в том, что Эгейские народы были как слишком далеки от того, чтобы попасть в восточную сферу, так и слишком бедны, чтобы самим запасать излишки, но они недостаточно удалены и недостаточно обнищали, чтобы игнорировать рынки Востока. Более того, именно сверхкодирование Востока само навязывает своим торговцам

роль — [отправляться] на дальние расстояния. Итак, эгейские народы оказываются в ситуации, когда они могут использовать восточный сельскохозяйственный склад и при этом *не должны конституировать его за свой счет* — они грабят его, когда могут, и на более регулярной основе добывают себе его долю в обмен на сырье, прибывающее из Центральной и Западной Европы (а именно дерево и металлы). Конечно, Восток должен непрестанно воспроизводить свои запасы; но, формально, он добился «раз и навсегда» успеха, из которого Запад извлекает выгоду и при этом не должен воспроизводить подобный запас. Отсюда следует, что ремесленники, металлурги и торговцы получают на Западе совершенно иной статус, поскольку в своем существовании они не зависят непосредственно от излишка, накопленного локальным аппаратом Государства, — даже если крестьянин подвергается эксплуатации такой же жесткой, а иногда и более жесткой, чем крестьянин на Востоке, то ремесленник и торговец пользуются более свободным статусом и более разнообразным рынком, что преобразует средние классы. Многие металлурги и торговцы с Востока переходят в Эгейский мир, где находят аналогичные условия более свободными, более изменчивыми и более устойчивыми. Короче, *те же потоки, что сверхкодированы на Востоке, стремятся стать декодированными в Европе* в новой ситуации, которая подобна изнанке или корреляту иного. Сверхприбыль больше не является сверхприбылью кода (сверхкодирование), но становится сверхприбылью потока. Как если бы одна и та же проблема получила два решения — решение Востока, а затем решение Запада, прививаемое к первому решению и вытаскивающее его из тупика, одновременно такой тупик предполагая. Европейские или европеизированные металлург и торговец сталкиваются с куда менее кодированным интернациональным рынком, который не ограничивается имперскими хозяйством или классом. И, как говорит Чайльд, эгейские и западные Государства будут с самого начала вовлекаться в наднациональную экономическую

систему — они купаются в ней, вместо того чтобы удерживать ее в пределах собственных ячеек.³⁷

Действительно, тут появляется совсем другой государственный полюс, который кратко может быть определен следующим образом. *Публичная сфера* характеризует уже не объективную природу собственности, а, скорее, общие средства присвоения, ставшего частным; мы, таким образом, входим в публично-приватные смеси, конституирующие современный мир. *Связь становится личной*; личные отношения зависимости — как между собственниками (контракты), так и между собственностью и собственниками (соглашения), — удваивают или смещают отношения сообщества и отношения, основанные на публичной функции; даже рабство определяет уже не публичную диспозицию общественного рабочего, а частную собственность, осуществляемую на индивидуальном рабочем.³⁸ *Право* целиком подвергается мутации, становясь субъективным, конъюнктивным, «топическим» правом — дело в том, что перед аппаратом Государства встает новая задача, состоящая не столько в сверхкодировании уже закодированных потоков, сколько в *организации конъюнкций декодированных потоков как таковых*. Значит, режим знаков изменился — во всех этих отношениях операция имперского «означающего» уступает место *процессам субъективации*; машинное порабощение стремится к тому, чтобы его сместил режим *социального подчинения*. И, вопреки относительно единообразному имперскому полюсу, этот второй полюс обретает самые разнообразные формы. Но какими бы разнообразными ни были отношения личной зависимости, каждый раз они отмечают топические и качественно определенные

³⁷ См. две большие книги В. Гордона Чайльда, *L'Orient préhistorique* и, главным образом, *L'Europe préhistorique*, Рауот. Именно археологический анализ позволяет Чайльду заключить, что в Эгейском мире нигде не существовало накопления богатств и продуктов, сравнимых с богатствами Востока, pp. 107–109.

³⁸ О различии между «обобщенным рабством» в архаичной империи и частным рабством, феодальной барщиной и т.д. см.: Parain, Charles. *Protohistoire méditerranéenne et mode de production asiatique* // C. E. R. M., *Sur le mode de production asiatique*, pp. 170–173.

конъюнкции. Прежде всего, именно развитые империи — как на Востоке, так и на Западе, — вырабатывают эту новую публичную сферу частного посредством таких институтов, как институты *consilium*'а* или *fiscus*'а** в Римской империи (именно в этих институтах освобожденный раб обретает политическую власть, удваивающую власть чиновников).³⁹ Но это также автономные города и феодальные системы... Речь идет о том, чтобы знать, соответствуют ли еще эти последние формации тому обстоятельству, что понятие Государства может быть введено лишь с учетом определенных корреляций — как и развитые империи, города и феодальный строй предполагают архаичную империю, которая служит для них основанием; они сами пребывают в контакте с развитыми империями, реагирующими на них; они активно подготавливают новые формы Государства (например, абсолютную монархию как завершение субъективного права и феодального процесса).⁴⁰ Действительно, в богатой сфере личных отношений в расчет берется не каприз или изменчивость людей, а консистенция отношений и соответствие между субъективностью, способной дойти до исступления, и качественно определенными актами, выступающими источниками прав и обязанностей. В прекрасном пассаже Эдгар Кинэ подчеркивает такое совпадение между «исступлением двенадцати Цезарей и золотым веком римского права».⁴¹

Итак, субъективации, конъюнкции и присвоения не мешают декодированным потокам продолжать течь и безо-

* Совещание, обсуждение, совет (лат.). — Прим. пер.

** Казна, личные доходы и средства императора (лат.). — Прим. пер.

³⁹ См.: Boulvert, *Domestique et fonctionnaire sous le haut-empire romain*. Les Belles Lettres. Более обобщенно Поль Вейн проанализировал формацию «субъективного права» в римской империи, соответствующие институты, а также новый смысл публичного и частного. Он показывает, как римское право является «правом без концептов», действующим благодаря «топику» и противостоящим, в этом смысле, современной «аксиоматической» концепции права: см. *Le pain et le cirque*, Ed. du Seuil, ch. m et iv, et p. 744.

⁴⁰ Ср.: Hincker, François. *La monarchie absolue française* // C. E. R. M., *Sur le féodalisme*, Ed. Sociales.

⁴¹ Quinet, Edgar. *Le génie des religions*, Œuvres complètes, Hachette, t. I I.

становочно порождать новые убегающие потоки (мы видели подобное, например, на уровне микрополитик Средневековья). В этом состоит даже двусмысленность таких аппаратов — они функционируют только с декодированными потоками и, одновременно, не позволяют потокам содействовать друг другу, они создают топические конъюнкции, которые удерживаются в качестве множества узлов или рекодирований. Отсюда мнение историков, когда они говорят, будто капитализм «мог бы» развиваться, начиная с определенного момента — в Китае, в Риме, в Византии, в Средневековье, — что условия для него существовали, но не были осуществлены или даже не были способны осуществиться. Дело в том, что давление потоков расчерчивает капитализм в пустоте, но, чтобы он реализовался, должна быть вся *полнота [intégrale] декодированных потоков* в целом, все *обобщенное [généralisée] сопряжение*, переполняющее и низвергающее предшествующие аппараты. И действительно, когда перед Марксом встает задача определить капитализм, он начинает со ссылки на приход к власти одной-единственной качественно неопределенной и глобальной Субъективности, которая капитализирует все процессы субъективации, «всю деятельность без различия» — «производственная деятельность вообще», «уникальная субъективная сущность богатства». И этот единственный Субъект выражается теперь в Объекте вообще, а не в том или ином качественном состоянии: «Вместе с абстрактной всеобщностью деятельности, создающей богатство, признается также всеобщность предмета, определяемого как богатство; это — продукт вообще или опять-таки труд вообще, но уже как прошлый, овеществленный труд»⁴². Циркулирующая конституирует капитал как субъективность, соразмерную всему обществу в целом. Но эта новая социальная субъективность может конституироваться лишь в той мере, в какой декодированные потоки перехо-

⁴² Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857–1858 годов) // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. М., 1958, с. 730.

дят пределы своих конъюнкций и доходят до некоего уровня декодирования, какого Государственные аппараты не могут более достичь — *с одной стороны*, поток труда не должен более определяться как рабство или крепостничество, но становится свободным и голым трудом; а *с другой стороны*, богатство не должно более определяться как капитал, будь то земельный, торговый, финансовый, ставший чистым, однородный или независимый. И, без сомнения, такие, по крайней мере, два становления (ибо другие потоки также конкурируют) вводят на каждой из линий множество контингенций и разнообразных факторов. Но именно их абстрактное сопряжение одним махом конституирует капитализм, представляя одного в другом — универсального субъекта и объекта вообще. Капитализм формируется, когда поток качественно неопределенного богатства сталкивается с потоком качественно неопределенного труда и сопрягается с ним.⁴³ Именно эти предшествующие конъюнкции, еще качественные или топические, всегда подавляли (двумя главными ингибиторами были феодальная организация деревень и корпоративная организация городов). Иными словами, капитализм формируется благодаря *общей аксиоматике декодированных потоков*. «Капитал — это право, или, точнее, производственное отношение, которое манифестируется как право; и, будучи таковым, капитал независим от конкретной формы, в которую облачается в каждый момент своей производительной функции».⁴⁴ Частная собственность выражает уже не связь личной зависимости, а независимость Субъекта, который конституирует теперь одну-единственную связь. Тут огромное

⁴³ Об исторической независимости обеих серий и их «встрече» см.: Hincker, François. *La monarchie absolue française* // С. Е. R. М., *Sur le féodalisme*, Ed. Sociales.

⁴⁴ Emmanuel, Arghiri. *L'échange inégal*, pp. 68–69 (и цитата из Суизи: «Капитал — не просто синоним средств производства, это средство производства, сведенное к качественно однородному и количественно измеримому фонду стоимости»; отсюда и пропорциональное распределение прибыли). Анализируя первоначальное накопление капитала, Морис Добб хорошо показывает, что первоначальное накопление касалось не средств производства, а «прав и акций богатства», конвертируемых, в зависимости от обстоятельств, в средства производства (Dobb, Maurice. *Etudes sur le développement du capitalisme*, Maspero, pp. 189–199).

различие в эволюции частной собственности: частная собственность сама касается прав, а не право заставляет ее относиться к земле, вещам или людям (именно отсюда знаменитый вопрос об исключении земельной ренты в капитализме). *Новый порог детерриторизации.* И когда капитал, таким образом, становится активным правом, вся историческая фигура права в целом изменяется. Право перестает быть сверхкодированием обычаев, как в архаичной империи; оно более не является набором топик, как в развитых государствах, в городах и феодальных системах; он все более и более принимает прямую форму и непосредственные характеристики аксиоматики, как это видно в нашем гражданском «кодексе». ⁴⁵

Когда поток достигает такого капиталистического порога декодирования и детерриторизации (голый труд, независимый капитал), то кажется, что он более не нуждается в Государстве, в дистинктном политическом и юридическом господстве, дабы обеспечивать присвоение, ставшее непосредственно экономическим. Экономика действительно формирует всемирную аксиоматику, «универсальную космополитическую энергию, которая разрушает любой барьер и любую связь», формирует подвижную и обратимую субстанцию, «такую, как общая стоимость ежегодного продукта». Сегодня мы можем нарисовать картину огромной — как говорится, лишенной родины — денежной массы, циркулирующей через обмены и границы, ускользая от контроля государств, формируя многонациональную вселенскую организацию, конституируя фактически над-

⁴⁵ См. оппозицию, отмечаемую некоторыми юристами и возобновленную Полем Вейном, между римским — «топическим» — правом и современным — «аксиоматическим» — правом типа гражданского кодекса. Мы можем определить некоторые фундаментальные аспекты, которые приближают Гражданский кодекс скорее к аксиоматике, чем к коду: 1) господство повествовательной формы над императивной и аффективной формулами (проклятие, увещевание, внушение и т.д.); 2) претензия Кодекса на формирование полной и насыщенной рациональной системы; 3) но, одновременно, относительная независимость пропозиций, позволяющая добавлять аксиомы. Об этих аспектах см.: Ray, Jean. *Essai sur la structure logique du code civil français*, Alcan. Мы знаем, что систематизация римского права происходит очень поздно, в XVII и XVIII веках.

национальное могущество, нечувствительное к решениям правительств.⁴⁶ Но, какими бы ни были актуальные размеры и количества, капитализм с самого начала мобилизовал силу детерриторизации, каковая бесконечно переходит пределы детерриторизации, присущей Государству. Ибо Государство — начиная с палеолита или неолита — является детерриторизирующим в той мере, в какой оно делает землю *объектом* своего наивысшего единства, вынужденной совокупностью сосуществования вместо свободной игры между территориями и наследованиями. Но именно в этом смысле Государство именуется «территориальным». Тогда как капитализм не территориален, даже в своем начале — могущество его детерриторизации состоит в том, чтобы принимать в качестве объекта уже не землю, а «материализованный труд», товар. И частная собственность уже не является частной собственностью ни на землю или почву, ни даже на средства производства как таковые, но частной собственностью на конвертируемые абстрактные права.⁴⁷ Поэтому капитализм отмечает мутацию во вселенских или всемирных организациях, обретающих консистенцию в самих себе, — вместо того, чтобы быть результатом неоднородных общественных формаций и их отношений, именно мировая аксиоматика по большей части распределяет эти формации, фиксирует их отношения, организуя международное разделение труда. Со всех этих точек зрения, мы сказали бы, что капитализм развивает экономический порядок, который мог бы обойтись без Государства. И действительно, капитализм не испытывает недостатка в воинственных кличах против Государства — не только от имени рынка, но и в силу своей наивысшей детерриторизации.

⁴⁶ Ср.: Saint-Geours, Jean. *Pouvoir et finance*, Fayard. Сен-Жур — один из наилучших исследователей монетарной системы, а также смеси «частное—общественное» в современной экономике.

⁴⁷ О тенденции к уничтожению земельной ренты при капитализме см.: Amin et Vergopoulos, *La question paysanne et le capitalisme*, Ed. Anthropos. Самир Амин анализирует причины того, почему земельная рента и рента от рудников сохраняют или допускают современный смысл в периферийных регионах, хотя и двумя разными способами: *La loi de la valeur et le matérialisme historique*, Ed. dg Minuit, ch. iv et vi.

Однако это только один, очень частный аспект капитала. Если мы не используем слово «аксиоматика» как просто метафору, то надо вспомнить, что отличает аксиоматику от разного рода кодов, сверхкодирований и рекодирований — аксиоматика имеет дело непосредственно с чисто функциональными элементами и отношениями, природа которых не специфицирована и которые немедленно реализуются одним махом в крайне разных областях, тогда как коды являются релятивными этим областям и выражают специфические отношения между качественно определенными элементами, кои могут возвращаться к формально наивысшему единству (сверхкодирование) лишь благодаря трансценденции и косвенным образом. Итак, *имманентная аксиоматика*, в этом смысле, находит в пересекаемых ею областях весьма много моделей, *именуемых моделями реализации*. Скажем также, что капитал — как право, как «качественно однородный и количественно соизмеримый» элемент — реализуется в секторах и средствах производства (или — что «глобальный капитал» реализуется в «мелком капитале»). Однако различные сектора не единственное, что служит в качестве моделей реализации, *есть еще Государства*, каждое из которых группирует и комбинирует несколько секторов согласно своим ресурсам, населению, богатству, оборудованию и т.д. Итак, с капитализмом государства не отменяются, но меняют форму и обретают новый смысл — модели реализации для превосходящей их мировой аксиоматики. Но превосходить — вовсе не то же самое, что обходиться без... Мы уже видели, что капитализм действует благодаря форме-Государству, а не благодаря форме-городу; и фундаментальные механизмы, описанные Марксом (колониальный режим, государственный долг, современная налоговая система и косвенный налог, индустриальный протекционизм, торговые войны), могут подготавливаться в городах, но города функционируют как механизмы накопления, ускорения и концентрации лишь в той мере, в какой они присваиваются Государствами. Недав-

ние события подтвердили, под иным углом зрения, тот же самый принцип — НАСА, например, казалось готовым мобилизовать значительные капиталы для межпланетных исследований, как если бы капитализм оседлал вектор, посылающий его на Луну; но, глядя на СССР, который постигал космическое пространство, скорее, как пояс, который должен был бы окружать Землю, понятию как «объект», американское правительство урезало кредиты на исследования и вернуло капитал в данном случае к более централизованной модели. Таким образом, Государственной детерриторизации свойственно смягчать высшую детерриторизацию капитала и обеспечивать последнюю компенсаторной ретерриторизацией. Более обобщенно, независимо от этого крайнего примера, мы должны принять в расчет «материалистическое» определение современного Государства или Государства-нации — группа производителей, где труд и капитал циркулируют свободно, то есть где однородность и конкуренция капитала осуществляются в принципе без внешних препятствий. Чтобы осуществляться, капитализм всегда нуждается в новой силе и в новом праве Государств как на уровне потока голого труда, так и на уровне потока независимого капитала.

Итак, государства уже являются не трансцендентными парадигмами сверхкодирования, а имманентными моделями реализации для аксиоматики декодированных потоков. Опять же слово «аксиоматика» — здесь далеко не метафора, ибо что касается Государства, то мы буквально находим те же самые теоретические проблемы, какие ставятся моделями в аксиоматике. Ибо модели реализации, сколь бы разнообразны они ни были, по-видимому, являются *изоморфными* по отношению к аксиоматике, которую они осуществляют; однако такая изоморфия, учитывая конкретные вариации, приспосабливается к самым крупным формальным различиям. Более того, та же самая аксиоматика, как кажется, способна включать в себя полиморфные модели, когда она еще не «насыщена», в том числе как

интегрирующие элементы ее насыщения.⁴⁸ Эти «проблемы» становятся сингулярно политическими, когда мы думаем о современных государствах: 1. Не существует ли изоморфии всех современных государств в отношении капиталистической аксиоматики до такой степени, что различие между демократическими, тоталитарными, либеральными, тираническими Государствами зависит только от конкретных переменных и от мирового распределения этих переменных, всегда подвергающихся возможному переустройству? Даже так называемые социалистические Государства изоморфны постольку, поскольку существует только *один мировой рынок*, капиталистический рынок. — 2. Наоборот, не поддерживает ли мировая капиталистическая аксиоматика реальную полиморфию, или даже гетероморфию, моделей — и по двум причинам? С одной стороны, потому, что капитал как производственное отношение вообще может весьма хорошо интегрировать сектора или конкретные — некапиталистические — способы производства. Но с другой стороны, и в особенности потому, что бюрократические социалистические Государства сами могут развивать разные производственные отношения, сопрягающиеся с капитализмом лишь для того, чтобы сформировать совокупность, чье «могущество» выходит за пределы самой аксиоматики (нужно будет попытаться определить природу этого могущества, почему мы так часто думаем о нем в апокалиптических терминах, какие конфликты оно порождает, какие скудные шансы оно нам оставляет...). — 3. Типология современных государств, таким

⁴⁸ Вводные книги об аксиоматическом методе подчеркивают определенное число проблем. Возьмем, к примеру, прекрасную книгу Робера Бланша [Robert Blanche], *L'axiomatique*, P.U.F. Прежде всего, в ней ставится вопрос об относительной независимости аксиом, независимо от того, насыщена система или нет (§§ 14 и 15). Во-вторых, ставится вопрос о «моделях реализации», их неоднородности, а также их изоморфии в отношении аксиоматики (§ 12). Затем существует возможность полиморфии моделей не только в ненасыщенной системе, но и в самой насыщенной аксиоматике (§§ 12, 15, 26). А потом еще есть вопрос о «неразрешимых пропозициях», с которыми сталкивается аксиоматика (§ 20). И наконец, встает вопрос о «мощности», посредством которой недоказуемые бесконечные совокупности выходят за пределы аксиоматики (§ 26 и мощность континуума). Сопоставление политики с аксиоматикой основывается именно на всех этих аспектах.

образом, воссоединилась с метаэкономикой — было бы неточным рассматривать все государства как «стоящие друг друга» (даже из изоморфии такое не следует); но не менее неточно отдавать предпочтение определенной форме Государства (забывая, что полиморфия учреждает строгие взаимодополнительности, например, между западными демократиями и колониальными или неоколониальными тираниями, которые такие демократии устанавливают или поддерживают в других местах); и еще более неточно уподоблять бюрократические социалистические государства тоталитарным капиталистическим государствам (пренебрегая тем фактом, что аксиоматика может включать в себя реальную гетероморфию, из которой выводится могущество высшей совокупности, даже если от этого еще хуже).

То, что мы называем Государством-нацией в самых разнообразных формах — это именно Государство как модель реализации. И действительно, рождение наций предполагает много ухищрений — дело в том, что нации конституируются не только в активной борьбе против имперских или развитых систем, против феодальных систем, против городов, но они сами осуществляют уничтожение собственных «меньшинств», то есть миноритарных феноменов, кои мы могли бы назвать «националитарными [nationalitaires]», причем последние работают изнутри и вынуждены вернуться к прежним кодам, дабы найти еще большую степень свободы. Составляющие нации — это земля и народ: «родное», которое не обязательно врожденное, и «народное», которое не обязательно дано. Проблема нации обостряется в двух крайних случаях — земли без народа и народа без земли. Как же создаются народ и земля, то есть нация, некая ритурунель? Самые холодные и самые кровавые средства конкурируют здесь с порывами романтизма. Аксиоматика сложна и не обходится без страстей. Дело в том, что, как мы уже видели в других местах, родное или земля предполагают определенную детерриторизацию территорий (общинные земли, имперские провинции, сеньориальные области и т.д.) и народ, декодирование населения. Именно

на этих декодированных и детерриторизованных потоках конституируется нация, и она неотделима от современного Государства, кое сообщает консистенцию соответствующим земле и народу. Именно поток голого труда создает народ, так же как именно поток Капитала создает землю и ее оснащение. Короче, нация — это сама операция коллективной субъективации, коей соответствует современное Государство как процесс подчинения. Именно в этой форме Государства-нации — со всеми его возможными разнообразиями — Государство становится моделью реализации для капиталистической аксиоматики. Это вовсе не значит, что нации суть явления или идеологические феномены, но напротив, они — страстные и живые формы, где впервые реализуются качественная однородность и количественная конкуренция абстрактного капитала.

Мы различаем *машинное порабощение* и *социальное подчинение* как два отдельных концепта. Порабощение существует, когда сами люди являются составными деталями машины, которую они komponуют между собой и с другими вещами (животные, инструменты) под контролем и руководством высшего единства. Но есть подчинение, когда высшее единство конституирует человека как субъекта, который относится к объекту, ставшему внешним, так что этот объект сам может быть животным, инструментом или даже машиной — тогда человек уже является не компонентой машины, а рабочим, потребителем... Он подчинен машине и более не поработен ею. Это вовсе не значит, что второй режим более человечен. Но первый режим, как кажется, отсылает по преимуществу к архаичной имперской формации — люди являются не субъектами, а деталями машины, которая сверхкодирует совокупность (то, что было названо «обобщенным рабством», в противоположность частному рабству античности или феодального крепостничества). Льюис Мамфорд, как нам кажется, вправе обозначать архаичные империи именем мегамшины, уточняя, что тут речь идет вовсе не о метафоре: «Если мы можем рассматривать машину, более или менее в соответствии с классическим опреде-

лением Рело, как комбинацию твердых элементов, каждый из которых имеет свою специализированную функцию и функционирует под человеческим контролем, дабы передавать движение и выполнять работу, то *человеческая машина* была настоящей машиной». ⁴⁹ Конечно же именно современное Государство и капитализм способствуют триумфу машин, в особенности моторизованных машин (тогда как у архаичного Государства были в лучшем случае только простые машины); но теперь мы говорим о *технических машинах*, определяемых внешним образом. И действительно, мы не порабощены технической машиной, а, скорее, подчинены ей. В этом смысле кажется, что благодаря технологическому развитию современное Государство заменило все более и более сильное социальное подчинение на машинное порабощение. Античное рабство и феодальное крепостничество уже были процедурами подчинения. Что касается «свободного» или голого рабочего, принадлежащего капитализму, то он принимает подчинение в его самом радикальном выражении, поскольку процессы субъективации уже даже не входят в частичные конъюнкции, прерывающие поток. В результате капитал действует как точка субъективации, конституирующая всех людей как субъектов, но одни из них — «капиталисты» — выступают в качестве субъектов высказывания, формирующих частную субъективность капитала, тогда как другие — «пролетарии» — суть субъекты высказываемого, подчиненные техническим машинам, где осуществляется постоянный капитал. Режим наемного труда может довести, таким образом, подчинение людей до беспрецедентной точки и свидетельствовать об особой жестокости, но у него тем не менее будет повод издать свой гуманистический вопль: нет, человек — не машина, мы не считаем его чем-то вроде машины, мы конечно же не смешиваем переменный капитал с постоянным капиталом...

Но если капитализм и появляется как всемирное предприятие субъективации, то лишь благодаря конституиро-

⁴⁹ Mumford, L. *La première mégamachine* // *Diogenes*, juillet 1966.

ванию аксиоматики декодированных потоков. Итак, социальное подчинение, как коррелят субъективации, куда более проявляется в аксиоматических моделях реализации, нежели чем в самой аксиоматике. Именно внутри рамок Государства-нации, или национальной субъективности, манифестируются процессы субъективации и соответствующих подчинений. Что касается самой аксиоматики, государства которой являются моделями реализации, то она восстанавливает или заново изобретает — в новых формах, ставших техническими, — целую систему машинного порабощения. Это совсем не возврат к имперской машине, ибо мы теперь пребываем в имманентности аксиоматики, а не под трансцендентностью формального Единства. Но это действительно переизобретение машины, чьими составными частями являются человеческие существа, а не подчиненные рабочие и потребители. Если моторизованные машины конституируют второй век технических машин, то кибернетические и информационные машины формируют третий век, который реконструирует обобщенный режим порабощения — обратимые и рекуррентные «человеко-машинные системы» замещают прежние нерекуррентные и необратимые отношения подчинения между обоими элементами; отношение между человеком и машиной осуществляется в терминах внутренней взаимной коммуникации, а не в терминах использования или действия.⁵⁰ В органической композиции капитала переменный капитал задает режим подчинения рабочего (человеческая сверхприбыль), главной рамкой которого является предприятие или

⁵⁰ Эргономика проводит различие между системой «человек—машина» (или рабочие места) и системами «люди—машины» (коммуницирующие совокупности, составленные из человеческих и нечеловеческих элементов). Но это не только разница в степени, вторая точка зрения не является обобщением первой: «Понятие информации утрачивает свой антропоцентрический аспект», и проблемы — это не проблемы адаптации, а проблемы выбора человеческого или нечеловеческого элемента в зависимости от случая. См. Montmollin, Maurice de. *Les systèmes hommes-machines*, P.U.F. Дело не в том, чтобы лучше приспособиться, даже подвергаясь насилию, а в том, чтобы локализоваться: где твоё место? Даже недуги могут использоваться вместо того, чтобы быть исправленными или компенсированными. Глухонемой может быть существенной частью «человеко-машинной» коммуникационной системы.

завод; но когда с приходом автоматике постоянный капитал растет все более и более пропорционально, то мы обнаруживаем новое порабощение, когда режим работы изменяется, прибыль становится машинной, а рамка распространяется на все общество в целом. Также можно было бы сказать, что немного субъективации удаляет нас от машинного порабощения, но много субъективации возвращает нас к нему. Недавно мы обратили внимание, до какой степени современное осуществление власти не сводится к классической альтернативе «репрессия или идеология», но предполагает процессы нормализации, модуляции, моделирования и информации, касающиеся языка, восприятия, желания, движения и т.д., и проходящие через микросборки. Именно эта совокупность включает в себя сразу и подчинение, и порабощение, взятые в своих крайностях, как две одновременные части, постоянно усиливающие и питающие друг друга. Например: мы подчинены телевизору постольку, поскольку используем и потребляем его в крайне особой ситуации субъекта высказываемого, который более или менее принимает себя за субъекта высказывания («именно вы, дорогие телезрители, делаете телевизор тем, чем он является...»); техническая машина — посредник между двумя субъектами. Но мы порабощены телевизором как человеческой машиной постольку, поскольку телезрители уже не потребители или пользователи, ни — даже предположительно — «изготавливающие» его субъекты, а внутренние составные детали, «вход» и «выход», *обратная связь* или рекурренции, уже не принадлежащие машине тем же способом, каким ее производят или ею пользуются. В машинном порабощении нет ничего, кроме трансформации или обмена информацией, среди которых одни — механические, а другие — человеческие.⁵¹

⁵¹ Один из основных сюжетов научной фантастики показывает, как машинное порабощение комбинируется с процессами подчинения, но выходит за их пределы и отличается от них, осуществляя качественный скачок; например, у Рея Брэдбери телевизор — не инструмент, помещенный в центр дома, а то, что конституирует стены дома.

Конечно же мы не резервируем подчинение за национальным аспектом, тогда как порабощение было бы международным или всемирным. Ибо информатика — тоже собственность государств, устанавливаемая в человеко-машинных системах. Но это так лишь в той мере, в какой оба аспекта — аспект аксиоматики и аспект моделей реализации — не перестают переходить друг в друга и коммуницировать между собой. Тем не менее социальное подчинение измеряется по модели реализации, так же как машинное порабощение распространяется на аксиоматику, осуществленную в модели. У нас есть привилегия подвергать обоим операциям одновременно через одни и те же вещи и одни и те же события. Подчинение и порабощение формируют, скорее, два сосуществующих полюса, а не стадии.

Мы можем вернуться к различным формам Государства с позиции всеобщей истории. Мы выделяем три крупные формы: 1) имперские архаичные государства, парадигмы, конституирующие машину порабощения, сверхкодируя уже закодированные потоки (у таких государств мало разнообразия ввиду некой формальной неизменности, пригодной для всех); 2) крайне различающиеся между собой Государства, — развитые империи, города, феодальные системы, монархии, — действующие, скорее, посредством субъективации и подчинения, конституирующие топические или качественно определенные конъюнкции декодированных потоков; 3) современные государства-нации, еще более наращивающие декодирование и выступающие моделями реализации для аксиоматики или всеобщего сопряжения потоков (эти государства комбинируют социальное подчинение и новое машинное порабощение, а само их разнообразие касается изоморфии, полиморфии или возможной гетероморфии моделей в отношении аксиоматики).

Конечно, существуют разного рода внешние обстоятельства, отмечающие глубокие разрывы-купюры между этими типами Государств и, прежде всего, придающие архаичные империи радикальному забвению, погребению, из коего их выводит только археология. Такие империи

исчезают внезапно, словно благодаря мгновенной катастрофе. Как при дорическом вторжении, машина войны воздвигается и осуществляется извне, убивая память. Однако все происходит совсем иначе внутри, где все Государства резонируют вместе, присваивают себе армии и проявляют единство композиции, несмотря на их различия в организации и развитии. Очевидно, что все декодированные потоки, какими бы они ни были, способны сформировать машину войны против Государства. Но все изменяется в зависимости от того, соединяются ли эти потоки в машине войны или, напротив, вступают в конъюнкции либо в общее сопряжение, приспособляющее их к Государству. С этой точки зрения, современные государства обладают своего рода транспространственно-временным единством с архаичным Государством. Внутренняя корреляция между 1 и 2 проявляется особенно ясно в той мере, в какой раздробленные формы Эгейского мира предполагают великую имперскую форму Востока и обнаруживают в ней именно склад или сельскохозяйственные излишки, в производстве или накоплении которых для себя они не нуждаются. И в той мере, в какой государства второго века все же обязаны заново создавать склад, пусть даже только в силу внешних обстоятельств (Какое Государство могло бы обойтись без этого?), они всегда реактивируют развитую имперскую форму, каковую мы находим ожившей в греческом, римском или феодальном мирах — империя всегда маячит на горизонте, играющем роль означающего и объединяющего элемента для субъективных государств. И корреляции между 2 и 3 не меньше; ибо в промышленных революциях нет недостатка, а различие между топическими конъюнкциями и великим сопряжением декодированных потоков столь малó, что у нас складывается впечатление, будто капитализм не переставал рождаться, исчезать и воскресать на всех перекрестках истории. Также необходима корреляция между 3 и 1 — современные Государства третьего века хорошо восстанавливают самую абсолютную империю, новую «мегамашину», какой бы ни была новизна или

актуальность формы, ставшей имманентной; они делают это, реализуя аксиоматику, которая функционирует как благодаря машинному порабощению, так и благодаря социальному подчинению. Капитализм разбудил *Urstaat* и придал ему новые силы.⁵²

Не только, как говорил Гегель, любое Государство подразумевает «сущностные моменты своего существования как Государства», но имеется и уникальный момент, в смысле соединения сил, и такой момент Государства — это захват, связь, узел, *пехит*, магический захват. Должны ли мы говорить о втором полюсе, который действовал бы, скорее, посредством договора и контракта? Не является ли второй полюс, скорее, другой силой — такой, что захват формирует уникальный момент пары? Ибо обе силы — это сверхкодирование кодированных потоков и обработка декодированных потоков. Контракт — юридическое выражение второго аспекта — он появляется как процесс субъективации, результатом которого является подчинение. И нужно, чтобы контракт дошел до высшей точки, то есть чтобы он уже заключался не между двумя лицами, а между собой и собой [*soi et soi*] в одном том же человеке, *Ich = Ich**, как подданным и сувереном. Крайнее извращение контракта, восстанавливающее самый чистый из узлов. Именно узел, связь и захват пронизывают, таким образом, долгую историю — сначала объективная имперская коллективная связь; затем все формы субъективных личных связей; и, наконец, Субъект, связывающий сам себя и возобновляющий, таким образом, самую магическую из операций, «космополитическую энергию, которая разрушает любой барьер и любую связь, дабы установиться в качестве единственной универсальности, единственного барьера и единственной связи».⁵³ Даже подчинение — это

⁵² Ср.: Mumford, Lewis. *Le mythe de la machine*, Fayard, t. II, pp. 319–350 (сравнение «древней мегамашины» и современной — несмотря на письменность, древняя мегамашина страдала главным образом от трудностей «коммуникации»).

* Я=Я (нем.). — Прим. пер.

⁵³ Marx, *Economie et philosophie*, Pléiade II, p. 72.

только переключатель для фундаментального момента Государства: цивилизованный захват или машинное порабощение. Безусловно, Государство не является ни местом свободы, ни агентом вынужденного рабства или военного захвата. Надо ли тогда говорить о «добровольном рабстве»? Последнее — что-то вроде выражения «магический захват»: его единственное достоинство в том, что оно оттеняет явную мистерию. Существует машинное порабощение, о котором всякий раз можно было бы сказать, что оно предполагает само себя, что оно появляется только как уже осуществленное, и такое порабощение столь же «добровольно», сколь и «вынуждено».

Теорема XIV. Аксиоматика и нынешнее положение

Политика конечно же не является аподиктической наукой. Она действует посредством экспериментирования, нащупываний, инъекцией, изъятий, продвижений вперед и отходов назад. Факторы, обеспечивающие решения и прогноз, ограничены. Абсурдно предполагать мировое сверхправительство, принимающее решения в последней инстанции. Никто не способен предсказать рост денежной массы. Сходным образом Государства подвержены всем видам коэффициентов неопределенности и непредсказуемости. Гэлбрейт и Франсуа Шателе извлекают концепт постоянных и решающих ошибок, создающих славу Государственным людям не меньше, чем их редкие удачные оценки. Но это только лишь еще один повод, чтобы сблизить политику с аксиоматикой. Ибо аксиоматика в науке вовсе не является трансцендентной, автономной и принимающей решения силой [puissance], коя противостояла бы экспериментированию и интуиции. С одной стороны, у нее есть свои собственные нащупывания, экспериментирования, модусы интуиции. Если аксиомы независимы друг от друга, можем ли мы добавлять аксиомы и до какого предела (насыщенная система)?

Могут ли они быть изъяты и до какого предела («ослабленная» система)? С другой стороны, такая аксиоматика является аксиоматикой, сталкивающейся с *так называемыми неразрешимыми предложениями* или противостоящей *необходимо высшей силе [puissances]*, которую она не может одолеть.⁵⁴ Наконец, аксиоматика не составляет вершину науки, она — в большей мере точка остановки, наведение порядка, которое мешает декодированным семиотическим потокам математики и физики разбегаться во все стороны. Крупные представители аксиоматик — государственные люди науки, которые затыкают линии ускользания, столь частые у математиков, собираются навязать новый *пехит*, пусть даже временный, и создают официальную политику науки. Они — наследники теорематической концепции геометрии. Когда интуиционизм противостоял аксиоматике, то такое имело место не только от имени интуиции, конструирования и творчества, но и от имени исчисления проблем, проблематической концепции науки, которая была не менее абстрактна, но предполагала совершенно иную абстрактную машину, работающую в неразрешимом и в ускользящем.⁵⁵ Именно реальные характеристики аксиоматик заставляют нас сказать, что капитализм и актуальная политика являются аксиоматикой в буквальном смысле. Но как раз по той же причине еще не все уже потеряно. И тогда мы можем привести краткий перечень «данных».

⁵⁴ Исторически это — две крупные проблемы аксиоматики: встреча с «неразрешимыми» предложениями (противоречивые высказываемые равным образом недоказуемы); встреча с мощностью бесконечных множеств, по своей природе ускользящих от аксиоматической обработки («непрерывное, например, в своей структурной специфике не может быть помыслено аксиоматически, ибо каждая аксиоматика, которую мы придадим непрерывному, будет включать числовую модель»; см.: Robert Blanche, р. 80).

⁵⁵ «Интуиционистская» школа (Брауэр, Гейтинг, Гресс, Булиган и т.д.) имеет большое математическое значение не потому, что она отдала должное неустранимым правам интуиции, и даже не потому, что она выработала совершенно новый конструктивизм, но потому, что она развивает концепцию *проблем* и *исчисления проблем*, которая внутренним образом соперничает с аксиоматикой и действует с помощью других правил (а именно в отношении исключенного третьего).

1. *Присоединение, изъятие.* — Аксиомы капитализма явно не являются ни теоретическими предложениями, ни идеологическими формулами, а оперативными высказываемыми, конституирующими семиологическую форму Капитала и входящими в качестве составных частей в сборки производства, циркуляции и потребления. Аксиомы суть первичные высказываемые, ниоткуда не выводимые или ни от чего не зависящие. В этом смысле поток может создавать объект одной или нескольких аксиом (всей совокупности аксиом, конституирующих сопряжение потоков); но он может также и не иметь присущих ему аксиом, причем его обработка будет только следствием других аксиом; наконец, он может остаться вне поля, эволюционировать без пределов, может оставаться в состоянии «дикий» вариации в системе. Внутри капитализма есть тенденция постоянно добавлять аксиомы. В результате войны 1914—1918 годов объединенное влияние мирового кризиса и русской революции вынудили капитализм умножать свои аксиомы, изобретать новые аксиомы, касающиеся рабочего класса, трудовой занятости, профсоюзной организации, общественных институтов, роли Государства, внешнего и внутреннего рынков. Экономия Кейнса и *New Deal** были лабораториями аксиом. А вот примеры создания новых аксиом после Второй мировой войны — план Маршалла, формы помощи и ссуд, трансформация монетарной системы. Аксиомы размножаются не только в период экспансии или подъема. Что касается Государств, то варьировать аксиоматику вынуждает именно различие и отношение между внешним и внутренним рынками. Умножение аксиом имеет место именно тогда, когда организуется интегрированный внутренний рынок, который соперничает с требованиями внешнего рынка. Аксиомы для молодых, для пожилых, для женщин и т.д. Самый общий полюс Государства — «социал-демократия» — может быть определен с

* «Новый курс» (название экономической политики Рузвельта, предложенной для выхода из Великой депрессии) (англ.). — *Прим. пер.*

помощью этой тенденции к добавлению, к изобретению аксиом в отношении инвестиционных областей и источников прибыли: речь идет не о свободе или принуждении, не о централизме или децентрализации, речь идет о том способе, каким мы владеем потоками. Здесь мы владеем ими благодаря умножению направляющих аксиом. Противоположная тенденция в неменьшей мере является частью капитализма — тенденция изымать, исключать аксиомы. Мы обходимся весьма незначительным числом аксиом, регулирующих доминантные потоки, тогда как другие потоки получают статус, производный от следствий (фиксируемый «теоремами», вытекающими из аксиом), или остаются в диком состоянии, которое не только не исключает брутального вмешательства со стороны Государства, а совсем наоборот. Именно Государственный полюс — «тоталитаризм» — воплощает ту тенденцию, которая ограничивает число аксиом и действует исключительно благодаря стимулированию внешнего сектора: обращение к иностранным капиталам, рост индустрии, нацеленной на экспорт сырья или продуктов питания, крушение внутреннего рынка. Тоталитарное Государство — не государственный максимум, а, скорее, следуя формулировке Вирилио, *государственный минимум* анархо-капитализма (см. Чили). В пределе, единственные удерживаемые аксиомы касаются равновесия внешнего сектора, уровня резервов и степени инфляции; «население более не является некой данностью, оно стало следствием»; что касается диких эволюций, то они появляются среди других в вариациях занятий, в феноменах массового бегства из деревни, в феноменах трущоб-урбанизации и т.д. — Случай фашизма («национал-социализма») отличается от тоталитаризма. Он совпадает с тоталитарным полюсом в уничтожении внутреннего рынка и редукции аксиом. Между тем стимулирование внешнего сектора происходит не благодаря обращению к внешним капиталам и индустрии экспорта, а благодаря военной экономике, влекущей за собой экспансионизм, чуждый тоталитаризму и автономному производству капитала.

Что касается внутреннего рынка, то он реализуется благодаря специфическому производству *Ersatz'a**. Так что фашизм включает в себя также быстрое разрастание аксиом, что объясняет, почему его так часто сближают к кейнсианской экономикой. Однако именно мнимое или тавтологическое разрастание аксиом, размножение путем изъятия, превращает фашизм в крайне особый случай.⁵⁶

2. *Насыщение.* — Можем ли мы распределить обе противоположные тенденции, сказав, что насыщение системы помечает точку инверсии? Нет, ибо насыщение само является относительным. Если Маркс где и показал функционирование капитализма как аксиоматики, то главным образом в знаменитой главе о тенденции к понижению нормы прибыли. Капитализм — это действительно аксиоматика, ибо у него нет иных законов, кроме имманентных. Он хотел бы заставить поверить, будто столкнулся с пределами Универсума, с крайним пределом ресурсов и энергии. Но он сталкивается лишь с собственными пределами (периодическое обесценивание существующего капитала), и отбрасывает или перемещает лишь собственные пределы (формирование нового капитала в новой индустрии с высокой нормой прибыли). Это история нефти и ядерной энергии. И их обоих одновременно — капитализм противостоит собственным пределам и, одновременно, перемещает их, дабы установить их еще дальше. Можно было бы

* Эрзац, заменитель (нем.). — Прим. пер.

⁵⁶ По нашему мнению, одним из лучших анализов нацистской экономики является работа Жана-Пьера Фая, *Langages totalitaires*, pp. 664—676: он показывает, что нацизм действительно является тоталитаризмом именно из-за его Государства-минимума, его отказа от любого огосударствления экономики, его сокращения заработной платы, его враждебности к крупным общественным работам; но в то же время он показывает, как нацизм приступает к созданию внутреннего капитала, к стратегическому строительству, к индустрии вооружения, которые заставляют его соперничать с экономикой социалистического направления, а иногда даже смешиваться с нею («нечто, что, как кажется, напоминает шведские ссуды, восхваляемые Мюрдалем с точки зрения крупномасштабных работ, но что фактически и непосредственно является его противоположностью — записью экономики вооружения и экономики войны» — и соответствующим различием между «управляющим общественными работами» и «армейским снабженцем», pp. 668, 674).

сказать, что тоталитарная тенденция — ограничивать аксиомы — соответствует противостоянию пределам, тогда как социал-демократическая тенденция соответствует перемещению пределов. Итак, одна тенденция не обходится без другой — они присутствуют либо в двух различных, но сосуществующих местах, либо в двух последовательных, но тесно связанных моментах; они всегда берутся одна на другой и даже одна в другой, конституируя одну и ту же аксиоматику. Типичным примером была бы нынешняя Бразилия с ее двусмысленной альтернативой «тоталитаризм — общественная демократия». Как общее правило, пределы являются еще более подвижными, если аксиомы изымаются в одном месте, а добавляются в другом. — Было бы ошибкой уклоняться от участия в борьбе на уровне аксиом. Случается, что мы считаем, будто любая аксиома — в капитализме или в одном из его Государств — конституирует «восстановление». Но такой освобожденный от иллюзий концепт не столь уж хорош. Постоянные реорганизации капиталистической аксиоматики, то есть присоединения (высказывание новых аксиом) и изъятия (создание исключительных аксиом), суть объекты борьбы, которая никоим образом не резервируется за технократией. Действительно, борьба рабочих повсюду выходит за рамки предприятий, подразумевающих, главным образом, производные предложения. Борьба прямо касается аксиом, управляющих государственными общественными расходами или даже касающихся той или иной международной организации (например, многонациональная фирма может по собственной воле спланировать ликвидацию завода в какой-либо стране). Возникающая здесь опасность всемирной рабочей бюрократии или технократии, нагружающих себя этими проблемами, может быть предотвращена лишь в той мере, в какой локальная борьба непосредственно принимает за свою цель национальные и международные аксиомы как раз в точке их укоренения в поле имманентности (потенциал сельского мира в этом отношении). Всегда есть фундаментальное различие между живыми потоками и аксио-

мами, подчиняющими потоки центрам контроля и принятия решения, приводящими в соответствие с ними тот или иной сегмент, который измеряет их кванты. Но давление живых потоков и проблем, какие они ставят и навязывают, должно осуществляться внутри аксиоматики — как для того, чтобы бороться против тоталитарных редукций, так и для того, чтобы опережать и ускорять добавления, ориентировать их и препятствовать их технократическому извращению.

3. Модели, изоморфия. — В принципе все государства изоморфны, то есть они суть области реализации капитала как функции от одного-единственного внешнего мирового рынка. Но первый вопрос таков: предполагает ли изоморфия однородность или даже гомогенизацию Государств? Ответ — да, как это можно видеть в современной Европе в отношении правосудия, полиции, дорожного кодекса, грузооборота, стоимости производства и т.д. Но это верно лишь постольку, поскольку существует тенденция к единственному интегральному внутреннему рынку. Кроме того, изоморфизм никак не предполагает однородности — изоморфия же, а также однородность между тоталитарными и социал-демократическими государствами возникает каждый раз, когда способ производства один и тот же. Общие правила в этом отношении таковы: *консистенция, совокупность или единство аксиоматики* определяются капиталом как «право» или производственные отношения (для рынка); *относительная независимость аксиом* нисколько не противоречит такой совокупности, но выводится из отделений и секторов капиталистического способа производства; *изоморфия моделей*, с двумя полюсами присоединения и изъятия, отсылает к тому, как распределяются в каждом случае внутренний и внешний рынки. — Но это только первая биполярность, приложимая к Государствам центра с капиталистическим способом производства. Государству центра навязывается и вторая биполярность, Запад—Восток, — биполярность

между капиталистическими Государствами и бюрократическими социалистическими Государствами. Итак, хотя такое новое различие может вбирать некоторые черты предыдущего (так называемые социалистические государства могут быть уподоблены тоталитарным Государствам), проблема тут ставится по-другому. Многочисленные теории «конвергенции», пытающиеся показать некоторую гомогенизацию восточных и западных государств, малоубедительны. Даже изоморфизм не годится: существует реальная гетероморфия — и не только потому, что способ производства не является капиталистическим, но и потому, что производственное отношение не является Капиталом (скорее, оно было бы Планом). Тем не менее если социалистические государства суть все еще модели реализации капиталистической аксиоматики, то лишь благодаря существованию одного-единственного внешнего мирового рынка, который остается здесь решающим фактором даже по ту сторону производственных отношений, из коих он следует. Бывает даже, что *социалистический бюрократический план* берет на себя паразитическую функцию по отношению к *плану капитала*, что свидетельствует о большей созидательности, созидательности типа «вируса». — Наконец, третья фундаментальная биполярность — это биполярность центра и периферии (Север—Юг). В силу относительной независимости аксиом мы можем вместе с Самиром Амином сказать, что аксиомы периферии не те же самые, что аксиомы центра.⁵⁷ И опять же различие и независимость аксиом никак не компрометируют консистенцию общей аксиоматики. Напротив, центральный капитализм нуждается в такой периферии, конституируемой третьим миром, где он устанавливает бóльшую часть своей наиболее современной индустрии и где он не довольствуется инвестированием капиталов, но сам снабжается капита-

⁵⁷ См. критический список аксиом периферии, приводимый Самиром Амином: *L'accumulation à l'échelle mondiale*, pp. 373—376.

лом, предоставляемым ему периферией. Конечно, вопрос зависимости государств третьего мира очевиден, но он не самый важный (он унаследован от прежнего колониализма). Ясно, что даже независимость аксиом никогда не гарантировала независимости государств, но, скорее, она обеспечивает международное разделение труда. Опять же важный вопрос — это вопрос об изоморфии в отношении мировой аксиоматики. Итак, в немалой степени существует изоморфия между США и самыми кровавыми тираниями Южной Америки (или между Францией, Англией, ФРГ и некоторыми африканскими государствами). И все-таки биполярность центр—периферия — Государства центра и Государства третьего мира — в свою очередь, хорошо восстанавливает отличительные черты двух предыдущих биполярностей, но она также избегает их, поднимая другие проблемы. Дело в том, что в обширной части третьего мира общее производственное отношение — капитал; и даже во всем третьем мире, в том смысле, что обобществленный сектор может использовать такое отношение, адаптируя его к этому случаю. Но способ производства не является по необходимости капиталистическим — ни в так называемых архаичных или переходных формах, ни в самых производительных и высоко-индустриализованных секторах. Таким образом, это действительно третий случай, включенный во всемирную аксиоматику, — когда капитал действует как производственное отношение, но в некапиталистических способах производства. Тогда будем говорить о полиморфии государств третьего мира по отношению к государствам центра. И такое измерение аксиоматики не менее необходимо, чем другие — оно даже куда более необходимо, ибо гетероморфия так называемых социалистических государств была навязана капитализму, с грехом пополам переваривающему его, тогда как полиморфия государств третьего мира частично организована центром в качестве аксиомы замены колонизации. — Мы всегда обнаруживаем однозначный вопрос, касающийся моделей реализации все-

мирной аксиоматики: в принципе существуют *изоморфия* моделей Государств центра; *гетероморфия*, навязанная бюрократическим социалистическим Государством; *полиморфия*, организованная Государствами Третьего мира. Опять же было бы абсурдом полагать, будто включение народных движений во все поле имманентности заранее осуждено, и абсурдно было бы предполагать, что либо существуют «хорошие» государства, являющиеся демократическими, социал-демократическими или — в другой крайности — социалистическими, либо, напротив, что все государства стоят друг друга и однородны.

4. *Могущество*. — Давайте предположим, что аксиоматика с необходимостью высвобождает могущество более сильное, чем то, каким она обладает, то есть могущество совокупностей, служащих ей в качестве моделей. Это похоже на могущество непрерывного, которое связано с аксиоматикой, но выходит за ее пределы. Мы незамедлительно опознаем такое могущество как могущество разрушения, войны, как могущество, воплощенное в военнотехнологических промышленных и финансовых комплексах, неразрывно связанных друг с другом. С одной стороны, война явно следует за тем же движением, что и движение капитализма — подобно тому, как пропорционально растет постоянный капитал, война становится все более и более «войной материала», где человек являет собой уже не переменный капитал подчинения, а чистый элемент машинного порабощения. С другой стороны и главным образом, растущая значимость постоянного капитала в аксиоматике означает, что ухудшение существующего капитала и формирование нового капитала обретают ритм и размах, которые с необходимостью проходят через машину войны, воплощенную теперь в комплексах — комплексы активно участвуют в перераспределениях мира, каких требует эксплуатация морских и всемирных ресурсов. Существует непрерывный «порог» могущества, каждый раз сопровождающий перенос «пределов» аксио-

матики; как если бы могущество войны всегда перенасыщало перенасыщенность системы и обуславливало ее. — К классическим конфликтам между государствами центра (как и к периферийной колонизации) присоединились или, скорее, заменили их две большие конфликтующие линии — между Западом и Востоком и между Севером и Югом; эти линии пересекаются одна с другой и покрывают всю совокупность. Но перевооружение Запада и Востока не только оставляет реальность локальных войн полностью незатронутой и придает им новую силу и новые ставки; оно не только фундирует «апокалиптическую» возможность прямого столкновения по двум великим осям; но также кажется, что машина войны обретает особый дополнительный смысл — промышленный, политический, судебный и т.д. На самом деле верно, что государства в ходе всей своей истории не прекращали присваивать машину войны; и это в то время как война, в своей подготовке и в своем исполнении, становилась исключительным объектом машины, но как более или менее «ограниченная» война. Что касается цели, она оставалась политической целью государств. Различные факторы, стремившиеся превратить войну в «тотальную», — а именно фашистский фактор — отмечали начало инверсии движения: как если бы государства, после долгого периода присвоения, восстанавливали автономную машину войны посредством той войны, какую они вели друг против друга. Но эта освобожденная или раскованная машина войны продолжала иметь в качестве собственной цели войну в действии как войну, ставшую тотальной и неограниченной. Вся фашистская экономика стала военной экономикой, но военная экономика все еще нуждалась в тотальной войне как цели. С тех пор фашистская война подходит под формулу Клаузевица («продолжение политики другими средствами»), хотя эти другие средства стали исключительными, — другими словами, политическая цель вступила в противоречие с целью [машины войны] (отсюда идея Вирилио, что фашистское Государ-

ство было скорее «суицидальным» Государством, а не тоталитарным). Только после Второй мировой войны автоматизация, а затем автоматика машины войны произвели свой подлинный эффект. Машина войны, учитывая новый пересекающий ее антагонизм, не имеет уже войну в качестве своего исключительного объекта, но принимает на себя в качестве объекта мир, политику, мировой порядок — короче, цель. Здесь имеет место инверсия формулы Клаузевица — именно политика становится продолжением войны, *именно мир технически освобождает неограниченный материальный процесс тотальной войны*. Война перестает быть материализацией машины войны, *сама машина войны становится материализованной войной*. В этом смысле тут нет более нужды в фашизме. Фашисты были только детьми-предшественниками, и абсолютный мир выживания преуспел в том, что тотальная война потерпела поражение. Мы уже побывали на третьей мировой войне. Машина войны царила над всей аксиоматикой как могущество непрерывного, которое окружило «экономию-мир» и привело в контакт все части универсума. Мир снова стал гладким пространством (морем, воздухом, атмосферой), где царила одна и та же машина войны, даже когда она противостояла своим собственным частям. Войны стали частью мира. И более того, государства больше не присваивали себе машину войны, они восстанавливали машину войны, лишь частями которой сами и были. — Среди всех авторов, развивших смысл апокалипсиса или миллениума, следует отдать должное Полю Вирилио, который настаивал на пяти строгих тезисах: на том, как машина войны находит свой новый объект в абсолютном мире террора или устрашения; на том, как она проводит технико-научную «капитализацию»; на том, как такая машина войны вселяет ужас не в зависимости от возможной войны, какую она нам обещала, как бы шантажируя, но, напротив, в зависимости от крайне особого реального мира, каковому она потакала и который уже установила; на том, что эта машина войны не нуждается

более в качественно определенном враге, но — в соответствии с требованиями аксиоматики — действует против «какого угодно врага», внутреннего или внешнего (индивид, группа, класс, народ, событие, мир); на том, что из этого вытекает новая концепция безопасности как материализованной войны, как организованной небезопасности или программируемой, распределенной, молекуляризированной катастрофы.⁵⁸

5. *Включенное третье.* — Никто лучше Броделя не показал, что капиталистическая аксиоматика нуждается в центре и в том, чтобы этот центр, в ходе долгого исторического процесса, конституировался на севере: «Мировая экономика может иметь здесь место только тогда, когда у сети достаточно стянутые ячейки, когда обмен достаточно регулярен и объемён, чтобы дать жизнь центральной зоне».⁵⁹ По данному поводу многие авторы полагают, что оси Север—Юг, центр—периферия сегодня куда важнее, чем ось Запад—Восток, и даже в принципе определяют последнюю. Это выражается в общем тезисе, обновленном и развитым Жискарсом д'Эстеном, — чем больше вещи уравниваются в центре между Западом и Востоком, начиная с равновесия перевооружения, тем боль-

⁵⁸ Поль Вирлио, *L'insécurité du territoire; Vitesse et politique; Défense populaire et luttes écologiques*: именно по ту сторону фашизма и тотальной войны машина войны находит свой законченный объект — в угрожающем мире ядерного устрашения. Именно тут пересмотр формулы Клаузевица обретает конкретный смысл, в то самое время, когда политическое Государство имеет тенденцию слабеть и когда машина войны овладевает максимумом гражданских функций («помешать все гражданское общество в режим военной безопасности», «дисквалифицировать все планетарные условия жизни, лишая народы их качества ее обитателей», «стирать различие между военным и мирным временем...» — см. в этом отношении роль средств информации). Некоторые европейские полиции можно было бы рассматривать в качестве простого примера: когда они требуют права «стрелять без предупреждения», они перестают быть винтиком аппарата Государства, дабы стать деталями машины войны.

⁵⁹ Бродель показывает, как этот гравитационный центр образуется на севере Европы, но на исходе движений, которые с IX и X веков заставляют конкурировать или соперничать европейские пространства Севера и Юга (такая проблема не должна смешиваться с проблемой формы-Города и формы-Государства, но она перекидывает последнюю). См.: *Naissance d'une économie-monde // Urbi, I, septembre 1979.*

ше их равновесие нарушается или «дестабилизируется» с Севера на Юг, а также дестабилизируется их центральное равновесие. Ясно, что в таких формулах Юг — абстрактный термин, обозначающий Третий мир или периферию; а также и то, что внутри центра существуют Юг или Третий мир. Ясно также, что подобная дестабилизация не случайна, а является (теорематическим) следствием аксиом капитализма и, прежде всего, аксиомы, называемой *неравным обменом*, необходимой для функционирования капитализма. Следовательно, эта формула является современной версией самой старой формулы, признанной уже в архаичных империях при других условиях. Чем более архаичная империя сверхкодировала потоки, тем более она вызывала декодированные потоки, которые оборачивались против нее и вынуждали ее модифицироваться. Теперь чем более декодированные потоки входят в центральную аксиоматику, тем более они стремятся убежать на периферию и ставить проблемы, которые аксиоматика неспособна решать или контролировать (даже с помощью особых аксиом, какие она добавляет ради этой периферии). — Четыре главных потока, тревожащие представителей мировой экономики или аксиоматики, таковы: поток материи-энергии, поток населения, поток продуктов питания и городской поток. Ситуация кажется запутанной, потому что аксиоматика никогда не перестает создавать все эти проблемы, тогда как ее аксиомы, даже размноженные, лишают ее средств их решения (например, циркуляция и распределение, каковые, возможно, обеспечили бы пропитание мира). Даже социал-демократия, адаптированная к Третьему миру конечно же не собирается вовлекать все обнищавшее население во внутренний рынок, она, скорее, осуществит классовый разрыв, который будет отбирать способные к интеграции элементы. И государства центра имеют дело не только с Третьим миром, у каждого из них есть не только внешний Третий мир, но также и внутренний Третий мир, возникающий в них и вырабатывающий их изнутри. В каком-то отноше-

нии можно было бы даже сказать, что периферия и центр обмениваются своими определенностями — детерриторизация центра, деколаж [décolage] центра по отношению к территориальным и национальным совокупностям делают периферийные формации подлинными инвестиционными центрами, в то время как центральные образования становятся периферийными. Тезисы Самира Амина, одновременно, усиливаются и релятивизируются. Чем более мировая аксиоматика устанавливает на периферии высокую индустрию и высоко-индустриализированное сельское хозяйство, предварительно резервируя за центром так называемую постиндустриальную активность (автоматика, электроника, информатика, завоевание пространства, перевооружение), тем более она устанавливает внутри центра периферийные зоны отсталости, внутренний Третий мир, внутренний Юг. «Массы» населения заняты краткосрочным трудом (субподряд, временная или черная работа), и их официальное существование гарантировано только Государственными пособиями и временными выплатами. Нужно воздать должное таким мыслителям, как Негри, сформулировавшему, на основе образцового случая Италии, теорию краев [théorie de cette marge], которая все более и более стремится к тому, чтобы объединить студентов с *emarginati**.⁶⁰ Такие феномены подтверждают различие между новым машинным порабощением и классическим подчинением. Ибо подчинение оставалось сосредоточенным на работе и отсылало к

* Маргиналы (*ит.*). — Прим. пер.

⁶⁰ Движение марксистского исследования формируется начиная с Тронти (*Ouvriers et Capital*, Bourgois), а затем благодаря итальянской автономии и Антонио Негри, чья цель состояла в том, чтобы проанализировать новые формы труда и борьбы против труда. Речь шла об одновременном показе того: 1) что борьба против труда не случайный или «маргинальный» феномен при капитализме, а существенная часть в композиции капитала (пропорциональный рост постоянного капитала); 2) а также, что этот феномен порождает новый тип борьбы — рабочей, народной, этнической, всемирной, причем во всех областях. См. Антонио Негри, особенно: *Marx au-delà de Marx*; Roth, К.Н. *L'autre mouvement ouvrier en Allemagne*, Bourgois; и нынешние работы во Франции Яна Мулье, Алена и Даниэль Гуилерм [Alain et Danièle Guillermin], Бенжамена Корья [Benjamin Coriat] и т.д.

биполярной организации — собственность—труд, буржуазия—пролетариат. В то время как в порабощении и в центральном доминировании постоянного капитала труд, как кажется, разрывается в двух направлениях — в направлении интенсивного сверхтруда, который более не проходит даже через работу, и в направлении экстенсивного труда, ставшего ненадежным и расплывающимся. Тоталитарная тенденция покидать аксиомы занятости и социал-демократическая тенденция умножать статусы могут здесь комбинироваться, но всегда ради того, чтобы вызывать классовый разрыв. Все более подчеркивается оппозиция между аксиоматикой и потоками, коими она не умеет овладеть.

6. *Меньшинства.* — Наш век становится веком меньшинств. Мы неоднократно видели, что меньшинства определяются с необходимостью не малым числом, а становлением или флуктуацией, то есть брешью, которая отделяет их от той или иной аксиомы, конституирующей избыточное большинство («Улисс, или сегодняшний средний европеец, живущий в городах», либо, как говорит Ян Мулье, «национальный, квалифицированный Рабочий мужского пола и старше тридцати пяти лет»). Меньшинство может заключать в себе только малое число; но оно также может заключать в себе самое большое число, конституировать абсолютное, неопределенное большинство. Здесь та ситуация, когда авторы — даже так называемые левые — повторяют великий капиталистический тревожный вопль: через двадцать лет «Белые» составят только 12% мирового населения... Они, таким образом, не довольствуются тем, чтобы сказать, будто большинство изменится или уже изменилось, но они говорят, что на него покушается неисчислимое и увеличивающееся меньшинство, угрожающее разрушением большинства в самом его концепте, то есть в качестве аксиомы. И действительно, странный концепт небелого не конституирует некое счетное множество. То, что определяет, таким образом, меньшинство, является не

числом, а отношением, внутренним для числа. Меньшинство может быть многочисленным или даже бесконечным; так же как и большинство. Их различает то, что в случае большинства внутреннее для числа отношение конституирует некое множество, будь то конечное или бесконечное, но всегда исчислимое, тогда как меньшинство определяется как неисчислимое множество, каким бы ни было число его элементов. Неисчислимое не характеризуется ни множеством, ни элементами; скорее, оно является *коннекцией*, «и», производимой между элементами, между множествами — коннекцией, которая не принадлежит ни одному из обоих, убегает от них и конституирует линию ускользания. Ибо аксиоматика манипулирует только счетными, даже бесконечными множествами, тогда как меньшинства конституируют такие неисчислимые, неаксиоматизируемые «нечеткие» множества — короче, «массы», множества ускользания или потока. — Будь то бесконечное множество не-белых периферии, или же ограниченное множество басков, корсиканцев и т.д. — всюду мы видим предпосылки всемирного движения: меньшинства восстанавливают «националитарные» феномены, которые Государства-нации взялись контролировать и душить. Конечно же такие движения не щадят и Бюрократический социалистический сектор, и, как говорил А.А. Амальрик, диссиденты суть ничто, либо же они служат только пешками в международной политике, если мы абстрагируем их от меньшинств, кои трудятся в СССР. Не имеет большого значения, что меньшинства неспособны конституировать жизнеспособные Государства с точки зрения аксиоматики и рынка, ибо они поддерживают долгосрочность композиций, кои более не проходят ни через капиталистическую экономику, ни через форму-Государство. Быстрый ответ Государства, или аксиоматики, очевидно, может состоять в том, чтобы предоставлять меньшинствам региональную, федеральную или статуарную самостоятельность — короче, добавлять аксиомы. Но это-то как раз и не является проблемой — была бы только операция, состоящая в трансляции

ровании меньшинства на исчислимые множества или подмножества, которые вошли бы в качестве элементов в большинство и могли бы исчисляться в большинстве. То же касается статуса женщин, статуса молодежи, статуса временных рабочих... и т.д. Можно даже вообразить — в кризисе и в крови — более радикальное низвержение, которое превратило бы белый мир в периферию желтого центра; это, без сомнения, была бы совершенно иная аксиоматика. Но мы говорим о чем-то другом, о чем-то, что тем не менее не было урегулировано. Женщины, немужчины — в качестве меньшинств, в качестве потока или неисчислимого множества — не получили бы никакого адекватного выражения, став элементами большинства, то есть став исчислимым конечным множеством. Не-белые не получили бы никакого адекватного выражения, став новым желтым или черным большинством, бесконечным исчислимым множеством. Что свойственно меньшинству, так это подчеркивать могущество не-исчислимого, даже если это меньшинство составлено из одного-единственного члена. Такова формула множеств. Меньшинство как универсальная фигура, или становление любым или всем. Женщина, мы все должны таковой стать, являем ли мы собой мужское или женское. Не-белый, мы все должны таковым стать, являемся ли мы белыми, желтыми или черными. — Опять же это не значит, будто борьба на уровне аксиом не важна; напротив, она является решающей (на самых разных уровнях — борьба женщин за право голосовать, за аборт, за работу; борьба регионов за автономию; борьба Третьего мира; борьба масс и угнетенных меньшинств в регионах Востока или Запада...). Но, также, всегда есть знак, дабы показать, что такая борьба — индикатор иной, сосуществующей, битвы. Каким бы скромным ни было притязание, оно всегда представляет некий пункт, который аксиоматика не может поддержать, когда люди требуют возможности самим ставить собственные проблемы и определять, по крайней мере, те частные условия, при каких они могут получить более общее решение (удер-

живать *Частное* как инновационную форму). Мы всегда изумляемся повторению одной и той же истории — скромность изначальных требований меньшинств, соединенная с бессилием аксиоматики разрешить самую мелкую соответствующую проблему. Короче, борьба вокруг аксиом является особенно важной, когда она сама манифестирует и прорубает брешь между двумя типами предложений — предложениями потока и предложениями аксиом. Могущество меньшинств не измеряется их способностью входить в систему большинства и навязывать себя последней, ни даже способностью низвергать с необходимостью тавтологичный критерий большинства, но оно измеряется способностью придавать значимость силе неисчислимых совокупностей, сколь бы малыми они ни были, против силы исчислимых множеств, пусть даже бесконечных, низвергнутых или измененных, даже если они предполагают новые аксиомы или, более того, новую аксиоматику. Речь идет вовсе не об анархии или организации, централизме или децентрализации; речь идет об исчислении или концепции проблем, касающихся неисчислимых множеств, — против аксиоматики исчислимых множеств. Итак, подобное исчисление может обладать собственной композицией, собственной организацией, даже собственной централизацией, оно не движется ни путем Государств, ни через процесс аксиоматики, оно идет через становление меньшинств.

7. Неразрешимые предложения. — Мы возразим, что аксиоматика сама высвобождает могущество неисчислимого бесконечного множества — а именно могущество машины войны. Однако, как кажется, весьма трудно применить машину войны к общей «обработке» меньшинств, не запуская абсолютную войну, каковую она предполагает предотвратить. Как мы увидели, машина войны также учреждает количественные и качественные процессы, миниатюризацию и адаптацию, делающие ее способной к постепенному наращиванию атаки или контратаки каждый раз в зависи-

мости от природы «какого угодно врага» (индивидов, групп, народов...). Но и в этих условиях капиталистическая аксиоматика не перестает производить и воспроизводить то, что машина войны пытается истребить. Даже организация голода умножает голодающих так же, как и убивает их. Даже организация *лагерей*, в чем страшно отличился «социалистический» сектор, не удостоверяет того радикального решения, о коем мечтает власть. Истребление меньшинства порождает еще меньшинство данного меньшинства. Несмотря на постоянство массовых убийств, относительно трудно ликвидировать народ или группу даже в третьем мире, как только последние предъявляют достаточно коннекций с элементами аксиоматики. В других же отношениях мы можем предсказать, что последующие проблемы экономики, состоящие в том, чтобы заново формировать капитал в связи с новыми ресурсами (морская нефть, металлические руды, пищевые продукты), потребуют не только перераспределения мира, которое мобилизует всемирную машину войны и противопоставит свои части новым целям; вероятно, мы также будем присутствовать при формировании или переформировании миноритарных совокупностей в отношении рассматриваемых регионов. — Вообще говоря, меньшинства больше не получают решения своей проблемы посредством интеграции — даже с аксиомами, статусами, автономиями, независимостью. Но там с необходимостью осуществляется их тактика. Однако, если они и являются революционными, то именно потому, что несут более глубокое движение, снова ставящее под вопрос мировую аксиоматику. Могущество меньшинства, партикулярности находит свою фигуру или свое универсальное сознание в пролетариате. Но пока рабочий класс определяется благодаря приобретенному статусу или даже благодаря теоретически завоеванному Государству, могущество появляется только как «капитал», часть капитала (переменный капитал) и не покидает *план капитала*. В лучшем случае план становится бюрократическим. Зато именно покидая план капитала, не переставая покидать его, масса становится все

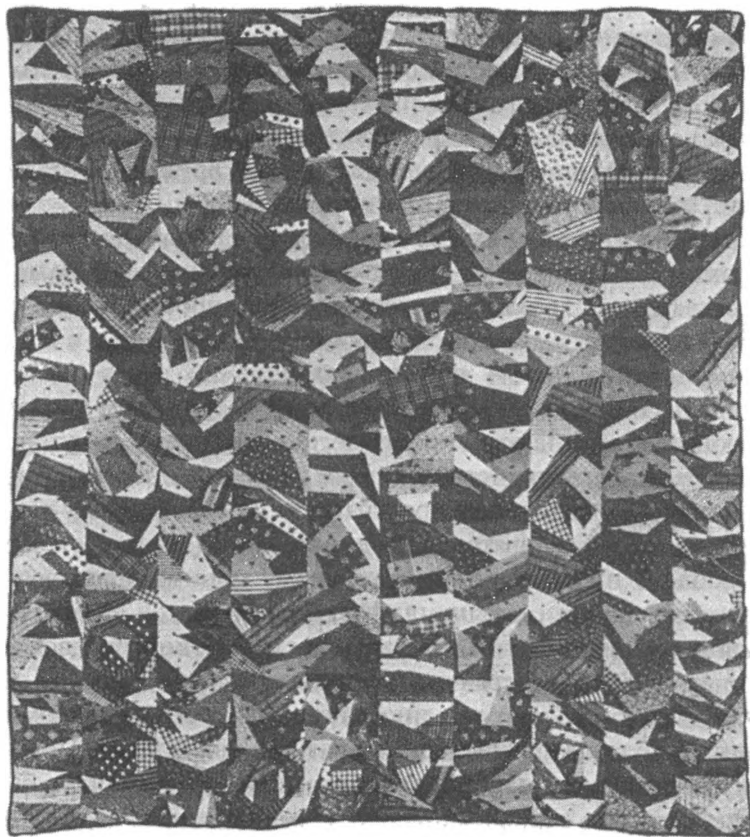
более и более революционной и разрушает господствующее равновесие исчислимых множеств.⁶¹ Трудно понять, чем было Государство амазонок — Государством женщин или Государством временных рабочих, Государством «отказа». Если меньшинства не конституируют культурно, политически и экономически жизнеспособных государств, то именно потому, что форма-Государство не соответствует ни аксиоматике капитала, ни соответствующей культуре. Мы неоднократно видели, как капитализм поддерживал и организовывал нежизнеспособные государства, следуя своим потребностям, именно для того, чтобы подавлять меньшинства. А также проблема меньшинств состоит в том, чтобы поскорее уничтожить капитализм, переопределить социализм и конституировать машину войны, способную дать отпор мировой машине войны другими средствами. — Если оба решения (истребление и интегрирование) едва ли кажутся возможными, то именно в силу самого глубокого закона капитализма — последний непрестанно устанавливает и переустанавливает свои пределы, но делает это, лишь сам порождая во всех смыслах-направлениях множество потоков, избегающих собственной аксиоматики. *В то самое время, когда капитализм осуществляется в исчислимых множествах, служащих ему моделями, он, одновременно, конституирует неисчислимы́е множества, пересекающие и сотрясающие эти модели.* Он производит «сопряжения» декодированных и детерриторизованных потоков, только если эти потоки идут еще дальше, ускользают как от сопрягающей их аксиоматики, так и от ретерриторизирующих их моделей, только если они стремятся к тому, чтобы вступать в «соединения», очерчивающие новую Землю, только если они кон-

⁶¹ Это один из существенных тезисов Тронти [Tronti], определившего новую концепцию «рабочий—масса» и новую концепцию отношения к труду: «Чтобы бороться против капитала, рабочий класс должен бороться против себя самого, ибо он является капиталом; это максимальная стадия противоречия, но не для рабочих, а для капиталистов. <...> План капитала начинает действовать в обратном направлении не как общественное развитие, а как революционный процесс». См.: *Ouvriers et capital*, p. 322; вот что Негри назвал *Кризисом государства-плана* (*Crise de l'Etat-plan*, Feltrinelli).

ституируют машину войны, чьей целью более не является ни война на истребление, ни мир всеобщего ужаса, а революционное движение (коннекция потоков, композиция неисчислимых множеств, становление-меньшинством всего и вся). Это не рассеивание или дробление — мы, скорее, обнаруживаем *оппозицию плана консистенции с планом организации и развития капитала, или с бюрократическим социалистическим планом*. В каждом случае существует некий конструктивизм, или «диаграмматизм», действующий посредством задания условий проблемы и посредством трансверсальных связей между проблемами — он противостоит как автоматике капиталистических аксиом, так и бюрократическому программированию. В этом смысле то, что мы называем «неразрешимыми предложениями», — это не неуверенность в последствиях, необходимо принадлежащая любой системе. Напротив, это — сосуществование или неразделимость того, что система сопрягает, и того, что не перестает бежать от нее, следуя линиям ускользания, кои сами способны к соединению. Неразрешимое — это по преимуществу зародыш и место революционных решений. Случается, что мы вызываем к высокой технологии мировой системы порабощения; но даже, и особенно, такое машинное порабощение изобилует неразрешимыми предложениями и движениями, которые — вместо того, чтобы принадлежать знанию давших присягу специалистов, — производят слишком много оружия для становления всего и вся: становления-радио, становления-электроникой, становления-молекулярным...⁶² Не бывает борьбы, которая не совершалась бы через все эти неразрешимые предложения и которая не конструировала бы *революционных соединений* в противоположность *сопряжению аксиоматики*.

⁶² Это другой аспект сегодняшней ситуации — уже не новая борьба, связанная с трудом и эволюцией труда, а вся область того, что мы называем «альтернативной практикой» и конструированием такой практики (независимые радиостанции были бы самым простым примером, но есть также городские коммуникационные сети, альтернативная психиатрия и т.д.). Обо всех этих сюжетах и о связи между обоими аспектами см.: Berardi, Franco «Bifo». *Le ciel est enfin tombé sur la terre*, Ed. du Seuil; Les Untorelli, Ed. Recherches.

14. 1440 — Гладкое и рифленое



Стеганое одеяло

У гладкого и рифленого пространств, у номадического и оседлого пространств — у пространства, где развивается машина войны, и у пространства, устанавливаемого аппаратом Государства, — не одна и та же природа. Но порой мы способны отметить лишь простую оппозицию между двумя видами пространств. А порой мы должны указать на гораздо более сложное различие, благодаря которому

последовательные термины такой оппозиции совсем не совпадают. Порой же мы должны напоминать себе, что оба пространства фактически существуют только благодаря их перемешиванию друг с другом — гладкое пространство непрестанно переводится, совершает трансверсальный переход в рифленое пространство; а рифленое пространство постоянно переливается, возвращается к гладкому пространству. В первом случае мы организуем даже пустыню; во втором — именно пустыня выигрывает и прорастает; и то, и другое происходит одновременно. Но фактические смеси не препятствуют различию по праву, абстрактному различию между двумя пространствами. Вот почему эти два пространства сообщаются друг с другом неодинаково — именно различие по праву задает формы той или иной фактической смеси, задает смысл этой смеси (гладкое пространство захвачено, окутано рифленным пространством или же рифленое пространство растворяется в гладком пространстве и позволяет ему развиваться?). Следовательно, одновременно возникает ряд проблем: простые оппозиции между обоими пространствами; сложные различия; фактические смеси и переходы от одного к другому; причины смесей, которые вовсе не являются симметричными, иногда вызывая переход от гладкого к рифленому, а иногда от рифленого к гладкому, причем благодаря совершенно разным движениям. Поэтому следует рассмотреть несколько моделей, кои были бы чем-то вроде вариабельных аспектов двух пространств и их отношений.

Технологическая модель. — Ткань в принципе дает определенное число характеристик, позволяющих определить ее как рифленое пространство. Во-первых, она конституируется двумя видами параллельных элементов; в простейшем случае есть вертикальные и горизонтальные элементы, переплетающиеся и пересекающиеся перпендикулярно. Во-вторых, у обоих видов элементов разные функции; один фиксирован, другой подвижен, проходя выше и ниже

фиксированного элемента. Леруа-Гуран проанализировал такую особую фигуру «мягких жесткостей» — как в случае изготовления плетеных изделий, так и ткачестве: стойка и нить, основа и утók.¹ В-третьих, такое рифленое пространство обязательно ограничено, закрыто, по крайней мере, с одной стороны — ткань может быть бесконечна в длину, но не по ширине, определяемой рамкой основы; необходимость возвратного и поступательного движений подразумевает закрытое пространство (круглые или цилиндрические фигуры сами являются закрытыми). Наконец, это пространство, по-видимому, с необходимостью имеет изнанку и лицевую сторону; даже когда у ниток основы и ниток утка в точности одна и та же природа, то же число и та же плотность, ткачество восстанавливает изнанку, перенося узелки нитей на одну сторону. Не эти ли характеристики позволили Платону использовать модель ткачества как парадигму для «царской науки», другими словами, для искусства руководить людьми или реализовывать аппарат Государства?

Но среди мягко-жестких продуктов есть и войлок, действующий совсем по-иному, как антиткань. Здесь нет никакого высвобождения нитей, никакого переплетения, а есть лишь клубок волокон, полученный благодаря валянию (например, через катание блока волокон попеременно назад и вперед). Перепутываются именно микрочешуйки волокон. Такая совокупность переплетений никоим образом не *однородна*: тем не менее она — гладка, она пункт за пунктом противостоит пространству ткани (она в принципе бесконечна, открыта и неограниченна во всех направлениях; у нее нет ни изнанки, ни лицевой стороны, ни центра; она не предполагает фиксированных и подвижных элементов, а скорее распределяет непрерывную вариацию). Ибо даже те технологии, которые порождают серьезные сомнения относительно значимости нововведений

¹ Leroi-Gourhan, *L'homme et la matière*, Albin Michel, pp. 244 sq. (а также оппозиция ткани и войлока).

кочевников, отдают последним должное, по крайней мере, в том, что касается войлока: войлок — прекрасный изолятор, гениальное изобретение, сырье для палаток, одежды и доспехов у тюрко-монголов. Несомненно, кочевники Африки и Магриба истолковывают шерсть, скорее, как ткань. Но, рискуя сместить оппозиции, не находим ли мы здесь две крайне разные концепции или даже две практики ткачества, разница между коими чем-то напоминает разницу между самой тканью и войлоком? Ибо у оседлых племен одежная и декоративная ткани стремятся присоединить — будь то тело, будь то внешнее пространство — к неподвижному дому: ткань интегрирует и тело, и то, что вне [тела], в закрытое пространство. Тогда как занимающийся ткачеством кочевник индексирует одежду и сам дом на внешнем пространстве, на открытом гладком пространстве, где движется тело.

Между войлоком и тканью много переплетений и смесей. А не можем ли мы заставить оппозицию сместиться как-то еще? Например, спицы при вязании создают рифленое пространство, причем одна из них играет роль основы, другая — ткани, пусть даже попеременно. В то время как вязание крючком расчерчивает открытое пространство, пространство, способное продолжаться во всех направлениях — но все еще обладающее центром. А еще интереснее была бы разница между вышивкой, с ее центральной темой или мотивом, и *ткачеством из лоскутов*, с его сшиванием край в край, с его бесконечными, последовательными добавлениями ткани. Конечно, вышивка — в своих переменных и постоянных, в своих фиксированных и подвижных элементах — может быть чрезвычайно сложна. Ткань из лоскутов, со своей стороны, может дать эквиваленты тем, симметрий и созвучий, сближающих ее с вышивкой. Но тем не менее пространство ткани из лоскутов не складывается тем же способом, что и в вышивке — у такой ткани нет никакого центра; ее основной мотив (*блок*) komponуется из единственного элемента; возвращение этого элемента высвобождает уникально ритмичные

значимости, отличные от гармоний вышивки (особенно в *crazy patchwork**, подгоняющем вместе части переменного размера, формы и цвета, а также играющем на *текстуре* тканей). «Она никогда не говорила, что именно и для кого она мастерит, и уже пятнадцать лет возилась с этой таинственной вещью, таская ее за собой в грязной бесформенной сумке из потертой парчи, набитой пестрыми лоскутками самой разнообразной формы. Она никак не могла составить из них какой-нибудь узор и потому без конца раскладывала и перекладывала, размышляла и снова передвигала лоскутки, словно части хитроумной головоломки, стараясь без помощи ножниц уложить их в определенном порядке, потом разглаживала разноцветные кусочки вялыми серыми пальцами и снова принималась передвигать их с места на место».² Бесформенная коллекция рядоположенных частей, которые могут соединяться бесконечным числом способов: мы увидим, что ткань из лоскутов — это буквально риманово пространство или, скорее, наоборот. Отсюда и возникновение специфических рабочих групп для изготовления тканей из лоскутов (важность *quilting party*** в Америке и ее роль в отношении женских коллективов). Гладкое пространство ткани из лоскутов в достаточной мере показывает, что «гладкое» не означает однородное, а совсем наоборот: это — неформальное, аморфное пространство, служащее прототипом *оп-арта*.

В этом отношении особенно интересна история стеганого одеяла. Мы называем стеганым одеялом соединение двух толстых слоев ткани, сшитых вместе, между которыми часто имеет место прокладка. Поэтому у стеганого одеяла может не быть ни лицевой стороны, ни изнанки. Итак, сле-

* Безумный пэчворк (лоскутное шитье, лоскутная мозаика) (англ.). — Прим. пер.

² Фолкнер, Уильям. *Сарторис* // Собр. соч., т. 1. М.: Художественная литература, 1985, с. 142, 143.

** Группа квилтинга — женское сообщество, занятое производством стеганых одеял в Америке в 1854–1875 годы. Квилтинг — вид рукоделия, в котором простегивается, прошивается вместе не менее трех слоев ткани, из-за чего на поверхности изделия образуется рельефный узор (англ.). — Прим. пер.

дуя истории стеганого одеяла через краткую последовательность миграций (колонисты, покидающие Европу ради нового мира), мы наблюдаем переход от формулы, где главенствует вышивание (так называемые «обычные» стеганые одеяла), к лоскутной формуле («аппликативные стеганые одеяла» и, более того, «стеганые одеяла из сочлененных кусочков»). Значит, если первые колонисты XVII века тащат с собой обычные стеганые одеяла, то есть чрезвычайно красивые расшитые и рифленые пространства, то в конце XVII века они все более и более развивают технику ткачества из лоскутков — сначала из-за нехватки текстиля (остатки ткани, использование кусков бывшей в употреблении одежды, применение отходов, собранных из «скарба»), а затем из-за популярности индейского ситца. Как если бы гладкое пространство высвобождалось, выходило из рифленого пространства, не без корреляции обоих пространств, не без возобновления одного в другом, не без продвижения одного через другое, и тем не менее сопровождаемое сложным различием. Учитывая миграцию и собственную меру сходства с номадизмом, ткань из лоскутков примет не только имена траекторий, но и будет «представлять» траектории, станет неотделимой от скорости или движения в открытом пространстве.³

Музыкальная модель. — Именно Пьер Булез первым развил все простые оппозиции и сложные различия, а также несимметричные обоюдные корреляции между гладким и рифленным пространствами. Он создал эти концепты и слова в музыкальном поле, справедливо определяя их на

³ Об истории стеганого одеяла и ткани из лоскутов в американской иммиграции см.: Holstein, Jonathan. *Quilts*, Musée des arts décoratifs 1972 (с репродукциями и библиографией). Хольстен не настаивает на том, что стеганое одеяло было главным источником американского искусства, но отмечает, до какой степени «белое на белом» обычных стеганых одеял, с одной стороны, и композиции тканей из лоскутков, с другой, вдохновляют и дают толчок определенным тенденциям американской живописи («мы обнаруживаем здесь *оптические [ор]* эффекты, сериальные образы, использование цветовых полей, глубокое понимание негативного пространства, манеру формальной абстракции и т.д.», p. 12).

нескольких уровнях, — как раз для того, чтобы одновременно рассматривать абстрактные различия и конкретные смеси. Еще проще Булез говорит о том, что в гладком пространстве—времени мы размещаемся без исчисления, а в рифленном пространстве—времени, дабы разместиться, мы исчисляем. Он также делает осязательным или видимым различие между неметрическими и метрическими множествами, между направленными пространствами и размерностными пространствами. Он делает их звуковыми и музыкальными. Несомненно, его личные произведения творятся с помощью таких отношений, музыкально создаваемых и воссоздаваемых.⁴

На втором уровне мы говорим, что пространство может подвергаться двум видам купюр: один определяется неким эталоном, другой — нерегулярный и неопределенный — может осуществляться, где мы пожелаем. А еще на другом уровне мы говорим, что частоты могут распределяться в интервалах, между купюрами, или статистически размещаться без купюр: в первом случае мы назовем «modulo»* причину распределения купюр и интервалов — причину, которая может быть постоянной и фиксированной (*прямое* рифленное пространство), либо же регулярно или нерегулярно вариабельной (*кривое* рифленное пространство — фокусируемое, если modulo регулярно вариабельное, и нефокусируемое, если оно нерегулярно). Но, когда modulo нет, распределение частот существует без купюры — оно делается «статистическим» на любом отрезке пространства, как бы мал тот ни был; тем не менее у него есть два аспекта, в зависимости от того, является ли размещение равномерным (ненаправленное гладкое пространство) или же оно более или менее разреженное, более или менее густое (направленное гладкое пространство). Можем ли мы

⁴ Boulez, Pierre. *Penser la musique aujourd'hui*, Médiations, pp. 95 sq. Мы подведем итог анализу Булеза в следующем параграфе.

* Модуляционное пространство (лат.) — музыкальный термин для обозначения звуковой системы, представляющей собой совокупность переходов между ладами, которая, собственно, и образует такое пространство.

сказать, что в гладком пространстве без купюры и modulo не существует интервала? Или, напротив, не стало ли тут все интервалом, интермеццо? Гладкое — это номос, тогда как рифленое всегда обладает неким логосом, например, октавой. Булез озабочен коммуникацией между обоими видами пространств, их чередованиями и суперпозициями: каким образом «сильно направленное гладкое пространство будет обладать тенденцией смешиваться с рифленным пространством», как «рифленное пространство, где статистическое распределение используемых высот *фактически* будет равномерным, обладает тенденцией смешиваться с гладким пространством»; как октава может быть смещена «не формирующими октавы масштабами», кои воспроизводятся по принципу спирали; как «текстура» может обрабатываться так, что утрачивает свои фиксированные и однородные значимости, дабы стать опорой для скольжений в темпах, для перемещений в интервалах, для трансформаций *искусства звука [son'art]*, подобных трансформациям *оптического искусства [op'art]*.

Если вернуться к простой оппозиции, то рифленное — это то, что скрещивает фиксированные и переменные величины, то, что упорядочивает и делает последовательными различные формы, то, что организует горизонтальные мелодические линии и вертикальные гармоничные планы. Гладкое — это непрерывная вариация, непрерывное развитие формы, это слияние гармонии и мелодии ради извлечения чисто ритмических значимостей, чистое прочерчивание диагонального через вертикальное и горизонтальное.

Морская модель. — Конечно, в рифленном пространстве, как и в гладком, есть точки, линии и поверхности (а также объемы, но мы пока оставим в стороне этот вопрос). Итак, в рифленном пространстве у линий и траекторий есть тенденция подчиниться точкам — мы идем от одной точки к другой. В гладком все наоборот — точки подчинены траектории. Такой вектор — одежда—шатер—пространство, —

направленный вовне, был уже у кочевников. Жилище подчинено путешествию, внутреннее пространство соответствует внешнему пространству — палатка, иглу, корабль. В гладком, как и в рифленном, есть остановки и траектории; но в гладком пространстве именно траектория влечет за собой остановку, к тому же именно интервал принимает на себя все, именно интервал является субстанцией (отсюда и ритмические значимости).⁵

Итак, в гладком пространстве линия — это вектор, направление, а не измерение или метрическая определенность. Это пространство, конституируемое локальными действиями, подразумевающими изменения направления. Такие изменения направления могут происходить в силу природы самого путешествия, как у кочевников с архипелагов (случай «направленного» гладкого пространства); но еще более они могут быть вызваны изменениями цели или пункта назначения, как у кочевников пустыни, движущихся в сторону локальной и временной растительности («ненаправленное» гладкое пространство). Направлено оно или нет (и главным образом во втором случае) гладкое пространство является скорее направляемым, чем размерностным или метрическим. Гладкое пространство в большей мере заполнено событиями или эвентами, нежели оформленными и воспринимаемыми вещами. Оно, скорее, пространство аффектов, а не свойств. Оно, скорее, подразумевает восприятие *гаптическое**, чем оптическое. В то время как в рифленном пространстве формы организуют материю, в гладком пространстве материалы сигнализируют о силах или служат их симптомами. Это, скорее, интенсивное, а не экстенсивное пространство, пространство

⁵ О такой индексации внутреннего и внешнего у кочевников пустыни см.: Milovanoff, Annie. *La seconde peau du nomade*. И об отношениях иглу с внешним у кочевников льдов, Edmund Carpenter, *Eskimo*.

* Гаптическое [восприятие] (от *греч.* *hапto*, касаюсь) — форма механорецепции, сенсорная система, ответственная за построение осязательного образа; состоит из кожного (тактильный, температурный) и кинестетического анализаторов. Этот термин был использован австрийским искусствоведом Алоизом Риглем для обозначения осязательно-плоскостной трактовки формы. — *Прим. пер.*

дистанций, а не мер. Интенсивный *Spatium* вместо *Extensio*. Тело без органов вместо организма и организации. Восприятие основано тут на симптомах и оценках, а не на мерах и свойствах. Вот почему гладкое пространство занято интенсивностями — ветрами и шумами, силами, а также тактильными и звуковыми качествами — как в пустыне, степи или ледниках.⁶ Треск льда и песнь песков. Напротив, рифленое пространство покрыто именно небом — как мерой — и вытекающими отсюда измеримыми визуальными качествами.

Именно здесь ставится крайне особая проблема моря. Ибо море — это гладкое пространство по преимуществу, и к тому же оно раньше всего столкнулось с требованиями чрезвычайно строгого рифления. Проблема возникает не вблизи от земли. Напротив, рифление морей — результат навигации как раз в дальнем плавании. Морское пространство было рифленным в зависимости от двух — астрономических и географических — обретений: *азимут*, получаемый благодаря набору расчетов, начиная с точного наблюдения за звездами и солнцем; и *карта*, где пересекаются меридианы и параллели, долготы и широты, разграфляя таким образом известные или неизвестные регионы (подобно таблице Менделеева). Должны ли мы, как на том настаивают португальцы, считать 1440 год поворотным пунктом, отметившим первое решительное рифление и сделавшим возможными крупные открытия? Скорее мы последуем за Пьером Шоню, который обращается к продолжительному временному периоду, когда на море сталкиваются гладкое и рифленое и когда постепенно устанавливается рифление.⁷ Ибо еще до пришедшего значительно позже расчерчивания долгот существует целая эмпирическая и сложная номадическая навигация, которая под-

⁶ Два сходящихся описания ледяного пространства и песчаного пространства: Carpenter E. *Eskimo*; Thesiger W. *Le désert des déserts* (в обоих случаях равнодушие к астрономии).

⁷ См. доклад: Chaunu, Pierre. *L'expansion européenne du XIIIe au XV siècle*, pp. 288–305.

ключает ветры, шумы, краски и звуки моря; затем появляется направленная — доастрономическая и уже астрономическая — навигация, действующая с помощью операциональной геометрии, разрабатывающая пока только широту без возможности «принимать в расчет собственный азимут» и располагающая только компасными, а не настоящими картами — без «поддающихся передаче обобщений»; наконец, достижения такой первоначальной астрономической навигации создавались при весьма особых условиях широт Индийского океана, а затем на эллиптических окольных путях Атлантики (прямые и кривые пространства).⁸ Как если бы море было не только прототипом всех гладких пространств, но и первым из этих пространств, которое подверглось постепенному рифлению, разграфляющему его здесь или там, на одной стороне, а затем на другой. Коммерческие города участвуют в таком рифлении и часто вводят новшества, но только Государства способны успешно его завершить, довести до глобального уровня «научной политики».⁹ *Размерностное* все более и более укореняется, подчиняясь *направленному* или *накладывающемуся* на него.

Не вызывает сомнения, что море, как прототип гладкого пространства, также было и прототипом всех рифлений гладкого пространства — рифление пустыни, рифление воздуха, рифление стратосферы (побудившее Вирилио говорить о «вертикальном побережье» как смене направления). Именно в море впервые было укрощено гладкое пространство и найдена модель сборки, модель налогообложения рифленного, которая будет служить в другом месте. Это не противоречит другой гипотезе Вирилио — в результате своего рифления море возвращает что-то вроде гладкого пространства, оккупированного сначала *fleet in being*, а затем вечным движением стратегической субмарины,

⁸ В особенности: Adam, Paul. *Navigation primitive et navigation astronomique* // *Colloques d'histoire maritime* V (см. операциональная геометрия Полярной звезды).

⁹ Guy Beaujouan, *ibid.*

которая переходит границы любого квадрата и изобретает неономадизм на службе у машины войны, еще более пугающий, чем Государства, восстанавливающие его на границах своих рифлений. Море, а потом воздух и стратосфера вновь становятся гладкими пространствами, но лишь для того, чтобы еще лучше контролировать рифленую землю — в самом странном из переворачиваний.¹⁰ Гладкое всегда располагает более высокой мощностью детерриторизации, чем рифленое. Когда мы интересуемся новыми профессиями и даже новыми классами, как мы можем не спросить себя о тех военных специалистах, кои день и ночь следят за экранами, подолгу живут или будут жить в стратегических субмаринах и спутниках, о том, какие апокалиптические глаза и уши они создают для себя — глаза и уши, уже почти не способные отличить физическое явление или полет кузнечиков от «вражеской» атаки, исходящей из какого-либо пункта? Все это служит напоминанием о том, что гладкое само может быть расчерченным и оккупированным властью дьявольской *организации*; но, прежде всего, независимо от любого ценностного суждения, все это показывает, что существует два несимметричных движения, одно из которых делает гладкое рифленным, а другое восстанавливает гладкое на основе рифленого. (И нет ли — даже в отношении гладкого пространства всемирной организации — новых гладких пространств, или дырявых пространств, нарождающихся, если угодно, как ответный удар? Вирилио обращается к началам подземной зоны обитания в «минеральном пласте», которая может нести в себе крайне разнообразные ценности.)

Вернемся к простой оппозиции между гладким и рифленным, ибо мы пока не в состоянии рассмотреть конкретные и асимметричные смеси. Гладкое и рифленое отличаются, во-первых, обратным отношением между точ-

¹⁰ Virilio, Paul. *L'insécurité du territoire*: о том, как море восстанавливает гладкое пространство с *fleet in being* и т.д.; и о том, как высвобождается вертикальное гладкое пространство воздушного и стратосферного доминирования (особенно глава IV, «Вертикальное побережье»).

кой и линией (в случае рифленого линия находится между двумя точками, тогда как в гладком точка располагается между двумя линиями). Во-вторых, они отличаются природой линии (гладкое—направленное, открытые интервалы; рифленое—размерностное, закрытые интервалы). Есть, наконец, третье различие, касающееся поверхности или пространства. В рифленном пространстве мы закрываем поверхность и «размещаем» ее, следуя определенным интервалам, согласно назначенным купюрам; в гладком мы «распределяем» себя на открытом пространстве согласно частотам и длине пробега (*logos* и *nomos*).¹¹ Но, какой бы простой ни была такая оппозиция, нелегко определить ее место. Мы не можем удовлетвориться немедленным противопоставлением гладкой почвы животновода-кочевника и рифленой земли оседлого земледельца. Ясно, что крестьянин, даже оседлый, всецело причастен к пространству ветров, звуковых и тактильных качеств. Когда древние греки говорят об открытом пространстве *nomos*'а — неограниченном и неделимом, — об околгородской сельской местности, о склоне горы, о плато, о степи, они противопоставляют его не земледелию (каковое, напротив, может быть его частью), они противопоставляют его *полису*, городу, деревне. Когда Ибн Хальдун говорит о *Badiya*, о бедуинстве, он имеет в виду как земледельцев, так и кочевых животноводов — он противопоставляет бедуинство *Hadara*, то есть «городской жизни». Разумеется, такое уточнение весьма важно; однако многого оно не меняет. Ибо с самых древних времен — неолита и даже палеолита — именно город изобретает сельское хозяйство: именно под воздействием города крестьянин и его рифленное пространство налагаются на земледельца во все еще гладком пространстве (выгнанный на горные пастбища земледelec, полуоседлый или уже оседлый). Так что на этом уровне мы вновь

¹¹ Э. Лароше [Laroche] ясно отмечает в этом отношении разницу между идеей распределения и идеей раздела между обеими рассматриваемыми лингвистическими группами, между двумя родами пространства, между полюсом «провинции» и полюсом «города».

находим отвергнутую вначале простую оппозицию между крестьянами и кочевниками, между рифленой землей и гладкой почвой — но после того, как обогнули город как силу рифления. Теперь как раз не только море, пустыня, степь и воздух являются местом соперничества гладкого и рифленого, но и сама земля, в зависимости от того, существует ли культура [обработки земли] в пространстве-*nomos*'е или сельское хозяйство в пространстве-городе. Более того: нельзя ли сказать то же самое и о городе? В противоположность морю, город — рифленое пространство по преимуществу; но, так же как море является гладким пространством, фундаментально допускающим рифление, город является силой рифления, возвращающей гладкое пространство, вновь осуществляющей его повсюду — на земле и в других стихиях — вне себя самого, а также в себе самом. И гладкие пространства, возникающие из города, — это уже не только пространства всемирной организации, но и пространства ответного удара, комбинирующие гладкое и дырявое и обернувшиеся против города: подвижные, временные огромные трущобы кочевников и троглодитов, отходы металла и ткани, лоскутов, кои более уже не касаются рифления денег, работы или жилища. Взрывоопасная нищета, выделяемая городом и соответствующая математической формулировке Тома: «ретроактивное разглаживание». ¹² Конденсированная сила, потенциальность ответного удара?

Итак, каждый раз простая оппозиция «гладкое—рифленое» отсылает нас к куда более трудным путаницам, чередованиям и взаимоналожениям. Но такие запутанности изначально подтверждают данное различие именно потому, что запускают в игру асимметричные движения. Ибо теперь достаточно сказать, что есть лишь два вида путешествий, отличающихся соответствующей ролью точки,

¹² Мы находим это выражение у Рене Тома, который применяет его к непрерывной вариации, где переменная реагирует на собственные antecedentes: *Modèles mathématiques de la morphogenèse*, 10–18, pp. 218–219.

линии или пространства. Путешествие-Гете и путешествие-Клейст? Французское путешествие и английское (или американское) путешествие? Путешествие-дерево и путешествие-ризома? Но ничто не совпадает абсолютно, все перемешивается или переходит от одного к другому. Дело в том, что эти различия не объективны: можно жить рифленным образом в пустынях, степях или морях; можно жить гладким образом даже в городах, быть номадом городов (например, прогулка Миллера в Клиши или Бруклине — это номадический пробег в гладкое пространство, он заставляет город извергать лоскутные ткани, дифференциалы скорости, задержки и ускорения, изменения направлений, непрерывные вариации... Битники многим обязаны Миллеру, но они снова изменили направление, они по-новому используют пространства вне городов). Довольно давно Фицджеральд уже сказал: речь не о том, чтобы плыть в Южные моря, не это определяет путешествие. Существуют не только странные вояжи по городу, но и вояжи на месте — мы здесь имеем в виду не наркоманов, чей опыт слишком двусмыслен, а, скорее, подлинных кочевников. Именно по поводу кочевников, как уверяет Тойнби, мы можем сказать: *они не движутся*. Они — кочевники именно потому, что не движутся, не мигрируют, удерживая гладкое пространство, которое отказываются покидать и которое покидают лишь ради того, чтобы завоевывать и умирать. Вояж на месте — вот имя для всех интенсивностей, даже если они развиваются также и вширь. Мыслить — вот что значит путешествовать, а прежде мы пытались воздвигнуть теоноологическую модель гладких и рифленных пространств. Короче: что отличает два типа путешествий, так это вовсе не объективное качество мест, не измеримое количество движения, не что-либо, что было бы только в душе, — а способ опространствования, способ бытия в пространстве, бытия для пространства. Путешествовать в гладком или в рифленном, и таким же образом мыслить... Но всегда есть переходы от одного к другому, трансформации одного в другом, пере-

ворачивания. В фильме «В беге времени» Вендерс переплетает и заставляет налагаться друг на друга пути двух персонажей, причем один из них предпринимает вдобавок гетевское, культурное, отсылающее к воспоминаниям, «образовательное» путешествие, рифленое повсюду, тогда как другой уже захватил гладкое пространство, реализуя только лишь экспериментирование и амнезию в немецкой «пустыне». Но странно, что именно первый открывает для себя пространство и проводит что-то вроде ретроактивного разглаживания, в то время как рифленое реорганизуется на втором персонаже, захлопывает его пространство. Путешествие в гладком — это некое становление, причем трудное, неопределенное становление. Речь не о том, чтобы вернуться к доастрономической навигации или к древним кочевникам. Именно сегодня продолжаются столкновения между гладким и рифленным, переходы, чередования и взаимоналожения, причем в самых разнообразных смыслах-направлениях.

Математическая модель. — Это было решающим событием, когда математик Риман вырвал множественное из состояния предиката и наделил его именем существительным «многообразие». То был конец диалектики в пользу типологии и топологии многообразий. Каждое многообразие задается с помощью *n* детерминаций — но порой детерминации не зависели от ситуации, а порой зависели от нее. Например, мы можем сравнивать величину вертикальной линии между двумя точками и величину горизонтальной линии между двумя другими точками — здесь мы видим, что разнообразие является метрическим, но в то же время оно позволяет себе быть рифленным и его детерминации суть величины. Напротив, мы не можем сравнивать разницу между двумя звуками равной высоты и разной интенсивности с двумя звуками равной интенсивности и разной высоты; в этом случае мы можем сравнивать две детерминации, только «если одна является частью другой, а мы ограничиваемся суждением, что последняя меньше,

чем первая, будучи неспособными сказать насколько». ¹³ Такие вторые многообразия не являются метрическими и позволяют себе быть рифлеными лишь опосредованными способами, коим не преминут воспротивиться. Они не точны, но тем не менее строги. Мейнонг и Рассел обращались к понятию *дистанции* и противопоставляли его понятию *величины* (размера). ¹⁴ Дистанции, строго говоря, не неделимы — они могут делиться именно в тех случаях, когда положение одной детерминации делает ее частью другой. Но сказанное не относится к величинам — *те могут делиться, только каждый раз меняя свою природу*. Например, интенсивность не составлена из складываемых и перемещаемых величин: температура — не сумма двух более низких температур, скорость — не сумма двух меньших скоростей. Но каждая интенсивность, сама являясь различием, делится согласно некоему порядку, где каждый термин деления отличается по природе от других. Следовательно, дистанция — это совокупность упорядоченных различий или, другими словами, различий, сворачиваемых одна в другую так, что можно судить, какое из них больше, а какое меньше, независимо от точной величины. Будем делить, например, движение на галоп, рысь и шаг, но таким образом, что делимое меняется по природе в каждый момент деления, причем каждый из этих моментов не входит в сочетание с другим. Действительно, в этом смысле такие многообразия «дистанции» неотделимы от процесса непрерывной вариации, тогда как многообразия «величины», напротив, распределяют постоянные и переменные.

Вот почему мы считаем Бергсона самой важной фигурой (куда более важной, чем Гуссерль или даже Мейнонг и

¹³ О представлении множеств у Римана и Гельмгольца см.: Vuillemin, Jules. *Philosophie de l'algèbre*, P. U. F., pp. 409 sq.

¹⁴ См. Russell, *The Principles of Mathematics*, Allen Od., ch. xxxi. Последующие рассуждения не придерживаются теории Рассела. Превосходный анализ понятий дистанции и величины по Мейнонгу и Расселу можно найти в: Spaier, Albert. *La pensée et la quantité*, Alcan.

Рассел) в деле развития теории многообразий. Ибо, начиная с «Опыта о непосредственных данных сознания», длительность предстает как некий тип многообразия, противоположный метрическому многообразию, или многообразию величины. Дело в том, что длительность вовсе не неделима, но она может делиться, лишь меняя собственную природу при каждом делении (бег Ахиллеса делится на шаги, но только его шаги не komponуют бег на манер величин).¹⁵ Поскольку в многообразии, типа однородной протяженности, деление может продолжаться так долго, как мы хотим, причем в постоянном объекте ничего не меняется, либо же величины могут меняться без какого-то иного результата, нежели увеличение или уменьшение пространства, кое они рифлят. Итак, Бергсон высвободил «два совершенно разных типа многообразий», одно — качественное, расплавленное и непрерывное; другое — числовое, однородное и дискретное. Отметим, что *материя* движется назад и вперед между этими двумя многообразиями; иногда она еще свернута в качественном многообразии, иногда уже развернута в метрической «схеме», выталкивающей ее вовне ее самой. Противостояние между Бергсоном и Эйнштейном по поводу теории относительности остается непонятым, если не переносится в контекст базовой теории римановских многообразий, как ее модифицировал Бергсон.

Мы уже не раз имели возможность столкнуться со всякого рода различиями между двумя типами многообразий — метрическое и неметрическое; экстенсивное и качественное; центрированное и а-центрированное; древесное и ризоматическое; числовое и плоское; наделенное измерениями и наделенное направлениями; многообразие массы

¹⁵ Начиная с главы II «Опыта о непосредственных данных сознания» Бергсон снова и снова использует существительное «многообразие» при условиях, которые должны были бы привлечь внимание комментаторов, — имплицитная ссылка на Римана не кажется нам сомнительной. Позже, в «Материи и памяти», он объяснит, что бег или даже шаг Ахиллеса вполне делится на «подмножества», которые, однако, отличаются по природе от того, что они разделяют; то же верно и для хода черепахи; а подмножества, «с той и с другой стороны», сами различаются по природе.

и многообразие стай; величины и дистанции, купюры и частоты; *рифленное и гладкое*. Не только то, что населяет гладкое пространство — а именно, многообразие — меняет природу, разделяясь, как племена в пустыне: дистанции, которые все время модифицируются, стаи, непрерывно подвергающиеся метаморфозам, но и само гладкое пространство — пустыня, степь, море или лед — является многообразием такого типа, не метрическим, а-центрированным, направленным и т.д. Итак, можно было бы подумать, будто Число принадлежит исключительно *другим многообразиям*, что оно сообщает им научный статус, коего лишены неметрические множества. Но это верно лишь отчасти. Верно, что число — коррелят метрики: величины могут рифлить пространство только благодаря отсылке к числам, и наоборот, числа используются для выражения все более и более сложных отношений между величинами, давая, таким образом, жизнь идеальным пространствам, усиливающим рифление и делающим его соразмерным всей материи. Следовательно, внутри метрических многообразий есть корреляция между геометрией и арифметикой, геометрией и алгеброй — корреляция, конституирующая большую науку (самыми глубокими авторами в этом отношении являются те, кто увидел, что число — в его наипростейших формах — обладает здесь исключительно количественным характером, а единство — по существу делимым характером).¹⁶ С другой стороны, можно было бы сказать, что неметрические многообразия, или многообразия гладкого пространства, принадлежат только малой (то есть чисто операциональной и качественной) геометрии, где исчисление по необходимости весьма ограничено, где локальные операции даже не могут претендовать ни на

¹⁶ См. Бергсон А. *Опыт о непосредственных данных сознания* // Собр. соч., т. 1. М.: «Московский клуб», 1992, стр. 85: «если всякая множественность предполагает возможность смотреть на любое число как на временное единство, прибавляющееся к самому себе, то и, наоборот, единицы, в свою очередь, суть настоящие числа, как угодно большие; но мы временно считаем их неразложимыми, чтобы можно было складывать их друг с другом».

общую переводимость, ни на однородную систему определения места или направления. И однако подобная «неполноценность» только явная; ибо независимость такой почти неграмотной, а-метрической геометрии, в свою очередь, делает возможной независимость числа, функция которого теперь состоит не в том, чтобы измерять величины в рифленом пространстве (или рифлить). Число распределяется в гладком пространстве, оно уже делится, лишь меняя каждый раз природу, меняя единства, каждое из которых представляет дистанцию, а не величину. Артикулированное, порядковое, кочевое, направленное число, исчисляющее число принадлежит гладкому пространству, так же как исчисляемое число принадлежит рифленому пространству. Так что о любом многообразии мы можем сказать: оно — уже число, оно — еще единство. Но в обоих случаях это не одно и то же число, не одно и то же единство и не один и тот же способ, каким единство делится. И малая наука не перестает обогащать большую, сообщая ей свою интуицию, свой путь, свое странствие, свой смысл и свой вкус материи: сингулярность, вариацию, интуиционистскую геометрию и исчисляющее число.

Но пока мы рассмотрели только первый аспект гладких или неметрических многообразий в противоположность метрическим — как одна детерминация может оказаться в положении, когда она составляет часть другой детерминации, причем так, что мы не способны приписать такому положению ни точную величину, ни общую единицу, ни индифферентность. В этом состоит обволакивающий или обволакиваемый характер гладкого пространства. Но как раз второй аспект еще важнее — когда ситуация двух определений исключает их сравнение. Как мы знаем, это случай римановых пространств, или скорее, римановых кусков пространства — одних по отношению к другим: «Пространства Римана лишены любого типа однородности. Каждое из них характеризуется формой выражения, которая определяет квадрат расстояния между двумя бесконечно близкими точками. <...> Отсюда следует, что два соседних наблюдате-

ля могут определить в римановом пространстве местоположение точек, пребывающих в непосредственной близости от них, но не могут без новой конвенции определить свое местоположение по отношению друг к другу. Следовательно, каждое соседство подобно небольшому кусочку евклидова пространства, *но соединение одного соседства со следующим соседством не определено и может осуществляться бесконечным числом способов. Тогда пространство Римана — в самом обобщенном виде — представляется как аморфное собрание рядоположенных, но не соединенных друг с другом, кусочков*»; такое многообразие можно определить, независимо от всяких ссылок на метрику, с помощью условий частоты или, скорее, *аккумуляции*, с помощью совокупности соседств, причем такие условия полностью отличаются от тех, что определяют метрические пространства и их купюры (даже если отсюда должно вытекать отношение между обоими видами пространств).¹⁷ Короче, если мы последуем за этим замечательным описанием Лотмана, то риманово пространство — это чистая ткань из лоскутов. Оно обладает коннекциями, или тактильными отношениями. У него есть ритмические значимости, не встречающиеся больше нигде, даже если они и могут транслироваться в метрическое пространство. Неоднородное, в непрерывной вариации — таково гладкое пространство как аморфное и неоднородное. Итак, мы можем определить две позитивные характеристики гладкого пространства вообще — с одной стороны, когда детерминации, являющиеся частями друг друга, отсылают к свернутым дистанциям или упорядоченным различиям независимо от величины; с другой, когда независимо от метрики возникают детерминации, которые не могут быть частями друг друга и соединяются благодаря процессам частоты или аккумуляции. В этом состоят оба аспекта *potos*'а гладкого пространства.

Однако мы всегда вновь обнаруживаем асимметричную необходимость перехода от гладкого к рифленому и от

¹⁷ Lautman, Albert. *Les schémas de structure*, Hermann, pp. 23, 34–35.

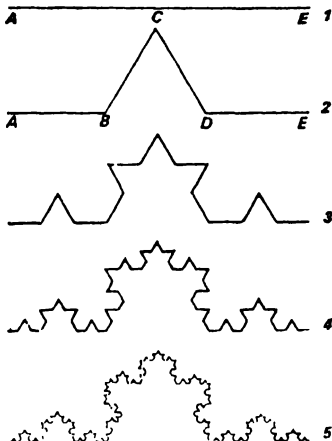
рифленого к гладкому. Если верно, что странствующая геометрия и номадическое число гладких пространств постоянно инспирируют королевскую науку рифленого пространства, то, напротив, метрика рифленых пространств (*metron*) необходима для того, чтобы транслировать странные данные гладкого многообразия. Итак, трансляция — непростой акт: мало заменить движение пробегаемым пространством, нужна серия богатых и сложных операций (и Бергсон — первый, кто заговорил об этом). Трансляция более не является и вторичным актом. Это операция, состоящая, несомненно, в том, чтобы обуздать, сверхкодировать, *метризировать* гладкое пространство, нейтрализуя его, а также сообщая ему среду распространения, расширения, преломления, возобновления, стремительного роста, без коих оно, возможно, умерло бы само по себе — подобно маске, без которой оно не могло бы найти ни дыхания, ни общей формы выражения. Большая наука вечно нуждается во вдохновении, исходящем от малой науки; но малая была бы ничем, если бы не сталкивалась лицом к лицу с высшими научными требованиями и не проходила через них. Рассмотрим только два примера богатства и необходимости трансляции, заключающих в себе столько же шансов для раскрытия, сколько и опасностей, связанных с закрытием или остановкой. Прежде всего, сложность средств, с помощью которых мы транслируем интенсивности в экстенсивные количества или, более обобщенно, многообразия дистанции в системы величин, кои измеряют их и рифлят (роль логарифмов в связи с этим). С другой стороны — и главным образом, — тонкость и сложность средств, с чьей помощью кусочки гладкого риманова пространства обретают евклидову конъюнкцию (роль параллелизма векторов в рифлении бесконечно малого).¹⁸ Мы не смешиваем коннекцию, присущую кускам риманова пространства («аккумуляция»), с евкли-

¹⁸ Об этой собственно евклидовой конъюнкции (весьма отличной от процесса аккумуляции), см. Lautman, pp. 45–48.

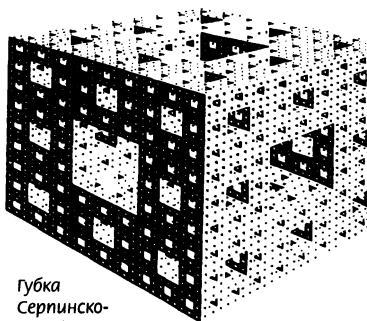
довой конъюнкцией пространства Римана («параллелизм»). Однако обе они связаны и преобразуются друг в друга. Ничего никогда не заканчивается: то гладкое пространство позволяет себе становится рифленным, то рифленное пространство возвращает себе гладкое — в случае необходимости с крайне разными ценностями, масштабами и знаками. Возможно, мы должны сказать, что любой прогресс достигается в рифленном пространстве и благодаря ему, но любое становление имеет место в гладком пространстве.

Можно ли дать самое общее математическое определение гладким пространствам? По-видимому, «фрактальные объекты» Бенуа Мандельброта находятся как раз на этом пути. Фракталы суть совокупности, чья размерность является дробной, а не целой, или же целой, но с непрерывным варьированием направления. Например, сегмент, где центральную треть мы заменяем углом равносостороннего треугольника, а затем ту же операцию повторяем на каждом из четырех образовавшихся сегментов, и так далее до бесконечности, следуя отношению однородности, — такой сегмент будет конституировать бесконечную линию или кривую с размерностью выше 1, но ниже размерности поверхности (=2). Сходные результаты могут быть получены просверливанием или вырезанием «бухточек» в круге, а не посредством добавления «мысы» треугольнику; также можно рассмотреть и куб, где дырки просверливаются согласно принципу однородности, в результате чего он становится меньше, чем объем, и больше, чем поверхность (в этом состоит математическое представление о сходстве свободного пространства и дырчатого пространства). А еще — в других формах — броуновское движение, турбулентность и облака являются такими «фрактальными объектами». ¹⁹ Возможно, мы располагаем новым способом определения *нечетких множеств*. Но, главным образом, гладкое пространство получает общее определение, прини-

¹⁹ Mandelbrot, Benoot. *Les objets fractals*, Flammarion.



Кривая фон Коха: больше, чем линия, но меньше, чем поверхность! В сегменте AE (1) выделяется вторая треть и заменяется треугольником BCD (2). И (3) данная операция повторяется по отдельности во всех сегментах — AB, BC, CD и DE. В результате получается угловатая линия, все сегменты которой равны. На каждом из таких сегментов мы повторяем третий раз (4) то, что было проделано в (2) и (3), и так далее до бесконечности. В пределе мы получаем некую «кривую», состоящую из бесконечного числа угловых точек и не имеющую касательной ни к одной из них. Длина такой кривой бесконечна и ее размерность выше единицы: она представляет пространство размерностью $1,261859$ (а точнее: $\log 4 / \log 3$).



Губка Серпинского*: больше, чем поверхность, но меньше, чем объем! Закон, согласно которому этот куб пуст, на первый взгляд можно постичь интуитивно — каждый квадрат окружен восьмью квадратными дырками в треть от его стороны; такие восемь дырок сами окружены восемью дырками еще в треть от их стороны. И так до бесконечности. Чертеж не может отобразить бесконечность дыр исчезающего размера ниже четвертого порядка, но ясно, что этот куб в пределе бесконечно пуст. Его общий объем приближается к нулю, вся боковая поверхность из пустот бесконечно возрастает. Размерность данного пространства $2,7268$. Она, следовательно, «заключена» между поверхностью (с размерностью 2) и объемом (с размерностью 3). «Ковер Серпинского» — одна из граней такого куба; значит, пустоты — это квадраты, а размерность «поверхности» — $1,2618$. (Воспроизводится по: *Studies Geometry, Léonard Blumenthal and Karl Mè Freeman and Company, 1970*).

По поводу «фрактальных объектов» Б. Мандельброта

мающее в расчет его отличия от рифленого пространства, а также отношения с последним: 1) будем называть рифленной или метрической любую совокупность, которая имеет целую размерность и которой можно приписать постоян-

* Другое название данного математического объекта — Губка Менгера. — Прим. пер.

ные направления; 2) неметрическое гладкое пространство конституируется посредством конструирования линии с фрактальной размерностью большей, чем 1, или конструирования поверхности фрактальной размерности большей, чем 2; 3) фрактальное число размерности — показатель собственно направленного пространства (с непрерывной вариацией направления без касательной); 4) тогда гладкое пространство определяется тем, что у него нет измерения, дополнительного к тому, что движется по нему или вписывается в него — в этом смысле именно плоское многообразие, например линия, заполняет план, не переставая быть линией; 5) само пространство и то, что оккупирует пространство, стремятся к тому, чтобы идентифицироваться, обладать одной и той же мощью в неточной, но тем не менее строгой форме исчисляющего или не целого числа (оккупировать, не считая); 6) такое гладкое, аморфное пространство образуется благодаря аккумуляции близостей, и каждая аккумуляция определяет зону *неразличимости*, присущую «становлению» (больше, чем линия, и меньше, чем поверхность; меньше, чем объем, и больше, чем поверхность).

Физическая модель. — Разными моделями подтверждается идея рифления: два перпендикулярно пересекающихся ряда параллелей, причем некоторые из них — вертикали — играют, скорее, роль постоянных или констант, тогда как другие — горизонталы — играют скорее роль переменных. Грубо говоря, это случай основы и пряжи, гармонии и мелодии, долготы и широты. Чем более регулярно пересечение, чем более плотно рифление, тем более однородным стремится стать пространство: именно в этом смысле нам с самого начала кажется, будто однородность является не характеристикой гладкого пространства, а совсем наоборот — высшим результатом рифления или формой-пределом пространства, рифленного повсюду и во всех направлениях. Если гладкое и однородное явно коммуницируют, то лишь в той мере, в какой рифленное не достигает своего

идеала совершенной однородности и способно заново порождать гладкое пространство, следуя движению, налагающемуся на движение однородного, но полностью отличному от последнего. Действительно, в каждой модели гладкое, как нам кажется, принадлежит фундаментальной разнородности: войлок или лоскуты, а не ткачество; ритмические значимости, а не гармония-мелодия; риманово, а не евклидово пространство — непрерывная вариация, выходящая за пределы любого распределения констант и переменных; освобождение линии, не проходящей между двумя точками; формирование плана, не продолжающегося благодаря параллельным и перпендикулярным линиям.

Связь между однородным и рифленным может быть выражена в терминах воображаемой, элементарной физики. 1) Вы начинаете с рифления пространства вертикалями *тяготения*, параллельными между собой. 2) У таких параллелей или сил есть результирующая, прилагаемая к точке тела, заполняющего пространство, *центр тяжести*. 3) Положение этой точки не изменяется, когда мы меняем направление параллельных сил, когда они становятся *перпендикулярными* к их изначальному направлению. 4) Вы обнаруживаете, что *тяготение* — особый случай универсального *притяжения*, следующего прямым линиям или дву-однозначным отношениям между двумя телами. 5) Вы определяете общее понятие *работы* как отношение сила—перемещение в некоем направлении. 6) И тогда у вас есть физическое основание для все более и более совершенного рифленного пространства, подчиненного точкам не только по вертикали и горизонтали, но и в любом направлении. — Нет даже необходимости обращаться к такой ньютоновской псевдофизике. Греки уже перешли от пространства, рифленного вертикально сверху вниз, к централизованному пространству, к обратимым и симметричным отношениям во всех направлениях, то есть к рифленому во всех смыслах-направлениях, дабы конституировать однородность. И конечно же оно подобно двум моделям аппарата Государства, вертикальным аппаратам империи и изо-

тропным аппаратам города.²⁰ Геометрия лежит на пересечении проблемы физики и Государственных дел.

Очевидно, что так конституированное рифление имеет свои пределы: не только когда мы вводим бесконечность — в большое или в малое, — но также когда рассматривается более двух тел («проблема трех тел»). Давайте попробуем изобразить самыми простыми терминами, как пространство избегает пределов своего рифления. На одном полюсе оно избегает их посредством *отклонения*, то есть посредством крайне мелких поворотов, ничтожно малых промежутков между вертикалью притяжения и дугой окружности, к которой вертикаль является касательной. На другом полюсе оно избегает их благодаря *спирали или вихрю*, другими словами, благодаря некой фигуре, с помощью которой все точки пространства одновременно удерживаются по законам частоты, аккумуляции и распределения — по законам, противостоящим так называемому «ламинарному» распределению, соответствующему рифлености параллелей. Итак, между самым малым отклонением и вихрем существует мощное и необходимое отношение следования: что распространяется от одного к другому, так это именно гладкое пространство, чья стихия — отклонение и которое заселено спиралью. Гладкое пространство конституируется минимальным углом отклонения от вертикали, и вихрем, выходящим за пределы рифленного. Сила книги Мишеля Серра в том, что она демонстрирует такую связь между *кли-наменом* как порождающим дифференциальным элементом и формированием вихрей и бурь, поскольку они занимают порожденное гладкое пространство; фактически античный атом — от Демокрита и до Лукреция — всегда был неотделим от гидравлики или обобщенной теории флюксий и потоков. Мы ничего не понимаем в античном атоме, если упускаем, что он по своей сути — течение и поток. Именно на уровне такой теории проявляется стро-

²⁰ Об этих двух пространствах см.: Vernant J.-P. *Mythe et pensée chez les Grecs*, t. 1, pp. 174–175.

гая корреляция между архимедовой геометрией — крайне отличной от рифленого и однородного пространства Евклида — и физикой Демокрита, крайне отличающейся от твердой или ламинарной материи.²¹ Такое же совпадение подразумевает, что данная совокупность каким-либо образом привязана более не к аппарату Государства, а, скорее, к машине войны — физика банд, бурь, «катастроф» и эпидемий, соответствующих геометрии войны, искусству войны и ее машин. Серр может заявить о том, что, как ему кажется, составляет глубочайшую цель Лукреция — проходить от Марса к Венере, поставить машину войны на службу миру.²² Но такая операция невыполнима посредством аппарата Государства; напротив, она выражает последнюю метаморфозу машины войны и создается в гладком пространстве.

Ранее мы встречались с различием между «свободным действием» в гладком пространстве и «работой» в рифленном пространстве. В результате именно в XIX веке была предпринята попытка двунаправленного создания физико-научного концепта Работы (вес—высота, сила—перемещение) и создания социально-экономического концепта рабочей силы или абстрактного труда (однородное абстрактное количество, применимое к любому труду, способное к увеличению и делению). Тут имеется глубинная связь между физикой и социологией: общество поставляло экономическую меру работы, а физика, в свою очередь, — «механические деньги» труда. Режим наемного труда в качестве коррелята имел механику сил. Физика никогда не была более социальной, ибо в обоих случаях речь шла о том, чтобы определить постоянную среднюю стоимость силы подъема и тяги, осуществляемой как можно более единообразно стандартизованным человеком. Налагать модель Работы на любую деятельность, переводить всякое

²¹ Serres, Michel. *La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce*: «Физика куда больше основывается на векторном пространстве, чем на метрическом» (р. 79). И о гидравлической проблеме: pp. 104–107.

²² M. Serres, pp. 35, 135 sq.

действие в возможную или виртуальную работу, дисциплинировать свободное действие, или же (что, по сути, сводится к тому же самому) отклонять его в сторону «досуга», существующего лишь по отношению к работе. Теперь мы понимаем, почему модель Работы являлась фундаментальной частью аппарата Государства — как в своем физическом, так и в социальном аспектах. Стандартизированный человек сначала выступал как человек *публичных работ*.²³ Как раз-таки не на фабрике по производству булавок впервые ставились проблемы абстрактного труда, умножения его результатов, деления его операций: такое, прежде всего, имело место на общественных стройках, а также при организации армий (не только муштрование людей, но и промышленное производство оружия). Нет ничего более нормального — дело не в том, что машина войны сама предполагала такую нормализацию. А в том, что аппарат Государства в XVIII и XIX веках нашел новые средства присваивать себе машину войны: подчинять ее — прежде всего — модели Работы стройки и завода, которая вырабатывалась где-то еще, но гораздо медленнее. Так что машина войны, возможно, была первым, что подверглось рифлению, что высвободило время абстрактного труда, умножаемого в своих результатах и делимого в своих операциях. Именно тут свободное действие в гладком пространстве должно быть преодолено. Физико-социальная модель Работы принадлежит аппарату Государства — как его изобретение — по двум причинам. С одной стороны, потому что работа появляется именно благодаря учреждению *излишка*, нет труда без *складирования*, так что работа (собственно говоря) начинается только с того, что называется *сверхтруд*. С другой стороны, потому что работа осуществляет обобщенную операцию рифления пространства—времени, подчинение

²³ Анн Керьен ясно показала важность Школы мостов и дорог в такой разработке концепта работы. Например, Навье [Navier] — инженер и профессор механики — в 1819 году пишет: «Мы должны установить механические деньги, с помощью которых мы могли бы оценивать количество труда, используемого для осуществления того или иного вида производства».

свободного действия, аннулирование гладких пространств, обнаруживающих свое происхождение и средство в сущностном предприятии Государства, в его захвате машины войны.

Повторный опыт: там, где нет ни аппарата Государства, ни сверхтруда, также нет и модели Работы. А есть непрерывная вариация свободного действия, переходящая от речи к действию, от данного действия к другому, от действия к пению, от пения к речи, от речи к предприятию — причем в странном хроматизме с интенсивными, но редкими, моментами пика или усилия, каковые внешний наблюдатель может только «переводить» в термины работы. Верно, что во все времена о неграх говорилось: «Они не работают, они не знают, что такое работа». Верно, что их вынуждали работать — и работать больше чем кто-либо — согласно абстрактному количеству. Верно, по-видимому, и то, что индейцы даже не понимали никакой организации работы и были неспособны к последней, пусть даже рабочей, — американцы импортировали так много чернокожих именно потому, что не могли использовать индейцев, готовых скорее умереть. Некоторые крупные этнологи поставили важный вопрос. Они сумели перевернуть проблему — так называемые первобытные общества не являются обществами нехватки или обеспечения себя при отсутствии работы, напротив, они суть общества свободного действия и гладкого пространства, которые не нуждаются в факторе-работе, как, впрочем, и в создании склада.²⁴ Они — не общества лени, даже если их различие с работой может выражаться в виде «права на лень». Эти

²⁴ Это общее место в рассказах миссионеров — нет ничего, что соответствовало бы категории труда, даже в сельском хозяйстве на горных пастбищах, где, однако, работы по распашке целины весьма трудны. Маршалл Салинс [Marshall Sahlins] не довольствуется замечанием относительно непродолжительности рабочего времени, необходимого для поддержания производства и воспроизводства, но настаивает на качественных факторах — непрерывная вариация, регулирующая деятельность, подвижность или свободу движения, которые исключают запасы и измеряются в терминах «удобства транспортировки объекта» (*La première société d'abondance* // *Temps modernes*, octobre 1968, pp. 654–656, 662–663, 672–673).

общества живут не без законов, хотя их различие с законом может выражаться в виде «анархии». Скорее у них есть закон *потос*'а, всей своей строгостью и жестокостью регулирующий непрерывную вариацию деятельности (освободиться от того, что не может быть перемещено, — старики или дети).

Но если работа конституирует рифленное пространство—время, соответствующее аппарату Государства, то не является ли это справедливым прежде всего для ее архаичных или древних форм? Ибо именно там сверхтруд изолирован, выделен в форме дани или тяжелой работы. Следовательно, именно там концепт работы может проявиться во всей своей ясности — например, крупномасштабные работы империй, гидравлические, сельскохозяйственные или городские работы, где мы налагаем «ламинарное» течение на воды предположительно параллельными пластами (рифление). Напротив, кажется, что в капиталистическом режиме сверхтруд все менее и менее отличим от «собственно говоря» труда и полностью пропитывает его. У современных общественных работ иной статус, нежели у крупномасштабных имперских работ. Как же можно отличить время, необходимое для воспроизводства, от «вымогаемого» времени, коли они перестали быть разделимыми по времени? Данное замечание конечно же не противоречит марксистской теории прибавочной стоимости, ибо Маркс точно показывает, что такая прибавочная стоимость *перестаёт быть локализованной* в капиталистическом режиме. В этом даже состоит его фундаментальный вклад. Маркс предчувствует, что сама машина становится генератором прибавочной стоимости и что кругооборот капитала пересматривает различие между переменным и постоянным капиталом. В таких новых условиях остается верным, что любой труд является сверхтрудом; но сверхтруд даже не требует труда. Сверхтруд и капиталистическая организация в целом все меньше и меньше действуют посредством рифления пространства—времени, соответствующего физико-социальному концепту работы. Скорее, речь идет

о человеческом отчуждении в самом сверхтруде, замещаемом обобщенным «машинным порабощением», — так что мы представляем прибавочную стоимость независимо от какого-либо труда (ребенок, пенсионер, безработный, телезрители и т.д.). Не только потребитель как таковой стремится стать служащим, но и капитализм не столько воздействует на количество труда, сколько на сложные качественные процессы, запускаящие в игру способы транспортировки, урбанистические модели, средства информации, индустрию развлечений, типы восприятия и чувствования — все семиотики. То есть речь идет о том, что на выходе рифления, которое капитализм сумел довести до ни с чем не сравнимой степени совершенства, оборотный капитал с необходимостью воссоздавал или восстанавливал что-то вроде гладкого пространства, где судьба людей разыгрывается заново. Конечно, рифление выживает в своих наиболее совершенных и строгих формах (оно не только вертикально, но и действует в любом направлении); и все-таки оно главным образом отсылает к государственному полюсу капитализма, то есть к роли современных аппаратов Государства в организации капитала. С другой стороны, на дополнительном и главенствующем уровне *мирового интегрированного* (или, скорее, интегрирующего) *капитализма* производится новое гладкое пространство, где капитал достигает своей «абсолютной» скорости, основанной на машинных компонентах, а не на человеческих компонентах труда. Транснациональные корпорации фабрикуют что-то вроде гладкого детерриторизованного пространства, где точки оккупации, как и полюса обмена, становятся вполне независимыми от классических путей рифления. Новое — это всегда новые формы оборота. Современные ускоренные формы кругооборота капитала делают различия между постоянным и переменным капиталом, даже между основным и оборотным капиталом все более и более относительными; существенным, скорее, является различие между *рифленным капиталом* и *гладким капиталом*, а также способ, каким первый вызывает к

жизни второй с помощью комплексов, пробегающих по территориям и Государствам, и даже по различным типам Государств.

Эстетическая модель: номадическое искусство. — Несколько понятий — практических и теоретических — могут определить номадическое искусство и его последователей (варварских, готических и современных). Прежде всего, «близкое видение», как отличающееся от видения издали; а также «тактильное пространство», или, скорее, «пространство гаптическое», как отличающееся от оптического пространства. Слово «гаптическое» лучшее, чем «тактильное», ибо оно не противопоставляет два органа чувств и не допускает предположения, что сам глаз может выполнять такую не оптическую функцию. Именно Алоиз Ригль на нескольких замечательных страницах придал паре *близкое видение—гаптическое пространство* фундаментальный эстетический статус. Однако мы пока должны оставить в стороне критерии, предложенные Риглем (потом Воррингером, а совсем недавно Анри Мальдине), чтобы пойти на некий риск, свободно используя эти понятия.²⁵ Именно Гладкое, как нам кажется, одновременно является и объектом близкого видения по преимуществу, и стихией гаптического пространства (которое может быть как визуальным или аудиальным, так и тактильным). Напротив, Рифленое отсылает к более дальнему видению и к более оптическому пространству — даже если глаз, в свою очередь, не является единственным органом, обладающим такой способностью. Опять же, как и в других случаях, будучи скорректированными с помощью коэффициента трансформации, переходы между рифленным и гладким одновременно являются необходимыми, неопределенными и, более того, волнующими. Закон картины состоит в том, чтобы она создавалась

²⁵ Главные тексты таковы: Riegl A. *Spätromische Kunstindustrie*, Vienne; Worringер W. *Abstraction et Einfühlung*, Klincksieck; Maldiney H. *Regard, parole, espace*, особенно: «L'art et le pouvoir du fond», и комментарии Мальдине к Сезанну.

вблизи, даже если смотрят на нее относительно издаleка. Мы можем податься назад от вещи, но плох тот художник, который отступает от картины, когда работает над ней. Или даже от «вещи» — Сезанн говорил о необходимости *больше не видеть* пшеничного поля, быть как можно ближе, потеряться без ориентиров в гладком пространстве. И тогда может возникнуть рифление — рисунок, страты, земля, «упрямая геометрия», «мера мира», «геологические основания», «все падает отвесно»... Даже если рифленое, в свою очередь, исчезает в некой «катастрофе» в пользу нового гладкого пространства и иного рифленого пространства...

Картина делается вблизи, даже если рассматривается издаleка. Сходным образом, говорят, что композитор не слышит — дело в том, что у него близкое слушание, тогда как слушатель слушает издаleка. И сам писатель пишет благодаря кратковременной памяти, тогда как читатель, предположительно, наделен долговременной памятью. Первый аспект гладкого, гаптического пространства и близкого видения таков: непрерывная вариация их направлений, ориентиров и соединений; они действуют шаг за шагом. Итак, пустыня, степь, лед или море, локальное пространство чистой коннекции. Вопреки тому, что мы порой говорим, мы не видим издаleка, мы не видим такое пространство издаleка, никогда не «напротив», а также и не «внутри» (мы — «на»...). Направления не обладают константами, но меняются согласно временным вегетациям, оккупациям, восприятиям. У ориентиров нет визуальной модели, которая могла бы обменивать их между собой и объединять в некий инертный класс, предназначенный для внешнего неподвижного наблюдателя. Напротив, они связаны с несколькими наблюдателями, которые могут качественно определять «монады», но являются, скорее, *кочевниками*, поддерживающими между собой тактильные отношения. Соединения не подразумевают никакого окружающего пространства, куда было бы погружено многообразие и которое сообщало бы дистанциям инвариант; напротив,

они конституируются согласно упорядоченным различиям, заставляющим изнутри меняться деление одной и той же дистанции.²⁶ Эти вопросы ориентации, ориентировки и соединения вступают в игру благодаря наиболее знаменитым произведениям номадического искусства — у таких перекрученных животных больше нет земли; почва непрерывно меняет направление, как в высшем пилотаже; лапы ориентированы в противоположном от головы направлении, задняя часть тела перевернута; «номадологические» точки зрения могут соединяться только на кочевом пространстве; целое и части придают смотрящему на них глазу уже не оптическую, а гаптическую функцию. Именно животность мы можем увидеть, только касаясь ее в уме, хотя ум не становится пальцем, даже благодаря глазу. (В более грубой форме как раз калейдоскоп играет ту же роль — придает глазу функцию пальца.) Рифленое пространство, напротив, определяется требованиями видения издали — постоянство направления, инвариантность дистанции благодаря обмену инертных ориентиров, соединение посредством погружения в окружающую среду, конституирование центральной перспективы. Куда труднее оценить созидательные возможности такого рифленого пространства и то, как оно может, одновременно, возникать из гладкого и давать новый импульс всем вещам в целом.

Рифленое и гладкое не противостоят друг другу просто как глобальное и локальное. Ибо в одном случае глобальное все еще является относительным, тогда как в другом случае локальное уже является абсолютным. Там, где есть близкое видение, пространство — не визуально, или сам

²⁶ Все эти точки уже отсылают к пространству Римана с его сущностным отношением к «монадам» (в противоположность единому Субъекту евклидова пространства): см. Chatelet, Gilles. Sur une petite phrase de Riemann // *Analytiques* n° 3, mai 1979. Но если «монады» более не рассматриваются как замкнутые на себя и, как предполагается, поддерживают шаг за шагом непосредственные отношения, то чисто монадологическая точка зрения оказывается недостаточной и должна уступить место некой «номадологии» (идеальности рифленого пространства, но реализму гладкого пространства).

глаз обладает, скорее, гаптической, а не оптической, функцией: никакая линия не отделяет землю от небес, кои из той же самой субстанции; нет ни горизонта, ни основания, ни перспективы, ни предела, ни контура или формы, ни центра; нет промежуточной дистанции, либо же все дистанции — промежуточны. Подобно пространству эскимосов.²⁷ Но совсем иным способом, совершенно в другом контексте арабская архитектура расчерчивает пространство, которое начинается крайне близко и крайне низко, помещая вниз легкое и воздушное, а твердое или тяжелое наверх, ниспровергая законы гравитации, когда *нехватка направления*, отрицание объема превращаются в конструктивные силы. Номадический абсолют существует как локальная интеграция, идущая от части к части и конституирующая гладкое пространство в бесконечной последовательности присоединений и изменений направления. Именно абсолют составляет одно благодаря самому становлению или процессу. Это абсолют перехода смешивается в номадическом искусстве с собственной манифестацией. Именно абсолют является локальным именно потому, что место не ограничено. Если мы теперь обратимся к оптическому и рифленому пространству видения издали, то заметим, что относительное глобальное, характеризующее это пространство, также требует абсолюта, но совершенно иным способом. Абсолют теперь является горизонтом или основанием, то есть Объединяющим, без чего не было бы ни глобального, ни объединенного. Именно на такой основе выделяется относительный контур, или форма. Абсолют может сам появиться в Объединенном, но лишь в привилегированном месте, четко ограниченном как центр. А затем Абсолют функционирует, выталкивая за [свои] пределы все то, что будет угрожать глобальной интеграции. Здесь мы

²⁷ См. описание пространства льдов и иглу в: Carpenter, Edmund. *Eskimo* — «Нет ни промежуточной дистанции, ни перспективы, ни контура, глаз может уловить тысячи дымящихся хлопьев снега. <...> Земля без дна и края <...>, лабиринт, оживающий благодаря движениям людских толп, без каких-либо статичных плоских стен, останавливающих ухо или глаз, а глаз может проскользнуть здесь, пробежать там».

ясно понимаем, каким образом существует гладкое пространство, но лишь ради определенного вида рифленного пространства. Дело в том, что пустыня, небо или море, Океан, Беспредельное сначала играют роль объединяющего [элемента] и стремятся стать горизонтом — так, земля окружена, глобализована, «обоснована» таким элементом, удерживающим ее в неподвижном равновесии и наделяющим ее возможной Формой. И в той мере, в какой объединяющее само появляется в центре земли, оно обретает вторичную роль, состоящую на этот раз в выталкивании в отвратительную глубину, в жилище мертвых всего, что могло бы еще оставаться гладким или неизмеримым.²⁸ Рифление земли предполагает в качестве своего условия такую двойную трактовку гладкого — с одной стороны, оно выносится или редуцируется до абсолютного состояния объединяющего горизонта, с другой стороны, оно изгоняется из относительно объединенного [элемента]. Следовательно, великие имперские религии нуждаются в гладком пространстве (в пустыне, например), но лишь ради того, чтобы дать ему закон, который полностью противоположен *nomos*'у и который конвертирует абсолют.

Возможно, именно это объясняет нам двусмысленность замечательных анализов Ригля, Воррингера и Мальдине. Они ухватывают гаптическое пространство в имперских условиях египетского искусства. Они определяют его как присутствие основы-горизонта благодаря редукции пространства к плану (вертикальное и горизонтальное, высота и ширина) и с помощью прямолинейного контура, сажающего на цепь индивидуальность, лишаящего ее изменений. Эдакая форма-пирамида на основе неподвижной пустыни, несущая на каждой из своих граней некую пло-

²⁸ Мы находим эти два аспекта — Окружающее и Центр — в анализе, проделанном Ж.-П.Вернаном относительно пространства Анаксимандра (*Mythe et pensée chez les Grecs*, t. I, IIIe partie). С другой точки зрения, в этом состоит вся история пустыни: возможность пустыни стать окружающим, а также оказаться отвергнутой, отклоненной центром — как в инверсии движения. В феноменологии религии, вроде феноменологии Ван дер Леува, сам *nomos* действительно появляется как окружающее-предел или основа, а также как отвергнутый, исключенный в центробежном движении.

скую поверхность. С другой стороны, они показывают, как в греческом искусстве (а затем в византийском искусстве вплоть до Ренессанса) [от гаптического] отчленяется оптическое пространство, соединяющее основу с формой, заставляющее взаимодействовать планы, завоевывающее глубину, обрабатывающее объемную или кубическую протяженность, организуя перспективу, играющее на рельефе и тени, свете и цвете. Итак, с самого сначала они встречают гаптическое в точке мутации при условиях, где оно уже служит рифленому пространству. Оптическое делает такое рифление более совершенным, более сжатым или, скорее, по-иному совершенным, по-иному сжатым (причем это не одна и та же «воля художника»). Тем не менее все происходит в рифленном пространстве, движущемся от империй к городам или к развитым империям. Не случайно Ригль стремится к тому, чтобы устранить собственно факторы номадического или даже варварского искусства; а Воррингер, когда все-таки вводит идею готического искусства в самом широком смысле, связывает эту идею, с одной стороны, с германскими и кельтскими миграциями Севера, а с другой стороны, с империями Востока. Но между и теми, и другими, однако, находились кочевники, не позволявшие свести себя ни к империям, с которыми они враждовали, ни к миграциям, которые они и вызвали; да и сами готы были частью таких номадов степей, вместе с сарматами и гуннами они являлись существенным носителем коммуникации между Востоком и Севером, а также неустранимым фактором в каждом из этих двух измерений.²⁹ С одной стороны, у Египта уже были свои гиксосы, у Малой Азии — свои хиттиты, у

²⁹ Какими бы ни были взаимодействия, есть специфика «искусства степей», связанная с мигрирующими германцами — несмотря на все свои оговорки касательно кочевой культуры, Рене Груссе ясно отметил это обстоятельство в: *L'empire des steppes*, Payot, pp. 42—62. А именно: несводимость скифского искусства к ассирийскому искусству, искусства сарматов к искусству персов, искусства гуннов к китайскому искусству. Мы можем сказать, что у искусства степей было больше влияния, чем заимствований (см. в особенности проблему искусства Ордоса и его отношений с Китаем).

Китай — свои тюрко-монголы; а с другой стороны, у евреев были свои хабиру*, у германцев, кельтов и римлян — свои готы, у арабов — свои бедуины. У кочевников есть особенность, каковую слишком быстро низводят до ее последствий, причисляя их к империям или выискивая их среди мигрантов, возвращая их к тому или к другому, отрицая у них собственную «волю» к искусству. Опять же мы отказываемся от утверждений, что посредник между Востоком и Севером якобы обладал собственной абсолютной спецификой и что он — как интервал — играл якобы именно такую субстанциальную роль. Впрочем, он вовсе не обладает этой ролью как «волей», он обладает только становлением, он изобретает «становление-художником».

Когда мы обращаемся к первоначальной двойственности гладкого и рифленного, то лишь для того, чтобы сказать, что дифференциации «гаптическое—оптическое», «близкое видение—видение издали» сами подчинены данному различению. Значит, мы не будем определять гаптическое через неподвижную основу, через план и контур, ибо оно уже является смесью, где гаптическое служит рифлению и более не пользуется своими гладкими компонентами, дабы превратить их в другое пространство. Гаптическая функция и близкое видение предполагают гладкое, у коего нет ни основы, ни плана, ни контура, а есть изменения в направлении и в локальных соединениях частей. Наоборот, развитая оптическая функция не довольствуется тем, чтобы продвигать рифление к новой точке совершенства, наделяя его воображаемыми универсальными ценностью и радиусом действия; она способна также вернуть гладкое, освобождая свет и модулируя цвет, восстанавливая что-то вроде гаптического воздушного пространства, которое конституирует неограниченное место интерференции планов.³⁰ Короче, гладкое и рифленное должны, прежде всего,

* Habiru — первые евреи. — *Прим. пер.*

³⁰ Об этой проблеме света и цвета, в особенности в византийском искусстве, см.: Henri Maldiney, pp. 203 sq. 239 sq.

определились сами по себе, до того, как из них будут выведены относительные различия между гаптическим и оптическим, близким и удаленным.

Именно здесь вмешивается третья пара: «абстрактная линия — конкретная линия» (вдобавок к «гаптическому—оптическому» и «близкому—удаленному»). Именно Воррингер наделил фундаментальной важностью такую идею абстрактной линии, видя в ней само начало искусства или первое выражение воли художника. Искусство как абстрактная машина. Несомненно, мы опять же заранее склонны упираться на те же возражения, что и прежде: абстрактная линия, как полагает Воррингер, впервые появляется в имперской египетской форме — геометрической или кристаллической, — наиболее прямолинейной из возможных форм; и только после этого она претерпевает особые превращения, конституирующие «готическую или северную линию» в самом широком смысле.³¹ Для нас, напротив, абстрактная линия является, прежде всего, «готической» или, скорее, номадической, а не прямолинейной. И теперь мы даже не понимаем ни эстетической мотивации абстрактной линии, ни ее тождества с началом искусства. Если прямолинейная (или «регулярно» округленная) египетская линия обнаруживает негативную мотивацию из-за тревоги от того, что проходит, течет или меняется, и устанавливает постоянство и вечность некоего В-себе, то номадическая линия абстрактна в совершенно ином смысле именно потому, что она множественно ориентирована и проходит между точками, фигурами и контурами — она позитивно мотивирована в гладком пространстве, кое она расчерчивает, а не в рифлении, которое она осуществляет, дабы отвести тревогу и подчиниться гладкому. Абстрактная линия — это

³¹ Ригль уже отстаивал корреляцию «гаптическое—близкое—абстрактное». Но именно Воррингер развивает эту тему абстрактной линии. И хотя он воспринимает такую линию главным образом в ее египетской форме, тем не менее он описывает и вторую форму, откуда абстрактное черпает интенсивную жизнь и выразительную значимость, оставаясь неорганическим: *Abstraction et Einfühlung*, гл. v; и главным образом: *L'art gothique*, pp. 61–80.

аффект гладких пространств, а не чувство тревоги, вызывающее к рифлению. С другой стороны, верно, что искусство начинается только с абстрактной линии; но не потому, что прямолинейное было первым способом порвать с имитацией природы, с неэстетической имитацией, от которой еще зависит доисторическое, дикое, детское, то, что испытывает нехватку «воли к искусству». Напротив, если и есть полноценное доисторическое искусство, то именно потому, что оно владеет абстрактной линией, хотя и не прямолинейной: «Примитивное искусство начинается с абстрактного и даже с доизобразительного, <...> искусство изначально абстрактно и не могло быть другим при своем возникновении».³² Действительно, линия тем более абстрактна, когда отсутствует письмо — либо когда его еще нет, либо же оно существует только где-то вовне или на стороне. Когда письмо нагружается абстракцией, как в империях, то линия — уже высвобожденная — необходимо стремится к тому, чтобы стать конкретной и даже изобразительной. Дети больше не умеют рисовать. Но в отсутствии письма, или же когда народы не нуждаются в своем собственном письме, ибо заимствуют его у более или менее соседних империй (как в случае кочевников), тогда линия может быть только абстрактной, с необходимостью наделяется всей мощью абстракции, которая нигде не находит никакого иного выхода. Вот почему мы полагаем, что разнообразные великие типы имперской линии — египетская прямолинейная линия, органическая ассирийская (или греческая) линия, сверхфеноменальная, объединяющая китайская линия — уже перевернут абстрактную линию, вырвут ее из гладкого пространства и

³² Leroi-Gourhan, *Le geste et la parole*, Albin Michel, t. I, pp. 263 sq; t. II, pp. 219 sq. («Les marques rythmiques sont antérieures aux figures explicites».) Позиция Воррингера весьма двусмысленна — полагая, что доисторическое искусство в начале было изобразительным, он исключил его из Искусства на том же основании, что и «детские каракули»: *Abstraction et Einfühlung*, pp. 83–87. Затем он выдвигает гипотезу, что пещерные жители, возможно, являются последним «конечным членом» серии, которая началась с абстрактного (стр. 166). Но не вынужден ли Воррингер благодаря такой гипотезе пересмотреть собственную концепцию абстрактного и перестать отождествлять ее с египетской геометричностью?

придадут ей конкретную значимость. Однако мы можем сказать, что эти имперские линии современны абстрактной линии; последняя в неменьшей мере пребывает в «начале», ибо она является полюсом, всегда предполагаемым всеми линиями, способными конституировать другой полюс. Абстрактная линия существует в самом начале, как из-за своей исторической абстрактности, так и благодаря доисторической датировке. Следовательно, она проявляется в оригинальности, в нередуцируемости номадического искусства, даже когда есть обоюдные взаимодействие, влияние и столкновение с имперскими линиями оседлого искусства.

Абстрактное напрямую не противостоит изобразительному — изобразительное как таковое никогда не принадлежит какой-то «воле к искусству»; так что мы не можем противопоставить в искусстве изобразительную линию и линию, которая таковой не является. Изобразительное — или имитация и представление — это следствие, результат определенных характеристик линии, когда последняя принимает ту или иную форму. Таким образом, сначала надо определить именно эти характеристики. Возьмем, к примеру, систему, где поперечные [линии] подчинены диагональным, диагональные — горизонтальным и вертикальным, а горизонтальные и вертикальные — точкам, пусть даже виртуальным: такая прямолинейная, или однолинейная, система (каким бы ни было число линий) выражает формальные условия, благодаря которым пространство становится рифленным, а линия конституирует контур. Такая линия, формально, является репрезентативной в себе, даже если она ничего не репрезентирует. Напротив, *линия, которая ничего не ограничивает, не обводит больше никакого контура*, не идет от одной точки до другой, а проходит между точками, линия, непрестанно уклоняющаяся от горизонтального и вертикального, отклоняющаяся от диагонального, постоянно меняющая направление, — такая мутантная линия без внешнего и внутреннего, без формы и фона, без начала и конца, настолько живая, насколько пребывает в непрерывном изменении — вот подлинно абстрактная линия, описываю-

шая гладкое пространство. Она не невыразительна. Верно, однако, и то, что она не конституирует никакой устойчивой и симметричной *формы выражения*, основанной на резонансе точек и на конъюнкции линий. Поэтому у нее не меньше *материальных черт выражения*, которые перемещаются вместе с нею и эффект от которых умножается шаг за шагом. Именно в этом смысле Воррингер говорит о готической линии (для нас — номадической линии, пользующейся абстракцией): она обладает мощью выражения, а не формы, она обладает повторением как могуществом, а не симметрией как формой. Действительно, именно благодаря симметрии прямолинейные системы ограничивают повторение, предотвращая бесконечную прогрессию и удерживая *органическое* господство центральной точки и излучаемых линий, как в отраженных, так и в звездных фигурах. Но развязывание мощи повторения как *машинной* силы, умножающей свой эффект и стремящейся к бесконечному движению — вот собственно свободное действие, продолжающееся посредством расхождения, децентрации или, по крайней мере, периферийного движения — сдвинутый политетизм, а не симметричный антитетизм.³³ Таким образом, черты

³³ Воррингер противопоставляет силу повторения, которая является механической, мультипликативной, лишенной фиксированной ориентации, и силу симметрии — органическую, дополнительную, ориентированную и централизованную. Он усматривает здесь фундаментальное различие между готическим и греческим, или классическим, орнаментами: *L'art gothique*, pp. 83–87 («бесконечная мелодия северной линии»). В замечательной книге «Эстетика Востока и Запада [*Esthétiques d'Orient et d'Occident*]», Alcan, Лора Моргенстерн приводит точный пример, различая «симметричный антитетизм» искусства персидских Сасанидов и «продвинутый антитетизм» искусства протоиранских кочевников (сарматов). Однако многие комментаторы настаивают на централизованных и симметричных мотивах в номадическом или варварском искусстве. Но Воррингер предвидел это возражение: «Вместо регулярной и геометрической звезды, вместо розетки или других успокаивающих фигур под всеми этими отношениями мы находим вращающееся колесо, турбину или так называемое солнечное колесо; все эти модели выражают неистовое движение; причем направление движения является периферийным, а не радиальным». Технологическая история подтверждает значимость турбины в кочевой жизни. В другом, биоэстетическом, контексте Габриэль Тард противопоставлял повторение как неопределенную мощь и симметрию как ограничение. Благодаря симметрии жизнь создала для себя организм, приняв звездную или взвешенную, сложенную форму (радиаты и моллюски). Верно, что она тогда освободила иной тип повторения во внешней репродукции; см.: *L'opposition universelle*, Alcan.

выражения, описывающие гладкое пространство и соединяющиеся с материей-потоком, не следует смешивать с рифлением, которое конвертирует пространство, делая его формой выражения, которая разграфляет и организует материю.

Самые замечательные страницы Воррингера — те, где он противопоставляет абстрактное органическому. Органическое указывает не на что-то, что можно было бы представить, а прежде всего на форму представления и даже на чувство, объединяющее представление с *субъектом* (*Einführung**). «Внутри художественного произведения разворачиваются формальные процессы, соответствующие органическим естественным тенденциям в человеке». Но как раз не может быть прямолинейного и геометрического, которые противопоставляются в этом смысле органическому. Греческая органическая линия, подчиняющая себе объем или пространственность, принимающая эстафету от египетской геометрической линии, которая сводит их к плану. Органическое, с его симметрией и контуром, его внешним и внутренним, все еще относится к прямолинейным координатам рифленого пространства. Органическое тело продолжается по прямым линиям, присоединяющим его к удаленному. Отсюда примат человека, или лица, ибо человек является такой формой самого выражения и, одновременно, высшим организмом и отношением всего организма к метрическому пространству вообще. Напротив, абстрактное начинается только с того, что Воррингер представляет как «готическое» перевоплощение. Именно об этой кочевой линии он говорит: она — механическая, но свободного и вращающегося действия; она — неорганическая, но, однако, живая, а живая именно потому, что неорганическая. Она отличается как от геометрического, так и от органического. *Она возвышает* «механические» отношения до *интуиции*. Головы (даже человеческая голова, не являю-

* Вчувствование, термин психологии искусства и эстетики, означающий перенесение на предмет вызываемых им чувств и настроений (нем.). — Прим. пер.

щаяся более лицом) разворачиваются и свертываются лентами в непрерывном процессе; рты улиткообразно задираются вверх. Волосы, одежда... Эта неистовая линия вариации — в виде ленты, спирали, зигзага, S — освобождает мощь жизни, которую человек спрямляет, организмы сажают на цепь, а материя выражает теперь как черту, поток или порыв, кои ее пересекают. Если все является живым, то не потому, что все является органическим и организованным, но напротив, потому, что организм — это изменение направления жизни. Короче, напряженная неорганическая зародышевая жизнь, мощная жизнь без органов, Тело, еще более живое потому, что не обладает органами, — вот все то, что проходит *между* организмами («как только разбиваются естественные межевые границы органической активности, пределов больше нет»...). Довольно часто хочется отметить что-то вроде двойственности в номадическом искусстве — между декоративной абстрактной линией и животными мотивами; или, более тонко, между скоростью, с какой линия собирает и сметает выразительные черты, и медленностью или застывшим характером животной материи, также пересекаемой. Между линией ускользания без начала и конца и почти неподвижным кружением на себе. Но в конечном счете все согласны, что речь идет об одной и той же воле, об одном и том же становлении.³⁴ И не потому, что абстрактное порождает — случайно или по ассоциации — органические мотивы. А как раз потому, что чистая животность переживается как нечто неорганическое или сверхорганическое, она и может столь хорошо комбинироваться с абстракцией, и даже комбинировать медленность или неповоротливость материи с чрезвычайной скоростью линии, каковая является только духовной. Такая медленность — часть того же мира, что и чрезвычайная скорость: отношения скорости и медленности между элементами, в

³⁴ Обо всех этих тезисах см. крайне интуитивную книгу: Charrière, Georges. *L'art barbare*, Ed. du Cercle d'art, где мы находим много репродукций. Без сомнения, именно Рене Груссе больше всех настаивал на «медлительности» как на драматическом полюсе номадического искусства: *L'empire des steppes*, p. 45.

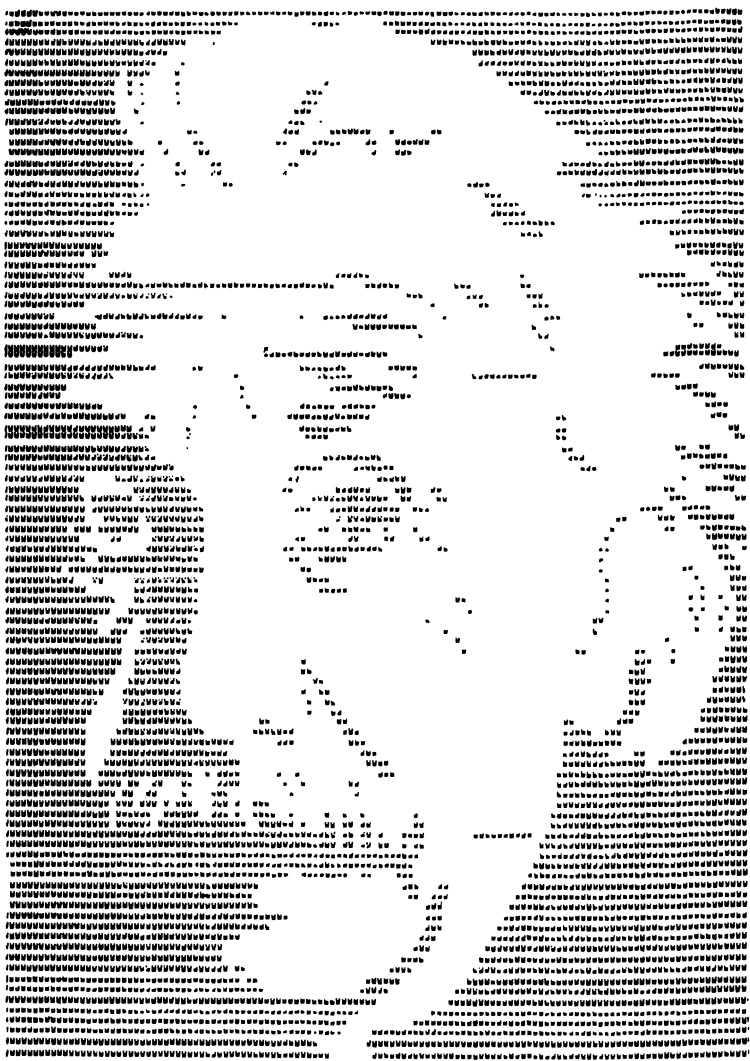
любом случае превосходящие движение органической формы и детерминацию органов. Линия избегает геометрии благодаря ускользающей подвижности в то самое время, когда жизнь порывает с органическим благодаря локальной и вращающейся турбулентности. Именно такая жизненная сила, присущая Абстракции, расчерчивает гладкое пространство. Абстрактная линия — аффект гладкого пространства, так же как органическое представление было чувством, управляющим в рифленном пространстве. Тогда различия гаптическое—оптическое, близкое—удаленное должны подчиняться различию между абстрактной линией и органической линией, дабы обнаружить свой принцип в общем противопоставлении пространств. А абстрактная линия не может быть определена как геометрическая и прямолинейная. Отсюда вытекает вопрос: что мы должны называть *абстрактным* в современном искусстве? Линия в варибельном направлении, которая не очерчивает никакого контура и не ограничивает никакой формы...³⁵

Не размножайте модели. Действительно, мы знаем, что есть много других моделей — игровая модель, где игры сталкивались бы согласно типу их пространства и где у тео-

³⁵ В своем предисловии к *Abstraction et Einfühlung*, Дора Валлье вправе отметить относительную независимость Воррингера и Кандинского друг от друга и различие между их проблемами. Тем не менее она придерживается и того мнения, что между ними может иметь место совпадение или резонанс. В некоем смысле любое искусство абстрактно, а изобразительное только и делает, что вытекает из определенных типов абстракции. Но в другом смысле, поскольку существуют крайне разные типы линии — геометрическая-египетская, органическая-греческая, витальная-готическая и т.д., — речь идет о том, чтобы определить, какая из них остается абстрактной или реализует абстракцию как таковую. Сомнительно, что это геометрическая линия — в той мере, в какой она все еще рисует фигуру, пусть даже абстрактную или нерепрезентативную. Скорее, абстрактная линия это то, что Майкл Фрид определяет в отношении некоторых произведений Поллока — мультинепрерывная, без внутреннего и внешнего, без формы и основания, ничего не ограничивающая, не описывающая контура, проходящая между пятнами и точками, заполняющая гладкое пространство, перемешивающая близкую и гаптическую визуальную материю, которая «сразу привлекает глаз зрителя и не оставляет ему никакого места для отдыха» (*Trois peintres américains // Peindre*, pp. 267 sq.). У самого Кандинского абстракция реализуется не столько геометрическими структурами, сколько линиями хода или пробега, кои, по-видимому, отсылают к монгольским кочевым мотивам.

рии игр не одни и те же принципы (например, гладкое пространство го и рифленое пространство шахмат); или же ноологическая модель, касающаяся не содержания мысли (идеология), а формы, способа, модуса или функции мысли согласно ментальному пространству, каковое она расчерчивает с точки зрения всеобщей теории мысли, мышления о мысли. И так далее. Более того, следовало бы принять в расчет еще и другие пространства — дырчатое пространство и то, как оно по-разному коммуницирует с гладким и рифленным пространствами. Но что нас интересует, так это переходы и комбинации — в процедурах рифления и разглаживания. Каким образом пространство не перестает быть рифленным под воздействием работающих в нем сил; и как в ходе своего рифления оно развивает другие силы и порождает новые гладкие пространства. Даже самый рифленный город выделяет гладкие пространства — жить в городе в качестве кочевника или троглодита. Иногда достаточно движений, скорости или медлительности, чтобы реконструировать гладкое пространство. И конечно же гладкие пространства освобождаются не сами по себе. Но именно в них борьба изменяется и смещается, а жизнь восстанавливает свои ставки, встречается лицом к лицу с новыми препятствиями, изобретает новые шаги, модифицирует противников. Никогда не верьте, что для нашего спасения достаточно гладкого пространства.

15. Заключение: конкретные правила и абстрактные машины



Компьютерный Эйнштейн

Страты, стратификация

3 Страты — феномены сгущения на Теле земли, молекулярные и молярные одновременно: аккумуляции, коагуляции, осаждения, складывания. Они суть Пояса, Клешни или Артикуляции. Кратко и традиционно мы различаем три главные страты — физико-химическую, органическую и антропоморфическую (или «аллопластическую»). Каждая страта, или артикуляция, состоит из закодированных сред и сформированных субстанций. На самом деле *формы и субстанции, коды и среды* не различаются. Они — абстрактные компоненты любой артикуляции.

Страта явно представляет крайне разные формы и субстанции, разнообразные коды и среды. Следовательно, она обладает, одновременно, как разными формальными Типами организации, так и различными субстанциальными Модусами развития, которые делят ее на *парастраты и эпистраты* — например, деления органической страты. Эпистраты и парастраты, подразделяющие страту, сами могут рассматриваться как страты (так что список никогда не исчерпывается). Тем не менее некая страта обладает единством композиции, несмотря на ее разнообразие в организации и развитии. Единство композиции касается формальных черт, общих для всех форм или кодов страты, и субстанциальных элементов, материалов, общих для всех своих субстанций или сред.

Страты чрезвычайно подвижны. Одна страта всегда способна служить в качестве *субстраты* для другой или сталкиваться с другой стратой, независимо от любого эволюционного порядка. И главным образом, между двумя стратами или между двумя делениями страт имеются феномены *интерстрат* — транскодирования, переходы между средами и смешивания. Ритмы отсылают к таким интерстратовым движениям, являющимся также действиями стратификации. Стратифи-

кация подобна творению мира из хаоса, непрерывному, возобновляемому творению. И страты конституируют Божью кару. Классический художник подобен Богу, он создает мир, организуя формы и субстанции, коды, среды и ритмы.

Артикуляция, то есть учредитель страты, — это всегда двойная артикуляция (двойная клешня). Действительно, она артикулирует *содержание и выражение*. В то время как форма и субстанция на самом деле не различаются, содержание и выражение реально различны. Итак, страты отвечают за сеть Ельмслева — артикуляция содержания и артикуляции выражения, причем и содержание, и выражение обладают собственной формой и субстанцией. Между ними, между содержанием и выражением, нет ни соответствия, ни причинно-следственной связи, ни отношения означаемое—означающее: есть реальное различие, взаимная предпологаемость и только изоморфия. Но содержание и выражение не различаются одним и тем же способом на каждой страте — у трех великих традиционных страт не одно и то же распределение содержания и выражения (есть, например, «линеаризация» выражения на органической страте, и «сверхлинейность» для антропоморфических страт). Вот почему молярное и молекулярное вступают в крайне разные сочетания в зависимости от рассматриваемой страты.

3 Какое движение, какой порыв увлекает нас по ту
и сторону страт (*метастрата*)? Конечно, нет никакого
4 повода думать, будто физико-химические страты
исчерпывают всю материю — существует субмолекулярная, неоформленная Материя. Точно так же органические страты не исчерпывают Жизнь: скорее, организм — то, чему жизнь противостоит, дабы ограничить себя; а также есть жизнь тем более интенсивная, тем более мощная, что она является неорганической. И к тому же еще есть нечеловеческие Становления человека, выходящие за пределы всех частей антропоморфи-

- ческих страт. Но как достичь такого «плана» — или, скорее, как построить его и прочертить «линию», ведущую нас туда? Ибо вне страты или в отсутствии страт у нас больше нет ни формы, ни субстанции, ни организации, ни развития, ни содержания, ни выражения. Мы дезартикулируемся; нас, похоже, уже даже не поддерживают ритмы. Как могли бы неоформленная материя, неорганическая жизнь, нечеловеческое становление быть чем-то иным, нежели чистым и простым хаосом? А также все предприятия по дестратификации (например, выйти за пределы организма, броситься в становление) должны, прежде всего, соблюдать точные правила чрезвычайной предосторожности — слишком внезапная дестратификация может быть самоубийственна или стать злокачественной, то есть иногда выпадать в хаос, пустоту и разрушение, а иногда замыкать на нас страты, которые все больше отвердевают и даже утрачивают свои степени многообразия, дифференцирования и подвижности.

С

Сборки

- Сборки — это уже нечто иное, нежели страты.
- 11 Они производятся в стратах, но действуют в зонах декодирования сред: они, прежде всего, изымают из сред *территорию*. Каждая сборка, главным образом, территориальна. Первое конкретное правило для сборок состоит в том, чтобы обнаруживать территориальность, которую они охватывают, ибо всегда есть территориальность — в своей помойке или на своей скамье персонажи Беккета создают себе некую территорию. Откройте территориальные сборки кого-либо, человека или животного — «у меня». Территория создается из декодированных фрагментов любых типов, заимствованных у сред, но затем приобретающих ценность «свойств» — даже ритмы обретают здесь новый смысл (ритурнели). Территория создает сборку. Территория, одновременно,

превышает организм, среду и отношение между ними; вот почему сборка превосходит также простое «поведение» (отсюда важность относительного различия между животными территории и животными среды).

- 4 Поскольку сборки территориальны, они все еще принадлежат стратам; по крайней мере, они принадлежат им в каком-то одном аспекте. И именно под этим аспектом мы отличаем в каждой сборке содержание и выражение. Необходимо найти содержание и выражение в каждой сборке, оценить их реальное различие, их взаимную предполагаемость, их постепенное взаимовнедрение. Причина того, что сборка не заключена в страте, состоит в том, что выражение в ней становится *семиотической системой*, режимом знаков, а содержание становится *прагматической системой*, действиями и страстями. Это — двойная артикуляция лица-руки, жеста-слова и взаимопредполагаемость этих пар. Вот, следовательно, первое деление любой сборки — это, одновременно и неразделимо, с одной стороны машинная сборка, а с другой стороны сборка высказывания. В каждом случае необходимо найти то и другое: что мы делаем и что мы говорим? И между ними, между содержанием и выражением, устанавливается новое отношение, которое еще не проявлялось в стратах — высказывания или выражения выражают *бестелесные трансформации*, которые «атрибутируются» как таковые (свойства) телам или содержаниям. В стратах выражения не формируют ни знаков, ни содержаний *pragmata**, так что эта автономная зона бестелесных трансформаций, выражаемых первыми и приписываемых последним, не появляется. Конечно, режимы знаков развиваются только в аллопластических или антропоморфических стратах (включая territorизованных животных). Но в меньшей мере они пересекают все страты и перехлестывают их все. В той мере, в какой сборки остаются

* Сами вещи

подчиненными различию между содержанием и выражением, они все еще принадлежат стратам; и мы можем рассматривать режимы знаков и прагматические системы как, в свою очередь, компоненты страты в широком смысле, что мы видели ранее. Но именно потому, что различие содержание—выражение принимает новую фигуру, мы уже находимся в иной стихии, нежели стихия страт в узком смысле.

Но сборка делится также и согласно другой оси. Ее территориальность (включающая содержание и выражение) — только первый аспект; другой аспект конституируется *линиями детерриторизации*, которые пересекают ее и уносят прочь. Такие линии крайне разнообразны — одни открывают территориальную сборку в другие сборки (например, территориальная ритурнель животного становится ритурнелью ухаживания или ритурнелью группы...). Другие непосредственно разрабатывают территориальность сборки и открывают ее на эксцентричной, незапамятной земле, которая приходит (например, игра территории и земли в романсе или, более обобщенно, у романтического художника). А еще одни открывают свои сборки в абстрактные и космические Машины, которые они приводят в действие. И так же как территориальность сборки обретает свое происхождение в определенном декодировании сред, она, с не меньшей необходимостью, продолжается на своих линиях детерриторизации. Территория так же неотделима от детерриторизации, как код от декодирования. Следуя этим линиям, сборка не представляет уже ни выражения, ни выделенного содержания, она представляет лишь неоформленные материи, дестратифицированные силы и функции. Конкретные правила сборки, таким образом, действуют, следуя этим двум осям: с одной стороны, какова территориальность сборки, каковы режим знаков и прагматическая система? С другой стороны, каковы предельные точки детерриторизации и каковы абстрактные машины, которые они приводят в действие? Суще-

ствуует тетравалентность сборки: (1) содержание и выражение; (2) территориальность и детерриторизация. Вот почему было четыре аспекта в избранном примере сборок у Кафки.

Р

Ризома

10 Не только страты и сборки являются комплексами
линий. Мы можем зафиксировать первое состояние
линии, или первый род линии — линия подчиняется
точке; диагональное подчиняется горизонтальному и
вертикальному; линия создает контур, либо изобрази-
тельный, либо нет; пространство, которое она чертит, —
это пространство рифления; исчисляемая множе-
ственность, которую она конституирует, остается под-
чиненной Одному во всегда превосходящем или
дополнительном измерении. Линии этого типа
являются молярными и формируют некую сегментар-
ную, круговую, бинарную, древовидную систему.

9
и 1 Второй вид весьма отличен, он является молекуляр-
ным и чем-то вроде «ризомы». Диагональное освобождает-
ся, разбивается или извивается. Линия уже не форми-
рует контур и проходит *между* вещами, *между* точками.
Она принадлежит гладкому пространству. Она расчерчи-
вает план, у которого не больше измерений, чем того,
что по нему проходит; поэтому множественность, кото-
рая его конституирует, больше не подчиняется Одному,
но обретает собственную консистенцию. Это множества
2 масс или стай, а не классов; аномальные и кочевые мно-
10 жества, а не нормализованные или узаконенные; множе-
12 ства становления или множества в трансформациях, а не
и 14 исчисляемые элементы и упорядоченные отношения;
нечеткие, а не четкие множества и т.д. С точки зрения
pathos'а, эти многообразия выражаются посредством
психоза и, особенно, шизофрении. С точки зрения праг-
матики за них держится колдовство. С точки зрения тео-
рии статус множеств коррелятивен статусу пространств,

и наоборот: дело в том, что гладкие пространства — типа пустыни, степи или моря — существуют не без людей, они не безлюдны, а населены множествами второго вида (математика и музыка ушли достаточно далеко в разработку такой теории множеств).

Недостаточно, однако, заменить оппозицию между Одним и многим на различие между типами множеств.

- 9 Ибо различие между двумя типами не устраняет их имманентности друг другу, причем каждое «вытекает» из другого на свой манер. Важно не то, что одни множества древовидны и другие нет, а то, что есть одеревенение множеств. Именно это происходит, когда черные дыры, рассеянные по ризоме, начинают резонировать вместе или когда стебли формируют сегменты, которые рифлят пространство во всех направлениях, делая его сравнимым, делимым, гомогенным (как мы
- 12 видели прежде всего для Лица). Именно это происходит, когда «массовые» движения или молекулярные потоки сопрягаются в точках аккумуляции или стопорения, которые сегментируют и очищают их. Но, наоборот, и без симметрии стебли ризомы не перестают выходить из деревьев, а массы и потоки не перестают убегать, изобретать связи, перескакивающие от дерева к дереву и выкорчевывающие их — целое разглаживание пространства, реагирующее, в свою очередь, на рифленое пространство. Даже, и в особенности, территории взбудоражены этими глубинными движениями. Или вот язык — деревья языка раскачиваются почкованиями и ризомами. Так, что линии ризомы фактически колеблются между линиями дерева, которые сегментируют и даже стратифицируют их, и линиями
- 8 ускользания или разрыва, которые уносят их прочь.

- и9 Следовательно, мы сотканы из трех линий, но у каждого вида линий свои опасности. Не только сегментированные линии, которые раскалывают нас и навязывают нам рифления гомогенного пространства, но также и молекулярные линии, которые уже несут

свои микроскопические черные дыры, и, наконец, сами линии ускользания, всегда рискующие оставить свои творческие потенциальные возможности и превратиться в линию смерти, превратиться в линию чистого и простого разрушения (фашизм).

П

План консистенции, Тело без Органов

- 10 План консистенции или композиции (Планоменон) противоположен плану организации и развития. Организация и развитие касаются формы и субстанции — одновременно, развития формы и формирования субстанции или субъекта. Но план консистенции игнорирует субстанцию и форму — этоности, записанные на этом плане, как раз и являются модусами индивидуации, которые не осуществляются ни с помощью формы, ни с помощью субъекта. План — абстрактно, но реально — состоит из отношений скорости и медленности между неоформленными элементами, а также из композиций соответствующих интенсивных аффектов («долгота» и «широта» плана). Во втором смысле консистенция конкретно связывает вместе гетерогенные, несоизмеримые
- 11 элементы как таковые: она обеспечивает консолидацию размытых совокупностей — другими словами, множеств типа ризомы. Действительно, консистенция, осуществляясь благодаря консолидации, с необходимостью действует в середине, посредством середины, и противостоит любому принципиальному плану или плану конечной цели. Спиноза, Гельдерлин, Клейст, Ницше — землемеры такого плана консистенции. Никогда и никаких унификаций или тотализаций, но консистенции или консолидации.
- 10 На плане консистенции записывается вот что: *этоности*, события, бестелесные трансформации, постигаемые сами по себе; *кочевые сущности*, неясные, но все же строгие; *континуумы интенсивностей* или

4,6 непрерывных вариаций, выходящие за пределы кон-
 7,9 стант и переменных; *становления*, не обладающие ни
 термином, ни субъектом, но втягивающие друг друга
 в зоны близости или неразрешимости; *гладкие про-*
странства, komponующиеся через рифленое про-
 странство. Мы бы сказали, что тело без органов, или
 тела без органов (плато), вступают в игру — ради
 6 индивидуации благодаря этовости, ради производства
 и 10 интенсивностей, начинающихся со степени ноль,
 ради материи вариации, ради медиума становления
 или трансформации, ради разглаживания простран-
 14 страт, пересекает сборки и чертит абстрактную линию
 без контура, линию номадического искусства и стран-
 ствующей металлургии.

Это план консистенции конституирует тело без
 органов или же тело без органов komponует план?
 Одно ли и то же Тело без Органов и План? В любом
 случае у komponующего и скомпонованного одна и та
 же мощь — у линии нет измерения, которое превосхо-
 дило бы измерение точки, а у поверхности нет измере-
 10 ния, превосходящего измерение линии, и измерение
 и 14 объема не выше измерения поверхности, но всегда
 есть неточное, дробное число измерений, постоянно
 увеличивающееся или уменьшающееся согласно
 частям плана. План производит сечение множеств в
 переменных измерениях. Следовательно, речь идет о
 способе соединения между различными частями
 плана: в какой мере тела без органов komponуются в
 совокупность? и как продолжаются континуумы
 интенсивности? в каком порядке создаются серии
 трансформаций? что всегда выполняют эти алогичные
 сцепления в середине, благодаря которым шаг за
 шагом конструируется план в возрастающем или
 понижающемся дробном порядке? План подобен
 веренице дверей. И конкретные правила построения
 плана обретаются в той степени, в какой они выпол-

- 6 няют селективную роль. Действительно, именно план, то есть способ соединения, дает средства для устранения пустых и злокачественных тел, соперничающих с телом без органов; для отказа от гомогенных поверхностей, возвращающих гладкое пространство; и для нейтрализации линий смерти и разрушения, отклоняющих линию ускользания. Именно удерживаемое и сохраняемое, а значит, создаваемое и согласующее — лишь оно *увеличивает число соединений* на каждом уровне деления или композиции, как в уменьшающемся, так и в возрастающем порядке (лишь оно не может делиться, не меняя природы, или вступать в большую композицию, требуя при этом нового критерия сравнения...).

Д

Детерриторизация

- 5 Функция детерриторизации: Д — это движение, благодаря которому «некто» оставляет территорию. Это — действие линии ускользания. Но бывают крайне разные случаи. Д может покрываться компенсирующей ее ретерриторизацией так, что линии ускользания ставится барьер — в этом смысле можно сказать, что Д является *отрицательной*. Все, что угодно, может служить в качестве ретерриторизации, другими словами, «стоять за» утраченную территорию; действительно, мы можем ретерриторизоваться на живом существе, объекте, книге, аппарате или системе... Например, весьма неточно называть аппарат Государства территориальным — он фактически создает некую Д, но немедленно покрывается ретерриторизациями на собственности, работе и деньгах (само собой разумеется, что собственность на землю, общественная или частная, не территориальна, а обеспечивает ретерриторизацию). Среди режимов знаков *означающий режим* конечно же достигает высокого уровня Д; но поскольку он одновременно создает всю систему ретерритори-

зации на означаемом и на самом означающем, то блокирует линию ускользания, позволяя существовать только негативной Д. Другой случай представляется, когда Д становится позитивной, то есть утверждается через ретерриторизации, которые играют лишь вторичную роль, но между тем она остается *относительной*, ибо линия полета, каковую она прочерчивает, сегментируется, делится на последовательные «процессы», тонет в черных дырах или даже приводит к всеобщей черной дыре (катастрофа). Это и есть случай *режима субъективных знаков*, с его страстной и связанной с сознанием Д, которая положительна, но только в относительном смысле. Сразу следует отметить, что эти две главные формы Д не находятся в простом эволюционном отношении друг к другу — вторая может убежать от первой, а также она может привести к первой (мы видим такое именно тогда, когда сегментации соперничающих линий ускользания приводят в движение всю ретерриторизацию целиком или один из сегментов, тот, чье движение ускользания останавливается). Существуют все виды смешанных фигур, принимающих крайне разнообразные формы Д.

9 Существует ли *абсолютная* Д и что значит сказать «абсолютное»? Прежде всего, мы должны лучше
 9 понять отношения между Д, территорией, ретерриторизацией и землей. Во-первых, сама территория неотделима от векторов детерриторизации, вырабатывающих ее изнутри, — либо потому, что территориальность
 9 является гибкой и «маргинальной», другими словами,
 и 13 странствующей, либо потому, что сама территориальная сборка открывается в другие типы сборок и приводится ими в движение. Во-вторых, Д, в свою очередь, неотделима от соотносительных ретерриторизаций. Д никогда не является простой, но всегда множественной и сложной — не только потому, что одновременно сразу участвует в разнообразных формах, но также и потому, что она сводит вместе различные скорости и

движения, на основе которых мы определяем в тот или иной момент «детерриторизируемое» и «детерриторизирующее». Итак, ретерриторизация, как изначальное действие, не выражает возвращения к территории, но эти дифференциальные отношения внутренние для самой Д, такое многообразие является внутренним для

7 линии ускользания (см. «теоремы Д»). Наконец, зем-

и 10 ля — вовсе не противоположность Д: мы уже видим это в таинстве «зарождения», где земля, как раскаленный, эксцентричный или интенсивный фокус, пребывает

11 вне территории и существует только в движении Д. Более того, именно земля — льды — является главным образом Детерриторизацией: именно в этом смысле

3 она принадлежит Космосу и предстает в качестве материала, благодаря которому человек захватывает космические силы. Скажем, что земля, как нечто детерриторизованное, сама является строгим коррелятом Д. До такой степени, что Д можно назвать творцом земли — новой земли, вселенной, а не только ретерриторизации.

Вот что называется «абсолютным» — абсолютное не выражает ничего трансцендентного или недифференцированного; оно не выражает даже количества, которое превысило любое данное (относительное) количество. Оно выражает только тип движения, качественно отличного от относительного движения. Движение абсолютно, когда, независимо от его количества и скорости, оно соотносит «некое» Тело, рассматриваемое

7 как множественное, с гладким пространством, которое

и 14 оно занимает на манер вихря. Движение является относительным, каковы бы ни были его количество и скорость, когда оно соотносит Тело, рассматриваемое как *Одно*, с рифленным пространством, в котором оно перемещается и которое оно измеряет, следуя прямым линиям, по крайней мере виртуальным. Д негативна или относительна (однако уже действительна) каждый раз, когда она действует согласно этому второму слу-

чаю и действует либо благодаря главным ретерриторизациям, стопорящим линии ускользания, либо благодаря вторичным ретерриторизациям, которые сегментируют такие линии и стремятся изогнуть их. Д абсолютна, согласно первому случаю, каждый раз, когда она содействует творению новой земли, то есть каждый раз, когда она соединяет линии ускользания, возвышает их до мощи абстрактной витальной линии или расчерчивает план консистенции. Итак, все запутывает именно то обстоятельство, что такая абсолютная Д с необходимостью продолжается благодаря относительной Д, ибо она не является трансцендентной. И наоборот, относительная, или негативная, Д сама нуждается в чем-то абсолютном, дабы проводить собственное действие — она превращает абсолютное в нечто «объединяющее», нечто тотализирующее, которое сверхкодирует землю, а затем сопрягает линии ускользания, дабы остановить, уничтожить их — вместо того, чтобы соединять их, чтобы творить (именно в этом смысле мы противопоставили *конъюнкцию* и *коннекцию*, хотя часто трактовали их как синонимы с весьма общей точки зрения). Таким образом, есть ограничительный абсолют, уже действующий в собственнo негативной или даже относительной, Д. И, и 14 главным образом, именно в этом поворотном пункте линии ускользания не только перегороджены или сегментированы, но и превращаются в линии разрушения или смерти. Ибо ставками здесь действительно являются негативное и позитивное в абсолютном — 11 земля опоясанная, заключенная, сверхкодированная, объединенная как объект смертельной и самоубийственной организации, окружающей ее со всех сторон, *или же* земля, консолидированная, соединенная с Космосом, привнесенная в Космос, следуя линиям творения, пересекающим ее как множество становлений (выражение Ницше: «Пусть земля станет легкой...»). Итак, существует, по крайней мере, четыре

формы Д, которые противостоят друг другу и комбинируются друг с другом, и нужно отличать одну от другой, следуя конкретным правилам.

А

Абстрактные машины (диаграмма и филум)

- В первом смысле нет никакой абстрактной машины, или абстрактных машин, которые были бы наподобие платоновских Идей — трансцендентными, универсальными, вечными. Абстрактные машины работают внутри конкретных сборок: они определяются четвертым аспектом сборок — другими словами, кромками декодирования и детерриторизации. Они прочерчивают эти кромки; а также они открывают территориальную сборку на чем-то ином, на сборках другого типа, на молекулярном, на космическом, и конституируют становления. Итак, они всегда сингулярны и имманентны. Вопреки тому, что происходит в стратах, а также в сборках, рассматриваемых в других своих аспектах, абстрактные машины игнорируют формы и субстанции. Именно это делает их абстрактными, а также определяет концепт машины в строгом смысле. Они превосходят любую механику. Они противоположны абстрактному в его обычном смысле. Абстрактные машины состоят из *неоформленных материй и неформальных функций*. Каждая абстрактная машина — это консолидированная совокупность материй-функций (*филум и диаграмма*).
- Это ясно видно на технологическом «плане» — такой план не конституирован просто из сформированных субстанций, алюминия, пластмассы, электрического провода и т.д., ни из организующих форм, программы, прототипа и т.д., но он составлен из всех неоформленных материй, представляющих только степени интенсивности (сопротивление, проводимость, нагревание, протяжение, ускорение или замедление, индукция, трансдукция...), и из диаграмматических функций, представляющих только дифференциальные уравнения

или, шире, «тензоры». Конечно же в пределах измерений сборки абстрактная машина, или абстрактные машины, выполняются в формах и субстанциях с варьируемыми состояниями свободы. Но абстрактная машина должна сначала скомпоновать себя и, одновременно, скомпоновать план консистенции. Абстрактное, сингулярное и творческое, здесь и теперь, реальное, к тому же неконкретное, актуальное, к тому же неисполненное — вот почему абстрактные машины датированы и именованы (абстрактная машина Эйнштейна, абстрактная машина Веберна, но также машины Галилео, Баха или Бетховена и т.д.). Не то чтобы они отсылали к личностям или к совершающимся моментам; напротив, именно имена и даты отсылают как раз к сингулярностям машин и к тому, что они совершают.

Но если абстрактные машины игнорируют форму и субстанцию, то что же имеет место для другого определения страт или даже сборок — содержания и выражения? В каком-то смысле можно сказать, что такое различие уже не годится для абстрактной машины и именно потому, что у нее больше нет форм и субстанций, обуславливающих различие. План консистенции — это план непрерывной вариации, каждая абстрактная машина может рассматриваться как «плато» вариации, размещающее в непрерывности переменные таких содержания и выражения. Итак, содержание и выражение достигают своего самого высокого уровня относительности, становясь «функциями одной и той же функции», или материалами отдельной материи. Но в другом смысле мы говорим, что различие существует и даже воссоздается в состоянии *черт* — есть черты содержания (неоформленные материи или интенсивности) и черты выражения (неформальные функции или тензоры). Различие полностью смещается, или даже обновляется, ибо оно теперь касается кромок детерриторизации. Действительно, абсолютная детерриторизация подразу-

меваает «детерриторизирующее» и «детерриторизованное», одно из которых в каждом случае располагается в выражении, а другое в содержании, *или наоборот*, но всегда так, чтобы передавать относительное различие между этими двумя элементами. Так что непрерывная вариация с необходимостью затрагивает и содержание, и выражение целиком, но тем не менее сама распределяет обе асимметричные роли как элементы одного и того же становления, или как кванты одного и того же потока. Отсюда невозможность определить непрерывную вариацию, которая не вбирала бы, одновременно, содержание и выражение, делая их неразличимыми, но при этом продолжаясь благодаря *либо* тому, *либо* другому, дабы определить оба подвижных и относительных полюса того, что становится неразличимым. Потому мы должны сразу определить как черты, или интенсивности, содержания, так и 1,2 черты, или тензоры, выражения (*неопределенный* 4,10 *артиклъ, имя собственное, инфинитив и дата*), которые сменяются, увлекают друг друга по очереди на плане консистенции. Дело в том, что неоформленная материя, филум, — это не мертвая, грубая, однородная материя, а материя-движение, несущая сингулярности или этоности, качества и даже действия (страствующие технологические линии); а также неформальная функция, диаграмма, является не невыразительным метаязыком, лишенным синтаксиса, а выразительностью-движением, всегда несущем иностранный язык в своем языке, нелингвистические категории в своем языке (номадические поэтические линии). Значит мы пишем в одной и той же реальности неоформленной материи, тогда как такая материя пересекает и расширяет весь неформальный язык целиком: становление-животным подобно мышке 10 Кафки, крысам Гофмансталя, телятам Морица? Революционная машина, тем более являющаяся абстрактной, что сама является реальной. Режим, который уже

не проходит ни через означающее, ни через субъективное.

Вот что задает сингулярные и имманентные абстрактные машины. Но сказанное вовсе не мешает «данной» абстрактной машине служить трансцендентной моделью при весьма специфических условиях. На сей раз конкретные сборки соотносятся с абстрактной идеей Машины и аффектируются коэффициентами, принимающими во внимание собственные потенции, собственную созидательность — так, как они ее осуществляют. Коэффициенты, которые «количественно определяют» сборки, касаются переменных компонент сборки (территория, детерриторизация, ретерриторизация, земля, Космос); разнообразных перепутанных линий, конституирующих «карту» сборки (молярные линии, молекулярные линии, линии ускользания), и различных отношений между каждой сборкой и планом консистенции (филум и диаграмма). Например, компонента «былинки» может менять коэффициент, проходя через животные сборки видов, однако,

11 слишком близких. Как правило, сборка тем более сходна с абстрактной машиной, чем более она представляет

4 линии без контура, проходящие между вещами, и чем более она наслаждается мощью метаморфоз (трансформация и транссубстанциализация), соответствующих

и 10 матери-функции — см. машина «Волн».

Прежде всего, мы рассмотрели две крупные сборки — аллопластическую и антропоморфную, *машину войны и аппарат Государства*. Речь идет о двух сборках, которые не только различаются по природе, но и по-иному количественно определяются в отношении «данной» абстрактной машины. Тут не одно и то же отношение к филуму, к диаграмме; тут не одни и те же линии, не одни и те же компоненты. Именно такой анализ двух сборок и их коэффициентов показывает,

12 что машина войны сама по себе не имеет войны в каче-

и 13 стве собственной цели, но обязательно принимает ее

как свою цель, когда позволяет себе быть присвоенной аппаратами Государства. Именно в этом весьма точном пункте линия ускользания и абстрактная витальная линия, каковую первая осуществляет, оборачиваются линией смерти и разрушения. Следовательно, «машина» войны (откуда и ее имя) куда ближе к абстрактной машине, чем к аппаратам Государства, лишаящим машину войны ее способности к метаморфозам. Письмо и музыка могут быть машинами Войны. Чем больше сборка открывает и умножает соединения и расчерчивает план консистенции с его кванторами интенсивностей и консолидации, тем ближе она к живой абстрактной машине. Но сборка отклоняется от абстрактной машины в той мере, в какой она замещает

1,4 творческие коннекции конъюнкциями, создающими
 5,9 блокировки (*аксиоматика*), организациями, создаю-
 12 щими страты (*стратометрии*), создающими черные
 и 14 дыры (*сегментометрии*), обращениями в линии смерти (*делеометрии*). Итак, происходит целый отбор сборок согласно их способности расчерчивать план консистенции с увеличивающимся числом соединений. Шизоанализ — это не только качественный анализ абстрактных машин по отношению к сборкам, но также и количественный анализ сборок по отношению к предположительно чистой абстрактной машине.

Есть еще и последняя точка зрения, точка зрения типологического анализа. Ибо существуют общие типы абстрактных машин. Одна или несколько абстрактных машин плана консистенции не исчерпывают и не господствуют над всей совокупностью действий, конституирующих страты и даже сборки. Страты «обретают» себя на плане консистенции, формируя сгущения, коагуляции и пояса, способные организовываться и развиваться, следуя осям другого плана (субстанция—форма, содержание—выражение). Но в

3 этом смысле каждая страта обладает неким единством

консистенции или композиции, относящемся, прежде всего, к субстанциальным элементам и формальным чертам, — единством, свидетельствующем в пользу собственно абстрактной машины страт, которая главенствует на таком другом плане. И есть третий тип — дело в том, что на аллопластических стратах, особо благоприятных для сборок, возникают абстрактные машины, компенсирующие детерриторизации ретерриторизациями и, главным образом, декодирования сверхкодируемыми или эквивалентами сверхкодирования. В частности, мы увидели, что, если абстрактные машины и открывают сборки, то они также и закрывают их. Машина слов-порядка сверхкодирует язык, машина лицевости сверхкодирует тело и даже голову, машина порабощения сверхкодирует или аксиоматизирует землю — речь никоим образом не идет об иллюзии, а о реальных машинных эффектах. Мы не можем более говорить, что сборки располагаются на количественной шкале, измеряющей, насколько близко или далеко они от абстрактной машины плана консистенции. Есть типы абстрактных машин, которые не перестают работать друг в друге и качественно определяют сборки — *абстрактные машины консистенции*, сингулярные и мутантные, с умноженными коннекциями; *абстрактные машины стратификации*, окружающие план консистенции другого плана; и *аксиоматические* или *сверхкодирующие абстрактные машины*, представляющие тотализации, гомогенизации, конъюнкции завершения. Каждая абстрактная машина отсылает к другим абстрактным машинам: не только потому, что те являются неотъемлемо политическими, экономическими, научными, художественными, экологическими, космическими — перцептивными, аффективными, активными, мыслящими, физическими и семиотическими, — но и потому, что они переплетают свои разнообразные типы, как и свои соперничающие осуществления. Механосфера.

На пути к «сложностному» мышлению

Сложностное мышление следовало бы рассматривать скорее как метод для понимания разнообразия, чем как объединенную метатеорию. Его эпистемологическая ценность могла бы прийти из признания изощренно сложного характера природы и общества. Не то, чтобы правил не существует, но правила создаются и меняются в непрерывном процессе преднамеренных действий и уникальных взаимодействий.

Мануэль Кастельс (Информационная эпоха: экономика, общество и культура)

Сегодня нередко можно услышать, что в цивилизационном движении имеет место некий «поворотный пункт» (Фритьоф Капра) или «макросдвиг» (Эрвин Ласло). Причем речь идет не только об очевидных изменениях в природе и общественных отношениях, но и о парадигмальном сдвиге, затрагивающем одновременно наши идеи, ценности, телесную организацию и само восприятие мира. Такие изменения во многом стимулированы достижениями современных технологий, пронизывающих почти каждый аспект существования, влезающих буквально нам под кожу (бодрийяровское время симулякров). При этом немало слов сказано и о тех рисках, каким подвергается жизнь на земле именно из-за такого рода внедрений (Ульрих Бек). Особо отмечаются недавние достижения в области нанотехнологий и связанная с ними конвергенция разнородных дисциплин, так называемая NBIC-конвергенция, где осуществляет-

ся попытка наведения мостов между традиционно разнесенными исследовательскими направлениями, осуществляется поиск точек резонанса между ними. Но что более важно, такая конвергенция имеет место и между разными уровнями, или стратами, реальности: социальным, психологическим, материальным и возможными другими. Причем в свете этой конвергенции ставится под сомнение справедливость фундаментальных дихотомий типа: «субъект—объект», «живое—неживое», «разум—материя» и т.д., к тому же подобное сомнение очередной раз ставит проблему осмысления «интерфейса» между реалиями, на которые указывают данные термины, что требует особого языка и, соответственно, концептуального аппарата, выходящего за пределы устоявшихся способов описания в рамках подобных оппозиций. Именно в этом пункте уместен термин «сложностность» (в отличие от «сложности»), о котором повествует приведенный эпиграф. «Сложностность» говорит не о запутанности и не о сложносоставном характере тех или иных образований (в картезианской стилистике), скорее речь идет именно об особой парадигме, каковая «...выкапывает и реанимирует невинные вопросы, которые мы были вымуштрованы забывать и презирать... [Она предполагает] прогресс познания, который приносит нам неведомое и таинственное. Тайна не открывается только избранным; она освобождает нас от всякой бредовой рационализации, которая претендует на то, чтобы свести реальное к идее, и она несет нам, в поэтической форме, весть о непостижимом и невероятном»¹. То есть, сложностность, как парадигма, задается не необозримостью состава того или иного объекта, но теми необходимостями, какие вызывают к жизни новый специфический стиль мышления, ориен-

¹ Морен Э. Метод. Природа природы. — М., Прогресс-традиция, 2005 — с. 438—439.

тированный на схватывание той динамики (часто именуемой термином «становление»), которая со все большей очевидностью проникает во все поры как социальной жизни, так и психического или физического существования человека (причем проникает так, что порой стираются границы между социумом, психикой и физико-биологически истолковываемой реальностью). Для схватывания подобной сложности, не укладывающейся полностью в рамки имеющихся в наличии способов осмысления «положения человека в космосе» (да и самого космоса), необходимы особые философские технологии, направленные не только на объяснение сложившегося положения дел, но и на концептуальное обеспечение жизни (а не выживания) в новых реалиях — жизни в них, а не изменения, ибо меняются они сами. Одним из вариантов (или резервуаров) такой концептуальной технологии может служить, в том числе, двухтомник Ж. Делеза и Ф. Гваттари *Капитализм и шизофрения*, состоящий из *Анти-Эдипа* и *Тысячи плато*.

И если первый том — *Анти-Эдип* — порой воспринимается как полемическая книга, направленная, среди прочего, на «ревизию» психоанализа (прежде всего в его лакановской версии), то *Тысяча плато* манифестируется как некая позитивная часть диалогии, хотя и в ней присутствует скрытая (а порой и явная) полемика, например с гегельянским (диалектическим) историцизмом XIX века, породившем теодицею и телеологическую хронософию, кои пронизывают почти всю философскую мысль XX века. Единство, присущее обоим томам, держится на утверждении динамической, процессуальной, а не персоналогической или структуралистской интерпретации социума, психики и природы: предельная вариабельность, нелокальные «точки бифуркаций», из коих пучками расходятся траектории повествования — от геоанализа до картографии микрополитик, от процессов субъек-

тивации до институционализации Государственных аппаратов, и все ради показа производительного потенциала порождающих множеств.

Название второго тома (предложенного вниманию читателей) намекает на некую псевдогеографию: плато — как плоская поверхность, пространство с неопределенным горизонтом и, одновременно, промежуточная зона интенсивности. Промежуточный — без начала и конца — характер плато подчеркивает философскую стратегию, обозначенную Делезом и Гваттари как «мышление посреди». При этом речь, скорее, идет не о метафоре, а о метаморфозе: «У плато точный смысл в географии, в механике, в сценографии: плато эрозии и осаднения, плато изменения скорости и медленности, плато распределения и съемки»². И даже сам двухтомник предстает в качестве своеобразной «середины», «промежуточного пространства», такого ускользающего *Гваттареза*, обеспечивающего диалог (и выходящего за его пределы) двух авторов, намеревающихся дезавуировать собственную идентичность и предлагающих проделать то же читателю, учитывая, что, несмотря на тесные дружеские отношения, они неизменно обращались друг к другу на «вы».

* * *

Делез и Гваттари встретились в июне 1969 года в местечке Сант-Леонар-де-Номбла (Лимузен), где обитал Делез. Знакомству способствовал Жан-Пьер Мюйяр — врач, связанный с клиникой Ла Борде, где разворачивалась деятельность Гваттари, и давнишний почитатель Делеза. В тот период Гваттари уже разочаровался в психо-

² Arnaud Villani, «Géographie physique de *Mille Plateaux*», *Critique*, 455, avril 1985, p. 333.

аналитических стратегиях Жака Лакана, а Делез (весьма известный философ) пережил тяжелую операцию, связанную с удалением легкого из-за острой формы туберкулеза, что заставит его страдать хронической дыхательной недостаточностью до самой смерти.³

Почти сразу после встречи в письме к Гваттари Делез рассматривает способы совместной работы: «Ясно, что следовало бы отбросить все формулы вежливости, но не формы дружбы, позволяющие сказать друг другу: вы находите, а я не понимаю, что-то не так... и т.д.». Намечая дальнейшую концептуальную стратегию, Делез пишет, что «формы психоза не передаются эдиповым треугольником, в любом случае не с необходимостью и не в той манере, в какой их нынче обсуждают. Именно это с самого начала следует, как мне кажется, считать существенным... Нас раздражает “приверженность семейным ценностям” психоанализа, приверженность папе-маме... Значит, речь идет о том, чтобы показать, как, например, в психозе общественно-экономические механизмы могут *прямо* привноситься в бессознательное. И это вовсе не означает, будто они привносятся *как таковые* (как прибыль, как норма прибыли...), ибо следовало бы показать, что все намного сложнее... [особенно] когда речь заходит о том, что сумасшедшие не просто создают космогонии, но также и экономику-политику, или... когда [рассматривается] связь между капиталистическим и шизофреническим кризисами»⁴. Способ, каким социальные структуры «прямо» привносятся в бессознательное психотика, может быть схвачен, согласно авторам, с помощью введенных Феликсом Гваттари концептов «*машина и анти-*

³ Биографические данные о совместном творчестве Делеза и Гваттари заимствованы из книги: François Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari (*Biographie croisée*). — Éditions La Découverte, Paris, 2007.

⁴ Жиль Делез, письмо Феликсу Гваттари от 16 июля 1969 г., архив Центра независимых научных исследований в области нанозлектроники и нанотехнологий IMEC [цит. по: François Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari (*Biographie croisée*)].

производство», учитывая, что концепт машины метонимически выражает «машину индустриального общества». Гваттари поясняет ту эквивалентность, какая присутствует между капитализмом и шизофренией: «Капитализм — это шизофрения, если только общество-структура не способно взять на себя производство “шизофреника”»⁵. Делез, вслед за Гваттари, продолжает критику господствующих представлений о бессознательном: «Открываемое вами направление кажется мне крайне плодотворным по следующей причине: как правило, мы создаем для себя духовный образ бессознательного, либо чтобы говорить, будто бессознательное безнравственно, преступно, и т.д., даже если добавляем, что это весьма неплохо, либо чтобы говорить, будто мораль бессознательна (сверх-я, закон, трансгрессия). Однажды я сказал Мюйяру, что так дело не пойдет, что бессознательное *не является* религиозным, не обладает ни “законом”, ни “трансгрессией”, что все это — глупости... Мюйяр мне ответил, что я преувеличиваю, ибо закон и трансгрессия, как их исследовал Лакан, не имеют ничего общего со всем сказанным. Он прав, конечно, но отсюда ничего не вытекает, несмотря ни на что именно вся теория сверх-я кажется мне неверной, как и вся теория вины»⁶. Из письма, написанного в августе 1969, следует, что главная мишень *Капитализма и шизофрении* (прежде всего *Анти-Эдипа*) уже ясна: «эдипов треугольник» и фамилиалистская редукция психоаналитического дискурса.

Двухтомник составляется, главным образом, по переписке, что для Гваттари — определенное испытание, поскольку он не привык работать в одиночку. При этом еженедельно во вторую половину вторника (утром Делез

⁵ Феликс Гваттари, некоторые замечания относительно президента Шребера, посланные Жилью Делезу 25 июля 1969, архив IMEC [цит. по: François Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari (*Biographie croisée*)].

⁶ Там же.

читает свой курс в Винсене) они встречаются и обсуждают написанное. Вспоминая такое письмо в четыре руки, Делез отмечает: «Никто из нас не был психом, никто — психиатром, надо быть вдвоем, чтобы высвободить процесс... Процесс — вот что мы называем потоком». Напомним, что Делез всегда испытывал ужас от дискуссий, ориентированных на чистый обмен мнениями, коим он противопоставляет практику беседы, стимулирующую, напротив, подлинную полемику, внутреннюю по отношению к высказыванию. От такого обмена идеями рождается «рабочая машина», где невозможно узнать, что зависит от одного, а что от другого. Согласно Делезу важным является превращение «есть» в «и», не в смысле чисто соединительного союза, но в смысле импликации всей серии отношений. «И» означает возможность творчества, творческого заикания, множества. Последнее обстоятельство создает абсолютно уникальный характер их книг. «Мы не сотрудничали как два человека. Мы были скорее как два ручья, которые воссоединяются, дабы создать из этого “нечто” третье, которое было бы не нами»⁷. Именно благодаря такому способу письма реализовалось давнишнее стремление Делеза предъявить новый тип книги-эксперимента: «Приближается время, когда почти невозможно будет писать философскую книгу так, как это делалось прежде: “О! старый стиль...” Исследование новых средств философского выражения торжественно начал Ницше, и сегодня он должен быть продолжен в связи с возобновлением некоторых других искусств — театра и кино»⁸. Действительно, новая стилистика, новый тип книги более не придерживаются традиционных кодов: «Мы знаем великие инструменты кодирования... Мы знаем о

⁷ Gilles Deleuze, *Le Magazine littéraire*, n° 257, septembre 1988.

⁸ Делез Ж. Различие и повторение. — СПб, Петрополис, 1998, с. 12 (перевод изменен).

трех главных из них: закон, договор и институт»⁹. Работа Делеза и Гваттари нацелена на сопротивление таким предприятиям «кодирования» и систематически реализует «декодирование», ибо речь идет о том, чтобы смешать все коды, даже на уровне самого простого письма и языка. И дабы ускользнуть от любых устоявшихся форм кодирования, разрушить их, следует обратиться к силам внешнего, что в полной мере достигается во втором томе *Капитализма и шизофрении*, опубликованном в 1980 году: в *Тысяче плато*.

* * *

Прием *Тысячи плато*, в отличие от *Анти-Эдипа*, был весьма сдержан. Книгу сразу посчитали слишком трудной и озадачивающей. Лишь через пять лет после публикации тома Арно Виллани, специалист по делезианской мысли, опубликовал в журнале *Critique* развернутый отзыв, признав, что книга «по существу “выкладывает” пространство для беспрецедентных письма и мысли». В *Le Matin* Катрин Клеман говорит об «изменении маршрута». Делая акцент на концепте номадизма, пересекающем весь текст, она восхищается множественными фигурами аномальности, пребыванием по ту сторону закона и требованием мыслить иначе. Надо сказать, сами авторы отмечали: «Композиция этой книги много сложнее, трактуемые области куда более разнообразны, но мы обрели такие практики, что один мог угадать, в каком направлении движется другой». То есть отточилась практика конвергентного движения мысли.

⁹ Gilles DELEUZE, «Pensée nomade» (1972), p. 353 [цит. по: François Dosse, Gilles Deleuze et Félix Guattari (*Biographie croisée*)].

В определенном смысле можно сказать, что в *Тысяче плато* разворачивается горизонт особой «физики» или скорее, «(мета)физики Бергсона или географии “*physis*”»¹⁰. Такой горизонт komponуется в терминах пространственной логики и имеет следствием абсолютно оригинальное использование времени (у каждого плато точная дата, отсылающая к некоему историческому событию) — специфический способ подчеркнуть значимость события для разворачиваемой философской стратегии (хотя в последней нет более ничего хронологического или эволюционирующего). *Тысячу плато* можно рассматривать и как своеобразное путешествие по самым разным дисциплинам¹¹ — от литературоведения до естествознания, причем акцент делается на трансверсальных отношениях между такими разнородными областями культуры и знания. И подобные отношения являются подлинным выражением философии.¹² То есть в книге продолжается проект создания новой онтологии различия, укладывающийся в упомянутую ранее стратегию выделения точек резонанса между конвергирующими дисциплинами и областями культуры, ведь вся она пронизана отсылками к работам лингвистов, антропологов, психоаналитиков, этологов, геологов, физиков, музыкантов, художников... И для характеристики калейдоскопа точек резонанса авторы вводят особый концепт-оператор — “механосферу”, — призванный изменить наше отношение к миру. Такое изменение, конечно же, восходит к бергсоновскому истолкованию движения за

¹⁰ Arnaud Villani. *Ibid.*

¹¹ Брайн Массуми, переводчик *Тысячи плато* на английский язык, написал своеобразное пособие по данной книге, озаглавленное «Путеводитель по Капитализму и шизофрении. Отклонения от Делеза и Гваттари» [Brian Massumi. A user's guide to Capitalism and Schizophrenia. Deviations from Deleuze and Guattari. — Massachusetts Institute of Technology, 1999].

¹² На вопрос Катрин Клеман о жанре, которому принадлежит эта новая книга, Делез недвусмысленно отвечает: «Философия, ничто кроме философии, в традиционном смысле слова» (*Le Matin*, 30 septembre 1980).

пределы опыта в сторону понятий-восприятий.¹³ Конституирование “механосферы” осуществляется в конструктивистском и прагматическом ключе, исходя из вычленения планов консистенции (согласованности), или плато, где записываются асимметричные серии точек, призванные затем воссоединиться в некоем виртуальном пространстве, функционирующем уже на другом плане: некая сеть действий и противодействий, именуемая авторами ризомой, которая не подразумевает конечной цели и даже хронологии. Такая разнородная сеть («ткань из лоскутов») противоположна централизованной системе, и в то же время она формирует особое видение мира, особый «монизм», иную философскую систему без точки отсчета. Как говорит Делез: «То, что Гваттари и я назовем ризомой, представляет собой все тот же случай открытой системы»¹⁴.

* * *

И тут хотелось бы остановиться на одном из важных концептов, во многом задающем открытость системы *Тысячи плато*, а именно на термине «сборка [*agencement*]». По словам Делеза, концепт *сборки* приходит на смену словосочетания «желающие машины», превалирующего в *Анти-Эдипе*. Этот концепт, пронизывающий каждое плато, направлен на то, чтобы показать возможность сое-

¹³ «Речь идет о реальном опыте во всей его специфике. И если мы должны расширить его или даже выйти за его пределы, то только для того, чтобы найти сочленения, от которых зависит эта специфика. Так что условия опыта определяются, скорее, не в понятиях, а в чистых восприятиях. И в то время, как эти восприятия сами объединяются в понятие, именно понятие, выкраиваемое по самим вещам, только и соответствует им, и, в этом смысле, оно не шире того, что оно должно объяснить». Делез Ж. Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза. — М., Per Se, 2001 — с. 243.

¹⁴ Делез Ж. Переговоры (1872–1990). — СПб, Наука, 2004 — с. 49.

динения крайне разнородных элементов, соединения формирующего, согласно Гваттари, своего рода «диаграмму», «карту», а не кальку. Более того, сборка предполагает любые формы соединений, в том числе и не-человеческие, что как раз и высвобождает силы внешнего. Достаточно совместить несводимые друг к другу элементы, и мы уже имеем особую сборку (оса-орхидея, лошадь-человек-лук и т.п.). Авторы допускают любые сочетания между техническими, животными и человеческими машинами — сочетания, результатом которых собственно и будут процессы субъективации и индивидуации, проступающие как бы на горизонте. Благодаря сборкам человек вновь соединяется с природой, с *physis*, когда стираются различия между действиями внешнего и внутреннего. В этом состоит дизъюнктивно-синтетический характер сборки, весьма отличный от гегелевского синтеза, ориентированного на «снятие противоположностей».

Также концепт сборки предполагает радикальный пересмотр кантовского трансцендентального проекта — пересмотр, направленный на достижение “высшего эмпиризма” (Шеллинг), когда условия опыта вообще становятся генетическими условиями реального опыта. Сборка здесь указывает на то место, где зарождается мышление, причем мышление, ориентированное не на распознавание объектов (уже предполагающих того, кто распознает) с помощью категорий или универсалий, а на столкновение с чем-то нераспознаваемым. Тогда сборка являет собой некую результирующую взаимодействующих сил, кои извне порождают мысль, причем сил, пребывающих в постоянном становлении, что придает сборке характер интенсивности (а не экстенсивной объектности). Действительно, интенсивная сборка, хотя и предстает в виде некоего блока экстенсивных сочленений, тем не менее, в какой-то своей части, ускользает от традиционно понятого чувственно-эмпирического восприятия

и указывает на виртуальный порядок полагающих ее различий. Собственно, сам текст *Тысячи плато* можно рассматривать как «среду», на которой организуются концепты-сборки вступающие друг с другом в сложные отношения резонанса и контрапункта. Например, «лицо», как концепт-сборка, уже не является чем-то, что принадлежит, например, человеку, а отсылает к некой виртуальной (абстрактной) машине *лицевости*, производящей типы и состояния лиц. Так, Эдвард Мунк (если обратиться к живописи) изображает на знаменитом полотне, именуемом «Крик», не лицо, искаженное ужасом, а ужас как внешнюю силу (машину), производящую лицо.

Тут имеет место и разрыв с аристотелевской гиломорфной моделью,¹⁵ где форма налагается на материю, ибо сама материя — вовсе не однородная субстанция, обретающая форму, а поток интенсивностей, обеспечивающих саму возможность формы. «[Ф]ормы никогда не являются фиксированными шаблонами, но детерминированы *сингулярностями* материала, кои налагают скрытые процессы деформации и трансформации (железо тает при высоких температурах, мрамор или дерево раскалываются по своим прожилкам и волокнам). Вот в чем важность понятия интенсивности: по ту сторону препарированной материи лежит энергетическая материальность в непрерывной вариации, а по ту сторону фиксированной формы лежат качественные процессы деформации и трансформации в непрерывном развитии. Другими словами, что становится существенным... так это уже не отношение материя-форма, а отношение

¹⁵ «Критика шлеморфической схемы основалась на “существовании, между формой и материей, зоны средней и промежуточной размерности”, энергетической, молекулярной размерности, — целое пространство в себе, которое развертывает свою материальность через материю, целое число в себе, которое выталкивает свои черты через форму... *машинный филум* — это материальность, естественная или искусственная, и то и другое одновременно, это материя в движении, в потоке, в изменении, материя как носительница сингулярностей и черт выражения». См. настоящее издание с. 691

материал-сила».¹⁶ Такие «качественные процессы деформации и трансформации», составляющие ту или иную сборку, конституируют, по-видимому, то, что Гваттари назвал «машинным гетерогенезисом», не оставляющим места ни редукционизму, ни «абсолютной идее».

Именно так Делез и Гваттари манифестируют собственную теорию сложности, свободно заимствуя ресурсы из разных традиций. И чтобы оценить такую теорию, стоит, по-видимому, хотя бы кратко остановиться на том, что имеется в виду, когда авторы обсуждают так называемый «машинный» характер становления. Прежде всего, как уже говорилось, речь идет об опыте «трансверсальной коммуникации» между различными генеалогическими линиями — коммуникации, противостоящей «карабканью на генеалогическое древо». Да, генеалогии существуют, но они должны усматриваться внутри более широкой картографии, подразумевающей разнообразные модусы становления, ибо генеалогические серии вовсе не конституируют основание эволюции, а проистекают из некой машинерии. Такая машинерия дает начало не только концептуальным схемам, но также животным формам и видам, геологическим образованиям, социальным структурам, и, одновременно, благодаря трансверсальному движению сил различной природы генеалогические линии постоянно пунктуируются новыми становлениями: модусами становления, кои движутся от менее дифференцированного к более дифференцированному и функционируют не посредством преемственностей, а скорее посредством созидания новых альянсов, или посредством «заражения». При чем линия становления не определяется в терминах komponующих ее точек, ибо сама имеет статус лишь некоего «среднего», того, что рас-

¹⁶ Smith D. W. Deleuze's Theory of Sensation: Overcoming the Kantian Duality // in Deleuze: A Critical Reader (Edited by Paul Patton). — Blackwell Publishers Ltd, 1997, p. 43.

полагается «посреди». Такое среднее вовсе не равно чему-то усредненному, оно, скорее, выступает в качестве оперативного средства, наделяющего жизнью (неорганической жизнью) все страты — от геологической до аллопластической. «Становление — не один и не два, и не отношение между двумя; оно — промежуток, граница, линия ускользания или падения, перпендикулярная к двум»¹⁷. Через становление сборка функционирует так, что асимметричные движения создают блок (машинный блок) на линии ускользания. Такое функционирование имеет сложностный характер, оно уже не может рассматриваться только в конкретных материальных терминах, независимых от деятельности организмов и самостей, вовлекаемых в сборки. И его сложностность определяется именно через термин «машина», а не «механизм».¹⁸

Безусловно, Делез и Гваттари, обсуждая сборки, используют и бинарные оппозиции, но не ради отстаивания дуализмов, а, напротив, чтобы разрушать последние, заменять их множествами, по коим и проходят теперь уже плюрализированные бинарности. Например, в дуализме «машина войны — государственный аппарат» первая не является побочным продуктом второго (как это порой принято думать): оба термина оппозиции представляют собой два полюса, радикально различающиеся по природе. Машина войны не только не зависит от Государства, но вся ее динамика противостоит государственной логике. Она ориентирована на сопротивление, на борьбу с механизмом Государства, предстающего как аппарат захвата, тогда как одна из главных задач Государства состоит в присвоении машины войны. Здесь нет никаких «диалектических» (в гегелевском смысле) переходов. В маши-

¹⁷ См. настоящее издание — с. 487.

¹⁸ «Обычные механизмы состоят из деталей, однако те машинами не являются, тогда как организм бесконечно машинизирован, — это машина, и все части ее или детали — также машины». (Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. — М., Логос, 1998 — с. 16.)

не войны находит свое выражение вся двусмысленность и парадоксальность линии ускользания: внешней характер машины войны по отношению к Государству выражается в том, что Государство не может быть представлено без коммуникации с машиной войны, от которой оно подпитывается, даже если такая машина сама формирует некую общественную сборку, чьей матричной моделью является номадизм. Как видим, бинаризм внешнего и внутреннего стирается здесь за счет трансверсальных переливов и переходов, кои и являются источником и «предметом» мысли. И естественно-научная познавательная деятельность обретает здесь двойственный аспект (бинарность), требующий своей сборки. Так, Делез и Гваттари различают два типа наук (или, лучше, гносеологических позиций), всегда противостоящих друг другу: с одной стороны, королевская, главная, государственная наука, ориентированная на повторение, закрепление и итерации в познании, ориентированная на нахождение решений (теорематическая модель науки); с другой стороны, номадическая наука, ориентированная не столько на поиск решений, сколько на постановку проблем, на схватывание нестабильностей, вихревых хаотических движений. И оба типа наук взаимодополняют друг друга так, что порой первый затеняет второй, а порой второй прорывается через первый.

* * *

Важность концепта «сборка» в контексте парадигмы сложности определяется тем, что сегодня, как уже отмечалось, появляется особого рода «вмешательство» в материальный, биологический и социальный миры: нанотехнологическое вмешательство, где на первый план

выходит текучий, процессуальный характер реальности, где стираются многие классические оппозиции. Напомним, что нанотехнологии существенным образом направлены на создание или конструирование устройств особого рода, предназначенных «работать» именно на микромасштабах, где, по словам Ричарда Фейнмана, «полно места». Но каждое такое устройство обладает некой темпоральной протяженностью существования, длительностью. И на наномасштабе, в мире броуновского движения и квантовых неопределенностей такой вид длительности также осуществляется через формирование неких сборок, предполагающих с помощью контроля над субмолекулярными частицами осуществлять управление биологическими системами, химическими синтезами и т.п., причем влияние такого управления выходит далеко за рамки конкретных «объектных» реалий (вспомним бергсониянский сюжет о связи размешиваемого в стакане воды сахара через длительность со всей вселенной). И тут можно выделить, по крайней мере, две стратегии получения требуемой архитектуры системы на наномасштабах: складывания ее из атомов-«кирпичиков» и выращивание. Во втором случае мы уже имеем дело не с «материей-формой», а с «материалом-силой», что ставит проблему, связанную со способом темпорального *управления* подобным процессом так, чтобы сам рост шел в желаемом направлении (как это имеет место в биологии). Более того, указанные две стратегии подразумевают, по крайней мере, две онтологии материального мира, предполагающие целые наборы техник собирания компонент, принадлежащих разным стратам. То есть, можно говорить, по крайней мере, о «двух культурах нанотехнологии», причем каждая по-разному интерпретирует и материал, и силы.¹⁹ Одну

¹⁹ Cf. Chaos and Control: Nanotechnology and the Politics of Emergence — Citation Information. Volume 29, Page 57–80 DOI 10.3366/prg.2006.0014, ISSN 0264-8334, Available Online July 2006.

версию нанотехнологии не трудно соотнести с «механицизмом», где мир дробится на отдельные частицы, вступающие друг с другом в определенные отношения. Здесь предполагается, что любое структурированное образование может быть получено путем упорядочивая атомов и молекул в нужную конфигурацию с помощью известных приемов. Другую версию нанотехнологии, вдохновляемую скорее биологией, можно назвать «машинной» в смысле Делеза и Гваттари: вместо простого механического выстраивания атомов под заданную форму здесь акцент делается на виртуальных возможностях трансформируемых систем (например, белка). Именно вторая онтология сталкивается с машинным гетерогенезисом, выражающим ту фундаментальную нестабильность, какая наиболее полно отображает специфику нанотехнологий — ибо последние, как уже говорилось, выходят далеко за пределы наномасштабов — и задает присущую им сложность (а не только сложность). По существу, нанотехнологии конституируют то гладкое пространство, о котором речь идет в *Тысяче плато*. Они имплицитно в «королевскую» науку номадические сюжеты (трансгуманизм), что опять же говорит о взаимодополнительности таких наук: с одной стороны, сверхкодированность, метричность, иерархизация академических научных проектов; с другой, неполяризованность, фундаментальная открытость, неметричность, множественность творческих исследовательских инноваций.

* * *

Публикацией *Тысячи плато* по сути заканчивается долгое сотрудничество (но не дружба) Делеза и Гваттари, начатое в 1969 году. Конечно, под двумя фамилиями

выйдет еще одна книга: *Что такое философия?*, но, согласно Доминик Сеглард, она написана одним Делезом. Именно дружба сыграла главную роль в том, что на обложке появились две фамилии. И это несмотря на то, что в 1990 году журнал *Химеры* сообщает, будто труд выйдет за подписью одного лишь Делеза. Надо отметить, что Гваттари, который хотя и пребывал в тот период в состоянии глубокой депрессии, тем не менее принимал деятельное участие в окончательной подготовке рукописи. Гваттари вдохновляет, улучшает, формулирует новые ходы мысли, начиная с первого текста, посланного ему Делезом, и Делез решительно отвергает инсинуации, связанные со снятием с обложки имени друга: данная сборка может функционировать, во всяком случае для Делеза, только при условии, что в ней присутствует Гваттари.

Яков Свирский

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА.

Одним плато у Делеза—Гваттари меньше (В. Кузнецов) . . . 3

1. ВВЕДЕНИЕ: РИЗОМА 6

Корень, мочковатый корешок и ризома. — Проблемы книг. — Один и множество. — Дерево и ризома. — Географические направления: Восток, Запад, Америка. — Злодеяния дерева. — Что такое плато?

2. 1914 — ОДИН ВОЛК ИЛИ НЕСКОЛЬКО? 46

Невроз и психоз. — О теории множеств. — Стаи. — Бессознательное и молекулярное.

3. 10 000 до н. э. — ГЕОЛОГИЯ МОРАЛИ 66

Страты. — Двойная артикуляция (сегментарность). — То, что создает единство страты. — Среды. — Разнообразие страты: формы и субстанции, эпистраты и парастраты. — Содержание и выражение. — Разнообразие страт. — Молярное и молекулярное. — Абстрактная машина и сборка: их сравнительные состояния. — Метастраты.

4. 20 ноября, 1923 —

ПОСТУЛАТЫ ЛИНГВИСТИКИ 124

Слово-порядка. — Косвенный дискурс. — Слова-порядка, действия и бестелесные трансформации. — Даты. — Содержание и выражение: переменные в этих двух случаях. — Аспекты сборки. — Константы, переменные и непрерывная вариация. — Музыка. — Стилль. — Большое и малое. — Становление. — Смерть и ускользание, фигура и метаморфоза.

5. 587 до н.э. — 70 н.э. О НЕСКОЛЬКИХ

РЕЖИМАХ ЗНАКОВ 186

Деспотический означающий режим. — Субъективный аффективный режим. — Два вида мании и проблема психиатрии. — Древняя история еврейского народа. — Линия ускользания и пророк. — Лицо, отвернувшееся и предательское. — Книга. — Система субъективности: сознание и страсть, Двойники. — Семейная сцена и сцена в офисе. — Избыток. — Фигуры детерриторизации. — Абстрактная машина и диаграмма. — Генеративное, трансформационное, диаграмматическое и машинное.

6. ноябрь 28, 1947 — КАК СДЕЛАТЬСЯ ТЕЛОМ БЕЗ ОРГАНОВ ?.....	248
Тело без органов и волны, интенсивности. — Яйцо. — Мазохизм, куртуазная любовь, Дао. — Страты и план консистенции. — Антонин Арто. — Искусство осторож- ности. — Проблема трех тел. — Желание, план, отбор и композиция.	
7. Год ноль — ЛИЦЕВОСТЬ.....	276
Белая стена, черная дыра. — Абстрактная машина лицево- сти. — Тело, голова и лицо. — Лицо и пейзаж. — Куртуаз- ный роман. — Теоремы детерриторизации. — Социальные функции лица. — Лицо и Христос. — Две фигуры лица: фас и профиль, отворачивание. — Демонтаж лица.	
8. 1874 — ТРИ НОВЕЛЛЫ, ИЛИ «ЧТО ПРОИЗОШЛО?».....	316
Новелла и рассказ: тайна. — Три линии. — Купюра, трещина, разрыв. — Супружеская пара, двойник и под- польщик.	
9. 1933 — МИКРОПОЛИТИКА И СЕГМЕНТАРНОСТЬ	340
Сегментарное, первобытное и цивилизованное. — Молярное и молекулярное. — Фашизм и тоталитаризм. — Сегментированная линия и поток квантов. — Габриэль Тард. — Массы и классы. — Абстрактная машина: мутация и сверхкодирование. — Что такое центр власти? — Три линии и опасности, таящиеся на каждой из них. — Страх, ясность, власть и смерть.	
10. 1730 — СТАТЬ-ИНТЕНСИВНОСТЬЮ, СТАТЬ-ЖИВОТНЫМ, СТАТЬ-НЕВОСПРИНИМАЕМЫМ	382
Становление. — Три аспекта колдуна: множества; Ано- мальное, или Потусторонний; трансформации. — Инди- видуация и Этовость: 5 часов вечера... — Долгота, широ- та и план консистенции. — Два плана, или две концеп- ции плана. — Стать-женщиной, стать-ребенком, стать- животным, стать-молекулярным: зоны близости. — Стать невоспринимаемым. — Молекулярное восприятие. — Тайна. — Мажоритарность, миноритарность, минори- тарное. — Миноритарный характер и диссимметрия ста- новления: двойное становление. — Точка и линия,	

память и становление. — Становление и блок. — Оппозиция точечных систем и мультилинейных систем. — Музыка, живопись и становление. — Ритуфель. — Продолжение теорем детерриторизации. — Становление против имитации.

11. 1837 — О РИТУФНЕЛИ 516

В темноте, у себя, в сторону мира. — Среда и ритм. — Плат и территория. — Выражение как стиль: ритмические лица, мелодические пейзажи. — Птичья песня. — Территориальность, сборки и интерсборки. — Территория и земля, Родное. — Проблема консистенции. — Машинная сборка и абстрактная машина. — Классицизм и среды. — Романтизм, территория, земля и люди. — Современное искусство и космос. — Форма и субстанция, силы и материал. — Музыка и ритуфель, великая и малая ритуфель.

12. 1227 — ТРАКТАТ О НОМАДОЛОГИИ:

МАШИНА ВОЙНЫ 587

Два полюса Государства. — Нередуцируемость и внешний характер машины войны. — Воин. — Малое и большое: малые сцены. — Тела и дух тел. — Мысль, Государство и номадология. — Первый аспект: машина войны и номадическое пространство. — Религия. — Восток, Запад и Государство. — Второй аспект: машина войны и композиция людей, номадическое число. — Третий аспект: машина войны и номадические аффекты. — Свободное действие и труд. — Природа сборок: инструменты и знаки, оружие и сокровище. — Металлургия, странствование и номадизм. — Машинный филум и технологические родовые. — Гладкое пространство, рифленое пространство, дырчатое пространство. — Машины войны и война: сложность отношения.

13. 7000 до н.э. — АППАРАТ ЗАХВАТА 717

Палеолитическое Государство. — Первобытные группы, города, Государства и мировые организации. — Предвосхищать, предотвращать. — Смысл слова «становление» (маржинализм). — Обмен и склад. — Захват: земельная собственность (рента), налоговая система (подать), публичные работы (прибыль). — Проблемы неистовства. — Формы государства и три века Закона. — Капитализм и Государство. — Подчинение и порабощение. — Аксиоматика и ее проблемы.

14. 1440 — ГЛАДКОЕ И РИФЛЕННОЕ	805
--------------------------------------	-----

Технологическая модель (текстиль). — Музыкальная модель. — Морская модель. — Математическая модель (многообразия). — Физическая модель. — Эстетическая модель (номадическое искусство).

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КОНКРЕТНЫЕ ПРАВИЛА И АБСТРАКТНЫЕ МАШИНЫ	852
--	-----

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА.

На пути к «сложностному» мышлению (Я. Свирский)	872
--	-----

Список иллюстраций

1. Сильвано Буссотти, *Пять фортепианных пьес для Давида Тюдора*, с любезного разрешения Дж. Рикорди, Милан © 1970 by G. Ricordi E. C. SPA стр. 6
2. Фотография Буайе [Boyer], *Следы волка на снегу*, коллекция Виолетт стр. 46
3. Фотография Буайе, *Омар*, коллекция Виолетт стр. 66
4. Фриц Ланг, *Завещание доктора Мабузе*, (изображение Доктора Мабузе перед шарами) стр. 124
5. *Ковчег завета со столбом огня и тучей*, Музей декоративного искусства, коллекция Виолетт стр. 186
6. М. Гриоль и Ж. Дитерлен, *Бледный Лис*, Институт этнографии, Музей человека (первый Йала яйца Аммы) стр. 248
7. Дуччо, *Призвание апостолов Петра и Андрея*, Нью-Йорк, коллекция Буллоза стр. 276
8. *Лица на эфиопских магических свитках*, согласно документам Жака Мерсье стр. 303
9. Р. Ф. Аутколт, *Бастер Браун — маленький шутник*, Книжный магазин Ашетте стр. 316
10. Фернан Леже, *Люди в городе*, 1919. Музей Соломона Гуттенхайма, Нью-Йорк, фотография Роберта Е. Матеса стр. 340
11. *Оборотень на этрусской амфоре из Черветери*, Лувр, фотография Чужевиля [Chuzeville] стр. 382
12. *Этрусское блюдо*, Национальный этрусский музей, Рим стр. 382
13. Пауль Клее, *Щебечущая машина*, Акварель и чернила, 16 1/4 × 12», 1922, коллекция Музея современного искусства, Нью-Йорк стр. 516
14. Рисунок *деревянной колесницы*, обнаруженной в Эрмитаже, Ленинград стр. 587
15. Эйзенштейн, *Стачка*, коллекция *Сценариев* стр. 700
16. Чомель [Chomel], *Экономический словарь*, 1732, статья «Куропатки» стр. 717
17. *Безумие в бандах*, Вермонт 1865, в Джонатан Холстэйн, *Лоскутное одеяло*, Музей декоративного искусства, Париж, 1972 стр. 805
18. Выдержка из книги Бенуа Мандельброта согласно Ланселоту Херрисману // *Science et Vie*, декабрь 1977 стр. 828
19. *Компьютерный Эйнштейн* стр. 852

**Ж. Делез
Ф. Гваттари**

Капитализм и шизофрения

ТЫСЯЧА ПЛАТО

**Корректор *И.Н. Мокина*
Компьютерная верстка: *М.В. Осина***

**ООО «Агентство прав У-Фактория»
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, литер Б**

**Тел./факс: 8 (343) 371-32-29
E-mail:ufactitia@gmail.com**

**ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, пр. Ольминского, д. 3а**

www.ast.ru

**Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru**



ТЫСЯЧА ПЛАТО — вторая книга из дилогии «Капитализм и шизофрения» — крупнейшего философа XX века — Жюль Делеза (1925–1995). «Гладкое пространство отличается с рифленным. Гладкое пространство заполнено телами, отличающимися от организма. На этом пространстве распределяются ризомы, стаи и множественности. Тут происходят становления и интенсивности. На нем расчерчены координаты — территории, земля и детерриторизации, Космос. Такому пространству соответствуют знаки, язык и музыка (ритуальны). А также сборка пространства-времени: машина войны и аппарат Государства. Каждая тема, как предполагается, конституирует некое «плато», то есть непрерывную область интенсивностей. В одно и то же время происходит соединение областей непосредственно и на расстоянии согласно линиям ризомы, касающимся элементов искусства, науки и политики».



ISBN 978-5-9757-0527-3



9 785975 705273

www.elkniga.ru